This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY

Goncharov, I. A

БИБЛІОТЕКА
№
ЛЬШКОВСКАГО

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

PG3337
G6
1899a
v.2-4

Типографія А. Ф. Иариса. Ср. Подьяч., № 1.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРІЯ.

РОМАНЪ

въ двухъ частяхъ.

Часть вторая.

I.

Прошло съ годъ послѣ описанныхъ въ послѣдней главѣ первой части сценъ и происшествій.

Александръ, мало-по-малу, перешелъ отъ мрачнаго отчаянья къ холодному унынію. Онъ уже не гремѣлъ проклятіями, съ присовокупленіемъ скрежета зубовъ, противъ графа и Наденьки, а клеймилъ ихъ глубокимъ презрѣніемъ.

Лизавета Александровна утѣшала его со всею нѣжностью друга и сестры. Онъ поддавался охотно этой милой опекѣ. Всѣ такія натуры, какова была его, любятъ отдавать свою волю въ распоряженіе другого. Для нихъ нянька — необходимость.

Наконецъ, страсть выдохлась въ немъ, истинная печаль прошла, но ему жаль было разстаться съ нею; онъ насильственно продолжилъ ее, или, лучше сказать, создалъ себѣ искусственную грусть, игралъ, красовался ею и утопалъ въ ней.

Ему какъ-то нравилось играть роль страдальца. Онъ былъ тихъ, важенъ, туманенъ, какъ человѣкъ, выдержавшій, по его словамъ, *ударъ судьбы*, — говорилъ о высокихъ страданіяхъ, о святыхъ, возвышенныхъ чувствахъ, смятыхъ и втоптанныхъ въ грязь—«и кѣмъ?» прибавлялъ онъ: «дѣвчонкой, кокеткой и презрѣннымъ развратникомъ, мишур-

нымъ львомъ. Неужели судьба послала меня въ міръ для того, чтобъ все, что было во мнѣ высокаго, принести въ жертву ничтожеству?»

Ни мужчина мужчинѣ, ни женщина женщинѣ не простили бы этого притворства и сейчасъ свели бы другъ друга съ ходулей. Но чего не прощаютъ молодые люди разныхъ половъ другъ другу?

Лизавета Александровна слушала снисходительно его іереміады и утѣшала какъ могла. Ей это было вовсе не противно, можетъ-быть, и потому, что въ племянникѣ она все-таки находила сочувствіе собственному сердцу, слышала, въ его жалобахъ на любовь, голосъ нечуждыхъ и ей страданій.

Она жадно прислушивалась къ стонамъ его сердца и отвѣчала на нихъ непримѣтными вздохами и никѣмъ невидимыми слезами. Она, даже и на притворныя и приторныя изліянія тоски племянника, находила утѣшительныя слова въ такомъ же тонѣ и духѣ; но Александръ и слушать не хотѣлъ.

— О, не говорите мнѣ, ma tante, — возражалъ онъ: — я не хочу позорить святого имени любви, называя такъ наши отношенія съ этой...

Тутъ онъ дѣлалъ презрительную гримасу и готовъ былъ, какъ Петръ Иванычъ, спросить: какъ ее?

— Впрочемъ,—прибавлялъ онъ еще съ бо́льшимъ презрѣніемъ:—ей простительно: я слишкомъ былъ выше и ея, и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы; не мудрено, что я остался неразгаданнымъ ей.

И послѣ этихъ словъ онъ еще долго сохранялъ презрительную мину.

— Дядюшка твердитъ, что я долженъ быть благодаренъ Наденькѣ, — продолжалъ онъ; — за что? чѣмъ ознаменована эта любовь? все пошлости, все общія мѣста. Было ли какое-нибудь явленіе, которое бы выходило изъ обыкновен-

наго круга ежедневныхъ дрязговъ? Видно ли было въ этой любви сколько-нибудь героизма и самоотверженія? Нѣтъ, она все почти дѣлала съ вѣдома матери! отступила ли для меня хоть разъ отъ условій свѣта, отъ долга?—никогда! И это любовь!!! Дѣвушка — и не умѣла влить поэзіи въ это чувство!

— Какой же любви потребовали бы вы отъ женщины?— спросила Лизавета Александровна.

— Какой? — отвѣчалъ Александръ: — я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ. Любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы. Я одинъ выше, прекраснѣе,—тутъ онъ выпрямился,—лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ. Въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другого...

Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александръ не замѣчалъ.

— Для меня, — продолжалъ онъ съ блистающими глазами: — она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишенія, наконецъ, презрѣть самую смерть— вотъ любовь! а эта...

— А вы чѣмъ бы вознаградили за эту любовь?—спросила тетка.

— Я? О!—началъ Александръ, возведя взоры къ небу:— я бы посвятилъ всю жизнь ей, я бы лежалъ у ногъ ея. Смотрѣть ей въ глаза было бы высшимъ счастьемъ. Каждое слово ея было бы мнѣ закономъ. Я бы пѣлъ ея красоту, нашу любовь, природу:

Съ ней обрѣли бъ уста мои
Языкъ Петрарки и любви...

Но развѣ я не доказалъ Наденькѣ, какъ я могу любить?

— Такъ вы совсѣмъ не вѣрите въ чувство, когда оно не выказывается такъ, какъ вы хотите? Сильное чувство прячется...

— Не хотите ли вы увѣрить меня, ma tante, что такое чувство, какъ дядюшкино, напримѣръ, прячется?

Лизавета Александровна вдругъ покраснѣла. Она не могла внутренно не согласиться съ племянникомъ, что чувство безъ всякаго проявленія какъ-то подозрительно, что, можетъ-быть, его и нѣтъ, что если бъ было, оно бы прорвалось наружу, что, кромѣ самой любви, обстановка ея заключаетъ въ себѣ неизъяснимую прелесть.

Тутъ она мысленно пробѣжала весь періодъ своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намекъ племянника пошевелилъ въ ея сердцѣ тайну, которую она прятала такъ глубоко, и навелъ ее на вопросъ: счастлива ли она?

Жаловаться она не имѣла права: всѣ наружныя условія счастья, за которымъ гоняется толпа, исполнялись надъ нею, какъ по заданной программѣ. Довольство, даже роскошь въ настоящемъ, обезпеченность въ будущемъ—все избавляло ее отъ мелкихъ, горькихъ заботъ, которыя сосутъ сердце и сушатъ грудь множества бѣдняковъ.

Мужъ ея неутомимо трудился и все еще трудится. Но что было главною цѣлью его трудовъ? Трудился ли онъ для общей человѣческой цѣли, исполняя заданный ему судьбою урокъ, или только для мелочныхъ причинъ, чтобы пріобрѣсть между людьми чиновное и денежное значеніе, для того ли, наконецъ, чтобы его не гнули въ дугу нужда, обстоятельства? Богъ его знаетъ. О высокихъ цѣляхъ онъ разговаривать не любилъ, называя это бредомъ, а говорилъ сухо и просто, что надо *дѣло дѣлать*.

Лизавета Александровна вынесла только то грустное заключеніе, что не она и не любовь къ ней были единственною цѣлью его рвенія и усилій. Онъ трудился и до же-

нитьбы, еще не зная своей жены. О любви онъ ей никогда не говорилъ и у ней не спрашивалъ; на ея вопросы объ этомъ отдѣлывался шуткой, остротой или дремотой. Вскорѣ послѣ знакомства съ ней, онъ заговорилъ о свадьбѣ, какъ будто давая знать, что любовь тутъ сама собою разумѣется и что о ней толковать много нечего...

Онъ былъ врагъ всякихъ эффектовъ—это бы хорошо; но онъ не любилъ и искреннихъ проявленій сердца, не вѣрилъ этой потребности и въ другихъ. Между тѣмъ, онъ однимъ взглядомъ, однимъ словомъ могъ бы создать въ ней глубокую страсть къ себѣ; но онъ молчитъ, онъ не хочетъ. Это даже не льститъ его самолюбію.

Она пробовала возбудить въ немъ ревность, думая, что тогда любовь непремѣнно выскажется... Ничего не бывало. Чуть онъ замѣтитъ, что она отличаетъ въ обществѣ какого-нибудь молодого человѣка, онъ спѣшитъ пригласить его къ себѣ, обласкаетъ, самъ не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наединѣ съ женой.

Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, можетъ-быть, Петръ Иванычъ дѣйствуетъ стратегически, что не въ томъ ли состоитъ его таинственная метода, чтобъ, поддерживая въ ней всегда сомнѣніе, тѣмъ поддерживать и самую любовь. Но при первомъ отзывѣ мужа о любви, она тотчасъ же разочаровывалась.

Если бъ онъ еще былъ грубъ, неотесанъ, бездушенъ, тяжелоуменъ, одинъ изъ тѣхъ мужей, которымъ имя легіонъ, которыхъ такъ безгрѣшно, такъ нужно, такъ отрадно обманывать, для ихъ и своего счастья, которые, кажется, для того и созданы, чтобъ женщина искала вокругъ себя и любила діаметрально противоположное имъ — тогда другое дѣло: она, можетъ-быть, поступила бы, какъ поступаетъ большая часть женъ въ такомъ случаѣ. Но Петръ Иванычъ былъ человѣкъ съ умомъ и тактомъ, не часто встрѣчающимся. Онъ былъ тонокъ, проницателенъ, ловокъ. Онъ по-

пималъ всѣ тревоги сердца, всѣ душевныя бури, но понималъ — и только. Весь кодексъ сердечныхъ дѣлъ былъ у него въ головѣ, но не въ сердцѣ. Въ его сужденіяхъ объ этомъ видно было, что онъ говоритъ какъ бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Онъ разсуждалъ о страстяхъ вѣрно, но не признавалъ надъ собой ихъ власти, даже смѣялся надъ ними, считая ихъ ошибками, уродливыми отступленіями отъ дѣйствительности, чѣмъ-то въ родѣ болѣзней, для которыхъ, со временемъ, явится своя медицина.

Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство надъ всѣмъ окружающимъ и терзалась этимъ.— «Если бъ онъ не былъ такъ уменъ», думала она: «я была бы спасена...» Онъ поклоняется положительнымъ цѣлямъ— это ясно, и требуетъ, чтобъ и жена жила не мечтательною жизнью.

«Но, Боже мой!» думала Лизавета Александровна: «ужели онъ женился только для того, чтобъ имѣть хозяйку, чтобъ придать своей холостой квартирѣ полноту и достоинство семейнаго дома, чтобъ имѣть больше вѣса въ обществѣ? Хозяйка, жена — въ самомъ прозаическомъ смыслѣ этихъ словъ! Да развѣ онъ не постигаетъ, со всѣмъ своимъ умомъ, что и въ положительныхъ цѣляхъ женщины присутствуетъ непремѣнно любовь?.. Семейныя обязанности— вотъ ея заботы: но развѣ можно исполнять ихъ безъ любви? Няньки, кормилицы, и тѣ творятъ себѣ кумира изъ ребенка, за которымъ ходятъ; а жена, а мать! О, пусть я купила бы себѣ чувство муками, пусть бы перенесла всѣ страданія, какія неразлучны со страстью, но лишь бы жить полною жизнью, лишь бы чувствовать свое существованіе, а не прозябать!..»

Она взглянула на роскошную мебель и на всѣ игрушки и дорогія бездѣлки своего будуара — и весь этотъ комфортъ, которымъ у другихъ заботливая рука любящаго человѣка

окружаетъ любимую женщину, показался ей холодною насмѣшкой надъ истиннымъ счастьемъ. Она была свидѣтельницею двухъ страшныхъ крайностей — въ племянникѣ и мужѣ. Одинъ восторженъ до сумасбродства, другой—ледянъ до ожесточенія.

«Какъ мало понимаютъ оба они, да и бо́льшая часть мужчинъ, истинное чувство! и какъ я понимаю его!» думала она: «а что̀ пользы? зачѣмъ? О, если бъ...»

Она закрыла глаза и пробыла такъ нѣсколько минутъ, потомъ открыла ихъ, оглянулась вокругъ, тяжело вздохнула и тотчасъ приняла обыкновенный, покойный видъ. Бѣдняжка! Никто не зналъ объ этомъ, никто не видѣлъ этого. Ей бы вмѣнили въ преступленіе эти невидимыя, неосязаемыя, безыменныя страданія, безъ ранъ, безъ крови, прикрытыя не лохмотьями, а бархатомъ. Но она съ героическимъ самоотверженіемъ таила свою грусть, да еще находила довольно силъ, чтобъ утѣшать другихъ.

Скоро Александръ пересталъ говорить и о высокихъ страданіяхъ, и о непонятой и неоцѣненной любви. Онъ перешелъ къ болѣе общей темѣ. Онъ жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.

Я пережилъ свои страданья,
Я разлюбилъ свои мечты...

твердилъ онъ безпрестанно.

— И теперь меня преслѣдуетъ черный демонъ. Онъ, ma tante, всюду со мной: и ночью, и за дружеской бесѣдой, за чашей пиршества, и въ минуту глубокой думы!

Такъ прошло нѣсколько недѣль. Кажется, вотъ еще бы недѣли двѣ, такъ чудакъ и успокоился бы совсѣмъ и, можетъ-быть, сдѣлался бы совсѣмъ порядочнымъ, то-есть простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ всѣ. Такъ нѣтъ! Особенность его странной натуры находила вездѣ случай проявиться.

Однажды онъ пришелъ къ теткѣ въ припадкѣ какого-то

пималъ всѣ тревоги сердца, всѣ душевныя бури, но понималъ — и только. Весь кодексъ сердечныхъ дѣлъ былъ у него въ головѣ, но не въ сердцѣ. Въ его сужденіяхъ объ этомъ видно было, что онъ говоритъ какъ бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Онъ разсуждалъ о страстяхъ вѣрно, но не признавалъ надъ собой ихъ власти, даже смѣялся надъ ними, считая ихъ ошибками, уродливыми отступленіями отъ дѣйствительности, чѣмъ-то въ родѣ болѣзней, для которыхъ, со временемъ, явится своя медицина.

Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство надъ всѣмъ окружающимъ и терзалась этимъ.— «Если бъ онъ не былъ такъ уменъ», думала она: «я была бы спасена...» Онъ поклоняется положительнымъ цѣлямъ— это ясно, и требуетъ, чтобъ и жена жила не мечтательною жизнью.

«Но, Боже мой!» думала Лизавета Александровна: «ужели онъ женился только для того, чтобъ имѣть хозяйку, чтобъ придать своей холостой квартирѣ полноту и достоинство семейнаго дома, чтобъ имѣть больше вѣса въ обществѣ? Хозяйка, жена — въ самомъ прозаическомъ смыслѣ этихъ словъ! Да развѣ онъ не постигаетъ, со всѣмъ своимъ умомъ, что и въ положительныхъ цѣляхъ женщины присутствуетъ непремѣнно любовь?.. Семейныя обязанности— вотъ ея заботы: но развѣ можно исполнять ихъ безъ любви? Няньки, кормилицы, и тѣ творятъ себѣ кумира изъ ребенка, за которымъ ходятъ; а жена, а мать! О, пусть я купила бы себѣ чувство муками, пусть бы перенесла всѣ страданія, какія неразлучны со страстью, но лишь бы жить полною жизнью, лишь бы чувствовать свое существованіе, а не прозябать!..»

Она взглянула на роскошную мебель и на всѣ игрушки и дорогія бездѣлки своего будуара—и весь этотъ комфортъ, которымъ у другихъ заботливая рука любящаго человѣка

окружаетъ любимую женщину, показался ей холодною насмѣшкой надъ истиннымъ счастьемъ. Она была свидѣтельницею двухъ страшныхъ крайностей — въ племянникѣ и мужѣ. Одинъ восторженъ до сумасбродства, другой—ледянъ до ожесточенія.

«Какъ мало понимаютъ оба они, да и бо́льшая часть мужчинъ, истинное чувство! и какъ я понимаю его!» думала она: «а что́ пользы? зачѣмъ? О, если бъ...»

Она закрыла глаза и пробыла такъ нѣсколько минутъ, потомъ открыла ихъ, оглянулась вокругъ, тяжело вздохнула и тотчасъ приняла обыкновенный, покойный видъ. Бѣдняжка! Никто не зналъ объ этомъ, никто не видѣлъ этого. Ей бы вмѣнили въ преступленіе эти невидимыя, неосязаемыя, безыменныя страданія, безъ ранъ, безъ крови, прикрытыя не лохмотьями, а бархатомъ. Но она съ героическимъ самоотверженіемъ таила свою грусть, да еще находила довольно силъ, чтобъ утѣшать другихъ.

Скоро Александръ пересталъ говорить и о высокихъ страданіяхъ, и о непонятой и неоцѣненной любви. Онъ перешелъ къ болѣе общей темѣ. Онъ жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.

Я пережилъ свои страданья,
Я разлюбилъ свои мечты...

твердилъ онъ безпрестанно.

— И теперь меня преслѣдуетъ черный демонъ. Онъ, ma tante, всюду со мной: и ночью, и за дружеской бесѣдой, за чашей пиршества, и въ минуту глубокой думы!

Такъ прошло нѣсколько недѣль. Кажется, вотъ еще бы недѣли двѣ, такъ чудакъ и успокоился бы совсѣмъ и, можетъ-быть, сдѣлался бы совсѣмъ порядочнымъ, то-есть простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ всѣ. Такъ нѣтъ! Особенность его странной натуры находила [illegible] случай проявиться.

Однажды онъ пришелъ къ теткѣ въ прии[illegible]то

злобнаго расположенія духа на весь родъ людской. Что слово, то колкость, что сужденіе, то эпиграмма, направленная и на тѣхъ, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Иванычу. Лизавета Александровна стала допытываться причины.

— Вы хотите знать,—началъ онъ тихо, торжественно:— что̀ меня теперь *волнуетъ, бѣситъ*? Слушайте же: вы знаете, я имѣлъ друга, котораго не видалъ нѣсколько лѣтъ, но для котораго у меня всегда оставался уголокъ въ сердцѣ. Дядюшка, въ началѣ моего пріѣзда сюда, принудилъ меня написать къ нему странное письмо, въ которомъ заключались его любимыя правила и образъ мыслей; но я то изорвалъ и послалъ другое, стало-быть, мѣняться моему пріятелю было не отъ чего. Послѣ этого письма наша переписка прекратилась, и я потерялъ своего пріятеля изъ виду. Что же случилось? Дня три назадъ, иду по Невскому проспекту и вдругъ вижу его. Я остолбенѣлъ, по мнѣ побѣжали искры, въ глазахъ явились слезы. Я протянулъ ему руки и не могъ отъ радости сказать ни слова: духъ захватило. Онъ взялъ одну руку и пожалъ. «Здравствуй, Адуевъ!» сказалъ онъ такимъ голосомъ, какъ будто мы вчера только съ нимъ разстались. «Давно ли ты здѣсь?» удивился, что мы до сихъ поръ не встрѣтились, слегка спросилъ, что я дѣлаю, гдѣ служу, долгомъ счелъ увѣдомить, что онъ имѣетъ прекрасное мѣсто, доволенъ и службой, и начальниками, и товарищами, и... всѣми людьми, и своей судьбой... потомъ сказалъ, что ему некогда, что онъ торопится на званый обѣдъ — слышите, ma tante? при свиданіи, послѣ долгой разлуки, съ другомъ; онъ не могъ отложить обѣда...

— Но, можетъ-быть, его стали бы ждать, — замѣтила тетка:—приличія не позволили...

— Приличія и дружба? и вы, ma tante! да это еще что: я вамъ скажу лучше. Онъ сунулъ мнѣ въ руку адресъ, сказалъ, что вечеромъ на другой день ожидаетъ меня къ

себѣ — и исчезъ. Долго я смотрѣлъ ему вслѣдъ и все не могъ придти въ себя. Это товарищъ дѣтства, это другъ юности! хорошъ! Но потомъ подумалъ, что, можетъ-быть, онъ все отложилъ до вечера и тогда посвятитъ время искренней, задушевной бесѣдѣ. «Такъ и быть, думаю, пойду». Являюсь. У него было человѣкъ десять пріятелей. Онъ протянулъ мнѣ руку ласковѣе, нежели наканунѣ — это правда, но за то, не говоря ни слова, тотчасъ же предложилъ сѣсть за карты. Я сказалъ, что не играю, и усѣлся одинъ на диванѣ, полагая, что онъ броситъ карты и придетъ ко мнѣ. «Не играешь? — сказалъ онъ съ удивленіемъ: — что же ты дѣлаешь?» Хорошъ вопросъ! Вотъ я жду часъ, два, онъ не подходитъ ко мнѣ; я выхожу изъ терпѣнія. Онъ предлагалъ мнѣ то сигару, то трубку, жалѣлъ, что я не играю, что мнѣ скучно, старался занять меня — чѣмъ, какъ вы думаете? безпрестанно обращался ко мнѣ и разсказывалъ всякій свой удачный и неудачный выходъ. Я, наконецъ, не вытерпѣлъ, подошелъ къ нему и спросилъ, намѣренъ ли онъ удѣлить мнѣ сколько-нибудь времени въ этотъ вечеръ? А сердце у меня такъ и кипѣло, голосъ дрожалъ. Это его, кажется, удивило. Онъ посмотрѣлъ на меня странно. «Хорошо, говоритъ, вотъ дай докончить пульку». Какъ только онъ сказалъ мнѣ это, я схватилъ шляпу и хотѣлъ уйти, но онъ замѣтилъ и остановилъ меня. «Пулька кончается, — сказалъ онъ: — сейчасъ будемъ ужинать». Наконецъ кончили. Онъ сѣлъ подлѣ меня и зѣвнулъ: тѣмъ и началась наша дружеская бесѣда. «Ты мнѣ что-то хотѣлъ сказать?» спросилъ онъ. Это было сказано такимъ монотоннымъ и безчувственнымъ голосомъ, что я, ничего не говоря, только посмотрѣлъ на него съ грустной улыбкой. Тутъ онъ вдругъ будто ожилъ и засыпалъ меня вопросами: «что съ тобой? да не нуждаешься ли въ чемъ? да не могу ли я быть тебѣ полезнымъ по службѣ?..» и т. п. Я покачалъ головой и сказалъ ему, что я хотѣлъ говорить съ нимъ не о службѣ,

не о матеріальныхъ выгодахъ, а о томъ, что ближе къ сердцу: о золотыхъ дняхъ дѣтства, объ играхъ, о проказахъ... Онъ, представьте! даже не далъ мнѣ договорить. «Ты еще все, говоритъ, такой же мечтатель!» потомъ вдругъ перемѣнилъ разговоръ, какъ-будто считая его пустяками, и началъ серьезно разспрашивать меня о моихъ дѣлахъ, о надеждахъ на будущее, о карьерѣ, какъ дядюшка. Я удивился, не вѣрилъ, чтобъ въ человѣкѣ могло до такой степени огрубѣть сердце. Я хотѣлъ испытать въ послѣдній разъ, привязался къ вопросу его о моихъ дѣлахъ и началъ разсказывать о томъ, какъ поступили со мной. «Ты выслушай, что сдѣлали со мной *люди*...» началъ-было я. «А что?—вдругъ перебилъ онъ съ испугомъ:—вѣрно обокрали?» Онъ думалъ, что я говорю про лакеевъ; другого горя онъ не знаетъ, какъ дядюшка: до чего можетъ окаменѣть человѣкъ! «Да,—сказалъ я:—люди обокрали мою душу...» Тутъ я заговорилъ о моей любви, о мученіяхъ, о душевной пустотѣ... я началъ-было увлекаться и думалъ, что повѣсть моихъ страданій растопитъ ледяную кору, что еще въ глазахъ его не высохли слезы... Какъ вдругъ онъ—разразился хохотомъ! смотрю, въ рукахъ у него платокъ: онъ во время моего разсказа все крѣпился, наконецъ не выдержалъ... Я въ ужасѣ остановился.

— Полно, полно,—сказалъ онъ:—лучше выпей-ка водки, да станемъ ужинать. Человѣкъ! водки. Пойдемъ, пойдемъ, ха-ха-ха!.. есть славный... рост... ха-ха-ха!.. ростбифъ...

— Онъ взялъ-было меня подъ руку, но я вырвался и бѣжалъ отъ этого чудовища... Вотъ каковы люди, ma tante!—заключилъ Александръ, потомъ махнулъ рукой и ушелъ.

Лизаветѣ Александровнѣ стало жаль Александра; жаль его пылкаго, но ложно направленнаго сердца. Она увидѣла, что при другомъ воспитаніи и правильномъ взглядѣ на жизнь, онъ былъ бы счастливъ самъ и могъ бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь онъ жертва собственной

слѣпоты и самыхъ мучительныхъ заблужденій сердца. Онъ самъ дѣлаетъ изъ жизни пытку. Какъ указать настоящій путь его сердцу? Гдѣ этотъ спасительный компасъ? Она чувствовала, что только нѣжная, дружеская рука могла ухаживать за этимъ цвѣткомъ.

Ей удалось уже разъ укротить безпокойные порывы въ сердцѣ племянника, но то было въ дѣлѣ любви. Тамъ она знала, какъ обойтись съ оскорбленнымъ сердцемъ. Она, какъ искусная дипломатка, первая осыпала укоризнами Наденьку, выставила ея поступокъ въ самомъ черномъ видѣ, опошлила ее въ глазахъ Александра и успѣла доказать ему, что она недостойна его любви. Этимъ она вырвала изъ сердца Александра мучительную боль, замѣнивъ ее покойнымъ, хотя несовсѣмъ справедливымъ чувствомъ — презрѣніемъ. Петръ Иванычъ, напротивъ, старался оправдать Наденьку и этимъ не только не успокоилъ, но еще растравилъ его муку, заставилъ думать, что ему предпочтенъ достойнѣйшій.

Но въ дружбѣ другое дѣло. Лизавета Александровна видѣла, что другъ Александра былъ виноватъ въ его глазахъ и правъ въ глазахъ толпы. Прошу растолковать это Александру! Она не рѣшилась на этотъ подвигъ сама и прибѣгла къ мужу, полагая, не безъ основанія, что у него за доводами противъ дружбы дѣло не станетъ.

— Петръ Иванычъ!—сказала она однажды ему ласково:— я къ тебѣ съ просьбой?

— Что такое?

— Угадай.

— Говори: ты знаешь, на твои просьбы отказа нѣтъ. Вѣрно о петергофской дачѣ: вѣдь теперь еще рано...

— Нѣтъ!—сказала Лизавета Александровна.

— Что же? ты говорила, что боишься нашихъ лошадей, хотѣла посмирнѣе...

— Нѣтъ!

— Ну, о новой мебели?...

Она покачала головой.

— Воля твоя, не знаю,—сказалъ Петръ Иванычъ:—вотъ возьми лучше ломбардный билетъ и распорядись, какъ тебѣ нужно; это вчерашній выигрышъ...

Онъ досталъ-было бумажникъ.

— Нѣтъ, не безпокойся, спрячь деньги назадъ,—сказала Лизавета Александровна: — это дѣло не будетъ стоить тебѣ ни копейки.

— Не брать денегъ, когда даютъ!—сказалъ Петръ Иванычъ, пряча бумажникъ: — это непостижимо! Что же нужно?

— Нужно только немного доброй воли...

— Сколько хочешь.

— Вотъ видишь: третьяго дня былъ у меня Александръ...

— Охъ, чувствую недоброе! — перебилъ Петръ Иванычъ:—ну?

— Онъ такой мрачный,—продолжала Лизавета Александровна:—я боюсь, чтобъ все это не довело его до чего-нибудь...

— Да что съ нимъ еще? Опять измѣнили въ любви, что ли?

— Нѣтъ, въ дружбѣ.

— Въ дружбѣ! часъ отъ часу не легче! Какъ же въ дружбѣ? это любопытно: разскажи пожалуйста.

— А вотъ какъ.

Тутъ Лизавета Александровна разсказала ему все, что слышала отъ племянника. Петръ Иванычъ сильно пожалъ плечами.

— Что жъ ты хочешь, чтобъ я тутъ сдѣлалъ? видишь, какой онъ!

— А ты обнаружь ему участіе, спроси, въ какомъ положеніи его сердце...

— Нѣтъ, это ужъ ты спроси.

— Поговори съ нимъ... какъ это?.. понѣжнѣе, а не такъ, какъ ты всегда говоришь... не смѣйся надъ чувствомъ...

— Не прикажешь ли заплакать?

— Не мѣшало бы.

— А что пользы ему отъ этого?

— Много... и не одному ему...—замѣтила вполголоса Лизавета Александровна.

— Что?—спросилъ Петръ Иванычъ.

Она молчала.

— Охъ ужъ мнѣ этотъ Александръ: онъ у меня вотъ гдѣ сидитъ!—сказалъ Петръ Иванычъ, показывая на шею.

— Чѣмъ это онъ такъ обременилъ тебя?

— Какъ чѣмъ? Шесть лѣтъ вожусь съ нимъ: то онъ расплачется — надо утѣшать, то поди переписывайся съ матерью.

— Въ самомъ дѣлѣ, бѣдный! Какъ это достаетъ тебя? Какой страшный трудъ: получить разъ въ мѣсяцъ письмо отъ старушки и, не читая, бросить подъ столъ, или поговорить съ племянникомъ! Какъ же, вѣдь это отвлекаетъ отъ виста! Мужчины, мужчины! Если есть хорошій обѣдъ, лафитъ за золотой печатью да карты—и все тутъ; ни до кого и дѣла нѣтъ! А если къ этому еще случай поважничать и поумничать—такъ и счастливы.

— Какъ для васъ пококетничать,—замѣтилъ Петръ Иванычъ.—Всякому свое, моя милая! Чего же еще?

— Чего! а сердце! объ этомъ никогда и рѣчи нѣтъ.

— Вотъ еще!

— Мы очень умны: какъ намъ заниматься такими мелочами? Мы ворочаемъ судьбами людей. Смотрятъ, что у человѣка въ карманѣ да въ петлицѣ фрака, а до остальнаго и дѣла нѣтъ. Хотятъ, чтобъ и всѣ были такіе! Нашелся между ними одинъ чувствительный, способный любить и заставить любить себя...

— Славно онъ заставилъ любить себя эту... какъ Вѣрочку, что ли?—замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— Нашелъ кого поставить съ нимъ наравнѣ! это насмѣшка судьбы. Она всегда, будто нарочно, сведетъ нѣжнаго, чувствительнаго человѣка съ холоднымъ созданіемъ! Бѣдный Александръ! У него умъ не идетъ наравнѣ съ сердцемъ, вотъ онъ и виноватъ въ глазахъ тѣхъ, у кого умъ забѣжалъ слишкомъ впередъ, кто хочетъ взять вездѣ только разсудкомъ...

— Согласись, однако, что это главное; иначе...

— Не соглашусь, ни за что не соглашусь: это главное тамъ на заводѣ, можетъ быть, а вы забываете, что у человѣка есть еще чувство...

— Пять! — сказалъ Адуевъ: — я еще это въ азбукѣ затвердилъ.

— И досадно, и грустно! — прошептала Лизавета Александровна.

— Ну, ну, не сердись: я сдѣлаю все, что прикажешь только научи—какъ?—сказалъ Петръ Иванычъ.

— А ты дай ему легкій урокъ...

— Нагоняй? изволь, это мое дѣло.

— Вотъ ужъ и нагоняй! Ты объясни ему поласковѣе, чего можно требовать и ожидать отъ нынѣшнихъ друзей; скажи, что другъ такъ не виноватъ, какъ онъ думаетъ... Да мнѣ ли учить тебя? ты такой умный... такъ хорошо хитришь...—прибавила Лизавета Александровна.

Петръ Иванычъ при послѣднемъ словѣ немного нахмурился.

— Мало ли тамъ у васъ было искреннихъ изліяній? — сказалъ онъ сердито: — шептались, шептались и все еще не перешептали всего о дружбѣ да о любви; теперь меня путаютъ...

— За то это въ послѣдній разъ,—сказала Лизавета Александровна:—я надѣюсь, что послѣ этого онъ утѣшится.

Петръ Иванычъ недовѣрчиво покачалъ головой.

— Есть ли у него деньги?—спросилъ онъ:—можетъ-быть нѣтъ, онъ и того...

— Только деньги на умѣ! Онъ готовъ былъ бы отдать всѣ деньги за одно привѣтливое слово друга.

— Чего добраго: отъ него станется! Разъ онъ и такъ далъ тамъ, у себя въ департаментѣ, чиновнику денегъ за искреннія изліянія... Вотъ кто-то позвонилъ: не онъ ли? Что надо сдѣлать? повторя: дать ему нагоняй... еще что? денегъ?

— Какой нагоняй? ты, пожалуй, хуже надѣлаешь. О дружбѣ я просила тебя поговорить, о сердцѣ, да поласковѣе, повнимательнѣе...

Александръ молча поклонился, молча и много ѣлъ за обѣдомъ, а въ антрактахъ каталъ шарики изъ хлѣба и смотрѣлъ на бутылки и графины исподлобья. Послѣ обѣда онъ взялся-было за шляпу.

— Куда же ты? — спросилъ Петръ Иванычъ: — посиди съ нами.

Александръ молча повиновался. Петръ Иванычъ думалъ, какъ бы приступить къ дѣлу понѣжнѣе и половчѣе, и вдругъ спросилъ скороговоркою:

— Я слышалъ, Александръ, что другъ твой поступилъ съ тобой какъ-то коварно?

При этихъ неожиданныхъ словахъ Александръ встряхнулъ головой, какъ будто его ранили, и устремилъ полный упрека взглядъ на тетку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа къ дѣлу и сначала опустила голову на работу, потомъ также съ упрекомъ поглядѣла на мужа; но онъ былъ подъ двойной эгидою пищеваренія и дремоты, и оттого не почувствовалъ рикошета этихъ взглядовъ.

Александръ отвѣчалъ на его вопросъ чуть слышнымъ вздохомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, — продолжалъ Петръ Иванычъ: —

какое коварство! что за другъ! не видался лѣтъ пять и охладѣлъ до того, что, при встрѣчѣ, не задушилъ друга въ объятіяхъ, а позвалъ его къ себѣ вечеромъ, хотѣлъ усадить въ карты... и накормить... А потомъ—коварный человѣкъ! замѣтилъ на лицѣ друга кислую мину и давай разспрашивать о его дѣлахъ, объ обстоятельствахъ, о нуждахъ— какое гнусное любопытство! да еще—о, верхъ коварства! осмѣлился предлагать свои услуги... помощь... можетъ быть, деньги! и никакихъ искреннихъ изліяній! ужасно, ужасно! Покажи, пожалуйста, мнѣ это чудовище, приведи въ пятницу обѣдать!.. А почемъ онъ играетъ?

— Не знаю, — сказалъ Александръ сердито. — Смѣйтесь, дядюшка: вы правы; я виноватъ одинъ. Повѣрить людямъ, искать симпатіи — въ комъ? разсыпать бисеръ — передъ кѣмъ? Кругомъ низость, слабодушіе, мелочность, а я еще сохранилъ юношескую вѣру въ добро, въ доблесть, въ постоянство...

Петръ Иванычъ началъ что-то часто и мѣрно кивать головой.

— Петръ Иванычъ! — сказала Лизавета Александровна шопотомъ, дернувъ его за рукавъ: — ты спишь?

— Вотъ сплю! сказалъ, проснувшись, Петръ Иванычъ: — я все слышу: «доблесть, постоянство», гдѣ же сплю?

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante! — замѣтилъ Александръ: — онъ не уснетъ, у него разстроится пищевареніе, и, Богъ знаетъ, что изъ этого будетъ. Человѣкъ, конечно, властелинъ земли, но онъ также и рабъ своего желудка.

При этомъ онъ хотѣлъ, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся какъ-то кисло.

— Скажи же мнѣ, чего ты хотѣлъ отъ своего друга? жертвы, что ли, какой-нибудь: чтобъ онъ на стѣну полѣзъ, или кинулся изъ окошка? Какъ ты понимаешь дружбу, что она такое?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Теперь ужъ жертвы не потребую—не безпокойтесь. Я, благодаря людямъ, низошелъ до жалкаго понятія и о дружбѣ, какъ о любви... Вотъ я всегда носилъ съ собой эти строки, которыя казались мнѣ вѣрнѣйшимъ опредѣленіемъ этихъ двухъ чувствъ, какъ я ихъ понималъ и какъ они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей, или жалкое незнаніе ихъ сердца... Люди не способны къ такимъ чувствамъ. Прочь—это коварныя слова!..

Онъ досталъ изъ кармана бумажникъ, а изъ бумажника двѣ осьмушки исписанной бумаги.

— Что это такое?—спросилъ дядя:—покажи.

— Не стоитъ! — сказалъ Александръ и хотѣлъ рвать бумаги.

— Прочтите, прочтите! — стала просить Лизавета Александровна.

— Вотъ какъ два новѣйшіе французскіе романиста опредѣляютъ истинную дружбу и любовь, и я согласился съ ними, думалъ, что встрѣчу въ жизни такія существа и найду въ нихъ... да что!

Онъ презрительно махнулъ рукой и началъ читать:

«Любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живетъ въ нашихъ раззолоченныхъ палатахъ, которая не устоитъ передъ горстью золота, которая боится двусмысленнаго слова, но тою могучею дружбою, которая отдаетъ кровь за кровь, которая докажетъ себя въ битвѣ и кровопролитіи, при громѣ пушекъ, подъ ревомъ бурь, когда друзья лобзаются прокопченными порохомъ устами, обнимаются окровавленными объятіями... И если Пиладъ раненъ на смерть, Орестъ, энергически прощаясь съ нимъ, вѣрнымъ ударомъ кинжала прекращаетъ его мученія, страшно клянется отмстить, и сдерживаетъ клятву, потомъ отираетъ слезу и успокаивается...»

Петръ Иванычъ засмѣялся своимъ мѣрнымъ, тихимъ смѣхомъ.

какое коварство! что за другъ! не видался лѣтъ и охладѣлъ до того, что, при встрѣчѣ, не задушилъ въ объятіяхъ, а позвалъ его къ себѣ вечеромъ, х усадить въ карты... и накормить... А потомъ—кова человѣкъ! замѣтилъ на лицѣ друга кислую мину и разспрашивать о его дѣлахъ, объ обстоятельствахъ, о дахъ— какое гнусное любопытство! да еще—о, верхъ и ства! осмѣлился предлагать свои услуги... помощь... м быть, деньги! и никакихъ искреннихъ изліяній! у ужасно! Покажи, пожалуйста, мнѣ это чудовище, пр въ пятницу обѣдать!.. А почемъ онъ играетъ?

— Не знаю. — сказалъ Александръ сердито. — Смѣ дядюшка: вы правы; я виноватъ одинъ. Повѣрить ли искать симпатіи — въ комъ? разсыпать бисеръ — и кѣмъ? Кругомъ низость, слабодушіе, мелочность, а сохранилъ юношескую вѣру въ добро, въ доблесть, в стоянство...

Петръ Иванычъ началъ что-то часто и мѣрно г головой.

— Петръ Иванычъ! — сказала Лизавета Александ шопотомъ, дернувъ его за рукавъ: — ты спишь?

— Вотъ сплю! сказалъ, проснувшись, Петръ Иваны я все слышу: «доблесть, постоянство», гдѣ же сплю?

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante! — замѣтилъ ксандръ: — онъ не успетъ, у него разстроится пище ніе, и, Богъ знаетъ, что изъ этого будетъ. Человѣкъ нечно, властелинъ земли, но онъ также и рабъ желудка.

При этомъ онъ хотѣлъ, кажется, горько улыбнуть улыбнулся какъ-то кисло.

— Скажи же мнѣ, чего ты хотѣлъ отъ своего жертвы, что ли, какой-нибудь: чтобъ онъ на стѣну по или кинулся изъ окошка? Какъ ты понимаешь дружб она такое?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Теперь, ужъ жертвы не потребую—не безпокойтесь. Я, благодаря людямъ, низошелъ до жалкаго понятія и о дружбѣ, какъ о любви... Вотъ я всегда носилъ съ собой эти строки, которыя казались мнѣ вѣрнѣйшимъ опредѣленіемъ этихъ двухъ чувствъ, какъ я ихъ понималъ и какъ они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей, или жалкое незнаніе ихъ сердца... Люди не способны къ такимъ чувствамъ. Прочь—это коварныя слова!..

Онъ досталъ изъ кармана бумажникъ, а изъ бумажника двѣ осьмушки исписанной бумаги.

— Что это такое?—спросилъ дядя:—покажи.

— Не стоитъ! — сказалъ Александръ и хотѣлъ рвать бумаги.

— Прочтите, прочтите! — стала просить Лизавета Александровна.

— Вотъ какъ два новѣйшіе французскіе романиста опредѣляютъ истинную дружбу и любовь, и я согласился съ ними, думалъ, что встрѣчу въ жизни такія существа и найду въ нихъ... да что!

Онъ презрительно махнулъ рукой и началъ читать:

«Любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живетъ въ нашихъ раззолоченныхъ палатахъ, которая не устоитъ передъ горстью золота, которая боится двусмысленнаго слова, но тою могучею дружбою, которая отдаетъ кровь за кровь, которая докажетъ себя въ битвѣ и кровопролитіи, при громѣ пушекъ, подъ ревомъ бурь, когда друзья лобзаются прокопченными порохомъ устами, обнимаются окровавленными объятіями... И если Пиладъ раненъ на смерть, Орестъ, энергически прощаясь съ нимъ, мѣткимъ ударомъ кинжала прекращаетъ его мученія, страшно клянется отмстить, и сдерживаетъ клятву, потомъ отираетъ слезу и успокаивается...»

Петръ Ивановичъ засмѣялся своимъ мѣрнымъ, тихимъ смѣхомъ.

— Надъ кѣмъ вы, дядюшка, смѣетесь? — спросилъ А ксандръ.

— Надъ авторомъ, если онъ говоритъ это не шут отъ себя, а потомъ надъ тобой, если ты дѣйствительно т понималъ дружбу.

— Ужели это только смѣшно? — спросила Лизавета . ксандровна.

— Только. Виноватъ: смѣшно и жалко. Впрочемъ Александръ согласенъ съ этимъ и позволилъ смѣяться. (самъ сейчасъ сознался, что такая дружба — ложь и клеп на людей. Это ужъ важный шагъ впередъ.

— Ложь потому, что люди неспособны возвышаться того понятія о дружбѣ, какая должна быть...

— Если люди неспособны, такъ и не должна быть.. сказалъ Петръ Иванычъ.

— Но бывали же примѣры...

— Это исключенія, а исключенія почти всегда не хоро «Окровавленныя объятія, страшная клятва, ударъ и жала!..»

И онъ опять засмѣялся.

— Ну-ка, прочти о любви, — продолжалъ онъ: — у мен сонъ прошелъ.

— Если это можетъ доставить вамъ случай посмѣят еще — извольте! — сказалъ Александръ и началъ читать (дующее:

«Любить значитъ — не принадлежать себѣ, перестать я для себя, перейти въ существованіе другого, сосредото на одномъ предметѣ всѣ человѣческія чувства — надеж страхъ, горесть, наслажденіе; любить значитъ жить въ (конечномъ»...

— Чортъ знаетъ, что такое! — перебилъ Петръ И нычъ: — какой наборъ словъ!

— Нѣтъ, это очень хорошо! мнѣ нравится, — замѣт Лизавета Александровна. — Продолжайте, Александръ.

«Не знать предѣла чувству, посвятить себя одному существу», продолжалъ Александръ читать: «и жить, мыслить только для его счастія, находить величіе въ униженіи, наслажденіе въ грусти и грусть въ наслажденіи, предаваться всевозможнымъ противоположностямъ, кромѣ любви и ненависти. Любить значитъ жить въ идеальномъ мірѣ»...

Петръ Иванычъ покачалъ при этомъ головой.

«Въ идеальномъ мірѣ (продолжалъ Александръ), превосходящемъ блескомъ и великолѣпіемъ всякій блескъ и великолѣпіе. Въ этомъ мірѣ небо кажется чище, природа роскошнѣе; раздѣлять жизнь и время на два раздѣленія—присутствіе и отсутствіе, на два времени года—весну и зиму; первому соотвѣтствуетъ весна, второму — зима, потому что, какъ бы ни были прекрасны цвѣты и чиста лазурь неба, но въ отсутствіи вся прелесть того и другого помрачается; въ цѣломъ мірѣ видѣть только одно существо и въ этомъ существѣ заключать вселенную... Наконецъ, любить значитъ подстерегать каждый взглядъ любимаго существа, какъ бедуинъ подстерегаетъ каждую каплю росы, для освѣженія запекшихся отъ зноя устъ; волноваться въ отсутствіи его роемъ мыслей, а при немъ не умѣть высказать ни одной, стараться превзойти другъ друга въ пожертвованіяхъ.»

— Довольно, ради Бога, довольно!—перебилъ Петръ Иванычъ:—терпѣнья нѣтъ! ты рвать хотѣлъ: рви же, рви скорѣй! вотъ такъ!

Петръ Ивановичъ даже всталъ съ креселъ и началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Неужели былъ вѣкъ, когда, не шутя, думали такъ и продѣлывали все это?—сказалъ онъ.—Неужели все, что пишутъ о рыцаряхъ и пастушкахъ не обидная выдумка на нихъ? И какъ достаетъ охоты расшевеливать и анализировать такъ подробно эти жалкія струны души человѣческой... любовь! придавать всему этому такое значеніе...

Онъ пожалъ плечами.

— Зачѣмъ, дядюшка, уноситься такъ далеко? — сказ Александръ: — я самъ чувствую въ себѣ эту силу любв горжусь ею. Мое несчастіе состоитъ въ томъ только, чт не встрѣтилъ существа, достойнаго этой любви и одар наго такою же силой...

— Сила любви!—повторилъ Петръ Иванычъ:—все ра если бъ ты сказалъ—сила слабости.

— Это не по тебѣ, Петръ Иванычъ, — замѣтила Ли вета Александровна:—ты не хочешь вѣрить существова такой любви и въ другихъ...

— А ты? неужели ты вѣришь? — спросилъ Петръ И нычъ, подходя къ ней: — да нѣтъ, ты шутишь! Онъ ребенокъ и не знаетъ ни себя, ни другихъ, а тебѣ было стыдно! Неужели ты могла бы уважать мужчину, если онъ полюбилъ такъ?.. Такъ ли любятъ?

Лизавета Александровна оставила свою работу.

— Какъ же?—спросила она тихо, взявъ его за руки притягивая къ себѣ.

Петръ Иванычъ тихо высвободилъ свои руки изъ рукъ и украдкой показалъ на Александра, который сто у окна, спиной къ нимъ, и опять началъ совершать хожденіе по комнатѣ.

— Какъ! — говорилъ онъ: — будто ты не слыхала, к любятъ!..

— Любятъ!—повторила она задумчиво, и медленно н нялась опять за работу.

Съ четверть часа длилось молчаніе. Петръ Иванычъ вый прервалъ его.

— Что ты теперь дѣлаешь?—спросилъ онъ племянн

— Да... ничего.

— Мало. Ну, читаешь, по крайней мѣрѣ?

— Да...

— Что же?

— Басни Крылова.

— Хорошая книга; да не одну же ее?

— Теперь одну. Боже мой! какіе портреты людей, какая вѣрность!

— Ты что-то сердитъ на людей. Ужели любовь къ этой... какъ ее? сдѣлала тебя такимъ?..

— О! я и забылъ объ этой глупости. Недавно я проѣхалъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ былъ такъ счастливъ и такъ страдалъ, думалъ, что воспоминаніями разорву сердце на части.

— Что же, разорвалъ?

— Видѣлъ и дачу, и садъ, и рѣшётку, а сердце и не стукнуло.

— Ну, вотъ: я вѣдь говорилъ. Что же тебѣ такъ противны люди?

— Чѣмъ! своею низостью, мелкостью души... Боже мой! когда подумаешь, сколько подлостей вращается тамъ, гдѣ природа бросила такія чудныя сѣмена...

— Да тебѣ что̀ за дѣло? Исправить, что ли, хочешь людей?

— Что за дѣло? Развѣ до меня не долетаютъ брызги этой грязи, въ которой купаются люди? Вы знаете, что̀ случилось со мною—и послѣ всего этого не ненавидѣть, не презирать людей!

— Что же случилось съ тобой?

— Измѣна въ любви, какое-то грубое, холодное забвеніе въ дружбѣ... Да и вообще противно, гадко смотрѣть на людей, жить съ ними! Всѣ ихъ мысли, слова, дѣла — все зиждется на пескѣ. Сегодня бѣгутъ къ одной цѣли, спѣшатъ, сбиваютъ другъ друга съ ногъ, дѣлаютъ подлости, льстятъ, унижаются, строятъ козни, а завтра—и забыли о вчерашнемъ и бѣгутъ за другимъ. Сегодня восхищаются однимъ, завтра ругаютъ: сегодня горячи, нѣжны, завтра холодны... нѣтъ! какъ посмотришь—страшна, противна жизнь! А люди!..

Петръ Иванычъ, сидя въ креслахъ, задремалъ-было опять.

— Петръ Иванычъ! — сказала Лизавета Александровна, толкнувъ его тихонько.

— Хандришь, хандришь! Надо дѣломъ заниматься,—сказалъ Петръ Иванычъ, протирая глаза:—тогда и людей бранить не станешь, не за что. Чѣмъ не хороши твои знакомые? все люди порядочные.

— Да! за кого не хватишься, такъ какой-нибудь звѣрь изъ басенъ Крылова и есть,—сказалъ Александръ.

— Хозаровы, напримѣръ?

— Цѣлая семья животныхъ! — перебилъ Александръ. — Одинъ расточаетъ вамъ въ глаза лесть, ласкаетъ васъ, а за глаза... я слышалъ, что̀ онъ говоритъ обо мнѣ. Другой сегодня съ вами рыдаетъ о вашей обидѣ, а завтра зарыдаетъ съ вашимъ обидчикомъ; сегодня смѣется съ вами надъ другимъ, а завтра съ другимъ надъ вами... гадко!

— Ну, Лунины?

— Хороши и эти. Самъ онъ точно тотъ оселъ, отъ котораго соловей улетѣлъ за тридевять земель. А она такъ доброй лисицей смотритъ...

— Что скажешь о Сониныхъ?

— Да хорошаго ничего не скажешь. Сонинъ всегда дастъ хорошій совѣтъ, когда пройдетъ бѣда, а попробуйте обратиться въ нуждѣ... такъ онъ и отпуститъ безъ ужина домой, какъ лисица волка. Помните, какъ онъ юлилъ передъ вами, когда искалъ мѣста чрезъ ваше посредство? А теперь, послушайте, что̀ говоритъ про васъ...

— И Волочковъ не нравится тебѣ?

— Ничтожное и еще вдобавокъ злое животное...

Александръ даже плюнулъ.

— Ну, отдѣлалъ же!—промолвилъ Петръ Иванычъ.

— Чего же мнѣ ждать отъ людей? — продолжалъ Александръ.

— Всего: и дружбы, и любви, и штабъ-офицерскаго чина,

в денегъ... Ну, теперь заключи эту галлерею портретовъ нашими: скажи, какіе мы съ женой звѣри?

Александръ ничего не отвѣчалъ, но на лицѣ у него мелькнуло выраженіе тонкой, едва замѣтной ироніи. Онъ улыбнулся. Ни это выраженіе, ни улыбка не ускользнули отъ Петра Иваныча. Онъ переглянулся съ женой, та потупила глаза.

— Ну, а ты самъ что̀ за звѣрь?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Я не сдѣлалъ людямъ зла!—съ достоинствомъ произнесъ Александръ:—я исполнилъ въ отношеніи къ нимъ все... У меня сердце любящее; я распахнулъ широкія объятія для людей, а они что̀ сдѣлали?

— Что это, какъ онъ смѣшно говоритъ!—замѣтилъ Петръ Иванычъ, обратясь къ женѣ.

— Тебѣ все смѣшно!—отвѣчала она.

— И самъ я отъ людей не требовалъ,—продолжалъ Александръ:—ни подвиговъ добра, ни великодушія, ни самоотверженія... требовалъ только должнаго, слѣдующаго мнѣ по всѣмъ правамъ...

— Такъ ты правъ? Вышелъ совсѣмъ сухъ изъ воды. Постой же, я выведу тебя на свѣжую воду...

Лизавета Александровна замѣтила, что супругъ ея заговорилъ строгимъ тономъ и встревожилась.

— Петръ Иванычъ!—шептала она:—перестань...

— Нѣтъ, пусть выслушаетъ правду. Я мигомъ кончу. Скажи, пожалуйста, Александръ, когда ты клеймилъ сейчасъ своихъ знакомыхъ, то негодяями, то дураками, у тебя въ сердцѣ не зашевелилось что-нибудь похожее на угрызеніе совѣсти?

— Отчего же, дядюшка?

— А оттого, что у этихъ звѣрей ты нѣсколько лѣтъ кряду находилъ всегда радушный пріемъ: положимъ, передъ тѣми, отъ кого эти люди добивались чего-нибудь, они

хитрили, строили имъ козни, какъ ты говоришь; а въ тебѣ имъ нечего было искать: что же заставило ихъ зазывать тебя къ себѣ, ласкать?.. Не хорошо, Александръ!..—прибавилъ серьезно Петръ Иванычъ. — Другой за одно это, если бъ и зналъ за ними какіе-нибудь грѣшки, такъ промолчалъ бы.

Александръ весь вспыхнулъ.

— Я приписывалъ ихъ внимательность къ себѣ вашей рекомендаціи, — отвѣчалъ онъ, но уже безъ достоинства, а довольно смиренно.—Притомъ это свѣтскія отношенія...

— Ну, хорошо: возьмемъ несвѣтскія. Я ужъ доказывалъ тебѣ, не знаю только доказалъ ли, что къ своей этой... какъ ее? Сашенькѣ, что ли? ты былъ несправедливъ. Ты полтора года былъ у нихъ въ домѣ какъ свой: жилъ тамъ съ утра до вечера, да еще былъ любимъ этой *презрѣнной дѣвчонкой*, какъ ты ее называешь. Кажется, это не презрѣнія заслуживаетъ...

— А зачѣмъ она измѣнила?

— То-есть полюбила другого? И это мы рѣшили удовлетворительно. Да неужели ты думаешь, что если бъ она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбилъ ее?

— Я? никогда.

— Ну, такъ ты ничего не смыслишь. Пойдемъ дальше. Ты говоришь, что у тебя нѣтъ друзей, а я все думалъ, что у тебя ихъ трое.

— Трое? — воскликнулъ Александръ: — былъ когда-то одинъ, да и тотъ...

— Трое,—настойчиво повторилъ Петръ Иванычъ.—Первый, начнемъ по старшинству, этотъ *одинъ*. Не видавшись нѣсколько лѣтъ, другой бы, при встрѣчѣ, отвернулся отъ тебя, а онъ пригласилъ тебя къ себѣ, и когда ты пришелъ съ кислой миной, онъ съ участіемъ разспрашивалъ, не нужно ли тебѣ чего, сталъ предлагать тебѣ услуги, помощь, и я увѣренъ, что далъ бы и денегъ — да! а въ нашъ

бъ объ этотъ пробный камень споткнется не одно чувство... нѣтъ ты познакомь меня съ нимъ: онъ, я вижу, человѣкъ порядочный... а по-твоему коварный.

Александръ стоялъ, потупя голову.

— Ну, какъ ты думаешь, кто твой второй другъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Кто? — сказалъ съ недоумѣніемъ Александръ: — да какъ...

— Безсовѣстный!—перебилъ Петръ Иванычъ:—а? Лиза! и не краснѣетъ! а я какъ довожусь тебѣ, позволь спросить?

— Вы... родственникъ.

— Важный титулъ! Нѣтъ, я думалъ больше. Не хорошо, Александръ: это такая черта, которая даже на школьныхъ прописяхъ названа *гнусною*, и которой, кажется, у Крылова нѣтъ.

— Но вы всегда отталкивали меня... — робко говорилъ Александръ, не поднимая глазъ.

— Да, когда ты хотѣлъ обниматься.

— Вы смѣялись надо мной, надъ чувствомъ...

— А для чего, а зачѣмъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Вы слѣдили за мной шагъ за шагомъ.

— А! договорился! слѣдилъ! Найми-ка себѣ такого гувернера! Изъ чего я хлопоталъ? Я могъ бы еще прибавить кое-что, но это походило бы на пошлый упрекъ...

— Дядюшка!..—сказалъ Александръ, подходя къ нему и протягивая обѣ руки.

— На свое мѣсто: я еще не кончилъ!—холодно сказалъ Петръ Иванычъ.—Третьяго и лучшаго друга, надѣюсь, найдешь самъ...

Александръ опять смотрѣлъ на него и, кажется, спрашивалъ: «да гдѣ же онъ?» Петръ Иванычъ указалъ на жену.

— Вотъ она.

— Петръ Иванычъ,—перебила Лизавета Александровна:— не умничай, ради Бога, оставь...

— Нѣтъ, не мѣшай.

— Я умѣю цѣнить дружбу гетушки... — бормоталъ Александръ невнятно.

— Нѣтъ, не умѣешь: если бъ умѣлъ, ты бы не искалъ глазами друга на потолкѣ, а указалъ бы на нее. Если бъ чувствовалъ ея дружбу, ты, изъ уваженія къ ея достоинствамъ, не презиралъ бы людей. Она одна выкупила бы, въ глазахъ твоихъ, недостатки другихъ. Кто осушалъ твои слезы да хныкалъ съ тобой вмѣстѣ? Кто во всякомъ твоемъ вздорѣ принималъ участіе, и какое участіе! Развѣ только мать могла бы такъ горячо принимать къ сердцу все, что до тебя касается, и та не сумѣла бы. Если бъ ты чувствовалъ это, ты не улыбнулся бы давеча иронически, ты бы видѣлъ, что тутъ нѣтъ ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любитъ тебя, какъ родная сестра...

— Ахъ! ma tante! — сказалъ Александръ, растерянный и совсѣмъ уничтоженный этимъ упрекомъ: — неужели вы думаете, что я не цѣню этого и не считаю васъ блистательнымъ исключеніемъ изъ толпы? Боже, Боже! клянусь...

— Вѣрю, вѣрю, Александръ! — отвѣчала она: — вы не слушайте Петра Иваныча: онъ изъ мухи дѣлаетъ слона: радъ случаю поумничать. Перестань, ради Бога, Петръ Иванычъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, кончу — *еще одно послѣднее сказанье!* Ты сказалъ, что исполняешь все, чего требуютъ отъ тебя твои обязанности къ другимъ?

Александръ уже ни слова не отвѣчалъ и не поднималъ глазъ.

— Ну, скажи, любишь ли ты свою мать?

Александръ вдругъ ожилъ.

— Какой вопросъ? — сказалъ онъ: — кого послѣ этого любить мнѣ? Я ее обожаю, я отдалъ бы за нее жизнь...

— Хорошо. Стало-быть, тебѣ извѣстно, что она живетъ, дышитъ только тобою, что всякая твоя радость и горе —

радость и горе для нея. Она теперь время считаетъ не мѣсяцами, не недѣлями, а вѣстями о тебѣ и отъ тебя... Скажи-ка, давно ли ты писалъ къ ней?

Александръ встрепенулся.

— Недѣли... три,—пробормоталъ онъ.

— Нѣтъ: четыре мѣсяца! Какъ прикажешь назвать такой поступокъ? Ну-ка, какой ты звѣрь? Можетъ-быть, оттого и не называешь, что у Крылова такого нѣтъ.

— А что?—вдругъ съ испугомъ спросилъ Александръ.

— А то, что старуха больна съ горя.

— Ужели? Боже! Боже!

— Неправда! неправда! — сказала Лизавета Александровна и тотчасъ же побѣжала къ бюро и достала оттуда письмо, которое подала Александру. — Она не больна, но очень тоскуетъ.

— Ты балуешь его, Лиза,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— А ты ужъ не въ мѣру строгъ. У Александра были такія обстоятельства, которыя отвлекали его на время...

— Для дѣвчонки, забыть мать—славныя обстоятельства!

— Да полно, ради Бога! — сказала она убѣдительно и указала на племянника.

Александръ, прочитавъ письмо матери, закрылъ имъ себѣ лицо.

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante: пусть онъ гремитъ упреками; я заслужилъ хуже: я чудовище! — говорилъ онъ, дѣлая отчаянныя гримасы.

— Ну, успокойся, Александръ! — сказалъ Петръ Иванычъ: — такихъ чудовищъ много. Увлекся глупостью и на время забылъ о матери — это естественно; любовь къ матери—чувство покойное. У ней на свѣтѣ одно—ты: оттого ей естественно огорчаться. Казнить тебя тутъ еще не за что; скажу только словами любимаго твоего автора:

«Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

и быть снисходительнымъ къ слабостямъ другихъ. Это такое правило, безъ котораго ни себѣ, ни другимъ житья не будетъ. Вотъ и все. Ну, я пойду уснуть.

— Дядюшка! вы сердитесь? — сказалъ Александръ голосомъ глубокаго раскаянія.

— Съ чего ты это взялъ? Изъ чего я стану себѣ портить кровь? и не думалъ сердиться. Я только хотѣлъ разыграть роль медвѣдя въ баснѣ: *Мартышка и зеркало*. Что, вѣдь искусно разыгралъ? Лиза, а?

Онъ мимоходомъ хотѣлъ ее поцѣловать, но она увернулась.

— Кажется, я въ точности исполнилъ твои приказанія,— прибавилъ Петръ Иванычъ: — что же ты?.. да: забылъ одно... въ какомъ положеніи твое сердце, Александръ?— спросилъ онъ.

Александръ молчалъ.

— А денегъ не нужно?—спросилъ опять Петръ Иванычъ.

— Нѣтъ, дядюшка...

— Никогда не попроситъ! — сказалъ Петръ Иванычъ, затворяя за собою дверь.

— Что будетъ думать обо мнѣ дядюшка?—спросилъ Александръ, помолчавъ.

— То же, что и прежде, — отвѣчала Лизавета Александровна. — Вы думаете, что онъ говорилъ вамъ все это съ сердцемъ, отъ души?

— А какъ же?

— И! нѣтъ. Повѣрьте, что онъ поважничать хотѣлъ. Видите, какъ онъ все это методически сдѣлалъ? расположилъ доказательства противъ васъ по порядку: прежде слабыя, а потомъ посильнѣе; сначала вывѣдалъ причину вашихъ дурныхъ отзывовъ о людяхъ... а потомъ ужъ... вездѣ метода! Теперь и забылъ, я думаю.

— Сколько ума! какое знаніе жизни, людей, умѣнье владѣть собой!

— Да, много ума и слишкомъ много умѣнья владѣть собой,—задумчиво говорила Лизавета Александровна:—но...

— А вы, ma tante, вы перестанете уважать меня? Но повѣрьте, только такія потрясенія, какія были со мной, могли отвлечь меня... Боже! бѣдная маменька!

Лизавета Александровна подала ему руку.

— Я, Александръ, не перестану уважать въ васъ сердце,— сказала она.—Чувство вовлекаетъ васъ и въ ошибки, оттого я всегда извиню ихъ.

— Ахъ, ma tante! вы идеалъ женщины!

— Просто женщина.

На Александра довольно сильно подѣйствовалъ нагоняй дяди. Онъ тутъ же, сидя съ теткой, погрузился въ мучительныя думы. Казалось, спокойствіе, которое она съ такимъ трудомъ, такъ искусно водворила въ его сердцѣ, вдругъ оставило его. Напрасно ждала она какой-нибудь злой выходки, сама называлась на колкость и преусердно подводила подъ эпиграмму Петра Иваныча: Александръ былъ глухъ и нѣмъ. На него какъ-будто вылили ушатъ холодной воды.

— Что съ вами? отчего вы такіе?—спрашивала тетка.

— Да такъ, ma tante: что-то не весело на сердцѣ. Дядюшка далъ мнѣ понять меня самого: славно растолковалъ!

— Вы не слушайте его: онъ иногда и неправду говоритъ.

— Нѣтъ, не утѣшайте меня. Я теперь гадокъ самому себѣ. Презиралъ, ненавидѣлъ людей, а теперь и себя. Отъ людей можно скрыться, а отъ себя куда уйдешь? Такъ все ничтожно: всѣ эти блага, вся пустошь жизни, и люди, и самъ...

— Ахъ, этотъ Петръ Иванычъ! — промолвила съ глубокимъ вздохомъ Лизавета Александровна:—онъ хоть на кого нагонитъ тоску!

— Одно только отрицательное утѣшеніе и осталось мнѣ,

что я не обманулъ никого, не измѣнилъ ни въ любви, ни въ дружбѣ...

— Васъ не умѣли цѣнить, — промолвила тетка: — но повѣрьте, найдется сердце, которое васъ оцѣнитъ; я вамъ порука въ томъ. Вы еще такъ молоды, забудьте это все, займитесь: у васъ есть талантъ: пишите... Пишете ли вы что-нибудь теперь?

— Нѣтъ.

— Напишите.

— Боюсь, ma tante...

— Не слушайте Петра Иваныча: разсуждайте съ нимъ о политикѣ, объ агрономіи, о чемъ хотите, только не о поэзіи. Онъ вамъ никогда объ этомъ правды не скажетъ. Васъ оцѣнитъ публика—вы увидите... Такъ будете писать?

— Хорошо.

— Скоро начнете?

— Какъ только могу. Теперь на одно это и осталась надежда.

Петръ Иванычъ, выспавшись, пришелъ къ нимъ, одѣтый совсѣмъ и со шляпой въ рукахъ. Онъ тоже посовѣтовалъ Александру заняться дѣломъ по службѣ и по отдѣлу сельскаго хозяйства для журнала.

— Постараюсь, дядюшка, — отвѣчалъ Александръ: — но вотъ я обѣщалъ тетушкѣ...

Лизавета Александровна сдѣлала ему знакъ, чтобы онъ молчалъ, но Петръ Иванычъ замѣтилъ.

— Что̀, что̀ обѣщалъ?—спросилъ онъ.

— Привезти новыя ноты,—отвѣчала она.

— Нѣтъ, неправда; что такое, Александръ?

— Написать повѣсть, или что-нибудь...

— Ты еще не отказался отъ изящной литературы?—говорилъ Петръ Иванычъ, обирая пылинки съ платья.—А ты, Лиза, сбиваешь его съ толку—напрасно!

— Я не въ правѣ отказаться отъ этого,—замѣтилъ Александръ.

— Кто жъ тебя неволитъ?

— Зачѣмъ я самовольно и неблагодарно отвергну почетное назначеніе, къ которому призванъ? Одна свѣтлая надежда въ жизни и осталась, а я уничтожу и ее? Если я погублю что свыше вложено въ меня, то погублю и себя...

— Да что вложено въ тебя такое, растолкуй мнѣ, пожалуйста?

— Этого я, дядюшка, не могу растолковать вамъ. Надо понимать самому. Воздымались ли у васъ на головѣ волосы отъ чего-нибудь, кромѣ гребенки?

— Нѣтъ!—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Ну, вотъ видите. Бушевали ли въ васъ страсти, кипѣло ли воображеніе и создавало ли вамъ изящные призраки которые просились воплотиться! билось ли сердце особеннымъ біеніемъ?

— Дико, дико! Ну, такъ что жъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— А то, что съ кѣмъ этого не бывало, такъ тому и растолковать нельзя, почему хочется писать, когда какой-то безпокойный духъ твердитъ, и днемъ, и ночью, и во снѣ, и на-яву: пиши, пиши...

— Да вѣдь ты не умѣешь писать?

— Полно, Петръ Иванычъ: самъ не умѣешь, такъ зачѣмъ же мѣшать другимъ?—сказала Лизавета Александровна.

— Извините, дядюшка, если замѣчу, что вы не судья въ этомъ дѣлѣ.

— Кто жъ судья? она?

Петръ Иванычъ указалъ на жену.

— Она—нарочно, а ты вѣришь,—прибавилъ онъ.

— Да и сами вы въ началѣ моего пріѣзда сюда совѣтовали писать, испытывать себя...

— Ну, такъ что жъ? попробовалъ—не выходитъ ничего: и бросить бы.

— Неужели вы никогда не нашли у меня ни дѣльной мысли, ни удачнаго стиха?

— Какъ не найти? есть. Ты не глупъ: какъ же у неглупаго человѣка въ нѣсколькихъ пудахъ сочиненій не найти удачной мысли? Такъ вѣдь это не талантъ, а умъ.

— Ахъ! — сказала Лизавета Александровна, съ досадой повернувшись на стулѣ.

— А біеніе сердца, трепетъ, сладостная нѣга и прочее такое—съ кѣмъ не бываетъ?

— Да съ тобой, я думаю, первымъ!—замѣтила жена.

— Ну, вотъ! А помнишь, я, бывало, восхищался...

— Чѣмъ это? не помню.

— Всѣ испытываютъ эти вещи,—продолжалъ Петръ Иванычъ, обращаясь къ племяннику: — кого не трогаютъ тишина или тамъ темнота ночи, что ли, шумъ дубравы, садъ, пруды, море? Если бъ это чувствовали одни художники, такъ некому было бы понимать ихъ. А отражать всѣ эти ощущенія въ своихъ произведеніяхъ — это другое дѣло: для этого нуженъ талантъ, а его у тебя, кажется, нѣтъ. Его не скроешь: онъ блеститъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ ударѣ кисти...

— Петръ Иванычъ! тебѣ пора ѣхать,—сказала Лизавета Александровна.

— Сейчасъ.

— Отличиться хочется, — продолжалъ онъ: — тебѣ есть чѣмъ отличиться. Редакторъ хвалитъ тебя, говоритъ, что статьи твои о сельскомъ хозяйствѣ обработаны прекрасно, въ нихъ есть мысль — все показываетъ, говоритъ, ученаго производителя, а не ремесленника. Я порадовался. «Ба! думаю, Адуевы всѣ не безъ головы!» видишь: и у меня есть самолюбіе! Ты можешь отличиться и въ службѣ, и пріобрѣсть извѣстность писателя.

— Хороша извѣстность: писатель о наземѣ.

— Всякому свое: одному суждено витать въ небесныхъ пространствахъ, а другому рыться въ наземѣ и оттуда добывать сокровища. Я не понимаю, отчего пренебрегать скромнымъ назначеніемъ? и оно имѣетъ свою поэзію. Вотъ ты бы выслужился, нажилъ бы трудами денегъ, выгодно женился бы, какъ бо̀льшая часть... Не понимаю, чего еще? Долгъ исполненъ, жизнь пройдена съ честью, трудолюбиво— вотъ въ чемъ счастье! по-моему, такъ. Вотъ я статскій совѣтникъ по чину, заводчикъ по ремеслу; а предложи-ка мнѣ взамѣнъ званіе перваго поэта, ей-Богу не возьму!

— Послушай, Петръ Иванычъ: ты, право, опоздаешь!— перебила Лизавета Александровна:—скоро десять часовъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, пора. Ну, до свиданія. А то воображать себя, Богъ знаетъ съ чего, необыкновенными людьми,— ворчалъ Петръ Иванычъ, уходя вонъ:—да и того...

II.

Александръ, возвратясь домой отъ дяди, сѣлъ въ кресло и задумался. Онъ припомнилъ весь разговоръ съ дядей и тетьей и потребовалъ строгаго отчета отъ самого себя.

Какъ, въ свои лѣта, позволивъ себѣ ненавидѣть и презирать людей, разсмотрѣвъ и обсудивъ ихъ ничтожность, мелочности, слабости, перебравъ всѣхъ и каждаго изъ своихъ знакомыхъ, онъ забылъ разобрать себя! Какая слѣпота! И дядя далъ ему урокъ, какъ школьнику, разобралъ его по ниточкѣ, да еще при женщинѣ; что̀ бы ему самому оглянуться на себя! Какъ дядя долженъ выиграть въ этотъ вечеръ въ глазахъ жены! Это бы, пожалуй, ничего, оно такъ и должно быть; но вѣдь онъ выигралъ на его счетъ. Дядя имѣетъ надъ нимъ неоспоримый верхъ, всюду и во всемъ.

«Гдѣ же», думалъ онъ: «послѣ этого преимущество молодости, свѣжести, пылкости ума и чувствъ, когда человѣкъ съ нѣкоторою только опытностью, но съ черствымъ серд-

— Ну, такъ что жъ? попробовалъ—не выходитъ ничего: и бросить бы.

— Неужели вы никогда не нашли у меня ни дѣльной мысли, ни удачнаго стиха?

— Какъ не найти? есть. Ты не глупъ: какъ же у неглупаго человѣка въ нѣсколькихъ пудахъ сочиненій не найти удачной мысли? Такъ вѣдь это не талантъ, а умъ.

— Ахъ! — сказала Лизавета Александровна, съ досадой повернувшись на стулѣ.

— А біеніе сердца, трепетъ, сладостная нѣга и прочее такое—съ кѣмъ не бываетъ?

— Да съ тобой, я думаю, первымъ!—замѣтила жена.

— Ну, вотъ! А помнишь, я, бывало, восхищался...

— Чѣмъ это? не помню.

— Всѣ испытываютъ эти вещи,—продолжалъ Петръ Иванычъ, обращаясь къ племяннику: — кого не трогаютъ тишина или тамъ темнота ночи, что ли, шумъ дубравы, садъ, пруды, море? Если бъ это чувствовали одни художники, такъ некому было бы понимать ихъ. А отражать всѣ эти ощущенія въ своихъ произведеніяхъ — это другое дѣло: для этого нуженъ талантъ, а его у тебя, кажется, нѣтъ. Его не скроешь: онъ блеститъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ ударѣ кисти...

— Петръ Иванычъ! тебѣ пора ѣхать,—сказала Лизавета Александровна.

— Сейчасъ.

— Отличиться хочется, — продолжалъ онъ: — тебѣ есть чѣмъ отличиться. Редакторъ хвалитъ тебя, говоритъ, что статьи твои о сельскомъ хозяйствѣ обработаны прекрасно, въ нихъ есть мысль — все показываетъ, говоритъ, ученаго производителя, а не ремесленника. Я порадовался. «Ба! думаю, Адуевы всѣ не безъ головы!» видишь: и у меня есть самолюбіе! Ты можешь отличиться и въ службѣ, и пріобрѣсть извѣстность писателя.

— Хороша извѣстность: писатель о наземѣ.

— Всякому свое: одному суждено витать въ небесныхъ пространствахъ, а другому рыться въ наземѣ и оттуда добывать сокровища. Я не понимаю, отчего пренебрегать скромнымъ назначеніемъ? и оно имѣетъ свою поэзію. Вотъ ты бы выслужился, нажилъ бы трудами денегъ, выгодно женился бы, какъ бо́льшая часть... Не понимаю, чего еще? Долгъ исполненъ, жизнь пройдена съ честью, трудолюбиво— вотъ въ чемъ счастье! по-моему, такъ. Вотъ я статскій совѣтникъ по чину, заводчикъ по ремеслу; а предложи-ка мнѣ взамѣнъ званіе перваго поэта, ей-Богу не возьму!

— Послушай, Петръ Иванычъ: ты, право, опоздаешь!— перебила Лизавета Александровна:—скоро десять часовъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, пора. Ну, до свиданія. А то вообразятъ себя, Богъ знаетъ съ чего, необыкновенными людьми,— кричалъ Петръ Иванычъ, уходя вонъ:—да и того...

II.

Александръ, возвратясь домой отъ дяди, сѣлъ въ кресло и задумался. Онъ припомнилъ весь разговоръ съ дядей и теткой и потребовалъ строгаго отчета отъ самого себя.

Какъ, въ свои лѣта, позволивъ себѣ ненавидѣть и презирать людей, разсмотрѣвъ и обсудивъ ихъ ничтожность, мелочности, слабости, перебравъ всѣхъ и каждаго изъ своихъ знакомыхъ, онъ забылъ разобрать себя! Какая слѣпота! И дядя далъ ему урокъ, какъ школьнику, разобралъ его по ниточкѣ, да еще при женщинѣ; что бы ему самому оглянуться на себя! Какъ дядя долженъ выиграть въ этотъ вечеръ въ глазахъ жены! Это бы, пожалуй, ничего, оно такъ и должно быть; но вѣдь онъ выигралъ на его счетъ. Дядя имѣетъ надъ нимъ неоспоримый верхъ, всюду и во всемъ.

«Гдѣ же», думалъ онъ: «послѣ этого преимущество молодости, свѣжести, пылкости ума и чувствъ, когда человѣкъ, съ нѣкоторою только опытностью, но съ черствымъ серд-

цемъ, безъ энергіи, уничтожаетъ его на каждомъ шагу, мимоходомъ, небрежно? Когда же споръ будетъ раве когда, наконецъ, перевѣсъ будетъ на его сторонѣ? его сторонѣ, кажется, и талантъ, и избытокъ душев силъ... а дядя является исполиномъ въ сравненіи съ Съ какою увѣренностью онъ споритъ, какъ легко устрав всякое противорѣчіе и достигаетъ цѣли, шутя, съ зѣв насмѣхаясь надъ чувствомъ, надъ сердечными изліяі дружбы и любви, словомъ, надъ всѣмъ, въ чемъ пож люди привыкли завидовать молодымъ».

Перебирая все это въ умѣ, Александръ покраснѣлъ стыда. Онъ далъ себѣ слово строго смотрѣть за собо при первомъ случаѣ, уничтожить дядю: доказать ему никакая опытность не замѣнитъ того, что *вложено св* что, какъ онъ, Петръ Иванычъ, тамъ себѣ ни пропов а съ этой минуты не сбудется ни одно изъ его холодн методическихъ предсказаній. Александръ самъ найдетъ путь и пойдетъ по немъ не робкими, а твердыми и ными шагами. Онъ теперь не то, что былъ три года на Онъ проникъ взглядомъ въ тайники сердца, разсмот игру страстей, добылъ себѣ тайну жизни, конечно, не мученій, но зато закалилъ себя противъ нихъ навс Будущее ему ясно, онъ возсталъ, окрылился, — онъ не бенокъ, а мужъ, — смѣло впередъ! Дядя увидитъ и, въ очередь, разыграетъ впослѣдствіи передъ нимъ опыт мастеромъ, роль жалкаго ученика: онъ узнаетъ, къ уд нію своему, что есть иная жизнь, иныя отличія, счастье, кромѣ жалкой карьеры, которую онъ себѣ изб и которую навязываетъ и ему, можетъ-быть, изъ зав Еще, еще одно благородное усиліе — и борьба кончена!

Александръ ожилъ. Онъ опять сталъ творить особый нѣсколько помудрѣе перваго. Тетка поддерживала въ это расположеніе, но тайкомъ, когда Петръ Иванычъ с или уѣзжалъ на заводъ и въ англійскій клубъ.

Она разспрашивала Александра о занятіяхъ. А ужъ какъ это нравилось ему. Онъ разсказывалъ ей планъ своихъ сочиненій и иногда, въ видѣ совѣта, требовалъ одобренія.

Она часто спорила съ нимъ, но еще чаще соглашалась.

Александръ привязался къ труду, какъ привязываются къ послѣдней надеждѣ.—За этимъ,—говорилъ онъ теткѣ:—вѣдь ужъ ничего нѣтъ: тамъ голая степь, безъ воды, безъ зелени, мракъ, пустыня; — что тогда будетъ жизнь? хоть въ гробъ ложись!—И онъ работалъ неутомимо.

Иногда угасшая любовь придетъ на память, онъ взволнуется — и за перо: и напишетъ трогательную элегію. Въ другой разъ желчь хлынетъ къ сердцу и подниметъ со дна недавно бушевавшую тамъ ненависть и презрѣніе къ людямъ—смотришь—и родится нѣсколько энергическихъ стиховъ. Въ то же время онъ обдумывалъ и писалъ повѣсть. Онъ потратилъ на нее много размышленія, чувства, матеріальнаго труда и около полугода времени. Вотъ, наконецъ, повѣсть готова, пересмотрѣна и переписана набѣло. Тетка была въ восхищеніи.

Въ этой повѣсти дѣйствіе происходило уже не въ Америкѣ, а гдѣ-то въ тамбовской деревнѣ. Дѣйствующія лица были обыкновенные люди: клеветники, лжецы и всякаго рода изверги—во фракахъ, измѣнницы въ корсетахъ и въ шляпкахъ. Все было прилично, на своихъ мѣстахъ.

— Я думаю, ma tante, это можно показать дядюшкѣ?

— Да, да, конечно, — отвѣчала она: — а впрочемъ... не лучше ли отдать напечатать такъ, безъ него? Онъ всегда противъ этого: скажетъ что-нибудь... Вы знаете, это кажется ему ребячествомъ.

— Нѣтъ, лучше показать! — отвѣчалъ Александръ. — Я послѣ нашего суда и собственнаго сознанія, не боюсь никого, а между тѣмъ, пусть онъ увидитъ...

Показали. Петръ Ивановичъ, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачалъ головой.

, — Что это, вы вдвоемъ сочинили?— спросилъ онъ:—ч то много. Да какъ мелко писано: охота же писать!

— Ты погоди качать головой,—отвѣчала жена: — а п жде выслушай.— Прочтите намъ, Александръ. — Только выслушай внимательно, не дремли и скажи потомъ сі приговоръ. Недостатки вездѣ можно найти, если захоче искать ихъ. А ты будь снисходителенъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? будьте только справедливы. — при вилъ Александръ.

— Нечего дѣлать; я выслушаю, — сказалъ Петръ Ив нычъ со вздохомъ: — только съ условіемъ, во-первыхъ, послѣ обѣда вскорѣ читать, а то я за себя не ручаю что не засну. Этого, Александръ, на свой счетъ не при май; что бы ни читали послѣ обѣда, а меня всегда к нитъ сонъ; а во-вторыхъ, если это что-нибудь дѣльное, я скажу свое мнѣніе, а нѣтъ — я буду только молчать, вы тамъ какъ себѣ хотите.

Стали читать. Петръ Иванычъ ни разу не вздремну слушалъ, не сводя глазъ съ Александра, даже рѣдко галъ, а два раза такъ одобрительно кивнулъ головой.

— Видишь!—сказала жена вполголоса.— Я тебѣ говори

Онъ ей кивнулъ.

Читали два вечера сряду. Въ первый вечеръ, послѣ ч нія, Петръ Иванычъ разсказалъ, къ удивленію жены, в что будетъ дальше.

— Ты почему знаешь?—спросила она.

— Мудрено! Идея ужъ не новая, — тысячу разъ пис объ этомъ. Дальше и читать бы не нужно, да посмотри какъ она развилась у него.

Когда, на другой вечеръ, Александръ дочитывалъ слѣднюю страницу, Петръ Иванычъ позвонилъ. Вошелъ ловѣкъ.

— Приготовь одѣться, — сказалъ онъ. — Извини. А

ксандръ, что перервалъ: тороплюсь, — опоздаю въ клубъ къ висту.

Александръ кончилъ. Петръ Иванычъ проворно пошелъ вонъ.

— Ну, до свиданья!—сказалъ онъ женѣ и Александру.— Я ужъ не зайду сюда.

— Постой! постой!—закричала жена:—что жъ ты ничего не скажешь о повѣсти?

— По уговору не слѣдуетъ!—отвѣчалъ онъ и хотѣлъ идти.

— Это упрямство!—сказала она.—О, онъ упрямъ—я его знаю! Вы не смотрите на это, Александръ.

«Это недоброжелательство!» подумалъ Александръ. «Онъ жена хочетъ втоптать въ грязь, стащить въ свою сферу. Все-таки онъ умный чиновникъ, заводчикъ—и больше ничего, а я поэтъ...»

— Это изъ рукъ вонъ, Петръ Иванычъ! — начала жена чуть не со слезами.—Ты хоть что-нибудь скажи. Я видала, что ты, въ знакъ одобренія, качалъ головой, стало-быть, тебѣ понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Какъ сознаться, что намъ нравится повѣсть! Мы слишкомъ умны для этого. Признайся, что хорошо.

— Я качалъ головой потому, что и изъ этой повѣсти видно, что Александръ уменъ, но онъ неумно сдѣлалъ, что написалъ ее.

— Однакожъ, дядюшка, судъ такого рода...

— Послушай: вѣдь ты мнѣ не вѣришь, нечего и спорить; изберемъ лучше посредника. Я даже вотъ что сдѣлаю, чтобъ кончить это между нами однажды навсегда: я назовусь авторомъ этой повѣсти и отошлю ее къ моему пріятелю, сотруднику журнала: посмотримъ, что онъ скажетъ. Ты его знаешь и, вѣроятно, положишься на его судъ. Онъ человѣкъ опытный.

— Хорошо, посмотримъ.

Петръ Иванычъ сѣлъ къ столу и наскоро написалъ нѣсколько строкъ, потомъ передалъ письмо Александру.

«Я, на старости лѣтъ, пустился въ авторство», писалъ онъ: «что дѣлать: хочется прославиться, взять и тутъ, — съ ума сошелъ! Вотъ я и произвелъ прилагаемую при семъ повѣсть. Просмотрите ее, и если годится, то напечатайте въ вашемъ журналѣ, разумѣется, за деньги: вы знаете, я даромъ работать не люблю. Вы удивитесь и не повѣрите, но я позволяю вамъ даже подписать мою фамилію, стало-быть, не лгу».

Увѣренный въ благопріятномъ отзывѣ о повѣсти, Александръ покойно ожидалъ отвѣта. Онъ даже радовался, что дядя упомянулъ въ запискѣ о деньгахъ.

«Очень, очень умно», думалъ онъ. «Маменька жалуется, что хлѣбъ дешевъ: пожалуй, не скоро пришлетъ денегъ; а тутъ оно и кстати получить тысячи полторы».

Прошло, однакоже, недѣли три, отвѣта все не было. Вотъ наконецъ, однажды утромъ, къ Петру Иванычу принесли большой пакетъ и письмо.

— А! назадъ прислали!—сказалъ онъ, лукаво взглянувъ на жену.

Онъ не распечаталъ записки и не показалъ женѣ, какъ она ни просила. Въ тотъ же день вечеромъ, передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ клубъ, онъ самъ отправился къ племяннику.

Дверь была не заперта. Онъ вошелъ. Евсей храпѣлъ, растянувшись въ передней діагонально на полу. Свѣтильня страшно нагорѣла и свѣсилась съ подсвѣчника. Онъ заглянулъ въ другую комнату: темно.

«О, провинція!» проворчалъ Петръ Иванычъ.

Онъ растолкалъ Евсея, показалъ ему на дверь, на свѣчку и погрозилъ тростью. Въ третьей комнатѣ за столомъ сидѣлъ Александръ, положивъ руки на столъ, а на руки голову, и тоже спалъ. Передъ нимъ лежала бумага. Петръ Иванычъ взглянулъ—стихи.

Онъ взялъ бумагу и прочиталъ слѣдующее:

Весны пора прекрасная минула,
Исчезъ на вѣкъ волшебный мигъ любви,
Она въ груди могильнымъ сномъ уснула
И пламенемъ не пробѣжитъ въ крови!
На алтарѣ ея осиротѣломъ
Давно другой кумиръ воздвигнулъ я,
Молюсь ему... но...

— И самъ уснулъ! Молись, милый, не лѣнись!—сказалъ вслухъ Петръ Иванычъ.—Свои же стихи, да какъ уходили тебя! Зачѣмъ другого приговора? самъ изрекъ себѣ.

— А!—сказалъ Александръ, потягиваясь: — вы все еще противъ моихъ сочиненій! Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляетъ васъ такъ настойчиво преслѣдовать таланъ, когда нельзя не признать...

— Да зависть, Александръ. Посуди самъ: ты пріобрѣтешь славу, почетъ, можетъ-быть, еще безсмертіе, а я останусь темнымъ человѣкомъ и принужденъ буду довольствоваться названіемъ полезнаго труженика. А вѣдь я тоже Адуевъ! воля твоя, обидно! Что я такое? прожилъ вѣкъ свой тихо, безвѣстно, исполнилъ только свое дѣло и былъ еще гордъ и счастливъ этимъ. Не жалкій ли удѣлъ? Когда умру, то-есть ничего не буду чувствовать и знать, *струны лиры баяновъ* не станутъ говорить обо мнѣ, *отдаленные внуки, потомство, міръ* не наполнятся моимъ именемъ, не узнаютъ, что жилъ на свѣтѣ статскій совѣтникъ Петръ Иванычъ Адуевъ, и я не буду утѣшаться этимъ въ гробѣ, если я и гробъ уцѣлѣемъ какъ-нибудь до потомства. Какая разница ты: когда, *расширяя шумящими крылами*, будешь летать *подъ облаками*, мнѣ придется утѣшаться только тѣмъ, что въ массѣ человѣческихъ трудовъ есть *капля и моего меда*, какъ говоритъ твой любимый авторъ.

— Оставьте его, ради Бога, въ сторонѣ; что онъ за любимый авторъ! Издѣвается только надъ ближнимъ.

— А! издѣвается! Не съ тѣхъ ли поръ ты разлюбилъ Крылова, какъ увидѣлъ у него свой портретъ? A propos! знаешь ли, что твоя будущая слава, твое безсмертіе у меня въ карманѣ? но я желалъ бы лучше, чтобъ тамъ были твои деньги: это вѣрнѣе.

— Какая слава?

— А отвѣтъ на мою записку.

— Ахъ! дайте, ради Бога, скорѣе. Что̀ онъ пишетъ?

— Я не читалъ; прочитай самъ, да вслухъ.

— И вы могли утерпѣть?

— Да мнѣ-то что?

— Какъ что! Вѣдь я вашъ родной племянникъ: какъ не полюбопытствовать? Какая холодность! это эгоизмъ, дядюшка?

— Можетъ-быть: я не запираюсь. Впрочемъ, я знаю, что̀ тутъ написано. На, читай!

Александръ началъ читать громко, а Петръ Иванычъ постукивалъ палкой по сапогамъ. Въ запискѣ было вотъ что:

«Что̀ это за мистификація, мой любезнѣйшій Петръ Иванычъ? Вы пишете повѣсти! Да кто жъ вамъ повѣритъ? И вы думали обморочить меня, стараго воробья! А если бъ, чего Боже сохрани, это была правда, если бъ вы оторвали на время ваше перо отъ дорогихъ, въ буквальномъ смыслѣ, строкъ, изъ которыхъ каждая, конечно, не одинъ червонецъ сто̀итъ, и переставъ выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повѣсть, то я и тогда сказалъ бы вамъ, что хрупкія произведенія вашего завода гораздо прочнѣе этого творенія...»

У Александра голосъ вдругъ упалъ.

«Но я отвергаю такое обидное подозрѣніе на вашъ счетъ», продолжалъ онъ робко и тихо.

— Не слышу, Александръ, погромче! — сказалъ Петръ Иванычъ.

Александръ продолжалъ тихимъ голосомъ.

«Принимая участіе въ авторѣ повѣсти, вы вѣроятно хотите знать мое мнѣніе. Вотъ оно. Авторъ долженъ быть молодой человѣкъ. Онъ не глупъ, но что-то не путемъ сердитъ на весь міръ. Въ какомъ озлобленномъ, ожесточенномъ духѣ пишетъ онъ! Вѣрно разочарованный. О, Боже! когда переведется этотъ народъ? Какъ жаль, что отъ фальшиваго взгляда на жизнь гибнетъ у насъ много дарованій въ пустыхъ, безплодныхъ мечтахъ, въ напрасныхъ стремленіяхъ къ тому, къ чему они не призваны».

Александръ остановился и перевелъ духъ. Петръ Иванычъ закурилъ сигару и пустилъ кольцо дыму. Лицо его, по обыкновенію, выражало совершенное спокойствіе. Александръ продолжалъ читать глухимъ, едва слышнымъ голосомъ:

«Самолюбіе, мечтательность, преждевременное развитіе сердечныхъ склонностей и неподвижность ума, съ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ—лѣнью—вотъ причины этого зла. Наука, трудъ, практическое дѣло—вотъ что можетъ отрезвить нашу праздную и больную молодежь».

— Все дѣло можно бы въ трехъ строкахъ объяснить,— сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на часы; — а онъ въ пріятельскомъ письмѣ написалъ цѣлую диссертацію! ну, не педантъ ли? Читать ли дальше, Александръ? брось: скучно. Мнѣ бы надо тебѣ кое-что сказать...

— Нѣтъ, дядюшка, позвольте, ужъ я выпью чашу до дна: дочитаю.

— Ну, читай на здоровье.

«Это печальное направленіе душевныхъ способностей», читалъ Александръ: «обнаруживается въ каждой строкѣ присланной вами повѣсти. Скажите же вашему protégé, что писатель тогда только, во-первыхъ, напишетъ дѣльно, когда не будетъ находиться подъ вліяніемъ личнаго увлеченія и пристрастія. Онъ долженъ обозрѣвать покойнымъ и свѣтлымъ взглядомъ жизнь и людей вообще, — иначе выразить

только свое *я*, до котораго никому нѣтъ дѣла. Этотъ недостатокъ сильно преобладаетъ въ повѣсти. Второе и главное условіе—этого, пожалуй, автору не говорите, изъ сожалѣнія къ молодости и авторскому самолюбію, самому безпокойному изъ всѣхъ самолюбій—нуженъ талантъ, а его тутъ и слѣда нѣтъ. Языкъ, впрочемъ, вездѣ правиленъ и чистъ; авторъ даже обладаетъ слогомъ»... Насилу дочиталъ Александръ.

— Вотъ давно бы такъ!—сказалъ Петръ Иванычъ: — а то, Богъ знаетъ, что̀ наговорилъ! О прочемъ мы съ тобой и безъ него разсудимъ.

У Александра опустились руки. Онъ молча, какъ человѣкъ, оглушенный неожиданнымъ ударомъ, глядѣлъ мутными глазами прямо въ стѣну. Петръ Иванычъ взялъ у него письмо и прочиталъ въ P. S. слѣдующее: «Если вамъ непремѣнно хочется помѣстить эту повѣсть въ нашъ журналъ — пожалуй, для васъ, въ лѣтніе мѣсяцы, когда мало читаютъ, я помѣщу, но о вознагражденіи и думать нельзя».

— Ну, что, Александръ, какъ ты себя чувствуешь? — спросилъ Петръ Иванычъ.

— Покойнѣе, нежели можно ожидать,—отвѣчалъ съ усиліемъ Александръ.—Чувствую какъ человѣкъ обманутый во всемъ.

— Нѣтъ, какъ человѣкъ, который обманывалъ самъ себя, да хотѣлъ обмануть и другихъ...

Александръ не слыхалъ этого возраженія.

— Ужели и это мечта?.. и это измѣнило?.. — шепталъ онъ.—Горькая утрата! Что жъ, не привыкать стать обманываться! Но зачѣмъ же, я не понимаю, вложены были въ меня всѣ эти неодолимыя побужденія къ творчеству?..

— Вотъ то-то! въ тебя вложили побужденія, а самое творчество видно и забыли вложить,—сказалъ Петръ Иванычъ:—я говорилъ!

Александръ отвѣчалъ вздохомъ и задумался. Потомъ вдругъ съ живостью бросился отворять всѣ ящики, досталъ

нѣсколько тетрадей, листковъ, клочковъ и началъ съ ожесточеніемъ бросать въ каминъ.

— Вотъ это не забудь!—сказалъ Петръ Иванычъ, подвигая къ нему листокъ съ начатыми стихами, лежавшій на столѣ.

— И это туда же!—говорилъ Александръ съ отчаяніемъ, бросая стихи въ каминъ.

— Нѣтъ ли еще чего? Поищи-ка хорошенько,—спросилъ Петръ Иванычъ, осматриваясь кругомъ:—ужъ за одинъ бы разъ дѣлать умное дѣло. Вонъ, что̀ тамъ это на шкафѣ за связка?

— Туда же! — говорилъ Александръ, доставая ее: — это статьи о сельскомъ хозяйствѣ.

— Не жги, не жги этого! Отдай мнѣ! — сказалъ Петръ Иванычъ, протягивая руку:—это не пустяки.

Но Александръ не слушалъ.

— Нѣтъ!— сказалъ онъ со злостью: — если погибло для меня благородное творчество въ сферѣ изящнаго, такъ я не хочу и труженичества: въ этомъ судьба меня не переломитъ!

И связка полетѣла въ каминъ.

— Напрасно!—замѣтилъ Петръ Иванычъ и между тѣмъ самъ палкой шарилъ въ корзинѣ подъ столомъ, нѣтъ ли еще чего-нибудь бросить въ огонь.

— А что же мы съ повѣстью сдѣлаемъ, Александръ? Она у меня.

— Не нужно ли вамъ оклеить перегородки?

— Нѣтъ, теперь нѣтъ. Не послать ли за ней? Евсей! Опять вспнулъ: смотри, тамъ мою шинель у тебя подъ носомъ украдутъ! Сходи скорѣе ко мнѣ, спроси тамъ у Василья толстую тетрадь, что лежитъ въ кабинетѣ на бюро, и принеси сюда.

Александръ сидѣлъ, опершись на руку, и смотрѣлъ въ каминъ. Принесли тетрадь. Александръ посмотрѣлъ на плодъ

полугодовыхъ трудовъ и задумался. Петръ Иванычъ замѣтилъ это.

Оба стали смотрѣть, какъ она загорится: Петръ Иванычъ, повидимому, съ удовольствіемъ, Александръ съ грустью, почти со слезами. Вотъ верхній листъ зашевелился и поднялся, какъ будто невидимая рука перевертывала его; края его загнулись, онъ почернѣлъ, потомъ скоробился и вдругъ вспыхнулъ; за нимъ быстро вспыхнулъ другой, третій, а тамъ вдругъ нѣсколько поднялись и загорѣлись кучей, но слѣдующая подъ ними страница еще бѣлѣлась и черезъ двѣ секунды тоже начала чернѣть по краямъ.

Александръ, однакожъ, успѣлъ прочесть на ней: глава III-я. Онъ вспомнилъ, что̀ было въ этой главѣ, и ему стало жаль ее. Онъ всталъ съ креселъ и схватилъ щипцы, чтобы спасти остатки своего творенія. «Можетъ-быть, еще»... шептала ему надежда.

— Постой, вотъ я лучше тростью,—сказалъ Петръ Иванычъ:—а то обожжешься щипцами.

Онъ подвинулъ тетрадь въ глубину камина, прямо на уголья. Александръ остановился въ нерѣшимости. Тетрадь была толста и не вдругъ поддалась дѣйствію огня. Изъ-подъ нея сначала повалилъ густой дымъ; пламя изрѣдка вырвется снизу, лизнетъ ее по боку, оставитъ черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александръ ужъ протянулъ руку, но въ ту жъ секунду пламя озарило и кресла, и лицо Петра Иваныча, и столъ; вся тетрадь вспыхнула и черезъ минуту потухла, оставивъ по себѣ кучу чернаго пепла, по которому мѣстами пробѣгали огненныя змѣйки. Александръ бросилъ щипцы.

— Все кончено!—сказалъ онъ.

— Кончено!—повторилъ Петръ Иванычъ.

— Ухъ!—промолвилъ Александръ:—я свободенъ!

— Ужъ это въ другой разъ я помогаю тебѣ очищать

квартиру,—сказалъ Петръ Иванычъ:—надѣюсь, что на этотъ разъ...

— Невозвратно, дядюшка.

— Аминь! — примолвилъ дядя, положивъ ему руки на плеча.—Ну, Александръ, совѣтую тебѣ не медлить: сейчасъ же напиши къ Ивану Иванычу, чтобы прислалъ тебѣ работу въ отдѣленіе сельскаго хозяйства. Ты, по горячимъ слѣдамъ, послѣ всѣхъ глупостей, теперь напишешь преумную вещь. А онъ все заговариваетъ: «что жъ, говоритъ, вашъ племянникъ»...

Александръ съ грустью покачалъ головой.

— Не могу,—сказалъ онъ:—нѣтъ, не могу: все кончено.

— Что жъ ты станешь теперь дѣлать?

— Что?—спросилъ онъ и задумался:—теперь пока ничего.

— Это только въ провинціи какъ-то умѣютъ ничего не дѣлать; а здѣсь... зачѣмъ же ты пріѣзжалъ сюда? Это непонятно!.. Ну, пока довольно объ этомъ. У меня до тебя есть просьба.

Александръ медленно приподнялъ голову и взглянулъ на дядю вопросительно.

— Вѣдь ты знаешь,—началъ Петръ Иванычъ, подвигая къ Александру свои кресла:—моего компаніона Суркова?

Александръ кивнулъ головой.

— Да, ты иногда обѣдывалъ у меня съ нимъ, только успѣлъ ли ты разглядѣть хорошенько, что это за птица? Онъ добрый малый, но препустой. Господствующая его слабость—женщины. Онъ же, къ несчастію, какъ ты видишь, недуренъ собой, то-есть румянъ, гладокъ, высокъ, ну, всегда завитъ, раздушенъ, одѣтъ по картинкѣ: вотъ и воображаетъ, что всѣ женщины отъ него безъ ума—такъ, фатъ! Да чортъ съ нимъ совсѣмъ, я бы не замѣтилъ этого; но вотъ бѣда: чуть заведется страстишка, онъ и пошелъ мотать. Тутъ у него пойдутъ и сюрпризы, и подарки, и угожденія; самъ пустится въ щегольство, начнетъ мѣнять экипажи, лоша-

дей... просто разоренье! И за моей женой волочился. Бывало, ужъ я и не забочусь посылать человѣка за билетомъ въ театръ: Сурковъ непремѣнно привезетъ. Лошадей ли надо промѣнять, достать ли что-нибудь рѣдкое, толпу ли растолкать, съѣздить ли осмотрѣть дачу, куда ни пошлешь— золото! Ужъ какъ былъ полезенъ: этакаго за деньги не наймешь. Жаль! Я нарочно не мѣшалъ ему, да женѣ очень надоѣлъ: я и прогналъ. Вотъ, когда онъ этакъ пустится мотать, ему ужъ недостаетъ процентовъ, онъ начинаетъ просить денегъ у меня — откажешь, заговариваетъ о капиталѣ. «Что, говоритъ, мнѣ вашъ заводъ? никогда нѣтъ свободныхъ денегъ въ рукахъ!» Добро бы взялъ какую-нибудь... такъ нѣтъ: все ищетъ связей въ свѣтѣ: «мнѣ, говоритъ, надобно *благородную интригу:* я безъ любви жить не могу!» не оселъ ли? Малому чуть не сорокъ лѣтъ и не можетъ жить безъ любви!

Александръ вспомнилъ о себѣ и печально улыбнулся.

— Онъ все вретъ, — продолжалъ Петръ Иванычъ. — Я послѣ разсмотрѣлъ, о чемъ онъ хлопочетъ. Ему только бы похвастаться, — чтобъ о немъ говорили, что онъ въ связи съ такой-то, что видятъ въ ложѣ у такой-то, или что онъ на дачѣ сидѣлъ вдвоемъ на балконѣ поздно вечеромъ, катался, что ли, тамъ съ ней гдѣ-нибудь въ уединенномъ мѣстѣ, въ коляскѣ или верхомъ. А между тѣмъ выходитъ, что эти такъ-называемыя *благородныя интриги* — чтобъ чортъ ихъ взялъ! гораздо дороже обходятся, чѣмъ неблагородныя. Вотъ изъ чего бьется дурачина!

— Къ чему же это все ведетъ, дядюшка?—спросилъ Александръ:—я не вижу, что̀ я могу тутъ сдѣлать.

— А вотъ увидишь. Недавно воротилась сюда изъ-за границы молодая вдова, Юлія Павловна Тафаева. Она очень недурна собой. Съ мужемъ я и Сурковъ были пріятели. Тафаевъ умеръ въ чужихъ краяхъ. Ну, догадываешься?

— Догадываюсь: Сурковъ влюбился во вдову.

— Такъ: совсѣмъ одурѣлъ! а еще?

— Еще... не знаю...

— Экой какой! Ну, слушай: Сурковъ мнѣ раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчасъ догадался, что̀ это значитъ, только съ какой стороны вѣтеръ дуетъ—не могъ угадать. Я допытываться, зачѣмъ деньги? Онъ мялся, мялся, наконецъ сказалъ, что хочетъ отдѣлать себѣ квартиру на Литейной. Я припоминать, что̀ бы такое было на Литейной—и вспомнилъ, что Тафаева живетъ тамъ же и прямёхонько противъ того мѣста, которое онъ выбралъ. Ужъ и задатокъ далъ. Бѣда грозитъ неминучая, если... не поможешь ты. Теперь догадался?

Александръ поднялъ носъ немного кверху, провелъ взглядомъ по стѣнѣ, по потолку, потомъ мигнулъ раза два и сталъ глядѣть на дядю, но молчалъ.

Петръ Иванычъ смотрѣлъ на него съ улыбкой. Онъ страхъ любилъ замѣтить въ комъ-нибудь промахъ со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это.

— Что это, Александръ, съ тобой? А еще повѣсти пишешь!—сказалъ онъ.

— Ахъ, догадался, дядюшка!

— Ну, слава Богу!

— Сурковъ проситъ денегъ; у васъ ихъ нѣтъ, вы хотите, чтобъ я...

И не договорилъ.

Петръ Иванычъ засмѣялся. Александръ не кончилъ фразы и смотрѣлъ на дядю въ недоумѣніи.

— Нѣтъ, не то! — сказалъ Петръ Иванычъ. — Развѣ у меня когда-нибудь не бываетъ денегъ? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь! А вотъ что: Тафаева черезъ него напомнила мнѣ о знакомствѣ съ ея мужемъ. Я заѣхалъ. Она просила посѣщать ее; я обѣщалъ и сказалъ, что привезу тебя: ну, теперь, надѣюсь, понялъ?

— Меня? — повторилъ Александръ, глядя во всѣ глаза на дядю.—Да, конечно... теперь понялъ...—торопливо прибавилъ онъ, но на послѣднемъ словѣ запнулся.

— А что ты понялъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Хоть убейте, ничего, дядюшка, не понимаю! Позвольте... можетъ быть у ней пріятный домъ... вы хотите, чтобъ я разсѣялся... такъ какъ мнѣ скучно...

— Вотъ, прекрасно! стану я возить тебя для этого по домамъ! Послѣ этого недостаетъ только, чтобъ я тебѣ закрывалъ на ночь ротъ платкомъ отъ мухъ! Нѣтъ, все не то. А вотъ въ чемъ дѣло: влюби-ка въ себя Тафаеву.

Александръ вдругъ поднялъ брови и посмотрѣлъ на дядю.

— Вы шутите, дядюшка? это нелѣпо!—сказалъ онъ.

— Тамъ, гдѣ точно есть нелѣпости, ты ихъ дѣлаешь очень важно, а гдѣ дѣло просто и естественно—это у тебя нелѣпости. Что жъ тутъ нелѣпаго? Разбери, какъ нелѣпа сама любовь: игра крови, самолюбіе... Да что толковать съ тобой: вѣдь ты все еще вѣришь въ неизбѣжное назначеніе кого любить, въ симпатію душъ!

— Извините: теперь ни во что не вѣрю. Но развѣ можно влюбить и влюбиться по произволу?

— Можно, но не для тебя. Не бойся: я такого мудренаго порученія тебѣ не дамъ. Ты вотъ только что сдѣлай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателенъ, не давай Суркову оставаться съ ней наединѣ... ну, просто, взбѣси его. Мѣшай ему: онъ слово, ты два, онъ мнѣніе, ты опроверженіе. Сбивай его безпрестанно съ толку, уничтожай на каждомъ шагу...

— Зачѣмъ?

— Все еще не понимаешь? А затѣмъ, мой милый, что онъ сначала будетъ съ ума сходить отъ ревности и досады, потомъ охладѣетъ. Это у него скоро слѣдуетъ одно за другимъ. Онъ самолюбивъ до глупости. Квартира тогда не понадобится, капиталъ останется цѣлъ, заводскія дѣла пой-

дуть своимъ чередомъ... ну, понимаешь? Ужъ это въ пятый разъ я съ нимъ играю шутку: прежде, бывало, когда былъ холостой и помоложе, самъ, а не то, кого-нибудь изъ пріятелей подошлю.

— Но я съ нею незнакомъ,—сказалъ Александръ.

— А для этого-то я и повезу тебя къ ней въ среду. По средамъ у ней собираются кое-кто изъ старыхъ знакомыхъ.

— А если она отвѣчаетъ любви Суркова, тогда, согласитесь, что мои угожденія и внимательность взбѣсятъ не одного его.

— Э, полно! Порядочная женщина, разглядѣвъ дурака, перестанетъ имъ заниматься, особенно при свидѣтеляхъ: самолюбіе не позволитъ. Тутъ же около будетъ другой, поумнѣе и покрасивѣе: она посовѣстится, скорѣй броситъ. Вотъ для этого я и выбралъ тебя.

Александръ поклонился.

— Сурковъ не опасенъ,—продолжалъ дядя:—но Тафаева принимаетъ очень немногихъ, такъ что онъ можетъ, пожалуй, въ ея маленькомъ кругу прослыть и львомъ, и умникомъ. На женщинъ много дѣйствуетъ внѣшность. Онъ же мастеръ угодить, ну, его и терпятъ. Она, можетъ-быть, кокетничаетъ съ нимъ, а онъ и того... И умныя женщины любятъ, когда для нихъ дѣлаютъ глупости, особенно дорогія. Только онѣ любятъ бо̀льшею частью при этомъ не того, кто ихъ дѣлаетъ, а другого... Многіе этого не хотятъ понять, въ томъ числѣ и Сурковъ,—вотъ ты и вразуми его.

— Но Сурковъ, вѣроятно, тамъ и не по средамъ бываетъ: въ среду я ему помѣшаю, а въ другіе дни какъ?

— Все учи тебя! Ты польсти ей, прикинься немножко влюбленнымъ — со второго раза она пригласитъ тебя ужъ не въ среду, а въ четвергъ или въ пятницу; ты удвой внимательность, а я потомъ немножко ее настрою, намекну, будто ты и въ самомъ дѣлѣ—того... Она, кажется... сколько

я могъ замѣтить... такая чувствительная... должно-быть, слабонервная... она, я думаю, тоже не прочь отъ симпатіи... отъ изліяній...

— Какъ это можно?—говорилъ въ раздумьи Александръ.— Если бъ я могъ еще влюбиться—такъ? а то не могу... и успѣха не будетъ.

— Напротивъ, тутъ-то и будетъ. Если бъ ты влюбился, ты не могъ бы притворяться, она сейчасъ бы замѣтила и пошла бы играть съ вами съ обоими въ дураки. А теперь... да ты мнѣ взбѣси только Суркова: ужъ я знаю его, какъ свои пять пальцевъ. Онъ, какъ увидитъ, что ему не везетъ, не станетъ тратить деньги даромъ, а мнѣ это только и нужно... Слушай, Александръ, это очень важно для меня: если ты это сдѣлаешь—помнишь двѣ вазы, что̀ понравились тебѣ на заводѣ? онѣ—твои: только пьедесталъ ты самъ купи.

— Помилуйте, дядюшка, неужели вы думаете, что я...

— Да за что̀ жъ ты станешь даромъ хлопотать, терять время? Вотъ прекрасно! Ничего! вазы очень красивы. Въ нашъ вѣкъ безъ ничего, ничего и не дѣлаютъ. Когда я что-нибудь для тебя сдѣлаю, предложи мнѣ подарокъ: я возьму.

— Странное порученіе! — сказалъ Александръ нерѣшительно.

— Надѣюсь, ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готовъ сдѣлать, что̀ могу: когда понадобятся деньги—обратись... Такъ въ среду! Эта исторія продолжится мѣсяцъ, много два. Я тебѣ тамъ скажу, какъ не нужно будетъ, тогда и брось.

— Извольте, дядюшка, я готовъ; только странно... За успѣхъ не ручаюсь... если бъ я могъ еще самъ влюбиться, тогда... а то нѣтъ...

— И очень хорошо, что не можешь, а то бы все дѣло испортилъ. Я самъ ручаюсь за успѣхъ. Прощай!

Онъ ушелъ, а Александръ долго еще сидѣлъ у камина, надъ милымъ пепломъ.

Когда Петръ Иванычъ воротился домой, жена спросила:

— Что̀ Александръ, что̀ его повѣсть, будетъ ли онъ писать?

— Нѣтъ, я его вылѣчилъ навсегда.

Адуевъ разсказалъ ей содержаніе письма, полученнаго имъ съ повѣстью, и о томъ, какъ они сожгли все.

— Ты безъ жалости, Петръ Иванычъ!—сказала Лизавета Александровна:—или не умѣешь ничего порядочно сдѣлать, за что ни примешься.

— Ты хорошо дѣлала, что принуждала его бумагу марать! развѣ у него есть талантъ?

— Нѣтъ.

Петръ Иванычъ посмотрѣлъ на нее съ удивленіемъ.

— Такъ зачѣмъ же ты?..

— А ты все еще не понялъ, не догадался?

Онъ молчалъ и невольно вспомнилъ сцену свою съ Александромъ.

— Чего жъ тутъ не понять? это очень ясно!—говорилъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

— А что̀, скажи?

— Что̀... что̀... ты хотѣла дать ему урокъ... только иначе, мягче, по-своему...

— Не понимаетъ, а еще умный человѣкъ! Отчего онъ былъ все это время веселъ, здоровъ, почти счастливъ? Оттого, что надѣялся. Вотъ я поддерживала эту надежду: ну, теперь ясно?

— Такъ это ты все хитрила съ нимъ?

— Я думаю, это позволительно. А ты что̀ надѣлалъ? Тебѣ его вовсе не жаль: отнялъ послѣднюю надежду.

— Полно! какую послѣднюю надежду: еще много глупостей впереди.

— Что̀ онъ теперь будетъ дѣлать? Опять станетъ ходить повѣся носъ?

— Нѣтъ! не станетъ: не до того будетъ: я задалъ ему работу.

— Что? опять переводъ какой-нибудь о картофелѣ? Развѣ это можетъ занять молодого человѣка, и особенно пылкаго и восторженнаго? У тебя бы только была занята голова.

— Нѣтъ, моя милая, не о картофелѣ, а по заводу кое-что.

III.

Настала и среда. Въ гостиной Юліи Павловны собралось человѣкъ двѣнадцать или пятнадцать гостей. Четыре молодыя дамы, два иностранца съ бородами, заграничные знакомые хозяйки, да офицеръ составляли одинъ кружокъ.

Отдѣльно отъ нихъ, на бержеркѣ, сидѣлъ старикъ, повидимому отставной военный, съ двумя клочками сѣдыхъ волосъ подъ носомъ и со множествомъ ленточекъ въ петлицѣ. Онъ толковалъ съ какимъ-то пожилымъ человѣкомъ о предстоящихъ откупахъ.

Въ другой комнатѣ старушка и двое мужчинъ играли въ карты. За фортепіано сидѣла очень молоденькая дѣвица, другая тутъ же разговаривала со студентомъ.

Явились Адуевы. Рѣдко кто умѣлъ войти съ такой непринужденностью и достоинствомъ въ гостиную, какъ Петръ Иванычъ. За нимъ, съ какой-то нерѣшимостью, слѣдовалъ Александръ.

Какая разница между ними: одинъ цѣлой головой выше, стройный, полный, человѣкъ крѣпкой и здоровой натуры, съ самоувѣренностью въ глазахъ и манерахъ. Но ни въ одномъ взглядѣ, ни въ движеніи, ни въ словѣ нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча—такъ все прикрыто было въ немъ свѣтскостью и искусствомъ владѣть собой. Кажется, у него разсчитаны были и жесты, и взгляды.

Блѣдное, безстрастное лицо показывало, что въ этомъ человѣкѣ немного разгула страстямъ подъ деспотическимъ правленіемъ ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы.

Въ Александрѣ, напротивъ, все показывало слабое и нѣжное сложеніе, и измѣнчивое выраженіе лица, и какая-то лѣнь или медленность и неровность движеній, и матовый взглядъ, который сейчасъ высказывалъ, какое ощущеніе тревожило сердце его, или какая мысль шевелилась въ головѣ. Онъ былъ средняго роста, но худъ и блѣденъ, — не отъ природы, какъ Петръ Иванычъ, а отъ безпрерывныхъ душевныхъ волненій; волосы не росли, какъ у того, густымъ лѣсомъ по головѣ и по щекамъ, но спускались по вискамъ и по затылку длинными, слабыми, но чрезвычайно мягкими, шелковистыми прядями свѣтлаго цвѣта, съ прекраснымъ отливомъ.

Дядя представилъ племянника.

— А моего пріятеля Суркова нѣтъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, оглядываясь съ удивленіемъ.—Онъ забылъ васъ.

— О, нѣтъ! я очень благодарна ему,—отвѣчала хозяйка.— Онъ посѣщаетъ меня. Вы знаете, я, кромѣ знакомыхъ моего покойнаго мужа, почти никого не принимаю.

— Да гдѣ же онъ?

— Онъ сейчасъ будетъ. Вообразите, онъ далъ слово мнѣ и кузинѣ достать непремѣнно ложу на завтрашній спектакль, когда, говорятъ, нѣтъ никакой возможности... и теперь поѣхалъ.

— И достанетъ; я ручаюсь за него: онъ геній на это. Онъ всегда достаетъ мнѣ, когда ни знакомство, ни протекція не помогаютъ. Гдѣ онъ беретъ и за какія деньги— это его тайна.

Пріѣхалъ и Сурковъ. Туалетъ его былъ свѣжъ, но въ каждой складкѣ платья, въ каждой бездѣлицѣ рѣзко проглядывала претензія быть львомъ, превзойти всѣхъ модниковъ

и самую моду. Если, напримѣръ, мода требовала распашныхъ фраковъ, такъ его фракъ распахивался до того, что походилъ на распростертыя птичьи крылья; если носили откидные воротники, такъ онъ заказывалъ себѣ такой воротникъ, что въ своемъ фракѣ онъ похожъ былъ на пойманнаго сзади мошенника, который рвется вонъ изъ рукъ. Онъ самъ давалъ наставленія своему портному, какъ шить. Когда онъ явился къ Тафаевой, шарфъ его на этотъ разъ былъ приколотъ къ рубашкѣ булавкой такой неумѣренной величины, что она походила на дубинку.

— Ну что, достали?—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Сурковъ только-что хотѣлъ отвѣчать, но, увидѣвъ Адуева съ племянникомъ, вдругъ остановился и поглядѣлъ на нихъ съ удивленіемъ.

— Предчувствуетъ!—сказалъ Петръ Иванычъ тихо племяннику.—Ба! да онъ съ тростью: что̀ это значитъ?

— Это что̀? — спросилъ онъ Суркова, показывая на трость.

— Давеча выходилъ изъ коляски... оступился и немного хромаю,—отвѣчалъ тотъ, покашливая.

— Вздоръ! — шепнулъ Петръ Иванычъ Александру. — Замѣть набалдашникъ: видишь золотую львиную голову? Третьяго дня онъ хвастался мнѣ, что заплатилъ за нее Барбье шестьсотъ рублей, и теперь показываетъ; вотъ тебѣ образчикъ средствъ, какими онъ дѣйствуетъ. Сражайся и сбей его вонъ съ этой позиціи.

Петръ Иванычъ указалъ въ окно на домъ, бывшій напротивъ.

— Помни, что вазы твои, и одушевись,—прибавилъ онъ.

— На завтрашній спектакль имѣете билетъ? — спросилъ Сурковъ Тафаеву, подходя къ ней торжественно.

— Нѣтъ.

— *Позвольте вамъ вручить!* — продолжалъ онъ и досказалъ весь отвѣтъ Загорѣцкаго изъ *Горе отъ ума*.

Усы офицера слегка зашевелились отъ улыбки. Петръ Иванычъ искоса поглядѣлъ на племянника, а Юлія Павловна покраснѣла. Она стала приглашать Петра Иваныча въ ложу.

— Очень вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ онъ:—но я завтра дежурный въ театрѣ при женѣ; а вотъ позвольте представить вамъ взамѣнъ молодого человѣка...

Онъ показалъ на Александра.

— Я хотѣла просить и его; насъ только трое: я съ кузиной, да...

— Онъ вамъ замѣнитъ и меня,—сказалъ Петръ Иванычъ:—а въ случаѣ нужды и этого повѣсу.

Онъ указалъ на Суркова и началъ что-то тихо говорить ей. Она при этомъ два раза украдкою взглянула на Александра и улыбнулась.

— Благодарю,—отвѣчалъ Сурковъ:—только не худо было бы предложить этотъ замѣнъ пораньше, когда не было билета: я бы посмотрѣлъ тогда, какъ бы замѣнили меня.

— Ахъ! я вамъ очень благодарна за вашу любезность,—съ живостью сказала хозяйка Суркову:—но не пригласила васъ въ ложу потому, что у васъ есть кресло. Вы вѣрно предпочтете быть прямо противъ сцены... особенно въ балетѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ, лукавите, вы не думаете этого: промѣнять мѣсто подлѣ васъ—ни за что!

— Но оно ужъ обѣщано...

— Какъ? Кому?

— М. Рене.

Она показала на одного изъ бородатыхъ иностранцевъ.

— Oui, madame m'a fait cet honneur...—живо забормоталъ тотъ.

Сурковъ, разиня ротъ, поглядѣлъ на него, потомъ на Тафаеву.

— Я перемѣнюсь съ нимъ: я предложу ему кресло, — сказалъ онъ.

— Попробуйте.

Бородачъ и руками, и ногами.

— Покорно васъ благодарю! — сказалъ Сурковъ Петру Иванычу, косясь на Александра:—этимъ я вамъ обязанъ.

— Не стóитъ благодарности. Да не хочешь ли въ мою ложу? насъ только двое съ женой: ты же давно съ ней не видался: поволочился бы.

Сурковъ съ досадой отвернулся отъ него. Петръ Иванычъ тихонько уѣхалъ. Юлія посадила Александра подлѣ себя и говорила съ нимъ цѣлый часъ. Сурковъ вмѣшивался нѣсколько разъ въ разговоръ, но какъ-то некстати. Заговорилъ что-то о балетѣ и получилъ въ отвѣтъ *да*, когда надо было сказать *нѣтъ*, и наоборотъ: ясно, что его не слушали. Потомъ вдругъ перескочилъ къ устрицамъ, увѣряя, что онъ съѣлъ ихъ утромъ сто восемьдесятъ штукъ—и не получилъ даже взгляда. Онъ сказалъ еще нѣсколько общихъ мѣстъ, и не видя никакого толку, схватилъ шляпу и вертѣлся около Юліи, давая ей замѣтить, что онъ недоволенъ и собирается уѣхать. Но она не замѣтила.

— Я уѣзжаю!—сказалъ онъ, наконецъ, выразительно. — Прощайте!

Въ этихъ словахъ слышалась худо скрытая досада.

— Уже?—отвѣчала она спокойно.—Завтра дадите взглянуть на себя въ ложѣ хоть на одну минуту?

— Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что за мѣсто подлѣ васъ я не взялъ бы мѣста въ раю.

— Если въ театральномъ, вѣрю!

Ему ужъ не хотѣлось уѣзжать. Досада его прошла отъ брошеннаго Юліей ласковаго слова на прощаньи. Но всѣ видѣли, что онъ раскланивался: надо было поневолѣ уходить, и онъ ушелъ, оглядываясь какъ собачонка, которая

пошла-было вслѣдъ за своимъ господиномъ, но которую гонятъ назадъ.

Юліи Павловнѣ было двадцать три, двадцать четыре года. Петръ Иванычъ угадалъ: она въ самомъ дѣлѣ была слабонервна, но это не мѣшало ей быть вмѣстѣ очень хорошенькой, умной и граціозной женщиной. Только она была робка, мечтательна, чувствительна, какъ бо́льшая часть нервныхъ женщинъ. Черты лица нѣжныя, тонкія, взглядъ кроткій и всегда задумчивый, частію грустный—безъ причины, или, если хотите, по причинѣ нервъ.

На міръ и жизнь она глядѣла не совсѣмъ благосклонно, задумывалась надъ вопросомъ о своемъ существованіи и находила, что она лишняя здѣсь. Но, Боже сохрани, если кто, даже случайно, проговаривался при ней о могилѣ, о смерти—она блѣднѣла. Отъ ея взгляда ускользала свѣтлая сторона жизни. Въ саду, въ рощѣ, она выбирала для прогулки темную, густую аллею и равнодушно глядѣла на смѣющійся пейзажъ. Въ театрѣ смотрѣла всегда драму, комедію рѣдко, водевиль никогда; зажимала уши отъ доходившихъ до нея случайно звуковъ веселой пѣсни, никогда не улыбалась шуткѣ.

Въ другое время черты ея лица выражали томленіе, но не страдальческое, не болѣзненное, а томленіе будто нѣги. Видно было, что она внутренно боролась съ какою-нибудь обольстительною мечтою—и изнемогала. Послѣ такой борьбы долго она была молчалива, грустна, потомъ вдругъ впадала въ безотчетное веселое расположеніе духа, не измѣняя, однакоже, своему характеру: что̀ веселило ее—не развеселило бы другого. Все нервы! А послушать этихъ дамъ, такъ чего онѣ не скажутъ! слова: *судьба, симпатія, безотчетное влеченіе, невѣдомая грусть, смутныя желанія*—такъ и толкаютъ одно другое, а кончится все-таки вздохомъ, словомъ нервы и флакончикомъ со спиртомъ.

— Какъ вы угадали меня!—сказала Тафаева Александру

при прощаніи.—Изъ мужчинъ никто, даже мужъ, не могли понять хорошенько моего характера.

А дѣло въ томъ, что чуть ли Александръ и самъ не былъ таковъ. То-то было раздолье ему!

— До свиданія.

Она подала ему руку.

— Надѣюсь, что теперь вы безъ дядюшки найдете ко мнѣ дорогу?—прибавила она.

Настала зима. Александръ обыкновенно обѣдалъ по пятницамъ у дяди. Но вотъ ужъ прошло четыре пятницы, онъ не являлся, не заходилъ и въ другіе дни. Лизавета Александровна сердилась; Петръ Иванычъ ворчалъ, что онъ заставлялъ понапрасну ждать себя лишніе полчаса.

А между тѣмъ Александръ былъ не безъ дѣла; онъ исполнялъ порученіе дяди. Сурковъ ужъ давно пересталъ ѣздить къ Тафаевой и вездѣ объявилъ, что у нихъ все кончено, что онъ *разорвалъ съ ней связь.* Однажды вечеромъ—это было въ четвергъ—Александръ, воротясь домой, нашелъ у себя на столѣ двѣ вазы и записку отъ дяди. Петръ Иванычъ благодарилъ его за дружеское усердіе и звалъ на другой день, по обыкновенію, обѣдать. Александръ задумался, какъ будто это приглашеніе разстраивало его планы. На другой день, однакоже, онъ пошелъ къ Петру Иванычу за часъ до обѣда.

— Что съ тобой? совсѣмъ тебя не видать? забыли насъ?—закидали его вопросами и дядя, и тетка.

— Ну! удружилъ,—продолжалъ Петръ Иванычъ:—сверхъ ожиданія! а скромничалъ: «не могу, говоритъ, не умѣю!» не умѣетъ! Я хотѣлъ давно повидаться съ тобой, да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодаренъ! Получилъ вазы въ цѣлости?

— Получилъ. Но я ихъ назадъ пришлю.

— Зачѣмъ? ни, ни: онѣ, по всѣмъ правамъ, твои.

— Нѣтъ!—сказалъ Александръ рѣшительно:—я не возьму этого подарка.

— Ну, какъ хочешь! онѣ нравятся женѣ: она возьметъ.

— Я не знала, Александръ,—сказала Лизавета Александровна съ лукавой улыбкой:—что вы такъ искусны на эти дѣла... мнѣ ни слова...

— Это дядюшка придумалъ, — отвѣчалъ сконфуженный Александръ:—я тутъ ровно ничего, онъ и меня научилъ...

— Да, да, слушай его: онъ самъ не умѣетъ. А такъ обработалъ дѣльцо... Очень, очень благодаренъ! А дуралей-то мой, Сурковъ, чуть съ ума не сошелъ. Насмѣшилъ меня. Недѣли двѣ назадъ тому, вбѣгаетъ ко мнѣ самъ не свой: я сейчасъ понялъ, зачѣмъ, только не показываю виду, пишу, будто ничего не знаю. «А! это ты, говорю: что скажешь хорошаго?» Онъ улыбнулся, хотѣлъ притвориться покойнымъ... а у самого чуть не слезы на глазахъ. «Ничего, говоритъ, хорошаго: я пріѣхалъ къ вамъ съ дурными вѣстями». Я поглядѣлъ на него будто съ удивленіемъ. «Что такое?» спрашиваю. «Да о вашемъ, говоритъ, племянникѣ!»—«А что? ты пугаешь меня? скажи скорѣй!» спрашиваю я. Тутъ спокойствіе его лопнуло: онъ началъ кричать, бѣситься. Я откатился отъ него съ креслами—нельзя говорить: такъ и брызжетъ. «Сами, говоритъ, жаловались, что онъ мало занимается, а вы же его и пріучаете къ бездѣлью».—«Я?»—«Да, вы: кто его познакомилъ съ Julie?» Надо тебѣ сказать, что онъ со второго дня знакомства съ женщиной ужъ начинаетъ звать ее полуименемъ. «Что жъ за бѣда?» говорю я. «А та бѣда, говоритъ, что онъ у ней теперь съ утра до вечера сидитъ...»

Александръ вдругъ покраснѣлъ.

— Видишь вѣдь какъ лжетъ отъ злости, думалъ я,—продолжалъ Петръ Иванычъ, поглядывая на племянника:—ставитъ Александръ сидѣть тамъ съ утра до вечера! объ этомъ я его не просилъ; такъ ли?

Петръ Иванычъ остановилъ на племянникѣ свой холодный и покойный взоръ, который показался Александру просто огненнымъ.

— Да... я иногда... захожу...—бормоталъ Александръ.

— Иногда—это разница,—продолжалъ дядя:—я такъ и просилъ; но каждый же день. Я зналъ, что онъ лжетъ. Что̀ тамъ дѣлать каждый день? соскучишься!

— Нѣтъ! она очень умная женщина... прекрасно воспитана... любитъ музыку...—говорилъ Александръ невнятно, съ разстановкою, и почесалъ глазъ, хотя онъ не чесался, погладилъ лѣвый високъ, потомъ досталъ платокъ и отеръ губы.

Лизавета Александровна пристально, украдкою, взглянула на него, отвернулась къ окну и улыбнулась.

— А! ну, тѣмъ лучше,—сказалъ Петръ Иванычъ:—если тебѣ не было скучно; а я все боялся, не надѣлалъ ли я тебѣ непріятныхъ хлопотъ. Вотъ я говорю Суркову: «спасибо, милый, что ты принимаешь участіе въ моемъ племянникѣ; очень, очень благодаренъ тебѣ... только не преувеличиваешь ли ты дѣла? Бѣда не такъ еще велика...»—«Какъ не бѣда!—закричалъ онъ:—онъ, говоритъ, дѣломъ не занимается; молодой человѣкъ долженъ трудиться...»—«И это не бѣда, говорю я, тебѣ что̀ за нужда?»—«Какъ, говоритъ, что̀ за нужда: онъ вздумалъ дѣйствовать противъ меня хитростями...»—«А, вотъ гдѣ бѣда!» сталъ я дразнить. «Внушаетъ, говоритъ, Юліи чортъ знаетъ что̀ про меня... Она совсѣмъ теперь перемѣнилась ко мнѣ. Я проучу его, молокососа—извини, повторяю его слова,—гдѣ, говоритъ, ему со мной бороться? онъ только клеветой взялъ; надѣюсь, что вы вразумите его...»—«Пожурю, говорю я, непремѣнно пожурю; только, полно, правда ли это? чѣмъ онъ тебѣ надосадилъ?» Ты ей тамъ цвѣты, что ли, дарилъ?..

Петръ Иванычъ опять остановился, какъ будто ожидая отвѣта. Александръ молчалъ. Петръ Иванычъ продолжалъ:

— «Какъ, говоритъ, неправда? зачѣмъ онъ ей каждый день букетъ цвѣтовъ носитъ? теперь, говоритъ, зима... чего это стоитъ?.. я знаю, говоритъ, что̀ значатъ эти букеты». Вотъ что, подумалъ я самъ про себя, свой-то человѣкъ: нѣтъ, я вижу родство не пустая вещь: — сталъ ли бы ты такъ хлопотать для другого? «Только точно̀ ли каждый день? говорю я. Постой, я спрошу его: ты, пожалуй, солжешь». И вѣрно совралъ! да? Не можетъ быть, чтобъ ты...

Александру хоть сквозь землю провалиться. А Петръ Иванычъ безпощадно смотрѣлъ прямо ему въ глаза и ждалъ отвѣта.

— Иногда... я точно... носилъ... — сказалъ Александръ, потупивъ глаза.

— Ну, опять-таки иногда. Не каждый день: это, въ самомъ дѣлѣ, убыточно. Ты, впрочемъ, скажи мнѣ, что̀ все это стоитъ тебѣ: я не хочу, чтобъ ты тратился для меня; довольно и того, что ты хлопочешь. Ты дай мнѣ счетъ. Ну, и долго тутъ Сурковъ поролъ горячку. «Они всегда, говоритъ, прогуливаются вдвоемъ пѣшкомъ или въ экипажѣ тамъ, гдѣ меньше народу».

Александра при этихъ словахъ немного покоробило: онъ вытянулъ ноги изъ-подъ стула и вдругъ опять поджалъ ихъ.

— Я покачалъ сомнительно головой,—продолжалъ дядя:— «станетъ онъ гулять каждый день!» говорю. «Спросите, говоритъ, у людей...» «Я лучше у самого спрошу», сказалъ я... Вѣдь неправда?

— Я нѣсколько разъ... точно... гулялъ съ ней...

— Такъ не каждый же день; объ этомъ я не просилъ; и зналъ, что онъ вретъ. «Ну, что жъ, я говорю ему, за важность? Она вдова, близкихъ мужчинъ нѣтъ у ней; Александръ скроменъ,—не то, что ты, повѣса. Вотъ она и беретъ его: нельзя же ей одной». Онъ слушать ничего не хочетъ. «Нѣтъ, говоритъ, меня не проведете! я знаю. Все-

гда съ ней въ театрѣ; я же, говоритъ, и ложу достану, иногда Богъ знаетъ съ какими хлопотами, а онъ въ ней и засѣдаетъ». Я ужъ тутъ не выдержалъ и расхохотался. «Такъ тебѣ и надо, думаю, болванъ!» Ай да Александръ! вотъ племянникъ! Только совѣстно мнѣ, что ты такъ хлопочешь для меня.

Александръ былъ какъ въ пыткѣ. Со лба капали крупныя капли пота. Онъ едва слышалъ, что̀ говорилъ дядя, и не смѣлъ взглянуть ни на него, ни на тетку.

Лизавета Александровна сжалилась надъ нимъ. Она покачала мужу головой, упрекая, что онъ мучитъ племянника. Но Петръ Иванычъ не унялся.

— Сурковъ, отъ ревности, вздумалъ увѣрять меня,—продолжалъ онъ:—что ты ужъ будто и влюбленъ по уши въ Тафаеву. «Нѣтъ, ужъ извини, говорю я ему, вотъ это неправда: послѣ всего, что̀ съ нимъ случилось, онъ не влюбится. Онъ слишкомъ хорошо знаетъ женщинъ и презираетъ ихъ...» Не правда ли?

Александръ, не поднимая глазъ, кивнулъ головой.

Лизавета Александровна страдала за него.

— Петръ Иванычъ! — сказала она, чтобы какъ-нибудь замять рѣчь.

— А? что?

— Давеча приходилъ человѣкъ отъ Лукьяновыхъ съ письмомъ.

— Знаю; хорошо. На чемъ я остановился?

— Опять, Петръ Иванычъ, ты сталъ сбрасывать пепелъ въ мои цвѣты. Смотри, что это такое?

— Ничего, милая: говорятъ, пепелъ способствуетъ растительности... Такъ я хотѣлъ сказать...

— Да не пора ли, Петръ Иванычъ, обѣдать?

— Хорошо, вели давать! Вотъ ты кстати напомнила объ обѣдѣ. Сурковъ говоритъ, что ты, Александръ, тамъ почти каждый день обѣдаешь, что, говоритъ, оттого нынче у

шась и по пятницамъ не бываетъ, что будто вы цѣлые дни вдвоемъ проводите... чортъ знаетъ что вралъ тутъ, надоѣлъ: наконецъ я его выгналъ. Такъ и вышло, что совралъ. Нынче пятница, а вотъ ты налицо!

Александръ переложилъ одну ногу на другую и склонилъ голову къ лѣвому плечу.

— Я весьма, весьма благодаренъ тебѣ. Это—и дружеская, и родственная услуга!—заключилъ Петръ Иванычъ.— Сурковъ убѣдился, что ему нечего взять, и ретировался: «она, говоритъ, воображаетъ, что я стану вздыхать по ней— ошибается! А я еще хотѣлъ, говоритъ, отдѣлать этажъ изъ оконъ въ окна и Богъ знаетъ, какія намѣренія имѣлъ: она, говоритъ, можетъ-быть, и не мечтала о такомъ счастьѣ, какое ей готовилось. Я бы, говоритъ, не прочь жениться, если бъ она умѣла привязать меня къ себѣ. Теперь все кончено. Вы правду, говоритъ, совѣтовали, Петръ Иванычъ. Я сохраню и деньги, и время!» И теперь малый байронствуетъ, ходитъ такой угрюмый и денегъ не проситъ. И я съ нимъ скажу: все кончено! Твое дѣло сдѣлано, Александръ, в мастерски! я теперь покоенъ надолго. Больше не хлопочи. Можешь къ ней теперь и не заглядывать: я воображаю, какая тамъ скука!.. извини меня, пожалуйста... я заслужу это какъ-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись. Лиза! вели намъ подать хорошаго вина къ обѣду: мы выпьемъ за успѣхъ дѣла.

Петръ Иванычъ вышелъ изъ комнаты. Лизавета Александровна посмотрѣла украдкой раза два на Александра и, видя, что онъ не говоритъ ни слова, тоже вышла что-то приказать людямъ.

Александръ сидѣлъ какъ будто въ забытьи, и все смотрѣлъ себѣ на колѣни. Наконецъ поднялъ голову, осмотрѣлся—никого нѣтъ. Онъ перевелъ духъ, посмотрѣлъ на часы—четыре. Онъ поспѣшно взялъ шляпу, махнулъ рукой въ ту сторону, куда ушелъ дядя, и тихонько, на цыпочкахъ,

оглядываясь во всѣ стороны, добрался до передней, тамъ взялъ шинель въ руки, опрометью бросился бѣжать съ лѣстницы и уѣхалъ къ Тафаевой.

Сурковъ не солгалъ: Александръ любилъ Юлію. Онъ почти съ ужасомъ почувствовалъ первые припадки этой любви, какъ будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страхъ, и стыдъ: страхъ — подвергнуться опять всѣмъ прихотямъ и своего, и чужого сердца, стыдъ—передъ другими, болѣе всего передъ дядей. Дорого онъ далъ бы, чтобъ скрыть отъ него. Давно ли, три мѣсяца назадъ тому, онъ такъ гордо, рѣшительно отрекся отъ любви, написалъ даже эпитафію въ стихахъ этому безпокойному чувству, читанную дядей, наконецъ явно презиралъ женщинъ—и вдругъ опять у ногъ женщины! Опять доказательство ребяческой опрометчивости. Боже! когда же онъ освободится отъ несокрушимаго вліянія дяди? Неужели жизнь его никогда не приметъ особеннаго, неожиданнаго оборота, а будетъ вѣчно идти по предсказаніямъ Петра Иваныча?

Эта мысль приводила его въ отчаяніе. Онъ радъ бы бѣжать отъ новой любви. Но какъ бѣжать? Какая разница между любовью къ Наденькѣ и любовью къ Юліи! Первая любовь—не что иное, какъ несчастная ошибка сердца, которое требовало пищи, а сердце въ тѣ лѣта такъ неразборчиво: принимаетъ первое, что попадается. А Юлія! это уже не капризная дѣвочка, не понимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это, женщина въ полномъ развитіи, слабая тѣломъ, но съ энергіей духа — для любви: она — вся любовь! Другихъ условій для счастья и жизни она не признаетъ. Любить — будто бездѣлица? это также даръ; а Юлія—геній въ этомъ. Вотъ о какой любви мечталъ онъ: о сознательной, разумной, но вмѣстѣ сильной, не знающей ничего внѣ своей сферы.

«Я не задыхаюсь отъ радости, какъ животное,—говорилъ онъ самъ себѣ: — духъ не замираетъ, но во мнѣ совер-

шается процессъ важнѣе, выше: я сознаю свое счастье, размышляю о немъ, и оно полнѣе, хотя, можетъ-быть, тише... Какъ благородно, непритворно, совсѣмъ безъ жеманства, отдалась Юлія своему чувству! Она какъ-будто ждала человѣка, понимающаго глубоко любовь—и человѣкъ явился. Онъ, какъ законный властелинъ, вступилъ гордо во владѣніе наслѣдственнаго богатства и признанъ съ покорностью. Какая отрада, какое блаженство,—думалъ Александръ, ѣдучи къ ней отъ дяди: — знать, что есть въ мірѣ существо, которое, гдѣ бы ни было, что̀ бы ни дѣлало, помнитъ о насъ, сближаетъ всѣ мысли, занятія, поступки — все къ одной точкѣ и одному понятію—о любимомъ существѣ! Это какъ будто нашъ двойникъ. Что̀ онъ ни слышитъ, что̀ ни видитъ, мимо чего ни пройдетъ, или что̀ ни пройдетъ мимо него, все повѣряется впечатлѣніемъ другого, своего двойника; это впечатлѣніе извѣстно обоимъ, оба изучили другъ друга—и потомъ повѣренное такимъ образомъ впечатлѣніе принимается и утверждается въ душѣ неизгладимыми чертами. Двойникъ отказывается отъ собственныхъ ощущеній, если они не могутъ быть раздѣлены или приняты другимъ. Онъ любитъ то, что̀ любитъ другой, и ненавидитъ, что̀ тотъ ненавидитъ. Они живутъ нераздѣльно въ одной мысли, въ одномъ чувствѣ: у нихъ одно духовное око, одинъ слухъ, одинъ умъ, одна душа...»

— Баринъ! кое мѣсто на Литейной?—спросилъ извозчикъ.

Юлія любила Александра еще сильнѣе, нежели онъ ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила въ первый разъ—это бы еще ничего—нельзя же полюбить прямо во второй разъ; но бѣда была въ томъ, что сердце у ней было развито до-нельзя, обработано романами и приготовлено, не то что для первой, но для той романической любви, которая существуетъ въ нѣкоторыхъ романахъ, а не въ природѣ, и которая оттого всегда бываетъ несчастлива, что невозможна на дѣлѣ.

Между тѣмъ умъ Юліи не находилъ въ чтеніи однихъ романовъ здоровой пищи и отставалъ отъ сердца. Она не могла никакъ представить себѣ тихой, простой любви безъ бурныхъ проявленій, безъ неумѣренной нѣжности. Она бы тотчасъ разлюбила человѣка, если бъ онъ *не палъ къ ея ногамъ*, при удобномъ случаѣ, если бъ не клялся ей *всѣми силами души*, если бъ осмѣлился *не сжечь и испепелить ее въ своихъ объятіяхъ*, или дерзнулъ бы, кромѣ любви, заняться другимъ дѣломъ, а не пилъ бы только *чашу жизни* по каплѣ въ ея слезахъ и поцѣлуяхъ.

Отсюда родилась мечтательность, которая создала ей особый міръ. Чуть что-нибудь въ простомъ мірѣ совершалось не по законамъ особаго, сердце ея возмущалось, она страдала. Слабый и безъ того организмъ женщины подвергался потрясенію, иногда весьма сильному. Частыя волненія раздражали нервы и наконецъ довели ихъ до совершеннаго разстройства. Вотъ отчего эта задумчивость и грусть безъ причины, этотъ сумрачный взглядъ на жизнь у многихъ женщинъ; вотъ отчего стройный, мудро-созданный и совершающійся по непреложнымъ законамъ порядокъ людского существованія кажется имъ тяжкою цѣпью; вотъ, однимъ словомъ, отчего пугаетъ ихъ дѣйствительность, заставляя строить міръ, подобный міру фатаморганы.

Кто же постарался обработать преждевременно и такъ неправильно сердце Юліи и оставить въ покоѣ умъ?.. Кто? А тотъ классическій тріумвиратъ педагоговъ, которые, по призыву родителей, являются воспринять на свое попеченіе юный умъ, открыть ему *всѣхъ вещей дѣйства и причины*, расторгнуть завѣсу прошедшаго и показать, что̀ подъ нами, надъ нами, что̀ въ самихъ насъ — трудная обязанность! Зато и призваны были три націи на этотъ важный подвигъ. Родители сами отступились отъ воспитанія, полагая, что всѣ ихъ заботы кончаются тѣмъ, чтобы, положась на рекомендацію добрыхъ пріятелей, нанять француза Пуле,

для обученія французской литературѣ и другимъ наукамъ; далѣе нѣмца Шмита, потому что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться по-нѣмецки; наконецъ, русскаго учителя Ивана Иваныча.

— Да они всѣ такіе нечёсаные,—говоритъ мать:—одѣты такъ всегда дурно, хуже лакея на видъ; иногда еще отъ нихъ виномъ пахнетъ...

— Какъ же безъ русскаго учителя? нельзя! — рѣшилъ отецъ:—не безпокойся: я самъ выберу почтище.

Вотъ французъ принялся за дѣло. Около него ухаживали и отецъ, и мать. Его приглашали въ домъ, какъ гостя, обходились съ нимъ очень почтительно: это былъ дорогой французъ.

Ему было легко учить Юлію: она, благодаря гувернанткѣ, болтала по-французски, читала и писала почти безъ ошибокъ. М. Пуле оставалось только занять ее сочиненіями. Онъ задавалъ ей разныя темы: то описать восходящее солнце, то опредѣлить любовь и дружбу, то написать поздравительное письмо родителямъ, или излить грусть при разлукѣ съ подругой.

А Юліи изъ своего окна видно было только, какъ солнце заходитъ за домъ купца Гирина; съ подругами она никогда не разлучалась, а дружба и любовь... но тутъ впервые мелькнула у ней идея объ этихъ чувствахъ. Надо же когда-нибудь узнать о нихъ.

Истощивъ весь запасъ этихъ темъ, Пуле рѣшился, наконецъ, приступить къ той завѣтной, тоненькой тетрадкѣ, на заглавномъ листѣ которой крупными буквами написано: Cours de littérature française. Кто изъ насъ не помнитъ этой тетради? Черезъ два мѣсяца Юлія знала наизусть французскую литературу, то-есть тоненькую тетрадку, а черезъ три забыла ее; но гибельные слѣды остались. Она знала что былъ Вольтеръ, и иногда навязывала ему *Мучениковъ*, а Шатобріану приписывала *Dictionnaire philosophique*. Мон-

таня называла M-r de Montaigne и упоминала о немъ иногда рядомъ съ Гюго. Про Мольера говорила, что онъ *пишетъ* для театра; изъ Расина выучила знаменитую тираду: A peine nous sortions des portes de Trezènes.

Въ миѳологіи ей очень понравилась комедія, разыгранная между Вулканомъ, Марсомъ и Венерой. Она-было заступилась за Вулкана, но узнавъ, что онъ былъ хромой и неуклюжій, и притомъ кузнецъ, сейчасъ перешла на сторону Марса. Она полюбила и басню о Семелѣ и Юпитерѣ, и объ изгнаніи Аполлона и его проказахъ на землѣ, принимая все это такъ, какъ оно написано, и не подозрѣвая никакого другого значенія въ этихъ сказкахъ. Подозрѣвалъ ли самъ французъ—Богъ знаетъ! На вопросы ея объ этой религіи древнихъ, онъ, наморщивъ лобъ, съ важностью отвѣчалъ ей: «Des bêtises? Mais cette bête de Vulcain devait avoir une drôle de mine... écoutez», прибавилъ онъ потомъ, прищуривъ немного глаза и потрепавъ ее по рукѣ:— «que feriez-vous à la place de Venus?» Она ничего не отвѣчала, но въ первый разъ въ жизни покраснѣла по неизвѣстной ей причинѣ.

Французъ усовершенствовалъ наконецъ воспитаніе Юліи тѣмъ, что познакомилъ ее уже не теоретически, а практически съ новой школой французской литературы. Онъ давалъ ей надѣлавшіе въ свое время большого шуму: Le manuscrit vert, Les sept péchés capitaux, L'âne mort и цѣлую фалангу книгъ, наводнявшихъ тогда Францію и Европу.

Бѣдная дѣвушка съ жадностью бросилась въ этотъ безбрежный океанъ. Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино — и цѣлая вереница великихъ мужей! Что передъ ихъ дивными изображеніями жалкая сказка о Вулканѣ? Венера, передъ этими новыми героями, просто невинность! И она жадно читала новую школу, вѣроятно читаетъ и теперь.

Между тѣмъ, какъ французъ зашелъ такъ далеко, солид-

ный нѣмецъ не успѣлъ пройти и грамматики: онъ очень важно составлялъ таблички склоненій, спряженій, придумывалъ разные затѣйливые способы, какъ запомнить окончанія падежей; толковалъ, что иногда частица zu ставится на концу и т. п.

А когда отъ него потребовали литературы, бѣднякъ перепугался. Ему показали тетрадь француза, онъ покачалъ головой и сказалъ, что по-нѣмецки этому нельзя учить, а что есть хрестоматія Аллера, въ которой всѣ писатели, съ своими сочиненіями, состоятъ налицо. Но онъ этимъ не отдѣлался: къ нему пристали, чтобъ онъ познакомилъ Юлію, какъ m-r Пуле, съ разными сочинителями.

Нѣмецъ наконецъ обѣщалъ и пришелъ домой въ сильномъ раздумьи. Онъ отворилъ, или, правильнѣе, вскрылъ шкапъ, вынулъ одну дверцу совсѣмъ и приставилъ ее къ стѣнкѣ, потому что шкапъ съ давнихъ поръ не имѣлъ ни петель, ни замка,—досталъ оттуда старые сапоги, полголовы сахару, бутылку съ нюхательнымъ табакомъ, графинъ съ водкой и корку чернаго хлѣба, потомъ изломанную кофейную мельницу, далѣе бритвенницу, съ кускомъ мыла и съ щеточкой въ помадной банкѣ, старыя подтяжки, оселокъ для перочиннаго ножа и еще нѣсколько подобной дряни. Наконецъ, за этимъ показалась книга, другая, третья, четвертая — такъ, пять счетомъ — всѣ тутъ. Онъ похлопалъ ихъ одну о другую: пыль поднялась облакомъ, какъ дымъ, и торжественно осѣнила голову педагога.

Первая книга была: Идилліи Геснера—gut! сказалъ нѣмецъ, и съ наслажденіемъ прочелъ идиллію о разбитомъ кувшинѣ. Развернулъ вторую книгу: Готскій Календарь 1804 года. Онъ перелистовалъ ее: тамъ династіи европейскихъ государей, картинки разныхъ замковъ, водопадовъ:— sehr gut! сказалъ нѣмецъ. Третья — библія: онъ отложилъ ее въ сторону, пробормотавъ набожно: Nein! Четвертая — *Юношы ночи:* онъ покачалъ головой и пробормоталъ: Nein!

Послѣдняя — Вейссе! и нѣмецъ торжественно улыбнулся: da habe ich's, сказалъ онъ. Когда ему сказали, что есть еще Шиллеръ, Гёте и другіе, онъ покачалъ головой и упрямо затвердилъ: Nein!

Юлія зѣвнула, только что нѣмецъ перевелъ ей первую страницу изъ Вейссе, и потомъ вовсе не слушала. Такъ отъ нѣмца у ней въ памяти и осталось только, что частица zu ставится иногда на кон*цу*.

А русскій? этотъ еще добросовѣстнѣе нѣмца дѣлалъ свое дѣло. Онъ почти со слезами увѣрялъ Юлію, что *существительное имя* или *глаголъ* есть такая часть рѣчи, а *предлогъ* вотъ такая-то, и наконецъ, достигъ, что она повѣрила ему и выучила наизусть опредѣленія всѣхъ частей рѣчи. Она могла даже разомъ исчислить всѣ предлоги, союзы, нарѣчія, и когда учитель важно вопрошалъ: «А какія суть междометія страха или удовольствія», она вдругъ, не переводя духу, проговаривала: ахъ, охъ, эхъ, увы, о, а, ну, эге! И наставникъ былъ въ восторгѣ.

Она узнала нѣсколько истинъ и изъ синтаксиса, но не могла никогда приложить ихъ къ дѣлу и осталась при грамматическихъ ошибкахъ на всю жизнь.

Изъ исторіи она узнала, что былъ Александръ Македонскій, что онъ много воевалъ, былъ прехрабрый... и, конечно, прехорошенькій... а что̀ еще онъ значилъ и что̀ значилъ его вѣкъ, объ этомъ ни ей, ни учителю и въ голову не приходило, да и Кайдановъ не распространяется очень объ этомъ.

Когда отъ учителя потребовали литературы, онъ притащилъ кучу старыхъ подержанныхъ книгъ. Тутъ были и Кантемиръ, и Сумароковъ, потомъ Ломоносовъ, Державинъ, Озеровъ. Всѣ удивились; осторожно развернули одну книгу, понюхали, потомъ бросили и потребовали чего-нибудь поновѣе. Учитель принесъ Карамзина. Но послѣ новой французской школы читать Карамзина! Юлія прочла «Бѣдную

Лизу», нѣсколько страницъ изъ «Путешествій», и отдала назадъ.

Антрактовъ у бѣдной ученицы, между этими занятіями, оставалось пропасть, и никакой благородной, здоровой пищи для мысли! Умъ начиналъ засыпать, а сердце бить тревогу. Вотъ тутъ-то подвернулся услужливый кузенъ и кстати привезъ ей нѣсколько главъ Онѣгина, Кавказскаго Плѣнника и проч. И дѣва познала сладость русскаго стиха. Онѣгинъ былъ выученъ наизусть и не покидалъ изголовья Юліи. И кузенъ, какъ прочіе наставники, не умѣлъ растолковать ей значенія и достоинства этого произведенія. Она взяла себѣ за образецъ Татьяну и мысленно повторяла своему идеалу пламенныя строки Татьянина письма къ Онѣгину, и сердце ея ныло, билось. Воображеніе искало то Онѣгина, то какого-нибудь героя мастеровъ новой школы— блѣднаго, грустнаго, разочарованнаго...

Итальянецъ и другой французъ довершили ея воспитаніе, данъ ея голосу и движеніямъ стройные размѣры, то-есть выучили танцовать, пѣть, играть или, лучше, поиграть до замужества на фортепіано, но музыки не выучили. И вотъ она осьмнадцати лѣтъ, но уже съ постоянно задумчивымъ взоромъ, съ интересной блѣдностью, съ воздушной таліей, съ маленькой ножкой, явилась въ салонахъ напоказъ свѣту.

Ее замѣтилъ Тафаевъ, человѣкъ со всѣми атрибутами жениха, то-есть съ почтеннымъ чиномъ, съ хорошимъ состояніемъ, съ крестомъ на шеѣ, словомъ, съ карьерой и фортуной. Нельзя сказать про него, чтобъ онъ былъ только простой и добрый человѣкъ. О, нѣтъ! онъ въ обиду себя не давалъ и судилъ весьма здраво о нынѣшнемъ состояніи Россіи, о томъ, чего ей недостаетъ въ хозяйственномъ и промышленномъ состояніи, и въ своей сферѣ считался дѣловымъ человѣкомъ.

Блѣдная, задумчивая дѣвушка, по какому-то странному противорѣчію съ его плотной натурой, сдѣлала на него

сильное впечатлѣніе. Онъ на вечерахъ уходилъ изъ-за картъ и погружался въ непривычную думу, глядя на этотъ полувоздушный призракъ, летавшій передъ нимъ. Когда на него падалъ ея томный взоръ, разумѣется случайно, онъ, бойкій гладіаторъ въ салонныхъ разговорахъ, смущался передъ робкой дѣвочкой, хотѣлъ ей иногда сказать что-нибудь, но не могъ. Это надоѣло ему, и онъ рѣшился дѣйствовать положительнѣе, чрезъ разныхъ тетокъ.

Справки о приданомъ оказались удовлетворительны. «Что же: насъ пара!» разсуждалъ онъ самъ съ собой. «Мнѣ только сорокъ пять лѣтъ, ей осьмнадцать: съ нашимъ состояніемъ и не двое прожили бы хорошо. Наружность? она еще заурядъ хорошенькая, а я, что-называется, мужчина... видный. Образована она, говорятъ: что же? И я когда-то учился, помню, учили и по-латыни, и римскую исторію. Еще и теперь помню: тамъ консулъ этотъ—какъ его... ну, чортъ съ нимъ! Помню и о реформаціи читали... и эти стихи: Beatus ille... какъ дальше? puer, pueri, puero... нѣтъ не то, чортъ знаетъ — все перезабылъ. Да вѣдь, ей-Богу, затѣмъ и учатъ, чтобы забыть. Ну, вотъ хоть зарѣжь меня, а я говорю, что вонъ и этотъ, и тотъ, всѣ эти чиновные и умные люди, ни одинъ не скажетъ, какой это консулъ тамъ... или въ которомъ году были олимпійскія игры, стало-быть, учатъ такъ... потому что порядокъ такой! чтобъ по глазамъ только было видно, что учился. Да и какъ не забыть: вѣдь въ свѣтѣ объ этомъ ужъ потомъ ничего никогда не говорятъ, а заговори-ка кто, такъ, я думаю, просто выведутъ! Нѣтъ, насъ пара».

И вотъ, когда Юлія вышла изъ дѣтства, ее на первомъ шагу встрѣтила самая печальная дѣйствительность—обыкновенный мужъ. Какъ онъ далекъ былъ отъ тѣхъ героевъ, которыхъ создало ей воображеніе и поэты!

Пять лѣтъ провела она въ этомъ скучномъ снѣ, какъ она называла замужество безъ любви, и вдругъ явилась

свобода и любовь. Она улыбнулась, простерла къ нимъ горячія объятія, предалась своей страсти, какъ человѣкъ предается быстрому бѣгу на конѣ. Онъ несется съ могучимъ животнымъ, забывая пространство. Духъ замираетъ, предметы бѣгутъ назадъ; въ лицо вѣетъ свѣжесть; грудь едва выноситъ ощущеніе цѣли... или, какъ человѣкъ, предающійся безпечно въ челнокѣ теченію волнъ: солнце грѣетъ его, зеленые берега мелькаютъ въ глазахъ, игривая волна ласкаетъ корму и такъ сладко шепчетъ, забѣгаетъ впередъ и манитъ все дальше, дальше, показывая путь безконечной струей... И онъ влечется. Некогда смотрѣть и думать тогда, чѣмъ кончится путь: мчитъ ли конь въ пропасть, влечетъ ли волна на скалу?.. Мысли уноситъ вѣтеръ, глаза закрываются, обаяніе непреодолимо... такъ и она не преодолѣвала его, а все влеклась, влеклась... Для нея, наконецъ, настали поэтическія мгновенія жизни: она полюбила эту, то сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волненій, выдумывала себѣ и муку, и счастье. Она пристрастилась къ своей любви, какъ пристращаются къ опіуму, и жадно пила сердечную отраву.

Юлія была ужъ взволнована ожиданіемъ. Она стояла у окна и нетерпѣніе ея возрастало съ каждой минутой. Она ощипывала китайскую розу и съ досадой бросала листья на полъ, а сердце такъ и замирало: это былъ моментъ муки. Она мысленно играла въ вопросъ и отвѣтъ: придетъ или не придетъ? вся сила ея соображенія была устремлена на то, чтобъ рѣшить эту мудреную задачу. Если соображенія говорили утвердительно, она улыбалась, если нѣтъ— блѣднѣла.

Когда Александръ подъѣхалъ, она, блѣдная, опустилась въ кресла отъ изнеможенія—такъ сильно работали въ ней нервы. Когда онъ вошелъ... невозможно описать этого взгляда, которымъ она встрѣтила его, этой радости, которая мгновенно разлилась по всѣмъ ея чертамъ, какъ будто

они годъ не видались, а они видѣлись наканунѣ. Она молча указала на стѣнные часы; но едва онъ заикнулся, чтобъ оправдаться, она, не выслушавъ, повѣрила, простила, забыла всю боль нетерпѣнія, подала ему руку, и оба сѣли на диванъ и долго говорили, долго молчали, долго смотрѣли другъ на друга. Не напомни человѣкъ, они непремѣнно забыли бы обѣдать.

Сколько наслажденій! Никогда Александру и не мечталось о такой полнотѣ *искреннихъ, сердечныхъ изліяній*. Лѣтомъ прогулки вдвоемъ за городомъ: если толпу привлекали куда-нибудь музыка, фейерверкъ, вдали между деревьями мелькали они, гуляя подъ руку. Зимой Александръ пріѣзжалъ къ обѣду, и послѣ они сидѣли рядомъ у камина до ночи. Иногда велѣли закладывать санки, и, промчавшись по темнымъ улицамъ, спѣшили продолжать нескончаемую бесѣду за самоваромъ. Каждое явленіе кругомъ, каждое мимолетное движеніе мысли и чувства, — все замѣчалось и дѣлилось вдвоемъ.

Александръ боялся встрѣчи съ дядей, какъ огня. Онъ иногда приходилъ къ Лизаветѣ Александровнѣ, но она никогда не успѣвала расшевелить въ немъ откровенности. Онъ всегда былъ въ безпокойствѣ, чтобъ не засталъ дядя и не разыгралъ съ нимъ опять какой-нибудь сцены, и оттого всегда сокращалъ свои визиты.

Былъ ли онъ счастливъ? Про другихъ можно сказать въ такомъ случаѣ и *да* и *нѣтъ*, а про него *нѣтъ;* у него любовь начиналась страданіемъ. Минутами, когда онъ успѣвалъ забыть прошлое, онъ вѣрилъ въ возможность счастья, въ Юлію и въ ея любовь. Въ другое время онъ вдругъ смущался въ пылу самыхъ *искреннихъ изліяній*, съ боязнію слушалъ ея страстный, восторженный бредъ. Ему казалось, что вотъ, того и гляди, она измѣнитъ, или какой-нибудь другой неожиданный *ударъ судьбы* мигомъ разрушитъ великолѣпный міръ блаженства. Вкушая минуту радости, онъ

зналъ, что ее надо выкупить страданіемъ, и хандра опять находила на него.

Однакожъ, прошла зима, настало лѣто, а любовь не кончалась. Юлія привязывалась къ нему все сильнѣе. Ни измѣны, ни *удара судьбы* не было: случилось совсѣмъ другое. Взоръ его просвѣтлѣлъ. Онъ свыкся съ мыслію о возможности постоянной привязанности. «Только эта любовь ужъ не такъ пылка...» думалъ онъ однажды, глядя на Юлію: «но зато прочна, можетъ-быть, вѣчна! Да, нѣтъ сомнѣнія. А! наконецъ, я понимаю тебя, судьба! Ты хочешь вознаградить меня за прошлыя мученія и ввести, послѣ долгаго странствованія, въ мирную пристань».

— Такъ вотъ гдѣ пріютъ счастья... Юлія!—воскликнулъ онъ вслухъ.

Она вздрогнула.

— Что вы?—спросила она.

— Нѣтъ! такъ...

— Нѣтъ! скажите: у васъ была какая-то мысль.

Александръ упрямился. Она настаивала.

— Я думалъ, что для полноты нашего счастья недостаетъ...

— Чего?—съ безпокойствомъ спросила она.

— Такъ, ничего! мнѣ пришла странная идея.

Юлія смутилась.

— Ахъ! не мучьте меня, говорите скорѣй!—сказала она.

Александръ задумался и говорилъ вполголоса, какъ будто съ собой.

— Пріобрѣсти право не покидать ее ни на минуту, не уходить домой... быть всюду и всегда съ ней. Быть въ глазахъ свѣта законнымъ ея обладателемъ... Она назоветъ меня громко, не краснѣя и не блѣднѣя, своимъ... и такъ всю жизнь! и гордиться этимъ вѣчно...

Говоря этимъ высокимъ слогомъ, слово за слово, онъ добрался до слова: *супружество*. Юлія вздрогнула, потомъ

заплакала. Она подала ему руку съ чувствомъ невыразимой нѣжности и признательности, и они оба оживились, оба вдругъ заговорили. Положено было Александру поговорить съ теткой и просить ея содѣйствія въ этомъ мудреномъ дѣлѣ.

Въ радости они не знали, что дѣлать. Вечеръ былъ прекрасный. Они отправились куда-то за городъ, въ глушь, и нарочно отыскавъ съ большимъ трудомъ гдѣ-то холмъ, просидѣли цѣлый вечеръ на немъ, смотрѣли на заходящее солнце, мечтали о будущемъ образѣ жизни, предполагали ограничиться тѣснымъ кругомъ знакомыхъ, не принимать и не дѣлать пустыхъ визитовъ.

Потомъ воротились домой и начали толковать о будущемъ порядкѣ въ домѣ, о распредѣленіи комнатъ и прочее. Пришли къ тому, какъ убрать комнаты. Александръ предложилъ обратить ея уборную въ свой кабинетъ, такъ, чтобъ это было подлѣ спальни.

— Какую же мебель хотите вы въ кабинетъ? — спросила она.

— Я бы желалъ орѣховаго дерева съ синей бархатной покрышкой.

— Это очень мило и не марко: для мужского кабинета надобно выбирать непремѣнно темные цвѣта: свѣтлые скоро портятся отъ дыму. А вотъ здѣсь, въ маленькомъ пассажѣ, который ведетъ изъ будущаго вашего кабинета въ спальню, я устрою боскетъ — не правда ли, это будетъ прекрасно? Тамъ поставлю одно кресло, такъ, чтобы я могла, сидя на немъ, читать или работать и видѣть васъ въ кабинетѣ.

— Недолго мнѣ такъ прощаться съ вами, — говорилъ, прощаясь, Александръ.

Она зажала ему ротъ рукой.

На другой день Александръ отправился къ Лизаветѣ Александровнѣ открывать то, что ей давно было извѣстно, и требовать ея совѣта и помощи. Петра Иваныча не было дома.

— Что жъ, хорошо!—сказала она, выслушавъ его исповѣдь:—вы теперь не мальчикъ: можете судить о своихъ чувствахъ и располагать собой. Только не торопитесь: узнайте ее хорошенько.

— Ахъ, ma tante, если бъ вы ее знали! Сколько достоинствъ!

— Напримѣръ?

— Она такъ любитъ меня...

— Это, конечно, важное достоинство, да не одно это нужно въ супружествѣ.

Тутъ она сказала нѣсколько общихъ истинъ насчетъ супружескаго состоянія, о томъ, какова должна быть жена, каковъ мужъ.

— Только погодите. Теперь осень наступаетъ, — прибавила она:—съѣдутся всѣ въ городъ. Тогда я сдѣлаю визитъ вашей невѣстѣ; мы познакомимся, и я примусь за дѣло горячо. Вы не оставляйте ее: я увѣрена, что вы будете счастливѣйшій мужъ.

Она обрадовалась.

Женщины страхъ какъ любятъ женить мужчинъ; иногда онѣ и видятъ, что бракъ какъ-то не клеится и не долженъ бы клеиться, но всячески помогаютъ дѣлу. Имъ лишь бы устроить свадьбу, а тамъ новобрачные какъ себѣ хотятъ. Богъ знаетъ, изъ чего онѣ хлопочутъ.

Александръ просилъ тетку, до окончанія дѣла, ничего не говорить Петру Иванычу.

Промелькнуло лѣто, протащилась и скучная осень. Наступила другая зима. Свиданія Адуева съ Юліей были такъ же часты.

У ней какъ будто сдѣланъ былъ строгій расчетъ днямъ, часамъ и минутамъ, которые можно было провести вмѣстѣ. Она выискивала всѣ случаи къ тому.

— Рано ли вы завтра отправитесь на службу? — спрашивала она иногда.

— Часовъ въ одиннадцать.

— А въ десять пріѣзжайте ко мнѣ, будемъ завтракать вмѣстѣ. Да нельзя ли не ходить совсѣмъ? будто ужъ тамъ безъ васъ...

— Какъ же? отечество... долгъ...—говорилъ Александръ.

— Вотъ прекрасно! А вы скажите, что вы любите и любимы. Неужели начальникъ вашъ никогда не любилъ? Если у него есть сердце, онъ пойметъ. Или принесите сюда свою работу: кто вамъ мѣшаетъ заниматься здѣсь?

Въ другой разъ не пускала его въ театръ, а къ знакомымъ рѣшительно почти никогда. Когда Лизавета Александровна пріѣхала къ ней съ визитомъ, Юлія долго не могла придти въ себя, увидѣвъ, какъ молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее такъ-себѣ теткой: пожилой, нехорошей, какъ бо̀льшая часть тетокъ, а тутъ, прошу покорнѣйше, женщина лѣтъ двадцати шести, семи, и красавица! Она сдѣлала Александру сцену и стала рѣже пускать его къ дядѣ.

Но что̀ значили ея ревность и деспотизмъ въ сравненіи съ деспотизмомъ Александра? Онъ ужъ убѣдился въ ея привязанности, видѣлъ, что измѣна и охлажденіе не въ ея натурѣ и—ревновалъ: но какъ ревновалъ! Это не была ревность отъ избытка любви: плачущая, стонущая, вопіющая отъ мучительной боли въ сердцѣ, трепещущая отъ страха потерять счастье, — но равнодушная, холодная, злая. Онъ тиранилъ бѣдную женщину изъ любви, какъ другіе не тиранятъ изъ ненависти. Ему покажется, напримѣръ, что вечеромъ, при гостяхъ, она не довольно долго и нѣжно или часто глядитъ на него, и онъ осматривается, какъ звѣрь, кругомъ,—и горе, если въ это время около Юліи есть молодой человѣкъ, и даже не молодой, а просто человѣкъ, часто женщина, иногда—вещь. Оскорбленія, колкости, черныя подозрѣнія и упреки сыпались градомъ. Она тутъ же должна была оправдываться и откупаться разными пожертвова-

ніями, безусловною покорностью: не говорить съ тѣмъ, не сидѣть тамъ, не подходить туда, переносить лукавыя улыбки и шопотъ хитрыхъ наблюдателей, краснѣть, блѣднѣть, компрометировать себя.

Если она получала приглашеніе куда-нибудь, она, не отвѣчая, прежде всего обращала на него вопросительный взглядъ,—и чуть онъ наморщитъ брови, она, блѣдная и трепещущая, въ ту же минуту отказывалась. Иногда онъ дастъ позволеніе — она соберется, одѣнется, готовится сѣсть въ карету,—какъ вдругъ онъ, по минутному капризу, произноситъ грозное veto! и она раздѣвалась, карета откладывалась. Послѣ онъ, пожалуй, начнетъ просить прощенья, предлагаетъ ѣхать, но когда же опять дѣлать туалетъ, закладывать карету? Такъ и остается. Онъ ревновалъ не къ красавцамъ, не къ достоинству ума или таланта, а даже къ уродамъ, наконецъ къ тѣмъ, чья физіономія просто не нравилась ему.

Однажды пріѣхалъ какой-то гость изъ ея стороны, гдѣ жили ея родные. Гость былъ пожилой, некрасивый человѣкъ, говорилъ все объ урожаѣ да о своемъ сенатскомъ дѣлѣ, такъ что Александръ, соскучившись слушать его, ушелъ въ сосѣднюю комнату. Ревновать было не къ чему. Наконецъ гость сталъ прощаться.

— Я слышалъ,—сказалъ онъ:—что вы по средамъ дома; не позволите ли мнѣ присоединиться къ обществу вашихъ знакомыхъ?

Юлія улыбнулась и готовилась сказать: «прошу!» какъ вдругъ изъ другой комнаты раздался шопотъ громче всякаго крика: «не хочу!»

— Не хочу!—торопливо, вслухъ повторила Юлія гостю, вздрогнувъ.

Но Юлія сносила все. Она запиралась отъ гостей, никуда не выѣзжала и сидѣла съ-глазу-на-глазъ съ Александромъ.

Они продолжали систематически упиваться блаженствомъ. Истративъ весь запасъ извѣстныхъ и готовыхъ наслажденій, она начала придумывать новыя, разнообразить этотъ, и безъ того богатый удовольствіями, міръ. Какой даръ изобрѣтательности обнаружила Юлія! Но и этотъ даръ истощился. Начались повторенія. Желать и испытывать было нечего.

Не было ни одного загороднаго мѣста, котораго бы они не посѣтили, ни одной пьесы, которой бы они не видали вмѣстѣ, ни одной книги, которую бы не прочитали и не обсудили. Они изучили чувства, образъ мыслей, достоинства и недостатки другъ друга, и ничто уже не мѣшало имъ привести въ исполненіе задуманный планъ!

Искреннія изліянія стали рѣдки. Они иногда по цѣлымъ часамъ сидѣли, не говоря ни слова. Но Юлія была счастлива и молча.

Она изрѣдка перекинется съ Александромъ вопросомъ и получитъ да или нѣтъ — и довольна; а не получитъ этого, такъ посмотритъ на него пристально; онъ улыбнется ей, и она опять счастлива. Не улыбнись онъ и не отвѣть ничего, она начнетъ стеречь каждое движеніе, каждый взглядъ и толковать по-своему, и тогда не оберешься упрековъ.

О будущемъ они перестали говорить, потому что Александръ при этомъ чувствовалъ какое-то смущеніе, неловкость, которой не могъ объяснить себѣ, и старался замять разговоръ. Онъ сталъ размышлять, задумываться. Магическій кругъ, въ который заключена была его жизнь любовью, мѣстами разорвался, и ему вдали показались то лица пріятелей и рядъ разгульныхъ удовольствій, то блистательные балы съ толпой красавицъ, то вѣчно занятой и дѣловой дядя, то покинутыя занятія...

Въ такомъ расположеніи духа сидѣлъ онъ однажды вечеромъ у Юліи. На дворѣ была мятель. Снѣгъ билъ въ окна и клочьями прилипалъ къ стекламъ. Въ комнатѣ слы-

шалось однообразное качанье маятника столовыхъ часовъ, да изрѣдка вздохи Юліи.

Александръ окинулъ взглядомъ, отъ нечего дѣлать, комнату, потомъ посмотрѣлъ на часы — десять, а надо просидѣть еще часа два: онъ зѣвнулъ. Взглядъ его остановился на Юліи.

Она, прислонясь спиной къ камину, стояла, склонивъ блѣдное лицо къ плечу, и слѣдила глазами за Александромъ, но не съ выраженіемъ недовѣрчивости и допроса, а нѣги, любви и счастья. Она, повидимому, боролась съ тайнымъ ощущеніемъ, съ сладкой мечтой, и казалась утомленной.

Нервы такъ сильно дѣйствовали, что и самый трепетъ нѣги повергалъ ее въ болѣзненное томленіе: мука и блаженство были у ней неразлучны.

Александръ отвѣчалъ ей сухимъ, безпокойнымъ взоромъ. Онъ подошелъ къ окну и началъ слегка барабанить пальцами по стеклу, глядя на улицу.

Съ улицы доносился до нихъ смѣшанный шумъ голосовъ, ѣзды экипажей. Въ окнахъ вездѣ свѣтились огни, мелькали тѣни. Ему казалось, что тамъ, гдѣ больше освѣщено, собралась веселая толпа; тамъ, можетъ-быть, происходилъ живой размѣнъ мыслей, огненныхъ, летучихъ ощущеній: тамъ живутъ шумно и радостно. А вонъ, въ томъ слабо-освѣщенномъ окнѣ, вѣроятно, сидитъ надъ дѣльнымъ трудомъ благородный труженикъ. И Александръ подумалъ, что почти два года уже онъ влачитъ праздную, глупую жизнь, — и вотъ два года вонъ изъ итога годовъ жизни, — а все любовь! Тутъ онъ напалъ на любовь.

«И что это за любовь!» думалъ онъ: «какая-то сонная, безъ энергіи. Эта женщина поддалась чувству безъ борьбы, безъ усилій, безъ препятствій, какъ жертва: слабая, безхарактерная женщина! осчастливила своей любовью перваго, кто попался; не будь меня, она полюбила бы точно такъ же Суркова, и уже начала любить: да! какъ она ни за-

щищайся—я видѣлъ! приди кто-нибудь побойчѣе и поискуснѣе меня, она отдалась бы тому... это просто безнравственно! Это ли любовь! гдѣ же тутъ симпатія душъ, о которой проповѣдуютъ чувствительныя души? А ужъ тутъ ли не тянуло душъ другъ къ другу: казалось, слиться бы имъ навѣкъ, а вотъ поди жъ ты! Чортъ знаетъ, что̀ это такое, не разберешь!»—шепнулъ онъ съ досадой.

— Что̀ вы тамъ дѣлаете? О чемъ думаете? — спросила Юлія.

— Такъ... — сказалъ онъ, зѣвая, и сѣлъ на диванъ, подальше отъ нея, обхвативъ одной рукой уголъ шитой подушки.

— Сядьте здѣсь, поближе.

Онъ не сѣлъ и ничего не отвѣчалъ.

— Что съ вами? — продолжала она, подходя къ нему:— вы несносны сегодня.

— Я не знаю...—сказалъ онъ вяло:—мнѣ что-то... какъ будто я...

Онъ не зналъ, что̀ отвѣчать ей и самому себѣ. Онъ еще все хорошенько не объяснилъ себѣ, что̀ съ нимъ дѣлается.

Онъ сѣла подлѣ него, начала говорить о будущемъ и мало-по-малу оживилась. Она представляла счастливую картину семейной жизни, порой шутила и заключила очень нѣжно:

— Вы — мой мужъ! смотрите, — сказала она, показывая вокругъ: — скоро все это будетъ ваше. Вы здѣсь будете владычествовать въ домѣ, какъ у меня въ сердцѣ. Я теперь независима, могу дѣлать что̀ хочу, поѣхать, куда глаза глядятъ, а тогда ничто здѣсь не тронется съ мѣста безъ вашего приказанія; я сама буду связана вашей волей; но какая прекрасная цѣпь! Заковывайте же поскорѣй; когда же?.. Всю жизнь мечтала я о такомъ человѣкѣ, о такой любви... и вотъ мечта исполняется... и счастье близко... я

едва вѣрю... Знаете ли: это мнѣ кажется сномъ. Не награда ли это за всѣ мои прошедшія страданія?..

Александру мучительно было слышать эти слова.

— А если бъ я васъ разлюбилъ?—вдругъ спросилъ онъ, стараясь придать голосу шутливый тонъ.

— Я бы вамъ уши выдрала! — отвѣчала она, взявъ его за ухо, потомъ вздохнула и задумалась отъ одного шутливаго намека.

Онъ молчалъ.

— Да что съ вами?—вдругъ спросила она съ живостію:— вы молчите, едва слушаете меня, смотрите въ сторону...

Тутъ она подвинулась къ нему и, положивъ ему на плечо руку, стала говорить тихо, почти шопотомъ, на ту же тему, но не такъ положительно. Она напомнила начало ихъ сближенія, начало любви, первые ея признаки и первыя радости. Она почти задыхалась отъ нѣги ощущеній; на блѣдныхъ ея щекахъ зардѣлись два розовыя пятнышка. Они постепенно разгорались, глаза блистали, потомъ сдѣлались томны и полузакрылись; грудь дышала сильно. Она говорила едва внятно и одной рукой играла мягкими волосами Александра, потомъ заглянула ему въ глаза. Онъ тихо освободилъ голову отъ ея руки, вынулъ изъ кармана гребенку и тщательно причесалъ приведенные ею въ безпорядокъ волосы. Она встала и посмотрѣла на него пристально.

— Что съ вами, Александръ? — спросила она съ безпокойствомъ.

«Вотъ пристала! почемъ я знаю?» думалъ онъ, но молчалъ.

— Вамъ скучно? — вдругъ сказала она, и въ голосѣ ея слышались и вопросъ, и сомнѣніе.

«Скучно!» подумалъ онъ: «слово найдено! Да! это мучительная, убійственная скука! вотъ ужъ съ мѣсяцъ этотъ червь вползъ ко мнѣ въ сердце и точитъ его... О, Боже

мой, что̀ мнѣ дѣлать? а она толкуетъ о любви, о супружествѣ. Какъ ее образумить?»

Она сѣла за фортепіано и сыграла нѣсколько любимыхъ его пьесъ. Онъ не слушалъ и все думалъ свою думу.

У Юліи опустились руки. Она вздохнула, завернулась въ шаль и бросилась въ другой уголъ дивана, откуда взорами съ тоской наблюдала за Александромъ.

Онъ взялъ шляпу.

— Куда вы?—спросила она съ удивленіемъ.

— Домой.

— Еще нѣтъ одиннадцати часовъ.

— Мнѣ надо писать къ маменькѣ: я давно не писалъ къ ней.

— Какъ давно: вы третьягодня писали.

Онъ молчалъ: сказать было нечего. Онъ точно писалъ и какъ-то вскользь сказалъ ей тогда объ этомъ, но забылъ; а любовь не забываетъ ни одной мелочи. Въ глазахъ ея все, что̀ ни касается до любимаго предмета, все важный фактъ. Въ умѣ любящаго человѣка плетется многосложная ткань изъ наблюденій, тонкихъ соображеній, воспоминаній, догадокъ обо всемъ, что̀ окружаетъ любимаго человѣка, что̀ творится въ его сферѣ, что̀ имѣетъ на него вліяніе. Въ любви довольно одного слова, намека... чего намека! взгляда, едва примѣтнаго движенія губъ, чтобы составить догадку, потомъ перейти отъ нея къ соображенію, отъ соображенія къ рѣшительному заключенію и потомъ мучиться или блаженствовать отъ собственной мысли. Логика влюбленныхъ, иногда фальшивая, иногда изумительно-вѣрная, быстро возводитъ зданіе догадокъ, подозрѣній, но сила любви еще быстрѣе разрушаетъ его до основанія: часто довольно для этого одной улыбки, слезы, много-много двухъ, трехъ словъ — и прощай подозрѣнія. Этого рода контроля ни усыпить, ни обмануть невозможно ничѣмъ. Влюбленный, то вдругъ заберетъ въ голову то, чего другому бы и во

снѣ не приснилось, то не видитъ того, что̀ дѣлается у него подъ носомъ, то проницателенъ до ясновидѣнія, то недальновиденъ до слѣпоты.

Юлія вскочила съ дивана, какъ кошка, и схватила его за руку.

— Что̀ это значитъ? куда вы?—спросила она.

— Да ничего, право ничего; ну, мнѣ просто спать хочется: я нынче мало спалъ—вотъ и все.

— Мало спали! какъ же сами сказали давеча утромъ, что спали девять часовъ, и что у васъ даже отъ того голова заболѣла?..

Опять не хорошо.

— Ну, голова болитъ... — сказалъ онъ, смутившись немного:—оттого и ѣду.

— А послѣ обѣда сказали, что голова прошла.

— Боже мой, какая у васъ память! Это несносно! Ну, мнѣ просто хочется домой.

— Развѣ вамъ здѣсь не хорошо? Что у васъ тамъ, дома?

Она, глядя ему въ глаза, недовѣрчиво покачала головой. Онъ кое-какъ успокоилъ ее и уѣхалъ.

«Что ежели я не поѣду сегодня къ Юліи?» задалъ себѣ вопросъ Александръ, проснувшись на другой день поутру.

Онъ прошелся раза три по комнатѣ.

«Право не поѣду!» прибавилъ онъ рѣшительно.

— Енсей! одѣваться.

И пошелъ бродить по городу.

«Какъ весело, какъ пріятно гулять одному!» думалъ онъ: «пойти — куда хочется, остановиться, прочитать вывѣску, заглянуть въ окно магазина, зайти туда, сюда... очень, очень хорошо! Свобода — великое благо! Да! именно: свобода въ обширномъ, высокомъ смыслѣ, значитъ—гулять одному!»

Онъ постукивалъ тростью по тротуару, весело кланялся съ знакомыми. Проходя по Морской, онъ увидѣлъ въ окнѣ

одного дома знакомое лицо. Знакомый приглашалъ его рукой войти. Онъ поглядѣлъ. Ба! да это Дюмэ! и вошелъ, отобѣдалъ, просидѣлъ до вечера, вечеромъ отправился въ театръ, изъ театра ужинать. О домѣ онъ старался не вспоминать: онъ зналъ, что̀ тамъ ждетъ его.

Въ самомъ дѣлѣ, по возвращеніи, онъ нашелъ до полдюжины записокъ на столѣ и соннаго лакея въ передней. Слугѣ не велѣно было уходить, не дождавшись его. Въ запискахъ—упреки, допросы и слѣды слезъ. На другой день надо было оправдываться. Онъ отговорился дѣломъ по службѣ. Кое-какъ помирились.

Дня черезъ три, и съ той и съ другой стороны, повторилось то же самое. Потомъ опять и опять. Юлія похудѣла, никуда не выѣзжала и никого не принимала, но молчала, потому что Александръ сердился за упреки.

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, Александръ условился съ пріятелями выбрать день и повеселиться напропалую; но въ то же утро онъ получилъ записку отъ Юліи, съ просьбой пробыть съ ней цѣлый день и пріѣхать пораньше. Она писала, что она больна, грустна, что нервы ея страдаютъ и т. п. Онъ разсердился, однакожъ поѣхалъ предупредить ее, что онъ не можетъ остаться съ ней, что у него много дѣла.

— Да, конечно: обѣдъ у Дюмэ, театръ, катанье на горахъ—очень важныя дѣла...—сказала она томно.

— Это что̀ значитъ? — спросилъ онъ съ досадой: — вы, кажется, присматриваете за мной? я этого не потерплю.

Онъ всталъ и хотѣлъ идти.

— Постойте, послушайте!—сказала она:—поговоримте.

— Мнѣ нѐкогда.

— Одну минуту: сядьте.

Онъ сѣлъ нехотя на край стула.

Она, сложивъ руки, безпокойно вглядывалась въ него,

какъ-будто старалась прочесть на лицѣ его заранѣе отвѣтъ на то, что ей хотѣлось сказать.

Онъ отъ нетерпѣнія вертѣлся на мѣстѣ.

— Поскорѣй! мнѣ некогда!—сказалъ онъ сухо.

Она вздохнула.

— Вы меня ужъ не любите? — спросила она, слегка качая головой.

— Старая пѣсня! — сказалъ онъ, поглаживая шляпу рукавомъ.

— Какъ она вамъ надоѣла!—отвѣчала она.

Онъ всталъ и началъ скорыми шагами ходить по комнатѣ. Черезъ минуту послышалось всхлипыванье.

— Этого только недоставало! — сказалъ онъ почти съ простью, остановясь передъ ней:—мало вы мучили меня!..

— Я мучила!—воскликнула она и зарыдала сильнѣе.

— Это нестерпимо!—сказалъ Александръ, готовясь уйти.

— Ну, не стану, не стану! — торопливо заговорила она, отирая слезы: — видите, я не плачу, только не уходите, сядьте.

Она старалась улыбнуться, а слезы такъ и капали на щеки. Александръ почувствовалъ жалость. Онъ сѣлъ и началъ качать ногой. Онъ сталъ задавать себѣ мысленно вопросъ за вопросомъ и дошелъ до заключенія, что онъ охладѣлъ, не любитъ Юлію. А за что? Богъ знаетъ! Она любитъ его съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе; не оттого ли? Боже мой? какое противорѣчіе! Всѣ условія счастья тутъ. Ничто не препятствуетъ имъ, даже и другое чувство не отвлекаетъ, а онъ охладѣлъ! О, жизнь! Но какъ успокоить Юлію? Пожертвовать собой? влачить съ нею скучные, долгіе дни; притворяться—онъ не умѣетъ, а не притворяться—значитъ видѣть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить ее и себя... Заговорить ей вдругъ о дядиной теоріи измѣнъ и охлажденій — прошу покорнѣйше: она, ничего не видя, плачетъ, а тогда! что дѣлать?

Юлія, видя, что онъ молчитъ, взяла его за руку и поглядѣла ему въ глаза. Онъ медленно отвернулся и тихо высвободилъ свою руку. Онъ не только не чувствовалъ влеченія къ ней, но отъ прикосновенія ея по тѣлу его пробѣжала холодная и непріятная дрожь. Она удвоила ласки. Онъ не отвѣчалъ на нихъ и сдѣлался еще холоднѣе, угрюмѣе. Она вдругъ оторвала отъ него свою руку и вспыхнула. Въ ней проснулась женская гордость, оскорбленное самолюбіе, стыдъ. Она выпрямила голову, станъ, покраснѣла отъ досады.

— Оставьте меня!—сказала она отрывисто.

Онъ проворно пошелъ вонъ, безъ всякаго возраженія. Но когда шумъ шаговъ его сталъ затихать, она бросилась вслѣдъ за нимъ.

— Александръ Ѳедорычъ! Александръ Ѳедорычъ!—закричала она.

Онъ воротился.

— Куда же вы?

— Да вѣдь вы велѣли уйти.

— А вы и рады бѣжать. Останьтесь!

— Мнѣ некогда!

Она взяла его за руку — и опять полилась нѣжная, пламенная рѣчь, мольбы, слезы. Онъ ни взглядомъ, ни словомъ, ни движеніемъ не обнаружилъ сочувствія, — стоялъ точно деревянный, переминаясь съ ноги на ногу. Его хладнокровіе вывело ее изъ себя. Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узналъ въ ней кроткую, слабонервную женщину? Локоны у ней распустились, глаза горѣли лихорадочнымъ блескомъ, щеки пылали, черты лица странно разложились.— «Какъ она не хороша!» думалъ Александръ, глядя на нее съ гримасой.

— Я отомщу вамъ, — говорила она: — вы думаете, что такъ легко можно шутить судьбой женщины? Вкрались въ сердце лестью, притворствомъ, овладѣли мной совершенно, а потомъ кинули, когда я ужъ не въ силахъ выбросить

васъ изъ памяти... нѣтъ! я васъ не оставлю: я буду всюду васъ преслѣдовать. Вы никуда не уйдете отъ меня: поѣдете въ деревню — и я за вами, за границу — и я туда же, всегда и вездѣ. Я не легко разстанусь съ своимъ счастьемъ. Мнѣ все равно: какова ни будетъ жизнь моя... мнѣ больше нечего терять; но я отравлю и вашу: я отомщу, отомщу; у меня должна быть соперница! Не можетъ быть, чтобъ вы такъ оставили меня... я найду ее—и посмотрите, что я сдѣлаю: вы не будете рады и жизни! Съ какимъ бы наслажденіемъ я услыхала теперь о вашей гибели... я бы сама убила васъ!—крикнула она дико, бѣшено.

«Какъ это глупо! нелѣпо!» думалъ Александръ, пожимая плечами.

Видя, что Александръ равнодушенъ и къ угрозамъ, она вдругъ перешла въ тихій, грустный тонъ, потомъ молча глядѣла на него.

— Сжальтесь надо мной!—заговорила она:—не покидайте меня; что я теперь безъ васъ буду дѣлать? я не вынесу разлуки. Я умру! Подумайте; женщины любятъ иначе, нежели мужчины: нѣжнѣе, сильнѣе. Для нихъ любовь — все, особенно для меня: другія кокетничаютъ, любятъ свѣтъ, шумъ, суету, я не привыкла къ этому, у меня другой характеръ. Я люблю тишину, уединеніе, книги, музыку, но васъ болѣе всего на свѣтѣ...

Александръ обнаружилъ нетерпѣніе.

— Ну, хорошо! не любите меня,—съ живостью продолжала она:—но исполните ваше обѣщаніе: женитесь на мнѣ, будьте только со мной... вы будете свободны: дѣлайте, что хотите, даже любите, кого хотите, лишь бы я иногда, изрѣдка видѣла васъ... О, ради Бога, сжальтесь, сжальтесь!..

Она заплакала и не могла продолжать. Волненіе истощило ее, она упала на диванъ, закрыла глаза, зубы ея стиснулись, ротъ судорожно искривился. Съ ней сдѣлался истерическій припадокъ. Черезъ часъ она опомнилась, при-

шла въ себя. Около нея суетилась горничная. Она оглядѣлась кругомъ.

— А гдѣ же?...—спросила она.

— Они уѣхали!

— Уѣхалъ!—уныло повторила она и долго сидѣла молча и неподвижно.

На другой день записка за запиской къ Александру. Онъ не являлся и не давалъ отвѣта. На третій и на четвертый день то же. Юлія написала къ Петру Иванычу, приглашая его къ себѣ по важному дѣлу. Жену его она не любила, потому что она была молода, хороша и приходилась Александру теткой.

Петръ Иванычъ засталъ ее не шутя больной, чуть не умирающей. Онъ пробылъ у ней часа два, потомъ отправился къ Александру.

— Каковъ притворщикъ, а!—сказалъ онъ.

— Что такое?—спросилъ Александръ.

— Смотрите, какъ-будто не его дѣло! Не умѣетъ влюбить въ себя женщину, а самъ съ ума сводитъ.

— Я не понимаю, дядюшка...

— Чего тутъ не понимать? понимаешь! я былъ у Тафаевой: она мнѣ все сказала.

— Какъ!—пробормоталъ Александръ въ сильномъ смущеніи.—Все сказала!

— Все. Какъ она любитъ тебя! Счастливецъ! Ну, вотъ, ты все плакалъ, что не находишь страсти: вотъ тебѣ и страсть: утѣшься! Она съ ума сходитъ, ревнуетъ, плачетъ, бѣсится... Только зачѣмъ вы меня путаете въ свои дѣла? Вотъ ты женщинъ сталъ навязывать мнѣ на руки. Этого только недоставало: потерялъ цѣлое утро съ ней. Я думалъ, за какимъ тамъ дѣломъ: не имѣніе ли хочетъ заложить въ Опекунскій Совѣтъ... она какъ-то говорила... а вотъ за какимъ: ну, дѣло.

— Зачѣмъ же вы у ней были?

— Она звала, жаловалась на тебя. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тебѣ не стыдно такъ негліжировать? четыре дня глазъ не казалъ—шутка ли? Она, бѣдная, умираетъ! Ступай, поѣзжай скорѣе...

— Что жъ вы ей сказали?

— Обыкновенно что: что ты также ее любишь безъ ума: что ты давно искалъ нѣжнаго сердца; что тебѣ страхъ какъ нравятся *искреннія изліянія* и безъ любви ты тоже не можешь жить; сказалъ, что напрасно она безпокоится: ты воротишься; совѣтовалъ не очень стѣснять тебя, позволить иногда и пошалить... а то, говорю, вы наскучите другъ другу... ну, обыкновенно, что̀ говорится въ такихъ случаяхъ. Она стала такая веселая, проговорилась, что у васъ положено быть свадьбѣ, что и жена моя тутъ вмѣшалась. А мнѣ ни слова—каковы! Ну что жъ: дай Богъ! у этой хоть что-нибудь есть: проживете вдвоемъ. Я сказалъ ей, что ты непремѣнно исполнишь свое обѣщаніе... Я ужъ нынче постарался для тебя, Александръ, въ благодарность за услугу, которую ты мнѣ оказалъ... увѣрилъ ее, что ты любишь *такъ пламенно, такъ нѣжно...*

— Что вы надѣлали, дядюшка!—заговорилъ Александръ, мѣняясь въ лицѣ:—я... я не люблю ее больше!.. я не хочу жениться!.. Я холоденъ къ ней, какъ ледъ!.. скорѣй въ воду... чѣмъ...

— Ба, ба, ба!—сказалъ Петръ Иванычъ съ притворнымъ изумленіемъ:—тебя ли я слышу? Да не ты ли говорилъ—помнишь? что презираешь человѣческую натуру и особенно женскую; что нѣтъ сердца къ мірѣ достойнаго тебя?.. Что̀ еще ты говорилъ? дай Богъ память...

— Ради Бога, ни слова, дядюшка: довольно и этого упрека; зачѣмъ еще нравоученіе? Вы думаете, что я такъ не понимаю... О, люди! люди!

Онъ вдругъ началъ хохотать, а съ нимъ и дядя.

— Вотъ такъ-то лучше! — сказалъ Петръ Иванычъ: —и

говорилъ, что ты самъ будешь смѣяться надъ собою— вотъ оно...

И опять оба захохотали.

— Ну-ка, скажи,—продолжалъ Петръ Иванычъ:—какого ты мнѣнія теперь объ этой... какъ ее?.. Пашенька, что ли, съ бородавкой-то?

— Дядюшка, это не великодушно!

— Нѣтъ, я только говорю, чтобъ узнать, все ли ты еще презираешь ее?

— Оставьте это, ради Бога, а лучше помогите мнѣ теперь выйти изъ ужаснаго положенія. Вы такъ умны, такъ разсудительны...

— А! теперь комплименты, лесть! Нѣтъ, ты женись-ка поди.

— Ни за что, дядюшка! Умоляю, помогите!

— То-то и есть, Александръ: хорошо, что я давно догадался о твоихъ продѣлкахъ...

— Какъ, давно!

— Да такъ: я знаю о твоей связи съ самаго начала.

— Вамъ, вѣрно, сказала ma tante.

— Какъ не такъ! я ей сказалъ. Что̀ тутъ мудренаго? у тебя все на лицѣ было написано. Ну, не тужи: я ужъ помогъ тебѣ.

— Какъ? когда?

— Сегодня же утромъ. Не безпокойся: Тафаева больше не станетъ тревожить тебя...

— Какъ же вы сдѣлали? Что̀ вы ей сказали?

— Долго повторять, Александръ! скучно.

— Но, можетъ-быть, вы Богъ знаетъ что̀ наговорили ей. Она ненавидитъ, презираетъ меня...

— Не все ли равно? я успокоилъ ее—этого и довольно; сказалъ, что ты любить не можешь, что не сто̀итъ о тебѣ и хлопотать...

— Что жъ она?

— Она теперь даже рада, что ты оставилъ ее.

— Какъ, рада!—сказалъ Александръ задумчиво.

— Такъ, рада.

— Вы не замѣтили въ ней ни сожалѣнія, ни тоски? ей все равно? Это ни на что не похоже!

Онъ началъ въ безпокойствѣ ходить по комнатѣ.

— Рада, покойна!—твердилъ онъ: — прошу покорнѣйше! сейчасъ же ѣду къ ней.

— Вотъ люди!—замѣтилъ Петръ Иванычъ:—вотъ сердце: живи имъ—хорошо будетъ! Да не ты ли боялся, чтобъ она не прислала за тобой? не ты ли просилъ помочь? а теперь встревожился, что она, разставаясь съ тобой, не умираетъ съ тоски.

— Рада, довольна! — говорилъ, ходя взадъ и впередъ, Александръ, и не слушая дяди. — А! такъ она не любила меня! ни тоски, ни слезъ. Нѣтъ, я увижу ее.

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Воля ваша: я не могу оставить такъ, дядюшка! — прибавилъ Александръ, хватаясь за шляпу.

— Ну, такъ поди къ ней опять: тогда и не отвяжешься, а ужъ ко мнѣ потомъ не приставай: я не стану вмѣшиваться; и теперь вмѣшался только потому, что самъ же ввелъ тебя въ это положеніе. Ну, полно, что̀ еще повѣсилъ носъ?

— Стыдно жить на свѣтѣ!.. — сказалъ со вздохомъ Александръ.

— И не заниматься дѣломъ,—примолвилъ дядя.—Полно! приходи сегодня къ намъ: за обѣдомъ посмѣемся надъ твоей исторіей, а потомъ прокатаемся на заводъ.

— Какъ я мелокъ, ничтоженъ! — говорилъ въ раздумьи Александръ:—нѣтъ у меня сердца! я жалокъ, нищъ духомъ!

— А все отъ любви! — прервалъ Петръ Иванычъ.—Какое глупое занятіе: предоставь его какому-нибудь Суркову.

А ты дѣльный малый: можешь заняться чѣмъ-нибудь поважнѣе. Полно тебѣ гоняться за женщинами.

— Но вѣдь вы любите же вашу жену?..

— Да, конечно. Я очень къ ней привыкъ, но это не мѣшаетъ мнѣ дѣлать свое дѣло. Ну, прощай же, приходи.

Александръ сидѣлъ смущенный, угрюмый. Къ нему подкрался Евсей съ сапогомъ, въ который опустилъ руку.

— Извольте-ка посмотрѣть, сударь,—сказалъ онъ умильно: — какая вакса-то: вычистишь, словно зеркало, а всего четвертакъ стòитъ...

Александръ очнулся, посмотрѣлъ машинально на сапогъ, потомъ на Евсея.

— Пошелъ вонъ! сказалъ онъ:—ты дуракъ!

— Въ деревню бы послать...—началъ опять Евсей.

— Пошелъ, говорю тебѣ, пошелъ!—закричалъ Александръ, почти плача:—ты измучилъ меня, ты своими сапогами сведешь меня въ могилу... ты... варваръ!

Евсей проворно убрался въ переднюю.

IV.

— Отчего это Александръ не ходитъ къ намъ? я его мѣсяца три не видалъ,—спросилъ однажды Петръ Иванычъ у жены, воротясь откуда-то домой.

— Я ужъ потеряла надежду когда-нибудь увидѣться съ нимъ,—отвѣчала она.

— Да что̀ съ нимъ. Опять влюбленъ, что ли?

— Не знаю.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ.

— Напиши, пожалуйста, къ нему. мнѣ нужно поговорить съ нимъ. У нихъ опять перемѣны въ службѣ, а онъ, я думаю, и не знаетъ. Не понимаю, что̀ за безпечность.

— Я ужъ десять разъ писала, звала. Онъ говоритъ, что некогда, а самъ играетъ съ какими-то чудаками въ шашки

или удить рыбу. Поди ты лучше самъ: ты бы узналъ, что съ нимъ.

— Нѣтъ, не хочется. Послать человѣка.

— Александръ не пойдетъ.

— Попробуемъ.

Послали. Человѣкъ вскорѣ воротился.

— Ну что, онъ дома?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Дома-съ. Кланяться приказали.

— Что онъ дѣлаетъ?

— Лежатъ на диванѣ.

— Какъ, объ эту пору?

— Они, слышь, всегда лежатъ.

— Да что жъ онъ, спитъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я самъ сначала думалъ, что почиваютъ, да глазки-то у нихъ открыты: на потолокъ изволятъ смотрѣть.

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Онъ придетъ сюда?—спросилъ онъ.

— Никакъ нѣтъ-съ. «Кланяйся, говоритъ, доложи дяденькѣ, чтобъ извинили: не такъ, дескать, здоровъ»; и вамъ-сударыня, кланяться приказали.

— Что еще тамъ съ нимъ? Это удивительно, право! Вѣдь уродится же этакой! Не вели откладывать кареты. Нечего дѣлать, съѣзжу. Но ужъ право въ послѣдній разъ.

И Петръ Иванычъ засталъ Александра на диванѣ. Онъ, при входѣ дяди, привсталъ и сѣлъ.

— Ты нездоровъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Такъ...—отвѣчалъ Александръ, зѣвая.

— Что же ты дѣлаешь?

— Ничего.

— И ты можешь пробыть безъ дѣла?

— Могу.

— Я слышалъ, Александръ, сегодня, что будто у васъ Иванонъ выходитъ.

— Да, выходитъ.

— Кто жъ на его мѣсто?

— Говорятъ, Иченко.

— А ты что?

— Я? ничего.

— Какъ ничего? Отчего же не ты?

— Не удостоиваютъ. Что жъ дѣлать: вѣрно не гожусь.

— Помилуй, Александръ, надо хлопотать. Ты бы съѣздилъ къ директору.

— Нѣтъ,—сказалъ Александръ, тряся головой.

— Тебѣ, повидимому, все равно?

— Все равно.

— Да вѣдь ужъ тебя въ третій разъ обходятъ.

— Все равно: пусть!

— Вотъ посмотримъ, что-то скажешь, когда твой бывшій подчиненный станетъ приказывать тебѣ, или когда войдетъ, а тебѣ надо встать и поклониться.

— Что жъ: встану и поклонюсь.

— А самолюбіе?

— У меня его нѣтъ.

— Однакожъ, у тебя есть же какіе-нибудь интересы въ жизни?

— Никакихъ. Были да прошли.

— Не можетъ быть: одни интересы смѣняются другими. Отчего жъ у тебя прошли, а у другихъ не проходятъ? Рано бы, кажется: тебѣ еще и тридцати лѣтъ нѣтъ...

Александръ пожалъ плечами.

Петру Иванычу ужъ и не хотѣлось продолжать этого разговора. Онъ называлъ все это капризами; но онъ зналъ, что, по возвращеніи домой, ему не избѣжать вопросовъ жены, и оттого нехотя продолжалъ:

— Ты бы развлекся чѣмъ-нибудь, посѣщалъ бы общество,—сказалъ онъ:—читалъ бы.

— Не хочется, дядюшка.

— Про тебя ужъ начинаютъ поговаривать, что ты того... этакъ... тронулся отъ любви, дѣлаешь Богъ знаетъ что̀, водишься съ какими-то чудаками... Я бы для одного этого пошелъ.

— Пусть ихъ говорятъ, что̀ хотятъ.

— Послушай, Александръ, шутки въ сторону. Это все мелочи; можешь кланяться или не кланяться, посѣщать общество, или нѣтъ—дѣло не въ томъ. Но вспомни, что тебѣ, какъ и всякому, надо сдѣлать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда объ этомъ?

— Какъ же не думаю: я ужъ сдѣлалъ.

— Какъ такъ?

— Я очертилъ себѣ кругъ дѣйствія и не хочу выходить изъ этой черты. Тутъ я хозяинъ: вотъ моя карьера.

— Это лѣнь.

— Можетъ-быть.

— Ты не въ правѣ лежать на боку, когда можешь дѣлать что-нибудь, пока есть силы. Сдѣлано ли твое дѣло?

— Я дѣлаю дѣло. Никто не упрекнетъ меня въ праздности. Утро я занятъ въ службѣ, а трудиться сверхъ того—это роскошь, произвольная обязанность. Зачѣмъ я буду хлопотать?

— Всѣ хлопочутъ изъ чего-нибудь: иной потому, что считаетъ своимъ долгомъ дѣлать сколько есть силъ, другой изъ денегъ, третій изъ почета... Ты что̀ за исключеніе?

— Почетъ, деньги! особенно деньги! Зачѣмъ онѣ? Вѣдь я сытъ, одѣтъ: на это станетъ.

— И одѣтъ-то теперь плохо,—замѣтилъ дядя.—Да будто тебѣ только и надобно?

— Только.

— А роскошь умственныхъ и душевныхъ наслажденій, а искусство... — началъ-было Петръ Иванычъ, поддѣлываясь подъ тонъ Александра.—Ты можешь идти впередъ: твое на-

значеніе выше; долгъ твой призываетъ тебя къ благородному труду... А стремленія къ высокому—забылъ?

— Богъ съ ними! Богъ съ ними!—сказалъ съ безпокойствомъ Александръ.—И вы, дядюшка, начали дико говорить! Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный трудъ! Я стремился выше — вы помните? Что жъ вышло!

— Помню, какъ ты вдругъ сразу въ министры захотѣлъ, а потомъ въ писатели. А какъ увидалъ, что къ высокому званію ведетъ длинная и трудная дорога, а для писателя нуженъ талантъ, такъ и назадъ. Много вашей братьи пріѣзжаетъ сюда съ высшими взглядами, а дѣла своего подъ носомъ не видитъ. Какъ понадобится бумагу написать — смотришь, и того... Я не про тебя говорю: ты доказалъ, что можешь заниматься, а современемъ и быть чѣмъ-нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдругъ хотимъ; не удалось—и носъ повѣсили.

— Да я стремиться выше не хочу. Я хочу такъ остаться, какъ есть: развѣ я не въ правѣ избрать себѣ занятіе, ниже ли оно моихъ способностей, или нѣтъ — что нужды? если я дѣлаю дѣло добросовѣстно—я исполняю свой долгъ. Пусть упрекаютъ меня въ неспособности къ высшему: меня нисколько не огорчило бы, если бъ это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзія въ скромномъ удѣлѣ, а теперь упрекаете, что я избралъ скромнѣйшій. Кто мнѣ запретитъ сойти нѣсколькими ступенями ниже и стать на той, которая мнѣ нравится. Я не хочу высшаго назначенія — слышите ли, не хочу?..

— Слышу! я не глухъ, только все это жалкіе софизмы.

— Нужды нѣтъ. Вотъ я нашелъ себѣ мѣсто и буду сидѣть на немъ вѣкъ. Нашелъ простыхъ, незатѣйливыхъ людей, нужды нѣтъ, что ограниченныхъ умомъ, играю съ ними въ шашки и ужу рыбу — и прекрасно! Пусть я по-вашему буду наказанъ за это, пусть лишусь наградъ, денегъ, по-

чета, значенія — всего, что такъ льститъ вамъ. Я навсегда отказываюсь...

— Ты, Александръ, хочешь притвориться покойнымъ и равнодушнымъ ко всему, а въ твоихъ словахъ такъ и кипитъ досада: ты и говоришь, какъ будто не словами, слезами. Много жёлчи въ тебѣ: ты не знаешь на кого излить ее, потому что виноватъ только самъ.

— Пусть!—сказалъ Александръ.

— Что жъ ты хочешь? Человѣкъ долженъ же хотѣть чего-нибудь?

— Хочу, чтобъ мнѣ не мѣшали быть въ моей темной сферѣ, не хлопотать ни о чемъ и быть покойнымъ.

— Да развѣ это жизнь?

— А по-моему та жизнь, которою вы живете, не жизнь: стало-быть, и я правъ.

— Тебѣ бы хотѣлось передѣлать жизнь по-своему: я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовыхъ кустовъ, гуляли бы все попарно любовники да друзья...

Александръ ничего не сказалъ.

Петръ Иванычъ молча глядѣлъ на него. Онъ опять похудѣлъ. Глаза впали. На щекахъ и лбу появились преждевременныя складки.

Дядя испугался. Душевнымъ страданіямъ онъ мало вѣрилъ, но боялся, не кроется ли подъ этимъ уныніемъ начало какого-нибудь физическаго недуга. «Пожалуй, думалъ онъ, малый рехнется, а тамъ поди раздѣлывайся съ матерью: то-то заведется переписка! того гляди, еще прикатитъ сюда».

— Да ты, Александръ, разочарованный, я вижу, — сказалъ онъ.

«Какъ бы», думалъ онъ: «повернуть его назадъ, къ его любимымъ идеямъ. Постой-ка, я прикинусь...»

— Послушай, Александръ, — сказалъ онъ: — ты очень

опустился. Стряхни съ себя эту апатію. Не хорошо! И отчего? Ты, можетъ-быть, принялъ слишкомъ горячо къ сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбѣ. Вѣдь это я дѣлалъ шутя, больше для того, чтобъ умѣрить въ тебѣ восторженность, которая въ нашъ положительный вѣкъ какъ-то неумѣстна, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ все уравнено, какъ моды, такъ и страсти, и дѣла, и удовольствія, все взвѣшено, узнано, оцѣнено... всему назначены границы. Зачѣмъ одному отступать наружно отъ этого общаго порядка? Неужели же ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что я безчувственный, что я не признаю любви? Любовь — чувство прекрасное: нѣтъ ничего святѣе союза двухъ сердецъ, или дружба, напримѣръ... Я внутренно убѣжденъ, что чувство должно быть постоянно, вѣчно...

Александръ засмѣялся.

— Что ты?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Дико, дико говорите, дядюшка. Не прикажете ли сигару? закуримъ: вы будете продолжать говорить, а я послушаю.

— Да что̀ съ тобой?

— Такъ, ничего. Вздумали поддѣть меня! А называли когда-то неглупымъ человѣкомъ! хотите играть мной, какъ мячикомъ—это обидно! Не вѣкъ же быть юношей. Къ чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошелъ. Какъ вы пустились ораторствовать! будто у меня нѣтъ глазъ? Вы только устроили фокусъ, а я смотрѣлъ.

«Не за свое дѣло взялся», подумалъ Петръ Иванычъ: «къ женѣ послать».

— Приходи къ намъ,—сказалъ онъ:—жена очень хочетъ видѣть тебя.

— Не могу, дядюшка.

— Хорошо ли ты дѣлаешь, что забываешь ее?

— Можетъ-быть, очень дурно, но ради Бога извините

меня и теперь не ждите. Погодите еще нѣсколько времени, приду.

— Ну, какъ хочешь, — сказалъ Петръ Иванычъ. Онъ махнулъ рукой и поѣхалъ домой.

Онъ сказалъ женѣ, что отступается отъ Александра, что какъ онъ хочетъ, такъ пусть и дѣлаетъ, а онъ, Петръ Иванычъ, сдѣлалъ все, что могъ, и теперь умываетъ руки.

Александръ, бѣжавъ Юліи, бросился въ вихрь шумныхъ радостей. Онъ твердилъ стихи извѣстнаго нашего поэта:

Пойдемъ туда, гдѣ дышитъ радость,
Гдѣ шумный вихрь забавъ шумитъ,
Гдѣ не живутъ, но тратятъ жизнь и младость,
Среди веселыхъ игръ за радостнымъ столомъ.
На часъ упившись счастьемъ ложнымъ,
Я пріучусь къ мечтамъ ничтожнымъ
Съ судьбою примирюсь виномъ
Я сердца усмирю заботы,
Я думамъ не велю летать;
Небесъ на тихое сіянье
Я не велю глазамъ своимъ взирать и проч.

Явилась семья друзей и съ ними неизбѣжная *чаша*. Друзья созерцали лики свои въ пѣнистой влагѣ, потомъ въ лакированныхъ сапогахъ. «Прочь горе, — восклицали они, ликуя: — прочь заботы! Истратимъ, уничтожимъ, испепелимъ, выпьемъ жизнь и молодость! Ура!» Стаканы и бутылки съ трескомъ летѣли на полъ.

На нѣкоторое время свобода, шумныя сборища, безпечная жизнь заставили его забыть Юлію и тоску. Но все одно за одно, обѣды у рестораторовъ, тѣ же лица съ мутными глазами; ежедневно все тотъ же глупый и пьяный бредъ собесѣдниковъ и, вдобавокъ къ этому, еще постоянно разстроенный желудокъ: нѣтъ, это не по немъ. Слабый организмъ тѣла и душа Александра, настроенная на грустный, элегическій тонъ, не вынесли этихъ забавъ.

Онъ бѣжалъ *веселыхъ игръ за радостнымъ столомъ* и

очутился одинъ въ своей комнатѣ, наединѣ съ собой, съ забытыми книгами. Но книга вываливалась изъ рукъ, перо не слушалось вдохновенія. Шиллеръ, Гёте, Байронъ являли ему мрачную сторону человѣчества — свѣтлой онъ не замѣчалъ: ему было не до нея.

А какъ счастливъ бывалъ онъ въ этой комнатѣ нѣкогда! онъ былъ не одинъ: около него присутствовалъ тогда прекрасный призракъ и осѣнялъ его днемъ за заботливымъ трудомъ, ночью бодрствовалъ надъ его изголовьемъ. Тамъ жили съ нимъ тогда мечты, будущее было одѣто туманомъ, но не тяжелымъ, предвѣщающимъ ненастье, а утреннимъ, скрывающимъ свѣтлую зарю. За тѣмъ туманомъ таилось что-то, вѣроятно—счастье... А теперь? не только его комната, для него опустѣлъ цѣлый міръ, и въ немъ самомъ холодъ, тоска...

Вглядываясь въ жизнь, вопрошая сердце, голову, онъ съ ужасомъ видѣлъ, что ни тамъ, ни сямъ не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды: все уже было назади; туманъ разсѣялся; передъ нимъ разостлалась, какъ степь, голая дѣйствительность. Боже! какое необозримое пространство! какой скучный, безотрадный видъ! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нѣтъ: все химера— а живи!

Чего онъ хотѣлъ, и самъ не зналъ; а какъ многаго не хотѣлъ!

Голова его была какъ будто въ туманѣ. Онъ не спалъ, но былъ, казалось, въ забытьи. Тяжелыя мысли безконечной вереницей тянулись въ головѣ. Онъ думалъ:

«Что могло увлечь его? Плѣнительныхъ надеждъ, безпечности нѣтъ! онъ зналъ все, что впереди. Почетъ, стремленіе по пути честей? Да что ему въ нихъ. Стоитъ ли для какихъ-нибудь двадцати, тридцати лѣтъ, биться какъ рыба объ ледъ? И грѣетъ ли это сердце? Отрадно ли душѣ, когда тебѣ нѣсколько человѣкъ поклонятся низко, а сами подумаютъ, можетъ-быть: «чортъ бы тебя взялъ!»

Любовь? Да, вотъ еще! Онъ знаетъ ее наизусть, да и потерялъ уже способность любить. А услужливая память, какъ на смѣхъ, напоминала ему Наденьку, но не невинную, простодушную Наденьку—этого она никогда не напоминала—а непремѣнно Наденьку—измѣнницу, со всею обстановкой, съ деревьями, съ дорожкой, съ цвѣтами, и среди всего этотъ змѣенокъ, съ знакомой ему улыбкой, съ краской нѣги и стыда... и все для другого, не для него!.. Онъ со стономъ хватался за сердце.

«Дружба», подумалъ онъ: «другая глупость! Все извѣдано, новаго ничего нѣтъ, старое не повторится, а живи!»

Онъ никому и ничему не вѣрилъ, не забывался въ наслажденіи; вкушалъ его, какъ человѣкъ безъ аппетита вкушаетъ лакомое блюдо, холодно, зная, что за этимъ наступитъ скука, что наполнить душевной пустоты ничѣмъ нельзя. Ввѣриться чувству — оно обманетъ и только взволнуетъ душу и прибавитъ еще нѣсколько ранъ къ прежнимъ. Глядя на людей, связанныхъ любовью, не помнящихъ себя отъ восторга, онъ улыбался иронически и думалъ: «погодите, опомнитесь; послѣ первыхъ радостей начнется ревность, сцены примиренія, слезы. Живучи вмѣстѣ, надоѣдите другъ другу смертельно, а разстанетесь — вдвое заплачете. Сойдетесь опять — еще хуже. Сумасшедшіе! безпрерывно ссорятся, дуются другъ на друга, ревнуютъ, потомъ мирятся на минуту, чтобъ сильнѣе поссориться: это у нихъ любовь, преданность! а все вмѣстѣ, съ пѣной на устахъ, иногда со слезами отчаянія на глазахъ, упрямо называютъ *счастьемъ!* А дружба ваша... *брось-ка кость, такъ что твои собаки!*»

Желать онъ боялся, зная, что часто, въ моментъ достиженія желаемаго, судьба вырветъ изъ рукъ счастье и предложитъ совсѣмъ другое, чего вовсе не хочешь — такъ, дрянь какую-нибудь; а если наконецъ и дастъ желаемое, то прежде измучитъ, истомитъ, унизитъ въ собственныхъ

глазахъ и потомъ броситъ, какъ бросаютъ подачку собакѣ, заставивши ее прежде проползти до лакомаго куска, смотрѣть на него, держать на носу, завалять въ пыли, стоять на заднихъ лапахъ, и тогда—пиль!

Его пугалъ и періодическій приливъ счастья и несчастья въ жизни. Радостей онъ не предвидѣлъ, а горе все непремѣнно впереди, его не избѣжишь: всѣ подвержены общему закону; всѣмъ, какъ казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье? фантасмагорія, обманъ. Только горе реально, а оно впереди. Тамъ и болѣзни, и старость, и разныя утраты, можетъ-быть, еще нужда... Всѣ эти *удары рока*, какъ говоритъ деревенская тетушка, стерегутъ его; а отрады какія? Высокое поэтическое назначеніе измѣнило; на него наваливаютъ тяжкую ношу и называютъ это долгомъ! Остаются жалкія блага — деньги, комфортъ, чины... Богъ съ ними! О, какъ грустно раздѣлять жизнь, понять, какова она, и не понять, зачѣмъ она!

Такъ хандрилъ онъ и не видѣлъ исхода изъ омута этихъ сомнѣній. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили въ жизнь, не очистили воздуха въ ней и не дали свѣта. Онъ не зналъ, что̀ дѣлать: ворочался съ боку на бокъ на диванѣ, сталъ перебирать въ умѣ знакомыхъ— и пуще затосковалъ. Одинъ служитъ отлично, пользуется почетомъ, извѣстностью, какъ хорошій администраторъ; другой обзавелся семьей и предпочитаетъ тихую жизнь всѣмъ суетнымъ благамъ міра, никому не завидуя, ничего не желая; третій... да что̀? всѣ, всѣ какъ-то пристроились, основались и идутъ по своему ясному и угаданному пути. «Одинъ я только... да что̀ же я такое?»

Тутъ онъ сталъ допытываться у самого себя: могъ ли бы онъ быть администраторомъ, какимъ-нибудь командиромъ эскадрона? могъ ли бы довольствоваться семейною жизнью? и увидѣлъ, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетво-

рило бы его. Какой-то бѣсенокъ все шевелился въ немъ, все шепталъ ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше... а гдѣ и какъ—онъ не могъ рѣшить. Въ авторствѣ онъ ошибся. «Что же дѣлать, что начать?» спрашивалъ онъ себя, и не зналъ, что отвѣчать. А досада такъ и грызла его: ну, хоть, пожалуй, администраторомъ или эскадроннымъ командиромъ... да нѣтъ: время ушло, надо начинать съ азбуки.

Отчаяніе выдавило у него слезы изъ глазъ, — слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всѣмъ, самыя мучительныя слезы. Онъ горько каялся, что не послушалъ матери и бѣжалъ изъ глуши.

«Маменька сердцемъ чуяла отдаленное горе», думалъ онъ: «тамъ эти безпокойные порывы спали бы непробуднымъ сномъ; тамъ не было бы бурнаго броженія этой сложной жизни. Между тѣмъ и тамъ посѣтили бы меня всѣ человѣческія чувства и страсти: и самолюбіе, и гордость, и честолюбіе,—все, въ маломъ размѣрѣ, коснулось бы сердца въ тѣсныхъ границахъ нашего уѣзда—и все бы удовлетворилось. Первый въ уѣздѣ! да! все условно. Божественная искра небеснаго огня, который, болѣе или менѣе, горитъ во всѣхъ насъ, сверкнула бы тамъ незамѣтно во мнѣ и скоро потухла бы въ праздной жизни, или зажглась бы въ привязанности къ женѣ и дѣтямъ. Существованіе не было бы отравлено. Я прошелъ бы гордо свое назначеніе: путь жизни былъ бы тихъ, казался бы и простъ, и понятенъ мнѣ, жизнь была бы по силамъ, я бы вынесъ борьбу съ ней... А любовь? Она цвѣла бы пышнымъ цвѣтомъ и наполнила бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня въ тишинѣ. Я не терялъ бы вѣры ни во что, рвалъ бы однѣ розы, не зная шиповъ, не испытывая даже ревности, за недостаткомъ — соперничества! Зачѣмъ же такъ сильно и слѣпо влекло меня въ даль, въ туманъ, на неровную и неизвѣстную борьбу съ судьбой? А какъ прекрасно понималъ

я тогда и жизнь, и людей! такъ понималъ бы ихъ еще и теперь, ничего не понимая. Я ждалъ тогда отъ жизни такъ много и, не разсмотрѣвъ ее пристально, ждалъ бы тамъ отъ нея чего-нибудь еще и до сихъ поръ. Сколько сокровищъ открылъ я въ душѣ своей: куда они дѣлись? Я пустилъ ихъ въ размѣнъ по свѣту, я отдалъ искренность сердца, первую завѣтную страсть и что получилъ? горькое разочарованіе, узналъ, что все обманъ, все непрочно, что нельзя надѣяться ни на себя, ни на другихъ—и сталъ бояться и другихъ, и себя... Я не могъ, среди этого анализа, признать мелочей жизни и быть ими доволенъ, какъ дядюшка и многіе другіе... И вотъ теперь!..»

Теперь онъ желалъ только одного: забвенія прошедшаго, спокойствія, сна души. Онъ охлаждался болѣе и болѣе къ жизни, на все смотрѣлъ сонными глазами. Въ толпѣ людской, въ шумѣ собраній онъ находилъ скуку, бѣжалъ отъ нихъ, а скука за нимъ.

Онъ удивлялся, какъ могутъ люди веселиться, безпрестанно заниматься чѣмъ-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, какъ это всѣ не ходятъ сонные, какъ онъ, не плачутъ, и вмѣсто того, чтобъ болтать о погодѣ, не говорятъ о тоскѣ и взаимныхъ страданіяхъ, а если и говорятъ, такъ о тоскѣ въ ногахъ или въ другомъ мѣстѣ, о ревматизмѣ или геморроѣ. Одно тѣло наводитъ на нихъ заботу, а души и въ поминѣ нѣтъ! «Пустые, ничтожные люди, животныя!» думалъ онъ. А иногда-таки впадалъ въ глубокое раздумье. «Ихъ такъ много, этихъ ничтожныхъ людей», говорилъ онъ себѣ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ: «а я одинъ: неужели... всѣ они... пусты... неправы... а я?..»

Тутъ ему казалось, что чуть ли не онъ одинъ виноватъ, и онъ дѣлался отъ этого еще несчастнѣе.

Со старыми знакомыми онъ пересталъ видѣться; приближеніе новаго лица обдавало его холодомъ. Послѣ разговора

съ дядей, онъ еще глубже утонулъ въ апатическомъ снѣ: душа его погрузилась въ совершенную дремоту. Онъ предался какому-то истуканному равнодушію, жилъ праздно, упрямо удалялся отъ всего, что только напоминало образованный міръ.

«Какъ бы ни прожить, лишь бы прожить!» — говорилъ онъ: «всякій воленъ понимать жизнь, какъ хочетъ; а тамъ, какъ умрешь...»

Онъ искалъ бесѣды людей съ желчнымъ, озлобленнымъ умомъ, съ ожесточеннымъ сердцемъ, и отводилъ душу, слушая злыя насмѣшки надъ судьбой; или проводилъ время съ людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанію, всего чаще со старикомъ Костяковымъ, съ которымъ Заѣзжаловъ хотѣлъ познакомить Петра Иваныча.

Костяковъ жилъ на Пескахъ и ходилъ по своей улицѣ въ лакированномъ картузѣ, въ халатѣ, подпоясавшись носовымъ платкомъ. У него жила кухарка, съ которой онъ игралъ по вечерамъ въ свои козыри. Если случался пожаръ, онъ являлся первый и уходилъ послѣдній. Проходя мимо церкви, въ которой отпѣвали покойника, онъ продирался сквозь толпу взглянуть мертвому въ лицо и потомъ шелъ провожать его на кладбище. Вообще онъ былъ страстный любитель всякихъ церемоній, и веселыхъ, и печальныхъ; любилъ также присутствовать при разныхъ экстраординарныхъ происшествіяхъ, какъ-то: дракахъ, несчастныхъ смертныхъ случаяхъ, провалахъ потолковъ и т. п., и читалъ съ особеннымъ наслажденіемъ исчисленіе подобныхъ случаевъ въ газетахъ. Читалъ онъ, кромѣ этого, еще медицинскія книги, «для того, — говорилъ онъ: — чтобъ знать, что въ человѣкѣ есть». Зимой Александръ игралъ съ нимъ въ шашки, а лѣтомъ за городомъ удилъ рыбу. Старикъ разговаривалъ о томъ, о сёмъ. Когда шли къ полю, онъ говорилъ о хлѣбѣ, о посѣвѣ; по берегу—о рыбѣ, о судоходствѣ; по улицѣ—дѣлалъ замѣчанія о домахъ, о постройкѣ, о ма-

теріалахъ и доходахъ... отвлеченностей никакихъ. На жизнь смотрѣлъ, какъ на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборотъ. Такой человѣкъ былъ неопасенъ Александру и душевныхъ волненій пробудить не могъ.

Александръ также усердно старался умертвить въ себѣ духовное начало, какъ отшельники стараются объ умерщвленіи плоти. На службѣ онъ былъ молчаливъ, при встрѣчѣ съ знакомыми отдѣлывался двумя-тремя словами и, отговариваясь недосугомъ, бѣжалъ прочь. Зато съ своимъ пріятелемъ Костяковымъ онъ видѣлся каждый день. То старикъ сидитъ у него цѣлый день, то зазоветъ къ себѣ Адуева на щи. Ужъ онъ выучилъ Александра дѣлать настойку, варить селянку и рубцы. Потомъ они отправляются вмѣстѣ куда-нибудь въ окрестную деревню—въ поле. У Костякова вездѣ было много знакомыхъ. Съ мужиками онъ разсуждалъ объ ихъ житьѣ-бытьѣ, съ бабами шутилъ — и точно былъ балагуръ, какъ рекомендовалъ его Заѣзжаловъ. Александръ предоставлялъ ему полную волю говорить, а самъ большею частью молчалъ.

Онъ уже чувствовалъ, что идеи покинутаго міра посѣщали его рѣже, вращаясь въ головѣ медленнѣе и, не находя въ окружающемъ ни отраженія, ни сопротивленія, не сходили на языкъ и умирали не плодясь. Въ душѣ было дико и пусто, какъ въ заглохшемъ саду. Ему оставалось ужъ немного до состоянія совершенной одеревянѣлости. Еще нѣсколько мѣсяцевъ—и прощай! Но вотъ что случилось.

Однажды Александръ съ Костяковымъ удили рыбу. Костяковъ, въ архалукѣ, въ кожаной фуражкѣ, водрузивъ на берегу нѣсколько удочекъ различной величины, и донныхъ, и съ поплавками, съ бубенчиками и съ колокольчиками, курилъ изъ коротенькой трубки, а самъ наблюдалъ, не смѣя мигнуть, за всей этой батареей удочекъ, въ томъ числѣ и за удочкой Адуева, потому что Александръ стоялъ, присло-

нись къ дереву, и смотрѣлъ въ другую сторону. Долго такъ стояли они молча.

— У васъ клюётъ, смотрите, Александръ Ѳедорычъ!— вдругъ шопотомъ сказалъ Костяковъ.

Адуевъ посмотрѣлъ на воду и опять отвернулся.

— Нѣтъ, это такъ показалось вамъ отъ зыби,—сказалъ онъ.

— Смотрите, смотрите!—закричалъ Костяковъ:—клюётъ, ей-Богу, клюётъ! ай, ай! тащите! тащите! держите!

Въ самомъ дѣлѣ, поплавокъ нырнулъ въ воду, леса проворно побѣжала за нимъ же, за лесой поползла и палка съ куста. Александръ ухватился за палку, потомъ за лесу.

— Тише, полегоньку, не такъ... что вы это?—кричалъ Костяковъ, проворно перехватывая лесу.—Батюшки! тяжесть какая! не дергайте: водите, водите, а то оборветъ. Вотъ такъ, направо, налѣво, сюда, къ берегу! Отходите! дальше; теперь тащите, тащите, только не вдругъ; вотъ такъ вотъ такъ.

На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свилась кольцомъ, сверкнувъ серебристой чешуей, хлеснула хвостомъ направо, налѣво и обдала ихъ обоихъ брызгами. Костяковъ поблѣднѣлъ.

— Какая щука-то!—закричалъ онъ почти съ испугомъ и распростерся надъ водой, падалъ, спотыкался о свои удочки и ловилъ обѣими руками вертѣвшуюся надъ водой щуку.— Ну, на берегъ, на берегъ, туда, дальше! тамъ ужъ наша будетъ, какъ ни вертись. Вишь, какъ скользитъ: словно бѣсъ! Ахъ, какая!

«Ахъ!» кто-то повторилъ сзади.

Александръ обернулся. Въ двухъ шагахъ отъ нихъ стоялъ старикъ, подъ руку съ нимъ хорошенькая дѣвушка, высокаго роста, съ открытой головой и съ зонтикомъ въ рукахъ. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась впередъ и съ сильнымъ участіемъ слѣдила глазами

за каждымъ движеніемъ Костякова. Она даже не замѣтила Александра.

Адуева смутило это неожиданное явленіе. Онъ выпустилъ изъ рукъ палку, щука бухнулась въ воду, граціозно вильнула хвостомъ и умчалась въ глубь, увлекая за собой лесу. Все это сдѣлалось въ одно мгновеніе.

— Александръ Ѳедорычъ! что вы это?—какъ бѣшеный закричалъ Костяковъ и началъ хватать лесу. Онъ дернулъ ее и вытащилъ только конецъ, но безъ крючка и безъ щуки.

Онъ, весь блѣдный, оборотился къ Александру, показывая ему конецъ лесы, и съ яростью посмотрѣлъ на него съ минуту молча, потомъ плюнулъ.

— Никогда не пойду съ вами рыбу ловить, будь я анаѳема!—промолвилъ онъ и отошелъ къ своимъ удочкамъ.

Въ это время дѣвушка замѣтила, что Александръ смотритъ на нее, покраснѣла и отступила назадъ. Старикъ, повидимому ея отецъ, поклонился Адуеву. Адуевъ угрюмо отвѣчалъ на поклонъ, бросилъ удочку и сѣлъ шагахъ въ десяти оттуда на скамью подъ деревомъ.

«И тутъ покоя нѣтъ!» думалъ онъ. «Вотъ какой-то Эдипъ съ Антигоной. Опять женщина! Никуда не уйдешь. Боже мой! какая ихъ пропасть вездѣ!»

— Эхъ, вы, рыболовы! — говорилъ, между тѣмъ, Костяковъ, поправляя свои удочки и поглядывая по временамъ злобно на Александра:—куда вамъ рыбу ловить! ловили бы вы мышей, сидя тамъ у себя на диванѣ: а то рыбу ловить! Гдѣ ужъ ловить, коли изъ рукъ ушла? чуть во рту не была, только-что не жареная! Диво еще, какъ у васъ съ тарелки не уходитъ!

— А есть клёвъ? —спросилъ старикъ.

— Да, вотъ видите,—отвѣчалъ Костяковъ:—вонъ у меня на шести удочкахъ хоть бы поганый ершишка на смѣхъ клюнулъ: а тамъ объ эту пору, — диви бы на донную, — а то съ поплавкомъ, вонъ что привалило: щука фунтовъ въ

десять, да и тутъ прозѣвали. Вотъ, говорятъ, на ловца звѣрь бѣжитъ! Какъ не такъ: сорвись-ка у меня, такъ я бы ее въ водѣ досталъ; а тутъ щука сама въ зубы лѣзетъ, а мы спимъ... а еще рыболовы называются! Какіе это рыболовы! этакіе ли рыболовы бываютъ? Нѣтъ, настоящій-то рыболовъ, хоть изъ пушки рядомъ пали, не смигнетъ. А то это рыболовы! Куда вамъ рыбу ловить!

Дѣвушка, между тѣмъ, успѣла разглядѣть, что Александръ былъ совсѣмъ другого рода человѣкъ, нежели Костяковъ. И костюмъ Александра былъ не такой, какъ Костякова, и талія, и лѣта, и манеры, да и все. Она быстро замѣтила въ немъ признаки воспитанія, на лицѣ прочла мысль; отъ нея не ускользнулъ даже и оттѣнокъ грусти.

«Но что жъ онъ убѣжалъ!» подумала она. «Странно, кажется, я не такая, чтобъ бѣгать отъ меня»...

Она гордо выпрямилась, опустила рѣсницы, потомъ подняла ихъ и неблагосклонно взглянула на Александра.

Ей ужъ было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старикъ опять раскланялся съ Александромъ; но дочь не удостоила его даже взгляда.

«Пусть узнаетъ онъ, что имъ вовсе не занимаются!» думала она, поглядывая украдкой, смотритъ ли Адуевъ.

Александръ, хотя и не взглянулъ на нее, однако невольно принялъ позу поживописнѣе.

«Каково! онъ и не смотритъ!» думала дѣвушка. «Какая дерзость!»

Костяковъ на другой же день повлекъ Александра опять на рыбную ловлю и, такимъ образомъ, по собственному заклятію, сталъ анаѳемой.

Два дня ничто не нарушало ихъ уединенія. Александръ сначала оглядывался, будто съ боязнію: но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день онъ вытащилъ огромнаго окуня. Костяковъ вполовину помирился съ нимъ.

— Но все это не щука! — говорилъ онъ со вздохомъ: —

было счастье въ рукахъ, да не умѣли пользоваться; дважды этого не случится. А у меня опять ничего! на шесть удочекъ—ничего.

— А вы позвоните въ колокольчики-то! — сказалъ какой-то крестьянинъ, остановившійся мимоходомъ посмотрѣть на успѣхъ ловли:—можетъ рыба на благовѣстъ-то и того... пойдетъ.

Костяковъ злобно посмотрѣлъ на него.

— Молчи ты, необразованный человѣкъ!—сказалъ онъ:— мужикъ!

Мужикъ пошелъ прочь.

— Дубина! — кричалъ вслѣдъ ему Костяковъ: — скотъ, такъ скотъ и есть. Шутилъ бы съ своимъ братомъ, анаѳема этакая! скотъ, говорю тебѣ, мужикъ!

Боже сохрани раздразнить охотника въ минуту неудачи!

На третій день, когда они молча удили, устремивъ неподвижный взоръ на воду, сзади послышался шорохъ. Александръ обернулся и вздрогнулъ, какъ будто его укусилъ комаръ, ни болѣе, ни менѣе. Старикъ и дѣвушка были тутъ.

Адуевъ, косясь на нихъ, едва отвѣчалъ на поклонъ старика, но, кажется, онъ ожидалъ этого посѣщенія. Обыкновенно онъ ходилъ на рыбную ловлю очень небрежно одѣтый; а тутъ надѣлъ новое пальто и кокетливо повязалъ на шею голубую косыночку, волосы расправилъ, даже, кажется, немного позавилъ и сталъ походить на идиллическаго рыбака. Выждавъ столько времени, сколько требовало приличіе, онъ ушелъ и сѣлъ подъ дерево!

«Cela passe toute permission!» подумала Антигона, вспыхнувъ отъ гнѣва.

— Извините!—сказалъ Эдипъ Адуеву:—мы, можетъ-быть, помѣшали вамъ?..

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Адуевъ.—Я усталъ.

— Есть ли клёвъ?—спросилъ старикъ Костякова.

— Какой клёвъ, когда подъ руку говорятъ, — отвѣчалъ

тогъ сердито. — Вотъ тутъ прошелъ какой-то лѣшій, болтнулъ подъ руку—и хоть бы клюнуло съ тѣхъ поръ. А вы, видно, близко въ этихъ мѣстахъ изволите жить?—спросилъ онъ у Эдипа.

— Вонъ наша дача, съ балкономъ,—отвѣчалъ тотъ.

— Дорого изволите платить?

— Пятьсотъ рублей за лѣто.

— Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворѣ строенія много. Тысячъ тридцать, чай, стала, хозяину.

— Да, около того.

— Такъ-съ.

— А это дочка ваша?

— Дочь.

— Такъ-съ. Славная барышня! Гулять изволите?

— Да, гуляемъ. На дачѣ жить, надо гулять.

— Точно, точно, какъ не гулять: время стоитъ хорошее; не то, что на той недѣлѣ: какая была погода, ай-ай-ай! не приведи Богъ! Чай, озими досталось.

— Богъ дастъ, поправится.

— Дай Богъ!

— Такъ у васъ нынче не ловится.

— У меня ничего, а у нихъ такъ вотъ, извольте посмотрѣть.

Онъ показалъ окуня.

— Доложу вамъ,—продолжалъ онъ:—это рѣдкость, какъ они счастливы! Жаль, что думаютъ не объ этомъ, а то бы съ ихъ счастьемъ мы никогда съ пустыми руками не уходили. Упустить этакую щуку!

Онъ вздохнулъ.

Антигона начала живѣе вслушиваться, но Костяковъ замолчалъ.

Появленіе старика съ дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуевъ удостоилъ ихъ вниманія. Онъ иногда тоже перемолвитъ слова два со старикомъ, а съ дочерью

за каждымъ движеніемъ Костякова. Она даже не замѣтила Александра.

Адуева смутило это неожиданное явленіе. Онъ выпустилъ изъ рукъ палку, щука бухнулась въ воду, граціозно вильнула хвостомъ и умчалась въ глубь, увлекая за собой лесу. Все это сдѣлалось въ одно мгновеніе.

— Александръ Ѳедорычъ! что вы это?—какъ бѣшеный закричалъ Костяковъ и началъ хватать лесу. Онъ дернулъ ее и вытащилъ только конецъ, но безъ крючка и безъ щуки.

Онъ, весь блѣдный, оборотился къ Александру, показывая ему конецъ лесы, и съ яростью посмотрѣлъ на него съ минуту молча, потомъ плюнулъ.

— Никогда не пойду съ вами рыбу ловить, будь я анаѳема!—промолвилъ онъ и отошелъ къ своимъ удочкамъ.

Въ это время дѣвушка замѣтила, что Александръ смотритъ на нее, покраснѣла и отступила назадъ. Старикъ, повидимому ея отецъ, поклонился Адуеву. Адуевъ угрюмо отвѣчалъ на поклонъ, бросилъ удочку и сѣлъ шагахъ въ десяти оттуда на скамью подъ деревомъ.

«И тутъ покоя нѣтъ!» думалъ онъ. «Вотъ какой-то Эдипъ съ Антигоной. Опять женщина! Никуда не уйдешь. Боже мой! какая ихъ пропасть вездѣ!»

— Эхъ, вы, рыболовы!—говорилъ, между тѣмъ, Костяковъ, поправляя свои удочки и поглядывая по временамъ злобно на Александра:—куда вамъ рыбу ловить! ловили бы вы мышей, сидя тамъ у себя на диванѣ: а то рыбу ловить! Гдѣ ужъ ловить, коли изъ рукъ ушла? чуть во рту не была, только-что не жареная! Диво еще, какъ у васъ съ тарелки не уходитъ!

— А есть клёвъ?—спросилъ старикъ.

— Да, вотъ видите,—отвѣчалъ Костяковъ:—вонъ у меня на шести удочкахъ хоть бы поганый ершишка на смѣхъ клюнулъ: а тамъ объ эту пору,—диви бы на донную,—а то съ поплавкомъ, вонъ что привалило: щука фунтовъ въ

десять, да и тутъ прозѣвали. Вотъ, говорятъ, на ловца звѣрь бѣжитъ! Какъ не такъ: сорвись-ка у меня, такъ я бы ее въ водѣ досталъ; а тутъ щука сама въ зубы лѣзетъ, а мы спимъ... а еще рыболовы называются! Какіе это рыболовы! этакіе ли рыболовы бываютъ? Нѣтъ, настоящій-то рыболовъ, хоть изъ пушки рядомъ пали, не смигнетъ. А то это рыболовы! Куда вамъ рыбу ловить!

Дѣвушка, между тѣмъ, успѣла разглядѣть, что Александръ былъ совсѣмъ другого рода человѣкъ, нежели Костяковъ. И костюмъ Александра былъ не такой, какъ Костякова, и талія, и лѣта, и манеры, да и все. Она быстро замѣтила въ немъ признаки воспитанія, на лицѣ прочла мысль; отъ нея не ускользнулъ даже и оттѣнокъ грусти.

«Но что жъ онъ убѣжалъ!» подумала она. «Странно, кажется, я не такая, чтобъ бѣгать отъ меня»...

Она гордо выпрямилась, опустила рѣсницы, потомъ подняла ихъ и неблагосклонно взглянула на Александра.

Ей ужъ было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старикъ опять раскланялся съ Александромъ; но дочь не удостоила его даже взгляда.

«Пусть узнаетъ онъ, что имъ вовсе не занимаются!» думала она, поглядывая украдкой, смотритъ ли Адуевъ.

Александръ, хотя и не взглянулъ на нее, однако невольно принялъ позу поживописнѣе.

«Каково! онъ и не смотритъ!» думала дѣвушка. «Какая дерзость!»

Костиковъ на другой же день повлекъ Александра опять на рыбную ловлю и, такимъ образомъ, по собственному заклятію, сталъ анаѳемой.

Два дня ничто не нарушало ихъ уединенія. Александръ сначала оглядывался, будто съ боязнію: но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день онъ вытащилъ огромнаго окуня. Костяковъ вполовину помирился съ нимъ.

— Но все это не щука! — говорилъ онъ со вздохомъ: —

было счастье въ рукахъ, да не умѣли пользоваться; дважды этого не случится. А у меня опять ничего! на шесть удочекъ—ничего.

— А вы позвоните въ колокольчики-то! — сказалъ какой-то крестьянинъ, остановившійся мимоходомъ посмотрѣть на успѣхъ ловли:—можетъ рыба на благовѣстъ-то и того... пойдетъ.

Костяковъ злобно посмотрѣлъ на него.

— Молчи ты, необразованный человѣкъ!—сказалъ онъ:—мужикъ!

Мужикъ пошелъ прочь.

— Дубина! — кричалъ вслѣдъ ему Костяковъ: — скотъ, такъ скотъ и есть. Шутилъ бы съ своимъ братомъ, анаѳема этакая! скотъ, говорю тебѣ, мужикъ!

Боже сохрани раздразнить охотника въ минуту неудачи!

На третій день, когда они молча удили, устремивъ неподвижный взоръ на воду, сзади послышался шорохъ. Александръ обернулся и вздрогнулъ, какъ будто его укусилъ комаръ, ни болѣе, ни менѣе. Старикъ и дѣвушка были тутъ.

Адуевъ, косясь на нихъ, едва отвѣчалъ на поклонъ старика, но, кажется, онъ ожидалъ этого посѣщенія. Обыкновенно онъ ходилъ на рыбную ловлю очень небрежно одѣтый; а тутъ надѣлъ новое пальто и кокетливо повязалъ на шею голубую косыночку, волосы расправилъ, даже, кажется, немного позавилъ и сталъ походить на идиллическаго рыбака. Выждавъ столько времени, сколько требовало приличіе, онъ ушелъ и сѣлъ подъ дерево!

«Cela passe toute permission!» подумала Антигона, вспыхнувъ отъ гнѣва.

— Извините!—сказалъ Эдипъ Адуеву:—мы, можетъ-быть, помѣшали вамъ?..

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Адуевъ.—Я усталъ.

— Есть ли клёвъ?—спросилъ старикъ Костякова.

— Какой клёвъ, когда подъ руку говорятъ, — отвѣчалъ

тотъ сердито. — Вотъ тутъ прошелъ какой-то лѣшій, болтнулъ подъ руку—и хоть бы клюнуло съ тѣхъ поръ. А вы, видно, близко въ этихъ мѣстахъ изволите жить?—спросилъ онъ у Эдипа.

— Вонъ наша дача, съ балкономъ,—отвѣчалъ тотъ.

— Дорого изволите платить?

— Пятьсотъ рублей за лѣто.

— Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворѣ строенія много. Тысячъ тридцать, чай, стала, хозяину.

— Да, около того.

— Такъ-съ.

— А это дочка ваша?

— Дочь.

— Такъ-съ. Славная барышня! Гулять изволите?

— Да, гуляемъ. На дачѣ жить, надо гулять.

— Точно, точно, какъ не гулять: время стоитъ хорошее; не то, что на той недѣлѣ: какая была погода, ай-ай-ай! не приведи Богъ! Чай, озими досталось.

— Богъ дастъ, поправится.

— Дай Богъ!

— Такъ у васъ нынче не ловится.

— У меня ничего, а у нихъ такъ вотъ, извольте посмотрѣть.

Онъ показалъ окуня.

— Доложу вамъ,—продолжалъ онъ: — это рѣдкость, какъ они счастливы! Жаль, что думаютъ не объ этомъ, а то бы съ ихъ счастьемъ мы никогда съ пустыми руками не уходили. Упустить этакую щуку!

Онъ вздохнулъ.

Антигона начала живѣе ислушиваться, но Костяковъ замолчалъ.

Появленіе старика съ дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуевъ удостоилъ ихъ вниманія. Онъ иногда тоже перемолвитъ слова два со старикомъ, а съ дочерью

все ничего. Ей сначала было досадно, потомъ обидно, наконецъ стало грустно. А поговори съ ней Адуевъ, или даже обрати на нее обыкновенное вниманіе — она бы забыла о немъ; а теперь совсѣмъ другое. Сердце людское только, кажется, и живетъ противорѣчіями: не будь ихъ, и его какъ будто нѣтъ въ груди.

Антигона обдумала-было какой-то ужасный планъ мщенія, но потомъ мало-по-малу оставила его.

Однажды, когда старикъ съ дочерью подошелъ къ нашимъ пріятелямъ, Александръ, погодя немного, положилъ удочку на кустъ, а самъ, по обыкновенію, сѣлъ на свое мѣсто и машинально смотрѣлъ, то на отца, то на дочь.

Они стояли къ нему бокомъ. Въ отцѣ онъ не открылъ ничего особеннаго. Бѣлая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа съ большими полями, подбитыми зеленымъ плюшемъ. Но зато дочь! какъ граціозно оперлась она на руку старика! Вѣтеръ по временамъ отвѣвалъ то локонъ отъ ея лица, какъ будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и бѣлую шею, то приподнималъ шелковую мантилью и выказывалъ стройную талію, то заигрывалъ съ платьемъ и открывалъ маленькую ножку. Она задумчиво смотрѣла на воду.

Александръ долго не могъ отвести глазъ отъ нея и почувствовалъ, что по тѣлу его пробѣжала лихорадочная дрожь. Онъ отвернулся отъ соблазна и сталъ прутомъ срывать головки съ цвѣтовъ.

«А! знаю я, что это такое!» думалъ онъ: «дай волю, оно бы и пошло! Вотъ и любовь готова: глупо! Дядюшка правъ. Но одно животное чувство меня не увлечетъ, — нѣтъ, я до этого не унижусь».

— Можно мнѣ поудить?—робко спросила дѣвушка у Костякова.

— Можно, сударыня, отчего неможно? — отвѣчалъ тотъ, подавая ей удочку Адуева.

— Ну, вотъ вамъ и товарищъ! — сказалъ отецъ Костякову и, оставя дочь, пошелъ бродить вдоль берега.

— Смотри же, Лиза, налови рыбы къ ужину, — прибавилъ онъ.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Отчего это вашъ товарищъ такой угрюмый? — спросила Лиза тихо у Костякова.

— Третій разъ мѣстомъ обошли, сударыня.

— Что?—спросила она, сдвинувъ слегка брови.

— Въ третій разъ, молъ, мѣста не даютъ.

Она покачала головой.

«Нѣтъ: не можетъ быть!» подумала она: «не то!»

— Вы мнѣ не вѣрите, сударыня? будь я анаѳема! И щуку-то, помните, упустилъ все отъ этого.

«Не то, не то», подумала она уже съ увѣренностью: «я знаю, отчего онъ упустилъ щуку».

— Ахъ, ахъ,—закричала она вдругъ: — посмотрите, шевелится, шевелится.

Она дернула и ничего не поймала.

— Сорвалась! — сказалъ Костяковъ, глядя на удочку: — вишь какъ червяка-то схватила: большой окунь долженъ быть. А вы не умѣете, сударыня: не дали ему клюнуть хорошенько.

— Да развѣ и тутъ надо умѣть?

— Какъ и во всемъ,—сказалъ Александръ машинально.

Она вспыхнула и съ живостью обернулась, уронивъ, въ свою очередь, удочку въ воду. Но Александръ смотрѣлъ уже въ другую сторону.

— Какъ же достичь этого, чтобы умѣть? — сказала она съ легкимъ трепетомъ въ голосѣ.

— Чаще упражняться,—отвѣчалъ Александръ.

«А, вотъ что!» думала она, замирая отъ удовольствія: «то-есть чаще приходить сюда—понимаю! Хорошо, я буду

приходить, но я помучаю васъ, г. дикарь, за всѣ ваши дерзости»...

Такъ кокетство перевело ей отвѣтъ Александра, а онъ въ тотъ день больше ничего и не сказалъ.

«Она подумаетъ, пожалуй, Богъ знаетъ что!» говорилъ онъ самъ себѣ: «станетъ жеманиться, кокетничать... это глупо!»

Съ того дня посѣщенія старика и дѣвушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила безъ старика, съ нянькой. Она приносила съ собою работу, книги, и садилась подъ дерево, показывая видъ совершеннаго равнодушія къ присутствію Александра.

Она думала тѣмъ затронуть его самолюбіе и, какъ она говорила, *помучить*. Она вслухъ разговаривала съ нянькой о домѣ, о хозяйствѣ, чтобы показать, что она даже и не видитъ Адуева. А онъ иногда и точно не видалъ ее, увидѣвъ же, сухо кланялся—и ни слова.

Видя, что этотъ обыкновенный маневръ ей не удался, она перемѣнила планъ атаки и раза два заговаривала съ нимъ сама; иногда брала у него удочку. Александръ, мало-помалу, сталъ съ ней разговорчивѣе, но былъ очень остороженъ и не допускалъ никакой искренности. Расчетъ ли то былъ съ его стороны, или еще *прежнихъ ранъ*, что ли, *ничто не шевелило*, какъ онъ говорилъ, только онъ былъ довольно холоденъ съ ней и въ разговорѣ.

Однажды старикъ велѣлъ принести на берегъ самоваръ. Лиза разливала чай. Александръ упрямо отказался отъ чаю, сказавъ, что онъ не пьетъ его по вечерамъ.

«Всѣ эти чаи ведутъ за собой сближеніе... знакомства... не хочу!» подумалъ онъ.

— Что вы? да вчера четыре стакана выпили! — сказалъ Костяковъ.

— Я на воздухѣ не пью, — поспѣшно прибавилъ Александръ.

— Напрасно! — сказалъ Костяковъ: — чай славнѣйшій цвѣточный, поди, рублевъ пятнадцать. Пожалуйте-ка еще, сударыня, да хорошо бы ромку!

Принесли и ромъ.

Старилъ зазывалъ Александра къ себѣ, но онъ отказался наотрѣзъ. Лиза, услышавъ отказъ, надула губки. Она стала добиваться отъ него причины нелюдимости. Какъ ни хитро наводила она разговоръ на этотъ предметъ, Александръ еще хитрѣе отдѣлывался.

Эта таинственность только раздражала любопытство, а, можетъ-быть, и другое чувство Лизы. На лицѣ ея, до тѣхъ поръ ясномъ, какъ лѣтнее небо, появилось облачко безпокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взглядъ, со вздохомъ отводила глаза и потупляла въ землю, а сама, кажется, думала: «вы несчастливы! можетъ-быть, обмануты... О, какъ бы я умѣла сдѣлать васъ счастливымъ! какъ бы берегла васъ, какъ бы любила... я бы защитила васъ отъ самой судьбы, я бы...» и прочее.

Такъ думаетъ бо́льшая часть женщинъ и бо́льшая часть обманываетъ тѣхъ, кто вѣритъ этому пѣнію сиренъ. Александръ будто ничего не замѣчалъ. Онъ говорилъ съ ней, какъ бы говорилъ съ пріятелемъ, съ дядей: никакого оттѣнка той нѣжности, которая невольно вкрадывается въ дружбу мужчины и женщины и дѣлаетъ эти отношенія непохожими на дружбу. Оттого и говорятъ, что между мужчиной и женщиной нѣтъ и не можетъ-быть дружбы, что называемое дружбой между ними — есть не что иное, какъ или начало, или остатки любви, или, наконецъ, самая любовь. Но, глядя на обращеніе Адуева съ Лизой, можно было повѣрить, что такая дружба существуетъ.

Однажды только онъ отчасти открылъ или хотѣлъ открыть ей образъ своихъ мыслей. Онъ взялъ со скамьи принесенную ею книгу и развернулъ. То былъ Чайльдъ-Га-

рольдъ во французскомъ переводѣ. Александръ покачалъ головой, вздохнулъ и молча положилъ книгу на мѣсто.

— Вамъ не нравится Байронъ? Вы противъ Байрона?— сказала она. — Байронъ такой великій поэтъ — и не нравится вамъ!

— Я ничего не говорю, а вы ужъ напали на меня, — отвѣчалъ онъ.

— Отчего же вы покачали головой?

— Такъ; мнѣ жаль, что эта книга попалась вамъ въ руки.

— Кого же жаль: книги или меня?

Александъ молчалъ.

— Отчего же мнѣ не читать Байрона?—спросила она.

— По двумъ причинамъ,—сказалъ Александръ, помолчавъ. Онъ положилъ свою руку на ея руку, для бо̀льшаго ли убѣжденія, или потому, что у ней была бѣленькая и мягкая ручка — и началъ говорить тихо, мѣрно, поводя глазами то по локонамъ Лизы, то по шеѣ, то по таліи. По мѣрѣ этихъ переходовъ, возвышался постепенно и голосъ его.

— Во-первыхъ, потому,—говорилъ онъ:—что вы читаете Байрона по-французски и, слѣдовательно, для васъ потеряны красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здѣсь блѣдный, безцвѣтный, жалкій языкъ! Это прахъ великаго поэта: идеи его какъ будто расплылись въ водѣ. Во-вторыхъ, потому бы я не совѣтовалъ вамъ читать Байрона, что... онъ, можетъ-быть, пробудитъ въ душѣ вашей такія струны, которыя бы вѣкъ молчали безъ того...

Тутъ онъ крѣпко и выразительно сжалъ ея руку, какъ будто хотѣлъ придать тѣмъ вѣсъ своимъ словамъ.

— Зачѣмъ вамъ читать Байрона? — продолжалъ онъ: — можетъ-быть, жизнь ваша протечетъ тихо, какъ этотъ ручей: видите, какъ онъ малъ, мелокъ; онъ не отразитъ ни цѣлаго неба въ себѣ, ни тучъ; на берегахъ его нѣтъ ни скалъ, ни пропастей; онъ бѣжитъ игриво; чуть-чуть лишь легкая зыбь рябитъ его поверхность; отражаетъ онъ только

зелень береговъ, клочокъ неба, да маленькія облака... такъ, вѣроятно, протекла бы и жизнь ваша, а вы напрашиваетесь на напрасныя волненія, на бури; хотите взглянуть на жизнь и людей сквозь мрачное стекло... Оставьте, не читайте! глядите на все съ улыбкой, не смотрите въ даль, живите день за днемъ, не разбирайте темныхъ сторонъ въ жизни и людяхъ, а то...

— А то что?

— Ничего!—сказалъ Александръ, будто опомнившись.

— Нѣтъ, скажите мнѣ: вы вѣрно испытали что-нибудь?

— Гдѣ моя удочка? Позвольте, мнѣ пора.

Онъ казался встревоженнымъ, что высказался такъ неосторожно.

— Нѣтъ, еще слово,—заговорила Лиза:—вѣдь поэтъ долженъ пробуждать сочувствіе къ себѣ. Байронъ великій поэтъ, отчего же вы не хотите, чтобъ я сочувствовала ему? развѣ я такъ глупа, ничтожна, что не пойму?..

Она обидѣлась.

— Не то совсѣмъ: сочувствуйте тому, что̀ свойственно вашему женскому сердцу: ищите того, что̀ подъ ладъ ему, иначе можетъ случиться страшный разладъ... и въ головѣ, и въ сердцѣ.

Тутъ онъ покачалъ головой, намекая на то, что онъ самъ—жертва этого разлада.

— Одинъ покажетъ вамъ, — говорилъ онъ: — цвѣтокъ и заставитъ наслаждаться его запахомъ и красотой, а другой укажетъ только ядовитый сокъ въ его чашечкѣ... тогда для васъ пропадутъ и красота, и благоуханіе. Онъ заставитъ васъ сожалѣть о томъ, зачѣмъ тамъ этотъ сокъ — и вы забудете, что есть и благоуханіе... Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствіемъ къ нимъ. Не ищите же яду, не добирайтесь до начала всего, что̀ дѣлается съ нами и около насъ; не ищите ненужной опытности: не она ведетъ къ счастью.

Онъ замолчалъ. Она довѣрчиво и задумчиво слушала его.

— Говорите, говорите...—сказала она съ дѣтской покорностью: — я готова слушать васъ цѣлые дни, повиноваться вамъ во всемъ...

— Мнѣ?—сказалъ Александръ холодно: — помилуйте! какое я имѣю право располагать вашей волей?.. Извините, что я позволилъ себѣ сдѣлать замѣчаніе. Читайте, что̀ угодно... Чайльдъ-Гарольдъ — очень хорошая книга, Байронъ—великій поэтъ!

— Нѣтъ, не притворяйтесь! не говорите такъ. Скажите, что̀ мнѣ читать?

Онъ съ педантическою важностью предложилъ-было ей нѣсколько историческихъ книгъ, путешествій, но она сказала, что это ей и въ пансіонѣ надоѣло. Тогда онъ указалъ ей Вальтеръ-Скотта, Купера, нѣсколько французскихъ и англійскихъ писателей и писательницъ, изъ русскихъ двухъ или трехъ авторовъ, стараясь при этомъ, будто нечаянно, обнаружить свой литературный вкусъ и тактъ. Потомъ между ними уже не было подобнаго разговора.

Александръ все хотѣлъ бѣжать прочь.

— Что мнѣ женщины! — говорилъ онъ: — любить я не могу; я отжилъ для нихъ...

— Ладно, ладно! — возражалъ на это Костяковъ: — вотъ женитесь, такъ увидите. Я самъ, бывало, только бы играть съ молодыми дѣвками да бабами, а какъ пришла пора къ вѣнцу, словно колъ въ голову вбили: такъ кто-то и пихалъ жениться!

И Александръ не бѣжалъ. Въ немъ зашевелились всѣ прежнія мечты. Сердце стало биться усиленнымъ тактомъ. Въ глазахъ его мерещились то талія, то ножка, то локонъ Лизы, и жизнь опять немного просвѣтлѣла. Дня три ужъ не Костяковъ звалъ его, а онъ самъ тащилъ Костякова на рыбную ловлю.

— Опять! опять прежнее! — говорилъ Александръ:—но я твердъ!—и между тѣмъ торопливо шелъ на рѣчку.

Лиза всякій разъ съ нетерпѣніемъ поджидала прихода пріятелей. Костякову каждый вечеръ готовилась чашка душистаго чаю съ ромомъ — и, можетъ-быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тѣмъ, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза съ отцомъ шли имъ навстрѣчу. Когда ненастная погода удерживала пріятелей дома, на другой день упрекамъ, и имъ, и погодѣ, не былъ конца.

Александръ думалъ, думалъ, и рѣшился на время прекратить свои прогулки. Богъ знаетъ съ какою цѣлью, онъ и самъ не зналъ этого, и не ходилъ ловить рыбу цѣлую недѣлю. И Костяковъ не ходилъ. Наконецъ пошли.

Еще за версту до того мѣста, гдѣ они ловили, встрѣтили они Лизу съ нянькой. Она вскрикнула, завидя ихъ, потомъ вдругъ смѣшалась, покраснѣла. Адуевъ холодно поклонился, Костяковъ пустился болтать.

— Вотъ и мы,— сказалъ онъ: — вы не ждали? хе-хе-хе! вижу, что не ждали: и самовара нѣтъ! Давненько, сударыня, давненько не видались! Есть ли клёвъ? Я все порывался, да вотъ Александра Ѳедорыча не могъ уговорить: сидитъ дома... или нѣтъ, вишь, все лежитъ.

Она съ упрекомъ взглянула на Адуева.

— Что это значитъ?—спросила она.

— Что?

— Вы не были цѣлую недѣлю?

— Да, кажется, съ недѣлю не былъ.

— Отчего же?

— Такъ, не хотѣлось...

— Не хотѣлось!—сказала она съ изумленіемъ.

— Да; а что?

Она молчала, но, кажется, думала: «да развѣ вамъ можетъ не хотѣться идти сюда?»

— Я хотѣла послать папеньку въ городъ къ вамъ, — сказала она:—да не знала, гдѣ вы живете.

— Въ городъ, ко мнѣ? зачѣмъ?

— Прекрасный вопросъ! — сказала она обиженнымъ тономъ:—зачѣмъ? Провѣдать, не случилось ли съ вами чего-нибудь, здоровы ли вы?..

— Да что же вамъ?..

— Что мнѣ? Боже!

— Что Боже?

— Какъ что!.. да вѣдь... у меня ваши книги есть... — Она смѣшалась.—Недѣлю не быть!—прибавила она.

— Развѣ я непремѣнно долженъ бывать здѣсь каждый день?

— Непремѣнно!

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ, зачѣмъ! — Она печально глядѣла на него и твердила:—зачѣмъ, зачѣмъ!

Онъ взглянулъ на нее. Что это? слезы, смятеніе, и радость, и упреки? Она блѣдна, немного похудѣла, глаза покраснѣли.

«Такъ вотъ что! уже!» подумалъ Александръ: «я не ожидалъ такъ скоро!» Потомъ онъ громко засмѣялся.

— Зачѣмъ? говорите вы. Послушайте...—продолжала она.

У ней въ глазахъ блеснула какая-то рѣшимость. Она, повидимому, готовилась сказать что-то важное, но въ ту минуту подходилъ къ нимъ ея отецъ.

До завтра,—сказала она:—завтра мнѣ надо съ вами поговорить; сегодня я не могу: сердце мое слишкомъ полно... Завтра вы придете? да, слышите? вы не забудете насъ? не покинете?

И побѣжала, не дождавшись отвѣта.

Отецъ поглядѣлъ пристально на нее, потомъ на Адуева, и покачалъ головой. Александръ молча смотрѣлъ ей вслѣдъ. Онъ будто и жалѣлъ, и досадовалъ на себя, что незамѣтно

довелъ ее до этого положенія; кровь бросилась ему не къ сердцу, а въ голову.

«Она любитъ меня», думалъ Александръ, ѣдучи домой. «Боже мой, какая скука! какъ это нелѣпо: теперь нельзя и пріѣхать сюда, а въ этомъ мѣстѣ рыба славно клюётъ... досадно!»

А между тѣмъ внутренно онъ, кажется, почему-то былъ не недоволенъ этимъ, сталъ веселъ и болталъ поминутно съ Костяковымъ.

Услужливое воображеніе, какъ нарочно, рисовало ему портретъ Лизы во весь ростъ, съ роскошными плечами, съ стройной таліей, не забыло и ножку. Въ немъ зашевелилось странное ощущеніе, опять по тѣлу пробѣжала дрожь, но не добралась до души—и замерла. Онъ разобралъ это ощущеніе отъ источника до самаго конца.

«Животное!» бормоталъ онъ про-себя: «такъ вотъ какая мысль бродитъ у тебя въ умѣ... а! обнаженныя плечи, бюстъ, ножка... воспользоваться довѣрчивостью, неопытностью... обмануть... ну, хорошо, обмануть, а тамъ что?—Та же скука, да еще, можетъ быть, угрызеніе совѣсти, а изъ чего? Нѣтъ! нѣтъ! не допущу себя, не доведу и ее... О, я твердъ! чувствую въ себѣ довольно чистоты души, благородства сердца... Я не паду во прахъ—и не увлеку ее».

Лиза ждала его цѣлый день съ трепетомъ удовольствія, а потомъ сердце у ней сжалось: она оробѣла, сама не зная отчего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный часъ насталъ, а Александра не было, нетерпѣніе ея превратилось въ томительную тоску. Съ послѣднимъ лучомъ солнца исчезла всякая надежда; она заплакала.

На другой день опять ожила, опять съ утра была весела, а къ вечеру сердце стало пуще ныть и замирать, и страхомъ, и надеждой. Опять не пришли.

На третій, на четвертый день то же. А надежда все

влекла ее на берегъ: чуть вдали покажется лодка, или мелькнутъ по берегу двѣ человѣческія тѣни, она затрепещетъ и изнеможетъ подъ бременемъ радостнаго ожиданія. Но когда увидитъ, что въ лодкѣ не они, что тѣни не ихъ, она опуститъ уныло голову на грудь, отчаяніе сильнѣе наляжетъ на душу... Черезъ минуту опять коварная надежда шепчетъ ей утѣшительный предлогъ промедленія—и сердце опять забьется ожиданіемъ. А Александръ медлилъ, какъ будто нарочно.

Наконецъ, когда она, полубольная, съ безнадежностью въ душѣ, сидѣла однажды на своемъ мѣстѣ подъ деревомъ, вдругъ послышался ей шорохъ; она обернулась и задрожала отъ радостнаго испуга: передъ ней, сложа руки крестомъ, стоялъ Александръ.

Она съ радостными слезами протянула ему руки и долго не могла придти въ себя. Онъ взялъ ее за руку и жадно, также съ волненіемъ, вглядывался ей въ лицо.

— Вы похудѣли!—сказалъ онъ тихо:—вы страдаете?

Она вздрогнула.

— Какъ вы долго не были!—промолвила она.

— А вы ждали меня?

— Я?—съ живостью отвѣчала она.—О, если бъ вы знали!..

Она докончила отвѣтъ крѣпкимъ пожатіемъ его руки.

— А я пришелъ проститься съ вами! — сказалъ онъ и остановился, наблюдая, что̀ будетъ съ ней.

Она съ испугомъ и недовѣрчивостью взглянула на него.

— Неправда,—сказала она.

— Правда!—отвѣчалъ онъ.

— Послушайте! — вдругъ заговорила она, робко оглядываясь во всѣ стороны:—не уѣзжайте, ради Бога, не уѣзжайте! я вамъ скажу тайну... Здѣсь насъ увидитъ папенька изъ окошекъ: пойдемте къ намъ въ садъ, въ бесѣдку... она выходитъ въ поле, я васъ проведу.

Они пошли. Александръ не сводилъ глазъ съ ея плечъ, стройной таліи, и чувствовалъ лихорадочную дрожь.

«Что жъ за важность», думалъ онъ, идучи за ней: «что я пойду? вѣдь я такъ только... взгляну, какъ у нихъ тамъ, въ бесѣдкѣ... отецъ звалъ же меня; вѣдь я могъ бы идти прямо и открыто... но я далекъ отъ соблазна, ей-Богу, далекъ, и докажу это: вотъ, нарочно пришелъ сказать, что ѣду... хотя и не ѣду никуда!—Нѣтъ, демонъ! меня не соблазнишь». Но тутъ, кажется, какъ будто Крылова бѣсенокъ, явившійся изъ-за печки затворнику, шепнулъ и ему: «А зачѣмъ ты пришелъ сказать это? въ этомъ не было надобности: ты бы не явился, и недѣли черезъ двѣ былъ бы забытъ...»

Но Александру казалось, что онъ поступаетъ благородно, вступясь на подвигъ самоотверженія, бороться съ соблазномъ лицомъ къ лицу. Первымъ трофеемъ его побѣды надъ собой былъ поцѣлуй, похищенный имъ у Лизы, потомъ онъ обнялъ ее за талію, сказалъ, что никуда не ѣдетъ, что выдумалъ это, чтобъ испытать ее, узнать, есть ли въ ней чувство къ нему. Наконецъ, къ довершенію побѣды, онъ обѣщалъ на другой день явиться въ этотъ же часъ въ бесѣдку. Идучи домой, онъ разсуждалъ о своемъ поступкѣ, и его обдавало то холодомъ, то жаромъ. Онъ замиралъ отъ ужаса и не вѣрилъ самому себѣ; наконецъ рѣшился не быть завтра—и явился ранѣе назначеннаго часа.

Это было въ августѣ мѣсяцѣ. Ужъ смеркалось. Александръ обѣщалъ быть въ девять часовъ, а пришелъ въ восемь, одинъ, безъ удочки. Онъ, какъ воръ, пробирался къ бесѣдкѣ, то боязливо оглядывался, то бѣжалъ опрометью. Но кто-то опередилъ его. Тотъ тоже торопливо, запыхавшись, вбѣжалъ въ бесѣдку и сѣлъ на диванъ въ темномъ углу.

Александра какъ будто стерегли. Онъ тихо отворилъ дверь, въ сильномъ волненіи, на цыпочкахъ, подошелъ къ дивану и тихо взялъ за руку — отца Лизы. Александръ

вздрогнулъ, отскочилъ, хотѣлъ бѣжать, но старикъ поймалъ его за фалду и посадилъ насильно подлѣ себя на диванъ.

— Какъ это вы, батюшка, зашли сюда?—спросилъ онъ.

— Я... за рыбой...—бормоталъ Александръ, едва шевеля губами. Зубы у него стучали одинъ о другой. Старикъ былъ вовсе не страшенъ, но Александръ, какъ и всякій воръ, пойманный на дѣлѣ, дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

— За рыбой!—повторилъ старикъ насмѣшливо.—Знаете ли, что это значитъ ловить рыбу въ мутной водѣ? Давно я замѣчаю за вами, и вотъ узналъ васъ наконецъ; а Лизу свою знаю съ пеленъ: она добра и довѣрчива, а вы, вы опасный плутъ...

Александръ хотѣлъ встать, но старикъ удержалъ его за руку.

— Да, батюшка, не погнѣвайтесь. Вы прикинулись несчастнымъ, притворно избѣгали Лизы, завлекли ее, увѣрились, да и хотѣли воспользоваться... Хорошее ли это дѣло? Какъ васъ назвать?

— Клянусь честью, я не предвидѣлъ послѣдствій...— сказалъ Александръ голосомъ глубокаго убѣжденія:—я не хотѣлъ...

Старикъ молчалъ нѣсколько минутъ.

— А можетъ быть и то!—сказалъ онъ:—можетъ быть, вы не по любви, а такъ, отъ праздности, сбивали съ толку бѣдную дѣвочку, не зная сами, что изъ этого будетъ; удастся—хорошо, не удастся—нужды нѣтъ! Въ Петербургѣ много этакихъ молодцовъ... Знаете, какъ поступаютъ съ такими франтами?

Александръ сидѣлъ, потупя взоры. У него недоставало духу оправдываться.

— А сначала я думалъ лучше объ васъ, да ошибся, крѣпко ошибся! Видишь, вѣдь какимъ тихонькимъ прикинулся! слава Богу, что спохватился во-время... Слушайте:

терять времени некогда: глупая дѣвчонка, того и гляди, явится на свиданіе. Я вчера подкараулилъ васъ. Не нужно, чтобъ она видѣла насъ вмѣстѣ: вы уйдете и, разумѣется, не воротитесь никогда; она подумаетъ, что вы обманули ее, и это послужитъ ей урокомъ. Только смотрите, чтобъ васъ здѣсь никогда не было; найдите другое мѣсто для рыбной ловли, а не то... я провожу васъ неласково... Счастье ваше, что Лиза еще можетъ прямо глядѣть мнѣ въ глаза: я цѣлый день наблюдалъ за нею... иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда... Прощайте!

Александръ что-то хотѣлъ сказать, но старикъ отворилъ дверь и почти вытолкалъ его.

Александръ вышелъ, въ какомъ положеніи—пусть судитъ читатель, если только ему не совѣстно будетъ на минуту поставить себя на его мѣсто. У моего героя брызнули даже слезы изъ глазъ, слезы стыда, бѣшенства на самого себя, отчаянія...

«Зачѣмъ я живу?—громко сказалъ онъ:—отвратительная, убійственная жизнь! А я, я... нѣтъ! если у меня не достало твердости устоять противъ обольщенія... то достанетъ духу прекратить это безполезное, позорное существованіе...»

Онъ скорыми шагами подошелъ къ рѣчкѣ. Она была черна. По волнамъ перебѣгали какія-то длинныя, фантастическія, уродливыя тѣни. Берегъ, гдѣ стоялъ Александръ, былъ мелокъ.

— Тутъ и умереть нельзя!—сказалъ онъ презрительно и пошелъ на мостъ, бывшій оттуда во ста шагахъ.

Александръ облокотился на перила посрединѣ моста и сталъ вглядываться въ воду. Онъ мысленно прощался съ жизнію, посылалъ вздохи къ матери, благословлялъ тетку, даже простилъ Наденьку. Слезы умиленія текли у него по щекамъ... Онъ закрылъ лицо руками... Неизвѣстно, что бы онъ сдѣлалъ, какъ вдругъ мостъ заколебался у него подъ

ногами; онъ оглянулся: Боже мой! онъ на краю пропасти: передъ нимъ зіяетъ могила: половина моста отдѣлилась и отплываетъ прочь... проходятъ барки; еще минута—и прощай! Онъ собралъ всѣ силы и сдѣлалъ отчаянный прыжокъ... на ту сторону. Тамъ онъ остановился, перевелъ духъ и схватился за сердце.

— Что, баринъ, испужался?—спросилъ его сторожъ.

— Чего, братецъ, чуть-было въ середину не попалъ, — отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Александръ.

— Боже храни! долго ль до грѣха? - промолвилъ сторожъ, зѣвая:— въ запрошломъ лѣтѣ одинъ барочникъ и такъ упалъ.

Александръ пошелъ домой, придерживаясь рукой за сердце. Онъ по временамъ оглядывался на рѣку, на разведенный мостъ и, вздрагивая, тотчасъ же отворачивался и ускорялъ шаги.

Между тѣмъ Лиза кокетливо одѣвалась, не брала съ собой ни отца, ни няньки, и каждый вечеръ просиживала до поздней ночи подъ деревомъ.

Настали темные вечера: она все ждала; но о пріятеляхъ ни слуху, ни духу.

Пришла осень. Желтые листья падали съ деревьевъ и усѣяли берега: зелень полиняла; рѣка приняла свинцовый цвѣтъ; небо было постоянно сѣро; дулъ холодный вѣтеръ съ мелкимъ дождемъ. Берега и рѣки опустѣли: не слышно было ни веселыхъ пѣсенъ, ни смѣху. ни звонкихъ голосовъ по берегамъ: лодки и барки перестали сновать взадъ и впередъ. Ни одно насѣкомое не прожужжитъ въ травѣ, ни одна птичка не защебечетъ на деревѣ; только галки и вороны крикомъ наводили уныніе на душу: и рыба перестала клевать.

А Лиза все ждала: ей непремѣнно нужно было поговорить съ Александромъ: открыть ему тайну. Она все сидѣла на скамьѣ, подъ деревомъ, въ кацавейкѣ. Она похудѣла; глаза у ней немного впали: щеки были подвязаны платкомъ. Такъ засталъ ее однажды отецъ.

— Пойдемъ, полно тутъ сидѣть,—сказалъ онъ, морщась и дрожа отъ холода:—посмотри, у тебя руки посинѣли; ты озябла. Лиза! слышишь ли? пойдемъ.

— Куда?

— Домой: мы сегодня переѣзжаемъ въ городъ.

— Зачѣмъ?—спросила она съ удивленіемъ.

— Какъ зачѣмъ? осень на дворѣ; мы одни только остались на дачѣ.

— Ахъ, Боже мой!—сказала она:—здѣсь и зимой будетъ хорошо: останемтесь.

— Вотъ что еще вздумала! Полно, полно, пойдемъ!

— Погодите!—сказала она умоляющимъ голосомъ:—еще воротятся красные дни.

— Послушай! — отвѣчалъ отецъ, трепля ее по щекѣ и указывая на то мѣсто, гдѣ удили пріятели: — они не воротятся...

— Не воротятся! — повторила она вопросительно-печальнымъ голосомъ, потомъ подала отцу руку и тихо, склонивъ голову, пошла домой, оглядываясь по временамъ назадъ.

А Адуевъ съ Костяковымъ давно уже удили гдѣ-то въ противоположной сторонѣ отъ этого мѣста.

V.

Мало-по-малу Александръ успѣлъ забыть и Лизу, и непріятную сцену съ ея отцомъ. Онъ опять сталъ покоенъ, даже веселъ, часто хохоталъ плоскимъ шуткамъ Костякова. Его смѣшилъ взглядъ этого человѣка на жизнь. Они строили даже планы уѣхать куда-нибудь подальше, выстроить на берегу рѣки, гдѣ много рыбы, хижину, и прожить тамъ остатокъ дней. Душа Александра опять стала утопать въ тинѣ скудныхъ понятій и матеріальнаго быта. Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсѣмъ въ этой тинѣ.

Осенью онъ получилъ отъ тетки записку съ убѣдительнѣйшею просьбою проводить ее въ концертъ, потому что

дядя былъ не совсѣмъ здоровъ. Пріѣхалъ какой-то артистъ, европейская знаменитость.

— Какъ, въ концертъ! — говорилъ Александръ въ сильной тревогѣ:—въ концертъ, опять въ эту толпу, въ самый блескъ мишуры, лжи, притворства... нѣтъ, не поѣду.

— Поди, чай, еще пять рублевъ стоитъ,—замѣтилъ бывшій тутъ Костяковъ.

— Билетъ стоитъ пятнадцать рублей, — сказалъ Александръ:— но я охотно бы далъ пятьдесятъ, чтобъ не ѣхать.

— Пятнадцать! — закричалъ Костяковъ, всплеснувъ руками: — вотъ мошенники! анаѳемы! ѣздятъ сюда надувать насъ, обирать деньги. Дармоѣды проклятые! Не ѣздите, Александръ Ѳедорычъ, плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь: взялъ бы домой, на столъ поставилъ, или съѣлъ; а то послушалъ только, да и на: плати пятнадцать рублевъ! За пятнадцать рублевъ можно жеребенка купить.

— Иногда за то, чтобы провести съ удовольствіемъ вечеръ, платятъ и дороже,—замѣтилъ Александръ.

— Провести вечеръ съ удовольствіемъ! Да знаете что: пойдемте въ баню, славно проведемъ! Я всякій разъ, какъ соскучусь, иду туда— и любо; пойдешь часовъ въ шесть, а выйдешь въ двѣнадцать, и погрѣешься, и тѣло почешешь, а иногда и знакомство пріятное сведешь: придетъ духовное лицо, либо купецъ, либо офицеръ; заведутъ рѣчь о торговлѣ, что ли, или о преставленіи свѣта... и не вышелъ бы! а всего по шести гривенъ съ человѣка! Не знаютъ, гдѣ вечеръ провести!

Но Александръ поѣхалъ. Онъ со вздохомъ вытащилъ давно не надѣванный, прошлогодній фракъ, натянулъ бѣлыя перчатки.

— Перчатки пять рублевъ, и того двадцать?—считалъ Костяковъ, присутствовавшій при туалетѣ Адуева. — Двадцать рублевъ, такъ вотъ, въ одинъ вечеръ кинули! Послушать: эко диво!

Александръ отвыкъ одѣваться порядочно. Утромъ онъ ходилъ на службу въ покойномъ вицмундирѣ, вечеромъ въ старомъ сюртукѣ или въ пальто. Ему было неловко во фракѣ. Тамъ тѣснило, тутъ чего-то недоставало; шеѣ, было слишкомъ жарко въ атласномъ платкѣ.

Тетка встрѣтила его привѣтливо, съ чувствомъ благодарности за то, что онъ рѣшился для нея покинуть свое затворничество, но ни слова объ его образѣ жизни и занятіяхъ.

Отыскавъ въ залѣ мѣсто для Лизаветы Александровны, Адуевъ прислонился къ колоннѣ, подъ сѣнью какого-то плечистаго меломана, и началъ скучать. Онъ тихонько зѣвнулъ въ руку, но не успѣлъ закрыть рта, какъ раздались оглушительныя рукоплесканія, привѣтствовавшія артиста. Александръ и не взглянулъ на него.

Заиграли интродукцію. Черезъ нѣсколько минутъ оркестръ сталъ стихать. Къ послѣднимъ его звукамъ прицѣпились чуть слышно другіе, сначала рѣзвые, игривые, какъ будто напоминавшіе игры дѣтства: слышались точно дѣтскіе голоса, шумные, веселые; потомъ звуки стали плавнѣе и мужественнѣе; они, казалось, выражали юношескую безпечность, отвагу, избытокъ жизни и силъ. Потомъ полились медленнѣе, тише, какъ будто передавали нѣжное изліяніе любви, задушевный разговоръ, и, ослабѣвая, мало-по-малу, слились въ странный шопотъ и незамѣтно смолкли...

Никто не смѣлъ пошевелиться. Масса людей замерла въ безмолвіи. Наконецъ вырвалось у всѣхъ единодушно *ахъ!* и шопотомъ процеслось по залѣ. Толпа-было зашевелилась, но вдругъ звуки снова проснулись, полились crescendo, потокомъ, потомъ раздробились на тысячу каскадовъ и запрыгали, тѣсня и подавляя другъ друга. Они гремѣли, будто упреками ревности, кипѣли бѣшенствомъ страсти; ухо не успѣвало ловить ихъ,—и вдругъ прервались, какъ точно у инструмента не стало болѣе ни силъ, ни голоса. Изъ-подъ

смычка сталъ вырываться то глухой отрывистый стонъ, то слышались плачущіе, умоляющіе звуки, и все окончилось болѣзненнымъ, продолжительнымъ вздохомъ. Сердце надрывалось: звуки какъ будто пѣли объ обманутой любви и безнадежной тоскѣ. Всѣ страданія, вся скорбь души человѣческой слышались въ нихъ.

Александръ трепеталъ. Онъ поднялъ голову и поглядѣлъ сквозь слезы черезъ плечо сосѣда. Худощавый нѣмецъ, согнувшись надъ своимъ инструментомъ, стоялъ передъ толпой и могущественно повелѣвалъ ею. Онъ кончилъ и равнодушно отеръ платкомъ руки и лобъ. Въ залѣ раздался ревъ и страшныя рукоплесканія. И вдругъ этотъ артистъ согнулся въ свой чередъ передъ толпой и началъ униженно кланяться и благодарить.

«И онъ поклоняется ей,» думалъ Александръ, глядя съ робостью на эту тысячеглавую гидру: «онъ, стоящій такъ высоко передъ ней!..»

Артистъ поднялъ смычокъ и—все мгновенно смолкло. Заколебавшаяся толпа слилась опять въ одно неподвижное тѣло. Потекли другіе звуки, величавые, торжественные; отъ этихъ звуковъ спина слушателя выпрямлялась, голова поднималась, носъ вздергивался выше: они пробуждали въ сердцѣ гордость, рождали мечты о славѣ. Оркестръ началъ глухо вторить, какъ будто отдаленный гулъ толпы, какъ народная молва...

Александръ поблѣднѣлъ и поникъ головой. Эти звуки, какъ нарочно, внятно разсказывали ему прошедшее, всю жизнь его, горькую и обманутую.

— Посмотри, какая мина у этого!—сказалъ кто-то, указывая на Александра: — я не понимаю, какъ можно такъ обнаружиться: я Паганини слыхалъ, да у меня и бровь не шевельнулась.

Александръ проклиналъ и приглашеніе тетки, и артиста, а болѣе всего судьбу, что она не даетъ ему забыться.

«И къ чему? съ какой цѣлью?» думалъ онъ: «чего она добивается отъ меня? къ чему напоминать мнѣ мое безсиліе, безполезность прошедшаго, котораго не воротишь?»

Проводивъ тетку до дому, онъ хотѣлъ-было ѣхать къ себѣ, но она удержала его за руку.

— Неужели вы не зайдете?—спросила она съ упрекомъ.

— Нѣтъ.

— Отчего же?

— Теперь уже поздно; когда-нибудь въ другой разъ.

— И это вы мнѣ отказываете?

— Вамъ болѣе, нежели кому-нибудь.

— Почему же?

— Долго говорить. Прощайте.

— Полчаса, Александръ, слышите? не болѣе. Если откажете, значитъ вы никогда ни на волосъ не имѣли ко мнѣ дружбы.

Она просила съ такимъ чувствомъ, такъ убѣдительно, что у Александра не стало духу отказаться, и онъ пошелъ за ней, склонивъ голову. Петръ Иванычъ былъ у себя въ кабинетѣ.

— Неужели я заслужила отъ васъ одно пренебреженіе, Александръ? — спросила Лизавета Александровна, усадивъ его у камина.

— Вы ошибаетесь: это не пренебреженіе,—отвѣчалъ онъ.

— Что же это значитъ? какъ это назвать: сколько разъ я писала къ вамъ, звала къ себѣ, вы не шли, наконецъ перестали отвѣчать на записки.

— Это не пренебреженіе...

— Что же?

— Такъ!—сказалъ Александръ и вздохнулъ.—Прощайте, ma tante.

— Постойте! что я вамъ сдѣлала? что съ вами, Александръ? Отчего вы такіе? Отчего вы равнодушны ко всему, никуда не ходите, живете въ обществѣ не по васъ?

— Да такъ, ma tante; этотъ образъ жизни мнѣ нравится: такъ покойно жить, хорошо; это по мнѣ...

— По васъ? вы находите пищу для ума и сердца въ такой жизни, съ такими людьми?

Александръ кивнулъ головой.

— Вы притворяетесь, Александръ; вы чѣмъ-нибудь сильно огорчены и молчите. Прежде, бывало, вы находили кому повѣрить ваше горе; вы знали, что всегда найдете утѣшеніе или, по крайней мѣрѣ, сочувствіе; а теперь развѣ у васъ никого ужъ нѣтъ?

— Никого!..

— Вы никому не вѣрите?

— Никому.

— Развѣ вы не вспоминаете иногда о вашей матушкѣ... о ея любви къ вамъ... ласкахъ? Неужели вамъ не приходило въ голову, что, можетъ-быть, кто-нибудь и здѣсь любитъ васъ, если не такъ, какъ она, то, по крайней мѣрѣ, какъ сестра или, еще больше, какъ другъ?

— Прощайте, ma tante!—сказалъ онъ.

— Прощайте, Александръ: я васъ не удерживаю болѣе,— отвѣчала тетка. У ней навернулись слезы.

Александръ взялъ-было шляпу, но потомъ положилъ и поглядѣлъ на Лизавету Александровну.

— Нѣтъ, не могу бѣжать отъ васъ: недостаетъ силъ!— сказалъ онъ:—что̀ вы дѣлаете со мной?

— Будьте опять прежнимъ Александромъ, хоть на одну минуту. Разскажите, повѣрьте мнѣ все...

— Да, я не могу молчать передъ вами: вамъ выскажу все, что̀ у меня на душѣ,—сказалъ онъ.—Вы спрашиваете, отчего я прячусь отъ людей, отчего я ко всему равнодушенъ, отчего не вижусь даже съ вами?.. отчего? Знайте же, что жизнь давно опротивѣла мнѣ, и я избралъ себѣ такой быть, гдѣ она меньше замѣтна. Я ничего не хочу, не ищу, кромѣ покоя, сна души. Я извѣдалъ всю пустоту и всю

ничтожность жизни — и глубоко презираю ее. *Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей.* Дѣятельность, хлопоты, заботы, развлеченіе — все надоѣло мнѣ. Я ничего не хочу добиваться и искать; у меня нѣтъ цѣли, потому что къ чему повлечешься, достигнешь—и увидишь, что все призракъ. Радости для меня миновали; я къ нимъ охладѣлъ. Въ образованномъ мірѣ, съ людьми, я сильнѣе чувствую невыгоды жизни, а у себя, одинъ, вдалекѣ отъ толпы, я одеревянѣлъ: случись, что хочетъ въ этомъ снѣ—я не замѣчаю ни людей, ни себя. Я ничего не дѣлаю и не вижу ни чужихъ, ни своихъ поступковъ—и покоенъ... мнѣ все равно: счастья не можетъ быть, а несчастье не пройметъ меня...

— Это ужасно! Александръ,—сказала тетка:—въ эти лѣта такое охлажденіе ко всему...

— Чему вы удивляетесь, ma tante? Отдѣлитесь на минуту отъ тѣснаго горизонта, въ которомъ вы заключены, посмотрите на жизнь, на міръ: что это такое?.. Что вчера велико, сегодня ничтожно; чего хотѣлъ вчера, не хочешь сегодня: вчерашній другъ — сегодня врагъ. Стоитъ ли хлопотать изъ чего-нибудь, любить, привязываться, ссориться, мириться—словомъ, жить? не лучше ли спать и умомъ, и сердцемъ? Я сплю, оттого и не хожу никуда, и къ вамъ особенно. Я уснулъ-было совсѣмъ, а вы будите и умъ, и сердце, и толкаете ихъ опять въ омутъ. Если хотите видѣть меня веселымъ, здоровымъ, можетъ-быть, живымъ, даже, пожалуй, по понятіямъ дядюшки, счастливымъ — оставьте меня тамъ, гдѣ я теперь! Дайте успокоиться этимъ волненіямъ; пусть мечты улягутся, пусть умъ оцѣпенѣетъ совсѣмъ, сердце окаменѣетъ, глаза отвыкнутъ отъ слезъ, губы отъ улыбки—и тогда, черезъ годъ, черезъ два, я приду къ вамъ совсѣмъ готовый на всякое испытаніе; тогда не пробудите, какъ ни старайтесь, а теперь...

Онъ сдѣлалъ отчаянный жестъ.

— Смотрите, Александръ,—живо перебила тетка:—вы въ одну минуту измѣнились: у васъ слезы на глазахъ; вы еще все тѣ же; не притворяйтесь же, не удерживайте чувства, дайте ему волю...

— Зачѣмъ? я не буду лучше отъ этого? я буду только сильнѣе мучиться. Нынѣшній вечеръ уничтожилъ меня въ собственныхъ глазахъ. Я ясно понялъ, что не имѣю права никого винить въ своей тоскѣ. Я самъ погубилъ свою жизнь. Я мечталъ о славѣ, Богъ знаетъ съ чего, и пренебрегъ своимъ дѣломъ; я испортилъ свое скромное назначеніе и теперь не поправлю прошлаго: поздно! Я бѣжалъ толпы, презиралъ ее,—а этотъ нѣмецъ, съ своей глубокой, сильной душой, съ поэтической натурой, не отрекается отъ міра и не бѣжитъ отъ толпы: онъ гордится ея рукоплесканіями. Онъ понимаетъ, что онъ едва замѣтное кольцо въ безконечной цѣпи человѣчества; онъ тоже все знаетъ, что я; ему знакомы страданія. Слышали, какъ онъ разсказалъ въ звукахъ всю жизнь: и радости, и горечь ея, и счастье, скорбь души? она понятна ему. Какъ сталъ я сегодня вдругъ мелокъ, ничтоженъ въ собственныхъ глазахъ, съ своей тоской, страданіями!.. Онъ пробудилъ во мнѣ горькое сознаніе, что я гордъ — и безсиленъ... Ахъ, зачѣмъ вы вызвали меня? Прощайте, пустите меня.

— Чѣмъ же я виновата, Александръ?—неужели я могла пробудить въ васъ горькое чувство—я?..

— Вотъ то-то и бѣда! ваше ангельское, доброе лицо, ma tante, кроткія рѣчи, дружеское пожатіе руки—все это смущаетъ и трогаетъ меня: мнѣ хочется плакать, хочется опять жить, томиться... а зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? Останьтесь всегда съ нами; и если вы считаете меня хоть немного достойною вашей дружбы, сталобыть, вы найдете утѣшеніе и въ другой; не одна я такая... васъ оцѣнятъ.

— Да! вы думаете, это всегда будетъ утѣшать меня? вы

думаете, я повѣрю этому минутному умиленію? Вы, точно, женщина въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова; вы созданы на радость, на счастье мужчины, да можно ли надѣяться на это счастье? можно ли поручиться, что оно прочно, что сегодня, завтра, судьба не обернетъ вверхъ дномъ этой счастливой жизни — вотъ вопросъ! Можно ли вѣрить чему-нибудь и кому-нибудь, даже себѣ? Не лучше ли жить безъ всякихъ надеждъ и волненій, не ожидая ничего, не искать радостей и, стало-быть, не оплакивать потерь?..

— Отъ судьбы вы нигдѣ не уйдете, Александръ: и тамъ, гдѣ вы теперь, она все будетъ преслѣдовать васъ...

— Да, правда; только тамъ судьбѣ не надъ чѣмъ забавляться, больше забавляюсь я надъ нею: смотришь, то рыба сорвется съ удочки, когда ужъ протянулъ къ ней руку, то дождь пойдетъ, когда собрался за городъ, или погода хороша, да самому не хочется... ну, и смѣшно...

У Лизаветы Александровны недоставало болѣе возраженій...

— Вы женитесь... будете любить... — сказала она нерѣшительно.

— Женюсь! вотъ еще! Неужели вы думаете, что я ввѣрю свое счастье женщинѣ, если бъ даже и полюбилъ ее, чего тоже быть не можетъ? или неужели вы думаете, что я взялся бы сдѣлать женщину счастливой? Нѣтъ, я знаю, что мы обманемъ другъ друга, и оба обманемся. Дядюшка Петръ Иванычъ и опытъ научили меня...

— Петръ Иванычъ! да, онъ много виноватъ! — сказала Лизавета Александровна со вздохомъ: — но вы имѣли право не слушать его... и были бы счастливы въ супружествѣ...

— Да, въ деревнѣ, конечно; а теперь... Нѣтъ, ma tante, супружество не для меня. Я теперь не могу притвориться, когда разлюблю, и перестану быть счастливъ; не могу также не увидѣть, когда жена притворится; будемъ оба хитрить, какъ хитрите... напримѣръ, вы и дядюшка...

— Мы?—съ изумленіемъ и съ испугомъ спросила Лизавета Александровна.

— Да, вы! Скажите-ка, такъ ли вы счастливы, какъ мечтали нѣкогда?

— Не такъ, какъ мечтала... но счастлива иначе, нежели мечтала, разумнѣе, можетъ-быть, больше — не все ли это равно?..—съ замѣшательствомъ отвѣчала Лизавета Александровна:—и вы тоже...

— Разумнѣе! Ахъ, ma tante, не вы бы говорили: такъ дядюшкой и отзывается! Знаю я, это счастье по его методѣ: разумнѣе — такъ, но больше ли? вѣдь у него все счастье, несчастья нѣтъ. Богъ съ нимъ! Нѣтъ! моя жизнь исчерпана; я усталъ, утомился жить...

Оба замолчали. Александръ поглядывалъ на шляпу; тетка придумывала, чѣмъ бы еще остановить его.

— А талантъ!—вдругъ сказала она съ живостью.

— Э, ma tante! охота вамъ смѣяться надо мной! Вы забыли русскую пословицу: *лежачаго не бьютъ.* У меня таланта нѣтъ, рѣшительно нѣтъ. У меня есть чувство, была горячая голова; мечты я принялъ за творчество и творилъ. Недавно еще я началъ кое-что изъ старыхъ грѣховъ, прочелъ—и самому смѣшно стало. Дядюшка правъ, что принудилъ меня сжечь все, что было. Ахъ, если бъ я могъ воротить прошедшее! Не такъ я распорядился имъ.

— Не разочаровывайтесь до конца!—сказала она:—всякому изъ насъ посланъ тяжкій крестъ...

— Кому это крестъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, входя въ комнату.—Здравствуй, Александръ! тебѣ, что ли?

Петръ Иванычъ сгорбился и шелъ, едва передвигая ноги.

— Только не такой, какъ ты думаешь, — сказала Лизавета Александровна:—я говорю о тяжкомъ крестѣ, который несетъ Александръ...

— Что онъ тамъ еще несетъ?—спросилъ Петръ Иванычъ,

опускаясь съ величайшею осторожностью въ кресла.—Охъ! какая боль! что это за наказаніе!

Лизавета Александровна помогла ему сѣсть, подложила подъ спину подушку, подъ ноги подвинула скамеечку.

— Что съ вами, дядюшка?—спросилъ Александръ.

— Видишь, тяжкій крестъ несу! Охъ, поясница! Вотъ крестъ, такъ крестъ: дослужился-таки до него! Охъ, Боже мой!

— Вольно же тебѣ такъ много сидѣть: ты знаешь здѣшній климатъ,—сказала Лизавета Александровна:—докторъ велѣлъ больше ходить, такъ нѣтъ: утро пишетъ, а вечеромъ въ карты играетъ.

— Что жъ я стану, разиня ротъ, по улицамъ ходить, да время терять?

— Вотъ и наказанъ.

— Этого здѣсь не минуешь, если хочешь заниматься дѣломъ. У кого не болитъ поясница? Это почти въ родѣ знака отличія у всякаго дѣлового человѣка... охъ, не разогнешь спины. Ну, что ты, Александръ, дѣлаешь?

— Все то же, что прежде.

— А! ну такъ у тебя поясница не заболитъ. Это удивительно, право!

— Что жъ ты удивляешься: не ты ли самъ отчасти виноватъ, что онъ сталъ такой...—сказала Лизавета Александровна.

— Я? вотъ это мнѣ нравится! я пріучилъ его ничего не дѣлать!

— Точно, дядюшка, вамъ нечему удивляться,—сказалъ Александръ:—вы много помогли обстоятельствамъ сдѣлать изъ меня то, что я теперь; но и васъ не виню. Я самъ виноватъ, что не умѣлъ или, лучше сказать, не могъ воспользоваться вашими уроками, какъ слѣдуетъ, потому что не былъ приготовленъ къ нимъ. Вы, можетъ-быть, отчасти виноваты тѣмъ, что поняли мою натуру съ перваго раза и, несмотря на то, хотѣли переработать ее; вы, какъ человѣкъ

опытный, должны были видѣть, что это невозможно... вы возбудили во мнѣ борьбу двухъ различныхъ взглядовъ на жизнь и не могли примирить ихъ: что жъ вышло? Все превратилось во мнѣ въ сомнѣніе, въ какой-то хаосъ.

— Охъ, поясница!—стоналъ Петръ Иванычъ.—Хаосъ!—ну, вотъ изъ хаоса я и хотѣлъ сдѣлать что-нибудь.

— Да! а что сдѣлали? представили мнѣ жизнь въ самой безобразной наготѣ, и въ какія лѣта: когда я долженъ былъ понимать ее только съ свѣтлой стороны.

— То-есть, я старался представить тебѣ жизнь, какъ она есть, чтобъ ты не забиралъ себѣ въ голову чего нѣтъ. Я помню какимъ ты молодцомъ пріѣхалъ изъ деревни: надо жъ было предостеречь тебя, что здѣсь такимъ быть нельзя. Я предостерегъ тебя, можетъ-быть, отъ многихъ ошибокъ и глупостей! если не я, ты бы ихъ еще не столько надѣлалъ!

— Можетъ-быть. Но вы только выпустили одно изъ виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что человѣкъ счастливъ заблужденіями, мечтами и надеждами; дѣйствительность не счастливитъ...

— Какую ты дичь несешь! Это мнѣніе привезъ ты прямо съ азіатской границы: въ Европѣ давно перестали вѣрить этому. Мечты, игрушки, обманъ—все это годится для женщинъ и дѣтей, а мужчинѣ надо знать дѣло, какъ оно есть. По-твоему это хуже, нежели обманываться?

— Да, дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано изъ иллюзій, надеждъ, довѣрчивости къ людямъ, увѣренности въ самомъ себѣ, потомъ изъ любви, дружбы... А вы твердили мнѣ, что любовь—вздоръ, пустое чувство, что легко, и даже лучше, прожить безъ него; что любить страстно—не великое достоинство, что этимъ не перещеголяешь животное...

— Да ты вспомни, какъ ты хотѣлъ любить: сочинялъ плохіе стихи, говорилъ дикимъ языкомъ, такъ что до смерти

подъѣть этой, твоей... Грунѣ, что ли! Этимъ ли привязываютъ женщину?

— Чѣмъ же? — сухо спросила Лизавета Александровна мужа.

— Охъ, какъ колетъ поясницу! — простоналъ Петръ Иванычъ.

— Потомъ вы твердили, — продолжалъ Александръ: — что привязанности глубокой, симпатической нѣтъ, а есть одна привычка...

Лизавета Александровна молча и глубоко посмотрѣла на мужа.

— То-есть я, вотъ видишь ли, я говорилъ тебѣ для того... чтобъ... ты... того... ой-ой, поясница!

— И вы говорили это, — продолжалъ Александръ: — двадцатилѣтнему мальчику, для котораго любовь — все, котораго дѣятельность, цѣль — все вертится около этого чувства: имъ онъ можетъ спастись, или погибнуть.

— Точно двѣсти лѣтъ назадъ родился! — бормоталъ Петръ Иванычъ: — жить бы тебѣ при царѣ Горохѣ.

— Вы растолковали мнѣ, — говорилъ Александръ: — теорію любви, обмановъ, измѣнъ, охлажденій... зачѣмъ? я зналъ все это прежде, нежели началъ любить, а любя, я ужъ анализировалъ любовь, какъ ученикъ анатомируетъ тѣло подъ руководствомъ профессора, и, вмѣсто красоты формъ, видитъ только мускулы, нервы...

— Однако, я помню, это не помѣшало тебѣ сходить съ ума по этой... какъ ее?.. Дашенькѣ, что ли?

— Да; но вы не дали мнѣ обмануться: я бы видѣлъ въ измѣнѣ Наденьки несчастную случайность и ожидалъ бы до тѣхъ поръ, когда ужъ не нужно было бы любви, а вы сейчасъ подоспѣли съ теоріей и показали мнѣ, что это общій порядокъ — и я, въ двадцать-пять лѣтъ, потерялъ довѣренность къ счастью и къ жизни и состарѣлся душой. Дружбу вы отвергали, называли и ее привычкой; называли себя, и

то вѣроятно шутя, лучшимъ моимъ другомъ, потому развѣ, что успѣли доказать, что дружбы нѣтъ.

Петръ Иванычъ слушалъ и поглаживалъ одной рукой спину. Онъ возражалъ небрежно, какъ человѣкъ, который, казалось, однимъ словомъ могъ уничтожить всѣ изводимыя на него обвиненія.

— И дружбу хорошо ты понималъ,—сказалъ онъ:—тебѣ хотѣлось отъ друга такой же комедіи, какую разыграли, говорятъ, въ древности вонъ эти два дурака... какъ ихъ? что одинъ еще остался въ залогѣ, пока другъ его съѣздилъ повидаться... Что если бъ всѣ-то такъ дѣлали, вѣдь просто весь міръ былъ бы домъ сумасшедшихъ!

— Я любилъ людей,—продолжалъ Александръ:—вѣрилъ въ ихъ достоинства, видѣлъ въ нихъ братьевъ, простеръ-было къ нимъ горячія объятія...

— Да, очень нужно! Помню твои объятія, — перебилъ Петръ Иванычъ: — ты мнѣ ими тогда порядочно надоѣлъ.

— А вы показали мнѣ, чего они стоятъ. Вмѣсто того, чтобъ руководствовать мое сердце въ привязанностяхъ, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, разсматривать и остерегаться людей: я разсмотрѣлъ ихъ—и разлюбилъ!

— Кто же тебя зналъ! Видишь вѣдь ты какой прыткій: я думалъ, что ты отъ этого будешь только снисходительнѣе къ нимъ. Я вотъ знаю ихъ, да не возненавидѣлъ...

— Что жъ, ты любишь людей?—спросила Лизавета Александровна.

— Привыкъ... къ нимъ.

— Привыкъ!—повторила она монотонно.

— И онъ бы привыкъ,—сказалъ Петръ Иванычъ:—да онъ ужъ прежде былъ сильно испорченъ въ деревнѣ теткой да желтыми цвѣтами, оттого такъ туго и развивается.

— Потомъ я вѣрилъ въ самого себя,—началъ опять Александръ:—вы показали мнѣ, что я хуже другихъ—я возненавидѣлъ и себя.

— Если бъ ты разсматривалъ дѣло похладнокровнѣе, такъ увидѣлъ бы, что ты не хуже другихъ и не лучше, чего я и хотѣлъ отъ тебя: тогда не возненавидѣлъ бы ни другихъ, ни себя, а только равнодушнѣе сносилъ бы людскія глупости и былъ бы повнимательнѣе къ своимъ. Я вотъ знаю цѣну себѣ, вижу, что не хорошъ, а признаюсь, очень люблю себя.

— А! тутъ *любишь*, а не *привыкъ*! — холодно замѣтила Лизавета Александровна.

— Охъ, поясница!—заохалъ Петръ Иванычъ.

— Наконецъ, вы однимъ ударомъ, безъ предостереженія, безъ жалости, разрушили лучшую мечту мою: я думалъ, что во мнѣ есть искра поэтическаго дарованія; вы жестоко доказали мнѣ, что я не созданъ жрецомъ изящнаго; вы съ болью вырвали у меня эту занозу изъ сердца и предложили мнѣ трудъ, который былъ мнѣ противенъ. Безъ васъ я писалъ бы...

— И былъ бы извѣстенъ публикѣ, какъ бездарный писатель,—перебилъ Петръ Иванычъ.

— Что мнѣ до публики? Я хлопоталъ о себѣ, я приписывалъ бы свои неудачи злости, зависти, недоброжелательству, и мало-по-малу свыкся бы съ мыслью, что писать не нужно, и самъ бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши все, упалъ духомъ?..

— Ну, что скажешь?—спросила Лизавета Александровна.

— Не хочется и говорить-то: какъ отвѣчать на такой вздоръ? Я виноватъ, что ты, ѣдучи сюда, воображалъ, что здѣсь все цвѣты желтые, любовь да дружба; что люди только и дѣлаютъ, что одни пишутъ стихи, другіе слушаютъ, да изрѣдка, такъ, для разнообразія, примутся за прозу?.. Я доказывалъ тебѣ, что человѣку, вообще вездѣ, а здѣсь въ особенности, надо работать, и много работать, даже до боли въ пояснице... цвѣтовъ желтыхъ нѣтъ, есть чины, деньги: это гораздо лучше! Вотъ что я хотѣлъ дока-

зать тебѣ! я не отчаивался, что ты поймешь, наконецъ, что такое жизнь, особенно, какъ ее теперь понимаютъ. Ты и понялъ, да какъ увидѣлъ, что въ ней мало цвѣтовъ и стиховъ, и вообразилъ, что жизнь—большая ошибка, что ты видишь это и оттого имѣешь право скучать; другіе не замѣчаютъ и оттого живутъ припѣваючи. Ну, чѣмъ ты недоволенъ? чего тебѣ недостаетъ? Другой, на твоемъ мѣстѣ, благословилъ бы судьбу. Ни нужда, ни болѣзнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нѣтъ? Любви, что ли? Мало еще тебѣ: любилъ ты два раза и былъ любимъ. Тебѣ измѣнили, ты поквитался. Мы рѣшили, что друзья у тебя есть, какіе у другого рѣдко бываютъ: не фальшивые; въ воду за тебя, правда, не бросятся и на костеръ не полѣзутъ, обниматься тоже не охотники; да вѣдь это до крайности глупо; пойми наконецъ! но зато совѣтъ, помощь, даже деньги—всегда найдешь... Это ли еще не друзья? Современемъ ты женишься; карьера передъ тобой: займись только; а вмѣстѣ съ ней и фортуна. Дѣлай все, какъ другіе — и судьба не обойдетъ тебя: найдешь свое. Смѣшно воображать себя особеннымъ, великимъ человѣкомъ, когда ты не созданъ такимъ! Ну, о чемъ же ты горюешь?

— Я васъ не виню, дядюшка; напротивъ, я умѣю цѣнить ваши намѣренія и отъ души благодарю за нихъ. Что дѣлать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли другъ друга—вотъ въ чемъ наша бѣда! Что можетъ нравиться и годиться вамъ, другому, третьему — не нравится мнѣ...

— Нравится мнѣ, другому, третьему!.. не то говоришь, милый! развѣ я одинъ такъ думаю и дѣйствую, какъ училъ думать и дѣйствовать тебя?.. Посмотри кругомъ: разсмотри массу—*толпу*, какъ ты называешь ее—не ту, что въ деревнѣ живетъ: туда это долго не дойдетъ, а современную, образованную, мыслящую и дѣйствующую: чего она хочетъ

и къ чему стремится? какъ мыслитъ? и увидишь, что именно такъ, какъ я училъ тебя. Чего я требовалъ отъ тебя—не я все это выдумалъ.

— Кто же?—спросила Лизавета Александровна.

— Вѣкъ.

— Такъ непремѣнно и надо слѣдовать всему, что выдумаетъ твой вѣкъ?—спросила она:—такъ все и свято, все и правда?

— Все и свято!—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Какъ! правда, что надо больше разсуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться отъ порывовъ чувства? не предаваться и не вѣрить искреннему желанію?

— Да,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Дѣйствовать вездѣ по методѣ, меньше довѣрять людямъ, считать все ненадежнымъ и жить одному про себя?

— Да.

— И это свято, что любовь не главное въ жизни, что надо больше любить свое дѣло, нежели любимаго человѣка, не надѣяться ни на чью преданность, вѣрить, что любовь должна кончаться охлажденіемъ, измѣной или привычкой? что дружба привычка? Это все правда?

— Это была всегда правда,—отвѣчалъ Петръ Иванычъ:—только прежде не хотѣли вѣрить ей, а нынче это сдѣлалось общеизвѣстной истиной.

— Свято и это, что все надо разсматривать, все разсчитывать и обдумывать, не позволять себѣ забыться, помечтать, увлечься хоть и обманомъ, лишь бы быть отъ того счастливымъ?..

— Свято, потому что разумно,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Правда и это, что умомъ надобно дѣйствовать и съ близкими сердцу... напримѣръ, съ женой?

— У меня еще никогда не болѣла такъ поясница... ахъ!—сказалъ Петръ Иванычъ, корчась на стулѣ.

— А! поясница! Хорошъ вѣкъ! нечего сказать.

— Очень хорошъ, милая; такъ, изъ капризовъ, ничего не дѣлается; вездѣ разумъ, причина, опытъ, постепенность и, слѣдовательно, успѣхъ; все стремится къ совершенствованію и добру.

— Въ вашихъ словахъ, дядюшка, можетъ-быть, есть и правда,—сказалъ Александръ:—но она не утѣшаетъ меня. Я по вашей теоріи знаю все, смотрю на вещи вашими глазами; я воспитанникъ вашей школы, а между тѣмъ, мнѣ скучно жить, тяжело, невыносимо... Отчего же это?

— А отъ непривычки къ новому порядку. Не одинъ ты такой: еще есть отсталые; это все *страдальцы*. Они точно жалки; но что жъ дѣлать? Нельзя же для горсти людей оставаться назади цѣлой массѣ. На все, въ чемъ ты меня сейчасъ обвинилъ, — сказалъ Петръ Иванычъ, подумавъ:— у меня есть одно и главное оправданіе: помнишь ли, когда ты явился сюда, я, послѣ пятиминутнаго разговора съ тобой, совѣтовалъ тебѣ ѣхать назадъ? Ты не послушалъ. За что жъ теперь нападаешь на меня? Я предсказалъ тебѣ, что ты не привыкнешь къ настоящему порядку вещей, а ты понадѣялся на мое руководство, просилъ совѣтовъ... говорилъ высокимъ слогомъ о современныхъ успѣхахъ ума, о стремленіяхъ человѣчества... о практическомъ направленіи вѣка— ну, вотъ тебѣ! Нельзя же мнѣ было няньчиться съ тобой съ утра до вечера: что̀ мнѣ за надобность? Я не могъ, ни закрывать тебѣ рта платкомъ на ночь отъ мухъ, ни крестить тебя. Я говорилъ тебѣ дѣло, потому что ты просилъ меня объ этомъ; а что̀ изъ этого вышло, то ужъ до меня не касается. Ты не ребенокъ и не глупъ: можешь разсудить и самъ... Тутъ чѣмъ бы свое дѣло дѣлать, ты—то стонешь отъ измѣны дѣвчонки, то плачешь въ разлукѣ съ другомъ, то страдаешь отъ душевной пустоты, то отъ полноты ощущеній; ну, что̀ это за жизнь? Вѣдь это пытка! Посмотри-ка на нынѣшнюю молодежь: что за молодцы! Какъ все кипитъ

умственною дѣятельностью, энергіей, какъ ловко и легко управляются они со всѣмъ этимъ вздоромъ, что на вашемъ старомъ языкѣ называется *треволненіями, страданіями*... и чортъ знаетъ что еще!

— Какъ ты легко разсуждаешь!—сказала Лизавета Александровна:—и тебѣ не жаль Александра?

— Нѣтъ. Вотъ, если бъ у него болѣла поясница, такъ я бы пожалѣлъ: это не вымыселъ, не мечта, не поэзія, а реальное горе... Охъ!

— Научите же меня, дядюшка, по крайней мѣрѣ, что̀ мнѣ дѣлать теперь? Какъ вы вашимъ умомъ разрѣшите эту задачу?

— Что дѣлать? Да... ѣхать въ деревню.

— Въ деревню! — повторила Лизавета Александровна:— въ умѣ ли ты, Петръ Иванычъ? Что̀ онъ тамъ станетъ дѣлать?

— Въ деревню! — повторилъ Александръ, и оба глядѣли на Петра Иваныча.

— Да, въ деревню: тамъ ты увидишься съ матерью, утѣшишь ее. Ты же ищешь покойной жизни: здѣсь вонъ тебя все волнуетъ; а гдѣ покойнѣе, какъ не тамъ, на озерѣ, съ теткой... Право, поѣзжай! А кто знаетъ? можетъ-быть, ты и того... Охъ!

Онъ схватился за спину.

Недѣли черезъ двѣ Александръ вышелъ въ отставку и пришелъ проститься съ дядей и теткой. Тетка и Александръ были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александровны висѣли слезы на глазахъ. Петръ Иванычъ говорилъ одинъ.

— Ни карьеры, ни фортуны! — говорилъ онъ, качая головою:—стоило пріѣзжать! осрамилъ родъ Адуевыхъ!

— Да полно, Петръ Иванычъ, — сказала Лизавета Александровна:—ты надоѣлъ съ своей карьерой.

— Какъ же, милая, въ восемь лѣтъ ничего не сдѣлать!

— Прощайте, дядюшка, — сказалъ Александръ. — Благодарю васъ за все, за все...

— Не за что! Прощай, Александръ! Не надо ли денегъ на дорогу?

— Нѣтъ, благодарю: мнѣ станетъ.

— Что это, никогда не возьметъ! это, наконецъ, бѣситъ меня. Ну, съ Богомъ, съ Богомъ.

— И тебѣ не жаль разстаться съ нимъ? — промолвила Лизавета Александровна.

— М-м! — промычалъ Петръ Иванычъ: — я... привыкъ къ нему. Помни же, Александръ, что у тебя есть дядя и другъ — слышишь? и если понадобятся служба, занятія и презрѣнный металлъ, смѣло обратись ко мнѣ: всегда найдешь и то, и другое, и третье.

— А если понадобится участіе, — сказала Лизавета Александровна: — утѣшеніе въ горѣ, теплая, надежная дружба...

— И искреннія изліянія, — прибавилъ Петръ Иванычъ.

— ...такъ вспомните, — продолжала Лизавета Александровна: — что у васъ есть тетка и другъ.

— Ну, этого, милая, и въ деревнѣ не занимать стать: все есть: и цвѣты, и любовь, и изліянія, и даже тетка.

Александръ былъ растроганъ; онъ не могъ сказать ни слова. Прощаясь съ дядей, онъ простеръ-было къ нему объятія, хоть и не такъ живо, какъ восемь лѣтъ назадъ. Петръ Иванычъ не обнялъ его, а взялъ только его за обѣ руки и пожалъ ихъ крѣпче, нежели восемь лѣтъ назадъ. Лизавета Александровна залилась слезами.

— Ухъ! гора съ плечъ, слава Богу! — сказалъ Петръ Иванычъ, когда Александръ уѣхалъ: — какъ будто и поясницѣ легче стало!

— Что̀ онъ тебѣ сдѣлалъ? — промолвила сквозь слезы жена.

— Что? просто мученье: хуже, чѣмъ съ фабричными: тѣхъ, если задурятъ, такъ посѣчешь; а съ нимъ что̀ станешь дѣлать?

Тетка проплакала цѣлый день, и когда Петръ Иванычъ спросилъ обѣдать, ему сказали, что стола не готовили, что барыня заперлась у себя въ кабинетѣ и не приняла повара.

— А все Александръ!—сказалъ Петръ Иванычъ.—Что это за мука съ нимъ!

Онъ поворчалъ, поворчалъ и поѣхалъ обѣдать въ англійскій клубъ.

Дилижансъ рано утромъ медленно тащился изъ города и увозилъ Александра Ѳедорыча и Евсея.

Александръ, высунувъ голову изъ окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тонъ, и, наконецъ, мысленно разрѣшился монологомъ.

Проѣзжали мимо куафферовъ, дантистовъ, модистокъ, барскихъ палатъ. «Прощай», говорилъ онъ, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькіе волосы: «прощай, городъ поддѣльныхъ волосъ, вставныхъ зубовъ, ваточныхъ подражаній природѣ, круглыхъ шляпъ, городъ учтивой спеси, искусственныхъ чувствъ, безжизненной суматохи! Прощай, великолѣпная гробница глубокихъ, сильныхъ, нѣжныхъ и теплыхъ движеній души. Я здѣсь восемь лѣтъ стоялъ лицомъ къ лицу съ современною жизнью, но спиною къ природѣ, и она отвернулась отъ меня: я утратилъ жизненныя силы и состарѣлся въ двадцать девять лѣтъ; а было время...

«Прощай, прощай, городъ,

Гдѣ я страдалъ, гдѣ я любилъ,
Гдѣ сердце я похоронилъ.

«Къ вамъ простираю объятія, широкія поля, къ вамъ, благодатныя веси и пажити моей родины; примите меня въ свое лоно, да оживу и воскресну душой!»

Тутъ онъ прочелъ стихотвореніе Пушкина: *Художникъ вперуръ кистью сонной* и т. д., отеръ влажные глаза и спрятался въ глубину кареты.

VI.

Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро въ селѣ Грачахъ чуть-чуть рябѣло отъ легкой зыби. Глаза невольно зажимались отъ ослѣпительнаго блеска солнечныхъ лучей, сверкавшихъ то алмазными, то изумрудными искрами въ водѣ. Плакучія березы купали въ озерѣ свои вѣтви и кое-гдѣ берега поросли осокой, въ которой прятались большіе, жёлтые цвѣты, покоившіеся на широкихъ пловучихъ листьяхъ. На солнце набѣгали иногда легкія облака; вдругъ оно какъ будто отвернется отъ Грачей; тогда и озеро, и роща, и село — все мгновенно потемнѣетъ; одна даль ярко сіяетъ. Облако пройдетъ — озеро опять заблеститъ, нивы обольются точно золотомъ.

Анна Павловна съ пяти часовъ сидитъ на балконѣ. Что ее вызвало: восходъ солнца, свѣжій воздухъ, или пѣніе жаворонка? Нѣтъ! она не сводитъ глазъ съ дороги, что идетъ черезъ рощу. Пришла Аграфена просить ключей. Анна Павловна не поглядѣла на нее и, не спуская глазъ съ дороги, отдала ключи и не спросила даже, зачѣмъ? Явился поваръ: она, тоже не глядя на него, отдала ему множество приказаній. Другой день столъ заказывался на десять человѣкъ.

Анна Павловна осталась опять одна. Вдругъ глаза ея заблистали; всѣ силы ея души и тѣла перешли въ зрѣніе: на дорогѣ что-то зачернѣло. Кто-то ѣдетъ, но тихо, медленно. Ахъ! это возъ спускается съ горы. Анна Павловна нахмурилась.

— Вотъ кого-то понесла нелёгкая! — проворчала она: — нѣтъ, чтобъ объѣхать кругомъ; всѣ лѣзутъ сюда.

Она съ неудовольствіемъ опустилась опять въ кресло и опять съ трепетнымъ ожиданіемъ устремила взглядъ на рощу, не замѣчая ничего вокругъ. А вокругъ было что́ замѣтить: декорація начала значительно измѣняться. Полуден-

ный воздухъ, накаленный знойными лучами солнца, становился душенъ и тяжелъ. Вотъ и солнце спряталось. Стало темно. И лѣсъ, и дальнія деревни, и трава—все облеклось въ безразличный какой-то зловѣщій цвѣтъ.

Анна Павловна очнулась и взглянула вверхъ. Боже мой! Съ запада тянулось, точно живое чудовище, черное, безобразное пятно съ мѣднымъ отливомъ по краямъ, и быстро надвигалось на село и на рощу, простирая будто огромныя крылья по сторонамъ. Все затосковало въ природѣ. Коровы понурили головы; лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль подъ ихъ копытами не поднималась вверхъ, но тяжело, какъ песокъ, ссыпалась подъ колесами. Туча надвигалась грозно. Вскорѣ медленно прокатился отдаленный гулъ.

Все притихло, какъ будто ожидало чего-то небывалаго. Куда дѣвались эти птицы, которыя такъ рѣзво порхали и пѣли при солнышкѣ? Гдѣ насѣкомыя, что такъ разнообразно жужжали въ травѣ? Все спряталось и безмолвствовало, и бездушные предметы, казалось, раздѣляли зловѣщее предчувствіе. Деревья перестали покачиваться и задѣвать другъ друга сучьями; они выпрямились; только изрѣдка наклонялись верхушками между собою, какъ будто взаимно предупреждая себя шопотомъ о близкой опасности. Туча уже обложила горизонтъ и образовала какой-то свинцовый, непроницаемый сводъ. Въ деревнѣ всѣ старались убраться во-время по домамъ. Наступила минута всеобщаго торжественнаго молчанія. Вотъ отъ лѣсу, какъ передовой вѣстникъ, пронесся свѣжій вѣтерокъ, повѣялъ прохладой въ лицо путнику, прошумѣлъ по листьямъ, захлопнулъ мимоходомъ ворота въ избѣ и, вскрутя пыль на улицѣ, затихъ въ кустахъ. Слѣдомъ за нимъ мчится бурный вихрь, медленно двигая по дорогѣ столбъ пыли; вотъ ворвался въ деревню, сбросилъ нѣсколько гнилыхъ досокъ съ забора, снесъ соломенную кровлю, взвилъ юбку у несущей воду крестьянки

и погналъ вдоль улицы пѣтуховъ и куръ, раздувая имъ хвосты.

Пронесся. Опять безмолвіе. Все суетится и прячется; только глупый баранъ не предчувствуетъ ничего: онъ равнодушно жуетъ свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядитъ въ одну сторону, не понимая общей тревоги; да перышко съ соломинкой, кружась по дорогѣ, силятся поспѣть за вихремъ.

Упали двѣ-три крупныя капли дождя — и вдругъ блеснула молнія. Старикъ всталъ съ заваленки и поспѣшно повелъ маленькихъ внучатъ въ избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла окно.

Грянулъ громъ и, заглушая людской шумъ, торжественно, царственно прокатился въ воздухѣ. Испуганный конь оторвался отъ коновязи и мчится съ веревкой въ поле; тщетно преслѣдуетъ его крестьянинъ. А дождь такъ и сыплетъ, такъ и сѣчетъ, все чаще и чаще, и дробитъ въ кровли и окна сильнѣе и сильнѣе. Бѣленькая ручка боязливо высовываетъ на балконъ предметъ нѣжныхъ заботъ—цвѣты.

При первомъ ударѣ грома, Анна Павловна перекрестилась и ушла съ балкона.

— Нѣтъ, ужъ сегодня нечего видно ждать,—сказала она со вздохомъ: — отъ грозы гдѣ-нибудь остановился, развѣ къ ночи.

Вдругъ послышался стукъ колесъ, только не отъ рощи, а съ другой стороны. Кто-то въѣхалъ на дворъ. У Адуевой замерло сердце.

«Какъ же оттуда?» думала она: «развѣ не хотѣлъ ли онъ тайкомъ пріѣхать? Да нѣтъ, тутъ не дорога».

Она не знала что подумать; но вскорѣ все объяснилось. Черезъ минуту вошелъ Антонъ Иванычъ. Волосы его серебрились просѣдью; самъ онъ растолстѣлъ; щеки отекли отъ бездѣйствія и объяденія. На немъ былъ тотъ же сюртукъ, тѣ же широкія панталоны.

— Ужъ я васъ ждала, ждала, Антонъ Иванычъ, — начала Анна Павловна: — думала, что не будете—отчаялась-было.

— Грѣхъ это думать! къ кому другому, матушка—такъ! меня не ко всякому залучишь... только не къ вамъ. Замѣшкался не по своей винѣ: вѣдь я нынче на одной лошадкѣ разъѣзжаю.

— Что такъ? — спросила разсѣянно Анна Павловна, подвигаясь къ окну.

— Чего, матушка, съ крестинъ у Павла Саввича пѣгашка захромала: угораздила нелёгкая кучера положить черезъ канавку старую дверь отъ амбара... бѣдные люди, видите! Не стало новой дощечки! А на двери-то былъ гвоздь или крючокъ, что ли — лукавый ихъ знаетъ! Лошадь-какъ ступила, такъ въ сторону и шарахнулась, и мнѣ чуть-было шея не сломала... пострѣлы этакіе! Вотъ съ тѣхъ поръ и хромаетъ... Вѣдь есть же скареды такіе! Вы не повѣрите, матушка, что это у нихъ въ домѣ: въ иной богадѣльнѣ лучше содержатъ народъ. А въ Москвѣ, на Кузнечномъ мосту, что годъ, то тысячъ десять и посадятъ.

Анна Павловна слушала его разсѣянно и слегка покачала головой, когда онъ кончилъ.

— А вѣдь я отъ Сашеньки письмо получила, Антонъ Иванычъ! — перебила она: — пишетъ, что около 20-го будетъ: такъ я и не вспомнилась отъ радости.

— Слышалъ, матушка: Прошка сказывалъ, да я сначала-то не разобралъ, что онъ говоритъ; подумалъ, что ужъ и пріѣхалъ; съ радости меня индо въ потъ бросило.

— Дай Богъ вамъ здоровья, Антонъ Иванычъ, что любите насъ.

— Еще бы не любить! Да вѣдь я Александра Ѳедорыча на рукахъ носилъ: все равно, что родной.

— Спасибо вамъ, Антонъ Иванычъ: Богъ васъ наградитъ! А я другую ночь почти не сплю и людямъ не даю

спать: неравно пріѣдетъ, а мы всѣ дрыхнемъ—хорошо будетъ! Вчера и третьягодня до рощи пѣшкомъ ходила, и нынче бы пошла, да старость проклятая одолѣваетъ. Ночью безсонница истомила. Садитесь-ка, Антонъ Иванычъ. Да вы всѣ перемокли: не хотите ли выпить и позавтракать? Обѣдать-то, можетъ-быть, поздно придется: станемъ поджидать дорогого гостя.

— Такъ развѣ, закусить. А то я ужъ, признаться, завтракать-то завтракалъ.

— Гдѣ это вы успѣли?

— А на перепутьи у Марьи Карповны остановился. Вѣдь мимо ихъ приходилось: больше для лошади, нежели для себя: ей далъ вздохнуть. Шутка ли по нынѣшней жарѣ двѣнадцать верстъ махнуть! Тамъ кстати и закусилъ. Хорошо, что не послушался: не остался, какъ ни удерживали, а то бы гроза захватила тамъ на цѣлый день.

— Что, каково поживаетъ Марья Карповна?

— Слава Богу! кланяется вамъ.

— Покорно благодарю; а дочка-то, Софья Михайловна, съ муженькомъ-то, что?

— Ничего, матушка; ужъ шестой ребеночекъ въ походѣ. Недѣли черезъ двѣ ожидаютъ. Просили меня побывать около того времени. А у самихъ въ домѣ бѣдность такая, что и не глядѣлъ бы. Кажись, до дѣтей ли бы? такъ нѣтъ: туда же!

— Что̀ вы!

— Ей-Богу! въ покояхъ косяки всѣ покривились; полъ такъ и ходитъ подъ ногами; черезъ крышу течетъ. И поправить-то не на что, а на столъ подадутъ супу, ватрушекъ да баранины—вотъ вамъ и все! А вѣдь какъ усердно зовутъ!

— Туда же, за моего Сашеньку норовила, ворона этакая!

— Куда ей, матушка, за этакого сокола! Жду не дождусь, какъ бы взглянуть: чай, красавецъ какой! Я что-то

смекаю, Анна Павловна: не высваталъ ли онъ тамъ себѣ какую-нибудь княжну или графиню, да не ѣдетъ ли просить вашего благословенія, да звать на свадьбу?

— Что вы, Антонъ Иванычъ!—сказала Анна Павловна, млѣя отъ радости.

— Право!

— Ахъ! вы голубчикъ мой, дай Богъ вамъ здоровья!.. Да! вотъ-было изъ ума вонъ: хотѣла вамъ разсказать, да и забыла: думаю, думаю, что такое, такъ на языкѣ и вертится; вотъ вѣдь, чего добраго, такъ бы и прошло. Да не позавтракать ли вамъ прежде, или теперь разсказать?

— Все равно, матушка, хоть во время завтрака: я не пророню ни кусочка... ни словечка, бишь.

— Ну, вотъ, — начала Анна Павловна, когда принесли завтракъ и Антонъ Иванычъ усѣлся за столъ:—и вижу я...

— А что жъ вы сами-то развѣ не станете кушать? — спросилъ Антонъ Иванычъ.

— И! до ѣды ли мнѣ теперь? Мнѣ и кусокъ въ горло не пойдетъ; давеча и чашки чаю не допила.—Вотъ я вижу во снѣ, что я будто сижу этакъ-то, а такъ, напротивъ меня, Аграфена стоитъ съ подносомъ. Я и говорю будто ей:— «что же, молъ, говорю, у тебя, Аграфена, подносъ-то пустой?»—а она молчитъ, а сама смотритъ все на дверь. «Ахъ, матушки мои!» думаю во снѣ-то сама про себя: «что же это она уставила туда глаза?» Вотъ и я стала смотрѣть... смотрю: вдругъ Сашенька и входитъ, такой печальный, подошелъ ко мнѣ и говоритъ, да такъ словно на-яву говоритъ: «прощайте, говоритъ, маменька, я ѣду далеко, вонъ туда», — и указалъ на озеро, — «и больше, говоритъ, не пріѣду». — «Куда же это, мой дружочекъ?» спрашиваю я, а сердце такъ и ноетъ у меня. Онъ будто молчитъ, а самъ смотритъ на меня такъ странно да жалостно. «Да откуда ты взялся, голубчикъ?» будто спрашиваю я опять. А онъ, сердечный, вздохнулъ и опять указалъ на озеро. «Изъ

омута, — молвилъ чуть слышно: — отъ водяныхъ». Я такъ вся и затряслась, и проснулась. Подушка у меня вся въ слезахъ; и на-яву-то не могу опомниться; сижу на постели, а сама плачу, такъ и заливаюсь, плачу. Какъ встала, сейчасъ затеплила лампадку передъ Казанской Божіей Матерью: авось Она, милосердная заступница наша, сохранитъ его отъ всякихъ бѣдъ и напастей. Такое сомнѣніе навело, ей-Богу! не могу понять, что̀ бы это значило? Не случилось бы съ нимъ чего-нибудь? Гроза же этакая...

— Это хорошо, матушка, плакать во снѣ: къ добру! — сказалъ Антонъ Иванычъ, разбивая яйцо о тарелку:—завтра непремѣнно будетъ.

— А я-было думала, не пойти ли намъ послѣ завтрака до рощи, навстрѣчу ему; какъ-нибудь бы дотащились; да вонъ вѣдь грязь какая вдругъ сдѣлалась.

— Нѣтъ, сегодня не будетъ: у меня есть примѣта!

Въ эту минуту по вѣтру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдругъ смолкли. Анна Павловна притаила дыханіе.

— Ахъ! — сказала она, облегчая грудь вздохомъ: — а я было думала...

Вдругъ опять.

— Господи, Боже мой! никакъ колокольчикъ? — сказала она и бросилась къ балкону.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Антонъ Иванычъ:—это жеребенокъ тутъ близко пасется съ колокольчикомъ на шеѣ: я видѣлъ дорогой. Еще я пугнулъ его, а то въ рожь бы забрелъ. Что вы не велите стреножить?

Вдругъ колокольчикъ зазвенѣлъ какъ будто подъ самымъ балкономъ и заливался все громче и громче.

— Ахъ, батюшки! такъ и есть: сюда, сюда ѣдетъ! Это онъ, онъ! — кричала Анна Павловна. — Ахъ, ахъ! Бѣгите, Антонъ Иванычъ! Гдѣ люди? Гдѣ Аграфена? Никого нѣтъ!.. точно въ чужой домъ ѣдетъ, Боже мой!

Она совсѣмъ растерялась. А колокольчикъ звенѣлъ ужъ какъ будто въ комнатѣ.

Антонъ Иванычъ выскочилъ изъ-за стола.

— Онъ! онъ!—кричалъ Антонъ Иванычъ:—вонъ и Евсей на козлахъ! Гдѣ же у васъ образъ, хлѣбъ-соль? Дайте скорѣе! Что же я вынесу къ нему на крыльцо? Какъ можно безъ хлѣба и соли? примѣта есть... Что это у васъ за безпорядокъ! никто не подумалъ! Да что жъ вы сами-то, Анна Павловна, стоите, нейдете навстрѣчу! Бѣгите скорѣе!..

— Не могу! — проговорила она съ трудомъ: — ноги отнялись.

И съ этими словами опустилась въ кресла. Антонъ Иванычъ схватилъ со стола ломоть хлѣба, положилъ на тарелку, поставилъ солонку и бросился-было въ дверь.

— Ничего не приготовлено!—ворчалъ онъ.

Но въ тѣ же двери, навстрѣчу ему, ворвались три лакея и двѣ дѣвки.

— Ѣдетъ! ѣдетъ! пріѣхалъ! — кричали они, блѣдные, испуганные, какъ будто пріѣхали разбойники.

Вслѣдъ за ними явился и Александръ.

— Сашенька! другъ ты мой!.. — воскликнула Анна Павловна, и вдругъ остановилась и глядѣла въ недоумѣніи на Александра.

— Гдѣ же Сашенька?—спросила она.

— Да это я, маменька!—отвѣчалъ онъ, цѣлуя у ней руку.

— Ты?

Она поглядѣла на него пристально.

— Ты, точно ты, мой другъ?—сказала она и крѣпко обняла его.

Потомъ вдругъ опять посмотрѣла на него.

— Да что съ тобой? Ты нездоровъ? — спросила она съ безпокойствомъ, не выпуская его изъ объятій.

— Здоровъ, маменька.

— Здоровъ! Что жъ съ тобой сталось, голубчикъ ты мой? Такимъ ли я отпустила тебя?

Она прижала его къ сердцу и горько заплакала. Она цѣловала его въ голову, въ щеки, въ глаза.

— Гдѣ же твои волоски? какъ шёлкъ были!—приговаривала она сквозь слезы:—глаза свѣтились, словно двѣ звѣздочки; щеки — кровь съ молокомъ; весь ты былъ, какъ наливное яблочко! Знать, извели лихіе люди, позавидовали твоей красотѣ да моему счастью! А дядя-то чего смотрѣлъ? А еще отдала съ рукъ на руки, какъ путному человѣку! Не умѣлъ сберечь сокровища! Голубчикъ ты мой!..

Старушка плакала и осыпала ласками Александра.

«Видно слезы-то во снѣ не къ добру!» подумалъ Антонъ Иванычъ.

— Что это вы, матушка, надъ нимъ, словно надъ мертвымъ, вопите?— шепнулъ онъ:—не хорошо, примѣта есть.

— Здравствуйте, Александръ Ѳедорычъ!—сказалъ онъ:— привелъ Богъ еще и на этомъ свѣтѣ увидѣться.

Александръ молча подалъ ему руку. Антонъ Иванычъ пошелъ посмотрѣть, все ли вытащили изъ кибитки, потомъ сталъ сзывать дворню здороваться съ бариномъ. Но всѣ уже толпились въ передней и въ сѣняхъ. Онъ всѣхъ разставилъ въ порядкѣ и училъ, кому какъ здороваться: кому поцѣловать у барина руку, кому плечо, кому только полу платья, и что говорить при этомъ. Одного парня совсѣмъ прогналъ, сказавъ ему: — ты поди прежде рожу вымой, да носъ утри.

Евсей, подпоясанный ремнемъ, весь въ пыли, здоровался съ дворней: она кругомъ обступила его. Онъ дарилъ петербургскіе гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, онъ остановился, какъ окаменѣлый, и смотрѣлъ на нее молча, съ глупымъ восторгомъ. Она поглядѣла на него сбоку, исподлобья, но тотчасъ же невольно измѣнила себѣ: засмѣялась отъ раде-

сти, потомъ заплакала-было, но вдругъ отвернулась въ сторону и нахмурилась.

— Что молчишь? — сказала она: — экой болванъ: и не здоровается!

Но онъ не могъ ничего говорить. Онъ съ той же глупой улыбкой подошелъ къ ней. Она едва дала ему обнять себя.

— Принесла нелёгкая,—говорила она сердито, глядя на него по временамъ украдкой; но въ глазахъ и въ улыбкѣ ея выражалась величайшая радость. — Чай, петербургскія-то... свертѣли тамъ васъ съ бариномъ? Вишь, усищи какіе отрастилъ!

Онъ вынулъ изъ кармана маленькую бумажную коробочку и подалъ ей. Тамъ были бронзовыя серьги. Потомъ онъ досталъ изъ мѣшка пакетъ, въ которомъ завернутъ былъ большой платокъ.

Она схватила и проворно сунула, не поглядѣвъ, и то, и другое въ шкапъ.

— Покажите гостинцы, Аграфена Ивановна, — сказали нѣкоторые изъ дворни.

— Ну, что̀ тутъ смотрѣть? Чего не видали? Подите отсюда! Что вы тутъ набились?—кричала она на нихъ.

— А вотъ еще! — выговорилъ Евсей, подавая ей другой пакетъ.

— Покажите, покажите!—пристали нѣкоторые.

Аграфена рванула бумажку и оттуда посыпалось нѣсколько колодъ игранныхъ, но еще почти новыхъ картъ.

— Вонъ нашелъ что̀ привезти! — сказала Аграфена: — ты думаешь, мнѣ только и дѣла, что играть? какъ же! Выдумалъ что: стану я съ тобой играть!

Она спрятала и карты. Черезъ часъ Евсей опять сидѣлъ уже на старомъ мѣстѣ, между столомъ и печкой.

— Господи, какой покой! — говорилъ онъ, то поджимая, то протягивая ноги:—то ли дѣло здѣсь! А у насъ, въ Петербургѣ, просто каторжное житье! Нѣтъ ли чего перекусить,

сить, Аграфена Ивановна? Съ послѣдней станціи ничего не ѣли.

— Ты еще не отсталъ отъ своей привычки? На! Видишь, какъ принялся; видно васъ тамъ не кормили совсѣмъ.

Александръ прошелъ по всѣмъ комнатамъ, потомъ по саду, останавливаясь у каждаго куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь въ его блѣдное лицо, вздыхала, но плакать боялась; ее напугалъ Антонъ Иванычъ. Она разспрашивала сына о житьѣ-бытьѣ, но никакъ не могла добиться причины, отчего онъ сталъ худъ, блѣденъ и куда дѣвались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но онъ, отказавшись отъ всего, сказалъ, что усталъ съ дороги и хочетъ уснуть.

Анна Павловна посмотрѣла, хорошо ли постлана постель, побранила дѣвку, что жестко, заставила перестлать при себѣ и до тѣхъ поръ не ушла, пока Александръ улегся. Она вышла на цыпочкахъ, погрозила людямъ, чтобъ не смѣли говорить и дышать вслухъ, и ходили бы безъ сапогъ. Потомъ велѣла послать къ себѣ Евсея. Съ нимъ пришла и Аграфена. Евсей поклонился барынѣ въ ноги и поцѣловалъ у ней руку.

— Что это съ Сашенькою сдѣлалось?—спросила она грозно: —На кого онъ сталъ похожъ, а?

Евсей молчалъ.

— Что жъ ты молчишь?—сказала Аграфена:—слышишь, барыня тебя спрашиваетъ?

— Отчего онъ такъ похудѣлъ?—сказала Анна Павловна:—куда волоски-то у него дѣвались?

— Не могу знать, сударыня!—сказалъ Евсей:—барское дѣло!

— Не можешь знать! А что жъ ты смотрѣлъ?

Евсей не зналъ что сказать и все молчалъ.

— Нашли кому повѣрить, сударыня!—промолвила Аграфена, глядя съ любовью на Евсея:—добро бы человѣку!

Что ты тамъ дѣлалъ? Говори-ка барынѣ! Вотъ ужо будетъ тебѣ!

— Я ли, сударыня, не усердствовалъ!—боязливо сказалъ Евсей, глядя то на барыню, то на Аграфену: — служилъ вѣрой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить...

— У какого Архипыча?

— У тамошняго дворника.

— Вишь вѣдь что городитъ!—замѣтила Аграфена.—Что вы его, сударыня, слушаете! Запереть бы его въ хлѣвъ— вотъ и сталъ бы знать!

— Готовъ, не токмо что своимъ господамъ исполнять ихъ барскую волю,—продолжалъ Евсей:—хоть умереть сейчасъ! Я образъ сниму со стѣны...

— Всѣ вы хороши на словахъ!—сказала Анна Павловна:—а какъ дѣло дѣлать, такъ васъ тутъ нѣтъ! Видно хорошо смотрѣлъ за бариномъ: допустилъ до того, что онъ, голубчикъ мой, здоровье потерялъ! Смотрѣлъ ты! Вотъ ты увидишь у меня...

Она погрозила ему.

— Я ли не смотрѣлъ, сударыня? Въ восемь-то лѣтъ изъ барскаго бѣлья только одна рубашка пропала, а то у меня и изношенныя-то цѣлы.

— А куда она пропала? — гнѣвно спросила Анна Павловна.

— У прачки пропала. Я тогда докладывалъ Александру Ѳедорычу, чтобъ вычесть у ней, да они ничего не сказали.

— Видишь, мерзавка, — замѣтила Анна Павловна: — польстилась на хорошее-то бѣлье!

— Какъ не смотрѣть! — продолжалъ Евсей. — Дай Богъ всякому такъ свою должность справить. Они, бывало, еще почивать изволятъ, а я и въ булочную сбѣгаю...

— Какія онъ булки кушалъ?

— Бѣлыя-съ, хорошія.

— Знаю, что бѣлыя; да сдобныя?

— Этакой вѣдь столбъ!—сказала Аграфена:—и слова-то путемъ не умѣетъ молвить, а еще петербургскій!

— Никакъ нѣтъ-съ!—отвѣчалъ Евсей:—постныя.

— Постныя! Ахъ ты, злодѣй этакой! душегубецъ! разбойникъ! — сказала Анна Павловна, покраснѣвъ отъ гнѣва. — Ты это не догадался сдобныхъ-то булокъ покупать ему? а смотрѣлъ!

— Да они, сударыня, не приказывали...

— Не приказывали! Ему, голубчику моему, все равно, что̀ ни подложи—все скушаетъ. А тебѣ и этого въ голову не пришло? Ты развѣ забылъ, что онъ здѣсь кушалъ все сдобныя булки? Покупать постныя булки! Вѣрно, ты деньги-то въ другое мѣсто относилъ? Вотъ я тебя! Ну, что еще? говори...

— Послѣ, какъ откушаютъ чай, — продолжалъ Евсей, оробѣвъ: — въ должность пойдутъ, а я за сапоги: цѣлое утро чищу, все перечищу, иные раза по три; вечеромъ снимутъ— опять вычищу. Какъ, сударыня, не смотрѣлъ: да я ни у одного изъ господъ такихъ сапогъ не видывалъ. У Петра Иваныча хуже вычищены, даромъ что трое лакеевъ.

— Отчего же онъ такой? — сказала, нѣсколько смягчившись, Анна Павловна.

— Должно-быть, отъ писанья, сударыня.

— Много писалъ?

— Много-съ; каждый день.

— Что жъ онъ писалъ? бумаги, что ли, какія?

— Должно-быть, бумаги-съ.

— А ты что̀ не унималъ?

— Я унималъ, сударыня: «не сидите, молъ, говорю, Александръ Ѳедорычъ, извольте идти гулять: погода хорошая, много господъ гуляетъ. Что за писанье? грудку надсадите; маменька, молъ, гнѣваться станутъ...»

— А онъ что?

— «Пошелъ, говорятъ, вонъ: ты дуракъ!»

— И подлинно, дуракъ!—промолвила Аграфена.

Евсей взглянулъ при этомъ на нее, потомъ опять продолжалъ глядѣть на барыню.

— Ну, а дядя-то развѣ не унималъ? — спросила Анна Павловна.

— Куда, сударыня! придутъ, да коли застанутъ безъ дѣла, такъ и накинутся. «Что, говорятъ, ничего не дѣлаешь? Здѣсь, говорятъ, не деревня, надо работать, говорятъ, а не на боку лежать! Все, говорятъ, мечтаешь!» А то еще и выбранятъ...

— Какъ выбранятъ?

— «Провинція...» говорятъ... и пойдутъ, и пойдутъ... такъ бранятся, что иной разъ не слушалъ бы.

— Чтобъ ему пусто было!—сказала, плюнувъ, Анна Павловна. — Своихъ бы пострѣлять народилъ, да и ругалъ бы! Чѣмъ бы унять, а онъ... Господи, Боже мой, Царь милосердый!—воскликнула она:—на кого нынче надѣяться, коли и родные свои хуже дикаго звѣря? Собака, и та бережетъ своихъ щенятъ, а тутъ дядя извелъ родного племянника! А ты, дурачина этакой, не могъ дядюшкѣ-то сказать, чтобъ онъ не изволилъ такъ лаяться на барина, а отваливалъ бы прочь. Кричалъ бы на жену свою, мерзавку этакую! Вишь нашелъ кого ругать: «работай, работай!» Самъ бы околѣвалъ надъ работой! Собака, право собака, прости Господи! Холопа нашелъ работать!

За этимъ послѣдовало молчаніе.

— Давно ли Сашенька сталъ такъ худъ?—спросила она потомъ.

— Вотъ ужъ года три, — отвѣчалъ Евсей: — Александръ Ѳедорычъ стали больно скучать, и пищи мало принимали, вдругъ стали худѣть, худѣть, таяли словно свѣчка.

— Отчего же скучалъ-то?

— Богъ ихъ вѣдаетъ, сударыня. Петръ Иванычъ изво-

лили говорить имъ что-то объ этомъ; я-было послушалъ, да мудрено: не разобралъ.

— А что онъ говорилъ?

Евсей подумалъ съ минуту, стараясь, повидимому, что-то припомнить, и шевелилъ губами.

— Называли какъ-то они ихъ, да забылъ...

Анна Павловна и Аграфена смотрѣли на него и дожидались съ нетерпѣніемъ отвѣта.

— Ну?...—сказала Анна Павловна.

Евсей молчалъ.

— Ну же, разиня, молви что-нибудь, — прибавила Аграфена:—барыня дожидается.

— Ра... кажись, разочаро...ванный...— выговорилъ, наконецъ, Евсей.

Анна Павловна посмотрѣла съ недоумѣніемъ на Аграфену, Аграфена на Евсея, Евсей на нихъ обѣихъ, и всѣ молчали.

— Какъ?—спросила Анна Павловна.

— Разо... разочарованный, точно такъ-съ, вспомнилъ!— рѣшительнымъ голосомъ отвѣчалъ Евсей.

— Что это еще за напасть такая? Господи! болѣзнь, что ли?—спросила Анна Павловна съ тоской.

— Ахъ, да не испорченъ ли, значитъ, сударыня?—торопливо промолвила Аграфена.

Анна Павловна поблѣднѣла и плюнула.

— Чтобъ тебѣ типунъ на языкъ!—сказала она.—Ходилъ ли онъ въ церковь?

Евсей нѣсколько замялся.

— Нельзя сказать, сударыня, чтобъ больно ходили...— нерѣшительно отвѣчалъ онъ: — почти можно сказать, что и не ходили... тамъ господа, почесть, мало ходятъ въ церковь...

— Вотъ оно отчего! —сказала Анна Павловна со вздохомъ и перекрестилась. Видно Богу не угодны были однѣ

мои молитвы. Сонъ-то и не лживъ: точно изъ омута вырвался, голубчикъ мой!

Тутъ пришелъ Антонъ Иванычъ.

— Обѣдъ простынетъ, Анна Павловна,—сказалъ онъ:— не пора ли будить Александра Ѳедорыча?

— Нѣтъ, нѣтъ, Боже сохрани! — отвѣчала она:—онъ не велѣлъ себя будить. «Кушайте, говоритъ, одни: у меня аппетиту нѣтъ; я лучше усну, говоритъ: сонъ подкрѣпитъ меня; разнѣ вечеромъ захочу». Такъ вы вотъ что̀ сдѣлайте, Антонъ Иванычъ: ужъ не прогнѣвайтесь на меня, старуху: я пойду затеплю лампадку, да помолюсь, пока Сашенька почиваетъ; мнѣ не до ѣды; а вы откушайте одни.

— Хорошо, матушка, хорошо, исполню: положитесь на меня.

— Да ужъ окажите благодѣяніе, — продолжала она:—вы нашъ другъ, такъ любите насъ, позовите Евсея и разспросите путемъ, отчего это Сашенька сталъ задумчивый и худой, и куда дѣлись его волоски? Вы мужчина: вамъ оно ловчѣе... не огорчили ли его тамъ? вѣдь есть этакіе злодѣи на свѣтѣ... все узнайте.

— Хорошо, матушка, хорошо: я допытаюсь, всю подноготную вывѣдаю. Пошлите-ка ко мнѣ Евсея, пока я буду обѣдать—все исполню.

— Здорово, Евсей!—сказалъ онъ, садясь за столъ и затыкая салфетку за галстукъ:—какъ поживаешь?

— Здравствуйте, сударь. Что наше за житье? плохое-съ. Вотъ вы такъ подобрѣли здѣсь.

Антонъ Иванычъ плюнулъ.

— Не сглазь, братъ: долго ли до грѣха?—прибавилъ онъ и началъ ѣсть щи.

— Ну, что вы тамъ, какъ?—спросилъ онъ.

— Да такъ-съ: не больно хорошо.

— Чай, провизія-то хорошая? Ты что ѣлъ?

— Что-съ? возьмешь въ лавочкѣ студени да холоднаго пирога— вотъ и обѣдъ!

— Какъ въ лавочкѣ? а своя-то печь?

— Дома не готовили. Тамъ холостые господа стола не держатъ.

— Что ты! —сказалъ Антонъ Иванычъ, положивъ ложку.

— Право-съ: и барину-то изъ трактира носили.

— Экое цыганское житье! а! не похудѣть! На-ка, выпей!

— Покорнѣйше васъ благодарю, сударь! за ваше здоровье!

Затѣмъ послѣдовало молчаніе. Антонъ Иванычъ ѣлъ.

— Почемъ тамъ огурцы? —спросилъ онъ, положивъ себѣ на тарелку огурецъ.

— Сорокъ копеекъ десятокъ.

— Полно?

— Ей-Богу-съ; да чего, сударь, срамъ сказать: иной разъ изъ Москвы соленые-то огурцы возятъ.

— Ахъ, ты Господи! ну! не похудѣть!

— Гдѣ тамъ этакаго огурца увидишь! —продолжалъ Евсей, указывая на одинъ огурецъ: —и во снѣ не увидишь! мелочь, дрянь: здѣсь и глядѣть бы не стали, а тамъ господа кушаютъ! Въ рѣдкомъ домѣ, сударь, хлѣбъ пекутъ. А этого тамъ, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить—ничего въ заводѣ нѣтъ.

Антонъ Иванычъ покачалъ головой, но ничего не сказалъ, потому что ротъ у него былъ биткомъ набитъ.

— Какъ же? —спросилъ онъ, прожевавъ.

— Все въ лавочкѣ есть; а чего нѣтъ въ лавочкѣ, такъ тутъ же гдѣ-нибудь въ колбасной есть; а тамъ нѣтъ, такъ въ кондитерской: а ужъ чего въ кондитерской нѣтъ, такъ иди въ англицкій магазинъ: у французовъ все есть!

Молчаніе.

— Ну, а почемъ поросята? —спросилъ Антонъ Иванычъ, взявши на тарелку почти полупоросенка.

— Не знаю-съ; не покупывали: что-то дорого, рубля два, кажись...

— Ай-ай-ай! не похудѣть! этакая дороговизна!

— Ихъ хорошіе-то господа мало и кушаютъ: все больше чиновники.

Опять молчаніе.

— Ну, такъ какъ же вы тамъ: плохо?—спросилъ Антонъ Иванычъ.

— И не дай Богъ, какъ плохо! Вотъ здѣсь квасъ-то какой, тамъ и пиво-то жиже; а отъ квасу такъ цѣлый день въ животѣ словно что кипитъ! Только хороша одна вакса: ужъ вакса, такъ и не наглядишься! и запахъ какой: такъ бы и съѣлъ.

— Что ты!

— Ей-Богу-съ.

Молчаніе.

— Ну, такъ какъ же?—спросилъ Антонъ Иванычъ, прожевавъ.

— Да такъ-съ.

— Плохо ѣли?

— Плохо. Александръ Ѳедорычъ кушали такъ, самую малость: совсѣмъ отвыкли отъ ѣды; за обѣдомъ и фунта хлѣба не скушаютъ.

— Не похудѣть!—сказалъ Антонъ Иванычъ.—Все отъ того, что дорого, что ли?

— И дорого-съ, да и обычая нѣтъ наѣдаться каждый день до-сыта. Господа кушаютъ словно украдкой, по одному разу въ день, и то коли успѣютъ, часу въ пятомъ, иной разъ въ шестомъ; а то такъ чего-нибудь перехватятъ, да тѣмъ и кончатъ. Это у нихъ послѣднее дѣло: сначала всѣ дѣла передѣлаютъ, а потомъ и кушать.

— Вотъ житье-то!—говорилъ Антонъ Иванычъ.—Не похудѣть! диво, какъ вы тамъ не умерли! И весь вѣкъ такъ?

— Нѣтъ-съ: по праздникамъ господа, какъ соберутся

иногда, такъ, не дай Богъ какъ ѣдятъ! Поѣдутъ въ какой-нибудь нѣмецкій трактиръ, да рублей сто, слышь, и проѣдятъ. А пьютъ что — Боже упаси! хуже нашего брата! Вотъ, бывало, у Петра Иваныча соберутся гости: сядутъ за столъ часу въ шестомъ, а встанутъ утромъ въ четвертомъ часу.

Антонъ Иванычъ вытаращилъ глаза.

— Что ты! — сказалъ онъ: — и все ѣдятъ?

— Все ѣдятъ!

— Хоть бы посмотрѣть: не по-нашему! Что же они ѣдятъ?

— Да что, сударь, не на что смотрѣть! Не узнаешь, что и ѣшь: нѣмцы накладутъ въ кушанье, Богъ знаетъ, чего: и въ ротъ-то взять не хочется. И перецъ-то у нихъ не такой; подливаютъ въ соусъ чего-то изъ заморскихъ склянокъ... Разъ угостилъ меня поваръ Петра Иваныча барскимъ кушаньемъ, такъ три дня тошнило. Смотрю, оливка въ кушаньѣ: думалъ, какъ и здѣсь оливка; раскусилъ — глядь: а тамъ рыбка маленькая; противно стало, выплюнулъ; взялъ другую — и тамъ тоже; да во всѣхъ... ахъ, вы, чтобъ васъ, проклятые!..

— Какъ же это они, нарочно кладутъ туда?

— Богъ ихъ вѣдаетъ! Я спрашивалъ: ребята смѣются, говорятъ: такъ, слышь, родятся. И что за кушанья? Сначала горячее подадутъ, какъ слѣдуетъ, съ пирогами, да только ужъ пироги: съ наперстокъ; возьмешь въ ротъ вдругъ штукъ шесть, хочешь пожевать, смотришь — ужъ тамъ ихъ и нѣтъ, и растаяли... Послѣ горячаго вдругъ чего-то сладкаго дадутъ, тамъ говядины, а тамъ мороженаго, а тамъ травы какой-то, а тамъ жаркое... и не ѣлъ бы!

— Такъ печь-то у васъ и не топилась? Ну, какъ не похудѣть! — промолвилъ Антонъ Иванычъ, вставая изъ-за стола.

«Благодарю тебя, Боже мой, — началъ онъ вслухъ, съ глубокимъ вздохомъ: — яко насытилъ мя еси небесныхъ благъ...

что я! замололся языкъ-то: земныхъ благъ, — и не лиши меня небеснаго твоего царствія».

— Убирайте со стола: господа не будутъ кушать. Къ вечеру приготовьте другого поросенка... или нѣтъ ли индѣйки? Александръ Ѳедорычъ любитъ индѣйку; онъ, чай, проголодается. А теперь принесите-ка мнѣ посвѣжѣе сѣнца въ свѣтелку: я вздохну часокъ-другой; тамъ къ чаю разбудите. Коли чуть тамъ Александръ Ѳедоровичъ зашевелится, такъ того... растолкайте меня.

Возставъ отъ сна, онъ пришелъ къ Аннѣ Павловнѣ.

— Ну, что, Антонъ Иванычъ?—спросила она.

— Ничего, матушка, покорно благодарю за хлѣбъ за соль... и уснулъ такъ сладко; сѣно такое свѣжее, душистое...

— На здоровье, Антонъ Иванычъ. Ну, а что говоритъ Евсей? Вы спрашивали?

— Какъ не спрашивать! Все вывѣдалъ: пустое! все поправится. Дѣло-то все выходитъ отъ того, что пища тамъ была, слышь, плоха?

— Пища?

— Да; судите сами: огурцы сорокъ копеекъ десятокъ, поросенокъ два рубля, а кушанье все кондитерское — и не наѣшься до-сыта. Какъ не похудѣть! Не безпокойтесь, матушка, мы его поставимъ здѣсь на ноги, вылѣчимъ. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой; я дамъ рецептъ; мнѣ отъ Прокофья Астафьича достался; да утромъ и вечеромъ и давайте по рюмкѣ или по двѣ, и передъ обѣдомъ хорошо; можно со святой водой... у васъ есть?

— Есть, есть: вы же привезли.

— Да, вѣдь въ самомъ дѣлѣ я. Кушанья выбирайте получше. Я ужъ къ ужину велѣлъ поросенка или индѣйку зажарить.

— Благодарствуйте, Антонъ Иванычъ.

— Не на чемъ, матушка! Не велѣть ли еще цыплятъ съ бѣлымъ соусомъ?

— Я велю...

— Зачѣмъ вамъ самимъ? а я-то на что? похлопочу... дайте мнѣ.

— Похлопочите, помогите, отецъ родной.

Онъ ушелъ, а она задумалась.

Женскій инстинктъ и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно вывѣдывать намеками, стороной, но Александръ не понималъ этихъ намековъ и молчалъ. Такъ прошли недѣли двѣ-три. Поросятъ, цыплятъ и индѣекъ пошло на Антона Иваныча множество, а Александръ все былъ задумчивъ, худъ, и волосы не росли.

Тогда Анна Павловна рѣшилась поговорить съ нимъ напрямки.

— Послушай, другъ мой, Сашенька,—сказала она однажды: — вотъ ужъ съ мѣсяцъ, какъ ты живешь здѣсь, а я еще не видала, чтобъ ты улыбнулся хоть разъ: ходишь, словно туча, смотришь въ землю. Или тебѣ ничто не мило на родной сторонѣ? Видно на чужой милѣе; тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что съ тобой сталось? Разскажи ты мнѣ: чего тебѣ недостаетъ? я ничего не пожалѣю. Обидѣлъ ли кто тебя: я доберусь и до того.

— Не безпокойтесь, маменька, — сказалъ Александръ: — это такъ, ничего! я вошелъ въ лѣта, сталъ разсудительнѣе, оттого и задумчивъ...

— А худъ-то отчего? а волосы-то гдѣ?

— Я не могу разсказать... отчего, всего не перескажешь. что было въ восемь лѣтъ... можетъ-быть, и здоровье немного разстроилось...

— Что жъ у тебя болитъ?

— Болитъ и тутъ, и здѣсь. — Онъ указалъ на голову и сердце.

Анна Павловна дотронулась рукой до его лба.

— Жару нѣтъ, — сказала она. — Что жъ бы это такое было? стрѣляетъ, что ли, въ голову?

— Нѣтъ... такъ...

— Сашенька! пошлемъ за Иваномъ Андреичемъ.

— Кто это Иванъ Андреичъ?

— Новый лѣкарь; года два какъ пріѣхалъ. Дока такой, что чудо! Лѣкарствъ почти никакихъ не прописываетъ; самъ дѣлаетъ какія-то крохотныя зернышки — и помогаютъ. Вонъ у насъ Ѳома животомъ страдалъ; трое сутки рёвма-ревѣлъ: онъ далъ ему три зернышка, какъ рукой сняло! Полѣчись, голубчикъ!

— Нѣтъ, маменька, онъ не поможетъ мнѣ: это такъ пройдетъ.

— Да отчего же ты скучаешь? Что это за напасть такая?

— Такъ...

— Чего тебѣ хочется?

— И самъ не знаю; такъ скучаю.

— Экое диво, Господи! — сказала Анна Павловна. — Пища, ты говоришь, тебѣ нравится, удобства всѣ есть, и чинъ хорошій... чего бы, кажется? а скучаешь! Сашенька, — сказала она, помолчавъ, тихо: — не пора ли тебѣ... жениться?

— Что вы! нѣтъ, я не женюсь.

— А у меня есть на примѣтѣ дѣвушка — точно куколка: розовенькая, нѣжненькая; такъ, кажется, изъ косточки въ косточку мозжечекъ и переливается. Талія такая тоненькая, стройная; училась въ городѣ, въ пансіонѣ. За ней семьдесятъ пять душъ да двадцать пять тысячъ деньгами, и приданое славное: въ Москвѣ дѣлали; и родня хорошая... А? Сашенька? Я ужъ съ матерью разъ за кофеемъ разговорилась, да шутя и забросила словечко: у ней кажется и ушки на макушкѣ отъ радости...

— Я не женюсь, — повторилъ Александръ.

— Какъ, никогда?

— Никогда.

— Господи помилуй! что жъ изъ этого будетъ? Всѣ люди, какъ люди, только ты одинъ, Богъ знаетъ, на кого похожъ! А мнѣ-то бы радость какая! привелъ бы Богъ понянькить внучатъ. Право, женись на ней; ты ее полюбишь...

— Я не полюблю, маменька: я ужъ отлюбилъ.

— Какъ отлюбилъ, не женясь? Кого жъ ты любилъ тамъ?

— Дѣвушку.

— Что жъ не женился?

— Она измѣнила мнѣ.

— Какъ измѣнила? Вѣдь ты еще не былъ женатъ на ней?

Александръ молчалъ.

— Хороши же тамъ у васъ дѣвушки: до свадьбы любятъ! Измѣнила! мерзавка этакая! Счастье-то само просилось къ ней въ руки, да не умѣла цѣнить, негодница! Увидала бы я ее, я бы ей въ рожу наплевала. Чего дядя-то смотрѣлъ? Кого это она нашла лучше, посмотрѣла бы я?.. Что жъ, развѣ одна она? полюбишь въ другой разъ.

— Я и въ другой разъ любилъ.

— Кого же?

— Вдову.

— Ну, что жъ не женился?

— Той я самъ измѣнилъ.

Анна Павловна глядѣла на Александра и не знала что̀ сказать.

— Измѣнилъ!.. — повторила она. — Видно безпутная какая-нибудь! — прибавила потомъ.— Подлинно омутъ, прости Господи: любятъ до свадьбы, безъ обряда церковнаго; измѣняютъ... Что̀ это дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, какъ поглядишь! Знать скоро свѣта преставленіе!.. Ну, скажи, не хочется ли тебѣ чего-нибудь? Можетъ-быть, пища тебѣ не по вкусу? Я изъ города повара выпишу...

— Нѣтъ, благодарю: все хорошо.

— Можетъ-быть, тебѣ скучно одному: я за сосѣдями пошлю.

— Нѣтъ, нѣтъ. Не тревожьтесь, маменька! мнѣ здѣсь покойно, хорошо, все пройдетъ... я еще не осмотрѣлся.

Вотъ и все, чего могла добиться Анна Павловна.

«Нѣтъ», думала она: «безъ Бога видно ни на шагъ». Она предложила Александру поѣхать съ ней къ обѣднѣ въ ближайшее село, но онъ проспалъ два раза, а будить она его не рѣшалась. Наконецъ она позвала его вечеромъ ко всенощной. — «Пожалуй»,— сказалъ Александръ, и они поѣхали. Мать вошла въ церковь и стала у самаго клироса, Александръ остался у дверей.

Солнце ужъ садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотымъ окладамъ иконъ, то освѣщали темные и суровые лики святыхъ, и уничтожали своимъ блескомъ слабое и робкое мерцаніе свѣчъ. Церковь была почти пуста; крестьяне были на работѣ въ полѣ; только въ углу у выхода тѣснилось нѣсколько старухъ, повязанныхъ бѣлыми платками. Иныя, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидѣли на каменной ступенькѣ придѣла и по временамъ испускали громкіе и тяжкіе вздохи, Богъ знаетъ, о грѣхахъ ли своихъ, или о домашнихъ дѣлахъ. Другіе, припавъ къ землѣ, долго лежали ницъ, молясь.

Свѣжій вѣтерокъ врывался сквозь чугунную рѣшётку въ окно и то приподнималъ ткань на престолѣ, то игралъ сѣдинами священника, или перевертывалъ листъ книги и тушилъ свѣчу. Шаги священника и дьячка громко раздавались по каменному полу въ пустой церкви; голоса ихъ уныло разносились по сводамъ. Вверху, въ куполѣ, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшіе отъ одного окна къ другому, и шумъ крыльевъ ихъ и звонъ колоколовъ заглушали иногда службу...

«Пока въ человѣкѣ кипятъ жизненныя силы», думалъ Александръ: «пока играютъ желанія и страсти, онъ занятъ чувственно, онъ бѣжитъ того успокоительнаго, важнаго и торжественнаго созерцанія, къ которому ведетъ религія...

онъ приходитъ искать утѣшенія въ ней съ угасшими, растраченными силами, съ сокрушенными надеждами, съ бременемъ лѣтъ...»

Мало-по-малу, при видѣ знакомыхъ предметовъ, въ душѣ Александра пробуждались воспоминанія. Онъ мысленно пробѣжалъ свое дѣтство и юношество до поѣздки въ Петербургъ; вспомнилъ, какъ, будучи ребенкомъ, онъ повторялъ за матерью молитвы, какъ она твердила ему объ ангелѣ-хранителѣ, который стоитъ на стражѣ души человѣческой и вѣчно враждуетъ съ нечистымъ; какъ она, указывая ему на звѣзды, говорила, что это очи Божіихъ ангеловъ, которые смотрятъ на міръ и считаютъ добрыя и злыя дѣла людей; какъ небожители плачутъ, когда въ итогѣ окажется больше злыхъ, нежели добрыхъ дѣлъ, и какъ радуются, когда добрыя дѣла превышаютъ злыя. Показывая на синеву дальняго горизонта, она говорила, что это Сіонъ... Александръ вздохнулъ, очнувшись отъ этихъ воспоминаній.

«Ахъ! если бъ я могъ еще вѣрить въ это!» думалъ онъ. «Младенческія вѣрованія утрачены, а что̀ я узналъ новаго, вѣрнаго?.. ничего: я нашелъ сомнѣнія, толки, теоріи... и отъ истины еще дальше прежняго... Къ чему этотъ расколъ, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота вѣры не грѣетъ сердца, развѣ можно быть счастливымъ? Счастливѣе ли я?»

Всенощная кончилась. Александръ пріѣхалъ домой еще скучнѣе, нежели поѣхалъ. Анна Павловна не знала, что̀ и дѣлать. Однажды онъ проснулся ранѣе обыкновеннаго и услыхалъ шорохъ за своимъ изголовьемъ. Онъ оглянулся: какая-то старуха стоитъ надъ нимъ и шепчетъ. Она тотчасъ исчезла, какъ скоро увидѣла, что ее замѣтили. Подъ подушкой у себя Александръ нашелъ какую-то траву; на шеѣ у него висѣла ладонка.

— Что̀ это значитъ?—спросилъ Александръ у матери:— что̀ за старуха была у меня въ комнатѣ?

Анна Павловна смутилась.

— Это... Никитишна,—сказала она.

— Какая Никитишна?

— Она, вотъ видишь, мой другъ... ты не разсердишься?

— Да что такое? скажите.

— Она... говорятъ, многимъ помогаетъ... Она только пошепчетъ на воду, да подышитъ на спящаго человѣка—все и пройдетъ.

— Въ третьемъ году, ко вдовѣ Сидорихѣ, — примолвила Аграфена: — леталъ по ночамъ огненный змѣй въ трубу...

Тутъ Анна Павловна плюнула.

— Никитишна,—продолжала Аграфена:—заговорила змѣя: пересталъ летать...

— Ну, а Сидориха что?—спросилъ Александръ.

— Родила: ребенокъ былъ такой худой да чёрный! на третій день умеръ.

Александръ засмѣялся, можетъ-быть, въ первый разъ послѣ пріѣзда въ деревню.

— Откуда вы ее взяли?—спросилъ онъ.

— Антонъ Иванычъ привезъ,—отвѣчала Анна Павловна.

— Охота вамъ слушать этого дурака!

— Дурака! Ахъ, Сашенька, что ты это? не грѣхъ ли? Антонъ Иванычъ дуракъ! Какъ это у тебя языкъ-то поворотился? Антонъ Иванычъ—благодѣтель, другъ нашъ!

— Вотъ возьмите, маменька, ладонку и отдайте ее нашему другу и благодѣтелю: пусть онъ повѣситъ ее себѣ на шею.

Съ тѣхъ поръ онъ сталъ запираться на ночь.

Прошло два-три мѣсяца. Мало-по-малу уединеніе, тишина, домашняя жизнь и всѣ сопряженныя съ нею матеріальныя блага помогли Александру войти въ тѣло. А лѣнь, безпаботность и отсутствіе всякаго нравственнаго потрясенія водворили въ душѣ его миръ, котораго Александръ

напрасно искалъ въ Петербургѣ. Тамъ, бѣжавши отъ міра идей, искусствъ, заключенный въ каменныхъ стѣнахъ, онъ хотѣлъ заснуть сномъ крота, но его безпрестанно пробуждали волненія зависти и безсильныя желанія. Всякое явленіе въ мірѣ науки и искусства, всякая новая знаменитость будили въ немъ вопросъ: «почему это не я, зачѣмъ не я?» Тамъ на каждомъ шагу онъ встрѣчалъ въ людяхъ невыгодныя для себя сравненія... тамъ онъ такъ часто падалъ, тамъ увидалъ, какъ въ зеркалѣ, свои слабости... тамъ былъ неумолимый дядя, преслѣдовавшій его образъ мыслей, лѣнь и ни на чемъ не основанное славолюбіе; тамъ изящный міръ и куча дарованій, между которыми онъ не игралъ никакой роли. Наконецъ, тамъ жизнь стараются подвести подъ извѣстныя условія, прояснить ея темныя и загадочныя мѣста, не давая разгула чувствамъ, страстямъ и мечтамъ, и тѣмъ лишая ее поэтической заманчивости, хотятъ издать для нея какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму...

А здѣсь какое приволье! Онъ лучше, умнѣе всѣхъ! Здѣсь онъ всеобщій идолъ на нѣсколько верстъ кругомъ. Притомъ, здѣсь на каждомъ шагу, передъ лицомъ природы, душа его отверзалась мирнымъ, успокоительнымъ впечатлѣніямъ. Говоръ струй, шопотъ листьевъ, прохлада, и подчасъ самое молчаніе природы — все рождало думу, будило чувство. Въ саду, въ полѣ, дома, его посѣщали воспоминанія дѣтства и юности. Анна Павловна, сидя иногда подлѣ него, какъ будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять въ памяти дорогія сердцу мелочи изъ жизни, или разсказывала то, чего онъ вовсе не помнилъ.

— Вотъ эти липы,— говорила она, указывая на садъ: — сажалъ твой отецъ. Я была беременна тобой. Сижу, бывало, здѣсь на балконѣ, да смотрю на него. Онъ поработаетъ, поработаетъ да взглянетъ на меня, а потъ такъ градомъ и

льетъ съ него. «А! ты тутъ? молвитъ:—то-то мнѣ такъ весело работать!» и опять примется. А вонъ лужокъ, гдѣ ты игралъ, бывало, съ ребятишками; такой сердитый былъ: чуть что не по тебѣ—и закричишь благимъ матомъ. Однажды Агашка—вотъ что теперь за Кузьмой; его третья изба отъ околицы—толкнула какъ-то тебя, да носъ до крови и расшиби: отецъ поролъ, поролъ ее, я насилу умолила.

Александръ мысленно дополнялъ эти воспоминанія другими: «Вонъ на этой скамьѣ, подъ деревомъ», думалъ онъ: «я сиживалъ съ Софьей и былъ счастливъ тогда. А вонъ тамъ, между двухъ кустовъ сирени, получилъ отъ нея первый поцѣлуй...» И все это было передъ глазами. Онъ улыбался этимъ воспоминаніямъ и просиживалъ по цѣлымъ часамъ на балконѣ, встрѣчая или провожая солнце, прислушиваясь къ пѣнію птицъ, къ плеску озера и къ жужжанью невидимыхъ насѣкомыхъ.

«Боже мой! какъ здѣсь хорошо! — говорилъ онъ подъ вліяніемъ этихъ кроткихъ впечатлѣній: — вдали отъ суеты, отъ этой мелочной жизни, отъ того муравейника, гдѣ люди...

...въ кучахъ за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ.

«Какъ устаешь тамъ жить и какъ отдыхаешь душой здѣсь, въ этой простой, не сложной, но мудреной жизни! Сердце обновляется, грудь дышитъ свободнѣе, а умъ не терзается мучительными думами и нескончаемымъ разборомъ тяжебныхъ дѣлъ съ сердцемъ: и то, и другое въ ладу. Не надъ чѣмъ задумываться. Беззаботно, безъ тягостной мысли, съ дремлющимъ сердцемъ и умомъ и съ легкимъ трепетомъ скользишь взглядомъ отъ рощи къ пашнѣ, отъ пашни къ холму, и потомъ погружаешь его въ бездонную синеву неба».

Иногда онъ переходилъ къ окну, выходившему на дворъ и на улицу въ село. Тамъ другая картина, картина тенье-

ровская, полная хлопотливой, семейной жизни. Барбосъ отъ зноя растянется у конуры, положивъ морду на лапы. Десятки куръ встрѣчаютъ утро, кудахтая взапуски; пѣтухи дерутся. По улицѣ гонятъ стадо въ поле. Иногда одна, отставшая отъ стада, корова тоскливо мычитъ, стоя среди улицы и оглядываясь во всѣ стороны. Мужики и бабы, съ граблями и косами на плечахъ, идутъ на работу. Вѣтеръ по временамъ выхватитъ изъ ихъ говора два-три слова и донесетъ до окна. Тамъ крестьянская телѣга съ громомъ проѣдетъ по мостику, за ней лѣниво проползетъ возъ съ сѣномъ. Бѣлокурые и жестковолосые ребятишки, поднявъ рубашонки, бродятъ по лужамъ. Глядя на эту картину, Александръ началъ постигать поэзію *сѣренькаго неба, сломаннаго забора, калитки, грязнаго пруда* и *трепака*. Узкій щегольской фракъ онъ замѣнилъ широкимъ халатомъ домашней работы. И въ каждомъ явленіи этой мирной жизни, въ каждомъ впечатлѣніи и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха, присутствовало недремлющее око материнской любви.

Она не могла нарадоваться, глядя, какъ Александръ полнѣлъ, какъ на щеки его возвращался румянецъ, какъ глаза оживлялись мирнымъ блескомъ. «Только волоски не растутъ,— говорила она:—а были какъ шёлкъ».

Александръ часто гулялъ по окрестностямъ. Однажды онъ встрѣтилъ толпу бабъ и дѣвокъ, шедшихъ въ лѣсъ за грибами, присоединился къ нимъ и проходилъ цѣлый день. Воротясь домой, онъ похвалилъ дѣвушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во дворъ *ходить за барономъ*. Ѣздилъ онъ иногда смотрѣть полевыя работы и на опытѣ узнавалъ то, о чемъ часто писалъ и переводилъ для журнала. «Какъ мы часто врали тамъ...» думалъ онъ, качая головой, и сталъ вникать въ дѣло глубже и пристальнѣе...

Однажды, въ ненастную погоду, попробовалъ онъ за-

ниться тѣломъ, сѣлъ писать и остался доволенъ началомъ труда. Понадобилась для справокъ какая-то книга: онъ написалъ въ Петербургъ, книгу выслали. Онъ занялся не шутя. Выписалъ еще книгъ. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не *надсадилъ грудку*: онъ и слушать не хотѣлъ. Она подослала Антона Иваныча. Александръ не послушалъ и его и все писалъ. Когда прошло мѣсяца три-четыре, а онъ отъ писанья не только не похудѣлъ, а растолстѣлъ больше, Анна Павловна успокоилась.

Такъ прошло года полтора. Все бы хорошо, но Александръ, къ концу этого срока, сталъ опять задумываться. Желаній у него не было никакихъ, а какія и были, такъ ихъ не мудрено было удовлетворить: они не выходили изъ предѣловъ семейной жизни. Ничто его не тревожило: ни забота, ни сомнѣніе, а онъ скучалъ! Ему мало-по-малу надоѣлъ тѣсный домашній кругъ; угожденія матери стали докучны, а Антонъ Иванычъ опротивѣлъ; надоѣлъ и трудъ, и природа не плѣняла его.

Онъ сиживалъ молчаливо у окна и уже равнодушно глядѣлъ на отцовскія липы, съ досадой слушалъ плескъ озера. Онъ началъ размышлять о причинѣ этой новой тоски, и открылъ, что ему было скучно — по Петербургу!? Удалясь отъ минувшаго, онъ началъ жалѣть о немъ. Кровь еще кипѣла въ немъ, сердце билось, душа и тѣло просили дѣятельности... Опять задача. Боже мой! онъ чуть не заплакалъ отъ этого открытія. Онъ думалъ, что эта скука пройдетъ, что онъ приживется въ деревнѣ, привыкнетъ — нѣтъ: чѣмъ дольше онъ жилъ тамъ, тѣмъ сердце пуще ныло и опять просилось въ омутъ, теперь уже знакомый ему.

Онъ помирился съ прошедшимъ: оно стало ему мило. Ненависть, мрачный взглядъ, угрюмость, нелюдимость смягчились уединеніемъ, размышленіемъ. Минувшее предстало ему въ очищенномъ свѣтѣ, и сама измѣнница-Наденька—

чуть не въ лучахъ. «И что я здѣсь дѣлаю?—съ досадой говорилъ онъ: — за что вяну? Зачѣмъ гаснутъ мои дарованія? Почему мнѣ не блистать тамъ своимъ трудомъ?.. Теперь я сталъ разсудительнѣе. Чѣмъ дядюшка лучше меня? Развѣ я не могу отыскать себѣ дороги? Ну, не удалось до сихъ поръ, не за свое брался—что жъ? опомнился теперь: пора, пора! Но какъ огорчитъ мой отъѣздъ матушку! А между тѣмъ необходимо ѣхать: нельзя же погибнуть здѣсь! Тамъ тотъ и другой—всѣ вышли въ люди... А моя карьера, а фортуна?.. я только одинъ отсталъ... да за что же? да почему же?» Онъ метался отъ тоски и не зналъ, какъ сказать матери о намѣреніи ѣхать.

Но мать вскорѣ избавила его отъ этого труда: она умерла.

Вотъ, наконецъ, что писалъ онъ къ дядѣ и теткѣ въ Петербургъ. Къ теткѣ:

«Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга, вы, ma tante, со слезами на глазахъ напутствовали меня драгоцѣнными словами, которыя врѣзались въ моей памяти. Вы сказали: «если когда-нибудь мнѣ нужна будетъ теплая дружба, искреннее участіе, то въ вашемъ сердцѣ всегда останется уголокъ для меня». Настала минута, когда я понялъ всю цѣну этихъ словъ. Въ правахъ, которыя вы мнѣ такъ великодушно дали надъ вашимъ сердцемъ, заключается для меня залогъ мира, тишины, утѣшенія, спокойствія, можетъ-быть, счастья всей моей жизни. Мѣсяца три назадъ, скончалась матушка: больше не прибавлю ни слова. Вы по письмамъ ея знаете, что она была для меня, и поймете, чего я лишился въ ней... Я теперь бѣгу отсюда навсегда. Но куда, одинокій странникъ, направилъ бы я путь свой, какъ не въ тѣ мѣста, гдѣ вы?.. Скажите одно слово: найду ли я въ васъ то, что оставилъ года полтора назадъ? Не изгнали ли вы меня изъ памяти? Согласитесь ли вы на скучную обязанность исцѣлить вашею дружбою, которая уже не разъ спасала меня отъ горя, новую и глубокую рану? Всю на-

лежду возлагаю на васъ и другую, могучую союзницу— дѣятельность.

«Вы удивляетесь — неправда ли? Вамъ странно слышать отъ меня это? читать эти строки, писанныя въ покойномъ, несвойственномъ мнѣ тонѣ? Не удивляйтесь и не бойтесь моего возвращенія: къ вамъ пріѣдетъ не сумасбродъ, не мечтатель, не разочарованный, не провинціалъ, а просто человѣкъ, какихъ въ Петербургѣ много и какимъ бы давно мнѣ пора быть. Предупредите особенно дядюшку на этотъ счетъ. Когда посмотрю на прошлую жизнь, мнѣ становится неловко, стыдно и другихъ, и самого себя. Но иначе и быть не могло. Вотъ когда только очнулся — въ тридцать лѣтъ! Тяжкая школа, пройденная въ Петербургѣ, и размышленіе въ деревнѣ прояснили мнѣ вполнѣ судьбу мою. Удалясь на почтительное разстояніе отъ уроковъ дядюшки и собственнаго опыта, я уразумѣлъ ихъ здѣсь, въ тишинѣ, яснѣе, и вижу, къ чему бы они давно должны были повести меня, вижу какъ жалко и неразумно уклонялся я отъ прямой цѣли. Я теперь покоенъ: не терзаюсь, не мучусь, но не хвастаюсь этимъ; можетъ-быть, это спокойствіе проистекаетъ пока изъ эгоизма; чувствую, впрочемъ, что скоро взглядъ мой на жизнь уяснится до того, что я открою другой источникъ спокойствія — чище. Теперь я еще не могу не жалѣть, что я уже дошелъ до того рубежа, гдѣ— увы! кончается молодость и начинается пора размышленій, повѣрка и разборка всякаго волненія, пора сознанія.

«Хотя, можетъ-быть, мнѣніе мое о людяхъ и жизни измѣнилось и немного, но много надеждъ улетѣло, много миновалось желаній, словомъ, иллюзіи утрачены; слѣдовательно, не во многомъ и не во многихъ ужъ придется ошибиться и обмануться, а это очень утѣшительно съ одной стороны! И вотъ я смотрю яснѣе впередъ: самое тяжелое позади; волненія не страшны, потому что ихъ осталось немного; главнѣйшія пройдены, и я благословляю ихъ. Стыжусь

вспомнить, какъ я, воображая себя страдальцемъ, проклиналъ свой жребій, жизнь. Проклиналъ! какое жалкое ребячество и неблагодарность! Какъ я поздно увидѣлъ, что страданія очищаютъ душу, что они одни дѣлаютъ человѣка сноснымъ и себѣ, и другимъ, возвышаютъ его... Признаю теперь, что не быть причастнымъ страданіямъ, значитъ не быть причастнымъ всей полнотѣ жизни: въ нихъ много важныхъ условій, которыхъ разрѣшенія мы здѣсь, можетъ-быть, и не дождемся. Я вижу въ этихъ волненіяхъ руку Промысла, который, кажется, задаетъ человѣку нескончаемую задачу — стремиться впередъ, достигать свыше предназначенной цѣли, при ежеминутной борьбѣ съ обманчивыми надеждами, съ мучительными преградами. Да, вижу, какъ необходима эта борьба и волненія для жизни, какъ жизнь безъ нихъ была бы не жизнь, а застой, сонъ... Кончается борьба, смотришь — кончается и жизнь; человѣкъ былъ занятъ, любилъ, наслаждался, страдалъ, волновался, сдѣлалъ свое дѣло и, слѣдовательно, жилъ!

«Видите ли, какъ я разсуждаю: я вышелъ изъ тьмы — и вижу, что все, прожитое мною до сихъ поръ, было какимъ-то труднымъ приготовленіемъ къ настоящему пути, мудреною наукою для жизни. Что-то говоритъ мнѣ, что остальной путь будетъ легче, тише, понятнѣе... Темныя мѣста освѣтились, мудреные узлы развязались сами собою; жизнь начинаетъ казаться благомъ, а не зломъ. Скоро скажу опять: какъ хороша жизнь! но скажу, не какъ юноша, упоенный минутнымъ наслажденіемъ, а съ полнымъ сознаніемъ ея истинныхъ наслажденій и горечи. Затѣмъ и не страшна и смерть: она не представляется пугаломъ, а прекраснымъ опытомъ. И теперь уже въ душу вѣетъ невѣдомое спокойствіе: ребяческихъ досадъ, вспышекъ уколотаго самолюбія, дѣтской раздражительности и комическаго гнѣва на міръ и людей, похожаго на гнѣвъ моськи на слона—какъ не бывало.

«Я сдружился опять, съ тѣмъ давно раздружился—съ людьми, которые, мимоходомъ замѣчу, и здѣсь тѣ же, какъ въ Петербургѣ, только пожестче, погрубѣе, посмѣшнѣе. Но я не сержусь на нихъ и здѣсь, а тамъ и подавно не стану сердиться. Вотъ вамъ образчикъ моей кротости: къ намъ ѣздитъ чудакъ Антонъ Иванычъ гостить, дѣлить, будто бы, мое горе; завтра онъ поѣдетъ на свадьбу къ сосѣду—дѣлить радость, а тамъ къ кому-нибудь — исправлять должность повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мѣшаютъ ему у всѣхъ ѣсть раза по четыре въ день. Я вижу, что ему все равно: умеръ ли, или родился, или женился человѣкъ, и мнѣ не противно смотрѣть на него, не досадно... я терплю его, не выгоняю... Добрый признакъ—не правда ли, ma tante? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себѣ?»

Къ дядѣ:

«Любезнѣйшій, добрѣйшій дядюшка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ваше превосходительство!

«Съ какою радостью узналъ я, что и карьера ваша совершена достохвально; съ фортуною вы ужъ поладили давно! Вы дѣйствительный статскій совѣтникъ, вы — директоръ канцеляріи! Осмѣлюсь ли напомнить вашему превосходительству обѣщаніе, данное мнѣ при отъѣздѣ: «когда понадобятся служба, занятія, или деньги, обратись ко мнѣ!» говорили вы. И вотъ мнѣ понадобились, и служба, и занятія; понадобятся, конечно, и деньги. Бѣдный провинціалъ осмѣливается просить мѣста и работы. Какая участь ожидаетъ мою просьбу? Не такая ли, какая постигла нѣкогда письмо Заѣзжалова, который просилъ похлопотать о своемъ дѣлѣ?.. Что касается *творчества*, о которомъ вы имѣли жестокость упомянуть въ одномъ изъ вашихъ писемъ, то... не грѣхъ ли вамъ тревожить давно забытыя глупости, когда я самъ краснѣю за нихъ?.. Эхъ, дядюшка, эхъ, ваше превосходительство! Кто жъ не былъ молодъ и отчасти глупъ?

У кого не было какой-нибудь странной, такъ-называемой *заветной* мечты, которой никогда не суждено сбываться? Вотъ мой сосѣдъ, справа, воображалъ себя героемъ, исполиномъ — ловцомъ предъ Господомъ... онъ хотѣлъ изумить міръ своими подвигами... и кончилось тѣмъ, что онъ вышелъ прапорщикомъ въ отставку, не бывши на войнѣ, и мирно разводитъ картофель и сѣетъ рѣпу. Другой, слѣва, мечталъ по-своему передѣлать весь свѣтъ и Россію, а самъ, пописавъ нѣкоторое время бумаги въ палатѣ, удалился сюда и до сихъ поръ не можетъ передѣлать стараго забора. Я думалъ, что въ меня вложенъ свыше творческій даръ, и хотѣлъ повѣдать міру новыя, невѣдомыя тайны, не подозрѣвая, что это уже не тайны и что я не пророкъ. Всѣ мы смѣшны; но скажите, кто, не краснѣя за себя, рѣшится заклеймить позорною бранью эти юношескія, благородныя, пылкія, хоть и не совсѣмъ умѣренныя мечты? Кто не питалъ, въ свою очередь, безплоднаго желанія, не ставилъ себя героемъ доблестнаго подвига, торжественной пѣсни, громкаго повѣствованія? Чье воображеніе не уносилось къ баснословнымъ, героическимъ временамъ? Кто не плакалъ, сочувствуя высокому и прекрасному? Если найдется такой человѣкъ, пусть онъ броситъ камень въ меня — я ему не завидую. Я краснѣю за свои юношескія мечты, ну что ихъ: онѣ залогъ чистоты сердца, признакъ души благородной, расположенной къ добру.

«Васъ, я знаю, не убѣдятъ эти доводы: вамъ нуженъ доводъ положительный, практическій; извольте, вотъ онъ: скажите, какъ узнавались и обрабатывались бы дарованія, если бъ молодые люди подавляли въ себѣ эти раннія склонности, если бъ не давали воли и простора мечтамъ своимъ, а слѣдовали рабски указанному направленію, не пробуя силъ? Наконецъ, не есть ли это общій законъ природы, что молодость должна быть тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа, и что у всякаго мечты современемъ уля-

гутся, какъ улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость развѣ чужда этихъ грѣховъ? Вспомните, порой-тесь въ памяти. Вижу отсюда, какъ вы, съ вашимъ покойнымъ, никогда не смущающимся взоромъ, качаете головой и говорите: нѣтъ ничего! Позвольте же уличить васъ, напримѣръ, хоть въ любви... отрекаетесь? не отречетесь: улика у меня въ рукахъ... Вспомните, что я могъ изслѣдовать дѣло на мѣстѣ дѣйствія. Театръ вашихъ любовныхъ похожденій передъ моими глазами — это озеро. На немъ еще растутъ желтые цвѣты; одинъ, высушенъ надлежащимъ образомъ, честь имѣю препроводить при семъ къ вашему превосходительству, для сладкаго воспоминанія. Но есть страшнѣе оружіе противъ вашихъ гоненій на любовь вообще, и на мою въ особенности—это документъ... Вы хмуритесь? и какой документъ!!! поблѣднѣли? Я похитилъ эту драгоцѣнную ветхость у тетушки, съ не менѣе ветхой груди, и везу съ собой, какъ вѣчную улику противъ васъ и какъ защиту себѣ. Трепещите, дядюшка! Мало того, я въ подробности знаю всю исторію вашей любви: тетушка разсказываетъ мнѣ каждый день, за утреннимъ чаемъ, и за ужиномъ, на сонъ грядущій, по интересному факту, а я вношу всѣ эти драгоцѣнные матеріалы въ особый мемуаръ. Я не премину вручить его вамъ лично, вмѣстѣ съ моими трудами по части сельскаго хозяйства, которыми занимаюсь здѣсь уже съ годъ. Я, съ своей стороны, долгомъ считаю увѣрять тетушку въ неизмѣнности вашихъ къ ней *чувствованій*, какъ она говоритъ. Когда удостоюсь получить отъ вашего превосходительства благопріятный, по моей просьбѣ, отвѣтъ, то буду имѣть честь явиться къ вамъ, съ приношеніемъ сушеной малины и меду, и съ представленіемъ нѣсколькихъ писемъ, которыми обѣщаютъ меня снабдить сосѣди, по своимъ надобностямъ, кромѣ Заѣзжалова, умершаго до окончанія своего процесса».

ЭПИЛОГЪ.

Вотъ что, спустя года четыре, послѣ вторичнаго пріѣзда Александра въ Петербургъ, происходило съ главными дѣйствующими лицами этого романа.

Въ одно утро Петръ Иванычъ ходилъ взадъ и впередъ по своему кабинету. Это уже былъ не прежній бодрый, полный и стройный Петръ Иванычъ, всегда съ одинаково покойнымъ взоромъ, съ гордо поднятою головою и прямымъ станомъ. Отъ лѣтъ ли, отъ обстоятельствъ ли, но онъ какъ будто опустился. Движенія его были не такъ бодры, взглядъ не такъ твердъ и самоувѣренъ. Въ бакенбардахъ и вискахъ свѣтилось много сѣдыхъ волосъ. Видно было, что онъ отпраздновалъ пятидесятилѣтній юбилей своей жизни. Онъ ходилъ немного сгорбившись. Особенно странно было видѣть на лицѣ этого безстрастнаго и покойнаго человѣка — какимъ мы его до сихъ поръ знали—болѣе нежели заботливое, почти тоскливое выраженіе, хотя оно и имѣло свойственный Петру Иванычу характеръ.

Онъ какъ будто былъ въ недоумѣніи. Онъ дѣлалъ шага два и вдругъ останавливался посреди комнаты, или скорыми шагами отмѣривалъ два-три конца отъ одного конца до другого. Казалось, его посѣтила непривычная дума.

На креслѣ близъ стола сидѣлъ невысокаго роста, полный человѣкъ, съ крестомъ на шеѣ, въ застегнутомъ наглухо фракѣ, положивъ одну ногу на другую. Недоставало только

въ рукахъ трости съ большимъ золотымъ набалдашникомъ, той классической трости, по которой читатель, бывало, сейчасъ узнавалъ доктора въ романахъ и повѣстяхъ. Можетъ-быть, доктору и пристала эта булава, съ которою онъ, отъ нечего дѣлать, прогуливается пѣшкомъ и по цѣлымъ часамъ просиживаетъ у больныхъ, утѣшаетъ ихъ и часто въ лицѣ своемъ соединяетъ двѣ-три роли: медика, практическаго философа, друга дома и т. п. Но все это хорошо тамъ, гдѣ живутъ на раздольи, на просторѣ, болѣютъ рѣдко и гдѣ докторъ — больше роскошь, чѣмъ необходимость. А докторъ Петра Иваныча былъ петербургскій докторъ. Онъ не зналъ, что̀ значитъ ходить пѣшкомъ, хотя и предписывалъ больнымъ моціонъ. Онъ членъ какого-то совѣта, секретарь какого-то общества, и профессоръ, и врачъ нѣсколькихъ казенныхъ заведеній, и врачъ для бѣдныхъ, и непремѣнный посѣтитель всѣхъ консультацій; у него и огромная практика. Онъ не снимаетъ даже перчатки съ лѣвой руки, не снималъ бы и съ правой, если бъ не надо было щупать пульса; не разстегиваетъ никогда фрака и почти не садится. Докторъ ужъ не разъ перекладывалъ, отъ нетерпѣнія, то лѣвую ногу на правую, то правую на лѣвую. Ему давно пора ѣхать, а Петръ Иванычъ все ничего не говоритъ. Наконецъ.

— Что дѣлать, докторъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, вдругъ остановясь передъ нимъ.

— Ѣхать въ Киссингенъ, — отвѣчалъ докторъ: — одно средство. У васъ припадки стали повторяться слишкомъ часто...

— Э! вы все обо мнѣ! — перебилъ Петръ Иванычъ: — я вамъ говорю о женѣ. Мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ, а она въ цвѣтущей порѣ, ей надо жить; и если здоровье ея начинаетъ угасать съ этихъ поръ...

— Вотъ ужъ и угасать! — замѣтилъ докторъ. — Я сообщилъ вамъ только свои опасенія на будущее время, а те-

перь еще нѣтъ ничего... Я только хотѣлъ сказать, что здоровье ея... или не здоровье, а такъ она... какъ будто не въ нормальномъ положеніи.

— Не все ли равно? Вы вскользь сдѣлали ваше замѣчаніе, да и забыли, а я съ тѣхъ поръ слѣжу за ней пристально и съ каждымъ днемъ открываю въ ней новыя, неутѣшительныя перемѣны — и вотъ три мѣсяца не знаю покоя. Какъ я прежде не видалъ—не понимаю! Должность и дѣла отнимаютъ у меня и время, и здоровье... а вотъ теперь, пожалуй, и жену.

Онъ опять пустился шагать по комнатѣ.

— Вы сегодня разспрашивали ее? — спросилъ онъ помолчавъ.

— Да; но она ничего въ себѣ не замѣчаетъ. Я сначала предполагалъ физіологическую причину: у нея не было дѣтей... но, кажется, нѣтъ! Можетъ-быть причина чисто-психологическая...

— Еще легче! — замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— А можетъ-быть и ничего нѣтъ. Подозрительныхъ симптомовъ рѣшительно никакихъ! Это такъ... вы засидѣлись слишкомъ долго здѣсь, въ этомъ болотистомъ климатѣ. Ступайте на югъ: освѣжитесь, наберитесь новыхъ впечатлѣній и посмотрите, что будетъ. Лѣто проживите въ Киссингенѣ, возьмите курсъ водъ, а осень въ Италіи, зиму въ Парижѣ: увѣряю васъ, что накопленія слизей, раздражительности... какъ не бывало!

Петръ Иванычъ почти не слушалъ его.

— Психологическая причина! — сказалъ онъ вполголоса и покачалъ головой.

— То-есть, вотъ видите ли, почему я говорю: психологическая, — сказалъ докторъ: — иной, не зная васъ, могъ бы подозрѣвать тутъ какія-нибудь заботы... или не заботы... а подавленныя желанія... иногда бываетъ нужда, недостатокъ... я хотѣлъ навести васъ на мысль...

— Нужда, желанія! — перебилъ Петръ Иванычъ: — всѣ ея желанія предупреждаются; я знаю ея вкусъ, привычки. А нужда... гм! Вы видите нашъ домъ, знаете, какъ мы живемъ?..

— Хорошъ домъ, славный домъ,—сказалъ докторъ:—чудесный... поваръ и какія сигары! А что этотъ пріятель вашъ, что въ Лондонѣ живетъ... пересталъ присылать вамъ хересъ? Что-то нынѣшній годъ не видать у васъ...

— Какъ коварна судьба, докторъ! ужъ я ли не былъ остороженъ съ ней? — началъ Петръ Иванычъ съ несвойственнымъ ему жаромъ: — взвѣшивалъ, кажется, каждый свой шагъ... нѣтъ, гдѣ-нибудь да подкоситъ и когда же? при всѣхъ удачахъ, на такой карьерѣ... А?

Онъ махнулъ рукой и продолжалъ ходить.

— Что вы тревожитесь такъ?—сказалъ докторъ:—опаснаго рѣшительно ничего нѣтъ. Я повторяю вамъ, что сказалъ въ первый разъ, то-есть, что организмъ ея не тронутъ: разрушительныхъ симптомовъ нѣтъ. Малокровіе, нѣкоторый упадокъ силъ...—вотъ и все!

— Бездѣлица!—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Нездоровье ея отрицательное, а не положительное, — продолжалъ докторъ. — Будто одна она? Посмотрите на всѣхъ нездѣшнихъ уроженцевъ: на что они похожи? Ступайте, ступайте отсюда. А если нельзя ѣхать, развлекайте ее, не давайте сидѣть, угождайте, вывозите; больше движенія и тѣлу, и духу: и то, и другое у ней въ неестественномъ усыпленіи. Конечно, современемъ оно можетъ пасть на лёгкія или...

— Прощайте, докторъ! я пойду къ ней,—сказалъ Петръ Иванычъ и скорыми шагами пошелъ въ кабинетъ жены.

Онъ остановился у дверей, тихо раздвинулъ портьеры и устремилъ на жену безпокойный взглядъ.

Она... что же особеннаго замѣтилъ въ ней докторъ? Всякій, увидѣвъ ее въ первый разъ, нашелъ бы въ ней жен-

щину, какихъ много въ Петербургѣ. Блѣдна, это правда: взглядъ у ней матовый, блуза свободно и ровно стелется по плоскимъ плечамъ и гладкой груди; движенія медленны, почти вялы... Но развѣ румянецъ, блескъ глазъ и огонь движеній—отличительные признаки нашихъ красавицъ? А прелесть формъ... Ни Фидій, ни Пракситель не нашли бы здѣсь Венеръ для своего рѣзца.

Нѣтъ, не пластической красоты надо искать въ сѣверныхъ красавицахъ: онѣ — не статуи; имъ не далась античныя позы, въ которыхъ увѣковѣчилась красота греческихъ женщинъ, да не изъ чего и строить этихъ позъ: нѣтъ тѣхъ безукоризненно-правильныхъ контуровъ тѣла... Чувственность не льется изъ глазъ ихъ жаркимъ потокомъ лучей; на полуоткрытыхъ губахъ не млѣетъ та наивно-сладострастная улыбка, какою горятъ уста южной женщины. Нашимъ женщинамъ дана въ удѣлъ другая, высшая красота. Для рѣзца неуловимъ этотъ блескъ мысли въ чертахъ лицъ ихъ, эта борьба воли съ страстью, игра невысказываемыхъ языкомъ движеній души съ безчисленными, тонкими оттѣнками лукавства, мнимаго простодушія, гнѣва и доброты, затаенныхъ радостей и страданій... всѣхъ этихъ мимолетныхъ молній, вырывающихся изъ концентрической души...

Какъ бы то ни было, но видѣвшій въ первый разъ Лизавету Александровну не замѣтилъ бы въ ней никакого разстройства. Тотъ только, кто зналъ ее прежде, кто помнилъ свѣжесть лица ея, блескъ взоровъ, подъ которымъ, бывало, трудно разсмотрѣть цвѣтъ глазъ ея — такъ тонули они въ роскошныхъ, трепещущихъ волнахъ свѣта, кто помнилъ ея пышныя плечи и стройный бюстъ, тотъ съ болѣзненнымъ изумленіемъ взглянулъ бы на нее теперь, сердце его сжалось бы отъ сожалѣнія, если онъ не чужой ей, какъ теперь оно сжалось, можетъ-быть, у Петра Иваныча, въ чемъ онъ боялся признаться самому себѣ.

Онъ тихо вошелъ въ кабинетъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Что ты дѣлаешь?—спросилъ онъ.

— Вотъ просматриваю расходную книжку, — отвѣчала она. — Вообрази, Петръ Иванычъ: въ прошедшемъ мѣсяцѣ на одинъ столъ вышло около полуторы тысячи рублей: это ни на что не похоже!

Онъ, не говоря ни слова, взялъ у ней книжку и положилъ на столъ.

— Послушай,—началъ онъ:—докторъ говоритъ, что здѣсь моя болѣзнь можетъ усилиться: онъ совѣтуетъ ѣхать на воды за границу. Что ты скажешь?

— Что же мнѣ сказать? Тутъ, я думаю, голосъ доктора важнѣе моего. Надо ѣхать, если онъ совѣтуетъ.

— А ты? Желала бы ты сдѣлать этотъ вояжъ?

— Пожалуй.

— Но, можетъ-быть, ты лучше хотѣла бы остаться здѣсь?

— Хорошо, я останусь.

— Что же изъ двухъ? — спросилъ Петръ Иванычъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ.

— Распоряжайся и собой, и мной, какъ хочешь,—отвѣчала она съ унылымъ равнодушіемъ; — велишь — я поѣду, нѣтъ—останусь здѣсь...

— Оставаться здѣсь нельзя,—замѣтилъ Петръ Иванычъ:— докторъ говоритъ, что и твое здоровье нѣсколько пострадало... отъ климата.

— Съ чего онъ взялъ?—сказала Лизавета Александровна:—я здорова, я ничего не чувствую.

— Продолжительное путешествіе,—говорилъ Петръ Иванычъ: — тоже можетъ быть для тебя утомительно; не хочешь ли ты пожить въ Москвѣ, у тетки, пока я буду за границей?

— Хорошо; я, пожалуй, поѣду въ Москву.

— Или не съѣздить ли намъ обоимъ на лѣто въ Крымъ?

— Хорошо и въ Крымъ.

Петръ Иванычъ не выдержалъ: онъ всталъ съ дивана и

началъ, какъ у себя въ кабинетѣ, ходить по комнатѣ, потомъ остановился передъ ней.

— Тебѣ все равно, гдѣ ни быть?—спросилъ онъ.

— Все равно,—отвѣчала она.

— Отчего же?

Она, ничего не отвѣчая на это, взяла опять расходную тетрадь со стола.

— Воля твоя, Петръ Иванычъ,—заговорила она:—намъ надо сократить расходы: какъ, тысяча пятьсотъ рублей на одинъ столъ...

Онъ взялъ у ней тетрадь и бросилъ подъ столъ.

— Что это такъ занимаетъ тебя?—спросилъ онъ:—или денегъ тебѣ жаль...

— Какъ же не занимать? Вѣдь я твоя жена! Ты же самъ училъ меня... а теперь упрекаешь, что я занимаюсь... *Я дѣлаю свое дѣло.*

— Послушай, Лиза!—сказалъ Петръ Иванычъ, послѣ краткаго молчанія:—ты хочешь передѣлать свою натуру, осилить волю... Это не хорошо. Я никогда не принуждалъ тебя: ты не увѣришь меня, чтобъ эти дрязги (онъ указалъ на тетрадь) могли занимать тебя. Зачѣмъ ты хочешь стѣснять себя? Я предоставлю тебѣ полную свободу...

— Боже мой! зачѣмъ мнѣ свобода?—сказала Лизавета Александровна:—что я стану съ ней дѣлать? Ты до сихъ поръ такъ хорошо, такъ умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла отъ своей воли; продолжай и впередъ; а мнѣ свобода не нужна.

Оба замолчали.

— Давно,—началъ опять Петръ Иванычъ:—я не слыхалъ отъ тебя, Лиза, никакой просьбы, никакого желанія, каприза.

— Мнѣ ничего не нужно,—замѣтила она.

— У тебя нѣтъ никакихъ особенныхъ... скрытыхъ желаній?—спросилъ онъ съ участіемъ, пристально глядя на нее.

Она колебалась, говорить или нѣтъ.

Петръ Иванычъ замѣтилъ это.

— Скажи, ради Бога, скажи! — продолжалъ онъ: — твои желанія будутъ моими желаніями, я исполню ихъ, какъ законъ.

— Ну, хорошо,—отвѣчала она:—если ты можешь это сдѣлать для меня... то... уничтожь наши пятницы... эти обѣды утомляютъ меня...

Петръ Иванычъ задумался.

— Ты и такъ живешь взаперти, — сказалъ онъ, помолчавъ: — а когда къ намъ перестанутъ собираться пріятели по пятницамъ, ты будешь совершенно въ пустынѣ. Впрочемъ, изволь, ты желаешь этого—будетъ исполнено. Что жъ ты станешь дѣлать?

— Ты передай мнѣ свои счеты, книги, дѣла... я займусь...—сказала она и потянулась подъ столъ поднять расходную тетрадь.

Петру Иванычу это показалось худо скрытымъ притворствомъ.

— Лиза!..—съ упрекомъ сказалъ онъ.

Книжка осталась подъ столомъ.

— А я думалъ, не возобновишь ли ты нѣкоторыхъ знакомствъ, которыя мы совсѣмъ оставили? Для этого я хотѣлъ дать балъ, чтобъ ты разсѣялась, выѣзжала бы сама...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! — съ испугомъ заговорила Лизавета Александровна:—ради Бога, не нужно! Какъ можно... балъ!

— Что жъ это такъ пугаетъ тебя? Въ твои лѣта балъ не теряетъ своей занимательности; ты еще можешь танцовать...

— Нѣтъ, Петръ Иванычъ, прошу тебя, не затѣвай!—заговорила она съ живостью:—заботиться о туалетѣ, одѣваться, принимать толпу, выѣзжать—Боже сохрани!

— Ты, кажется, весь вѣкъ хочешь проходить въ блузѣ?

— Да, если ты позволишь, я бы не снила ее. Зачѣмъ наряжаться? и трата денегъ, и лишнія хлопоты безъ всякой пользы.

— Знаешь что?—вдругъ сказалъ Петръ Иванычъ:—говорятъ, на нынѣшнюю зиму ангажированъ сюда Рубини; у насъ будетъ постоянная итальянская опера; я просилъ оставить для насъ ложу—какъ ты думаешь?

Она молчала.

— Лиза!

— Напрасно...—сказала она робко:—я думаю, и это будетъ мнѣ утомительно... я устаю...

Петръ Иванычъ склонилъ голову, подошелъ къ камину и, облокотясь на него, смотрѣлъ... какъ бы это сказать? съ тоской, не съ тоской, а съ тревогой, съ безпокойствомъ и съ боязнью, на нее.

— Отчего, Лиза, это...—началъ-было онъ и не договорилъ: слово «равнодушіе» не сошло у него съ языка.

Онъ долго, молча, глядѣлъ на нее. Въ ея безжизненно-матовыхъ глазахъ, въ лицѣ, лишенномъ игры живой мысли и чувствъ, въ ея лѣнивой позѣ и медленныхъ движеніяхъ онъ прочиталъ причину того равнодушія, о которомъ боялся спросить; онъ угадалъ отвѣтъ тогда еще, когда докторъ только-что намекнулъ ему о своихъ опасеніяхъ. Онъ тогда опомнился и сталъ догадываться, что, ограждая жену методически отъ всѣхъ уклоненій, которыя могли бы повредить ихъ супружескимъ интересамъ, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, не представилъ ей въ себѣ вознаградительныхъ условій за тѣ, можетъ быть, непривилегированныя закономъ радости, которыя бы она встрѣтила внѣ супружества, что домашній ея міръ былъ не что иное, какъ крѣпость, благодаря методѣ его, неприступная для соблазна, но зато въ ней встрѣчались на каждомъ шагу рогатки и патрули и противъ всякаго законнаго проявленія чувства.

Методичность и сухость его отношеній къ ней простерлись, безъ его вѣдома и воли, до холодной и тонкой тиранія, и надъ чѣмъ? надъ сердцемъ женщины! За эту тиранію онъ платилъ ей богатствомъ, роскошью, всѣми наружными и, сообразными съ его образомъ мыслей, условіями счастья— ошибка ужасная, тѣмъ болѣе ужасная, что она сдѣлана была не отъ незнанія, не отъ грубаго понятія его о сердцѣ—онъ зналъ его—а отъ небрежности, отъ эгоизма! Онъ забывалъ, что она не служила, не играла въ карты, что у ней не было завода, что отличный столъ и лучшее вино почти не имѣютъ цѣны въ глазахъ женщины, а между тѣмъ онъ заставлялъ ее жить этою жизнью.

Петръ Иванычъ былъ добръ; и если не по любви къ женѣ, то по чувству справедливости, онъ далъ бы Богъ знаетъ что, чтобъ поправить зло; но какъ поправить? Не одну ночь провелъ онъ безъ сна съ тѣхъ поръ, какъ докторъ сообщилъ ему свои опасенія насчетъ здоровья жены, стараясь отыскать средства, примирить ея сердце съ настоящимъ ея положеніемъ и возстановить угасающія силы. И теперь, стоя у камина, онъ размышлялъ о томъ же. Ему пришло въ голову, что, можетъ-быть, въ ней уже таится зародышъ опасной болѣзни, что она убита безцвѣтной и пустой жизнью...

Холодный потъ выступалъ у него на лбу. Онъ терялся въ средствахъ, чувствуя, что для изобрѣтенія ихъ нужно больше сердца, чѣмъ головы. А гдѣ ему взять его? Ему что-то говорило, что если бъ онъ могъ пасть къ ея ногамъ, съ любовью заключить ее въ объятія и голосомъ страсти сказать ей, что жилъ только для нея, что цѣль всѣхъ трудовъ, суеты, карьеры, стяжанія—была она, что его методическій образъ поведенія съ ней внушенъ былъ ему только пламеннымъ, настойчивымъ, ревнивымъ желаніемъ укрѣпить за собой ея сердце... Онъ понималъ, что такія слова были бы дѣйствіемъ гальванизма на трупъ, что она

вдругъ процвѣла бы здоровьемъ, счастьемъ, и на воды не понадобилось бы ѣхать.

Но сказать и доказать — двѣ вещи разныя. Чтобъ доказать это, надо точно имѣть страсть. А порывшись въ душѣ своей, Петръ Иванычъ не нашелъ тамъ и слѣда страсти. Онъ чувствовалъ только, что жена былъ необходима ему — это правда, но наравнѣ съ прочими необходимостями жизни, необходима по привычкѣ. Онъ, пожалуй, не прочь бы притвориться, сыграть роль любовника, какъ ни смѣшно въ пятьдесятъ лѣтъ вдругъ заговорить языкомъ страсти; но обманешь ли женщину страстью, когда ея нѣтъ? Достанетъ ли потомъ столько героизма и умѣнья, чтобъ дотянуть на плечахъ эту роль до той черты, за которой умолкаютъ требованія сердца? И не убьетъ ли ее окончательно оскорбленная гордость, когда она замѣтитъ, что то, что нѣсколько лѣтъ назадъ было бы волшебнымъ напиткомъ для нея, подносится ей теперь, какъ лѣкарство? Нѣтъ, онъ, по-своему, отчетливо взвѣсилъ и обсудилъ этотъ поздній шагъ и не рѣшился на него. Онъ думалъ сдѣлать, можетъ-быть, то же, но иначе, такъ, какъ это теперь было нужно и возможно. У него уже три мѣсяца шевелилась мысль, которая прежде показалась бы ему нелѣпостью, а теперь — другое дѣло! Онъ берегъ ее на случай крайности: крайность настала, и онъ рѣшился исполнить свой планъ.

«Если это не поможетъ», думалъ онъ: «тогда нѣтъ спасенья! будь, что̀ будетъ!»

Петръ Иванычъ рѣшительными шагами подошелъ къ женѣ и взялъ ее за руку.

— Ты знаешь, Лиза, — сказалъ онъ: — какую роль я играю въ службѣ: я считаюсь самымъ дѣльнымъ чиновникомъ въ министерствѣ. Нынѣшній годъ буду представленъ въ тайные совѣтники и, конечно, получу. Не думай, чтобъ карьера моя кончилась этимъ: я могу еще идти впередъ... и пошелъ бы...

Она смотрѣла на него съ удивленіемъ, ожидая, къ чему это поведетъ.

— Я никогда не сомнѣвалась въ твоихъ способностяхъ,— сказала она.—Я вполнѣ увѣрена, что ты не остановишься на половинѣ дороги, а пойдешь до конца...

— Нѣтъ, не пойду: я на-дняхъ подалъ въ отставку.

— Въ отставку?—спросила она съ изумленіемъ, выпрямившись.

— Да.

— Зачѣмъ?

— Слушай еще. Тебѣ извѣстно, что я расчелся со своими компаньонами и заводъ принадлежитъ мнѣ одному. Онъ приноситъ мнѣ до сорока тысячъ чистаго барыша, безъ всякихъ хлопотъ. Онъ идетъ какъ заведенная машина.

— Знаю; такъ что жъ?—спросила Лизавета Александровна.

— Я его продамъ.

— Что ты, Петръ Иванычъ! Что съ тобой?—съ возрастающимъ изумленіемъ говорила Лизавета Александровна, глядя на него съ испугомъ:—для чего все это? Я не опомнюсь, понять не могу...

— Не-уже-ли не можешь понять?

— Нѣтъ!..—въ недоумѣніи сказала Лизавета Александровна.

— Ты не можешь понять, что, глядя, какъ ты скучаешь, какъ твое здоровье терпитъ... отъ климата, я подорожу своей карьерой, заводомъ, не увезу тебя вонъ отсюда? не посвящу остатка жизни тебѣ?.. Лиза! неужели ты считала меня неспособнымъ къ жертвѣ?..—прибавилъ онъ съ упрекомъ.

— Такъ это для меня!—сказала Лизавета Александровна, едва приходя въ себя:—нѣтъ, Петръ Иванычъ!—живо заговорила она, сильно встревоженная:—ради Бога, никакой жертвы для меня! Я не приму ее—слышишь ли? рѣши-

тельно не приму! Чтобъ ты пересталъ трудиться, отличаться, богатѣть — и для меня! Боже сохрани! Я не стою этой жертвы! Прости меня: я была мелка для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оцѣнить твои высокія цѣли, благородные труды... Тебѣ не такую женщину надо было...

— Еще великодушіе!—сказалъ Петръ Иванычъ, пожимая плечами.—Мои намѣренія неизмѣнны, Лиза!

— Боже, Боже, что я надѣлала! Я была брошена, какъ камень на твоемъ пути; я мѣшаю тебѣ... Что за странная моя судьба!—прибавила она, почти съ отчаяніемъ. — Если человѣку не хочется, не нужно жить... неужели Богъ не сжалится, не возьметъ меня? Мѣшать тебѣ...

— Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизнью! Я хочу отдохнуть, успокоиться: а гдѣ я успокоюсь, какъ не наединѣ съ тобой?.. Мы поѣдемъ въ Италію.

— Петръ Иванычъ! — сказала она, почти плача: — ты добръ, благороденъ... я знаю, ты въ состояніи на великодушное притворство... но, можетъ-быть, жертва безполезна, можетъ-быть, ужъ... поздно, а ты бросишь свои дѣла...

— Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли,— возразилъ Петръ Иванычъ:—иначе, ты увидишь, что я не изъ желѣза созданъ... Я повторяю тебѣ, что я хочу жить не одной головой: во мнѣ еще не все застыло.

Она глядѣла на него пристально, съ недовѣрчивостью.

— И это... искренно? — спросила она, помолчавъ: — ты точно хочешь покоя, уѣзжаешь не для меня одной?

— Нѣтъ: и для себя.

— А если для меня, я ни за что, ни за что...

— Нѣтъ, нѣтъ! я нездоровъ, усталъ... хочу отдохнуть.

Она подала ему руку. Онъ съ жаромъ поцѣловалъ ее.

— Такъ ѣдемъ въ Италію?—спросилъ онъ.

— Хорошо, поѣдемъ,—отвѣчала она монотонно.

У Петра Иваныча — какъ гора съ плечъ. «Что-то будетъ!» подумалъ онъ.

Долго сидѣли они, не зная, что сказать другъ другу. Неизвѣстно, кто первый прервалъ бы молчаніе, если бъ они оставались еще вдвоемъ. Но вотъ въ сосѣдней комнатѣ послышались торопливые шаги. Явился Александръ.

Какъ онъ перемѣнился! Какъ пополнѣлъ, оплѣшивѣлъ, какъ сталъ румянъ! Съ какимъ достоинствомъ онъ носитъ свое выпуклое брюшко и орденъ на шеѣ! Глаза его сіяли радостью. Онъ съ особеннымъ чувствомъ поцѣловалъ руку у тетки и пожалъ дядину руку...

— Откуда?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Угадайте,—отвѣчалъ Александръ значительно.

— У тебя сегодня какая-то особенная прыть,— сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на него вопросительно.

— Бьюсь объ закладъ, что не угадаете!— говорилъ Александръ.

— Лѣтъ десять или двѣнадцать назадъ, однажды ты, я помню, вотъ этакъ же вбѣжалъ ко мнѣ, — замѣтилъ Петръ Иванычъ:—еще разбилъ у меня что-то... тогда я сразу догадался, что ты влюбленъ, а теперь... ужели опять? Нѣтъ, не можетъ быть: ты слишкомъ уменъ, чтобъ...

Онъ взглянулъ на жену и вдругъ замолчалъ.

— Не угадываете?—спросилъ Александръ.

Дядя глядѣлъ на него и все думалъ.

— Ужъ не... женишься ли ты? — сказалъ онъ нерѣшительно.

— Угадали! — торжественно воскликнулъ Александръ. — Поздравьте меня.

— Въ самомъ дѣлѣ? На комъ?— спросили и дядя, и тетка.

— На дочери Александра Степаныча.

— Неужели? Да вѣдь она богатая невѣста, — сказалъ Петръ Иванычъ.—И отецъ... ничего?

тельно не приму! Чтобъ ты пересталъ трудиться, отличаться, богатѣть — и для меня! Боже сохрани! Я не стою этой жертвы! Прости меня: я была мелка для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оцѣнить твои высокія цѣли, благородные труды... Тебѣ не такую женщину надо было...

— Еще великодушіе!—сказалъ Петръ Иванычъ, пожимая плечами.—Мои намѣренія неизмѣнны, Лиза!

— Боже, Боже, что я надѣлала! Я была брошена, какъ камень на твоемъ пути; я мѣшаю тебѣ... Что за странная моя судьба!—прибавила она, почти съ отчаяніемъ. — Если человѣку не хочется, не нужно жить... неужели Богъ не сжалится, не возьметъ меня? Мѣшать тебѣ...

— Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизнью! Я хочу отдохнуть, успокоиться: а гдѣ я успокоюсь, какъ не наединѣ съ тобой?.. Мы поѣдемъ въ Италію.

— Петръ Иванычъ! — сказала она, почти плача: — ты добръ, благороденъ... я знаю, ты въ состояніи на великодушное притворство... но, можетъ-быть, жертва безполезна, можетъ-быть, ужъ... поздно, а ты бросишь свои дѣла...

— Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли,— возразилъ Петръ Иванычъ:—иначе, ты увидишь, что я не изъ желѣза созданъ... Я повторяю тебѣ, что я хочу жить не одной головой: во мнѣ еще не все застыло.

Она глядѣла на него пристально, съ недовѣрчивостью.

— И это... искренно? — спросила она, помолчавъ: — ты точно хочешь покоя, уѣзжаешь не для меня одной?

— Нѣтъ: и для себя.

— А если для меня, я ни за что, ни за что...

— Нѣтъ, нѣтъ! я нездоровъ, усталъ... хочу отдохнуть.

Она подала ему руку. Онъ съ жаромъ поцѣловалъ ее.

— Такъ ѣдемъ въ Италію?—спросилъ онъ.

— Хорошо, поѣдемъ,—отвѣчала она монотонно.

У Петра Иваныча — какъ гора съ плечъ. «Что-то будетъ!» подумалъ онъ.

Долго сидѣли они, не зная, что̀ сказать другъ другу. Неизвѣстно, кто первый прервалъ бы молчаніе, если бъ они оставались еще вдвоемъ. Но вотъ въ сосѣдней комнатѣ послышались торопливые шаги. Явился Александръ.

Какъ онъ перемѣнился! Какъ пополнѣлъ, оплѣшивѣлъ, какъ сталъ румянъ! Съ какимъ достоинствомъ онъ носитъ свое выпуклое брюшко и орденъ на шеѣ! Глаза его сіяли радостью. Онъ съ особеннымъ чувствомъ поцѣловалъ руку у тетки и пожалъ дядину руку...

— Откуда?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Угадайте,—отвѣчалъ Александръ значительно.

— У тебя сегодня какая-то особенная прыть,—сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на него вопросительно.

— Бьюсь объ закладъ, что не угадаете!—говорилъ Александръ.

— Лѣтъ десять или двѣнадцать назадъ, однажды ты, я помню, вотъ этакъ же вбѣжалъ ко мнѣ,—замѣтилъ Петръ Иванычъ:—еще разбилъ у меня что-то... тогда я сразу догадался, что ты влюбленъ, а теперь... ужели опять? Нѣтъ, не можетъ быть: ты слишкомъ уменъ, чтобъ...

Онъ взглянулъ на жену и вдругъ замолчалъ.

— Не угадываете?—спросилъ Александръ.

Дядя глядѣлъ на него и все думалъ.

— Ужъ не... женишься ли ты?—сказалъ онъ нерѣшительно.

— Угадали!—торжественно воскликнулъ Александръ.—Поздравьте меня.

— Въ самомъ дѣлѣ? На комъ?—спросили и дядя, и тетка.

— На дочери Александра Степаныча.

— Неужели? Да вѣдь она богатая невѣста,—сказалъ Петръ Иванычъ.—И отецъ... ничего?

— Я сейчасъ отъ нихъ. Отчего отцу не согласиться? Напротивъ, онъ со слезами на глазахъ выслушалъ мое предложеніе; обнялъ меня и сказалъ, что теперь онъ можетъ умереть спокойно: что онъ знаетъ, кому ввѣряетъ счастье дочери... «Идите, говоритъ, только по слѣдамъ вашего дядюшки!»

— Онъ сказалъ это? Видишь, и тутъ не безъ дядюшки!

— А что сказала дочь? — спросила Лизавета Александровна.

— Да... она... такъ какъ, знаете, всѣ дѣвицы, — отвѣчалъ Александръ: — ничего не сказала, только покраснѣла; а когда я взялъ ее за руку, такъ пальцы ея точно играли на фортепіано въ моей рукѣ... будто дрожали.

— Ничего не сказала! — замѣтила Лизавета Александровна. — Неужели вы не взяли на себя труда вывѣдать объ этомъ у ней до предложенія? Вамъ все равно? Зачѣмъ вы женитесь?

— Какъ зачѣмъ? Не все же такъ шататься! Одиночество наскучило; пришла пора, ma tante, усѣсться на мѣстѣ, основаться, обзавестись своимъ домкомъ, исполнить долгъ... Невѣста же хорошенькая, богатая... Да вотъ дядюшка скажетъ вамъ, зачѣмъ жениться: онъ такъ обстоятельно разсказываетъ...

Петръ Иванычъ, тихонько отъ жены, махнулъ ему рукой, чтобъ онъ не ссылался на него и молчалъ, но Александръ не замѣтилъ.

— А, можетъ-быть, вы не нравитесь ей? — говорила Лизавета Александровна: — можетъ-быть, она любить васъ не можетъ — что̀ вы на это скажете?

— Дядюшка, что бы сказать? Вы лучше меня говорите... Да вотъ, я приведу ваши же слова, — продолжалъ онъ, не замѣчая, что дядя вертѣлся на своемъ мѣстѣ и значительно кашлялъ, чтобъ замять эту рѣчь: — женишься по любви, — говорилъ Александръ: — любовь пройдетъ и будешь жить

привычкой; женишься не по любви—и придешь къ тому же результату: привыкнешь къ женѣ. Любовь любовью, а женитьба женитьбой; эти двѣ вещи не всегда сходятся, а лучше когда не сходятся... Не правда ли, дядюшка? вѣдь вы такъ учили...

Онъ взглянулъ на Петра Иваныча и вдругъ остановился, видя, что дядя глядитъ на него свирѣпо. Онъ, съ разинутымъ ртомъ, въ недоумѣніи, поглядѣлъ на тетку, потомъ опять на дядю и замолчалъ. Лизавета Александровна задумчиво покачала головой.

— Ну, такъ ты женишься?—сказалъ Петръ Иванычъ.— Вотъ теперь пора, съ Богомъ! А то хотѣлъ-было въ двадцать три года.

— Молодость, дядюшка, молодость!

— То-то молодость.

Александръ задумался и потомъ улыбнулся.

— Что ты?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Такъ: мнѣ пришла въ голову одна несообразность...

— Какая?

— Когда я любилъ... — отвѣчалъ Александръ въ раздумьи:—тогда женитьба не давалась...

— А теперь женишься, да любовь не дается,—прибавилъ дядя, и оба они засмѣялись.

— Изъ этого слѣдуетъ, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главнымъ...

Петръ Иванычъ опять сдѣлалъ ему звѣрское лицо. Александръ замолчалъ, не зная, что̀ подумать.

— Женишься на тридцать-пятомъ году,—говорилъ Петръ Иванычъ:—это въ порядкѣ. А помнишь, какъ ты тутъ бѣсновался въ конвульсіяхъ, кричалъ, что тебя возмущаютъ неравные браки, что невѣсту влекутъ, какъ жертву, убранную цвѣтами и алмазами, и толкаютъ въ объятія пожилого человѣка, бо̀льшею частью некрасиваго, съ лысиной. Покажи-ка голову.

— Молодость, молодость, дядюшка! Не понималъ сущности дѣла,—говорилъ Александръ, заглаживая рукой волосы.

— Сущность дѣла, — продолжалъ Петръ Иванычъ. — А бывало, помнишь, какъ ты былъ влюбленъ въ эту, какъ ее... Наташу, что ли? «Бѣшеная ревность, порывы, небесное блаженство»... куда все это дѣвалось?..

— Ну, ну, дядюшка, полноте! — говорилъ Александръ, краснѣя.

— Гдѣ «колоссальная страсть, слезы»?..

— Дядюшка!

— Что? Полно предаваться «искреннимъ изліяніямъ», полно рвать желтые цвѣты! «Одиночество наскучило»...

— О, если такъ, дядюшка, я докажу, что не я одинъ любилъ, бѣсновался, ревновалъ, плакалъ... позвольте, позвольте, у меня имѣется письменный документъ...

Онъ вынулъ изъ кармана бумажникъ и, порывшись довольно долго въ бумагахъ, вытащилъ какой-то ветхій, почти развалившійся и пожелтѣвшій листокъ бумаги.

— Вотъ, ma tante, — сказалъ онъ: — доказательство, что дядюшка не всегда былъ такой разсудительный, насмѣшливый и положительный человѣкъ. И онъ вѣдалъ искреннія изліянія и передавалъ ихъ не на гербовой бумагѣ, и притомъ особыми чернилами. Четыре года таскалъ я этотъ лоскутокъ съ собой и все ждалъ случая уличить дядюшку. Я-было и забылъ объ немъ, да вы же сами напомнили.

— Что за вздоръ? Я ничего не понимаю,—сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на лоскутокъ.

— А вотъ вглядитесь.

Александръ поднесъ бумажку къ глазамъ дяди. Вдругъ лицо Петра Иваныча потемнѣло.

— Отдай! отдай, Александръ!—закричалъ онъ торопливо и хотѣлъ схватить лоскутокъ. Но Александръ проворно отдернулъ руку. Лизавета Александровна съ любопытствомъ смотрѣла на нихъ.

— Нѣтъ, дядюшка, не отдамъ,—говорилъ Александръ:— пока не сознаетесь здѣсь, при тетушкѣ, что и вы когда-то любили, какъ я, какъ всѣ... Или иначе, этотъ документъ передается въ ея руки, въ вѣчный упрекъ вамъ.

— Варваръ! — закричалъ Петръ Иванычъ: — что ты дѣлаешь со мной?

— Вы не хотите?

— Ну, ну: любилъ. Подай.

— Нѣтъ, позвольте, что вы бѣсновались, ревновали?

— Ну, ревновалъ, бѣсновался... — говорилъ, морщась, Петръ Иванычъ.

— Плакали?

— Нѣтъ, не плакалъ.

— Неправда! я слышалъ отъ тетушки: признавайтесь.

— Языкъ не ворочается, Александръ: вотъ развѣ теперь заплачу.

— Ma tante! извольте документъ.

— Покажите, что̀ это такое? — спросила она, протягивая руку.

— Плакалъ, плакалъ! Подай!—отчаянно возопилъ Петръ Иванычъ.

— Надъ озеромъ?

— Надъ озеромъ.

— И рвали желтые цвѣты?

— Рвалъ. Ну тебя совсѣмъ! Подай.

— Нѣтъ не все: дайте честное слово, что вы предадите вѣчному забвенію мои глупости и перестанете колоть мнѣ ими глаза.

— Честное слово.

Александръ отдалъ лоскутокъ. Петръ Иванычъ схватилъ его, зажегъ спичку и тутъ же сжегъ бумажку.

— Скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, что это такое?—спросила Лизавета Александровна.

— Нѣтъ, милая, этого и на страшномъ судѣ не скажу,—

отвѣчалъ Петръ Иванычъ. — Да неужели я писалъ это? Быть не можетъ...

— Вы, дядюшка! — перебилъ Александръ: — Я, пожалуй, скажу, что тутъ написано: я наизусть знаю: «ангелъ», «обожаемая мною...»

— Александръ! Навѣкъ поссоримся! — закричалъ Петръ Иванычъ сердито.

— Краснѣютъ, какъ преступленія—и чего!—сказала Лизавета Александровна:—первой, нѣжной любви.

Она пожала плечами и отвернулась отъ нихъ.

— Въ этой любви такъ много... глупаго, — сказалъ Петръ Иванычъ мягко, вкрадчиво. — Вотъ у насъ съ тобой и помину не было объ искреннихъ изліяніяхъ, о цвѣтахъ, о прогулкахъ при лунѣ... а вѣдь ты любишь же меня...

— Да, я очень... привыкла къ тебѣ, — разсѣянно отвѣчала Лизавета Александровна.

Петръ Иванычъ началъ въ задумчивости гладить бакенбарды.

— Что, дядюшка,—спросилъ Александръ шопотомъ:— это такъ и надо?

Петръ Иванычъ мигнулъ ему, какъ-будто говоря: «молчи».

— Петру Иванычу простительно такъ думать и поступать,—сказала Лизавета Александровна:—онъ давно такой, и никто, я думаю, не зналъ его другимъ: а отъ васъ, Александръ, я не ожидала этой перемѣны...

Она вздохнула.

— О чемъ же вы вздохнули, ma tante? — спросилъ онъ.

— О прежнемъ Александрѣ,—отвѣчала она.

— Неужели вы желали бы, ma tante, чтобъ я остался такимъ, какимъ былъ лѣтъ десять назадъ?—возразилъ Александръ.—Дядюшка правду говоритъ, что эта глупая мечтательность...

Лицо Петра Иваныча начало свирѣпѣть. Александръ замолчалъ.

— Нѣтъ, не такимъ, — отвѣчала Лизавета Александровна: — какъ десять лѣтъ, а какъ четыре года назадъ: помните, какое письмо вы написали ко мнѣ изъ деревни? Какъ вы хороши были тамъ!

— Я, кажется, тоже мечталъ тамъ, — сказалъ Александръ.

— Нѣтъ, не мечтали. Тамъ вы поняли, растолковали себѣ жизнь; тамъ вы были прекрасны, благородны, умны... Зачѣмъ не остались такими? Зачѣмъ это было только на словахъ, на бумагѣ, а не на дѣлѣ? Это прекрасное мелькнуло, какъ солнце изъ-за тучъ — на одну минуту...

— Вы хотите сказать, ma tante, что теперь я... не уменъ и... не благороденъ...

— Боже сохрани! нѣтъ! Но теперь вы умны и благородны... по-другому, не по-моему...

— Что дѣлать, ma tante? — сказалъ съ громкимъ вздохомъ Александръ: — вѣкъ такой. Я иду наравнѣ съ вѣкомъ: нельзя же отставать! Вотъ я сошлюсь на дядюшку, приведу его слова...

— Александръ! — свирѣпо сказалъ Петръ Иванычъ: — пойдемъ на минуту ко мнѣ въ кабинетъ: мнѣ нужно сказать тебѣ одно слово.

Они пришли въ кабинетъ.

— Что это за страсть пришла тебѣ сегодня ссылаться на меня? — сказалъ Петръ Иванычъ. — Ты видишь, въ какомъ положеніи жена?

— Что такое? — съ испугомъ спросилъ Александръ.

— Ты ничего не замѣчаешь? А то, что я бросаю службу, дѣла — все, и ѣду съ ней въ Италію.

— Что вы, дядюшка! — въ изумленіи воскликнулъ Александръ: — вѣдь вамъ нынѣшній годъ слѣдуетъ въ тайные совѣтники...

— Да видишь: тайная совѣтница-то плоха...

Онъ раза три задумчиво прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ: — моя карьера кончена! Дѣло сдѣлано: судьба не велитъ идти дальше... пусть!

Онъ махнулъ рукой.

— Поговоримъ лучше о тебѣ, — сказалъ онъ: — ты, кажется, идешь по моимъ слѣдамъ...

— Пріятно бы, дядюшка! — прибавилъ Александръ.

— Да! — продолжалъ Петръ Иванычъ: — въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ — коллежскій совѣтникъ, хорошее казенное содержаніе, посторонними трудами зарабатываешь много денегъ, да еще во-время женишься на богатой... Да, Адуевы дѣлаютъ свое дѣло! Ты весь въ меня, только недостаетъ боли въ поясницѣ...

— Да ужъ иногда колетъ... — сказалъ Александръ, дотронувшись до спины.

— Все это прекрасно, разумѣется, кромѣ боли въ поясницѣ, — продолжалъ Петръ Иванычъ: — я, признаюсь, не думалъ, чтобы изъ тебя вышло что-нибудь путное, когда ты пріѣхалъ сюда. Ты все забиралъ себѣ въ голову замогильные вопросы, улеталъ въ небеса... но все прошло — и слава Богу! Я сказалъ бы тебѣ: продолжай идти во всемъ по моимъ слѣдамъ, только...

— Только что, дядюшка?

— Такъ... я хотѣлъ бы тебѣ дать нѣсколько совѣтовъ... насчетъ будущей твоей жены...

— Что такое? Это любопытно.

— Да нѣтъ! — продолжалъ Петръ Иванычъ, помолчавъ: — боюсь, какъ бы хуже не надѣлать. Дѣлай, какъ знаешь самъ: авось догадаешься... Поговоримъ лучше о твоей женитьбѣ. Говорятъ, у твоей невѣсты двѣсти тысячъ приданаго — правда ли!

— Да, двѣсти отецъ даетъ, да сто отъ матери осталось.

— Такъ это триста! — закричалъ Петръ Иванычъ почти съ испугомъ.

— Да еще онъ сегодня сказалъ, что всѣ свои пятьсотъ

душъ отдаетъ намъ теперь же въ полное распоряженіе, съ тѣмъ, чтобы выплачивать ему восемь тысячъ ежегодно. Жить будемъ вмѣстѣ.

Петръ Иванычъ вскочилъ съ креселъ съ несвойственною ему живостью.

— Постой, постой! — сказалъ онъ: — ты оглушилъ меня: такъ ли я слышалъ? повтори, сколько?

— Пятьсотъ душъ и триста тысячъ денегъ...—повторилъ Александръ.

— Ты... не шутишь?

— Какія шутки, дядюшка!

— И имѣніе... не заложено? — спросилъ Петръ Иванычъ тихо, не двигаясь съ мѣста.

— Нѣтъ.

Дядя, скрестивъ руки на груди, смотрѣлъ нѣсколько минутъ съ уваженіемъ на племянника.

— И карьера, и фортуна!—говорилъ онъ почти про себя, любуясь имъ: — И какая фортуна! и вдругъ! все, все!.. Александръ!—гордо, торжественно прибавилъ онъ:—ты моя кровь, ты—Адуевъ! Такъ и быть, обними меня!

И они обнялись.

— Это въ первый разъ, дядюшка!—сказалъ Александръ.

— И въ послѣдній!—отвѣчалъ Петръ Иванычъ:—это необыкновенный случай. Ну, неужели тебѣ и теперь не нужно презрѣннаго металла? Обратись же ко мнѣ хоть однажды.

— Ахъ! нужно, дядюшка: издержекъ множество. Если вы можете дать десять, пятнадцать тысячъ...

— Насилу, въ первый разъ! — провозгласилъ Петръ Иванычъ.

— И въ послѣдній, дядюшка: это необыкновенный случай!—сказалъ Александръ.

НАРУШЕНІЕ ВОЛИ.

ОЧЕРКЪ.

НАРУШЕНІЕ ВОЛИ.

(ОЧЕРКЪ.)

I.

Какое нарушеніе, чьей воли?—спроситъ читатель.

А можетъ-быть и не спроситъ, если дастъ себѣ трудъ прочитать собранія писемъ Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданныя Крамского и многія другія, то и дѣло появляющіяся въ печати.

Онъ увидитъ, что надъ умершими извѣстными, особенно знаменитыми писателями, учеными, художниками, вообще лицами съ болѣе или менѣе громкимъ именемъ, и просто съ именемъ, безцеремонно совершается явное нарушеніе ихъ воли.

Я бы не рѣшился, особенно печатно, высказывать только свое мнѣніе объ этомъ, которое не авторитетно и ни для того не обязательно: но я на каждомъ шагу встрѣчаю въ обществѣ подтвержденіе моего взгляда на обычай передавать черезъ печать публичному оглашенію частныя, интимныя письма, писанныя однимъ лицомъ къ другому—*и только для одного этого лица.*

Это значитъ переводить на бумагу интимный разговоръ между собою двухъ близкихъ лицъ, который при свиданіи вели бы въ кабинетѣ, на прогулкѣ, съ глазу на глазъ, не

подозрѣвая, конечно, никакой измѣны довѣрія съ обѣихъ сторонъ.

Но если одно изъ этихъ лицъ или кто-нибудь, случайно подслушавшій разговоръ, станетъ передавать его встрѣчному и поперечному—породитъ толки, пересуды,—такого вѣстуна заклеймили бы нелестнымъ именемъ сплетника. Общество не терпитъ сплетниковъ: ихъ остерегаются, запираютъ отъ нихъ двери. Тѣмъ болѣе осмотрительно, казалось бы, слѣдовало поступать въ печати, не упрочивая сплетни на весь міръ.

Между тѣмъ, это творится сплошь и рядомъ. Разныхъ извѣстныхъ, — не говоря уже о знаменитыхъ, — дѣятелей, писателей, ученыхъ, художниковъ, *заставляютъ самихъ*, въ ихъ письмахъ, не назначавшихся ими для печати, разсказывать о себѣ и о другихъ то, чего они, очевидно, вслухъ вовсе не желали разсказывать.

Едва умершій закроетъ глаза, какъ его такъ-называемые «друзья» пускаются на поиски его писемъ, собираютъ ихъ, приводятъ въ порядокъ, издаютъ. Можно судить, какая молвь выступаетъ наружу изъ сопоставленныхъ на очную ставку между собою разнообразныхъ, нерѣдко разнорѣчивыхъ отзывовъ, мнѣній, противъ воли и желанія писавшаго.

Онъ говорилъ на-ухо, такъ сказать, шопотомъ одному, другому, третьему, нерѣдко про того, другого, про третьяго—подъ вліяніемъ минутнаго неудовольствія, мимолетнаго раздраженія или, пожалуй, веселаго настроенія—и вдругъ это находитъ эхо, передается, какъ по телефону, во всеуслышаніе, идетъ въ потомство.

Такое нарушеніе воли авторовъ писемъ совершается безцеремонно, bravement, и не только надъ умершими лицами, иногда даже и надъ живыми. До того дошло самовольное обращеніе съ чужимъ добромъ и съ чужой волей. А умершему какъ будто говорятъ эти нарушители воли: «ты умеръ, мы и пропечатаемъ тебя до самой утробы; ты намъ теперь

не помѣха; праву нашему не препятствуй. Намъ это пріятно или полезно, т.-е. выгодно, и ты ничего не подѣлаешь».

Но по какому же праву совершается такое насиліе воли? Кто его далъ — и кому? Законъ, сколько мнѣ извѣстно, опредѣляетъ только право собственности: предоставляетъ владѣніе письмомъ, какъ вещественнымъ документомъ, тому лицу, къ которому оно писано. Это и справедливо. Оглашеніе же въ печати такихъ писемъ разрѣшается съ согласія наслѣдниковъ ихъ автора. Кажется, такъ сказано въ законѣ. Здѣсь опять очевидно принимается во вниманіе право матеріальной собственности; письма подведены подъ одно значеніе съ рукописями. А рукописи представляютъ извѣстную матеріальную цѣнность, денежный капиталъ, который могутъ представлять и письма. Стало-быть, законъ опредѣляетъ одну юридическую сторону вопроса: никакой другой онъ не касается. Онъ не обязанъ, да и не въ силахъ этого сдѣлать.

Я предоставляю рѣшать этотъ нерѣшенный и, можетъ-быть, неразрѣшимый вопросъ — даже съ юридической стороны — компетентнымъ людямъ, юристамъ, и обращаюсь къ другой сторонѣ, нравственной.

Если нѣтъ прямого закона въ общемъ сводѣ законовъ противъ нарушителей чужой воли и собственности, то не можетъ ли и не должно ли само общество дополнить пробѣлъ въ юридическомъ кодексѣ и преслѣдовать своимъ судомъ,—судомъ общественнаго мнѣнія,—за самовольное распоряженіе чужимъ именемъ и чужимъ добромъ.

Законы грубы: они, какъ полицейскіе солдаты, хватающіе за воротъ явныхъ и грубыхъ нарушителей порядка, карютъ за злоупотребленія по опредѣленной статьѣ уложенія; но они безсильны тамъ, гдѣ нарушеніе ихъ принимаетъ утонченный, вообще неуловимый для нихъ, сложный характеръ.

Судъ общественнаго мнѣнія вообще безпощаднѣе зако-

новъ уложенія о наказаніяхъ. Онъ проникаетъ во всѣ изгибы злоупотребленія, рѣдко допускаетъ смягчающія и жадно хватается за отягчающія обстоятельства. Тысячеглазый его аргусъ производитъ слѣдствіе, и судъ этотъ произноситъ безапелляціонный приговоръ. Кто-то изъ англійскихъ парламентскихъ ораторовъ, — помнится, Биконсфильдъ, — сказалъ, что нравы общества спасаютъ англичанъ отъ ихъ законовъ, т.-е., что англичанинъ-джентльменъ боится не кары закона по уложенію, которая можетъ и миновать виновнаго: онъ боится самого общества, которое за неблаговидный поступокъ выкинетъ его изъ своей среды,—и оттого онъ рѣдко является на скамьѣ подсудимыхъ, не отъ добродѣтели, которой часто у него и нѣтъ, а отъ крайней осторожности сдерживаетъ или прячетъ свои страсти.

II.

Въ прессѣ у насъ иногда затрогивался вопросъ о маніи печатать письма, но говорилось объ этомъ мало, равнодушно. Не такъ давно, кажется, въ прошломъ году, въ газетахъ упоминалось о томъ, какъ мало интересны и какъ не нужны безсодержательныя письма, печатаемыя потому только, что они писаны болѣе или менѣе извѣстнымъ лицомъ. Вообще же, при оглашеніи такихъ писемъ пресса остается равнодушной, какъ будто такъ оно и должно быть, или входитъ въ критическій анализъ самыхъ писемъ, а о томъ, почему, по какому праву они напечатаны — не заботится. Да ей и трудно было бы протестовать, такъ какъ она сама орудіе, участница въ нарушеніи права, проводница контрабандныхъ писемъ въ свѣтъ—слѣдовательно, первая отвѣтчица за нихъ передъ судомъ общественнаго мнѣнія.

Между тѣмъ въ публикѣ всякій разъ поднимается говоръ, иногда ропотъ по поводу появленія нѣкоторыхъ писемъ. Напримѣръ, о письмахъ Пушкина, изданныхъ подъ редакціей Тургенева, поднялся въ свое время въ обществѣ друж-

ный ропотъ противъ появленія многихъ писемъ поэта, очевидно не предназначенныхъ въ печать.

Удивлялись, что такія письма, черезъ «умѣлыя руки» (какъ выражались тогда) Тургенева, могли явиться въ свѣтъ.

За кѣмъ же, спрашивается, слѣдуетъ признать право на изданіе посмертныхъ писемъ писателя, художника и вообще дѣятеля съ извѣстнымъ именемъ? По офиціальному закону отнюдь не за тѣмъ, какъ сказано выше, къ кому писано письмо, а за наслѣдниками умершаго лица.

Но по законамъ нравственнаго права, по чувству справедливости, принадлежитъ ли и должно ли принадлежать такое право и близкимъ лицамъ, законнымъ наслѣдникамъ умершаго извѣстнаго лица? Имъ принадлежитъ, я полагаю, право протеста противъ диффамаціи, грубаго оскорбленія родственнаго имъ лица—имъ же должна, конечно, принадлежать вещественная стоимость всякой, между прочимъ, и литературной собственности на литературномъ рынкѣ. Этимъ, я полагаю, только и обусловливается предоставленіе согласію наслѣдниковъ автора на изданіе его писемъ.

Право же изданія писемъ должно оставаться навсегда за самимъ авторомъ: надо знать его волю, назначалъ ли онъ самъ, желалъ ли предавать гласности свои письма, и какія именно?

— А какъ же, спросятъ, это узнать, когда автора нѣтъ въ живыхъ, и когда онъ не сдѣлалъ никакого распоряженія насчетъ своей переписки при жизни?

Такой вопросъ или дѣтски-наивенъ, или казуистически лукавъ.

Всякій разумный, добросовѣстный, не чуждый литературнаго развитія читатель, пробѣгая письма Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданныя письма Крамского и многихъ другихъ, почти съ математическою точностью можетъ опредѣлить, пожелалъ ли бы авторъ, чтобы то и другое письмо, писанное къ женѣ, къ сыну, брату, вообще къ

близкому лицу, было оглашено на весь свѣтъ, чтобы всякій соръ выносился изъ избы и раскидывался по вѣтру всюду, и доходилъ далеко, въ потомство.

Но вѣдь, напримѣръ, Тургенева, замѣтятъ на это, просматривавшаго письма Пушкина для печати, нельзя упрекнуть ни въ недостаткѣ такта и деликатности, еще больше — въ неуваженіи къ памяти Пушкина.

Конечно, нѣтъ, — особенно въ неуваженіи. Напротивъ: Тургеневъ именно и погрѣшилъ, благодаря страстному поклоненію Пушкину. Мы всѣ, сверстники Тургенева, питомцы школы великаго поэта, вскормленные его поэзіею, мы всѣ сохранили въ себѣ навсегда обаяніе его генія: для насъ дорогъ каждый штрихъ его пера. Тургеневъ религіозно собиралъ и подбиралъ, какъ перлы, всякія писанныя поэтомъ строки, не бракуя, повидимому, ни одной, боясь проронить всякую мелочь. И всѣ ближайшіе современники и поклонники Пушкина были бы также въ затрудненіи, какъ поступить,—въ томъ числѣ, признаюсь, и я.

Для просмотра и редакціи писемъ Пушкина нуженъ былъ другой или другіе, менѣе страстные и болѣе безпристрастные почитатели великаго поэта. Впрочемъ, я слышалъ, что многія неудобныя письма исключены Тургеневымъ: зачѣмъ же не всѣ, до публики не касающіяся?

Если признать,—а этого нельзя не признать,—что всякое неизданное литературное произведеніе умершаго писателя, въ томъ числѣ и письма, помимо указанныхъ закономъ правъ на матеріальное обладаніе послѣдними, принадлежитъ всему обществу, то надо допустить, что и заботы объ изданіи бумагъ покойнаго, и контроль надъ ними должны раздѣлить съ наслѣдниками писателя или съ корреспондентами его и другіе, свѣдущіе въ подобныхъ дѣлахъ люди, особенно когда сами наслѣдники не имѣютъ надлежащаго знанія и опытности въ литературныхъ и издательскихъ вопросахъ. Конечно, найдется не одинъ, не два, а многія лица, раз-

умныя, добросовѣстныя и литературно-развитыя, какъ Тургеневъ, напримѣръ, которыя могутъ въ интересахъ литературы, коллегіально сослужить такую почетную службу — и публикѣ, и умершему писателю, и наслѣдникамъ его, не увлекаясь личнымъ слѣпымъ поклоненіемъ, очистить бумаги и письма его отъ лишняго, ненужнаго или слишкомъ интиммаго, иногда даже бросающаго тѣнь и на характеръ самого автора, и также на затрогиваемыхъ имъ въ письмахъ посторонних лицъ.

Стóитъ только пробѣжать письма Пушкина къ женѣ, чтобы заключить, что нарушеніе воли совершилось и надъ его памятью.

Самъ Пушкинъ намекаетъ на то. Въ 45-мъ письмѣ къ женѣ есть слѣдующія строки: «Пожалуйста,—пишетъ онъ:— не требуй отъ меня нѣжныхъ, любовныхъ писемъ. Мысль, что письма мои распечатываются и прочитываются на почтѣ, въ полиціи и т. д., охлаждаетъ меня, и я, поневолѣ, сухъ и скученъ».

Это доказываетъ, какъ Пушкинъ смотрѣлъ даже на немногихъ, предполагаемыхъ имъ, случайныхъ посторонних читателей того, чтó онъ пишетъ къ женѣ, т.-е., чтó онъ говоритъ ей наединѣ. Чтó если бы онъ могъ предвидѣть, что нѣжныя, иногда ревнивыя изліянія его сердца будутъ вынесены на свѣтъ, перенесены изъ секретнаго письма на книжный прилавокъ и станутъ предметомъ любопытства всѣхъ и каждаго?

Едва ли, можно смѣло заключить, написалъ бы онъ эти письма, или, если бы написалъ, то сухо и сдержанно, какъ подъ глазами почтовыхъ и полицейскихъ чиновниковъ. Въ письмахъ къ князю Виземскому, къ Соболевскому и къ другимъ у него нерѣдко играетъ необузданная веселость, сыплется то крупная, то мелкая соль остроумія, безпрестанныя эпиграммы въ прозѣ и стихахъ—желчные отзывы о противникахъ и также нескромные намеки и неупотребительныя

близкому лицу, было оглашено на весь свѣтъ, чтобы всякій соръ выносился изъ избы и раскидывался по вѣтру всюду, и доходилъ далеко, въ потомство.

Но вѣдь, напримѣръ, Тургенева, замѣтятъ на это, просматривавшаго письма Пушкина для печати, нельзя упрекнуть ни въ недостаткѣ такта и деликатности, еще больше — въ неуваженіи къ памяти Пушкина.

Конечно, нѣтъ, — особенно въ неуваженіи. Напротивъ: Тургеневъ именно и погрѣшилъ, благодаря страстному поклоненію Пушкину. Мы всѣ, сверстники Тургенева, питомцы школы великаго поэта, вскормленные его поэзіею, мы всѣ сохранили въ себѣ навсегда обаяніе его генія; для насъ дорогъ каждый штрихъ его пера. Тургеневъ религіозно собиралъ и подбиралъ, какъ перлы, всякія писанныя поэтомъ строки, не бракуя, повидимому, ни одной, боясь проронить всякую мелочь. И всѣ ближайшіе современники и поклонники Пушкина были бы также въ затрудненіи, какъ поступить,—въ томъ числѣ, признаюсь, и я.

Для просмотра и редакціи писемъ Пушкина нуженъ былъ другой или другіе, менѣе страстные и болѣе безпристрастные почитатели великаго поэта. Впрочемъ, я слышалъ, что многія неудобныя письма исключены Тургеневымъ: зачѣмъ же не всѣ, до публики не касающіяся?

Если признать,—а этого нельзя не признать,—что всякое неизданное литературное произведеніе умершаго писателя, въ томъ числѣ и письма, помимо указанныхъ закономъ правъ на матеріальное обладаніе послѣдними, принадлежитъ всему обществу, то надо допустить, что и заботы объ изданіи бумагъ покойнаго, и контроль надъ ними должны раздѣлить съ наслѣдниками писателя или съ корреспондентами его и другіе, свѣдущіе въ подобныхъ дѣлахъ люди, особенно когда сами наслѣдники не имѣютъ надлежащаго знанія и опытности въ литературныхъ и издательскихъ вопросахъ. Конечно, найдется не одинъ, не два, а многія лица, раз-

умныя, добросовѣстныя и литературно-развитыя, какъ Тургеневъ, напримѣръ, которыя могутъ въ интересахъ литературы, коллегіально сослужить такую почетную службу — и публикѣ, и умершему писателю, и наслѣдникамъ его, не увлекаясь личнымъ слѣпымъ поклоненіемъ, очистить бумаги и письма его отъ лишняго, ненужнаго или слишкомъ интимнаго, иногда даже бросающаго тѣнь и на характеръ самого автора, и также на затрогиваемыхъ имъ въ письмахъ постороннихъ лицъ.

Стòитъ только пробѣжать письма Пушкина къ женѣ, чтобы заключить, что нарушеніе воли совершилось и надъ его памятью.

Самъ Пушкинъ намекаетъ на то. Въ 45-мъ письмѣ къ женѣ есть слѣдующія строки: «Пожалуйста,—пишетъ онъ:— не требуй отъ меня нѣжныхъ, любовныхъ писемъ. Мысль, что письма мои распечатываются и прочитываются на почтѣ, въ полиціи и т. д., охлаждаетъ меня, и я, поневолѣ, сухъ и скученъ».

Это доказываетъ, кàкъ Пушкинъ смотрѣлъ даже на немногихъ, предполагаемыхъ имъ, случайныхъ постороннихъ читателей того, чтò онъ пишетъ къ женѣ, т.-е., чтò онъ говоритъ ей наединѣ. Чтò если бы онъ могъ предвидѣть, что нѣжныя, иногда ревнивыя изліянія его сердца будутъ вынесены на свѣтъ, перенесены изъ секретнаго письма на книжный прилавокъ и станутъ предметомъ любопытства всѣхъ и каждаго?

Едва ли, можно смѣло заключить, написалъ бы онъ эти письма, или, если бы написалъ, то сухо и сдержанно, какъ подъ глазами почтовыхъ и полицейскихъ чиновниковъ. Въ письмахъ къ князю Вяземскому, къ Соболевскому и къ другимъ у него нерѣдко играетъ необузданная веселость, сыплется то крупная, то мелкая соль остроумія, безпрестанныя эпиграммы въ прозѣ и стихахъ—желчные отзывы о противникахъ и также нескромные намеки и неупотребительныя

въ печати, кроющіяся подъ иниціалами слова. Словомъ, ведется вольный, живой, несдержанный разговоръ, свойственный веселой бесѣдѣ, иногда за трапезой и т. д.

Хотѣлъ ли бы авторъ предать всю эту шаловливую домашнюю бесѣду на услышаніе всему свѣту? Конечно, нѣтъ.

Отчего же, если такъ, спросятъ, онъ не уничтожилъ этой переписки? Оттого, можно съ достовѣрностью заключить, что ему, конечно, и въ голову не приходило, чтобы посторонніе глаза видѣли его нѣжныя, интимныя письма, чтобы чужія руки прикасались къ нимъ, копались въ нихъ, разбирали и распоряжались.

Можно жалѣть только,—и въ публикѣ, повторяю, при выходѣ писемъ въ свѣтъ, жалѣли и роптали, что интимныя письма поэта сдѣлались предметомъ любопытства всей читающей публики. Жалѣть и роптать имѣютъ право всѣ искренніе, глубокіе почитатели поэта на то, что не оказано должнаго вниманія къ его памяти.

Стало-быть,—спросятъ поклонники поэта и вообще почитатели умершаго дѣятеля, — все, что написано и не назначено самимъ писателемъ для печати, то и должно пропадать для свѣта? между тѣмъ въ перепискѣ блеститъ тотъ же талантъ. Посмотрите, какъ, напримѣръ, письма Пушкина игривы, какъ сверкаютъ искрами юмора, милыми капризами пера и т. д.

Талантъ остается талантомъ во всемъ, до чего коснется его перо. Юморъ, игра фантазіи, искры поэзіи сверкаютъ вездѣ, и даже иногда придаютъ поэтическій колоритъ фактамъ, т.-е. украшаютъ ихъ и этимъ порой грѣшатъ противъ голой истины. Художникъ является художникомъ вездѣ, даже въ мелочахъ. Не мало потрачено поэтомъ таланта на его многія эпиграммы, совершенно недоступныя печати. Нельзя же оглашать ихъ, какъ нельзя выводить на показъ хотя бы и умершаго поэта во всей неприглядной домашней

обстановкѣ, подслушивать и передавать его семейный, домашній, несдержанный разговоръ.

— Пропадать ли?

Конечно, пропадать, если авторъ самъ обрекъ письма на забвеніе, ибо поступить вопреки—значитъ, совершить грубое насиліе его воли.

Если же онъ не выразилъ своей воли, то, кажется, есть средство, безъ насилія послѣдней, удовлетворить поклонниковъ таланта и пріобрѣсти вкладъ въ литературу изъ крупицъ, падающихъ отъ богатой трапезы такого таланта, какъ Пушкинъ. Это—печатать не все сплошь да рядомъ, цѣликомъ, а съ строгимъ, добросовѣстнымъ выборомъ того, что цѣнно, вѣско, что имѣетъ общій интересъ, значеніе, какъ мысль, какъ авторитетный взглядъ писателя на тѣ или другіе вопросы науки, искусства, общественной жизни и т. д. словомъ, что достойно дополняетъ его сочиненія. Не мало, конечно, найдется примѣровъ въ печати ссылокъ на письма извѣстныхъ дѣятелей, извлеченій, выписокъ для всѣхъ интересныхъ, безъ примѣси множества или ненужныхъ, или интимныхъ подробностей. Я не говорю уже о письмахъ, писанныхъ цѣликомъ на извѣстную тему, какъ, напримѣръ, недавно найденное въ бумагахъ Жуковскаго письмо Гоголя, выражающее полный взглядъ автора на искусство. Есть цѣлая литература въ формѣ писемъ двухъ лицъ между собою, посвященная тѣмъ или другимъ вопросамъ. Эти письма прямо назначались авторами ихъ для свѣта и составляютъ чистый вкладъ въ литературу.

Но то сочиненія, назначенныя для печати, а не частныя, писанныя къ одному лицу и для одного лица. Въ одномъ черновомъ письмѣ (къ *неизвѣстной дамѣ*), найденномъ въ бумагахъ Пушкина, онъ говоритъ: «не показывайте этого письма никому, кромѣ тѣхъ, кого я люблю, и кто принимаетъ во мнѣ участіе не изъ любопытства, а по дружбѣ». Онъ самъ предостерегаетъ отъ оглашенія его переписки

между равнодушными, посторонними ему, для праздной забавы, для удовлетворенія ихъ любопытства.

Противъ гласности мудрено возставать, какъ противъ Архимедова рычага, по-своему двигающаго міромъ, но есть такіе уголки въ частной жизни, которыхъ не долженъ касаться этотъ рычагъ. Если въ самой природѣ есть тайны, то въ людской жизни есть свои наготы, гдѣ необходимо покрывало; этого требуетъ простая пристойность. Я разумѣю индивидуальную, частную жизнь, которая должна быть защищена, ограждена, respectée (говоря непереводимымъ въ этомъ смыслѣ французскимъ словомъ); это основной законъ общежитія. Типично общественная жизнь доступна всякому наблюдателю, мыслителю, ученому, писателю, художнику, которые изучаютъ, разрабатываютъ и изображаютъ со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ деталяхъ, никого лично и индивидуально не оскорбляя, не задѣвая и не насилуя чужой воли и правъ.

Какъ же,—замѣтятъ на это,—за границей сплошь да рядомъ печатаются письма отъ живыхъ, писанныя къ одному лицу и для одного лица, и этотъ обычай не находятъ предосудительнымъ. Тамъ на частныя письма нерѣдко ссылаются какъ на улики въ пререканіяхъ, въ борьбѣ разныхъ политическихъ партій, которыхъ у насъ нѣтъ, или письма приводятся какъ свидѣтельства при судебныхъ процессахъ, что̀ бываетъ и у насъ, и что̀ иногда необходимо и неизбѣжно, напримѣръ, въ уголовномъ и другихъ процессахъ. Про такія письма и говорить нечего. Есть историческія письма, есть цѣлая ученая литература писемъ; они къ дѣлу не идутъ. Оглашеніе же интимной частной переписки просто для любопытства публики, нежелательное для автора, хотя бы и умершаго, такъ же неблаговидно за границей, какъ и у насъ.

Въ Англіи, если не ошибаюсь, есть законъ, запрещающій касаться въ печати подробностей домашней, семейной жизни

частнаго лица, разумѣется, безъ его согласія, хотя бы послѣднія и не заключали въ себѣ ничего предосудительнаго. Домъ англичанина, его home—это святыня, недоступная для любопытства публики. Не худо бы перенять это хорошее правило и намъ, такимъ охотникамъ перенимать все чужое!

Надъ самимъ Тургеневымъ, редакторомъ Пушкинскихъ писемъ, совершилось, по смерти его, хотя въ слабой степени, то же самое, что допущено имъ въ письмахъ поэта. Несмотря на то, что письма Тургенева прошли черезъ руки нѣсколькихъ лицъ, подъ редакціей стараго и опытнаго литератора В. П. Гаевскаго—и тутъ проскользнуло нѣсколько писемъ (напримѣръ, на стр. 133, 259, 307, 400 — письма 105, 203, 244, 339), которыхъ Тургеневъ, конечно, не разрѣшилъ бы печатать, и много другихъ, гдѣ онъ дѣлаетъ рѣзкіе и иногда несправедливые отзывы о людяхъ или сочиненіяхъ. Въ письмѣ 339-мъ къ Я. П. Полонскому, Тургеневъ, по поводу выраженнаго имъ въ одномъ частномъ письмѣ мнѣнія о Сарѣ Бернаръ, проскользнувшаго въ печать, говоритъ: «изъ всего этого вышла грязная сплетня, перебранка... Я не привыкъ отказываться отъ своихъ мнѣній и могу только сожалѣть о томъ, что *высказанныя частнымъ образомъ*, они (мнѣнія) вдругъ *являются въ публикѣ*, благодаря нѣкоторому отсутствію деликатности».

Вотъ какъ самъ Тургеневъ выразилъ неудобство оглашенія нѣкоторыхъ частныхъ писемъ. Онъ объясняетъ это неделикатностью.

Когда онъ писалъ это, то, конечно, не предвидѣлъ, сколько высказаннаго имъ самимъ частнымъ образомъ, такъ-сказать, на-ухо, пріятелямъ, всплыветъ наружу передъ всѣми, не въ далекомъ будущемъ, а вслѣдъ за его гробомъ.

Группа издателей его писемъ, вѣроятно, тоже увлекалась, изъ участія къ автору и его перу, желаніемъ подѣлиться неизданными произведеніями этого пера съ многочисленными его почитателями, и исключивъ, по слухамъ, очень

многое, оставила, однако, кое-что немногое, несовсѣмъ удобноедля оглашенія. Кромѣ выше отмѣченныхъ писемъ, много есть такихъ, которыя лишены содержанія, не имѣютъ ничего общаго съ литературой; напримѣръ, ласковыя изліянія къ пріятелямъ, шутливыя краткія замѣтки, записки въ деревню изъ-за границы, или изъ деревни, мелкія замѣтки по хозяйству, съ разными мелкими порученіями о полученіи денегъ, о присылкѣ книгъ и т. п., ни для кого не интересныя.

И такихъ писемъ масса. Они загромоздили и засорили, такъ сказать, переписку, которая могла бы быть интереснѣе, если выкинуть лишнее. Вышла пухлая, объемистая книга, какъ биткомъ набитый омнибусъ, которую не только читать, но тяжело въ рукахъ держать.

Набросанныя, такимъ образомъ, въ кучу, эти письма, такъ же какъ и письма Пушкина, при чтеніи, à la longue, цѣликомъ, производятъ крайнее утомленіе, несмотря на мастерской языкъ, на искры остроумія, свойственныя такимъ талантамъ. Письма эти читаются вовсе не такъ, какъ художественныя произведенія тѣхъ же авторовъ, не потому только, что они небрежны, что авторъ является во многихъ на-распашку. Читая ихъ, какъ будто ѣдешь по нескончаемому парку, съ длинными однообразными аллеями, гдѣ нѣтъ остановки, центра, не на чемъ успокоиться глазу. Можно возвратиться назадъ и начать съ первыхъ страницъ, или броситься въ конецъ и читать обратно—все одно и одно. Точно льется непрерывный, однообразно журчащій каскадъ. Читатель пробѣгаетъ письма, какъ равнодушный прохожій зѣваетъ на улицѣ мимоходомъ въ нижніе этажи домовъ; тамъ сидятъ за обѣдомъ, тамъ играютъ въ карты, тутъ занимаются музыкой и т. д. Кажется, разнообразно. Онъ мелькомъ взглядываетъ въ одно окно, другое, третье и идетъ дальше, и, выбравшись на просторъ, онъ забываетъ все это разнообразіе, всю пестроту, не знаетъ, на чемъ остановиться,

все смѣшивается въ безцвѣтное пятно, и онъ чувствуетъ себя только крайне утомленнымъ, не вынося никакого цѣльнаго впечатлѣнія.

III.

Теперь слѣдуетъ упомянуть еще о письмахъ Кавелина и Крамского. Издатель первыхъ, помѣщая ихъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1886—1887 г. подъ заглавіемъ *«Матеріалы для біографіи Кавелина»*, оговорился, что печатаетъ письма, между прочимъ, и къ сестрѣ Кавелина, своей матери, за исключеніемъ того, что̀ имѣетъ чисто-семейный интересъ.

И это сдѣлано. Письма безупречны въ этомъ отношеніи. Внѣ обще-интересныхъ вопросовъ, отведено только незначительное мѣсто нѣжной любви Кавелина къ его дочери, въ свою очередь бывшей извѣстною въ петербургскомъ педагогическомъ мірѣ.

Остальное же все въ его письмахъ всецѣло просится въ свѣтъ, въ публику, въ литературу: все писано будто не къ одному кому-нибудь, а ко всѣмъ.

Это не письма, это бесѣды умнаго, даровитаго профессора, такъ сказать, лекціи, занимательныя, поучительныя для всѣхъ, хотя тутъ нѣтъ ни блеска, ни остротъ, ни юмора, неожиданной игры пера и искръ фантазіи, какъ у Пушкина, Тургенева. Но зато все вѣско, цѣнно̀, авторитетно, о чемъ бы онъ ни писалъ: о политикѣ, по соціальнымъ, экономическимъ, сельско-хозяйственнымъ вопросамъ. Сколько ума, глубокихъ философскихъ афоризмовъ, вѣрныхъ практическихъ замѣтокъ о разныхъ общественныхъ явленіяхъ, болѣе всего объ устройствѣ быта крестьянъ, да и обо всемъ!

И во всѣхъ этихъ вопросахъ свѣтится душевная теплота и къ людямъ вообще, и къ общему благу. Ею согрѣты всѣ идеи автора, всѣ стремленія, весь его анализъ ученой и общественной дѣятельности. Это будто не перомъ писано, сама кровь говоритъ; справедливо замѣчаетъ его издатель, что въ его натурѣ было даже больше любви къ идеямъ,

чѣмъ къ людямъ. Это ученый идеалистъ, и главный идеалъ его—наука, прогрессъ и общее благо. О личностяхъ, объ интимностяхъ у него почти и помину нѣтъ.

Письма Крамского также не излишни, какъ вкладъ въ литературу. Это—цѣлый сводъ мнѣній, взглядовъ, приговоровъ, анализа произведеній живописи и старыхъ, и новыхъ, и новѣйшихъ мастеровъ до его современниковъ, сверстниковъ, товарищей и учениковъ по кисти включительно. Самъ старый мастеръ, онъ съ любовью смотритъ на нарождающіеся юные таланты, хвалитъ, одобряетъ, иногда порицаетъ, словомъ—учитъ. Онъ столько же, если не больше, учитель искусства, сколько художникъ. Умъ, логика, изложеніе—все есть на его литературной палитрѣ. Онъ философъ, цѣнитель талантовъ и самой живописи.

Издатель этихъ писемъ, В. В. Стасовъ, оказалъ услугу собраніемъ ихъ, и въ предисловіи довольно вѣрно опредѣлилъ характеръ, значеніе и достоинства писемъ. Но... и тутъ есть *но*—и большое.

Меня упрекнутъ, пожалуй: «вы находите же, что частныя письма, писанныя къ одному лицу, имѣютъ свою цѣнность, и сами не нахвалитесь письмами хоть бы Крамского: какъ же не слѣдуетъ издавать такія письма?!»...

И теперь повторю, что не слѣдуетъ издавать—лишнее въ письмахъ, что̀ мало интересно для всѣхъ. Письма Крамского могли бы составлять практическое руководство для художника, цѣлый курсъ живописи—съ умозрительной, эстетической и критической сторонъ, который благотворно дѣйствовалъ бы на развитіе всякаго интеллигентнаго, сознательнаго художника, не слѣпо мажущаго кистью что̀ попадется на глаза. Но въ письмахъ Крамского много лишняго, имѣющаго мало прямого отношенія къ искусству. Все это, безъ вреда интересу книги, можно бы было исключить, отъ этого книга только бы выиграла. Писемъ масса—это цѣлый архивъ, гдѣ теряешься, утопаешь какъ въ волнахъ. И самъ авторъ

такъ разбросанъ въ этомъ безконечномъ анализѣ взглядовъ и мнѣній, въ мелкой критической оцѣнкѣ, что почти не приходитъ къ общимъ выводамъ. Не видишь точекъ опоры въ его взглядахъ на искусство: все тонетъ въ пучинѣ отдѣльныхъ афоризмовъ объ искусствѣ, въ опредѣленіи школъ, направленій, характера искусства за границей и у насъ... Это лабиринтъ безъ всякой руководящей нити. Не знаешь, гдѣ, на чемъ сосредоточиться въ хаотическомъ смѣшеніи, и получаешь вмѣсто чего-то цѣлаго, сжатаго, опредѣленнаго, теоретическаго и практическаго руководства для художника— нѣчто въ родѣ справочной книги, въ которой и не добудешь нужной справки, или если добудешь, то случайно, невзначай.

Нельзя не пожалѣть, что этотъ громадный архивъ писемъ не былъ подвергнутъ, въ интересахъ самого Крамского, художниковъ и читающей публики и искусства, болѣе тщательному разбору и классификаціи писемъ. Но нельзя не пожалѣть, конечно, и издателя, который, при собираніи и изданіи писемъ, по словамъ его, «съ большимъ спѣхомъ» совершилъ поистинѣ гигантскую работу.

Вотъ этотъ «спѣхъ» и былъ причиной повальнаго изданія писемъ. А тутъ мало опять-таки одного человѣка—нужна цѣлая группа горячихъ любителей и знатоковъ, и цѣнителей искусства.

Письма дышатъ такою наполняющею всю душу художника любовью къ искусству и притомъ сознательною, разумною и горячею любовью, какой, по словамъ В. В. Стасова (въ предисловіи), «не выказывалъ въ отношеніи къ искусству своей страны ни одинъ европейскій критикъ».

Такая любовь, и такъ умно и горячо высказанная, есть полное и всецѣлое выраженіе и воплощеніе творческаго призванія. Она способна заразить читателя-художника и довершить высшее и конечное развитіе таланта.

«Все это такъ: но покороче бы, покороче!» — скажетъ

читатель, утомленный чтеніемъ. Лишнія письма, чуждыя главнымъ мотивамъ книги, являются, какъ чужіе гости, въ дружескій тѣсный кружокъ и охлаждаютъ читателя, мѣшаютъ сосредоточиться на разбросанныхъ взглядахъ автора на искусство, свести его отдѣльныя, отрывочныя мнѣнія, критическія замѣтки къ какому-нибудь центру. Есть и такія письма, которыя Крамской, конечно, не разрѣшилъ бы печатать, напримѣръ нѣкоторыя, чисто семейнаго характера письма. Хотя издатель въ предисловіи и оговаривается, что такихъ немного, и что тѣ личности, которыхъ Крамской неосторожно касался перомъ, сами «великодушно» разрѣшили печатать, но тутъ дѣло не въ согласіи и въ великодушіи затронутыхъ лицъ, а въ томъ, не противорѣчитъ ли оглашеніе такихъ писемъ волѣ самого Крамского. Я стою на уваженіи къ памяти и желанію умершаго.

Мотивы собиранія такихъ писемъ послѣ умершаго лица понятны: это, прежде всего, я полагаю, боязнь, чтобы послѣднія не затерялись отъ времени и небреженія. «Спѣхъ» же изданія ихъ друзьями покойнаго менѣе извинителенъ. Онъ не даетъ осмотрѣться и разобраться въ архивѣ бумагъ и писемъ, изъ которыхъ, отчасти по этой причинѣ, много и попадаетъ не имѣющихъ никакого значенія—ни для біографіи писателя или художника, ни для исторіи литературы и искусства и наконецъ—слишкомъ откровенныя и неудобныя, какъ для памяти самого автора, такъ и для другихъ затронутыхъ лицъ. Подобныя письма или копіи съ нихъ могли бы до поры до времени храниться подъ спудомъ, напримѣръ, хоть въ Императорской публичной библіотекѣ или частныхъ книгохранилищахъ, которыя не отказали бы въ гостепріимствѣ всякимъ важнымъ или интереснымъ бумагамъ.

Пробѣгая нѣкоторыя письма умершихъ, съ ѣдкими, насмѣшливыми или презрительными отзывами о разныхъ лицахъ, читатель, чего добраго, заподозритъ въ авторѣ ихъ писемъ злое

сердце, человѣконенавидѣніе, дурной характеръ — или же двуличность, когда прочтетъ въ этой кучѣ противоположные мягкіе отзывы о тѣхъ же лицахъ, — и ничего не бывало. Всѣ эти отзывы суть минутныя вспышки, чисто нервныя движенія, не имѣющія ничего общаго съ основными чертами характера, но могутъ быть приняты за выраженіе послѣдняго и ввести въ заблужденіе. Мало ли что̀ говорится въ минуту раздраженія, временной легкомысленной досады, наединѣ, вѣрному товарищу—о томъ, о другомъ, о третьемъ. И эти соломинки тщательно подбираются и заносятся въ формуляръ его права. По этому и судятъ иногда всего человѣка, забывая, что языкъ данъ, по извѣстному афоризму, между прочимъ, и для того, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому всего легче заблуждаться, полагаясь на частную интимную переписку писателя или художника, или кого бы то ни было, съ разными лицами. Онъ часто говоритъ разное, выражая себя такъ или иначе, какъ бываетъ и въ изустномъ разговорѣ, смотря до собесѣднику. Дѣло не касается какихъ-нибудь капитальныхъ сторонъ характера, убѣжденій, нравовъ и проч.; просто, имъ нерѣдко руководитъ личный взглядъ на того, кому онъ говоритъ; кое-что онъ умалчиваетъ или измѣняетъ свою настоящую мысль такъ или иначе, примѣняясь къ характеру человѣка. Ужели слѣдуетъ все сказанное летучимъ перомъ, такъ-сказать, на вѣтеръ, принимать на вѣру, дѣлать серьезныя заключенія о писавшемъ?

А литературные слѣдователи дѣлаютъ это; они пойдутъ серьезно заключать: вотъ-де онъ въ томъ случаѣ объ этомъ сказалъ то, а въ другомъ — другое, противоположное, изъ этого-де слѣдуетъ... Ничего изъ этого не слѣдуетъ... Въ одномъ случаѣ онъ былъ подъ однимъ впечатлѣніемъ, а въ другомъ—подъ другимъ, и мало ли что̀ онъ сказалъ!

И выходитъ, что частная переписка общественнаго дѣятеля съ разными лицами не всегда представляетъ «цѣнный

автобіографическій матеріалъ», какъ говоритъ предисловіе, **напримѣръ**, къ письмамъ Тургенева.

И говоря правду, въ обширномъ смыслѣ, я не понимаю, а если и понимаю, то не сочувствую стремленію рыться глубоко въ частной, интимной жизни писателя, художника, ученаго: еще пусть допытывались бы, и это не трудно, гдѣ онъ учился, что̀ читалъ, какъ работалъ и т. п.; а то хотятъ знать всѣ мелочи: что̀ онъ ѣлъ, пилъ, какія имѣлъ привычки и прочее, вовсе къ дѣлу не идущее. Къ чему тутъ частная жизнь? Зачѣмъ, напримѣръ, знать, что Байронъ былъ не строгой нравственности, что Жоржъ-Зандъ носила въ молодости мужской костюмъ и отличалась разными капризами... а Руссо былъ просто—что называется—рукой махнуть! Поэтъ, ученый, живописецъ, ваятель выражаютъ то̀ или другое, что̀ они хотѣли выразить такъ или иначе въ своихъ твореніяхъ, и надо бы, по здравому смыслу и чувству справедливости, довольствоваться тѣмъ, что̀ выражено въ книгахъ, поэзіи, картинахъ и изваяніяхъ этихъ дѣятелей, и подвергать послѣднія суду критики за выраженное ими. Нѣтъ, начнутъ добираться, каковъ самъ былъ дѣятель, разбираютъ связь писателя или художника съ его произведеніями, согласенъ ли его характеръ, нравственныя свойства съ тѣмъ, что̀ имъ выражено, и почему, и какъ? И пойдутъ, и пойдутъ — судить, трепать его, казнить или миловать. А потребно едино: *какъ* и *чѣмъ* онъ служилъ наукѣ, искусству, какими произведеніями или подвигами, — а все другое, закулисное въ частной жизни, нужно, кажется, больше всего самимъ изыскателямъ,—чтобы себя показать, свой умъ, стойкость и вѣрность суда и т. п.

Даже и въ литературныхъ критическихъ отзывахъ Пушкина, Тургенева, о тѣхъ или другихъ произведеніяхъ литературы, не всегда звучитъ вѣрность взгляда, прямота и искренность. Къ произведеніямъ своего корреспондента, такъ-сказать, въ лицо, авторы писемъ большею частью

относятся мягко, лестно, пріятно; какую-нибудь литературную мелочь разбираютъ серьезно, важно, возводятъ чуть не въ перлъ созданія. А «въ сторону», какъ на сценѣ, иногда срывается эпиграмма. Слѣдовательно, и критической оцѣнкѣ произведеній литературы и живописи, разсѣянной въ письмахъ, придавать особеннаго вѣса нельзя. Издатель писемъ Крамского дѣлаетъ въ предисловіи также замѣчаніе о «невѣрности въ иныхъ случаяхъ сужденій послѣднихъ о художникахъ и художественныхъ произведеніяхъ», и упоминаетъ, что Крамской иногда тоже бывалъ «несправедливъ къ людямъ». Очень мало,—говоритъ онъ,—но дѣйствительно бывалъ, какъ показываютъ письма.

IV.

Я сказалъ выше о мотивахъ, побуждающихъ издателей, друзей автора, собирать письма отъ его корреспондентовъ: это—сохранить для современныхъ читателей и для потомства полный образъ писателя или художника. Цѣль, конечно, хорошая, но она, какъ я сейчасъ сказалъ, рѣдко достигаетъ желаемаго, а скорѣе ведетъ къ противному результату. Писатель по натурѣ своей словоохотливъ, изліятеленъ; его тянетъ къ перу тамъ, гдѣ онъ (я говорю о письмахъ) не связанъ ни содержаніемъ, ни планомъ, ни техникой. Онъ не стѣсняется. Мысль и воображеніе играютъ что хотятъ, какъ въ разговорѣ наединѣ, онъ пишетъ вольно, съ плеча, сверкая нечаянно то умомъ, то фантазіей, то юморомъ. И этимъ удовлетворяетъ прежде всего самого себя, удовлетворяетъ потребности излиться, какъ музыкантъ, встрѣчая подъ рукой инструментъ, играетъ, живописецъ чертитъ на лежащей случайно на столѣ бумагѣ карандашомъ какой-нибудь эскизъ.

Гдѣ же тутъ искать реальной вѣрности съ фактической стороной жизни? Это только своего рода художественные штрихи, наброски, которые, конечно, можно, если они интересны для всѣхъ, собрать и огласить, подъ двумя непре-

мѣнными условіями: во-первыхъ, *могли ли бы желать авторы огласить ихъ въ печати;* и, во-вторыхъ, *не задѣты ли за живое другія личности.* Эти вопросы должны служить заповѣдью для умныхъ и добросовѣстныхъ издателей.

Прошу имѣть въ виду, что я отнюдь не ратую за умолчаніе писемъ quand même; я только противъ выворачиванія автора наизнанку, что не можетъ не портить цѣльности его образа и характера, не разочаровывать его почитателей и притомъ несправедливо. Потомъ я — противъ обремененія прессы ненужнымъ лишнимъ балластомъ, только утомляющимъ читателя, и особенно, конечно, противъ всякихъ злоупотребленій, нескромностей и беззастѣнчивыхъ противъ автора писемъ поступковъ.

Въ одномъ моемъ письмѣ (появившемся въ печати, мимоходомъ скажу, неожиданно для меня самого, въ альбомѣ: «Мои знакомые», изданномъ при *Русской Старинѣ*), писанномъ, кажется, давно, я выразилъ сожалѣніе, что писатель по смерти является не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ хотѣлъ являться въ свѣтъ, что разные литературные гробокопатели разбираютъ его по мелочамъ и нарушаютъ цѣльность его образа, какимъ онъ думалъ явить себя передъ публикой и потомствомъ. (Я не помню редакціи этого письма, а книги у меня подъ рукой нѣтъ; но смыслъ вѣренъ.) Les beaux esprits se rencontrent, и я очень радъ, что выраженное въ этомъ моемъ письмѣ мнѣніе недавно нашло подтвержденіе въ печати мнѣніемъ о томъ же одного извѣстнаго литератора; значитъ, въ этомъ мнѣніи есть правда. Я держусь этой мысли и теперь, и буду ея держаться. Въ самомъ дѣлѣ, пусть судитъ читатель: писатель проявляетъ себя во всеоружіи своего таланта, приноситъ зрѣлыя, глубоко-обдуманныя и тщательно обработанныя созданія, является цѣльнымъ, полнымъ, какъ монументальное изваяніе, образомъ и хочетъ этимъ произвести ожидаемое имъ впечатлѣніе. Въ этомъ цѣль его дѣятельности, его гордость,

его награда, его слава. А литературные археологи возьмутъ да и выкопаютъ какой-нибудь набросокъ, стихъ, фразу, страницу, словомъ, все отброшенное, непригодное художнику, что̀ въ его черновой работѣ не вошло въ дѣло, что̀ выметается обыкновенно изъ мастерской. Зачѣмъ? Говорятъ— интересно, даже поучительно, какъ онъ работалъ у себя въ мастерской, что̀ предполагалъ первоначально и что̀ отвергнулъ потомъ. Полезно-де изучать пріемы творчества и т. д.

И все неправда. Пользы никакой; пріемамъ творчества не научишься. У всякаго творца есть свои пріемы. Можно только подражать внѣшнимъ пріемамъ, но это ни къ чему не ведетъ, а въ работу творческаго духа проникнуть нельзя. Между тѣмъ этими отбросами художника нарушается цѣльность его художественнаго образа. Онъ хотѣлъ бы явиться въ торжественныхъ одеждахъ художественной зрѣлости, а тутъ рядомъ показываютъ его дѣтскія пеленки, курточку, каракули, которыя онъ чертилъ ребенкомъ, и говорятъ: «вотъ онъ какимъ былъ младенцемъ, юношей!»

Къ чему это? Сколько ненужнаго дѣлаютъ люди, взрослые, умные, иногда какъ будто съ виду и дѣловые, вымышляя это ненужное, выискивая его иногда въ потѣ лица! Для чего, спросите: любопытно, говорятъ: такой замѣчательный дѣятель, слѣдовательно — и все, что̀ его касается, тоже замѣчательно... Нѣтъ, не слѣдовательно и не все. Пусть бы отыскивали неизданныя рукописи или цѣнные отрывки, свидѣтельствующіе о полномъ талантѣ писателя, наконецъ, замѣчательныя цѣлыя строфы, страницы, все-таки подъ условіемъ, что авторъ хотѣлъ, да не успѣлъ огласить ихъ— нѣтъ! иногда полустроки, выраженія, даже намѣренія его, какъ онъ сначала задумывалъ и какъ отдумалъ и т. д. И все потому, что «любопытно», т.-е. для удовлетворенія празднаго любопытства толпы дробятъ писателя на куски и портятъ величавую цѣлость его фигуры. «Вѣтреное племя!» невольно скажешь съ поэтомъ.

По какому праву это дѣлается, не нужно и спрашивать. Чѣмъ руководствуется изыскатель оставленнаго наслѣдства писателя или художника? Да тѣмъ же, чѣмъ и издатели посмертныхъ писемъ, напримѣръ, Пушкина, Тургенева и другихъ, не предназначенныхъ самими авторами для печати.

Какъ тѣло писателя дѣлается добычею анатомическаго ножа, для опредѣленія болѣзни или для судебной медицины, и оно потомъ предается землѣ и истлѣваетъ; такому же процессу хотятъ подвергнуть и духъ писателя, его безплотный нравственный организмъ, свершаютъ насиліе надъ его умомъ, волей и сердцемъ!

Какъ будто это одно и то же! Любившія нѣжно, близкія покойному лица препятствуютъ, сколько могутъ, даже и тѣло подвергать анатомическому ножу. А тутъ разсѣкаютъ его духъ! Ты умеръ, думаютъ его друзья, почитатели, поклонники его таланта, его издатели, слѣдовательно и твои мысли, твоя воля, твой духъ — наше достояніе. Мы заставимъ тебя *высказывать твоими же словами*, чего ты не сказалъ бы самъ; ты такъ же добыча могилы, какъ твое тѣло; ты болѣе не принадлежишь себѣ, мы взроемъ всю твою жизнь—и все предадимъ любовѣдѣнію и любопытству толпы. Это-де значитъ изучать жизнь.

Вѣроятно, такъ и думаютъ равнодушные къ умершему люди, поступая безцеремонно съ его волей и памятью послѣ смерти. Пусть бы изучали его со стороны, если ужъ это необходимо, собирали свѣдѣнія, факты, но зачѣмъ заставлять его самого обижать себя!

Какъ это противорѣчитъ всему тому, чѣмъ окружаютъ и провожаютъ гробъ усопшаго въ могилу! Какъ прикажете разумѣть послѣ того проливаемыя надъ могилой слезы, приносимые вѣнки, рѣчи, наконецъ воздвигаемые усопшимъ монументы? Вѣдь не тѣлу же его посвящается это поклоненіе, а душѣ его, уму, таланту, словомъ, духу?

Еще упрекнутъ меня, пожалуй, что я чопоренъ, педанти-

чески смотрю на такое простое житейское дѣло, какъ безцеремонное обращеніе съ человѣкомъ, переставшимъ жить, что это похоже на китайское преувеличеніе почестей усопшимъ... Пусть упрекаютъ, пусть назовутъ недотрогой, но я буду утѣшаться тѣмъ, что очень многіе въ обществѣ раздѣляютъ эту мою «скрупулезность» и, смѣю думать, большинство соглашается со мной. Но многіе, конечно, и не согласятся, между прочимъ, болѣе всего собиратели и издатели историческихъ матеріаловъ, журналовъ, посвященныхъ прошлому.

Они наговорятъ много громкихъ и чувствительныхъ словъ о наукѣ, объ исторіи, о необходимости реставрировать старую жизнь и вообще много приведутъ благовидныхъ причинъ и предлоговъ. А причины, большею частью, другія, проще. Издатели историческихъ сборниковъ и журналовъ не всегда обезпечены постояннымъ серьезнымъ историческимъ матеріаломъ, и оттого они добываютъ всякую старую ветошь, даже мало занимательные мемуары, дневники людей вовсе не историческихъ, и между прочимъ и частныя письма, чтобы пополнять появляющіяся въ опредѣленный срокъ изданія. Они ловятъ всякую мелочь, извѣстіе, анекдотъ — нерѣдко не важнаго, иногда и недавно умершаго лица, и все это сходитъ съ рукъ за quasi-историческій матеріалъ. И сколько накапливается такого матеріала! Невольно вспомнишь бывшаго когда-то министромъ просвѣщенія Уварова, который въ одной брошюрѣ своей поставилъ вопросъ: «достовѣрнѣе ли стала исторія съ тѣхъ поръ, какъ размножились ея источники?», т.-е. съ тѣхъ поръ, когда вмѣсто одного ключа на поясѣ исторіи явились сотни ключиковъ, которые почти невозможно подбирать, и сотни дверей въ темный лабиринтъ давно минувшаго, которыя не ведутъ къ свѣту.

Корреспонденты извѣстнаго лица, представляя охотно издателямъ имѣющіяся у нихъ его письма, руководствуются разными побужденіями: одни — участіемъ, дружбой къ умершему, желаніемъ подѣлиться разсыпанными въ пись-

махъ перлами таланта, якобы затѣмъ, чтобы увѣковѣчить его память, да кстати и свою. Есть такіе охотники до безсмертія. Другіе побуждаются просто мелкимъ самолюбіемъ: «пусть знаютъ, что вотъ, молъ, такое лицо было со мной въ перепискѣ, слѣдовательно я тоже особа!» Это жалко, мелко.

Отъ всего этого и забирается въ переписку писателя или художника много лишняго, что только вредитъ цѣлости впечатлѣнія и отъ чего «истиннымъ друзьямъ» и издателямъ переписки усопшаго дѣятеля слѣдуетъ всячески очищать письма, мемуары, дневники и т. п.

Но нарушеніе воли совершается, какъ я упомянулъ вначалѣ, не только надъ умершими, но и надъ живыми: печатаютъ ихъ письма безъ ихъ согласія, не какъ улики какія-нибудь въ препирательствахъ, въ судебныхъ процессахъ и т. п., а просто взятыя изъ житейскаго быта и напечатанныя для извѣстнаго имени, въ видѣ рекламъ, безъ согласія автора. Это уже ни на что не похоже. Я не придумаю, какъ назвать такіе поступки.

Ратуя за соблюденіе приличій въ отношеніи къ живымъ и къ волѣ усопшихъ, я не претендую на безусловное раздѣленіе моего взгляда, но искренно желаю (а со мной и очень многіе, смѣю увѣрить), чтобы вопросъ о печатаніи частной переписки былъ глубоко обдуманъ и рѣшенъ въ удовлетворительномъ для всѣхъ сторонъ смыслѣ. Онъ стоитъ того. Заявляя объ этомъ вопросѣ, я только привелъ немногія неудобства, происходящія отъ оглашенія писемъ отъ одного лица къ другому, писанныя только для одного лица. Я указываю выше и средство не становиться въ щекотливое положеніе нарушителей ихъ воли: это—не объявлять писемъ и бумагъ преждевременно, по крайней мѣрѣ, пока еще живы современники автора и корреспонденты, и потомъ не всегда цѣликомъ, а печатать въ извлеченіяхъ, выпискахъ, тѣ письма, которыя, кромѣ обще-интереснаго, изобилуютъ интимными и семейными подробностями. Можетъ-быть, другіе, болѣе

меня компетентные и авторитетные судьи въ дѣлахъ печати, раздѣляющіе мой взглядъ, придумаютъ лучшій рецептъ: я и отдаю дѣло на ихъ судъ—а самъ ставлю только вопросъ на очередь.

«Изучать жизнь», конечно, интересно, но всякая человѣческая жизнь всегда представляетъ своего рода интересъ: почему же это совершается надъ писателемъ, художникомъ, ученымъ? Потому, скажутъ, что онъ самъ говоритъ о себѣ письмами или какимъ-нибудь дневникомъ: что это-де надежное средство, т.-е. собственныя сообщенія о себѣ писателя или художника. Выше я старался доказать противное и позволю себѣ сослаться на великій авторитетъ Пушкина. Онъ въ 31-мъ письмѣ къ князю Вяземскому (стр. 46 дешев. изд. Суворина) вотъ что̀ говоритъ по этому поводу: «Никого такъ не любишь, никого такъ не знаешь, какъ самого себя. Предметъ неистощимый. Но трудно писать о себѣ. Не лгать можно; *быть искреннимъ* — невозможность физическая. Перо иногда становится какъ съ разбѣга передъ пропастью, на томъ, что̀ посторонній прочтетъ равнодушно».

Стало-быть, едва ли можно полагаться на вѣрность автобіографическихъ данныхъ въ письмахъ, въ мемуарахъ и т. п.

Прочтя все написанное въ защиту усопшихъ дѣятелей отъ оглашенія, противъ ихъ воли, оставшихся послѣ нихъ рукописей, писемъ, чего бы то ни было, для печати ими не назначеннаго, могутъ подумать, что и я, близкій кандидатъ въ покойники, защищаю вмѣстѣ и самого себя противъ посягательствъ на изданіе какихъ-нибудь моихъ посмертныхъ бумагъ. Полагаю, что знающіе меня сколько-нибудь близко этого не подумаютъ: но другіе, можетъ-быть, и заподозрятъ. Поэтому, кстати, на всякій случай, я считаю необходимымъ и важнымъ для себя выразить здѣсь мое желаніе и мою волю.

Завѣщаю и прошу и прямыхъ, и непрямыхъ моихъ наслѣдниковъ и всѣхъ корреспондентовъ и корреспондентокъ, также издателей журналовъ и сборниковъ всего стараго и прошлаго не печатать *ничего*, что я не напечаталъ, или на что не передалъ права изданія, и что не напечатаю при жизни самъ, конечно, между прочимъ и писемъ. Пусть письма мои остаются собственностью тѣхъ, кому они писаны, и не переходятъ въ другія руки, а потомъ предадутся уничтоженію.

Если бы я претендовалъ на оглашеніе ихъ и другихъ какихъ-нибудь своихъ бумагъ, я собралъ бы самъ, пересмотрѣлъ и напечаталъ бы тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ какой-нибудь общій интересъ.

Но въ письмахъ моихъ нѣтъ ничего дѣльнаго, серьезнаго, глубокаго, какъ, напримѣръ, въ письмахъ Кавелина, Крамского; не пѣнятся они и той игрой блеска, остроумія, таланта, какъ письма Пушкина, Тургенева, словомъ, нѣтъ ничего олимпійскаго, и нѣтъ даже почти ничего касающагося литературы. Это безцеремонная болтовня съ пріятелями, пріятельницами, рѣдко съ литераторами, иногда, можетъ-быть, живая, интересная для тѣхъ только, къ кому писалась, и въ то время, когда писалась. У меня есть своего рода «pudeur» являться на позоръ свѣту съ такимъ хламомъ. И я прошу пощады этому чувству, т.-е. pudeur.

Пусть же добрые, порядочные люди, джентльмены пера, исполнятъ послѣднюю волю писателя, служившаго перомъ честно, — и не печатаютъ, какъ я сказалъ выше, ничего, что я самъ не напечаталъ при жизни—и чего не назначалъ напечатать по смерти. У меня и нѣтъ въ запасѣ никакихъ бумагъ для печати.

Это исполненіе моей воли и будетъ моею наградою за труды и лучшимъ вѣнкомъ на мою могилу.

14 января 1889. **И. Гончаровъ.**

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРОГО ТОМА:

стр.

Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ.

Часть вторая:

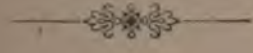
Глава I. 5
» II. 37
» III. 56
» IV. 98
» V. 133
» VI. 154
Эпилогъ 190

Нарушеніе воли. Очеркъ 213

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.



Приложеніе къ журналу „Нива" на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографія А. Ф. Мариса. Ср. Подьяч., № 1.

ОБЛОМОВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ I.

Часть первая.

I.

Въ Гороховой улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ, Илья Ильичъ Обломовъ.

Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати двухъ-трехъ отъ роду, средняго роста, пріятной наружности, съ темносѣрыми глазами, но съ отсутствіемъ всякой опредѣленной идеи, всякой сосредоточенности въ чертахъ лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ, садилась на полуотворенныя губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ совсѣмъ пропадала, и тогда во всемъ лицѣ теплился ровный свѣтъ безпечности. Съ лица безпечность переходила въ позы всего тѣла, даже въ складки шлафрока.

Иногда взглядъ его помрачался выраженіемъ будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать съ лица мягкость, которая была господствующимъ и основнымъ выраженіемъ, не лица только, а всей души; а душа такъ открыто и ясно свѣтилась въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи головы, руки. И поверхностно-наблюдательный, холодный человѣкъ, взглянувъ мимоходомъ на Обломова, сказалъ бы: «Добрякъ долженъ быть, простота!» Человѣкъ поглубже и посимпатичнѣе, долго вглядываясь въ лицо его, отошелъ бы въ пріятномъ раздумьѣ, съ улыбкой.

Цвѣтъ лица у Ильи Ильича не былъ ни румяный, ни смуглый, ни положительно-блѣдный, а безразличный, или казался такимъ, можетъ-быть, потому, что Обломовъ какъ-то обрюзгъ не по лѣтамъ: отъ недостатка ли движенія, или воздуха, а можетъ-быть, того и другого. Вообще же тѣло его, судя по матовому, черезчуръ бѣлому цвѣту шеи, маленькихъ пухлыхъ рукъ, мягкихъ плечъ, казалось слишкомъ изнѣженнымъ для мужчины.

Движенія его, когда онъ былъ даже встревоженъ, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода граціи лѣнью. Если на лицо набѣгала изъ души туча заботы, взглядъ туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнѣній, печали, испуга; но рѣдко тревога эта застывала въ формѣ опредѣленной идеи, еще рѣже превращалась въ намѣреніе. Вся тревога разрѣшалась вздохомъ и замирала въ апатіи или въ дремотѣ.

Какъ шелъ домашній костюмъ Обломова къ покойнымъ чертамъ лица его и къ изнѣженному тѣлу! На немъ былъ халатъ изъ персидской матеріи, настоящій восточный халатъ, безъ малѣйшаго намека на Европу, безъ кистей, безъ бархата, безъ таліи, весьма помѣстительный, такъ что и Обломовъ могъ дважды завернуться въ него. Рукава, по неизмѣнной азіатской модѣ, шли отъ пальцевъ къ плечу все шире и шире. Хотя халатъ этотъ и утратилъ свою первоначальную свѣжесть и мѣстами замѣнилъ свой первобытный, естественный лоскъ другимъ, благопріобрѣтеннымъ, но все еще сохранялъ яркость восточной краски и прочность ткани.

Халатъ имѣлъ въ глазахъ Обломова тьму неоцѣненныхъ достоинствъ: онъ мягокъ, гибокъ; тѣло не чувствуетъ его на себѣ; онъ, какъ послушный рабъ, покоряется самомалѣйшему движенію тѣла.

Обломовъ всегда ходилъ дома безъ галстука и безъ жилета, потому что любилъ просторъ и приволье. Туфли на

немъ были длинныя, мягкія и широкія; когда онъ, не глядя, опускалъ ноги съ постели на полъ, то непремѣнно попадалъ въ нихъ сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, какъ у больного, или какъ у человѣка, который хочетъ спать, ни случайностью, какъ у того, кто усталъ, ни наслажденіемъ, какъ у лѣнтяя: это было нормальнымъ состояніемъ. Когда онъ былъ дома — а онъ былъ почти всегда дома—онъ все лежалъ, и все постоянно въ одной комнатѣ, гдѣ мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетомъ и пріемной. У него было еще три комнаты, но онъ рѣдко туда заглядывалъ, утромъ развѣ, и то не всякій день, когда человѣкъ мелъ кабинетъ его, чего всякій день не дѣлалось. Въ тѣхъ комнатахъ мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, гдѣ лежалъ Илья Ильичъ, съ перваго взгляда казалась прекрасно убранною. Тамъ стояло бюро краснаго дерева, два дивана, обитые шелковою матеріею, красивыя ширмы, съ вышитыми, небывалыми въ природѣ птицами и плодами. Были тамъ шелковые занавѣсы, ковры, нѣсколько картинъ, бронза, фарфоръ и множество красивыхъ мелочей.

Но опытный глазъ человѣка съ чистымъ вкусомъ, однимъ бѣглымъ взглядомъ на все, что тутъ было, прочелъ бы только желаніе кое-какъ соблюсти decorum неизбѣжныхъ приличій, лишь бы отдѣлаться отъ нихъ. Обломовъ хлопотыгъ, конечно, только объ этомъ, когда убиралъ свой кабинетъ. Утонченный вкусъ не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграціозными стульями краснаго дерева, шаткими этажерками. Задокъ у одного дивана осѣлся внизъ, наклеенное дерево мѣстами отстало.

Точно тотъ же характеръ носили на себѣ и картины, и вазы, и мелочи.

Самъ хозяинъ, однако, смотрѣлъ на убранство своего кабинета такъ холодно и разсѣянно, какъ будто спраши-

валъ глазами: «кто сюда натащилъ и наставилъ все это?» Отъ такого холоднаго воззрѣнія Обломова на свою собственность, а, можетъ-быть, и еще отъ болѣе холоднаго воззрѣнія на тотъ же предметъ слуги его, Захара, видъ кабинета, если осмотрѣть тамъ все повнимательнѣе, поражалъ господствующею въ немъ запущенностью и небрежностью.

По стѣнамъ, около картинъ, лѣпилась, въ видѣ фестоновъ, паутина, напитанная пылью; зеркала, вмѣсто того, чтобъ отражать предметы, могли бы служить скорѣе скрижалями, для записыванія на нихъ, по пыли, какихъ-нибудь замѣтокъ на память. Ковры были въ пятнахъ. На диванѣ лежало забытое полотенце; на столѣ рѣдкое утро не стояла неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка съ солонкой и съ обглоданной косточкой, да не валялись хлѣбныя крошки.

Если бъ не эта тарелка, да не прислоненная къ постели только что выкуренная трубка, или не самъ хозяинъ, лежащій на ней, то можно было бы подумать, что тутъ никто не живетъ—такъ все запылилось, полиняло и вообще лишено было живыхъ слѣдовъ человѣческаго присутствія. На этажеркахъ, правда, лежали двѣ-три развернутыя книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница съ перьями; но страницы, на которыхъ развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтѣли; видно, что ихъ бросили давно; нумеръ газеты былъ прошлогодній, а изъ чернильницы, если обмакнуть въ нее перо, вырвалась бы развѣ только, съ жужжаньемъ, испуганная муха.

Илья Ильичъ проснулся, противъ обыкновенія, очень рано, часовъ въ восемь. Онъ чѣмъ-то сильно озабоченъ. На лицѣ у него попеременно выступалъ не то страхъ, не то тоска и досада. Видно было, что его одолѣвала внутренняя борьба, а умъ еще не являлся на помощь.

Дѣло въ томъ, что Обломовъ наканунѣ получилъ изъ деревни, отъ своего старосты, письмо непріятнаго содержанія.

Извѣстно, о какихъ непріятностяхъ можетъ писать староста: неурожай, недоимки, уменьшеніе дохода и т. п. Хотя староста и въ прошломъ, и въ третьемъ году писалъ къ своему барину точно такія же письма, но и это послѣднее письмо подѣйствовало такъ же сильно, какъ всякій непріятный сюрпризъ.

Легко ли? предстояло думать о средствахъ къ принятію какихъ-нибудь мѣръ. Впрочемъ, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своихъ дѣлахъ. Онъ по первому непріятному письму старосты, полученному нѣсколько лѣтъ назадъ, уже сталъ создавать въ умѣ планъ разныхъ перемѣнъ и улучшеній въ порядкѣ управленія своимъ имѣніемъ.

По этому плану предполагалось ввести разныя новыя экономическія, полицейскія и другія мѣры. Но планъ былъ еще далеко не весь обдуманъ, а непріятныя письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его къ дѣятельности и, слѣдовательно, нарушали покой. Обломовъ сознавалъ необходимость, до окончанія плана, предпринять что-нибудь рѣшительное.

Онъ, какъ только проснулся, тотчасъ же вознамѣрился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этимъ дѣломъ какъ слѣдуетъ.

Съ полчаса онъ все лежалъ, мучась этимъ намѣреніемъ, но потомъ разсудилъ, что успѣетъ еще сдѣлать это и послѣ чаю, а чай можно пить, по обыкновенію, въ постели, тѣмъ болѣе, что ничто не мѣшаетъ думать и лежа.

Такъ и сдѣлалъ. Послѣ чаю онъ уже приподнялся съ своего ложа и чуть-было не всталъ; поглядывая на туфли, онъ даже началъ спускать къ нимъ одну ногу съ постели, но тотчасъ же опять подобралъ ее.

Пробило половина десятаго, Илья Ильичъ встрепенулся.

— Что жъ это я въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ онъ вслухъ

съ досадой:—надо совѣсть знать: пора за дѣло! Дай только волю себѣ, такъ и...

— Захаръ!—закричалъ онъ.

Въ комнатѣ, которая отдѣлялась только небольшимъ коридоромъ отъ кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цѣпной собаки, потомъ стукъ спрыгнувшихъ откуда-то ногъ. Это Захаръ спрыгнулъ съ лежанки, на которой обыкновенно проводилъ время, сидя погруженный въ дремоту.

Въ комнату вошелъ пожилой человѣкъ, въ сѣромъ сюртукѣ, съ прорѣхою подъ мышкой, откуда торчалъ клочокъ рубашки, въ сѣромъ же жилетѣ, съ мѣдными пуговицами, съ голымъ, какъ колѣно, черепомъ и съ необъятно широкими и густыми, русыми съ просѣдью бакенбардами, изъ которыхъ каждой стало бы на три бороды.

Захаръ не старался измѣнить не только даннаго ему Богомъ образа, но и своего костюма, въ которомъ ходилъ въ деревнѣ. Платье ему шилось по вывезенному имъ изъ деревни образцу. Сѣрый сюртукъ и жилетъ правились ему и потому, что въ этой полуформенной одеждѣ онъ видѣлъ слабое воспоминаніе ливреи, которую онъ носилъ нѣкогда, провожая покойныхъ господъ въ церковь или въ гости; а ливрея въ воспоминаніяхъ его была единственною представительницею достоинства дома Обломовыхъ.

Болѣе ничто не напоминало старику барскаго широкаго и покойнаго быта въ глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются гдѣ-нибудь на чердакѣ; преданія о старинномъ бытѣ и важности фамиліи все глохнутъ, или живутъ только въ памяти немногихъ, оставшихся въ деревнѣ же стариковъ. Поэтому для Захара дорогъ былъ сѣрый сюртукъ: въ немъ, да еще въ кое-какихъ признакахъ, сохранившихся въ лицѣ и манерахъ барина, напоминавшихъ его родителей, и въ его капризахъ, на которые хотя онъ и ворчалъ, и про-себя, и

вслухъ, но которые, между тѣмъ, уважалъ внутренно, какъ проявленіе барской воли, господскаго права, видѣлъ онъ слабые намеки на отжившее величіе.

Безъ этихъ капризовъ онъ какъ-то не чувствовалъ надъ собой барина; безъ нихъ ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданій объ этомъ старинномъ домѣ, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой изъ рода въ родъ.

Домъ Обломовыхъ былъ когда-то богатъ и знаменитъ въ своей сторонѣ, но потомъ, Богъ знаетъ отчего, все бѣднѣлъ, мельчалъ и, наконецъ, незамѣтно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только посѣдѣвшіе слуги дома хранили и передавали другъ другу вѣрную память о минувшемъ, дорожа ею, какъ святынею.

Вотъ отчего Захаръ такъ любилъ свой сѣрый сюртукъ. Можетъ-быть, и бакенбардами своими онъ дорожилъ потому, что видѣлъ въ дѣтствѣ своемъ много старыхъ слугъ съ этимъ стариннымъ, аристократическимъ украшеніемъ.

Илья Ильичъ, погруженный въ задумчивость, долго не замѣчалъ Захара. Захаръ стоялъ передъ нимъ молча. Наконецъ онъ кашлянулъ.

— Что ты?—спросилъ Илья Ильичъ.

— Вѣдь вы звали?

— Звалъ? Зачѣмъ же это я звалъ—не помню!—отвѣчалъ онъ, потягиваясь.—Поди пока къ себѣ, а я вспомню.

Захаръ ушелъ, а Илья Ильичъ продолжалъ лежать и думать о проклятомъ письмѣ.

Прошло съ четверть часа.

— Ну, полно лежать!—сказалъ онъ:—надо же встать... А впрочемъ, дай-ка я прочту еще разъ со вниманіемъ письмо старосты, а потомъ ужъ и встану. Захаръ!

Опять тотъ же прыжокъ и ворчанье сильнѣе. Захаръ вошелъ, а Обломовъ опять погрузился въ задумчивость.

Захаръ стоялъ минуты двѣ, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина и, наконецъ, пошелъ къ дверямъ.

— Куда же ты?—вдругъ спросилъ Обломовъ.

— Вы ничего не говорите, такъ что жъ тутъ стоять-то даромъ?—захрипѣлъ Захаръ, за неимѣніемъ другого голоса, который, по словамъ его, онъ потерялъ на охотѣ съ собаками, когда ѣздилъ со старымъ бариномъ и когда ему дунуло будто сильнымъ вѣтромъ въ горло.

Онъ стоялъ въ полуоборотъ среди комнаты и глядѣлъ все стороной на Обломова.

— А у тебя развѣ ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабоченъ—такъ и подожди! Не належался еще тамъ? Сыщи письмо, что я вчера отъ старосты получилъ. Куда ты его дѣлъ?

— Какое письмо? Я никакого письма не видалъ, — сказалъ Захаръ.

— Ты же отъ почтальона принялъ его: грязное такое!

— Куда жъ его положили—почему мнѣ знать?—говорилъ Захаръ, похлопывая рукой по бумагамъ и по разнымъ вещамъ, лежавшимъ на столѣ.

— Ты никогда ничего не знаешь. Тамъ въ корзинѣ посмотри! Или не завалилось ли за диванъ? Вотъ спинка-то у дивана до сихъ поръ не починена; чтобъ тебѣ призвать столяра да починить? Вѣдь ты же изломалъ. Ни о чемъ не подумаешь!

— Я не ломалъ,—отвѣчалъ Захаръ:—она сама изломалась; не вѣкъ же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильичъ не счелъ за нужное доказывать противное.

— Нашелъ, что ли?—спросилъ онъ только.

— Вотъ какія-то письма.

— Не тѣ.

— Ну, такъ нѣтъ больше,—говорилъ Захаръ.

— Ну, хорошо, поди! — съ нетерпѣніемъ сказалъ Илья Ильичъ:—я встану, самъ найду.

Захаръ пошелъ къ себѣ, но только онъ уперся-было руками о лежанку, чтобъ прыгнуть на нее, какъ опять послышался торопливый крикъ:

— Захаръ, Захаръ!

— Ахъ, ты, Господи!—ворчалъ Захаръ, отправляясь опять въ кабинетъ.—Что это за мученье? Хоть бы смерть скорѣе пришла!

— Чего вамъ?—сказалъ онъ, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, въ знакъ неблаговоленія, до того стороной, что ему приходилось видѣть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, изъ которой, такъ и ждешь, что вылетятъ двѣ-три птицы.

— Носовой платокъ, скорѣй! Самъ бы ты могъ догадаться: не видишь!—строго замѣтилъ Илья Ильичъ.

Захаръ не обнаружилъ никакого особеннаго неудовольствія, или удивленія, при этомъ приказаніи и упрекѣ барина, находя, вѣроятно, съ своей стороны, и то, и другое весьма естественнымъ.

— А кто его знаетъ, гдѣ платокъ?—ворчалъ онъ, обходя вокругъ комнату и ощупывая каждый стулъ, хотя и такъ можно было видѣть, что на стульяхъ ничего не лежитъ.

— Все теряете!—замѣтилъ онъ, отворяя дверь въ гостиную, чтобъ посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ.

— Куда? Здѣсь ищи! Я съ третьягодня тамъ не былъ. Да скорѣе же!—говорилъ Илья Ильичъ.

— Гдѣ платокъ? Нѣту платка!—говорилъ Захаръ, разводя руками и озираясь во всѣ углы.—Да вонъ онъ,—вдругъ сердито захрипѣлъ онъ:—подъ вами! Вонъ конецъ торчитъ. Сами лежите на немъ, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь отвѣта, Захаръ пошелъ-было вонъ. Обломову стало немного неловко отъ собственнаго промаха.

Онъ быстро нашелъ другой поводъ сдѣлать Захара виноватымъ.

— Какая у тебя чистота вездѣ: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вонъ, вонъ, погляди-ка въ углахъ-то—ничего не дѣлаешь!

— Ужъ коли я ничего не дѣлаю... — заговорилъ Захаръ обиженнымъ голосомъ:—стараюсь, жизни не жалѣю! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Онъ указалъ на середину пола и на столъ, на которомъ Обломовъ обѣдалъ.

— Вонъ, вонъ,—говорилъ онъ:—все подметено, прибрано, словно къ свадьбѣ... Чего еще?

— А это что?—прервалъ Илья Ильичъ, указывая на стѣны и на потолокъ.—А это? А это?

Онъ указалъ и на брошенное со вчерашняго дня полотенце, и на забытую на столѣ тарелку съ ломтемъ хлѣба.

— Ну, это, пожалуй, уберу,—сказалъ Захаръ, снисходительно взявъ тарелку.

— Только это! А пыль по стѣнамъ, а паутина?.. — говорилъ Обломовъ, указывая на стѣны.

— Это я къ Святой недѣлѣ убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины передъ Рождествомъ: тогда съ Анисьей всѣ шкапы переберемъ. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.

— Я иногда въ театръ хожу, да въ гости: вотъ бы...

— Что̀ за уборка ночью!

Обломовъ съ упрекомъ поглядѣлъ на него, покачалъ головой и вздохнулъ, а Захаръ равнодушно поглядѣлъ въ окно и тоже вздохнулъ. Баринъ, кажется, думалъ: «Ну, братъ, ты еще больше Обломовъ, нежели я самъ», а Захаръ чуть ли не подумалъ: «Врешь! ты только мастеръ говорить му-

дреныя, да жалкія слова, а до пыли и до паутины тебѣ и дѣла нѣтъ».

— Понимаешь ли ты,—сказалъ Илья Ильичъ:—что отъ пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стѣнѣ!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захаръ.

— Развѣ это хорошо? Вѣдь это гадость! — замѣтилъ Обломовъ.

Захаръ усмѣхнулся во все лицо, такъ что усмѣшка охватила даже брови и бакенбарды, которыя отъ этого раздвинулись въ стороны, и по всему лицу до самаго лба расплылось красное пятно.

— Чѣмъ же я виноватъ, что клопы на свѣтѣ есть? — сказалъ онъ съ наивнымъ удивленіемъ. — Развѣ я ихъ выдумалъ?

— Это отъ нечистоты,—перебилъ Обломовъ.—Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумалъ.

— У тебя, вотъ, тамъ, мыши бѣгаютъ по ночамъ—я слышу.

— И мышей не я выдумалъ. Этой твари, что мышей, что кошекъ, что клоповъ, вездѣ много.

— Какъ же у другихъ не бываетъ ни моли, ни клоповъ?

На лицѣ Захара выразилась недовѣрчивость или, лучше сказать, покойная увѣренность, что этого не бываетъ.

— У меня всего много,—сказалъ онъ упрямо:—за всякимъ клопомъ не усмотришь, въ щелку къ нему не влѣзешь.

А самъ, кажется, думалъ: «Да и что за спанье безъ клопа?»

— Ты мети, выбирай соръ изъ угловъ—и не будетъ ничего,—училъ Обломовъ.

— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорилъ Захаръ.

— Не наберется,—перебилъ баринъ:—не должно.

— Наберется—я знаю, — твердилъ слуга.

— А наберется, такъ опять вымети.

— Какъ это? Всякій день перебирай всѣ углы? — спросилъ Захаръ. — Да что жъ это за жизнь? Лучше Богъ по душу пошли!

— Отчего жъ у другихъ чисто?—возразилъ Обломовъ.— Посмотри напротивъ, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна дѣвка...

— А гдѣ нѣмцы сору возьмутъ, — вдругъ возразилъ Захаръ.—Вы поглядите-ко, какъ они живутъ! Вся семья цѣлую недѣлю кость гложетъ. Сюртукъ съ плечъ отца переходитъ на сына, а съ сына опять на отца. На женѣ и дочеряхъ платьишки коротенькія: все поджимаютъ подъ себя ноги, какъ гусыни... Гдѣ имъ сору взять? У нихъ нѣтъ этого, вотъ, какъ у насъ, чтобъ въ шкапахъ лежала по годамъ куча стараго изношеннаго платья, или набрался цѣлый уголъ корокъ хлѣба за зиму... У нихъ и корка зря не валяется: надѣлаютъ сухариковъ, да съ пивомъ и выпьютъ!

Захаръ даже сквозь зубы плюнулъ, разсуждая о такомъ скаредномъ житьѣ.

— Нечего разговаривать!—возразилъ Илья Ильичъ:—ты лучше убирай.

— Иной разъ и убралъ бы, да вы же сами не даете,— сказалъ Захаръ.

— Пошелъ свое! Все, видишь, я мѣшаю.

— Конечно вы; все дома сидите: какъ при васъ станешь убирать? Уйдите на цѣлый день, такъ и уберу.

— Вотъ еще выдумалъ что — уйти! Пойди-ка ты лучше къ себѣ.

— Да право!—настаивалъ Захаръ.—Вотъ, хоть бы сегодня ушли, мы бы съ Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоемъ-то: надо еще бабъ нанять, перемыть все.

— Э! какія затѣи: — бабъ! Ступай себѣ, говорилъ Илья Ильичъ.

Онъ уже былъ не радъ, что вызвалъ Захара на этотъ разговоръ. Онъ все забывалъ, что чуть тронешь этотъ деликатный предметъ, такъ и не оберешься хлопотъ.

Обломову и хотѣлось бы, чтобъ было чисто, да онъ бы желалъ, чтобъ это сдѣлалось какъ-нибудь такъ, незамѣтно, само собой; а Захаръ всегда заводилъ тяжбу, лишь только начинали требовать отъ него сметанія пыли, мытья половъ и т. п. Онъ въ такомъ случаѣ станетъ доказывать необходимость громадной возни въ домѣ, зная очень хорошо, что одна мысль объ этомъ приводила барина его въ ужасъ.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ погрузился въ размышленія. Черезъ нѣсколько минутъ пробило еще полчаса.

— Что это?—почти съ ужасомъ сказалъ Илья Ильичъ:— Одиннадцать часовъ скоро, а я еще не всталъ, не умылся до сихъ поръ? Захаръ, Захаръ!

— Ахъ, ты Боже мой! Ну!—послышалось изъ передней, и потомъ извѣстный прыжокъ.

— Умыться готово?—спросилъ Обломовъ.

— Готово давно!—отвѣчалъ Захаръ:—чего вы не встаете?

— Что жъ ты не скажешь, что готово? Я бы ужъ и всталъ давно. Поди же, и сейчасъ иду вслѣдъ за тобою. Мнѣ надо заниматься, я сяду писать.

Захаръ ушелъ, но черезъ минуту воротился съ исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вотъ, коли будете писать, такъ ужъ кстати извольте и счеты повѣрить: надо деньги заплатить.

— Какіе счеты? Какія деньги? — съ неудовольствіемъ спросилъ Илья Ильичъ.

— Отъ мясника, отъ зеленщика, отъ прачки, отъ хлѣбника: всѣ денегъ просятъ.

— Только о деньгахъ и забота!—ворчалъ Илья Ильичъ.— А ты что понемногу не подаешь счеты, а всѣ вдругъ?

— Вы же вѣдь все прогоняли меня: завтра, да завтра...

— Ну, такъ и теперь развѣ нельзя до завтра?

— Нѣтъ! Ужъ очень пристаютъ: больше не даютъ въ долгъ. Нынче первое число.

— Ахъ! — съ тоской сказалъ Обломовъ: — новая забота! Ну, что̀ стоишь? Положи на столъ. Я сейчасъ встану, умоюсь и посмотрю,—сказалъ Илья Ильичъ.—Такъ умыться-то готово?

— Готово!—сказалъ Захаръ.

— Ну, теперь...

Онъ началъ-было, кряхтя, приподниматься на постели, чтобъ встать.

— Я забылъ вамъ сказать, — началъ Захаръ: — давеча, какъ вы еще почивали, управляющій дворника прислалъ: говоритъ, что непремѣнно надо съѣхать... квартира нужна.

— Ну, что жъ такое? Если нужна, такъ, разумѣется, съѣдемъ. Что̀ ты пристаешь ко мнѣ? Ужъ ты третій разъ говоришь мнѣ объ этомъ.

— Ко мнѣ пристаютъ тоже.

— Скажи, что съѣдемъ.

— Они говорятъ: вы ужъ съ мѣсяцъ, говорятъ, обѣщали, а все не съѣзжаете; мы, говорятъ, полиціи дадимъ знать.

— Пусть даютъ знать!—сказалъ рѣшительно Обломовъ:— Мы и сами переѣдемъ, какъ потеплѣе будетъ, недѣли черезъ три.

— Куда недѣли черезъ три! Управляющій говоритъ, что черезъ двѣ недѣли рабочіе придутъ: ломать все будутъ... «Съѣзжайте, говоритъ, завтра или послѣзавтра...»

— Э-э-э! слишкомъ проворно! Видишь, еще что! Не сейчасъ ли прикажете? А ты мнѣ не смѣй и напоминать о квартирѣ. Я ужъ тебѣ запретилъ разъ; а ты опять. Смотри!

— Что жъ мнѣ дѣлать-то? — отозвался Захаръ.

— Что жъ дѣлать? — вотъ онъ чѣмъ отдѣлывается отъ

меня! — отвѣчалъ Илья Ильичъ. — Онъ меня спрашиваетъ! Мнѣ что за дѣло? Ты не безпокой меня, а тамъ, какъ хочешь, такъ и распорядись, только чтобъ не переѣзжать. Не можетъ постараться для барина!

— Да какъ же, батюшка, Илья Ильичъ, я распоряжусь? — началъ мягкимъ сипѣньемъ Захаръ: — Домъ-то не мой: какъ же изъ чужого дома не переѣзжать, коли гонятъ? Кабы мой домъ былъ, такъ я бы съ великимъ моимъ удовольствіемъ...

— Нельзя ли ихъ уговорить какъ-нибудь. «Мы, дескать, живемъ давно, платимъ исправно».

— Говорилъ,—сказалъ Захаръ.

— Ну, что жъ они?

— Что! Наладили свое: «переѣзжайте, говорятъ, намъ нужно квартиру передѣлывать». Хотятъ изъ докторской и изъ этой одну большую квартиру сдѣлать, къ свадьбѣ хозяйскаго сына.

— Ахъ, ты Боже мой!—съ досадой сказалъ Обломовъ:— Вѣдь есть же этакіе ослы, что женятся!

Онъ повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, къ хозяину, — сказалъ Захаръ:—такъ, можетъ-быть, онъ бы васъ не тронулъ, а велѣлъ бы сначала вонъ ту квартиру ломать.

Захаръ при этомъ показалъ рукой куда-то направо.

— Ну, хорошо, какъ встану, напишу... Ты ступай къ себѣ, а я подумаю. Ничего ты не умѣешь сдѣлать, — добавилъ онъ: — мнѣ и объ этой дряни надо самому хлопотать.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ сталъ думать.

Но онъ былъ въ затрудненіи, о чемъ думать: о письмѣ ли старосты, о переѣздѣ ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Онъ терялся въ приливѣ житейскихъ заботъ и все лежалъ, ворочаясь съ боку на бокъ. По-временамъ только слышались отрывистыя восклицанія: — Ахъ, Боже мой! Трогаетъ жизнь, вездѣ достаетъ.

Неизвѣстно, долго ли бы еще пробылъ онъ въ этой нерѣшительности, но въ передней раздался звонокъ.

— Ужъ кто-то и пришелъ! — сказалъ Обломовъ, кутаясь въ халатъ: — А я еще не вставалъ — срамъ да и только! Кто бы это такъ рано?

И онъ, лежа, съ любопытствомъ глядѣлъ на двери.

II.

Вошелъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, блещущій здоровьемъ, съ смѣющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотрѣть на него.

Онъ былъ причесанъ и одѣтъ безукоризненно, ослѣплялъ свѣжестью лица, бѣлья, перчатокъ и фрака. По жилету лежала изящная цѣпочка, съ множествомъ мельчайшихъ брелоковъ. Онъ вынулъ тончайшій батистовый платокъ, вдохнулъ ароматы Востока, потомъ небрежно провелъ имъ по лицу, по глянцовитой шляпѣ, и обмахнулъ лакированные сапоги.

— А, Волковъ, здравствуйте!—сказалъ Илья Ильичъ.

— Здравствуйте, Обломовъ, — говорилъ блестящій господинъ, подходя къ нему.

— Не подходите, не подходите: вы съ холода!—сказалъ тотъ.

— О, баловень, сибаритъ! — говорилъ Волковъ, глядя, куда бы положить шляпу и, видя вездѣ пыль, не положилъ никуда; раздвинулъ обѣ полы фрака, чтобы сѣсть, но, посмотрѣвъ внимательно на кресло, остался на ногахъ.

— Вы еще не вставали! Что это на васъ за шлафрокъ? Такіе давно бросили носить,—стыдилъ онъ Обломова.

— Это не шлафрокъ, а халатъ, — сказалъ Обломовъ, съ любовью кутаясь въ широкія полы халата.

— Здоровы ли вы?—спросилъ Волковъ.

— Какое здоровье! — зѣвая, сказалъ Обломовъ: — Плохо! приливы замучили. А вы какъ поживаете?

— Я? Ничего: здорово и весело, — очень весело! — съ чувствомъ прибавилъ молодой человѣкъ.

— Откуда вы такъ рано?—спросилъ Обломовъ.

— Отъ портного. Посмотрите, хорошъ фракъ?—говорилъ онъ, ворочаясь передъ Обломовымъ.

— Отличный! Съ большимъ вкусомъ сшитъ, — сказалъ Илья Ильичъ:—только отчего онъ такой широкій сзади?

— Это рейт-фракъ: для верховой ѣзды.

— А! Вотъ что! Развѣ вы ѣздите верхомъ?

— Какъ же? Къ нынѣшнему дню и фракъ нарочно заказывалъ. Вѣдь сегодня первое мая: съ Горюновымъ ѣдемъ въ Екатерингофъ. Ахъ! Вы не знаете? Горюнова Мишу произвели — вотъ мы сегодня и отличаемся, — въ восторгѣ добавилъ Волковъ.

— Вотъ какъ!—сказалъ Обломовъ.

— У него рыжая лошадь, — продолжалъ Волковъ: — у нихъ въ полку рыжія, а у меня вороная. Вы какъ будете: пѣшкомъ, или въ экипажѣ?

— Да... никакъ,—сказалъ Обломовъ.

— Перваго мая въ Екатерингофѣ не бысь! Что вы, Илья Ильичъ!—съ изумленіемъ говорилъ Волковъ:—Да тамъ всѣ!

— Ну, какъ всѣ! Нѣтъ, не всѣ! — лѣниво замѣтилъ Обломовъ.

— Поѣзжайте, душенька, Илья Ильичъ! Софья Николаевна съ Лидіей будутъ въ экипажѣ только двѣ, напротивъ въ коляскѣ есть скамеечка: вотъ бы вы съ нами...

— Нѣтъ, я не усядусь на скамеечкѣ. Да и что стану я тамъ дѣлать?

— Ну, такъ, хотите, Миша другую лошадь вамъ дастъ?

— Богъ знаетъ, что выдумаетъ! — почти про себя сказалъ Обломовъ.—Что вамъ дались Горюновы?

— Ахъ!—вспыхнувъ, произнесъ Волковъ:—сказать?

— Говорите!

— Вы никому не скажете—честное слово?—продолжалъ Волковъ, садясь къ нему на диванъ.

— Пожалуй.

— Я... влюбленъ въ Лидію,—прошепталъ онъ.

— Браво! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая.

— Вотъ ужъ три недѣли!—съ глубокимъ вздохомъ сказалъ Волковъ.—А Миша въ Дашеньку влюбленъ.

— Въ какую Дашеньку?

— Откуда вы, Обломовъ? Не знаетъ Дашеньки! Весь городъ безъ ума, какъ она танцуетъ! Сегодня мы съ нимъ въ балетѣ; онъ броситъ букетъ. Надо его ввести: онъ робокъ, еще новичокъ... Ахъ, вѣдь нужно ѣхать камелій достать...

— Куда еще? Полно вамъ, пріѣзжайте-ка обѣдать: мы бы поговорили. У меня два несчастья...

— Не могу: я у князя Тюменева обѣдаю; тамъ будутъ всѣ Горюновы и она, она... Лидинька,—прибавилъ онъ шопотомъ. — Что это вы оставили князя? Какой веселый домъ! На какую ногу поставленъ! А дача! Утонула въ цвѣтахъ! Галлерею пристроили, gothique. Лѣтомъ, говорятъ, будутъ танцы, живыя картины. Вы *будете бывать?*

— Нѣтъ, я думаю, не буду.

— Ахъ, какой домъ! Нынѣшнюю зиму по средамъ меньше пятидесяти человѣкъ не бывало, а иногда набиралось до ста...

— Боже ты мой! Вотъ скука-то должна быть эдская!

— Какъ это можно? Скука! Да чѣмъ больше, тѣмъ веселѣй. Лидія бывала тамъ, я ее не замѣчалъ, да вдругъ...

Напрасно я забыть ее стараюсь,
И страсть хочу разсудкомъ побѣдить...

Запѣлъ онъ, и сѣлъ, забывшись, на кресло, но вдругъ вскочилъ и сталъ отирать пыль съ платья.

— Какая у васъ пыль вездѣ!—сказалъ онъ.

— Все Захаръ!—пожаловался Обломовъ.

— Ну, мнѣ пора!—сказалъ Волковъ.—За камеліями для букета Мишѣ. Au revoir.

— Пріѣзжайте вечеромъ чай пить, изъ балета: разскажете, какъ тамъ что было,—приглашалъ Обломовъ.

— Не могу, далъ слово къ Муссинскимъ: ихъ день сегодня. Поѣдемте и вы. Хотите, я васъ представлю?

— Нѣтъ, что̀ тамъ дѣлать?

— У Муссинскихъ? Помилуйте, да тамъ полгорода бываетъ. Какъ что̀ дѣлать? Это такой домъ, гдѣ обо всемъ говорятъ...

— Вотъ это-то и скучно, что обо всемъ,—сказалъ Обломовъ.

— Ну, посѣщайте Мездровыхъ, — перебилъ Волковъ: — тамъ ужъ объ одномъ говорятъ, объ искусствахъ; только и слышишь: венеціанская школа, Бетховенъ да Бахъ, Леонардо да Винчи...

— Вѣкъ объ одномъ и томъ же—какая скука! Педанты, должно-быть!—сказалъ, зѣвая, Обломовъ.

— На васъ не угодишь. Да мало ли домовъ! Теперь у всѣхъ дни: у Савиновыхъ по четвергамъ обѣдаютъ, у Маклашиныхъ — пятницы, у Вязниковыхъ — воскресенья, у князя Тюменева — середы. У меня всѣ дни заняты! — съ сіяющими глазами заключилъ Волковъ.

— И вамъ не лѣнь мыкаться изо-дня-въ-день?

— Вотъ, лѣнь! Что за лѣнь? Превесело!—безпечно говорилъ онъ. — Утро почитаешь, надо быть au courant всего, знать новости. Слава Богу, у меня служба такая, что не нужно бывать въ должности. Только два раза въ недѣлю посижу да пообѣдаю у генерала, а потомъ, поѣдешь съ визитами, гдѣ давно не былъ; ну, а тамъ... новая актриса то на русскомъ, то на французскомъ театрѣ. Вотъ опера будетъ, я абонируюсь. А теперь влюбленъ... Начинается лѣто: Мишѣ обѣщали отпускъ; поѣдемъ къ нимъ въ деревню на мѣсяцъ, для разнообразія. Тамъ охота. У нихъ отлич-

ные сосѣди, даютъ bals champêtres. Съ Лидіей будемъ въ рощѣ гулять, кататься въ лодкѣ, рвать цвѣты... Ахъ!.. — и онъ перевернулся отъ радости.—Однако пора... Прощайте,— говорилъ онъ, напрасно стараясь оглядѣть себя спереди и сзади въ запыленное зеркало.

— Погодите, — удерживалъ Обломовъ: — я-было хотѣлъ поговорить съ вами о дѣлахъ.

— Pardon, некогда, — торопился Волковъ: — въ другой разъ! А не хотите ли со мной ѣсть устрицъ? Тогда и разскажете. Поѣдемте, Миша угощаетъ.

— Нѣтъ, Богъ съ вами! — говорилъ Обломовъ.

— Прощайте же.

Онъ пошелъ и вернулся.

— Видѣли это? — спросилъ онъ, показывая руку, какъ вылитую въ перчаткѣ.

— Что это такое? — спросилъ Обломовъ въ недоумѣніи.

— А новые lacets! Видите, какъ отлично стягиваетъ: не мучишься надъ пуговкой два часа; потянулъ шнурочекъ — и готово. Это только что изъ Парижа. Хотите, привезу вамъ на пробу пару?

— Хорошо, привезите!—говорилъ Обломовъ.

— А посмотрите это; не правда ли, очень мило? — говорилъ онъ, отыскавъ въ кучѣ брелокъ одинъ: — визитная карточка съ загнутымъ угломъ.

— Не разберу, что̀ написано.

— Pr. prince M. Michel,—говорилъ Волковъ:—а фамилія Тюменевъ не уписалась; это онъ мнѣ въ Пасху подарилъ, вмѣсто яичка. Но прощайте, au revoir. Мнѣ еще въ десять мѣстъ.—Боже мой, что̀ это за веселье на свѣтѣ!

И онъ исчезъ.

«Въ десять мѣстъ въ одинъ день — несчастный!» думалъ Обломовъ. «И это жизнь!» Онъ сильно пожалъ плечами. «Гдѣ же тутъ человѣкъ? На что онъ раздробляется и разсыпается? Конечно, не дурно заглянуть и въ театръ, и влю-

биться въ какую-нибудь Лидію... она миленькая! Въ деревнѣ съ ней цвѣты рвать, кататься — хорошо; да въ десять мѣстъ въ одинъ день — несчастный!» заключилъ онъ, перевертываясь на спину и радуясь, что нѣтъ у него такихъ пустыхъ желаній и мыслей, что онъ не мыкается, а лежитъ вотъ тутъ, сохраняя свое человѣческое достоинство и свой покой.

Новый звонокъ прервалъ его размышленія.

Вошелъ новый гость.

Это былъ господинъ въ темно-зеленомъ фракѣ съ гербовыми пуговицами, гладко-выбритый, съ темными, ровно скаймлявшими его лицо бакенбардами, съ утружденнымъ, но покойно-сознательнымъ выраженіемъ въ глазахъ, съ сильно потертымъ лицомъ, съ задумчивой улыбкой.

— Здравствуй, Судьбинскій! — весело поздоровался Обломовъ.—Насилу заглянулъ къ старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты съ холоду.

— Здравствуй, Илья Ильичъ. Давно собирался къ тебѣ,— говорилъ гость: — да вѣдь ты знаешь, какая у насъ дьявольская служба! Вонъ, посмотри, цѣлый чемоданъ везу въ докладу; и теперь, если тамъ спросятъ что-нибудь, велѣлъ курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.

— Ты еще на службу? Что такъ поздно? — спросилъ Обломовъ:—бывало, ты съ десяти часовъ...

— Бывало — да; а теперь другое дѣло: въ двѣнадцать часовъ *вяжу*.

Онъ сдѣлалъ на послѣднемъ словѣ удареніе.

— А! догадываюсь! — сказалъ Обломовъ. — Начальникъ отдѣленія! Давно ли?

Судьбинскій значительно кивнулъ головой.

— Къ Святой,—сказалъ онъ.—Но сколько дѣла—ужасъ! Съ восьми до двѣнадцати часовъ дома, съ двѣнадцати до

пяти въ канцеляріи, да вечеромъ занимаюсь. Отъ людей отвыкъ совсѣмъ!

— Гм! Начальникъ отдѣленія — вотъ какъ! — сказалъ Обломовъ.—Поздравляю! Каковъ? А вмѣстѣ канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущій годъ въ статскіе махнешь.

— Куда! Богъ съ тобой! Еще нынѣшній годъ корону надо получить; думалъ *«за отличіе»* представятъ, а теперь новую должность занялъ: нельзя два года сряду...

— Приходи обѣдать, выпьемъ за повышеніе! — сказалъ Обломовъ.

— Нѣтъ, сегодня у вице-директора обѣдаю. Къ четвергу надо приготовить докладъ—адская работа! На представленія изъ губерній положиться нельзя. Надо провѣрить самому списки. Ѳома Ѳомичъ такой мнительный: все хочетъ самъ. Вотъ сегодня вмѣстѣ послѣ обѣда и засядемъ.

— Ужели и послѣ обѣда? — спросилъ Обломовъ недовѣрчиво.

— А какъ ты думалъ? Еще хорошо, если пораньше отдѣлаюсь, да успѣю хоть въ Екатерингофъ прокатиться... Да, я заѣхалъ спросить: не поѣдешь ли ты на гулянья? Я бы заѣхалъ...

— Нездоровится что-то, не могу! — сморщившись сказалъ Обломовъ.—Да и дѣла много... нѣтъ, не могу!

— Жаль!—сказалъ Судьбинскій:—а день хорошъ. Только сегодня и надѣюсь вздохнуть.

— Ну, что новаго у васъ?—спросилъ Обломовъ.

— Да много кое-чего: въ письмахъ отмѣнили писать «покорнѣйшій слуга», пишутъ «примите увѣреніе»; формулярныхъ списковъ по два экземпляра не велѣно представлять. У насъ прибавляютъ три стола и двухъ чиновниковъ особыхъ порученій. Нашу комиссію закрыли... Много!

— Ну, а что наши бывшіе товарищи?

— Ничего пока; Свинкинъ дѣло потерялъ!

— Въ самомъ дѣлѣ? Что жъ директоръ?—спросилъ Обломовъ дрожащимъ голосомъ.

Ему, по старой памяти, страшно стало.

— Велѣлъ задержать награду, пока не отыщется. Дѣло важное: «о взысканіяхъ». Директоръ думаетъ, — почти шопотомъ прибавилъ Судьбинскій: — что онъ потерялъ его... нарочно.

— Не можетъ быть!—сказалъ Обломовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Это напрасно, — съ важностью и покровительствомъ подтвердилъ Судьбинскій: — Свинкинъ вѣтреная голова. Иногда, чортъ знаетъ, какіе тебѣ итоги выведетъ, перепутаетъ всѣ справки. Я измучился съ нимъ; а только нѣтъ, онъ не замѣченъ ни въ чемъ такомъ... Онъ не сдѣлаетъ, нѣтъ, нѣтъ! Завалялось дѣло гдѣ-нибудь; послѣ отыщется.

— Такъ вотъ какъ: все въ трудахъ! — говорилъ Обломовъ:—работаешь.

— Ужасъ, ужасъ! Ну, конечно, съ такимъ человѣкомъ, какъ Ѳома Ѳомичъ, пріятно служить: безъ наградъ не оставляетъ; кто и ничего не дѣлаетъ, и тѣхъ не забудетъ. Какъ вышелъ срокъ — за отличіе, такъ и представляетъ; кому не вышелъ срокъ къ чину, къ кресту, — деньги выхлопочетъ...

— Ты сколько получаешь?

— Да что: 1,200 р. жалованья, особо столовыхъ 750, квартирныхъ 600, пособія 900, на разъѣзды 500, да награды рублей до 1,000.

— Фу! чортъ возьми! — сказалъ, вскочивъ съ постели, Обломовъ:—голосъ, что ли, у тебя хорошъ? Точно итальянскій пѣвецъ!

— Что еще это! Вонъ Пересвѣтовъ прибавочныя получаетъ, а дѣла-то меньше моего дѣлаетъ, и не смыслитъ ничего. Ну, конечно, онъ не имѣетъ такой репутаціи. Меня очень цѣнятъ, — скромно прибавилъ онъ, потупя глаза: —

министръ недавно выразился про меня, что я «украшеніе министерства».

— Молодецъ!—сказалъ Обломовъ.—Вотъ только работать съ восьми часовъ до двѣнадцати, съ двѣнадцати до пяти, да дома еще—ой-ой!

Онъ покачалъ головой.

— А что жъ бы я сталъ дѣлать, если бъ не служилъ?—спросилъ Судьбинскій.

— Мало ли что! Читалъ бы, писалъ... — сказалъ Обломовъ.

— Я и теперь только и дѣлаю, что читаю да пишу.

— Да это не то; ты бы печаталъ...

— Не всѣмъ же быть писателями. Вотъ и ты, вѣдь, не пишешь,—возразилъ Судьбинскій.

— Зато у меня имѣніе на рукахъ,—со вздохомъ сказалъ Обломовъ. — Я соображаю новый планъ; разныя улучшенія ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты вѣдь чужое дѣлаешь, не свое.

— Что жъ дѣлать! Надо работать, коли деньги берешь. Лѣтомъ отдохну: Ѳома Ѳомичъ обѣщаетъ выдумать командировку нарочно для меня... вотъ, тутъ получу прогоны на пять лошадей, суточныхъ рубля по три въ сутки, а потомъ награду...

— Экъ ломятъ!—съ завистью говорилъ Обломовъ; потомъ вздохнулъ и задумался.

— Деньги нужны: осенью женюсь,— прибавилъ Судьбинскій.

— Что ты! Въ самомъ дѣлѣ? На комъ? — съ участіемъ сказалъ Обломовъ.

— Не шутя, на Мурашиной. Помнишь, подлѣ меня на дачѣ жили? Ты пилъ чай у меня и, кажется, видѣлъ ее.

— Нѣтъ, не помню! Хорошенькая?—спросилъ Обломовъ.

— Да, мила. Поѣдемъ, если хочешь, къ нимъ обѣдать...

Обломовъ замялся.

— Да... хорошо, только...

— На той недѣлѣ,—сказалъ Судьбинскій.

— Да, да, на той недѣлѣ, — обрадовался Обломовъ: — у меня еще платье не готово. Что жъ, хорошая партія?

— Да, отецъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, десять тысячъ даетъ, квартира казенная. Онъ намъ цѣлую половину отвелъ, двѣнадцать комнатъ; мебель казенная, отопленіе, освѣщеніе тоже: можно жить...

— Да, можно! Еще бы! Каковъ Судьбинскій!—прибавилъ, не безъ зависти, Обломовъ.

— На свадьбу, Илья Ильичъ, шаферомъ приглашаю: смотри...

— Какъ же, непремѣнно! — сказалъ Обломовъ. — Ну, а что Кузнецовъ, Васильевъ, Маховъ?

— Кузнецовъ женатъ давно, Маховъ на мое мѣсто поступилъ, а Васильева перевели въ Польшу. Ивану Петровичу дали Владиміра, Олешкинъ—его превосходительство.

— Онъ добрый малый!—сказалъ Обломовъ.

— Добрый, добрый; онъ стòитъ.

— Очень добрый, характеръ мягкій, ровный, — говорилъ Обломовъ.

— Такой обязательный,—прибавилъ Судьбинскій:—и нѣтъ этого, знаешь, чтобъ выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все дѣлаетъ, что можетъ.

— Прекрасный человѣкъ! Бывало, напутаешь въ бумагѣ, не доглядишь, не то мнѣніе или законы подведешь въ запискѣ, ничего: велитъ только другому передѣлать. Отличный человѣкъ!—заключилъ Обломовъ.

— А вотъ нашъ Семенъ Семенычъ такъ неисправимъ,— сказалъ Судьбинскій: — только мастеръ пыль въ глаза пускать. Недавно что̀ онъ сдѣлалъ: изъ губерній поступило представленіе о возведеніи при зданіяхъ, принадлежащихъ нашему вѣдомству, собачьихъ конуръ, для сбереженія казеннаго имущества отъ расхищенія: нашъ архитекторъ, чело-

министръ недавно выразился про меня, что я «украшеніе министерства».

— Молодецъ!—сказалъ Обломовъ.—Вотъ только работать съ восьми часовъ до двѣнадцати, съ двѣнадцати до пяти, да дома еще—ой-ой!

Онъ покачалъ головой.

— А что жъ бы я сталъ дѣлать, если бъ не служилъ?—спросилъ Судьбинскій.

— Мало ли что! Читалъ бы, писалъ... — сказалъ Обломовъ.

— Я и теперь только и дѣлаю, что читаю да пишу.

— Да это не то; ты бы печаталъ...

— Не всѣмъ же быть писателями. Вотъ и ты, вѣдь, не пишешь,—возразилъ Судьбинскій.

— Зато у меня имѣніе на рукахъ,—со вздохомъ сказалъ Обломовъ. — Я соображаю новый планъ; разныя улучшенія ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты вѣдь чужое дѣлаешь, не свое.

— Что жъ дѣлать! Надо работать, коли деньги берешь. Лѣтомъ отдохну: Ѳома Ѳомичъ обѣщаетъ выдумать командировку нарочно для меня... вотъ, тутъ получу прогоны на пять лошадей, суточныхъ рубля по три въ сутки, а потомъ награду...

— Экъ ломятъ!—съ завистью говорилъ Обломовъ; потомъ вздохнулъ и задумался.

— Деньги нужны: осенью женюсь,— прибавилъ Судьбинскій.

— Что ты! Въ самомъ дѣлѣ? На комъ? — съ участіемъ сказалъ Обломовъ.

— Не шутя, на Мурашиной. Помнишь, подлѣ меня на дачѣ жили? Ты пилъ чай у меня и, кажется, видѣлъ ее.

— Нѣтъ, не помню! Хорошенькая?—спросилъ Обломовъ.

— Да, мила. Поѣдемъ, если хочешь, къ нимъ обѣдать...

Обломовъ замялся.

— Да... хорошо, только...

— На той недѣлѣ,—сказалъ Судьбинскій.

— Да, да, на той недѣлѣ, — обрадовался Обломовъ: — у меня еще платье не готово. Что жъ, хорошая партія?

— Да, отецъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, десять тысячъ даетъ, квартира казенная. Онъ намъ цѣлую половину отвелъ, двѣнадцать комнатъ; мебель казенная, отопленіе, освѣщеніе тоже: можно жить...

— Да, можно! Еще бы! Каковъ Судьбинскій!—прибавилъ, не безъ зависти, Обломовъ.

— На свадьбу, Илья Ильичъ, шаферомъ приглашаю: смотри...

— Какъ же, непремѣнно! — сказалъ Обломовъ. — Ну, а что Кузнецовъ, Васильевъ, Маховъ?

— Кузнецовъ женатъ давно, Маховъ на мое мѣсто поступилъ, а Васильева перевели въ Польшу. Ивану Петровичу дали Владиміра, Олешкинъ—его превосходительство.

— Онъ добрый малый!—сказалъ Обломовъ.

— Добрый, добрый; онъ стòитъ.

— Очень добрый, характеръ мягкій, ровный, — говорилъ Обломовъ.

— Такой обязательный,—прибавилъ Судьбинскій:—и нѣтъ этого, знаешь, чтобъ выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все дѣлаетъ, что можетъ.

— Прекрасный человѣкъ! Бывало, напутаешь въ бумагѣ, не доглядишь, не то мнѣніе или законы подведешь въ запискѣ, ничего: велитъ только другому передѣлать. Отличный человѣкъ!—заключилъ Обломовъ.

— А вотъ нашъ Семенъ Семенычъ такъ неисправимъ,— сказалъ Судьбинскій: — только мастеръ пыль въ глаза пускать. Недавно что̀ онъ сдѣлалъ: изъ губерній поступило представленіе о возведеніи при зданіяхъ, принадлежащихъ нашему вѣдомству, собачьихъ конуръ, для сбереженія казеннаго имущества отъ расхищенія: нашъ архитекторъ, чело-

вѣкъ дѣльный, знающій и честный, составилъ очень умѣренную смѣту; вдругъ показалась ему велика, и давай наводить справки, что̀ можетъ стоить постройка собачьей конуры? Нашелъ гдѣ-то тридцатью копейками меньше — сейчасъ докладную записку...

Раздался еще звонокъ.

— Прощай,—сказалъ чиновникъ:—я заболтался, что-нибудь понадобится тамъ...

— Посиди еще,—удерживалъ Обломовъ.—Кстати, я посовѣтуюсь съ тобой: у меня два несчастья...

— Нѣтъ, нѣтъ, я лучше опять заѣду на-дняхъ,—сказалъ онъ, уходя.

«Увязъ, любезный другъ, по уши увязъ», думалъ Обломовъ, провожая его глазами. «И слѣпъ, и глухъ, и нѣмъ для всего остального въ мірѣ. А выйдетъ въ люди, будетъ современемъ ворочать дѣлами, и чиновъ нахватаетъ... У насъ это называется тоже карьерой! А какъ мало тутъ человѣка-то нужно: ума его, воли, чувства—зачѣмъ это? Роскошь! И проживетъ свой вѣкъ, и не пошевелится въ немъ многое, многое... А между тѣмъ работаетъ съ двѣнадцати до пяти въ канцеляріи, съ восьми до двѣнадцати дома — несчастный!»

Онъ испыталъ чувство мирной радости, что онъ, съ девяти до трехъ, съ восьми до девяти, можетъ пробыть у себя на диванѣ, и гордился, что не надо идти съ докладомъ, писать бумагъ, что есть просторъ его чувству, воображенію.

Обломовъ философствовалъ и не замѣтилъ, что у постели его стоялъ очень худощавый, черненькій господинъ, заросшій весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Онъ былъ одѣтъ съ умышленной небрежностью.

— Здравствуйте, Илья Ильичъ.

— Здравствуйте, Пенкинъ; не подходите, не подходите: вы съ холода!—говорилъ Обломовъ.

— Ахъ, вы чудакъ!—сказалъ тотъ.—Все такой же неисправимый, беззаботный лѣнивецъ!

— Да, беззаботный!—сказалъ Обломовъ.—Вотъ, я вамъ сейчасъ покажу письмо отъ старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?

— Изъ книжной лавки: ходилъ узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?

— Нѣтъ.

— Я вамъ пришлю, прочтите.

— О чемъ?—спросилъ, сквозь сильную зѣвоту, Обломовъ.

— О торговлѣ, объ эманципаціи женщинъ, о прекрасныхъ апрѣльскихъ дняхъ, какіе выпали намъ на долю, и о вновь изобрѣтенномъ составѣ противъ пожаровъ. Какъ это вы не читаете? Вѣдь тутъ наша вседневная жизнь. А пуще всего я ратую за реальное направленіе въ литературѣ.

— Много у васъ дѣла?—спросилъ Обломовъ.

— Да, довольно. Двѣ статьи въ газету каждую недѣлю, потомъ разборы беллетристовъ пишу, да вотъ написалъ разсказъ...

— О чемъ?

— О томъ, какъ въ одномъ городѣ городничій бьетъ мѣщанъ по зубамъ...

— Да, это, въ самомъ дѣлѣ, реальное направленіе,—сказалъ Обломовъ.

— Неправда ли? — подтвердилъ обрадованный литераторъ. — Я провожу вотъ какую мысль и знаю, что она новая и смѣлая. Одинъ проѣзжій былъ свидѣтелемъ этихъ побоевъ и при свиданіи съ губернаторомъ пожаловался ему. Тотъ приказалъ чиновнику, ѣхавшему туда на слѣдствіе, мимоходомъ удостовѣриться въ этомъ и вообще собрать свѣдѣнія о личности и поведеніи городничаго. Чиновникъ созвалъ мѣщанъ, будто разспросить о торговлѣ, а между тѣмъ давай развѣдывать и объ этомъ. Что жъ мѣщане? Кланяются, да смѣются, и городничаго превозносятъ похвалами.

Чиновникъ сталъ узнавать стороной, и ему сказали, что мѣщане мошенники страшные, торгуютъ гнилью, обвѣшиваютъ, обмѣриваютъ даже казну, всѣ безнравственны, такъ что побои эти—праведная кара...

— Стало-быть, побои городничаго выступаютъ въ повѣсти, какъ fatum древнихъ трагиковъ?—сказалъ Обломовъ.

— Именно,—подхватилъ Пенкинъ.—У васъ много такта, Илья Ильичъ, вамъ бы писать! А между тѣмъ, мнѣ удалось показать и самоуправство городничаго, и развращеніе нравовъ въ простонародьи; дурную организацію дѣйствій подчиненныхъ чиновниковъ и необходимость строгихъ, но законныхъ мѣръ... Не правда ли, эта мысль... довольно новая?

— Да, въ особенности для меня,—сказалъ Обломовъ:—я такъ мало читаю...

— Въ самомъ дѣлѣ не видать книгъ у васъ!—сказалъ Пенкинъ.—Но, умоляю васъ, прочтите одну вещь; готовится великолѣпная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника къ падшей женщинѣ». Я не могу вамъ сказать, кто авторъ: это еще секретъ.

— Что жъ тамъ такое?

— Обнаруженъ весь механизмъ нашего общественнаго движенія, и все въ поэтическихъ краскахъ. Всѣ пружины тронуты; всѣ ступени общественной лѣстницы перебраны. Сюда, какъ на судъ, созваны авторомъ и слабый, но порочный вельможа, и цѣлый рой обманывающихъ его взяточниковъ; и всѣ разряды падшихъ женщинъ разобраны... француженки, нѣмки, чухонки, и все, все... съ поразительной, животрепещущей вѣрностью... Я слышалъ отрывки—авторъ великъ! въ немъ слышится то Дантъ, то Шекспиръ...

— Вонъ куда хватили!—въ изумленіи сказалъ Обломовъ, привставъ.

Пенкинъ вдругъ смолкъ, видя, что дѣйствительно онъ далеко хватилъ.

— Вотъ вы прочтите, увидите сами,—добавилъ онъ уже безъ азарта.

— Нѣтъ, Пенкинъ, я не стану читать.

— Отчего жъ? Это дѣлаетъ шумъ, объ этомъ говорятъ...

— Да пускай ихъ! Нѣкоторымъ вѣдь больше нечего и дѣлать, какъ только говорить. Есть такое призваніе.

— Да хоть изъ любопытства прочтите.

— Чего я тамъ не видалъ? — говорилъ Обломовъ. — Зачѣмъ это они пишутъ: только себя тѣшатъ...

— Какъ себя: вѣрность-то, вѣрность какая! До смѣха похоже. Точно живые портреты. Какъ кого возьмутъ, купца ли, чиновника, офицера, будочника—точно живьемъ и отпечатаютъ.

— Изъ чего же они бьются: изъ потѣхи, что ли, что вотъ кого-де не возьмемъ, а вѣрно и выйдетъ? А жизни-то и нѣтъ ни въ чемъ: нѣтъ пониманія ея и сочувствія, нѣтъ того, что тамъ у васъ называется гуманитетомъ. Одно самолюбіе только. Изображаютъ-то они воровъ, падшихъ женщинъ, точно ловятъ ихъ на улицѣ, да отводятъ въ тюрьму. Въ ихъ разсказѣ слышны не «невидимыя слезы», а одинъ только видимый, грубый смѣхъ, злость...

— Что жъ еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость—желчное гоненіе на порокъ, смѣхъ презрѣнія надъ падшимъ человѣкомъ... тутъ все!

— Нѣтъ не все!—вдругъ воспламенившись, сказалъ Обломовъ: — изобрази вора, падшую женщину, надутаго глупца, да и человѣка тутъ же не забудь. Гдѣ же человѣчность-то? Вы одной головой хотите писать!—почти шипѣлъ Обломовъ.— Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нѣтъ, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человѣку, чтобъ поднять его, или горько плачьте надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ самого себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ собой,— тогда и стану васъ читать и склоню передъ вами голову...—

сказалъ онъ, улегшись опять покойно на диванѣ. — Изображаютъ они вора, падшую женщину,—говорилъ онъ:—а человѣка-то забываютъ, или не умѣютъ изобразить. Какое же тутъ искусство, какія поэтическія краски нашли вы? Обличайте развратъ, грязь, только, пожалуйста, безъ претензіи на поэзію.

— Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья, или морозное утро, между тѣмъ, какъ все кишитъ, движется вокругъ? Намъ нужна одна голая физіологія общества; не до пѣсенъ намъ теперь...

— Человѣка, человѣка давайте мнѣ! — говорилъ Обломовъ:—любите его...

— Любить ростовщика, ханжу, ворующаго или тупоумнаго чиновника—слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой!—горячился Пенкинъ. — Нѣтъ, ихъ надо карать, извергнуть изъ гражданской среды, изъ общества...

— Извергнуть изъ гражданской среды! — вдругъ заговорилъ вдохновенно Обломовъ, вставъ передъ Пенкинымъ.— Это значитъ, забыть, что въ этомъ негодномъ сосудѣ присутствовало высшее начало; что онъ испорченный человѣкъ, но все человѣкъ же, то-есть вы сами. Извергнуть! А какъ вы извергнете изъ круга человѣчества, изъ лона природы, изъ милосердія Божія?— почти крикнулъ онъ съ пылающими глазами.

— Вонъ куда хватили!—въ свою очередь, съ изумленіемъ сказалъ Пенкинъ.

Обломовъ увидѣлъ, что и онъ далеко хватилъ. Онъ вдругъ смолкъ, постоялъ съ минуту, зѣвнулъ и медленно легъ на диванъ.

Оба погрузились въ молчаніе.

— Что жъ вы читаете? —спросилъ Пенкинъ.

— Я... да все путешествія больше.

Опять молчаніе.

— Такъ прочтите поэму, когда выйдетъ? Я бы принесъ...— спросилъ Пенкинъ.

Обломовъ сдѣлалъ отрицательный знакъ головой.

— Ну, я вамъ свой разсказъ пришлю?

Обломовъ кивнулъ въ знакъ согласія.

— Однако, мнѣ пора въ типографію!—сказалъ Пенкинъ.— Я, знаете, зачѣмъ пришелъ къ вамъ? Я хотѣлъ предложить вамъ ѣхать въ Екатерингофъ; у меня коляска. Мнѣ завтра надо статью писать о гуляньѣ: вмѣстѣ бы наблюдать стали, чего бы не замѣтилъ я, вы бы сообщили мнѣ; веселѣе бы было. Поѣдемте...

— Нѣтъ, нездоровится, — сказалъ Обломовъ, морщась и прикрываясь одѣяломъ:—сырости боюсь, теперь еще не высохло. А вотъ вы бы сегодня обѣдать пришли: мы бы поговорили... У меня два несчастья...

— Нѣтъ, наша редакція вся у Сен-Жоржа сегодня, оттуда и поѣдемъ на гулянье. А ночью писать и, чѣмъ свѣтъ, въ типографію отсылать. До свиданія.

— До свиданія, Пенкинъ.

«Ночью писать», думалъ Обломовъ: «когда же спать-то? А поди, тысячъ пять въ годъ заработаетъ! Это хлѣбъ! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, мѣнять убѣжденія, торговать умомъ и воображеніемъ, насиловать свою натуру, волноваться, кипѣть, горѣть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все писать, какъ колесо, какъ машина: пиши завтра, послѣзавтра; праздникъ придетъ, лѣто настанетъ—а онъ все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»

Онъ повернулъ голову къ столу, гдѣ все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать, и радовался, что лежитъ онъ, беззаботенъ, какъ новорожденный младенецъ, что не разбрасывается, не продаетъ ничего...

«А письмо старосты, а квартира?» вдругъ вспомнилъ онъ и задумался.

Но вотъ опять звонятъ.

— Что это сегодня за раутъ у меня?—сказалъ Обломовъ и ждалъ, кто войдетъ.

Вошелъ человѣкъ неопредѣленныхъ лѣтъ, съ неопредѣленной физіономіей, въ такой порѣ, когда трудно бываетъ угадать лѣта; некрасивъ и недуренъ, не высокъ и не низокъ ростомъ, не блондинъ и не брюнетъ. Природа не дала ему никакой рѣзкой, замѣтной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многіе называли Иваномъ Иванычемъ, другіе—Иваномъ Васильичемъ, третьи—Иваномъ Михайлычемъ.

Фамилію его называли тоже различно: одни говорили, что онъ Ивановъ, другіе звали Васильевымъ или Андреевымъ, третьи думали, что онъ Алексѣевъ. Постороннему, который увидитъ его въ первый разъ, скажутъ имя его—тотъ забудетъ сейчасъ, и лицо забудетъ; что онъ скажетъ—не замѣтитъ. Присутствіе его ничего не придастъ обществу, такъ же, какъ отсутствіе ничего не отниметъ отъ него. Остроумія, оригинальности и другихъ особенностей, какъ особыхъ примѣтъ на тѣлѣ, въ его умѣ нѣтъ.

Можетъ-быть, онъ умѣлъ бы, по крайней мѣрѣ, разсказать все, что видѣлъ и слышалъ, и занять хоть этимъ другихъ, но онъ нигдѣ не бывалъ: какъ родился въ Петербургѣ, такъ и не выѣзжалъ никуда; слѣдовательно, видѣлъ и слышалъ то, что знали и другіе.

Симпатиченъ ли такой человѣкъ? Любитъ ли, ненавидитъ ли, страдаетъ ли? Долженъ бы, кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавленъ отъ этого. Но онъ какъ-то ухитрялся всѣхъ любить. Есть такіе люди, въ которыхъ, какъ ни бейся, не возбудишь никакъ духа вражды, мщенія и т. п. Что ни дѣлай съ ними, они все ласкаются. Впрочемъ, надо отдать имъ справедливость, что и любовь ихъ, если раздѣлить ее на градусы, до степени жара никогда не доходитъ. Хотя про такихъ людей говорятъ, что они любятъ всѣхъ и потому добры, а въ

сущности они никого не любятъ и добры потому только, что не злы.

Если при такомъ человѣкѣ подадутъ другіе нищему милостыню—и онъ броситъ ему свой грошъ, а если обругаютъ, или прогонятъ, или посмѣются — такъ и онъ обругаетъ и посмѣется съ другими. Богатымъ его нельзя назвать, потому что онъ не богатъ, а скорѣе бѣденъ; но рѣшительно бѣднымъ тоже не назовешь, потому, впрочемъ, только, что много есть бѣднѣе его.

Онъ имѣетъ своего какого-то дохода рублей триста въ годъ, и сверхъ того, онъ служитъ въ какой-то неважной должности и получаетъ неважное жалованье: нужды не терпитъ и денегъ ни у кого не занимаетъ, а занять у него и подавно въ голову никому не приходитъ.

Въ службѣ у него нѣтъ особеннаго постояннаго занятія, потому что никакъ не могли замѣтить сослуживцы и начальники, что онъ дѣлаетъ хуже, что лучше, такъ чтобъ можно было опредѣлить, къ чему онъ именно способенъ. Если дадутъ сдѣлать и то, и другое, онъ такъ сдѣлаетъ, что начальникъ всегда затрудняется, какъ отозваться о его трудѣ; посмотритъ, посмотритъ, почитаетъ, почитаетъ, да и скажетъ только: «оставьте, я послѣ посмотрю... да, оно почти такъ, какъ нужно».

Никогда не поймаешь на лицѣ его слѣда заботы, мечты, что бы показывало, что онъ въ эту минуту бесѣдуетъ самъ съ собою, или никогда тоже не увидишь, чтобъ онъ устремилъ пытливый взглядъ на какой-нибудь внѣшній предметъ, который бы хотѣлъ усвоить своему вѣдѣнію.

Встрѣтится ему знакомый на улицѣ:—Куда? спроситъ.— Да вотъ, иду на службу, или въ магазинъ, или провѣдать кого-нибудь. — Пойдемъ лучше со мной,—скажетъ тотъ:— на почту, или зайдемъ къ портному, или прогуляемся,—и онъ идетъ съ нимъ, заходитъ и къ портному, и на почту, и прогуливается въ противоположную сторону отъ той, куда шелъ.

Едва ли кто-нибудь, кромѣ матери, замѣтилъ появленіе его на свѣтъ, очень немногіе замѣчаютъ его въ теченіе жизни, но вѣрно никто не замѣтитъ, какъ онъ исчезнетъ со свѣта; никто не спроситъ, не пожалѣетъ о немъ, никто и не порадуется его смерти. У него нѣтъ ни враговъ, ни друзей, но знакомыхъ множество. Можетъ-быть, только похоронная процессія обратитъ на себя вниманіе прохожаго, который почтитъ это неопредѣленное лицо въ первый разъ достающееся ему почестью — глубокимъ поклономъ, можетъ-быть, даже другой, любопытный забѣжитъ впередъ процессіи узнать объ имени покойника, и тутъ же забудетъ его.

Весь этотъ Алексѣевъ, Васильевъ, Андреевъ, или какъ хотите, есть какой-то неполный, безличный намекъ на людскую массу, глухое отзвучіе, неясный ея отблескъ.

Даже Захаръ, который въ откровенныхъ бесѣдахъ, на сходкахъ у воротъ, или въ лавочкѣ, дѣлалъ разную характеристику всѣхъ гостей, посѣщавшихъ барина его, всегда затруднялся, когда очередь доходила до этого... положимъ хоть Алексѣева. Онъ долго думалъ, долго ловилъ какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцѣпиться, въ наружности, въ манерахъ, или въ характерѣ этого лица, наконецъ, махнувъ рукой, выражался такъ: — А у этого ни кожи, ни рожи, ни вѣдѣнія!

— А! — встрѣтилъ его Обломовъ: — Это вы, Алексѣевъ? Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите; я вамъ не дамъ руки: вы съ холода!

— Что вы, какой холодъ! Я не думалъ къ вамъ сегодня,—сказалъ Алексѣевъ:—да Овчининъ встрѣтился и увезъ къ себѣ. Я за вами, Илья Ильичъ.

— Куда это?

— Да къ Овчинину-то, поѣдемте. Тамъ Матвѣй Андреичъ Альяновъ, Казиміръ Альбертовичъ Пхайло, Василій Севастьянычъ Колымягинъ.

— Что жъ они тамъ собрались, и что имъ нужно отъ меня?

— Овчининъ зоветъ васъ обѣдать.

— Гм! Обѣдать...—повторилъ Обломовъ монотонно.

— А потомъ всѣ въ Екатерингофъ отправляются: они велѣли сказать, чтобъ вы коляску наняли.

— А что тамъ дѣлать?

— Какъ же! Нынче тамъ гулянье. Развѣ не знаете: сегодня первое мая?

— Посидите; мы подумаемъ...—сказалъ Обломовъ.

— Вставайте же! Пора одѣваться.

— Погодите немного: вѣдь рано.

— Что за рано! Они просили въ двѣнадцать часовъ; отобѣдаемъ пораньше, часа въ два, да и на гулянье. Ѣдемте же скорѣй! Велѣть вамъ одѣваться давать?

— Куда одѣваться? Я еще не умылся.

— Такъ умывайтесь.

Алексѣевъ сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, потомъ остановился передъ картиной, которую видѣлъ тысячу разъ прежде, взглянулъ мелькомъ въ окно, взялъ какую-то вещь съ этажерки, повертѣлъ въ рукахъ, посмотрѣлъ со всѣхъ сторонъ и положилъ опять, а тамъ пошелъ опять ходить, посвистывая — это все, чтобъ не мѣшать Обломову встать и умыться. Такъ прошло минутъ десять.

— Что жъ вы?—вдругъ спросилъ Алексѣевъ Илью Ильича.

— Что?

— Да все лежите?

— А развѣ надо вставать?

— Какъ же! Насъ дожидаются. Вы хотѣли ѣхать.

— Куда это ѣхать? Я не хотѣлъ ѣхать никуда...

— Вотъ, Илья Ильичъ, сейчасъ вѣдь говорили, что ѣдемъ обѣдать къ Овчинину, а потомъ въ Екатерингофъ...

— Это я по сырости поѣду! И чего я тамъ не видалъ? Вонъ дождь собирается, пасмурно на дворѣ,—лѣниво говорилъ Обломовъ.

— На небѣ ни облачка, а вы выдумали дождь. Пасмурно оттого, что у васъ окошки-то съ которыхъ поръ не мыты? Грязи-то, грязи на нихъ! Зги Божіей не видно, да и одна штора почти совсѣмъ опущена.

— Да вотъ, подите-ка, заикнитесь объ этомъ Захару, такъ онъ сейчасъ бабъ предложитъ, да изъ дому погонитъ на цѣлый день.

Обломовъ задумался, а Алексѣевъ барабанилъ пальцами по столу, у котораго сидѣлъ, разсѣянно пробѣгая глазами по стѣнамъ и по потолку.

— Такъ какъ же намъ? Что дѣлать? Будете одѣваться, или останетесь такъ? — спросилъ онъ черезъ нѣсколько минутъ.

— А что?

— Да въ Екатерингофъ?..

— Дался вамъ этотъ Екатерингофъ, право!—съ досадой отозвался Обломовъ.—Не сидится вамъ здѣсь? Холодно, что ли, въ комнатѣ, или пахнетъ не хорошо, что вы такъ и смотрите вонъ?

— Нѣтъ, мнѣ у васъ всегда хорошо: я доволенъ,—сказалъ Алексѣевъ.

— А коли хорошо тутъ, такъ зачѣмъ и хотѣть въ другое мѣсто? Останьтесь-ка лучше у меня на цѣлый день, отобѣдайте, а тамъ вечеромъ—Богъ съ вами!.. Да, я и забылъ: куда мнѣ ѣхать! Тарантьевъ обѣдать придетъ: сегодня суббота.

— Ужъ если оно такъ... я хорошо... какъ вы... — говорилъ Алексѣевъ.

— А о дѣлахъ своихъ я вамъ не говорилъ?—живо спросилъ Обломовъ.

— О какихъ дѣлахъ? Не знаю.—сказалъ Алексѣевъ, глядя на него во всѣ глаза.

— Отчего я не встаю-то такъ долго? Вѣдь я вотъ тутъ лежалъ все, да думалъ, какъ мнѣ выпутаться изъ бѣды.

— Что такое? — спросилъ Алексѣевъ, стараясь сдѣлать испуганное лицо.

— Два несчастья! Не знаю, какъ и быть.

— Какія же?

— Съ квартиры гонятъ; вообразите — надо съѣзжать: ломки, возни... подумать страшно! Вѣдь восемь лѣтъ жилъ на квартирѣ. Сыгралъ со мной штуку хозяинъ: «Съѣзжайте, говоритъ, поскорѣе».

— Еще поскорѣе! Торопитъ, стало-быть, нужно. Это очень несносно — переѣзжать: съ переѣздкой всегда хлопотъ много, — сказалъ Алексѣевъ: — растеряютъ, перебьютъ — очень скучно! А у васъ такая славная квартира... вы что платите?

— Гдѣ сыщешь другую этакую, — говорилъ Обломовъ: — и еще второпяхъ? Квартира сухая, теплая; въ домѣ смирно: обокрали всего одинъ разъ! Вонъ, потолокъ, кажется, и не прученъ: штукатурка совсѣмъ отстала — а все не валится.

— Скажите, пожалуйста! — говорилъ Алексѣевъ, качая головой.

— Какъ бы это устроить, чтобъ... не съѣзжать? — въ раздумьѣ, про-себя разсуждалъ Обломовъ.

— Да у васъ по контракту нанята квартира? — спросилъ Алексѣевъ, оглядывая комнату съ потолка до полу.

— Да, только срокъ контракту вышелъ; и все это время платилъ помѣсячно... не помню только, съ которыхъ поръ.

— Какъ же вы полагаете? — спросилъ, послѣ нѣкотораго молчанія, Алексѣевъ: — съѣхать, или оставаться?

— Никакъ не полагаю, — сказалъ Обломовъ: — мнѣ и думать-то объ этомъ не хочется. Пусть Захаръ что-нибудь придумаетъ.

— А вотъ нѣкоторые такъ любятъ переѣзжать, — сказалъ Алексѣевъ: — въ томъ только и удовольствіе находитъ, какъ бы квартиру перемѣнить...

— Ну, пусть эти «нѣкоторые» и переѣзжаютъ. А я терпѣть не могу никакихъ перемѣнъ! Это еще что, квартира!— заговорилъ Обломовъ:—А вотъ посмотрите-ка, что староста пишетъ ко мнѣ. Я вамъ сейчасъ покажу письмо... гдѣ бишь оно? Захаръ. Захаръ!

— Ахъ ты, Владычица небесная!—захрипѣлъ у себя Захаръ, прыгая съ печки:—когда это Богъ приберетъ меня?

Онъ вошелъ и мутно поглядѣлъ на барина.

— Что жъ ты письмо не сыскалъ?

— А гдѣ я его сыщу? Развѣ я знаю, какое письмо вамъ нужно? Я не умѣю читать.

— Все равно, пошли.—сказалъ Обломовъ.

— Вы сами какое-то письмо вчера вечеромъ читали,— говорилъ Захаръ:—а послѣ я не видалъ.

— Гдѣ же оно?—съ досадой возразилъ Илья Ильичъ.— Я его не проглотилъ. Я очень хорошо помню, что ты взялъ у меня и куда-то вонъ тутъ положилъ. А то вотъ, гдѣ оно, смотри!

Онъ тряхнулъ одѣяломъ: изъ складокъ его выпало на полъ письмо.

— Вотъ вы этакъ все на меня!..

— Ну, ну, поди, поди!—въ одно и то же время закричали другъ на друга Обломовъ и Захаръ.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ началъ читать письмо, написанное точно квасомъ, на сѣрой бумагѣ, съ печатью изъ бураго сургуча. Огромныя, блѣдныя буквы тянулись въ торжественной процессіи, не касаясь другъ друга, по отвѣсной линіи, отъ верхняго угла къ нижнему. Шествіе иногда нарушалось блѣдно-чернильнымъ большимъ пятномъ.

«Милостивый государь», началъ Обломовъ: «ваше благородіе, отецъ нашъ и кормилецъ, Илья Ильичъ...»

Тутъ Обломовъ пропустилъ нѣсколько привѣтствій и пожеланій здоровья, и продолжалъ съ середины:

«Доношу твоей барской милости, что у тебя въ вотчинѣ,

кормилецъ нашъ, все благополучно. Пятую недѣлю нѣтъ дождей: знать, прогнѣвали Господа Бога, что нѣтъ дождей. Этакой засухи старики не запомнятъ: яровое такъ и палитъ, словно полымемъ. Озимь, ино мѣсто червь сгубилъ, ино мѣсто ранніе морозы сгубили: перепахали-было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось милосердый Господь помилуетъ твою барскую милость, а о себѣ не заботимся: пусть издохнемъ. А подъ Ивановъ день еще три мужика ушли: Лаптевъ, Балочовъ, да особо ушелъ Васька, кузнецовъ сынъ. Я бабъ погналъ по мужей: бабы тѣ не воротились, а проживаютъ, слышно, въ Челкахъ, а въ Челки поѣхалъ кумъ мой изъ Верхлева: управляющій послалъ его туда, соху, слышь, заморскую привезли, а управляющій послалъ кума въ Челки оную соху посмотрѣть. Я наказывалъ куму о бѣглыхъ мужикахъ; исправнику кланялся, сказалъ онъ: «подай бумагу, и тогда всякое средствіе будетъ исполнено, водворить крестьянъ ко дворамъ на мѣсто жительства» и опричь того, ничего не сказалъ, а я палъ въ ноги ему и слезно умолялъ; а онъ закричалъ благимъ матомъ: «пошелъ, пошелъ! тебѣ сказано, что будетъ исполнено—подай бумагу!» А бумаги я не подавалъ. А нанять здѣсь некого: всѣ на Волгу, на работу, на барки ушли — такой нынче глупый народъ сталъ здѣсь, кормилецъ нашъ, батюшка, Илья Ильичъ! Холста нашего сей годъ на ярмаркѣ не будетъ: сушильню и бѣлильню я заперъ на замокъ и Сычуга поставилъ денно и нощно смотрѣть: онъ тверезый мужикъ; да чтобы не стянулъ чего господскаго, я смотрю за нимъ денно и нощно. Другіе больно пьютъ и просятся на оброкъ. Въ недоимкахъ недоборъ: нынѣшній годъ пошлемъ доходцу, будетъ, батюшка ты нашъ, благодѣтель, тысящи яко двѣ вмѣстѣ противъ того года, что прошелъ, только бы засуха не разорила въ конецъ, а то пышлемъ, о чемъ твоей милости и предлагаемъ».

Затѣмъ слѣдовали изъявленія преданности и подпись:

староста твой, всенижайшій рабъ Прокофій Вытягушкинъ собственной рукой руку приложилъ». За неумѣніемъ грамоты поставленъ былъ крестъ. «А писалъ со словъ онаго старосты шуринъ его, Демка Кривой».

Обломовъ взглянулъ на конецъ письма.

— Мѣсяца и года нѣтъ, — сказалъ онъ: — должно-быть, письмо валялось у старосты съ прошлаго года; тутъ и Ивановъ день, и засуха! Когда опомнился!

Онъ задумался.

— А?—продолжалъ онъ.—Каково вамъ покажется: предлагаетъ «тысящи яко двѣ поменѣ!» Сколько же это останется? Сколько бишь я прошлый годъ получилъ?—спросилъ онъ, глядя на Алексѣева.—Я не говорилъ вамъ тогда?

Алексѣевъ обратилъ глаза къ потолку и задумался.

— Надо Штольца спросить, какъ пріѣдетъ,—продолжалъ Обломовъ:—кажется, тысячъ семь, восемь... худо не записывать! Такъ онъ теперь сажаетъ меня на шесть! Вѣдь я съ голоду умру! Чѣмъ тутъ жить?

— Что жъ такъ тревожиться, Илья Ильичъ? — сказалъ Алексѣевъ.—Никогда не надо предаваться отчаянію: перемелется—мука будетъ.

— Да вы слышите, что онъ пишетъ? Чѣмъ бы денегъ прислать, утѣшить какъ-нибудь, а онъ, какъ на смѣхъ, только непріятности дѣлаетъ мнѣ! И вѣдь всякій годъ! Вотъ я теперь самъ не свой! «Тысящи яко двѣ поменѣ!»

— Да, большой убытокъ!—сказалъ Алексѣевъ:—двѣ тысячи—не шутка! Вотъ Алексѣй Логинъ, говорятъ, тоже получитъ нынѣшній годъ только двѣнадцать тысячъ, вмѣсто семнадцати!

— Такъ двѣнадцать, а не шесть,—перебилъ Обломовъ.—Совсѣмъ разстроилъ меня староста. Если оно и въ самомъ дѣлѣ такъ: неурожай да засуха, такъ зачѣмъ огорчать заранѣе?

— Да... оно въ самомъ дѣлѣ...—началъ Алексѣевъ:—не

слѣдовало бы; но какой же деликатности ждать отъ мужика? Этотъ народъ ничего не понимаетъ.

— Ну, что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? — спросилъ Обломовъ, глядя вопросительно на Алексѣева, съ сладкой надеждой, авось не выдумаетъ ли, чѣмъ бы успокоить.

— Надо подумать, Илья Ильичъ, нельзя вдругъ рѣшить,— сказалъ Алексѣевъ.

— Къ губернатору, что ли, написать! — въ раздумьи говорилъ Илья Ильичъ.

— А кто у васъ губернаторъ?—спросилъ Алексѣевъ.

Илья Ильичъ не отвѣчалъ и задумался. Алексѣевъ замолчалъ и тоже о чемъ-то размышлялъ.

Обломовъ, комкая письмо въ рукахъ, подперъ голову руками, а локти уперъ въ колѣнки, и такъ сидѣлъ нѣсколько времени, мучимый приливомъ безполезныхъ мыслей.

— Хоть бы Штольцъ скорѣй пріѣхалъ! — сказалъ онъ:— Пишетъ, что скоро будетъ, а самъ, чортъ знаетъ, гдѣ шатается! Онъ бы уладилъ.

Онъ опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконецъ, Обломовъ очнулся первый.

— Вотъ тутъ, что надо дѣлать!—сказалъ онъ рѣшительно и чуть-было не всталъ съ постели: — и дѣлать какъ можно скорѣе, мѣшкать нечего... Во-первыхъ...

Въ это время раздался отчаянный звонокъ въ передней, такъ что Обломовъ съ Алексѣевымъ вздрогнули, а Захаръ мгновенно спрыгнулъ съ лежанки.

III.

— Дома?—громко и грубо кто-то спросилъ въ передней.

— Куда объ эту пору идти?—еще грубѣе отвѣчалъ Захаръ.

Вошелъ человѣкъ лѣтъ сорока, принадлежащій къ крупной породѣ, высокій, объемистый въ плечахъ и во всемъ туловищѣ, съ крупными чертами лица, съ большой головой, съ крѣпкой, коротенькой шеей, съ большими навыкатъ

глазами, толстогубый. Бѣглый взглядъ на этого человѣка рождалъ идею о чемъ-то грубомъ и неопрятномъ. Видно было, что онъ не гонялся за изяществомъ костюма. Не всегда его удавалось видѣть чисто обритымъ. Но ему, повидимому, это было все равно: онъ не смущался отъ своего костюма и носилъ его съ какимъ-то циническимъ достоинствомъ.

Это былъ Михей Андреевичъ Тарантьевъ, землякъ Обломова.

Тарантьевъ смотрѣлъ на все угрюмо, съ полупрезрѣніемъ, съ явнымъ недоброжелательствомъ ко всему окружающему, готовый бранить все и всѣхъ на свѣтѣ, какъ будто какой-нибудь обиженный несправедливостью, или непризнанный въ какомъ-то достоинствѣ, наконецъ, какъ гонимый судьбою сильный характеръ, который недобровольно, неуныло покоряется ей.

Движенія его были смѣлы и размашисты; говорилъ онъ громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать въ нѣкоторомъ отдаленіи, точно будто три пустыя телѣги ѣдутъ по мосту. Никогда не стѣснялся онъ ни чьимъ присутствіемъ и въ карманъ за словомъ не ходилъ, и вообще постоянно былъ грубъ въ обращеніи со всѣми, не исключая и пріятелей, какъ будто давалъ чувствовать, что, заговаривая съ человѣкомъ, даже обѣдая или ужиная у него, онъ дѣлаетъ ему большую честь.

Тарантьевъ былъ человѣкъ ума бойкаго и хитраго; никто лучше его не разсудитъ какого-нибудь общаго житейскаго вопроса, или юридическаго запутаннаго дѣла: онъ сейчасъ построитъ теорію дѣйствій въ томъ или другомъ случаѣ и очень тонко подведетъ доказательства, а въ заключеніе еще почти всегда нагрубитъ тому, кто съ нимъ о чемъ-нибудь посовѣтуется.

Между тѣмъ, самъ, какъ двадцать-пять лѣтъ назадъ, опредѣлился въ какую-то канцелярію писцомъ, такъ въ этой должности и дожилъ до сѣдыхъ волосъ. Ни ему самому

и никому другому и въ голову не приходило, чтобъ онъ пошелъ выше.

Дѣло въ томъ, что Тарантьевъ мастеръ былъ только говорить; на словахъ онъ рѣшалъ все ясно и легко, особенно, что касалось другихъ; но какъ только нужно было двинуть пальцемъ, тронуться съ мѣста—словомъ, примѣнить имъ же созданную теорію къ дѣлу и дать ему практическій ходъ, оказать распорядительность, быстроту — онъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ: тутъ его не хватало — ему вдругъ и тяжело дѣлалось, и нездоровилось, то неловко, то другое дѣло случится, за которое онъ тоже не примется, а если и примется, такъ не дай Богъ, что̀ выйдетъ. Точно ребенокъ: тамъ не доглядитъ, тутъ не знаетъ какихъ-нибудь пустяковъ, тамъ опоздаетъ, и кончитъ тѣмъ, что броситъ дѣло на половинѣ, или примется за него съ конца и такъ все нагадитъ, что и поправить никакъ нельзя, да еще онъ же потомъ и браниться станетъ.

Отецъ его, провинціальный подьячій стараго времени, назначалъ-было сыну въ наслѣдство искусство и опытность хожденія по чужимъ дѣламъ и свое, ловко пройденное поприще служенія въ присутственномъ мѣстѣ; но судьба распорядилась иначе. Отецъ, учившійся самъ когда-то по-русски на мѣдныя деньги, не хотѣлъ, чтобъ сынъ его отставалъ отъ времени, и пожелалъ поучить чему-нибудь, кромѣ мудреной науки хожденія по дѣламъ. Онъ года три посылалъ его къ священнику, учиться по-латыни.

Способный отъ природы мальчикъ въ три года прошелъ латинскую грамматику и синтаксисъ, и началъ-было разбирать Корнелія Непота, но отецъ рѣшилъ, что довольно и того, что онъ зналъ, что ужъ и эти познанія даютъ ему огромное преимущество надъ старымъ поколѣніемъ, и что, наконецъ, дальнѣйшія занятія могутъ, пожалуй, повредить службѣ въ присутственныхъ мѣстахъ.

Шестнадцатилѣтній Михей, не зная, что̀ дѣлать съ своей

латынью, сталъ въ домѣ родителей забывать ее, но за то, въ ожиданіи чести присутствовать въ земскомъ или уѣздномъ судѣ, присутствовалъ пока на всѣхъ пирушкахъ отца, и въ этой-то школѣ, среди откровенныхъ бесѣдъ, до тонкости развился умъ молодого человѣка.

Онъ съ юношескою впечатлительностью вслушивался въ разсказы отца и товарищей его о разныхъ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ, о любопытныхъ случаяхъ, которые проходили черезъ руки всѣхъ этихъ подьячихъ стараго времени.

Но все это ни къ чему не повело. Изъ Михея не выработался дѣлецъ и крючкотворецъ, хотя всѣ старанія отца и клонились къ этому и, конечно, увѣнчались бы успѣхомъ, если бъ судьба не разрушила замысловъ старика. Михей дѣйствительно усвоилъ себѣ всю теорію отцовскихъ бесѣдъ, оставалось только примѣнить ее къ дѣлу, но, за смертью отца, онъ не успѣлъ поступить въ судъ и былъ увезенъ въ Петербургъ какимъ-то благодѣтелемъ, который нашелъ ему мѣсто писца въ одномъ департаментѣ, да потомъ и забылъ о немъ.

Такъ Тарантьевъ и остался только теоретикомъ на всю жизнь. Въ петербургской службѣ ему нечего было дѣлать съ своею латынью и съ тонкой теоріей вершать по своему произволу правыя и неправыя дѣла; а между тѣмъ онъ носилъ и сознавалъ въ себѣ дремлющую силу, запертую въ немъ враждебными обстоятельствами навсегда, безъ надежды на проявленіе, какъ бывали запираемы, по сказкамъ, въ тѣсныхъ заколдованныхъ стѣнахъ духи зла, лишенные силы вредить. Можетъ-быть, отъ этого сознанія безполезной силы въ себѣ, Тарантьевъ былъ грубъ въ обращеніи, недоброжелателенъ, постоянно сердитъ и бранчивъ.

Онъ съ горечью и презрѣніемъ смотрѣлъ на свои настоящія занятія: на переписыванье бумагъ, на подшиванье дѣлъ и т. п. Ему вдали улыбалась только одна послѣдняя

надежда: перейти служить по винным откупам. На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и недостигнутаго. А в ожидании этого, готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ея поприще в провинции, примешиваясь ко всем мелочам его ничтожнаго существования в Петербурге, вкралась во все его приятельския отношения, за недостатком официальных.

Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей. Бог знает как и за что — заставлял, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженнаго уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громаднаго обеда, с приличным количеством вина и водки.

От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая, в то же время, непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел.

Таковы были два самые усердные посетителя Обломова.

Зачем эти два русскіе пролетарія ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошія сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково, если не радушный, то равнодушный прием.

Но зачем пускал их к себе Обломов — в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о-сю-пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для

производительности и только съ желудкомъ для потребленія, но почти всегда съ чиномъ и званіемъ.

Есть еще сибариты, которымъ необходимы такія дополненія въ жизни: имъ скучно безъ лишняго на свѣтѣ. Кто подастъ куда-то запропастившуюся табакерку, или подниметъ упавшій на полъ платокъ? Кому можно пожаловаться на головную боль, съ правомъ на участіе, разсказать дурной сонъ и потребовать истолкованія? Кто почитаетъ книжку на сонъ грядущій и поможетъ заснуть? А иногда такой пролетарій посылается въ ближайшій городъ, за покупкой, поможетъ по хозяйству—не самимъ же мыкаться!

Тарантьевъ дѣлалъ много шума, выводилъ Обломова изъ неподвижности и скуки. Онъ кричалъ, спорилъ и составлялъ родъ какого-то спектакля, избавляя лѣниваго барина самого отъ необходимости говорить и дѣлать. Въ комнату, гдѣ царствовалъ сонъ и покой, Тарантьевъ приносилъ жизнь, движеніе, а иногда и вѣсти извнѣ. Обломовъ могъ слушать, смотрѣть, не шевеля пальцемъ, на что-то бойкое, движущееся и говорящее передъ нимъ. Кромѣ того, онъ еще имѣлъ простодушіе вѣрить, что Тарантьевъ въ самомъ дѣлѣ способенъ посовѣтовать ему что-нибудь путное.

Посѣщенія Алексѣева Обломовъ терпѣлъ по другой не менѣе важной причинѣ. Если онъ хотѣлъ жить по-своему, т.-е. лежать молча, дремать, или ходить по комнатѣ, Алексѣева какъ будто не было тутъ: онъ тоже молчалъ, дремалъ, или смотрѣлъ въ книгу, разглядывалъ, съ лѣнивой зѣвотой до слезъ, картинки и вещицы. Онъ могъ такъ пробыть хоть три сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и онъ чувствовалъ потребность выразиться, говорить, читать, разсуждать, проявить волненіе—тутъ былъ всегда покорный и готовый слушатель и участникъ, раздѣлявшій одинаково согласно и его молчаніе, и его разговоръ, и волненіе, и образъ мыслей, каковъ бы онъ ни былъ.

Другіе гости заходили не часто, на минуту, какъ первые

три гостя; съ ними со всѣми все болѣе и болѣе порывались живыя связи. Обломовъ иногда интересовался какою-нибудь новостью, пяти-минутнымъ разговоромъ, потомъ, удовлетворенный этимъ, молчалъ. Имъ надо было платить взаимностью, принимать участіе въ томъ, что ихъ интересовало. Они купались въ людской толпѣ; всякій понималъ жизнь по-своему, какъ не хотѣлъ понимать ее Обломовъ, а они путали въ нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по-душѣ.

Былъ ему по-сердцу одинъ человѣкъ: тотъ тоже не давалъ ему покоя; онъ любилъ и новости, и свѣтъ, и науку, и всю жизнь, но какъ-то глубже, искреннѣе—и Обломовъ, хотя былъ ласковъ со всѣми, но любилъ искренно его одного, вѣрилъ ему одному, можетъ-быть, потому, что росъ, учился и жилъ съ нимъ вмѣстѣ. Это Андрей Карловичъ Штольцъ.

Онъ былъ въ отлучкѣ, но Обломовъ ждалъ его съ-часу-на-часъ.

IV.

— Здравствуй, землякъ,—отрывисто сказалъ Тарантьевъ, протягивая мохнатую руку къ Обломову.—Что ты это лежишь по сю пору, какъ колода?

— Не подходи, не подходи: ты съ холода! — говорилъ Обломовъ, прикрываясь одѣяломъ.

— Вотъ еще что̀ выдумалъ, съ холода!—заголосилъ Тарантьевъ. — Ну, ну, бери руку, коли даютъ! Скоро двѣнадцать часовъ, а онъ валяется!

Онъ хотѣлъ приподнять Обломова съ постели, но тотъ предупредилъ его, опустивъ быстро ноги и сразу попавъ ими въ обѣ туфли.

— Я самъ сейчасъ хотѣлъ вставать,—сказалъ онъ, зѣвая.

— Знаю я, какъ ты встаешь: ты бы тутъ до обѣда провалялся. Эй, Захаръ! Гдѣ ты тамъ, старый дуракъ? Давай скорѣй одѣваться барину.

— А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда!—заговорилъ Захаръ, войдя въ комнату и злобно поглядывая на Тарантьева.—Вонъ натоптали какъ, словно разносчикъ!—прибавилъ онъ.

— Ну, еще разговариваетъ, образина! — говорилъ Тарантьевъ и поднялъ ногу, чтобы сзади ударить проходившаго мимо Захара; но Захаръ остановился, обернулся къ нему и ощетинился.

— Только вотъ троньте!—яростно захрипѣлъ онъ.—Что̀ это такое? Я уйду... — сказалъ онъ, идучи назадъ къ дверямъ.

— Да полно тебѣ, Михей Андреичъ, какой ты неугомонный! Ну, что̀ ты его трогаешь?—сказалъ Обломовъ.—Давай, Захаръ, что нужно!

Захаръ воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнулъ мимо него.

Обломовъ, облокотясь на него, нехотя, какъ очень утомленный человѣкъ, привсталъ съ постели, и нехотя же перейдя на большое кресло, опустился въ него и остался неподвиженъ, какъ сѣлъ.

Захаръ взялъ со столика помаду, гребенку и щетки, напомадилъ ему голову, сдѣлалъ проборъ и потомъ причесалъ его щеткой.

— Умываться, теперь, что ли, будете?—спросилъ онъ.

— Немного погожу еще, — отвѣчалъ Обломовъ: — а ты поди-себѣ.

— Ахъ, да и вы тутъ? — вдругъ сказалъ Тарантьевъ, обращаясь къ Алексѣеву въ то время, какъ Захаръ причесывалъ Обломова.—Я васъ и не видалъ. Зачѣмъ вы здѣсь? Что̀ это вашъ родственникъ какая свинья! Я вамъ все хотѣлъ сказать...

— Какой родственникъ? У меня никакого родственника нѣтъ,—робко отвѣчалъ оторопѣвшій Алексѣевъ, выпуча глаза на Тарантьева.

— Ну, вотъ этотъ, что еще служитъ тутъ, какъ его?.. Аѳанасьевъ зовутъ. Какъ же не родственникъ?—родственникъ.

— Да я не Аѳанасьевъ, я Алексѣевъ, — сказалъ Алексѣевъ:—у меня нѣтъ родственника.

— Вотъ еще не родственникъ! Такой же, какъ вы, невзрачный, и зовутъ тоже Васильемъ Николаичемъ.

— Ей-Богу, не родня; меня зовутъ Иваномъ Алексѣичемъ.

— Ну, все равно, похожъ на васъ. Только онъ свинья; вы ему скажите это, какъ увидите.

— Я его не знаю, не видалъ никогда, — говорилъ Алексѣевъ, открывая табакерку.

— Дайте-ка табаку! — сказалъ Тарантьевъ. — Да у васъ простой, не французскій? Такъ и есть,—сказалъ онъ, понюхавъ:—отчего не французскій?—строго прибавилъ потомъ.— Да, еще этакой свиньи я не видывалъ, какъ вашъ родственникъ, — продолжалъ Тарантьевъ. — Взялъ я когда-то у него, ужъ года два будетъ, пятьдесятъ рублей взаймы. Ну, велики ли деньги пятьдесятъ рублей? Какъ, кажется, не забыть? Нѣтъ, помнитъ: черезъ мѣсяцъ, гдѣ ни встрѣтитъ: «А что жъ должокъ?» говоритъ. Надоѣлъ! Мало того, вчера къ намъ въ департаментъ пришелъ: «Вѣрно вы, говоритъ, жалованье получили, теперь можете отдать». Далъ я ему жалованье: пошелъ при всѣхъ срамить, такъ онъ насилу двери нашелъ. «Бѣдный человѣкъ, самому надо!» Какъ будто мнѣ не надо! Я что за богачъ, чтобъ ему по пятидесяти рублей отваливать! Дай-ка, землякъ, сигару.

— Сигары вонъ тамъ, въ коробочкѣ,—отвѣчалъ Обломовъ, указывая на этажерку.

Онъ задумчиво сидѣлъ въ креслахъ, въ своей лѣниво-красивой позѣ, не замѣчая, что вокругъ него дѣлалось, не слушая, что говорилось. Онъ съ любовью разсматривалъ и гладилъ свои маленькія, бѣлыя руки.

— Э! Да это все тѣ же? — строго спросилъ Тарантьевъ, вынувъ сигару и поглядывая на Обломова.

— Да, тѣ же,—отвѣчалъ Обломовъ машинально.

— А я говорилъ тебѣ, чтобъ ты купилъ другихъ, заграничныхъ? Вотъ какъ ты помнишь, что тебѣ говорятъ! Смотри же, чтобъ къ слѣдующей субботѣ непремѣнно было, а то долго не приду. Вишь, вѣдь, какая дрянь!—продолжалъ онъ, закуривъ сигару и пустивъ одно облако дыма на воздухъ, а другое втянувъ въ себя.—Курить нельзя.

— Ты рано сегодня пришелъ, Михей Андреичъ,—сказалъ Обломовъ, зѣвая.

— Что жъ, надоѣлъ тебѣ, что ли?

— Нѣтъ, я такъ только замѣтилъ; ты обыкновенно къ обѣду прямо приходишь, а теперь только еще первый часъ.

— Я нарочно заранѣе пришелъ, чтобъ узнать, какой обѣдъ будетъ. Ты все дрянью кормишь меня, такъ я вотъ узнаю, что-то ты велѣлъ готовить сегодня.

— Узнай тамъ, на кухнѣ,—сказалъ Обломовъ.

Тарантьевъ вышелъ.

— Помилуй!—сказалъ онъ, воротясь.—Говядина и телятина! Эхъ, братъ Обломовъ, не умѣешь ты жить, а еще помѣщикъ! Какой ты баринъ? По-мѣщански живешь; не умѣешь угостить пріятеля! Ну, мадера-то куплена?

— Не знаю, спроси у Захара, — почти не слушая его, сказалъ Обломовъ:—тамъ вѣрно есть вино.

— Это прежняя-то, отъ нѣмца? Нѣтъ, изволь въ англійскомъ магазинѣ купить.

— Ну, и этой довольно,—сказалъ Обломовъ:—а то еще посылать!

— Да постой, дай деньги, я мимо пойду и принесу; мнѣ еще надо кое-куда сходить.

Обломовъ порылся въ ящикѣ и вынулъ тогдашнюю красненькую десяти-рублевую бумажку.

— Мадера семь рублей стоитъ, — сказалъ Обломовъ: — а тутъ десять.

— Такъ дай все: тамъ дадутъ сдачи, не бойся!

Онъ выхватилъ изъ рукъ Обломова ассигнацію и проворно спряталъ въ карманъ.

— Ну, я пойду,—сказалъ Тарантьевъ, надѣвая шляпу:— а къ пяти часамъ буду; мнѣ надо кое-куда зайти: обѣщали мѣсто въ питейной конторѣ, такъ велѣли понавѣдаться... Да вотъ что, Илья Ильичъ: не наймешь ли ты коляску сегодня, въ Екатерингофъ ѣхать? И меня бы взялъ.

Обломовъ покачалъ головой, въ знакъ отрицанія.

— Что, лѣнь, или денегъ жаль? Эхъ, ты, мѣшокъ!—сказалъ онъ.—Ну, прощай пока...

— Постой, Михей Андреичъ,—прервалъ Обломовъ:—мнѣ надо кое-о-чемъ посовѣтоваться съ тобой.

— Что еще тамъ? Говори скорѣй: мнѣ некогда.

— Да вотъ на меня два несчастья вдругъ обрушились. Съ квартиры гонятъ...

— Видно не платишь: и подѣломъ!—сказалъ Тарантьевъ и хотѣлъ идти.

— Поди ты! Я всегда впередъ отдаю. Нѣтъ, тутъ хотятъ другую квартиру отдѣлывать... Да постой! Куда ты? Научи, что дѣлать: торопятъ, черезъ недѣлю чтобъ съѣхали...

— Что я за совѣтникъ тебѣ достался?.. Напрасно ты воображаешь...

— Я совсѣмъ ничего не воображаю,—сказалъ Обломовъ:— не шуми и не кричи, а лучше подумай, что дѣлать. Ты человѣкъ практическій...

Тарантьевъ уже не слушалъ его и о чемъ-то размышлялъ.

— Ну, такъ и быть, благодари меня,—сказалъ онъ, снимая шляпу и садясь:—и вели къ обѣду подать шампанскаго: дѣло твое сдѣлано.

— Что такое?—спросилъ Обломовъ.

— Шампанское будетъ?

— Пожалуй, если совѣтъ стоитъ...

— Нѣтъ, самъ-то ты не стоишь совѣта. Что я тебѣ даромъ-то стану совѣтовать? Вонъ, спроси его, — прибавилъ онъ, указывая на Алексѣева:—или у родственника его.

— Ну, ну, полно, говори!—просилъ Обломовъ.

— Вотъ что: завтра же изволь переѣзжать на квартиру...

— Э! Что придумалъ! Это я и самъ зналъ...

— Постой, не перебивай! — закричалъ Тарантьевъ. — Завтра переѣзжай на квартиру къ моей кумѣ, на Выборгскую Сторону...

— Это что за новости? На Выборгскую Сторону! Да туда, говорятъ, зимой волки забѣгаютъ.

— Случается, забѣгаютъ съ острововъ, да тебѣ что до этого за дѣло?

— Тамъ скука, пустота, никого нѣтъ.

— Врешь! Тамъ кума моя живетъ: у ней свой домъ, съ большими огородами. Она женщина благородная, вдова, съ двумя дѣтьми; съ ней живетъ холостой братъ: голова, не то, что вотъ эта, что тутъ въ углу сидитъ,—сказалъ онъ, указывая на Алексѣева:—насъ съ тобой за поясъ заткнетъ!

— Да что жъ мнѣ до всего до этого за дѣло? — сказалъ съ нетерпѣніемъ Обломовъ.—Я туда не переѣду.

— А вотъ я посмотрю, какъ ты не переѣдешь. Нѣтъ, ужъ коли спросилъ совѣта, такъ слушайся, что говорятъ.

— Я не переѣду,—рѣшительно сказалъ Обломовъ.

— Ну, такъ чортъ съ тобой!—отвѣчалъ Тарантьевъ, нахлобучивъ шляпу, и пошелъ къ дверямъ.

— Чудакъ ты этакой!— воротясь, сказалъ Тарантьевъ.— Что тебѣ здѣсь сладко кажется?

— Какъ что? Отъ всего близко,— говорилъ Обломовъ:— тутъ и магазины, и театръ, и знакомые... центръ города, все...

— Что-о? — перебилъ Тарантьевъ. — А давно ли ты ходилъ со двора, скажи-ка? Давно ли ты былъ въ театрѣ? Къ

какимъ знакомымъ ходишь ты? На кой чортъ тебѣ этотъ центръ, позволь спросить?

— Ну, какъ зачѣмъ? Мало ли зачѣмъ!

— Видишь, и самъ не знаешь! А тамъ, подумай: ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, въ покоѣ, тихо; никто тебя не тронетъ; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, вѣдь ты живешь точно на постояломъ дворѣ, а еще баринъ, помѣщикъ! А тамъ чистота, тишина; есть съ кѣмъ и слово перемолвить, какъ соскучишься. Кромѣ меня, къ тебѣ и ходить никто не будетъ. Двое ребятишекъ — играй съ ними, сколько хочешь! Чего тебѣ? А выгода-то, выгода какая. Ты что здѣсь платишь?

— Полторы тысячи.

— А тамъ тысячу рублей почти за цѣлый домъ! Да какія свѣтленькія, славныя комнаты! Она давно хотѣла тихаго, аккуратнаго жильца имѣть—вотъ я тебя и назначаю...

Обломовъ разсѣянно покачалъ головой, въ знакъ отрицанія.

— Врешь, переѣдешь! — сказалъ Тарантьевъ. — Ты разсуди, что тебѣ вѣдь это вдвое меньше станетъ: на одной квартирѣ пятьсотъ рублей выгадаешь. Столъ у тебя будетъ вдвое лучше и чище; ни кухарка, ни Захаръ воровать не будутъ...

Въ передней послышалось ворчанье.

— И порядка больше, — продолжалъ Тарантьевъ: — вѣдь теперь скверно у тебя за столъ сѣсть! Хватишься перцу — нѣтъ, уксусу не куплено, ножи не чищены; бѣлье, ты говоришь, пропадаетъ, пыль вездѣ — ну, мерзость. А тамъ женщина будетъ хозяйничать: ни тебѣ, ни твоему дураку, Захару...

Ворчанье въ передней раздалось сильнѣе.

— Этому старому псу, — продолжалъ Тарантьевъ: — ни о чемъ и подумать не придется: на всемъ готовомъ будешь жить. Что тутъ размышлять? Переѣзжай, да и конецъ...

— Да какъ же это я вдругъ, ни съ того, ни съ сего, на Выборгскую Сторону...

— Поди съ нимъ! — говорилъ Тарантьевъ, отирая потъ съ лица.—Теперь лѣто: вѣдь это все равно, что дача. Что ты гніешь здѣсь лѣтомъ-то, въ Гороховой?.. Тамъ Безбородкинъ садъ, Охта подъ бокомъ, Нева въ двухъ шагахъ, свой огородъ—ни пыли, ни духоты! Нечего и думать: я сейчасъ же до обѣда слетаю къ ней — ты дай мнѣ на извозчика и завтра же переѣзжать...

— Что это за человѣкъ! — сказалъ Обломовъ. — Вдругъ выдумаетъ чортъ знаетъ что: на Выборгскую Сторону... Это не мудрено выдумать. Нѣтъ, вотъ ты ухитрись выдумать, чтобъ остаться здѣсь. Я восемь лѣтъ живу, такъ мѣнять-то не хочется...

— Это кончено: ты переѣдешь. Я сейчасъ ѣду къ кумѣ, про мѣсто въ другой разъ навѣдаюсь...

Онъ было-пошелъ.

— Постой, постой! Куда ты?—остановилъ его Обломовъ.— У меня еще есть дѣло поважнѣе. Посмотри, какое я письмо отъ старосты получилъ, да рѣши, что мнѣ дѣлать.

— Видишь, вѣдь ты какой уродился! — возразилъ Тарантьевъ. — Ничего не умѣешь самъ сдѣлать. Все я, да я! Ну, куда ты годишься? Не человѣкъ: просто солома!

— Гдѣ письмо-то? Захаръ, Захаръ! Опять онъ куда-то дѣлъ его!—говорилъ Обломовъ.

— Вотъ письмо старосты, — сказалъ Алексѣевъ, взявъ скомканное письмо.

— Да, вотъ оно,— повторилъ Обломовъ и началъ читать вслухъ.

— Что ты скажешь? Какъ мнѣ быть!—спросилъ, прочитавъ, Илья Ильичъ.—Засухи, недоимки...

— Пропащій, совсѣмъ пропащій человѣкъ!—говорилъ Тарантьевъ.

— Да отчего жъ пропащій?

— Какъ же не пропащій?

— Ну, если пропащій, такъ скажи, что̀ дѣлать?

— А что за это?

— Вѣдь сказано, будетъ шампанское: чего же еще тебѣ?

— Шампанское за отысканіе квартиры; вѣдь я тебя облагодѣтельствовалъ, а ты не чувствуешь этого, споришь еще; ты неблагодаренъ! Поди-ка, сыщи самъ квартиру! Да что квартира? Главное, спокойствіе-то какое тебѣ будетъ: все равно, какъ у родной сестры. Двое ребятишекъ, холостой братъ, я всякій день буду заходить...

— Ну, хорошо, хорошо,—перебилъ Обломовъ: — ты вотъ теперь скажи, что̀ мнѣ со старостой дѣлать?

— Нѣтъ, прибавь портеръ къ обѣду, такъ скажу.

— Вотъ теперь портеръ! Мало тебѣ...

— Ну, такъ прощай,—сказалъ Тарантьевъ, опять надѣвая шляпу.

— Ахъ, ты, Боже мой! Тутъ староста пишетъ, что дохода «тысящи двѣ яко поменѣ», а онъ еще портеръ набавилъ! Ну, хорошо, купи портеру.

— Дай еще денегъ!—сказалъ Тарантьевъ.

— Вѣдь у тебя останется сдача отъ красненькой.

— А на извозчика на Выборгскую Сторону? — отвѣчалъ Тарантьевъ.

Обломовъ вынулъ еще цѣлковый и съ досадой сунулъ ему.

— Староста твой мошенникъ—вотъ что я тебѣ скажу,— началъ Тарантьевъ, пряча цѣлковый въ карманъ: — а ты вѣришь ему, разиня ротъ. Видишь, какую пѣсню поетъ! Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли. Вретъ, все вретъ! Я слышалъ, что въ нашихъ мѣстахъ, въ Шумиловой вотчинѣ, прошлогоднимъ урожаемъ всѣ долги уплатили, а у тебя вдругъ засуха да неурожай. Шумиловское-то въ пятидесяти верстахъ отъ тебя только: отчего жъ тамъ не сожгло хлѣба? Выдумалъ еще недоимки! А онъ чего смотрѣлъ? Зачѣмъ запускалъ? Откуда это недоимки? Работы,

что ли, или сбыта въ нашей сторонѣ нѣтъ? Ахъ онъ разбойникъ! Да я бы его выучилъ! А мужики разошлись оттого, что самъ же онъ, чай, содралъ съ нихъ что-нибудь, да и распустилъ, а исправнику и не думалъ жаловаться.

— Не можетъ быть,—говорилъ Обломовъ: — онъ даже и отвѣтъ исправника передаетъ въ письмѣ—такъ натурально...

— Эхъ, ты! Не знаешь ничего. Да всѣ мошенники натурально пишутъ — ужъ это ты мнѣ повѣрь! Вотъ, напримѣръ,—продолжалъ онъ, указывая на Алексѣева: — сидитъ честная душа, овца-овцой, а напишетъ ли онъ натурально?—Никогда. А родственникъ его, даромъ что свинья и бестія, тотъ напишетъ. И ты не напишешь натурально! Стало-быть, староста твой ужъ потому бестія, что ловко и натурально написалъ. Видишь, вѣдь, какъ прибралъ, слово въ слову: «водворить на мѣсто жительства».

— Что жъ дѣлать-то съ нимъ?—спросилъ Обломовъ.

— Смѣни его сейчасъ же.

— А кого я назначу? Почемъ я знаю мужиковъ? Другой, можетъ-быть, хуже будетъ. Я двѣнадцать лѣтъ не былъ тамъ.

— Ступай въ деревню самъ: безъ этого нельзя; пробудь тамъ лѣто, а осенью прямо на новую квартиру и пріѣзжай. Я ужъ похлопочу тутъ, чтобъ она была готова.

— На новую квартиру, въ деревню, самому! Какія ты все отчаянныя мѣры предлагаешь! — съ неудовольствіемъ сказалъ Обломовъ. — Нѣтъ, чтобъ избѣгнуть крайностей и придержаться средины...

— Ну, братъ, Илья Ильичъ, совсѣмъ пропадешь ты. Да я бы, на твоемъ мѣстѣ, давнымъ-давно заложилъ имѣніе, да купилъ бы другое, или домъ здѣсь, на хорошемъ мѣстѣ: это стóитъ твоей деревни. А тамъ заложилъ бы и домъ, да купилъ бы другой... Дай-ка мнѣ твое имѣніе, такъ обо мнѣ услыхали бы въ народѣ-то.

— Перестань хвастаться, а выдумай, какъ бы и съ квар-

тиры не съѣзжать, и въ деревню не ѣхать, и чтобъ дѣло сдѣлалось...—замѣтилъ Обломовъ.

— Да сдвинешься ли ты когда-нибудь съ мѣста?—говорилъ Тарантьевъ. — Вѣдь погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая отъ тебя польза отечеству? Не можетъ въ деревню съѣздить!

— Теперь мнѣ еще рано ѣхать,—отвѣчалъ Илья Ильичъ:— прежде дай кончить планъ преобразованій, которыя я намѣренъ ввести въ имѣніе... Да знаешь ли что, Михей Андреичъ? — вдругъ сказалъ Обломовъ. — Съѣзди-ка ты. Дѣло ты знаешь, мѣста тебѣ тоже извѣстны; а я бы не пожалѣлъ издержекъ.

— Я управитель, что ли, твой?—надменно возразилъ Тарантьевъ.—Да и отвыкъ я съ мужиками-то обращаться...

— Что дѣлать? — сказалъ задумчиво Обломовъ. — Право не знаю.

— Ну, напиши къ исправнику: спроси его, говорилъ ли ему староста о шатающихся мужикахъ, — совѣтовалъ Тарантьевъ:—да попроси заѣхать въ деревню: потомъ къ губернатору напиши, чтобъ предписалъ исправнику донести о поведеніи старосты. «Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участіе и взгляните окомъ милосердія на неминуемое, угрожающее мнѣ ужаснѣйшее несчастіе, происходящее отъ буйственныхъ поступковъ старосты, и крайнее разореніе, коему я неминуемо долженъ подвергнуться, съ женой и малолѣтними, остающимися безъ всякаго призрѣнія и куска хлѣба, двѣнадцатью человѣками дѣтей...»

Обломовъ засмѣялся.

— Откуда я наберу столько ребятишекъ, если попросятъ показать дѣтей?—сказалъ онъ.

— Врешь, пиши: съ двѣнадцатью человѣками дѣтей; оно проскользнетъ мимо ушей, справокъ наводить не станутъ, это будетъ «натурально»... Губернаторъ письмо передастъ секретарю, а ты напишешь въ то же время и ему, раз-

умѣется, со вложеніемъ,—тотъ и сдѣлаетъ распоряженіе. Да попроси сосѣдей: кто у тебя тамъ?

— Добрынинъ тамъ близко,—сказалъ Обломовъ:—я здѣсь съ нимъ часто видѣлся; онъ тамъ теперь.

— И ему напиши, попроси хорошенько: «сдѣлаете, дескать, мнѣ этимъ кровное одолженіе и обяжете, какъ христіанинъ, какъ пріятель и какъ сосѣдъ». Да приложи къ письму какой-нибудь петербургскій гостинецъ... сигаръ, что ли. Вотъ ты какъ поступи, а то ничего не смыслишь. Пропащій человѣкъ! У меня наплясался бы староста: я бы ему далъ! Когда туда почта?

— Послѣзавтра,—сказалъ Обломовъ.

— Такъ вотъ садись, да и пиши сейчасъ.

— Вѣдь послѣзавтра, такъ зачѣмъ же сейчасъ? — замѣтилъ Обломовъ:—можно и завтра. Да послушай-ка, Михей Андреичъ, — прибавилъ онъ: — ужъ доверши свои «благодѣянія»: я такъ и быть, еще прибавлю къ обѣду рыбу, или птицу какую-нибудь.

— Что еще?—спросилъ Тарантьевъ.

— Присядь, да напиши. Долго ли тебѣ три письма настрочить? Ты такъ «натурально» разсказываешь...—прибавилъ онъ, стараясь скрыть улыбку: — а вонъ Иванъ Алексѣичъ переписалъ бы...

— Э! Какія выдумки!—отвѣчалъ Тарантьевъ:—чтобъ я писать сталъ! Я и въ должности третій день не пишу: какъ сяду, такъ слеза изъ лѣваго глаза и начнетъ бить; видно надуло, да и голова затекаетъ, какъ нагнусь... Лѣнтяй ты, лѣнтяй! Пропадешь, братъ, Илья Ильичъ, ни за копейку.

— Ахъ, хоть бы Андрей поскорѣй пріѣхалъ! — сказалъ Обломовъ:—онъ бы все уладилъ...

— Вотъ нашелъ благодѣтеля! — прервалъ его Тарантьевъ:—нѣмецъ проклятый, шельма продувная!..

Тарантьевъ питалъ какое-то инстинктивное отвращеніе къ иностранцамъ. Въ глазахъ его французъ, нѣмецъ, ан-

гличанинъ были синонимы мошенника, обманщика, хитреца, или разбойника. Онъ даже не дѣлалъ различія между нами: онѣ были всѣ одинаковы въ его глазахъ.

— Послушай, Михей Андреичъ,—строго заговорилъ Обломовъ: — я тебя просилъ быть воздержнѣе на языкъ, особенно о близкомъ мнѣ человѣкѣ...

— О близкомъ человѣкѣ!—съ ненавистью возразилъ Тарантьевъ. — Что онъ тебѣ за родня такая? Нѣмецъ— извѣстно.

— Ближе всякой родни: я вмѣстѣ съ нимъ росъ, учился, я не позволю дерзостей...

Тарантьевъ побагровѣлъ отъ злости.

— А! Если ты мѣняешь меня на нѣмца,—сказалъ онъ:— такъ я къ тебѣ больше ни ногой.

Онъ надѣлъ шляпу и пошелъ къ двери. Обломовъ мгновенно смягчился.

— Тебѣ бы слѣдовало уважать въ немъ моего пріятеля и осторожнѣе отзываться о немъ—вотъ все, чего я требую! Кажется, не велика услуга,—сказалъ онъ.

— Уважать нѣмца? — съ величайшимъ презрѣніемъ сказалъ Тарантьевъ.—За что это?

— Я ужъ тебѣ сказалъ, хоть бы за то, что онъ вмѣстѣ со мной росъ и учился.

— Велика важность! Мало ли кто съ кѣмъ учился!

— Вотъ если бъ онъ былъ здѣсь, такъ онъ давно бы избавилъ меня отъ всякихъ хлопотъ, не спросивъ ни портеру, ни шампанскаго...—сказалъ Обломовъ.

— А! Ты попрекаешь мнѣ! Такъ чортъ съ тобой, и съ твоимъ портеромъ и шампанскимъ! На, вотъ, возьми свои деньги... Куда бишь я ихъ положилъ? Вотъ совсѣмъ забылъ, куда сунулъ, проклятыя!

Онъ вынулъ какую-то замасленную, исписанную бумажку.

— Нѣтъ, не онѣ!—говорилъ онъ.—Куда это я ихъ?..

Онъ шарилъ по карманамъ.

— Не трудись, не доставай! — сказалъ Обломовъ: — я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнѣе о человѣкѣ, который мнѣ близокъ и который такъ много сдѣлалъ для меня...

— Много!—злобно возразилъ Тарантьевъ.—Вотъ постой, онъ еще больше сдѣлаетъ—ты слушай его!

— Къ чему ты это говоришь мнѣ?—спросилъ Обломовъ.

— А вотъ къ тому, какъ ужо нѣмецъ твой облушитъ тебя, такъ ты и будешь знать, какъ мѣнять земляка, русскаго человѣка, на бродягу какого-то...

— Послушай, Михей Андреичъ...—началъ Обломовъ.

— Нечего слушать-то, я слушалъ много, натерпѣлся отъ тебя горя-то! Богъ видитъ, сколько обидъ перенесъ... Чай, въ Саксоніи-то отецъ его и хлѣба-то не видалъ, а сюда носъ поднимать пріѣхалъ.

— За что ты мертвыхъ тревожишь? Чѣмъ виноватъ отецъ?

— Виноваты оба, и отецъ, и сынъ, — мрачно сказалъ Тарантьевъ, махнувъ рукой. — Не даромъ мой отецъ совѣтовалъ беречься этихъ нѣмцевъ, а ужъ онъ ли не зналъ всякихъ людей на своемъ вѣку!

— Да чѣмъ же не нравится отецъ, напримѣръ? — спросилъ Илья Ильичъ.

— А тѣмъ, что пріѣхалъ въ нашу губернію въ одномъ сюртукѣ, да въ башмакахъ, въ сентябрѣ, а тутъ вдругъ сыну наслѣдство оставилъ—что̀ это значитъ?

— Оставилъ онъ сыну наслѣдства всего тысячъ сорокъ. Кое-что онъ взялъ въ приданое за женой, а остальныя пріобрѣлъ тѣмъ, что училъ дѣтей, да управлялъ имѣніемъ: хорошее жалованье получалъ. Видишь, что отецъ не виноватъ. Чѣмъ же теперь виноватъ сынъ?

— Хорошъ мальчикъ! Вдругъ изъ отцовскихъ сорока сдѣлалъ тысячъ триста капиталу, и въ службѣ за надворнаго перевалился, и ученый... теперь вонъ еще путеше-

ствуетъ! Пострѣлъ вездѣ поспѣлъ! Развѣ настоящій-то хорошій русскій человѣкъ станетъ все это дѣлать? Русскій человѣкъ выберетъ что-нибудь одно, да и то еще не спѣша, потихоньку да полегоньку, кое-какъ, а то на-ко, поди! Добро бы въ откупа вступилъ—ну, понятно, отчего разбогатѣлъ; а то ничего, такъ, на фу-фу! Нечисто! Я бы подъ судъ этакихъ! Вотъ теперь шатается, чортъ знаетъ гдѣ! — продолжалъ Тарантьевъ. — Зачѣмъ онъ шатается по чужимъ землямъ?

— Учиться хочетъ, все видѣть, знать.

— Учиться! Мало еще учили его? Чему это? Вретъ онъ, не вѣрь ему: онъ тебя въ глаза обманываетъ, какъ малаго ребенка. Развѣ большіе учатся чему-нибудь? Слышите, что разсказываетъ? Станетъ надворный совѣтникъ учиться! Вотъ ты учился въ школѣ, а развѣ теперь учишься? А онъ развѣ (онъ указалъ на Алексѣева) учится? А родственникъ его учится? Кто изъ добрыхъ людей учится? Что онъ тамъ, въ нѣмецкой школѣ, что ли, сидитъ, да уроки учитъ? Вретъ онъ! Я слышалъ, онъ какую-то машину поѣхалъ смотрѣть да заказывать: видно тиски-то для русскихъ денегъ! Я бы его въ острогъ... Акціи какія-то... Охъ, эти мнѣ акціи, такъ душу и мутятъ!

Обломовъ расхохотался.

— Что зубы-то скалишь? Не правда, что ли, я говорю?— сказалъ Тарантьевъ.

— Ну, оставимъ это! — прервалъ его Илья Ильичъ.— Ты иди съ Богомъ, куда хотѣлъ, а я вотъ съ Иваномъ Алексѣевичемъ напишу всѣ эти письма, да постараюсь поскорѣй набросать на бумагу планъ-то свой: ужъ кстати заодно дѣлать...

Тарантьевъ ушелъ-было въ переднюю, но вдругъ воротился опять.

— Забылъ совсѣмъ! Шелъ къ тебѣ за дѣломъ съ утра,— началъ онъ, ужъ вовсе не грубо. — Завтра звали меня на

свадьбу: Рокотовъ женится. Дай, землякъ, своего фрака надѣть; мой-то, видишь ты, пообтерся немного... —

— Какъ же можно! — сказалъ Обломовъ, хмурясь при этомъ новомъ требованіи. — Мой фракъ тебѣ не впору...

— Впору; вотъ не впору? — перебилъ Тарантьевъ. — А помнишь, я примѣривалъ твой сюртукъ: какъ на меня сшитъ! Захаръ, Захаръ! Поди-ка сюда, старая скотина! — кричалъ Тарантьевъ.

Захаръ зарычалъ, какъ медвѣдь, но не шелъ.

— Позови его, Илья Ильичъ. Что это онъ у тебя какой! — жаловался Тарантьевъ.

— Захаръ! — кликнулъ Обломовъ.

— О, чтобъ васъ тамъ! — раздалось въ передней, вмѣстѣ съ прыжкомъ ногъ съ лежанки.

— Ну, чего вамъ? — спросилъ онъ, обращаясь къ Тарантьеву.

— Дай сюда мой черный фракъ! — приказывалъ Илья Ильичъ. — Вотъ Михей Андреичъ примѣритъ, не впору ли ему: завтра ему на свадьбу надо...

— Не дамъ фрака, — рѣшительно сказалъ Захаръ.

— Какъ ты смѣешь, когда баринъ приказываетъ? — закричалъ Тарантьевъ. — Что ты, Илья Ильичъ, его въ смирительный домъ не отправишь?

— Да, вотъ этого еще недоставало: старика въ смирительный домъ! — сказалъ Обломовъ. — Дай, Захаръ, фракъ, не упрямься!

— Не дамъ! — холодно отвѣчалъ Захаръ. — Пусть прежде они принесутъ назадъ жилетъ да нашу рубашку: пятый мѣсяцъ гоститъ тамъ. Взяли вотъ этакъ же на именины, да и поминай какъ звали; жилетъ-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать пять рублевъ стоитъ. Не дамъ фрака!

— Ну, прощайте! Чортъ съ вами пока! — съ сердцемъ заключилъ Тарантьевъ, уходя и грозя Захару кулакомъ. —

Смотри же, Илья Ильичъ, я найму тебѣ квартиру — слышишь ты?—прибавилъ онъ.

— Ну, хорошо, хорошо! — съ нетерпѣніемъ говорилъ Обломовъ, чтобъ только отвязаться отъ него.

— А ты навищи тугъ, что̀ нужно, — продолжалъ Тарантьевъ:—да не забудь написать губернатору, что у тебя двѣнадцать человѣкъ дѣтей, «малъ мала меньше». А въ пять часовъ, чтобъ супъ былъ на столѣ! Да что ты не велѣлъ пирога сдѣлать?

Но Обломовъ молчалъ; онъ давно ужъ не слушалъ его и, закрывъ глаза, думалъ о чемъ-то другомъ.

Съ уходомъ Тарантьева въ комнатѣ водворилась ненарушимая тишина минутъ на десять. Обломовъ былъ разстроенъ и письмомъ старосты, и предстоящимъ переѣздомъ на квартиру, и отчасти утомленъ трескотней Тарантьева. Наконецъ, онъ вздохнулъ.

— Что жъ вы не пишете?—тихо спросилъ Алексѣевъ.— Я бы вамъ перышко очинилъ.

— Очините, да и Богъ съ вами, подите куда-нибудь!— сказалъ Обломовъ. — Я ужъ одинъ займусь, а вы послѣ обѣда перепишете.

— Очень хорошо-съ,—отвѣчалъ Алексѣевъ.—Въ самомъ дѣлѣ, еще помѣшаю какъ-нибудь... А и пойду пока скажу, чтобъ насъ не ждали въ Екатерингофъ. Прощайте, Илья Ильичъ.

Но Илья Ильичъ не слушалъ его: онъ, подобравъ ноги подъ себя, почти улегся въ кресло и, подгорюнившись, погрузился не то въ дремоту, не то въ задумчивость.

V.

Обломовъ, дворянинъ родомъ, коллежскій секретарь чиномъ, безвыѣздно живетъ двѣнадцатый годъ въ Петербургѣ.

Сначала, при жизни родителей, жилъ потѣснѣе, помѣщался въ двухъ комнатахъ, довольствовался только выве-

зеннымъ имъ изъ деревни слугой, Захаромъ; но по смерти отца и матери, онъ сталъ единственнымъ обладателемъ трехсотъ пятидесяти душъ, доставшихся ему въ наслѣдство въ одной изъ отдаленныхъ губерній, чуть не въ Азіи.

Онъ, вмѣсто пяти, получалъ уже отъ семи до десяти тысячъ рублей ассигнаціями дохода; тогда и жизнь его приняла другіе, болѣе широкіе размѣры. Онъ нанялъ квартиру побольше, прибавилъ къ своему штату еще повара и завелъ-было пару лошадей.

Тогда еще онъ былъ молодъ и, если нельзя сказать, чтобъ онъ былъ живъ, то, по крайней мѣрѣ, живѣе, чѣмъ теперь; еще онъ былъ полонъ разныхъ стремленій, все чего-то надѣялся, ждалъ многаго и отъ судьбы, и отъ самого себя; все готовился къ поприщу, къ роли — прежде всего, разумѣется, въ службѣ, что и было цѣлью его пріѣзда въ Петербургъ. Потомъ онъ думалъ и о роли въ обществѣ; наконецъ, въ отдаленной перспективѣ, на поворотѣ съ юности къ зрѣлымъ лѣтамъ, воображенію его мелькало и улыбалось семейное счастіе.

Но дни шли за днями, годы смѣнялись годами, пушокъ обратился въ жесткую бороду, лучи глазъ смѣнились двумя тусклыми точками, талія округлилась, волосы стали немилосердно лѣзть, стукнуло тридцать лѣтъ, а онъ ни на шагъ не подвинулся ни на какомъ поприщѣ, и все еще стоялъ у порога своей арены, тамъ же, гдѣ былъ десять лѣтъ назадъ.

Но онъ все сбирался и готовился начать жизнь, все рисовалъ въ умѣ узоръ своей будущности; но съ каждымъ мелькавшимъ надъ головой его годомъ долженъ былъ что-нибудь измѣнять и отбрасывать въ этомъ узорѣ.

Жизнь въ его глазахъ раздѣлялась на двѣ половины: одна состояла изъ труда и скуки — это у него были синонимы; другая — изъ покоя и мирнаго веселья. Отъ этого, главное поприще — служба на первыхъ порахъ озадачила его самымъ непріятнымъ образомъ.

Воспитанный въ нѣдрахъ провинціи, среди кроткихъ и и теплыхъ нравовъ и обычаевъ родины, переходя, въ теченіе двадцати лѣтъ, изъ объятій въ объятія родныхъ, друзей и знакомыхъ, онъ до того былъ проникнутъ семейнымъ началомъ, что и будущая служба представлялась ему въ видѣ какого-то семейнаго занятія, въ родѣ, напримѣръ, лѣнцваго записыванья въ тетрадку прихода и расхода, какъ дѣлывалъ его отецъ.

Онъ полагалъ, что чиновники одного мѣста составляли между собою дружную, тѣсную семью, неусыпно-пекущуюся о взаимномъ спокойствіи и удовольствіяхъ, что посѣщеніе присутственнаго мѣста отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара, или, просто, нерасположеніе, всегда будутъ служить достаточными и законными предлогами къ нехожденію въ должность.

Но какъ огорчился онъ, когда увидѣлъ, что надобно быть, по крайней мѣрѣ, землетрясенію, чтобъ не придти здоровому чиновнику на службу, а землетрясеній, какъ на грѣхъ, въ Петербургѣ не бываетъ; наводненіе, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то рѣдко бываетъ.

Еще болѣе призадумался Обломовъ, когда замелькали у него въ глазахъ пакеты, съ надписью *нужное* и *весьма нужное*, когда его заставляли дѣлать разныя справки, выписки, рыться въ дѣлахъ, писать тетради въ два пальца толщиной, которыя, точно на смѣхъ, называли *записками*; притомъ все требовали скоро, всѣ куда-то торопились, ни на чемъ не останавливались: не успѣютъ спустить съ рукъ одно дѣло, какъ ужъ опять съ яростью хватаются за другое, какъ будто въ немъ вся сила и есть, и кончивъ, забудутъ его и кидаются на третье — и конца этому никогда нѣтъ!

Раза два его поднимали ночью и заставляли писать «записки», нѣсколько разъ добывали, посредствомъ курьера,

изъ гостей—все по поводу этихъ же записокъ. Все это навело на него страхъ и скуку великую.

— Когда же жить? Когда жить?—твердилъ онъ.

О начальникѣ онъ слыхалъ у себя дома, что это отецъ подчиненныхъ, и потому составилъ себѣ самое смѣющееся, самое семейное понятіе объ этомъ лицѣ. Онъ его представлялъ себѣ чѣмъ-то въ родѣ второго отца, который только и дышитъ тѣмъ, какъ бы за дѣло и не за дѣло, сплошь да рядомъ, награждать своихъ подчиненныхъ и заботиться не только о ихъ нуждахъ, но и объ удовольствіяхъ.

Илья Ильичъ думалъ, что начальникъ до того входитъ въ положеніе своего подчиненнаго, что заботливо разспроситъ его: каково онъ почивалъ ночью, отчего у него мутные глаза, и не болитъ ли голова?

Но онъ жестоко разочаровался въ первый же день своей службы. Съ пріѣздомъ начальника начиналась бѣготня, суета, всѣ смущались, всѣ сбивали другъ друга съ ногъ, иные обдергивались, опасаясь, что они недовольно хороши какъ есть, чтобъ показаться начальнику.

Это происходило, какъ замѣтилъ Обломовъ впослѣдствіи, оттого, что есть такіе начальники, которые въ испуганномъ до одуренія лицѣ подчиненнаго, выскочившаго къ нимъ навстрѣчу, видятъ не только почтеніе къ себѣ, но даже ревность, а иногда и способности къ службѣ.

Ильѣ Ильичу не нужно было пугаться такъ своего начальника, добраго и пріятнаго въ обхожденіи человѣка: онъ никогда никому дурного не сдѣлалъ, подчиненные были какъ нельзя болѣе довольны и не желали лучшаго. Никто никогда не слыхалъ отъ него непріятнаго слова, ни крика, ни шуму; онъ никогда ничего не требуетъ, а все проситъ. Дѣло сдѣлать — проситъ, въ гости къ себѣ — просутъ, и подъ арестъ сѣсть—проситъ. Онъ никогда никому не сказалъ *ты*; всѣмъ *вы*: — и одному чиновнику, и всѣмъ вмѣстѣ.

Но всѣ подчиненные чего-то робѣли въ присутствіи начальника; они на его ласковый вопросъ отвѣчали не своимъ, а какимъ-то другимъ голосомъ, какимъ съ прочими не говорили.

И Илья Ильичъ вдругъ робѣлъ, самъ не зная отчего, когда начальникъ входилъ въ комнату, и у него сталъ пропадать свой голосъ, и являлся какой-то другой, тоненькій и гадкій, какъ скоро заговаривалъ съ нимъ начальникъ.

Изстрадался Илья Ильичъ отъ страха и тоски на службѣ даже и при добромъ, снисходительномъ начальникѣ. Богъ знаетъ, что сталось бы съ нимъ, если бъ онъ попался къ строгому и взыскательному!

Обломовъ прослужилъ кое-какъ года два; можетъ-быть, онъ дотянулъ бы и третій, до полученія чина, но особенный случай заставилъ его ранѣе покинуть службу.

Онъ отправилъ однажды какую-то нужную бумагу, вмѣсто Астрахани, въ Архангельскъ. Дѣло объяснилось; стали отыскивать виноватаго.

Всѣ другіе съ любопытствомъ ждали, какъ начальникъ позоветъ Обломова, какъ холодно и покойно спроситъ, «онъ ли это отослалъ бумагу въ Архангельскъ», и всѣ недоумѣвали, какимъ голосомъ отвѣтитъ ему Илья Ильичъ.

Нѣкоторые полагали, что онъ вовсе не отвѣтитъ: не сможетъ.

Глядя на другихъ, Илья Ильичъ и самъ перепугался, хотя и онъ, и всѣ прочіе знали, что начальникъ ограничится замѣчаніемъ; но собственная совѣсть была гораздо строже выговора.

Обломовъ не дождался заслуженной кары, ушелъ домой и прислалъ медицинское свидѣтельство.

Въ этомъ свидѣтельствѣ сказано было: «Я, нижеподписавшійся, свидѣтельствую, съ приложеніемъ своей печати, что коллежскій секретарь Илья Обломовъ одержимъ *отолщеніемъ сердца съ расширеніемъ лѣваго желудочка онаго*

(Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri), а равно хроническою болью въ печени (hetitis), угрожающею опаснымъ развитіемъ здоровью и жизни больного, каковые припадки происходятъ, какъ надо полагать, отъ ежедневнаго хожденія въ должность. Посему, въ предотвращеніе повторенія и усиленія болѣзненныхъ припадковъ, я считаю за нужное прекратить на время г. Обломову хожденіе на службу и вообще предписываю воздержаніе отъ умственнаго занятія и всякой дѣятельности».

Но это помогло только на время: надо же было выздоровѣть—а за этимъ въ перспективѣ было опять ежедневное хожденіе въ должность. Обломовъ не вынесъ и подалъ въ отставку. Такъ кончилась — и потомъ уже не возобновлялась—его государственная дѣятельность.

Роль въ обществѣ удалась-было ему лучше.

Въ первые годы пребыванія въ Петербургѣ, въ его ранніе, молодые годы, покойныя черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сіяли огнемъ жизни, изъ нихъ лились лучи свѣта, надежды, силы. Онъ волновался, какъ и всѣ, надѣялся, радовался пустякамъ, и отъ пустяковъ же страдалъ.

Но это все было давно, еще въ ту нѣжную пору, когда человѣкъ во всякомъ другомъ человѣкѣ предполагаетъ искренняго друга, и влюбляется почти во всякую женщину, и всякой готовъ предложить руку и сердце, что̀ инымъ даже и удается совершить, часто къ великому прискорбію потомъ на всю остальную жизнь.

Въ эти блаженные дни, на долю Ильи Ильича тоже выпало не мало мягкихъ, бархатныхъ, даже страстныхъ взглядовъ изъ толпы красавицъ, пропасть много-обѣщающихъ улыбокъ, два, три непривилегированные поцѣлуя и еще больше дружескихъ рукопожатій, съ болью до слезъ.

Впрочемъ, онъ никогда не отдавался въ плѣнъ красавицамъ, никогда не былъ ихъ рабомъ, даже очень прилеж-

нымъ поклонникомъ, уже и потому, что къ сближенію съ женщинами ведутъ большія хлопоты. Обломовъ больше ограничивался поклоненіемъ издали, на почтительномъ разстояніи.

Рѣдко судьба сталкивала его съ женщиною въ обществѣ до такой степени, чтобъ онъ могъ вспыхнуть на нѣсколько дней и почесть себя влюбленнымъ. Отъ этого его любовныя интриги не разыгрывались въ романы: онѣ останавливались въ самомъ началѣ и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали повѣстямъ любви какой-нибудь пансіонерки на возрастѣ.

Пуще всего онъ бѣгалъ тѣхъ блѣдныхъ, печальныхъ дѣвъ, большею частію съ черными глазами, въ которыхъ свѣтятся «мучительные дни и неправедныя ночи», дѣвъ съ невѣдомыми никому скорбями и радостями, у которыхъ всегда есть что-то ввѣрить, сказать, и когда надо сказать, онѣ вздрагиваютъ, заливаются внезапными слезами, потомъ вдругъ обовьютъ шею друга руками, долго смотрятъ въ глаза, потомъ на небо, говорятъ, что жизнь ихъ обречена проклятію, и иногда падаютъ въ обморокъ. Онъ съ боязнью обходилъ такихъ дѣвъ. Душа его была еще чиста и дѣвственна; она, можетъ-быть, ждала своей любви, своей опоры, своей патетической страсти, а потомъ, съ годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.

Илья Ильичъ еще холоднѣе простился съ толпой друзей. Тотчасъ послѣ перваго письма старосты о недоимкахъ и неурожаѣ, зажѣнилъ онъ перваго своего друга, повара, кухаркой, потомъ продалъ лошадей и, наконецъ, отпустилъ прочихъ «друзей».

Его почти ничто не влекло изъ дома, и онъ съ каждымъ днемъ все крѣпче и постояннѣе водворялся въ своей квартирѣ.

Сначала ему тяжело стало пробыть цѣлый день одѣтымъ, потомъ онъ лѣнился обѣдать въ гостяхъ, кромѣ коротко-

знакомыхъ, больше холостыхъ домовъ, гдѣ можно снять галстукъ, разстегнуть жилетъ и гдѣ можно даже «поваляться», или соснуть часокъ.

Вскорѣ и вечера надоѣли ему: надо одѣвать фракъ, каждый день бриться.

Вычиталъ онъ гдѣ-то, что только утреннія испаренія полезны, а вечернія вредны, и сталъ бояться сырости.

Несмотря на всѣ эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его въ люди; но Штольцъ часто отлучался изъ Петербурга въ Москву, въ Нижній, въ Крымъ, а потомъ и за границу — и безъ него Обломовъ опять ввергался весь по-уши въ свое одиночество и уединеніе, изъ котораго могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее изъ ряда ежедневныхъ явленій жизни; но подобнаго ничего не было и не предвидѣлось впереди.

Ко всему этому, съ лѣтами, возвратилась какая-то ребяческая робость, ожиданіе опасности и зла отъ всего, что не встрѣчалось въ сферѣ его ежедневнаго быта — слѣдствіе отвычки отъ разнообразныхъ внѣшнихъ явленій.

Его не пугала, напримѣръ, трещина потолка въ его спальнѣ: онъ къ ней привыкъ; не приходило ему тоже въ голову, что вѣчно-спертый воздухъ въ комнатѣ и постоянное сидѣнье взаперти чуть ли не губительнѣе для здоровья, нежели ночная сырость; что переполнять ежедневно желудокъ есть своего рода постепенное самоубійство: но онъ къ этому привыкъ и не пугался.

Онъ не привыкъ къ движенію, къ жизни, къ многолюдству, къ суетѣ.

Въ тѣсной толпѣ ему было душно, въ лодку онъ садился съ невѣрною надеждою добраться благополучно до другого берега, въ каретѣ ѣхалъ, ожидая, что лошади понесутъ и разобьютъ.

Не то на него нападалъ нервическій страхъ: онъ пугался окружающей его тишины, или, просто, и самъ не зналъ

чего у него побѣгутъ муравьи по тѣлу. Онъ иногда боязливо косится на темный уголъ, ожидая, что воображеніе сыграетъ съ нимъ штуку и покажетъ сверхъестественное явленіе.

Такъ разыгралась роль его въ обществѣ. Лѣниво махнулъ онъ рукой на всѣ юношескія обманувшія его, или обманутыя имъ надежды, всѣ нѣжно-грустныя, свѣтлыя воспоминанія, отъ которыхъ у иныхъ и подъ старость бьется сердце.

VI.

Что̀ жъ онъ дѣлалъ дома? Читалъ? Писалъ? Учился?

Да: если попадется подъ-руки книга, газета, онъ ее прочтетъ.

Услышитъ о какомъ-нибудь замѣчательномъ произведеніи — у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, проситъ книги, и если принесутъ скоро, онъ примется за нее, у него начнетъ формироваться идея о предметѣ; еще шагъ — и онъ овладѣлъ бы имъ, а посмотришь, онъ уже лежитъ, глядя апатически въ потолокъ, и книга лежитъ подлѣ него недочитанная, непонятая.

Охлажденіе овладѣвало имъ еще быстрѣе, нежели увлеченіе: онъ уже никогда не возвращался къ покинутой книгѣ.

Между тѣмъ, онъ учился, какъ и другіе, какъ всѣ, то-есть, до пятнадцати лѣтъ въ пансіонѣ; потомъ старики Обломовы, послѣ долгой борьбы, рѣшились послать Илюшу въ Москву, гдѣ онъ, волей-неволей, прослѣдилъ курсъ наукъ до конца.

Робкій, апатическій характеръ мѣшалъ ему обнаруживать вполнѣ свою лѣнь и капризы въ чужихъ людяхъ, въ школѣ, гдѣ не дѣлали исключеній въ пользу балованныхъ сынковъ. Онъ по необходимости сидѣлъ въ классѣ прямо, слушалъ, что̀ говорили учителя, потому что другого ничего дѣлать было нельзя, и съ трудомъ, съ потомъ, со вздохами выучивалъ задаваемые ему уроки.

Все это вообще считалъ онъ за наказаніе, ниспосланное небомъ за наши грѣхи.

Дальше той строки, подъ которой учитель, задавая урокъ, проводилъ ногтемъ черту, онъ не заглядывалъ, разспросовъ никакихъ ему не дѣлалъ и поясненій не требовалъ. Онъ довольствовался тѣмъ, что написано въ тетрадкѣ, и докучливаго любопытства не обнаруживалъ даже когда и не все понималъ, что слушалъ и училъ.

Если ему кое-какъ удавалось одолѣть книгу, называемую статистикой, исторіей, политической экономіей, онъ совершенно былъ доволенъ.

Когда же Штольцъ приносилъ ему книги, какія надо прочесть еще сверхъ выученнаго, Обломовъ долго глядѣлъ, молча, на него.

— И ты, Брутъ, противъ меня!—говорилъ онъ со вздохомъ, принимаясь за книги.

Неестественно и тяжело ему казалось такое неумѣренное чтеніе.

Зачѣмъ же всѣ эти тетрадки, на которыя изведешь пропасть бумаги, времени и чернилъ? Зачѣмъ учебныя книги? Зачѣмъ же, наконецъ, шесть — семь лѣтъ затворничества, всѣ строгости, взысканія, сидѣнье и томленье надъ уроками, запретъ бѣгать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено?

«Когда же жить?» спрашивалъ онъ опять самого себя: «Когда же, наконецъ, пускать въ оборотъ этотъ капиталъ знаній, изъ которыхъ бо́льшая часть еще ни на что не понадобится въ жизни. Политическая экономія, напримѣръ, алгебра, геометрія — что̀ я стану съ ними дѣлать въ Обломовкѣ?»

И сама исторія только въ тоску повергаетъ: учишь, читаешь, что вотъ-де настала година бѣдствій, несчастливъ человѣкъ; вотъ собирается съ силами, работаетъ, гомозится, страшно терпитъ и трудится, все готовитъ ясные дни. Вотъ

настали они—тутъ бы хоть сама исторія отдохнула: нѣтъ, опять появились тучи, опять зданіе рухнуло, опять работать, гомозиться... Не остановятся ясные дни, бѣгутъ—и все течетъ жизнь, все течетъ, все ломка да ломка.

Серьезное чтеніе утомляло его. Мыслителямъ не удалось расшевелить въ немъ жажду къ умозрительнымъ истинамъ...

Зато поэты задѣли его за живое: онъ сталъ юношей, какъ всѣ. И для него насталъ счастливый, никому неизмѣняющій, всѣмъ улыбающійся моментъ жизни, расцвѣтанія силъ, надеждъ на бытіе, желанія блага, доблести, дѣятельности, эпоха сильнаго біенія сердца, пульса, трепета, восторженныхъ рѣчей и сладкихъ слезъ. Умъ и сердце просвѣтлѣли: онъ стряхнулъ дремоту, душа запросила дѣятельности.

Штольцъ помогъ ему продлить этотъ моментъ, сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его друга. Онъ поймалъ Обломова на поэтахъ и года полтора держалъ его подъ ферулой мысли и науки.

Пользуясь восторженнымъ полетомъ молодой мечты, онъ въ чтеніе поэтовъ вставлялъ другія цѣли, кромѣ наслажденія, строже указывалъ вдали пути своей и его жизни, и увлекалъ въ будущее. Оба волновались, плакали, давали другъ другу торжественныя обѣщанія идти разумною и свѣтлой дорогою.

Юношескій жаръ Штольца заражалъ Обломова, и онъ сгоралъ отъ жажды, труда, далекой, но обаятельной цѣли.

Но цвѣтъ жизни распустился и не далъ плодовъ. Обломовъ отрезвился и только изрѣдка, по указанію Штольца, пожалуй, и прочитывалъ ту или другую книгу, но не вдругъ, не торопясь, безъ жадности, а лѣниво пробѣгалъ глазами по строкамъ.

Какъ ни интересно было мѣсто, на которомъ онъ останавливался, но если на этомъ мѣстѣ заставалъ его часъ

обѣда, или сна, онъ клалъ книгу переплетомъ вверхъ и шелъ обѣдать, или гасилъ свѣчу и ложился спать.

Если давали ему первый томъ, онъ, по прочтеніи, не просилъ второго, а приносили — онъ медленно прочитывалъ.

Потомъ ужъ онъ не осиливалъ и перваго тома, а большую часть свободнаго времени проводилъ, положивъ локоть на столъ, а на локоть голову; иногда вмѣсто локтя употреблялъ ту книгу, которую Штольцъ навязывалъ ему прочесть.

Такъ совершилъ свое учебное поприще Обломовъ. То число, въ которое онъ выслушалъ послѣднюю лекцію, и было геркулесовыми столпами его учености. Начальникъ заведенія, подписью своею на аттестатѣ, какъ прежде учитель ногтемъ на книгѣ, провелъ черту, за которую герой нашъ не считалъ уже нужнымъ простирать свои ученыя стремленія.

Голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ политико-экономическихъ, математическихъ или другихъ истинъ, задачъ, положеній и т. п.

Это была какъ-будто библіотека, состоящая изъ однихъ разрозненныхъ томовъ по разныхъ частямъ знаній.

Странно подѣйствовало ученье на Илью Ильича: у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него была сама-по-себѣ, а наука сама-по-себѣ.

Онъ учился всѣмъ существующимъ и давно не существующимъ правамъ, прошелъ курсъ и практическаго судопроизводства, а когда, по случаю какой-то покражи въ домѣ, понадобилось написать бумагу въ полицію, онъ взялъ листъ бумаги, перо, думалъ, думалъ, да и послалъ за писаремъ.

Счеты въ деревнѣ сводилъ староста. «Что жъ тутъ было дѣлать наукѣ?» разсуждалъ онъ въ недоумѣніи.

И онъ воротился въ свое уединеніе безъ груза знаній,

которыя бы могли дать направленіе вольно-гуляющей въ головѣ или праздно-дремлющей мысли.

Что̀ жъ онъ дѣлалъ? Да все продолжалъ чертить узоръ собственной жизни. Въ ней онъ, не безъ основанія, находилъ столько премудрости и поэзіи, что и не исчерпаешь никогда безъ книгъ и учености.

Измѣнивъ службѣ и обществу, онъ началъ иначе рѣшать задачу существованія, вдумывался въ свое назначеніе и, наконецъ, открылъ, что горизонтъ его дѣятельности и житья-бытья кроется въ немъ самомъ.

Онъ понялъ, что ему досталось въ удѣлъ семейное счастье и заботы объ имѣніи. До тѣхъ поръ онъ и не зналъ порядочно своихъ дѣлъ: за него заботился иногда Штольцъ. Не вѣдалъ онъ хорошенько ни дохода, ни расхода своего, не составлялъ никогда бюджета—ничего.

Старикъ Обломовъ, какъ принялъ имѣніе отъ отца, такъ передалъ его и сыну. Онъ хотя и жилъ весь вѣкъ въ деревнѣ, но не мудрилъ, не ломалъ себѣ головы надъ разными затѣями, какъ это дѣлаютъ нынѣшніе: какъ бы тамъ открыть какіе-нибудь новые источники производительности земель, или распространять и усиливать старые, и т. п. Какъ и тѣмъ засѣвались поля при дѣдушкѣ, какіе были пути сбыта полевыхъ продуктовъ тогда, такіе остались и при немъ.

Впрочемъ, старикъ бывалъ очень доволенъ, если хорошій урожай, или возвышенная цѣна дастъ дохода больше прошлогодняго: онъ называлъ это благословеніемъ Божіимъ. Онъ только не любилъ выдумокъ и натяжекъ къ пріобрѣтенію денегъ.

— Отцы и дѣды не глупѣе насъ были,—говорилъ онъ въ отвѣтъ на какіе-нибудь вредные, по его мнѣнію, совѣты:—да прожили же вѣкъ счастливо; проживемъ и мы: дастъ Богъ, сыты будемъ.

Получая, безъ всякихъ лукавыхъ ухищреній, съ имѣнія

столько дохода, сколько нужно было ему, чтобъ каждый день обѣдать и ужинать безъ мѣры, съ семьей и разными гостями, онъ благодарилъ Бога и считалъ грѣхомъ стараться пріобрѣтать больше.

Если приказчикъ приносилъ ему двѣ тысячи, спрятавъ третью въ карманъ, и со слезами ссылался на градъ, засуху, неурожай, старикъ Обломовъ крестился и тоже со слезами приговаривалъ:

— Воля Божья; съ Богомъ спорить не станешь! Надо благодарить Господа и за то, что есть.

Со времени смерти стариковъ, хозяйственныя дѣла въ деревнѣ не только не улучшились, но, какъ видно изъ письма старосты, становились хуже. Ясно, что Ильѣ Ильичу надо было самому съѣздить туда и на мѣстѣ разыскать причину постепеннаго уменьшенія доходовъ.

Онъ и сбирался сдѣлать это, но все откладывалъ, отчасти и потому, что поѣздка была для него подвигомъ, почти новымъ и неизвѣстнымъ.

Онъ въ жизни совершилъ только одно путешествіе, на долгихъ, среди перинъ, ларцевъ, чемодановъ, окороковъ, булокъ, всякой жареной и вареной скотины и птицы и въ сопровожденіи нѣсколькихъ слугъ.

Такъ онъ совершилъ единственную поѣздку изъ своей деревни до Москвы, и эту поѣздку взялъ за норму всѣхъ вообще путешествій. А теперь, слышалъ онъ, такъ не ѣздятъ: надо скакать сломя голову!

Потомъ Илья Ильичъ откладывалъ свою поѣздку еще и оттого, что не приготовился, какъ слѣдуетъ, заняться своими дѣлами.

Онъ ужъ былъ не въ отца и не въ дѣда. Онъ учился, жилъ въ свѣтѣ: все это наводило его на разныя чуждыя имъ соображенія. Онъ понималъ, что пріобрѣтеніе не только не грѣхъ, но что долгъ всякаго гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояніе.

Отъ этого большую часть узора жизни, который онъ чертилъ въ своемъ уединеніи, занималъ новый, свѣжій, сообразный съ потребностями времени планъ устройства имѣнія и управленія крестьянами.

Основная идея плана, расположеніе, главныя части—все давно готово у него въ головѣ; остались только подробности, смѣты и цифры.

Онъ нѣсколько лѣтъ неутомимо работаетъ надъ планомъ, думаетъ, размышляетъ и ходя, и лежа, и въ людяхъ; то дополняетъ, то измѣняетъ разныя статьи, то возобновляетъ въ памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда вдругъ, какъ молнія, сверкнетъ новая, неожиданная мысль и закипитъ въ головѣ—и пойдетъ работа.

Онъ не какой-нибудь мелкій исполнитель чужой, готовой мысли; онъ самъ творецъ и самъ исполнитель своихъ идей.

Онъ, какъ встанетъ утромъ съ постели, послѣ чая ляжетъ тотчасъ на диванъ, подопретъ голову рукой и обдумываетъ, не щадя силъ, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, голова утомится отъ тяжелой работы и когда совѣсть скажетъ: довольно сдѣлано сегодня для общаго блага.

Тогда только рѣшается онъ отдохнуть отъ трудовъ и перемѣнить заботливую позу на другую, менѣе дѣловую и строгую, болѣе удобную для мечтаній и нѣги.

Освободясь отъ дѣловыхъ заботъ, Обломовъ любилъ уходить въ себя и жить въ созданномъ имъ мірѣ.

Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ глубинѣ души плакалъ въ иную пору, надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія, и тоску, и стремленіе куда-то въ даль, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увлекалъ его, бывало, Штольцъ...

Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его...

Случается и то, что онъ исполнится презрѣніемъ къ людскому пороку, ко лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ

злу, и разгорится желаніемъ указать человѣку на его язвы, и вдругъ загораются въ немъ мысли, ходятъ и гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ, потомъ вырастаютъ въ намѣренія, зажгутъ всю кровь въ немъ, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намѣренія преображаются въ стремленія: онъ, движимый нравственною силою, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно озирается кругомъ... Вотъ, вотъ, стремленіе осуществится, обратится въ подвигъ... и тогда, Господи! Какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли бы ожидать отъ такого высокаго усилія!..

Но, смотришь, промелькнетъ утро, день уже клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленныя силы Обломова: бури и волненія смиряются въ душѣ, голова отрезвляется отъ думъ, кровь медленнѣе пробирается по жиламъ. Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно, къ небу, съ грустью провожаетъ глазами солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъэтажный домъ.

И сколько, сколько разъ онъ провожалъ такъ солнечный закатъ!

На утро опять жизнь, опять волненія, мечты! Онъ любитъ вообразить себя иногда какимъ-нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, передъ которымъ не только Наполеонъ, но и Еруслан Лазаревичъ ничего не значитъ; выдумаетъ войну и причину ея: у него хлынутъ, напримѣръ, народы изъ Африки въ Европу, или устроитъ онъ новые крестовые походы, и воюетъ, рѣшаетъ участь народовъ, разоряетъ города, щадитъ, казнитъ, оказываетъ подвиги добра и великодушія.

Или изберетъ онъ арену мыслителя, великаго художника: всѣ поклоняются ему; онъ пожинаетъ лавры; толпа гоняется за нимъ, восклицая:

— Посмотрите, посмотрите, вотъ идетъ Обломовъ, нашъ знаменитый Илья Ильичъ!

Въ горькія минуты онъ страдаетъ отъ заботъ, перевертывается съ боку на бокъ, ляжетъ лицомъ внизъ, иногда даже совсѣмъ потеряется; тогда онъ встанетъ съ постели на колѣни, и начнетъ молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить какъ-нибудь угрожающую бурю.

Потомъ, сдавъ попеченіе о своей участи небесамъ, дѣлается покоенъ и равнодушенъ ко всему на свѣтѣ, а буря тамъ какъ себѣ хочетъ.

Такъ пускалъ онъ въ ходъ свои нравственныя силы, такъ волновался часто по цѣлымъ днямъ, и только тогда развѣ очнется, съ глубокимъ вздохомъ, отъ обаятельной мечты, или отъ мучительной заботы, когда день склонится къ вечеру и солнце огромнымъ шаромъ станетъ великолѣпно опускаться за четырехъэтажный домъ.

Тогда онъ опять проводитъ его задумчивымъ взглядомъ и печальной улыбкой, и мирно опочіетъ отъ волненій.

Никто не зналъ и не видалъ этой внутренней жизни Ильи Ильича: всѣ думали, что Обломовъ такъ себѣ, только лежитъ, да кушаетъ на здоровье, и что больше отъ него нечего ждать; что едва ли у него вяжутся и мысли въ головѣ. Такъ о немъ и толковали вездѣ, гдѣ его знали.

О способностяхъ его, объ этой внутренней волканической работѣ пылкой головы, гуманнаго сердца зналъ подробно и могъ бы свидѣтельствовать Штольцъ, но Штольца почти никогда не было въ Петербургѣ.

Одинъ Захаръ, обращающійся всю жизнь около своего барина, зналъ еще подробнѣе весь его внутренній бытъ; но онъ былъ убѣжденъ, что они съ бариномъ дѣло дѣлаютъ и живутъ нормально, какъ должно, и что иначе жить не слѣдуетъ.

VII.

Захару было за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ былъ уже не прямой потомокъ тѣхъ русскихъ Калебовъ, рыцарей лакейской-безъ страха и упрека, исполненныхъ преданности къ господамъ до самозабвенія, которые отличались всѣми добродѣтелями и не имѣли никакихъ пороковъ.

Этотъ рыцарь былъ и со страхомъ, и съ упрекомъ. Онъ принадлежалъ двумъ эпохамъ, и обѣ положили на него печать свою. Отъ одной перешла къ нему, по наслѣдству, безграничная преданность къ дому Обломовыхъ, а отъ другой, позднѣйшей, утонченность и развращеніе нравовъ.

Страстно преданный барину, онъ, однакожъ, рѣдкій день въ чемъ-нибудь не солжетъ ему. Слуга стараго времени удерживалъ, бывало, барина отъ расточительности и невоздержанія, а Захаръ самъ любилъ выпить съ пріятелями на барскій счетъ; прежній слуга былъ цѣломудренъ, какъ евнухъ, а этотъ все бѣгалъ къ кумѣ подозрительнаго свойства. Тотъ крѣпче всякаго сундука сбережетъ барскія деньги, а Захаръ норовитъ усчитать у барина, при какой-нибудь издержкѣ, гривенникъ, и непремѣнно присвоитъ себѣ лежащую на столѣ мѣдную гривну или пятакъ. Точно такъ же, если Илья Ильичъ забудетъ потребовать сдачи отъ Захара, она уже къ нему обратно никогда не поступитъ.

Важнѣе суммъ онъ не кралъ, можетъ-быть, потому, что потребности свои измѣрялъ гривнами и гривенниками, или боялся быть замѣченнымъ, но во всякомъ случаѣ, не отъ избытка честности.

Старинный Калебъ умретъ скорѣе, какъ отлично-выдрессированная охотничья собака, надъ съѣстнымъ, которое ему поручатъ, нежели тронетъ; а этотъ такъ и выглядываетъ, какъ бы съѣсть и выпить и то, чего не поручаютъ: тотъ заботился только о томъ, чтобъ баринъ кушалъ больше, и тосковалъ, когда онъ не кушаетъ, а этотъ тоскуетъ,

когда баринъ съѣдаетъ до тла все, что ни положитъ на тарелку.

Сверхъ того, Захаръ и сплетникъ. Въ кухнѣ, въ лавочкѣ, на сходкахъ у воротъ, онъ каждый день жалуется, что житья нѣтъ, что этакого дурного барина еще и не слыхано: и капризенъ-то онъ, и скупъ, и сердитъ, и что не угодишь ему ни въ чемъ, что, словомъ, лучше умереть, чѣмъ жить у него.

Это Захаръ дѣлалъ не изъ злости и не изъ желанія повредить барину, а такъ, по привычкѣ, доставшейся ему по наслѣдству отъ дѣда его и отца—обругать барина при всякомъ удобномъ случаѣ.

Онъ иногда, отъ скуки, отъ недостатка матеріала для разговора, или чтобъ внушить болѣе интереса слушающей его публикѣ, вдругъ распускалъ про барина какую-нибудь небывальщину.

— Мой-то повадился вонъ все къ той вдовѣ ходить,— хрипѣлъ онъ тихо, по довѣренности:—вчера писалъ записку къ ней.

Или объявитъ, что баринъ его такой картежникъ и пьяница, какого свѣтъ не производилъ; что всѣ ночи напролетъ до утра бьется въ карты и пьетъ горькую.

А ничего не бывало: Илья Ильичъ ко вдовѣ не ходитъ, по ночамъ мирно почиваетъ, картъ въ руки не беретъ.

Захаръ неопрятенъ. Онъ бреется рѣдко и хотя моетъ руки и лицо, но, кажется, больше дѣлаетъ видъ, что моетъ; да и никакимъ мыломъ не отмоешь. Когда онъ бываетъ въ банѣ, то руки у него изъ черныхъ сдѣлаются только, часа на два, красными, а потомъ опять черными.

Онъ очень неловокъ: станетъ ли отворять ворота или двери, отворяетъ одну половинку, другая затворяется, побѣжитъ къ той, эта затворяется.

Сразу онъ никогда не подымаетъ съ пола платка, или другой какой-нибудь вещи, а нагнется всегда раза три,

какъ будто ловитъ ее, и ужъ развѣ въ четвертый поднимаетъ, и то еще иногда уронитъ опять.

Если онъ несетъ чрезъ комнату кучу посуды, или другихъ вещей, то съ перваго же шага верхнія вещи начинаютъ дезертировать на полъ. Сначала полетитъ одна; онъ вдругъ сдѣлаетъ позднее и безполезное движеніе, чтобъ помѣшать ей упасть, и уронитъ еще двѣ. Онъ глядитъ, разиня ротъ, отъ удивленія на падающія вещи, а не на тѣ, которыя остаются на рукахъ, и оттого держитъ подносъ косо, а вещи продолжаютъ падать, — и такъ иногда онъ принесетъ на другой конецъ комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда, съ бранью и проклятіями, броситъ самъ и послѣднее, что осталось въ рукахъ.

Проходя по комнатѣ, онъ задѣнетъ то ногой, то бокомъ за столъ, за стулъ, не всегда попадетъ прямо въ отворенную половину двери, а ударится плечомъ о другую, и обругаетъ при этомъ обѣ половинки, или хозяина дома, или плотника, который ихъ дѣлалъ.

У Обломова въ кабинетѣ переломаны или перебиты почти всѣ вещи, особенно мелкія, требующія осторожнаго обращенія съ ними,—и все по милости Захара. Онъ свою способность брать въ руки вещь прилагаетъ ко всѣмъ вещамъ одинаково, не дѣлая никакого различія въ способѣ обращенія съ той или другой вещью.

Велятъ, напримѣръ, снять со свѣчи, или налить въ стаканъ воды: онъ употребитъ на это столько силы, сколько нужно, чтобъ отворить ворота.

Не дай Богъ, когда Захаръ воспламенится усердіемъ угодить барину и вздумаетъ все убрать, вычистить, установить, живо, разомъ привести въ порядокъ! Бѣдамъ и убыткамъ не бывало конца: едва ли непріятельскій солдатъ, ворвавшись въ домъ, нанесетъ столько вреда. Начиналась ломка, паденье разныхъ вещей, битье посуды, опрокидыванье стульевъ; кончалось тѣмъ, что надо было его вы-

гнать изъ комнаты, или онъ самъ уходилъ, съ бранью и съ проклятіями.

Къ счастью, онъ очень рѣдко воспламенялся такимъ усердіемъ.

Все это происходило, конечно, оттого, что онъ получилъ воспитаніе и пріобрѣталъ манеры не въ тѣснотѣ и полумракѣ роскошныхъ, прихотливо-убранныхъ кабинетовъ и будуаровъ, гдѣ чортъ знаетъ чего не наставлено, а въ деревнѣ, на покоѣ, просторѣ и вольномъ воздухѣ.

Тамъ онъ привыкъ служить, не стѣсняя своихъ движеній ничѣмъ, около массивныхъ вещей: обращался все больше съ здоровыми и солидными инструментами, какъ-то, съ лопатой, ломомъ, желѣзными дверными скобками и такими стульями, которыхъ съ мѣста не своротишь.

Иная вещь, подсвѣчникъ, лампа, транспарантъ, прессъ-папье, стоитъ года три, четыре на мѣстѣ—ничего; чуть онъ возьметъ ее, смотришь—сломалась.

— Ахъ, — скажетъ онъ иногда при этомъ Обломову съ удивленіемъ.—Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взялъ только въ руки эту штучку, а она и развалилась.

Или вовсе ничего не скажетъ, а тайкомъ поставитъ поскорѣй опять на свое мѣсто и послѣ увѣритъ барина, что это онъ самъ разбилъ; а иногда оправдывается, какъ видѣли въ началѣ разсказа, тѣмъ, что и вещь должна же имѣть конецъ, хоть будь она желѣзная, что не вѣкъ ей жить.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ еще можно было спорить съ нимъ, но когда онъ, въ крайности, вооружался послѣднимъ аргументомъ, то уже всякое противорѣчіе было безполезно, и онъ оставался правымъ безъ апелляціи.

Захаръ начерталъ себѣ, однажды навсегда, опредѣленный кругъ дѣятельности, за который добровольно никогда не переступалъ.

Онъ утромъ ставилъ самоваръ, чистилъ сапоги и то

какъ будто ловитъ ее, и ужъ развѣ въ четвертый поднимаетъ, и то еще иногда уронитъ опять.

Если онъ несетъ чрезъ комнату кучу посуды, или другихъ вещей, то съ перваго же шага верхнія вещи начинаютъ дезертировать на полъ. Сначала полетитъ одна; онъ вдругъ сдѣлаетъ позднее и безполезное движеніе, чтобъ помѣшать ей упасть, и уронитъ еще двѣ. Онъ глядитъ, разиня ротъ, отъ удивленія на падающія вещи, а не на тѣ, которыя остаются на рукахъ, и оттого держитъ подносъ косо, а вещи продолжаютъ падать, — и такъ иногда онъ принесетъ на другой конецъ комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда, съ бранью и проклятіями, броситъ самъ и послѣднее, что осталось въ рукахъ.

Проходя по комнатѣ, онъ задѣнетъ то ногой, то бокомъ за столъ, за стулъ, не всегда попадетъ прямо въ отворенную половину двери, а ударится плечомъ о другую, и обругаетъ при этомъ обѣ половинки, или хозяина дома, или плотника, который ихъ дѣлалъ.

У Обломова въ кабинетѣ переломаны или перебиты почти всѣ вещи, особенно мелкія, требующія осторожнаго обращенія съ ними,—и все по милости Захара. Онъ свою способность брать въ руки вещь прилагаетъ ко всѣмъ вещамъ одинаково, не дѣлая никакого различія въ способѣ обращенія съ той или другой вещью.

Велятъ, напримѣръ, снять со свѣчи, или налить въ стаканъ воды: онъ употребитъ на это столько силы, сколько нужно, чтобъ отворить ворота.

Не дай Богъ, когда Захаръ воспламенится усердіемъ угодить барину и вздумаетъ все убрать, вычистить, установить, живо, разомъ привести въ порядокъ! Бѣдамъ и убыткамъ не бывало конца: едва ли непріятельскій солдатъ, ворвавшись въ домъ, нанесетъ столько вреда. Начиналась ломка, паденье разныхъ вещей, битье посуды, опрокидыванье стульевъ; кончалось тѣмъ, что надо было его вы-

гнать изъ комнаты, или онъ самъ уходилъ, съ бранью и съ проклятіями.

Къ счастью, онъ очень рѣдко воспламенялся такимъ усердіемъ.

Все это происходило, конечно, оттого, что онъ получилъ воспитаніе и пріобрѣталъ манеры не въ тѣснотѣ и полумракѣ роскошныхъ, прихотливо-убранныхъ кабинетовъ и будуаровъ, гдѣ чортъ знаетъ чего не наставлено, а въ деревнѣ, на покоѣ, просторѣ и вольномъ воздухѣ.

Тамъ онъ привыкъ служить, не стѣсняя своихъ движеній ничѣмъ, около массивныхъ вещей: обращался все больше съ здоровыми и солидными инструментами, какъ-то, съ лопатой, ломомъ, желѣзными дверными скобками и такими стульями, которыхъ съ мѣста не своротишь.

Иная вещь, подсвѣчникъ, лампа, транспарантъ, прессъ-папье, стоитъ года три, четыре на мѣстѣ—ничего; чуть онъ возьметъ ее, смотришь—сломалась.

— Ахъ, — скажетъ онъ иногда при этомъ Обломову съ удивленіемъ.—Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взялъ только въ руки эту штучку, а она и развалилась.

Или вовсе ничего не скажетъ, а тайкомъ поставитъ поскорѣй опять на свое мѣсто и послѣ увѣритъ барина, что это онъ самъ разбилъ; а иногда оправдывается, какъ видѣли въ началѣ разсказа, тѣмъ, что и вещь должна же имѣть конецъ, хоть будь она желѣзная, что не вѣкъ ей жить.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ еще можно было спорить съ нимъ, но когда онъ, въ крайности, вооружался послѣднимъ аргументомъ, то уже всякое противорѣчіе было безполезно, и онъ оставался правымъ безъ апелляціи.

Захаръ начерталъ себѣ, однажды навсегда, опредѣленный кругъ дѣятельности, за который добровольно никогда не переступалъ.

Онъ утромъ ставилъ самоваръ, чистилъ сапоги и то

платье, которое баринъ спрашивалъ, но отнюдь не то, которое не спрашивалъ, хоть виси оно десять лѣтъ.

Потомъ онъ мелъ—не всякій день однакожъ—середину комнаты, не добираясь до угловъ, и обтиралъ пыль только съ того стола, на которомъ ничего не стояло, чтобъ не снимать вещей.

Затѣмъ онъ уже считалъ себя въ правѣ дрематъ на лежанкѣ, или болтать съ Анисьей въ кухнѣ и съ дворней у воротъ, ни о чемъ не заботясь.

Если ему приказывали сдѣлать что-нибудь сверхъ этого, онъ исполнялъ приказаніе неохотно, послѣ споровъ и убѣжденій въ безполезности приказанія, или невозможности исполнить его.

Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью въ кругъ начертанныхъ имъ себѣ занятій.

Если ему велятъ вычистить, вымыть какую-нибудь вещь, или отнести то, принести это, онъ, по обыкновенію, съ ворчаньемъ исполнялъ приказаніе; но если бъ кто захотѣлъ, чтобъ онъ потомъ дѣлалъ то же самое постоянно самъ, то этого уже достигнуть было невозможно.

На другой, на третій день и такъ далѣе, нужно было бы приказывать то же самое вновь, и вновь входить съ нимъ въ непріятныя объясненія.

Несмотря на все это, то-есть, что Захаръ любилъ выпить, посплетничать, бралъ у Обломова пятаки и гривны, ломалъ и билъ разныя вещи и лѣнился, все-таки выходило, что онъ былъ глубоко преданный своему барину слуга.

Онъ бы не задумался сгорѣть или утонуть за него, не считая этого подвигомъ, достойнымъ удивленія или какихъ-нибудь наградъ. Онъ смотрѣлъ на это, какъ на естественное, иначе быть немогущее дѣло, или, лучше сказать, никакъ не смотрѣлъ, а поступалъ такъ, безъ всякихъ умозрѣній.

Теорій у него на этотъ предметъ не было никакихъ. Ему

никогда не приходило въ голову подвергать анализу свои чувства и отношенія къ Ильѣ Ильичу; онъ не самъ выдумалъ ихъ; они перешли отъ отца, дѣда, братьевъ, дворни, среди которой онъ родился и воспитался, и обратились въ плоть и кровь.

Захаръ умеръ бы вмѣсто барина, считая это своимъ неизбѣжнымъ и природнымъ долгомъ, и даже не считая ничѣмъ, а просто бросился бы на смерть, точно такъ же, какъ собака, которая, при встрѣчѣ съ звѣремъ въ лѣсу, бросается на него, не разсуждая, отчего должна броситься она, а не ея господинъ.

Но зато, если бъ понадобилось, напримѣръ, просидѣть всю ночь подлѣ постели барина, не смыкая глазъ, и отъ этого бы зависѣло здоровье, или даже жизнь барина, Захаръ непремѣнно бы заснулъ.

Наружно онъ не выказывалъ не только подобострастія къ барину, но даже былъ грубоватъ, фамильяренъ въ обхожденіи съ нимъ, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, какъ сказано, злословилъ его у воротъ; но все-таки этимъ только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное, родственное чувство преданности его, не къ Ильѣ Ильичу собственно, а ко всему, что носитъ имя Обломова, что близко, мило, дорого ему.

Можетъ-быть, даже это чувство было въ противорѣчіи съ собственнымъ взглядомъ Захара на личность Обломова, можетъ-быть, изученіе характера барина внушало другія убѣжденія Захару. Вѣроятно, Захаръ, если бъ ему объяснили о степени привязанности его къ Ильѣ Ильичу, сталъ бы оспаривать это.

Захаръ любилъ Обломовку, какъ кошка свой чердакъ, лошадь—стойло, собака—конуру, въ которой родилась и выросла. Въ сферѣ этой привязанности у него вырабатывались уже свои особенныя, личныя впечатлѣнія.

Напримѣръ, обломовскаго кучера онъ любилъ больше,

нежели повара, скотницу Варвару больше ихъ обоихъ, а Илью Ильича меньше ихъ всѣхъ; но все-таки обломовскій поваръ для него былъ лучше и выше всѣхъ другихъ поваровъ въ мірѣ, а Илья Ильичъ выше всѣхъ помѣщиковъ.

Тараску, буфетчика, онъ терпѣть не могъ; но этого Тараску онъ не промѣнялъ бы на самаго хорошаго человѣка въ цѣломъ свѣтѣ, потому только, что Тараска былъ обломовскій.

Онъ обращался фамильярно и грубо съ Обломовымъ, точно такъ же, какъ шаманъ грубо и фамильярно обходится съ своимъ идоломъ: онъ и обметаетъ его, и уронитъ, иногда, можетъ-быть, и ударитъ съ досадой, но все-таки въ душѣ его постоянно присутствуетъ сознаніе превосходства натуры этого идола надъ своей.

Малѣйшаго повода довольно было, чтобъ вызвать это чувство изъ глубины души Захара и заставить его смотрѣть съ благоговѣніемъ на барина, иногда даже удариться, отъ умиленія, въ слезы. Боже сохрани, чтобъ онъ поставилъ другого какого-нибудь барина, не только даже выше, наравнѣ съ своимъ! Боже сохрани, если бъ это вздумалъ сдѣлать и другой!

Захаръ на всѣхъ другихъ господъ и гостей, приходившихъ къ Обломову, смотрѣлъ нѣсколько свысока и служилъ имъ, подавалъ чай и проч., съ какимъ-то снисхожденіемъ, какъ будто давалъ имъ чувствовать честь, которою они пользуются, находясь у его барина. Отказывалъ имъ грубовато:

— Баринъ-де почиваетъ,—говорилъ онъ, надменно оглядывая пришедшаго съ ногъ до головы.

Иногда, вмѣсто сплетней и злословія, онъ вдругъ принимался неумѣренно возвышать Илью Ильича по лавочкамъ и на сходкахъ у воротъ, и тогда не было конца восторгамъ. Онъ вдругъ начиналъ вычислять достоинства барина, умъ, ласковость, щедрость, доброту; и если у барина его недоставало качествъ для панегирика, онъ занималъ у другихъ

и придавалъ ему знатность, богатство, или необычайное могущество.

Если нужно было постращать дворника, управляющаго домомъ, даже самого хозяина, онъ стращалъ всегда бариномъ: «вотъ постой, я скажу барину», говорилъ онъ съ угрозой: «будетъ ужо тебѣ!» Сильнѣе авторитета онъ и не подозрѣвалъ на свѣтѣ.

Но наружныя сношенія Обломова съ Захаромъ были всегда какъ-то враждебны. Они, живучи вдвоемъ, надоѣли другъ другу. Короткое, ежедневное сближеніе человѣка съ человѣкомъ не обходится ни тому, ни другому даромъ: много надо, и съ той и съ другой стороны, жизненнаго опыта, логики и сердечной теплоты, чтобъ, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками.

Илья Ильичъ зналъ уже одно необъятное достоинство Захара—преданность къ себѣ, и привыкъ къ ней, считая также, съ своей стороны, что это не можетъ и не должно быть иначе; привыкши же къ достоинству однажды навсегда, онъ уже не наслаждался имъ, а между тѣмъ не могъ, и при своемъ равнодушіи ко всему, сносить терпѣливо безчисленныхъ мелкихъ недостатковъ Захара.

Если Захаръ, питая въ глубинѣ души къ барину преданность, свойственную стариннымъ слугамъ, разнился отъ нихъ современными недостатками, то и Илья Ильичъ, съ своей стороны, цѣня внутренно преданность его, не имѣлъ уже къ нему того дружескаго, почти родственнаго расположенія, какое питали прежніе господа къ слугамъ своимъ. Онъ позволялъ себѣ иногда крупно браниться съ Захаромъ.

Захару онъ тоже надоѣдалъ собой. Захаръ, отслуживъ въ молодости лакейскую службу въ барскомъ домѣ, былъ произведенъ въ дядьки къ Ильѣ Ильичу и съ тѣхъ поръ началъ считать себя только предметомъ роскоши, аристо-

кратическою принадлежностью дома, назначенною для поддержанія полноты и блеска старинной фамиліи, а не предметомъ необходимости. Отъ этого онъ, одѣвъ барченка утромъ и раздѣвъ его вечеромъ, остальное время ровно ничего не дѣлалъ.

Лѣнивый отъ природы, онъ былъ лѣнивъ еще и по своему лакейскому воспитанію. Онъ важничалъ въ дворнѣ, не давалъ себѣ труда ни поставить самоваръ, ни подмести половъ. Онъ или дремалъ въ прихожей, или уходилъ болтать въ людскую, въ кухню; не то, такъ по цѣлымъ часамъ, скрестивъ руки на груди, стоялъ у воротъ и съ сонною задумчивостью посматривалъ на всѣ стороны.

И послѣ такой жизни на него вдругъ навалили тяжелую обузу выносить на плечахъ службу цѣлаго дома! Онъ и служи барину, и мети, и чисть, онъ и на побѣгушкахъ! Отъ всего этого въ душу его залегла угрюмость, а въ нравѣ проявилась грубость и жестокость; отъ этого онъ ворчалъ всякій разъ, какъ голосъ барина заставлялъ его покидать лежанку.

Несмотря, однакожъ, на эту наружную угрюмость и дикость, Захаръ былъ довольно мягкаго и добраго сердца. Онъ любилъ даже проводить время съ ребятишками. На дворѣ, у воротъ, его часто видѣли съ кучей дѣтей. Онъ ихъ миритъ, дразнитъ, устраиваетъ игры, или просто сидитъ съ ними, взявъ одного на одно колѣно, другого на другое, а сзади шею его обовьетъ еще какой-нибудь шалунъ руками, или треплетъ его за бакенбарды.

И такъ Обломовъ мѣшалъ Захару жить тѣмъ, что требовалъ поминутно его услугъ и присутствія около себя, тогда какъ сердце, сообщительный нравъ, любовь къ бездѣйствію и вѣчная, никогда неумолкающая, потребность жевать влекли Захара то къ кумѣ, то въ кухню, то въ лавочку, то къ воротамъ.

Давно знали они другъ друга и давно жили вдвоемъ. За-

харъ нянчилъ маленькаго Обломова на рукахъ, а Обломовъ помнитъ его молодымъ, проворнымъ, прожорливымъ и лукавымъ парнемъ.

Старинная связь была не истребима между ними. Какъ Илья Ильичъ не умѣлъ ни встать, ни лечь спать, ни быть причесаннымъ и обутымъ, ни отобѣдать безъ помощи Захара, такъ Захаръ не умѣлъ представить себѣ другого барина, кромѣ Ильи Ильича, другого существованія, какъ одѣвать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и въ то же время внутренно благоговѣть передъ нимъ.

VIII.

Захаръ, заперевъ дверь за Тарантьевымъ и Алексѣевымъ, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что баринъ сейчасъ позоветъ его, потому что слышалъ, какъ тотъ собирался писать. Но въ кабинетѣ Обломова все было тихо, какъ въ могилѣ.

Захаръ заглянулъ въ щель — что жъ? Илья Ильичъ лежалъ себѣ на диванѣ, опершись головой на ладонь; передъ нимъ лежала книга. Захаръ отворилъ дверь.

— Вы чего лежите-то опять?—спросилъ онъ.

— Не мѣшай; видишь читаю! — отрывисто сказалъ Обломовъ.

— Пора умываться да писать, — говорилъ неотвязчивый Захаръ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ пора,—очнулся Илья Ильичъ.— Сейчасъ: ты поди. Я подумаю.

— И когда это онъ успѣлъ опять лечь-то!—ворчалъ Захаръ, прыгая на печку.—Проворенъ!

Обломовъ успѣлъ, однакожъ, прочитать пожелтѣвшую отъ времени страницу, на которой чтеніе прервано было съ мѣсяцъ назадъ. Онъ положилъ книгу на мѣсто и зѣвнулъ, потомъ погрузился въ неотвязчивую думу «о двухъ несчастіяхъ».

— Какая скука!—шепталъ онъ, то вытягивая, то поджимая ноги.

Его клонило къ нѣгѣ и мечтамъ; онъ обращалъ глаза къ небу, искалъ своего любимаго свѣтила, но оно было на самомъ зенитѣ, и только обливало ослѣпительнымъ блескомъ известковую стѣну дома, за который закатывалось по вечерамъ въ виду Обломова. «Нѣтъ, прежде дѣло», строго подумалъ онъ, «а потомъ...»

Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходѣ. До Ильи Ильича долеталъ со двора смѣшанный шумъ человѣческихъ и нечеловѣческихъ голосовъ: пѣнье кочующихъ артистовъ, сопровождаемое бо́льшею частью лаемъ собакъ. Приходили показывать и звѣря морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты.

Онъ легъ на спину и заложилъ обѣ руки подъ голову. Илья Ильичъ занялся разработкою плана имѣнія. Онъ быстро пробѣжалъ въ умѣ нѣсколько серьёзныхъ, коренныхъ статей объ оброкѣ, о запашкѣ, придумалъ новую мѣру, построже, противъ лѣни и бродяжничества крестьянъ, и перешелъ къ устройству собственнаго житья-бытья въ деревнѣ.

Его занимала постройка деревенскаго дома; онъ съ удовольствіемъ остановился нѣсколько минутъ на расположеніи комнатъ, опредѣлилъ длину и ширину столовой, бильярдной, подумалъ и о томъ, куда будетъ обращенъ окнами его кабинетъ; даже вспомнилъ о мебели и коврахъ.

Послѣ этого расположилъ флигеля дома, сообразивъ число гостей, которое намѣревался принимать, отвелъ мѣсто для конюшенъ, сараевъ, людскихъ и разныхъ другихъ службъ.

Наконецъ, обратился къ саду: онъ рѣшилъ оставить всѣ старыя липовыя и дубовыя деревья такъ, какъ они есть, а яблони и груши уничтожить и на мѣсто ихъ посадить акаціи; подумалъ-было о паркѣ, но, сдѣлавъ въ умѣ примѣрно смѣту издержкамъ, нашелъ, что дорого и, отложивъ

это до другого времени, перешелъ къ цвѣтникамъ и оранжереямъ.

Тутъ мелькнула у него соблазнительная мысль о будущихъ фруктахъ до того живо, что онъ вдругъ перенесся на нѣсколько лѣтъ впередъ въ деревню, когда ужъ имѣніе устроено по его плану и когда онъ живетъ тамъ безвыѣздно.

Ему представилось, какъ онъ сидитъ въ лѣтній вечеръ на террасѣ, за чайнымъ столомъ, подъ непроницаемымъ для солнца навѣсомъ деревьевъ, съ длинной трубкой, и лѣниво втягиваетъ въ себя дымъ, задумчиво наслаждаясь открывающимся изъ-за деревьевъ видомъ, прохладой, тишиной; а вдали желтѣютъ поля, солнце опускается за знакомый березнякъ и румянитъ гладкій, какъ зеркало, прудъ; съ полей восходитъ паръ; становится прохладно, наступаютъ сумерки; крестьяне толпами идутъ домой.

Праздная дворня сидитъ у воротъ; тамъ слышатся веселые голоса, хохотъ, балалайка, дѣвки играютъ въ горѣлки; кругомъ его самого рѣзвятся его малютки, лѣзутъ къ нему на колѣни, вѣшаются къ нему на шею; за самоваромъ сидитъ... царица всего окружающаго, его божество... женщина! жена! А между тѣмъ въ столовой, убранной съ изящной простотой, ярко заблистали привѣтные огоньки, накрывался большой круглый столъ; Захаръ, произведенный въ мажордомы, съ совершенно сѣдыми бакенбардами, накрываетъ столъ, съ пріятнымъ звономъ разставляетъ хрусталь и раскладываетъ серебро, поминутно роняя на полъ то стаканъ, то вилку; садятся за обильный ужинъ; тутъ сидитъ и товарищъ его дѣтства, неизмѣнный другъ его, Штольцъ, и другія, всѣ знакомыя лица; потомъ отходятъ ко сну...

Лицо Обломова вдругъ облилось румянцемъ счастья: мечта была такъ ярка, жива, поэтична, что онъ мгновенно повернулся лицомъ къ подушкѣ. Онъ вдругъ почувствовалъ смутное желаніе любви, тихаго счастья, вдругъ зажаждалъ полей и холмовъ своей родины, своего дома, жены и дѣтей...

Полежавъ ничкомъ минутъ пять, онъ медленно опять повернулся на спину. Лицо его сіяло кроткимъ, трогательнымъ чувствомъ: онъ былъ счастливъ.

Онъ съ наслажденіемъ, медленно вытянулъ ноги, отчего панталоны его засучились немного вверхъ, но онъ и не замѣчалъ этого маленькаго безпорядка. Услужливая мечта носила его, легко и вольно, далеко въ будущемъ.

Теперь его поглотила любимая мысль: онъ думалъ о маленькой колоніи друзей, которые поселятся въ деревенькахъ и фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ вокругъ его деревни, какъ попеременно будутъ каждый день съѣзжаться другъ къ другу въ гости, обѣдать, ужинать, танцовать; ему видятся все ясные дни, ясныя лица, безъ заботъ и морщинъ, смѣющіяся, круглыя, съ яркимъ румянцемъ, съ двойнымъ подбородкомъ и неувядающимъ аппетитомъ; будетъ вѣчное лѣто, вѣчное веселье, сладкая ѣда, да сладкая лѣнь...

— Боже, Боже! — произнесъ онъ отъ полноты счастья и очнулся.

А тутъ раздался со двора въ пять голосовъ:—Картофеля! Песку, песку не надо ли? Уголья! Уголья!.. Пожертвуйте, милосердные господа, на построеніе храма Господня! — А изъ сосѣдняго, вновь строящагося дома раздавался стукъ топоровъ, крикъ рабочихъ.

— Ахъ!—горестно вслухъ вздохнулъ Илья Ильичъ: «Что за жизнь! Какое безобразіе этотъ столичный шумъ! Когда же настанетъ райское, желанное житье? Когда въ поля, въ родныя рощи?» думалъ онъ. «Лежать бы теперь на травѣ, подъ деревомъ, да глядѣть сквозь вѣтки на солнышко и считать, сколько птичекъ перебываетъ на вѣткахъ. А тутъ тебѣ на траву то обѣдъ, то завтракъ принесетъ какая-нибудь краснощекая прислужница, съ голыми, круглыми и мягкими локтями и съ загорѣлой шеей; потупляетъ,

плутовка, взглядъ и улыбается... Когда же настанетъ эта пора?..»

«А планъ! А староста, а квартира?» вдругъ раздалось въ памяти его.

— Да, да! — торопливо заговорилъ Илья Ильичъ: — сейчасъ, сію минуту!

Обломовъ быстро приподнялся и сѣлъ на диванѣ, потомъ спустилъ ноги на полъ, попалъ разомъ въ обѣ туфли и посидѣлъ такъ; потомъ всталъ совсѣмъ и постоялъ задумчиво минуты двѣ.

— Захаръ, Захаръ!—закричалъ онъ громко, поглядывая на столъ и на чернильницу.

— Что еще тамъ?—послышалось вмѣстѣ съ прыжкомъ.

— Какъ только ноги-то таскаютъ меня?—хриплымъ шопотомъ прибавилъ Захаръ.

— Захаръ!—повторилъ Илья Ильичъ задумчиво, не спуская глазъ со стола. — Вотъ что, братецъ... — началъ онъ, указывая на чернильницу, но, не кончивъ фразы, впалъ опять въ раздумье.

Тутъ руки стали у него вытягиваться кверху, колѣни подгибаться, онъ началъ потягиваться, зѣвать...

— Тамъ оставался у насъ, — заговорилъ онъ, все потягиваясь, съ разстановкой: — сыръ, да... дай мадеры; до обѣда долго, такъ я позавтракаю немного...

— Гдѣ это онъ оставался? — сказалъ Захаръ:—не оставалось ничего...

— Какъ не оставалось? — перебилъ Илья Ильичъ. — Я очень хорошо помню: вотъ какой кусокъ былъ...

— Нѣтъ, нѣту! Никакого куска не было! — упорно твердилъ Захаръ.

— Былъ!—сказалъ Илья Ильичъ.

— Не былъ,—отвѣчалъ Захаръ.

— Ну, такъ купи.

— Пожалуйте денегъ.

— Вотъ мелочь тамъ, возьми.

— Да тутъ только рубль сорокъ, а надо рубль шесть гривенъ.

— Тамъ еще мѣдныя были.

— Я не видалъ!—сказалъ Захаръ, переминаясь съ ноги на ногу. — Серебро было, вонъ оно и есть, а мѣдныхъ не было!

— Были: вчера мнѣ разносчикъ самому въ руки далъ.

— Онъ при мнѣ далъ,—сказалъ Захаръ:—я видѣлъ, что мелочь давалъ, а мѣди не видалъ...

«Ужъ не Тарантьевъ ли взялъ?» подумалъ нерѣшительно Илья Ильичъ. «Да нѣтъ, тотъ бы и мелочь взялъ».

— Такъ что̀ жъ тамъ есть еще?—спросилъ онъ.

— А ничего не было. Вонъ вчерашней ветчины нѣтъ ли, надо у Анисьи спросить, — сказалъ Захаръ. — Принести, что ли?

— Принеси, что есть. Да какъ это не было?

— Такъ не было!—сказалъ Захаръ и ушелъ.

А Илья Ильичъ медленно и задумчиво прохаживался по кабинету.

— Да, много хлопотъ, — говорилъ онъ тихонько. — Вонъ хоть бы въ планѣ—пропасть еще работы!.. А сыръ-то вѣдь оставался, — прибавилъ онъ задумчиво: — съѣлъ этотъ Захаръ, да и говоритъ, что не было! И куда это запропастились мѣдныя деньги? — говорилъ онъ, шаря на столѣ рукой.

Черезъ четверть часа Захаръ отворилъ дверь подносомъ, который держалъ въ обѣихъ рукахъ, и, войдя въ комнату, хотѣлъ ногой притворить дверь, но промахнулся и ударилъ по пустому мѣсту: рюмка упала, а вмѣстѣ съ ней еще пробка съ графина и булка.

— Ни шагу безъ этого! — сказалъ Илья Ильичъ. — Ну, хоть подними же, что уронилъ; а онъ еще стоитъ да любуется!

Захаръ, съ подносомъ въ рукахъ, наклонился-было поднять булку, но присѣвъ, вдругъ увидѣлъ, что обѣ руки заняты и поднять нечѣмъ.

— Ну-ка, подними! — съ насмѣшкой говорилъ Илья Ильичъ.—Что жъ ты? Зачѣмъ дѣло стало?

— О, чтобъ вамъ пусто было, проклятыя! — съ яростью разразился Захаръ, обращаясь къ уроненнымъ вещамъ. — Гдѣ это видано завтракать передъ самымъ обѣдомъ?

И, поставивъ подносъ, онъ поднялъ съ пола, что̀ уронилъ; взявъ булку, онъ дунулъ на нее и положилъ на столъ.

Илья Ильичъ принялся завтракать, а Захаръ остановился въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ него, поглядывая на него стороной и намѣреваясь, повидимому, что-то сказать.

Но Обломовъ завтракалъ, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія.

Захаръ кашлянулъ раза два.

Обломовъ все ничего.

— Управляющій опять сейчасъ присылалъ,—робко заговорилъ, наконецъ, Захаръ: — подрядчикъ былъ у него, говоритъ: нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчетъ передѣлки-то все...

Илья Ильичъ кушалъ, не отвѣчая ни слова.

— Илья Ильичъ,—помолчавъ, еще тише сказалъ Захаръ.

Илья Ильичъ сдѣлалъ видъ, что онъ не слышитъ.

— На будущей недѣлѣ велятъ съѣзжать, — просипѣлъ Захаръ.

Обломовъ выпилъ рюмку вина и молчалъ.

— Какъ же намъ быть-то, Илья Ильичъ?—почти шопотомъ спросилъ Захаръ.

— А я тебѣ запретилъ говорить мнѣ объ этомъ,—строго сказалъ Илья Ильичъ и, привставъ, подошелъ къ Захару.

Тотъ попятился отъ него.

— Какой ты ядовитый человѣкъ, Захаръ! — прибавилъ Обломовъ съ чувствомъ.

Захаръ обидѣлся.

— Вотъ,—сказалъ онъ:—ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убилъ.

— Какъ же не ядовитый! — повторилъ Илья Ильичъ: — ты отравляешь мнѣ жизнь.

— Я не ядовитый!—твердилъ Захаръ.

— Что ты ко мнѣ пристаешь съ квартирой?

— Что жъ мнѣ дѣлать-то?

— А мнѣ что дѣлать?

— Вы хотѣли вѣдь написать къ домовому хозяину?

— Ну и напишу; погоди: нельзя же вдругъ!

— Вотъ бы теперь и написали.

— Теперь, теперь! Еще у меня поважнѣе есть дѣло. Ты думаешь, что это дрова рубить? тяпъ да ляпъ? Вонъ,—говорилъ Обломовъ, поворачивая сухое перо въ чернильницѣ:— и чернилъ то нѣтъ! Какъ я стану писать?

— А я вотъ сейчасъ квасомъ разведу,—сказалъ Захаръ и, взявъ чернильницу, проворно пошелъ въ переднюю, а Обломовъ началъ искать бумаги.

— Да никакъ и бумаги-то нѣтъ!—говорилъ онъ самъ съ собой, роясь въ ящикѣ и ощупывая столъ. — Да и такъ нѣтъ! Ахъ, этотъ Захаръ: житья нѣтъ отъ него!

— Ну, какъ же ты не ядовитый человѣкъ? — сказалъ Илья Ильичъ вошедшему Захару: — ни за чѣмъ не посмотришь? Какъ же въ домѣ бумаги не имѣть?

— Да что это, Илья Ильичъ, за наказаніе! Я христіанинъ: что жъ вы ядовитымъ-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старомъ баринѣ родились и выросли, онъ и щенкомъ изволилъ бранить и за уши дралъ, а этакого слова не слыхивали, выдумокъ не было! Долго ли до грѣха? Вотъ бумага, извольте.

Онъ взялъ съ этажерки и подалъ ему полъ-листа сѣрой бумаги.

— На этомъ развѣ можно писать? — спросилъ Обломовъ бросивъ бумагу. — Я этимъ на ночь стаканъ закрывалъ, чтобъ туда не попало что-нибудь... ядовитое.

Захаръ отвернулся и смотрѣлъ въ стѣну.

— Ну, да нужды нѣтъ: подай сюда, я начерно напишу, а Алексѣевъ ужо перепишетъ.

Илья Ильичъ сѣлъ къ столу и быстро вывелъ: «Милостивый государь!..»

— Какія скверныя чернила! — сказалъ Обломовъ. — Въ другой разъ у меня держи ухо востро, Захаръ, и дѣлай свое дѣло какъ слѣдуетъ!

Онъ подумалъ немного и началъ писать.

«Квартира, которую я занимаю во второмъ этажѣ дома, въ которомъ вы предположили произвести нѣкоторыя перестройки, вполнѣ соотвѣтствуетъ моему образу жизни и пріобрѣтенной, вслѣдствіе долгаго пребыванія въ семъ домѣ, привычкѣ. Извѣстясь черезъ крѣпостного моего человѣка, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мнѣ, что занимаемая мною квартира...»

Обломовъ остановился и прочиталъ написанное.

— Не складно,—сказалъ онъ:—тутъ два раза сряду *что*, а тамъ два раза *который*.

Онъ пошепталъ и переставилъ слова: вышло что *который* относится къ этажу — опять неловко. Кое-какъ переправилъ и началъ думать, какъ бы избѣжать два раза *что*.

Онъ, то зачеркнетъ, то опять поставитъ слово. Раза три переставлялъ *что*, но выходило или безсмыслица, или сосѣдство съ другимъ *что*.

— И не отвяжешься отъ этого другого-то *что!*—сказалъ онъ съ нетерпѣніемъ. — Э! да чортъ съ нимъ совсѣмъ, съ письмомъ-то! Ломать голову изъ такихъ пустяковъ! Я от-

выкъ дѣловыя письма писать. А вотъ ужъ третій часъ въ исходѣ.

— Захаръ, на вотъ тебѣ.

Онъ разорвалъ письмо на четыре части и бросилъ на полъ.

— Видѣлъ?—спросилъ онъ.

— Видѣлъ,—отвѣчалъ Захаръ, подбирая бумажки.

— Такъ не приставай больше съ квартирой. А это что у тебя?

— А счеты-то.

— Ахъ, ты, Господи! Ты совсѣмъ измучишь меня! Ну, сколько тутъ, говори скорѣй!

— Да вотъ мяснику 86 р. 54 к.

Илья Ильичъ всплеснулъ руками.

— Ты съ ума сошелъ? Одному мяснику такую кучу денегъ?

— Не платили мѣсяца три, такъ и будетъ куча! Вотъ оно тутъ записано, не украли!

— Ну, какъ же ты не ядовитый?—сказалъ Обломовъ.— На мильонъ говядины купилъ! Во что это въ тебя идетъ? Добро бы въ прокъ.

— Не я съѣлъ!—огрызался Захаръ.

— Нѣтъ! Не ѣлъ?

— Что жъ вы мнѣ хлѣбомъ-то попрекаете? Вотъ, смотрите!

И онъ совалъ ему счеты.

— Ну, еще кому?—говорилъ Илья Ильичъ, отталкивая съ досадой замасленныя тетрадки.

— Еще 121 р. 18 к. хлѣбнику, да зеленщику.

— Это разореніе! Это ни на что не похоже!—говорилъ Обломовъ, выходя изъ себя.—Что ты, корова, что ли, чтобъ столько зелени сжевать...

— Нѣтъ! Я ядовитый человѣкъ!—съ горечью замѣтилъ Захаръ, повернувшись совсѣмъ стороной къ барину.—Кабы

не пускали Михея Андреича, такъ бы меньше выходило!— прибавилъ онъ.

— Ну, сколько жъ это будетъ всего, считай! — говорилъ Илья Ильичъ и самъ началъ считать.

Захаръ дѣлалъ ту же выкладку по пальцамъ.

— Чортъ знаетъ, что за вздоръ выходитъ: всякій разъ разное! — сказалъ Обломовъ. — Ну, сколько у тебя? двѣсти, что ли?

— Вотъ погодите, дайте срокъ! — говорилъ Захаръ, зажмуриваясь и ворча: — восемь десятковъ, да десять десятковъ—восемнадцать, да два десятка...

— Ну, ты никогда этакъ не кончишь, — сказалъ Илья Ильичъ:—поди-ка къ себѣ, а счеты подай мнѣ завтра, да позаботься о бумагѣ и чернилахъ... Этакая куча денегъ! Говорилъ, чтобъ понемножку платить — нѣтъ, норовитъ все вдругъ... народецъ!

— Двѣсти пять рублей семьдесятъ двѣ копейки,—сказалъ Захаръ, сосчитавъ.—Денегъ пожалуйте.

— Какъ же, сейчасъ! Еще погоди: я повѣрю завтра...

— Воля ваша, Илья Ильичъ, они просятъ...

— Ну, ну, отстань! Сказалъ завтра, такъ завтра и получишь. Иди къ себѣ, а я займусь: у меня важнѣе есть забота.

Илья Ильичъ усѣлся на стулѣ, подобралъ подъ себя ноги и не успѣлъ задуматься, какъ раздался звонокъ.

Явился низенькій человѣкъ, съ умѣреннымъ брюшкомъ, съ бѣлымъ лицомъ, румяными щеками и лысиной, которую съ затылка, какъ бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и такъ лоснилась, какъ будто была выточена изъ слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо-внимательнымъ ко всему, на что онъ ни глядѣлъ, выраженіемъ, сдержанностью во взглядѣ, умѣренностью въ улыбкѣ и скромно-офиціальнымъ приличіемъ.

Одѣтъ онъ былъ въ покойный фракъ, отворявшійся ши-

роко и удобно, какъ ворота, почти отъ одного прикосновенія. Бѣлье на немъ такъ и блистало бѣлизной, какъ будто подъ-стать лысинѣ. На указательномъ пальцѣ правой руки надѣтъ былъ большой массивный перстень съ какимъ-то темнымъ камнемъ.

— Докторъ! Какими судьбами? — воскликнулъ Обломовъ, протягивая одну руку гостю, а другою подвигая стулъ.

— Я соскучился, что вы все здоровы, не зовете, самъ зашелъ, — отвѣчалъ докторъ шутливо. — Нѣтъ,—прибавилъ онъ потомъ серьезно:—я былъ вверху, у вашего сосѣда, да и зашелъ провѣдать.

— Благодарю. А что сосѣдъ?

— Что̀: недѣли три-четыре, а, можетъ-быть, до осени дотянетъ, а потомъ... водяная въ груди: конецъ извѣстный. Ну, вы что?

Обломовъ печально тряхнулъ головой.

— Плохо, докторъ. Я самъ подумывалъ посовѣтоваться съ вами. Не знаю, что̀ мнѣ дѣлать. Желудокъ почти не варитъ, подъ ложечкой тяжесть, изжога замучила, дыханье тяжело...—говорилъ Обломовъ съ жалкой миной.

— Дайте руку, — сказалъ докторъ, взялъ пульсъ и закрылъ на минуту глаза.—А кашель есть?—спросилъ онъ.

— По ночамъ, особенно когда поужинаю.

— Гм! Біеніе сердца бываетъ? Голова болитъ?

И докторъ сдѣлалъ еще нѣсколько подобныхъ вопросовъ, потомъ наклонилъ свою лысину и глубоко задумался. Черезъ двѣ минуты онъ вдругъ приподнялъ голову и рѣшительнымъ голосомъ сказалъ:

— Если вы еще года два-три проживете въ этомъ климатѣ, да будете все лежать, ѣсть жирное и тяжелое — вы умрете ударомъ.

Обломовъ встрепенулся.

— Что̀ жъ мнѣ дѣлать? Научите, ради Бога! — спросилъ онъ.

— То же, что другіе дѣлаютъ: ѣхать за границу.

— За границу!—съ изумленіемъ повторилъ Обломовъ.

— Да; а что?

— Помилуйте, докторъ, за границу! Какъ это можно?

— Отчего же не можно?

Обломовъ молча обвелъ глазами себя, потомъ свой кабинетъ и машинально повторилъ:

— За границу!

— Что̀ жъ вамъ мѣшаетъ?

— Какъ что̀? Все...

— Что жъ все? Денегъ, что ли, нѣтъ?

— Да, да, вотъ денегъ-то въ самомъ дѣлѣ нѣтъ,—живо заговорилъ Обломовъ, обрадовавшись этому самому естественному препятствію, за которое онъ могъ спрятаться совсѣмъ съ головой.—Вы посмотрите-ка, что̀ мнѣ староста пишетъ... Гдѣ письмо, куда я его дѣвалъ? Захаръ!

— Хорошо, хорошо,—заговорилъ докторъ:—это не мое дѣло; мой долгъ сказать вамъ, что вы должны измѣнить образъ жизни, мѣсто, воздухъ, занятіе—все, все.

— Хорошо, я подумаю,—сказалъ Обломовъ.—Куда же мнѣ ѣхать и что̀ дѣлать?—спросилъ онъ.

— Поѣзжайте въ Киссингенъ, или въ Эмсъ,—началъ докторъ:—тамъ проживете іюнь и іюль; пейте воды; потомъ отправляйтесь въ Швейцарію или въ Тироль: лѣчиться виноградомъ. Тамъ проживете сентябрь и октябрь...

— Чортъ знаетъ что, въ Тироль!—едва слышно прошепталъ Илья Ильичъ.

— Потомъ куда-нибудь въ сухое мѣсто, хоть въ Египетъ...

«Вона!» подумалъ Обломовъ.

— Устраняйте заботы и огорченія...

— Хорошо вамъ говорить,—замѣтилъ Обломовъ:—вы не получаете отъ старосты такихъ писемъ...

— Надо тоже избѣгать мыслей,—продолжалъ докторъ.

— Мыслей?

— Да, умственнаго напряженія.

— А планъ устройства имѣнія? Помилуйте, развѣ я осиновый чурбанъ?..

— Ну, тамъ какъ хотите. Мое дѣло только остеречь васъ. Страстей тоже надо беречься: онѣ вредятъ лѣченью. Надо стараться развлекать себя верховой ѣздой, танцами, умѣреннымъ движеніемъ на чистомъ воздухѣ, пріятными разговорами, особенно съ дамами, чтобъ сердце билось слегка и только отъ пріятныхъ ощущеній.

Обломовъ слушалъ его, повѣся голову.

— Потомъ?—спросилъ онъ.

— Потомъ отъ чтенія, писанья — Боже васъ сохрани! Наймите виллу, окнами на югъ, побольше цвѣтовъ, чтобъ около были музыка да женщины...

— А пищу какую?

— Пищи мясной и вообще животной избѣгайте, мучнистой и студенистой тоже. Можете кушать легкій бульонъ, зелень; только берегитесь: теперь холера почти вездѣ бродитъ, такъ надо осторожнѣе... Ходить можете часовъ восемь въ сутки. Заведите ружье...

— Господи!..—простоналъ Обломовъ.

— Наконецъ,—заключилъ докторъ:—къ зимѣ поѣзжайте въ Парижъ, и тамъ, въ вихрѣ жизни, развлекайтесь, не задумывайтесь; изъ театра на балъ, въ маскарадъ, за городъ съ визитами, чтобъ около васъ друзья, шумъ, смѣхъ...

— Не нужно ли еще чего-нибудь? — спросилъ Обломовъ съ худо-скрытой досадой.

Докторъ задумался...

— Развѣ попользоваться морскимъ воздухомъ: сядьте въ Англіи на пароходъ, да прокатитесь до Америки...

Онъ всталъ и сталъ прощаться.

— Если вы все это исполните въ точности... — говорилъ онъ...

— Хорошо, хорошо, непремѣнно исполню, — ѣдко отвѣчалъ Обломовъ, провожая его.

Докторъ ушелъ, оставивъ Обломова въ самомъ жалкомъ положеніи. Онъ закрылъ глаза, положилъ обѣ руки на голову, сжался на стулѣ въ комокъ и такъ сидѣлъ, никуда не глядя, ничего не чувствуя.

Сзади его послышался робкій зовъ.

— Илья Ильичъ!

— Ну?—откликнулся онъ.

— А что жъ управляющему-то сказать?

— О чемъ?

— А насчетъ того, чтобъ переѣхать?

— Ты опять объ этомъ?—съ изумленіемъ спросилъ Обломовъ.

— Да какъ же, батюшка, Илья Ильичъ, быть-то мнѣ? Сами разсудите: и такъ жизнь-то моя горька, я въ гробъ гляжу...

— Нѣтъ, ты, видно, въ гробъ меня хочешь вогнать своимъ переѣздомъ, — сказалъ Обломовъ. — Послушай-ка, что̀ говоритъ докторъ!

Захаръ не нашелъ что̀ сказать, только вздохнулъ такъ, что концы шейнаго платка затрепетали у него на груди.

— Ты рѣшился уморить, что ли, меня?—спросилъ опять Обломовъ.—Я надоѣлъ тебѣ, а? Ну, говори же?

— Христосъ съ вами! Живите на здоровье! Кто вамъ зла желаетъ?—ворчалъ Захаръ въ совершенномъ смущеніи отъ трагическаго оборота, который начинала принимать рѣчь.

— Ты!—сказалъ Илья Ильичъ. — Я запретилъ тебѣ заикаться о переѣздѣ, а ты, не проходитъ дня, чтобъ пять разъ не напомнилъ мнѣ: вѣдь это разстраиваетъ меня—пойми ты. И такъ здоровье мое никуда не годится.

— Я думалъ, сударь, что... отчего, молъ, думалъ, не переѣхать?—дрожащимъ отъ душевной тревоги голосомъ говорилъ Захаръ.

— Отчего не переѣхать! Ты такъ легко судишь объ этомъ!— говорилъ Обломовъ, оборачиваясь съ креслами къ Захару.— Да ты вникнулъ ли хорошенько, что̀ значитъ переѣхать, а? Вѣрно, не вникнулъ?

— И такъ не вникнулъ!—смиренно отвѣчалъ Захаръ, готовый во всемъ согласиться съ бариномъ, лишь бы не доводить дѣла до патетическихъ сценъ, которыя были для него хуже горькой рѣдьки.

— Не вникнулъ, такъ слушай, да и разбери, можно переѣзжать, или нѣтъ. Что̀ значитъ переѣхать? Это значитъ: баринъ уйди на цѣлый день, да такъ одѣтый съ утра и ходи...

— Что жъ, хоть бы и уйти?—замѣтилъ Захаръ.—Отчего же и не отлучиться на цѣлый день? Вѣдь нездорово сидѣть дома. Вонъ вы какіе нехорошіе стали! Прежде вы были какъ огурчикъ, а теперь, какъ сидите, Богъ знаетъ на что̀ похожи. Походили бы по улицамъ, посмотрѣли бы на народъ, или на другое что...

— Полно вздоръ молоть, а слушай!—сказалъ Обломовъ.— Ходить по улицамъ!

— Да, право, — продолжалъ Захаръ съ большимъ жаромъ. — Вонъ, говорятъ, какое-то неслыханное чудовище привезли: его бы поглядѣли. Въ тіатръ, или маскарадъ бы пошли, а тутъ бы безъ васъ и переѣхали.

— Не болтай пустяковъ! Славно ты заботишься о барскомъ покоѣ! По-твоему, шатайся цѣлый день—тебѣ нужды нѣтъ, что я пообѣдаю ни вѣсть гдѣ и какъ, и не прилягу послѣ обѣда?.. Безъ меня они тутъ перевезутъ! Не догляди, такъ и перевезутъ—черепки. Знаю я, — съ возрастающей убѣдительностью говорилъ Обломовъ: — что значитъ перевозка! Это значитъ ломка, шумъ; всѣ вещи свалятъ въ кучу на полу: тутъ и чемоданъ, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какія-то, которыхъ въ другое время и не видать, а тутъ, чортъ знаетъ, откуда возьмутся!

Смотри за всѣмъ, чтобъ не растеряли, да не переломали... половина тутъ, другая на возу, или на новой квартирѣ: захочется покурить, возьмешь трубку, а табакъ ужъ уѣхалъ... Хочешь сѣсть, да не на что; до чего ни дотронулся—выпачкался; все въ пыли; вымыться нечѣмъ, и ходи, вонъ, съ этакими руками, какъ у тебя...

— У меня руки чисты, — замѣтилъ Захаръ, показывая какія-то двѣ подошвы вмѣсто рукъ.

— Ну, ужъ не показывай только!—сказалъ Илья Ильичъ, отворачиваясь.—А захочется пить,—продолжалъ Обломовъ:—возьмешь графинъ, да стакана нѣтъ...

— Можно и изъ графина напиться:—добродушно прибавилъ Захаръ.

— Вотъ у васъ все такъ: можно и не мести, и пыли не стирать, и ковровъ не выколачивать. А на новой квартирѣ, — продолжалъ Илья Ильичъ, увлекаясь самъ живопредставившейся ему картиной переѣзда: — дня въ три не разберутся, все не на своемъ мѣстѣ: картины у стѣнъ, на полу, галоши на постели, сапоги въ одномъ узлѣ съ чаемъ да съ помадой. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картинѣ разбито, или диванъ въ пятнахъ. Чего ни спросишь—нѣтъ, никто не знаетъ гдѣ, или потеряно, или забыто на старой квартирѣ: бѣги туда...

— Въ ину пору разъ десять взадъ и впередъ сбѣгаешь,—перебилъ Захаръ.

— Вотъ видишь ли!—продолжалъ Обломовъ.—А встанешь на новой квартирѣ утромъ, что за скука! Ни воды, ни угольевъ нѣтъ, а зимой такъ холодомъ насидишься, настудятъ комнаты, а дровъ нѣтъ; поди бѣгай, занимай...

— Еще какихъ сосѣдей Богъ дастъ, — замѣтилъ опять Захаръ:—отъ иныхъ не то, что вязанки дровъ—ковша воды не допросишься.

— То-то же! — сказалъ Илья Ильичъ. — Переѣхалъ—къ вечеру, кажется бы, и конецъ хлопотамъ: нѣтъ, еще прово-

зишься недѣли двѣ. Кажется, все разставлено... смотришь, что-нибудь да осталось: шторы привѣсить, картинки приколотить—душу всю вытянетъ, жить не захочется... А издержекъ, издержекъ...

— Прошлый разъ, восемь лѣтъ назадъ, рублевъ двѣсти стало—какъ теперь помню, — подтвердилъ Захаръ.

— Ну, вотъ, шутка!—говорилъ Илья Ильичъ.—А какъ дико жить сначала на новой квартирѣ! Скоро ли привыкнешь? Да я ночей пять не усну на новомъ мѣстѣ; меня тоска загрызетъ, какъ встану да увижу, вонъ, вмѣсто этой вывѣски токаря, другое что-нибудь, напротивъ, или вонъ ежели изъ окна не выглянетъ эта стриженая старуха передъ обѣдомъ, такъ мнѣ и скучно... Видишь ли ты самъ теперь, до чего доводилъ барина—а? — спросилъ съ упрекомъ Илья Ильичъ.

— Вижу,—прошепталъ смиренно Захаръ.

— Зачѣмъ же ты предлагалъ мнѣ переѣхать? Станетъ ли человѣческихъ силъ вынести все это?

— Я думалъ, что другіе, молъ, не хуже насъ, да переѣзжаютъ, такъ и намъ можно...—сказалъ Захаръ.

— Что? Что? — вдругъ съ изумленіемъ спросилъ Илья Ильичъ, приподнимаясь съ креселъ.—Что ты сказалъ?

Захаръ вдругъ смутился, не зная, чѣмъ онъ могъ подать барину поводъ къ патетическому восклицанію и жесту. Онъ молчалъ.

— Другіе не хуже!—съ ужасомъ повторилъ Илья Ильичъ.— Вотъ ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что «другой»!

Обломовъ поклонился иронически Захару и сдѣлалъ въ высшей степени оскорбленное лицо.

— Помилуйте, Илья Ильичъ, развѣ я равняю васъ съ кѣмъ-нибудь?..

— Съ глазъ долой! — повелительно сказалъ Обломовъ,

указывая рукой на дверь. — Я тебя видѣть не могу. А! «другіе»? Хорошо!

Захаръ съ глубокимъ вздохомъ удалился къ себѣ.

— Эка жизнь, подумаешь! — ворчалъ онъ, садясь на лежанку.

— Боже мой! — стоналъ тоже Обломовъ. — Вотъ хотѣлъ посвятить утро дѣльному труду, а тутъ разстроили на цѣлый день! И кто же? свой собственный слуга, преданный, испытанный, а что сказалъ! И какъ это онъ могъ?

Обломовъ долго не могъ успокоиться; онъ ложился, вставалъ, ходилъ по комнатѣ и опять ложился. Онъ въ низведеніи себя Захаромъ до степени *другихъ* видѣлъ нарушеніе правъ своихъ на исключительное предпочтеніе Захаромъ особы барина всѣмъ и каждому.

Онъ вникалъ въ глубину этого сравненія и разбиралъ, что такое *другіе* и что онъ самъ, въ какой степени возможна и справедлива эта параллель и какъ тяжела обида нанесенная ему Захаромъ; наконецъ, сознательно ли оскорбилъ его Захаръ, то-есть, убѣжденъ ли онъ былъ, что Илья Ильичъ все равно, что «другой» или такъ это сорвалось у него съ языка, безъ участія головы. Все это задѣло самолюбіе Обломова, и онъ рѣшился показать Захару разницу между нимъ и тѣми, которыхъ разумѣлъ Захаръ, подъ именемъ «другихъ», и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка.

— Захаръ! — протяжно и торжественно кликнулъ онъ.

Захаръ, услышавъ этотъ зовъ, не прыгнулъ, по обыкновенію, съ лежанки, стуча ногами, не заворчалъ, онъ медленно сползъ съ печки и пошелъ, задѣвая за все и руками, и боками, тихо, нехотя, какъ собака, которая, по голосу господина, чувствуетъ, что проказа ея открыта и что зовутъ ее на расправу.

Захаръ отворилъ вполовину дверь, но войти не рѣшался.

— Войди! — сказалъ Илья Ильичъ.

Хотя дверь отворялась свободно, но Захаръ отворялъ такъ, какъ будто нельзя было пролѣзть, и оттого только завязъ въ двери, но не вошелъ.

Обломовъ сидѣлъ на краю постели.

— Поди сюда!—настойчиво сказалъ онъ.

Захаръ съ трудомъ высвободился изъ двери, но тотчасъ притворилъ ее за собой и прислонился къ ней плотно спиной.

— Сюда! — говорилъ Илья Ильичъ, указывая пальцемъ мѣсто подлѣ себя.

Захаръ сдѣлалъ полшага и остановился за двѣ сажени отъ указаннаго мѣста.

— Еще!—говорилъ Обломовъ.

Захаръ сдѣлалъ видъ, что будто шагнулъ, а самъ только качнулся, стукнулъ ногой и остался на мѣстѣ.

Илья Ильичъ, видя, что ему никакъ не удается на этотъ разъ подманить Захара ближе, оставилъ его тамъ, гдѣ онъ стоялъ, и смотрѣлъ на него нѣсколько времени молча, съ укоризной.

Захаръ, чувствуя неловкость отъ этого безмолвнаго созерцанія его особы, дѣлалъ видъ, что не замѣчалъ барина, и болѣе, нежели когда-нибудь, стороной стоялъ къ нему, и даже не кидалъ въ эту минуту своего односторонняго взгляда на Илью Ильича.

Онъ упорно сталъ смотрѣть налѣво, въ другую сторону: тамъ увидалъ онъ давно знакомый ему предметъ—бахрому изъ паутины около картинъ, и въ паукѣ—живой упрекъ своему нерадѣнію.

— Захаръ! — тихо, съ достоинствомъ произнесъ Илья Ильичъ.

Захаръ не отвѣчалъ; онъ, кажется, думалъ: «Ну, чего тебѣ? Другого, что ли, Захара? Вѣдь я тутъ стою», и перенесъ взглядъ свой, мимо барина, слѣва направо; тамъ тоже напомнило ему о немъ самомъ зеркало, подернутое,

какъ кисеей, густою пылью: сквозь нее дико, исподлобья смотрѣлъ на него, какъ изъ тумана, собственный его же, угрюмый и некрасивый ликъ.

Онъ съ неудовольствіемъ отвратилъ взглядъ отъ этого грустнаго, слишкомъ знакомаго ему предмета, и рѣшился на минуту остановить его на Ильѣ Ильичѣ. Взгляды ихъ встрѣтились.

Захаръ не вынесъ укора, написаннаго въ глазахъ барина, и потупилъ свои внизъ, подъ ноги: тутъ опять, въ коврѣ, пропитанномъ пылью и пятнами, онъ прочелъ печальный аттестатъ своего усердія къ господской службѣ.

— Захаръ!—съ чувствомъ повторилъ Илья Ильичъ.

— Чего изволите? — едва слышно прошепталъ Захаръ и чуть-чуть вздрогнулъ, предчувствуя патетическую рѣчь.

— Дай мнѣ квасу!—сказалъ Илья Ильичъ.

У Захара отлегло отъ сердца; онъ, съ радости, какъ мальчишка, проворно бросился въ буфетъ и принесъ квасу.

— Что̀, каково тебѣ? — кротко спросилъ Илья Ильичъ, отпивъ изъ стакана и держа его въ рукахъ. — Вѣдь не хорошо?

Видъ дикости на лицѣ Захара мгновенно смягчился блеснувшимъ въ чертахъ его лучомъ раскаянія. Захаръ почувствовалъ первые признаки проснувшагося въ груди и подступившаго къ сердцу благоговѣйнаго чувства къ барину, и онъ вдругъ сталъ смотрѣть прямо ему въ глаза.

— Чувствуешь ли ты свой проступокъ?—спросилъ Илья Ильичъ.

«Что это за «проступокъ» за такой?» думалъ Захаръ съ горестью: «что-нибудь жалкое; вѣдь нехотя заплачешь, какъ онъ станетъ этакъ-то пропекать».

— Что жъ, Илья Ильичъ, — началъ Захаръ съ самой низкой ноты своего діапазона:—я ничего не сказалъ, окромѣ того, что, молъ...

— Нѣтъ, ты погоди! — перебилъ Обломовъ. — Ты пони-

маешь ли, что̀ ты сдѣлалъ? На вотъ, поставь стаканъ на столъ и отвѣчай!

Захаръ ничего не отвѣчалъ и рѣшительно не понималъ, что̀ онъ сдѣлалъ, но это не помѣшало ему съ благоговѣніемъ посмотрѣть на барина; онъ даже понурилъ немного голову, сознавая свою вину.

— Какъ же ты не ядовитый человѣкъ? — говорилъ Обломовъ.

Захаръ все молчалъ, только крупно мигнулъ раза три.

— Ты огорчилъ барина! — съ разстановкой произнесъ Илья Ильичъ и пристально смотрѣлъ на Захара, наслаждаясь его смущеніемъ.

Захаръ не зналъ, куда дѣваться отъ тоски.

— Вѣдь огорчилъ?—спросилъ Илья Ильичъ.

— Огорчилъ! — шепталъ, растерявшись совсѣмъ, Захаръ отъ этого новаго *жалкаго* слова.

Онъ металъ взгляды направо, налѣво и прямо, ища въ чемъ-нибудь спасенія, и опять замелькали передъ нимъ и паутина, и пыль, и собственное отраженіе, и лицо барина.

«Хоть бы сквозь землю провалиться! Эхъ, смерть нейдетъ!» подумалъ онъ, видя, что не избѣжать ему патетической сцены, какъ ни вертись.

И такъ онъ чувствовалъ, что мигаетъ чаще и чаще, и вотъ, того и гляди, брызнутъ слезы.

Наконецъ, онъ отвѣчалъ барину извѣстной пѣсней, только въ прозѣ.

— Чѣмъ же я огорчилъ васъ, Илья Ильичъ! — почти плача сказалъ онъ.

— Чѣмъ? — повторилъ Обломовъ. — Да ты подумалъ ли, что̀ такое *другой?*

Онъ остановился, продолжая глядѣть на Захара.

— Сказать ли тебѣ, что̀ это такое?

Захаръ повернулся, какъ медвѣдь въ берлогѣ, и вздохнулъ на всю комнату.

—*Другой* — кого ты разумѣешь — есть голь окаянная, грубый, необразованный человѣкъ, живетъ грязно, бѣдно, на чердакѣ; онъ и высыпется себѣ на войлокѣ гдѣ-нибудь на дворѣ. Что этакому сдѣлается? Ничего. Трескаетъ-то онъ картофель, да селедку. Нужда мечетъ его изъ угла въ уголъ, онъ и бѣгаетъ день-деньской. Онъ, пожалуй, и переѣдетъ на новую квартиру. Вонъ, Лягаевъ, возьметъ линейку подъ мышку, да двѣ рубашки въ носовой платокъ, и идетъ... «Куда, молъ, ты?»—«Переѣзжаю», говоритъ. Вотъ это такъ «другой»! А я, по-твоему, «другой»—а?

Захаръ взглянулъ на барина, переступилъ съ ноги на ногу и молчалъ.

— Что такое *другой?* — продолжалъ Обломовъ. — Другой есть такой человѣкъ, который самъ себѣ сапоги чиститъ, одѣвается самъ, хоть иногда и бариномъ смотритъ, да вретъ, онъ и не знаетъ, что такое прислуга; послать некого—самъ сбѣгаетъ за чѣмъ нужно: и дрова въ печкѣ самъ помѣшаетъ, иногда и пыль оботретъ...

— Изъ нѣмцевъ много этакихъ,—угрюмо сказалъ Захаръ.

— То-то же! А я? Какъ ты думаешь, я «другой»?

— Вы совсѣмъ другой! — жалобно сказалъ Захаръ, все не понимавшій, что хочетъ сказать баринъ.—Богъ знаетъ, что это напустило такое на васъ...

— Я совсѣмъ другой—а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, какъ «другой»-то живетъ? «Другой» работаетъ безъ устали, бѣгаетъ, суетится,—продолжалъ Обломовъ: — не поработаетъ, такъ и не поѣстъ. «Другой» кланяется, «другой» проситъ, унижается... А я? Ну-ка, учи: какъ ты думаешь, «другой» я—а?

— Да полно вамъ, батюшка, томить-то меня жалкими словами—умолялъ Захаръ.—Ахъ, ты Господи!

— Я «другой»! Да развѣ я мечусь, развѣ работаю? Мало

ѣмъ, что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ недостаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать—есть кому! Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану ли я безпокоиться? Изъ чего мнѣ? И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мной? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался. Такъ какъ же это у тебя достало духу равнять меня съ другими? Развѣ у меня такое здоровье, какъ у этихъ «другихъ»? Развѣ я могу все это дѣлать и перенести?

Захаръ потерялъ рѣшительно всякую способность понять рѣчь Обломова; но губы у него вздулись отъ внутренняго волненія; патетическая сцена гремѣла, какъ туча, надъ головой его. Онъ молчалъ.

— Захаръ!—повторилъ Илья Ильичъ.

— Чего изволите?—чуть слышно прошипѣлъ Захаръ.

— Дай еще квасу.

Захаръ принесъ квасу, и когда Илья Ильичъ, напившись, отдалъ ему стаканъ, онъ, было, проворно пошелъ къ себѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты постой! — заговорилъ Обломовъ. — Я спрашиваю тебя: какъ ты могъ такъ горько оскорбить барина, котораго ты ребенкомъ носилъ на рукахъ, которому вѣкъ служишь и который благодѣтельствуетъ тебѣ?

Захаръ не выдержалъ: слово *благодѣтельствуетъ* доконало его! Онъ началъ мигать чаще и чаще. Чѣмъ меньше понималъ онъ, что̀ говорилъ ему въ патетической рѣчи Илья Ильичъ, тѣмъ грустнѣе становилось ему.

— Виноватъ, Илья Ильичъ,—началъ онъ сипѣть съ раскаяніемъ:—это я по глупости, право, по глупости...

И Захаръ, не понимая, что̀ онъ сдѣлалъ, не зналъ, какой глаголъ употребить въ концѣ своей рѣчи.

— А я, — продолжалъ Обломовъ голосомъ оскорбленнаго и неоцѣненнаго по достоинству человѣка: — еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горитъ, сердце замираетъ, по ночамъ не спишь, ворочаешься, все думаешь, какъ бы лучше... а о комъ? Для кого? Все для васъ, для крестьянъ; стало-быть, и для тебя. Ты, можетъ-быть, думаешь, глядя, какъ я иногда покроюсь совсѣмъ одѣяломъ съ головой, что я лежу какъ пень, да сплю; нѣтъ, не сплю я, я думаю все крѣпкую думу, чтобъ крестьяне не потерпѣли ни въ чемъ нужды, чтобъ не позавидовали чужимъ, чтобъ не плакались на меня Господу Богу на страшномъ судѣ, а молились бы, да поминали меня добромъ. Неблагодарные!—съ горькимъ упрекомъ заключилъ Обломовъ.

Захаръ тронулся окончательно послѣдними *жалкими* словами. Онъ началъ понемногу всхлипывать; сопѣнье и хрипѣнье слились въ этотъ разъ въ одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, развѣ только для какого-нибудь китайскаго гонга, или индійскаго там-тама.

— Батюшка, Илья Ильичъ!—умолялъ онъ.—Полно вамъ! Что вы, Господь съ вами, такое несете! Ахъ ты, Мать Пресвятая Богородица! Какая бѣда вдругъ стряслась нежданно-негаданно...

— А ты, — продолжалъ, не слушая его, Обломовъ: — ты бы постыдился выговорить-то! Вотъ какую змѣю отогрѣлъ на груди!

— Змѣя!—произнесъ Захаръ, всплеснувъ руками, и такъ пріударилъ плачемъ, какъ будто десятка два жуковъ влетѣли и зажужжали въ комнатѣ. — Когда же я змѣю поминалъ?—говорилъ онъ среди рыданій.—Да я и во снѣ-то не вижу ее, поганую!

Оба они перестали понимать другъ друга, а наконецъ каждый и себя.

— Да какъ это языкъ поворотился у тебя?—продолжалъ Илья Ильичъ. — А я еще въ планѣ моемъ опредѣлилъ ему

особый домъ, огородъ, отсыпной хлѣбъ, назначилъ жалованье! Ты у меня и управляющій, и мажордомъ, и повѣренный по дѣламъ! Мужики тебѣ въ поясъ; всѣ тебѣ: Захаръ Трофимычъ, да Захаръ Трофимычъ! А онъ все еще недоволенъ, въ «другіе» пожаловалъ! Вотъ и награда! Славно барина честитъ!

Захаръ продолжалъ всхлипывать, и Илья Ильичъ былъ самъ растроганъ. Увѣщавая Захара, онъ глубоко проникся въ эту минуту сознаніемъ благодѣяній, оказанныхъ имъ крестьянамъ, и послѣдніе упреки досказалъ дрожащимъ голосомъ, со слезами на глазахъ.

— Ну, теперь иди съ Богомъ! — сказалъ онъ примирительнымъ тономъ Захару. — Да постой, дай еще квасу! Въ горлѣ совсѣмъ пересохло: самъ бы догадался — слышишь, баринъ хрипитъ? До чего довелъ!

— Надѣюсь, что ты понялъ свой проступокъ,—говорилъ Илья Ильичъ, когда Захаръ принесъ квасу:—и впередъ не станешь сравнивать барина съ другими. Чтобъ загладить свою вину, ты какъ-нибудь уладь съ хозяиномъ, чтобъ мнѣ не переѣзжать. Вотъ какъ ты бережешь покой барина: разстроилъ совсѣмъ и лишилъ меня какой-нибудь новой, полезной мысли. А у кого отнялъ? У себя же; для васъ я посвятилъ всего себя, для васъ вышелъ въ отставку, сижу взаперти... Ну, да Богъ съ тобой! Вонъ, три часа бьетъ! Два часа только до обѣда, что успѣешь сдѣлать въ два часа?—Ничего. А дѣла куча. Такъ и быть, письмо отложу до слѣдующей почты, а планъ набросаю завтра. Ну, я теперь прилягу немного: измучился совсѣмъ; ты опусти шторы да затвори меня поплотнѣе, чтобъ не мѣшали; можетъ-быть, я съ часикъ и усну; а въ половинѣ пятаго разбуди.

Захаръ началъ закупоривать барина въ кабинетѣ; онъ сначала покрылъ его самого и подоткнулъ одѣяло подъ него, потомъ опустилъ шторы, плотно заперъ всѣ двери и ушелъ къ себѣ.

— Чтобъ тебѣ издохнуть, лѣшій этакой! — ворчалъ онъ, отирая слѣды слезъ и влѣзая на лежанку. — Право, лѣшій! Особый домъ, огородъ, жалованье! — говорилъ Захаръ, повившій только послѣднія слова. — Мастеръ жалкія-то слова говорить: такъ по сердцу точно ножомъ и рѣжетъ... Вотъ тутъ мой и домъ, и огородъ, тутъ и ноги протяну! — говорилъ онъ, съ простью ударяя по лежанкѣ. — Жалованье! Какъ не приберешь гривенъ да пятаковъ къ рукамъ, такъ и табаку не на что купить, и куму нечѣмъ попотчивать! Чтобъ тебѣ пусто было!.. Подумаешь, смерть-то нейдетъ!

Илья Ильичъ легъ на спину, но не вдругъ заснулъ. Онъ думалъ, думалъ, волновался, волновался...

— Два несчастья вдругъ! — говорилъ онъ, завертываясь въ одѣяло совсѣмъ съ головой. — Прошу устоять!

Но въ самомъ-то дѣлѣ, эти два *несчастья*, то-есть, зловѣщее письмо старосты и переѣздъ на новую квартиру, перестали тревожить Обломова и поступали уже только въ рядъ безпокойныхъ воспоминаній.

«До бѣдъ, которыми грозитъ староста, еще далеко», думалъ онъ: «до тѣхъ поръ многое можетъ перемѣниться: авось дожди поправятъ хлѣбъ; можетъ-быть, недоимки староста пополнитъ; бѣжавшихъ мужиковъ «водворятъ на мѣсто жительства», какъ онъ пишетъ».

«И куда это они ушли, эти мужики?» думалъ онъ и углубился болѣе въ художественное разсмотрѣніе этого обстоятельства. «Поди, чай, ночью ушли, по сырости, безъ хлѣба. Гдѣ же они уснутъ? Неужели въ лѣсу? Вѣдь не сидится же! Въ избѣ хоть и скверно пахнетъ, да тепло по крайней мѣрѣ...»

«И что тревожиться?» думалъ онъ. «Скоро и планъ подоспѣетъ — чего жъ пугаться заранѣе? Эхъ, я...»

Мысль о переѣздкѣ тревожила его нѣсколько болѣе. Это было свѣжее, позднѣйшее *несчастье*; но въ успокоительномъ духѣ Обломова и для этого факта наступала уже исторія.

Хотя онъ смутно и предвидѣлъ неизбѣжность переѣзда, тѣмъ болѣе, что тутъ вмѣшался Тарантьевъ, но онъ мысленно отдалялъ это тревожное событіе своей жизни хоть на недѣлю, и вотъ уже выиграна цѣлая недѣля спокойствія!

«А, *можетъ-быть*, еще Захаръ постарается такъ уладить, что и вовсе не нужно будетъ переѣзжать, *авось* обойдутся! отложатъ до будущаго лѣта, или совсѣмъ отмѣнятъ перестройку: ну, *какъ-нибудь* да сдѣлаютъ! Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ... переѣзжать!»...

Такъ онъ попеременно волновался и успокаивался и, наконецъ, въ этихъ примирительныхъ и успокоительныхъ словахъ *авось, можетъ-быть и какъ-нибудь* Обломовъ нашелъ и на этотъ разъ, какъ находилъ всегда, цѣлый ковчегъ надеждъ и утѣшеній, какъ въ ковчегѣ завѣта отцовъ нашихъ, и въ настоящую минуту онъ успѣлъ оградить себя ими отъ двухъ несчастій.

Уже легкое, пріятное онѣмѣніе пробѣжало по членамъ его и начало чуть-чуть туманить сномъ его чувства, какъ первые, робкіе морозцы туманятъ поверхность водъ; еще минута—и сознаніе улетѣло бы Богъ-вѣсть куда, но вдругъ Илья Ильичъ очнулся и открылъ глаза.

— А вѣдь я не умылся! Какъ же это? Да и ничего не сдѣлалъ, — прошепталъ онъ. — Хотѣлъ изложить планъ на бумагу и не изложилъ, къ исправнику не написалъ, къ губернатору тоже, къ домовому хозяину началъ письмо и не кончилъ, счетовъ не повѣрилъ и денегъ не выдалъ — утро такъ и пропало!

Онъ задумался...

«Что жъ это такое? А *другой бы* все это сдѣлалъ?» мелькнуло у него въ головѣ: «Другой, другой... Что же это такое *другой?*»

Онъ углубился въ сравненіе себя съ «другимъ». Онъ началъ думать, думать: и теперь у него формировалась идея,

совсѣмъ противоположная той, которую онъ далъ Захару о *другомъ*.

Онъ долженъ былъ признать, что другой успѣлъ бы написать всѣ письма, такъ что *который* и *что* ни разу не столкнулись бы между собою, другой и переѣхалъ бы на новую квартиру, и планъ исполнилъ бы, и въ деревню съѣздилъ бы...

«Вѣдь и я бы могъ все это»... думалось ему: «вѣдь я умѣю, кажется, и писать; писывалъ, бывало, не то что письма, а помудренѣе этого! Куда же все это дѣлось? И переѣхать что̀ за штука? Сто̀итъ захотѣть! «Другой» и хлопотъ никогда не надѣваетъ, прибавилось еще къ характеристикѣ другого; «другой»... тутъ онъ зѣвнулъ... «почти не спитъ... другой тѣшится жизнью, вездѣ бываетъ, все видитъ, до всего ему дѣло... А я! я... не «другой»! уже съ грустью сказалъ онъ и впалъ въ глубокую думу. Онъ даже высвободилъ голову изъ-подъ одѣяла.

Настала одна изъ ясныхъ сознательныхъ минутъ въ жизни Обломова.

Какъ страшно стало ему, какъ вдругъ въ душѣ его возникло живое и ясное представленіе о человѣческой судьбѣ и назначеніи, и когда мелькнула параллель между этимъ назначеніемъ и собственной его жизнью, когда въ головѣ просыпались, одинъ за другимъ, и безпорядочно, пугливо носились, какъ птицы, пробужденныя внезапнымъ лучомъ солнца въ дремлющей развалинѣ, разные жизненные вопросы.

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку въ ростѣ нравственныхъ силъ, за тяжесть мѣшающую всему; и зависть грызла его, что другіе такъ полно и широко живутъ, а у него какъ будто тяжелый камень брошенъ на узкой и жалкой тропѣ его существованія.

Въ робкой душѣ его вырабатывалось мучительное сознаніе, что многія стороны его натуры не пробуждались со-

всѣмъ, другія были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.

А между тѣмъ, онъ болѣзненно чувствовалъ, что въ немъ зарыто, какъ въ могилѣ, какое-то хорошее, свѣтлое начало, можетъ-быть, теперь уже умершее, или лежитъ оно, какъ золото, въ нѣдрахъ горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой.

Но глубоко и тяжело заваленъ кладъ дрянью, наноснымъ соромъ. Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища. Что-то помѣшало ему ринуться на поприще жизни и летѣть по нему на всѣхъ парусахъ ума и воли. Какой-то тайный врагъ наложилъ на него тяжелую руку въ началѣ пути и далеко отбросилъ отъ прямого человѣческаго назначенія...

И ужъ не выбиться ему, кажется, изъ глуши и дичи на прямую тропинку. Лѣсъ кругомъ его и въ душѣ все чаще и темнѣе; тропинка зарастаетъ болѣе и болѣе; свѣтлое сознаніе просыпается все рѣже, и только на мгновеніе будитъ спящія силы. Умъ и воля давно парализированы, и, кажется, безвозвратно.

Событія его жизни умельчились до микроскопическихъ размѣровъ, но и съ тѣми событіями не справится онъ; онъ не переходитъ отъ одного къ другому, а перебрасывается ими, какъ съ волны на волну; онъ не въ силахъ одному противопоставить упругость воли или увлечься разумомъ вслѣдъ за другимъ.

Горько становилось ему отъ этой тайной исповѣди передъ самимъ собою. Безплодныя сожалѣнія о минувшемъ, жгучіе упреки совѣсти язвили его, какъ иглы, и онъ всѣми силами старался свергнуть съ себя бремя этихъ упрековъ, найти виноватаго внѣ себя и на него обратить жало ихъ. Но на кого?

— Это все... Захаръ!—прошепталъ онъ.

Вспомнилъ онъ подробности сцены съ Захаромъ, и лицо его вспыхнуло цѣлымъ пожаромъ стыда.

«Что если бъ кто-нибудь слышалъ это?..» думалъ онъ, цѣпенѣя отъ этой мысли. «Слава Богу, что Захаръ не сумѣетъ пересказать никому; да и не повѣрятъ; слава Богу!»

Онъ вздыхалъ, проклиналъ себя, ворочался съ-боку-на-бокъ, искалъ виноватаго и не находилъ. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара.

— Экъ его тамъ съ квасу-то раздуваетъ! — съ сердцемъ ворчалъ Захаръ.

«Отчего же это я такой?» почти со слезами спросилъ себя Обломовъ и спряталъ опять голову подъ одѣяло: «право?»

Поискавъ безполезно враждебнаго начала, мѣшающаго ему жить какъ слѣдуетъ, какъ живутъ «другіе», онъ вздохнулъ, закрылъ глаза, и черезъ нѣсколько минутъ дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.

— И я бы тоже... хотѣлъ... — говорилъ онъ, мигая съ трудомъ:—что-нибудь такое... Развѣ природа ужъ такъ обидѣла меня... Да нѣтъ, слава Богу... жаловаться нельзя...

За этимъ послышался примирительный вздохъ. Онъ переходилъ отъ волненія къ нормальному своему состоянію, спокойствію и апатіи.

— Видно ужъ такъ судьба? Что жъ мнѣ тутъ дѣлать?..— едва шепталъ онъ, одолѣваемый сномъ.

«Яко дней тысячи поменѣе доходу»...—сказалъ онъ вдругъ громко въ бреду.—Сейчасъ, сейчасъ, погоди... — и очнулся вполовину.

— Однако... любопытно бы знать... отчего я... такой?...— сказалъ онъ опять шопотомъ. Вѣки у него закрылись совсѣмъ.—Да, отчего?.. Должно-быть... это... оттого...—силился выговорить онъ и не выговорилъ.

Такъ онъ и не додумался до причины; языкъ и губы мгновенно замерли на полусловѣ и остались, какъ были

полуоткрыты. Вмѣсто слова, послышался еще вздохъ, и вслѣдъ затѣмъ начало раздаваться ровное храпѣнье безмятежно-спящаго человѣка.

Сонъ остановилъ медленный и лѣнивый потокъ его мыслей и мгновенно перенесъ его въ другую эпоху, къ другимъ людямъ, въ другое мѣсто, куда перенесемся за нимъ и мы съ читателемъ въ слѣдующей главѣ.

IX.

Сонъ Обломова.

Гдѣ мы? въ какой благословенный уголокъ земли перенесъ насъ сонъ Обломова? Что за чудный край!

Нѣтъ, правда, тамъ моря, нѣтъ высокихъ горъ, скалъ и пропастей, ни дремучихъ лѣсовъ—нѣтъ ничего грандіознаго, дикаго и угрюмаго.

Да и зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное? Море, напримѣръ? Богъ съ нимъ! Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ, и не на чемъ отдохнуть взгляду, измученному однообразіемъ безконечной картины.

Ревъ и бѣшеные раскаты валовъ не нѣжатъ слабаго слуха: они все твердятъ свою, отъ начала міра одну и ту же пѣснь мрачнаго и неразгаданнаго содержанія; и все слышится въ ней одинъ и тотъ же стонъ, однѣ и тѣ же жалобы будто обреченнаго на муку чудовища, да чьи-то пронзительные, зловѣщіе голоса. Птицы не щебечутъ вокругъ; только безмолвныя чайки, какъ осужденныя, уныло носятся у прибрежья и кружатся надъ водой.

Безсиленъ ревъ звѣря передъ этими воплями природы, ничтоженъ и голосъ человѣка, и самъ человѣкъ такъ малъ, слабъ, такъ незамѣтно исчезаетъ въ мелкихъ подробностяхъ широкой картины! Отъ этого, можетъ-быть, такъ и тяжело ему смотрѣть на море.

Нѣтъ, Богъ съ нимъ, съ моремъ! Самая тишина и неподвижность его не рождаютъ отраднаго чувства въ душѣ: въ едва-замѣтномъ колебаніи водяной массы человѣкъ все видитъ ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчасъ такъ ядовито издѣвается надъ его гордой волей и такъ глубоко хоронитъ его отважные замыслы, всѣ его хлопоты и труды.

Горы и пропасти созданы тоже не для увеселенія человѣка. Онѣ грозны, страшны, какъ выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикаго звѣря; онѣ слишкомъ живо напоминаютъ намъ бренный составъ нашъ и держатъ въ страхѣ и тоскѣ за жизнь. И небо тамъ, надъ скалами и пропастями, кажется такимъ далекимъ и недосягаемымъ, какъ будто оно отступилось отъ людей.

Не таковъ мирный уголокъ, гдѣ вдругъ очутился нашъ герой.

Небо тамъ, кажется, напротивъ, ближе жмется къ землѣ, но не съ тѣмъ, чтобъ метать сильнѣе стрѣлы, а развѣ только, чтобъ обнять ее покрѣпче, съ любовью: оно распростерлось такъ невысоко надъ головой, какъ родительская надежная кровля, чтобъ уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ.

Солнце тамъ ярко и жарко свѣтитъ около полугода и потомъ удаляется оттуда не вдругъ, точно нехотя, какъ будто оборачивается назадъ взглянуть еще разъ или два на любимое мѣсто и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы тамъ какъ будто только модели тѣхъ страшныхъ гдѣ-то воздвигнутыхъ горъ, которыя ужасаютъ воображеніе. Это рядъ отлогихъ холмовъ, съ которыхъ пріятно кататься, рѣзвясь, на спинѣ, или, сидя на нихъ, смотрѣть въ раздумьи на заходящее солнце.

Рѣка бѣжитъ весело, шаля и играя; она, то разольется въ широкій прудъ, то стремится быстрой нитью, или при-

смирѣетъ, будто задумавшись, и чуть-чуть ползетъ по камешкамъ, выпуская изъ себя по сторонамъ рѣзвые ручьи, подъ журчанье которыхъ сладко дремлется.

Весь уголокъ верстъ на пятнадцать или на двадцать вокругъ представлялъ рядъ живописныхъ этюдовъ, веселыхъ, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогіе берега свѣтлой рѣчки, подбирающійся съ холма къ водѣ мелкій кустарникъ, искривленный оврагъ съ ручьемъ на днѣ и березовая роща—все какъ будто было нарочно прибрано одно къ одному и мастерски нарисовано.

Измученное волненіями или вовсе незнакомое съ ними сердце такъ и просится спрятаться въ этотъ забытый всѣми уголокъ и жить никому невѣдомымъ счастьемъ. Все сулитъ тамъ покойную, долговременную жизнь до желтизны волосъ, и незамѣтную, сну подобную, смерть.

Правильно и невозмутимо совершается тамъ годовой кругъ.

По указанію календаря, наступитъ въ мартѣ весна, побѣгутъ грязные ручьи съ холмовъ, оттаетъ земля и задымится теплымъ паромъ; скинетъ крестьянинъ полушубокъ, выйдетъ въ одной рубашкѣ на воздухъ и, прикрывъ глаза рукой, долго любуется солнцемъ, съ удовольствіемъ пожимая плечами; потомъ онъ потянетъ опрокинутую вверхъ дномъ телѣгу, то за одну, то за другую оглоблю, или осмотритъ и ударитъ ногой праздно лежащую подъ навѣсомъ соху, готовясь къ обычнымъ трудамъ.

Не возвращаются внезапныя вьюги весной, не засыпаютъ полей и не ломаютъ снѣгомъ деревьевъ.

Зима, какъ неприступная, холодная красавица, выдерживаетъ свой характеръ вплоть до узаконенной поры тепла; не дразнитъ неожиданными оттепелями и не гнетъ въ три дуги неслыханными морозами; все идетъ обычнымъ, предписаннымъ природой общимъ порядкомъ.

Въ ноябрѣ начинается снѣгъ и морозъ, который къ Крещенью усиливается до того, что крестьянинъ, выйдя на

минуту изъ избы, воротится непремѣнно съ инеемъ на бородѣ; а въ февралѣ чуткій носъ ужъ чувствуетъ въ воздухѣ мягкое вѣянье близкой весны.

Но лѣто, лѣто особенно-упоительно въ томъ краю. Тамъ надо искать свѣжаго, сухого воздуха, напоеннаго — не лимономъ и не лавромъ, а просто запахомъ полыни, сосны и черемухи; тамъ искать ясныхъ дней, слегка жгучихъ, но не палящихъ лучей солнца и почти въ теченіе трехъ мѣсяцевъ безоблачнаго неба.

Какъ пойдутъ ясные дни, то и длятся недѣли три-четыре; и вечеръ тепелъ тамъ, и ночь душна. Звѣзды такъ привѣтливо, такъ дружески мигаютъ съ небесъ.

Дождь ли пойдетъ — какой благотворный лѣтній дождь! Хлынетъ бойко, обильно, весело запрыгаетъ, точно крупныя и жаркія слезы внезапно-обрадованнаго человѣка; а только перестанетъ — солнце уже опять съ ясной улыбкой любви осматриваетъ и сушитъ поля и пригорки: и вся страна опять улыбается счастьемъ въ отвѣтъ солнцу.

Радостно привѣтствуетъ дождь крестьянинъ: — Дождичекъ вымочитъ, солнышко высушитъ! — говоритъ онъ, подставляя съ наслажденіемъ подъ теплый ливень лицо, плечи и спину.

Грозы не страшны, а только благотворны тамъ: бываютъ постоянно въ одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, какъ будто для того, чтобъ поддержать извѣстное преданіе въ народѣ. И число, и сила ударовъ, кажется, всякій годъ одни и тѣ же, точно какъ будто изъ казны отпускалась на годъ на весь край извѣстная мѣра электричества.

Ни страшныхъ бурь, ни разрушеній не слыхать въ томъ краю.

Въ газетахъ ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобнаго объ этомъ благословенномъ Богомъ уголкѣ. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали

бы про этотъ край, если бъ только крестьянская вдова Марина Кулькова, 28-ми лѣтъ, не родила за разъ четырехъ младенцевъ, о чемъ уже умолчать никакъ было нельзя.

Не наказывалъ Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. Никто изъ жителей не видалъ и не помнитъ никакихъ страшныхъ небесныхъ знаменій, ни шаровъ огненныхъ, ни внезапной темноты; не водится тамъ ядовитыхъ гадовъ; саранча не залетаетъ туда; нѣтъ ни львовъ рыкающихъ, ни тигровъ ревущихъ, ни даже медвѣдей и волковъ, потому что нѣтъ лѣсовъ. По полямъ и по деревнѣ бродятъ только въ обиліи коровы жующія, овцы блеющія и куры кудахтающія.

Богъ знаетъ, удовольствовался ли бы поэтъ или мечтатель природой мирнаго уголка. Эти господа, какъ извѣстно, любятъ засматриваться на луну, да слушать щелканье соловьевъ. Любятъ они луну-кокетку, которая бы наряжалась въ палевыя облака, да сквозила таинственно черезъ вѣтви деревъ, или сыпала снопы серебряныхъ лучей въ глаза своимъ поклонникамъ.

А въ этомъ краю никто и не зналъ, что за луна такая— всѣ называли ее мѣсяцемъ. Она какъ-то добродушно, во всѣ глаза смотрѣла на деревни и поле и очень походила на мѣдный, вычищенный тазъ.

Напрасно поэтъ сталъ бы глядѣть восторженными глазами на нее: она такъ же бы простодушно глядѣла и на поэта, какъ круглолицая деревенская красавица глядитъ въ отвѣтъ на страстные и краснорѣчивые взгляды городского волокиты.

Соловьевъ тоже не слыхать въ томъ краю, можетъ-быть, оттого, что не водилось тамъ тѣнистыхъ пріютовъ и розъ; но зато какое обиліе перепеловъ! Лѣтомъ, при уборкѣ хлѣба, мальчишки ловятъ ихъ руками.

Да не подумаютъ, однакожъ, чтобы перепела составляли тамъ предметъ гастрономической роскоши — нѣтъ, такое

развращеніе не проникло въ нравы жителей того края: перепелъ — птица, уставомъ въ пищу не показанная. Она тамъ услаждаетъ людской слухъ пѣніемъ: оттого почти въ каждомъ дому подъ кровлей, въ нитяной клѣткѣ, виситъ перепелъ.

Поэтъ и мечтатель не остались бы довольны даже общимъ видомъ этой скромной и незатѣйливой мѣстности. Не удалось бы имъ тамъ видѣть какого-нибудь вечера въ швейцарскомъ или шотландскомъ вкусѣ, когда вся природа — и лѣсъ, и вода, и стѣны хижинъ, и песчаные холмы — все горитъ точно багровымъ заревомъ; когда по этому багровому фону рѣзко оттѣняется ѣдущая по песчаной, извилистой дорогѣ кавалькада мужчинъ, сопутствующихъ какой-нибудь лади въ прогулкахъ къ угрюмой развалинѣ и поспѣшающихъ въ крѣпкій замокъ, гдѣ ихъ ожидаетъ эпизодъ о войнѣ двухъ розъ, разсказанный дѣдомъ, дикая коза на ужинъ, да пропѣтая молодою миссъ, подъ звуки лютни, баллада. — картины, которыми такъ богато населило наше воображеніе перо Вальтера Скотта.

Нѣтъ, этого ничего не было въ нашемъ краю.

Какъ все тихо, все сонно въ трехъ-четырехъ деревенькахъ, составляющихъ этотъ уголокъ! Онѣ лежали недалеко другъ отъ друга и были какъ будто случайно брошены гигантской рукой и разсыпались въ разныя стороны, да такъ съ тѣхъ поръ и остались.

Какъ одна изба попала на обрывъ оврага, такъ и виситъ тамъ съ незапамятныхъ временъ, стоя одной половиной на воздухѣ и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколѣнія тихо и счастливо прожили въ ней.

Кажется, курицѣ страшно бы войти въ нее, а тамъ живетъ съ женой Онисимъ Сусловъ, мужчина солидный, который не уставится во весь ростъ въ своемъ жилищѣ.

Не всякій и сумѣетъ войти въ избу къ Онисиму; развѣ

только что посѣтитель упроситъ ее *стать къ лѣсу задомъ, а къ нему передомъ.*

Крыльцо висѣло надъ оврагомъ, и чтобъ попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потомъ шагнуть прямо на крыльцо.

Другая изба прилѣпилась къ пригорку, какъ ласточкино гнѣздо; тамъ три очутились случайно рядомъ, а двѣ стоятъ на самомъ днѣ оврага.

Тихо и сонно все въ деревнѣ: безмолвныя избы отворены настежь; не видно ни души; однѣ мухи тучами летаютъ и жужжатъ въ духотѣ.

Войдя въ избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчаніе будетъ отвѣтомъ: въ рѣдкой избѣ отзовется болѣзненнымъ стономъ, или глухимъ кашлемъ старуха, доживающая свой вѣкъ на печи, или появится изъ-за перегородки босой, длинноволосый, трехлѣтній ребенокъ, въ одной рубашонкѣ, молча, пристально поглядитъ на вошедшаго и робко спрячется опять.

Та же глубокая тишина и миръ лежатъ и на поляхъ; только кое-гдѣ, какъ муравей, гомозится на черной нивѣ палимый зноемъ пахарь, налегая на соху и обливаясь потомъ.

Тишина и невозмутимое спокойствіе царствуютъ и въ нравахъ людей въ томъ краю. Ни грабежей, ни убійствъ, никакихъ страшныхъ случайностей не бывало тамъ; ни сильныя страсти, ни отважныя предпріятія не волновали ихъ.

И какія бы страсти и предпріятія могли волновать ихъ? Всякій зналъ тамъ самого себя. Обитатели этого края далеко жили отъ другихъ людей. Ближайшія деревни и уѣздный городъ были верстахъ въ двадцати-пяти и тридцати.

Крестьяне въ извѣстное время возили хлѣбъ на ближайшую пристань къ Волгѣ, которая была ихъ Колхидой и Геркулесовыми Столпами, да разъ въ годъ ѣздили нѣкото-

рые на ярмарку, и болѣе никакихъ сношеній ни съ кѣмъ не имѣли.

Интересы ихъ были сосредоточены на нихъ самихъ, не перекрещивались и не соприкасались ни съ чьими.

Они знали, что въ восьмидесяти верстахъ отъ нихъ была «губернія», т.-е. губернскій городъ, но рѣдкіе ѣзжали туда; потомъ знали, что подальше, тамъ, Саратовъ или Нижній; слыхали, что есть Москва и Питеръ, что за Питеромъ живутъ французы или нѣмцы, а далѣе уже начинался для нихъ, какъ для древнихъ, темный міръ, неизвѣстныя страны, населенныя чудовищами, людьми о двухъ головахъ, великанами; тамъ слѣдовалъ мракъ—и наконецъ, все оканчивалось той рыбой, которая держитъ на себѣ землю.

И какъ уголокъ ихъ былъ почти непроѣзжій, то и неоткуда было почерпать новѣйшихъ извѣстій о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ: обозники съ деревянной посудой жили только въ двадцати верстахъ и знали не больше ихъ. Не съ чѣмъ даже было сличить имъ своего житья-бытья: хорошо ли они живутъ, нѣтъ ли; богаты ли они, бѣдны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у другихъ.

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не можетъ быть, увѣренные, что и всѣ другіе живутъ точно такъ же, и что жить иначе—грѣхъ.

Они бы и не повѣрили, если бъ сказали имъ, что другіе какъ-нибудь иначе пашутъ, сѣютъ, жнутъ, продаютъ. Какія же страсти и волненія могли быть у нихъ?

У нихъ, какъ и у всѣхъ людей, были и заботы, и слабости, взносъ подати или оброка, лѣнь и сонъ; но все это обходилось имъ дешево, безъ волненій крови.

Въ послѣднія пять лѣтъ, изъ нѣсколькихъ сотъ душъ не умеръ никто, не то что насильственною, даже естественною смертью.

А если кто отъ старости, или отъ какой-нибудь заста-

рѣлой болѣзни и почилъ вѣчнымъ сномъ, то тамъ долго послѣ того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.

Между тѣмъ, имъ нисколько не показалось удивительно, какъ это, напримѣръ, кузнецъ Тарасъ чуть-было собственноручно не запарился до смерти въ землянкѣ, до того, что надо было отливать его водой.

Изъ преступленій одно, именно: кража гороху, моркови и рѣпы по огородамъ, было въ большомъ ходу, да однажды вдругъ исчезли два поросенка и курица—происшествіе, возмутившее весь околотокъ и приписанное единогласно проходившему наканунѣ обозу съ деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякаго рода были весьма рѣдки.

Однажды, впрочемъ, еще найденъ былъ лежащій, за околицей, въ канавѣ, у моста, видно, отставшій отъ проходившей въ городъ артели человѣкъ.

Мальчишки первые замѣтили его и съ ужасомъ прибѣжали въ деревню съ вѣстью о какомъ-то страшномъ змѣѣ, или оборотнѣ, который лежитъ въ канавѣ, прибавивъ, что онъ погнался за ними и чуть не съѣлъ Кузьку.

Мужики, поудалѣе, вооружились вилами и топорами, и гурьбой пошли къ канавѣ.

— Куда васъ несетъ? — унимали старики. — Аль шея-то крѣпка? Чего вамъ надо? Не замайте: васъ не гонятъ.

Но мужики пошли и саженъ за пятьдесятъ до мѣста стали окликать чудовище разными голосами: отвѣта не было; они остановились; потомъ опять двинулись.

Въ канавѣ лежалъ мужикъ, опершись головой въ пригорокъ; около него валялись мѣшокъ и палка, на которой навѣшаны были двѣ пары лаптей.

Мужики не рѣшались ни подходить близко, ни трогать.

— Эй! Ты, братъ!—кричали они по очереди, почесывая,

кто затылокъ, кто спину. — Какъ тамъ тебя? Эй, ты! Что тебѣ тутъ?

Прохожій сдѣлалъ движеніе, чтобъ приподнять голову, но не могъ: онъ, повидимому, былъ нездоровъ или очень утомленъ.

Одинъ рѣшился-было тронуть его вилой.

— Не замай, не замай! — закричали многіе. — Почемъ знать; какой онъ: ишь, не баетъ ничего; можетъ-быть, какой-нибудь такой... Не замайте его, ребята!

— Пойдемъ, — говорили нѣкоторые: — право-слово, пойдемъ: что онъ намъ, дядя, что ли? Только бѣды съ нимъ!

И всѣ ушли назадъ, въ деревню, разсказавъ старикамъ, что тамъ лежитъ нездѣшній, ничего не баетъ и, Богъ его вѣдаетъ, что онъ тамъ...

— Нездѣшній, такъ и не замайте! — говорили старики, сидя на завалинкѣ и положивъ локти на колѣнки. — Пусть его себѣ! И ходить не-по-что было вамъ!

Таковъ былъ уголокъ, куда вдругъ перенесся во снѣ Обломовъ.

Изъ трехъ или четырехъ разбросанныхъ тамъ деревень, была одна Сосновка, другая Вавиловка, въ одной верстѣ другъ отъ друга.

Сосновка и Вавиловка были наслѣдственной отчиной рода Обломовыхъ и оттого извѣстны были подъ общимъ именемъ Обломовки.

Въ Сосновкѣ была господская усадьба и резиденція. Верстахъ въ пяти отъ Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее нѣкогда фамиліи Обломовыхъ и давно перешедшее въ другія руки, и еще нѣсколько причисленныхъ къ этому же селу, кое-гдѣ разбросанныхъ избъ.

Село принадлежало богатому помѣщику, который никогда не показывался въ свое имѣніе: имъ завѣдывалъ управляющій изъ нѣмцевъ.

Вотъ и вся географія этого уголка.

Илья Ильичъ проснулся утромъ въ своей маленькой постелькѣ. Ему только семь лѣтъ. Ему легко, весело.

Какой онъ хорошенькій, красненькій, полный! Щечки такія кругленькія, что иной шалунъ надуется нарочно, а такихъ не сдѣлаетъ.

Няня ждетъ его пробужденія. Она начинаетъ натягивать ему чулочки; онъ не дается, шалитъ, болтаетъ ногами; няня ловитъ его, и оба они хохочутъ.

Наконецъ, удалось ей поднять его на ноги; она умываетъ его, причесываетъ головку и ведетъ къ матери.

Обломовъ, увидѣвъ давно умершую мать, и во снѣ затрепеталъ отъ радости, отъ жаркой любви къ ней: у него, у сонпаго, медленно выплыли изъ-подъ рѣсницъ и стали неподвижно двѣ теплыя слезы.

Мать осыпала его страстными поцѣлуями, потомъ осмотрѣла его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болитъ ли что-нибудь, разспросила няньку, покойно ли онъ спалъ, не просыпался ли ночью, не метался ли во снѣ, не было ли у него жару? Потомъ взяла его за руку и подвела его къ образу.

Тамъ, ставъ на колѣни и обнявъ его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчикъ разсѣянно повторялъ ихъ, глядя въ окно, откуда лилась въ комнату прохлада и запахъ сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдемъ гулять?—вдругъ спрашивалъ онъ среди молитвы.

— Пойдемъ, душенька,—торопливо говорила она, не отводя отъ иконы глазъ и спѣша договорить святыя слова.

Мальчикъ вяло повторялъ ихъ, но мать влагала въ нихъ всю свою душу.

Потомъ шли къ отцу, потомъ къ чаю.

Около чайнаго стола Обломовъ увидалъ живущую у нихъ престарѣлую тетку, восьмидесяти лѣтъ, безпрерывно ворчавшую на свою дѣвчонку, которая, тряся отъ старости го

ловой, прислуживала ей, стоя за ея стуломъ. Тамъ и три пожилыя дѣвушки, дальнія родственницы отца его, и немного помѣшанный деверь его матери, и помѣщикъ семи душъ, Чекменевъ, гостившій у нихъ, и еще какія-то старушки и старички.

Весь этотъ штатъ и свита дома Обломовыхъ подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами: онъ едва успѣвалъ утирать слѣды непрошенныхъ поцѣлуевъ.

Послѣ того начиналось кормленіе его булочками, сухариками, сливочками.

Потомъ мать, приласкавъ его еще, отпускала гулять въ садъ, по двору, на лугъ, со строгимъ подтвержденіемъ нянькѣ не оставлять ребенка одного, не допускать къ лошадямъ, къ собакамъ, къ козлу, не уходить далеко отъ дома, а главное, не пускать его въ оврагъ, какъ самое страшное мѣсто въ околоткѣ, пользовавшееся дурною репутаціей.

Тамъ нашли однажды собаку, признанную бѣшеною потому только, что она бросилась отъ людей прочь, когда на нее собрались съ вилами и топорами, исчезла гдѣ-то за горой; въ оврагъ свозили падаль; въ оврагѣ предполагались и разбойники, и волки, и разныя другія существа, которыхъ или въ томъ краю, или совсѣмъ на свѣтѣ не было.

Ребенокъ не дождался предостереженій матери: онъ ужъ давно на дворѣ.

Онъ съ радостнымъ изумленіемъ, какъ будто въ первый разъ, осмотрѣлъ и обѣжалъ кругомъ родительскій домъ, съ покривившимися на бокъ воротами, съ сѣвшей на серединѣ деревянной кровлей, на которой росъ нѣжный зеленый мохъ, съ шатающимся крыльцомъ, разными пристройками и надстройками и съ запущеннымъ садомъ.

Ему страсть хочется взбѣжать на огибавшую весь домъ висячую галлерею, чтобъ посмотрѣть оттуда на рѣчку; но галлерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людямъ», а господа не ходятъ.

Онъ не внималъ запрещеніямъ матери и уже направился-было къ соблазнительнымъ ступенямъ, но на крыльцѣ показалась няня и кое-какъ поймала его.

Онъ бросился отъ нея къ сѣновалу, съ намѣреніемъ взобраться туда по крутой лѣстницѣ, и едва она поспѣвала дойти до сѣновала, какъ ужъ надо было спѣшить разрушать его замыслы влѣзть на голубятню, проникнуть на скотный дворъ и, чего Боже сохрани!—въ оврагъ.

— Ахъ ты, Господи, что̀ за ребенокъ, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! — говорила нянька.

И цѣлый день, и всѣ дни, и ночи няни наполнены были суматохой, бѣготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхомъ, что онъ упадетъ и расшибетъ носъ, то умиленіемъ отъ его непритворной дѣтской ласки, или смутной тоской за отдаленную его будущность: этимъ только и билось сердце ея, этими волненіями подогрѣвалась кровь старухи, и поддерживалась кое-какъ ими сонная жизнь ея, которая безъ того, можетъ-быть, угасла бы давнымъ-давно.

Не все рѣзвъ, однакожъ, ребенокъ: онъ иногда вдругъ присмирѣетъ, сидя подлѣ няни, и смотритъ на все такъ пристально. Дѣтскій умъ его наблюдаетъ всѣ совершающіяся передъ нимъ явленія; они западаютъ глубоко въ душу его, потомъ растутъ и зрѣютъ вмѣстѣ съ нимъ.

Утро великолѣпное; въ воздухѣ прохладно; солнце еще не высоко. Отъ дома, отъ деревьевъ, и отъ голубятни, и отъ галлереи — отъ всего побѣжали далеко длинныя тѣни. Въ саду и на дворѣ образовались прохладные уголки, манящіе къ задумчивости и сну. Только вдали поле съ рожью точно горитъ огнемъ, да рѣчка такъ блеститъ и сверкаетъ на солнцѣ, что глазамъ больно.

— Отчего это, няня, тутъ темно, а тамъ свѣтло, а ужо будетъ и тамъ свѣтло?—спрашивалъ ребенокъ.

— Оттого, батюшка, что солнце идетъ навстрѣчу мѣсяцу

и не видитъ его, такъ и хмурится; а ужо какъ завидитъ издали, такъ и просвѣтлѣетъ.

Задумывается ребенокъ и все смотритъ вокругъ: видитъ онъ, какъ Антипъ поѣхалъ за водой, а по землѣ, рядомъ съ нимъ, шелъ другой Антипъ, вдесятеро больше настоящаго, и бочка казалась съ домъ величиной, а тѣнь лошади покрыла собой весь лугъ, тѣнь шагнула только два раза по лугу и вдругъ двинулась за гору, а Антипъ еще и со двора не успѣлъ съѣхать.

Ребенокъ тоже шагнулъ раза два, еще шагъ — и онъ уйдетъ за гору.

Ему хотѣлось бы къ горѣ, посмотрѣть, куда дѣлась лошадь. Онъ къ воротамъ, но изъ окна послышался голосъ матери.

— Нянь! Не видишь, что ребенокъ выбѣжалъ на солнышко! Уведи его въ холодокъ; напечетъ ему головку — будетъ болѣть, тошно сдѣлается, кушать не станетъ. Онъ этакъ у тебя въ оврагъ уйдетъ.

— У! баловень!—тихо ворчитъ нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотритъ ребенокъ и наблюдаетъ острымъ и переимчивымъ взглядомъ, какъ и что̀ дѣлаютъ взрослые, чему посвящаютъ они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтобъ утро пропадало даромъ въ домѣ Обломовыхъ. Стукъ ножей, рубившихъ котлеты и зелень въ кухнѣ, долеталъ даже до деревни.

Изъ людской слышалось шипѣнье веретена, да тихій, тоненькій голосъ бабы: трудно было распознать, плачетъ ли она, или импровизируетъ заунывную пѣсню безъ словъ.

Онъ не внималъ запрещеніямъ матери и уже направился-было къ соблазнительнымъ ступенямъ, но на крыльцѣ показалась няня и кое-какъ поймала его.

Онъ бросился отъ нея къ сѣновалу, съ намѣреніемъ взобраться туда по крутой лѣстницѣ, и едва она поспѣвала дойти до сѣновала, какъ ужъ надо было спѣшить разрушать его замыслы влѣзть на голубятню, проникнуть на скотный дворъ и, чего Боже сохрани!—въ оврагъ.

— Ахъ ты, Господи, что̀ за ребенокъ, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! — говорила нянька.

И цѣлый день, и всѣ дни, и ночи няни наполнены были суматохой, бѣготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхомъ, что онъ упадетъ и расшибетъ носъ, то умиленіемъ отъ его непритворной дѣтской ласки, или смутной тоской за отдаленную его будущность: этимъ только и билось сердце ея, этими волненіями подогрѣвалась кровь старухи, и поддерживалась кое-какъ ими сонная жизнь ея, которая безъ того, можетъ-быть, угасла бы давнымъ-давно.

Не все рѣзвъ, однакожъ, ребенокъ: онъ иногда вдругъ присмирѣетъ, сидя подлѣ няни, и смотритъ на все такъ пристально. Дѣтскій умъ его наблюдаетъ всѣ совершающіяся передъ нимъ явленія; они западаютъ глубоко въ душу его, потомъ растутъ и зрѣютъ вмѣстѣ съ нимъ.

Утро великолѣпное; въ воздухѣ прохладно; солнце еще не высоко. Отъ дома, отъ деревьевъ, и отъ голубятни, и отъ галлереи — отъ всего побѣжали далеко длинныя тѣни. Въ саду и на дворѣ образовались прохладные уголки, манящіе къ задумчивости и сну. Только вдали поле съ рожью точно горитъ огнемъ, да рѣчка такъ блеститъ и сверкаетъ на солнцѣ, что глазамъ больно.

— Отчего это, няня, тутъ темно, а тамъ свѣтло, а ужо будетъ и тамъ свѣтло?—спрашивалъ ребенокъ.

— Оттого, батюшка, что солнце идетъ навстрѣчу мѣсяцу

и не видитъ его, такъ и хмурится; а ужо какъ завидитъ издали, такъ и просвѣтлѣетъ.

Задумывается ребенокъ и все смотритъ вокругъ: видитъ онъ, какъ Антипъ поѣхалъ за водой, а по землѣ, рядомъ съ нимъ, шелъ другой Антипъ, вдесятеро больше настоящаго, и бочка казалась съ домъ величиной, а тѣнь лошади покрыла собой весь лугъ, тѣнь шагнула только два раза по лугу и вдругъ двинулась за гору, а Антипъ еще и со двора не успѣлъ съѣхать.

Ребенокъ тоже шагнулъ раза два, еще шагъ — и онъ уйдетъ за гору.

Ему хотѣлось бы къ горѣ, посмотрѣть, куда дѣлась лошадь. Онъ къ воротамъ, но изъ окна послышался голосъ матери.

— Няня! Не видишь, что ребенокъ выбѣжалъ на солнышко! Уведи его въ холодокъ; напечетъ ему головку — будетъ болѣть, тошно сдѣлается, кушать не станетъ. Онъ этакъ у тебя въ оврагъ уйдетъ.

— У! баловень!—тихо ворчитъ нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотритъ ребенокъ и наблюдаетъ острымъ и переимчивымъ взглядомъ, какъ и что̀ дѣлаютъ взрослые, чему посвящаютъ они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтобъ утро пропадало даромъ въ домѣ Обломовыхъ. Стукъ ножей, рубившихъ котлеты и зелень въ кухнѣ, долеталъ даже до деревни.

Изъ людской слышалось шипѣнье веретена, да тихій, тоненькій голосъ бабы: трудно было распознать, плачетъ ли она, или импровизируетъ заунывную пѣсню безъ словъ.

На дворѣ, какъ только Антипъ воротился съ бочкой, изъ разныхъ угловъ поползли къ ней, съ ведрами, корытами и кувшинами, бабы, кучера.

А тамъ, старуха пронесетъ изъ амбара въ кухню чашку съ мукой да кучу яицъ; тамъ поваръ вдругъ выплеснетъ воду изъ окошка и обольетъ Арапку, которая цѣлое утро, не сводя глазъ, смотритъ въ окно, ласково виляя хвостомъ и облизываясь.

Самъ Обломовъ старикъ тоже не безъ занятій. Онъ цѣлое утро сидитъ у окна и неукоснительно наблюдаетъ за всѣмъ, что дѣлается на дворѣ.

— Эй, Игнашка? Что несешь, дуракъ? — спроситъ онъ идущаго по двору человѣка.

— Несу ножи точить въ людскую, — отвѣчаетъ тотъ, не взглянувъ на барина.

— Ну, неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потомъ остановитъ бабу:

— Эй, баба! Баба! Куда ходила?

— Въ погребъ, батюшка,—говорила она, останавливаясь, и, прикрывъ глаза рукой, глядѣла на окно: — молока къ столу достать.

— Ну, иди, иди!—отвѣчалъ баринъ.—Да смотри, не пролей молоко-то. — А ты, Захарка, пострѣленокъ, куда опять бѣжишь?—кричалъ потомъ.—Вотъ я тебѣ дамъ бѣгать! Ужъ я вижу, что ты это въ третій разъ бѣжишь. Пошелъ назадъ, въ прихожую!

И Захарка шелъ опять дремать въ прихожую.

Придутъ ли коровы съ поля, старикъ первый позаботится, чтобъ ихъ напоили; завидитъ ли изъ окна, что дворняжка преслѣдуетъ курицу, тотчасъ приметъ строгія мѣры противъ безпорядковъ.

И жена его сильно занята: она часа три толкуетъ съ Аверкой, портнымъ, какъ изъ мужниной фуфайки перешить Илюшѣ курточку, сама рисуетъ мѣломъ и наблюдаетъ, чтобъ

Аверка не укралъ сукна; потомъ перейдетъ въ дѣвичью, задастъ каждой дѣвкѣ, сколько сплести въ день кружевъ; потомъ позоветъ съ собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую изъ своей свиты погулять по саду съ практической цѣлью: посмотрѣть, какъ наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое ужъ созрѣло; тамъ привить, тамъ подрѣзать и т. п.

Но главною заботою была кухня и обѣдъ. Объ обѣдѣ совѣщались цѣлымъ домомъ; и престарѣлая тетка приглашалась къ совѣту. Всякій предлагалъ свое блюдо: кто супъ съ потрохами, кто лапшу, или желудокъ, кто рубцы, кто красную, кто бѣлую подливку къ соусу.

Всякій совѣтъ принимался въ соображеніе, обсуживался обстоятельно и потомъ принимался, или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посылались безпрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна, напомнить о томъ, прибавить это, или отмѣнить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья, и посмотрѣть, все ли положитъ поваръ, что̀ отпущено.

Забота о пищѣ была первая и главная жизненная забота въ Обломовкѣ. Какія телята утучнялись тамъ къ годовымъ праздникамъ! Какая птица воспитывалась! Сколько тонкихъ соображеній, сколько занятій и заботъ въ ухаживаніи за нею! Индѣйки и цыплята, назначаемые къ именинамъ и другимъ торжественнымъ днямъ, откармливались орѣхами; гусей лишали моціона, заставляли висѣть въ мѣшкѣ неподвижно за нѣсколько дней до праздника, чтобъ они заплыли жиромъ. Какіе запасы были тамъ вареній, соленій, печеній! Какіе меды, какіе квасы варились, какіе пироги пеклись въ Обломовкѣ!

И такъ до полудня все суетилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною, такою замѣтною жизнью.

Въ воскресенье и въ праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стукъ ножей на кухнѣ

раздавался чаще и сильнѣе; баба совершала нѣсколько разъ путешествіе изъ амбара въ кухню съ двойнымъ количествомъ муки и яицъ; на птичьемъ дворѣ было болѣе стоновъ и кровопролитій. Пекли исполинскій пирогъ, который сами господа ѣли еще на другой день; на третій и четвертый день остатки поступали въ дѣвичью; пирогъ доживалъ до пятницы, такъ что одинъ совсѣмъ черствый конецъ, безъ всякой начинки, доставался, въ видѣ особой милости, Антипу, который, перекрестясь, съ трескомъ неустрашимо разрушалъ эту любопытную окаменѣлость, наслаждаясь болѣе сознаніемъ, что это господскій пирогъ, нежели самымъ пирогомъ, какъ археологъ, съ наслажденіемъ пьющій дрянное вино изъ черепка какой-нибудь тысячелѣтней посуды.

А ребенокъ все смотрѣлъ и все наблюдалъ своимъ дѣтскимъ, ничего не пропускающимъ умомъ. Онъ видѣлъ, какъ, послѣ полезно и хлопотливо проведеннаго утра, наставалъ полдень и обѣдъ.

Полдень знойный: на небѣ ни облачка. Солнце стоитъ неподвижно надъ головой и жжетъ траву. Воздухъ пересталъ струиться и виситъ безъ движенія. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; надъ деревней и полемъ лежитъ невозмутимая тишина—все какъ будто вымерло. Звонко и далеко раздается человѣческій голосъ въ пустотѣ. Въ двадцати саженяхъ слышно, какъ пролетитъ и прожужжитъ жукъ, да въ густой травѣ кто-то все храпитъ, какъ будто кто-нибудь завалился туда и спитъ сладкимъ сномъ.

И въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Наступилъ часъ всеобщаго послѣобѣденнаго сна.

Ребенокъ видитъ, что и отецъ, и мать, и старая тетка, и свита — всѣ разбрелись по своимъ угламъ; а у кого не было его, тотъ шелъ на сѣновалъ, другой въ садъ, третій искалъ прохлады въ сѣняхъ, а иной, прикрывъ лицо платкомъ отъ мухъ, засыпалъ тамъ, гдѣ сморила его жара и повалилъ громоздкій обѣдъ. И садовникъ растянулся подъ

кустомъ, въ саду, подлѣ своей пашни, и кучеръ спалъ на конюшнѣ.

Илья Ильичъ заглянулъ въ людскую: въ людской всѣ легли въ повалку, по лавкамъ, по полу и въ сѣняхъ, предоставивъ ребятишекъ самимъ себѣ; ребятишки ползаютъ по двору и роются въ пескѣ. И собаки далеко залѣзли въ конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встрѣтить ни души; легко было обокрасть все кругомъ и свезти со двора на подводахъ: никто не помѣшалъ бы, если бъ только водились воры въ томъ краю.

Это былъ какой-то всепоглощающій, ничѣмъ непобѣдимый сонъ, истинное подобіе смерти. Все мертво, только изъ всѣхъ угловъ несется разнообразное храпѣнье на всѣ тоны и лады.

Изрѣдка кто-нибудь вдругъ подниметъ со сна голову, посмотритъ безсмысленно, съ удивленіемъ, на обѣ стороны и перевернется на другой бокъ, или, не открывая глазъ, плюнетъ спросонья и, почавкавъ губами, или поворчавъ что-то подъ носъ себѣ, опять заснетъ.

А другой быстро, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій, вскочитъ обѣими ногами съ своего ложа, какъ будто боясь потерять драгоцѣнныя минуты, схватитъ кружку съ квасомъ и, подувъ на плавающихъ тамъ мухъ, такъ, чтобъ ихъ отнесло къ другому краю, отчего мухи, до тѣхъ поръ неподвижныя, сильно начинаютъ шевелиться, въ надеждѣ на улучшеніе своего положенія, промочитъ горло и потомъ падаетъ опять на постель, какъ подстрѣленный.

А ребенокъ все наблюдалъ да наблюдалъ.

Онъ съ няней послѣ обѣда опять выходилъ на воздухъ. Но и няня, несмотря на всю строгость наказовъ барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянію сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей въ Обломовкѣ повальной болѣзнью.

Сначала она бодро смотрѣла за ребенкомъ, не пускала далеко отъ себя, строго ворчала за рѣзвость, потомъ, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню.

Сама она усаживалась гдѣ-нибудь въ холодкѣ: на крыльцѣ, на порогѣ погреба, или просто на травкѣ; повидимому съ тѣмъ, чтобъ вязать чулокъ и смотрѣть за ребенкомъ. Но вскорѣ она лѣниво унимала его, кивая головой.

«Влѣзетъ, ахъ, того и гляди, влѣзетъ эта юла на галлерею», думала она почти сквозь сонъ: «или еще... какъ бы въ оврагъ»...

Тутъ голова старухи клонилась къ колѣнямъ, чулокъ выпадалъ изъ рукъ; она теряла изъ виду ребенка и, открывъ немного ротъ, испускала легкое храпѣнье.

А онъ съ нетерпѣніемъ дожидался этого мгновенія, съ которымъ начиналась его самостоятельная жизнь.

Онъ былъ какъ будто одинъ въ цѣломъ мірѣ; онъ на цыпочкахъ убѣгалъ отъ няни, осматривалъ всѣхъ, кто гдѣ спитъ; остановится и осмотритъ пристально, какъ кто очнется, плюнетъ и промычитъ что-то во снѣ, потомъ, съ замирающимъ сердцемъ, взбѣгалъ на галлерею, обѣгалъ по скрипучимъ доскамъ кругомъ, лазилъ на голубятню, забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжитъ жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухѣ; прислушивался, какъ кто-то все стрекочетъ въ травѣ, искалъ и ловилъ нарушителей этой тишины; поймаетъ стрекозу, оторветъ ей крылья и смотритъ, что̀ изъ нея будетъ, или проткнетъ сквозь нее соломинку и слѣдитъ, какъ она летаетъ съ этимъ прибавленіемъ; съ наслажденіемъ, боясь дохнуть, наблюдаетъ за паукомъ, какъ онъ сосетъ кровь пойманной мухи, какъ бѣдная жертва бьется и жужжитъ у него въ лапахъ. Ребенокъ кончитъ тѣмъ, что убьетъ и жертву, и мучителя.

Потомъ онъ заберется въ канаву, роется, отыскиваетъ какіе-то корешки, очищаетъ отъ коры и ѣстъ всласть, предпочитая яблокамъ и варенью, которыя даетъ маменька.

Онъ выбѣжитъ и за ворота: ему бы хотѣлось въ березникъ; онъ такъ близко кажется ему, что вотъ онъ въ пять минутъ добрался бы до него, не кругомъ, по дорогѣ, а прямо, черезъ канаву, плетни и ямы; но онъ боится: тамъ, говорятъ, и лѣшіе, и разбойники, и страшные звѣри.

Хочется ему и въ оврагъ сбѣгать: онъ всего саженяхъ въ пятидесяти отъ сада; ребенокъ ужъ прибѣгалъ къ краю, зажмурилъ глаза, хотѣлъ заглянуть, какъ въ кратеръ вулкана... но вдругъ передъ нимъ возстали всѣ толки и преданія объ этомъ оврагѣ: его обуялъ ужасъ, и онъ, ни живъ, ни мертвъ, мчится назадъ и, дрожа отъ страха, бросился къ нянькѣ и разбудилъ старуху.

Она вспрянула отъ сна, поправила платокъ на головѣ, подобрала подъ него пальцемъ клочки сѣдыхъ волосъ и, притворяясь, что будто не спала совсѣмъ, подозрительно поглядываетъ на Илюшу, потомъ на барскія окна, и начинаетъ дрожащими пальцами тыкать одну въ другую спицы чулка, лежавшаго у нея на колѣняхъ.

Между тѣмъ жара начала понемногу спадать; въ природѣ стало все поживѣе; солнце уже подвинулось къ лѣсу.

И въ домѣ мало-по-малу нарушалась тишина: въ одномъ углу гдѣ-то скрипнула дверь; послышались по двору чьи-то шаги; на сѣновалѣ кто-то чихнулъ.

Вскорѣ изъ кухни торопливо пронесъ человѣкъ, нагибаясь отъ тяжести, огромный самоваръ. Начали собираться къ чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами; тотъ належалъ себѣ красное пятно на щекѣ и вискахъ; третій говоритъ со сна не своимъ голосомъ. Все это сопитъ, охаетъ, зѣваетъ, почесываетъ голову и разминается, едва приходя въ себя.

Обѣдъ и сонъ рождали неутолимую жажду. Жажда палитъ

горло; выпивается чашекъ по двѣнадцати чаю, но это не помогаетъ: слышится оханье, стенанье; прибѣгаютъ къ брусничной, къ грушевой водѣ, къ квасу, а иные и къ врачебному пособію, чтобъ только залить засуху въ горлѣ.

Всѣ искали освобожденія отъ жажды, какъ отъ какого-нибудь наказанія Господня; всѣ мечутся, всѣ томятся, точно караванъ путешественниковъ въ аравійской степи, не находящій нигдѣ ключа воды.

Ребенокъ тутъ, подлѣ маменьки: онъ вглядывается въ странныя окружающія его лица, вслушивается въ ихъ сонный и вялый разговоръ. Весело ему смотрѣть на нихъ, любопытенъ кажется ему всякій сказанный ими вздоръ.

Послѣ чая всѣ займутся чѣмъ-нибудь: кто пойдетъ къ рѣчкѣ и тихо бродитъ по берегу, толкая ногой камешки въ воду; другой сядетъ къ окну и ловитъ глазами каждое мимолетное явленіе: пробѣжитъ ли кошка по двору, пролетитъ ли галка, наблюдатель и ту, и другую преслѣдуетъ взглядомъ и кончикомъ своего носа, поворачивая голову то направо, то налѣво. Такъ иногда собаки любятъ сидѣть по цѣлымъ днямъ на окнѣ, подставляя голову подъ солнышко и тщательно оглядывая всякаго прохожаго.

Мать возьметъ голову Илюши, положитъ къ себѣ на колѣни и медленно расчесываетъ ему волосы, любуясь мягкостью ихъ и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговариваетъ съ ними о будущности Илюши, ставитъ его героемъ какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Тѣ сулятъ ему золотыя горы.

Но вотъ начинаетъ смеркаться. На кухнѣ опять трещитъ огонь, опять раздается дробный стукъ ножей: готовится ужинъ.

Дворня собралась у воротъ: тамъ слышится балалайка, хохотъ. Люди играютъ въ горѣлки.

А солнце ужъ опускалось за лѣсъ; оно бросало нѣсколько

чуть-чуть теплыхъ лучей, которые прорѣзывались огненной полосой черезъ весь лѣсъ, ярко облитая золотомъ верхушки сосенъ. Потомъ лучи гасли одинъ за другимъ; послѣдній лучъ оставался долго; онъ, какъ тонкая игла, вонзился въ чащу вѣтвей; но и тотъ потухъ.

Предметы теряли свою форму: все сливалось сначала въ сѣрую, потомъ въ темную массу. Пѣніе птицъ постепенно ослабѣвало; вскорѣ онѣ совсѣмъ замолки, кромѣ одной какой-то упрямой, которая, будто наперекоръ всѣмъ, среди общей тишины, одна монотонно чирикала съ промежутками, но все рѣже и рѣже, и та наконецъ свистнула слабо, незвучно, въ послѣдній разъ, встрепенулась, слегка пошевеливъ листья вокругъ себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнѣе. Изъ земли поднялись бѣлые пары и разостлались по лугу и по рѣкѣ. Рѣка тоже присмирѣла; немного погодя, и въ ней вдругъ кто-то плеснулъ еще въ послѣдній разъ, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнѣе и темнѣе. Деревья сгруппировались въ какихъ-то чудовищъ; въ лѣсу стало страшно: тамъ кто-то вдругъ заскрипитъ, точно одно изъ чудовищъ переходитъ съ своего мѣста на другое, и сухой сучокъ, кажется, хруститъ подъ его ногой.

На небѣ ярко сверкнула, какъ живой глазъ, первая звѣздочка, и въ окнахъ дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, тѣ минуты, когда сильнѣе работаетъ творческій умъ, жарче кипятъ поэтическія думы, когда въ сердцѣ живѣе вспыхиваетъ страсть, или больнѣе поетъ тоска, когда въ жестокой душѣ невозмутимѣе и сильнѣе зрѣетъ зерно преступной мысли, и когда... въ Обломовкѣ всѣ почиваютъ такъ крѣпко и покойно.

— Пойдемъ, мама, гулять,—говоритъ Илюша.

— Что ты, Богъ съ тобой! Теперь гулять,—отвѣчаетъ

она:—сыро, ножки простудишь; и страшно: въ лѣсу теперь лѣшій ходитъ, онъ уноситъ маленькихъ дѣтей.

— Куда онъ уноситъ? Какой онъ бываетъ? Гдѣ живетъ?— спрашиваетъ ребенокъ.

И мать давала волю своей необузданной фантазіи.

Ребенокъ слушалъ ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконецъ, сонъ не сморитъ его совсѣмъ. Приходила нянька и, взявъ его съ колѣней матери, уносила сонпаго, съ повисшей черезъ ея плечо головой, въ постель.

— Вотъ день-то и прошелъ, и слава Богу! — говорили обломовцы, ложась въ постель, кряхтя и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. — Прожили благополучно; дай Богъ и завтра такъ! Слава тебѣ Господи! Слава тебѣ Господи!

Потомъ Обломову приснилась другая пора: онъ въ безконечный зимній вечеръ робко жмется къ нянѣ, а она нашептываетъ ему о какой-то невѣдомой сторонѣ, гдѣ нѣтъ ни ночей, ни холода, гдѣ все совершаются чудеса, гдѣ текутъ рѣки меду и молока, гдѣ никто ничего круглый годъ не дѣлаетъ, а день-деньской только и знаютъ, что гуляютъ все добрые молодцы, такіе, какъ Илья Ильичъ, да красавицы, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать.

Тамъ есть и добрая волшебница, являющаяся у насъ иногда въ видѣ щуки, которая изберетъ себѣ какого-нибудь любимца, тихаго, безобиднаго, другими словами, какого-нибудь лѣнтяя, котораго всѣ обижаютъ, да и осыпаетъ его, ни съ того, ни съ сего, разнымъ добромъ, а онъ знай кушаетъ себѣ да наряжается въ готовое платье, а потомъ женится на какой-нибудь неслыханной красавицѣ, Милитрисѣ Кирбитьевнѣ.

Ребенокъ, навостривъ уши и глаза, страстно впивался въ разсказъ.

Нянька, или преданіе такъ искусно избѣгали въ разсказѣ всего, что существуетъ на самомъ дѣлѣ, что воображеніе и умъ, проникнись вымысломъ, оставались уже у

него въ рабствѣ до старости. Нянька съ добродушіемъ повѣствовала сказку о Емелѣ-дурачкѣ, эту злую и коварную сатиру на нашихъ прадѣдовъ, а можетъ-быть, еще и на насъ самихъ.

Взрослый Илья Ильичъ хотя послѣ и узнаетъ, что нѣтъ медовыхъ и молочныхъ рѣкъ, нѣтъ добрыхъ волшебницъ, хотя и шутитъ онъ съ улыбкой надъ сказаніями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайнымъ вздохомъ: сказка у него смѣшалась съ жизнью, и онъ безсознательно груститъ подчасъ, зачѣмъ сказка не жизнь, а жизнь не сказка.

Онъ невольно мечтаетъ о Милитрисѣ Кирбитьевнѣ; его все тянетъ въ ту сторону, гдѣ только и знаютъ, что гуляютъ, гдѣ нѣтъ заботъ и печалей; у него навсегда остается расположеніе полежать на печи, походить въ готовомъ, незаработанномъ платьѣ и поѣсть наечетъ доброй волшебницы.

И старикъ Обломовъ, и дѣдъ выслушивали въ дѣтствѣ тѣ же сказки, прошедшія въ стереотипномъ изданіи старины, въ устахъ нянекъ и дядекъ, сквозь вѣка и поколѣнія.

Няня между тѣмъ ужъ рисуетъ другую картину воображенію ребенка.

Она повѣствуетъ ему о подвигахъ нашихъ Ахилловъ и Улиссовъ, объ удали *Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полканѣ-богатырѣ, о Колечищѣ проклятомъ*, о томъ, какъ они странствовали по Руси, побивали несмѣтныя полчища басурмановъ, какъ состязались въ томъ, кто однимъ духомъ выпьетъ чару зелена-вина и не крякнетъ; потомъ говорила о злыхъ разбойникахъ, о спящихъ царевнахъ, окаменѣлыхъ городахъ и людяхъ; наконецъ, проходила къ нашей демонологіи, къ мертвецамъ, къ чудовищамъ и къ оборотнямъ.

Она съ простотою и добродушіемъ Гомера, съ тою же животрепещущею вѣрностью подробностей и рельефностью

картинъ влагала въ дѣтскую память и воображеніе Иліаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тѣхъ туманныхъ временъ, когда человѣкъ еще не ладилъ съ опасностями и тайнами природы и жизни, когда онъ трепеталъ и передъ оборотнемъ, и передъ лѣшимъ, и у Алеши Поповича искалъ защиты отъ окружавшихъ его бѣдъ, когда и въ воздухѣ, и въ водѣ, и въ лѣсу, и въ полѣ царствовали чудеса.

Страшна и невѣрна была жизнь тогдашняго человѣка; опасно было ему выйти за порогъ дома: его, того гляди, запоретъ звѣрь, зарѣжетъ разбойникъ, отниметъ у него все злой татаринъ, или пропадетъ человѣкъ безъ вѣсти, безъ всякихъ слѣдовъ.

А то вдругъ явятся знаменія небесныя, огненные столпы да шары; а тамъ, надъ свѣжей могилой, вспыхнетъ огонекъ, или въ лѣсу кто-то прогуливается, будто съ фонаремъ, да страшно хохочетъ и сверкаетъ глазами въ темнотѣ.

И съ самымъ человѣкомъ творилось столько непонятнаго: живетъ-живетъ человѣкъ долго и хорошо—ничего, да вдругъ заговоритъ такое непутное, или учнетъ кричать не своимъ голосомъ, или бродить сонный по ночамъ; другого, ни съ того, ни съ сего, начнетъ коробить и бить о-земь. А передъ тѣмъ, какъ сдѣлаться этому, только что курица прокричала пѣтухомъ, да воронъ прокаркалъ надъ крышей.

Терялся слабый человѣкъ, съ ужасомъ озираясь въ жизни, и искалъ въ воображеніи ключа къ таинствамъ окружающей его и своей собственной природы.

А, можетъ-быть, сонъ, вѣчная тишина вялой жизни и отсутствіе движенія и всякихъ дѣйствительныхъ страховъ, приключеній и опасностей заставляли человѣка творить, среди естественнаго міра, другой, несбыточный, и въ немъ искать разгула и потѣхи праздному воображенію, или разгадки обыкновенныхъ сцѣпленій обстоятельствъ и причинъ явленія внѣ самого явленія.

Ощупью жили бѣдные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потомъ наивно дивились или ужасались неудобству, злу, и допрашивались причинъ у нѣмыхъ неясныхъ іероглифовъ природы.

Смерть у нихъ приключалась отъ вынесеннаго передъ тѣмъ изъ дома покойника головой, а не ногами изъ воротъ; пожаръ—отъ того, что собака выла три ночи подъ окномъ; и они хлопотали, чтобъ покойника выносили ногами изъ воротъ, а ѣли все то же, по стольку же, и спали попрежнему на голой травѣ; воющую собаку били, или сгоняли со двора, а искры отъ лучины все-таки сбрасывали въ трещину гнилого пола.

И понынѣ русскій человѣкъ, среди окружающей его строгой, лишенной вымысла дѣйствительности, любитъ вѣрить соблазнительнымъ сказаніямъ старины, и долго, можетъ-быть, еще не отрѣшиться ему отъ этой вѣры.

Слушая отъ няни сказки о нашемъ *золотомъ рунѣ—Жаръ-Птицѣ*, о преградахъ и тайникахъ волшебнаго замка, мальчикъ то бодрился, воображая себя героемъ подвига—и мурашки бѣгали у него по спинѣ, то страдалъ за неудачи храбреца.

Разсказъ лился за разсказомъ. Няня повѣствовала съ пыломъ, живописно, съ увлеченіемъ, мѣстами вдохновенно, потому что сама вполовину вѣрила разсказамъ. Глаза старухи искрились огнемъ; голова дрожала отъ волненія; голосъ возвышался до непривычныхъ нотъ.

Ребенокъ, объятый невѣдомымъ ужасомъ, жался къ ней со слезами на глазахъ.

Заходила ли рѣчь о мертвецахъ, поднимающихся въ полночь изъ могилъ, или о жертвахъ, томящихся въ неволѣ у чудовища, или о медвѣдѣ съ деревянной ногой, который идетъ по селамъ и деревнямъ отыскивать отрубленную у него натуральную ногу—волосы ребенка трещали на головѣ отъ ужаса; дѣтское воображеніе то застывало, то кипѣло;

онъ испытывалъ мучительный, сладко болѣзненный процессъ; нервы напрягались, какъ струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медвѣдя: «Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селамъ шелъ, по деревнѣ шелъ, всѣ бабы спятъ, одна баба не спитъ, на моей шкурѣ сидитъ, мое мясо варитъ, мою шерстку прядетъ» и т. д. Когда медвѣдь входилъ, наконецъ, въ избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенокъ не выдерживалъ: онъ съ трепетомъ и визгомъ бросался на руки къ нянѣ; у него брызжутъ слезы испуга, и вмѣстѣ хохочетъ онъ отъ радости, что онъ не въ когтяхъ у звѣря, а на лежанкѣ, подлѣ няни.

Населилось воображеніе мальчика странными призраками; боязнь и тоска засѣли надолго, можетъ-быть, навсегда, въ душу. Онъ печально озирается вокругъ и все видитъ въ жизни вредъ, бѣду, все мечтаетъ о той волшебной сторонѣ, гдѣ нѣтъ зла, хлопотъ, печалей, гдѣ живетъ Милитриса Кирбитьевна, гдѣ такъ хорошо кормятъ и одѣваютъ даромъ...

Сказка не надъ одними дѣтьми въ Обломовкѣ, но и надъ взрослыми до конца жизни сохраняетъ свою власть. Всѣ въ домѣ и въ деревнѣ, начиная отъ барина, жены его и до дюжаго кузнеца Тараса—всѣ трепещутъ чего-то въ темный вечеръ: всякое дерево превращается тогда въ великана, всякій кустъ—въ вертепъ разбойниковъ.

Стукъ ставни и завыванье вѣтра въ трубѣ заставляли блѣднѣть и мужчинъ, и женщинъ, и дѣтей. Никто въ Крещенье не выйдетъ послѣ десяти часовъ вечера одинъ за ворота; всякій въ ночь на Пасху побоится идти въ конюшню, опасаясь застать тамъ домового.

Въ Обломовкѣ вѣрили всему: и оборотнямъ, и мертвецамъ. Разскажутъ ли имъ, что копна сѣна разгуливала по полю—они не задумаются и повѣрятъ; пропуститъ ли кто-нибудь слухъ, что вотъ это не баранъ, а что-то другое, или, что такая-то Мареа или Степанида — вѣдьма, они бу-

дутъ бояться и барана, и Мареы: имъ и въ голову не придетъ спросить, отчего баранъ сталъ не бараномъ, а Мареа сдѣлалась вѣдьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумалъ усомниться въ этомъ — такъ сильна вѣра въ чудесное въ Обломовкѣ!

Илья Ильичъ и увидитъ послѣ, что просто устроенъ міръ, что не встаютъ мертвецы изъ могилъ, что великановъ, какъ только они заведутся, тотчасъ сажаютъ въ балаганъ, и разбойниковъ — въ тюрьму; но если пропадаетъ самая вѣра въ призраки, то остается какой-то осадокъ страха и безотчетной тоски.

Узналъ Илья Ильичъ, что нѣтъ бѣдъ отъ чудовищъ, а какія есть — едва знаетъ, и на каждомъ шагу все ждетъ чего-то страшнаго и боится. И теперь еще, оставшись въ темной комнатѣ, или увидя покойника, онъ трепещетъ отъ злонѣшней, въ дѣтствѣ зароненной въ душу тоски; смѣясь надъ страхами своими поутру, онъ опять блѣднѣетъ вечеромъ.

Далѣе, Илья Ильичъ вдругъ увидѣлъ себя мальчикомъ лѣтъ тринадцати или четырнадцати.

Онъ ужъ учился въ селѣ Верхлёвѣ, верстахъ въ пяти отъ Обломовки, у тамошняго управляющаго, нѣмца Штольца, который завелъ небольшой пансіонъ для дѣтей окрестныхъ дворянъ.

У него былъ свой сынъ, Андрей, почти однихъ лѣтъ съ Обломовымъ, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдалъ золотухой, все дѣтство проходилъ постоянно съ завязанными глазами или ушами, да плакалъ все втихомолку о томъ, что живетъ не у бабушки, а въ чужомъ домѣ, среди злодѣевъ, что, вотъ, его и приласкать-то некому, и никто любимаго пирожка не испечетъ ему.

Кромѣ этихъ дѣтей, другихъ еще въ пансіонѣ пока не было.

Нечего дѣлать, отецъ и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слезъ, воплей, капризовъ. Наконецъ, отвезли.

Нѣмецъ былъ человѣкъ дѣльный и строгій, какъ почти всѣ нѣмцы. Можетъ-быть, у него Илюша и успѣлъ бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если бъ Обломовка была верстахъ въ пятистахъ отъ Верхлёва. А то какъ выучиться? Обаяніе обломовской атмосферы, образа жизни и привычекъ простиралось и на Верхлёво; вѣдь оно тоже было нѣкогда Обломовкой; тамъ, кромѣ дома Штольца, все дышало тою же первобытною лѣнью, простотою нравовъ, тишиною и неподвижностью.

Умъ и сердце ребенка исполнились всѣхъ картинъ, сценъ и нравовъ этого быта прежде, нежели онъ увидѣлъ первую книгу. А кто знаетъ, какъ рано начинается развитіе умственнаго зерна въ дѣтскомъ мозгу? Какъ услѣдить за рожденіемъ въ младенческой душѣ первыхъ понятій и впечатлѣній?

Можетъ-быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а можетъ-быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрѣло на все тѣмъ пристальнымъ нѣмымъ дѣтскимъ взглядомъ, который взрослые называютъ тупымъ, оно ужъ видѣло и угадывало значеніе и связь явленій окружающей его сферы, да только не признавалось въ этомъ ни себѣ, ни другимъ.

Можетъ-быть, Илюша ужъ давно замѣчаетъ и понимаетъ, что̀ говорятъ и дѣлаютъ при немъ: какъ батюшка его, въ плисовыхъ панталонахъ, въ коричневой суконной ваточной курткѣ, день-денской только и знаетъ, что ходитъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки назадъ, нюхаетъ табакъ и сморкается, а матушка переходитъ отъ кофе къ чаю, отъ чая къ обѣду; что родитель и не вздумаетъ никогда повѣрить, сколько копеекъ скошено или сжато, и взыскать за упущеніе, а подай-ко ему не скоро носовой платокъ, онъ накри-

чить о безпорядкахъ и поставитъ вверхъ дномъ весь домъ.

Можетъ-быть, дѣтскій умъ его давно рѣшилъ, что такъ, а не иначе слѣдуетъ жить, какъ живутъ около него взрослые. Да и какъ иначе прикажете рѣшить ему? А какъ жили взрослые въ Обломовкѣ?

Дѣлали ли они себѣ вопросъ: зачѣмъ дана жизнь? Богъ-вѣсть. И какъ отвѣчали на него? Вѣроятно никакъ: это казалось имъ очень просто и ясно.

Не слыхивали они о такъ-называемой многотрудной жизни, о людяхъ, носящихъ томительныя заботы въ груди, снующихъ зачѣмъ-то изъ угла въ уголъ по лицу земли, или отдающихъ жизнь вѣчному, нескончаемому труду.

Плохо вѣрили обломовцы и душевнымъ тревогамъ, не принимали за жизнь круговорота вѣчныхъ стремленій куда-то, къ чему-то; боялись, какъ огня, увлеченія страстей; и какъ въ другомъ мѣстѣ тѣло у людей быстро сгорало отъ вулканической работы внутренняго, душевнаго огня, такъ душа обломовцевъ мирно, безъ помѣхи утопала въ мягкомъ тѣлѣ.

Не клеймила ихъ жизнь, какъ другихъ, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.

Добрые люди понимали ее не иначе, какъ идеаломъ покоя и бездѣйствія, нарушаемаго по временамъ разными непріятными случайностями, какъ-то: болѣзнями, убытками, ссорами и, между прочимъ, трудомъ.

Они сносили трудъ какъ наказаніе, наложенное еще на праотцевъ нашихъ, но любить не могли, и гдѣ былъ случай, всегда отъ него избавлялись, находя это возможнымъ и должнымъ.

Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами: оттого всегда и цвѣли здоровьемъ и весельемъ, оттого тамъ жили долго; мужчины въ сорокъ лѣтъ походили на юношей; старики не боролись съ трудной мучительной смертью, а, доживъ до

невозможности, умирали какъ будто украдкой, тихо застывая и незамѣтно испуская послѣдній вздохъ. Оттого и говорятъ, что прежде былъ крѣпче народъ.

Да, въ самомъ дѣлѣ крѣпче: прежде не торопились объяснять ребенку значенія жизни и приготовлять его къ ней, какъ къ чему-то мудреному и нешуточному; не томили его надъ книгами, которыя рождаютъ въ головѣ тьму вопросовъ, а вопросы гложутъ умъ и сердце и сокращаютъ жизнь.

Норма жизни была готова и преподана имъ родителями, а тѣ приняли ее, тоже готовую, отъ дѣдушки, а дѣдушка отъ прадѣдушки, съ завѣтомъ блюсти ея цѣлость и неприкосновенность, какъ огонь Весты. Какъ что дѣлалось при дѣдахъ и отцахъ, такъ дѣлалось при отцѣ Ильи Ильича, такъ, можетъ-быть, дѣлается еще и теперь въ Обломовкѣ.

О чемъ же имъ было задумываться и чѣмъ волноваться, что̀ узнавать, какихъ цѣлей добиваться?

Ничего не нужно: жизнь какъ покойная рѣка текла мимо ихъ; имъ оставалось только сидѣть на берегу этой рѣки и наблюдать неизбѣжныя явленія, которыя по очереди, безъ зову, представали предъ каждаго изъ нихъ.

И вотъ воображенію спящаго Ильи Ильича начали, такъ же по очереди, какъ живыя картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшіеся какъ въ его семействѣ, такъ у родственниковъ и знакомыхъ: родины, свадьба, похороны.

Потомъ потянулась пестрая процессія веселыхъ и печальныхъ подраздѣленій ея: крестинъ, именинъ, семейныхъ праздниковъ, заговѣнья, розговѣнья, шумныхъ обѣдовъ, родственныхъ съѣздовъ, привѣтствій, поздравленій, офиціальныхъ слезъ и улыбокъ.

Все отправлялось съ такою точностью, такъ важно и торжественно.

Ему представлялись даже знакомыя лица и мины ихъ

при разныхъ обрядахъ, ихъ заботливость и суета. Дайте имъ какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу, или именины—справятъ по всѣмъ правиламъ, безъ малѣйшаго упущенія. Кого гдѣ посадить, что и какъ подать, кому съ кѣмъ ѣхать въ церемоніи, примѣту ли соблюсти — во всемъ этомъ никто никогда не дѣлалъ ни малѣйшей ошибки въ Обломовкѣ.

Ребенка ли выходить не сумѣютъ тамъ? Стоитъ только взглянуть, какихъ розовыхъ и увѣсистыхъ купидоновъ носятъ и водятъ за собой тамошнія матери. Онѣ на томъ стоятъ, чтобъ дѣти были толстенькія, бѣленькія и здоровенькія.

Они отступятся отъ весны, знать ее не захотятъ, если не пискнетъ въ началѣ ея жаворонка. Какъ имъ не знать и не исполнять этого?

Тутъ вся ихъ жизнь и наука, тутъ всѣ ихъ скорби и радости: оттого они и гонятъ отъ себя всякую другую заботу и печаль и не знаютъ другихъ радостей; жизнь ихъ кипила исключительно этими коренными и неизбѣжными событіями, которыя и задавали безконечную пищу ихъ уму и сердцу.

Они, съ бьющимся отъ волненія сердцемъ, ожидали обряда, пира, церемоніи, а потомъ, окрестивъ, женивъ, или похоронивъ человѣка, забывали самого человѣка и его судьбу и погружались въ обычную апатію, изъ которой выводилъ ихъ новый такой же случай — именины, свадьба и т. п.

Какъ только рождался ребенокъ, первою заботою родителей было какъ можно точнѣе, безъ малѣйшихъ упущеній, справить надъ нимъ всѣ требуемые приличіемъ обряды, то-есть, задать послѣ крестинъ пиръ; затѣмъ начиналось заботливое ухаживанье за нимъ.

Мать задавала себѣ и нянькѣ задачу: выходить здоровенькаго ребенка, беречь его отъ простуды, отъ глаза и

другихъ враждебныхъ обстоятельствъ. Усердно хлопотали, чтобъ дитя было всегда весело и кушало много.

Только лишь поставятъ на ноги молодца, то-есть, когда нянька станетъ ему не нужна, какъ въ сердце матери закрадывается уже тайное желаніе пріискать ему подругу— тоже поздоровѣе, порумянѣе.

Опять настаетъ эпоха обрядовъ, пировъ, наконецъ свадьба; на этомъ и сосредоточивался весь паѳосъ жизни.

Потомъ уже начинались повторенія: рожденіе дѣтей, обряды, пиры, пока похороны не измѣнятъ декораціи: но не надолго: одни лица уступаютъ мѣсто другимъ, дѣти становятся юношами и вмѣстѣ съ тѣмъ женихами, женятся, производятъ подобныхъ себѣ—и такъ жизнь по этой программѣ тянется безпрерывной однообразною тканью, незамѣтно обрываясь у самой могилы.

Навязывались имъ, правда, порой и другія заботы, но обломовцы встрѣчали ихъ по бо́льшей части съ стоическою неподвижностью, и заботы, покружившись надъ головами ихъ, мчались мимо, какъ птицы, которыя, прилетятъ къ гладкой стѣнѣ и не найдя мѣстечка пріютиться, потрепещутъ напрасно крыльями около твердаго камня и летятъ далѣе.

Такъ, напримѣръ, однажды часть галлереи съ одной стороны дома вдругъ обрушилась и погребла подъ развалинами своими насѣдку съ цыплятами: досталось бы и Аксиньѣ, женѣ Антипа, которая усѣлась-было подъ галлереей съ донцомъ, да на ту пору, къ счастью своему, пошла за мочками.

Въ домѣ сдѣлался гвалтъ: всѣ прибѣжали, отъ мала до велика, и ужаснулись, представивъ себѣ, что, вмѣсто насѣдки съ цыплятами, тутъ могла прохаживаться сама барыня съ Ильей Ильичемъ.

Всѣ ахнули и начали упрекать другъ друга въ томъ, какъ

это давно въ голову не пришло: одному напомнить, другому—велѣть поправить, третьему—поправить.

Всѣ дались диву, что галлерея обрушилась, а наканунѣ дивились, какъ это она такъ долго держится!

Начались заботы и толки, какъ поправить дѣло; пожалѣли о насѣдкѣ съ цыплятами и медленно разошлись по своимъ мѣстамъ, на-строго запретивъ подводить къ галлереѣ Илью Ильича.

Потомъ, недѣли черезъ три, велѣно было Андрюшкѣ, Петрушкѣ, Васькѣ обрушившіяся доски и перила оттащить къ сараямъ, чтобъ онѣ не лежали на дорогѣ. Тамъ валялись онѣ до весны.

Старикъ Обломовъ всякій разъ, какъ увидитъ ихъ изъ окошка, такъ и озаботится мыслью о поправкѣ: призоветъ плотника, начнетъ совѣщаться, какъ лучше сдѣлать, новую ли галлерею выстроить, или сломать и остатки; потомъ отпуститъ его домой, сказавъ:

— Поди себѣ, а я подумаю.

Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока Васька, или Мотька, донесъ барину, что, вотъ-де, когда онъ, Мотька, сего утра лазилъ на остатки галлереи, такъ углы совсѣмъ отстали отъ стѣнъ и, того-гляди, рухнутъ опять.

Тогда призванъ былъ плотникъ на окончательное совѣщаніе, вслѣдствіе котораго рѣшено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцѣлѣвшей галлереи, что̀ и было сдѣлано къ концу того же мѣсяца.

— Э! Да галлерея-то пойдетъ опять заново!—сказалъ старикъ женѣ. — Смотри-ка, какъ Ѳедотъ красиво разставилъ бревна, точно колонны у предводителя въ дому! Вотъ теперь и хорошо: опять надолго!

Кто-то напомнилъ ему, что вотъ кстати бы ужъ и ворота исправить и крылѣцо починить, а то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки, и свиньи пролѣзаютъ въ подвалъ.

— Да, да, надо, — заботливо отвѣчалъ Илья Ивановичъ и шелъ тотчасъ осмотрѣть крыльцо.

— Въ самомъ дѣлѣ, видишь, вѣдь, какъ совсѣмъ расшаталось, — говорилъ онъ, качая ногами крыльцо, какъ колыбель.

— Да оно и тогда шаталось, какъ его сдѣлали, — замѣтилъ кто-то.

— Такъ что жъ, что шаталось? — отвѣчалъ Обломовъ. — Да вотъ не развалилось же, даромъ что шестнадцать лѣтъ безъ поправки стоитъ. Славно тогда сдѣлалъ Лука!.. Вотъ былъ плотникъ, такъ плотникъ... умеръ — царство ему небесное! Нынче избаловались: не сдѣлаютъ такъ.

И онъ обращалъ глаза въ другую сторону, а крыльцо, говорятъ, шатается и до сихъ поръ и все еще не развалилось.

Видно, въ самомъ дѣлѣ, славный былъ плотникъ этотъ Лука.

Надо, впрочемъ, отдать хозяевамъ справедливость: иной разъ въ бѣдѣ, или неудобствѣ, они очень обезпокоятся, даже погорячатся и разсердятся.

Какъ, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчасъ принять мѣры. И говорятъ только о томъ, какъ бы починить мостикъ, что ли, черезъ канаву, или огородить въ одномъ мѣстѣ садъ, чтобъ скотина не портила деревьевъ, потому что часть плетня въ одномъ мѣстѣ совсѣмъ лежала на землѣ.

Илья Ивановичъ простеръ свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнялъ, кряхтя и охая, плетень и велѣлъ садовнику поставить поскорѣй двѣ жерди: плетень, благодаря этой распорядительности Обломова, простоялъ такъ все лѣто, и только зимой снѣгомъ повалило его опять.

Наконецъ даже дошло до того, что на мостикъ настлали три новыя доски, тотчасъ же, какъ только Антипъ сва-

лился съ него, съ лошадью и съ бочкой въ канаву. Онъ еще не успѣлъ выздоровѣть отъ ушиба, а ужъ мостикъ отдѣланъ былъ заново.

Коровы и козы тоже немного взяли послѣ новаго паденія плетня въ саду: онѣ съѣли только смородинные кусты, да принялись обдирать десятую липу, а до яблонь и не дошли, какъ послѣдовало распоряженіе, врыть плетень какъ надо, и даже окопать канавкой.

Досталось же и двумъ коровамъ и козѣ, пойманнымъ на дѣлѣ: славно вздули бока!

Снится еще Ильѣ Ильичу большая темная гостиная въ родительскомъ домѣ, съ ясеневыми старинными креслами, вѣчно покрытыми чехлами, съ огромнымъ, неуклюжимъ и жёсткимъ диваномъ, обитымъ полинялымъ голубымъ бархатомъ въ пятнахъ, и однимъ большимъ кожанымъ кресломъ.

Наступаетъ длинный зимній вечеръ.

Мать сидитъ на диванѣ, поджавъ ноги подъ себя, и лѣниво вяжетъ дѣтскій чулокъ, зѣвая и почесывая повременамъ спицей голову.

Подлѣ нея сидитъ Настасья Ивановна, да Пелагея Игнатьевна и, уткнувъ носы въ работу, прилежно шьютъ что-нибудь къ празднику для Илюши, или для отца его, или для самихъ себя.

Отецъ, заложивъ руки назадъ, ходитъ по комнатѣ взадъ и впередъ, въ совершенномъ удовольствіи, или присядетъ въ кресло и, посидѣвъ немного, начнетъ опять ходить, внимательно прислушиваясь къ звуку собственныхъ шаговъ. Потомъ понюхаетъ табаку, высморкается и опять понюхаетъ.

Въ комнатѣ тускло горитъ одна сальная свѣчка, и то это допускалось только въ зимніе и осенніе вечера. Въ лѣтніе мѣсяцы всѣ старались ложиться и вставать безъ свѣчей, при дневномъ свѣтѣ.

Это частью дѣлалось по привычкѣ, частью изъ экономіи.

На всякій предметъ, который производился не дома, а пріобрѣтался покупкою, обломовцы были до крайности скупы.

Они съ радушіемъ заколютъ отличную индѣйку, или дюжину цыплятъ къ пріѣзду гостя, но лишней изюменки въ кушанье не положатъ, и поблѣднѣютъ, какъ тотъ же гость самовольно вздумаетъ самъ налить себѣ въ рюмку вина.

Впрочемъ, такого разврата тамъ почти не случалось: это сдѣлаетъ развѣ сорванецъ какой-нибудь, погибшій въ общемъ мнѣніи человѣкъ; такого гостя и во дворъ не пустятъ.

Нѣтъ, не такіе нравы были тамъ: гость тамъ прежде троекратнаго потчиванья и не дотронется ни до чего. Онъ очень хорошо знаетъ, что однократное потчиванье чаще заключаетъ въ себѣ просьбу отказаться отъ предлагаемаго блюда или вина, нежели отвѣдать его.

Не для всякаго зажгутъ и двѣ свѣчи: свѣчка покупалась въ городѣ на деньги, и береглась, какъ и всѣ покупныя вещи, подъ ключомъ самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались.

Вообще тамъ денегъ тратить не любили, и какъ ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда съ великимъ соболѣзнованіемъ, и то если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью.

Обломовцы соглашались лучше терпѣть всякаго рода неудобства, даже привыкали не считать ихъ неудобствами, чѣмъ тратить деньги.

Отъ этого и диванъ въ гостиной давнымъ-давно весь въ пятнахъ, отъ этого и кожаное кресло Ильи Иваныча только называется кожанымъ, а въ самомъ-то дѣлѣ оно — не то мочальное, не то веревочное: кожи-то осталось только на спинкѣ одинъ клочокъ, а остальная ужъ пять лѣтъ какъ развалилась въ куски и слѣзла; оттого же, можетъ-быть, и ворота всѣ кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за

что-нибудь, хоть самонужнѣйшее, вдругъ двѣсти, триста, пятьсотъ рублей казалось имъ чуть не самоубійствомъ.

Услыхавъ, что одинъ изъ окрестныхъ молодыхъ помѣщиковъ ѣздилъ въ Москву и заплатилъ тамъ за дюжину рубашекъ триста рублей, двадцать пять рублей за сапоги и сорокъ рублей за жилетъ къ свадьбѣ, старикъ Обломовъ перекрестился и сказалъ съ выраженіемъ ужаса, скороговоркой, что «этакаго молодца надо посадить въ острогъ».

Вообще они глухи были къ политико-экономическимъ истинамъ о необходимости быстраго и живого обращенія капиталовъ, объ усиленной производительности и мѣнѣ продуктовъ. Они, въ простотѣ души, понимали и приводили въ исполненіе единственное употребленіе капиталовъ—держать ихъ въ сундукѣ.

На креслахъ въ гостиной, въ разныхъ положеніяхъ, сидятъ и сопятъ обитатели или обычные посѣтители дома.

Между собесѣдниками по бо́льшей части царствуетъ глубокое молчаніе: всѣ видятся ежедневно другъ съ другомъ; умственныя сокровища взаимно исчерпаны и извѣданы, а новостей извнѣ получается мало.

Тихо; только раздаются шаги тяжелыхъ, домашней работы сапогъ Ильи Ивановича, еще стѣнные часы въ футлярѣ глухо постукиваютъ маятникомъ, да порванная, время-отъ-времени, рукой, или зубами, нитка у Пелагеи Игнатьевны, или у Настасьи Ивановны нарушаетъ глубокую тишину...

Такъ иногда пройдетъ полчаса, развѣ кто-нибудь зѣвнетъ вслухъ и перекреститъ ротъ, промолвивъ: — Господи помилуй!

За нимъ зѣвнетъ сосѣдъ, потомъ слѣдующій, медленно, какъ-будто по командѣ, отворяетъ ротъ, и такъ далѣе, заразительная игра воздуха въ лёгкихъ обойдетъ всѣхъ, при чемъ иного прошибетъ слеза.

Или Илья Ивановичъ подойдетъ къ окну, взглянетъ туда и скажетъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ:

— Еще пять часовъ только, а ужъ какъ темно на дворѣ!

— Да,—отвѣтитъ кто-нибудь:—объ эту пору всегда темно; длинные вечера наступаютъ.

А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступаютъ. А спросите-ка, зачѣмъ имъ эти длинные дни, такъ они и сами не знаютъ.

И опять замолчатъ.

А тамъ кто-нибудь станетъ снимать со свѣчи и вдругъ погаситъ—всѣ встрепенутся:

— Нечаянный гость!—скажетъ непремѣнно кто-нибудь.

Иногда на этомъ завяжется разговоръ.

— Кто жъ бы это гость?—скажетъ хозяйка. — Ужъ не Настасья ли Ѳаддеевна? Ахъ, дай-то Господи! Да нѣтъ; она ближе праздника не будетъ. То-то бы радости! То-то бы обнялись да наплакались съ ней вдвоемъ! И къ заутренѣ, и къ обѣднѣ бы вмѣстѣ... Да куда мнѣ за ней! Я даромъ-что моложе, а не выстоять мнѣ столько!

— А когда, бишь, она уѣхала отъ насъ?—спросилъ Илья Ивановичъ:—кажется послѣ Ильина дня?

— Что ты, Илья Иванычъ, всегда перепутаешь! Она и семика не дождалась,—поправила жена.

— Она, кажется, въ петровки здѣсь была, — возражаетъ Илья Ивановичъ.

— Ты всегда такъ!—съ упрекомъ скажетъ жена. — Споришь, только срамишься...

— Ну, какъ же не была въ петровки? Еще тогда всепироги съ грибами пекли: она любитъ...

— Такъ это Марья Онисимовна: она любитъ пироги съ грибами—какъ это не помнишь! Да и Марья Онисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила.

Они вели счетъ времени по праздникамъ, по временамъ года, по разнымъ семейнымъ и домашнимъ случаямъ, не ссылаясь никогда ни на мѣсяцы, ни на числа. Можетъ-быть, это происходило частью и оттого, что, кромѣ самого

Обломова, прочіе все путали и названія мѣсяцевъ, и порядокъ чиселъ.

Замолчитъ побѣжденный Илья Ивановичъ, и опять все общество погрузится въ дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлетъ, а иногда и совсѣмъ спитъ.

— Да,—скажетъ потомъ какой-нибудь изъ гостей съ глубокимъ вздохомъ: — вотъ мужъ-то Марьи Онисимовны, покойникъ Василій Ѳомичъ, какой былъ, Богъ съ нимъ, здоровый, а умеръ! И шестидесяти лѣтъ не прожилъ: — жить бы этакому сто лѣтъ!

— Всѣ умремъ, кому когда—воля Божья! — возражаетъ Пелагея Игнатьевна со вздохомъ.—Кто умираетъ, а вотъ у Хлоповыхъ такъ не поспѣваютъ крестить: говорятъ, Анна Андреевна опять родила—ужъ это шестой.

— Одна ли Анна Андреевна! — сказала хозяйка.—Вотъ какъ брата-то ее женятъ и пойдутъ дѣти—столько ли еще будетъ хлопотъ! И меньшіе подрастаютъ, тоже въ женихи смотрятъ; тамъ дочерей выдавай замужъ, а гдѣ женихи здѣсь? Нынче, вишь, вѣдь всѣ хотятъ приданаго, да все деньгами...

— Что вы такое говорите?—спросилъ Илья Ивановичъ, подойдя къ бесѣдовавшимъ.

— Да вотъ говоримъ, что....

И ему повторяютъ разсказъ.

— Вотъ жизнь-то человѣческая!—поучительно произнесъ Илья Ивановичъ.—Одинъ умираетъ, другой родится, третій женится, а мы вотъ все старѣемся: не то, что годъ на годъ, день на день не приходится! Зачѣмъ это такъ? То ли бы дѣло, если бъ каждый день, какъ вчера, вчера какъ завтра!.. Грустно, какъ подумаешь...

— Старый старится, а молодой растетъ!—сонным голосомъ кто-то сказалъ изъ угла.

— Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чемъ!— строго замѣтила хозяйка.

— Правда, правда, — трусливо, скороговоркой отозвался Илья Ивановичъ, вздумавшій-было пофилософствовать, и пошелъ опять ходить взадъ и впередъ.

Долго опять молчатъ; скрипятъ только продѣваемыя взадъ и впередъ иглой нитки. Иногда хозяйка нарушитъ молчаніе.

— Да, темно на дворѣ,—скажетъ она.—Вотъ, Богъ дастъ, какъ дождемся святокъ, пріѣдутъ погостить свои, ужо будетъ повеселѣе, и не видно, какъ будутъ проходить вечера. Вотъ если бъ Маланья Петровна пріѣхала, ужъ тутъ было бы проказъ-то! Чего она не затѣетъ! И олово лить, и воскъ топить, и за ворота бѣгать; дѣвокъ у меня всѣхъ съ пути собьетъ. Затѣетъ игры разныя... такая, право!

— Да, свѣтская дама!—замѣтилъ одинъ изъ собесѣдниковъ.—Въ третьемъ году она и съ горъ выдумала кататься, вотъ какъ еще Лука Саввичъ бровь расшибъ...

Вдругъ всѣ встрепенулись, посмотрѣли на Луку Саввича и разразились хохотомъ.

— Какъ это ты, Лука Саввичъ? Ну-ка, ну, разскажи!—говоритъ Илья Ивановичъ и помираетъ со смѣху.

И всѣ продолжаютъ хохотать, и Илюша проснулся, и онъ хохочетъ.

— Ну, чего разсказывать! — говоритъ смущенный Лука Саввичъ.—Это все вонъ Алексѣй Наумычъ выдумалъ: ничего и не было совсѣмъ!

— Э! — хоромъ подхватили всѣ.—Да какъ же ничего не было? Мы-то умерли развѣ?.. А лобъ-то, лобъ-то, вонъ и до сихъ поръ рубецъ виденъ...

И захохотали.

— Да что вы смѣетесь?—старается выговорить въ промежуткахъ смѣха Лука Саввичъ.—Я бы... и не того... да все Васька, разбойникъ... салазки старыя подсунулъ... онѣ и разъѣхались подо мной... я и того...

Общій хохотъ покрылъ его голосъ. Напрасно онъ силился досказать исторію своего паденія: хохотъ разлился по всему

обществу, проникъ до передней и до дѣвичьей, объялъ весь домъ, всѣ вспомнили забавный случай, всѣ хохочутъ долго, дружно, *несказанно*, какъ олимпійскіе боги. Только начнутъ умолкать, кто-нибудь подхватитъ опять—и пошло писать.

Наконецъ, кое-какъ, съ трудомъ успокоились.

— А что, нынче о святкахъ будешь кататься, Лука Савиичъ?—спросилъ, помолчавъ, Илья Ивановичъ?

Опять общій взрывъ хохота, продолжавшійся минутъ десять.

— Не велѣть ли Антипкѣ постомъ сдѣлать гору?—вдругъ опять скажетъ Обломовъ: — Лука Саввичъ, молъ, охотникъ большой, не терпится ему...

Хохотъ всей компаніи не далъ договорить ему.

— Да цѣлы ли тѣ... салазки-то?—едва отъ смѣха выговорилъ одинъ изъ собесѣдниковъ.

Опять смѣхъ.

Долго смѣялись всѣ, наконецъ, стали мало-по-малу затихать: иной утиралъ слезы, другой сморкался, третій кашлялъ неистово и плевалъ, съ трудомъ выговаривая:

— Ахъ, ты, Господи! Задушила мокрота совсѣмъ... насмѣшилъ тогда, ей-Богу! Такой грѣхъ! Какъ онъ спиной-то кверху, а полы кафтана врозь...

Тутъ слѣдовалъ окончательно послѣдній, самый продолжительный раскатъ хохота, и затѣмъ все смолкло. Одинъ вздохнулъ, другой зѣвнулъ вслухъ, съ приговоркой, и все погрузилось въ молчаніе.

Попрежнему слышалось только качанье маятника, стукъ сапогъ Обломова, да легкій трескъ откушенной нитки.

Вдругъ Илья Ивановичъ остановился посреди комнаты съ встревоженнымъ видомъ, держась за кончикъ носа.

— Что это за бѣда? Смотрите-ка!—сказалъ онъ.—Быть покойнику: у меня кончикъ носа все чешется...

— Ахъ, ты, Господи! — всплеснувъ руками, сказала жена.—Какой же это покойникъ, коли кончикъ чешется? По-

койникъ — когда переносье чешется. Ну, Илья Иванычъ, какой ты, Богъ съ тобой, безпамятный! Вотъ, этакъ, скажешь въ людяхъ когда-нибудь, или при гостяхъ и—стыдно будетъ.

— А что жъ это значитъ, кончикъ-то чешется? — спросилъ сконфуженный Илья Ивановичъ.

— Въ рюмку смотрѣть. А то, какъ это можно: покойникъ!

— Все путаю! — сказалъ Илья Ивановичъ. — Гдѣ тутъ упомнить: то съ боку носъ чешется, то съ конца, то брови...

— Съ боку,—подхватила Пелагея Ивановна:—означаетъ вѣсти; брови чешутся—слезы; лобъ—кланяться; съ правой стороны чешется мужчинѣ, съ лѣвой — женщинѣ; уши зачешутся значитъ къ дождю, губы — цѣловаться, усы — гостинцы ѣсть, локоть — на новомъ мѣстѣ спать, подошвы — дорога...

— Ну, Пелагея Ивановна, молодецъ! — сказалъ Илья Ивановичъ. — А то еще когда масло дешево будетъ, такъ затылокъ, что ли, чешется...

Дамы начали смѣяться и перешептываться; нѣкоторые изъ мужчинъ улыбались; готовился опять взрывъ хохота, но въ эту минуту въ комнатѣ раздалось, въ одно время, какъ будто ворчанье собаки и шипѣнье кошки, когда онѣ собираются броситься другъ на друга. Это загудѣли часы.

— Э! да ужъ девять часовъ! — съ радостнымъ изумленіемъ произнесъ Илья Ивановичъ. — Смотри-ка, пожалуй, и не видать, какъ время прошло. Эй Васька! Ванька, Мотька!

Явились три заспанныя физіономіи.

— Что жъ вы не накрываете на столъ?—съ удивленіемъ и досадой спросилъ Обломовъ. — Нѣтъ, чтобъ подумать о господахъ? Ну, чего стоите? Скорѣй, водки!

— Вотъ отчего кончикъ носа чесался! — живо сказала

Пелагея Ивановна. — Будете пить водку и посмотрите въ рюмку.

Послѣ ужина, почмокавшись и перекрестивъ другъ друга, всѣ расходятся по своимъ постелямъ, и сонъ воцаряется надъ безпечными головами.

Видитъ Илья Ильичъ во снѣ не одинъ, не два такіе вечера, но цѣлыя недѣли, мѣсяцы и годы такъ проводимыхъ дней и вечеровъ.

Ничто не нарушало однообразія этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому, что и не представляли себѣ другого житья-бытья; а если бъ и смогли представить, то съ ужасомъ отвернулись бы отъ него.

Другой жизни и не хотѣли, и не любили бы они. Имъ бы жаль было, если бъ обстоятельства внесли перемѣны въ ихъ бытъ, какія бы то ни были. Ихъ загрызетъ тоска, если завтра не будетъ похоже на сегодня, а послѣзавтра на завтра.

Зачѣмъ имъ разнообразіе, перемѣны, случайности, на которыя напрашиваются другіе? Пусть же другіе и расхлебываютъ эту чашу, а имъ, обломовцамъ, ни до чего и дѣла нѣтъ. Пусть другіе живутъ, какъ хотятъ.

Вѣдь случайности, хоть бы и выгоды какія-нибудь, безпокойны: онѣ требуютъ хлопотъ, заботъ, бѣготни, не посиди на мѣстѣ, торгуй, или пиши, словомъ, поворачивайся, шутка ли!

Они продолжали цѣлые десятки лѣтъ сопѣть, дремать и зѣвать, или заливаться добродушнымъ смѣхомъ отъ деревенскаго юмора, или, собираясь въ кружокъ, разсказывали, что кто видѣлъ ночью во снѣ.

Если сонъ былъ страшный — всѣ задумывались, боялись, не шутя; если пророческій — всѣ непритворно радовались, или печалились, смотря по тому, горестное, или утѣшительное снилось во снѣ. Требовалъ ли сонъ соблюденія какой

нибудь примѣты, тотчасъ для этого принимались дѣятельныя мѣры.

Не это, такъ играютъ въ дураки, въ свои козыри, а по праздникамъ съ гостями въ бостонъ, или раскладываютъ гран-пасьянсъ, гадаютъ на червоннаго короля, да на трефовую даму, предсказывая марьяжъ.

Иногда пріѣдетъ какая-нибудь Наталья Ѳаддеевна гостить на недѣлю, на двѣ. Сначала старухи переберутъ весь околотокъ, кто какъ живетъ, кто что дѣлаетъ; онѣ проникнутъ не только въ семейный бытъ, въ закулисную жизнь, но въ сокровенные помыслы и намѣренія каждаго, влѣзутъ въ душу, побранятъ, осудятъ недостойныхъ, всего болѣе невѣрныхъ мужей, потомъ пересчитаютъ разные случаи: именины, крестины, родины, кто чѣмъ угощалъ, кого звалъ, кого нѣтъ.

Уставши отъ этого, начнутъ показывать обновки, платья, салопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашняго издѣлія.

Но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями. Потомъ уже переходятъ къ молчанію.

Сидятъ подолгу, глядя другъ на друга, по временамъ тяжко о чемъ-то вздыхаютъ. Иногда которая-нибудь и заплачетъ.

— Что ты, мать моя?—спроситъ въ тревогѣ другая.

— Охъ, грустно, голубушка! — отвѣчаетъ съ тяжкимъ вздохомъ гостья.—Прогнѣвали мы Господа Бога, окаянные. Не бывать добру.

— Ахъ, не пугай, не стращай, родная! — прерываетъ хозяйка.

— Да, да, — продолжаетъ та. — Пришли послѣдніе дни: возстанетъ языкъ на языкъ, царство на царство... наступитъ свѣтопреставленіе! — выговариваетъ, наконецъ, Наталья Ѳаддеевна, и обѣ плачутъ горько.

Основанія никакого къ такому заключенію со стороны Натальи Ѳаддеовны не было, никто ни на кого не возставалъ, даже кометы въ тотъ годъ не было, но у старухъ бываютъ иногда темныя предчувствія.

Изрѣдка развѣ это провожденіе времени нарушится какимъ-нибудь нечаяннымъ случаемъ, когда, напримѣръ, всѣ угорятъ цѣлымъ домомъ отъ мала до велика.

Другихъ болѣзней почти и не слыхать было въ дому и деревнѣ; развѣ кто-нибудь напорется на какой-нибудь колъ въ темнотѣ, или свернется съ сѣновала, или съ крыши свалится доска да ударитъ по головѣ.

Но все это случалось рѣдко, и противъ такихъ нечаянностей употреблялись домашнія испытанныя средства: ушибленное мѣсто потрутъ бодягой, или зарей, дадутъ выпить святой водицы, или пошепчутъ—и все пройдетъ.

Но угаръ случался частенько. Тогда всѣ валяются вповалку по постелямъ; слышится оханье, стоны; одинъ обложитъ голову огурцами и повяжется полотенцемъ; другой положитъ клюквы въ уши и нюхаетъ хрѣнъ, третій въ одной рубашкѣ уйдетъ на морозъ, четвертый просто валяется безъ чувствъ на полу.

Это случалось періодически одинъ или два раза въ мѣсяцъ, потому, что тепла даромъ въ трубу пускать не любили и закрывали печи, когда въ нихъ бѣгали еще такіе огоньки, какъ въ «Робертѣ-Дьяволѣ». Ни къ одной дежанкѣ, ни къ одной печкѣ нельзя было приложить руки: того и гляди вскочитъ пузырь.

Однажды только однообразіе ихъ быта нарушилось ужъ подлинно нечаяннымъ случаемъ.

Когда, отдохнувъ послѣ труднаго обѣда, всѣ собрались къ чаю, вдругъ пришелъ воротившійся изъ города обломовскій мужикъ, и ужъ онъ доставалъ, доставалъ изъ-за пазухи, наконецъ насилу досталъ скомканное письмо на имя Ильи Иваныча Обломова.

Всѣ обомлѣли: хозяйка даже измѣнилась немного въ лицѣ; глаза у всѣхъ устремились и носы вытянулись по направленію къ письму.

— Что за диковина! Отъ кого это? — произнесла, наконецъ, барыня, опомнившись.

Обломовъ взялъ письмо и съ недоумѣніемъ ворочалъ его въ рукахъ, не зная, что съ нимъ дѣлать.

— Да ты гдѣ взялъ? — спросилъ онъ мужика. — Кто тебѣ далъ?

— А на дворѣ, гдѣ я приставалъ въ городѣ-то, слышь ты, — отвѣчалъ мужикъ: — съ почты приходили два раза спрашивать, нѣтъ ли обломовскихъ мужиковъ: письмо, слышь, къ барину есть.

— Ну?..

— Ну, я перва-на-перво притаился: солдатъ и ушелъ съ письмомъ-то. Да верхлёвскій дьячокъ видалъ меня, онъ и сказалъ. Пришелъ вдругорядь. Какъ пришли вдругорядь-то, ругаться стали и отдали письмо, еще пятакъ взяли. Я спросилъ, что, молъ, дѣлать мнѣ съ нимъ, куда его дѣть? Такъ вотъ велѣли вашей милости отдать.

— А ты бы не бралъ, — сердито замѣтила барыня.

— Я и то не бралъ. На что, молъ, намъ письмо-то, — намъ не надо. Намъ, молъ, не наказывали писемъ брать — я не смѣю: подите вы, съ письмомъ-то! Да пошелъ больно ругаться солдатъ-то: хотѣлъ начальству жаловаться: я и взялъ.

— Дуракъ! — сказалъ барыня.

— Отъ кого жъ бы это? — задумчиво говорилъ Обломовъ, разсматривая адресъ. — Рука какъ будто знакомая, право!

И письмо пошло ходить изъ рукъ въ руки. Начались толки и догадки: отъ кого и о чемъ оно могло быть? Всѣ, наконецъ, стали втупикъ.

Илья Ивановичъ велѣлъ сыскать очки: ихъ отыскивали

часа полтора. Онъ надѣлъ ихъ и уже подумывалъ-было вскрыть письмо.

— Полно, не распечатывай, Илья Иванычъ,—съ боязнью остановила его жена: — кто его знаетъ, какое оно тамъ, письмо-то? можетъ-быть, еще страшное, бѣда какая-нибудь. Вишь, вѣдь, народъ-то нынче какой сталъ! Завтра или послѣзавтра успѣешь—не уйдетъ оно отъ тебя.

И письмо съ очками было спрятано подъ замокъ. Всѣ занялись чаемъ. Оно бы пролежало тамъ годы, если бъ не было слишкомъ необыкновеннымъ явленіемъ и не взволновало умы обломовцевъ. За чаемъ и на другой день у всѣхъ только и разговора было, что о письмѣ.

Наконецъ не вытерпѣли, и на четвертый день, собравшись толпой, съ смущеніемъ распечатали. Обломовъ взглянулъ на подпись.

— «Радищевъ», — прочиталъ онъ. — Э! Да это отъ Филиппа Матвѣича!

— А! Э! Вотъ отъ кого!—поднялось со всѣхъ сторонъ.— Да какъ это онъ еще живъ по сю пору? Поди ты, еще не умеръ! Ну, слава Богу! Что̀ онъ пишетъ?

Обломовъ сталъ читать вслухъ. Оказалось, что Филиппъ Матвѣевичъ проситъ прислать ему рецептъ пива, которое особенно хорошо варили въ Обломовкѣ.

— Послать, послать ему! — заговорили всѣ. — Надо написать письмецо.

Такъ прошло недѣли двѣ.

— Надо, надо написать! — твердилъ Илья Ивановичъ женѣ.—Гдѣ рецептъ-то?

— А гдѣ онъ?—отвѣчала жена.—Еще надо сыскать. Да погоди, что торопиться? Вотъ, Богъ дастъ, дождемся праздника, разговѣемся, тогда и напишешь; еще не уйдетъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, о праздникѣ лучше напишу, — сказалъ Илья Ивановичъ.

На праздникѣ опять зашла рѣчь о письмѣ. Илья Ива-

новичъ собрался совсѣмъ писать. Онъ удалился въ кабинетъ, надѣлъ очки и сѣлъ къ столу.

Въ домѣ воцарилась глубокая тишина; людямъ не велѣно было топать и шумѣть. — Баринъ пишетъ! — говорили всѣ такимъ робко-почтительнымъ голосомъ, какимъ говорятъ, когда въ домѣ есть покойникъ.

Онъ только-было вывелъ: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и съ такою осторожностью, какъ будто дѣлалъ какое-нибудь опасное дѣло, какъ къ нему явилась жена.

— Искала, искала—нѣту рецепта, — сказала она.—Надо еще въ спальнѣ въ шкапу поискать. Да какъ посылать письмо-то?

— Съ почтой надо,—отвѣчалъ Илья Ивановичъ.

— А что̀ туда сто̀итъ?

Обломовъ досталъ старый календарь.

— Сорокъ копеекъ,—сказалъ онъ.

— Вотъ, сорокъ копеекъ на пустяки бросать!—замѣтила она. — Лучше подождемъ, не будетъ ли изъ города оказіи туда. Ты вели узнавать мужикамъ.

— И въ самомъ дѣлѣ, по оказіи-то лучше, — отвѣчалъ Илья Ивановичъ и, пощелкавъ перо о столъ, всунулъ въ чернильницу и снялъ очки.

— Право, лучше, — заключилъ онъ. — Еще не уйдетъ: успѣемъ послать.

Неизвѣстно, дождался ли Филиппъ Матвѣевичъ рецепта.

Илья Ивановичъ иногда возьметъ и книгу въ руки—ему все равно, какую-нибудь. Онъ и не подозрѣвалъ въ чтеніи существенной потребности, а считалъ его роскошью, такимъ дѣломъ, безъ котораго легко и обойтись можно, такъ точно, какъ можно имѣть картину на стѣнѣ, можно и не имѣть, можно пойти прогуляться, можно и не пойти: отъ этого ему все равно, какая бы ни была книга; онъ смотрѣлъ на нее,

какъ на вещь, назначенную для развлеченія, отъ скуки и отъ-нечего-дѣлать.

— Давно не читалъ книги, — скажетъ онъ, или иногда измѣнитъ фразу: — Дай-ка почитаю книгу, — скажетъ, или просто, мимоходомъ, случайно увидитъ доставшуюся ему послѣ брата небольшую кучку книгъ и вынетъ, не выбирая, что попадется. Голиковъ ли попадется ему, *Новѣйшій* ли *Сонникъ*, Хераскова *Россіяда*, или трагедіи Сумарокова, или, наконецъ, третьягодичныя вѣдомости—онъ все читаетъ съ равнымъ удовольствіемъ, приговаривая по временамъ:

— Видишь, что вѣдь выдумалъ! Экой разбойникъ! Ахъ, чтобъ тебѣ пусто было!

Эти восклицанія относились къ авторамъ—званіе, которое въ глазахъ его не пользовалось никакимъ уваженіемъ; онъ даже усвоилъ себѣ и то полупрезрѣніе къ писателямъ, которое питали къ нимъ люди стараго времени. Онъ, какъ и многіе тогда, почиталъ сочинителя не иначе, какъ весельчакомъ, гулякой, пьяницей и потѣшникомъ, въ родѣ плясуна.

Иногда онъ изъ третьягодичныхъ газетъ почитаетъ и вслухъ, для всѣхъ, или такъ сообщаетъ имъ извѣстія.

— Вотъ изъ Гаги пишутъ,—скажетъ онъ:—что е. в. король изволилъ благополучно возвратиться изъ кратковременнаго путешествія во дворецъ,—и при этомъ поглядитъ черезъ очки всѣхъ слушателей.

Или:

— Въ Вѣнѣ такой-то посланникъ вручилъ свои кредитивныя грамоты.

— А вотъ тутъ пишутъ, — читалъ онъ еще: — что сочиненія г-жи Жанлисъ перевели на россійскій языкъ.

— Это все, чай, для того переводятъ,—замѣчаетъ одинъ изъ слушателей, мелкопомѣстный помѣщикъ: — чтобъ у нашего брата, дворянина, деньги выманивать.

А бѣдный Илюша ѣздитъ да ѣздитъ учиться къ Штольцу.

Какъ только онъ проснется въ понедѣльникъ, на него ужъ нападаетъ тоска. Онъ слышитъ рѣзкій голосъ Васьки, который кричитъ съ крыльца:

— Антипка! Закладывай пѣгую: барчонка къ нѣмцу везти!

Сердце дрогнетъ у него. Онъ печальный приходитъ къ матери. Та знаетъ, отчего, и начинаетъ золотить пилюлю, втайнѣ вздыхая сама о разлукѣ съ нимъ на цѣлую недѣлю.

Не знаютъ, чѣмъ и накормить его въ то утро, напекутъ ему булочекъ и кренделькова, отпустятъ съ нимъ соленья, печенья, варенья, пастилъ разныхъ и другихъ всякихъ сухихъ и мокрыхъ лакомствъ, и даже съѣстныхъ припасовъ. Все это отпускалось въ тѣхъ видахъ, что у нѣмца не жирно кормятъ.

— Тамъ не разъѣшься,—говорили обломовцы:—обѣдать-то дадутъ супу, да жаркого, да картофелю, къ чаю масла, а ужинать-то *моргенъ фри*—носъ утри.

Впрочемъ, Ильѣ Ильичу снятся больше такіе понедѣльники, когда онъ не слышитъ голоса Васьки, приказывающаго закладывать пѣгашку, и когда мать встрѣчаетъ его за чаемъ съ улыбкой и съ пріятной новостью:

— Сегодня не поѣдешь; въ четвергъ большой праздникъ: стóитъ ли ѣздить взадъ и впередъ на три дня?

Или иногда вдругъ объявитъ ему:

— Сегодня родительская недѣля:—не до ученья: блины будемъ печь.

А не то, такъ мать посмотритъ утромъ въ понедѣльникъ пристально на него, да и скажетъ:

— Что-то у тебя глаза не свѣжи сегодня. Здоровъ ли ты?—и покачаетъ головой.

Лукавый мальчишка здоровёхонекъ, но молчитъ.

— Посиди-ка ты эту недѣльку дома,—скажетъ она:—а тамъ—чтò Богъ дастъ.

И всѣ въ домѣ были проникнуты убѣжденіемъ, что ученье

и родительская суббота никакъ не должны совпадать вмѣстѣ, или что праздникъ въ четвергъ — неодолимая преграда къ ученью во всю недѣлю.

Развѣ только иногда слуга, или дѣвка, которымъ достанется за барчонка, проворчатъ:

— У, баловень! Скоро ли провалишься къ своему нѣмцу?

Въ другой разъ вдругъ къ нѣмцу Антипка явится на знакомой нѣгашкѣ, среди или въ началѣ недѣли, за Ильей Ильичемъ.

— Пріѣхала, дескать, Марья Савишна или Наталья Ѳаддеевна гоститъ или Кузовковы со своими дѣтьми, такъ пожалуйте домой!

И недѣли три Илюша гоститъ дома, а тамъ, смотришь, до Страстной недѣли ужъ недалеко, а тамъ и праздникъ, а тамъ кто-нибудь въ семействѣ почему-то рѣшитъ, что на Ѳоминой недѣлѣ не учатся; до лѣта остается недѣли двѣ — не стоитъ ѣздить, а лѣтомъ и самъ нѣмецъ отдыхаетъ, такъ ужъ лучше до осени отложить.

Посмотришь, Илья Ильичъ и отгуляется въ полгода, и какъ вырастетъ онъ въ это время! Какъ потолстѣетъ! Какъ спитъ славно! Не налюбуются на него въ домѣ, замѣчая, напротивъ, что, возвратясь въ субботу отъ нѣмца, ребенокъ худъ и блѣденъ.

— Долго ли до грѣха? — говорили отецъ и мать. — Ученье-то не уйдетъ, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего въ жизни. Вишь, онъ изъ ученья какъ изъ больницы воротится: жирокъ весь пропадетъ, жиденькій такой... да и шалунъ: все бы ему бѣгать!

— Да, — замѣтитъ отецъ: — ученье-то не свой братъ: хоть кого въ бараній рогъ свернетъ!

И нѣжные родители продолжали пріискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами, и кромѣ праздниковъ, дѣло не ставало. Зимой казалось имъ холодно, лѣтомъ по жарѣ тоже не годится ѣхать, а иногда и дождь пой-

детъ, осенью слякоть мѣшаетъ. Иногда Антипка что-то сомнителенъ покажется: пьянъ, не пьянъ, а какъ-то дико смотритъ: бѣды бы не было, завязнетъ, или оборвется гдѣ-нибудь.

Обломовы старались, впрочемъ, придать какъ можно болѣе законности этимъ предлогамъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, и особенно въ глазахъ Штольца, который не щадилъ и въ глаза, и за глаза, *доннерветтеровъ* за такое баловство.

Времена Простаковыхъ и Скотининыхъ миновались давно. Пословица: *ученье свѣтъ, а неученье тьма*, бродила уже по селамъ и деревнямъ вмѣстѣ съ книгами, развозимыми букинистами.

Старики понимали выгоду просвѣщенія, но только внѣшнюю его выгоду. Они видѣли, что ужъ всѣ начали выходить въ люди, то-есть пріобрѣтать чины, кресты и деньги не иначе, какъ только путемъ ученья; что старымъ подьячимъ, заторѣлымъ на службѣ дѣльцамъ, состарѣвшимся въ давнишнихъ привычкахъ, кавычкахъ и крючкахъ, приходилось плохо.

Стали носиться зловѣщіе слухи о необходимости не только знанія грамоты, но и другихъ, до тѣхъ поръ неслыханныхъ въ томъ быту наукъ. Между титулярнымъ совѣтникомъ и коллежскимъ асессоромъ разверзалась бездна, мостомъ черезъ которую служилъ какой-то дипломъ.

Старые служаки, чада привычки и питомцы взятокъ, стали исчезать. Многихъ, которые не успѣли умереть, выгнали за неблагонадежность, другихъ отдали подъ судъ; самые счастливые были тѣ, которые, махнувъ рукой на новый порядокъ вещей, убрались по-добру да по-здорову въ благопріобрѣтенные углы.

Обломовы смекали это и понимали выгоду образованія, но только эту очевидную выгоду. О внутренней потребности ученья они имѣли еще смутное и отдаленное понятіе, и

оттого имъ хотѣлось уловить для своего Илюши пока нѣкоторыя блестящія преимущества.

Они мечтали и о шитомъ мундирѣ для него, воображали его совѣтникомъ въ палатѣ, а мать даже и губернаторомъ; но всего этого хотѣлось бы имъ достигнуть какъ-нибудь подешевле, съ разными хитростями, обойти тайкомъ разбросанные по пути просвѣщенія и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать черезъ нихъ, то-есть, напримѣръ, учиться слегка, не до изнуренія души и тѣла, не до утраты благословенной, въ дѣтствѣ пріобрѣтенной полноты, а такъ, чтобъ только соблюсти предписанную форму и добыть какъ-нибудь аттестатъ, въ которомъ бы сказано было, что Илюша *прошелъ всѣ науки и искусства*.

Вся эта обломовская система воспитанія встрѣтила сильную оппозицію въ системѣ Штольца. Борьба была съ обѣихъ сторонъ упорная. Штольцъ прямо, открыто и настойчиво поражалъ соперниковъ, а они уклонялись отъ ударовъ вышесказанными и другими хитростями.

Побѣда не рѣшалась никакъ; можетъ-быть, нѣмецкая настойчивость и преодолѣла бы упрямство и закоснѣлость обломовцевъ, но нѣмецъ встрѣтилъ затрудненія на своей собственной сторонѣ, и побѣдѣ не суждено было рѣшиться ни на ту, ни на другую сторону. Дѣло въ томъ, что сынъ Штольца баловалъ Обломова, то подсказывая ему уроки, то дѣлая за него переводы.

Ильѣ Ильичу ясно видится и домашній бытъ его, и житье у Штольца.

Онъ только-что проснется у себя дома, какъ у постели его уже стоитъ Захарка, впослѣдствіи знаменитый камердинеръ его Захаръ Трофимычъ.

Захаръ, какъ, бывало, нянька, натягиваетъ ему чулки, надѣваетъ башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилѣтній мальчикъ, только и знаетъ, что подставляетъ ему, лежа, то

ту, то другую ногу; а чуть-что покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захаркѣ ногой въ носъ.

Если недовольный Захарка вздумаетъ пожаловаться, то получитъ еще отъ старшихъ колотушку.

Потомъ Захарка чешетъ голову, натягиваетъ куртку, осторожно продѣвая руки Ильи Ильича въ рукава, чтобъ не слишкомъ безпокоить его, и напоминаетъ Ильѣ Ильичу, что надо сдѣлать то, другое: вставши по утру, умыться и т. п.

Захочетъ ли чего-нибудь Илья Ильичъ, ему стоитъ только мигнуть—ужъ трое-четверо слугъ кидаются исполнять его желаніе; уронитъ ли онъ что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанетъ, — принести ли что, сбѣгать ли за чѣмъ: ему иногда, какъ рѣзвому мальчику, такъ и хочется броситься и передѣлать все самому, а тутъ вдругъ отецъ и мать, да три тётки въ пять голосовъ и закричатъ:

— Зачѣмъ? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вотъ я васъ!..

И не удастся никакъ Ильѣ Ильичу сдѣлать что-нибудь самому для себя.

Послѣ онъ нашелъ, что оно и покойнѣе гораздо, и самъ выучился покрикивать:

— Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбѣгай, принеси!

Подчасъ нѣжная заботливость родителей и надоѣдала ему.

Побѣжитъ ли онъ съ лѣстницы, или по двору, вдругъ вслѣдъ ему раздастся въ десять отчаянныхъ голосовъ:— Ахъ, ахъ! Поддержите, остановите! Упадетъ, расшибется... стой, стой!

Задумаетъ ли онъ выскочить зимой въ сѣни, или отворить форточку—опять крики:—Ай, куда? Какъ можно? Не бѣгай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...

И Илюша съ печалью оставался дома, лелѣемый, какъ

экзотическій цвѣтокъ въ теплицѣ, и такъ же, какъ послѣдній подъ стекломъ, онъ росъ медленно и вяло. Ищущія проявленія силы обращались внутрь и никли, увядая.

А иногда онъ проснется такой бодрый, свѣжій, веселый; онъ чувствуетъ: въ немъ играетъ что-то, кипитъ, точно поселился бѣсёнокъ какой-нибудь, который такъ и поддразниваетъ его, то влѣзть на крышу, то сѣсть на савраску да поскакать въ луга, гдѣ сѣно косятъ, или посидѣть на заборѣ верхомъ, или подразнить деревенскихъ собакъ; или вдругъ захочется пуститься бѣгомъ по деревнѣ, потомъ въ поле, по буеракамъ, въ березнякъ, да въ три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть въ снѣжки, попробовать свои силы.

Бѣсёнокъ такъ и подмываетъ его: онъ крѣпится, крѣпится, наконецъ, не вытерпитъ, и вдругъ, безъ картуза, зимой, прыгъ съ крыльца на дворъ, оттуда за ворота, захватилъ въ обѣ руки по кому снѣга и мчится къ кучѣ мальчишекъ.

Свѣжій вѣтеръ такъ и рѣжетъ ему лицо, за уши щиплетъ морозъ, въ ротъ и горло пахнуло холодомъ, а грудь охватило радостью — онъ мчится, откуда ноги взялись, самъ и визжитъ, и хохочетъ.

Вотъ и мальчишки: онъ бацъ снѣгомъ — мимо: сноровки нѣтъ; только хотѣлъ захватить еще снѣжку, какъ все лицо залѣпила ему цѣлая глыба снѣгу: онъ упалъ; и больно ему съ непривычки, и весело, и хохочетъ онъ, и слезы у него на глазахъ...

А въ домѣ гвалтъ:—Илюши нѣтъ! Крикъ, шумъ. На дворъ выскочилъ Захарка, за нимъ Васька, Митька, Ванька—всѣ бѣгутъ, растерянные, по двору.

За ними кинулись, хватая ихъ за пятки, двѣ собаки, которыя, какъ извѣстно, не могутъ равнодушно видѣть бѣгущаго человѣка.

Люди съ криками, съ воплями, собаки съ лаемъ, мчатся по деревнѣ.

Наконецъ, набѣжали на мальчишекъ и начали чинить правосудіе: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцамъ ихъ.

Потомъ уже овладѣли барчонкомъ, окутали его въ захваченный тулупъ, потомъ въ отцовскую шубу, потомъ въ два одѣяла, и торжественно принесли на рукахъ домой.

Дома отчаялись уже видѣть его, считая погибшимъ; но при видѣ его, живого и невредимаго, радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потомъ напоили его мятой, тамъ бузиной, къ вечеру еще малиной, и продержали дня три въ постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть въ снѣжки...

X.

Только-что храпѣнье Ильи Ильича достигло слуха Захара, какъ онъ прыгнулъ осторожно, безъ шума, съ лежанки, вышелъ на цыпочкахъ въ сѣни, заперъ барина на замокъ и отправился къ воротамъ.

— А, Захаръ Трофимычъ: добро пожаловать! Давно васъ не видно! — заговорили на разные голоса кучера, лакеи, бабы и мальчишки у воротъ.

— Что вашъ-то? Со двора, что ли, ушелъ? — спросилъ дворникъ.

— Дрыхнетъ,—мрачно сказалъ Захаръ.

— Что такъ?—спросилъ кучеръ.—Рано бы, кажись, объ эту пору... нездоровъ, видно?

— Э, какое нездоровъ! Нарѣзался!—сказалъ Захаръ такимъ голосомъ, какъ-будто и самъ убѣжденъ былъ въ этомъ.—Повѣрите ли? Одинъ выпилъ полторы бутылки мадеры, два штофа квасу, да вонъ теперь и завалился.

— Экъ!—съ завистью сказалъ кучеръ.

— Что жъ это онъ нынче такъ подгулялъ? — спросила одна изъ женщинъ.

— Нѣтъ, Татьяна Ивановна, — отвѣчалъ Захаръ, бросивъ на нее свой односторонній взглядъ: — не то, что нынче: совсѣмъ никуда не годенъ сталъ — и говорить-то тошно!

— Видно, какъ моя!—со вздохомъ замѣтила она.

— А что, Татьяна Ивановна, поѣдетъ она сегодня куда-нибудь? — спросилъ кучеръ: — мнѣ бы вонъ тутъ недалечко сходить?

— Куда ее унесетъ! — отвѣчала Татьяна. — Сидитъ съ своимъ ненаглядным, да не налюбуются другъ на друга.

— Онъ къ вамъ частенько,—сказалъ дворникъ:—надоѣлъ по ночамъ, проклятый: ужъ всѣ выйдутъ, и всѣ придутъ: онъ всегда послѣдній, да еще ругается, зачѣмъ парадное крыльцо заперто... Стану я для него тутъ караулить крыльцо-то!

— Какой дуракъ, братцы,—сказала Татьяна:—такъ этакого поискать! Чего, чего не надаритъ ей? Она разрядится, точно пава, и ходитъ такъ важно; а кабы кто посмотрѣлъ, какія юбки, да какіе чулки носитъ, такъ срамъ посмотрѣть! Шеи по двѣ недѣли не моетъ, а лицо мажетъ... Иной разъ согрѣшишь, право, подумаешь: «Ахъ, ты, убогая! надѣла бы ты платокъ на голову, да шла бы въ монастырь, на богомолье...»

Всѣ, кромѣ Захара, засмѣялись.

— Ай-да Татьяна Ивановна, мимо не попадетъ!—говорили одобрительно голоса.

— Да право!—продолжала Татьяна.—Какъ это господа пускаютъ съ собой этакую?..

— Куда это вы собрались? — спросилъ ее кто-то. — Что это за узелъ у васъ?

— Платье несу къ портнихѣ; послала щеголиха-то моя: вишь широко! А какъ станемъ съ Дуняшей тушу-то сти-

гивать, такъ руками послѣ дня три дѣлать ничего нельзя: всѣ обломаешь! Ну, мнѣ пора. Прощайте, пока.

— Прощайте, прощайте!—сказали нѣкоторые.

— Прощайте, Татьяна Ивановна, — сказалъ кучеръ. — Приходите-ка вечеркомъ.

— Да не знаю какъ; можетъ, приду, а то такъ... ужъ прощайте!

— Ну, прощайте,—сказали всѣ.

— Прощайте... счастливо вамъ!—отвѣчала она, уходя.

— Прощайте, Татьяна Ивановна!—крикнулъ еще вслѣдъ кучеръ.

— Прощайте!—звонко откликнулась она издали.

Когда она ушла, Захаръ какъ-будто ожидалъ своей очереди говорить. Онъ сѣлъ на чугунный столбикъ у воротъ и началъ болтать ногами, угрюмо и разсѣянно поглядывая на проходящихъ и проѣзжающихъ.

— Ну, какъ вашъ-то сегодня, Захаръ Трофимычъ? — спросилъ дворникъ.

— Да какъ всегда: бѣсится съ жиру,—сказалъ Захаръ:— а все за тебя, по твоей милости, перенесъ я горя-то не мало: все насчетъ квартиры-то! Бѣсится: больно не хочется съѣзжать...

— Что̀ я-то виноватъ? — сказалъ дворникъ. — По мнѣ живи-себѣ хоть вѣкъ; нешто я тутъ хозяинъ? Мнѣ велятъ... Кабы я былъ хозяинъ, а то я не хозяинъ...

— Что жъ онъ, ругается, что ли? — спросилъ чей-то кучеръ.

— Ужъ такъ ругается, что какъ только Богъ даетъ силу переносить!

— Ну, что жъ? Это добрый баринъ, коли все ругается!— сказалъ одинъ лакей, медленно, со скрипомъ открывая круглую табакерку, и руки всей компаніи, кромѣ Захаровыхъ, потянулись за табакомъ. Началось всеобщее нюханье, чиханье и плеванье.

— Коли ругается, такъ лучше,—продолжалъ тотъ:—чѣмъ пуще ругается, тѣмъ лучше: по крайности не прибьетъ, коли ругается. А вотъ, какъ я жилъ у одного: ты еще не знаешь за что, а ужъ онъ, смотришь, за волосы держитъ тебя.

Захаръ презрительно ожидалъ, пока этотъ кончилъ свою тираду и, обратившись къ кучеру, продолжалъ:

— Такъ вотъ опозорить тебѣ человѣка ни за что, ни про что,—говорилъ онъ:—это ему ни почемъ!

— Неугодливъ видно?—спросилъ дворникъ.

— И! — прохрипѣлъ Захаръ значительно, зажмуривъ глаза. — Такъ неугодливъ, что бѣда! И то не такъ, и это не такъ, и ходить не умѣешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съѣдаешь... Тьфу, чтобъ тебѣ!.. Сегодня напустился—срамъ слушать! А за что? Кусочекъ сыру еще отъ той недѣли остался—собакѣ стыдно бросить—такъ нѣтъ, человѣкъ и не думай съѣсть! Спросилъ — «нѣтъ-молъ», и пошелъ: «Тебя, говоритъ, повѣсить надо, тебя, говоритъ, сварить въ горячей смолѣ надо, да щипцами калеными рвать; колъ осиновый, говоритъ, въ тебя вколотить надо!» А самъ такъ и лѣзетъ, такъ и лѣзетъ... Какъ вы думаете, братцы? Намедни обварилъ я ему—кто его знаетъ какъ—ногу кипяткомъ, такъ вѣдь какъ заоралъ! Не отскочи я, такъ онъ бы толкнулъ меня въ грудь кулакомъ... такъ и норовитъ! Чисто толкнулъ бы...

Кучеръ покачалъ головой, а дворникъ сказалъ:

— Вишь ты, бойкій баринъ: не даетъ повадки!

— Ну, коли еще ругаетъ, такъ это славный баринъ! — флегматически говорилъ все тотъ же лакей.—Другой хуже, какъ не ругается: глядитъ, глядитъ, да вдругъ тебя за волосы поймаетъ, а ты еще не смекнулъ, за что!

— Да даромъ,—сказалъ Захаръ, не обративъ опять никакого вниманія на слова перебившаго его лакея:—нога

еще и доселѣва не зажила: все мажетъ мазью; пусть-ка его!

— Характерный баринъ!—сказалъ дворникъ.

— И не дай Богъ!—продолжалъ Захаръ:—убьетъ когда-нибудь человѣка; ей-Богу, до смерти убьетъ! И вѣдь за всяку бездѣлицу норовитъ выругать лысымъ... ужъ не хочется договаривать. А вотъ сегодня такъ новое выдумалъ: «ядовитый», говоритъ! Поворачивается же языкъ-то!..

— Ну, это что?—говорилъ все тотъ же лакей.—Коли ругается, такъ это слава Богу, дай Богъ такому здоровья... А какъ все молчитъ; ты идешь мимо, а онъ глядитъ, глядитъ да и вцѣпится, вонъ какъ тотъ, у котораго я жилъ. А ругается, такъ ничего...

— И подѣломъ тебѣ,—замѣтилъ ему Захаръ съ злостью за непрошенныя возраженія:—я бы еще не такъ тебя.

— Какъ же онъ ругаетъ «лысымъ», Захаръ Трофимычъ,—спросилъ казачокъ лѣтъ пятнадцати:—чортомъ, что ли?

Захаръ медленно поворотилъ къ нему голову и остановилъ на немъ мутный взглядъ.

— Смотри ты у меня!—сказалъ онъ потомъ ѣдко.—Молодъ, братъ, востеръ очень! Я не посмотрю, что ты генеральскій: я-те за вихоръ! Пошелъ-ка къ своему мѣсту!

Казачокъ отошелъ шага на два, остановился и глядѣлъ съ улыбкой на Захара.

— Что скалишь зубы-то?—съ яростью захрипѣлъ Захаръ.—Погоди, попадешься, я-те уши-то направлю, какъ разъ: будешь у меня скалить зубы!

Въ это время изъ подъѣзда выбѣжалъ огромный лакей, въ ливрейномъ фракѣ нараспашку, съ аксельбантами и въ штиблетахъ. Онъ подошелъ къ казачку, далъ ему сначала оплеуху, потомъ назвалъ дуракомъ.

— Что вы, Матвѣй Мосеичъ, за что это?—сказалъ озадаченный и сконфуженный казачокъ, придерживаясь за щеку и судорожно мигая.

— А! Ты еще разговаривать? — отвѣчалъ лакей. — Я за тобой по всему дому бѣгаю, а ты здѣсь!

Онъ взялъ его одной рукой за волосы, нагнулъ ему голову и три раза методически, ровно и медленно, ударилъ его по шеѣ кулакомъ.

— Баринъ пять разъ звонилъ, — прибавилъ онъ въ видѣ правоученія: — а меня ругаютъ за тебя, щенка этакаго! Пошелъ!

И онъ повелительно указывалъ ему рукой на лѣстницу. Мальчикъ постоялъ съ минуту въ какомъ-то недоумѣніи, мигнулъ раза два, взглянулъ на лакея, и видя, что отъ него больше ждать нечего, кромѣ повторенія того же самаго, встряхнулъ волосами и пошелъ на лѣстницу, какъ встрепанный.

Какое торжество для Захара!

— Хорошенько его, хорошенько, Матвѣй Мосеичъ! Еще, еще! — приговаривалъ онъ, злобно радуясь. — Эхъ, мало! Ай-да Матвѣй Мосеичъ! Спасибо! А то востеръ больно... Вотъ тебѣ «лысый чортъ»! Будешь впередъ зубоскалить?

Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно-радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовалъ.

— Вотъ, вотъ этакъ же, ни дать, ни взять, бывало, мой прежній баринъ, — началъ опять тотъ же лакей, что все перебивалъ Захара: — ты, бывало, думаешь какъ бы повеселиться, а онъ вдругъ, словно угадаетъ, что̀ ты думалъ, идетъ мимо, да и ухватитъ, вотъ, этакъ, вотъ какъ Матвѣй Мосеичъ Андрюшку. А это что, коли только ругается! Велика важность: «лысымъ чортомъ» выругаетъ!

— Тебя бы, можетъ, ухватилъ и его баринъ, — отвѣчалъ ему кучеръ, указывая на Захара: — вишь у-те войлокъ какой на головѣ! А за что̀ онъ ухватитъ Захара-то Трофимыча? Голова-то словно тыква... Развѣ вотъ за эти днѣ

бороды-то, что на скулахъ-то, поймаетъ: ну, тамъ есть за что!..

Всѣ захохотали; а Захаръ былъ какъ ударомъ пораженъ этой выходкой кучера, съ которымъ однимъ онъ и велъ до тѣхъ поръ дружескую бесѣду.

— А вотъ какъ я скажу барину-то, — началъ онъ съ яростью хрипѣть на кучера: — такъ онъ найдетъ за что и тебя ухватить: онъ тебѣ бороду-то выгладитъ: вишь она у тебя въ сосулькахъ вся!

— Гораздъ же твой баринъ, коли будетъ чужимъ кучерамъ бороды гладить! Нѣтъ, вы заведите-ка своихъ, да въ тѣ поры и гладьте, а то больно тороватъ!

— Не тебя ли взять въ кучера, мазурика этакаго?—захрипѣлъ Захаръ. — Такъ ты не стоишь, чтобъ тебя самого запрячь моему барину-то!

— Ну, ужъ баринъ! — замѣтилъ язвительно кучеръ. — Гдѣ ты этакаго выкопалъ?

Онъ самъ, и дворникъ, и цырюльникъ, и лакей, и защитникъ системы ругательства, всѣ захохотали.

— Смѣйтесь, смѣйтесь, а я вотъ скажу барину-то!—хрипѣлъ Захаръ.—А тебѣ,—сказалъ онъ, обращаясь къ дворнику:—надо бы унять этихъ разбойниковъ, а не смѣяться. Ты зачѣмъ приставленъ здѣсь? Порядокъ всякій исправлять. А ты что? Я, вотъ, скажу барину-то; постой, будетъ тебѣ!

— Ну, полно, полно, Захаръ Трофимычъ!—говорилъ дворникъ, стараясь успокоить его:—что онъ тебѣ сдѣлалъ?

— Какъ онъ смѣетъ такъ говорить про моего барина?—возразилъ горячо Захаръ, указывая на кучера.—Да знаетъ ли онъ, кто мой баринъ-то? — съ благоговѣніемъ спросилъ онъ.—Да тебѣ,—говорилъ онъ, обращаясь къ кучеру:—и во снѣ не увидать такого барина: добрый, умница, красавецъ! А твой-то точно некормленная кляча! Срамъ посмотрѣть, какъ выѣзжаете со двора на бурой кобылѣ: точно

нищіе! Ѣдите-то рѣдьку съ квасомъ. Вонъ на тебѣ армячишка: дыръ-то не сосчитаешь!..

Надо замѣтить, что армякъ на кучерѣ былъ вовсе безъ дыръ.

— Да ужъ такого не сыщешь,— перебилъ кучеръ и выдернулъ проворно совсѣмъ наружу торчавшій изъ-подъ мышки Захара клочокъ рубашки.

— Полно, полно вамъ!—твердилъ дворникъ, протягивая между нихъ руки.

— А! Ты платье мое драть!—закричалъ Захаръ, вытаскивая еще больше рубашки наружу.—Постой, я покажу барину! Вотъ, братцы, посмотрите, что онъ сдѣлалъ: платье мнѣ разорвалъ!..

— Да, я!—говорилъ кучеръ, нѣсколько струсивъ.—Видно баринъ оттрепалъ...

— Оттреплетъ этакій баринъ!—говорилъ Захаръ.—Такая добрая душа; да это золото—а не баринъ, дай Богъ ему здоровья! Я у него, какъ въ царствіи небесномъ: ни нужды никакой не знаю, отъ-роду дуракомъ не назвалъ; живу въ добрѣ, въ покоѣ, ѣмъ съ его стола, уйду, куда хочу—вотъ что!.. А въ деревнѣ у меня особый домъ, особый огородъ, отсыпной хлѣбъ; мужики всѣ въ поясъ мнѣ! Я и управляющій, и можедомъ! А вы-то съ своимъ...

У него отъ злости недоставало голоса, чтобъ окончательно уничтожить своего противника. Онъ остановился на минуту, чтобъ собраться съ силами и придумать ядовитое слово, но не придумалъ, отъ избытка скопившейся желчи.

— Да, вотъ постой, какъ еще ты за платье-то раздѣлаешься: дадутъ тебѣ рвать!..—проговорилъ онъ наконецъ.

Задѣвши его барина, задѣли за живое и Захара. Расшевелили и честолюбіе, и самолюбіе: преданность проснулась и высказалась со всей силой. Онъ готовъ былъ облить ядомъ желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, которой даже не зналъ, есть ли она, и зна-

комыхъ. Тутъ онъ съ удивительною точностью повторилъ всѣ клеветы и злословія о господахъ, почерпнутыя имъ изъ прежнихъ бесѣдъ съ кучеромъ.

— А вы-то съ бариномъ голь проклятая, жиды, хуже нѣмца! — говорилъ онъ. — Дѣдушка-то, я знаю, кто у васъ былъ: приказчикъ съ толкучаго. Вчера гости-то вышли отъ васъ вечеромъ, такъ я подумалъ, не мошенники ли какіе забрались въ домъ: жалость смотрѣть! Мать тоже на толкучемъ торговала крадеными да изношенными платьями.

— Полно, полно вамъ!..—унималъ дворникъ.

— Да!—говорилъ Захаръ.—У меня-то, слава Богу! баринъ столбовой; пріятели-то генералы, графы да князья. Еще не всякаго графа посадитъ съ собой: иной придетъ да и настоится въ прихожей... Ходятъ все сочинители...

— Какіе это такіе, братецъ ты мой, сочинители?—спросилъ дворникъ, желая прекратить раздоръ. — Чиновники, что ли, такіе?

— Нѣтъ, это такіе господа, которые сами выдумываютъ, что имъ понадобится,—объяснилъ Захаръ.

— Что жъ они у васъ дѣлаютъ?—спросилъ дворникъ.

— Что? Одинъ трубку спроситъ, другой хересу...—сказалъ Захаръ, и остановился, замѣтивъ, что почти всѣ насмѣшливо улыбаются.

— А вы тутъ всѣ мерзавцы, сколько васъ ни-на-есть!—скороговоркой сказалъ онъ, окинувъ всѣхъ одностороннимъ взглядомъ. — Дадутъ тебѣ чужое платье драть! Я пойду барину скажу!—прибавилъ онъ и быстро пошелъ домой.

— Полно тебѣ! Постой, постой! — кричалъ дворникъ. — Захаръ Трофимычъ! Пойдемъ въ полпивную, пожалуйста, пойдемъ...

Захаръ остановился на дорогѣ, быстро обернулся и, не глядя на дворню, еще быстрѣе ринулся на улицу. Онъ дошелъ, не оборачиваясь ни на кого, до двери полпивной, которая была напротивъ; тутъ онъ обернулся, мрачно окинулъ

взглядомъ все общество и еще мрачнѣе махнулъ всѣмъ рукой, чтобъ шли за нимъ, и скрылся въ дверяхъ.

Всѣ прочіе тоже разбрелись: кто въ полпивную, кто домой; остался только одинъ лакей.

— Ну, что за бѣда, коли и скажетъ барину? — самъ съ собой въ раздумьѣ, флегматически, говорилъ онъ, открывая медленно табакерку. — Баринъ добрый, видно по всему, только обругаетъ! Это еще что, коли обругаетъ? А то, иной, глядитъ, глядитъ, да и за волосы...

XI.

Въ началѣ пятаго часа Захаръ осторожно, безъ шума, отперъ переднюю и на цыпочкахъ пробрался въ свою комнату; тамъ онъ подошелъ къ двери барскаго кабинета и сначала приложилъ къ ней ухо, потомъ присѣлъ и приставилъ къ замочной скважинѣ глазъ.

Въ кабинетѣ раздавалось мѣрное храпѣнье.

— Спитъ,— прошепталъ онъ: — надо будить: скоро половина пятаго.

Онъ кашлянулъ и вошелъ въ кабинетъ.

— Илья Ильичъ! А, Илья Ильичъ! — началъ онъ тихо, стоя у изголовья Обломова.

Храпѣнье продолжалось.

— Экъ спитъ-то!—сказалъ Захаръ:—словно каменщикъ. Илья Ильичъ!

Захаръ слегка тронулъ Обломова за рукавъ.

— Вставайте: пятаго половина.

Илья Ильичъ только промычалъ въ отвѣтъ на это, но не проснулся.

— Вставайте же, Илья Ильичъ! Что это за срамъ!— говорилъ Захаръ, возвышая голосъ.

Отвѣта не было.

— Илья Ильичъ! — твердилъ Захаръ, потрогивая барина за рукавъ.

Обломовъ повернулъ немного голову и съ трудомъ открылъ на Захара одинъ глазъ, изъ котораго такъ и выглядывалъ параличъ.

— Кто тутъ?—спросилъ онъ хриплымъ голосомъ.

— Да я. Вставайте.

— Поди прочь!— проворчалъ Илья Ильичъ и погрузился опять въ тяжелый сонъ.

Вмѣсто храпѣнья сталъ раздаваться свистъ носомъ. Захаръ потянулъ его за полу.

— Чего тебѣ?—грозно спросилъ Обломовъ, вдругъ открывъ оба глаза.

— Вы велѣли разбудить себя.

— Ну, знаю. Ты исполнилъ свою обязанность и пошелъ прочь! Остальное касается до меня...

— Не пойду, — говорилъ Захаръ, потрогивая его опять за рукавъ.

— Ну же, не трогай! — кротко заговорилъ Илья Ильичъ и, уткнувъ голову въ подушку, началъ-было храпѣть.

— Нельзя, Илья Ильичъ,—говорилъ Захаръ:—я бы радъ-радёхонекъ, да никакъ нельзя!

И самъ трогалъ барина.

— Ну, сдѣлай же такую милость, не мѣшай, — убѣдительно говорилъ Обломовъ, открывая глаза.

— Да, сдѣлай вамъ милость, а послѣ сами же будете гнѣваться, что не разбудилъ...

— Ахъ, ты, Боже мой! что это за человѣкъ! — говорилъ Обломовъ.—Ну, дай хоть минутку соснуть: ну, что это такое, одна минута? Я самъ знаю...

Илья Ильичъ вдругъ смолкъ, внезапно пораженный сномъ.

— Знаешь ты дрыхнуть! — говорилъ Захаръ, увѣренный, что баринъ не слышитъ.—Вишь дрыхнетъ, словно чурбанъ осиновый! Зачѣмъ ты на свѣтъ-то Божій родился? Да вставай же ты! говорятъ тебѣ...—заревѣлъ-было Захаръ.

— Что? что?—грозно заговорилъ Обломовъ, приподнимая голову.

— Что, молъ, сударь, не встаете?—мягко отозвался Захаръ.

— Нѣтъ, ты какъ сказалъ-то — а? Какъ ты смѣешь такъ—а?

— Какъ?

— Грубо говорить?

— Это вамъ во снѣ померещилось... ей-Богу, во снѣ.

— Ты думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слышу...

А самъ ужъ опять спалъ.

— Ну,—говорилъ Захаръ въ отчаяніи: — ахъ, ты головушка! Что лежишь, какъ колода? Вѣдь на тебя смотрѣть тошно: Поглядите, добрые люди!.. Тьфу!

— Вставайте, вставайте!—вдругъ испуганнымъ голосомъ заговорилъ онъ:—Илья Ильичъ! Посмотрите-ка, что̀ вокругъ насъ дѣлается...

Обломовъ быстро поднялъ голову, поглядѣлъ кругомъ и опять легъ, съ глубокимъ вздохомъ.

— Оставь меня въ покоѣ!—сказалъ онъ важно. — Я велѣлъ тебѣ будить меня, а теперь отмѣняю приказаніе—слышишь ли? Я самъ проснусь, когда мнѣ вздумается.

Иногда Захаръ такъ и отстанетъ, сказавъ:

— Ну, дрыхни, чортъ съ тобой!

А въ другой разъ такъ настоитъ на своемъ, и теперь настоялъ.

— Вставайте, вставайте!—во все горло заголосилъ онъ и схватилъ Обломова обѣими руками за полу и за рукавъ.

Обломовъ, вдругъ, неожиданно вскочилъ на ноги и ринулся на Захара.

— Постой же, вотъ я тебя выучу, какъ тревожить барина, когда онъ почивать хочетъ!—говорилъ онъ.

Захаръ со всѣхъ ногъ бросился отъ него, но на третьемъ шагу Обломовъ отрезвился совсѣмъ отъ сна и началъ потягиваться, зѣвая.

— Дай... квасу... — говорилъ онъ въ промежуткахъ зѣвоты.

Тутъ же, изъ-за спины Захара, кто-то разразился звонкимъ хохотомъ. Оба оглянулись.

— Штольцъ! Штольцъ!—въ восторгѣ кричалъ Обломовъ, бросаясь къ гостю.

— Андрей Иванычъ!—осклабясь говорилъ Захаръ.

Штольцъ продолжалъ покатываться со смѣха: онъ видѣлъ всю происходившую сцену.

Часть вторая.

I.

Штольцъ былъ нѣмецъ только вполовину, по отцу: мать его была русская; вѣру онъ исповѣдывалъ православную; природная рѣчь его была русская; онъ учился ей у матери и изъ книгъ, въ университетской аудиторіи и въ играхъ съ деревенскими мальчишками, въ толкахъ съ ихъ отцами и на московскихъ базарахъ. Нѣмецкій же языкъ онъ наслѣдовалъ отъ отца, да изъ книгъ.

Въ селѣ Верхлёвѣ, гдѣ отецъ его былъ управляющимъ, Штольцъ выросъ и воспитывался. Съ восьми лѣтъ онъ сидѣлъ съ отцомъ за географической картой, разбиралъ по складамъ Гердера, Виланда, библейскіе стихи и подводилъ итоги безграмотнымъ счетамъ крестьянъ, мѣщанъ и фабричныхъ, а съ матерью читалъ священную исторію, училъ басни Крылова и разбиралъ по складамъ же Телемака.

Оторвавшись отъ указки, бѣжалъ разорять птичьи гнѣзда съ мальчишками, и нерѣдко, среди класса, или за молитвой, изъ кармана его раздавался писк галчатъ.

Бывало и то, что отецъ сидитъ въ послѣобѣденный часъ подъ деревомъ въ саду и куритъ трубку, а мать вяжетъ какую-нибудь фуфайку, или вышиваетъ по канвѣ: вдругъ съ улицы раздается шумъ, крики, и цѣлая толпа людей врывается въ домъ.

— Что такое?—спрашиваетъ испуганная мать.

— Дай... квасу... — говорилъ онъ въ промежуткахъ зѣвоты.

Тутъ же, изъ-за спины Захара, кто-то разразился звонкимъ хохотомъ. Оба оглянулись.

— Штольцъ! Штольцъ!—въ восторгѣ кричалъ Обломовъ, бросаясь къ гостю.

— Андрей Иванычъ!—осклабясь говорилъ Захаръ.

Штольцъ продолжалъ покатываться со смѣха: онъ видѣлъ всю происходившую сцену.

Часть вторая.

I.

Штольцъ былъ нѣмецъ только вполовину, по отцу: мать его была русская; вѣру онъ исповѣдывалъ православную; природная рѣчь его была русская; онъ учился ей у матери и изъ книгъ, въ университетской аудиторіи и въ играхъ съ деревенскими мальчишками, въ толкахъ съ ихъ отцами и на московскихъ базарахъ. Нѣмецкій же языкъ онъ наслѣдовалъ отъ отца, да изъ книгъ.

Въ селѣ Верхлёвѣ, гдѣ отецъ его былъ управляющимъ, Штольцъ выросъ и воспитывался. Съ восьми лѣтъ онъ сидѣлъ съ отцомъ за географической картой, разбиралъ по складамъ Гердера, Виланда, библейскіе стихи и подводилъ итоги безграмотнымъ счетамъ крестьянъ, мѣщанъ и фабричныхъ, а съ матерью читалъ священную исторію, училъ басни Крылова и разбиралъ по складамъ же Телемака.

Оторвавшись отъ указки, бѣжалъ разорять птичьи гнѣзда съ мальчишками, и нерѣдко, среди класса, или за молитвой, изъ кармана его раздавался пискъ галчатъ.

Бывало и то, что отецъ сидитъ въ послѣобѣденный часъ подъ деревомъ въ саду и куритъ трубку, а мать вяжетъ какую-нибудь фуфайку, или вышиваетъ по канвѣ: вдругъ съ улицы раздается шумъ, крики, и цѣлая толпа людей врывается въ домъ.

— Что такое?—спрашиваетъ испуганная мать.

— Вѣрно, опять Андрея ведутъ,—хладнокровно говоритъ отецъ.

Двери размахиваются и толпа мужиковъ, бабъ, мальчишекъ вторгается въ садъ. Въ самомъ дѣлѣ, привели Андрея—но въ какомъ видѣ: безъ сапогъ, съ разорваннымъ платьемъ и съ разбитымъ носомъ, или у него самого, или у другого мальчишки.

Мать всегда съ безпокойствомъ смотрѣла, какъ Андрюша исчезалъ изъ дома на полсутки, и если бъ только не положительное запрещеніе отца мѣшать ему, она бы держала его возлѣ себя.

Она его обмоетъ, перемѣнитъ бѣлье, платье, и Андрюша полсутки ходитъ такимъ чистенькимъ, благовоспитаннымъ мальчикомъ, а къ вечеру, иногда и къ утру, опять его кто-нибудь притащитъ выпачканнаго, растрепаннаго, неузнаваемаго, или мужики привезутъ на возу съ сѣномъ, или, наконецъ, съ рыбаками пріѣдетъ онъ на лодкѣ, заснувши на неводу.

Мать въ слезы, а отецъ ничего, еще смѣется.

— Добрый буршъ будетъ, добрый буршъ! — скажетъ иногда.

— Помилуй, Иванъ Богданычъ, — жаловалась она: — не проходитъ дня, чтобъ онъ безъ синяго пятна воротился, а намедни носъ до крови разбилъ.

— Что за ребенокъ, если ни разу носу себѣ или другому не разбилъ?—говорилъ отецъ со смѣхомъ.

Мать поплачетъ, поплачетъ, потомъ сядетъ за фортепіано и забудется за Герцомъ: слезы каплютъ, одна за другой, на клавиши. Но вотъ приходитъ Андрюша, или его приведутъ; онъ начнетъ разсказывать такъ бойко, такъ живо, что разсмѣшитъ и ее, притомъ онъ такой понятливый! Скоро онъ сталъ читать Телемака, какъ она сама, и играть съ ней въ четыре руки.

Однажды онъ пропалъ уже на недѣлю: мать выплакала глаза, а отецъ ничего—ходитъ по саду да куритъ.

— Вотъ, если бъ Обломова сынъ пропалъ,—сказалъ онъ на предложеніе жены, поѣхать, поискать Андрея: — такъ я бы поднялъ на ноги всю деревню и земскую полицію, а Андрей придетъ. О, добрый буршъ!

На другой день Андрея нашли преспокойно спящаго въ своей постели, а подъ кроватью лежало чье-то ружье и фунтъ пороху и дроби.

— Гдѣ ты пропадалъ? Гдѣ взялъ ружье?—засыпала мать вопросами.—Что жъ молчишь?

— Такъ!—только и было отвѣта.

Отецъ спросилъ: готовъ ли у него переводъ изъ Корнелія Непота на нѣмецкій языкъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ.

Отецъ взялъ его одной рукой за воротникъ, вывелъ за ворота, надѣлъ ему на голову фуражку и ногой толкнулъ сзади такъ, что сшибъ съ ногъ.

— Ступай, откуда пришелъ,—прибавилъ онъ:—и приходи опять съ переводомъ, вмѣсто одной, двухъ главъ, а матери выучи роль изъ французской комедіи, что она задала: безъ этого не показывайся!

Андрей воротился черезъ недѣлю и принесъ и переводъ, и выучилъ роль.

Когда онъ подросъ, отецъ сажалъ его съ собой на рессорную тележку, давалъ вожжи и велѣлъ везти на фабрику, потомъ въ поля, потомъ въ городъ, къ купцамъ, въ присутственныя мѣста, потомъ посмотрѣть какую-нибудь глину, которую возьметъ на палецъ, понюхаетъ, иногда лизнетъ, и сыну дастъ понюхать, и объяснитъ, какая она, на что годится. Не то, такъ отправятся посмотрѣть, какъ добываютъ поташъ, или деготь, топятъ сало.

Четырнадцати, пятнадцати лѣтъ, мальчикъ отправлялся частенько одинъ, въ телѣжкѣ, или верхомъ, съ сумкой у

сѣдла, съ порученіями отъ отца въ городъ, и никогда не случалось, чтобъ онъ забылъ что-нибудь, переиначилъ, не доглядѣлъ, далъ промахъ.

— Recht gut, mein lieber Junge! — говорилъ отецъ, выслушавъ отчетъ и трепля его широкой ладонью по плечу, давалъ два, три рубля, смотря по важности порученія.

Мать послѣ долго отмываетъ копоть, грязь, глину и сало съ Андрюши.

Ей не совсѣмъ нравилось это трудовое, практическое воспитаніе. Она боялась, что сынъ ея сдѣлается такимъ же нѣмецкимъ бюргеромъ, изъ какихъ вышелъ отецъ. На всю нѣмецкую націю она смотрѣла, какъ на толпу патентованныхъ мѣщанъ, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, съ какими нѣмецкая масса предъявляетъ вездѣ свои тысячелѣтіемъ выработанныя бюргерскія права, какъ корова носитъ свои рога, не умѣя кстати ихъ спрятать.

На ея взглядъ во всей нѣмецкой націи не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она въ нѣмецкомъ характерѣ не замѣчала никакой мягкости, деликатности, снисхожденія, ничего того, что дѣлаетъ жизнь такъ пріятною въ хорошемъ свѣтѣ, съ чѣмъ можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общій обычай, не подчиниться уставу.

Нѣтъ, такъ и ломятъ эти невѣжи, такъ и напираютъ на то, что у нихъ положено, что заберутъ себѣ въ голову, готовы хоть стѣну пробить лбомъ, лишь бы поступить по правиламъ.

Она жила гувернанткой въ богатомъ домѣ и имѣла случай быть за границей, проѣхала всю Германію и смѣшала всѣхъ нѣмцевъ въ одну толпу курящихъ коротенькія трубки и поплевывающихъ сквозь зубы приказчиковъ, мастеровыхъ, купцовъ, прямыхъ — какъ палка — офицеровъ съ солдатскими, и чиновниковъ — съ будничными лицами, способ-

ныхъ только на черную работу, на труженическое добываніе денегъ, на пошлый порядокъ, скучную правильность жизни и педантическое отправленіе обязанностей: всѣхъ этихъ бюргеровъ, съ угловатыми манерами, съ большими грубыми руками, съ мѣщанской свѣжестью въ лицѣ и съ грубой рѣчью.

«Какъ ни наряди нѣмца», думала она: «какую тонкую и бѣлую рубашку онъ ни надѣнетъ, пусть обуется въ лакированные сапоги, даже надѣнетъ желтыя перчатки, а все онъ скроенъ какъ будто изъ сапожной кожи; изъ-подъ бѣлыхъ манжетъ все торчатъ жесткія и красноватыя руки, и изъ-подъ изящнаго костюма выглядываетъ, если не булочникъ, такъ буфетчикъ. Эти жесткія руки такъ и просятся приняться за шило, или много-много — что за смычокъ въ оркестрѣ».

А въ сынѣ ей мерещился идеалъ барина, хотя выскочки, изъ чернаго тѣла, отъ отца-бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки бѣленькаго, прекрасно-сложеннаго мальчика, съ такими маленькими руками и ногами, съ чистымъ лицомъ, съ яснымъ, бойкимъ взглядомъ, такого, на какихъ она наглядѣлась въ русскомъ богатомъ домѣ, и тоже за границею, конечно, не у нѣмцевъ.

И вдругъ онъ будетъ чуть не самъ ворочать жернова на мельницѣ, возвращаться домой съ фабрикъ и полей, какъ отецъ его: въ салѣ, въ навозѣ, съ красно-грязными, загрубѣвшими руками, съ волчьимъ аппетитомъ!

Она бросалась стричь Андрюшѣ ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала въ городѣ курточки; учила его прислушиваться къ задумчивымъ звукамъ Герца, пѣла ему о цвѣтахъ, о поэзіи жизни, шептала о блестящемъ призваніи, то воина, то писателя, мечтала съ нимъ о высокой роли, какая выпадаетъ инымъ на долю...

И вся эта перспектива должна сокрушиться отъ щел-

канья счетовъ, отъ разбиранья замасленныхъ расписокъ мужиковъ, отъ обращенія съ фабричными!

Она возненавидѣла даже телѣжку, на которой Андрюша ѣздилъ въ городъ, и клеенчатый плащъ, который подарилъ ему отецъ, и замшевыя зеленыя перчатки — всѣ грубые аттрибуты трудовой жизни.

На бѣду, Андрюша отлично учился, и отецъ сдѣлалъ его репетиторомъ въ своемъ маленькомъ пансіонѣ.

Ну, пусть бы такъ; но онъ положилъ ему жалованье, какъ мастеровому, совершенно по-нѣмецки: по десяти рублей въ мѣсяцъ, и заставлялъ его расписываться въ книгѣ.

Утѣшься, добрая мать: твой сынъ выросъ на русской почвѣ—не въ будничной толпѣ, съ бюргерскими коровьими рогами, съ руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: тамъ вѣчный праздникъ! Тамъ сбываютъ съ плечъ работу, какъ иго; тамъ баринъ не встаетъ съ зарей и не ходитъ по фабрикамъ, около намазанныхъ саломъ и масломъ колесъ и пружинъ.

Да и въ самомъ Верхлёвѣ стоитъ, хотя бо́льшую часть года пустой, запертый домъ, но туда частенько забирается шаловливый мальчикъ и тамъ видитъ онъ длинные залы и галлереи, темные портреты на стѣнахъ, не съ грубой свѣжестью, не съ жесткими большими руками,—видитъ томные голубые глаза, волосы подъ пудрой, бѣлыя, изнѣженныя лица, полныя груди, нѣжныя съ синими жилками руки, въ трепещущихъ манжетахъ, гордо положенныя на эфесъ шпаги; видитъ рядъ благородно-безполезно въ нѣгѣ протекшихъ поколѣній, въ парчѣ, бархатѣ и кружевахъ.

Онъ въ лицахъ проходитъ исторію славныхъ временъ, битвъ, именъ; читаетъ тамъ повѣсть о старинѣ, не такую, какую разсказывалъ ему сто разъ, поплевывая, за трубкой, отецъ о жизни въ Саксоніи, между брюквой и картофелемъ, между рынкомъ и огородомъ...

Года въ три разъ этотъ замокъ вдругъ наполнялся на-

родомъ, кипѣлъ жизнью, праздниками, балами; въ длинныхъ галлереяхъ сіяли по ночамъ огни.

Пріѣзжали князь и княгиня съ семействомъ: князь, сѣдой старикъ, съ выцвѣтшимъ пергаментнымъ лицомъ, тусклыми на-выкатѣ глазами и большимъ плѣшивымъ лбомъ, съ тремя звѣздами, съ золотой табакеркой, съ тростью съ яхонтовымъ набалдашникомъ, въ бархатныхъ сапогахъ; княгиня — величественная красотой, ростомъ и объемомъ женщина, къ которой, кажется, никогда никто не подходилъ близко, не обнялъ, не поцѣловалъ ее, даже самъ князь, хотя у ней было пятеро дѣтей.

Она казалась выше того міра, въ который нисходила въ три года разъ; ни съ кѣмъ не говорила, никуда не выѣзжала, а сидѣла въ угольной зеленой комнатѣ съ тремя старушками, да черезъ садъ, пѣшкомъ, по крытой галлереѣ, ходила въ церковь и садилась на стулъ за ширмы.

Зато въ домѣ, кромѣ князя и княгини, былъ цѣлый, такой веселый и живой міръ, что Андрюша дѣтскими зеленькими глазками своими смотрѣлъ вдругъ въ три или четыре разныя сферы, бойкимъ умомъ жадно и безсознательно наблюдалъ типы этой разнородной толпы, какъ пестрыя явленія маскарада.

Тутъ были князья Пьеръ и Мишель, изъ которыхъ первый тотчасъ преподалъ Андрюшѣ, какъ бьютъ зорю въ кавалеріи и пѣхотѣ, какія сабли и шпоры гусарскія и какія драгунскія, какихъ мастей лошади въ каждомъ полку и куда непремѣнно надо поступить послѣ ученья, чтобъ не опозориться.

Другой, Мишель, только лишь познакомился съ Андрюшей, какъ поставилъ его въ позицію и началъ выдѣлывать удивительныя штуки кулаками, попадая ими Андрюшѣ то въ носъ, то въ брюхо, потомъ сказалъ, что это англійская драка.

Дня черезъ три, Андрей, на основаніи только деревенской

свѣжести и съ помощью мускулистыхъ рукъ, разбилъ ему носъ и по англійскому, и по русскому способу, безъ всякой науки, и пріобрѣлъ авторитетъ у обоихъ князей.

Были еще двѣ княжны, дѣвочки одиннадцати и двѣнадцати лѣтъ, высокенькія, стройныя, нарядно-одѣтыя, ни съ кѣмъ не говорившія, никому не кланявшіяся и боявшіяся мужиковъ.

Была ихъ гувернантка, m-lle Ernestine, которая ходила пить кофе къ матери Андрюши и научила дѣлать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колѣни и завивала въ бумажки до сильной боли, потомъ брала бѣлыми руками за обѣ щеки и цѣловала такъ ласково!

Потомъ былъ нѣмецъ, который точилъ на станкѣ табакерки и пуговицы, потомъ учитель музыки, который напивался отъ воскресенья до воскресенья, потомъ цѣлая шайка горничныхъ, наконецъ, стая собакъ и собаченокъ.

Все это наполняло домъ и деревню шумомъ, гамомъ, стукомъ, кликами и музыкой.

Съ одной стороны Обломовка, съ другой княжескій замокъ, съ широкимъ раздольемъ барской жизни, встрѣтились съ нѣмецкимъ элементомъ, и не вышло изъ Андрея ни добраго бурша, ни даже филистера.

Отецъ Андрюши былъ агрономъ, технологъ, учитель. У отца своего, фермера, онъ взялъ практическіе уроки въ агрономіи, на саксонскихъ фабрикахъ изучилъ технологію, а въ ближайшемъ университетѣ, гдѣ было около сорока профессоровъ, получилъ призваніе къ преподаванію того, что кое-какъ успѣли ему растолковать сорокъ мудрецовъ.

Дальше онъ не пошелъ, а упрямо поворотилъ назадъ, рѣшивъ, что надо дѣлать дѣло, и возвратился къ отцу. Тотъ далъ ему сто талеровъ, новую котомку, и отпустилъ на всѣ четыре стороны.

Съ тѣхъ поръ Иванъ Богдановичъ не видалъ ни родины, ни отца. Шесть лѣтъ пространствовалъ онъ по Швейцаріи,

Австріи, а двадцать лѣтъ живетъ въ Россіи и благословляетъ свою судьбу.

Онъ былъ въ университетѣ и рѣшилъ, что сынъ его долженъ быть также тамъ — нужды нѣтъ, что это будетъ не нѣмецкій университетъ, нужды нѣтъ, что университетъ русскій долженъ будетъ произвести переворотъ въ жизни его сына и далеко отвести отъ той колеи, которую мысленно проложилъ отецъ въ жизни сына.

А онъ сдѣлалъ это очень просто: взялъ колею отъ своего дѣда и продолжилъ ее, какъ по линейкѣ, до будущаго своего внука, и былъ покоенъ, не подозрѣвая, что варіаціи Герца, мечты и разсказы матери, галлерея и будуаръ въ княжескомъ зàмкѣ обратятъ узенькую нѣмецкую колею въ такую широкую дорогу, какая не снилась ни дѣду его, ни отцу, ни ему самому.

Впрочемъ, онъ не былъ педантъ въ этомъ случаѣ и не сталъ бы настаивать на своемъ; онъ только не умѣлъ бы начертать въ своемъ умѣ другой дороги сыну.

Онъ мало объ этомъ заботился. Когда сынъ его воротился изъ университета и прожилъ мѣсяца три дома, отецъ сказалъ, что дѣлать ему въ Верхлёвѣ больше нечего, что вонъ ужъ даже Обломова отправили въ Петербургъ, что, слѣдовательно, и ему пора.

А отчего нужно ему въ Петербургъ, почему не могъ онъ остаться въ Верхлёвѣ и помогать управлять имѣніемъ—объ этомъ старикъ не спрашивалъ себя; онъ только помнилъ, что когда онъ самъ кончилъ курсъ ученья, то отецъ отослалъ его отъ себя.

И онъ отослалъ сына—таковъ обычай въ Германіи. Матери не было на свѣтѣ, и противорѣчить было некому.

Въ день отъѣзда Иванъ Богдановичъ далъ сыну сто рублей ассигнаціями.

— Ты поѣдешь верхомъ до губернскаго города,—сказалъ онъ: — тамъ получи отъ Калинникова триста-пятьдесятъ

рублей, а лошадь оставь у него. Если жъ его нѣтъ, продай лошадь; тамъ скоро ярмарка: дадутъ четыреста рублей и не на охотника. До Москвы доѣхать тебѣ станетъ рублей сорокъ, оттуда въ Петербургъ — семьдесятъ-пять; останется довольно. Потомъ—какъ хочешь. Ты дѣлалъ со мной дѣла, стало-быть знаешь, что у меня есть нѣкоторый капиталъ; но ты прежде смерти моей на него не разсчитывай, а я, вѣроятно, еще проживу лѣтъ двадцать, развѣ только камень упадетъ на голову. Лампада горитъ ярко, и масла въ ней много. Образованъ ты хорошо: передъ тобой всѣ карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй—не знаю, что̀ ты изберешь, къ чему чувствуешь больше охоты...

— Да я посмотрю, нельзя ли вдругъ по всѣмъ,—сказалъ Андрей.

Отецъ захохоталъ изо всей мочи и началъ трепать сына по плечу такъ, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего.

— Ну, а если не станетъ умѣнья, не сумѣешь самъ отыскать вдругъ свою дорогу, понадобится посовѣтоваться, спросить — зайди къ Рейнгольду: онъ научитъ. О! — прибавилъ онъ, поднявъ пальцы вверхъ и тряся головой: — это... это... (онъ хотѣлъ похвалить и не нашелъ слова). Мы вмѣстѣ изъ Саксоніи пришли. У него четырехъэтажный домъ. Я тебѣ адресъ скажу...

— Не надо, не говори,—возразилъ Андрей:—я пойду къ нему, когда у меня будетъ четырехъэтажный домъ, а теперь обойдусь безъ него...

Опять трепанье по плечу.

Андрей вспрыгнулъ на лошадь. У сѣдла были привязаны двѣ сумки: въ одной лежалъ клеенчатый плащъ и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги, да нѣсколько рубашекъ изъ верхлёвскаго полотна, вещи купленныя и взятыя по настоянію отца; въ другой лежалъ изящный фракъ

тонкаго сукна, мохнатое пальто, дюжина тонкихъ рубашекъ и ботинки, заказанныя въ Москвѣ, въ память наставленій матери.

— Ну!—сказалъ отецъ.

— Ну!—сказалъ сынъ.

— Все?—спросилъ отецъ.

— Все!—отвѣчалъ сынъ.

Они посмотрѣли другъ на друга молча, какъ будто пронзали взглядомъ одинъ другого насквозь.

Между тѣмъ около собралась кучка любопытныхъ сосѣдей посмотрѣть, съ разинутыми ртами, какъ управляющій отпуститъ сына на чужую сторону.

Отецъ и сынъ пожали другъ другу руки. Андрей поѣхалъ крупнымъ шагомъ.

— Каковъ щенокъ: ни слезинки! — говорили сосѣди. — Вонъ двѣ вороны такъ и надсѣдаются, каркаютъ на заборѣ: накаркаютъ онѣ ему—погоди ужо!..

— Да что ему вороны? Онъ на Ивана Купала по ночамъ въ лѣсу одинъ шатается: къ нимъ, братцы, это не пристаетъ. Русскому бы не сошло съ рукъ!

— А старый-то нехристь хорошъ!—замѣтила одна мать.— Точно котёнка выбросилъ на улицу: не обнялъ, не взвылъ!

— Стой! Стой Андрей!—закричалъ старикъ.

Андрей остановилъ лошадь.

— А! Заговорило видно ретивое! — сказали въ толпѣ съ одобреніемъ.

— Ну?—спросилъ Андрей.

— Подпруга слаба, надо подтянуть.

— Доѣду до Шамшевки, самъ поправлю. Время тратить нечего, надо засвѣтло пріѣхать.

— Ну!—сказалъ, махнувъ рукой, отецъ.

— Ну! — кивнувъ головой, повторилъ сынъ и, нагнувшись немного, только хотѣлъ пришпорить коня.

— Ахъ, вы, собаки, право, собаки! Словно чужіе!—говорили сосѣди.

Но вдругъ въ толпѣ раздался громкій плачъ: какая-то женщина не выдержала.

— Батюшка ты, свѣтикъ! — приговаривала она, утирая концомъ головного платка глаза. — Сиротка бѣдный! Нѣтъ у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя... Дай хоть я перекрещу тебя, красавецъ мой!..

Андрей подъѣхалъ къ ней, соскочилъ съ лошади, обнялъ старуху, потомъ хотѣлъ-было ѣхать — и вдругъ заплакалъ, пока она крестила и цѣловала его. Въ ея горячихъ словахъ послышался ему будто голосъ матери, возникъ на минуту ея нѣжный образъ.

Онъ еще крѣпко обнялъ женщину, наскоро отеръ слезы и вскочилъ на лошадь. Онъ ударилъ ее по бокамъ и исчезъ въ облакѣ пыли; за нимъ съ двухъ сторонъ отчаянно бросились вдогонку три дворняжки и залились лаемъ.

II.

Штольцъ ровесникъ Обломову: и ему уже за тридцать лѣтъ. Онъ служилъ, вышелъ въ отставку, занялся своими дѣлами и въ самомъ дѣлѣ нажилъ домъ и деньги. Онъ участвуетъ въ какой-то компаніи, отправляющей товары за границу.

Онъ безпрестанно въ движеніи: понадобится обществу послать въ Бельгію, или Англію агента — посылаютъ его: нужно написать какой-нибудь проектъ, или приспособить новую идею къ дѣлу — выбираютъ его. Между тѣмъ онъ ѣздитъ и въ свѣтъ, и читаетъ: когда онъ успѣваетъ— Богъ вѣсть.

Онъ весь составленъ изъ костей, мускуловъ и нервовъ, какъ кровная англійская лошадь. Онъ худощавъ; щекъ у него почти вовсе нѣтъ, т. е. есть кость да мускулъ, но ни признака жирной округлости; цвѣтъ лица ровный, смугло-

ватый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные.

Движеній лишнихъ у него не было. Если онъ сидѣлъ, то сидѣлъ покойно, если же дѣйствовалъ, то употреблялъ столько мимики, сколько было нужно.

Какъ въ организмѣ нѣтъ у него ничего лишняго, такъ и въ нравственныхъ отправленіяхъ своей жизни онъ искалъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа. Двѣ стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь въ тяжелые, неразрѣшаемые узлы.

Онъ шелъ твердо, бодро; жилъ по бюджету, стараясь тратить каждый день, какъ каждый рубль, съ ежеминутнымъ, никогда не дремлющимъ контролемъ издержаннаго времени, труда, силъ души и сердца.

Кажется, и печалями, и радостями онъ управлялъ какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ, или какъ обращался съ дурной и хорошей погодой.

Онъ распускалъ зонтикъ, пока шелъ дождь, то-есть страдалъ, пока длилась скорбь, да и страдалъ безъ робкой покорности, а больше съ досадой, съ гордостью, и переносилъ терпѣливо только потому, что причину всякаго страданія приписывалъ самому себѣ, а не вѣшалъ, какъ кафтанъ, на чужой гвоздь.

И радостью наслаждался какъ сорваннымъ по дорогѣ цвѣткомъ, пока онъ не увялъ въ рукахъ, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежитъ въ концѣ всякаго наслажденія.

Простой, то-есть прямой, настоящій взглядъ на жизнь— вотъ что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ея рѣшенія, онъ понималъ всю трудность ея и былъ внутренно гордъ и счастливъ всякій разъ, когда ему случалось замѣтить кривизну на своемъ пути и сдѣлать прямой шагъ.

«Мудрено и трудно жить просто!» говорилъ онъ часто себѣ и торопливыми взглядами смотрѣлъ, гдѣ криво, гдѣ косо, гдѣ нить шнурка жизни начинаетъ завертываться въ неправильный, сложный узелъ.

Больше всего онъ боялся воображенія, этого двуличнаго спутника, съ дружескимъ на одной и вражескимъ на другой сторонѣ лицомъ, друга—чѣмъ меньше вѣришь ему, и врага—когда уснешь довѣрчиво подъ его сладкій шопотъ.

Онъ боялся всякой мечты, или, если входилъ въ ея область, то входилъ, какъ входятъ въ гротъ, съ надписью: ma solitude, mon hermitage, mon repos, зная часъ и минуту, когда выйдешь оттуда.

Мечтѣ, загадочному, таинственному не было мѣста въ его душѣ. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было въ глазахъ его оптическій обманъ, то или другое отраженіе лучей и красокъ на сѣткѣ органа зрѣнія, или же, наконецъ, фактъ, до котораго еще не дошла очередь опыта.

У него не было и того дилетантизма, который любитъ порыскать въ области чудеснаго, или подонкихотствовать въ полѣ догадокъ и открытій за тысячу лѣтъ впередъ. Онъ упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни вѣры ребенка, ни сомнѣнія фата, а ожидалъ появленія закона, а съ нимъ и ключа къ ней.

Такъ же тонко и осторожно, какъ за воображеніемъ, слѣдилъ онъ за сердцемъ. Здѣсь, часто оступаясь, онъ долженъ былъ сознаваться, что сфера сердечныхъ отправленій была еще terra incognita.

Онъ горячо благодарилъ судьбу, если въ этой невѣдомой области удавалось ему заблаговременно различить нарумяненную ложь отъ блѣдной истины; уже не сѣтовалъ, когда, отъ искусно-прикрытаго цвѣтами обмана, онъ оступался, а не падалъ, если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и радъ-радёхонекъ былъ, если не обливалось оно

кровью, если не выступалъ холодный потъ на лбу и потомъ не ложилась надолго длинная тѣнь на его жизнь.

Онъ считалъ себя счастливымъ уже и тѣмъ, что могъ держаться на одной высотѣ и, скача на конькѣ чувства, не проскакать тонкой черты, отдѣляющей міръ чувства отъ міра лжи и сентиментальности, міръ истины отъ міра смѣшного, или, скача обратно, не заскакать на песчаную, сухую почву жёсткости, умничанья, недовѣрія, мелочи, оскопленія сердца.

Онъ, и среди увлеченія, чувствовалъ землю подъ ногой и довольно силы въ себѣ, чтобъ, въ случаѣ крайности, рвануться и быть свободнымъ. Онъ не ослѣплялся красотой и потому не забывалъ, не унижалъ достоинства мужчины, не былъ рабомъ, «не лежалъ у ногъ» красавицъ, хотя не испытывалъ огненныхъ радостей.

У него не было идоловъ, зато онъ сохранилъ силу души, крѣпость тѣла, зато онъ былъ цѣломудренно-гордъ; отъ него вѣяло какою-то свѣжестью и силой, передъ которой невольно смущались и незастѣнчивыя женщины.

Онъ зналъ цѣну этимъ рѣдкимъ и дорогимъ свойствамъ и такъ скупо тратилъ ихъ, что его звали эгоистомъ, безчувственнымъ. Удержанность его отъ порывовъ, умѣнье не выйти изъ границъ естественнаго, свободнаго состоянія духа клеймили укоромъ и тутъ же оправдывали, иногда съ завистью и удивленіемъ, другого, который со всего размаха летѣлъ въ болото и разбивалъ свое и чужое существованіе.

— Страсти, страсти все оправдываютъ, — говорили вокругъ него: — а вы въ своемъ эгоизмѣ бережете только себя: посмотримъ, для кого.

— Для кого-нибудь да берегу,— говорилъ онъ задумчиво, какъ-будто глядя въ даль, и продолжалъ не вѣрить въ поэзію страстей, не восхищался ихъ бурными проявленіями и разрушительными слѣдами, а все хотѣлъ видѣть идеалъ бытія

и стремленій человѣка въ строгомъ пониманіи и отправле
ніи жизни.

И чѣмъ больше оспаривали его, тѣмъ глубже «коснѣлъ
онъ въ своемъ упрямствѣ, впадалъ даже, по крайней мѣр
въ спорахъ, въ пуританскій фанатизмъ. Онъ говорилъ, чт
«нормальное назначеніе человѣка—прожить четыре времен
года, то-есть, четыре возраста, безъ скачковъ, и донест
сосудъ жизни до послѣдняго дня, не проливъ ни одно
капли напрасно, и что ровное и медленное горѣніе огн
лучше бурныхъ пожаровъ, какая бы поэзія ни пылала в
нихъ». Въ заключеніе прибавлялъ, что онъ «былъ б
счастливъ, если бъ удалось ему на себѣ оправдать сво
убѣжденіе, но что достичь этого онъ не надѣется, потом
что это очень трудно».

А самъ все шелъ, да шелъ упрямо по избранной дорогѣ
Не видали, чтобъ онъ задумывался надъ чѣмъ-нибудь бо
лѣзненно и мучительно; повидимому, его не пожирали угры
зенія утомленнаго сердца; не болѣлъ онъ душой, не терялс
никогда въ сложныхъ, трудныхъ, или новыхъ обстоятель
ствахъ, а подходилъ къ нимъ, какъ къ бывшимъ знако
мымъ, какъ будто онъ жилъ вторично, проходилъ знакомы
мѣста.

Что ни встрѣчалось, онъ сейчасъ употреблялъ тотъ пріемъ
какой былъ нуженъ для этого явленія, какъ ключница сраз
выберетъ изъ кучи висящихъ на поясѣ ключей тотъ именно
который нуженъ для той или другой двери.

Выше всего онъ ставилъ настойчивость въ достиженіи
цѣлей: это было признакомъ характера въ его глазахъ, и
людямъ съ этой настойчивостью онъ никогда не отказы-
валъ въ уваженіи, какъ бы ни были не важны ихъ цѣли.

— Это люди!—говорилъ онъ.

Нужно ли прибавлять, что самъ онъ шелъ къ своей цѣли
отважно шагая черезъ всѣ преграды, и развѣ только тогда

отказывался отъ задачи, когда на пути его возникала стѣна, или отверзалась непроходимая бездна.

Но онъ неспособенъ былъ вооружиться той отвагой, которая, закрывъ глаза, скакнетъ черезъ бездну, или бросится на стѣну на-авось. Онъ измѣритъ бездну или стѣну, и если нѣтъ вѣрнаго средства одолѣть, онъ отойдетъ, что̀ бы тамъ про него ни говорили.

Чтобъ сложиться такому характеру, можетъ-быть, нужны были и такіе смѣшанные элементы, изъ какихъ сложился Штольцъ. Дѣятели издавна отливались у насъ въ пять-шесть стереотипныхъ формъ, лѣниво вполглаза глядя вокругъ, прикладывали руку къ общественной машинѣ и съ дремотой двигали ее по обычной колеѣ, ставя ногу въ оставленный предшественникомъ слѣдъ. Но вотъ глаза очнулись отъ дремоты, послышались бойкіе, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!

Какъ такой человѣкъ могъ быть близокъ Обломову, въ которомъ каждая черта, каждый шагъ, все существованіе было вопіющимъ протестомъ противъ жизни Штольца? Это, кажется, уже рѣшеный вопросъ, что противоположныя крайности, если не служатъ поводомъ къ симпатіи, какъ думали прежде, то никакъ не препятствуютъ ей.

Притомъ ихъ связывало дѣтство и школа — двѣ сильныя пружины, потомъ русскія, добрыя, жирныя ласки, обильно-расточаемыя въ семействѣ Обломова на нѣмецкаго мальчика, потомъ роль сильнаго, которую Штольцъ занималъ при Обломовѣ и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи, а наконецъ, и болѣе всего, въ основаніи натуры Обломова лежало чистое, свѣтлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатіи ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зовъ этого простого, нехитраго, вѣчно-довѣрчиваго сердца.

Кто только случайно и умышленно заглядывалъ въ эту

свѣтлую, дѣтскую душу—будь онъ мраченъ, золъ— онъ уже не могъ отказать ему во взаимности, или, если обстоятельства мѣшали сближенію, то хоть въ доброй и прочной памяти.

Андрей часто, отрываясь отъ дѣлъ, или изъ свѣтской толпы, съ вечера, съ бала, ѣхалъ посидѣть на широкомъ диванѣ Обломова и въ лѣнивой бесѣдѣ отвести и успокоить встревоженную, или усталую душу, и всегда испытывалъ то успокоительное чувство, какое испытываетъ человѣкъ, приходя изъ великолѣпныхъ залъ подъ собственный скромный кровъ, или возвратясь отъ красотъ южной природы въ березовую рощу, гдѣ гулялъ еще ребенкомъ.

III.

— Здравствуй, Илья. Какъ я радъ тебя видѣть! Ну, что, какъ ты поживаешь? Здоровъ ли?—спросилъ Штольцъ.

— Охъ, нѣтъ, плохо, братъ Андрей,— вздохнувъ, сказалъ Обломовъ.—какое здоровье!

— А что, боленъ?— спросилъ заботливо Штольцъ.

— Ячмени одолѣли: только на той недѣлѣ одинъ сошелъ съ праваго глаза, а теперь вотъ садится другой.

Штольцъ засмѣялся.

— Только?—спросилъ онъ.—Это ты наспалъ себѣ.

— Какое «только»: изжога мучитъ. Ты послушалъ бы, что давеча докторъ сказалъ. «За границу, говоритъ, ступайте, а то плохо: ударъ можетъ быть».

— Ну, что жъ ты?

— Не поѣду.

— Отчего же?

— Помилуй! Ты послушай, что онъ тутъ наговорилъ: «живи я гдѣ-то на горѣ, поѣзжай въ Египетъ, или въ Америку...»

— Что жъ?—хладнокровно сказалъ Штольцъ. — Въ Египтѣ ты будешь черезъ двѣ недѣли, въ Америкѣ черезъ три.

— Ну, братъ Андрей, и ты то же! Одинъ толковый человѣкъ и былъ, и тотъ съ ума спятилъ. Кто же ѣздитъ въ Америку и Египетъ! Англичане: такъ ужь тѣ такъ Господомъ Богомъ устроены; да и негдѣ имъ жить-то у себя. А у насъ кто поѣдетъ? Развѣ отчаянный какой-нибудь, кому жизнь ни почемъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, какіе подвиги: садись въ коляску, или на корабль, дыши чистымъ воздухомъ, смотри на чужія страны, города, обычаи, на всѣ чудеса... Ахъ, ты! Ну, скажи, что твои дѣла, что въ Обломовкѣ?

— Ахъ!..—произнесъ Обломовъ, махнувъ рукою.

— Что случилось?

— Да что: жизнь трогаетъ!

— И слава Богу!—сказалъ Штольцъ.

— Какъ слава Богу! Если бъ она все по головкѣ гладила, а то пристаетъ, какъ, бывало, въ школѣ къ смирному ученику, пристаютъ забіяки: то ущипнетъ исподтишка, то вдругъ нагрянетъ прямо со лба и обсыплетъ пескомъ... мочи нѣтъ.

— Ты ужъ слишкомъ — смиренъ. Что же случилось? — спросилъ Штольцъ.

— Два несчастья.

— Какія же?

— Совсѣмъ разорился.

— Какъ такъ?

— Вотъ я тебѣ прочту, что староста пишетъ... гдѣ письмо-то? Захаръ, Захаръ!

Захаръ отыскалъ письмо. Штольцъ пробѣжалъ его и засмѣялся, вѣроятно, отъ слога старосты.

— Какой плутъ этотъ староста!—сказалъ онъ.—Распустилъ мужиковъ, да и жалуется! Лучше бы дать имъ паспорты, да и пустить на всѣ четыре стороны.

— Помилуй, этакъ, пожалуй, и всѣ захотятъ,—возразилъ Обломовъ.

— Да пусть ихъ! — безпечно сказалъ Штольцъ. — Кому хорошо и выгодно на мѣстѣ, тотъ не уйдетъ; а если ему не выгодно, то и тебѣ не выгодно: зачѣмъ же его держать?

— Вонъ, что выдумалъ! — говорилъ Илья Ильичъ. — Въ Обломовкѣ мужики смирные, домосѣды; что имъ шататься?..

— А ты не знаешь,—перебилъ Штольцъ:—въ Верхлёвѣ пристань хотятъ устроить и предположено шоссе провести, такъ что и Обломовка будетъ недалеко отъ большой дороги, а въ городѣ ярмарку учреждаютъ...

— Ахъ, Боже мой!—сказалъ Обломовъ.—Этого еще недоставало! Обломовка была въ такомъ затишьѣ, въ сторонѣ, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся въ городъ, къ намъ будутъ таскаться купцы — все пропало! Бѣда!

Штольцъ засмѣялся.

— Какъ же не бѣда?—продолжалъ Обломовъ.—Мужики были такъ себѣ, ничего не слышно, ни хорошаго, ни дурного, дѣлаютъ свое дѣло, ни за чѣмъ не тянутся; а теперь развратятся! Пойдутъ чаи, кофеи, бархатные штаны, гармоники, смазные сапоги... не будетъ проку!

— Да, если это, такъ, конечно, мало проку, — замѣтилъ Штольцъ.—А ты заведи-ка школу въ деревнѣ...

— Не рано ли? — сказалъ Обломовъ: — грамотность вредна мужику: выучи его, такъ онъ, пожалуй, и пахать не станетъ...

— Да вѣдь мужики будутъ читать о томъ, какъ пахать— чудакъ! Однако послушай: не шутя, тебѣ надо самому побывать въ деревнѣ въ этомъ году.

— Да, правда; только у меня планъ еще не весь...— робко замѣтилъ Обломовъ.

— И не нужно никакого!—сказалъ Штольцъ.—Ты только поѣзжай: на мѣстѣ увидишь, что надо дѣлать. Ты давно что-то съ этимъ планомъ возишься: ужели еще все не готово? Что жъ ты дѣлаешь?

— Ахъ, братецъ! Какъ-будто у меня только и дѣла, что по имѣнію. А другое несчастье?

— Какое же?

— Съ квартиры гонятъ.

— Какъ гонятъ?

— Такъ: съѣзжай, говорятъ, да и только.

— Ну, такъ что жъ?

— Какъ, что жъ? Я тутъ спину и бока протеръ, ворочаясь отъ этихъ хлопотъ. Вѣдь одинъ: и то надо, и другое, тамъ счеты сводить, туда плати, здѣсь плати, а тутъ перевозка! Денегъ выходитъ ужасъ сколько, и самъ не знаю куда! Того и гляди, останешься безъ гроша...

— Вотъ избаловался-то человѣкъ: съ квартиры тяжело съѣхать! — съ удивленіемъ произнесъ Штольцъ. — Кстати о деньгахъ: много ихъ у тебя? Дай мнѣ рублей пятьсотъ: надо сейчасъ послать; завтра изъ нашей конторы возьму...

— Постой! Дай вспомнить... Недавно изъ деревни прислали тысячу, а теперь осталось... вотъ, погоди...

Обломовъ началъ шарить по ящикамъ.

— Вотъ тутъ... десять, двадцать, вотъ двѣсти рублей... да вотъ двадцать. Еще тутъ мѣдныя были... Захаръ, Захаръ!

Захаръ прежнимъ порядкомъ спрыгнулъ съ лежанки и вошелъ въ комнату.

— Гдѣ тутъ двѣ гривны были на столѣ? вчера я положилъ...

— Что это, Илья Ильичъ, дались вамъ двѣ гривны! Я ужъ вамъ докладывалъ, что никакихъ тутъ двухъ гривенъ не лежало...

— Какъ не лежало! Съ апельсиновъ сдачи дали...

— Отдали кому-нибудь, да и забыли,—сказалъ Захаръ, поворачиваясь къ двери.

Штольцъ засмѣялся.

— Ахъ, вы, обломовцы! — упрекнулъ онъ. — Не знаютъ, сколько у нихъ денегъ въ карманѣ!

— А давеча Михею Андреичу какія деньги отдавали?— напомнилъ Захаръ.

— Ахъ, да, вотъ Тарантьевъ взялъ еще десять рублей,— живо обратился Обломовъ къ Штольцу:—я и забылъ.

— Зачѣмъ ты пускаешь къ себѣ это животное? — замѣтилъ Штольцъ.

— Чего пускать! — вмѣшался Захаръ. — Придетъ словно въ свой домъ, или въ трактиръ. Рубашку и жилетъ барскіе взялъ, да и поминай какъ звали! Давеча за фракомъ пожаловалъ: «дай надѣть!» Хоть бы вы, батюшка, Андрей Иванычъ, уняли его...

— Не твое дѣло, Захаръ. Поди къ себѣ!—строго замѣтилъ Обломовъ.

— Дай мнѣ листъ почтовой бумаги,—спросилъ Штольцъ:— записку написать.

— Захаръ, дай бумаги: вонъ Андрею Иванычу нужно...— сказалъ Обломовъ.

— Вѣдь нѣтъ ея! Давеча искали,—отозвался изъ передней Захаръ и даже не пришелъ въ комнату.

— Клочокъ какой-нибудь дай!—приставалъ Штольцъ.

Обломовъ поискалъ на столѣ: и клочка не было.

— Ну, дай хоть визитную карточку.

— Давно ихъ нѣтъ у меня, визитныхъ-то карточекъ,— сказалъ Обломовъ.

— Что это съ тобой!—съ ироніей возразилъ Штольцъ.— А собираешься дѣло дѣлать, планъ пишешь. Скажи, пожалуйста, ходишь ли ты куда-нибудь, гдѣ бываешь? Съ кѣмъ видишься?

— Да гдѣ бываю! Мало гдѣ бываю, все дома сижу: вотъ планъ-то тревожитъ меня, а тутъ еще квартира... Спасибо, Тарантьевъ хотѣлъ постараться, пріискать...

— Бываетъ ли кто-нибудь у тебя?

— Бываетъ... вотъ Тарантьевъ, еще Алексѣевъ. Давеча докторъ зашелъ... Пенкинъ былъ, Судьбинскій, Волковъ...

— И у тебя и книгъ не вижу,—сказалъ Штольцъ.

— Вотъ книга!—замѣтилъ Обломовъ, указавъ на лежавшую на столѣ книгу.

— Что такое?—спросилъ Штольцъ, посмотрѣвъ книгу:— «Путешествіе въ Африку». И страница, на которой ты остановился, заплѣсневѣла. Ни газеты не видать... Читаешь ли ты газеты?

— Нѣтъ, печать мелка, портитъ глаза... и нѣтъ надобности: если есть что-нибудь новое, цѣлый день со всѣхъ сторонъ только и слышишь объ этомъ.

— Помилуй, Илья! — сказалъ Штольцъ, обративъ на Обломова изумленный взглядъ. — Самъ-то ты что жъ дѣлаешь? Точно комъ тѣста свернулся и лежишь.

— Правда, Андрей, какъ комъ, — печально отозвался Обломовъ.

— Да развѣ сознаніе есть оправданіе?

— Нѣтъ, это только отвѣтъ на твои слова; я не оправдываюсь,—со вздохомъ замѣтилъ Обломовъ.

— Надо же выйти изъ этого сна.

— Пробовалъ прежде, не удалось, а теперь... зачѣмъ? Ничто не вызываетъ, душа не рвется, умъ спитъ покойно! — съ едва замѣтною горечью заключилъ онъ. — Полно объ этомъ... Скажи лучше, откуда ты теперь?

— Изъ Кіева. Недѣли черезъ двѣ поѣду за границу. Поѣзжай и ты...

— Хорошо; пожалуй...—рѣшилъ Обломовъ.

— Такъ садись, пиши просьбу, завтра и подашь...

— Вотъ ужъ и завтра! — началъ Обломовъ, спохватившись. —Какая у нихъ торопливость, точно гонитъ кто-нибудь! Подумаемъ, поговоримъ, а тамъ, что Богъ дастъ! Вотъ развѣ сначала въ деревню, а за границу... послѣ...

— Отчего же послѣ? Вѣдь докторъ велѣлъ? Ты сбрось съ себя прежде жиръ, тяжесть тѣла, тогда отлетитъ и сонъ души. Нужна и тѣлесная, и душевная гимнастика.

— Нѣтъ, Андрей, все это меня утомитъ: здоровье-то плохо у меня. Нѣтъ, ужъ ты лучше оставь меня, поѣзжай себѣ одинъ...

Штольцъ поглядѣлъ на лежащаго Обломова, Обломовъ поглядѣлъ на него.

Штольцъ покачалъ головой, а Обломовъ вздохнулъ.

— Тебѣ, кажется, и жить-то лѣнь?— спросилъ Штольцъ.

— А что, вѣдь и то правда: лѣнь, Андрей.

Андрей ворочалъ въ головѣ вопросъ, чѣмъ бы задѣть его за живое и гдѣ у него живое, между тѣмъ, молча, разглядывалъ его и вдругъ засмѣялся.

— Что это на тебѣ одинъ чулокъ нитяный, а другой бумажный?—вдругъ замѣтилъ онъ, показывая на ноги Обломова.—Да и рубашка на-изнанку надѣта?

Обломовъ поглядѣлъ на ноги, потомъ на рубашку.

— Въ самомъ дѣлѣ,—смутясь, сознался онъ.—Этотъ Захаръ въ наказанье мнѣ посланъ! Ты не повѣришь, какъ я измучился съ нимъ! Споритъ, грубіянитъ, а дѣла не спрашивай!

— Ахъ, Илья, Илья!—сказалъ Штольцъ.—Нѣтъ, я тебя не оставлю такъ. Черезъ недѣлю ты не узнаешь себя. Ужо вечеромъ я сообщу тебѣ подробный планъ о томъ, что̀ я намѣренъ дѣлать съ собой и съ тобой, а теперь одѣвайся. Постой, я встряхну тебя. Захаръ!—закричалъ онъ. — Одѣваться Ильѣ Ильичу!

— Куда, помилуй, что ты? Сейчасъ придетъ Тарантьевъ съ Алексѣевымъ, обѣдать. Потомъ хотѣли-было...

— Захаръ,—говорилъ, не слушая его, Штольцъ:—давай ему одѣваться.

— Слушаю, батюшка, Андрей Иванычъ, вотъ только сапоги почищу,—охотливо говорилъ Захаръ.

— Какъ? У тебя не чищены сапоги до пяти часовъ?

— Чищены-то они чищены, еще на той недѣлѣ, да баринъ не выходилъ, такъ опять потускнѣли..

— Ну, давай, какъ есть. Мой чемоданъ внеси въ гостиную; я у васъ остановлюсь. Я сейчасъ одѣнусь, и ты будь готовъ, Илья. Мы пообѣдаемъ гдѣ-нибудь на ходу, потомъ поѣдемъ дома въ два, три, и...

— Да ты того... какъ же это вдругъ... постой... дай подумать... вѣдь я не бритъ...

— Нечего думать, да затылокъ чесать... Дорогой обреешься: я тебя завезу.

— Въ какіе дома мы еще поѣдемъ? — горестно воскликнулъ Обломовъ.—Къ незнакомымъ? Что выдумалъ! Я пойду лучше къ Ивану Герасимовичу; дня три не былъ.

— Кто это Иванъ Герасимычъ?

— Что служилъ прежде со мной...

— А! Этотъ сѣдой экзекуторъ: что ты тамъ нашелъ? Что за страсть убивать время съ этимъ болваномъ!

— Какъ ты иногда рѣзко отзываешься о людяхъ, Андрей, такъ Богъ тебя знаетъ. А вѣдь это хорошій человѣкъ: только-что не въ голландскихъ рубашкахъ ходитъ...

— Что ты у него дѣлаешь? О чемъ съ нимъ говоришь?— спросилъ Штольцъ.

— У него, знаешь, какъ-то правильно, уютно въ домѣ. Комнаты маленькія, диваны такіе глубокіе: уйдешь съ головой и не видать человѣка. Окна совсѣмъ закрыты плющами, да кактусами, канареекъ больше дюжины, три собаки, такія добрыя! Закуска со стола не сходитъ. Гравюры все изображаютъ семейныя сцены. Придешь и уйти не хочется. Сидишь, не заботясь, не думая ни о чемъ, знаешь, что около тебя есть человѣкъ... конечно, немудрый, помѣняться съ нимъ идеей нечего и думать, зато нехитрый, добрый, радушный, безъ претензій, и не уязвитъ тебя за глаза!

— Что жъ вы дѣлаете?

— Что? Вотъ я приду, сядемъ другъ противъ друга на диваны, съ ногами; онъ куритъ...

— Ну, а ты?

— Я тоже курю, слушаю, какъ канарейки трещатъ. Потомъ Мароа принесетъ самоваръ.

— Тарантьевъ, Иванъ Герасимычъ!—говорилъ Штольцъ, пожимая плечами.—Ну, одѣвайся скорѣй,—торопилъ онъ.—А Тарантьеву скажи, какъ придетъ,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Захару: — что мы дома не обѣдаемъ и что Илья Ильичъ все лѣто не будетъ дома обѣдать, а осенью у него много будетъ дѣла, и что видѣться съ нимъ не удастся...

— Скажу, не забуду, все скажу,—отозвался Захаръ: — а съ обѣдомъ, какъ прикажете?

— Съѣшь его съ кѣмъ-нибудь на здоровье.

— Слушаю, сударь.

Минутъ черезъ десять Штольцъ вышелъ одѣтый, обритый, причесанный, а Обломовъ меланхолически сидѣлъ на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой въ петлю. Передъ нимъ, на одномъ колѣнѣ, стоялъ Захаръ съ нечищеннымъ сапогомъ, какъ съ какимъ-нибудь блюдомъ, готовясь надѣвать и ожидая, когда баринъ кончитъ застегиванье груди.

— Ты еще сапогъ не надѣлъ! — съ изумленіемъ сказалъ Штольцъ.—Ну, Илья, скорѣй же, скорѣй!

— Да куда это? Да зачѣмъ? — съ тоской говорилъ Обломовъ.—Чего я тамъ не видалъ? Отсталъ я, не хочется...

— Скорѣй, скорѣй!—торопилъ Штольцъ.

IV.

Хотя было уже не рано, но они успѣли заѣхать куда-то по дѣламъ, потомъ Штольцъ захватилъ съ собой обѣдать одного золотопромышленника, потомъ поѣхали къ этому послѣднему на дачу пить чай, застали большое общество, и Обломовъ изъ совершеннаго уединенія вдругъ очутился въ толпѣ людей. Воротились они домой къ поздней ночи.

На другой, на третій день опять, и цѣлая недѣля про-

мелькнула незамѣтно. Обломовъ протестовалъ, жаловался, спорилъ, но былъ увлекаемъ и сопутствовалъ другу своему всюду.

Однажды, возвратясь откуда-то поздно, онъ особенно возсталъ противъ этой суеты.

— Цѣлые дни,—ворчалъ Обломовъ, надѣвая халатъ:—не снимаешь сапогъ: ноги такъ и зудятъ! Не нравится мнѣ эта ваша петербургская жизнь! — продолжалъ онъ, ложась на диванъ.

— Какая же тебѣ нравится?— спросилъ Штольцъ.

— Не такая, какъ здѣсь.

— Что жъ здѣсь именно такъ не понравилось?

— Все; вѣчная бѣготня взапуски, вѣчная игра дрянныхъ страстишекъ, особенно жадности, перебиванья другъ у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки другъ другу, это оглядыванье съ ногъ до головы; послушаешь, о чемъ говорятъ, такъ голова закружится, одурѣешь. Кажется, люди на взглядъ такіе умные, съ такимъ достоинствомъ на лицѣ, только и слышишь: «Этому дали то, тотъ получилъ аренду». «Помилуйте, за что?» кричитъ кто-нибудь. «Этотъ проигрался вчера въ клубѣ; тотъ беретъ триста тысячъ!» Скука, скука, скука!.. Гдѣ же тутъ человѣкъ? Гдѣ его цѣлость? Куда онъ скрылся, какъ размѣнялся на всякую мелочь?

— Что-нибудь да должно же занимать свѣтъ и общество,—сказалъ Штольцъ:—у всякаго свои интересы. На то жизнь...

— Свѣтъ, общество! Ты, вѣрно, нарочно, Андрей, посылаешь меня въ этотъ свѣтъ и общество, чтобъ отбить больше охоту быть тамъ. Жизнь: хороша жизнь! Чего тамъ искать? интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это: нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающаго за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, хуже меня, эти члены свѣта и общества! Что

водитъ ихъ въ жизни? Вотъ они не лежатъ, а снуютъ каждый день, какъ мухи, взадъ и впередъ, а что толку? Войдешь въ залу и не налюбуешься, какъ симметрически разсажены гости, какъ смирно и глубокомысленно сидятъ—за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный примѣръ для ищущаго движенія ума! Развѣ это не мертвецы? Развѣ не спятъ они всю жизнь, сидя? Чѣмъ я виноватѣе ихъ, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?

— Это все старое, объ этомъ тысячу разъ говорили, — замѣтилъ Штольцъ.—Нѣтъ ли чего поновѣе?

— А наша лучшая молодежь, что она дѣлаетъ? Развѣ не спитъ, ходя, разъѣзжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, съ какою гордостью и невѣдомымъ достоинствомъ, отталкивающимъ взглядомъ смотрятъ, кто не такъ одѣтъ, какъ они, не носятъ ихъ имени и званія. И воображаютъ, несчастные, что еще они выше толпы: «мы-де служимъ, гдѣ кромѣ насъ никто не служитъ; мы въ первомъ ряду креселъ, мы на балѣ у князя N, куда только насъ пускаютъ»... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикіе! Развѣ это живые, неспящіе люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослыхъ. Собираются, кормятъ другъ друга, ни радушія, ни доброты, ни взаимнаго влеченія! Собираются на обѣдъ, на вечеръ, какъ въ должность, безъ веселья, холодно, чтобъ похвастать поваромъ, салономъ, и потомъ подъ рукой осмѣять, подставить ногу одинъ другому. Третьяго-дня, за обѣдомъ, я не зналъ, куда смотрѣть, хоть подъ столъ залѣзть, когда началось терзаніе репутацій отсутствующихъ: «тотъ глупъ, этотъ низокъ, другой воръ, третій смѣшонъ» — настоящая травля! Говоря это, глядятъ другъ на друга такими же глазами: «вотъ уйди только за дверь, и тебѣ то же будетъ»... Зачѣмъ же они сходятся, если они таковы? Зачѣмъ такъ крѣпко жмутъ другъ другу руки? Ни искренняго

смѣха, ни проблеска симпатіи! Стараются залучить громкій чинъ, имя. «У меня былъ такой-то, а я былъ у такого-то», хвастаютъ потомъ... Что жъ это за жизнь? Я не хочу ея. Чему я тамъ научусь, что̀ извлеку?

— Знаешь что, Илья? — сказалъ Штольцъ. — Ты разсуждаешь точно древній: въ старыхъ книгахъ вотъ такъ все писали. А впрочемъ, и то хорошо: по крайней мѣрѣ разсуждаешь, не спишь. Ну, что еще? продолжай.

— Что продолжать-то? Ты посмотри: ни на комъ здѣсь нѣтъ свѣжаго, здороваго лица.

— Климатъ такой,—перебилъ Штольцъ.—Вонъ и у тебя лицо измято, а ты и не бѣгаешь, все лежишь.

— Ни у кого яснаго, покойнаго взгляда, — продолжалъ Обломовъ: — всѣ заражаются другъ отъ друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болѣзненно чего-то ищутъ. И добро бы истины, блага себѣ и другимъ — нѣтъ, они блѣднѣютъ отъ успѣха товарища. У одного забота: завтра въ присутственное мѣсто зайти, дѣло пятый годъ тянется, противная сторона одолѣваетъ, и онъ пять лѣтъ носитъ одну мысль въ головѣ, одно желаніе: сбить съ ногъ другого и на его паденіи выстроить зданіе своего благосостоянія. Пять лѣтъ ходитъ, сидѣть и вздыхать въ пріемной—вотъ идеалъ и цѣль жизни! Другой мучится, что осужденъ ходить каждый день на службу и сидѣть до пяти часовъ, а тотъ вздыхаетъ тяжко, что нѣтъ ему такой благодати...

— Ты философъ, Илья!—сказалъ Штольцъ.—Всѣ хлопочутъ, только тебѣ ничего не нужно!

— Вотъ, этотъ желтый господинъ въ очкахъ, — продолжалъ Обломовъ: — присталъ ко мнѣ: читалъ ли я рѣчь какого-то депутата, и глаза вытаращилъ на меня, когда я сказалъ, что не читаю газетъ. И пошелъ о Людовикѣ-Филиппѣ, точно какъ будто онъ родной отецъ ему. Потомъ привязался, какъ я думаю: отчего французскій посланникъ выѣхалъ изъ Рима? Какъ, всю жизнь обречь себя на еже-

дневное заряжанье всеснѣтными новостями, кричать недѣлю, пока не выкричишься! Сегодня Мехметъ-Али послалъ корабль въ Константинополь, и онъ ломаетъ себѣ голову: зачѣмъ? Завтра не удалось Дон-Карлосу — и онъ въ ужасной тревогѣ. Тамъ роютъ каналъ, тутъ отрядъ войска послали на Востокъ; батюшки, загорѣлось! лица нѣтъ, бѣжитъ, кричитъ, какъ будто на него самого войско идетъ. Разсуждаютъ, соображаютъ вкривь и вкось, а самимъ скучно — не занимаетъ это ихъ; сквозь эти крики виденъ непробудный сонъ! Это имъ постороннее; они не въ своей шапкѣ ходятъ. Дѣлаго своего нѣтъ, они и разбросались на всѣ стороны, не направились ни на что. Подъ этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствіе симпатіи ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею — это скучно, незамѣтно, тамъ всезнаніе не поможетъ, и пыль въ глаза пускать нѣкому.

— Ну, мы съ тобой не разбросались, Илья. Гдѣ же наша скромная, трудовая тропинка?—спросилъ Штольцъ.

Обломовъ вдругъ смолкъ.

— Да вотъ, я кончу только... планъ... — сказалъ онъ. — Да Богъ съ ними! — съ досадой прибавилъ потомъ. — Я ихъ не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни въ этомъ. Нѣтъ, это не жизнь, а искаженіе нормы, идеала жизни, который указала природа цѣлью человѣку...

— Какой же это идеалъ, норма жизни?

Обломовъ не отвѣчалъ.

— Ну, скажи мнѣ, какую бы ты начерталъ себѣ жизнь?— продолжалъ спрашивать Штольцъ.

— Я ужъ начерталъ.

— Что жъ это такое? Разскажи, пожалуйста, какъ?

— Какъ? — сказалъ Обломовъ, перевертываясь на спину и глядя въ потолокъ.—Да какъ! Уѣхалъ бы въ деревню.

— Что жъ тебѣ мѣшаетъ.

— Планъ не конченъ. Потомъ я бы уѣхалъ не одинъ, а съ женой...

— А! вотъ что! Ну, съ Богомъ. Чего жъ ты ждешь? Еще года три-четыре, никто за тебя не пойдетъ...

— Что дѣлать, не судьба! — сказалъ Обломовъ, вздохнувъ.—Состояніе не позволяетъ.

— Полилуй, а Обломовка? Триста душъ!

— Такъ что жъ? Чѣмъ тутъ жить, съ женой?

— Вдвоемъ, чѣмъ жить?

— А дѣти пойдутъ?

— Дѣтей воспитаешь, сами достанутъ; умѣй направить ихъ такъ...

— Нѣтъ, что изъ дворянъ дѣлать мастеровыхъ! — сухо перебилъ Обломовъ. — Да и кромѣ дѣтей, гдѣ же вдвоемъ? Это только такъ говорится, съ женой вдвоемъ, а въ самомъ-то дѣлѣ, только женился, тутъ наползетъ къ тебѣ какихъ-то бабъ въ домъ. Заглянь въ любое семейство: родственницы, не родственницы и не экономки, если не живутъ, такъ ходятъ каждый день кофе пить, обѣдать... Какъ же прокормить съ тремя стами душъ такой пансіонъ?

— Ну, хорошо; пусть тебѣ подарили бы еще триста тысячъ, что бъ ты сдѣлалъ?—спрашивалъ Штольцъ, съ сильно задѣтымъ любопытствомъ.

— Сейчасъ же въ ломбардъ, — сказалъ Обломовъ: — и жилъ бы процентами.

— Тамъ мало процентовъ; отчего жъ бы куда-нибудь въ компанію, вотъ, хоть въ нашу?

— Нѣтъ, Андрей, меня не надуешь.

— Какъ; ты бы и мнѣ не повѣрилъ?

— Ни за что; не то, что тебѣ, а все можетъ случиться: ну, какъ лопнетъ, вотъ я и безъ гроша. То ли дѣло въ банкъ?

— Ну, хорошо; что жъ бы ты сталъ дѣлать?

— Ну, пріѣхалъ бы я въ новый, покойно устроенный

домъ... Въ окрестности жили бы добрые сосѣди, ты напримѣръ... Да нѣтъ, ты не усидишь на одномъ мѣстѣ...

— А ты развѣ усидѣлъ бы всегда? Никуда бы не поѣхалъ?

— Ни за что!

— Зачѣмъ же хлопочутъ строить вездѣ желѣзныя дороги, пароходы, если идеалъ жизни — сидѣть на мѣстѣ? Подадимъ-ко, Илья, проектъ, чтобъ остановились; мы вѣдь не поѣдемъ.

— И безъ насъ много; мало ли управляющихъ, приказчиковъ, купцовъ, чиновниковъ, праздныхъ путешественниковъ, у которыхъ нѣтъ угла? Пусть ѣздятъ-себѣ!

— А ты кто же?

Обломовъ молчалъ.

— Къ какому же разряду общества причисляешь ты себя?

— Спроси Захара,—сказалъ Обломовъ.

Штольцъ буквально исполнилъ желаніе Обломова.

— Захаръ!—закричалъ онъ.

Пришелъ Захаръ, съ сонными глазами.

— Кто это такой лежитъ?—спросилъ Штольцъ.

Захаръ вдругъ проснулся и стороной, подозрительно взглянулъ на Штольца, потомъ на Обломова.

— Какъ кто? Развѣ вы не видите?

— Не вижу,—сказалъ Штольцъ.

— Что за диковина? Это баринъ Илья Ильичъ.

Онъ усмѣхнулся.

— Хорошо, ступай.

— Баринъ!—повторилъ Штольцъ и закатился хохотомъ.

— Ну, джентльменъ,—съ досадой поправилъ Обломовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты баринъ! — продолжалъ съ хохотомъ Штольцъ.

— Какая же разница? — сказалъ Обломовъ. — Джентльменъ такой же баринъ.

— Джентльменъ есть такой баринъ, — опредѣлилъ

Штольцъ:—который самъ надѣваетъ чулки и самъ же снимаетъ съ себя сапоги.

— Да, англичанинъ, самъ, потому что у нихъ не очень много слугъ, а русскій...

— Продолжай же дорисовывать мнѣ идеалъ твоей жизни... Ну, добрые пріятели вокругъ; что жъ дальше? Какъ бы ты проводилъ дни свои?

— Ну, вотъ, всталъ бы утромъ,—началъ Обломовъ, подкладывая руки подъ затылокъ, и по лицу разлилось выраженіе покоя: онъ мысленно былъ уже въ деревнѣ.—Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, — говорилъ онъ: — одна сторона дома, въ планѣ, обращена у меня балкономъ на востокъ, къ саду, къ полямъ, другая— къ деревнѣ. Въ ожиданіи, пока проснется жена, я надѣлъ бы шлафрокъ и походилъ по саду подышать утренними испареніями; тамъ ужъ нашелъ бы я садовника, поливали бы вмѣстѣ цвѣты, подстригали кусты, деревья. Я составляю букетъ для жены. Потомъ иду въ ванну или въ рѣку купаться, возвращаюсь — балконъ уже отворенъ; жена въ блузѣ, въ легкомъ чепчикѣ, который чуть-чуть держится, того и гляди слетитъ съ головы... Она ждетъ меня. «Чай готовъ», говоритъ она. Какой поцѣлуй! Какой чай! Какое покойное кресло! Сажусь окола стола; на немъ сухари, сливки, свѣжее масло...

— Потомъ?

— Потомъ, надѣвъ просторный сюртукъ, или куртку какую-нибудь, обнявъ жену за талью, углубиться съ ней въ безконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча, или думать вслухъ, мечтать, считать минуты счастья, какъ біеніе пульса; слушать, какъ сердце бьется и замираетъ; искать въ природѣ сочувствія... и незамѣтно выйти къ рѣчкѣ, къ полю... Рѣка чуть плещетъ; колосья волнуются отъ вѣтерка, жара... сѣсть въ лодку, жена правитъ, едва поднимаетъ весло...

— Да ты поэтъ, Илья!—перебилъ Штольцъ.

— Да, поэтъ въ жизни, потому что жизнь есть поэзія. Вольно людямъ искажать ее! Потомъ можно зайти въ оранжерею, — продолжалъ Обломовъ, самъ упиваясь идеаломъ нарисованнаго счастья.

Онъ извлекалъ изъ воображенія готовыя, давно уже нарисованныя имъ картины, и оттого говорилъ съ одушевленіемъ, не останавливаясь.

— Посмотрѣть персики, виноградъ, — говорилъ онъ: — сказать, что̀ подать къ столу, потомъ воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей... А тутъ, то записка къ женѣ отъ какой-нибудь Марьи Петровны, съ книгой, съ нотами, то прислали ананасъ въ подарокъ, или у самого въ парникѣ созрѣлъ чудовищный арбузъ — пошлешь доброму пріятелю, къ завтрашнему обѣду, и самъ туда отправишься... А на кухнѣ въ это время такъ и кипитъ; поваръ въ бѣломъ, какъ снѣгъ, фартукѣ и колпакѣ, суетится; поставитъ одну кастрюлю, сниметъ другую, тамъ помѣшаетъ, тутъ начнетъ валять тѣсто, тамъ выплеснетъ воду... ножи такъ и стучатъ... крошатъ зелень... тамъ вертятъ мороженое... До обѣда пріятно заглянуть въ кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотрѣть, какъ свертываютъ пирожки, сбиваютъ сливки. Потомъ лечь на кушетку; жена вслухъ читаетъ что-нибудь новое; мы останавливаемся, споримъ... Но гости ѣдутъ, напримѣръ, ты съ женой.

— Ба, ты и меня женишь?

— Непремѣнно! Еще два-три пріятеля, все одни и тѣже лица. Начнемъ вчерашній, неконченный разговоръ; пойдутъ шутки, или наступитъ краснорѣчивое молчаніе, задумчивость—не отъ потери мѣста, не отъ сенатскаго дѣла, а отъ полноты удовлетворенныхъ желаній, раздумье наслажденія... Не услышишь филиппики, съ пѣной на губахъ, отсутствующему, не подмѣтишь брошеннаго на тебя взгляда съ обѣщаніемъ и тебѣ того же, чуть выйдешь за дверь.

Кого не любишь, кто не хорошъ, съ кѣмъ не обмакнешь хлѣба въ солонку. Въ глазахъ собесѣдниковъ увидишь симпатію, въ шуткѣ искренній, не злобный смѣхъ... Все по душѣ! Что въ глазахъ, въ словахъ, то и на сердцѣ! Послѣ обѣда мокка, гаванна на террасѣ...

— Ты мнѣ рисуешь одно и то же, что бывало у дѣдовъ и отцовъ.

— Нѣтъ, не то, — отозвался Обломовъ, почти обидѣвшись: — гдѣ же то? Развѣ у меня жена сидѣла бы за вареньями, да за грибами? Развѣ считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Развѣ била бы дѣвокъ по щекамъ? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель?

— Ну, а ты самъ?

— И самъ я прошлогоднихъ бы газетъ не читалъ, въ колымагѣ бы не ѣздилъ, ѣлъ бы не лапшу и гуся, а выучилъ бы повара въ англійскомъ клубѣ, или у посланника.

— Ну, потомъ?

— Потомъ, какъ свалитъ жара, отправили бы телѣгу съ самоваромъ, съ десертомъ, въ березовую рощу, а не то такъ въ поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры, и такъ блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идутъ съ поля, съ косами на плечахъ; тамъ возъ съ сѣномъ проползетъ, закрывъ всю телѣгу и лошадь; вверху, изъ кучи, торчитъ шапка мужика съ цвѣтами, да дѣтская головка; тамъ толпа босоногихъ бабъ, съ серпами, голосятъ... Вдругъ завидѣли господъ, притихли, низко кланяются. Одна изъ нихъ, съ загорѣлой шеей, съ голыми локтями, съ робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется отъ барской ласки, а сама счастлива... тс!.. жена чтобъ не увидѣла, Боже сохрани!

И самъ Обломовъ и Штольцъ покатились со смѣху.

— Сыро въ полѣ,—заключилъ Обломовъ:—темно; туманъ, какъ опрокинутое море, виситъ надъ рожью; лошади вздра-

гивають плечомъ и бьютъ копытами: пора домой. Въ домѣ ужъ засвѣтились огни; на кухнѣ стучатъ въ пятеро ножей: сковорода грибовъ, котлеты, ягоды... тутъ музыка... Casta diva... Casta diva!—запѣлъ Обломовъ.—Не могу равнодушно вспомнить casta diva,—сказалъ онъ, пропѣвъ начало каватины: — какъ выплакиваетъ сердце эта женщина! Какая грусть заложена въ эти звуки!.. И никто не знаетъ ничего вокругъ... Она одна... Тайна тяготитъ ее; она ввѣряетъ ее лунѣ...

— Ты любишь эту арію? Я очень радъ; ее прекрасно поетъ Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя—вотъ голосъ, вотъ пѣніе! Да и сама она что̀ за очаровательное дитя! Впрочемъ, можетъ-быть, я пристрастно сужу: у меня къ ней слабость... Однакожъ, не отвлекайся, не отвлекайся,—прибавилъ Штольцъ:—разсказывай!

— Ну, — продолжалъ Обломовъ: — что еще?.. Да тутъ и все!.. Гости расходятся по флигелямъ, по павильонамъ; а завтра разбрелись: кто удитъ, кто съ ружьемъ, а кто такъ, просто, сидитъ себѣ...

— Просто, ничего въ рукахъ?—спросилъ Штольцъ.

— Чего тебѣ надо? Ну, носовой платокъ, пожалуй. Что жъ, тебѣ не хотѣлось бы такъ пожить?—спросилъ Обломовъ.— А? Это не жизнь?

— И весь вѣкъ такъ?—спросилъ Штольцъ.

— До сѣдыхъ волосъ, до гробовой доски. Это жизнь!

— Нѣтъ, это не жизнь!

— Какъ не жизнь? Чего тутъ нѣтъ? Ты подумай, что ты не увидалъ бы ни одного блѣднаго, страдальческаго лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенатѣ, о биржѣ, объ акціяхъ, о докладахъ, о пріемѣ у министра, о чинахъ, о прибавкѣ столовыхъ денегъ. А все разговоры по душѣ! Тебѣ никогда не понадобилось бы переѣзжать съ квартиры—ужъ это одно чего сто̀итъ! И это не жизнь?

— Это не жизнь!—упрямо повторилъ Штольцъ.

— Что жъ это по-твоему?

— Это... (Штольцъ задумался и искалъ, какъ назвать эту жизнь). Какая-то... обломовщина, — сказалъ онъ наконецъ.

— О-бло-мовщина! — медленно произнесъ Илья Ильичъ, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складамъ.—Об-ло-мов-щина!

Онъ странно и пристально глядѣлъ на Штольца.

— Гдѣ же идеалъ жизни по-твоему? Что жъ не обломовщина? — безъ увлеченія, робко спросилъ онъ. — Развѣ не всѣ добиваются того же, о чемъ я мечтаю? Помилуй!—прибавилъ онъ смѣлѣе.—Да цѣль всей вашей бѣготни, страстей, войнъ, торговли и политики, развѣ не выдѣлка покоя, не стремленіе къ этому идеалу утраченнаго рая?

— И утопія-то у тебя обломовская,—возразилъ Штольцъ.

— Всѣ ищутъ отдыха и покоя,—защищался Обломовъ.

— Не всѣ, и ты самъ, лѣтъ десять, не того искалъ въ жизни.

— Чего же я искалъ?—съ недоумѣніемъ спросилъ Обломовъ, погружаясь мыслью въ прошедшее.

— Вспомни, подумай. Гдѣ твои книги, переводы?

— Захаръ куда-то дѣлъ, — отвѣчалъ Обломовъ: — тутъ гдѣ-нибудь въ углу лежатъ.

— Въ углу!—съ упрекомъ сказалъ Штольцъ.—Въ этомъ же углу лежатъ и замыслы твои «служить, пока станетъ силъ, потому что Россіи нужны руки и головы для разработыванія неистощимыхъ источниковъ (твои слова); работать, чтобъ слаще отдыхать, а отдыхать—значитъ жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художниковъ, поэтовъ». Всѣ эти замыслы тоже Захаръ сложилъ въ уголъ? Помнишь, ты хотѣлъ, послѣ книгъ, объѣхать чужіе края, чтобъ лучше знать и любить свой? «Вся жизнь есть мысль и трудъ», твердилъ ты тогда: «трудъ хоть безвѣстный, темный, но непрерывный, и умереть съ сознаніемъ,

что сдѣлалъ свое дѣло». — А? Въ какомъ углу лежитъ это у тебя?

— Да... да... — говорилъ Обломовъ, безпокойно слѣдя за каждымъ словомъ Штольца: — помню, что я точно... кажется... Какъ же, — сказалъ онъ, вдругъ вспомнивъ прошлое:—вѣдь мы, Андрей, сбирались сначала изъѣздить вдоль и поперекъ Европу, исходить Швейцарію пѣшкомъ, обжечь ноги на Везувіи, спуститься въ Геркуланъ. Съ ума чуть не сошли! Сколько глупостей!..

— Глупостей! — съ упрекомъ повторилъ Штольцъ. — Не ты ли со слезами говорилъ, глядя на гравюры рафаэлевскихъ мадоннъ, «Корреджіевой ночи», на «Аполлона Бельведерскаго»: «Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онѣмѣть отъ ужаса, что ты стоишь передъ произведеніемъ Микель-Анджело, Тиціана, и попираешь почву Рима? Ужели провести вѣкъ и видѣть эти мирты, кипарисы и померанцы въ оранжереяхъ, а не на ихъ родинѣ? Не подышать воздухомъ Италіи, не упиться синевой неба!» И сколько великолѣпныхъ фейерверковъ пускалъ ты изъ головы! Глупости!

— Да, да, помню! — говорилъ Обломовъ, вдумываясь въ прошлое.—Ты еще взялъ меня за руку и сказалъ: «дадимъ обѣщаніе не умирать, не увидавши ничего этого»...

— Помню, — продолжалъ Штольцъ: — какъ ты однажды принесъ мнѣ переводъ изъ Сэя, съ посвященіемъ мнѣ въ именины; переводъ цѣлъ у меня. А какъ ты запирался съ учителемъ математики, хотѣлъ непремѣнно добиться, зачѣмъ тебѣ знать круги и квадраты, но на половинѣ бросилъ и не добился? По-англійски началъ учиться... и не доучился! А когда я сдѣлалъ планъ поѣздки за границу, звалъ заглянуть въ германскіе университеты, ты вскочилъ, обнялъ меня и подалъ торжественно руку: «я твой, Андрей, съ тобой всюду» — это все твои слова. Ты всегда былъ немножко актеръ. Что жъ, Илья? Я два раза былъ за границей, послѣ

нашей премудрости смиренно сидѣлъ на студенческихъ скамьяхъ въ Боннѣ, въ Іенѣ, въ Эрлангенѣ, потомъ выучилъ Европу, какъ свое имѣніе. Но, положимъ, вояжъ— это роскошь и не всѣ въ состояніи и обязаны пользоваться этимъ средствомъ; а Россія? Я видѣлъ Россію вдоль и поперекъ. Тружусь...

— Когда-нибудь перестанешь же трудиться, — замѣтилъ Обломовъ.

— Никогда не перестану. Для чего?

— Когда удвоишь свои капиталы,—сказалъ Обломовъ.

— Когда учетверю ихъ, и тогда не перестану.

— Такъ изъ чего же,—заговорилъ онъ, помолчавъ: — ты бьешься, если цѣль твоя не обезпечить себя навсегда и удалиться потомъ на покой, отдохнуть?..

— Деревенская обломовщина!—сказалъ Штольцъ.

— Или достигнуть службой значенія и положенія въ обществѣ, и потомъ въ почетномъ бездѣйствіи наслаждаться заслуженнымъ отдыхомъ...

— Петербургская обломовщина!—возразилъ Штольцъ.

— Такъ когда же жить?—съ досадой на замѣчанія Штольца возразилъ Обломовъ.—Для чего же мучиться весь вѣкъ?

— Для самого труда, больше ни для чего. Трудъ—образъ, содержаніе, стихія и цѣль жизни, по крайней мѣрѣ, моей. Вотъ, ты выгналъ трудъ изъ жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, можетъ-быть, въ послѣдній разъ. Если ты и послѣ этого будешь сидѣть вотъ тутъ, съ Тарантьевыми и Алексѣевыми, то совсѣмъ пропадешь, станешь въ тягость даже себѣ. Теперь, или никогда!—заключилъ онъ.

Обломовъ слушалъ его, глядя на него встревоженными глазами. Другъ какъ будто подставилъ ему зеркало, и онъ испугался, узнавъ себя.

— Не брани меня, Андрей, а лучше въ самомъ дѣлѣ помоги!—началъ онъ со вздохомъ. — Я самъ мучусь этимъ;

и если бъ ты посмотрѣлъ и послушалъ меня вотъ хоть бы сегодня, какъ я самъ копаю себѣ могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрекъ не сошелъ съ языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нѣтъ. Дай мнѣ своей воли и ума и веди меня куда хочешь. За тобой я, можетъ-быть, пойду, а одинъ не сдвинусь съ мѣста. Ты правду говоришь: «теперь или никогда больше». Еще годъ—поздно будетъ!

— Ты ли это, Илья?—говорилъ Андрей.—А помню я тебя тоненькимъ, живымъ мальчикомъ, какъ ты каждый день съ Пречистенки ходилъ въ Кудрино; тамъ, въ садикѣ... ты не забылъ двухъ сестеръ? Не забылъ Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которыхъ носилъ имъ и отнималъ у нихъ романы Коттень, Жанлисъ... важничалъ передъ ними, хотѣлъ очистить ихъ вкусъ?..

Обломовъ вскочилъ съ постели.

— Какъ, ты и это помнишь, Андрей? Какъ же! Я мечталъ съ ними, нашептывалъ надежды на будущее, развивалъ планы, мысли и... чувства тоже, тихонько отъ тебя, чтобъ ты на-смѣхъ не поднялъ. Тамъ все это и умерло, больше не повторялось никогда! Да и куда дѣлось все—отчего погасло? Непостижимо! Вѣдь ни бурь, ни потрясеній не было у меня; не терялъ я ничего; никакое ярмо не тяготитъ моей совѣсти: она чиста, какъ стекло; никакой ударъ не убилъ во мнѣ самолюбія, а такъ, Богъ знаетъ отчего, все пропадаетъ!

Онъ вздохнулъ.

— Знаешь ли, Андрей, въ жизни моей вѣдь никогда не загоралось никакого, ни спасительнаго, ни разрушительнаго огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падаютъ краски, огонь, которое потомъ превращается въ день, какъ у другихъ, и пылаетъ жарко, и все кипитъ, движется въ яркомъ полуднѣ, и потомъ все тише и тише, все блѣднѣе, и все естественно и постепенно гаснетъ къ вечеру. Нѣтъ, жизнь моя началась съ погасанія. Странно,

а это такъ! Съ первой минуты, когда я созналъ себя, я почувствовалъ, что я уже гасну. Началъ гаснуть я надъ писаньемъ бумагъ въ канцеляріи; гаснулъ потомъ, вычитывая въ книгахъ истины, съ которыми не зналъ что дѣлать въ жизни, гаснулъ съ пріятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками безъ цѣли, безъ симпатіи; гаснулъ и губилъ силы съ Миной: платилъ ей больше половины своего дохода и воображалъ, что люблю ее; гаснулъ въ уныломъ и лѣнивомъ хожденіи по Невскому проспекту, среди енотовыхъ шубъ и бобровыхъ воротниковъ, — на вечерахъ, въ пріемные дни, гдѣ оказывали мнѣ радушіе, какъ сносному жениху; гаснулъ и тратилъ по мелочи жизнь и умъ, переѣзжая изъ города на дачу, съ дачи въ Гороховую, опредѣляя весну привозомъ устрицъ и омаровъ, осень и зиму — положенными днями, лѣто—гуляньями, и всю жизнь—лѣнивой и покойной дремотой, какъ другіе... Даже самолюбіе — на что оно тратилось? Чтобъ заказывать платье у извѣстнаго портного? Чтобъ попасть въ извѣстный домъ? Чтобъ князь П** пожалъ мнѣ руку? А вѣдь самолюбіе—соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понялъ этой жизни, или она никуда не годится, а лучшаго я ничего не зналъ, не видалъ, никто не указалъ мнѣ его. Ты появлялся и исчезалъ, какъ комета, ярко, быстро, и я забывалъ все это и гаснулъ...

Штольцъ не отвѣчалъ уже небрежной насмѣшкой на рѣчь Обломова. Онъ слушалъ и угрюмо молчалъ.

— Ты сказалъ давеча, что у меня лицо несовсѣмъ свѣжо, измято,—продолжалъ Обломовъ:—да, я дряблый, ветхій, изношенный кафтанъ, но не отъ климата, не отъ трудовъ, а отъ того, что двѣнадцать лѣтъ во мнѣ былъ запертъ свѣтъ, который искалъ выхода, но только жегъ свою тюрьму, не вырвался на волю и угасъ. Итакъ, двѣнадцать лѣтъ, милый мой Андрей, прошло: не хотѣлось ужъ мнѣ просыпаться больше.

— Зачѣмъ же ты не вырвался, не бѣжалъ куда-нибудь, а молча погибалъ?—нетерпѣливо спросилъ Штольцъ.

— Куда?

— Куда? Да хоть съ своими мужиками на Волгу: и тамъ больше движенія, есть интересы какіе-нибудь, цѣль, трудъ. Я бы ѣхалъ въ Сибирь, въ Ситху.

— Вонъ вѣдь ты все какія сильныя средства прописываешь!—замѣтилъ Обломовъ уныло.—Да я ли одинъ? Смотри: Михайловъ, Петровъ, Семеновъ, Алексѣевъ, Степановъ... не пересчитаешь: наше имя легіонъ!

Штольцъ еще былъ подъ вліяніемъ этой исповѣди и молчалъ. Потомъ вздохнулъ.

— Да, воды много утекло!—сказалъ онъ.—Я не оставлю тебя такъ, я увезу тебя отсюда, сначала за границу, потомъ въ деревню: похудѣешь немного, перестанешь хандрить, а тамъ сыщемъ и дѣло...

— Да, поѣдемъ куда-нибудь отсюда!—вырвалось у Обломова.

— Завтра начнемъ хлопотать о паспортѣ за границу, потомъ станемъ собираться... Я не отстану—слышишь, Илья?

— Ты все завтра! — возразилъ Обломовъ, спустившись будто съ облаковъ.

— А тебѣ бы хотѣлось «не откладывать до завтра, что можно сдѣлать сегодня»? Какая прыть! Поздно нынче, — прибавилъ Штольцъ: — но черезъ двѣ недѣли мы будемъ далеко...

— Что̀ это, братецъ, черезъ двѣ недѣли, помилуй, вдругъ такъ!..—говорилъ Обломовъ. — Дай хорошенько обдумать и приготовиться... Тарантасъ надо какой-нибудь... развѣ мѣсяца черезъ три.

— Выдумалъ тарантасъ! До границы мы доѣдемъ въ почтовомъ экипажѣ, или на пароходѣ до Любека, какъ будетъ удобнѣе; а тамъ во многихъ мѣстахъ желѣзныя дороги есть.

— А квартира, а Захаръ, а Обломовка? Вѣдь надо распорядиться,—защищался Обломовъ.

— Обломовщина, обломовщина!—сказалъ Штольцъ, смѣясь, потомъ взялъ свѣчку, пожелалъ Обломову покойной ночи и пошелъ спать.—Теперь, или никогда—помни!—прибавилъ онъ, обернувшись къ Обломову и затворяя за собой дверь.

V.

«Теперь, или никогда!» явились Обломову грозныя слова, лишь только онъ проснулся утромъ.

Онъ всталъ съ постели, прошелся раза три по комнатѣ, заглянулъ въ гостиную: Штольцъ сидитъ и пишетъ.

— Захаръ!—кликнулъ онъ.

Не слышно прыжка съ печки—Захаръ нейдетъ: Штольцъ услалъ его на почту.

Обломовъ подошелъ къ своему запыленному столу, сѣлъ, взялъ перо, обмакнулъ въ чернильницу, но чернилъ не было, поискалъ бумаги—тоже нѣтъ.

Онъ задумался и машинально сталъ чертить пальцемъ по пыли, потомъ посмотрѣлъ, что̀ написалъ: вышло *Обломовщина*.

Онъ проворно стеръ написанное рукавомъ. Это слово снилось ему ночью, написанное огнемъ на стѣнахъ, какъ Бальтазару на пиру.

Пришелъ Захаръ и, найдя Обломова не на постели, мутно поглядѣлъ на барина, удивляясь, что онъ на ногахъ. Въ этомъ тупомъ взглядѣ удивленія написано было: «Обломовщина!»

«Одно слово», думалъ Илья Ильичъ: «а какое... ядовитое!..»

Захаръ, по обыкновенію, взялъ гребенку, щетку, полотенце и подошелъ-было причесывать Илью Ильича.

— Поди ты къ чорту!—сердито сказалъ Обломовъ и вы-

шибъ изъ рукъ Захара щетку, а Захаръ самъ уже уронилъ и гребенку на полъ.

— Не ляжете, что ли, опять?—спросилъ Захаръ.—Такъ я бы поправилъ постель.

— Принеси мнѣ чернилъ и бумаги, — отвѣчалъ Обломовъ.

Обломовъ задумался надъ словами: «теперь, или никогда!»

Вслушиваясь въ это отчаянное воззваніе разума и силы, онъ сознавалъ и взвѣшивалъ, что у него осталось еще въ остаткѣ воли и куда онъ понесетъ, во что положитъ этотъ скудный остатокъ.

Послѣ мучительной думы, онъ схватилъ перо, вытащилъ изъ угла книгу и въ одинъ часъ хотѣлъ прочесть, написать и передумать все, чего не прочелъ, не написалъ и не передумалъ въ десять лѣтъ.

Что ему дѣлать теперь? Идти впередъ, или остаться? Этотъ обломовскій вопросъ былъ для него глубже гамлетовскаго. Идти впередъ—это значитъ вдругъ сбросить широкій халатъ не только съ плечъ, но и съ души, съ ума; вмѣстѣ съ пылью и паутиной со стѣнъ смести паутину съ глазъ и прозрѣть!

Какой первый шагъ сдѣлать къ тому? Съ чего начать? Не знаю, не могу... нѣтъ... лукавлю, знаю и... Да и Штольцъ тутъ, подъ бокомъ; онъ сейчасъ скажетъ.

А что онъ скажетъ? «Въ недѣлю, скажетъ, набросать подробную инструкцію повѣренному и отправить его въ деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать планъ построекъ, квартиру сдать, взять паспортъ и ѣхать на полгода за границу, сбыть лишній жиръ, сбросить тяжесть, освѣжить душу тѣмъ воздухомъ, о которомъ мечталъ нѣкогда съ другомъ, пожить безъ халата, безъ Захара и Тарантьева, надѣвать самому чулки и снимать съ себя сапоги, спать только ночью, ѣхать, куда всѣ ѣдутъ, по желѣзнымъ дорогамъ, на пароходахъ, потомъ... Потомъ... поселиться въ

Обломовкѣ, знать, что такое посѣвъ и умолотъ, отчего бываетъ мужикъ бѣденъ и богатъ; ходить въ поле, ѣздить на выборы, на заводъ, на мельницы, на пристань. Въ то же время читать газеты, книги, безпокоиться о томъ, зачѣмъ англичане послали корабль на Востокъ...»

Вотъ, что онъ скажетъ! Это значитъ идти впередъ... И такъ всю жизнь! Прощай поэтическій идеалъ жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тутъ вѣчно пламя, трескотня, жаръ, шумъ... когда же пожить? Не лучше ли остаться?

Остаться—значитъ надѣвать рубашку наизнанку, слушать прыганье Захаровыхъ ногъ съ лежанки, обѣдать съ Тарантьевымъ, меньше думать обо всемъ, не дочитать до конца путешествія въ Африку, состарѣться мирно на квартирѣ у кумы Тарантьева...

«Теперь, или никогда!» «Быть, или не быть!» Обломовъ приподнялся-было съ кресла, но не попалъ сразу ногой въ туфлю и сѣлъ опять.

Черезъ двѣ недѣли Штольцъ уже уѣхалъ въ Англію, взявъ съ Обломова слово пріѣхать прямо въ Парижъ. У Ильи Ильича уже и паспортъ былъ готовъ, онъ даже заказалъ себѣ дорожное пальто, купилъ фуражку. Вотъ какъ подвинулись дѣла.

Уже Захаръ глубокомысленно доказывалъ, что довольно заказать и одну пару сапогъ, а подъ другую подкинуть подметки. Обломовъ купилъ одѣяло, шерстяную фуфайку, дорожный несессеръ, хотѣлъ — мѣшокъ для провизіи, но десять человѣкъ сказали, что за границей провизіи не возятъ.

Захаръ метался по мастеровымъ, по лавкамъ, весь въ поту, и хоть много гривенъ и пятаковъ положилъ себѣ въ карманъ отъ сдачъ по лавкамъ, но проклялъ и Андрея Ивановича, и всѣхъ, кто выдумалъ путешествія.

— Что онъ тамъ одинъ-то будетъ дѣлать?—говорилъ онъ въ лавочкѣ. — Тамъ, слышь, служатъ господамъ все дѣвки.

Гдѣ дѣвкѣ сапоги стащить? И какъ она станетъ чулки натягивать на голыя ноги барину?..»

Онъ даже усмѣхнулся, такъ что бакенбарды поднялись въ сторону, и покачалъ головой. Обломовъ не полѣнился, написалъ, что̀ взять съ собой и что̀ оставить дома. Мебель и прочія вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру къ кумѣ, на Выборгскую Сторону, запереть ихъ въ трехъ комнатахъ и хранить до возвращенія изъ-за границы.

Уже знакомые Обломова, иные съ недовѣрчивостью, другіе со смѣхомъ, а третьи съ какимъ-то испугомъ говорили:— ѣдетъ; представьте, Обломовъ сдвинулся съ мѣста!

Но Обломовъ не уѣхалъ ни черезъ мѣсяцъ, ни черезъ три.

Наканунѣ отъѣзда у него ночью раздулась губа.

— Муха укусила, нельзя же съ этакой губой въ море!— сказалъ онъ и сталъ ждать другого парохода.

Вотъ ужъ августъ, Штольцъ давно въ Парижѣ, пишетъ къ нему неистовыя письма, но отвѣта не получаетъ.

Отчего же? Вѣроятно, чернила засохли въ чернильницѣ и бумаги нѣтъ? Или, можетъ-быть, оттого, что въ обломовскомъ стилѣ часто сталкиваются *который* и *что*, или наконецъ, Илья Ильичъ, въ грозномъ кликѣ: *теперь* или *никогда* остановился на послѣднемъ, заложилъ руки подъ голову—и напрасно будитъ его Захаръ.

Нѣтъ, у него чернильница полна чернилъ, на столѣ лежатъ письма, бумага, даже гербовая, притомъ исписанная его рукой.

Написавъ нѣсколько страницъ, онъ ни разу не поставилъ два раза *который;* слогъ его лился свободно и мѣстами выразительно и краснорѣчиво, какъ въ «оны дни», когда онъ мечталъ со Штольцемъ о трудовой жизни, о путешествіи.

Встаетъ онъ въ семь часовъ, читаетъ, носитъ куда-то книги. На лицѣ ни сна, ни усталости, ни скуки. На немъ

появились даже краски, въ глазахъ блескъ, что-то въ родѣ отваги, или, по крайней мѣрѣ, самоувѣренности. Халата не видать на немъ: Тарантьевъ увезъ его съ собой къ кумѣ съ прочими вещами.

Обломовъ сидитъ съ книгой или пишетъ въ домашнемъ пальто; на шеѣ надѣта легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстукъ и блестятъ, какъ снѣгъ. Выходитъ онъ въ сюртукѣ, прекрасно сшитомъ, въ щегольской шляпѣ... Онъ веселъ, напѣваетъ... Отчего же это?..

Вотъ онъ сидитъ у окна своей дачи (онъ живетъ на дачѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города), подлѣ него лежитъ букетъ цвѣтовъ. Онъ что-то проворно дописываетъ, а самъ безпрестанно поглядываетъ черезъ кусты, на дорожку, и опять спѣшитъ писать.

Вдругъ по дорожкѣ захрустѣлъ песокъ подъ легкими шагами; Обломовъ бросилъ перо, схватилъ букетъ и подбѣжалъ къ окну.

— Это вы, Ольга Сергѣевна? Сейчасъ, сейчасъ!—сказалъ онъ, схватилъ фуражку, тросточку, выбѣжалъ въ калитку, подалъ руку какой-то прекрасной женщинѣ и исчезъ съ ней въ лѣсу, въ тѣни огромныхъ елей...

Захаръ вышелъ изъ-за какого-то угла, поглядѣлъ ему вслѣдъ, заперъ комнату и пошелъ въ кухню.

— Ушелъ!—сказалъ онъ Анисьѣ.

— А обѣдать будетъ?

— Кто его знаетъ?—сонно отвѣчалъ Захаръ.

Захаръ все такой же: тѣ же огромныя бакенбарды, небритая борода, тотъ же сѣрый жилетъ и прорѣха на сюртукѣ, но онъ женатъ на Анисьѣ, вслѣдствіе ли разрыва съ кумой, или такъ, по убѣжденію, что человѣкъ долженъ быть женатъ; онъ женился и, вопреки пословицѣ, не перемѣнился.

Штольцъ познакомилъ Обломова съ Ольгой и ея теткой. Когда Штольцъ привелъ Обломова въ домъ къ Ольгиной

теткѣ въ первый разъ, тамъ были гости. Обломову было тяжело и, по обыкновенію, неловко.

«Хорошо бы перчатки снять», думалъ онъ: «вѣдь въ комнатѣ тепло. Какъ я отвыкъ отъ всего!..»

Штольцъ сѣлъ подлѣ Ольги, которая сидѣла одна, подъ лампой, поодаль отъ чайнаго стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тѣмъ, что̀ вокругъ нея происходило.

Она очень обрадовалась Штольцу; хотя глаза ея не зажглись блескомъ, щеки не запылали румянцемъ, но по всему лицу разлился ровный, покойный свѣтъ и явилась улыбка.

Она называла его другомъ, любила за то, что онъ всегда смѣшилъ ее и не давалъ скучать, но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишкомъ ребенкомъ передъ нимъ.

Когда у ней рождался въ умѣ вопросъ, недоумѣніе, она не вдругъ рѣшалась повѣрить ему: онъ былъ слишкомъ далеко впереди ея, слишкомъ выше ея, такъ что самолюбіе ея иногда страдало отъ этой недозрѣлости, отъ разстоянія въ ихъ умѣ и лѣтахъ.

Штольцъ тоже любовался ею безкорыстно, какъ чудеснымъ созданіемъ, съ благоухающею свѣжестью ума и чувствъ. Она была въ глазахъ его только прелестный, подающій большія надежды, ребенокъ.

Штольцъ, однакожъ, говорилъ съ ней охотнѣе и чаще, нежели съ другими женщинами, потому что она, хотя безсознательно, но шла простымъ, природнымъ путемъ жизни и, по счастливой натурѣ, по здравому, не перехитренному воспитанію, не уклонялась отъ естественнаго проявленія мысли, чувства, воли, даже до малѣйшаго, едва замѣтнаго движенія глазъ, губъ, руки.

Не отъ того ли, можетъ-быть, шагала она такъ увѣренно по этому пути, что по временамъ слышала рядомъ другіе, еще болѣе увѣренные шаги «друга», которому вѣрила, и съ ними соразмѣряла свой шагъ.

Какъ бы то ни было, но въ рѣдкой дѣвицѣ встрѣтишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь въ глазахъ: «теперь я подожму немного губу и задумаюсь — я такъ недурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, сейчасъ подбѣгутъ ко мнѣ. Сяду у фортепіано и выставлю чуть-чуть кончикъ ноги»...

Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла! Зато ее и цѣнилъ почти одинъ Штольцъ, зато не одну мазурку просидѣла она одна, не скрывая скуки; зато, глядя на нее, самые любезные изъ молодыхъ людей были неразговорчивы, не зная, что̀ и какъ сказать ей...

Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались съ языка ея ни мудрыя сентенціи о жизни, о любви, ни быстрыя, неожиданныя и смѣлыя реплики, ни вычитанныя или подслушанныя сужденія о музыкѣ и литературѣ: говорила она мало, и то свое, неважное—и ее обходили умные и бойкіе «кавалеры»; небойкіе, напротивъ, считали ее слишкомъ мудреной и немного боялись. Одинъ Штольцъ говорилъ съ ней безъ умолка и смѣшилъ ее.

Любила она музыку, но пѣла чаще втихомолку, или Штольцу, или какой-нибудь пансіонной подругѣ; а пѣла она, по словамъ Штольца, какъ ни одна пѣвица не поетъ.

Только что Штольцъ усѣлся подлѣ нея, какъ въ комнатѣ раздался ея смѣхъ, который былъ такъ звученъ, такъ искрененъ и заразителенъ, что кто ни послушаетъ этого смѣха, непремѣнно засмѣется самъ, не зная о причинѣ.

Но не все смѣшилъ ее Штольцъ: черезъ полчаса она слушала его съ любопытствомъ, и съ удвоеннымъ любопытствомъ переносила глаза на Обломова, а Обломову отъ этихъ взглядовъ—хоть сквозь землю провалиться.

«Что они такое говорятъ обо мнѣ?» думалъ онъ, косясь въ безпокойствѣ на нихъ. Онъ уже хотѣлъ уйти, но тетка

Гдѣ дѣвкѣ сапоги стащить? И какъ она станетъ чулки натягивать на голыя ноги барину?..»

Онъ даже усмѣхнулся, такъ что бакенбарды поднялись въ сторону, и покачалъ головой. Обломовъ не полѣнился, написалъ, что̀ взять съ собой и что̀ оставить дома. Мебель и прочія вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру къ кумѣ, на Выборгскую Сторону, запереть ихъ въ трехъ комнатахъ и хранить до возвращенія изъ-за границы.

Уже знакомые Обломова, иные съ недовѣрчивостью, другіе со смѣхомъ, а третьи съ какимъ-то испугомъ говорили:— ѣдетъ; представьте, Обломовъ сдвинулся съ мѣста!

Но Обломовъ не уѣхалъ ни черезъ мѣсяцъ, ни черезъ три.

Наканунѣ отъѣзда у него ночью раздулась губа.

— Муха укусила, нельзя же съ этакой губой въ море!— сказалъ онъ и сталъ ждать другого парохода.

Вотъ ужъ августъ, Штольцъ давно въ Парижѣ, пишетъ къ нему неистовыя письма, но отвѣта не получаетъ.

Отчего же? Вѣроятно, чернила засохли въ чернильницѣ и бумаги нѣтъ? Или, можетъ-быть, оттого, что въ обломовскомъ стилѣ часто сталкиваются *который* и *что*, или наконецъ, Илья Ильичъ, въ грозномъ кликѣ: *теперь* или *никогда* остановился на послѣднемъ, заложилъ руки подъ голову—и напрасно будитъ его Захаръ.

Нѣтъ, у него чернильница полна чернилъ, на столѣ лежатъ письма, бумага, даже гербовая, притомъ исписанная его рукой.

Написавъ нѣсколько страницъ, онъ ни разу не поставилъ два раза *который;* слогъ его лился свободно и мѣстами выразительно и краснорѣчиво, какъ въ «оны дни», когда онъ мечталъ со Штольцемъ о трудовой жизни, о путешествіи.

Встаетъ онъ въ семь часовъ, читаетъ, носитъ куда-то книги. На лицѣ ни сна, ни усталости, ни скуки. На немъ

появились даже краски, въ глазахъ блескъ, что-то въ родѣ отваги, или, по крайней мѣрѣ, самоувѣренности. Халата не видать на немъ: Тарантьевъ увезъ его съ собой къ кумѣ съ прочими вещами.

Обломовъ сидитъ съ книгой или пишетъ въ домашнемъ пальто; на шеѣ надѣта легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстукъ и блестятъ, какъ снѣгъ. Выходитъ онъ въ сюртукѣ, прекрасно сшитомъ, въ щегольской шляпѣ... Онъ веселъ, напѣваетъ... Отчего же это?..

Вотъ онъ сидитъ у окна своей дачи (онъ живетъ на дачѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города), подлѣ него лежитъ букетъ цвѣтовъ. Онъ что-то проворно дописываетъ, а самъ безпрестанно поглядываетъ черезъ кусты, на дорожку, и опять спѣшитъ писать.

Вдругъ по дорожкѣ захрустѣлъ песокъ подъ легкими шагами; Обломовъ бросилъ перо, схватилъ букетъ и подбѣжалъ къ окну.

— Это вы, Ольга Сергѣевна? Сейчасъ, сейчасъ!—сказалъ онъ, схватилъ фуражку, тросточку, выбѣжалъ въ калитку, подалъ руку какой-то прекрасной женщинѣ и исчезъ съ ней въ лѣсу, въ тѣни огромныхъ елей...

Захаръ вышелъ изъ-за какого-то угла, поглядѣлъ ему вслѣдъ, заперъ комнату и пошелъ въ кухню.

— Ушелъ!—сказалъ онъ Анисьѣ.

— А обѣдать будетъ?

— Кто его знаетъ?—сонно отвѣчалъ Захаръ.

Захаръ все такой же: тѣ же огромныя бакенбарды, небритая борода, тотъ же сѣрый жилетъ и прорѣха на сюртукѣ, но онъ женатъ на Анисьѣ, вслѣдствіе ли разрыва съ кумой, или такъ, по убѣжденію, что человѣкъ долженъ быть женатъ; онъ женился и, вопреки пословицѣ, не перемѣнился.

Штольцъ познакомилъ Обломова съ Ольгой и ея теткой. Когда Штольцъ привелъ Обломова въ домъ къ Ольгиной

теткѣ въ первый разъ, тамъ были гости. Обломову было тяжело и, по обыкновенію, неловко.

«Хорошо бы перчатки снять», думалъ онъ: «вѣдь въ комнатѣ тепло. Какъ я отвыкъ отъ всего!..»

Штольцъ сѣлъ подлѣ Ольги, которая сидѣла одна, подъ лампой, поодаль отъ чайнаго стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тѣмъ, что̀ вокругъ нея происходило.

Она очень обрадовалась Штольцу; хотя глаза ея не зажглись блескомъ, щеки не запылали румянцемъ, но по всему лицу разлился ровный, покойный свѣтъ и явилась улыбка.

Она называла его другомъ, любила за то, что онъ всегда смѣшилъ ее и не давалъ скучать, но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишкомъ ребенкомъ передъ нимъ.

Когда у ней рождался въ умѣ вопросъ, недоумѣніе, она не вдругъ рѣшалась повѣрить ему: онъ былъ слишкомъ далеко впереди ея, слишкомъ выше ея, такъ что самолюбіе ея иногда страдало отъ этой недозрѣлости, отъ разстоянія въ ихъ умѣ и лѣтахъ.

Штольцъ тоже любовался ею безкорыстно, какъ чудеснымъ созданіемъ, съ благоухающею свѣжестью ума и чувствъ. Она была въ глазахъ его только прелестный, подающій большія надежды, ребенокъ.

Штольцъ, однакожъ, говорилъ съ ней охотнѣе и чаще, нежели съ другими женщинами, потому что она, хотя безсознательно, но шла простымъ, природнымъ путемъ жизни и, по счастливой натурѣ, по здравому, не перехитренному воспитанію, не уклонялась отъ естественнаго проявленія мысли, чувства, воли, даже до малѣйшаго, едва замѣтнаго движенія глазъ, губъ, руки.

Не отъ того ли, можетъ-быть, шагала она такъ увѣренно по этому пути, что по временамъ слышала рядомъ другіе еще болѣе увѣренные шаги «друга», которому вѣрила, и съ ними соразмѣряла свой шагъ.

Какъ бы то ни было, но въ рѣдкой дѣвицѣ встрѣтишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь въ глазахъ: «теперь я подожму немного губу и задумаюсь — я такъ недурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, сейчасъ подбѣгутъ ко мнѣ. Сяду у фортепіано и выставлю чуть-чуть кончикъ ноги»...

Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла! Зато ее и цѣнилъ почти одинъ Штольцъ, зато не одну мазурку просидѣла она одна, не скрывая скуки; зато, глядя на нее, самые любезные изъ молодыхъ людей были неразговорчивы, не зная, что̀ и какъ сказать ей...

Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались съ языка ея ни мудрыя сентенціи о жизни, о любви, ни быстрыя, неожиданныя и смѣлыя реплики, ни вычитанныя или подслушанныя сужденія о музыкѣ и литературѣ: говорила она мало, и то свое, неважное—и ее обходили умные и бойкіе «кавалеры»; небойкіе, напротивъ, считали ее слишкомъ мудреной и немного боялись. Одинъ Штольцъ говорилъ съ ней безъ умолка и смѣшилъ ее.

Любила она музыку, но пѣла чаще втихомолку, или Штольцу, или какой-нибудь пансіонной подругѣ; а пѣла она, по словамъ Штольца, какъ ни одна пѣвица не поетъ.

Только что Штольцъ усѣлся подлѣ нея, какъ въ комнатѣ раздался ея смѣхъ, который былъ такъ звученъ, такъ искрененъ и заразителенъ, что кто ни послушаетъ этого смѣха, непремѣнно засмѣется самъ, не зная о причинѣ.

Но не все смѣшилъ ее Штольцъ: черезъ полчаса она слушала его съ любопытствомъ, и съ удвоеннымъ любопытствомъ переносила глаза на Обломова, а Обломову отъ этихъ взглядовъ—хоть сквозь землю провалиться.

«Что они такое говорятъ обо мнѣ?» думалъ онъ, косясь въ безпокойствѣ на нихъ. Онъ уже хотѣлъ уйти, но тетка

Ольги подозвала его къ столу и посадила подлѣ себя, подъ перекрестный огонь взглядовъ всѣхъ собесѣдниковъ.

Онъ боязливо обернулся къ Штольцу — его уже не было, взглянулъ на Ольгу и встрѣтилъ устремленный на него все тотъ же любопытный взглядъ.

«Все еще смотритъ!» подумалъ онъ, въ смущеніи оглядывая свое платье.

Онъ даже отеръ лицо платкомъ, думая, не выпачканъ ли у него носъ, трогалъ себя за галстукъ, не развязался ли: это бываетъ иногда съ нимъ; нѣтъ, все, кажется, въ порядкѣ, а она смотритъ!

Но человѣкъ подалъ ему чашку чаю и подкосъ съ кренделями. Онъ хотѣлъ подавить въ себѣ смущеніе, быть развязнымъ и въ этой развязности захватилъ такую кучу сухарей, бисквитовъ, кренделей, что сидѣвшая съ нимъ рядомъ дѣвочка засмѣялась. Другіе поглядывали на кучу съ любопытствомъ.

«Боже мой, и она смотритъ!» думаетъ Обломовъ. «Что я съ этой кучей сдѣлаю?»

Онъ и не глядя видѣлъ, какъ Ольга встала съ своего мѣста и пошла въ другой уголъ. У него отлегло отъ сердца.

А дѣвочка навострила на него глаза, ожидая, что̀ онъ сдѣлаетъ съ сухарями.

«Съѣмъ поскорѣй», подумалъ онъ и началъ проворно убирать бисквиты; къ счастью, они такъ и таяли во рту.

Оставались только два сухаря; онъ вздохнулъ свободно и рѣшился взглянуть туда, куда пошла Ольга...

Боже! она стоитъ у бюста, опершись на пьедесталъ, и слѣдитъ за нимъ. Она ушла изъ своего угла, кажется, затѣмъ, чтобъ свободнѣе смотрѣть на него: она замѣтила его неловкость съ сухарями.

За ужиномъ она сидѣла на другомъ концѣ стола, говорила, ѣла и, казалось, вовсе не занималась имъ. Но едва только Обломовъ боязливо оборачивался въ ея сторону, съ

надеждой, авось она не смотритъ, какъ встрѣчалъ ея взглядъ, исполненный любопытства, но вмѣстѣ такой добрый...

Обломовъ послѣ ужина торопливо сталъ прощаться съ теткой: она пригласила его на другой день обѣдать, и Штольцу просила передать приглашеніе. Илья Ильичъ поклонился и, не поднимая глазъ, прошелъ всю залу. Вотъ сейчасъ за роялемъ ширмы и дверь. Онъ взглянулъ — за роялемъ сидѣла Ольга и смотрѣла на него съ большимъ любопытствомъ. Ему показалось, что она улыбалась.

«Вѣрно Андрей разсказалъ, что на мнѣ были вчера надѣты чулки разные, или рубашка наизнанку!» заключилъ онъ и поѣхалъ домой не въ духѣ, и отъ этого предположенія, и еще болѣе отъ приглашенія обѣдать, на которое отвѣчалъ поклономъ: значитъ, принялъ.

Съ этой минуты настойчивый взглядъ Ольги не выходилъ изъ головы Обломова. Напрасно онъ во весь ростъ легъ на спину, напрасно бралъ самыя лѣнивыя и покойныя позы— не спится, да и только. И халатъ показался ему противенъ, и Захаръ глупъ и невыносимъ, и пыль съ паутиной нестерпима.

Онъ велѣлъ вынести вонъ нѣсколько дрянныхъ картинъ, которыя навязалъ ему какой-то покровитель бѣдныхъ артистовъ; самъ поправилъ штору, которая давно не поднималась, позвалъ Анисью и велѣлъ протереть окна, смахнулъ паутину, а потомъ легъ на бокъ и продумалъ съ часъ— объ Ольгѣ.

Онъ сначала пристально занялся ея наружностью, все рисовалъ въ памяти ея портретъ.

Ольга, въ строгомъ смыслѣ, не была красавица, то-есть, не было ни бѣлизны въ ней, ни яркаго колорита щекъ и губъ, и глаза не горѣли лучами внутренняго огня; ни коралловъ на губахъ, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрныхъ рукъ, какъ у пятилѣтняго ребенка, съ пальцами въ видѣ винограда.

Но если бъ ее обратить въ статую, она была бы статуя граціи и гармоніи. Нѣсколько высокому росту строго отвѣчала величина головы, величинѣ головы — овалъ и размѣры лица; все это, въ свою очередь, гармонировало съ плечами, плечи—со станомъ...

Кто ни встрѣчалъ ее, даже разсѣянный, и тотъ на мгновеніе останавливался передъ этимъ, такъ строго и обдуманно, артистически созданнымъ существомъ.

Носъ образовалъ чуть замѣтно выпуклую, граціозную линію; губы тонкія и большею частію сжатыя: признакъ непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствіе говорящей мысли свѣтилось въ зоркомъ, всегда бодромъ, ничего не пропускающемъ взглядѣ темныхъ, сѣро-голубыхъ глазъ. Брови придавали особенную красоту глазамъ: онѣ не были дугообразны, не округляли глазъ двумя тоненькими, нащипанными пальцемъ ниточками—нѣтъ, это были двѣ русыя, пушистыя, почти прямыя полоски, которыя рѣдко лежали симметрично: одна на линію была выше другой, отъ этого надъ бровью лежала маленькая складка, въ которой какъ-будто что-то говорило, будто тамъ покоилась мысль.

Ходила Ольга съ наклоненной немного впередъ головой, такъ стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой шеѣ; двигалась всѣмъ тѣломъ ровно, шагая легко, почти неуловимо...

«Что это она вчера смотрѣла такъ пристально на меня?» думалъ Обломовъ: «Андрей божится, что о чулкахъ и о рубашкѣ еще не говорилъ, а говорилъ о дружбѣ своей ко мнѣ, о томъ, какъ мы росли, учились — все, что было хорошаго, и между тѣмъ (и это разсказалъ), какъ несчастливъ Обломовъ, какъ гибнетъ все доброе отъ недостатка участія, дѣятельности, какъ слабо мерцаетъ жизнь и какъ...»

«Чему жъ улыбаться?» продолжалъ думать Обломовъ. «Если у ней есть сколько-нибудь сердца, оно должно бы

замереть, облиться кровью отъ жалости, а она... ну, Богъ съ ней! Перестану думать! Вотъ только съѣзжу сегодня отобѣдаю—и ни ногой».

Проходили дни за днями: онъ тамъ и обѣими ногами, и руками, и головой.

Въ одно прекрасное утро Тарантьевъ перевезъ весь его домъ къ своей кумѣ, въ переулокъ, на Выборгскую Сторону, и Обломовъ дня три провелъ, какъ давно не проводилъ: безъ постели, безъ дивана, обѣдалъ у Ольгиной тетки.

Вдругъ оказалось, что противъ ихъ дачи есть одна свободная. Обломовъ нанялъ ее заочно и живетъ тамъ. Онъ съ Ольгой съ утра до вечера; онъ читаетъ съ ней, посылаетъ цвѣты, гуляетъ по озеру, по горамъ... онъ, Обломовъ.

Чего не бываетъ на свѣтѣ! Какъ же это могло случиться? А вотъ какъ.

Когда они обѣдали со Штольцемъ у ея тетки, Обломовъ во время обѣда испытывалъ ту же пытку, что и наканунѣ, жевалъ подъ ея взглядомъ, говорилъ, зная, чувствуя, что надъ нимъ, какъ солнце, стоитъ этотъ взглядъ, жжетъ его, тревожитъ, шевелитъ нервы, кровь. Едва-едва на балконѣ, за сигарой, за дымомъ, удалось ему на мгновеніе скрыться отъ этого безмолвнаго, настойчиваго взгляда.

— Что это такое?—говорилъ онъ, ворочаясь во всѣ стороны. — Вѣдь это мученье! На-смѣхъ, что ли, я дался ей? На другого ни на кого не смотритъ такъ: не смѣетъ. Я посмирнѣе, такъ вотъ она... Я заговорю съ ней! — рѣшилъ онъ: — и выскажу лучше самъ словами то, что̀ она такъ и тянетъ у меня изъ души глазами.

Вдругъ она явилась передъ нимъ на порогѣ балкона; онъ подалъ ей стулъ, и она сѣла подлѣ него.

— Правда ли, что вы очень скучаете?—спросила она его.

— Правда,—отвѣчалъ онъ:—но только не очень... У меня есть занятія.

— Андрей Иванычъ говорилъ, что вы пишете какой-то планъ?

— Да, я хочу ѣхать въ деревню пожить, такъ приготовляюсь понемногу.

— А за границу поѣдете?

— Да, непремѣнно, вотъ какъ только Андрей Иванычъ соберется.

— Вы охотно ѣдете?—спросила она.

— Да, я очень охотно...

Онъ взглянулъ: улыбка такъ и ползетъ у ней по лицу, то освѣтитъ глаза, то разольется по щекамъ, только губы сжаты, какъ всегда. У него недостало духа солгать покойно.

— Я немного... лѣнивъ...—сказалъ онъ:—но...

Ему стало вмѣстѣ и досадно, что она такъ легко, почти молча, выманила у него сознаніе въ лѣни. «Что она мнѣ? Боюсь, что ли, я ея?» думалъ онъ.

— Лѣнивы!—возразила она съ едва-примѣтнымъ лукавствомъ.—Можетъ ли это быть? Мужчина лѣнивъ—я этого не понимаю.

«Чего тутъ не понимать?» подумалъ онъ: «кажется просто».

— Я все больше дома сижу, оттого Андрей и думаетъ, что я....

— Но, вѣроятно, вы много пишете,—сказала она:—читаете.—Читали ли вы..?

Она смотрѣла на него такъ пристально.

— Нѣтъ, не читалъ?—вдругъ сорвалось у него въ испугѣ, чтобъ она не вздумала его экзаменовать.

— Чего?—засмѣявшись, спросила она.

И онъ засмѣялся.

— Я думалъ, что вы хотите спросить меня о какомъ-нибудь романѣ: я ихъ не читаю.

— Не угадали; я хотѣла спросить о путешествіяхъ...

Онъ зорко поглядѣлъ на нее: у ней все лицо смѣялось, а губы нѣтъ...

«О! да она... съ ней надо быть осторожнымъ...» думалъ Обломовъ.

— Что же вы читаете?—съ любопытствомъ спросила она.

— Я, точно, люблю больше путешествія...

— Въ Африку?—лукаво и тихо спросила она.

Онъ покраснѣлъ, догадываясь, не безъ основанія, что ей было извѣстно не только о томъ, что̀ онъ читаетъ, но и какъ читаетъ.

— Вы музыкантъ? — спросила она, чтобъ вывести его изъ смущенія.

Въ это время подошелъ Штольцъ.

— Илья! Вотъ я сказалъ Ольгѣ Сергѣевнѣ, что ты страстно любишь музыку, просилъ спѣть что-нибудь... Casta diva.

— Зачѣмъ же ты наговариваешь на меня? — отвѣчалъ Обломовъ.—Я вовсе не страстно люблю музыку...

— Каковъ?—перебилъ Штольцъ.—Онъ какъ будто обидѣлся! Я рекомендую его, какъ порядочнаго человѣка, а онъ спѣшитъ разочаровать на свой счетъ!

— Я уклоняюсь только отъ роли любителя: это сомнительная, да и трудная роль!

— Какая же музыка вамъ больше нравится?—спросила Ольга.

— Трудно отвѣчать на этотъ вопросъ! Всякая! Иногда я съ удовольствіемъ слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотивъ, который заронился мнѣ въ память, въ другой разъ уйду на половинѣ оперы; тамъ Мейерберъ зашевелитъ меня; даже пѣсня съ барки: смотря по настроенію! Иногда и отъ Моцарта уши зажмешь...

— Значитъ, вы истинно любите музыку.

— Спойте же что-нибудь, Ольга Сергѣевна, — просилъ Штольцъ.

— А если мсьё Обломовъ теперь въ такомъ настроеніи, что уши зажметъ?—сказала она, обращаясь къ нему.

— Тутъ слѣдуетъ сказать какой-нибудь комплиментъ,—отвѣчалъ Обломовъ.—Я не умѣю, да если бъ и умѣлъ, такъ не рѣшился бы...

— Отчего же?

— А если вы дурно поете!—наивно замѣтилъ Обломовъ.—Мнѣ бы потомъ стало такъ неловко...

— Какъ вчера съ сухарями...—вдругъ вырвалось у ней, и она сама покраснѣла и Богъ знаетъ что̀ дала бы, чтобъ не сказать этого.—Простите—виновата!..—сказала она.

Обломовъ никакъ не ожидалъ этого и потерялся.

— Это злое предательство!—сказалъ онъ вполголоса.

— Нѣтъ, развѣ маленькое мщеніе, и то, ей-Богу, неумышленное, за то, что у васъ не нашлось даже комплимента для меня.

— Можетъ-быть, найду, когда услышу.

— А вы хотите, чтобъ я спѣла?—спросила она.

— Нѣтъ, это онъ хочетъ,—отвѣчалъ Обломовъ, указывая на Штольца.

— А вы?

Обломовъ покачалъ отрицательно головой.

— Я не могу хотѣть, чего не знаю.

— Ты грубіянъ, Илья!—замѣтилъ Штольцъ.—Вотъ что значитъ залежаться дома и надѣвать чулки...

— Помилуй, Андрей,—живо перебилъ Обломовъ, не давая ему договорить: — мнѣ ничего не сто̀итъ сказать: «ахъ! я очень радъ буду, счастливъ, вы, конечно, отлично поете...» продолжалъ онъ, обратясь къ Ольгѣ: «это мнѣ доставитъ» и т. д. Да развѣ это нужно?

— Но вы могли пожелать, по крайней мѣрѣ, чтобъ я спѣла... хоть изъ любопытства.

— Не смѣю,—отвѣчалъ Обломовъ:—вы не актриса...

— Ну, я вамъ спою,—сказала она Штольцу.

— Илья, готовь комплиментъ.

Между тѣмъ наступилъ вечеръ. Засвѣтили лампу, которая, какъ луна, сквозила въ трельяжѣ съ плющемъ. Сумракъ скрылъ очертанія лица и фигуры Ольги и набросилъ на нее какъ будто флёровое покрывало; лицо было въ тѣни: слышался только мягкій, но сильный голосъ, съ нервной дрожью чувства.

Она пѣла много арій и романсовъ, по указанію Штольца; въ однихъ выражалось страданіе, съ неяснымъ предчувствіемъ счастья, въ другихъ радость, но въ звукахъ этихъ таился уже зародышъ грусти.

Отъ словъ, отъ звуковъ, отъ этого чистаго, сильнаго дѣвическаго голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. Въ одинъ и тотъ же моментъ хотѣлось умереть, не пробуждаться отъ звуковъ, и сейчасъ же опять сердце жаждало жизни...

Обломовъ вспыхивалъ, изнемогалъ, съ трудомъ сдерживалъ слезы и еще труднѣе было душить ему радостный, готовый вырваться изъ души крикъ. Давно не чувствовалъ онъ такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвигъ.

Онъ въ эту минуту уѣхалъ бы даже за границу, если бъ ему оставалось только сѣсть и поѣхать.

Въ заключеніе она запѣла Casta diva: всѣ восторги, молніей несущіяся мысли въ головѣ, трепетъ, какъ иглы, пробѣгающій по тѣлу — все это уничтожило Обломова: онъ изнемогъ.

— Довольны вы мной сегодня? — вдругъ спросила Ольга Штольца, переставъ пѣть.

— Спросите Обломова, что̀ онъ скажетъ? — сказалъ Штольцъ.

— Ахъ!—вырвалось у Обломова.

Онъ вдругъ схватилъ-было Ольгу за руку и тотчасъ же оставилъ и сильно смутился.

— Извините...—пробормоталъ онъ.

— Слышите?—сказалъ ей Штольцъ.—Скажи по совѣсти, Илья: какъ давно съ тобой не случалось этого?

— Это могло случиться сегодня утромъ, если мимо оконъ проходила сиплая шарманка...—вмѣшалась Ольга съ добротой, такъ мягко, что вынула жало изъ сарказма.

Онъ съ упрекомъ взглянулъ на нее.

— У него окна по-сю пору не выставлены: не слыхать, что дѣлается наружѣ,—прибавилъ Штольцъ.

Обломовъ съ упрекомъ взглянулъ на Штольца.

Штольцъ взялъ руку Ольги.

— Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пѣли, какъ никогда не пѣли, Ольга Сергѣевна, по крайней мѣрѣ я давно не слыхалъ. Вотъ мой комплиментъ! — сказалъ онъ, цѣлуя каждый палецъ у нея.

Штольцъ уѣхалъ. Обломовъ тоже собрался, но Штольцъ и Ольга удержали его.

— У меня дѣло есть,—замѣтилъ Штольцъ: — а ты вѣдь пойдешь лежать... еще рано...

— Андрей! Андрей! — съ мольбой въ голосѣ проговорилъ Обломовъ. — Нѣтъ, я не могу остаться сегодня, я уѣду! — прибавилъ онъ и уѣхалъ.

Онъ не спалъ всю ночь: грустный, задумчивый проходилъ онъ взадъ и впередъ по комнатѣ; на зарѣ ушелъ изъ дома, ходилъ по Невѣ, по улицамъ, Богъ знаетъ, что̀ чувствуя, о чемъ думая...

Черезъ три дня онъ опять былъ тамъ и вечеромъ, когда прочіе гости усѣлись за карты, очутился у рояля, вдвоемъ съ Ольгой. У тетки разболѣлась голова; она сидѣла въ кабинетѣ и нюхала спиртъ.

— Хотите, я вамъ покажу коллекцію рисунковъ, которую Андрей Иванычъ привезъ мнѣ изъ Одессы?—спросила Ольга.—Онъ вамъ не показывалъ?

— Вы, кажется, стараетесь, по обязанности хозяйки, занять меня?—спросилъ Обломовъ.—Напрасно!

— Отчего напрасно? Я хочу, чтобъ вамъ не было скучно, чтобъ вы были здѣсь какъ дома, чтобъ вамъ было ловко, свободно, легко, и чтобъ вы не уѣхали... лежать.

«Она злое, насмѣшливое созданіе!» подумалъ Обломовъ, любуясь противъ воли каждымъ ея движеніемъ.

— Вы хотите, чтобъ мнѣ было легко, свободно и не было скучно?—повторилъ онъ.

— Да,—отвѣчала она, глядя на него по-вчерашнему, но еще съ бо́льшимъ выраженіемъ любопытства и доброты.

— Для этого, во-первыхъ, не глядите на меня такъ, какъ теперь, и какъ глядѣли намедни...

Любопытство въ ея глазахъ удвоилось.

— Вотъ, именно отъ этого взгляда мнѣ становится очень неловко... Гдѣ моя шляпа?

— Отчего же неловко? — мягко спросила она, и взглядъ ея потерялъ выраженіе любопытства. Онъ сталъ только добръ и ласковъ.

— Не знаю; только мнѣ кажется, вы этимъ взглядомъ добываете изъ меня все то, что̀ не хочется, чтобъ знали другіе, особенно вы...

— Отчего же? Вы другъ Андрея Иваныча, а онъ другъ мнѣ, слѣдовательно...

— Слѣдовательно, нѣтъ причины, чтобъ вы знали про меня все, что знаетъ Андрей Иванычъ,—договорилъ онъ.

— Причины нѣтъ, а есть возможность...

— Благодаря откровенности моего друга—плохая услуга съ его стороны!..

— Развѣ у васъ есть тайны?—спросила она. — Можетъ-быть, преступленія? — прибавила она, смѣясь и отодвигаясь отъ него.

— Можетъ-быть,—вздохнувъ, отвѣчалъ онъ.

— Да, это важное преступленіе, — сказала она робко и тихо:—надѣвать разные чулки.

Обломовъ схватилъ шляпу.

— Нѣтъ силъ!—сказалъ онъ.—И вы хотите, чтобъ мнѣ было ловко! Я разлюблю Андрея... Онъ и это сказалъ вамъ?

— Онъ сегодня ужасно разсмѣшилъ меня этимъ, — прибавила Ольга: — онъ все смѣшитъ. Простите, не буду, не буду, и глядѣть постараюсь на васъ иначе...

Она сдѣлала лукаво-серьезную мину.

— Все это еще, во-первыхъ, — продолжала она: — ну, я не гляжу по-вчерашнему, стало-быть, вамъ теперь свободно, легко. Слѣдуетъ: во-вторыхъ, что надо сдѣлать, чтобъ вы не соскучились?

Онъ глядѣлъ прямо въ ея сѣро-голубые, ласковые глаза.

— Вотъ вы сами смотрите на меня теперь какъ-то странно...—сказала она.

Онъ въ самомъ дѣлѣ смотрѣлъ на нее какъ будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, какъ магнетизеръ, но смотрѣлъ невольно, не имѣя силы не смотрѣть.

«Боже мой, какая она хорошенькая! Бываютъ же такія на свѣтѣ!» думалъ онъ, глядя на нее почти испуганными глазами. «Эта бѣлизна, эти глаза, гдѣ, какъ въ пучинѣ, темно, и вмѣстѣ блеститъ что-то, душа, должно-быть! Улыбку можно читать, какъ книгу; за улыбкой эти зубы и вся голова... какъ она нѣжно покоится на плечахъ, точно зыблется, какъ цвѣтокъ, дышитъ ароматомъ»...

«Да, я что-то добываю изъ нея», думалъ онъ: «изъ нея что-то переходитъ въ меня. У сердца, вотъ здѣсь, начинаетъ будто кипѣть и биться... Тутъ я чувствую что-то лишнее, чего, кажется, не было... Боже мой, какое счастье смотрѣть на нее! Даже дышать тяжело».

У него вихремъ неслись эти мысли, и онъ все смотрѣлъ на нее, какъ смотрятъ въ безконечную даль, въ бездонную пропасть, съ самозабвеніемъ, съ нѣгой.

— Да полноте, мсьё Обломовъ, теперь, какъ вы сами смотрите на меня! — говорила она, застѣнчиво отворачивая голову, но любопытство превозмогало, и она не сводила глазъ съ его лица.

Онъ не слышалъ ничего.

Онъ въ самомъ дѣлѣ все глядѣлъ и не слыхалъ ея словъ, и молча повѣрялъ, что̀ въ немъ дѣлается; дотронулся до головы—тамъ тоже что-то волнуется, несется съ быстротой. Онъ не успѣваетъ ловить мыслей: точно стая птицъ, порхнули онѣ, а у сердца, въ лѣвомъ боку, какъ будто болитъ.

— Не смотрите же на меня такъ странно, — сказала она:—мнѣ тоже неловко... И вы, вѣрно, хотите добыть что-нибудь изъ моей души...

— Что я могу добыть у васъ? — машинально спросилъ онъ.

— У меня тоже есть *планы*, начатые и неоконченные,— отвѣчала она.

Онъ очнулся отъ этого намека на его неоконченный планъ.

— Странно!—замѣтилъ онъ.—Вы злы, а взглядъ у васъ добрый. Не даромъ говорятъ, что женщинамъ вѣрить нельзя: онѣ лгутъ и съ умысломъ языкомъ, и безъ умысла— взглядомъ, улыбкой, румянцемъ, даже обмороками...

Она не дала усилиться впечатлѣнію, тихо взяла у него шляпу и сама сѣла на стулъ.

— Не стану, не стану,—живо повторила она.—Ахъ! простите, несносный языкъ! Но, ей-Богу, это не насмѣшка! — почти пропѣла она, и въ пѣніи этой фразы задрожало чувство.

Обломовъ успокоился.

— Этотъ Андрей!..—съ упрекомъ произнесъ онъ.

— Ну, во-вторыхъ, скажите же, что̀ дѣлать, чтобы вы не соскучились?—спросила она.

— Спойте!—сказалъ онъ.

— Вотъ онъ, комплиментъ, котораго я ждала!—радостно вспыхнувъ, перебила она.— Знаете ли, — съ живостью продолжала потомъ:—если бъ вы не сказали третьяго-дня этого «ахъ» послѣ моего пѣнія, я бы, кажется, не уснула ночь, можетъ-быть, плакала бы.

— Отчего?—съ удивленіемъ спросилъ Обломовъ.

Она задумалась.

— Сама не знаю,—сказала потомъ.

— Вы самолюбивы; это оттого.

— Да, конечно, оттого, — говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой клавиши:—но, вѣдь, самолюбіе вездѣ есть, и много. Андрей Иванычъ говоритъ, что это почти единственный двигатель, который управляетъ волей. Вотъ, у васъ, должно-быть, нѣтъ его, оттого вы все...

Она не договорила.

— Что?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, такъ, ничего,—замяла она.— Я люблю Андрея Иваныча, — продолжала она: — не за то только, что онъ смѣшитъ меня, иногда онъ говоритъ—я плачу, и не за то, что онъ любитъ меня, а, кажется, за то.. что онъ любитъ меня больше другихъ: видите, куда вкралось самолюбіе!

— Вы любите Андрея?— спросилъ ее Обломовъ и погрузилъ напряженный, испытующій взглядъ въ ея глаза.

— Да, конечно, если онъ любитъ меня больше другихъ, я его и подавно,—отвѣчала она серьезно.

Обломовъ глядѣлъ на нее молча; она отвѣтила ему простымъ, молчаливымъ взглядомъ.

— Онъ любитъ Анну Васильевну тоже, и Зинаиду Михайловну, да все не такъ,—продолжала она:—онъ съ ними не станетъ сидѣть два часа, не смѣшитъ ихъ и не разсказываетъ ничего отъ души; онъ говоритъ о дѣлахъ, о театрѣ, о новостяхъ, а со мной онъ говоритъ какъ съ сестрой... нѣтъ, какъ съ дочерью,—поспѣшно прибавила она:—

иногда даже бранитъ, если я не пойму чего-нибудь вдругъ, или не послушаюсь, не соглашусь съ нимъ. А ихъ не бранитъ, и я, кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбіе!—прибавила она задумчиво:—но я не знаю, какъ оно сюда попало, въ мое пѣніе? Про него давно говорятъ мнѣ много хорошаго, а вы не хотѣли даже слушать меня, васъ почти насильно заставили. И если бъ вы послѣ этого ушли, не сказавъ мнѣ ни слова, если бъ на лицѣ у васъ я не замѣтила ничего... я бы, кажется, захворала... да, точно, это самолюбіе!—рѣшительно заключила она.

— А вы развѣ замѣтили у меня что-нибудь на лицѣ?—спросилъ онъ.

— Слезы, хотя вы и скрывали ихъ; это дурная черта у мужчинъ — стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбіе, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего ума: онъ чаще ошибается. Даже Андрей Иванычъ и тотъ стыдливъ сердцемъ. Я ему это говорила, и онъ согласился со мной. А вы?

— Въ чемъ не согласишься, глядя на васъ!—сказалъ онъ.

— Еще комплиментъ! Да какой...

Она затруднилась въ словѣ.

— Пошлый!—договорилъ Обломовъ, не спуская съ нея глазъ.

Она улыбкой подтвердила значеніе слова.

— Вотъ я этого и боялся, когда не хотѣлъ просить васъ пѣть... Что скажешь, слушая въ первый разъ? А сказать надо. Трудно быть умнымъ и искреннимъ въ одно время, особенно въ чувствѣ, подъ вліяніемъ такого впечатлѣнія, какъ тогда...

— А я въ самомъ дѣлѣ пѣла тогда, какъ давно не пѣла, даже, кажется, никогда... Не просите меня пѣть, я не спою ужъ больше такъ... Постойте, еще одно спою... — сказала она, и въ ту же минуту лицо ея будто вспыхнуло, глаза загорѣлись, она опустилась на стулъ, сильно взяла два-три аккорда и запѣла.

Боже мой, что слышалось въ этомъ пѣніи! Надежды, неясная боязнь грозъ, самыя грозы, порывы счастія—все звучало, не въ пѣснѣ, а въ ея голосѣ.

Долго пѣла она, по временамъ оглядываясь къ нему, дѣтски спрашивая:

— Довольно? Нѣтъ, вотъ еще это,—и пѣла опять.

Щеки и уши рдѣли у нея отъ волненія; иногда на свѣжемъ лицѣ ея вдругъ сверкала игра сердечныхъ молній, вспыхивалъ лучъ такой зрѣлой страсти, какъ-будто она сердцемъ переживала далекую будущую пору жизни, и вдругъ опять потухалъ этотъ мгновенный лучъ, опять голосъ звучалъ свѣжо и серебристо.

И въ Обломовѣ играла такая же жизнь; ему казалось, что онъ живетъ и чувствуетъ все это—не часъ, не два, а цѣлые годы...

Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутреннимъ огнемъ, дрожали одинакимъ трепетомъ; въ глазахъ стояли слезы, вызванныя одинакимъ настроеніемъ. Все это симптомы тѣхъ страстей, которыя должны, повидимому, заиграть нѣкогда въ ея молодой душѣ, теперь еще подвластной только временнымъ, летучимъ намекамъ и вспышкамъ спящихъ силъ жизни.

Она кончила долгимъ пѣвучимъ аккордомъ, и голосъ ея пропалъ въ немъ. Она вдругъ остановилась, положила руки на колѣни и сама, растроганная, взволнованная, поглядѣла на Обломова: что онъ?

У него на лицѣ сіяла заря пробужденнаго, со дна души возставшаго счастья; наполненный слезами взглядъ устремленъ былъ на нее.

Теперь ужъ она, какъ онъ, также невольно взяла его за руку.

— Что съ вами? — спросила она: — Какое у васъ лицо! Отчего?

Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренно

скромно торжествовала, любуясь этимъ выраженіемъ своей силы.

— Посмотрите въ зеркало, — продолжала она, съ улыбкой указывая ему его же лицо въ зеркалѣ: — глаза блестятъ, Боже мой, слезы въ нихъ! Какъ глубоко вы чувствуете музыку!..

— Нѣтъ, я чувствую... не музыку... а... любовь! — тихо сказалъ Обломовъ.

Она мгновенно оставила его руку и измѣнилась въ лицѣ. Ея взглядъ встрѣтился съ его взглядомъ, устремленнымъ на нее: взглядъ этотъ былъ неподвижный, почти безумный; имъ глядѣлъ не Обломовъ, а страсть.

Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что онъ невластенъ въ немъ, и что оно—истина.

Онъ опомнился, взялъ шляпу и, не оглядываясь, выбѣжалъ изъ комнаты. Она уже не провожала его любопытнымъ взглядомъ, она долго, не шевелясь, стояла у фортепіано, какъ статуя, и упорно глядѣла внизъ; только усиленно поднималась и опускалась грудь...

VI.

Обломову, среди лѣниваго лежанья въ лѣнивыхъ позахъ, среди тупой дремоты и среди вдохновенныхъ порывовъ, на первомъ планѣ всегда грезилась женщина, какъ жена, и иногда—какъ любовница.

Въ мечтахъ предъ нимъ носился образъ высокой, стройной женщины, съ покойно-сложенными на груди руками, съ тихимъ, но гордымъ взглядомъ, небрежно-сидящей среди плющей въ боскетѣ, легко-ступающей по ковру, по песку аллеи, съ колеблющейся таліей, съ граціозно-положенной на плечи головой, съ задумчивымъ выраженіемъ—какъ идеалъ, какъ воплощеніе цѣлой жизни, исполненной нѣги и торжественнаго покоя, какъ самъ покой.

Снилась она ему сначала вся въ цвѣтахъ, у алтаря, съ

длиннымъ покрываломъ, потомъ у изголовья супружескаго ложа, съ стыдливо-опущенными глазами, наконецъ матерью, среди группы дѣтей.

Грезилась ему на губахъ ея улыбка, не страстная, глаза, не влажныя отъ желаній, а улыбка симпатичная къ нему, къ мужу, и снисходительная ко всѣмъ другимъ; взглядъ благосклонный только къ нему и стыдливый, даже строгій, къ другимъ.

Онъ никогда не хотѣлъ видѣть трепета въ ней, слышать горячей мечты, внезапныхъ слезъ, томленія, изнеможенія и потомъ бѣшенаго перехода къ радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно блѣднѣть, падать въ обморокъ, испытывать потрясающіе взрывы...

— У такихъ женщинъ любовники есть,—говорилъ онъ:— да и хлопотъ много: доктора, воды и пропасть разныхъ причудъ. Уснуть нельзя покойно!

А подлѣ гордо-стыдливой, покойной подруги спитъ беззаботно человѣкъ. Онъ засыпаетъ съ увѣренностью, проснувшись, встрѣтитъ тотъ же кроткій, симпатичный взглядъ. И чрезъ двадцать, тридцать лѣтъ, на свой теплый взглядъ онъ встрѣтилъ бы въ глазахъ ея тотъ же кроткій, тихомерцающій лучъ симпатіи. И такъ до гробовой доски!

«Да не это ли — тайная цѣль всякаго и всякой — найти въ своемъ другѣ неизмѣнную физіономію покоя, вѣчное и ровное теченіе чувства? Вѣдь это норма любви, и чуть что отступаетъ отъ нея, измѣняется, охлаждается — мы страдаемъ: стало-быть мой идеалъ—общій идеалъ?» думалъ онъ. «Не есть ли это вѣнецъ выработанности, выясненія взаимныхъ отношеній обоихъ половъ?»

Давать страсти законный исходъ, указать порядокъ теченія, какъ рѣкѣ, для блага цѣлаго края,—это общечеловѣческая задача, это вершина прогресса, на которую лѣзутъ всѣ эти Жоржъ-Занды, да сбиваются въ сторону. За рѣшеніемъ ея вѣдь уже нѣтъ ни измѣнъ, ни охлажденій, а

вѣчно-ровное біеніе покойно-счастливаго сердца, слѣдовательно вѣчно-наполненная жизнь, вѣчный сокъ жизни, вѣчное нравственное здоровье.

Есть примѣры такого блага, но рѣдкіе: на нихъ указываютъ, какъ на феноменъ. Родиться, говорятъ, надо для этого. А Богъ знаетъ, не воспитаться ли, не идти ли къ этому сознательно?..

Страсть! все это хорошо въ стихахъ, да на сценѣ, гдѣ, въ плащахъ, съ ножами, расхаживаютъ актёры, а потомъ идутъ, и убитые, и убійцы вмѣстѣ ужинать...

Хорошо, если бъ и страсти такъ кончались, а то послѣ нихъ остаются: дымъ, смрадъ, а счастья нѣтъ! Воспоминанія—одинъ только стыдъ и рваніе волосъ.

Наконецъ, если и постигнетъ такое несчастіе — страсть, такъ это все равно, какъ случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой и лошади падаютъ, и сѣдокъ изнемогаетъ, а ужъ родное село въ виду: не надо выпускать изъ глазъ и скорѣй, скорѣй выбираться изъ опаснаго мѣста...

Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить въ женитьбѣ...

Онъ съ ужасомъ побѣжалъ бы отъ женщины, если она вдругъ прожжетъ его глазами, или сама застонетъ, упадетъ къ нему на плечо съ закрытыми глазами, потомъ очнется и обовьетъ руками шею до удушья... Это фейерверкъ, взрывъ боченка съ порохомъ; а потомъ что̀? Оглушеніе, ослѣпленіе и опаленные волосы!

Но посмотримъ, что̀ за женщина Ольга!

Долго послѣ того, какъ у него вырвалось признаніе, не видались они наединѣ. Онъ прятался, какъ школьникъ, лишь только завидитъ Ольгу. Она перемѣнилась съ нимъ, но не бѣгала, не была холодна, а стала только задумчивѣе.

Ей, казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что̀ помѣшало ей мучить Обломова устремленнымъ на

него любопытнымъ взглядомъ и добродушно уязвлять его насмѣшками надъ лежаньемъ, надъ лѣнью, надъ его неловкостью...

Въ ней разыгрывался комизмъ, но это былъ комизмъ матери, которая не можетъ не улыбнуться, глядя на смѣшной нарядъ сына. Штольцъ уѣхалъ, и ей скучно было, что не кому пѣть; рояль ея былъ закрытъ—словомъ, на нихъ обоихъ легло принужденіе, оковы, обоимъ было неловко.

А какъ было пошло хорошо! Какъ просто познакомились они! Какъ свободно сошлись! Обломовъ былъ проще Штольца и добрѣе его, хотя не смѣшилъ ее такъ, или смѣшилъ собой, и такъ легко прощалъ насмѣшки.

Потомъ еще Штольцъ, уѣзжая, завѣщалъ Обломова ей, просилъ приглядывать за нимъ, мѣшать ему сидѣть дома. У ней, въ умненькой, хорошенькой головкѣ, развился уже подробный планъ, какъ она отучитъ Обломова спать послѣ обѣда, да не только спать, она не позволитъ ему даже прилечь на диванѣ днемъ: возьметъ съ него слово.

Она мечтала, какъ «прикажетъ ему прочесть книги», которыя оставилъ Штольцъ, потомъ читать каждый день газеты и разсказывать ей новости, писать въ деревню письма, дописывать планъ устройства имѣнія, приготовиться ѣхать за границу — словомъ, онъ не задремлетъ у нея; она укажетъ ему цѣль, заставитъ полюбить опять все, что онъ разлюбилъ, и Штольцъ не узнаетъ его, воротясь.

И все это чудо сдѣлаетъ она, такая робкая, молчаливая, которой до сихъ поръ никто не слушался, которая еще не начала жить! Она—виновница такого превращенія!

Ужъ оно началось: только лишь она запѣла, Обломовъ, не тотъ...

Онъ будетъ жить, дѣйствовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человѣка къ жизни — сколько славы доктору, когда онъ спасетъ безнадежнаго больного! А спасти нравственно-погибающій умъ, душу?..

Она даже вздрагивала отъ гордаго, радостнаго трепета; считала это урокомъ, назначеннымъ свыше. Она мысленно сдѣлала его своимъ секретаремъ, библіотекаремъ.

И вдругъ все это должно кончиться! Она не знала, какъ поступить ей, и оттого молчала, когда встрѣчалась съ Обломовымъ.

Обломовъ мучился тѣмъ, что онъ испугалъ, оскорбилъ ее, и ждалъ молніеносныхъ взглядовъ, холодной строгости, и дрожалъ, завидя ее, сворачивалъ въ сторону.

Между тѣмъ ужъ онъ переѣхалъ на дачу и дня три пускался все одинъ по кочкамъ, черезъ болото, въ лѣсъ, или уходилъ въ деревню и праздно сидѣлъ у крестьянскихъ воротъ, глядя, какъ бѣгаютъ ребятишки, телята, какъ утки полощутся въ прудѣ.

Около дачи было озеро, огромный паркъ: онъ боялся идти туда, чтобъ не встрѣтить Ольгу одну.

«Дернуло меня брякнуть!» думалъ онъ и даже не спрашивалъ себя, въ самомъ ли дѣлѣ у него вырвалась истина, или это только было мгновеннымъ дѣйствіемъ музыки на нервы.

Чувство неловкости, стыда или «срама», какъ онъ выражался, который онъ надѣлалъ, мѣшало ему разобрать, что̀ это за порывъ былъ; и вообще, что̀ такое для него Ольга? Ужъ онъ не анализировалъ, что прибавилось у него къ сердцу лишнее, какой-то комокъ, котораго прежде не было. Въ немъ всѣ чувства свернулись въ одинъ комъ— стыда.

Когда же минутно являлась она въ его воображеніи, тамъ возникалъ и тотъ образъ, тотъ идеалъ воплощеннаго покоя, счастья жизни: этотъ идеалъ точь-въ-точь былъ—Ольга. Оба образа сходились, и сливались въ одинъ.

— Ахъ, что я надѣлалъ!—говорилъ онъ.—Все сгубилъ! Слава Богу, что Штольцъ уѣхалъ: она не успѣла сказать ему, а то бы хоть сквозь землю провались! Любовь, слезы—

къ лицу ли это мнѣ? И тетка Ольги не шлетъ, не зоветъ къ себѣ: вѣрно она сказала... Боже мой!..

Такъ думалъ онъ, забираясь подальше въ паркъ, въ боковую аллею.

Ольга затруднялась только тѣмъ, какъ она встрѣтится съ нимъ, какъ пройдетъ это событіе: молчаніемъ ли, какъ будто ничего не было, или надо сказать ему что-нибудь?

А что сказать? Сдѣлать суровую мину, посмотрѣть на него гордо, или даже вовсе не посмотрѣть, а надменно и сухо замѣтить, что она «никакъ не ожидала отъ него такого поступка: за кого онъ ее считаетъ, что позволилъ себѣ такую дерзость?..» Такъ Сонечка въ мазуркѣ отвѣчала какому-то корнету, хотя сама изъ всѣхъ силъ хлопотала, чтобъ вскружить ему голову.

«Да что же тутъ дерзкаго?» спросила она себя. «Ну, если онъ въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ, почему же не сказать?.. Однако, какъ же это, вдругъ, едва познакомился... Этого никто другой ни за что не сказалъ бы, увидя во второй, въ третій разъ женщину; да никто и не почувствовалъ бы такъ скоро любви. Это только Обломовъ могъ...»

Но она вспомнила, что она слышала и читала, какъ любовь приходитъ иногда внезапно.

«И у него былъ порывъ, увлеченіе; теперь онъ глазъ не кажетъ: ему стыдно; стало-быть это не дерзость. А кто виноватъ?» подумала еще: «Андрей Иванычъ, конечно, потому что заставилъ ее пѣть».

Но Обломовъ сначала слушать не хотѣлъ—ей было досадно, и она... старалась... Она сильно покраснѣла—да, всѣми силами старалась расшевелить его.

Штольцъ сказалъ про него, что онъ апатиченъ, что ничего его не занимаетъ, что все угасло въ немъ... Вотъ ей и захотѣлось посмотрѣть, все ли угасло, и она пѣла, пѣла... какъ никогда...

«Боже мой! да вѣдь я виновата: я попрошу у него про-

шенія... А въ чемъ?» спросила потомъ: «Что я скажу ему: мсьё Обломовъ, я виновата, я завлекала... Какой стыдъ! Это неправда!» сказала она, вспыхнувъ и топнувъ ногой: «Кто смѣетъ это подумать?.. Развѣ я знала, что̀ выйдетъ? А если бъ этого не было, если бъ не вырвалось у него... что̀ тогда?..» спросила она. «Не знаю...» думала.

У ней съ того дня какъ-то странно на сердцѣ... должно быть ей очень обидно... даже въ жаръ кидаетъ, на щекахъ рдѣютъ два розовыя пятнышка...

— Раздраженіе... маленькая лихорадка, — говорилъ докторъ.

«Что̀ надѣлалъ этотъ Обломовъ! О, ему надо дать урокъ, чтобъ этого впередъ не было! Попрошу ma tante отказать ему отъ дома: онъ не долженъ забываться... Какъ онъ смѣлъ!» думала она, идя по парку; глаза ея горѣли...

Вдругъ кто-то идетъ, слышитъ она.

«Идетъ кто-то...» подумалъ Обломовъ.

И сошлись лицомъ къ лицу.

— Ольга Сергѣевна!—сказалъ онъ, трясясь, какъ осиновый листъ.

— Илья Ильичъ! — отвѣчала она робко, и оба остановились.

— Здравствуйте,—сказалъ онъ.

— Здравствуйте,—говорила она.

— Вы куда идете?—спросилъ онъ.

— Такъ...—сказала она, не поднимая глазъ.

— Я вамъ мѣшаю?

— О, ничуть...—отвѣчала она, взглянувъ на него быстро и съ любопытствомъ.

— Можно мнѣ съ вами?—спросилъ онъ, вдругъ, кинувъ на нее пытливый взглядъ.

Они молча шли по дорожкѣ. Ни отъ линейки учителя, ни отъ бровей директора, никогда въ жизни не стучало такъ сердце Обломова, какъ теперь. Онъ хотѣлъ что-то сказать,

пересиливалъ себя, но слова съ языка не шли; только сердце билось неимовѣрно, какъ передъ бѣдой.

— Не получили ли вы письма отъ Андрея Иваныча? — спросила она.

— Получилъ,—отвѣчалъ Обломовъ.

— Что онъ пишетъ?

— Зоветъ въ Парижъ.

— Что жъ вы?

— Поѣду.

— Когда?

— Ужо... нѣтъ, завтра... какъ сберусь.

— Отчего такъ скоро?—спросила она.

Онъ молчалъ.

— Вамъ дача не нравится, или... скажите, отчего вы хотите уѣхать?

«Дерзкій! онъ еще ѣхать хочетъ!» подумала она.

— Мнѣ отчего-то больно, неловко, жжетъ меня, — прошепталъ Обломовъ, не глядя на нее.

Она молчала, сорвала вѣтку сирени и нюхала ее, закрывъ лицо и носъ.

— Понюхайте, какъ хорошо пахнетъ! — сказала она и закрыла носъ и ему.

— А вотъ ландыши! Постойте, я нарву,—говорилъ онъ, нагибаясь къ травѣ: — тѣ лучше пахнутъ: полями, рощей; природы больше. А сирень все около домовъ растетъ, вѣтки такъ и лѣзутъ въ окна, запахъ приторный. Вонъ еще роса на ландышахъ не высохла.

Онъ поднесъ ей нѣсколько ландышей.

— А резеду вы любите?—спросила она.

— Нѣтъ: сильно очень пахнетъ; ни резеды, ни розъ не люблю. Да я вообще не люблю цвѣтовъ; въ полѣ еще такъ, а въ комнатѣ—сколько возни съ ними... соръ...

— А вы любите, чтобъ въ комнатахъ чисто было? — спросила она, лукаво поглядывая на него.—Не терпите сору!

— Да; но у меня человѣкъ такой... — бормоталъ онъ. — «О, злая!» прибавилъ про-себя.

— Вы прямо въ Парижъ поѣдете?—спросила она.

— Да; Штольцъ давно ждетъ меня.

— Отвезите письмо къ нему; я напишу,—сказала она.

— Такъ дайте сегодня; я завтра въ городъ переѣду.

— Завтра? — спросила она. — Отчего такъ скоро? Васъ какъ будто гонитъ кто-нибудь.

— И такъ гонитъ...

— Кто же?

— Стыдъ...—прошепталъ онъ.

— Стыдъ! — повторила она машинально. — «Вотъ теперь скажу ему: мсьё Обломовъ, я никакъ не ожидала...»

— Да, Ольга Сергѣевна,—наконецъ пересилилъ онъ себя:— вы, я думаю, удивляетесь... сердитесь...

«Ну, пора... вотъ настоящая минута». Сердце такъ и стучало у ней. «Не могу, Боже мой!»

Онъ старался заглянуть ей въ лицо, узнать, что̀ она; но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она... что̀ ей сказать, что̀ сдѣлать.

«Ахъ, Сонечка сейчасъ бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая! ничего не умѣю... мучительно!» думала она.

— Я совсѣмъ забыла...—сказала она.

— Повѣрьте мнѣ, это было невольно... я не могъ удержаться... — заговорилъ онъ, понемногу вооружаясь смѣлостью.—Если бъ громъ загремѣлъ тогда, камень упалъ бы надо мной, я бы все-таки сказалъ. Этого никакими силами удержать было нельзя... Ради Бога, не подумайте, чтобъ я хотѣлъ... Я самъ черезъ минуту Богъ знаетъ что̀ далъ бы, чтобъ воротить неосторожное слово...

Она шла, потупя голову и нюхая цвѣты.

— Забудьте же это, — продолжалъ онъ: — забудьте тѣмъ болѣе, что это неправда...

— Неправда? — вдругъ повторила она, выпрямилась и выронила цвѣты.

Глаза ей вдругъ раскрылись широко и блеснули изумленіемъ...

— Какъ неправда?—повторила она еще.

— Да, ради Бога не сердитесь и забудьте. Увѣряю васъ, это только минутное увлеченіе... отъ музыки.

— Только отъ музыки!..

Она измѣнилась въ лицѣ: пропали два розовыя пятнышка и глаза потускли.

«Вотъ, ничего и нѣтъ! Вотъ, онъ взялъ назадъ неосторожное слово и сердиться не нужно!.. Вотъ и хорошо... теперь покойно... Можно попрежнему говорить, шутить...» думала она и сильно рванула, мимоходомъ, вѣтку съ дерева, оторвала губами одинъ листокъ и потомъ тотчасъ же бросила и вѣтку, и листокъ на дорожку.

— Вы не сердитесь? Забыли? — говорилъ Обломовъ, наклонясь къ ней.

— Да что такое? О чемъ вы просите? — съ волненіемъ, почти съ досадой отвѣчала она, отворачиваясь отъ него.— Я все забыла... я такая безпамятная!

Онъ замолчалъ и не зналъ, что̀ дѣлать. Онъ видѣлъ только внезапную досаду и не видалъ причины.

«Боже мой!» думала она. «Вотъ все пришло въ порядокъ; этой сцены какъ не бывало, слава Богу! Что жъ... Ахъ, Боже мой! Что жъ это такое? Ахъ, Соничка, Соничка! Какая ты счастливая!»

— Я домой пойду, — вдругъ сказала она, ускоряя шаги и поворачивая въ другую аллею.

У ней въ горлѣ стояли слезы. Она боялась заплакать.

— Не туда, здѣсь ближе,—замѣтилъ Обломовъ.—«Дуракъ», сказалъ онъ самъ себѣ уныло: «нужно было объясняться! Теперь пуще разобидѣлъ. Не надо было напоминать: оно бы

такъ и прошло, само бы забылось. Теперь, нечего дѣлать, надо выпросить прощеніе».

«Мнѣ, должно-быть, оттого стало досадно», думала она: «что я не успѣла сказать ему: мсьё Обломовъ, я никакъ не ожидала, чтобъ вы позволили... Онъ предупредилъ меня... «Неправда!» скажите, пожалуйста, онъ еще лгалъ! Да какъ онъ смѣлъ?»

— Точно ли вы забыли?—спросилъ онъ тихо.

— Забыла, все забыла!—скоро проговорила она, торопясь идти домой.

— Дайте руку, въ знакъ, что вы не сердитесь.

Она, не глядя на него, подала ему концы пальцевъ и, едва онъ коснулся ихъ, тотчасъ же отдернула руку назадъ.

— Нѣтъ, вы сердитесь! — сказалъ онъ со вздохомъ. — Какъ увѣрить мнѣ васъ, что это было увлеченіе, что я не позволилъ бы себѣ забыться?.. Нѣтъ, конечно, не стану больше слушать вашего пѣнія...

— Никакъ не увѣряйте: не надо мнѣ вашихъ увѣреній...—съ живостью сказала она.—Я и сама не стану пѣть!

— Хорошо, я замолчу, — сказалъ онъ: — только, ради Бога, не уходите такъ, а то у меня на душѣ останется такой камень...

Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться къ его словамъ.

— Если правда, что вы заплакали бы, не услыхавъ, какъ я ахнулъ отъ вашего пѣнія, то теперь, если вы такъ уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... пожалѣйте, Ольга Сергѣевна! Я буду нездоровъ, у меня колѣни дрожатъ, я насилу стою...

— Отчего?—вдругъ спросила она, взглянувъ на него.

— И самъ не знаю,—сказалъ онъ:—стыдъ у меня прошелъ теперь: мнѣ не стыдно отъ моего слова... мнѣ кажется, въ немъ...

Опять у него мурашки поползли по сердцу; опять что-то

лишнее оказалось тамъ; опять ея ласковый и любопытный взглядъ сталъ жечь его. Она такъ граціозно оборотилась къ нему, съ такимъ безпокойствомъ ждала отвѣта.

— Что въ немъ?—нетерпѣливо спросила она.

— Нѣтъ, боюсь сказать: вы опять разсердитесь.

— Говорите!—сказала она повелительно.

Онъ молчалъ.

— Ну?

— Мнѣ опять плакать хочется, глядя на васъ... Видите, у меня нѣтъ самолюбія, я не стыжусь сердца...

— Отчего же плакать?—спросила она, и на щекахъ появились два розовыя пятна.

— Мнѣ все слышится вашъ голосъ... я опять чувствую...

— Что? — сказала она, и слезы отхлынули отъ груди; она ждала напряженно.

Они подошли къ крыльцу.

— Чувствую... — торопился досказать Обломовъ и остановился.

Она медленно, какъ будто съ трудомъ, всходила по ступенямъ.

— Ту же музыку... то же... волненіе... то же... чув... простите, простите—ей-Богу, не могу сладить съ собой...

— Мг. Обломовъ... — строго начала она, потомъ вдругъ лицо ея озарилось лучомъ улыбки: — я не сержусь, прощаю,—прибавила она мягко:—только впередъ...

Она, не оборачиваясь, протянула ему назадъ руку; онъ схватилъ ее, поцѣловалъ въ ладонь; она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула въ стеклянную дверь, а онъ остался какъ вкопанный.

VII.

Долго онъ глядѣлъ ей вслѣдъ большими глазами, съ разинутымъ ртомъ, долго поводилъ взглядомъ по кустамъ...

Прошли чужіе, пролетѣла птица. Баба, мимоходомъ, спросила, не надо ли ему ягодъ—столбнякъ продолжался.

Онъ опять пошелъ тихонько по той же аллеѣ и до половины ея дошелъ тихо, набрелъ на ландыши, которые уронила Ольга, на вѣтку сирени, которую она сорвала и съ досадой бросила.

«Отчего это она?..» сталъ онъ соображать, припоминать...

— Дуракъ, дуракъ!—вдругъ вслухъ сказалъ онъ, хватая ландыши, вѣтку, и почти бѣгомъ бросился по аллеѣ. — Я прощенья просилъ, а она... ахъ, ужели?.. Какая мысль!

Счастливый, сіяющій, точно «съ мѣсяцемъ во лбу», по выраженію няньки, пришелъ онъ домой, сѣлъ въ уголъ дивана и быстро начертилъ по пыли на столѣ крупными буквами: «Ольга».

— Ахъ, какая пыль!—очнувшись отъ восторга замѣтилъ онъ. — Захаръ! Захаръ! — долго кричалъ онъ, потому что Захаръ сидѣлъ съ кучерами у воротъ, обращенныхъ въ переулокъ.

— Поди ты!—грознымъ шопотомъ говорила Анисья, дергая его за рукавъ.—Баринъ давно зоветъ тебя.

— Посмотри, Захаръ, что̀ это такое? — сказалъ Илья Ильичъ, но мягко, съ добротой: онъ сердиться былъ не въ состояніи теперь. — Ты и здѣсь хочешь такой же безпорядокъ завести: пыль, паутину? Нѣтъ; извини, я не позволю! И такъ Ольга Сергѣевна мнѣ проходу не даетъ: «вы любите, говоритъ, соръ».

— Да, имъ хорошо говорить; у нихъ пятеро людей, — замѣтилъ Захаръ, поворачиваясь къ двери.

— Куда ты? Возьми да смети: здѣсь сѣсть нельзя, ни облокотиться... Вѣдь это гадость, это... обломовщина!

Захаръ надулся и стороной посмотрѣлъ на барина.

«Вона!» подумалъ онъ: «еще выдумалъ какое-то жалкое слово! А знакомое!»

— Ну, мети же, что стоишь?—сказалъ Обломовъ.

— Чего мести? Я мелъ сегодня? — упрямо отвѣчалъ Захаръ.

— А откуда жъ пыль, если мелъ? Смотри, вонъ, вонъ! Чтобъ не было! Сейчасъ смести!

— Я мелъ, — твердилъ Захаръ: — не по десяти же разъ мести! А пыль съ улицы набирается... здѣсь поле, дача: пыли много на улицѣ.

— Да ты, Захаръ Трофимычъ, — начала Анисья, вдругъ выглянувъ изъ другой комнаты:—напрасно сначала метешь полъ, а потомъ со столовъ сметаешь: пыль-то опять и насядетъ... Ты бы прежде...

— Ты что тутъ пришла указывать?—яростно захрипѣлъ Захаръ.—Иди къ своему мѣсту!

— Гдѣ же это видано, сначала полъ мести, а потомъ со столовъ убирать?.. Баринъ оттого и гнѣвается...

— Ну-ну-ну! — закричалъ онъ, замахиваясь на нее локтемъ въ грудь.

Она усмѣхнулась и спряталась. Обломовъ махнулъ и ему рукой, чтобъ онъ шелъ вонъ. Онъ прилегъ на шитую подушку головой, приложилъ руку къ сердцу и сталъ прислушиваться, какъ оно стучитъ.

«Вѣдь это вредно», сказалъ онъ про себя. «Что дѣлать? Если съ докторомъ посовѣтоваться, онъ, пожалуй, въ Абиссинію пошлетъ!»

Пока Захаръ и Анисья не были женаты, каждый изъ нихъ занимался своею частью и не входилъ въ чужую, то-есть Анисья знала рынокъ и кухню и участвовала въ убираніи комнатъ только разъ въ годъ, когда мыла полы.

Но послѣ свадьбы доступъ въ барскіе покои ей сдѣлался свободнѣе. Она помогала Захару, и въ комнатахъ стало чище, и вообще нѣкоторыя обязанности мужа она взяла на себя, частью добровольно, частью потому, что Захаръ деспотически возложилъ ихъ на нее.

— На вотъ, выколоти-ко коверъ,—хрипѣлъ онъ повелительно, или: — Ты бы перебрала вонъ, что тамъ въ углу навалено, да лишнее вынесла бы въ кухню,—говорилъ онъ.

Такъ блаженствовалъ онъ съ мѣсяцъ: въ комнатахъ чисто, баринъ не ворчитъ, «жалкихъ словъ» не говоритъ, и онъ, Захаръ, ничего не дѣлаетъ. Но это блаженство миновалось—и вотъ по какой причинѣ.

Лишь только они съ Анисьей принялись хозяйничать въ барскихъ комнатахъ вмѣстѣ, Захаръ, что ни сдѣлаетъ, окажется глупостью. Каждый шагъ его—все не то и не такъ. Пятьдесятъ-пять лѣтъ ходилъ онъ на бѣломъ свѣтѣ съ увѣренностью, что все, что онъ ни дѣлаетъ, иначе и лучше сдѣлано быть не можетъ.

И вдругъ теперь, въ двѣ недѣли, Анисья доказала ему, что онъ—хоть брось, и притомъ, она дѣлаетъ это съ такой обидной снисходительностью, такъ тихо, какъ дѣлаютъ только съ дѣтьми, или съ совершенными дураками, да еще усмѣхается, глядя на него.

— Ты, Захаръ Трофимычъ, — ласково говорила она: — напрасно прежде закрываешь трубу, а потомъ форточки отворяешь: опять настудишь комнаты.

— А какъ же по-твоему?—съ грубостью мужа спросилъ онъ:—когда же отворять?

— А когда затопишь: воздухъ и вытянетъ, а потомъ нагрѣется опять,—отвѣчала она тихо.

— Экая дура!—говорилъ онъ.—Двадцать лѣтъ я дѣлалъ такъ, а для тебя мѣнять стану...

На полкѣ шкапа лежали у него вмѣстѣ чай, сахаръ, лимонъ, серебро, тутъ же вакса, щетки и мыло.

Однажды онъ пришелъ и вдругъ видитъ, что мыло лежитъ на умывальномъ столикѣ, щетки и вакса въ кухнѣ на окнѣ, а чай и сахаръ въ особомъ ящикѣ комода.

— Это ты что у меня тутъ все будоражишь по-своему—а? — грозно спросилъ онъ. — Я нарочно сложилъ все въ одинъ уголъ, чтобъ подъ рукой было, а ты разбросала все по разнымъ мѣстамъ?

— А чтобъ чай не пахнулъ мыломъ, — кротко замѣтила она.

Въ другой разъ она указала ему двѣ-три дыры на барскомъ платьѣ, отъ моли, и сказала, что въ недѣлю разъ надо непремѣнно встряхнуть и почистить платье.

— Дай я выколочу вѣничкомъ,—ласково заключила она.

Онъ вырвалъ у ней вѣничекъ и фракъ, который-было она взяла, и положилъ на прежнее мѣсто.

Когда еще онъ, однажды, по обыкновенію, сталъ пенять на барина, что тотъ бранитъ его понапрасну за тараканов, что «не онъ выдумалъ ихъ», Анисья, молча, выбрала съ полки куски и завалявшіяся съ незапамятныхъ временъ крошки чернаго хлѣба, вымела и вымыла шкапы, посуду— и тараканы почти совсѣмъ исчезли.

Захаръ все еще не понималъ хорошенько, въ чемъ дѣло, и приписывалъ это только ея усердію. Но когда, однажды, онъ понесъ подносъ съ чашками и стаканами, разбилъ два стакана и началъ, по обыкновенію, ругаться и хотѣлъ бросить на полъ и весь подносъ, она взяла подносъ у него изъ рукъ, поставила другіе стаканы, еще сахарницу, хлѣбъ, и такъ уставила все, что ни одна чашка не шевельнулась, и потомъ показала ему, какъ взять подносъ одной рукой, какъ плотно придержать другой, потомъ два раза прошла по комнатѣ, вертя подносомъ направо и налѣво, и ни одна ложечка не пошевелилась на немъ, Захару вдругъ ясно стало, что Анисья умнѣе его!

Онъ вырвалъ у ней подносъ, разронялъ стаканы и уже съ тѣхъ поръ не могъ простить ей этого.

— Вотъ видишь, какъ надо!—еще прибавила она тихо.

Онъ взглянулъ на нее съ тупымъ высокомѣріемъ, а она усмѣхается.

— Ахъ, ты баба, солдатка этакая, хочешь ты умничать! Да развѣ у насъ въ Обломовкѣ такой домъ былъ? На мнѣ все держалось одномъ: однихъ лакеевъ, съ мальчишками,

пятнадцать человѣкъ! А вашей братьи, бабья, такъ и поименно-то не знаешь... А ты тутъ... Ахъ, ты!..

— Я вѣдь добраго хочу,—начала-было она.

— Ну-ну-ну! — хрипѣлъ онъ, дѣлая угрожающій жестъ локтемъ въ грудь. — Пошла отсюда, изъ барскихъ комнатъ, на кухню... знай свое бабье дѣло!

Она усмѣхнулась и пошла, а онъ мрачно, стороной глядѣлъ ей вслѣдъ.

Гордость его страдала, и онъ мрачно обращался съ женой. Когда же, однако, случалось, что Илья Ильичъ спрашивалъ какую-нибудь вещь, а вещи не оказывалось, или она оказывалась разбитою, и вообще, когда случался безпорядокъ въ домѣ и надъ головой Захара собиралась гроза, сопровождаемая «жалкими словами», Захаръ мигалъ Анисьѣ, кивалъ головой на кабинетъ барина и, указывая туда большимъ пальцемъ, повелительнымъ шопотомъ говорилъ:

— Поди ты къ барину: что̀ ему тамъ нужно?

Анисья входила, и гроза всегда разрѣшалась простымъ объясненіемъ. И самъ Захаръ, чуть начинали проскакивать въ рѣчи Обломова «жалкія слова», предлагалъ ему позвать Анисью.

Такимъ образомъ опять все заглохло бы въ комнатахъ Обломова, если бъ не Анисья: она уже причислила себя къ дому Обломова, безсознательно раздѣлила неразрываемую связь своего мужа съ жизнью, домомъ и особой Ильи Ильича, и ея женскій глазъ и заботливая рука бодрствовали въ запущенныхъ покояхъ.

Захаръ только отвернется куда-нибудь, Анисья смахнетъ пыль со столовъ, съ дивановъ, откроетъ форточку, поправитъ шторы, приберетъ къ мѣсту кинутые посреди комнаты сапоги, повѣшенные на парадныхъ креслахъ панталоны, переберетъ всѣ платья, даже бумаги, карандаши, ножичекъ, перья на столѣ — все положитъ въ порядкѣ; взобьетъ измятую постель, поправитъ подушки — и все въ три пріема;

потомъ окинетъ еще бѣглымъ взглядомъ всю комнату, подвинетъ какой-нибудь стулъ, задвинетъ полуотворенный ящикъ комода, стащитъ салфетку со стола и быстро скользнетъ въ кухню, заслыша скрипучіе сапоги Захара.

Она была живая, проворная баба, лѣтъ сорока семи, съ заботливой улыбкой, съ бѣгавшими живо во всѣ стороны глазами, крѣпкой шеей и грудью и красными, цѣпкими, никогда не устающими руками.

Лица у ней почти вовсе не было: только и былъ замѣтенъ носъ; хотя онъ былъ небольшой, но онъ какъ будто отсталъ отъ лица, или неловко былъ приставленъ, и притомъ нижняя часть его была вздернута кверху, оттого лица за нимъ было незамѣтно: оно такъ обтянулось, выцвѣло, что о носѣ ея давно уже получишь ясное понятіе, а лица все не замѣтишь.

Много въ свѣтѣ такихъ мужей, какъ Захаръ. Иногда дипломатъ небрежно выслушаетъ совѣтъ жены, пожметъ плечами—и втихомолку напишетъ по ея совѣту.

Иногда администраторъ, посвистывая, гримасой сожалѣнія отвѣтитъ на болтовню жены о важномъ дѣлѣ—а завтра важно докладываетъ эту болтовню министру.

Обходятся эти господа съ женами такъ же мрачно, или легко, едва удостоиваютъ говорить, считая ихъ такъ, если не за бабъ, какъ Захаръ, такъ за цвѣтки, для развлеченія отъ дѣловой, серьезной жизни...

Ужъ полдень давно ярко жегъ дорожки парка. Всѣ сидѣли въ тѣни, подъ холстинными навѣсами; только няньки съ дѣтьми, группами, отважно ходили и сидѣли на травѣ, подъ полуденными лучами.

Обломовъ все лежалъ на диванѣ, вѣря и не вѣря смыслу утренняго разговора съ Ольгой.

— Она любитъ меня, въ ней играетъ чувство ко мнѣ. Возможно ли? Она обо мнѣ мечтаетъ; для меня пѣла она такъ страстно, и музыка заразила насъ обоихъ симпатіей.

Гордость заиграла въ немъ, засіяла жизнь, ея волшебная даль, всѣ краски и лучи, которыхъ еще недавно не было. Онъ ужъ видѣлъ себя за границей съ ней, въ Швейцаріи на озерахъ, въ Италіи, ходитъ въ развалинахъ Рима, катается въ гондолѣ, потомъ теряется въ толпѣ Парижа, Лондона, потомъ... потомъ въ своемъ земномъ раю—въ Обломовкѣ.

Она—божество, съ этимъ милымъ лепетомъ, съ этимъ изящнымъ, бѣленькимъ личикомъ, тонкой, нѣжной шеей...

Крестьяне не видали никогда ничего подобнаго; они падаютъ ницъ передъ этимъ ангеломъ. Она тихо ступаетъ по травѣ, ходитъ съ нимъ въ тѣни березняка; она поетъ ему...

И онъ чувствуетъ жизнь, ея тихое теченье, ея сладкія струи, плесканье... онъ впадаетъ въ раздумье отъ удовлетворенныхъ желаній, отъ полноты счастья...

Вдругъ лицо его омрачилось.

— Нѣтъ, этого быть не можетъ!—вслухъ произнесъ онъ, вставъ съ дивана и ходя по комнатѣ.—Любить меня, смѣшного, съ сонным взглядомъ, съ дряблыми щеками... Она все смѣется надо мной...

Онъ остановился передъ зеркаломъ и долго разсматривалъ себя, сначала неблагосклонно, потомъ взглядъ его прояснѣлъ; онъ даже улыбнулся.

— Я какъ будто получше, посвѣжѣе, нежели какъ былъ въ городѣ,—сказалъ онъ:—глаза у меня не тусклые... Вотъ ячмень показался-было, да и пропалъ... Должно-быть, отъ здѣшняго воздуха; много хожу, вина не пью совсѣмъ, не лежу... Не надо и въ Египетъ ѣхать.

Пришелъ человѣкъ отъ Марьи Михайловны, Ольгиной тетки, звать обѣдать.

— Иду, иду!—сказалъ Обломовъ.

Человѣкъ пошелъ.

— Постой! Вотъ тебѣ.

Онъ далъ ему денегъ.

Ему весело, легко. Въ природѣ такъ ясно. Люди все добрые, всѣ наслаждаются; у всѣхъ счастье на лицѣ. Только Захаръ мраченъ, все стороной смотритъ на барина; зато Анисья усмѣхается такъ добродушно.

«Собаку заведу», рѣшилъ Обломовъ: «или кота... лучше кота: коты ласковы, мурлычатъ».

Онъ побѣжалъ къ Ольгѣ.

«Но, однакожъ... Ольга любитъ меня!» думалъ онъ дорогой. «Это молодое, свѣжее созданіе! Ея воображенію открыта теперь самая поэтическая сфера жизни: ей должны сниться юноши съ черными кудрями, стройные, высокіе, съ задумчивой, затаенной силой, съ отвагой на лицѣ, съ гордой улыбкой, съ этой искрой въ глазахъ, которая тонетъ и трепещетъ во взглядѣ и такъ легко добирается до сердца; съ мягкимъ и свѣжимъ голосомъ, который звучитъ какъ металлическая струна. Наконецъ, любятъ и не юношей, не отвагу на лицѣ, не ловкость въ мазуркѣ, не скаканье на лошади... Положимъ, Ольга не дюжинная дѣвушка, у которой сердце можно пощекотать усами, тронуть слухъ звукомъ сабли; но вѣдь тогда надо другое... силу ума, напримѣръ, чтобъ женщина смирялась и склоняла голову передъ этимъ умомъ, чтобъ и свѣтъ кланялся ему... Или прославленный артистъ... А я что̀ такое? Обломовъ—больше ничего. Вотъ Штольцъ—другое дѣло: Штольцъ—умъ, сила, умѣнье управлять собой, другими, судьбой. Куда ни придетъ, съ кѣмъ ни сойдется—смотришь, ужъ овладѣлъ, играетъ, какъ будто на инструментѣ... А я?.. И съ Захаромъ не управлюсь... и съ собой тоже... я—Обломовъ! Штольцъ! Боже!.. Вѣдь она его любитъ», въ ужасѣ подумалъ онъ: «сама сказала: какъ друга, говоритъ она; да это ложь, можетъ-быть, безсознательная... Дружбы между мужчиной и женщиной не бываетъ...»

Онъ пошелъ тише, тише, тише, одолѣваемый сомнѣніями.

«А что, если она кокетничаетъ со мной?.. Если только...»

Онъ остановился совсѣмъ, оцѣпенѣлъ на минуту.

«Что если тутъ коварство, заговоръ... И съ чего я взялъ, что она любитъ меня? Она не сказала: это сатанинскій шопотъ самолюбія! Андрей! Ужели?.. быть не можетъ: она такая, такая... Вонъ она какая!» вдругъ радостно сказалъ онъ, завидя идущую ему навстрѣчу Ольгу.

Ольга съ веселой улыбкой протянула ему руку.

«Нѣтъ, она не такая, она не обманщица», рѣшилъ онъ: «обманщицы не смотрятъ такимъ ласковымъ взглядомъ; у нихъ нѣтъ такого искренняго смѣха... онѣ всѣ пищатъ... Но... она, однакожъ, не сказала, что любитъ!» вдругъ опять подумалъ въ испугѣ: это онъ такъ себѣ растолковалъ... «А досада отчего же?.. Господи! въ какой я омутъ попалъ!»

— Что это у васъ?—спросила она.

— Вѣтка.

— Какая вѣтка?

— Вы видите: сиреневая.

— Гдѣ вы взяли? Тутъ нѣтъ сирени. Гдѣ вы шли?

— Это вы давеча сорвали и бросили.

— Зачѣмъ же вы подняли?

— Такъ, мнѣ нравится, что вы... съ досадой бросили ее.

— Нравится досада—это новость! Отчего?

— Не скажу.

— Скажите, пожалуйста, я прошу...

— Ни за что, ни за какія блага!

— Умолю васъ.

Онъ потрясъ отрицательно головой.

— А если я спою?

— Тогда... можетъ-быть...

— Такъ только музыка дѣйствуетъ на васъ? — сказала она съ нахмуренной бровью.—Такъ это правда?

— Да, музыка, передаваемая вами...

— Ну, я буду пѣть... Casta diva, Casta di...—зазвучала она воззваніе Нормы и остановилась.

— Ну, говорите теперь!—сказала она.

Онъ боролся нѣсколько времени съ собой.

— Нѣтъ, нѣтъ! — еще рѣшительнѣе прежняго заключилъ онъ. — Ни за что... никогда! Если это неправда, если мнѣ такъ показалось?.. Никогда, никогда!

— Что̀ это такое? Что-нибудь ужасное, — говорила она, устремивъ мысль на этотъ вопросъ, а пытливый взглядъ на него.

Потомъ лицо ея наполнилось постепенно сознаніемъ; въ каждую черту пробирался лучъ мысли, догадки, и вдругъ все лицо озарилось сознаніемъ... Солнце, также иногда, выходя изъ-за облака, понемногу освѣщаетъ одинъ кустъ, другой, кровлю, и вдругъ обольетъ свѣтомъ цѣлый пейзажъ. Она уже знала мысль Обломова.

— Нѣтъ, нѣтъ, у меня языкъ не поворотится...—твердилъ Обломовъ:—и не спрашивайте.

— Я не спрашиваю васъ,—отвѣчала она равнодушно.

— А какъ же? Сейчасъ вы...

— Пойдемте домой, — серьезно, не слушая его, сказала она:—ma tante ждетъ.

Она пошла впередъ, оставила его съ теткой и прямо прошла въ свою комнату.

VIII.

Весь этотъ день былъ днемъ постепеннаго разочарованія для Обломова. Онъ провелъ его съ теткой Ольги, женщиной очень умной, приличной, одѣтой всегда прекрасно, всегда въ новомъ шелковомъ платьѣ, которое сидитъ на ней отлично, всегда въ такихъ изящныхъ кружевныхъ воротничкахъ; чепецъ тоже со вкусомъ сдѣланъ и ленты прибраны кокетливо къ ея почти пятидесятилѣтнему, но еще свѣжему лицу. На цѣпочкѣ виситъ золотой лорнетъ.

Позы, жесты ея исполнены достоинства; она очень ловко драпируется въ богатую шаль, такъ кстати обопрется лок-

темъ на шитую подушку, такъ величественно раскинется на диванѣ. Ее никогда не увидишь за работой: нагибаться, шить, заниматься мелочью нейдетъ къ ея лицу, важной фигурѣ. Она и приказанія слугамъ и служанкамъ отдавала небрежнымъ тономъ, коротко и сухо.

Она иногда читала, никогда не писала, но говорила хорошо, впрочемъ, больше по-французски. Однакожъ, она тотчасъ замѣтила, что Обломовъ не совсѣмъ свободно владѣетъ французскимъ языкомъ, и со второго дня перешла на русскую рѣчь.

Въ разговорѣ она не мечтаетъ и не умничаетъ; у ней, кажется, проведена въ головѣ строгая черта, за которую умъ не переходилъ никогда. По всему видно было, что чувство, всякая симпатія, не исключая и любви, входятъ, или входили въ ея жизнь наравнѣ съ прочими элементами, тогда какъ у другихъ женщинъ сразу увидишь, что любовь, если не на дѣлѣ, то на словахъ, участвуетъ во всѣхъ вопросахъ жизни, и что все остальное входитъ стороной, настолько, насколько остается простора отъ любви.

У этой женщины впереди всего шло умѣнье жить, управлять собой, держать въ равновѣсіи мысль съ намѣреніемъ, намѣреніе съ исполненіемъ. Нельзя было застать ее неприготовленную, врасплохъ, какъ бдительнаго врага, котораго когда ни подкараульте, всегда встрѣтите устремленный на васъ, ожидающій взглядъ.

Стихія ея была свѣтъ, и оттого тактъ, осторожность шли у ней впереди каждой мысли, каждаго слова и движенія.

Она ни передъ кѣмъ никогда не открываетъ сокровенныхъ движеній сердца, никому не повѣряетъ душевныхъ тайнъ; не увидишь около нея доброй пріятельницы, старушки, съ которой бы она шепталась за чашкой кофе. Только съ барономъ фонъ-Лангвагеномъ часто остается она наединѣ, вечеромъ онъ сидитъ иногда до полуночи, но почти всегда при Ольгѣ; и то они все больше молчатъ, но молчатъ

какъ-то значительно и умно, какъ-будто что-то знаютъ такое, чего другіе не знаютъ, но и только.

Они, повидимому, любятъ быть вмѣстѣ — вотъ единственное заключеніе, какое можно вывести, глядя на нихъ; обходится она съ нимъ такъ же, какъ и съ другими: благосклонно, съ добротой, но такъ же ровно и покойно.

Злые языки воспользовались-было этимъ и стали намекать на какую-то старинную дружбу, на поѣздку за границу вмѣстѣ; но въ отношеніяхъ ея къ нему не проглядывало ни тѣни какой-нибудь затаившейся особенной симпатіи, а это бы прорвалось наружу.

Между тѣмъ, онъ былъ опекунъ небольшого имѣнія Ольги, которое какъ-то попало въ залогъ при одномъ подрядѣ, да тамъ и сѣло.

Баронъ велъ процессъ, то-есть заставлялъ какого-то чиновника писать бумаги, читалъ ихъ сквозь лорнетку, подписывалъ и посылалъ того же чиновника съ ними въ присутственныя мѣста, а самъ, связями своими въ свѣтѣ, давалъ процессу этому удовлетворительный ходъ. Онъ подавалъ надежду на скорое и счастливое окончаніе. Это прекратило злые толки и барона привыкли видѣть въ домѣ, какъ родственника.

Ему было подъ пятьдесятъ лѣтъ, но онъ былъ очень свѣжъ, только красилъ усы и прихрамывалъ немного на одну ногу. Онъ былъ вѣжливъ до утонченности, никогда не курилъ при дамахъ, не клалъ одну ногу на другую и строго порицалъ молодыхъ людей, которые позволяютъ себѣ въ обществѣ опрокидываться въ креслѣ и поднимать колѣнку и сапоги наравнѣ съ носомъ. Онъ и въ комнатѣ сидѣлъ въ перчаткахъ, снимая ихъ только когда садился обѣдать.

Одѣтъ былъ въ послѣднемъ вкусѣ и въ петлицѣ фрака носилъ много ленточекъ. Ѣздилъ всегда въ каретѣ и чрезвычайно берегъ лошадей: садясь въ экипажъ, онъ прежде обойдетъ кругомъ его, осмотритъ сбрую, даже копыта ло-

шадей, а иногда вынетъ бѣлый платокъ и потретъ по плечу, или хребту лошадей, чтобъ посмотрѣть, хорошо ли онѣ вычищены.

Знакомаго онъ встрѣчалъ съ благосклонно-вѣжливой улыбкой, незнакомаго—сначала холодно; но когда его представляли ему, холодность замѣнялась также улыбкой, и представленный могъ уже разсчитывать на нее всегда.

Разсуждалъ онъ обо всемъ: и о добродѣтели, и о дороговизнѣ, о наукахъ и о свѣтѣ одинаково отчетливо; выражалъ свое мнѣніе въ ясныхъ и законченныхъ фразахъ, какъ-будто говорилъ сентенціями, уже готовыми, записанными въ какой-нибудь курсъ и пущенными для общаго руководства въ свѣтъ.

Отношенія Ольги къ тёткѣ были до сихъ поръ очень просты и покойны: въ нѣжности они не переходили никогда границъ умѣренности, никогда не ложилось между ними и тѣни неудовольствія.

Это происходило частью отъ характера Марьи Михайловны, тётки Ольги, частью отъ совершеннаго недостатка всякаго повода для обѣихъ — вести себя иначе. Тёткѣ не приходило въ голову требовать отъ Ольги что-нибудь такое, чтобъ рѣзко противорѣчило ея желаніямъ; Ольгѣ не приснилось бы во снѣ не исполнить желанія тётки, не послѣдовать ея совѣту.

И въ чемъ проявлялись эти желанія? Въ выборѣ платья, въ прическѣ, въ томъ, напримѣръ, поѣхать ли во французскій театръ, или въ оперу.

Ольга слушалась настолько, насколько тётка выражала желаніе, или высказывала совѣтъ, отнюдь не болѣе—а она всегда высказывала его съ умѣренностью до сухости, насколько допускали права тётки, никогда болѣе.

Отношенія эти были такъ безцвѣтны, что нельзя было никакъ рѣшить, есть ли въ характерѣ тётки какія-нибудь притязанія на послушаніе Ольги, на ея особенную нѣжность,

или есть ли въ характерѣ Ольги послушаніе къ тёткѣ и особенная къ ней нѣжность.

Зато, съ перваго раза, видя ихъ вмѣстѣ, можно было рѣшить, что онѣ—тётка и племянница, а не мать и дочь.

— Я ѣду въ магазинъ: не надо ли тебѣ чего-нибудь?—спрашивала тётка.

— Да, ma tante, мнѣ нужно перемѣнить лиловое платье,—говорила Ольга, и онѣ ѣхали вмѣстѣ, или:—Нѣтъ, ma tante,—скажетъ Ольга:—я недавно была.

Тётка возьметъ её двумя пальцами за обѣ щеки, поцѣлуетъ въ лобъ, а она поцѣлуетъ руку тётки, и та поѣдетъ, а эта останется.

— Мы опять ту же дачу возьмемъ?—скажетъ тётка ни вопросительно, ни утвердительно, а такъ, какъ будто разсуждаетъ сама съ собой и не рѣшается.

— Да, тамъ очень хорошо,—говорила Ольга.

И дачу брали.

А если Ольга скажетъ:

— Ахъ, ma tante, неужели вамъ не наскучилъ этотъ лѣсъ, да песокъ? Не лучше ли посмотрѣть въ другой сторонѣ?

— Посмотримъ,—говорила тётка.—Поѣдемъ, Оленька, въ театръ?—говорила тётка:—давно кричатъ объ этой пьесѣ.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчала Ольга, но безъ торопливаго желанія угодить, безъ выраженія покорности.

Иногда онѣ слегка и спорили.

— Помилуй, ma chère, къ лицу ли тебѣ зеленыя ленты?—говорила тётка.—Возьми палевыя.

— Ахъ, ma tante! ужъ я шестой разъ въ палевыхъ, наконецъ, приглядится.

— Ну, возьми pensée.

— А эти вамъ нравятся?

Тётка вглядывалась и медленно трясла головой.

— Какъ хочешь, ma chère, я бы, на твоемъ мѣстѣ, взяла pensée или палевыя.

— Нѣтъ, ma tante, я лучше вотъ эти возьму,—говорила Ольга мягко, и брала что̀ ей хотѣлось.

Ольга спрашивала у тётки совѣтовъ не какъ у авторитета, котораго приговоръ долженъ быть закономъ для нея, а такъ, какъ бы спросила совѣта у всякой другой, болѣе ея опытной женщины.

— Ma tante, вы читали эту книгу—что̀ это такое?—спрашивала она.

— Ахъ, какая гадость! — говорила тётка, отодвигая, но не пряча книгу и не принимая никакихъ мѣръ, чтобъ Ольга не прочла ея.

И Ольгѣ никогда не пришло бы въ голову прочесть. Если онѣ затруднялись обѣ, тотъ же вопросъ обращался къ барону фонъ-Лангвагену или къ Штольцу, когда онъ былъ налицо, и книга читалась, или не читалась, по ихъ приговору.

— Ma chère Ольга!—скажетъ иногда тётка.—Про этого молодого человѣка, который къ тебѣ часто подходитъ у Завадскихъ, вчера мнѣ что-то разсказывали, какую-то глупую исторію.

И только. А Ольга какъ себѣ хочетъ потомъ: говори или не говори съ нимъ.

Появленіе Обломова въ домѣ не возбудило никакихъ вопросовъ, никакого особеннаго вниманія ни въ тёткѣ, ни въ баронѣ, ни даже въ Штольцѣ. Послѣдній хотѣлъ познакомить своего пріятеля въ такомъ домѣ, гдѣ все было немного чопорно, гдѣ не только не предложатъ соснуть послѣ обѣда, но гдѣ даже неудобно класть ногу на ногу, гдѣ надо быть свѣже-одѣтымъ, помнить о чемъ говоришь—словомъ, нельзя ни задремать, ни опуститься, и гдѣ постоянно шелъ живой, современный разговоръ.

Потомъ Штольцъ думалъ, что если внести въ сонную жизнь Обломова присутствіе молодой, симпатичной, умной, живой и отчасти насмѣшливой женщины — это все равно,

что внести въ мрачную комнату лампу, отъ которой по всѣмъ темнымъ угламъ разольется ровный свѣтъ, нѣсколько градусовъ тепла, и комната повеселѣетъ.

Вотъ весь результатъ, котораго онъ добивался, знакомя друга своего съ Ольгой. Онъ не предвидѣлъ, что онъ вноситъ фейерверкъ, Ольга и Обломовъ—и подавно.

Илья Ильичъ высидѣлъ съ тёткой часа два чинно, не положивъ ни разу ноги на ногу, разговаривая прилично обо всемъ; даже два раза ловко подвинулъ ей скамеечку подъ ноги.

Пріѣхалъ баронъ, вѣжливо улыбнулся и ласково пожалъ ему руку.

Обломовъ еще чиннѣе велъ себя, и всѣ трое, какъ нельзя болѣе, довольны были другъ другомъ.

Тётка на разговоры по угламъ, на прогулки Обломова съ Ольгой смотрѣла... или, лучше сказать, никакъ не смотрѣла.

Гулять съ молодымъ человѣкомъ, съ франтомъ—это другое дѣло: она бы и тогда не сказала ничего, но, съ свойственнымъ ей тактомъ, какъ-нибудь незамѣтно установила бы другой порядокъ: сама бы пошла съ ними разъ, или два, послала бы кого-нибудь третьяго, и прогулки сами собою бы кончились.

Но гулять «съ мсьё Обломовымъ», сидѣть съ нимъ въ углу большой залы, на балконѣ... что жъ изъ этого? Ему за тридцать лѣтъ: не станетъ же онъ говорить ей пустяковъ, давать какихъ-нибудь книгъ... Да этого ничего никому и въ голову не приходило.

Притомъ тетка слышала, какъ Штольцъ наканунѣ отъѣзда говорилъ Ольгѣ, чтобъ она не давала дремать Обломову, чтобъ запрещала спать, мучила бы его, тиранила, давала ему разныя порученія—словомъ, распоряжалась имъ. И ее просилъ не выпускать Обломова изъ вида, приглашать почаще къ себѣ, втягивать въ прогулки, поѣздки, всячески шевелить его, если бъ онъ не поѣхалъ за границу.

Ольга не показывалась, пока онъ сидѣлъ съ теткой, и время тянулось медленно. Обломова опять стало кидать въ жаръ и холодъ. Теперь ужъ онъ догадывался о причинѣ этой перемѣны Ольги. Перемѣна эта была для него почему-то тяжеле прежней.

Отъ прежняго промаха ему было только страшно и стыдно, а теперь тяжело, неловко, холодно, уныло на сердцѣ, какъ въ сырую, дождливую погоду. Онъ далъ ей понять, что догадался о ея любви къ нему, да еще, можетъ-быть, догадался невпопадъ. Это уже въ самомъ дѣлѣ была обида, едва ли исправимая. Да если и впопадъ, то какъ неуклюже! Онъ, просто, фатъ.

Онъ могъ спугнуть чувство, которое стучится въ молодое, дѣвственное сердце робко, садится осторожно и легко, какъ птичка на вѣтку: посторонній звукъ, шорохъ—и оно улетитъ.

Онъ съ замирающимъ трепетомъ ждалъ, когда Ольга сойдетъ къ обѣду, что̀ и какъ она будетъ говорить, какъ будетъ смотрѣть на него...

Она сошла—и онъ надивиться не могъ, глядя на нее; онъ едва узналъ ее. У ней другое лицо, даже другой голосъ.

Молодая, наивная, почти дѣтская усмѣшка ни разу не показалась на губахъ, ни разу не взглянула она такъ широко, открыто, глазами, когда въ нихъ выражался или вопросъ, или недоумѣніе, или простодушное любопытство, какъ будто ей ужъ не о чемъ спрашивать, нечего знать, нечему удивляться!

Взглядъ ея не слѣдилъ за нимъ, какъ прежде. Она смотрѣла на него, какъ будто давно знала, изучила его, наконецъ, какъ будто онъ ей ничего, все равно, какъ баронъ—словомъ, онъ точно не видалъ ее съ годъ, и она на годъ созрѣла.

Не было суровости, вчерашней досады, она шутила и

даже смѣялась, отвѣчала на вопросы обстоятельно, на которые бы прежде не отвѣчала ничего. Видно было, что она рѣшилась принудить себя дѣлать, что̀ дѣлаютъ другіе, чего прежде не дѣлала. Свободы, непринужденности, позволяющей все высказать, что на умѣ, уже не было. Куда все вдругъ дѣлось?

Послѣ обѣда онъ подошелъ къ ней спросить, не пойдетъ ли она гулять. Она, не отвѣчая ему, обратилась къ тёткѣ, съ вопросомъ:

— Пойдемъ ли *мы* гулять?

— Развѣ недалеко, — сказала тётка. — Вели дать мнѣ зонтикъ.

И пошли всѣ. Ходили вяло, смотрѣли въ даль, на Петербургъ, дошли до лѣса и воротились на балконъ.

— Вы, кажется, не расположены сегодня пѣть? Я и просить боюсь, — спросилъ Обломовъ, ожидая, не кончится ли это принужденіе, не возвратится ли къ ней веселость, не мелькнетъ ли хоть въ одномъ словѣ, въ улыбкѣ, наконецъ въ пѣніи, лучъ искренности, наивности и довѣрчивости.

— Жарко!—замѣтила тётка.

— Ничего, я попробую, — сказала Ольга, и спѣла романсъ.

Онъ слушалъ и не вѣрилъ ушамъ.

Это не она: гдѣ же прежній, страстный звукъ?

Она пѣла такъ чисто, такъ правильно и вмѣстѣ такъ... такъ... какъ поютъ всѣ дѣвицы, когда ихъ просятъ спѣть въ обществѣ: безъ увлеченія. Она вынула свою душу изъ пѣнія, и въ слушателѣ не шевельнулся ни одинъ нервъ.

Лукавитъ, что ли, она, притворяется, сердится? Ничего нельзя угадать: она смотритъ ласково, охотно говоритъ, но говоритъ такъ же, какъ поетъ, какъ всѣ... Что это такое?

Обломовъ, не дождавшись чаю, взялъ шляпу и раскланялся.

— Приходите чаще,—сказала тётка:—въ будни мы всегда

одни, если вамъ не скучно, а въ воскресенье у насъ всегда кое-кто есть—не соскучитесь.

Баронъ вѣжливо всталъ и поклонился ему.

Ольга кивнула ему, какъ доброму знакомому, и когда онъ пошелъ, она повернулась къ окну, смотрѣла туда и равнодушно слушала удалявшіеся шаги Обломова.

Эти два часа и слѣдующіе три-четыре дня, много недѣля, сдѣлали на нее глубокое дѣйствіе, двинули ее далеко впередъ. Только женщины способны къ такой быстротѣ расцвѣтанія силъ, развитія всѣхъ сторонъ души.

Она какъ будто слушала курсъ жизни не по днямъ, а по часамъ. И каждый часъ малѣйшаго, едва-замѣтнаго опыта, случая, который мелькнетъ, какъ птица, мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо-быстро дѣвушкой: она слѣдитъ за его полетомъ въ даль и кривая, описанная полетомъ линія остается у ней въ памяти неизгладимымъ знакомъ, указаніемъ, урокомъ.

Тамъ, гдѣ для мужчины надо поставить поверстный столбъ, съ надписью, ей довольно прошумѣвшаго вѣтерка, трепетнаго, едва уловимаго ухомъ сотрясенія воздуха.

Отчего вдругъ, вслѣдствіе какихъ причинъ, на лицѣ дѣвушки, еще на той недѣлѣ такой беззаботной, съ такимъ до смѣха наивнымъ лицомъ, вдругъ ляжетъ строгая мысль? И какая это мысль? О чемъ? Кажется, все лежитъ въ этой мысли, вся логика, вся умозрительная и опытная философія мужчины, вся система жизни!

Cousin, который оставилъ ее недавно дѣвочкой, кончилъ курсъ ученья, надѣлъ эполеты, завидя ее, бѣжитъ къ ней весело, съ намѣреніемъ, какъ прежде, потрепать ее по плечу, повертѣться съ ней за руки, поскакать по стульямъ, по диванамъ... вдругъ, взглянувъ ей пристально въ лицо, оробѣетъ, отойдетъ смущенный, и пойметъ, что онъ еще—мальчишка, а она—уже женщина!

Откуда? Что̀ случилось? Драма? Громкое событіе? Новость какая-нибудь, о которой весь городъ знаетъ?

Ничего, ни maman, ни mon oncle, ни ma tante, ни няня, ни горничная—никто не знаетъ. И некогда было случиться: она протанцовала двѣ мазурки, нѣсколько контрдансовъ, да голова у ней что-то разболѣлась: не поспала ночь...

А потомъ опять все прошло, только уже въ лицѣ прибавилось что-то новое: иначе смотритъ она, перестала смѣяться громко, не ѣстъ по цѣлой грушѣ за-разъ, не разсказываетъ «какъ у нихъ въ пансіонѣ»... Она тоже кончила курсъ.

Обломовъ на другой, на третій день, какъ cousin, едва узналъ Ольгу и глядѣлъ на нее робко, а она на него просто, только безъ прежняго любопытства, безъ ласки, а такъ, какъ другія.

«Что это съ ней? Что она теперь думаетъ, чувствуетъ?» терзался онъ вопросами. «Ей-Богу, ничего не понимаю!»

И гдѣ было понять ему, что съ ней совершилось то, что̀ совершается съ мужчиной въ двадцать пять лѣтъ, при помощи двадцати пяти профессоровъ, библіотекъ, послѣ шатанья по свѣту, иногда даже съ помощью нѣкоторой утраты нравственнаго аромата души, свѣжести мысли и волосъ, то-есть, что она вступила въ сферу сознанія. Вступленіе это обошлось ей такъ дешево и легко.

— Нѣтъ, это тяжело, скучно!—заключилъ онъ.—Переѣду на Выборгскую Сторону, буду заниматься, читать, уѣду въ Обломовку... одинъ!—прибавилъ потомъ съ глубокимъ уныніемъ.—Безъ нея! Прощай, мой рай, мой свѣтлый, тихій идеалъ жизни!

Онъ не пошелъ ни на четвертый, ни на пятый день; не читалъ, не писалъ, отправился-было погулять, вышелъ на пыльную дорогу, дальше надо въ гору идти.

«Вотъ охота тащиться въ жаръ!» сказалъ онъ самъ себѣ, зѣвнулъ и воротился, легъ на диванъ и заснулъ тяжелымъ

сномъ, какъ, бывало, сыпалъ въ Гороховой улицѣ, въ запыленной комнатѣ, съ опущенными шторами.

Сны снились такіе смутные. Проснулся—передъ нимъ накрытый столъ, ботвинья, битое мясо. Захаръ стоитъ, глядя сонно въ окно; въ другой комнатѣ Анисья гремитъ тарелками.

Онъ пообѣдалъ, сѣлъ къ окну. Скучно, нелѣпо, все одинъ! Опять никуда и ничего не хочется!

— Вотъ посмотрите, баринъ, котёночка отъ сосѣдей принесли; не надо ли? Вы спрашивали вчера,—сказала Анисья, думая развлечь его, и положила ему котёнка на колѣни.

Онъ началъ гладить котёнка: и съ котёнкомъ скучно!

— Захаръ!—сказалъ онъ.

— Чего изволите?—вяло отозвался Захаръ.

— Я, можетъ-быть, въ городъ переѣду, — сказалъ Обломовъ.

— Куда въ городъ? Квартиры нѣтъ.

— А на Выборгскую Сторону.

— Что жъ это будетъ, съ одной дачи на другую станемъ переѣзжать?—отвѣчалъ онъ.—Чего тамъ не видали? Михея Андреича, что ли?

— Да здѣсь неудобно...

— Это еще перевозиться? Господи! И тутъ умаялись совсѣмъ; да вотъ еще двухъ чашекъ не доищусь, да половой щетки; коли не Михей Андреичъ увезъ туда, такъ, того-и-гляди, пропали.

Обломовъ молчалъ. Захаръ ушелъ и тотчасъ воротился, таща за собою чемоданъ и дорожный мѣшокъ.

— А это куда дѣвать? Хоть бы продать, что ли?—сказалъ онъ, толкнувъ ногой чемоданъ.

— Что ты, съ ума сошелъ? Я на-дняхъ поѣду за границу,—съ сердцемъ перебилъ Обломовъ.

— За границу! — вдругъ, усмѣхнувшись, проговорилъ Захаръ.—Благо что поговорили, а то за границу!

— Что жъ тебѣ такъ странно? Поѣду да и конецъ... У меня и паспортъ готовъ,—сказалъ Обломовъ.

— А кто тамъ сапоги-то съ васъ станетъ снимать!— иронически замѣтилъ Захаръ. — Дѣвки-то, что ли? Да вы тамъ пропадете безъ меня!

Онъ опять усмѣхнулся, отъ чего бакенбарды и брови раздались въ стороны.

— Ты все глупости говоришь! Вынеси это и ступай!—съ досадой отвѣчалъ Обломовъ.

На другой день, только-что Обломовъ проснулся въ десятомъ часу утра, Захаръ, подавая ему чай, сказалъ, что когда онъ ходилъ въ булочную, тамъ встрѣтилъ барышню.

— Какую барышню?—спросилъ Обломовъ.

— Какую? Ильинскую барышню, Ольгу Сергѣевну.

— Ну?—нетерпѣливо спросилъ Обломовъ.

— Ну, кланяться приказали, спрашивали, здоровы ли вы, что дѣлаете?

— Что жъ ты сказалъ?

— Сказалъ, что здоровы; что̀, молъ, ему дѣлается?..— отвѣчалъ Захаръ.

— Зачѣмъ же ты прибавляешь свои глупыя разсужденія?—замѣтилъ Обломовъ.—«Что ему дѣлается!» Ты почемъ знаешь, что̀ мнѣ дѣлается? Ну, еще что?

— Спрашивали, гдѣ вы обѣдали вчера.

— Ну?..

— Я сказалъ, что дома, и ужинали, молъ, дома. «А развѣ онъ ужинаетъ?» спрашиваетъ барышня-то. Двухъ цыплятъ, молъ, только скушали...

— Дур-р-р-акъ!—крѣпко произнесъ Обломовъ.

— Что за дуракъ! развѣ это не правда? — сказалъ Захаръ.—Вонъ я и кости, пожалуй, покажу...

— Право, дуракъ! — повторилъ Обломовъ. — Ну, что жъ она?

— Усмѣхнулись. «Что жъ такъ мало?» примолвили послѣ.

— Вотъ дуракъ-то! — твердилъ Обломовъ. — Ты бы ещё разсказалъ, что ты рубашку на меня надѣваешь навыворотъ.

— Не спрашивали, такъ и не сказалъ,—отвѣчалъ Захаръ.

— Что еще спрашивала?

— Спрашивали, что̀ дѣлали эти дни?

— Ну, что жъ ты?

— Ничего, молъ, не дѣлаютъ, лежатъ все.

— Ахъ!..—съ сильной досадой произнесъ Обломовъ, подпявъ кулаки къ вискамъ. — Поди вонъ! — прибавилъ онъ грозно. — Если ты когда-нибудь осмѣлишься разсказывать про меня такія глупости, посмотри, что̀ я съ тобой сдѣлаю! Какой ядъ—этотъ человѣкъ!

— Что жъ мнѣ, лгать, что ли, на старости лѣтъ?—оправдывался Захаръ.

— Поди вонъ!—повторилъ Илья Ильичъ.

Захару брань ничего, только бы «жалкихъ словъ» не говорилъ баринъ.

— Я сказалъ, что вы хотите переѣхать на Выборгскую Сторону,—заключилъ Захаръ.

— Ступай!—повелительно крикнулъ Обломовъ.

Захаръ ушелъ и вздохнулъ на всю прихожую, а Обломовъ сталъ пить чай.

Онъ отпилъ чай и изъ огромнаго запаса булокъ и кренделей съѣлъ только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара. Потомъ закурилъ сигару и сѣлъ къ столу, развернулъ какую-то книгу, прочелъ листъ, хотѣлъ перевернуть, книга оказалась неразрѣзанною.

Обломовъ разорвалъ листы пальцемъ: отъ этого по краямъ листа образовались фестоны, а книга чужая, Штольца, у котораго заведенъ такой строгій и скучный порядокъ, особенно насчетъ книгъ, что не приведи Богъ! Бумаги, карандаши, всѣ мелочи — какъ положитъ, такъ чтобъ и лежали.

Надо бы взять костяной ножикъ, да его нѣтъ; можно, конечно, спросить и столовый, но Обломовъ предпочелъ положить книгу на свое мѣсто и направиться къ дивану; только-что онъ оперся рукою въ шитую подушку, чтобъ половчѣй приладиться лечь, какъ Захаръ вошелъ въ комнату.

— А вѣдь барышня-то просила васъ придти въ этотъ... какъ его... охъ!..—доложилъ онъ.

— Что жъ ты не сказалъ давеча, два часа назадъ?—торопливо спросилъ Обломовъ.

— Вонъ велѣли идти, не дали досказать... — возразилъ Захаръ.

— Ты губишь меня, Захаръ! — произнесъ Обломовъ патетически.

«Ну, никакъ опять за свое!» думалъ Захаръ, подставляя барину лѣвую бакенбарду и глядя въ стѣну; «по-намедни-шнему... ввернетъ словцо!»

— Куда придти?—спросилъ Обломовъ.

— А вонъ въ этотъ, какъ его? Да въ садъ, что ли...

— Въ паркъ?—спросилъ Обломовъ.

— Въ паркъ, точно такъ, «погулять, дескать, если угодно; я тамъ буду»...

— Одѣваться!

Обломовъ избѣгалъ весь паркъ, заглядывалъ въ куртины, въ бесѣдки — нѣтъ Ольги. Онъ пошелъ по той аллеѣ, гдѣ было объясненіе, и засталъ ее тамъ, на скамьѣ, недалеко отъ того мѣста, гдѣ она сорвала и бросила вѣтку.

— Я думала, что вы ужъ не придете,—сказала она ему ласково.

— Я давно ищу васъ по всему парку,—отвѣчалъ онъ.

— Я знала, что вы будете искать, и нарочно сѣла здѣсь, въ этой аллеѣ: думала, что вы непремѣнно пройдете по ней.

Онъ хотѣлъ-было спросить: «Почему это вы думали?» но взглянулъ на нее и не спросилъ.

У ней лицо было другое, не прежнее, когда они гуляли

тутъ, а то, съ которымъ онъ оставилъ ее въ послѣдній разъ и которое задало ему такую тревогу. И ласка была какая-то сдержанная, все выраженіе лица такое сосредоточенное, такое опредѣленное; онъ видѣлъ, что въ догадки, намеки и наивные вопросы играть съ ней нельзя, что этотъ ребяческій, веселый мигъ пережитъ.

Многое, что не досказано, къ чему можно бы подойти съ лукавымъ вопросомъ, было между ними рѣшено безъ словъ, безъ объясненій, Богъ знаетъ какъ, но воротиться къ тому уже нельзя.

— Что васъ не видать давно?—спросила она.

Онъ молчалъ. Ему хотѣлось бы опять, какъ-нибудь стороной, дать ей понять, что тайная прелесть отношеній ихъ исчезла, что его тяготитъ эта сосредоточенность, которою она окружила себя, какъ облакомъ, будто ушла въ себя, и онъ не знаетъ, какъ ему быть, какъ держать себя съ ней.

Но онъ чувствовалъ, что малѣйшій намекъ на это вызоветъ у ней взглядъ удивленія, потомъ прибавитъ холодности въ обращеніи, можетъ-быть, и совсѣмъ пропадетъ та искра участія, которую онъ такъ неосторожно погасилъ въ самомъ началѣ. Надо ее раздуть опять, тихо и осторожно, но какъ—онъ рѣшительно не зналъ.

Онъ смутно понималъ, что она выросла и чуть ли не выше его, что отнынѣ нѣтъ возврата къ дѣтской довѣрчивости, что передъ ними Рубиконъ, и утраченное счастье уже на другомъ берегу: надо перешагнуть.

А какъ? Ну, если онъ шагнетъ одинъ?

Она понимала яснѣе его, что̀ въ немъ происходитъ, и потому перевѣсъ былъ на ея сторонѣ. Она открыто глядѣла въ его душу, видѣла, какъ рождалось чувство на днѣ его души, какъ играло и выходило наружу; видѣла, что съ нимъ женская хитрость, лукавство, кокетство — орудія Сонички были бы лишнія, потому что не предстояло борьбы.

Она даже видѣла и то, что, несмотря на ея молодость,

ей принадлежитъ первая и главная роль въ этой симпатіи, что отъ него можно было ожидать только глубокаго впечатлѣнія, страстно-лѣнивой покорности, вѣчной гармоніи съ каждымъ біеніемъ ея пульса, но никакого движенія воли, никакой активной мысли.

Она мигомъ взвѣсила свою власть надъ нимъ, и ей нравилась эта роль путеводной звѣзды, луча свѣта, который она разольетъ надъ стоячимъ озеромъ и отразится въ немъ. Она разнообразно торжествовала свое первенство въ этомъ поединкѣ.

Въ этой комедіи, или трагедіи, смотря по обстоятельствамъ, оба дѣйствующія лица являются почти всегда съ одинаковымъ характеромъ: мучителя или мучительницы и жертвы.

Ольга, какъ всякая женщина въ первенствующей роли, то-есть, въ роли мучительницы, конечно, менѣе другихъ и безсознательно, но не могла отказать себѣ въ удовольствіи, немного поиграть имъ по-кошачьи; иногда у ней вырвется, какъ молнія, какъ нежданный капризъ, проблескъ чувства, а потомъ, вдругъ, опять она сосредоточится, уйдетъ въ себя; но больше и чаще всего она толкала его впередъ, дальше, зная, что онъ самъ не сдѣлаетъ ни шагу и останется неподвиженъ тамъ, гдѣ она оставитъ его.

— Вы заняты были?—спросила она, вышивая какой-то лоскутокъ канвы.

«Сказалъ бы занятъ, да этотъ Захаръ!» простонало у него въ груди.

— Да, я читалъ кое-что,—небрежно отозвался онъ.

— Что жъ, романъ?—спросила она и подняла на него глаза, чтобъ посмотрѣть, съ какимъ лицомъ онъ станетъ лгать.

— Нѣтъ, я романовъ почти не читаю,—отвѣчалъ онъ очень покойно:—я читалъ «Исторію открытій и изобрѣтеній».

«Слава Богу, что я пробѣжалъ сегодня листъ книги!» подумалъ онъ.

— По-русски?—спросила она.

— Нѣтъ, по-англійски.

— А вы читаете по-англійски?

— Съ трудомъ, но читаю.—А вы не были ли гдѣ-нибудь въ городѣ? — спросилъ онъ больше затѣмъ, чтобъ замять разговоръ о книгахъ.

— Нѣтъ, все дома. Я все здѣсь работаю, въ этой аллеѣ

— Все здѣсь?

— Да, мнѣ очень нравится эта аллея, я благодарна вамъ, что вы мнѣ ее указали: здѣсь никто почти не ходитъ...

— Я вамъ ее не указывалъ, — перебилъ онъ: — мы, помните? случайно оба встрѣтились въ ней.

— Да, въ самомъ дѣлѣ.

Они замолчали.

— У васъ ячмень совсѣмъ прошелъ? — спросила она, глядя ему прямо въ правый глазъ.

Онъ покраснѣлъ.

— Прошелъ теперь, слава Богу,—сказалъ онъ.

— Вы примачивайте простымъ виномъ, когда у васъ зачешется глазъ,—продолжала она:—ячмень и не сядетъ. Это няня научила меня.

«Что это она все о ячменяхъ?» подумалъ Обломовъ.

— Да не ужинайте,—прибавила она серьёзно.

«Захаръ!» шевелилось у него въ горлѣ яростное воззваніе къ Захару.

— Стóитъ только поужинать хорошенько, — продолжала она, не поднимая глазъ съ работы:— да полежать дня три, особенно на спинѣ, непремѣнно сядетъ ячмень.

«Ду...р...р...акъ!» грянуло внутри Обломова обращеніе къ Захару.

— Что это вы работаете?—спросилъ онъ, чтобъ перемѣнить разговоръ.

— Сонетку,—сказала она, развертывая свитокъ канвы и показавъ ему узоръ:—барону. Хорошо?

— Да, очень хорошо, узоръ очень милъ. Это вѣтка сирени?

— Кажется... да,—небрежно отвѣчала она.—Я выбрала наугадъ, какой попался...

И, покраснѣвъ немного, проворно свернула канву.

«Однако это скучно, если это такъ продолжится, если изъ нея ничего добыть нельзя», думалъ онъ: «другой—Штольцъ, напримѣръ, добылъ бы, а я не умѣю».

Онъ нахмурился и сонно смотрѣлъ вокругъ. Она посмотрѣла на него, потомъ положила работу въ корзинку.

— Пойдемте до рощи,—сказала она, давая ему нести корзинку, сама распустила зонтикъ, оправила платье и пошла.—Отчего вы не веселы?—спросила она.

— Не знаю, Ольга Сергѣевна. Да отчего мнѣ веселиться? И какъ?

— Занимайтесь, будьте чаще съ людьми.

— Заниматься! Заниматься можно, когда есть цѣль. Какая у меня цѣль? Нѣтъ ея.

— Цѣль—жить.

— Когда не знаешь, для чего живешь, такъ живешь какъ-нибудь, день за днемъ; радуешься, что день прошелъ, что ночь пришла, и во снѣ погрузишь скучный вопросъ о томъ, зачѣмъ жилъ этотъ день, зачѣмъ будешь жить завтра.

Она слушала молча, съ строгимъ взглядомъ; въ сдвинутыхъ бровяхъ таилась суровость, въ линіи губъ, какъ змѣй, ползала—не то недовѣрчивость, не то пренебреженіе...

— Зачѣмъ жилъ!—повторила она.—Развѣ можетъ быть чье-нибудь существованіе ненужнымъ?

— Можетъ. Напримѣръ, мое,—сказалъ онъ.

— Вы до сихъ поръ не знаете, гдѣ цѣль вашей жизни?—спросила она, остановясь.—Я не вѣрю: вы клевещете на себя, иначе бы вы не стоили жизни...

— Я ужъ прошелъ то мѣсто, гдѣ она должна быть, и впереди больше ничего нѣтъ.

Онъ вздохнулъ, а она улыбнулась.

— Ничего нѣтъ?—вопросительно повторила она, но живо, весело, со смѣхомъ, какъ будто не вѣря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди.

— Смѣйтесь,—продолжалъ онъ:—а это такъ!

Она тихо шла впередъ, наклонивъ голову.

— Для чего, для кого я буду жить?—говорилъ онъ, идучи за ней.—Чего искать, на что направить мысль, намѣренія? Цвѣтъ жизни опалъ, остались только шипы.

Они шли тихо; она слушала разсѣянно, мимоходомъ сорвала вѣтку сирени и, не глядя на него, подала ему.

— Что это?—спросилъ онъ, оторопѣвъ.

— Вы видите: вѣтка.

— Какая вѣтка?—говорилъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

— Сиреневая.

— Знаю... но что̀ она значитъ?

— Цвѣтъ жизни и...

Онъ остановился, она тоже.

— И?..—повторилъ онъ вопросительно.

— Мою досаду,—сказала она, глядя на него прямо, сосредоточеннымъ взглядомъ, и улыбка говорила, что она знаетъ, что дѣлаетъ.

Облако непроницаемости слетѣло съ нея. Взглядъ ея былъ говорящъ и понятенъ. Она какъ будто нарочно открыла извѣстную страницу книги и позволила прочесть завѣтное мѣсто.

— Стало-быть, я могу надѣяться...—вдругъ, радостно вспыхнувъ, сказалъ онъ.

— Всего! Но...

Она замолчала.

Онъ вдругъ воскресъ. И она, въ свою очередь, не узнала

Обломова: туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось, глаза открылись; заиграли краски на щекахъ; задвигались мысли; въ глазахъ сверкнули желанія и воля. Она тоже ясно прочла въ этой нѣмой игрѣ лица, что у Обломова мгновенно явилась цѣль жизни.

— Жизнь, жизнь опять отворяется мнѣ,—говорилъ онъ, какъ въ бреду:—вотъ она, въ вашихъ глазахъ, въ улыбкѣ, въ этой вѣткѣ, въ Casta diva... все здѣсь...

Она покачала головой.

— Нѣтъ, не все... половина.

— Лучшая?

— Пожалуй,—сказала она.

— Гдѣ же другая? Что послѣ этого еще?

— Ищите.

— Зачѣмъ?

— Чтобъ не потерять первой, — досказала она, подала ему руку, и они пошли домой.

Онъ то съ восторгомъ, то украдкой кидалъ взглядъ на ея головку, на станъ, на кудри, то сжималъ вѣтку.

— Это все мое! Мое!—задумчиво твердилъ онъ и не вѣрилъ самъ себѣ.

— Вы не переѣдете на Выборгскую Сторону?—спросила она, когда онъ уходилъ домой.

Онъ засмѣялся и даже не назвалъ Захара дуракомъ.

IX.

Съ тѣхъ поръ не было внезапныхъ перемѣнъ въ Ольгѣ. Она была ровна, покойна съ теткой, въ обществѣ, но жила и чувствовала жизнь только съ Обломовымъ. Она уже никого не спрашивала, что̀ ей дѣлать, какъ поступить, не ссылалась мысленно на авторитетъ Сонички.

По мѣрѣ того, какъ раскрывались передъ ней фазисы жизни, то-есть чувства, она зорко наблюдала явленія, чутко прислушивалась къ голосу своего инстинкта и слегка повѣ-

ряла съ немногими, бывшими у ней въ запасѣ наблюденіями, и шла осторожно, пытая ногой почву, на которую предстояло ступить.

Спрашивать ей было не у кого. У тетки? Но она скользитъ по подобнымъ вопросамъ такъ легко и ловко, что Ольгѣ никогда не удалось свести ея отзывовъ въ какую-нибудь сентенцію и зарубить въ памяти. Штольца нѣтъ. У Обломова? Но это какая-то Галатея, съ которой ей самой приходилось быть Пигмаліономъ.

Жизнь ея наполнилась такъ тихо, незамѣтно для всѣхъ, что она жила въ своей новой сферѣ, не возбуждая вниманія, безъ видимыхъ порывовъ и тревогъ. Она дѣлала то же, что прежде, для всѣхъ другихъ, но дѣлала все иначе.

Она ѣхала и во французскій спектакль, но содержаніе пьесы получало какую-то связь съ ея жизнью; читала книгу, и въ книгѣ непремѣнно были строки съ искрами ея ума, кое-гдѣ мелькалъ огонь ея чувствъ, записаны были сказанныя вчера слова, какъ будто авторъ подслушалъ, какъ теперь бьется у ней сердце.

Въ лѣсу тѣ же деревья, но въ шумѣ ихъ явился особенный смыслъ: между ними и ею водворилось живое согласіе. Птицы не просто трещатъ и щебечутъ, а все что-то говорятъ между собой; и все говоритъ вокругъ, все отвѣчаетъ ея настроенію; цвѣтокъ распускается, и она слышитъ будто его дыханіе.

Въ снахъ тоже появилась своя жизнь: они населились какими-то видѣніями, образами, съ которыми она иногда говорила вслухъ... они что-то ей разсказываютъ, но такъ неясно, что она не пойметъ, силится говорить съ ними, спросить, и тоже говорить что-то непонятное. Только Катя скажетъ ей поутру, что она бредила.

Она вспомнила предсказанія Штольца: онъ часто говорилъ ей, что она не начинала еще жить, и она иногда обижалась, зачѣмъ онъ считаетъ ее за дѣвочку, тогда какъ ей

двадцать лѣтъ. А теперь она поняла, что онъ былъ правъ, что она только что начала жить.

— Вотъ, когда заиграютъ всѣ силы въ вашемъ организмѣ, тогда заиграетъ жизнь и вокругъ васъ, и вы увидите то, на что закрыты у васъ глаза теперь, услышите, чего не слыхать вамъ: заиграетъ музыка нервъ, услышите шумъ сферъ, будете прислушиваться къ росту травы. Погодите, не торопитесь, придетъ само!—грозилъ онъ.

Оно пришло.

— Это, должно-быть, силы играютъ, организмъ проснулся...—говорила она его словами, чутко вслушиваясь въ небывалый трепетъ, зорко и робко вглядываясь въ каждое новое проявленіе пробуждающейся новой силы.

Она не вдалась въ мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьевъ, ночнымъ видѣніямъ, таинственному шопоту, когда какъ будто кто-то ночью наклонится надъ ея ухомъ и скажетъ что-то неясное и непонятное.

— Нервы! — повторитъ она иногда съ улыбкой, сквозь слезы, едва пересиливая страхъ и выдерживая борьбу неокрѣпшихъ нервъ съ пробуждавшимися силами.

Она встанетъ съ постели, выпьетъ стаканъ воды, откроетъ окно, помашетъ себѣ въ лицо платкомъ и отрезвится отъ грёзы на-яву и во-снѣ.

А Обломовъ лишь проснется утромъ, первый образъ въ воображеніи—образъ Ольги, во весь ростъ, съ вѣткой сирени въ рукахъ. Засыпалъ онъ съ мыслью о ней, шелъ гулять, читалъ—она тутъ, тутъ.

Онъ мысленно велъ съ ней нескончаемый разговоръ и днемъ, и ночью. Къ *Исторіи открытій и изобрѣтеній* онъ все примѣшивалъ какія-нибудь новыя открытія въ наружности или въ характерѣ Ольги, изобрѣталъ случай нечаянно встрѣтиться съ ней, послать книгу, сдѣлать сюрпризъ.

Говоря съ ней при свиданіи, онъ продолжалъ разговоръ

дома, такъ что иногда войдетъ Захаръ, а онъ чрезвычайно нѣжнымъ и мягкимъ тономъ, какимъ мысленно разговаривалъ съ Ольгой, скажетъ ему:

— Ты, лысый чортъ, мнѣ давеча опять нечищенные сапоги подалъ: смотри, чтобъ я съ тобой не раздѣлался...

Но беззаботность отлетѣла отъ него съ той минуты, какъ она въ первый разъ пѣла ему. Онъ уже жилъ не прежней жизнью, когда ему все равно было, лежать ли на спинѣ и смотрѣть въ стѣну, сидитъ ли у него Алексѣевъ, или онъ самъ сидитъ у Ивана Герасимовича, въ тѣ дни, когда онъ не ждалъ никого и ничего, ни отъ дня, ни отъ ночи.

Теперь и день, и ночь, всякій часъ утра и вечера принималъ свой образъ и былъ или исполненъ радужнаго сіянія, или безцвѣтенъ и сумраченъ, смотря по тому, наполнялся ли этотъ часъ присутствіемъ Ольги, или протекалъ безъ нея и, слѣдовательно, протекалъ вяло и скучно.

Все это отражалось въ его существѣ: въ головѣ у него была сѣть ежедневныхъ, ежеминутныхъ соображеній, догадокъ, предвидѣній, мученій неизвѣстности, и все отъ вопросовъ, увидитъ или не увидитъ онъ ее? Что̀ она скажетъ и сдѣлаетъ? Какъ посмотритъ, какое дастъ ему порученіе, о чемъ спроситъ, будетъ довольна или нѣтъ? Всѣ эти соображенія сдѣлались насущными вопросами его жизни.

«Ахъ, если бъ испытывать только эту теплоту любви, да не испытывать ея тревогъ!» мечталъ онъ. «Нѣтъ, жизнь трогаетъ, куда ни уйди, такъ и жжетъ! Сколько новаго движенія вдругъ втѣснилось въ нее, занятій! Любовь—претрудная школа жизни!»

Онъ ужъ прочелъ нѣсколько книгъ: Ольга просила его разсказывать содержаніе и съ неимовѣрнымъ терпѣніемъ слушала его разсказъ. Онъ написалъ нѣсколько писемъ въ деревню, смѣнилъ старосту и вошелъ въ сношенія съ однимъ изъ сосѣдей, черезъ посредство Штольца. Онъ бы даже по-

ѣхалъ въ деревню, если бъ считалъ возможнымъ уѣхать отъ Ольги.

Онъ не ужиналъ и вотъ уже двѣ недѣли не знаетъ, что значитъ прилечь днемъ.

Въ двѣ-три недѣли они объѣздили всѣ петербургскія окрестности. Тетка съ Ольгой, баронъ и онъ являлись на загородныхъ концертахъ, на большихъ праздникахъ. Поговариваютъ съѣздить въ Финляндію, на Иматру.

Что касается Обломова, онъ дальше парка никуда бы не тронулся, да Ольга все придумываетъ, и лишь только онъ, на приглашеніе куда-нибудь поѣхать, замнется отвѣтомъ, навѣрное поѣздка предпринималась. И тогда не было конца улыбкамъ Ольги. На пять верстъ кругомъ дачи не было пригорка, на который бы онъ не влѣзалъ по нѣскольку разъ.

Между тѣмъ симпатія ихъ росла, развивалась и проявлялась по своимъ непреложнымъ законамъ. Ольга расцвѣтала вмѣстѣ съ чувствомъ. Въ глазахъ прибавилось свѣта, въ движеніяхъ граціи; грудь ея такъ пышно развилась, такъ мѣрно волновалась.

— Ты похорошѣла на дачѣ, Ольга,—говорила ей тетка. Въ улыбкѣ барона выражался тотъ же комплиментъ.

Ольга, краснѣя, клала голову на плечо тетки; та ласково трепала ее по щекѣ.

— Ольга, Ольга!—осторожно, почти шопотомъ, кликалъ однажды Обломовъ Ольгу внизу горы, гдѣ она назначила ему сойтись, чтобъ идти гулять.

Нѣтъ отвѣта. Онъ посмотрѣлъ на часы.

— Ольга Сергѣевна!—вслухъ прибавилъ потомъ.

Молчаніе.

Ольга сидѣла на горѣ, слышала зовъ и, сдерживая смѣхъ, молчала. Ей хотѣлось заставить его взойти на гору.

— Ольга Сергѣевна!—взывалъ онъ, пробравшись между кустами до половины горы и заглядывая наверхъ. «Въ половинѣ шестого назначила она», говорилъ онъ про себя.

Она не удержала смѣха.

— Ольга, Ольга! Ахъ, да вы тамъ!—сказалъ онъ и полѣзъ на гору.

— Ухъ! Охота же вамъ прятаться на горѣ! — Онъ сѣлъ подлѣ нея.—Чтобъ помучить меня, вы и сами мучитесь.

— Откуда вы? Прямо изъ дома?—спросила она.

— Нѣтъ, я къ вамъ зашелъ; тамъ сказали, что вы ушли.

— Что вы сегодня дѣлали?—спросила она.

— Сегодня...

— Бранились съ Захаромъ?—досказала она.

Онъ засмѣялся этому, какъ дѣлу совершенно невозможному.

— Нѣтъ, я читалъ Revue. Но, послушайте, Ольга...

Но онъ ничего не сказалъ, сѣлъ только подлѣ нея и погрузился въ созерцаніе ея профиля, головы, движенія руки назадъ и впередъ, какъ она продѣвала иглу въ канву и вытаскивала назадъ. Онъ наводилъ на нее взглядъ, какъ зажигательное стекло, и не могъ отвести.

Самъ онъ не двигался, только взглядъ поворачивался, то вправо, то влѣво, то внизъ, смотря по тому, какъ двигалась рука. Въ немъ была дѣятельная работа: усиленное кровообращеніе, удвоенное біеніе пульса и кипѣніе у сердца— все это дѣйствовало такъ сильно, что онъ дышалъ медленно и тяжело, какъ дышатъ передъ казнью и въ моментъ высочайшей нѣги духа.

Онъ былъ нѣмъ и не могъ даже пошевелиться, только влажные отъ умиленія глаза неотразимо были устремлены на нее.

Она по временамъ кидала на него глубокій взглядъ, читала немудреный смыслъ, начертанный на его лицѣ, и думала: «Боже мой! Какъ онъ любитъ! Какъ онъ нѣженъ, какъ нѣженъ!» И любовалась, гордилась этимъ поверженнымъ къ ногамъ ея, ея же силою, человѣкомъ!

Моментъ символическихъ намековъ, знаменательныхъ улыбокъ, сирепевыхъ вѣтокъ прошелъ невозвратно. Любовь дѣлалась строже, взыскательнѣе, стала превращаться въ какую-то обязанность; явились взаимныя права. Обѣ стороны открывались болѣе и болѣе: недоразумѣнія, сомнѣнія исчезли, или уступали мѣсто болѣе яснымъ и положительнымъ вопросамъ.

Она все колола его легкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговоръ, казнила его апатію глубже, дѣйствительнѣе, нежели Штольцъ; потомъ, по мѣрѣ сближенія съ нимъ, отъ сарказмовъ надъ вялымъ и дряблымъ существованіемъ Обломова, она перешла къ деспотическому проявленію воли, отважно напомнила ему цѣль жизни и обязанностей и строго требовала движенія, безпрестанно вызывала наружу его умъ, то запутывая его въ тонкій, жизненный, знакомый ей вопросъ, то сама шла къ нему съ вопросомъ о чемъ-нибудь неясномъ, недоступномъ ей.

И онъ бился, ломалъ голову, изворачивался, чтобъ не упасть тяжело въ глазахъ ея, или чтобъ помочь ей разъяснить какой-нибудь узелъ, не то такъ геройски разсѣчь его.

Вся ея женская тактика была проникнута нѣжной симпатіей; всѣ его стремленія поспѣть за движеніемъ ея ума дышали страстью.

Но чаще онъ изнемогалъ, ложился у ногъ ея, прикладывалъ руку къ сердцу и слушалъ, какъ оно бьется, не сводя съ нея неподвижнаго, удивленнаго, восхищеннаго взгляда.

«Какъ онъ любитъ меня!» твердила она въ эти минуты, любуясь имъ. Если же иногда замѣчала она затаившіяся прежнія черты въ душѣ Обломова,—а она глубоко умѣла смотрѣть въ нее—малѣйшую усталость, чуть замѣтную дремоту жизни, на него лились упреки, къ которымъ изрѣдка примѣшивалась горечь раскаянія, боязнь ошибки.

Иногда только соберется онъ зѣвнуть, откроетъ ротъ— его поражаетъ ея изумленный взглядъ: онъ мгновенно сомкнетъ ротъ, такъ что зубы стукнутъ. Она преслѣдовала малѣйшую тѣнь сонливости даже у него на лицѣ. Она спрашивала, не только что̀ онъ дѣлаетъ, но и что̀ будетъ дѣлать.

Еще сильнѣе, нежели отъ упрековъ, просыпалась въ немъ бодрость, когда онъ замѣчалъ, что отъ его усталости уставала и она, дѣлалась небрежною, холодною. Тогда въ немъ появлялась лихорадка жизни, силъ, дѣятельности, и тѣнь исчезала опять, и симпатія била опять сильнымъ и яснымъ ключомъ.

Но всѣ эти заботы не выходили пока изъ магическаго круга любви; дѣятельность его была отрицательная: онъ не спитъ, читаетъ, иногда подумываетъ писать и планъ, много ходитъ, много ѣздитъ. Дальнѣйшее же направленіе, самая мысль жизни, дѣло — остается еще въ намѣреніяхъ.

— Какой еще жизни и дѣятельности хочетъ Андрей?— говорилъ Обломовъ, тараща глаза послѣ обѣда, чтобъ не заснуть: — Развѣ это не жизнь? Развѣ любовь не служба? Попробовалъ бы онъ! Каждый день — верстъ по десяти пѣшкомъ! Вчера ночевалъ въ городѣ, въ дрянномъ трактирѣ, одѣтый, только сапоги снялъ, и Захара не было—все по милости ея порученій!

Всего мучительнѣе было для него, когда Ольга предложитъ ему спеціальный вопросъ и требуетъ отъ него, какъ отъ какого-нибудь профессора, полнаго удовлетворенія; а это случалось съ ней часто, вовсе не изъ педантизма, а просто изъ желанія знать въ чемъ дѣло. Она даже забывала часто свои цѣли относительно Обломова, а увлекалась самымъ вопросомъ.

— Зачѣмъ насъ не учатъ этому! — съ задумчивой досадой говорила она, иногда съ жадностью, урывками, слушая

разговоръ о чемъ-нибудь, что привыкли считать ненужнымъ женщинѣ.

Однажды вдругъ приступила къ нему съ вопросами о двойныхъ звѣздахъ: онъ имѣлъ неосторожность сослаться на Гершеля и былъ посланъ въ городъ, долженъ былъ прочесть книгу и разсказывать ей, пока она не удовлетворилась.

Въ другой разъ, опять по неосторожности, вырвалось у него, въ разговорѣ съ барономъ, слова два о школахъ живописи—опять ему работа на недѣлю: читать, разсказывать; да потомъ еще поѣхали въ Эрмитажъ: и тамъ еще онъ долженъ былъ дѣломъ подтверждать ей прочитанное.

Если онъ скажетъ что-нибудь наобумъ, она сейчасъ увидитъ, да тутъ-то и пристанетъ.

Потомъ онъ долженъ былъ съ недѣлю ѣздить по магазинамъ, отыскивать гравюры съ лучшихъ картинъ.

Бѣдный Обломовъ то повторялъ зады, то бросался въ книжныя лавки за новыми увражами, и иногда цѣлую ночь не спалъ, рылся, читалъ, чтобъ утромъ, будто нечаянно, отвѣчать на вчерашній вопросъ знаніемъ, вынутымъ изъ архива памяти.

Она предлагала эти вопросы не съ женскою разсѣянностью, не по внушенію минутнаго каприза знать то или другое, а настойчиво, съ нетерпѣніемъ, и въ случаѣ молчанія Обломова казнила его продолжительнымъ, испытующимъ взглядомъ. Какъ онъ дрожалъ отъ этого взгляда!

— Что вы не скажете ничего, молчите?—спросила она.— Можно подумать, что вамъ скучно.

— Ахъ! — произнесъ онъ, какъ будто приходя въ себя отъ обморока:—Какъ я люблю васъ!

— Въ самомъ дѣлѣ? А не спроси я, оно и не похоже,— сказала она.

— Да неужели вы не чувствуете, что во мнѣ происходитъ? — началъ онъ. — Знаете, мнѣ даже трудно говорить.

Вотъ здѣсь... дайте руку, что-то мѣшаетъ, какъ-будто лежитъ что-нибудь тяжелое, точно камень, какъ бываетъ въ глубокомъ горѣ, а между тѣмъ, странно, и въ горѣ, и въ счастіи, въ организмѣ одинъ и тотъ же процессъ: тяжело, почти больно дышать, хочется плакать! Если бъ я заплакалъ, мнѣ бы такъ же, какъ въ горѣ, отъ слезъ стало бы легко...

Она поглядѣла на него молча, какъ будто повѣряла слова его, сравнивала съ тѣмъ, что у него написано на лицѣ, и улыбнулась: повѣрка оказалась удовлетворительною. На лицѣ ея разлито было дыханіе счастья, но мирнаго, которое, казалось, ничѣмъ не возмутишь. Видно, что у ней не было тяжело на сердцѣ, а только хорошо, какъ въ природѣ въ это тихое утро.

— Что со мной? — въ раздумьѣ спросилъ будто себя Обломовъ.

— Сказать что̀?

— Скажите.

— Вы... влюблены.

— Да, конечно, — подтвердилъ онъ, отрывая ея руку отъ канвы, и не поцѣловалъ, а только крѣпко прижалъ ея пальцы къ губамъ и располагалъ, кажется, держать такъ долго.

Она пробовала тихонько отнять, но онъ крѣпко держалъ.

— Ну, пустите, довольно,—сказала она.

— А вы?—спросилъ онъ.—Вы... не влюблены...

— Влюблена, нѣтъ... я не люблю этого: я васъ люблю!— сказала она и поглядѣла на него долго, какъ будто повѣряла и себя, точно ли она любитъ.

— Лю... блю! — произнесъ Обломовъ. — Но вѣдь любить можно мать, отца, няньку, даже собачонку: все это покрывается общимъ, собирательнымъ понятіемъ «люблю», какъ старымъ...

— Халатомъ? — сказала она, засмѣявшись. — A propos гдѣ вашъ халатъ?

— Какой халатъ? У меня никакого не было.

Она посмотрѣла на него съ улыбкой упрека.

— Вотъ вы о старомъ халатѣ! — сказалъ онъ. — Я жду, душа замерла у меня отъ нетерпѣнія слышать, какъ изъ сердца у васъ порывается чувство, какимъ именемъ назовете вы эти порывы, а вы... Богъ съ вами, Ольга! Да, я влюбленъ въ васъ и говорю, что безъ этого нѣтъ и прямой любви: ни въ отца, ни въ мать, ни въ няньку не влюбляются, а любятъ ихъ.

— Не знаю, — говорила она задумчиво, какъ будто вникая въ себя и стараясь уловить, что̀ въ ней происходитъ. — Не знаю, влюблена ли я въ васъ; если нѣтъ, то, можетъ-быть, не наступила еще минута; знаю только одно, что я такъ не любила ни отца, ни мать, ни няньку...

— Какая же разница? Чувствуете ли вы что-нибудь особенное!—добивался онъ.

— А вамъ хочется знать?—спросила она лукаво.

— Да, да, да! Неужели у васъ нѣтъ потребности высказаться?

— А зачѣмъ вамъ хочется знать?

— Чтобъ поминутно жить этимъ: сегодня, всю ночь, завтра—до новаго свиданія... Я только тѣмъ и живу.

— Вотъ видите, вамъ нужно обновлять каждый день запасъ вашей нѣжности! Вотъ гдѣ разница между влюбленнымъ и любящимъ. Я...

— Вы?..—нетерпѣливо ждалъ онъ.

— Я люблю иначе,—сказала она, опрокидываясь спиной на скамью и блуждая глазами въ несущихся облакахъ. — Мнѣ безъ васъ скучно; разставаться съ вами не надолго—жаль, надолго — больно. Я однажды навсегда узнала, увидѣла и вѣрю, что вы меня любите — и счастлива, хоть не повторяйте мнѣ никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умѣю.

«Это слова... какъ будто Корделіи», подумалъ Обломовъ, глядя на Ольгу страстно...

— Умрете... вы,—съ запинкой продолжала она:—я буду носить вѣчный трауръ по васъ и никогда болѣе не улыбнусь въ жизни. Полюбите другую—роптать, проклинать не стану, а про себя пожелаю вамъ счастья... Для меня любовь эта—все равно, что... жизнь, а жизнь...

Она искала выраженія.

— Что жъ жизнь, по-вашему?—спросилъ Обломовъ.

— Жизнь—долгъ, обязанность, слѣдовательно, любовь—тоже долгъ: мнѣ какъ будто Богъ послалъ ее, — досказала она, поднявъ глаза къ небу:—и велѣлъ любить.

— Корделія!—вслухъ произнесъ Обломовъ. — И ей двадцать одинъ годъ! Такъ вотъ, что̀ любовь по-вашему!—прибавилъ онъ въ раздумьи.

— Да, и у меня, кажется, достанетъ силъ прожить и пролюбить всю жизнь...

«Кто жъ внушилъ ей это!» думалъ Обломовъ, глядя на нее чуть не съ благоговѣніемъ. «Не путемъ же опыта, истязаній, огня и дыма дошла она до этого яснаго и простого пониманія жизни и любви».

— А есть радости живыя, есть страсти?—заговорилъ онъ.

— Не знаю,—сказала она: — я не испытала и не понимаю, что̀ это такое.

— О, какъ я понимаю теперь!

— Можетъ-быть, и я современемъ испытаю, можетъ-быть, и у меня будутъ тѣ же порывы, какъ у васъ, такъ же буду глядѣть при встрѣчѣ на васъ и не вѣрить, точно ли вы передо мной... А это должно быть очень смѣшно! — весело прибавила она. — Какіе вы глаза иногда дѣлаете: я думаю, ma tante замѣчаетъ.

— Въ чемъ же счастье у васъ въ любви, — спросилъ онъ: — если у васъ нѣтъ тѣхъ живыхъ радостей, какія испытываю я?..

— Въ чемъ? А вотъ въ чемъ!—говорила она, указывая на него, на себя, на окружавшее ихъ уединеніе. — Развѣ это не счастье, развѣ я жила когда-нибудь такъ? Прежде я не просидѣла бы здѣсь и четверти часа одна, безъ книги, безъ музыки, между этими деревьями. Говорить съ мужчиной, кромѣ Андрея Иваныча, мнѣ было скучно, не о чемъ: я все думала, какъ бы остаться одной... А теперь... и молчать вдвоемъ весело!

Она повела глазами вокругъ, по деревьямъ, по травѣ, потомъ остановила ихъ на немъ, улыбнулась и подала ему руку.

— Развѣ мнѣ не будетъ больно ужо, когда вы будете уходить? — прибавила она. — Развѣ я не стану торопиться поскорѣй лечь спать, чтобъ заснуть и не видать скучной ночи? Развѣ завтра не пошлю къ вамъ утромъ? Развѣ...

Съ каждымъ «развѣ» лицо Обломова все расцвѣтало, взглядъ наполнялся лучами.

— Да, да, — повторялъ онъ: — я тоже жду утра, и мнѣ скучна ночь, и я завтра пошлю къ вамъ не за дѣломъ, а чтобъ только произнести лишній разъ и услыхать, какъ раздастся ваше имя, узнать отъ людей какую-нибудь подробность о васъ, позавидовать, что они ужъ васъ видѣли... Мы думаемъ, ждемъ, живемъ и надѣемся одинаково. Простите, Ольга, мои сомнѣнія: я убѣждаюсь, что вы любите меня, какъ не любили ни отца, ни тетку, ни...

— Ни собачонку,—сказала она и засмѣялась.

— Вѣрьте же мнѣ,—заключила она:—какъ я вамъ вѣрю, и не сомнѣвайтесь, не тревожьте пустыми сомнѣніями этого счастья, а то оно улетитъ. Что я разъ назвала своимъ, того уже не отдамъ назадъ, развѣ отнимутъ. Я это знаю, нужды нѣтъ, что я молода, но... Знаете ли, — сказала она, съ увѣренностью въ голосѣ: — въ мѣсяцъ, съ тѣхъ поръ, какъ знаю васъ, я много передумала и испытала, какъ

будто прочла большую книгу, такъ, про себя, понемногу... Не сомнѣвайтесь же...

— Не могу не сомнѣваться, — перебилъ онъ: — не требуйте этого. Теперь, при васъ, я увѣренъ во всемъ:—вашъ взглядъ, голосъ, все говоритъ. Вы смотрите на меня, какъ будто говорите: мнѣ словъ не надо, я умѣю читать ваши взгляды. Но когда васъ нѣтъ, начинается такая мучительная игра въ сомнѣнія, въ вопросы, и мнѣ опять надо бѣжать къ вамъ, опять взглянуть на васъ, безъ этого я не вѣрю. Что это?

— А я вѣрю вамъ: отчего же?—спросила она.

— Еще бы вы не вѣрили! Передъ вами сумасшедшій, зараженный страстью! Въ глазахъ моихъ вы видите, я думаю, себя, какъ въ зеркалѣ. Притомъ вамъ двадцать лѣтъ; посмотрите на себя: можетъ ли мужчина, встрѣтя васъ, не заплатить вамъ дань удивленія... хотя взглядомъ? А знать васъ, слушать, глядѣть на васъ подолгу, любить — о, да тутъ съ ума сойдешь! А вы такъ ровны, покойны; и если пройдутъ сутки, двое, и я не услышу отъ васъ «люблю...» здѣсь начинается тревога...

Онъ указалъ на сердце.

— Люблю, люблю, люблю — вотъ вамъ на трое сутокъ запаса!—сказала она, вставая со скамьи.

— Вы все шутите, а мнѣ-то каково! — вздохнувъ замѣтилъ онъ, спускаясь съ нею съ горы.

Такъ разыгрывался между ними все тотъ же мотивъ въ разнообразныхъ варіаціяхъ. Свиданія, разговоры — все это была одна пѣснь, одни звуки, одинъ свѣтъ, который горѣлъ ярко и только преломлялись и дробились лучи его, на розовые, на зеленые, на палевые, и трепетали въ окружавшей ихъ атмосферѣ. Каждый день и часъ приносилъ новые звуки и лучи, но свѣтъ горѣлъ одинъ, мотивъ звучалъ все тотъ же.

И онъ, и она прислушивались къ этимъ звукамъ, уло-

вивъ ихъ, и спѣшили выпѣвать, что каждый слышитъ, другъ передъ другомъ, не подозрѣвая, что завтра зазвучатъ другіе звуки, явятся иные лучи, и забывая на другой день, что вчера было пѣніе другое.

Она одѣвала изліянія сердца въ тѣ краски, какими горѣло ея воображеніе въ настоящій моментъ, и вѣровала, что онѣ вѣрны природѣ, и спѣшила, въ невинномъ и безсознательномъ кокетствѣ, явиться въ прекрасномъ уборѣ передъ глазами своего друга.

Онъ вѣровалъ еще больше въ эти волшебные звуки, въ обаятельный свѣтъ и спѣшилъ предстать предъ ней во всеоружіи страсти, показать ей весь блескъ и всю силу огня, который пожиралъ его душу.

Они не лгали ни передъ собой, ни другъ другу: они выдавали то, что говорило сердце, а голосъ его проходилъ чрезъ воображеніе.

Обломову нужды въ сущности не было, являлась ли Ольга Корделіей и осталась ли бы вѣрна этому образу, или пошла бы новой тропой и преобразилась въ другое видѣніе, лишь бы она являлась въ тѣхъ же краскахъ и лучахъ, въ какихъ она жила въ его сердцѣ, лишь бы ему было хорошо.

И Ольга не справлялась, подниметъ ли страстный другъ ея перчатку, если бъ она бросила ее въ пасть ко льву, бросится ли для нея въ бездну, лишь бы она видѣла симптомы этой страсти, лишь бы онъ оставался вѣренъ идеалу мужчины, и притомъ мужчины, просыпающагося чрезъ нее къ жизни, лишь бы отъ луча ея взгляда, отъ ея улыбки, горѣлъ огонь бодрости въ немъ и онъ не переставалъ бы видѣть въ ней цѣль жизни.

И потому, въ мелькнувшемъ образѣ Корделіи, въ огнѣ страсти Обломова, отразилось только одно мгновеніе, одно эфемерное дыханіе любви, одно ея утро, одинъ прихотливый

узоръ. А завтра, завтра блеснетъ уже другое, можетъ-быть, такое же прекрасное, но все-таки другое...

X.

Обломовъ былъ въ томъ состояніи, когда человѣкъ только что проводилъ глазами закатившееся лѣтнее солнце и наслаждается его румяными слѣдами, не отрывая взгляда отъ зари, не оборачиваясь назадъ, откуда выходитъ ночь, думая только о возвращеніи на завтра тепла и свѣта.

Онъ лежалъ на спинѣ и наслаждался послѣдними слѣдами вчерашняго свиданія. «Люблю, люблю, люблю», дрожало еще въ его ушахъ лучше всякаго пѣнія Ольги; еще на немъ покоились послѣдніе лучи ея глубокаго взгляда. Онъ дочитывалъ въ немъ смыслъ, опредѣлялъ степень ея любви и сталъ-было забываться сномъ, какъ вдругъ...

Завтра утромъ Обломовъ всталъ блѣдный и мрачный; на лицѣ слѣды безсонницы; лобъ весь въ морщинахъ; въ глазахъ нѣтъ огня, нѣтъ желаній. Гордость, веселый, бодрый взглядъ, умѣренная, сознательная торопливость движеній занятаго человѣка—все пропало.

Онъ вяло напился чаю, не тронулъ ни одной книги, не присѣлъ къ столу, задумчиво закурилъ сигару и сѣлъ на диванъ. Прежде бы онъ легъ, но теперь отвыкъ и его даже не тянуло къ подушкѣ; однакожъ онъ уперся локтемъ въ нее—признакъ, намекавшій на прежнія наклонности.

Онъ былъ мраченъ, иногда вздыхалъ, вдругъ пожималъ плечами, качалъ, съ сокрушеніемъ, головой.

Въ немъ что-то сильно работаетъ, но не любовь. Образъ Ольги предъ нимъ, но онъ носится будто въ дали, въ туманѣ, безъ лучей, какъ чужой ему; онъ смотритъ на него болѣзненнымъ взглядомъ и вздыхаетъ.

«Живи, какъ Богъ велитъ, а не какъ хочется—правило мудрое, но»...

И онъ задумался.

«Да, нельзя жить, какъ хочется — это ясно», началъ говорить въ немъ какой-то угрюмый, строптивый голосъ: «впадешь въ хаосъ противорѣчій, которыхъ не распутаетъ одинъ человѣческій умъ, какъ онъ ни глубокъ, какъ ни дерзокъ! Вчера пожелалъ, сегодня достигаешь желаемаго страстно, до изнеможенія, а послѣзавтра краснѣешь, что пожелалъ, потомъ клянешь жизнь, зачѣмъ исполнилось — вѣдь вотъ что̀ выходитъ отъ самостоятельнаго и дерзкаго шаганія въ жизни, отъ своевольнаго *хочу*. Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьемъ, не смѣть роптать, что оно ускользнетъ — вотъ жизнь! Кто выдумалъ, что она — счастье, наслажденіе? Безумцы! «Жизнь есть жизнь, долгъ», говоритъ Ольга, «обязанность, а обязанность бываетъ тяжела. Исполнимъ же долгъ»...

Онъ вздохнулъ.

— Не увидимся съ Ольгой... Боже мой! Ты открылъ мнѣ глаза и указалъ долгъ, — говорилъ онъ, глядя въ небо: — гдѣ же взять силы? Разстаться! Еще есть возможность теперь, хотя съ болью, зато послѣ не будешь клясть себя, зачѣмъ не разстался? А отъ нея сейчасъ придутъ, она хотѣла прислать... Она не ожидаетъ...

Что̀ за причина? Какой вѣтеръ вдругъ подулъ на Обломова? Какія облака нанесъ? И отчего онъ поднимаетъ такое печальное иго? А, кажется, вчера еще онъ глядѣлъ въ душу Ольги и видѣлъ тамъ свѣтлый міръ и свѣтлую судьбу, прочиталъ свой и ея гороскопъ. Что же случилось?

Должно-быть, онъ поужиналъ, или полежалъ на спинѣ, и поэтическое настроеніе уступило мѣсто какимъ-то ужасамъ.

Часто случается заснуть лѣтомъ въ тихій, безоблачный вечеръ, съ мерцающими звѣздами, и думать, какъ завтра будетъ хорошо поле, при утреннихъ свѣтлыхъ краскахъ! Какъ весело углубиться въ чащу лѣса и прятаться отъ жара!.. И вдругъ просыпаешься отъ стука дождя, отъ сѣрыхъ печальныхъ облаковъ; холодно, сыро...

Обломовъ съ вечера, по обыкновенію, прислушивался къ біенію своего сердца, потомъ ощупалъ его руками, повѣрилъ, увеличилась ли отвердѣлость тамъ, наконецъ углубился въ анализъ своего счастья, и вдругъ попалъ въ каплю горечи и отравился.

Отрава подѣйствовала сильно и быстро. Онъ пробѣжалъ мысленно всю свою жизнь: въ сотый разъ раскаяніе и позднее сожалѣніе о минувшемъ подступило къ сердцу. Онъ представилъ себѣ, что бъ онъ былъ теперь, если бъ шелъ бодро впередъ, какъ бы жилъ полнѣе и многостороннѣе, если бъ былъ дѣятеленъ, и перешелъ къ вопросу, что онъ теперь и какъ могла, какъ можетъ полюбить его Ольга, и за что?

Не ошибка ли это? вдругъ мелькнуло у него въ умѣ, какъ молнія, и молнія эта попала въ самое сердце и разбила его. Онъ застоналъ. «Ошибка! да... вотъ что!» ворочалось у него въ головѣ.

«Люблю, люблю, люблю», раздалось вдругъ опять въ памяти, и сердце начинало согрѣваться, но вдругъ опять похолодѣло. И это троекратное «люблю» Ольги—что это? Обманъ ея глазъ, лукавый шопотъ еще празднаго сердца; не любовь, а только предчувствіе любви!

Этотъ голосъ когда-нибудь раздастся, но такъ сильно зазвучитъ, такимъ грянетъ аккордомъ, что весь міръ встрепенется! Узнаетъ и тетка, и баронъ, и далеко раздастся гулъ отъ этого голоса! Не станетъ то чувство пробираться такъ тихо, какъ ручей, прячась въ травѣ, съ едва слышнымъ журчаньемъ.

Она любитъ теперь, какъ вышиваетъ по канвѣ: тихо, лѣниво выходитъ узоръ, она еще лѣнивѣе развертываетъ его, любуется, потомъ положитъ и забудетъ. Да, это только приготовленіе къ любви, опытъ, а онъ — субъектъ, который подвернулся первый, немного сносный, для опыта, по случаю...

Вѣдь случай свелъ и сблизилъ ихъ. Она бы его не замѣтила: Штольцъ указалъ на него, заразилъ молодое, впечатлительное сердце своимъ участіемъ, явилось состраданіе къ его положенію, самолюбивая забота стряхнуть сонъ съ лѣнивой души, потомъ оставить ее.

— Вотъ оно что!—съ ужасомъ говорилъ онъ, вставая съ постели и зажигая дрожащей рукой свѣчку. — Больше ничего тутъ нѣтъ и не было! Она готова была къ воспринятію любви, сердце ея ждало чутко, и онъ встрѣтился нечаянно, попалъ ошибкой... Другой только явится—и она съ ужасомъ отрезвится отъ ошибки! Какъ она взглянетъ тогда на него, какъ отвернется... ужасно! Я похищаю чужое! Я — воръ! Что я дѣлаю, что я дѣлаю? Какъ я ослѣпъ, — Боже мой!

Онъ посмотрѣлъ въ зеркало: блѣденъ, желтъ, глаза тусклые. Онъ вспомнилъ тѣхъ молодыхъ счастливцевъ, съ подернутымъ влагой, задумчивымъ, но сильнымъ и глубокимъ взглядомъ, какъ у нея, съ трепещущей искрой въ глазахъ, съ увѣренностью на побѣду въ улыбкѣ, съ такой бодрой походкой, съ звучнымъ голосомъ. И онъ дождется, когда одинъ изъ нихъ явится: она вспыхнетъ вдругъ, взглянетъ на него, Обломова, и... захохочетъ!

Онъ опять поглядѣлъ въ зеркало.

— Этакихъ не любятъ!—сказалъ онъ.

Потомъ легъ и припалъ лицомъ къ подушкѣ.

— Прощай, Ольга, будь счастлива,—заключилъ онъ.

— Захаръ! — крикнулъ онъ утромъ. — Если отъ Ильинскихъ придетъ человѣкъ за мной, скажи, что меня дома нѣтъ, въ городъ уѣхалъ.

— Слушаю.

«Да... нѣтъ, я лучше напишу къ ней», сказалъ онъ самъ себѣ: «а то дико покажется ей, что я вдругъ пропалъ. Объясненіе необходимо».

Онъ сѣлъ къ столу и началъ писать быстро, съ жаромъ,

съ лихорадочной поспѣшностью, не такъ, какъ въ началѣ мая писалъ къ домовому хозяину. Ни разу не произошло близкой и непріятной встрѣчи двухъ *которыхъ* и двухъ *что*.

«Вамъ странно, Ольга Сергѣевна (писалъ онъ), вмѣсто меня самого, получить это письмо, когда мы такъ часто видимся. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мнѣ иначе поступить нельзя. Надо было бы начать съ этого письма: тогда мы оба избавились бы многихъ упрековъ совѣсти впереди; но и теперь не поздно. Мы полюбили другъ друга такъ внезапно, такъ быстро, какъ будто оба вдругъ сдѣлались больны, и это мнѣ мѣшало очнуться ранѣе. Притомъ, глядя на васъ, слушая васъ по цѣлымъ часамъ, кто бы добровольно захотѣлъ принимать на себя тяжелую обязанность отрезвляться отъ очарованія? Гдѣ напасешься на каждый мигъ оглядки и силы воли, чтобъ остановиться у всякой покатости и не увлечься по ея склону? И я всякій день думалъ: «дальше не увлекусь, я остановлюсь: отъ меня зависитъ» и увлекся, и теперь настаетъ борьба, въ которой требую вашей помощи. Я только сегодня, въ эту ночь, понялъ, какъ быстро скользятъ ноги мои: вчера только удалось мнѣ заглянуть поглубже въ пропасть, куда я падаю, и я рѣшился остановиться.

«Я говорю только о себѣ—не изъ эгоизма, а потому, что, когда я буду лежать на днѣ этой пропасти, вы все будете, какъ чистый ангелъ, летать высоко, и не знаю, захотите ли бросить въ нее взглядъ. Послушайте, безъ всякихъ намековъ, скажу прямо и просто: вы меня не любите и не можете любить. Послушайтесь моей опытности и повѣрьте безусловно. Вѣдь мое сердце начало биться давно: положимъ, билось фальшиво, невпопадъ, но это самое научило меня различать его правильное біеніе отъ случайнаго. Вамъ нельзя, а мнѣ можно и должно знать, гдѣ истина, гдѣ заблужденіе, и на мнѣ лежитъ обязанность предостеречь того,

кто еще не успѣлъ узнать этого. И вотъ я предостерегаю васъ: вы въ заблужденіи, оглянитесь!

«Пока между нами любовь появилась въ видѣ легкаго, улыбающагося видѣнія, пока она звучала въ Casta diva, носилась въ запахѣ сиреневой вѣтки, въ невысказанномъ участіи, въ стыдливомъ взглядѣ, я не довѣрялъ ей, принимая ее за игру воображенія и шопотъ самолюбія. Но шалости прошли; я сталъ боленъ любовью, почувствовалъ симптомы страсти; вы стали задумчивы, серьезны; отдали мнѣ ваши досуги; у васъ заговорили нервы; вы начали волноваться, и тогда, то-есть теперь только, я испугался и почувствовалъ, что на меня падаетъ обязанность остановиться и сказать, что это такое.

«Я сказалъ вамъ, что люблю васъ, вы отвѣтили тѣмъ же—слышите ли, какой диссонансъ звучитъ въ этомъ? Не слышите? Такъ услышите позже, когда я уже буду въ безднѣ. Посмотрите на меня, вдумайтесь въ мое существованіе: можно ли вамъ любить меня, любите ли вы меня? «Люблю, люблю, люблю!» сказали вы вчера. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! твердо отвѣчаю я.

«Вы не любите меня, но вы не лжете—спѣшу прибавить—не обманываете меня; вы не можете сказать *да*, когда въ васъ говоритъ *нѣтъ*. Я только хочу доказать вамъ, что ваше настоящее *люблю* не есть настоящая любовь, а будущая; это только безсознательная потребность любить, которая, за недостаткомъ настоящей пищи, за отсутствіемъ огня, горитъ фальшивымъ, негрѣющимъ свѣтомъ, высказывается иногда у женщинъ въ ласкахъ къ ребенку, къ другой женщинѣ, даже просто въ слезахъ, или въ истерическихъ припадкахъ. Мнѣ съ самаго начала слѣдовало бы строго сказать вамъ: «вы ошиблись, передъ вами не тотъ, кого вы ждали, о комъ мечтали. Погодите, онъ придетъ, и тогда вы очнетесь; вамъ будетъ досадно и стыдно за свою ошибку, а мнѣ эта досада и стыдъ сдѣлаютъ боль»—вотъ что слѣ-

довало бы мнѣ сказать вамъ, если бъ я отъ природы былъ попрозорливѣе умомъ и пободрѣе душой, если бъ, наконецъ, былъ искреннѣе... Я и говорилъ, но, помните, какъ: съ боязнью, чтобъ вы не повѣрили, чтобъ этого не случилось; я впередъ говорилъ все, что̀ могутъ потомъ сказать другіе, чтобъ приготовить васъ не слушать и не вѣрить, а самъ торопился видѣться съ вами и думалъ: «когда-то еще другой придетъ, я пока счастливъ». Вотъ она, логика увлеченія и страстей.

«Теперь уже я думаю иначе. А что̀ будетъ, когда я привяжусь къ ней, когда видѣться—сдѣлается не роскошью жизни, а необходимостью, когда любовь вопьется въ сердце (недаромъ я чувствую тамъ отвердѣлость)? Какъ оторваться тогда? Переживешь ли эту боль? Худо будетъ мнѣ. Я и теперь безъ ужаса не могу подумать объ этомъ. Если бъ вы были опытнѣе, старше, тогда бы я благословилъ свое счастье и подалъ вамъ руку навсегда. А то...

«Зачѣмъ же я пишу? Зачѣмъ не пришелъ прямо сказать самъ, что желаніе видѣться съ вами растетъ съ каждымъ днемъ, а видѣться не слѣдуетъ? Сказать это вамъ въ лицо—достанетъ ли духу, сами посудите! Иногда я и хочу сказать что-то похожее на это, а говорю совсѣмъ другое. Можетъ-быть, на лицѣ вашемъ выразилась бы печаль (если правда, что вамъ нескучно было со мной), или вы, не понявъ моихъ добрыхъ намѣреній, оскорбились бы: ни того, ни другого я не перенесу, заговорю опять не то, и честныя намѣренія разлетятся въ прахъ и кончатся уговоромъ видѣться на другой день. Теперь, безъ васъ, совсѣмъ не то: вашихъ кроткихъ глазъ, добраго, хорошенькаго личика нѣтъ передо мной; бумага терпитъ и молчитъ, и я пишу покойно (лгу): *мы не увидимся больше* (не лгу).

«Другой бы прибавилъ: *пишу и обливаюсь слезами*, но я не рисуюсь передъ вами, не драпируюсь въ свою печаль, потому что не хочу усиливать боль, растравлять сожалѣніе

грусть. Вся эта драпировка скрываетъ обыкновенно умыселъ глубже пустить корни на почвѣ чувства, а я хочу истребить и въ васъ, и въ себѣ сѣмена его. Да и плакать пристало или соблазнителямъ, которые ищутъ уловить фразами неосторожное самолюбіе женщинъ, или томнымъ мечтателямъ. Я говорю это, прощаясь, какъ прощаются съ добрымъ другомъ, отпуская его въ далекій путь. Недѣли черезъ три, черезъ мѣсяцъ, было бы поздно, трудно: любовь дѣлаетъ неимовѣрные успѣхи, это душевный антоновъ огонь. И теперь я уже ни на что не похожъ, не считаю часы и минуты, не знаю восхожденія и захожденія солнца, а считаю: видѣлъ — не видалъ, увижу — не увижу, приходила — не пришла, придетъ... Все это къ лицу молодости, которая легко переноситъ и пріятныя, и непріятныя волненія; а мнѣ къ лицу покой, хотя скучный, сонный, но онъ знакомъ мнѣ; а съ бурями я не управлюсь.

«Многіе бы удивились моему поступку: отчего бѣжитъ? скажутъ; другіе будутъ смѣяться надо мной: пожалуй, я и на то рѣшаюсь. Ужъ если я рѣшаюсь не видаться съ вами, значитъ, на все рѣшаюсь.

«Въ своей глубокой тоскѣ, немного утѣшаюсь тѣмъ, что этотъ коротенькій эпизодъ нашей жизни мнѣ оставитъ навсегда такое чистое, благоуханное воспоминаніе, что одного его довольно будетъ, чтобъ не погрузиться въ прежній сонъ души, а вамъ, не принеся вреда, послужитъ руководствомъ въ будущей, нормальной жизни. Прощайте, ангелъ, улетайте скорѣе, какъ испуганная птичка улетаетъ съ вѣтки, гдѣ сѣла ошибкой, такъ же легко, бодро и весело, какъ она, съ той вѣтки, на которую сѣли невзначай!»

Обломовъ съ одушевленіемъ писалъ; перо летало по страницамъ. Глаза сіяли, щеки горѣли. Письмо вышло длинно, какъ всѣ любовныя письма: любовники страхъ какъ болтливы.

«Странно! Мнѣ ужъ не скучно, не тяжело!» думалъ онъ.

«Я почти счастливъ... Отчего это? Должно-быть, оттого, что я сбылъ грузъ души въ письмо».

Онъ перечиталъ письмо, сложилъ и запечаталъ.

— Захаръ! — сказалъ онъ. — Когда придетъ человѣкъ, отдай ему это письмо къ барышнѣ.

— Слушаю,—сказалъ Захаръ.

Обломову въ самомъ дѣлѣ стало почти весело. Онъ сѣлъ съ ногами на диванъ и даже спросилъ: нѣтъ ли чего позавтракать. Съѣлъ два яйца и закурилъ сигару. И сердце, и голова у него были наполнены; онъ жилъ. Онъ представлялъ себѣ, какъ Ольга получитъ письмо, какъ изумится, какое сдѣлаетъ лицо, когда прочтетъ. Что будетъ потомъ?..

Онъ наслаждался перспективой этого дня, новостью положенія... Онъ, съ замираніемъ сердца, прислушивался къ стуку двери, не приходилъ ли человѣкъ, не читаетъ ли уже Ольга письмо... Нѣтъ, въ передней тихо.

«Что жъ бы это значило?» съ безпокойствомъ думалъ онъ: «никого не было: какъ же такъ?»

Тайный голосъ тутъ же шепталъ ему: «отчего ты безпокоишься? Вѣдь тебѣ это и нужно, чтобъ не было, чтобъ разорвать сношенія?» Но онъ заглушалъ этотъ голосъ.

Чрезъ полчаса онъ докликался Захара со двора, гдѣ тотъ сидѣлъ съ кучеромъ.

— Не было никого?—спросилъ онъ.—Не приходили?

— Нѣтъ, приходили,—отвѣчалъ Захаръ.

— Что жъ ты?

— Сказалъ, что васъ нѣтъ: въ городъ-дескать уѣхали.

Обломовъ вытаращилъ на него глаза.

— Зачѣмъ же ты это сказалъ?—спросилъ онъ.—Я что тебѣ велѣлъ, когда человѣкъ придетъ?

— Да не человѣкъ приходилъ, горничная, — съ невозмутимымъ хладнокровіемъ отозвался Захаръ.

— А письмо отдалъ?

— Никакъ-нѣтъ:—вѣдь вы сначала велѣли сказать, что дома нѣтъ, а потомъ отдать письмо. Вотъ, какъ придетъ человѣкъ, такъ отдамъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты... просто душегубецъ! Гдѣ письмо? Подай сюда!—сказалъ Обломовъ.

Захаръ принесъ письмо, уже значительно запачканное.

— Ты руки мой, смотри! — злобно сказалъ Обломовъ, указывая на пятно.

— У меня руки чисты, — отозвался Захаръ, глядя въ сторону.

— Анисья, Анисья! —закричалъ Обломовъ.

Анисья выставилась до половины изъ передней.

— Посмотри, что дѣлаетъ Захаръ? — пожаловался онъ ей.—На вотъ письмо и отдай его человѣку, или горничной, кто придетъ отъ Ильинскихъ, чтобъ барышнѣ отдали— слышишь?

— Слышу, батюшка. Пожалуйте, отдамъ.

Но только она вышла въ переднюю, Захаръ вырвалъ у ней письмо.

— Ступай, ступай,—закричалъ онъ:—знай свое бабье дѣло!

Вскорѣ опять прибѣжала горничная. Захаръ сталъ отпирать ей дверь, а Анисья подошла-было къ ней, но Захаръ яростно взглянулъ на нее.

— Ты чего тутъ? —спросилъ онъ хрипло.

— Я пришла только послушать, какъ ты...

— Ну, ну, ну! —загремѣлъ онъ, замахиваясь на нее локтемъ. —Туда же!

Она усмѣхнулась и пошла, но изъ другой комнаты въ щелку смотрѣла, то ли сдѣлаетъ Захаръ, что велѣлъ баринъ.

Илья Ильичъ, услышавъ шумъ, выскочилъ самъ.

— Что ты, Катя?—спросилъ онъ.

— Барышня приказали спросить, куда вы уѣхали? А вы и не уѣхали, дома! Побѣгу сказать, —говорила она и побѣжала-было.

— Я дома. Это вотъ все вретъ, — сказалъ Обломовъ.— На, вотъ, отдай барышнѣ письмо!

— Слушаю, отдамъ!

— Гдѣ барышня теперь?

— Онѣ по деревнѣ пошли, велѣли сказать, что если вы кончили книжку, такъ, чтобъ пожаловали въ садъ, часу во второмъ.

Она ушла.

«Нѣтъ, не пойду... зачѣмъ раздражать чувство, когда все должно быть кончено?..» думалъ Обломовъ, направляясь въ деревню.

Онъ издали видѣлъ, какъ Ольга шла по горѣ, какъ догнала ее Катя и отдала письмо; видѣлъ, какъ Ольга на минуту остановилась, посмотрѣла на письмо, подумала, потомъ кивнула Катѣ и вошла въ аллею парка.

Обломовъ пошелъ въ обходъ, мимо горы, съ другого конца вошелъ въ ту же аллею и, дойдя до средины, сѣлъ въ травѣ, между кустами, и ждалъ.

«Она пройдетъ здѣсь», думалъ онъ: «я только погляжу незамѣтно, что она, и удалюсь навсегда».

Онъ ждалъ съ замирающимъ сердцемъ ея шаговъ. Нѣтъ, тихо. Природа жила дѣятельною жизнью; вокругъ кипѣла невидимая, мелкая работа, а все, казалось, лежитъ въ торжественномъ покоѣ.

Между тѣмъ, въ травѣ все двигалось, ползло, суетилось. Вонъ муравьи бѣгутъ въ разныя стороны такъ хлопотливо и суетливо, сталкиваются, разбѣгаются, торопятся, всеравно, какъ посмотрѣть съ высоты на какой-нибудь людской рынокъ: тѣ же кучки, та же толкотня, такъ же гомозится народъ.

Вотъ шмель жужжитъ около цвѣтка и вползаетъ въ его чашечку; вотъ мухи кучей лѣпятся около выступившей капли сока на трещинѣ липы; вотъ птица, гдѣ-то въ чащѣ,

давно все повторяетъ одинъ и тотъ же звукъ, можетъ-быть, зоветъ другую.

Вотъ двѣ бабочки, вертясь другъ около друга въ воздухѣ, опрометью, какъ въ вальсѣ, мчатся около древесныхъ стволовъ. Трава сильно пахнетъ; изъ нея раздается неумолкаемый трескъ...

«Какая тутъ возня!» думалъ Обломовъ, вглядываясь въ эту суету и вслушиваясь въ мелкій шумъ природы: «а снаружи такъ все тихо, покойно!..»

А шаговъ все не слыхать. Наконецъ, вотъ... «Охъ!» вздохнулъ Обломовъ, тихонько раздвигая вѣтви. «Она, она... Что это? плачетъ! Боже мой!»

Ольга шла тихо и утирала платкомъ слезы; но едва оботретъ, являются новыя. Она стыдится, глотаетъ ихъ, хочетъ скрыть даже отъ деревьевъ, и не можетъ. Обломовъ не видалъ никогда слезъ Ольги; онъ не ожидалъ ихъ, и онѣ будто обожгли его, но такъ, что ему отъ того было не горячо, а тепло.

Онъ быстро пошелъ за ней.

— Ольга, Ольга!—нѣжно говорилъ онъ, слѣдуя за ней.

Она вздрогнула, оглянулась, поглядѣла на него съ удивленіемъ, потомъ отвернулась и пошла дальше.

Онъ пошелъ рядомъ съ ней.

— Вы плачете?—сказалъ онъ.

У ней слезы полились сильнѣе. Она уже не могла удержать ихъ и прижала платокъ къ лицу, разразилась рыданіемъ и сѣла на первую скамью.

— Что я надѣлалъ! — шепталъ онъ съ ужасомъ, взявъ ея руку и стараясь оторвать отъ лица.

— Оставьте меня!—проговорила она.—Уйдите! Зачѣмъ вы здѣсь? Я знаю, что я не должна плакать: о чемъ? Вы правы: да, все можетъ случиться.

— Что дѣлать, чтобъ не было этихъ слезъ?—спрашивалъ

онъ, ставъ передъ ней на колѣни.—Говорите, приказывайте: я готовъ на все...

— Вы сдѣлали, чтобъ были слезы, а остановить ихъ не въ вашей власти... Вы не такъ сильны! Пустите!—говорила она, махая себѣ платкомъ въ лицо.

Онъ посмотрѣлъ на нее и мысленно читалъ себѣ проклятія.

— Несчастное письмо!—произнесъ онъ съ раскаяніемъ.

Она открыла рабочую корзинку, вынула письмо и подала ему.

— Возьмите, — сказала она: — и унесите его съ собой, чтобъ мнѣ долго еще не плакать, глядя на него.

Онъ молча спряталъ его въ карманъ и сидѣлъ подлѣ нея, повѣсивъ голову.

— По крайней мѣрѣ вы отдадите справедливость моимъ намѣреніямъ, Ольга?—тихо говорилъ онъ.—Это доказательство, какъ мнѣ дорого ваше счастье.

— Да, дорого! — вздохнувъ, сказала она. — Нѣтъ, Илья Ильичъ, вамъ, должно-быть, завидно стало, что я такъ тихо была счастлива, и вы поспѣшили возмутить счастье.

— Возмутить! Такъ вы не читали моего письма? Я вамъ повторю...

— Не дочитала, потому что глаза залились слезами: я еще глупа! Но я угадала остальное: не повторяйте, чтобъ больше не плакать...

Слезы закапали опять.

— Не затѣмъ ли я отказываюсь отъ васъ, — началъ онъ:—что предвижу ваше счастье впереди, что жертвую ему собой?.. Развѣ я дѣлаю это хладнокровно? Развѣ у меня не плачетъ все внутри? Зачѣмъ же я это дѣлаю?

— Зачѣмъ?—повторила она, вдругъ переставъ плакать и обернувшись къ нему. — Затѣмъ же, зачѣмъ спрятались теперь въ кусты, чтобы подсмотрѣть, буду ли я плакать и какъ я буду плакать—вотъ зачѣмъ! Если бъ вы хотѣли

искренно того, что̀ написано въ письмѣ, если бъ были убѣждены, что надо разстаться, вы бы уѣхали за границу, не повидавшись со мной.

— Какая мысль!.. — заговорилъ онъ съ упрекомъ и не договорилъ.

Его поразило это предположеніе, потому что ему вдругъ стало ясно, что это правда.

— Да, — подтвердила она: — вчера вамъ нужно было мое *люблю*, сегодня понадобились слезы, а завтра, можетъ-быть, вы захотите видѣть, какъ я умираю.

— Ольга, можно ли такъ обижать меня! Ужели вы не вѣрите, что я отдалъ бы теперь полжизни, чтобъ услышать вашъ смѣхъ и не видѣть слезъ...

— Да, теперь, можетъ-быть, когда уже видѣли, какъ плачетъ о васъ женщина... Нѣтъ, — прибавила она: — у васъ нѣтъ сердца. Вы не хотѣли моихъ слезъ, говорите вы, такъ бы и не сдѣлали, если бъ не хотѣли...

— Да развѣ я зналъ?!.. — съ вопросомъ и восклицаніемъ въ голосѣ сказалъ онъ, прикладывая обѣ ладони къ груди.

— У сердца, когда оно любитъ, есть свой умъ, — возразила она: — оно знаетъ, чего хочетъ, и знаетъ напередъ, что̀ будетъ. Мнѣ вчера нельзя было придти сюда: къ намъ вдругъ пріѣхали гости, но я знала, что вы измучились бы, ожидая меня, можетъ-быть дурно бы спали: я пришла, потому что не хотѣла вашего мученья... А вы... вамъ весело, что я плачу. Смотрите, смотрите, наслаждайтесь!..

И опять заплакала она.

— Я и такъ дурно спалъ, Ольга; я измучился ночь...

— И вамъ жаль стало, что я спала хорошо, что я не мучусь — не правда ли? — перебила она. — Если бъ я не заплакала теперь, вы бы и сегодня дурно спали.

— Что жъ мнѣ теперь дѣлать: просить прощенія? — съ покорной нѣжностью сказалъ онъ.

— Просятъ прощенія дѣти, или когда въ толпѣ отдавятъ

ногу кому-нибудь, а тутъ извиненіе не поможетъ,—говорила она, обмахивая опять платкомъ лицо.

— Однако, Ольга, если это правда. Если моя мысль справедлива и ваша любовь—ошибка? Если вы полюбите другого, и взглянувъ на меня тогда, покраснѣете...

— Такъ что же?—спросила она, глядя на него такимъ иронически-глубокимъ, проницательнымъ взглядомъ, что онъ смутился.

«Она что-то хочетъ добыть изъ меня!» подумалъ онъ. «Держись, Илья Ильичъ!»

— Какъ «что же»!—машинально повторялъ онъ, безпокойно глядя на нее и не догадываясь, какая мысль формируется у ней въ головѣ, какъ оправдаетъ она свое *что же*, когда, очевидно, нельзя оправдать результатовъ этой любви, если она ошибка.

Она глядѣла на него такъ сознательно, съ такой увѣренностью, такъ, повидимому, владѣла своей мыслью.

— Вы боитесь,—возразила она колко:—упасть «на дно бездны»; васъ пугаетъ будущая обида, что я разлюблю васъ!.. «Мнѣ будетъ худо» пишете вы...

Онъ все еще плохо понималъ.

— Да вѣдь мнѣ тогда будетъ хорошо, если я полюблю другого: значитъ, я буду счастлива! А вы говорите, что «предвидите мое счастье впереди и готовы пожертвовать для меня всѣмъ, даже жизнью?»

Онъ глядѣлъ на нее пристально и мигалъ рѣдко и широко.

— Вонъ какая вышла логика! — шепталъ онъ. — Признаться, я не ожидалъ...

А она оглядывала его такъ ядовито съ ногъ до головы.

— А счастье, отъ котораго вы съ ума сходите? — продолжала она. — А эти утра и вечера, этотъ паркъ, а мое *люблю*—все это ничего не стоитъ, никакой цѣны, никакой жертвы, никакой боли?

«Ахъ, если бъ сквозь землю провалиться!» думалъ онъ,

внутренно мучась, по мѣрѣ того, какъ мысль Ольги открывалась ему вполнѣ.

— А если,—начала она горячо вопросомъ:—вы устанете отъ этой любви, какъ устали отъ книгъ, отъ службы, отъ свѣта; если, современемъ, безъ соперницы, безъ другой любви, уснете вдругъ около меня, какъ у себя на диванѣ, и голосъ мой не разбудитъ васъ; если опухоль у сердца пройдетъ, если даже не другая женщина, а халатъ вашъ будетъ вамъ дороже?..

— Ольга, это невозможно! — перебилъ онъ съ неудовольствіемъ, отодвигаясь отъ нея.

— Отчего невозможно?—спросила она.—Вы говорите, что я «ошибаюсь, что полюблю другого», а я думаю иногда, что вы просто разлюбите меня. И что тогда? Какъ я оправдаю себя въ томъ, что̀ дѣлаю теперь? Если не люди, не свѣтъ, что̀ я скажу самой себѣ?.. И я иногда тоже не сплю отъ этого, но не терзаю васъ догадками о будущемъ, потому что вѣрю въ лучшее. У меня счастье пересиливаетъ боязнь. Я во что-нибудь цѣню, когда отъ меня у васъ заблестятъ глаза, когда вы отыскиваете меня, карабкаясь на холмы, забываете лѣнь и спѣшите для меня по жарѣ въ городъ за букетомъ, за книгой; когда вижу, что я заставляю васъ улыбаться, желать жизни... Я жду, ищу одного—счастья, и вѣрю, что нашла. Если ошибусь, если правда, что я буду плакать надъ своей ошибкой, по крайней мѣрѣ я чувствую здѣсь (она приложила ладонь къ сердцу), что я не виновата въ ней; значитъ, судьба не хотѣла этого, Богъ не далъ. Но я не боюсь за будущія слезы; я буду плакать не напрасно: я купила ими что-нибудь... Мнѣ такъ хорошо... было!..—прибавила она.

— Пусть же будетъ опять хорошо!—умолялъ Обломовъ.

— А вы видите только мрачное впереди; вамъ счастье ни по чемъ... Это неблагодарность,—продолжала она:—это не любовь, это...

— Эгоизмъ! — досказалъ Обломовъ и не смѣлъ взглянуть на Ольгу, не смѣлъ говорить, не смѣлъ просить прощенія.

— Идите,—тихо сказала она:—куда вы хотѣли идти.

Онъ поглядѣлъ на нее. Глаза у ней высохли. Она задумчиво смотрѣла внизъ и чертила зонтикомъ по песку.

— Ложитесь опять на спину, — прибавила потомъ: — не ошибетесь, «не упадете въ бездну».

— Я отравился и отравилъ васъ, вмѣсто того, чтобъ быть просто и прямо счастливымъ... — бормоталъ онъ съ раскаяніемъ.

— Пейте квасъ: не отравитесь,—язвила она.

— Ольга! Это не великодушно! — сказалъ онъ. — Послѣ того, когда я самъ казнилъ себя сознаніемъ...

— Да, на словахъ вы казните себя, бросаетесь въ пропасть, отдаете полжизни, а тамъ придетъ сомнѣніе, безсонная ночь: какъ вы становитесь нѣжны къ себѣ, осторожны, заботливы, какъ далеко видите впередъ!..

«Какая истина, и какъ она проста!» подумалъ Обломовъ, но стыдился сказать вслухъ.

Отчего жъ онъ не самъ растолковалъ ее себѣ, а женщина, начинающая жить? И какъ это она скоро! Недавно еще такимъ ребенкомъ смотрѣла.

— Намъ больше нѐ о чемъ говорить, — заключила она, вставая. — Прощайте, Илья Ильичъ, и будьте... покойны; вѣдь ваше счастье въ этомъ.

— Ольга! Нѣтъ, ради Бога, нѣтъ! Теперь, когда все стало опять ясно, не гоните меня... — говорилъ онъ, взявъ ее за руку.

— Чего же вамъ надо отъ меня? Вы сомнѣваетесь, не ошибка ли моя любовь къ вамъ: я не могу успокоить вашего сомнѣнія, можетъ-быть и ошибка—я не знаю...

Онъ выпустилъ ея руку. Опять занесенъ ножъ надъ нимъ.

— Какъ не знаете? Развѣ вы не чувствуете? — спро-

сылъ онъ, опять съ сомнѣніемъ на лицѣ. — Развѣ вы подозрѣваете?..

— Я ничего не подозрѣваю; я сказала вамъ вчера, что я чувствую, а что будетъ черезъ годъ—не знаю. Да развѣ послѣ одного счастья бываетъ другое, потомъ третье, такое же?—спрашивала она, глядя на него во всѣ глаза. — Говорите; вы опытнѣе меня.

Но ему не хотѣлось уже утверждать ее въ этой мысли, и онъ молчалъ, покачивая одной рукой акацію.

— Нѣтъ, любятъ только однажды!—повторилъ онъ, какъ школьникъ, заученную фразу.

— Вотъ видите: и я вѣрю въ это,—добавила она.—Если же это не такъ, то, можетъ-быть, и я разлюблю васъ, можетъ-быть, мнѣ будетъ больно отъ ошибки, и вамъ тоже; можетъ-быть, мы разстанемся!.. Любить два-три раза... нѣтъ, нѣтъ... Я не хочу вѣрить этому!

Онъ вздохнулъ. Это *можетъ-быть* ворочало у него душу, и онъ задумчиво плелся за ней. Но ему съ каждымъ шагомъ становилось легче; выдуманная имъ ночью *ошибка* было такое отдаленное будущее... «Вѣдь это не одна любовь, вѣдь вся жизнь такова...» вдругъ пришло ему въ голову: «и если отталкивать всякій случай, какъ ошибку, когда же будетъ—не ошибка? Что же я? Какъ будто ослѣпъ...»

— Ольга,—сказалъ онъ, едва касаясь двумя пальцами ея таліи (она остановилась):—вы умнѣе меня.

Она потрясла головой.

— Нѣтъ, проще и смѣлѣе. Чего вы боитесь? Ужели вы, не шутя, думаете, что можно разлюбить? — съ гордою увѣренностью спросила она.

— Теперь и я не боюсь!—бодро сказалъ онъ.—Съ вами не страшна судьба!

— Эти слова я недавно гдѣ-то читала... у Сю, кажется,— вдругъ возразила она съ ироніей, обернувшись къ нему: — только ихъ тамъ говоритъ женщина мужчинѣ...

У Обломова краска бросилась въ лицо.

— Ольга! Пусть будетъ все по-вчерашнему, — умолялъ онъ:—я не буду бояться *ошибокъ*.

Она молчала.

— Да?—робко спрашивалъ онъ.

Она молчала.

— Ну, если не хотите сказать, дайте знакъ какой-нибудь... вѣтку сирени...

— Сирени... отошли, пропали! — отвѣчала она. — Вонъ, видите, какія остались: поблеклыя!

— Отошли, поблекли!—повторилъ онъ, глядя на сирени.— И письмо отошло!—вдругъ сказалъ онъ.

Она потрясла отрицательно головой. Онъ шелъ за ней и разсуждалъ про-себя о письмѣ, о вчерашнемъ счастьѣ, о поблекшей сирени.

«Въ самомъ дѣлѣ, сирени вянутъ!» думалъ онъ. «Зачѣмъ это письмо? Къ чему я не спалъ всю ночь, писалъ утромъ? Вотъ теперь, какъ стало на душѣ опять покойно... (онъ зѣвнулъ)... ужасно спать хочется. А если бъ письма не было и ничего бъ этого не было: она бы не плакала, было бы все по-вчерашнему; тихо сидѣли бы мы тутъ же, въ аллеѣ, глядѣли другъ на друга, говорили о счастьѣ. И сегодня бы такъ же, и завтра...» Онъ зѣвнулъ во весь ротъ.

Далѣе ему вдругъ пришло въ голову, что бы было, если бъ письмо это достигло цѣли, если бъ она раздѣлила его мысль, испугалась, какъ онъ, ошибокъ и будущихъ отдаленныхъ грозъ, если бъ послушала его такъ-называемой опытности, благоразумія, и согласилась разстаться, забыть другъ друга?

Боже сохрани! Проститься, уѣхать въ городъ, на новую квартиру! Потянулась бы за этимъ длинная ночь, скучное завтра, невыносимое послѣзавтра и рядъ дней все блѣднѣе, блѣднѣе...

Какъ это можно? Да это смерть! А вѣдь было бы такъ

Онъ бы заболѣлъ. Онъ и не хотѣлъ разлуки, онъ бы не перенесъ ея, пришелъ бы умолять видѣться. «Зачѣмъ же я писалъ письмо?» спросилъ онъ себя.

— Ольга Сергѣевна! сказалъ онъ.

— Что вамъ?

— Ко всѣмъ моимъ признаніямъ я долженъ прибавить еще одно...

— Какое?

— Вѣдь письмо-то было вовсе не нужно...

— Неправда, оно было необходимо,—рѣшила она.

Она оглянулась и засмѣялась, увидя лицо, какое онъ сдѣлалъ, какъ у него прошелъ вдругъ сонъ, какъ растворились глаза отъ изумленія.

— Необходимо?—повторилъ онъ медленно, вперяя удивленный взглядъ въ ея спину.

Но тамъ были только двѣ кисти мантильи.

«Что же значатъ эти слезы, упреки? Ужели хитрость?» Но Ольга не хитра: это онъ ясно видѣлъ.

Хитрятъ и пробавляются хитростью только болѣе или менѣе ограниченныя женщины. Онѣ, за недостаткомъ прямого ума, двигаютъ пружинами ежедневной мелкой жизни посредствомъ хитрости, плетутъ, какъ кружево, свою домашнюю политику, не замѣчая, какъ вокругъ ихъ располагаются главныя линіи жизни, куда онѣ направятся и гдѣ сойдутся.

Хитрость все равно, что мелкая монета, на которую не купишь многаго. Какъ мелкой монетой можно прожить часъ-два, такъ хитростью можно тамъ прикрыть что-нибудь, тутъ обмануть, переиначить, а ея не хватитъ обозрѣть далекій горизонтъ, свести начало и конецъ крупнаго, главнаго событія.

Хитрость близорука: хорошо видитъ только подъ носомъ, а не вдаль, и оттого часто сама попадается въ ту же ловушку, которую разставила другимъ.

Ольга просто умна: вотъ хоть сегодняшій вопросъ, какъ легко и ясно разрѣшила она, да и всякій! Она тотчасъ видитъ прямой смыслъ событія и подходитъ къ нему по прямой дорогѣ.

А хитрость, какъ мышь: обѣжитъ вокругъ, прячется... Да и характеръ у Ольги не такой. Что же это такое? Что еще за новость?

— Почему же письмо необходимо?—спросилъ онъ.

— Почему?—повторила она и быстро обернулась къ нему, съ веселымъ лицомъ, наслаждаясь тѣмъ, что на каждомъ шагу умѣетъ ставить его втупикъ.—А потому,—съ разстановкой, начала потомъ:—что вы не спали ночь, писали все для меня; я тоже эгоистка! Это, во-первыхъ...

— За что жъ вы упрекали меня сейчасъ, если сами соглашаетесь теперь со мной?—перебилъ Обломовъ.

— За то, что вы выдумали мученія. Я не выдумывала ихъ, они случились, и я наслаждаюсь тѣмъ, что ужъ прошли, а вы готовили ихъ и наслаждались заранѣе. Вы—злой! за это я васъ и упрекала. Потомъ... въ письмѣ вашемъ играютъ мысль, чувство... вы жили эту ночь и утро не по-своему, а какъ хотѣлъ, чтобъ вы жили, вашъ другъ и я—это во-вторыхъ; наконецъ, въ-третьихъ...

Она подошла къ нему такъ близко, что кровь бросилась ему въ сердце и въ голову; онъ началъ дышать тяжело, съ волненіемъ. А она смотритъ ему прямо въ глаза.

— Въ-третьихъ, потому, что въ письмѣ этомъ, какъ въ зеркалѣ, видна ваша нѣжность, ваша осторожность, забота обо мнѣ, боязнь за мое счастье, ваша чистая совѣсть... все, что указалъ мнѣ въ васъ Андрей Иванычъ и что я полюбила, за что забываю вашу лѣнь... апатію... Вы высказались тамъ невольно: вы не эгоистъ, Илья Ильичъ, вы написали совсѣмъ не для того, чтобъ разстаться—этого вы не хотѣли, а потому, что боялись обмануть меня... это говорила честность, иначе бы письмо оскорбило меня, и я

не заплакала бы—отъ гордости! Видите, я знаю, за что я люблю васъ, и не боюсь ошибки: я въ васъ не ошибаюсь...

Она показалась Обломову въ блескѣ, въ сіяніи, когда говорила это. Глаза у ней сіяли такимъ торжествомъ любви, сознаніемъ своей силы; на щекахъ рдѣли два розовыя пятна. И онъ, онъ былъ причиной этого! Движеніемъ своего честнаго сердца онъ бросилъ ей въ душу этотъ огонь, эту игру, этотъ блескъ.

— Ольга! Вы... лучше всѣхъ женщинъ, вы первая женщина въ мірѣ!—сказалъ онъ въ восторгѣ и, не помня себя, простеръ руки, наклонился къ ней.—Ради Бога... одинъ поцѣлуй, въ залогъ невыразимаго счастья,—прошепталъ онъ, какъ въ бреду.

Она мгновенно подалась на шагъ назадъ; торжественное сіяніе, краски слетѣли съ лица; кроткіе глаза заблистали грозой.

— Никогда! Никогда! Не подходите!—съ испугомъ, почти съ ужасомъ, сказала она, вытянувъ обѣ руки и зонтикъ между нимъ и собой, и остановилась, какъ вкопанная, окаменѣлая, не дыша, въ грозной позѣ, съ грознымъ взглядомъ, въ полуоборотъ.

Онъ вдругъ присмирѣлъ: передъ нимъ не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнѣва, съ сжатыми губами, съ молніей въ глазахъ.

— Простите!.. — бормоталъ онъ, смущенный, уничтоженный.

Она медленно обернулась и пошла, косясь боязливо черезъ плечо, что онъ. А онъ ничего: идетъ тихо, будто волочитъ хвостъ, какъ собака, на которую топнули.

Она-было прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла покойнѣе, только вздрагивала повременамъ. Розовое пятно появлялось то на одной щекѣ, то на другой.

По мѣрѣ того, какъ она шла, лицо ея прояснялось, дыханіе становилось рѣже и покойнѣе, и она опять пошла ровнымъ шагомъ. Она видѣла, какъ свято ея «никогда» для Обломова, и порывъ гнѣва мало-помалу утихалъ и уступалъ мѣсто сожалѣнію. Она шла все тише, тише...

Ей хотѣлось смягчить свою вспышку; она придумывала предлогъ заговорить.

«Все изгадилъ! Вотъ настоящая ошибка! «Никогда»! Боже! Сирени поблекли», думалъ онъ, глядя на висящія сирени: «вчера поблекло, письмо тоже поблекло, и этотъ мигъ, лучшій въ моей жизни, когда женщина въ первый разъ сказала мнѣ, какъ голосъ съ неба, что есть во мнѣ хорошаго, и онъ поблекъ!..»

Онъ посмотрѣлъ на Ольгу—она стоитъ и ждетъ его, потупивъ глаза.

— Дайте мнѣ письмо!..—тихо сказала она.

— Оно поблекло!—печально отвѣчалъ онъ, подавая письмо.

Она опять близко подвинулась къ нему и наклонила еще голову; вѣки были опущены совсѣмъ... Она почти дрожала. Онъ отдалъ письмо; она не поднимала головы, не отходила.

— Вы меня испугали,—мягко прибавила она.

— Простите, Ольга,—бормоталъ онъ.

Она молчала.

— Это грозное «никогда»!..—сказалъ онъ печально и вздохнулъ.

— Поблекнетъ!—чуть слышно прошептала она, краснѣя.

Она бросила на него стыдливый, ласковый взглядъ, взяла обѣ его руки, крѣпко сжала въ своихъ, потомъ приложила ихъ къ своему сердцу.

— Слышите, какъ бьется!—сказала она.—Вы испугали меня! Пустите!

И, не взглянувъ на него, обернулась и побѣжала по дорожкѣ, поднявъ спереди немного платье.

— Куда вы такъ? — говорилъ онъ. — Я усталъ, не могу за вами...

— Оставьте меня. Я бѣгу нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!.. — твердила она, съ пылающимъ лицомъ. — Мнѣ тѣснитъ грудь, мнѣ почти больно!

Онъ остался на мѣстѣ и долго смотрѣлъ ей вслѣдъ, какъ улетающему ангелу.

«Ужели и этотъ мигъ поблекнетъ?» почти печально думалъ онъ, и самъ не чувствовалъ, идетъ ли онъ, стоитъ ли на мѣстѣ.

«Сирени отошли», опять думалъ онъ: «вчера отошло, и ночь съ призраками, съ удушьемъ, тоже отошла... Да! и этотъ мигъ отойдетъ, какъ сирени! Но когда отходила сегодняшняя ночь, въ это время уже расцвѣтало нынѣшнее утро...»

— Что жъ это такое? — вслухъ сказалъ онъ, въ забывчивости. — И любовь тоже... любовь? А я думалъ, что она, какъ знойный полдень, повиснетъ надъ любящимися и ничто не двигнется и не дохнетъ въ ея атмосферѣ: и въ любви нѣтъ покоя, и она движется все куда-то впередъ, впередъ... «какъ вся жизнь», говоритъ Штольцъ. И не родился еще Іисусъ Навинъ, который бы сказалъ ей: «стой и не движись!» Что жъ будетъ завтра?—тревожно спросилъ онъ себя и задумчиво, лѣниво пошелъ домой.

Проходя мимо оконъ Ольги, онъ слышалъ, какъ стѣсненная грудь ея облегчалась въ звукахъ Шуберта, какъ будто рыдала отъ счастья.

Боже мой! Какъ хорошо жить на свѣтѣ!

XI.

Обломовъ дома нашелъ еще письмо отъ Штольца, которое начиналось и кончалось словами: «теперь или никогда!» потомъ было исполнено упрековъ въ неподвижности, потомъ приглашеніе пріѣхать непремѣнно въ Швейцарію, куда собирался Штольцъ, и наконецъ, въ Италію.

Если же не это, такъ онъ звалъ Обломова въ деревню, повѣрить свои дѣла, встряхнуть запущенную жизнь мужиковъ, повѣрить и опредѣлить свой доходъ и при себѣ распорядиться постройкою новаго дома.

«Помни нашъ уговоръ: теперь или никогда», заключилъ онъ.

— Теперь, теперь, теперь!—повторилъ Обломовъ.—Андрей не знаетъ, какая поэма разыгрывается въ моей жизни. Какія ему еще дѣла? Развѣ я могу когда-нибудь и чѣмъ-нибудь быть такъ занятъ? Попробовалъ бы онъ! Вотъ почитаешь о французахъ, объ англичанахъ: будто они все работаютъ, будто все дѣло на умѣ! Ѣздятъ себѣ по всей Европѣ, иные даже въ Азію и въ Африку, такъ, безъ всякаго дѣла: кто рисовать альбомъ, или древности откапывать, кто стрѣлять львовъ или змѣй ловить. Не то, такъ дома сидятъ въ благородной праздности; завтракаютъ, обѣдаютъ съ пріятелями, съ женщинами—вотъ и все дѣло! Что жъ я за каторжный? Андрей только выдумалъ: «работай, да работай, какъ лошадь!» Къ чему? Я сытъ, одѣтъ. Однако Ольга опять спрашивала, намѣренъ ли я съѣздить въ Обломовку...

Онъ бросился писать, соображать, ѣздилъ даже къ архитектору. Вскорѣ на маленькомъ столикѣ у него расположенъ былъ планъ дома, сада. Домъ семейный, просторный, съ двумя балконами.

«Тутъ я, тутъ Ольга, тутъ спальня, «дѣтская»... улыбаясь думалъ онъ. «Но мужики, мужики»... и улыбка слетала, забота морщила ему лобъ. «Сосѣдъ пишетъ, входитъ въ подробности, говоритъ о запашкѣ, объ умолотѣ... Экая скука! да еще предлагаетъ на общій счетъ проложить дорогу въ большое торговое село, съ мостомъ черезъ рѣчку, проситъ три тысячи денегъ, хочетъ, чтобъ я заложилъ Обломовку... А почемъ я знаю, нужно ли это?.. Выйдетъ ли толкъ? Не обманываетъ ли онъ?.. Положимъ, онъ честный человѣкъ:

Штольцъ его знаетъ, да вѣдь онъ тоже можетъ обмануться, а я деньги-то ухну! Три тысячи—такую кучу! Гдѣ ихъ взять? Нѣтъ, страшно! Еще пишетъ, чтобъ выселить нѣкоторыхъ мужиковъ на пустошь, и требуетъ поскорѣй отвѣта—все поскорѣй. Онъ берется выслать всѣ документы для заклада имѣнія въ совѣтъ. «Пришли я ему довѣренность, въ палату ступай засвидѣтельствовать» — вона чего захотѣлъ! А я и не знаю, гдѣ палата, какъ и двери-то отворяются туда».

Обломовъ другую недѣлю не отвѣчаетъ ему, между тѣмъ, даже и Ольга спрашиваетъ, былъ ли онъ въ палатѣ. Недавно Штольцъ также прислалъ письмо и къ нему, и къ ней, спрашиваетъ: «что̀ онъ дѣлаетъ?»

Впрочемъ, Ольга могла только поверхностно наблюдать за дѣятельностью своего друга, и то въ доступной ей сферѣ. Весело ли онъ смотритъ, охотно ли ѣздитъ всюду, является ли въ условный часъ въ рощу, насколько занимаетъ его городская новость, общій разговоръ. Всего ревнивѣе слѣдитъ она, не выпускаетъ ли онъ изъ вида главную цѣль жизни. Если она и спросила его о палатѣ, такъ затѣмъ только, чтобъ отвѣчать что-нибудь Штольцу о дѣлахъ его друга.

Лѣто въ самомъ разгарѣ; іюль проходитъ; погода отличная. Съ Ольгой Обломовъ почти не разстается. Въ ясный день онъ въ паркѣ, въ жаркій полдень теряется съ ней въ рощѣ, между сосенъ, сидитъ у ея ногъ, читаетъ ей: она уже вышиваетъ другой лоскутокъ канвы—для него.

И у нихъ царствуетъ жаркое лѣто: набѣгаютъ иногда облака и проходятъ.

Если ему и снятся тяжелые сны, и стучатся въ сердце сомнѣнія, Ольга, какъ ангелъ, стоитъ на стражѣ; она взглянетъ ему своими свѣтлыми глазами въ лицо, добудетъ, что у него на сердцѣ—и все опять тихо, и опять чувство течетъ плавно, какъ рѣка, съ отраженіемъ новыхъ узоровъ неба.

Взглядъ Ольги на жизнь, на любовь, на все, сдѣлался еще яснѣе, опредѣленнѣе. Она увѣреннѣе прежняго глядитъ около себя, не смущается будущимъ; въ ней развернулись новыя стороны ума, новыя черты характера. Онъ проявляется то поэтически-разнообразно, глубоко, то правильно, ясно, постепенно и естественно...

У ней есть какое-то упорство, которое не только пересиливаетъ всѣ грозы судьбы, но даже лѣнь и апатію Обломова. Если у ней явится какое-нибудь намѣреніе, такъ дѣло и закипитъ. Только и слышишь объ этомъ. Если и не слышишь, то видишь, что у ней на умѣ все одно, что она не забудетъ, не отстанетъ, не растеряется, все сообразитъ и добьется, чего искала.

Онъ не могъ понять, откуда у ней является эта сила, этотъ тактъ—знать и умѣть, какъ и что дѣлать, какое бы событіе ни явилось.

«Это оттого», думалъ онъ, «что у ней одна бровь никогда не лежитъ прямо, а все немного поднявшись, и надъ ней такая тоненькая, чуть замѣтная складка... Тамъ, въ этой складкѣ, гнѣздится у ней упорство».

Какое покойное, свѣтлое выраженіе ни ляжетъ ей на лицо, а эта складка не разглаживается и бровь не ложится ровно. Но внѣшней силы, рѣзкихъ пріемовъ и наклонностей у ней нѣтъ. Настойчивость въ намѣреніяхъ и упорство ни на шагъ не увлекаютъ ее изъ женской сферы.

Она не хочетъ быть львицей, обдать рѣзкой рѣчью неловкаго поклонника, изумить быстротой ума всю гостиную, чтобъ кто-нибудь изъ угла закричалъ: браво! браво!

Въ ней даже есть робость, свойственная многимъ женщинамъ: она, правда, не задрожитъ, увидя мышонка, не упадетъ въ обморокъ отъ паденія стула, но побоится пойти подальше отъ дома, своротитъ, завидя мужика, который ей покажется подозрительнымъ, закроетъ на ночь окно, чтобъ воры не влѣзли—все по-женски.

Потомъ, она такъ доступна чувству сострадания, жалости! У ней не трудно вызвать слезы; къ сердцу ея доступъ легокъ. Въ любви она такъ нѣжна; во всѣхъ ея отношеніяхъ ко всѣмъ столько мягкости, ласковаго вниманія — словомъ, она женщина!

Иногда рѣчь ея и сверкнетъ искрой сарказма, но тамъ блещетъ такая грація, такой кроткій, милый умъ, что всякій съ радостью подставитъ лобъ!

Зато она не боится сквозного вѣтра, ходитъ легко одѣтая въ сумерки—ей ничего! Въ ней играетъ здоровье; кушаетъ она съ аппетитомъ; у ней есть любимыя блюда; она знаетъ какъ и готовить ихъ.

Да это все знаютъ многія, но многія не знаютъ, что дѣлать въ томъ или другомъ случаѣ, а если и знаютъ, то только заученное, слышанное, и не знаютъ, почему такъ, а не иначе дѣлаютъ онѣ, сошлются сейчасъ на авторитетъ тетки, кузины...

Многія даже не знаютъ сами, чего имъ хотѣть, а если и рѣшатся на это, то вяло, такъ-что пожалуй надо, пожалуй и не надо. Это, должно-быть, оттого, что у нихъ брови лежатъ ровно, дугой, прощипаны пальцами и нѣтъ складки на лбу.

Между Обломовымъ и Ольгой установились тайныя, невидимыя для другихъ отношенія: всякій взглядъ, каждое незначительное слово, сказанное при другихъ, имѣло для нихъ свой смыслъ. Они видѣли во всемъ намекъ на любовь.

И Ольга вспыхнетъ иногда, при всей увѣренности въ себѣ, когда за столомъ разскажутъ исторію чьей-нибудь любви, похожей на ея исторію; а какъ всѣ исторіи о любви очень сходны между собой, то ей часто приходилось краснѣть.

И Обломовъ, при намекѣ на это, вдругъ схватитъ, въ смущеніи, за чаемъ такую кучу сухарей, что кто-нибудь непремѣнно засмѣется.

Они стали чутки и осторожны. Иногда Ольга не скажетъ

теткѣ, что видѣла Обломова, и онъ дома объявитъ, что ѣдетъ въ городъ, а самъ уйдетъ въ паркъ.

Однакожъ, какъ ни ясенъ былъ умъ Ольги, какъ ни сознательно смотрѣла она вокругъ, какъ ни была свѣжа, здорова, но у нея стали являться какіе-то новые болѣзненные симптомы. Ею по временамъ овладѣвало безпокойство, надъ которымъ она задумывалась и не знала, какъ растолковать его себѣ.

Иногда, идучи, въ жаркій полдень, подъ руку съ Обломовымъ, она лѣниво обопрется на плечо его и идетъ машинально, въ какомъ-то изнеможеніи, молчитъ упорно. Бодрость пропадаетъ въ ней; взглядъ утомленный, безъ живости, дѣлается неподвиженъ, устремляется куда-нибудь на одну точку, и ей лѣнь обратить его на другой предметъ.

Ей становится тяжело, что-то давитъ грудь, безпокоитъ. Она сниметъ мантилью, косынку съ плечъ, но и это не помогаетъ—все давитъ, все тѣснитъ. Она бы легла подъ дерево и пролежала такъ цѣлые часы.

Обломовъ теряется, машетъ вѣткой ей въ лицо, но она нетерпѣливымъ знакомъ устранитъ его заботы и мается.

Потомъ вдругъ вздохнетъ, оглянется вокругъ себя сознательно, поглядитъ на него, пожметъ руку, улыбнется, и опять явится бодрость, смѣхъ, и она уже владѣетъ собой.

Особенно однажды вечеромъ она впала въ это тревожное состояніе, въ какой-то лунатизмъ любви, и явилась Обломову въ новомъ свѣтѣ.

Было душно, жарко; изъ лѣса глухо шумѣлъ теплый вѣтеръ; небо заволакивало тяжелыми облаками. Становилось все темнѣе и темнѣе.

— Дождь будетъ,—сказалъ баронъ и уѣхалъ домой.

Тетка ушла въ свою комнату. Ольга долго, задумчиво, играла на фортепіано, но потомъ оставила.

— Не могу, у меня пальцы дрожатъ, мнѣ какъ будто душно,—сказала она Обломову.—Походимте по саду.

Долго ходили они, молча, по аллеямъ, рука въ руку. Руки у ней влажны и мягки. Они вошли въ паркъ.

Деревья и кусты смѣшались въ мрачную массу; въ двухъ шагахъ ничего не было видно; только бѣловатой полосой змѣились песчаныя дорожки.

Ольга пристально вглядывалась въ мракъ и жалась къ Обломову. Молча блуждали они.

— Мнѣ страшно! — вдругъ, вздрогнувъ, сказала она, когда они почти ощупью пробирались въ узкой аллеѣ, между двухъ черныхъ, непроницаемыхъ стѣнъ лѣса.

— Чего?—спросилъ онъ.—Не бойся, Ольга, я съ тобой.

— Мнѣ страшно и тебя! — говорила она шопотомъ.—Но какъ-то хорошо страшно! Сердце замираетъ. Дай руку, попробуй, какъ оно бьется.

А сама вздрагивала и озиралась вокругъ.

— Видишь, видишь? — вздрогнувъ, шептала она, крѣпко хватая его обѣими руками за плечо.—Ты не видишь, мелькаетъ въ темнотѣ кто-то?..

Она тѣснѣе прижалась къ нему.

— Никого нѣтъ...—говорилъ онъ; но и у него мурашки поползли по спинѣ.

— Закрой мнѣ глаза скорѣй чѣмъ-нибудь... крѣпче! — шопотомъ говорила она...—Ну, теперь ничего... Это нервы,— прибавила она съ волненіемъ. — Вонъ, опять! Смотри, кто это? Сядемъ гдѣ-нибудь на скамьѣ...

Онъ ощупью отыскалъ скамью и посадилъ ее.

— Пойдемъ домой, Ольга, — уговаривалъ онъ: — ты нездорова.

Она положила ему голову на плечо.

— Нѣтъ, здѣсь воздухъ свѣжѣе,—сказала она: — у меня тутъ тѣснитъ, у сердца.

Она дышала горячо ему на щеку.

Онъ дотронулся до ея головы рукой — и голова горяча. Грудь тяжело дышитъ и облегчается частыми вздохами.

— Не лучше ли домой?—твердилъ въ безпокойствѣ Обломовъ:—надо лечь...

— Нѣтъ, нѣтъ, оставь меня, не трогай...—говорила онъ томно, чуть слышно.—У меня здѣсь горитъ... —указывала она на грудь.

— Право, пойдемъ домой...—торопилъ Обломовъ.

— Нѣтъ, постой, это пройдетъ...

Она сжимала ему руку и повременамъ близко взглядывала въ глаза и долго молчала. Потомъ начала плакать, сначала тихонько, потомъ навзрыдъ. Онъ растерялся.

— Ради Бога, Ольга, скорѣй домой!—съ безпокойствомъ говорилъ онъ.

— Ничего,—отвѣчала она, всхлипывая:—не мѣшай, дай выплакаться... огонь выйдетъ слезами, мнѣ легче будетъ; это все—нервы играютъ...

Онъ слушалъ въ темнотѣ, какъ тяжело дышитъ она, чувствовалъ, какъ каплютъ ему на руку ея горячія слезы, какъ судорожно пожимаетъ она ему руку.

Онъ не шевелилъ пальцемъ, не дышалъ. А голова ея лежитъ у него на плечѣ, дыханіе обдаетъ ему щеку жаромъ... Онъ тоже вздрагивалъ, но не смѣлъ коснуться губами ея щеки.

Потомъ она становилась все тише, тише, дыханіе дѣлалось ровнѣе... Она примолкла. Онъ думалъ, не заснула ли она, и боялся шевельнуться.

— Ольга!—шопотомъ кликнулъ онъ.

— Что?—шопотомъ же отвѣтила она и вздохнула вслухъ.

— Вотъ теперь... прошло... — томно сказала она: — мнѣ легче, я дышу свободно.

— Пойдемъ,—говорилъ онъ.

— Пойдемъ!—нехотя повторила она.—Милый мой!—съ нѣгой прошептала потомъ, сжавъ ему руку и, опершись на его плечо, нетвердыми шагами дошла до дома.

Въ залѣ онъ взглянулъ на нее: она была слаба, но улы-

балась странной, безсознательной улыбкой, какъ будто подъ вліяніемъ грёзы.

Онъ посадилъ ее на диванъ, сталъ подлѣ нея на колѣни и нѣсколько разъ, въ глубокомъ умиленіи, поцѣловалъ у ней руку.

Она все съ той же улыбкой глядѣла на него, оставляя обѣ руки, и провожала его до дверей глазами.

Онъ въ дверяхъ обернулся: она все глядитъ ему вслѣдъ, на лицѣ все то же изнеможеніе, та же жаркая улыбка, какъ будто она не можетъ сладить съ нею...

Онъ ушелъ въ раздумьи. Онъ гдѣ-то видалъ эту улыбку; онъ припомнилъ какую-то картину, на которой изображена женщина съ такой улыбкой... только не Корделія...

На другой день онъ послалъ узнать о здоровьѣ. Приказали сказать:

— Слава Богу, и просятъ сегодня кушать, а вечеромъ всѣ на фейерверкъ изволятъ ѣхать, за пять верстъ.

Онъ не повѣрилъ и отправился самъ. Ольга была свѣжа, какъ цвѣтокъ: въ глазахъ блескъ, бодрость, на щекахъ рдѣютъ два розовыя пятна; голосъ такъ звученъ! Но она вдругъ смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломовъ подошелъ къ ней, и вся вспыхнула, когда онъ спросилъ: — Какъ она себя чувствуетъ послѣ вчерашняго?

— Это маленькое нервическое разстройство, — торопливо сказала она. — Ma tante говоритъ, что надо раньше ложиться. Это недавно только со мной...

Она не досказала и отвернулась, какъ будто просила пощады. А отчего смутилась она — и сама не знаетъ. Отчего ее грызло и жгло воспоминаніе о вчерашнемъ вечерѣ, объ этомъ разстройствѣ?

Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова. А въ иную минуту казалось ей, что Обломовъ сталъ ей милѣе, ближе, что она чувствуетъ къ нему влеченіе до слезъ, какъ будто она всту-

шила съ нимъ со вчерашняго вечера въ какое-то таинственное родство...

Она долго не спала, долго утромъ ходила одна въ волненіи по аллеѣ, отъ парка до дома и обратно, все думала-думала, терялась въ догадкахъ, то хмурилась, то вдругъ вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и все не могла ничего рѣшить.

«Ахъ, Соничка!» думала она въ досадѣ. «Какая счастливая! Сейчасъ бы рѣшила!»

А Обломовъ? Отчего онъ былъ нѣмъ и неподвиженъ съ нею вчера, нужды нѣтъ, что дыханіе ея обдавало жаромъ его щеку, что ея горячія слезы капали ему на руку, что онъ почти несъ ее въ объятіяхъ домой, слышалъ нескромный шопотъ ея сердца?.. А другой? Другіе смотрятъ такъ дерзко...

Обломовъ, хотя и прожилъ молодость въ кругу всезнающей, давно рѣшившей всѣ жизненные вопросы, ни во что не вѣрующей и все холодно, мудро анализирующей молодёжи, но въ душѣ у него теплилась вѣра въ дружбу, въ любовь, въ людскую честь, и сколько ни ошибался онъ въ людяхъ, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основаніе добра и вѣры въ него. Онъ втайнѣ поклонялся чистотѣ женщины, признавалъ ея власть и права и приносилъ ей жертвы.

Но у него недоставало характера явно признать ученіе добра и уваженія къ невинности. Тихонько онъ упивался ея ароматомъ, но явно иногда приставалъ къ хору циниковъ, трепетавшихъ даже подозрѣнія въ цѣломудріи или уваженіи къ нему, и къ буйному хору ихъ прибавлялъ и свое легкомысленное слово.

Онъ никогда не вникалъ ясно въ то, какъ много вѣситъ слово добра, правды, чистоты, брошенное въ потокъ людскихъ рѣчей, какой глубокій извивъ прорываетъ оно; не думалъ, что сказанное бодро и громко, безъ краски лож-

балась странной, безсознательной улыбкой, какъ будто подъ вліяніемъ грёзы.

Онъ посадилъ ее на диванъ, сталъ подлѣ нея на колѣни и нѣсколько разъ, въ глубокомъ умиленіи, поцѣловалъ у ней руку.

Она все съ той же улыбкой глядѣла на него, оставляя обѣ руки, и провожала его до дверей глазами.

Онъ въ дверяхъ обернулся: она все глядитъ ему вслѣдъ, на лицѣ все то же изнеможеніе, та же жаркая улыбка, какъ будто она не можетъ сладить съ нею...

Онъ ушелъ въ раздумьи. Онъ гдѣ-то видалъ эту улыбку; онъ припомнилъ какую-то картину, на которой изображена женщина съ такой улыбкой... только не Корделія...

На другой день онъ послалъ узнать о здоровьѣ. Приказали сказать:

— Слава Богу, и просятъ сегодня кушать, а вечеромъ всѣ на фейерверкъ изволятъ ѣхать, за пять верстъ.

Онъ не повѣрилъ и отправился самъ. Ольга была свѣжа, какъ цвѣтокъ: въ глазахъ блескъ, бодрость, на щекахъ рдѣютъ два розовыя пятна; голосъ такъ звученъ! Но она вдругъ смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломовъ подошелъ къ ней, и вся вспыхнула, когда онъ спросилъ: — Какъ она себя чувствуетъ послѣ вчерашняго?

— Это маленькое нервическое разстройство, — торопливо сказала она. — Ma tante говоритъ, что надо раньше ложиться. Это недавно только со мной...

Она не досказала и отвернулась, какъ будто просила пощады. А отчего смутилась она — и сама не знаетъ. Отчего ее грызло и жгло воспоминаніе о вчерашнемъ вечерѣ, объ этомъ разстройствѣ?

Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова. А въ иную минуту казалось ей, что Обломовъ сталъ ей милѣе, ближе, что она чувствуетъ къ нему влеченіе до слезъ, какъ будто она всту-

пила съ нимъ со вчерашняго вечера въ какое-то таинственное родство...

Она долго не спала, долго утромъ ходила одна въ волненіи по аллеѣ, отъ парка до дома и обратно, все думала-думала, терялась въ догадкахъ, то хмурилась, то вдругъ вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и все не могла ничего рѣшить.

«Ахъ, Сонечка!» думала она въ досадѣ. «Какая счастливая! Сейчасъ бы рѣшила!»

А Обломовъ? Отчего онъ былъ нѣмъ и неподвиженъ съ нею вчера, нужды нѣтъ, что дыханіе ея обдавало жаромъ его щеку, что ея горячія слезы капали ему на руку, что онъ почти несъ ее въ объятіяхъ домой, слышалъ нескромный шопотъ ея сердца?.. А другой? Другіе смотрятъ такъ дерзко...

Обломовъ, хотя и прожилъ молодость въ кругу всезнающей, давно рѣшившей всѣ жизненные вопросы, ни во что не вѣрующей и все холодно, мудро анализирующей молодёжи, но въ душѣ у него теплилась вѣра въ дружбу, въ любовь, въ людскую честь, и сколько ни ошибался онъ въ людяхъ, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основаніе добра и вѣры въ него. Онъ втайнѣ поклонялся чистотѣ женщины, признавалъ ея власть и права и приносилъ ей жертвы.

Но у него недоставало характера явно признать ученіе добра и уваженія къ невинности. Тихонько онъ упивался ея ароматомъ, но явно иногда приставалъ къ хору циниковъ, трепетавшихъ даже подозрѣнія въ цѣломудріи или уваженіи къ нему, и къ буйному хору ихъ прибавлялъ и свое легкомысленное слово.

Онъ никогда не вникалъ ясно въ то, какъ много вѣситъ слово добра, правды, чистоты, брошенное въ потокъ людскихъ рѣчей, какой глубокій извивъ прорываетъ оно; не думалъ, что сказанное бодро и громко, безъ краски лож-

наго стыда, а съ мужествомъ, оно не потонетъ въ безобразныхъ крикахъ свѣтскихъ сатировъ, а погрузится, какъ перлъ, въ пучину общественной жизни, и всегда найдется для него раковина.

Многіе запинаются на добромъ словѣ, рдѣя отъ стыда, и смѣло, громко произносятъ легкомысленное слово, не подозрѣвая, что оно тоже, къ несчастью, не пропадаетъ даромъ, оставляя длинный слѣдъ зла, иногда неистребимаго.

Зато Обломовъ былъ правъ на дѣлѣ: ни одного пятна, упрека въ холодномъ, бездушномъ цинизмѣ, безъ увлеченія и безъ борьбы, не лежало на его совѣсти. Онъ не могъ слушать ежедневныхъ разсказовъ о томъ, какъ одинъ перемѣнилъ лошадей, мебель, а тотъ — женщину... и какія издержки повели за собой перемѣны...

Не разъ онъ страдалъ за утраченное мужчиной достоинство и честь, плакалъ о грязномъ паденіи чужой ему женщины, но молчалъ, боясь свѣта.

Надо было угадывать это: Ольга угадала.

Мужчины смѣются надъ такими чудаками, но женщины сразу узнаютъ ихъ; чистыя, цѣломудренныя женщины любятъ ихъ—по сочувствію; испорченныя ищутъ сближенія съ ними—чтобъ освѣжиться отъ порчи.

Лѣто подвигалось, уходило. Утра и вечера становились темны и сыры. Не только сирени, и липы отцвѣли, ягоды отошли. Обломовъ и Ольга видѣлись ежедневно.

Онъ догналъ жизнь, то-есть усвоилъ опять все, отъ чего отсталъ давно; зналъ, зачѣмъ французскій посланникъ выѣхалъ изъ Рима, зачѣмъ англичане посылаютъ корабли съ войскомъ на Востокъ; интересовался, когда проложатъ новую дорогу въ Германіи, или Франціи. Но насчетъ дороги черезъ Обломовку въ большое село не помышлялъ, въ палатѣ довѣренность не засвидѣтельствовалъ и Штольцу отвѣта на письма не послалъ.

Онъ усвоилъ только то, что̀ вращалось въ кругу ежеднев-

ныхъ разговоровъ въ домѣ Ольги, что̀ читалось въ получаемыхъ тамъ газетахъ, и довольно прилежно, благодаря настойчивости Ольги, слѣдилъ за текущей иностранной литературой. Все остальное утопало въ сферѣ чистой любви.

Несмотря на частыя видоизмѣненія въ этой розовой атмосферѣ, главнымъ основаніемъ была безоблачность горизонта. Если Ольгѣ приходилось иногда раздумываться надъ Обломовымъ, надъ своей любовью къ нему, если отъ этой любви оставалось праздное время и праздное мѣсто въ сердцѣ, если вопросы ея не всѣ находили полный и всегда готовый отвѣтъ въ его головѣ и воля его молчала на призывъ ея воли, и на ея бодрость и трепетанье жизни онъ отвѣчалъ только неподвижно-страстнымъ взглядомъ — она впадала въ тягостную задумчивость: что-то холодное, какъ змѣя, вползало въ сердце, отрезвляло ее отъ мечты, и теплый, сказочный міръ любви превращался въ какой-то осенній день, когда всѣ предметы кажутся въ сѣромъ цвѣтѣ.

Она искала, отчего происходитъ эта неполнота, неудовлетворенность счастья? Чего недостаетъ ей? Что еще нужно? Вѣдь это судьба—назначеніе любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой вѣрой въ добро, а пуще всего нѣжностью, нѣжностью, какой она не видала никогда въ глазахъ мужчины.

Что жъ за дѣло, что не на всякій взглядъ ея онъ отвѣчаетъ понятнымъ взглядомъ, что не то звучитъ иногда въ его голосѣ, что̀ ей какъ будто уже звучало однажды, не то во снѣ, не то наяву... Это воображеніе, нервы: что̀ слушать ихъ и мудрить?

Да наконецъ, если бъ она хотѣла уйти отъ этой любви— какъ уйти? Дѣло сдѣлано: она уже любила, и скинуть съ себя любовь по произволу, какъ платье, нельзя. «Не любить два раза въ жизни», думала она: «это, говорятъ, безнравственно»...

Такъ училась она любви. пытала ее, и всякій новый

шагъ встрѣчала слезой, или улыбкой, вдумывалась въ него. Потомъ уже являлось то сосредоточенное выраженіе, подъ которымъ крылись и слезы, и улыбка, и которое такъ пугало Обломова.

Но объ этихъ думахъ, объ этой борьбѣ она и не намекала Обломову.

Обломовъ не учился любви, онъ засыпалъ въ своей сладостной дремотѣ, о которой нѣкогда мечталъ вслухъ при Штольцѣ. Повременамъ онъ начиналъ вѣровать въ постоянную безоблачность жизни, и опять ему снилась Обломовка, населенная добрыми, дружескими и беззаботными лицами, сидѣнье на террасѣ, раздумье отъ полноты удовлетвореннаго счастья.

Онъ и теперь иногда поддавался этому раздумью и даже, тайкомъ отъ Ольги, раза два соснулъ въ лѣсу, ожидая ея замедленнаго прихода... какъ вдругъ неожиданно налетѣло облако.

Однажды они вдвоемъ откуда-то возвращались лѣниво, молча, и только стали переходить большую дорогу, навстрѣчу имъ бѣжало облако пыли и въ облакѣ мчалась коляска, въ коляскѣ сидѣла Соничка съ мужемъ, еще какой-то господинъ, еще какая-то госпожа...

— Ольга! Ольга! Ольга Сергѣевна!—раздались крики.

Коляска остановилась. Всѣ эти господа и госпожи вышли изъ нея, окружили Ольгу, начали здороваться, чмокаться, всѣ вдругъ заговорили, долго не замѣчая Обломова. Потомъ вдругъ всѣ взглянули на него, одинъ господинъ въ лорнетъ.

— Кто это?—тихо спросила Соничка.

— Илья Ильичъ Обломовъ!—представила его Ольга.

Всѣ пошли до дома пѣшкомъ. Обломовъ былъ не въ своей тарелкѣ; онъ отсталъ отъ общества и занесъ-было ногу черезъ плетень, чтобъ ускользнуть черезъ рожь домой. Ольга взглядомъ воротила его.

Оно бы ничего, но всѣ эти господа и госпожи смотрѣли

на него такъ странно; и это, пожалуй, ничего. Прежде, бывало, иначе на него и не смотрѣли, благодаря его сонному, скучающему взгляду, небрежности въ одеждѣ.

Но тотъ же странный взглядъ съ него переносили господа и госпожи и на Ольгу. Отъ этого сомнительнаго взгляда на нее у него вдругъ похолодѣло сердце; что-то стало угрызать его, но такъ больно, мучительно, что онъ не вынесъ и ушелъ домой, и былъ задумчивъ, угрюмъ.

На другой день милая болтовня и ласковая шаловливость Ольги не могли развеселить его. На ея настойчивые вопросы онъ долженъ былъ отозваться головною болью и терпѣливо позволилъ себѣ вылить на семьдесятъ-пять копеекъ одеколону на голову.

Потомъ, на третій день, послѣ того, когда они поздно воротились домой, тетка какъ-то черезчуръ умно поглядѣла на нихъ, особенно на него, потомъ потупила свои большія, немного припухшія вѣки, а глаза все будто смотрятъ и сквозь вѣки, и съ минуту задумчиво нюхала спиртъ.

Обломовъ мучился, но молчалъ. Ольгѣ повѣрять своихъ сомнѣній онъ не рѣшался, боясь встревожить ее, испугать и, надо правду сказать, боялся также и за себя, боялся возмутить этотъ невозмутимый, безоблачный миръ вопросомъ такой строгой важности.

Это уже не вопросъ о томъ, ошибкой или нѣтъ полюбила она его, Обломова, а не ошибка ли вся ихъ любовь, эти свиданія въ лѣсу, наединѣ, иногда поздно вечеромъ?

«Я посягалъ на поцѣлуй», съ ужасомъ думалъ онъ: «а вѣдь это уголовное преступленіе въ кодексѣ нравственности, и не первое, не маловажное! Еще до него есть много степеней: пожатіе руки, признаніе, письмо... Это мы все прошли. Однакожъ», думалъ онъ дальше, выпрямляя голову: «мои намѣренія честны, я»...

И вдругъ облако исчезло, передъ нимъ распахнулась свѣтлая, какъ праздникъ, Обломовка, вся въ блескѣ, въ

солнечныхъ лучахъ, съ зелеными холмами, съ серебря
рѣчкой; онъ идетъ съ Ольгой задумчиво по длинной ал
держа ее за талію, сидитъ въ бесѣдкѣ, на террасѣ...

Около нея всѣ склоняютъ голову съ обожаніемъ—слово
все то, что онъ говорилъ Штольцу.

«Да, да; но вѣдь этимъ надо было начать!» думалъ
опять въ страхѣ. «Троекратное люблю, вѣтка сирени,
знаніе—все это должно быть залогомъ счастья всей жи
и не повторяться у чистой женщины. Что жъ я? Кто
стучало, какъ молоткомъ, ему въ голову.

«Я соблазнитель, волокита! Недостаетъ только, чтоб
какъ этотъ скверный старый селадонъ, съ масляными
зами и краснымъ носомъ, воткнулъ украденный у женщ
розанъ въ петлицу и шепталъ на ухо пріятелю о с
побѣдѣ, чтобъ... чтобъ... Ахъ, Боже мой, куда я заш
Вотъ, гдѣ пропасть! И Ольга не летаетъ высоко надъ
она на днѣ ея... за что, за что»...

Онъ выбивался изъ силъ, плакалъ какъ ребенокъ о то
что вдругъ поблѣднѣли радужныя краски его жизни, о то
что Ольга будетъ жертвой. Вся любовь его была пре
пленіе, пятно на совѣсти.

Потомъ на минуту встревоженный умъ прояснялся, к
Обломовъ сознавалъ, что всему этому есть законный исх
протянуть Ольгѣ руку съ кольцомъ...

— Да, да, — въ радостномъ трепетѣ говорилъ онъ:
отвѣтомъ будетъ взглядъ стыдливаго согласія... Она не
жетъ ни слова, она вспыхнетъ, улыбнется до дна ду
потомъ взглядъ ея наполнится слезами...

Слезы и улыбка, молча-протянутая рука, потомъ жи
рѣзвая радость, счастливая торопливость въ движені
потомъ долгій-долгій разговоръ, шопотъ наединѣ, этотъ
вѣрчивый шопотъ душъ, таинственный уговоръ слить
жизни въ одну!

Въ пустякахъ, въ разговорахъ о будничныхъ веш

будетъ сквозить никому, кромѣ ихъ, невидимая любовь. И никто не посмѣетъ оскорбить ихъ взглядомъ...

Вдругъ лицо его стало такъ строго, важно.

«Да», говорилъ онъ съ собой: «вотъ онъ гдѣ, міръ прямого, благороднаго и прочнаго счастья! Стыдно мнѣ было до сихъ поръ скрывать эти цвѣты, носиться въ ароматѣ любви, точно мальчику, искать свиданій, ходить при лунѣ, подслушивать біеніе дѣвическаго сердца, ловить трепетъ ея мечты... Боже!»

Онъ покраснѣлъ до ушей.

«Сегодня же вечеромъ Ольга узнаетъ, какія строгія обязанности налагаетъ любовь; сегодня будетъ послѣднее свиданіе наединѣ, сегодня»...

Онъ приложилъ руку къ сердцу: оно бьется сильно, но ровно, какъ должно биться у честныхъ людей. Опять онъ волнуется мыслію, какъ Ольга сначала опечалится, когда онъ скажетъ, что не надо видѣться; потомъ онъ робко объявитъ о своемъ намѣреніи, но прежде выпытаетъ ея образъ мыслей, упьется ея смущеніемъ, а тамъ...

Дальше ему все грезится ея стыдливое согласіе, улыбка и слезы, молча протянутая рука, долгій, таинственный шопотъ и поцѣлуи въ виду цѣлаго свѣта.

XII.

Онъ побѣжалъ отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла; онъ въ деревню—нѣтъ. Видитъ, вдали она, какъ ангелъ восходитъ на небеса, идетъ на гору, такъ легко опирается ногой, такъ колеблется ея станъ.

Онъ за ней, но она едва касается травы и въ самомъ дѣлѣ какъ будто улетаетъ. Онъ съ полугоры началъ звать ее.

Она подождетъ его и только онъ подойдетъ сажени на двѣ, она двинется впередъ и опять оставитъ большое пространство между нимъ и собой, остановится и смѣется.

Онъ, наконецъ, остановился, увѣренный, что она не уй-

детъ отъ него. И она сбѣжала къ нему нѣсколько шаговъ, подала руку и, смѣясь, потащила за собой.

Они вошли въ рощу: онъ снялъ шляпу, а она платкомъ отерла ему лобъ и начала махать зонтикомъ въ лицо.

Ольга была особенно жива, болтлива, рѣзва, или вдругъ увлекалась нѣжнымъ порывомъ, потомъ впадала внезапно въ задумчивость.

— Угадай, что̀ я дѣлала вчера? — спросила она, когда они сѣли въ тѣни.

— Читала?

Она потрясла головой.

— Писала?

— Нѣтъ.

— Пѣла?

— Нѣтъ. Гадала! — сказала она. — Графинина экономка была вчера; она умѣетъ гадать на картахъ, я и попросила.

— Ну, что жъ?

— Ничего. Вышла дорога, потомъ какая-то толпа и вездѣ блондинъ, вездѣ... Я вся покраснѣла, когда она при Катѣ вдругъ сказала, что обо мнѣ думаетъ бубновый король. Когда она хотѣла говорить, о комъ я думаю, я смѣшала карты и убѣжала. Ты думаешь обо мнѣ?—вдругъ спросила она.

— Ахъ!—сказалъ онъ. — Если бъ можно было поменьше думать!

— А я-то!— задумчиво говорила она. — Я ужъ и забыла какъ живутъ иначе. Когда ты, на той недѣлѣ, надулся и не былъ два дня—помнишь, разсердился! — я вдругъ перемѣнилась, стала злая. Бранюсь съ Катей, какъ ты съ Захаромъ; вижу, какъ она потихоньку плачетъ, и мнѣ вовсе не жаль ея. Не отвѣчаю ma tante, не слышу что̀ она говоритъ, ничего не дѣлаю, никуда не хочу. А только ты пришелъ, вдругъ совсѣмъ другая стала. Катѣ подарила лиловое платье...

— Это любовь!—патетически произнесъ онъ.

— Что? Лиловое платье?

— Все! я узнаю изъ твоихъ словъ себя: и мнѣ безъ тебя нѣтъ дня и жизни, ночью снятся все какія-то цвѣтущія долины. Увижу тебя — я добръ, дѣятеленъ; нѣтъ — скучно, лѣнь, хочется лечь и ни о чемъ не думать... Люби, не стыдись своей любви...

Вдругъ онъ замолчалъ. «Что это я говорю? вѣдь я не за тѣмъ пришелъ!» подумалъ онъ и сталъ откашливаться; нахмурилъ-было брови.

— А если я вдругъ умру?—спросила она.

— Какая мысль!—небрежно сказалъ онъ.

— Да,—говорила она:—я простужусь, сдѣлается горячка; ты придешь сюда—меня нѣтъ, пойдешь къ намъ—скажутъ: больна; завтра то же; ставни у меня закрыты; докторъ качаетъ головой; Катя выйдетъ къ тебѣ въ слезахъ, на цыпочкахъ и шепчетъ: больна, умираетъ...

— Ахъ!..—вдругъ сказалъ Обломовъ.

Она засмѣялась.

— Что съ тобой будетъ тогда?—спросила она, глядя ему въ лицо.

— Что? Съ ума сойду, или застрѣлюсь, а ты вдругъ выздоровѣешь!

— Нѣтъ, нѣтъ, перестань!—говорила она боязливо.—До чего мы договорились! Только ты не приходи ко мнѣ мертвый: я боюсь покойниковъ...

Онъ засмѣялся, и она тоже.

— Боже мой, какія мы дѣти!—сказала она, отрезвляясь отъ этой болтовни.

Онъ опять откашлянулся.

— Послушай... я хотѣлъ сказать.

— Что?—спросила она, живо обернувшись къ нему.

Онъ боязливо молчалъ.

— Ну, говори же,—спрашивала она, слегка дергая его за рукавъ.

балась странной, безсознательной улыбкой, какъ будто подъ вліяніемъ грёзы.

Онъ посадилъ ее на диванъ, сталъ подлѣ нея на колѣни и нѣсколько разъ, въ глубокомъ умиленіи, поцѣловалъ у ней руку.

Она все съ той же улыбкой глядѣла на него, оставляя обѣ руки, и провожала его до дверей глазами.

Онъ въ дверяхъ обернулся: она все глядитъ ему вслѣдъ, на лицѣ все то же изнеможеніе, та же жаркая улыбка, какъ будто она не можетъ сладить съ нею...

Онъ ушелъ въ раздумьи. Онъ гдѣ-то видалъ эту улыбку; онъ припомнилъ какую-то картину, на которой изображена женщина съ такой улыбкой... только не Корделія...

На другой день онъ послалъ узнать о здоровьѣ. Приказали сказать:

— Слава Богу, и просятъ сегодня кушать, а вечеромъ всѣ на фейерверкъ изволятъ ѣхать, за пять верстъ.

Онъ не повѣрилъ и отправился самъ. Ольга была свѣжа, какъ цвѣтокъ: въ глазахъ блескъ, бодрость, на щекахъ рдѣютъ два розовыя пятна; голосъ такъ звученъ! Но она вдругъ смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломовъ подошелъ къ ней, и вся вспыхнула, когда онъ спросилъ: — Какъ она себя чувствуетъ послѣ вчерашняго?

— Это маленькое нервическое разстройство, — торопливо сказала она. — Ma tante говоритъ, что надо раньше ложиться. Это недавно только со мной...

Она не досказала и отвернулась, какъ будто просила пощады. А отчего смутилась она — и сама не знаетъ. Отчего ее грызло и жгло воспоминаніе о вчерашнемъ вечерѣ, объ этомъ разстройствѣ?

Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова. А въ иную минуту казалось ей, что Обломовъ сталъ ей милѣе, ближе, что она чувствуетъ къ нему влеченіе до слезъ, какъ будто она всту-

пила съ нимъ со вчерашняго вечера въ какое-то таинственное родство...

Она долго не спала, долго утромъ ходила одна въ волненіи по аллеѣ, отъ парка до дома и обратно, все думала-думала, терялась въ догадкахъ, то хмурилась, то вдругъ вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и все не могла ничего рѣшить.

«Ахъ, Сонинка!» думала она въ досадѣ. «Какая счастливая! Сейчасъ бы рѣшила!»

А Обломовъ? Отчего онъ былъ нѣмъ и неподвиженъ съ нею вчера, нужды нѣтъ, что дыханіе ея обдавало жаромъ его щеку, что ея горячія слезы капали ему на руку, что онъ почти несъ ее въ объятіяхъ домой, слышалъ нескромный шопотъ ея сердца?.. А другой? Другіе смотрятъ такъ дерзко...

Обломовъ, хотя и прожилъ молодость въ кругу всезнающей, давно рѣшившей всѣ жизненные вопросы, ни во что не вѣрующей и все холодно, мудро анализирующей молодёжи, но въ душѣ у него теплилась вѣра въ дружбу, въ любовь, въ людскую честь, и сколько ни ошибался онъ въ людяхъ, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основаніе добра и вѣры въ него. Онъ втайнѣ поклонялся чистотѣ женщины, признавалъ ея власть и права и приносилъ ей жертвы.

Но у него недоставало характера явно признать ученіе добра и уваженія къ невинности. Тихонько онъ упивался ея ароматомъ, но явно иногда приставалъ къ хору циниковъ, трепетавшихъ даже подозрѣнія въ цѣломудріи или уваженіи къ нему, и къ буйному хору ихъ прибавлялъ и свое легкомысленное слово.

Онъ никогда не вникалъ ясно въ то, какъ много вѣситъ слово добра, правды, чистоты, брошенное въ потокъ людскихъ рѣчей, какой глубокій извивъ прорываетъ оно; не думалъ, что сказанное бодро и громко, безъ краски лож-

наго стыда, а съ мужествомъ, оно не потонетъ въ безобразныхъ крикахъ свѣтскихъ сатировъ, а погрузится, какъ перлъ, въ пучину общественной жизни, и всегда найдется для него раковина.

Многіе запинаются на добромъ словѣ, рдѣя отъ стыда, и смѣло, громко произносятъ легкомысленное слово, не подозрѣвая, что оно тоже, къ несчастью, не пропадаетъ даромъ, оставляя длинный слѣдъ зла, иногда неистребимаго.

Зато Обломовъ былъ правъ на дѣлѣ: ни одного пятна, упрека въ холодномъ, бездушномъ цинизмѣ, безъ увлеченія и безъ борьбы, не лежало на его совѣсти. Онъ не могъ слушать ежедневныхъ разсказовъ о томъ, какъ одинъ перемѣнилъ лошадей, мебель, а тотъ — женщину... и какія издержки повели за собой перемѣны...

Не разъ онъ страдалъ за утраченное мужчиной достоинство и честь, плакалъ о грязномъ паденіи чужой ему женщины, но молчалъ, боясь свѣта.

Надо было угадывать это: Ольга угадала.

Мужчины смѣются надъ такими чудаками, но женщины сразу узнаютъ ихъ; чистыя, цѣломудренныя женщины любятъ ихъ—по сочувствію; испорченныя ищутъ сближенія съ ними—чтобъ освѣжиться отъ порчи.

Лѣто подвигалось, уходило. Утра и вечера становились темны и сыры. Не только сирени, и липы отцвѣли, ягоды отошли. Обломовъ и Ольга видѣлись ежедневно.

Онъ догналъ жизнь, то-есть усвоилъ опять все, отъ чего отсталъ давно; зналъ, зачѣмъ французскій посланникъ выѣхалъ изъ Рима, зачѣмъ англичане посылаютъ корабли съ войскомъ на Востокъ; интересовался, когда проложатъ новую дорогу въ Германіи, или Франціи. Но насчетъ дороги черезъ Обломовку въ большое село не помышлялъ, въ палатѣ довѣренность не засвидѣтельствовалъ и Штольцу отвѣта на письма не послалъ.

Онъ усвоилъ только то, что̀ вращалось въ кругу ежеднев-

ныхъ разговоровъ въ домѣ Ольги, что̀ читалось въ получаемыхъ тамъ газетахъ, и довольно прилежно, благодаря настойчивости Ольги, слѣдилъ за текущей иностранной литературой. Все остальное утопало въ сферѣ чистой любви.

Несмотря на частыя видоизмѣненія въ этой розовой атмосферѣ, главнымъ основаніемъ была безоблачность горизонта. Если Ольгѣ приходилось иногда раздумываться надъ Обломовымъ, надъ своей любовью къ нему, если отъ этой любви оставалось праздное время и праздное мѣсто въ сердцѣ, если вопросы ея не всѣ находили полный и всегда готовый отвѣтъ въ его головѣ и воля его молчала на призывъ ея воли, и на ея бодрость и трепетанье жизни онъ отвѣчалъ только неподвижно-страстнымъ взглядомъ — она впадала въ тягостную задумчивость: что-то холодное, какъ змѣя, вползало въ сердце, отрезвляло ее отъ мечты, и теплый, сказочный міръ любви превращался въ какой-то осенній день, когда всѣ предметы кажутся въ сѣромъ цвѣтѣ.

Она искала, отчего происходитъ эта неполнота, неудовлетворенность счастья? Чего недостаетъ ей? Что еще нужно? Вѣдь это судьба—назначеніе любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой вѣрой въ добро, а пуще всего нѣжностью, нѣжностью, какой она не видала никогда въ глазахъ мужчины.

Что жъ за дѣло, что не на всякій взглядъ ея онъ отвѣчаетъ понятнымъ взглядомъ, что не то звучитъ иногда въ его голосѣ, что̀ ей какъ будто уже звучало однажды, не то во снѣ, не то наяву... Это воображеніе, нервы: что̀ слушать ихъ и мудрить?

Да наконецъ, если бъ она хотѣла уйти отъ этой любви— какъ уйти? Дѣло сдѣлано: она уже любила, и скинуть съ себя любовь по произволу, какъ платье, нельзя. «Не любятъ два раза въ жизни», думала она: «это, говорятъ, безнравственно»...

Такъ училась она любви: пытала ее, и всякій новый

шагъ встрѣчала слезой, или улыбкой, вдумывалась въ него. Потомъ уже являлось то сосредоточенное выраженіе, подъ которымъ крылись и слезы, и улыбка, и которое такъ пугало Обломова.

Но объ этихъ думахъ, объ этой борьбѣ она и не намекала Обломову.

Обломовъ не учился любви, онъ засыпалъ въ своей сладостной дремотѣ, о которой нѣкогда мечталъ вслухъ при Штольцѣ. Повременамъ онъ начиналъ вѣровать въ постоянную безоблачность жизни, и опять ему снилась Обломовка, населенная добрыми, дружескими и беззаботными лицами, сидѣнье на террасѣ, раздумье отъ полноты удовлетвореннаго счастья.

Онъ и теперь иногда поддавался этому раздумью и даже, тайкомъ отъ Ольги, раза два соснулъ въ лѣсу, ожидая ея замедленнаго прихода... какъ вдругъ неожиданно налетѣло облако.

Однажды они вдвоемъ откуда-то возвращались лѣниво, молча, и только стали переходить большую дорогу, навстрѣчу имъ бѣжало облако пыли и въ облакѣ мчалась коляска, въ коляскѣ сидѣла Соничка съ мужемъ, еще какой-то господинъ, еще какая-то госпожа...

— Ольга! Ольга! Ольга Сергѣевна!—раздались крики.

Коляска остановилась. Всѣ эти господа и госпожи вышли изъ нея, окружили Ольгу, начали здороваться, чмокаться, всѣ вдругъ заговорили, долго не замѣчая Обломова. Потомъ вдругъ всѣ взглянули на него, одинъ господинъ въ лорнетъ.

— Кто это?—тихо спросила Соничка.

— Илья Ильичъ Обломовъ!—представила его Ольга.

Всѣ пошли до дома пѣшкомъ. Обломовъ былъ не въ своей тарелкѣ; онъ отсталъ отъ общества и занесъ-было ногу черезъ плетень, чтобъ ускользнуть черезъ рожь домой. Ольга взглядомъ воротила его.

Оно бы ничего, но всѣ эти господа и госпожи смотрѣли

на него такъ странно; и это, пожалуй, ничего. Прежде, бывало, иначе на него и не смотрѣли, благодаря его сонному, скучающему взгляду, небрежности въ одеждѣ.

Но тотъ же странный взглядъ съ него переносили господа и госпожи и на Ольгу. Отъ этого сомнительнаго взгляда на нее у него вдругъ похолодѣло сердце; что-то стало угрызать его, но такъ больно, мучительно, что онъ не вынесъ и ушелъ домой, и былъ задумчивъ, угрюмъ.

На другой день милая болтовня и ласковая шаловливость Ольги не могли развеселить его. На ея настойчивые вопросы онъ долженъ былъ отозваться головною болью и терпѣливо позволилъ себѣ вылить на семьдесятъ-пять копеекъ одеколону на голову.

Потомъ, на третій день, послѣ того, когда они поздно воротились домой, тетка какъ-то черезчуръ умно поглядѣла на нихъ, особенно на него, потомъ потупила свои большія, немного припухшія вѣки, а глаза все будто смотрятъ и сквозь вѣки, и съ минуту задумчиво нюхала спиртъ.

Обломовъ мучился, но молчалъ. Ольгѣ повѣрять своихъ сомнѣній онъ не рѣшался, боясь встревожить ее, испугать и, надо правду сказать, боялся также и за себя, боялся возмутить этотъ невозмутимый, безоблачный миръ вопросомъ такой строгой важности.

Это уже не вопросъ о томъ, ошибкой или нѣтъ полюбила она его, Обломова, а не ошибка ли вся ихъ любовь, эти свиданія въ лѣсу, наединѣ, иногда поздно вечеромъ?

«Я посягалъ на поцѣлуй», съ ужасомъ думалъ онъ: «а нѣдь это уголовное преступленіе въ кодексѣ нравственности, и не первое, не маловажное! Еще до него есть много степеней: пожатіе руки, признаніе, письмо... Это мы все прошли. Однакожъ», думалъ онъ дальше, выпрямляя голову: «мои намѣренія честны, я»...

И вдругъ облако исчезло, передъ нимъ распахнулась свѣтлая, какъ праздникъ, Обломовка, вся въ блескѣ, въ

солнечныхъ лучахъ, съ зелеными холмами, съ серебряной рѣчкой; онъ идетъ съ Ольгой задумчиво по длинной аллеѣ, держа ее за талію, сидитъ въ бесѣдкѣ, на террасѣ...

Около нея всѣ склоняютъ голову съ обожаніемъ—словомъ, все то, что онъ говорилъ Штольцу.

«Да, да; но вѣдь этимъ надо было начать!» думалъ онъ опять въ страхѣ. «Троекратное люблю, вѣтка сирени, признаніе—все это должно быть залогомъ счастья всей жизни и не повторяться у чистой женщины. Что жъ я? Кто я?» стучало, какъ молоткомъ, ему въ голову.

«Я соблазнитель, волокита! Недостаетъ только, чтобъ я, какъ этотъ скверный старый селадонъ, съ масляными глазами и краснымъ носомъ, воткнулъ украденный у женщины розанъ въ петлицу и шепталъ на ухо пріятелю о своей побѣдѣ, чтобъ... чтобъ... Ахъ, Боже мой, куда я зашелъ! Вотъ, гдѣ пропасть! И Ольга не летаетъ высоко надъ ней, она на днѣ ея... за что, за что»...

Онъ выбивался изъ силъ, плакалъ какъ ребенокъ о томъ, что вдругъ поблѣднѣли радужныя краски его жизни, о томъ, что Ольга будетъ жертвой. Вся любовь его была преступленіе, пятно на совѣсти.

Потомъ на минуту встревоженный умъ прояснялся, когда Обломовъ сознавалъ, что всему этому есть законный исходъ: протянуть Ольгѣ руку съ кольцомъ...

— Да, да,—въ радостномъ трепетѣ говорилъ онъ:—и отвѣтомъ будетъ взглядъ стыдливаго согласія... Она не скажетъ ни слова, она вспыхнетъ, улыбнется до дна души, потомъ взглядъ ея наполнится слезами...

Слезы и улыбка, молча-протянутая рука, потомъ живая, рѣзвая радость, счастливая торопливость въ движеніяхъ, потомъ долгій-долгій разговоръ, шопотъ наединѣ, этотъ довѣрчивый шопотъ душъ, таинственный уговоръ слить двѣ жизни въ одну!

Въ пустякахъ, въ разговорахъ о будничныхъ вещахъ

будетъ сквозить никому, кромѣ ихъ, невидимая любовь. И никто не посмѣетъ оскорбить ихъ взглядомъ...

Вдругъ лицо его стало такъ строго, важно.

«Да», говорилъ онъ съ собой: «вотъ онъ гдѣ, міръ прямого, благороднаго и прочнаго счастья! Стыдно мнѣ было до сихъ поръ скрывать эти цвѣты, носиться въ ароматѣ любви, точно мальчику, искать свиданій, ходить при лунѣ, подслушивать біеніе дѣвическаго сердца, ловить трепетъ ея мечты... Боже!»

Онъ покраснѣлъ до ушей.

«Сегодня же вечеромъ Ольга узнаетъ, какія строгія обязанности налагаетъ любовь; сегодня будетъ послѣднее свиданіе наединѣ, сегодня»...

Онъ приложилъ руку къ сердцу: оно бьется сильно, но ровно, какъ должно биться у честныхъ людей. Опять онъ волнуется мыслію, какъ Ольга сначала опечалится, когда онъ скажетъ, что не надо видѣться; потомъ онъ робко объявитъ о своемъ намѣреніи, но прежде выпытаетъ ея образъ мыслей, упьется ея смущеніемъ, а тамъ...

Дальше ему все грезится ея стыдливое согласіе, улыбка и слезы, молча протянутая рука, долгій, таинственный шопотъ и поцѣлуи въ виду цѣлаго свѣта.

XII.

Онъ побѣжалъ отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла; онъ въ деревню—нѣтъ. Видитъ, вдали она, какъ ангелъ восходитъ на небеса, идетъ на гору, такъ легко опирается ногой, такъ колеблется ея станъ.

Онъ за ней, но она едва касается травы и въ самомъ дѣлѣ какъ будто улетаетъ. Онъ съ полугоры началъ звать ее.

Она подождетъ его и только онъ подойдетъ сажени на двѣ, она двинется впередъ и опять оставитъ большое пространство между нимъ и собой, остановится и смѣется.

Онъ, наконецъ, остановился, увѣренный, что она не уй-

деть отъ него. И она сбѣжала къ нему нѣсколько шаговъ, подала руку и, смѣясь, потащила за собой.

Они вошли въ рощу: онъ снялъ шляпу, а она платкомъ отерла ему лобъ и начала махать зонтикомъ въ лицо.

Ольга была особенно жива, болтлива, рѣзва, или вдругъ увлекалась нѣжнымъ порывомъ, потомъ впадала внезапно въ задумчивость.

— Угадай, что̀ я дѣлала вчера? — спросила она, когда они сѣли въ тѣни.

— Читала?

Она потрясла головой.

— Писала?

— Нѣтъ.

— Пѣла?

— Нѣтъ. Гадала! — сказала она. — Графинина экономка была вчера; она умѣетъ гадать на картахъ, я и попросила.

— Ну, что жъ?

— Ничего. Вышла дорога, потомъ какая-то толпа и вездѣ блондинъ, вездѣ... Я вся покраснѣла, когда она при Катѣ вдругъ сказала, что обо мнѣ думаетъ бубновый король. Когда она хотѣла говорить, о комъ я думаю, я смѣшала карты и убѣжала. Ты думаешь обо мнѣ?—вдругъ спросила она.

— Ахъ!—сказалъ онъ. — Если бъ можно было поменьше думать!

— А я-то!— задумчиво говорила она.— Я ужъ и забыла какъ живутъ иначе. Когда ты, на той недѣлѣ, надулся и не былъ два дня—помнишь, разсердился! — я вдругъ перемѣнилась, стала злая. Бранюсь съ Катей, какъ ты съ Захаромъ; вижу, какъ она потихоньку плачетъ, и мнѣ вовсе не жаль ея. Не отвѣчаю ma tante, не слышу что̀ она говоритъ, ничего не дѣлаю, никуда не хочу. А только ты пришелъ, вдругъ совсѣмъ другая стала. Катѣ подарила лиловое платье...

— Это любовь!—патетически произнесъ онъ.

— Что? Лиловое платье?

— Все! я узнаю изъ твоихъ словъ себя: и мнѣ безъ тебя нѣтъ дня и жизни, ночью снятся все какія-то цвѣтущія долины. Увижу тебя — я добръ, дѣятеленъ; нѣтъ — скучно, лѣнь, хочется лечь и ни о чемъ не думать... Люби, не стыдись своей любви...

Вдругъ онъ замолчалъ. «Что̀ это я говорю? вѣдь я не за тѣмъ пришелъ!» подумалъ онъ и сталъ откашливаться; нахмурилъ-было брови.

— А если я вдругъ умру?—спросила она.

— Какая мысль!—небрежно сказалъ онъ.

— Да,—говорила она:—я простужусь, сдѣлается горячка; ты придешь сюда—меня нѣтъ, пойдешь къ намъ—скажутъ: больна; завтра то же; ставни у меня закрыты; докторъ качаетъ головой; Катя выйдетъ къ тебѣ въ слезахъ, на цыпочкахъ и шепчетъ: больна, умираетъ...

— Ахъ!..—вдругъ сказалъ Обломовъ.

Она засмѣялась.

— Что̀ съ тобой будетъ тогда?—спросила она, глядя ему въ лицо.

— Что? Съ ума сойду, или застрѣлюсь, а ты вдругъ выздоровѣешь!

— Нѣтъ, нѣтъ, перестань!—говорила она боязливо.—До чего мы договорились! Только ты не приходи ко мнѣ мертвый: я боюсь покойниковъ...

Онъ засмѣялся, и она тоже.

— Боже мой, какія мы дѣти!—сказала она, отрезвляясь отъ этой болтовни.

Онъ опять откашлянулся.

— Послушай... я хотѣлъ сказать.

— Что̀?—спросила она, живо обернувшись къ нему.

Онъ боязливо молчалъ.

— Ну, говори же,—спрашивала она, слегка дергая его за рукавъ.

— Ничего, такъ...—проговорилъ онъ, оробѣвъ.

— Нѣтъ, у тебя что-то есть на умѣ?

Онъ молчалъ.

— Если что-нибудь страшное, такъ лучше не говори,— сказала она.—Нѣтъ, скажи!—вдругъ прибавила опять.

— Да ничего нѣтъ, вздоръ.

— Нѣтъ, нѣтъ, что-то есть, говори! — приставала она, крѣпко держа за оба борта сюртука, и держала такъ близко, что ему надо было ворочать лицо, то вправо, то влѣво, чтобъ не поцѣловать ее.

Онъ бы не ворочалъ, но у него въ ушахъ гремѣло ея грозное «никогда».

— Скажи же!..—приставала она.

— Не могу, не нужно...—отговаривался онъ.

— Какъ же ты проповѣдывалъ, что «довѣренность есть основа взаимнаго счастья», что «не должно быть ни одного изгиба въ сердцѣ, гдѣ бы не читалъ глазъ друга». Чьи это слова?

— Я хотѣлъ только сказать, — началъ онъ медленно:— что я такъ люблю тебя, такъ люблю, что если бъ...

Онъ медлилъ.

— Ну?—нетерпѣливо спросила она.

— Что если бъ ты полюбила теперь другого, и онъ былъ бы способнѣе сдѣлать тебя счастливой, я бы... молча проглотилъ свое горе и уступилъ ему мѣсто.

Она вдругъ выпустила изъ рукъ его сюртукъ.

— Зачѣмъ?—съ удивленіемъ спросила она.—Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому; я не хочу, чтобъ ты былъ счастливъ съ другой. Это что-то мудрено, я не понимаю.

Взглядъ ея задумчиво блуждалъ по деревьямъ.

— Значитъ, ты не любишь меня?—спросила она потомъ.

— Напротивъ, я люблю тебя до самоотверженія, если готовъ жертвовать собой.

— Да зачѣмъ? кто тебя проситъ?

— Я говорю, въ такомъ случаѣ, если бъ ты полюбила другого.

— Другого! Ты съ ума сошелъ? Зачѣмъ, если я люблю тебя? Развѣ ты полюбишь другую?

— Что ты слушаешь меня? Я, Богъ знаетъ, что̀ говорю, а ты вѣришь! Я не то и сказать-то хотѣлъ совсѣмъ...

— Что̀ жъ ты хотѣлъ сказать?

— Я хотѣлъ сказать, что виноватъ передъ тобой, давно виноватъ...

— Въ чемъ? Какъ?—спрашивала она.—Не любишь? Пошутилъ, можетъ-быть? Говори скорѣй!

— Нѣтъ, нѣтъ, все не то! — говорилъ онъ съ тоской.— Вотъ видишь ли что... — нерѣшительно началъ онъ: — мы видимся съ тобой... тихонько...

— Тихонько? Отчего тихонько? Я почти всякій разъ говорю ma tante, что видѣла тебя...

— Ужели всякій разъ?—съ безпокойствомъ спросилъ онъ.

— Что же тутъ дурного?

— Я виноватъ: мнѣ давно бы слѣдовало сказать тебѣ, что это... не дѣлается...

— Ты говорилъ,—сказала она.

— Говорилъ? А! Вѣдь въ самомъ дѣлѣ я... намекалъ. Такъ, значитъ, я сдѣлалъ свое дѣло.

Онъ ободрился и радъ былъ, что Ольга такъ легко снимала съ него бремя отвѣтственности.

— Еще что?—спросила она.

— Еще... да только,—отвѣтилъ онъ.

— Неправда!—положительно замѣтила Ольга:—есть что-то; ты не все сказалъ.

— Да я думалъ... — началъ онъ, желая дать небрежный тонъ словамъ:—что...

Онъ остановился: она ждала.

— Что намъ надо видѣться рѣже...—Онъ робко взглянулъ на нее.

Она молчала.

— Почему?—спросила она потомъ, подумавъ.

— Меня грызетъ змѣя: это — совѣсть... Мы такъ долго остаемся наединѣ: я волнуюсь, сердце замираетъ у меня; ты тоже непокойна... я боюсь...—съ трудомъ договорилъ онъ.

— Чего?

— Ты молода и не знаешь всѣхъ опасностей, Ольга. Иногда человѣкъ не властенъ въ себѣ; въ него вселяется какая-то адская сила, на сердце падаетъ мракъ, а въ глазахъ блещутъ молніи. Ясность ума меркнетъ: уваженіе къ чистотѣ, къ невинности — все уноситъ вихрь; человѣкъ не помнитъ себя; на него дышитъ страсть, онъ перестаетъ владѣть собой—и тогда подъ ногами открывается бездна.

Онъ даже вздрогнулъ.

— Ну, что жъ? Пусть открывается!—сказала она, глядя на него во всѣ глаза.

Онъ молчалъ; дальше или нѐчего, или не нужно было говорить.

Она глядѣла на него долго, какъ будто читала въ складкахъ на лбу, какъ въ писанныхъ строкахъ, и сама вспоминала каждое его слово, взглядъ, мысленно пробѣгала всю исторію своей любви, дошла до темнаго вечера въ саду и вдругъ покраснѣла.

— Ты все глупости говоришь! — скороговоркой замѣтила она, глядя въ сторону. — Никакихъ я молній не видала у тебя въ глазахъ... ты смотришь на меня бо̀льшею частью, какъ... моя няня Кузьминична! — прибавила она и засмѣялась.

— Ты шутишь, Ольга, а я, не шутя, говорю... и не все еще сказалъ.

— Что̀ еще?—спросила она.—Какая тамъ бездна?

Онъ вздохнулъ.

— А то, что не надо намъ видѣться... наединѣ...

— Почему?

— Не хорошо...

Она задумалась.

— Да, говорятъ, это не хорошо, — сказала она въ раздумьи:—да почему?

— Что̀ скажутъ, когда узнаютъ, когда разнесется...

— Кто жъ скажетъ? У меня нѣтъ матери: она одна могла бы спросить меня, зачѣмъ я вижусь съ тобой, и передъ ней одной я заплакала бы въ отвѣтъ, и сказала бы, что я дурного ничего не дѣлаю, и ты тоже. Она бы повѣрила. Кто жъ другой?—спросила она.

— Тётка,—сказалъ Обломовъ.

— Тётка?

Ольга печально и отрицательно покачала головой.

— Она никогда не спроситъ. Если бъ я ушла совсѣмъ, она бы не пошла искать и спрашивать меня, а я не пришла бы больше сказать ей, гдѣ была и что̀ дѣлала. Кто жъ еще?

— Другіе, всѣ... Намедни Сонинка смотрѣла на тебя и на меня, улыбалась, и эти всѣ господа и госпожи, что были съ ней—тоже.

Онъ разсказалъ ей всю тревогу, въ какой онъ жилъ съ тѣхъ поръ.

— Пока она смотрѣла только на меня,—прибавилъ онъ:—я ничего; но когда этотъ же взглядъ упалъ на тебя, у меня руки и ноги похолодѣли...

— Ну?..—спросила она холодно.

— Ну, вотъ я и мучусь съ тѣхъ поръ день и ночь, ломаю голову, какъ предупредить огласку; заботился, чтобъ не напугать тебя... Я давно хотѣлъ поговорить съ тобой...

— Напрасная забота!—возразила она.—Я знала и безъ тебя...

— Какъ знала?—спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— Такъ. Сонинка говорила со мной, выпытывала изъ

меня, язвила, даже учила, какъ мнѣ вести себя съ тобой...

— Ты мнѣ ни слова, Ольга!—упрекнулъ онъ.

— Ты мнѣ тоже до сихъ поръ не сказалъ ничего о своей заботѣ!

— Что жъ ты отвѣчала ей?—спросилъ онъ.

— Ничего! Что̀ было отвѣчать на это? Покраснѣла только.

— Боже мой! До чего дошло: ты краснѣешь! — съ ужасомъ сказалъ онъ. — Какъ мы неосторожны! Что̀ выйдетъ изъ этого?

Онъ вопросительно глядѣлъ на нее.

— Не знаю,—кротко сказала она.

Обломовъ думалъ успокоиться, раздѣливъ заботу съ Ольгой, почерпнуть въ ея глазахъ и ясной рѣчи силу воли, и вдругъ, не найдя живого и рѣшительнаго отвѣта, упалъ духомъ.

Лицо у него подернулось нерѣшительностью, взглядъ уныло блуждалъ вокругъ. Внутри его ужъ разыгрывалась легкая лихорадка. Онъ почти забылъ про Ольгу; передъ нимъ толпились: Соничка съ мужемъ, гости; слышались ихъ толки, смѣхъ.

Ольга, вмѣсто обыкновенной своей находчивости, молчитъ, холодно смотритъ на него и еще холоднѣе говоритъ свое «не знаю». А онъ не потрудился, или не умѣлъ вникнуть въ сокровенный смыслъ этого «не знаю».

И онъ молчалъ: безъ чужой помощи, мысль или намѣреніе у него не созрѣло бы и, какъ спѣлое яблоко, не упало бы никогда само собою: надо его сорвать.

Ольга поглядѣла нѣсколько минутъ на него, потомъ надѣла мантилью, достала съ вѣтки косынку, не торопясь надѣла на голову и взяла зонтикъ.

— Куда? Такъ рано!—вдругъ, очнувшись, спросилъ онъ.

— Нѣтъ, поздно. Ты правду сказалъ, — съ задумчивымъ уныніемъ говорила она:—мы зашли далеко, а выхода нѣтъ: надо скорѣй разстаться и замести слѣдъ прошлаго. Про-

щай!—сухо, съ горечью, прибавила она и, склонивъ голову, пошла-было по дорожкѣ.

— Ольга, помилуй, Богъ съ тобой! Какъ не видаться. Да я... Ольга!

Она не слушала и пошла скорѣе; песокъ сухо трещалъ подъ ея ботинками.

— Ольга Сергѣевна!—крикнулъ онъ.

Не слышитъ, идетъ.

— Ради Бога, воротись! — не голосомъ, а слезами кричалъ онъ. — Вѣдь и преступника надо выслушать... Боже мой! Есть ли сердце у ней?.. Вотъ женщины!

Онъ сѣлъ и закрылъ обѣими руками глаза. Шаговъ не стало слышно.

— Ушла!—сказалъ онъ, почти въ ужасѣ, и поднялъ голову.

Ольга передъ нимъ.

Онъ радостно схватилъ ея руку.

— Ты не ушла, не уйдешь?..—говорилъ онъ.—Не уходи: помни, что если ты уйдешь—я мертвый человѣкъ!

— А если не уйду, я преступница, и ты тоже: помни это, Илья.

— Ахъ, нѣтъ...

— Какъ нѣтъ? Если Сонечка съ мужемъ застанетъ насъ еще разъ вмѣстѣ— " погибла.

Онъ вздрогнулъ.

— Послушай, — торопливо и запинаясь началъ онъ: — я не все сказалъ...—и остановился.

То, что дома казалось ему такъ просто, естественно, необходимо, такъ улыбалось ему, что было его счастьемъ, вдругъ стало какой-то бездной. У него захватывало духъ перешагнуть черезъ нее. Шагъ предстоялъ рѣшительный, смѣлый.

— Кто-то идетъ!—сказала Ольга.

Въ боковой дорожкѣ послышались шаги.

— Ужъ не Соничка ли? — спросилъ Обломовъ, съ неподвижными отъ ужаса глазами.

Прошло двое мужчинъ съ дамой, незнакомые. У Обломова отлегло отъ сердца.

— Ольга,—торопливо началъ онъ и взялъ ее за руку:— пойдемъ отсюда вонъ туда, гдѣ никого нѣтъ. Сядемъ здѣсь.

Онъ посадилъ ее на скамью, а самъ сѣлъ на травѣ, подлѣ нея.

— Ты вспыхнула, ушла, а я не все сказалъ, Ольга, — проговорилъ онъ.

— И опять уйду и не ворочусь болѣе, если ты будешь играть мной,—заговорила она.—Тебѣ понравились однажды мои слезы, теперь, можетъ-быть, ты захотѣлъ бы видѣть меня у ногъ своихъ, и такъ, мало-по-малу, сдѣлать своей рабой, капризничать, читать мораль, потомъ плакать, пугаться, пугать меня, а послѣ спрашивать, что̀ намъ дѣлать? Помните, Илья Ильичъ, — вдругъ гордо прибавила она, вставъ со скамьи: — что я много выросла съ тѣхъ поръ, какъ узнала васъ, и знаю, какъ называется игра, въ которую вы играете... но слезъ моихъ вы больше не увидите...

— Ахъ, ей-Богу, я не играю!—сказалъ онъ убѣдительно.

— Тѣмъ хуже для васъ,—сухо замѣтила она.—На всѣ ваши опасенія, предостереженія и загадки я скажу одно: до нынѣшняго свиданія я васъ любила и не знала, что̀ мнѣ дѣлать; теперь знаю,—рѣшительно заключила она, готовясь уйти:—и съ вами совѣтоваться не стану.

— И я знаю,—сказалъ онъ, удерживая ее за руку и усаживая на скамью, и на минуту замолчалъ, собираясь съ духомъ.—Представь,—началъ онъ:—сердце у меня переполнено однимъ желаніемъ, голова—одной мыслью, но воля, языкъ, не повинуются мнѣ: хочу говорить, и слова нейдутъ съ языка. А вѣдь какъ просто, какъ... Помоги мнѣ, Ольга.

— Я не знаю, что у васъ на умѣ?..

— О, ради Бога, безъ этого *вы:* твой гордый взглядъ убиваетъ меня, каждое слово, какъ морозъ, леденитъ...

Она засмѣялась.

— Ты сумасшедшій! — сказала она, положивъ ему руку на голову.

— Вотъ такъ, вотъ я получилъ даръ мысли и слова! Ольга,—сказалъ онъ, ставъ передъ ней на колѣни: — будь моей женой!

Она молчала и отвернулась отъ него въ противоположную сторону.

— Ольга, дай мнѣ руку!—продолжалъ онъ.

Она не давала. Онъ взялъ самъ и приложилъ къ губамъ. Она не отнимала. Рука была тепла, мягка и чуть-чуть влажна. Онъ старался заглянуть ей въ лицо — она отворачивалась все больше.

— Молчаніе? — сказалъ онъ, тревожно и вопросительно, цѣлуя ей руку.

— Знакъ согласія! — договорила она тихо, все еще не глядя на него.

— Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь?— спросилъ онъ, вспоминая мечту свою о стыдливомъ согласіи, о слезахъ.

— То же, что ты,—отвѣчала она, продолжая глядѣть куда-то въ лѣсъ; только волненіе груди показывало, что она сдерживаетъ себя.

«Есть ли у ней слезы на глазахъ?» думалъ Обломовъ, но она упорно смотрѣла внизъ.

— Ты равнодушна, ты покойна?—говорилъ онъ, стараясь притянуть ее за руку къ себѣ.

— Не равнодушна, но покойна.

— Отчего жъ?

— Оттого, что давно предвидѣла это и привыкла къ мысли.

— Давно,—съ изумленіемъ повторилъ онъ.

— Да, съ той минуты, какъ дала тебѣ вѣтку сирени... я мысленно назвала тебя...

Она не договорила.

— Съ той минуты!

Онъ распахнулъ-было широко объятія и хотѣлъ заключить ее въ нихъ.

— Бездна разверзается, молніи блещутъ... осторожнѣе!— лукаво сказала она, ловко ускользая отъ объятій и устраняя руку его зонтикомъ.

Онъ вспомнилъ грозное «никогда» и присмирѣлъ.

— Но ты никогда не говорила, даже ничѣмъ не выразила...—говорилъ онъ.

— Мы не выходимъ замужъ, насъ выдаютъ, или берутъ.

— Съ той минуты... ужели?..—задумчиво повторилъ онъ.

— Ты думалъ, что я, не понявъ тебя, была бы здѣсь съ тобою одна, сидѣла бы по вечерамъ въ бесѣдкѣ, слушала и довѣрялась тебѣ?—гордо сказала она.

— Такъ это... — началъ онъ, мѣняясь въ лицѣ и выпуская ея руку.

У него шевельнулась странная мысль. Она смотрѣла на него со спокойной гордостью и твердо ждала; а ему хотѣлось бы въ эту минуту не гордости и твердости, а слезъ, страсти, охмеляющаго счастья, хоть на одну минуту, а потомъ уже пусть потекла бы жизнь невозмутимаго покоя!

И вдругъ, ни порывистыхъ слезъ отъ неожиданнаго счастья, ни стыдливаго согласія! Какъ это понять!

Въ сердцѣ у него проснулась и завозилась змѣя сомнѣнія... Любитъ она, или только выходитъ замужъ?

— Но есть другой путь къ счастью,—сказалъ онъ.

— Какой?—спросила она.

— Иногда любовь не ждетъ, не терпитъ, не разсчитываетъ... Женщина вся въ огнѣ, въ трепетѣ, испытываетъ разомъ муку и такія радости, какихъ...

— Я не знаю, какой это путь.

— Путь, гдѣ женщина жертвуетъ всѣмъ: спокойствіемъ, молвой, уваженіемъ, и находитъ награду въ любви... она замѣняетъ ей все.

— Развѣ намъ нуженъ этотъ путь?

— Нѣтъ.

— Ты хотѣлъ бы этимъ путемъ искать счастья, насчетъ моего спокойствія, потери уваженія?

— О, нѣтъ, нѣтъ! клянусь Богомъ, ни за что, — горячо сказалъ онъ.

— Зачѣмъ же ты заговорилъ о немъ?

— Право, и самъ не знаю...

— А я знаю: тебѣ хотѣлось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебѣ своимъ спокойствіемъ, пошла ли бы я съ тобой по этому пути? Не правда ли?

— Да, кажется; ты угадала... Что жъ?

— Никогда, ни за что!—твердо сказала она.

Онъ задумался, потомъ вздохнулъ.

— Да, то ужасный путь, и много надо любви, чтобъ женщинѣ пойти по немъ вслѣдъ за мужчиной, гибнуть—и все любить.

Онъ вопросительно взглянулъ ей въ лицо: она ничего; только складка надъ бровью шевельнулась, а лицо покойно.

— Представь,—говорилъ онъ:—что Соничка, которая не стоитъ твоего мизинца, вдругъ не узнала бы тебя при встрѣчѣ!

Ольга улыбнулась, и взглядъ ея былъ такъ же ясенъ. А Обломовъ увлекался потребностью самолюбія, допроситься жертвъ у сердца Ольги и упиться этимъ.

— Представь, что мужчины, подходя къ тебѣ, не опускали бы съ робкимъ уваженіемъ глазъ, а смотрѣли бы на тебя съ смѣлой и лукавой улыбкой...

Онъ поглядѣлъ на нее: она прилежно двигаетъ зонтикомъ камешекъ по песку.

— Ты вошла бы въ залу, и нѣсколько чепцовъ пошевелилось бы отъ негодованія; какой-нибудь одинъ изъ нихъ пересѣлъ бы отъ тебя... а гордость бы у тебя была все та же, а ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше ихъ.

— Къ чему ты говоришь мнѣ эти ужасы?—сказала она покойно.—Я не пойду никогда этимъ путемъ.

— Никогда?—уныло спросилъ Обломовъ.

— Никогда!—повторила она.

— Да,—говорилъ онъ задумчиво:—у тебя недостало бы силы взглянуть стыду въ глаза. Можетъ-быть, ты не испугалась бы смерти: не казнь страшна, но приготовленія къ ней, ежечасныя пытки, ты бы не выдержала и зачахла—да?

Онъ все заглядывалъ ей въ глаза, что̀ она.

Она смотритъ весело: картина ужаса не смутила ея; на губахъ ея играла легкая улыбка.

— Я не хочу ни чахнуть, ни умирать! Все не то,—сказала она: — можно нейти тѣмъ путемъ и любить еще сильнѣе...

— Отчего же бъ ты не пошла по этому пути,—спросилъ онъ настойчиво, почти съ досадой:—если тебѣ не страшно?..

— Оттого, что на немъ... впослѣдствіи всегда... разстаются,—сказала она:—а я... разстаться съ тобой!..

Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядѣла на него, и вдругъ, отбросивъ зонтикъ въ сторону, быстро и жарко обвила его шею руками, поцѣловала, потомъ вся вспыхнула, прижала лицо къ его груди и прибавила тихо:

— Никогда!

Онъ испустилъ радостный вопль и упалъ на траву къ ея ногамъ.

1857 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ТРЕТЬЯГО ТОМА:

Обломовъ. Романъ въ четырехъ частяхъ.

Часть первая:

Глава I. 5
» II. 20
» III. 45
» IV. 51
» V. 67
» VI 75
» VII. 84
» VIII. 93
» IX. Сонъ Обломова. 124
» X. 180
» XI. 189

Часть вторая:

Глава I. 193
» II. 204
» III. 210
» IV. 218
» V. 235
» VI. 257
» VII. 268
» VIII. 278
» IX. 298
» X. 313
» XI. 336
» XII. 351

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографія А. Ф. Мариса. Ср. Подьяч., № 1.

ОБЛОМОВЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ III.

Часть третья.

I.

Обломовъ сіялъ, идучи домой. У него кипѣла кровь, глаза блистали. Ему казалось, что у него горятъ даже волосы. Такъ онъ и вошелъ къ себѣ въ комнату — и вдругъ сіянье исчезло и глаза въ непріятномъ изумленіи остановились неподвижно на одномъ мѣстѣ: въ его креслѣ сидѣлъ Тарантьевъ.

— Что̀ это тебя не дождешься? Гдѣ ты шатаешься? — строго спросилъ Тарантьевъ, подавая ему свою мохнатую руку. — И твой старый чортъ совсѣмъ отъ рукъ отбился: спрашиваю закусить — нѣту, водки — и той не далъ.

— Я гулялъ здѣсь въ рощѣ, — небрежно сказалъ Обломовъ, еще не опомнясь отъ обиды, нанесенной появленіемъ земляка, и въ какую минуту!

Онъ забылъ ту мрачную сферу, гдѣ долго жилъ, и отвыкъ отъ ея удушливаго воздуха. Тарантьевъ въ одно мгновеніе сдернулъ его, будто съ неба, опять въ болото. Обломовъ мучительно спрашивалъ себя: зачѣмъ пришелъ Тарантьевъ? надолго ли? — терзался предположеніемъ, что, пожалуй, онъ останется обѣдать и тогда нельзя будетъ отправиться къ Ильинскимъ. Ка̀къ бы спровадить его, хоть бы это сто̀ило нѣкоторыхъ издержекъ — вотъ единственная мысль, которая занимала Обломова. Онъ молча и угрюмо ждалъ, что̀ скажетъ Тарантьевъ.

— Что̀ жъ ты, землякъ, не подумаешь взглянуть на квартиру?—спросилъ Тарантьевъ.

— Теперь это не нужно,—сказалъ Обломовъ, стараясь не глядѣть на Тарантьева.—Я... не переѣду туда.

— Что̀-о? Какъ не переѣдешь? — грозно возразилъ Тарантьевъ.—Нанялъ, да не переѣдешь? А контрактъ?

— Какой контрактъ?

— Ты ужъ и забылъ? Ты на годъ контрактъ подписалъ. Подай восемьсотъ рублей ассигнаціями, да и ступай куда хочешь. Четыре жильца смотрѣли, хотѣли нанять: всѣмъ отказали. Одинъ нанималъ на три года.

Обломовъ теперь только вспомнилъ, что въ самый день переѣзда на дачу Тарантьевъ привезъ ему бумагу, а онъ, второпяхъ, подписалъ не читая.

«Ахъ, Боже мой, что̀ я надѣлалъ!» думалъ онъ.

— Да мнѣ не нужна квартира,—говорилъ Обломовъ:—я ѣду за границу...

— За границу! — перебилъ Тарантьевъ. — Это съ этимъ нѣмцемъ? Да гдѣ тебѣ, не поѣдешь!

— Отчего не поѣду? У меня и паспортъ есть: вотъ я покажу. И чемоданъ купленъ.

— Не поѣдешь!—равнодушно повторилъ Тарантьевъ.—А ты, вотъ, лучше деньги-то за полгода впередъ отдай.

— У меня нѣтъ денегъ.

— Гдѣ хочешь достань; братъ кумы, Иванъ Матвѣичъ, шутить не любитъ. Сейчасъ въ управу подастъ: не раздѣлаешься. Да я свои заплатилъ, отдай мнѣ.

— Ты гдѣ взялъ столько денегъ?—спросилъ Обломовъ.

— А тебѣ что̀ за дѣло? Старый долгъ получилъ. Давай деньги! Я за тѣмъ пріѣхалъ.

— Хорошо, я на-дняхъ пріѣду и передамъ квартиру другому, а теперь я тороплюсь.

Онъ началъ застегивать сюртукъ.

— А какую тебѣ квартиру нужно? Лучше этой во всемъ

городѣ не найдешь. Вѣдь ты не видалъ? — сказалъ Тарантьевъ.

— Видѣть не хочу, — отвѣчалъ Обломовъ: — зачѣмъ я туда переѣду? Мнѣ далеко...

— Отъ чего? — грубо спросилъ Тарантьевъ.

Но Обломовъ не сказалъ, отъ чего.

— Отъ центра, — прибавилъ онъ потомъ.

— Отъ какого это центра? Зачѣмъ онъ тебѣ нуженъ? Лежать-то?

— Нѣтъ, ужъ я теперь не лежу.

— Что̀ такъ?

— Такъ. Я... сегодня... — началъ Обломовъ.

— Что̀? — перебилъ Тарантьевъ.

— Обѣдаю не дома...

Ты деньги-то подай, да и чортъ съ тобой!

— Какія деньги? — съ нетерпѣніемъ повторилъ Обломовъ. — Я на-дняхъ заѣду на квартиру, переговорю съ хозяйкой.

— Какая хозяйка? Кума-то? Что̀ она знаетъ? Баба! Нѣтъ, ты поговори съ ея братомъ — вотъ увидишь!

— Ну, хорошо; я заѣду и переговорю.

— Да̀, жди тебя! Ты отдай деньги, да и ступай.

— У меня нѣтъ; надо занять.

— Ну, такъ заплати же мнѣ теперь, по крайней мѣрѣ, за извозчика, — приставалъ Тарантьевъ: — три цѣлковыхъ.

— Гдѣ же твой извозчикъ? И за что̀ три цѣлковыхъ?

— Я отпустилъ его. Какъ за что̀? И то не хотѣлъ везти: «по песку-то?» говоритъ. Да отсюда три цѣлковыхъ — вотъ двадцать два рубля!

— Отсюда дилижансъ ходитъ за полтинникъ, — сказалъ Обломовъ: — на̀ вотъ!

Онъ досталъ ему четыре цѣлковыхъ. Тарантьевъ спряталъ ихъ въ карманъ.

— Семь рублей ассигнаціями за тобой,—прибавилъ онъ.— Да дай на обѣдъ!

— На какой обѣдъ?

— Я теперь въ городъ не поспѣю: на дорогѣ въ трактирѣ придется; тутъ все дорого: рублей пять сдерутъ.

Обломовъ молча вынулъ цѣлковый и бросилъ ему. Онъ не садился отъ нетерпѣнія, чтобъ Тарантьевъ ушелъ скорѣй; но тотъ не уходилъ.

— Вели же мнѣ дать чего-нибудь закусить, — сказалъ онъ.

— Вѣдь ты хотѣлъ въ трактирѣ обѣдать? — замѣтилъ Обломовъ.

— Это обѣдать! А теперь всего второй часъ.

Обломовъ велѣлъ Захару дать чего-нибудь.

— Ничего нѣту, не готовили, — сухо отозвался Захаръ, глядя мрачно на Тарантьева. — А что, Михей Андреичъ, когда принесете барскую рубашку да жилетъ?..

— Какой тебѣ рубашки да жилета? — отговаривался Тарантьевъ.—Давно отдалъ.

— Когда это?—спросилъ Захаръ.

— Да не тебѣ ли въ руки отдалъ, какъ вы переѣзжали? А ты куда-то сунулъ въ узелъ, да спрашиваешь еще...

Захаръ остолбенѣлъ.

— Ахъ, ты Господи! Что это, Илья Ильичъ, за срамъ такой!—возопилъ онъ, обратясь къ Обломову.

— Пой, пой эту пѣсню!—возразилъ Тарантьевъ. — Чай, пропилъ, да и спрашиваешь...

— Нѣтъ, я еще отъ роду барскаго не пропивалъ! — захрипѣлъ Захаръ.—Вотъ вы...

— Перестань, Захаръ!—строго перебилъ Обломовъ.

— Вы, что ли, увезли одну половую щетку, да двѣ чашки у насъ?—спросилъ опять Захаръ.

— Какія щетки?—загремѣлъ Тарантьевъ.—Ахъ, ты, старая шельма! Давай-ка лучше закуску!

— Слышите, Илья Ильичъ, какъ лается? — сказалъ Захаръ.—Нѣтъ закуски, даже хлѣба нѣтъ дома, и Анисья со двора ушла,—договорилъ онъ, и ушелъ.

— Гдѣ жъ ты обѣдаешь?—спросилъ Тарантьевъ.—Диво, право: Обломовъ гуляетъ въ рощѣ, не обѣдаетъ дома... Когда жъ ты на квартиру-то? Вѣдь осень на дворѣ. Пріѣзжай посмотрѣть.

— Хорошо, хорошо, на-дняхъ...

— Да деньги не забудь привезти!

— Да̀, да̀, да̀...—нетерпѣливо говорилъ Обломовъ.

— Ну, не нужно ли чего на квартирѣ? Тамъ, братъ, для тебя выкрасили полы и потолки, окна, двери—все: больше ста рублей сто̀итъ.

— Да̀, да̀, хорошо... Ахъ, вотъ что̀ я хотѣлъ тебѣ сказать,—вдругъ вспомнилъ Обломовъ:—сходи, пожалуйста, въ палату, нужно довѣренность засвидѣтельствовать...

— Что̀ я тебѣ за ходатай достался? — отозвался Тарантьевъ.

— Я тебѣ прибавлю на обѣдъ,—сказалъ Обломовъ.

— Туда сапогъ больше изобьешь, чѣмъ ты прибавишь.

— Ты поѣзжай, заплачу.

— Нельзя мнѣ въ палату идти, — мрачно проговорилъ Тарантьевъ.

— Отчего?

— Враги есть, злобствуютъ на меня, ковы строятъ, ка̀къ бы погубить.

— Ну, хорошо, я самъ съѣзжу, — сказалъ Обломовъ и взялся за фуражку.

— Вотъ, какъ пріѣдешь на квартиру, Иванъ Матвѣичъ тебѣ все сдѣлаетъ. Это, братъ, золотой человѣкъ, не чета какому-нибудь выскочкѣ-нѣмцу! Коренной, русскій служака, тридцать лѣтъ на одномъ стулѣ сидитъ, всѣмъ присутствіемъ вертитъ, и деньжонки есть, а извозчика не найметъ; фракъ не лучше моего; самъ тише воды, ниже травы, говоритъ

чуть слышно, по чужимъ краямъ не шатается, какъ твой этотъ...

— Тарантьевъ! — крикнулъ Обломовъ, стукнувъ по столу кулакомъ:—Молчи, чего не понимаешь!

Тарантьевъ выпучилъ глаза на эту, никогда небывалую, выходку Обломова, и даже забылъ обидѣться тѣмъ, что его поставили ниже Штольца.

— Вотъ какъ ты нынче, братъ...—бормоталъ онъ, взявъ шляпу:—какая прыть!

Онъ погладилъ свою шляпу рукавомъ, потомъ поглядѣлъ на нее и на шляпу Обломова, стоявшую на этажеркѣ.

— Ты не носишь шляпу, вонъ у тебя фуражка,—сказалъ онъ, взявъ шляпу Обломова и примѣривая ее: — дай-ка, братъ, на лѣто.

Обломовъ молча снялъ съ его головы свою шляпу и поставилъ на прежнее мѣсто, потомъ скрестилъ на груди руки и ждалъ, чтобъ Тарантьевъ ушелъ.

— Ну, чортъ съ тобой! — говорилъ Тарантьевъ, неловко пролѣзая въ дверь. — Ты, братъ, нынче что-то... того... Вотъ, поговори-ка съ Иваномъ Матвѣичемъ, да попробуй денегъ не привезти.

II.

Онъ ушелъ, а Обломовъ сѣлъ въ непріятномъ расположеніи духа въ кресло и долго-долго освобождался отъ грубаго впечатлѣнія. Наконецъ, онъ вспомнилъ нынѣшнее утро, и безобразное явленіе Тарантьева вылетѣло изъ головы; на лицѣ опять появилась улыбка.

Онъ стоялъ передъ зеркаломъ, долго поправлялъ галстукъ, долго улыбался, глядѣлъ на щеку, нѣтъ ли тамъ слѣда горячаго поцѣлуя Ольги.

— Два «никогда», — сказалъ онъ, тихо, радостно волнуясь: — и какая разница между ними: одно уже поблекло, а другое такъ пышно расцвѣло...

Потомъ онъ задумывался, задумывался все глубже. Онъ чувствовалъ, что свѣтлый, безоблачный праздникъ любви отошелъ, что любовь въ самомъ дѣлѣ становилась долгомъ, что она мѣшалась со всею жизнью, входила въ составъ ея обычныхъ отправленій и начинала линять, терять радужныя краски.

Можетъ-быть, сегодня утромъ мелькнулъ послѣдній розовый ея лучъ, а тамъ она будетъ уже—не блистать ярко, а согрѣвать невидимо жизнь; жизнь поглотитъ ее, и она будетъ ея сильною, конечно, но скрытою пружиной. И отнынѣ проявленія ея будутъ такъ просты, обыкновенны.

Поэма минуетъ и начнется строгая исторія: палата, потомъ поѣздка въ Обломовку, постройка дома, закладъ въ совѣтъ, проведеніе дороги, нескончаемый разборъ дѣлъ съ мужиками, порядокъ работъ, жнитво, умолотъ, щелканье счетовъ, заботливое лицо приказчика, дворянскіе выборы, засѣданіе въ судѣ.

Кое-гдѣ только, изрѣдка, блеснетъ взглядъ Ольги, прозвучитъ Casta diva, раздастся торопливый поцѣлуй, а тамъ опять на работы ѣхать, въ городъ ѣхать, тамъ опять приказчикъ, опять щелканье счетовъ.

Гости пріѣхали—и то не отрада: заговорятъ, сколько кто вина выкуриваетъ на заводѣ, сколько кто аршинъ сукна ставитъ въ казну... Что жъ это? Ужели то̀ сулилъ онъ себѣ? Развѣ это жизнь?.. А между тѣмъ живутъ такъ, какъ будто въ этомъ вся жизнь. И Андрею она нравится!

Но женитьба, свадьба — все-таки это поэзія жизни, это готовый, распустившійся цвѣтокъ. Онъ представилъ себѣ, ка̀къ онъ ведетъ Ольгу къ алтарю: она—съ померанцевой вѣткой на головѣ, съ длиннымъ покрываломъ. Въ толпѣ шопотъ удивленія. Она стыдливо, съ тихо волнующейся грудью, съ своей горделиво и граціозно-наклоненной головой, подаетъ ему руку и не знаетъ, ка̀къ ей глядѣть на всѣхъ.

То улыбка блеснетъ у ней, то слезы явятся, то складка надъ бровью заиграетъ какою-то мыслью.

Дома, когда гости уѣдутъ, она, еще въ пышномъ нарядѣ, бросается ему на грудь, какъ сегодня...

«Нѣтъ, побѣгу къ Ольгѣ, не могу думать и чувствовать одинъ», мечталъ онъ. «Разскажу всѣмъ, цѣлому свѣту... нѣтъ, сначала теткѣ, потомъ барону, напишу къ Штольцу—вотъ изумится-то! Потомъ скажу Захару: онъ поклонится въ ноги и завопитъ отъ радости, дамъ ему двадцать-пять рублей. Придетъ Анисья, будетъ руку ловить цѣловать: ей дамъ десять рублей; потомъ... потомъ, отъ радости, закричу на весь міръ, такъ закричу, что міръ скажетъ: «Обломовъ счастливъ, Обломовъ женится!» Теперь побѣгу къ Ольгѣ: тамъ ждетъ меня продолжительный шопотъ, таинственный уговоръ слить двѣ жизни въ одну!..»

Онъ побѣжалъ къ Ольгѣ. Она съ улыбкой выслушала его мечты; но только онъ вскочилъ, чтобъ бѣжать объявить теткѣ, у ней такъ сжались брови, что онъ струсилъ.

— Никому ни слова! — сказала она, приложивъ палецъ къ губамъ и грозя ему, чтобъ онъ тише говорилъ, чтобъ тетка не услыхала изъ другой комнаты.—Еще не пора!

— Когда же пора, если между нами все рѣшено? — нетерпѣливо спросилъ онъ. — Что жъ теперь дѣлать? Съ чего начать?—спрашивалъ онъ.—Не сидѣть же сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь...

— Да, начинается,—повторила она, глядя на него пристально.

— Ну, вотъ я и хотѣлъ сдѣлать первый шагъ, идти къ теткѣ...

— Это послѣдній шагъ.

— Какой же первый?

— Первый... идти въ палату: вѣдь надо какую-то бумагу писать?

— Да... я завтра...

— Отчего жъ не сегодня?

— Сегодня... сегодня такой день и уйти отъ тебя, Ольга!

— Ну, хорошо, завтра. А потомъ?

— Потомъ:—сказать теткѣ, написать къ Штольцу.

— Нѣтъ, потомъ ѣхать въ Обломовку... Вѣдь Андрей Иванычъ писалъ, что̀ надо дѣлать въ деревнѣ, я не знаю, какія тамъ у васъ дѣла, постройка, что̀ ли?—спросила она, глядя ему въ лицо.

— Боже мой! — говорилъ Обломовъ. — Да если слушать Штольца, такъ, вѣдь, до тетки вѣкъ дѣло не дойдетъ! Онъ говоритъ, что надо начать строить домъ, потомъ дорогу, школы заводить... Этого всего въ цѣлый вѣкъ не передѣлаешь. Мы, Ольга, вмѣстѣ поѣдемъ, и тогда...

— А куда мы пріѣдемъ? Есть тамъ домъ?

— Нѣтъ: — старый плохъ; крыльцо совсѣмъ, я думаю, расшаталось...

— Куда жъ мы пріѣдемъ?—спросила она.

— Надо здѣсь квартиру пріискать.

— Для этого тоже надо ѣхать въ городъ,—замѣтила она:— это второй шагъ...

— Потомъ...—началъ онъ.

— Да ты прежде шагни два раза, а тамъ.

«Что̀ жъ это такое?» печально думалъ Обломовъ: «ни продолжительнаго шопота, ни таинственнаго уговора слить обѣ жизни въ одну! Все какъ-то иначе, по-другому. Какая странная эта Ольга! Она не останавливается на одномъ мѣстѣ, не задумывается сладко надъ поэтической минутой, какъ будто у ней вовсе нѣтъ мечты, нѣтъ потребности утонуть въ раздумьѣ! Сейчасъ и поѣзжай въ палату, на квартиру—точно Андрей! Что̀ это всѣ они какъ будто сговорились торопиться жить!»

На другой день онъ, съ листомъ гербовой бумаги, отправился въ городъ, сначала въ палату, и ѣхалъ нехотя, зѣвая и глядя по сторонамъ. Онъ не зналъ хорошенько, гдѣ

палата, и заѣхалъ къ Ивану Герасимычу спросить, въ какомъ департаментѣ нужно засвидѣтельствовать.

Тотъ обрадовался Обломову и безъ завтрака не хотѣлъ отпустить. Потомъ послалъ еще за пріятелемъ, чтобъ допроситься отъ него, какъ это дѣлается, потому что самъ давно отсталъ отъ дѣлъ.

Завтракъ и совѣщаніе кончились въ три часа, въ палату идти было поздно, а завтра оказалась суббота—присутствія нѣтъ, пришлось отложить до понедѣльника.

Обломовъ отправился на Выборгскую Сторону, на новую свою квартиру. Долго онъ ѣздилъ между длинными заборами по переулкамъ. Наконецъ, отыскали будочника; тотъ сказалъ, что это въ другомъ кварталѣ, рядомъ, вотъ по этой улицѣ — и онъ показалъ еще улицу безъ домовъ, съ заборами, съ травой и съ засохшими колеями изъ грязи.

Опять поѣхалъ Обломовъ, любуясь на крапиву у заборовъ и на выглядывавшую изъ-за заборовъ рябину. Наконецъ, будочникъ указалъ на старый домикъ на дворѣ, прибавивъ:

— Вотъ этотъ самый.

«Домъ вдовы коллежскаго секретаря Пшеницына» прочиталъ Обломовъ на воротахъ и велѣлъ въѣхать на дворъ.

Дворъ величиной былъ съ комнату, такъ что коляска стукнула дышломъ въ уголъ и распугала кучу куръ, которыя, съ кудахтаньемъ, бросились стремительно, иныя даже въ-лётъ, въ разныя стороны; да большая черная собака начала рваться на цѣпи направо и налѣво, съ отчаяннымъ лаемъ, стараясь достать за морды лошадей.

Обломовъ сидѣлъ въ коляскѣ наравнѣ съ окнами и затруднялся выйти. Въ окнахъ, уставленныхъ резедой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обломовъ коекакъ вылѣзъ изъ коляски; собака пуще залилась лаемъ.

Онъ вошелъ на крыльцо и столкнулся съ сморщенной старухой, въ сарафанѣ, съ заткнутымъ за поясъ подоломъ.

— Вамъ кого?—спросила она.

— Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну.

Старуха потупила съ недоумѣніемъ голову.

— Не Ивана ли Матвѣича вамъ надо?—спросила она.— Его нѣтъ дома; онъ еще изъ должности не приходилъ.

— Мнѣ нужно хозяйку,—сказалъ Обломовъ.

Между тѣмъ въ домѣ суматоха продолжалась. То изъ одного, то изъ другого окна выглянетъ голова; сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась; оттуда выглядывали разныя лица.

Обломовъ обернулся: на дворѣ двое дѣтей, мальчикъ и дѣвочка, смотрятъ на него съ любопытствомъ.

Откуда-то появился сонный мужикъ въ тулупѣ и, загораживая рукой глаза отъ солнца, лѣниво смотрѣлъ на Обломова и на коляску.

Собака все лаяла густо и отрывисто, и только Обломовъ пошевелится, или лошадь стукнетъ копытомъ, начиналось скаканье на цѣпи и непрерывный лай.

Черезъ заборъ, направо, Обломовъ видѣлъ безконечный огородъ съ капустой, налѣво, черезъ заборъ, видно было нѣсколько деревьевъ и зеленая деревянная бесѣдка.

— Вамъ Агаѳью Матвѣвну надо?—спросила старуха.— Зачѣмъ?

— Скажи хозяйкѣ дома, — говорилъ Обломовъ: — что я хочу съ ней видѣться: я нанялъ здѣсь квартиру.

— Вы, стало-быть, новый жилецъ, знакомый Михея Андреича? Вотъ погодите, я скажу.

Она отворила дверь, и отъ двери отскочило нѣсколько головъ и бросилось бѣгомъ въ комнаты. Онъ успѣлъ увидѣть какую-то женщину, съ голой шеей и локтями, безъ чепца, бѣлую, довольно полную, которая усмѣхнулась, что ее увидѣлъ посторонній, и тоже бросилась отъ дверей прочь.

— Пожалуйте въ комнату, — сказала старуха, воротясь, ввела Обломова, чрезъ маленькую переднюю, въ довольно

просторную комнату и попросила подождать.—Хозяйка сейчасъ выйдетъ,—прибавила она.

«А собака-то все еще лаетъ», подумалъ Обломовъ, оглядывая комнату.

Вдругъ глаза его остановились на знакомыхъ предметахъ: вся комната завалена была его добромъ. Столы въ пыли; стулья, грудой наваленные на кровать; тюфяки, посуда въ безпорядкѣ, шкапы.

— Что̀ жъ это? И не разставлено, не прибрано? — сказалъ онъ.—Какая гадость!

Вдругъ сзади его скрипнула дверь, и въ комнату вошла та самая женщина, которую онъ видѣлъ съ голой шеей и локтями.

Ей было лѣтъ тридцать. Она была очень бѣла и полна въ лицѣ, такъ что румянецъ, кажется, не могъ пробиться сквозь щеки. Бровей у нея почти совсѣмъ не было, а были на ихъ мѣстахъ двѣ немного будто припухлыя, лоснящіяся полосы, съ рѣдкими свѣтлыми волосами. Глаза сѣровато-простодушные, какъ и все выраженіе лица; руки бѣлыя но жесткія, съ выступившими наружу крупными узлами синихъ жилъ.

Платье сидѣло на ней въ обтяжку: видно, что она не прибѣгала ни къ какому искусству, даже къ лишней юбкѣ, чтобъ увеличить объемъ бедръ и уменьшить талію. Отъ этого, даже и закрытый бюстъ ея, когда она была безъ платка, могъ бы послужить живописцу, или скульптору моделью крѣпкой, здоровой груди, не нарушая ея скромности. Платье ея, въ отношеніи къ нарядной шали и парадному чепцу, казалось старо и поношено.

Она не ожидала гостей, и когда Обломовъ пожелалъ ее видѣть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцомъ. Она вошла робко и остановилась, глядя застѣнчиво на Обломова.

Онъ привсталъ и поклонился.

— Я имѣю удовольствіе видѣть госпожу Пшеницыну? — спросилъ онъ.

— Да-съ,—отвѣчала она.—Вамъ, можетъ-быть, нужно съ братцемъ поговорить? — нерѣшительно спросила она. — Они въ должности, раньше пяти часовъ не приходятъ.

— Нѣтъ, я съ вами хотѣлъ видѣться, — началъ Обломовъ, когда она сѣла на диванъ, какъ можно дальше отъ него, и смотрѣла на концы своей шали, которая, какъ попона, покрывала ее до полу. Руки она прятала тоже подъ шаль.

— Я нанялъ квартиру; теперь, по обстоятельствамъ, мнѣ надо искать квартиру въ другой части города, такъ я пришелъ поговорить съ вами...

Она тупо выслушала и тупо задумалась.

— Теперь братца нѣтъ,—сказала она потомъ.

— Да вѣдь этотъ домъ вашъ?—спросилъ Обломовъ.

— Мой,—коротко отвѣчала она.

— Такъ я и думалъ, что вы сами можете рѣшить...

— Да вотъ братца-то нѣтъ; они у насъ всѣмъ завѣдываютъ,—сказала она монотонно, взглянувъ въ первый разъ на Обломова прямо и опустивъ опять глаза на шаль.

«У ней простое, но пріятное лицо», снисходительно рѣшилъ Обломовъ: «должно-быть, добрая женщина!»

Въ это время голова дѣвочки высунулась изъ двери. Агаѳья Матвѣевна съ угрозой, украдкой, кивнула ей головой, и она скрылась.

— А гдѣ вашъ братецъ служитъ?

— Въ канцеляріи.

— Въ какой?

— Гдѣ мужиковъ записываютъ... я не знаю, какъ она называется.

Она простодушно усмѣхнулась, и въ ту жъ минуту опять лицо ея приняло свое обыкновенное выраженіе.

— Вы не однѣ живете здѣсь съ братцемъ? — спросилъ Обломовъ.

— Нѣтъ, двое дѣтей со мной, отъ покойнаго мужа: мальчикъ по восьмому году, да дѣвочка по шестому, — довольно словоохотливо начала хозяйка, и лицо у ней стало поживѣе: — еще бабушка наша, больная, еле ходитъ, и то въ церковь только; прежде на рынокъ ходила съ Акулиной, а теперь съ Николы перестала: ноги стали отекать. И въ церкви-то все больше сидитъ на ступенькѣ. Вотъ и только. Иной разъ золовка приходитъ погостить, да Михей Андреичъ.

— А Михей Андреичъ часто бываетъ у васъ?—спросилъ Обломовъ.

— Иногда по мѣсяцу гоститъ; они съ братцемъ пріятели, все вмѣстѣ...

И замолчала, истощивъ весь запасъ мыслей и словъ.

— Какая тишина у васъ здѣсь! — сказалъ Обломовъ. — Если бъ не лаяла собака, такъ можно бы подумать, что нѣтъ ни одной живой души.

Она усмѣхнулась въ отвѣтъ.

— Вы часто выходите со двора?—спросилъ Обломовъ.

— Лѣтомъ случается. Вотъ намедни, въ ильинскую пятницу, на Пороховые Заводы ходили.

— Что жъ, тамъ много бываетъ? — спросилъ Обломовъ, глядя, чрезъ распахнувшійся платокъ, на высокую, крѣпкую, какъ подушка дивана, никогда не волнующуюся грудь.

— Нѣтъ, нынѣшній годъ немного было; съ утра дождь шелъ, а послѣ разгулялось. А то много бываетъ.

— Еще гдѣ же бываете вы?

— Мы мало гдѣ бываемъ. Братецъ съ Михеемъ Андреичемъ на тоню ходятъ, уху тамъ варятъ, а мы все дома.

— Ужели все дома?

— Ей-Богу, правда. Въ прошломъ году были въ Колпинѣ, да вотъ тутъ въ рощу иногда ходимъ. 24 іюня братецъ

именинники, такъ обѣдъ бываетъ, всѣ чиновники изъ канцеляріи обѣдаютъ.

— А въ гости ѣздите?

— Братецъ бываютъ, а я, съ дѣтьми, только у мужниной родни, въ Свѣтлое Воскресенье, да въ Рождество, обѣдаемъ.

Говорить ужъ было больше не о чемъ.

— У васъ цвѣты: вы любите ихъ?—спросилъ онъ.

Она усмѣхнулась.

— Нѣтъ, — сказала она: — намъ нѐкогда цвѣтами заниматься. Это дѣти съ Акулиной ходили въ графскій садъ, такъ садовникъ далъ, а герани, да алоэ давно тутъ еще при мужѣ были.

Въ это время вдругъ въ комнату ворвалась Акулина; въ рукахъ у ней бился крыльями и кудахталъ, въ отчаяніи, большой пѣтухъ.

— Этого, что̀ ли, пѣтуха, Агаѳья Матвѣвна, лавочнику отдать?—спросила она.

— Что̀ ты, что̀ ты! Поди!—сказала хозяйка стыдливо.— Ты видишь, гости!

— Я только спросить,—говорила Акулина, взявъ пѣтуха за ноги, головой внизъ:—семьдесятъ копеекъ даетъ.

— Поди, поди въ кухню!—говорила Агаѳья Матвѣевна.— Сѣраго съ крапинками, а не этого,—торопливо прибавила она, и сама застыдилась, спрятала руки подъ шаль и стала смотрѣть внизъ.

— Хозяйство!—сказалъ Обломовъ.

— Да, у насъ много куръ; мы продаемъ яйца и цыплятъ. Здѣсь, по этой улицѣ, съ дачъ и изъ графскаго дома все у насъ берутъ,—отвѣчала она, поглядѣвъ гораздо смѣлѣе на Обломова.

И лицо ея принимало дѣльное и заботливое выраженіе; даже тупость пропадала, когда она заговаривала о знакомомъ ей предметѣ. На всякій же вопросъ, не касавшійся

какой-нибудь положительной, извѣстной ей цѣли, она отвѣчала усмѣшкой и молчаніемъ.

— Надо бы было это разобрать, — замѣтилъ Обломовъ, указывая на кучу своего добра...

— Мы-было хотѣли, да братецъ не велятъ,—живо перебила она и ужъ совсѣмъ смѣло взглянула на Обломова:— «Богъ знаетъ, что̀ у него тамъ въ столахъ, да въ шкапахъ...» сказали они: «послѣ пропадетъ—къ намъ привяжутся...»

Она остановилась и усмѣхнулась.

— Какой осторожный вашъ братецъ, — прибавилъ Обломовъ.

Она слегка опять усмѣхнулась и опять приняла свое обычное выраженіе.

Усмѣшка у ней была больше принятая форма, которою прикрывалось незнаніе, что̀ въ томъ или другомъ случаѣ надо сказать или сдѣлать.

— Мнѣ долго ждать его прихода,—сказалъ Обломовъ:— можетъ-быть, вы передадите ему, что, по обстоятельствамъ, я въ квартирѣ надобности не имѣю и потому прошу передать ее другому жильцу, а я, съ своей стороны, тоже поищу охотника.

Она тупо слушала, ровно мигая глазами.

— Насчетъ контракта потрудитесь сказать...

— Да нѣтъ ихъ дома-то теперь, — твердила она: — вы лучше завтра опять пожалуйте: завтра суббота, они въ присутствіе не ходятъ...

— Я ужасно занятъ, ни минуты свободной нѣтъ, — отговаривался Обломовъ.—Вы потрудитесь только сказать, что такъ какъ задатокъ остается въ вашу пользу, а жильца я найду, то...

— Нѣту братца-то,—монотонно говорила она:—нейдутъ они что-то...—И поглядѣла на улицу.—Вотъ они тутъ проходятъ, мимо оконъ: видно, когда идутъ, да вотъ нѣту!

— Ну, я отправлюсь...—сказалъ Обломовъ.

— А какъ братецъ-то придутъ, что̀ сказать имъ: когда вы переѣдете?—спросила она, вставъ съ дивана.

— Вы имъ передайте, что̀ я просилъ, — говорилъ Обломовъ:—что по обстоятельствамъ...

— Вы бы завтра сами пожаловали, да поговорили съ ними...—повторила она.

— Завтра мнѣ нельзя.

— Ну, послѣзавтра, въ воскресенье: послѣ обѣдни у насъ водка и закуска бываетъ. И Михей Андреичъ приходитъ.

— Ужели и Михей Андреичъ приходитъ? — спросилъ Обломовъ.

— Ей-Богу правда,—прибавила она.

— И послѣзавтра мнѣ нельзя, — отговаривался съ нетерпѣніемъ Обломовъ.

— Такъ ужъ на той недѣлѣ...—замѣтила она.— А когда переѣзжать-то станете? Я бы полы велѣла вымыть и пыль стереть,—спросила она.

— Я не переѣду,—сказалъ онъ.

— Какъ же? А вещи-то куда же мы дѣнемъ?

— Вы потрудитесь сказать братцу, — началъ говорить Обломовъ разстановисто, упирая глаза ей прямо въ грудь:— что по обстоятельствамъ...

— Да вотъ долго нейдутъ что-то, не видать, — сказала она монотонно, глядя на заборъ, отдѣлявшій улицу отъ двора. — Я знаю и шаги ихъ; по деревянной мостовой слышно, ка̀къ кто идетъ. Здѣсь мало ходятъ...

— Такъ вы передадите ему что̀ я васъ просилъ? — кланяясь и уходя говорилъ Обломовъ.

— Вотъ черезъ полчаса они сами будутъ... — съ несвойственнымъ ей безпокойствомъ говорила хозяйка, стараясь какъ будто голосомъ удержать Обломова.

— Я больше не могу ждать, — рѣшилъ онъ, отворяя дверь.

Собака, увидя его на крыльцѣ, залилась лаемъ и начала

опять рваться съ цѣпи. Кучеръ, спавшій, опершись на локоть, началъ пятить лошадей; куры опять, въ тревогѣ, побѣжали въ разныя стороны; въ окно выглянуло нѣсколько головъ.

— Такъ я скажу братцу, что вы были, — въ безпокойствѣ прибавила хозяйка, когда Обломовъ усѣлся въ коляску.

— Да, и скажите, что я, по обстоятельствамъ, не могу оставить квартиры за собой и что передамъ ее другому, или чтобъ онъ... поискалъ...

— Объ эту пору они всегда приходятъ...—говорила она, слушая его разсѣянно. — Я скажу имъ, что вы хотѣли побывать.

— Да, на-дняхъ я заѣду,—сказалъ Обломовъ.

При отчаянномъ лаѣ собаки, коляска выѣхала со двора и пошла колыхаться по засохшимъ кочкамъ немощенаго переулка.

Въ концѣ его показался какой-то, одѣтый въ поношенное пальто человѣкъ, среднихъ лѣтъ, съ большимъ бумажнымъ пакетомъ подъ мышкой, съ толстой палкой и въ резиновыхъ калошахъ, несмотря на сухой и жаркій день.

Онъ шелъ скоро, смотрѣлъ по сторонамъ и ступалъ такъ, какъ будто хотѣлъ продавить деревянный тротуаръ. Обломовъ оглянулся ему вслѣдъ и видѣлъ, что онъ завернулъ въ ворота къ Пшеницыной.

«Вонъ, должно-быть, и братецъ пришли!» заключилъ онъ: «Да чортъ съ нимъ! Еще протолкуешь съ часъ, а мнѣ и ѣсть хочется, и жарко! Да и Ольга ждетъ меня... До другого раза!»

— Ступай скорѣй!—сказалъ онъ кучеру.

«А квартиру другую посмотрѣть?» вдругъ вспомнилъ онъ, глядя по сторонамъ, на заборы. «Надо опять назадъ, въ Морскую или въ Конюшенную... До другого раза!» рѣшилъ онъ.

— Пошелъ скорѣй!

III.

Въ концѣ августа пошли дожди и на дачахъ задымились трубы, гдѣ были печи, а гдѣ ихъ не было, тамъ жители ходили съ подвязанными щеками, и наконецъ, мало-по-малу, дачи опустѣли.

Обломовъ не казалъ глазъ въ городъ, и въ одно утро мимо его оконъ повезли и понесли мебель Ильинскихъ. Хотя ужъ ему не казалось теперь подвигомъ переѣхать съ квартиры, пообѣдать гдѣ-нибудь мимоходомъ и не прилечь цѣлый день, но онъ не зналъ, гдѣ и на ночь приклонить голову.

Оставаться на дачѣ одному, когда опустѣлъ паркъ и роща, когда закрылись ставни оконъ Ольги, казалось ему рѣшительно невозможно.

Онъ прошелся по ея пустымъ комнатамъ, обошелъ паркъ, сошелъ съ горы, и сердце тѣснила ему грусть.

Онъ велѣлъ Захару и Анисьѣ ѣхать на Выборгскую Сторону, гдѣ рѣшился оставаться до пріисканія новой квартиры, а самъ уѣхалъ въ городъ, отобѣдалъ наскоро въ трактирѣ и вечеръ просидѣлъ у Ольги.

Но осенніе вечера въ городѣ не походили на длинные, свѣтлые дни и вечера въ паркѣ и рощѣ. Здѣсь онъ ужъ не могъ видѣть ее по три раза въ день; здѣсь ужъ не прибѣжитъ къ нему Катя и не пошлетъ онъ Захара съ запиской за пять верстъ. И вся эта лѣтняя, цвѣтущая поэма любви какъ будто остановилась, пошла лѣнивѣе, какъ будто не хватило въ ней содержанія.

Они иногда молчали по получасу. Ольга углубится въ работу, считаетъ про себя иглой клѣтки узора, а онъ углубится въ хаосъ мыслей и живетъ впереди, гораздо дальше настоящаго момента.

Только иногда, вглядываясь пристально въ нее, онъ вздрогнетъ страстно, или она взглянетъ на него мимохо-

домъ и улыбнется, уловивъ лучъ нѣжной покорности, безмолвнаго счастья въ его глазахъ.

Три дня сряду ѣздилъ онъ въ городъ къ Ольгѣ и обѣдалъ у нихъ, подъ предлогомъ, что у него тамъ еще не устроено, что на этой недѣлѣ онъ съѣдетъ, и оттого не располагается на новой квартирѣ, какъ дома.

Но на четвертый день ему ужъ казалось неловко придти, и онъ, побродивъ около дома Ильинскихъ, со вздохомъ поѣхалъ домой.

На пятый день они не обѣдали дома.

На шестой Ольга сказала ему, чтобъ онъ пришелъ въ такой-то магазинъ, что она будетъ тамъ, а потомъ онъ можетъ проводить ее до дома пѣшкомъ, а экипажъ будетъ ѣхать сзади.

Все это было неловко; попадались ему и ей знакомые, кланялись, нѣкоторые останавливались поговорить.

— Ахъ, ты Боже мой, какая мука!—говорилъ онъ весь въ поту отъ страха и неловкаго положенія.

Тетка тоже глядитъ на него своими томными большими глазами и задумчиво нюхаетъ свой спиртъ, какъ будто у нея отъ него болитъ голова. А ѣздить ему какая даль! Ѣдешь, ѣдешь съ Выборгской Стороны да вечеромъ назадъ— три часа.

— Скажемъ теткѣ, — настаивалъ Обломовъ: — тогда я могу оставаться у васъ съ утра, и никто не будетъ говорить...

— А ты въ палатѣ былъ?—спросила Ольга.

Обломова такъ и подмывало сказать: «былъ и все сдѣлалъ», да онъ знаетъ, что Ольга взглянетъ на него такъ пристально, что прочтетъ сейчасъ ложь на лицѣ. Онъ вздохнулъ въ отвѣтъ.

— Ахъ, если бъ ты знала, какъ это трудно! — говорилъ онъ.

— А говорилъ съ братомъ хозяйки? Пріискалъ квартиру?—спросила она потомъ, не поднимая глазъ.

— Его никогда утромъ дома нѣтъ, а вечеромъ я все здѣсь, — сказалъ Обломовъ, обрадовавшись, что есть достаточная отговорка.

Теперь Ольга вздохнула, но не сказала ничего.

— Завтра непремѣнно поговорю съ хозяйскимъ братомъ,—успокаивалъ ее Обломовъ:—завтра воскресенье, онъ въ присутствіе не пойдетъ.

— Пока это все не устроится,—сказала задумчиво Ольга:—говорить ma tante нельзя, и видѣться надо рѣже...

— Да, да... правда,—струсивъ, прибавилъ Обломовъ.

— Ты обѣдай у насъ въ воскресенье, въ нашъ день, а потомъ хоть въ среду, одинъ,—рѣшила она.—А потомъ мы можемъ видѣться въ театрѣ: ты будешь знать, когда мы ѣдемъ, и тоже поѣзжай.

— Да, это правда,—говорилъ онъ, обрадованный, что она попеченіе о порядкѣ свиданій взяла на себя.

— Если жъ выдастся хорошій день,—заключила она:—я поѣду въ Лѣтній Садъ гулять, и ты можешь придти туда; это напомнитъ намъ паркъ... паркъ! — повторила она съ чувствомъ.

Онъ молча поцѣловалъ у ней руку и простился съ ней до воскресенья. Она уныло проводила его глазами, потомъ сѣла за фортепіано и вся погрузилась въ звуки. Сердце у ней о чемъ-то плакало, плакали и звуки. Хотѣла пѣть—не поется!

На другой день Обломовъ всталъ и надѣлъ свой дикій сюртучокъ, что носилъ на дачѣ. Съ халатомъ онъ простился давно и велѣлъ его спрятать въ шкапъ.

Захаръ, по обыкновенію, колебля подносомъ, неловко подходилъ къ столу съ кофе и кренделями. Сзади Захара, по обыкновенію, высовывалась до половины изъ двери Анисья, приглядывая, донесетъ ли Захаръ чашки до стола, и тот-

часъ, безъ шума, пряталась, если Захаръ ставилъ подносъ благополучно на столъ, или стремительно подскакивала къ нему, если съ подноса падала одна вещь, чтобъ удержать остальныя. Причемъ Захаръ разразится бранью сначала на вещи, потомъ на жену, и замахнется локтемъ ей въ грудь.

— Какой славный кофе! Кто это варитъ?—спросилъ Обломовъ.

— Сама хозяйка,—сказалъ Захаръ:—шестой день, все она. «Вы», говоритъ, «много цикорію кладете, да не доваривaете. Дайте-ко я!»

— Славный,—повторилъ Обломовъ, наливая другую чашку.—Поблагодари ее.

— Вонъ она сама,—говорилъ Захаръ, указывая на полуотворенную дверь боковой комнаты.—Это у нихъ буфетъ, что̀ ли; она тутъ и работаетъ, тутъ у нихъ чай, сахаръ, кофе лежитъ, и посуда.

Обломову видна была только спина хозяйки, затылокъ и часть бѣлой шеи, да голые локти.

— Что̀ это она тамъ локтями-то такъ живо ворочаетъ?—спросилъ Обломовъ.

— Кто ее знаетъ! Кружева, что̀ ли, гладитъ.

Обломовъ слѣдилъ, ка̀къ ворочались локти, ка̀къ спина нагибалась и выпрямлялась опять.

Внизу, когда она нагибалась, видны были чистая юбка, чистые чулки и круглыя, полныя ноги.

«Чиновница, а локти хоть бы графинѣ какой-нибудь; еще съ ямочками!» подумалъ Обломовъ.

Въ полдень Захаръ пришелъ спросить, не угодно ли попробовать ихъ пирога: хозяйка велѣла предложить.

— Сегодня воскресенье, у нихъ пирогъ пекутъ.

— Ну, ужъ, я думаю, хорошъ пирогъ! — небрежно сказалъ Обломовъ.—Съ лукомъ, да съ морковью...

— Пирогъ не хуже нашихъ обломовскихъ,—замѣтилъ Захаръ:—съ цыплятами и съ свѣжими грибами.

— Ахъ, это хорошо должно-быть: принеси! Кто жъ у нихъ печетъ? Эта грязная баба-то?

— Куда ей! — съ презрѣніемъ сказалъ Захаръ. — Кабы не хозяйка, такъ она и опары поставить не умѣетъ. Хозяйка сама все на кухнѣ. Пирогъ-то онѣ съ Анисьей вдвоемъ испекли.

Чрезъ пять минутъ изъ боковой комнаты высунулась къ Обломову голая рука, едва прикрытая видѣнною уже имъ шалью, съ тарелкой, на которой дымился, испуская горячій паръ, огромный кусокъ пирога.

— Покорно благодарю, — ласково отозвался Обломовъ, принимая пирогъ, и, заглянувъ въ дверь, уперся взглядомъ въ высокую грудь и голыя плечи.

Дверь торопливо затворилась.

— Водки не угодно ли?—спросилъ голосъ.

— Я не пью; покорно благодарю, еще ласковѣе сказалъ Обломовъ:—у васъ какая?

— Своя, домашняя:- сами настаиваемъ на смородинномъ листу,—говорилъ голосъ.

— Я никогда не пивалъ на смородинномъ листу, позвольте попробовать!

Голая рука опять просунулась съ тарелкой и рюмкой водки. Обломовъ выпилъ: ему очень понравилась.

— Очень благодаренъ,—говорилъ онъ, стараясь заглянуть въ дверь, но дверь захлопнулась.

— Что̀ вы не дадите на себя взглянуть, пожелать вамъ добраго утра?—упрекнулъ Обломовъ.

Хозяйка усмѣхнулась за дверью.

— Я еще въ будничномъ платьѣ, все на кухнѣ была. Сейчасъ одѣнусь; братецъ скоро отъ обѣдни придутъ, — отвѣчала она.

— Ахъ, à propos о братцѣ, — замѣтилъ Обломовъ: — мнѣ надо съ нимъ поговорить. Попросите его зайти ко мнѣ.

— Хорошо, я скажу, какъ они придутъ.

— А кто это у васъ кашляетъ? Чей это такой сухой кашель? — спросилъ Обломовъ.

— Это бабушка; ужъ она у насъ восьмой годъ кашляетъ.

И дверь захлопнулась.

«Какая она... простая», подумалъ Обломовъ: «а есть въ ней, что-то такое... И держитъ себя чисто!»

До сихъ поръ онъ съ «братцемъ» хозяйки еще не успѣлъ познакомиться. Онъ видѣлъ только, и то рѣдко, съ постели, какъ, рано утромъ, мелькалъ сквозь рѣшётку забора человѣкъ, съ большимъ бумажнымъ пакетомъ подъ мышкой, и пропадалъ въ переулкѣ, и потомъ, въ пять часовъ, мелькалъ опять, съ тѣмъ же пакетомъ, мимо оконъ, возвращаясь, тотъ же человѣкъ и пропадалъ за крыльцомъ. Его въ домѣ не было слышно.

А между тѣмъ замѣтно было, что тамъ жили люди, особенно по утрамъ: на кухнѣ стучатъ ножи, слышно въ окно, какъ полощетъ баба что-то въ углу, какъ дворникъ рубитъ дрова, или везетъ на двухъ колесахъ боченокъ съ водой; за стѣной плачутъ ребятишки, или раздается упорный, сухой кашель старухи.

У Обломова было четыре комнаты, то-есть вся парадная амфилада. Хозяйка съ семействомъ помѣщалась въ двухъ непарадныхъ комнатахъ, а братецъ жилъ вверху, въ такъ-называемой свѣтелкѣ.

Кабинетъ и спальня Обломова обращены были окнами на дворъ, гостиная къ садику, а зала къ большому огороду, съ капустой и картофелемъ. Въ гостиной окна были драпированы ситцевыми полинявшими занавѣсками.

По стѣнамъ жались простые, подъ орѣхъ, стулья; подъ зеркаломъ стоялъ ломберный столъ; на окнахъ тѣснились

горшки съ еранью и бархатцами и висѣли четыре клѣтки, съ чижами и канарейками.

Братецъ вошелъ на цыпочкахъ и отвѣчалъ троекратнымъ поклономъ на привѣтствіе Обломова. Вицмундиръ на немъ былъ застегнутъ на всѣ пуговицы, такъ что нельзя было узнать, есть ли на немъ бѣлье, или нѣтъ; галстукъ завязанъ простымъ узломъ и концы спрятаны внизъ.

Онъ былъ лѣтъ сорока, съ прямымъ хохломъ на лбу и двумя небрежно на вѣтеръ пущенными такими же хохлами на вискахъ, похожими на собачьи уши средней величины. Сѣрые глаза не вдругъ глядѣли на предметъ, а сначала взглядывали украдкой, а во второй разъ ужъ останавливались.

Рукъ своихъ онъ какъ будто стыдился, и когда говорилъ, то старался прятать, или обѣ за спину, или одну за пазуху, а другую за спину. Подавая начальнику бумагу и объясняясь, онъ одну руку держалъ на спинѣ, а среднимъ пальцемъ другой руки, ногтемъ внизъ, осторожно показывалъ какую-нибудь строку, или слово, и, показавъ, тотчасъ пряталъ руку назадъ, можетъ-быть, оттого, что пальцы были толстоваты, красноваты и немного тряслись, и ему не безъ причины казалось несовсѣмъ приличнымъ выставлять ихъ часто напоказъ.

— Вы изволили, — началъ онъ, бросивъ свой двойной взглядъ на Обломова:—приказать мнѣ придти къ себѣ.

— Да, я хотѣлъ поговорить съ вами насчетъ квартиры. Прошу садиться!—вѣжливо отвѣчалъ Обломовъ.

Иванъ Матвѣичъ, послѣ двукратнаго приглашенія, рѣшился сѣсть, перегнувшись тѣломъ впередъ и поджавъ руки въ рукава.

— По обстоятельствамъ, я долженъ пріискать себѣ другую квартиру,—сказалъ Обломовъ:—поэтому желалъ бы эту передать.

— Теперь трудно передать, — кашлянувъ въ пальцы и

проворно спрятавъ ихъ въ рукавъ, отозвался Иванъ Матвѣевичъ:—если бъ въ концѣ лѣта пожаловали, тогда много ходили смотрѣть.

— Я былъ, да васъ не было,—перебилъ Обломовъ.

— Сестра сказывала,—прибавилъ чиновникъ.—Да вы не безпокойтесь насчетъ квартиры: здѣсь вамъ будетъ удобно. Можетъ-быть, птица васъ безпокоитъ?

— Какая птица?

— Куры-съ.

Обломовъ, хотя слышалъ постоянно съ ранняго утра подъ окнами тяжелое кудахтанье насѣдки и пискъ цыплятъ, но до того ли ему? Передъ нимъ носился образъ Ольги, и онъ едва замѣчалъ окружающее.

— Нѣтъ, это ничего,—сказалъ онъ:—я думалъ, вы говорите о канарейкахъ: онѣ съ утра начинаютъ трещать.

— Мы ихъ вынесемъ,—отвѣчалъ Иванъ Матвѣевичъ.

— И это ничего,—замѣтилъ Обломовъ:—но мнѣ, по обстоятельствамъ, нельзя оставаться.

— Какъ угодно-съ, — отвѣчалъ Иванъ Матвѣевичъ. — А если не пріищете жильца, какъ же насчетъ контракта? Сдѣлаете удовлетвореніе?.. Вамъ убытокъ будетъ.

— А сколько тамъ слѣдуетъ?—спросилъ Обломовъ.

— Да вотъ я принесу расчетъ.

Онъ принесъ контрактъ и счеты.

— Вотъ-съ, за квартиру восемьсотъ рублей ассигнаціями, сто рублей получено задатку, осталось семьсотъ рублей,—сказалъ онъ.

— Да неужели вы съ меня за цѣлый годъ хотите взять, когда я у васъ и двухъ недѣль не прожилъ?—перебилъ его Обломовъ.

— Какъ же-съ?—кротко и совѣстливо возразилъ Иванъ Матвѣевичъ.—Сестра убытокъ понесетъ несправедливо. Она бѣдная вдова, живетъ только тѣмъ, что съ дома получитъ;

да развѣ на цыплятахъ и яйцахъ выручитъ кое-что на одёжонку ребятишкамъ.

— Помилуйте, я не могу,—заговорилъ Обломовъ:—посудите, я не прожилъ двухъ недѣль. Что же это, за что?

— Вотъ-съ, въ контрактѣ сказано, — говорилъ Иванъ Матвѣевичъ, показывая среднимъ пальцемъ двѣ строки и спрятавъ палецъ въ рукавъ:—извольте прочесть: «Буде же я, Обломовъ, пожелаю прежде времени съѣхать съ квартиры, то обязанъ передать ее другому лицу, на тѣхъ же условіяхъ, или, въ противномъ случаѣ, удовлетворить ее, Пшеницыну, сполна платою за весь годъ, по первое іюня будущаго года», прочиталъ Обломовъ.

— Какъ же это?—говорилъ онъ.—Это несправедливо.

— По закону такъ-съ,—замѣтилъ Иванъ Матвѣевичъ.—Сами изволили подписать: вотъ подпись-съ!

Опять появился палецъ подъ подписью, и опять спрятался.

— Сколько же?—спросилъ Обломовъ.

— Семьсотъ рублей, — началъ щелкать тѣмъ же пальцемъ Иванъ Матвѣевичъ, подгибая его всякій разъ проворно въ кулакъ:—да за конюшню и сарай сто-пятьдесятъ рублей.

И онъ щелкнулъ еще.

— Помилуйте, у меня лошадей нѣтъ, я не держу: зачѣмъ мнѣ конюшня и сарай?—съ живостью возразилъ Обломовъ.

— Въ контрактѣ есть-съ, — замѣтилъ, показывая пальцемъ строку, Иванъ Матвѣевичъ.—Михей Андреичъ сказывалъ, что у васъ лошади будутъ.

— Вретъ Михей Андреичъ! — съ досадой сказалъ Обломовъ.—Дайте мнѣ контрактъ!

— Вотъ-съ, копію извольте получить, а контрактъ принадлежитъ сестрѣ, — мягко отозвался Иванъ Матвѣевичъ, взявъ контрактъ въ руку.—Сверхъ того, за огородъ и про-

довольствіе изъ онаго капустой, рѣпой и прочими овощами, считая на одно лицо, — читалъ Иванъ Матвѣевичъ: — примѣрно, двѣсти-пятьдесятъ рублей...

И онъ хотѣлъ щелкнуть на счетахъ.

— Какой огородъ? Какая капуста? Я и знать не знаю, что̀ вы!—почти грозно возражалъ Обломовъ.

— Вотъ-съ, въ контрактѣ: Михей Андреичъ сказали, что вы съ тѣмъ нанимаете...

— Что̀ же это такое, что вы безъ меня моимъ столомъ распоряжаетесь? Я не хочу ни капусты, ни рѣпы...—говорилъ Обломовъ, вставая.

И Иванъ Матвѣевичъ всталъ со стула.

— Помилуйте, какъ можно безъ васъ: вотъ подпись есть!—возразилъ онъ.

И опять толстый палецъ трясся на подписи, и вся бумага тряслась въ его рукѣ.

— Сколько всего считаете вы? — нетерпѣливо спросилъ Обломовъ.

— Еще за окраску потолка и дверей, за передѣлку оконъ въ кухнѣ, за новые пробои къ дверямъ — сто пятьдесятъ четыре рубля двадцать восемь копеекъ ассигнаціями.

— Какъ, и это на мой счетъ?—съ изумленіемъ спросилъ Обломовъ.—Это всегда на счетъ хозяина дѣлается. Кто же переѣзжаетъ въ неотдѣланную квартиру?..

— Вотъ-съ, въ контрактѣ сказано, что на вашъ счетъ,—сказалъ Иванъ Матвѣевичъ, издали показывая пальцемъ въ бумагѣ, гдѣ это сказано. — Тысячу триста пятьдесятъ четыре рубля двадцать восемь копеекъ ассигнаціями всего-съ!—кротко заключилъ онъ, спрятавъ обѣ руки съ контрактомъ назади.

— Да гдѣ я возьму? У меня нѣтъ денегъ! — возразилъ Обломовъ, ходя по комнатѣ. — Нужно мнѣ очень вашей рѣпы, да капусты!

— Какъ угодно-съ? — тихо прибавилъ Иванъ Матвѣе-

вичъ. — Да не безпокойтесь: вамъ здѣсь будетъ удобно,— прибавилъ онъ.—А деньги... сестра подождетъ.

— Нельзя мнѣ, нельзя по обстоятельствамъ! Слышите?

— Слушаю-съ. Какъ угодно,—послушно отвѣчалъ Иванъ Матвѣевичъ, отступивъ на шагъ.

— Хорошо, я подумаю и постараюсь передать квартиру!—сказалъ Обломовъ, кивнувъ чиновнику головой.

— Трудно-съ; а впрочемъ, какъ угодно! — заключилъ Иванъ Матвѣевичъ и, троекратно поклонясь, вышелъ вонъ.

Обломовъ вынулъ бумажникъ и счелъ деньги: всего триста пять рублей. Онъ обомлѣлъ.

«Куда жъ я дѣлъ деньги?» съ изумленіемъ, почти съ ужасомъ спросилъ самого себя Обломовъ. «Въ началѣ лѣта изъ деревни прислали тысячу двѣсти рублей, а теперь всего триста!»

Онъ началъ считать, припоминать всѣ траты, и могъ припомнить только двѣсти пятьдесятъ рублей.

— Куда жъ это вышли деньги?—говорилъ онъ.

— Захаръ, Захаръ!

— Чего изволите?

— Куда это у насъ всѣ деньги вышли? Вѣдь денегъ-то нѣтъ у насъ!—спросилъ онъ.

Захаръ началъ шарить въ карманахъ, вынулъ полтинникъ, гривенникъ и положилъ на столъ.

— Вотъ, забылъ отдать, отъ перевозки осталось, — сказалъ онъ.

— Что ты мнѣ мелочь-то суешь? Ты скажи, куда восемьсотъ рублей дѣлись?

— Почемъ я знаю? Развѣ я знаю, куда вы тратите? Что вы тамъ извозчикамъ за коляски платите?

— Да, вотъ на экипажъ много вышло,—вспомнилъ Обломовъ, глядя на Захара. — Ты не помнишь ли, сколько мы на дачѣ отдали извозчику?

— Гдѣ помнить! — отозвался Захаръ: — одинъ разъ вы велѣли мнѣ тридцать рублей отдать, такъ я и помню.

— Что̀ бы тебѣ записывать!—упрекнулъ его Обломовъ.— Худо быть безграмотнымъ!

— Прожилъ вѣкъ и безъ грамоты, слава Богу, не хуже другихъ!—возразилъ Захаръ, глядя въ сторону.

«Правду говоритъ Штольцъ, что надо завести школу въ деревнѣ!» подумалъ Обломовъ.

— Вонъ, у Ильинскихъ былъ грамотный-то, сказывали люди, — продолжалъ Захаръ: — да серебро изъ буфета и стащилъ.

«Прошу покорнѣйше!» трусливо подумалъ Обломовъ. «Въ самомъ дѣлѣ, эти грамотеи — все такой безнравственный народъ: по трактирамъ, съ гармоникой, да чаи... Нѣтъ, рано школы заводить!..»

— Ну, куда еще вышли деньги?—спросилъ онъ.

— Почемъ я знаю? Вонъ, Михею Андреичу дали на дачѣ...

— Въ самомъ дѣлѣ, — обрадовался Обломовъ, вспомнивъ про эти деньги. — Такъ, вотъ извозчику тридцать, да, кажется, двадцать пять рублей Тарантьеву... Еще куда?

Онъ задумчиво и вопросительно глядѣлъ на Захара. Захаръ угрюмо смотрѣлъ на него.

— Не помнитъ ли Анисья?—спросилъ Обломовъ.

— Гдѣ дурѣ помнить? Что̀ баба знаетъ?—съ презрѣніемъ сказалъ Захаръ.

— Не припомню! — съ тоской заключилъ Обломовъ:— ужъ не воры ли были?

— Кабы воры, такъ все бы взяли, — сказалъ Захаръ уходя.

Обломовъ сѣлъ въ кресло и задумался. «Гдѣ же я возьму денегъ?» до холоднаго пота думалъ онъ. «Когда пришлютъ изъ деревни и сколько?»

Онъ взглянулъ на часы: два часа, пора ѣхать къ Ольгѣ.

Сегодня положенный день обѣдать. Онъ мало-по-малу развеселился, велѣлъ привести извозчика и поѣхалъ въ Морскую.

IV.

Онъ сказалъ Ольгѣ, что переговорилъ съ братомъ хозяйки, и скороговоркой прибавилъ отъ себя, что есть надежда на этой недѣлѣ передать квартиру.

Ольга поѣхала съ теткой съ визитомъ до обѣда, а онъ пошелъ глядѣть квартиры по близости. Заходилъ въ два дома; въ одномъ нашелъ квартиру въ четыре комнаты за четыре тысячи ассигнаціями, въ другомъ за пять комнатъ просили шесть тысячъ рублей.

— Ужасъ! ужасъ! — твердилъ онъ, зажимая уши и убѣгая отъ изумленныхъ дворниковъ. Прибавивъ къ этимъ суммамъ тысячу слишкомъ рублей, которые надо было заплатить Пшеницыной, онъ, отъ страха, не поспѣлъ вывести итога и только прибавилъ шагу и побѣжалъ къ Ольгѣ.

Тамъ было общество. Ольга была одушевлена, говорила, пѣла, и произвела фуроръ. Только Обломовъ слушалъ разсѣянно, а она говорила и пѣла для него, чтобъ онъ не сидѣлъ, повѣся носъ, опустя вѣки, чтобъ все говорило и пѣло безпрестанно въ немъ самомъ.

— Пріѣзжай завтра въ театръ, у насъ ложа, — сказала она.

«Вечеромъ, по грязи, этакую даль!» подумалъ Обломовъ, но, взглянувъ ей въ глаза, отвѣчалъ на ея улыбку улыбкой согласія.

— Абонируйся въ кресло, — прибавила она: — на той недѣлѣ пріѣдутъ Маевскіе; ma tante пригласила ихъ къ намъ въ ложу.

И она глядѣла ему въ глаза, чтобъ знать, какъ онъ обрадуется.

«Господи!» подумалъ онъ въ ужасѣ. «А у меня всего триста рублей денегъ».

— Вотъ, попроси барона; онъ тамъ со всѣми знакомъ, завтра же пошлетъ за креслами.

И она опять улыбнулась, и онъ улыбнулся глядя на нее, и съ улыбкой просилъ барона: тотъ, тоже съ улыбкой, взялся послать за билетомъ.

— Теперь въ креслѣ, а потомъ, когда ты кончишь дѣла,— прибавила Ольга: — ты ужъ займешь по праву мѣсто въ нашей ложѣ.

И окончательно улыбнулась, какъ улыбалась, когда была совершенно счастлива.

Ухъ, какимъ счастьемъ вдругъ пахнуло на него, когда Ольга немного приподняла завѣсу обольстительной дали, прикрытой, какъ цвѣтами, улыбками!

Обломовъ и про деньги забылъ; только когда, на другой день утромъ, увидѣлъ мелькнувшій мимо оконъ пакетъ братца, онъ вспомнилъ про довѣренность и просилъ Ивана Матвѣевича засвидѣтельствовать ее въ палатѣ. Тотъ прочиталъ довѣренность, объявилъ, что въ ней есть одинъ неясный пунктъ, и взялся прояснить.

Бумага была вновь переписана, наконецъ засвидѣтельствована и отослана на почту. Обломовъ съ торжествомъ объявилъ объ этомъ Ольгѣ и успокоился надолго.

Онъ радовался, что до полученія отвѣта квартиры пріискивать не понадобится и деньги понемногу заживаются.

«Оно бы и тутъ можно жить», думалъ онъ: «да далеко отъ всего, а въ домѣ у нихъ порядокъ строгій и хозяйство идетъ славно».

Въ самомъ дѣлѣ, хозяйство шло отлично. Хотя Обломовъ держалъ столъ особо, но глазъ хозяйки бодрствовалъ и надъ его кухней.

Илья Ильичъ зашелъ однажды въ кухню и засталъ Агаѳью Матвѣевну съ Анисьей чуть не въ объятіяхъ другъ друга.

Если есть симпатія душъ, если родственныя сердца чуютъ

другъ друга издалека, то никогда это не доказывалось такъ очевидно, какъ на симпатіи Агаѳьи Матвѣевны и Анисьи. Съ перваго взгляда, слова и движенія онѣ поняли и оцѣнили одна другую.

По пріемамъ Анисьи, по тому, какъ она, вооруженная кочергой и тряпкой, съ засученными рукавами, въ пять минутъ привела полгода-нетопленную кухню въ порядокъ, какъ смахнула щеткой разомъ пыль съ полокъ, со стѣнъ и со стола; какіе широкіе размахи дѣлала метлой по полу и по лавкамъ; какъ мгновенно выгребла изъ печки золу — Агаѳья Матвѣевна оцѣнила, что такое Анисья и какая бы она великая сподручница была ея хозяйственнымъ распоряженіямъ. Она дала ей съ той поры у себя мѣсто въ сердцѣ.

И Анисья, въ свою очередь, поглядѣвъ однажды только, какъ Агаѳья Матвѣевна царствуетъ на кухнѣ, какъ соколиными очами, безъ бровей, видитъ каждое неловкое движеніе неповоротливой Акулины; какъ гремитъ приказаніями вынуть, поставить, подогрѣть, посолить, какъ на рынкѣ однимъ взглядомъ и много-много прикосновеніемъ пальца безошибочно рѣшаетъ, сколько курицѣ мѣсяцевъ отъ роду, давно ли уснула рыба, когда сорвана съ грядъ петрушка или салатъ—она съ удивленіемъ и почтительною боязнью возвела на нее глаза и рѣшила, что она, Анисья, миновала свое назначеніе, что поприще ея—не кухня Обломова, гдѣ торопливость ея, вѣчно-бьющаяся, нервическая лихорадочность движеній устремлена только на то, чтобъ подхватить на лету уроненную Захаромъ тарелку или стаканъ, и гдѣ опытность ея и тонкость соображеній подавляются мрачною завистью и грубымъ высокомѣріемъ мужа. Двѣ женщины поняли другъ друга и стали неразлучны.

Когда Обломовъ не обѣдалъ дома, Анисья присутствовала на кухнѣ хозяйки и, изъ любви къ дѣлу, бросалась изъ угла въ уголъ, сажала, вынимала горшки, почти въ одно

и то же мгновеніе отпирала шкапъ, доставала что̀ надо и захлопывала прежде, нежели Акулина успѣетъ понять въ чемъ дѣло.

Зато наградой Анисьѣ былъ обѣдъ, чашекъ шесть кофе утромъ и столько же вечеромъ, и откровенный, продолжительный разговоръ, иногда довѣрчивый шопотъ съ самой хозяйкой.

Когда Обломовъ обѣдалъ дома, хозяйка помогала Анисьѣ, то-есть указывала, словомъ или пальцемъ, пора ли, или рано вынимать жаркое, надо ли къ соусу прибавить немного краснаго вина, или сметаны, или что рыбу надо варить не та̀къ, а вотъ какъ...

И Боже мой, какими знаніями помѣнялись онѣ въ хозяйственномъ дѣлѣ, не по одной только кулинарной части, но и по части холста, нитокъ, шитья, мытья бѣлья, платьевъ, чистки блондъ, кружевъ, перчатокъ, выведенія пятенъ изъ разныхъ матерій, также употребленія разныхъ домашнихъ лѣкарственныхъ составовъ, травъ—всего, что̀ внесли въ извѣстную сферу жизни наблюдательный умъ и вѣковые опыты!

Илья Ильичъ встанетъ утромъ часовъ въ девять, иногда увидитъ сквозь рѣшётку забора мелькнувшій бумажный пакетъ подъ мышкой уходящаго въ должность братца, потомъ примется за кофе. Кофе все такой же славный, сливки густыя, булки сдобныя, разсыпчатыя.

Потомъ онъ примется за сигару и слушаетъ внимательно, ка̀къ тяжело кудахтаетъ насѣдка, ка̀къ пищатъ цыплята, ка̀къ трещатъ канарейки и чижи. Онъ не велѣлъ убирать ихъ:

— Деревню напоминаютъ, Обломовку,—сказалъ онъ.

Потомъ сядетъ дочитывать начатыя на дачѣ книги, иногда приляжетъ небрежно съ книгой на диванъ и читаетъ.

Тишина идеальная; пройдетъ развѣ солдатъ какой-нибудь по улицѣ, или кучка мужиковъ, съ топорами за поясомъ.

Рѣдко-рѣдко заберется въ глушь разносчикъ и, остановясь передъ рѣшётчатымъ заборомъ, съ полчаса горланитъ:— «Яблоки, арбузы астраханскіе» — такъ, что нехотя купишь что-нибудь.

Иногда придетъ къ нему Маша, хозяйская дѣвочка, отъ маменьки, сказать, что грузди или рыжики продаютъ: не велитъ ли онъ взять кадочку для себя, или зазоветъ онъ къ себѣ Ваню, ея сына, спрашиваетъ, что онъ выучилъ, заставитъ прочесть, или написать и посмотритъ, хорошо ли онъ пишетъ и читаетъ.

Если дѣти не затворятъ дверь за собой, онъ видитъ голую шею и мелькающіе, вѣчно-движущіеся локти и спину хозяйки.

Она все за работой, все что-нибудь гладитъ, толчетъ, третъ, и уже не церемонится, не накидываетъ шаль, когда замѣтитъ, что онъ видитъ ее сквозь полуотворенную дверь, только усмѣхнется и опять заботливо толчетъ, гладитъ и третъ на большомъ столѣ.

Онъ иногда съ книгой подойдетъ къ двери, заглянетъ къ ней и поговоритъ съ хозяйкой.

— Вы все за работой!—сказалъ онъ ей однажды.

Она усмѣхнулась и опять заботливо принялась вертѣть ручку кофейной мельницы, и локоть ея такъ проворно описывалъ круги, что у Обломова рябило въ глазахъ.

— Вѣдь вы устанете,—продолжалъ онъ.

— Нѣтъ, я привыкла,—отвѣчала она, треща мельницей.

— А когда нѣтъ работы, что жъ вы дѣлаете?

— Какъ нѣтъ работы? Работа всегда есть, — сказала она: — утромъ обѣдъ готовить, послѣ обѣда шить, а къ вечеру ужинъ.

— Развѣ вы ужинаете?

— Какъ же безъ ужина? ужинаемъ. Подъ праздникъ ко всенощной ходимъ.

— Это хорошо, — похвалилъ Обломовъ. — Въ какую же церковь?

— Къ Рождеству: это нашъ приходъ.

— А читаете что-нибудь?

Она поглядѣла на него тупо и молчала.

— Книги у васъ есть?—спросилъ онъ.

— У братца есть, да они не читаютъ. Газеты изъ трактира беремъ, такъ иногда братецъ вслухъ читаютъ... да вотъ у Ванички много книгъ.

— Ужели же вы никогда не отдыхаете?

— Ей-Богу, правда!

— И въ театрѣ не бываете?

— Братецъ на святкахъ бываютъ.

— А вы?

— Когда мнѣ? А ужинъ ка́къ? — спросила она, бокомъ поглядѣвъ на него.

— Кухарка можетъ безъ васъ...

— Акулина-то! — съ удивленіемъ возразила она. — Какъ же можно? Что̀ она сдѣлаетъ безъ меня? Ужинъ и къ завтрему не поспѣетъ. У меня всѣ ключи.

Молчаніе. Обломовъ любовался ея полными, круглыми локтями.

— Какъ у васъ хороши руки, — вдругъ сказалъ Обломовъ:—можно хоть сейчасъ нарисовать.

Она усмѣхнулась и немного застыдилась.

— Неловко съ рукавами,—оправдывалась она: — нынче, вѣдь, вонъ какія пошли платья, рукава всѣ выпачкаешь.

И замолчала. Обломовъ тоже молчалъ.

— Вотъ только домелю кофе,—шептала про-себя хозяйка: — сахаръ буду колоть. Еще не забыть за корицей послать.

— Вамъ бы замужъ надо выйти, — сказалъ Обломовъ:— вы славная хозяйка.

Она усмѣхнулась и стала пересыпать кофе въ большую стеклянную банку.

— Право,—прибавилъ Обломовъ.

— Кто меня съ дѣтьми-то возьметъ? — отвѣчала она и что-то начала считать въ умѣ.—Два десятка... — задумчиво говорила она: — ужели она ихъ всѣ положитъ?

И, поставивъ въ шкапъ банку, побѣжала въ кухню. А Обломовъ ушелъ къ себѣ и сталъ читать книгу...

— Какая еще свѣжая, здоровая женщина и какая хозяйка! Право бы замужъ ей...— говорилъ онъ самъ себѣ и погружался въ мысль... объ Ольгѣ.

Обломовъ въ хорошую погоду надѣнетъ фуражку и обойдетъ окрестность; тамъ попадетъ въ грязь, здѣсь войдетъ въ непріятное сношеніе съ собаками, и вернется домой.

А дома ужъ накрытъ столъ и кушанье такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука, съ тарелкой—просятъ попробовать хозяйскаго пирога.

— Тихо, хорошо въ этой сторонѣ, только скучно!—говорилъ Обломовъ, уѣзжая въ оперу.

Однажды, воротясь поздно изъ театра, онъ, съ извозчикомъ, стучалъ почти часъ въ ворота; собака, отъ скаканья на цѣпи и лая, потеряла голосъ. Онъ иззябъ и разсердился, объявивъ, чтó съѣдетъ на другой же день. Но и другой, и третій день, и недѣля прошла — онъ еще не съѣзжалъ.

Ему было очень скучно не видѣть Ольги въ неположенные дни, не слышать ея голоса, не читать въ глазахъ все той же, неизмѣняющейся ласки, любви, счастья.

Зато въ положенные дни онъ жилъ какъ лѣтомъ, заслушивался ея пѣнія, или глядѣлъ ей въ глаза; а при свидѣтеляхъ довольно ему было одного ея взгляда, равнодушнаго для всѣхъ, но глубокаго и знаменательнаго для него.

По мѣрѣ того, однакожъ, какъ дѣло подходило къ зимѣ, свиданія ихъ становились рѣже наединѣ. Къ Ильинскимъ

стали ѣздить гости, и Обломову по цѣлымъ днямъ не удавалось сказать съ ней двухъ словъ. Они мѣнялись взглядами. Ея взгляды выражали иногда усталость и нетерпѣніе.

Она съ нахмуренными бровями глядѣла на всѣхъ гостей. Обломовъ раза два даже соскучился и послѣ обѣда однажды взялся-было за шляпу.

— Куда?—вдругъ съ изумленіемъ спросила Ольга, очутясь подлѣ него и хватая за шляпу.

— Позвольте домой...

— Зачѣмъ?—спросила она. Одна бровь у ней лежала выше другой.—Что̀ вы станете дѣлать?

— Я такъ...—говорилъ онъ, едва таращa глаза отъ сна.

— Кто̀ жъ вамъ позволитъ? Ужъ не спать ли вы собираетесь? — спрашивала она, строго поглядѣвъ ему попеременно въ одинъ глазъ, потомъ въ другой.

— Что̀ вы! — живо возразилъ Обломовъ. — Спать днемъ! Мнѣ просто скучно.

И онъ отдалъ шляпу.

— Сегодня въ театръ,—сказала она.

— Не вмѣстѣ въ ложу,—прибавилъ онъ со вздохомъ.

— Такъ что̀ же? А это развѣ ничего, что мы видимъ другъ друга, что ты зайдешь въ антрактѣ, при разъѣздѣ подойдешь, подашь руку до кареты?.. Извольте ѣхать!—повелительно прибавила она.—Что̀ это за новости!

Нечего дѣлать, онъ ѣхалъ въ театръ, зѣвалъ, какъ-будто хотѣлъ вдругъ проглотить сцену, чесалъ затылокъ и перекладывалъ ногу на ногу.

«Ахъ, скорѣй бы кончить, да сидѣть съ ней рядомъ, не таскаться такую даль сюда!» думалъ онъ. «А то послѣ такого лѣта, да еще видѣться урывками, украдкой, играть роль влюбленнаго мальчика... Правду сказать, я бы сегодня не поѣхалъ въ театръ, если бъ ужъ былъ женатъ: шестой разъ слышу эту оперу...»

Въ антрактѣ онъ пошелъ въ ложу къ Ольгѣ и едва протѣснился до нея между двухъ какихъ-то франтовъ. Чрезъ пять минутъ онъ ускользнулъ и остановился у входа въ кресла, въ толпѣ. Актъ начался и всѣ торопились къ своимъ мѣстамъ. Франты изъ ложи Ольги тоже были тутъ и не видѣли Обломова.

— Что̀ это за господинъ былъ сейчасъ въ ложѣ у Ильинскихъ?—спросилъ одинъ у другого.

— Это Обломовъ какой-то,—небрежно отвѣчалъ другой.

— Что̀ это за Обломовъ?

— Это... помѣщикъ, другъ Штольца.

— А!—значительно произнесъ другой.—Другъ Штольца. Что̀ жъ онъ тутъ дѣлаетъ?

— Dieu sait!—отвѣчалъ другой, и всѣ разошлись по мѣстамъ. Но Обломовъ потерялся отъ этого ничтожнаго разговора.

«Что̀ за *господинъ?.. какой-то* Обломовъ... что̀ онъ тутъ дѣлаетъ... Dieu sait» — все это застучало ему въ голову. «Какой-то!» «Что̀ я тутъ дѣлаю»! Какъ что̀? Люблю Ольгу; я ея... Однакожъ, вотъ ужъ въ свѣтѣ родился вопросъ: что̀ я тутъ дѣлаю? Замѣтили... Ахъ, Боже мой! какъ же, надо что̀-нибудь...»

Онъ уже не видѣлъ, что̀ дѣлается на сценѣ, какіе тамъ выходятъ рыцари и женщины; оркестръ гремитъ, а онъ и не слышитъ. Онъ озирается по сторонамъ и считаетъ, сколько знакомыхъ въ театрѣ: вонъ тутъ, тамъ—вездѣ сидятъ, всѣ спрашиваютъ. — «Что̀ это за господинъ входилъ къ Ольгѣ въ ложу?..»—«Какой-то Обломовъ!» говорятъ всѣ.

«Да, я «какой-то!» думалъ онъ въ робкомъ унынiи: «Меня знаютъ, потому что̀ я другъ Штольца. Зачѣмъ я у Ольги?—«Dieu sait!..» Вонъ, вонъ, эти франты смотрятъ на меня, потомъ на ложу Ольги!»

Онъ взглянулъ на ложу; бинокль Ольги устремленъ былъ на него.

стали ѣздить гости, и Обломову по цѣлымъ днямъ не удавалось сказать съ ней двухъ словъ. Они мѣнялись взглядами. Ея взгляды выражали иногда усталость и нетерпѣніе.

Она съ нахмуренными бровями глядѣла на всѣхъ гостей. Обломовъ раза два даже соскучился и послѣ обѣда однажды взялся-было за шляпу.

— Куда?—вдругъ съ изумленіемъ спросила Ольга, очутясь подлѣ него и хватая за шляпу.

— Позвольте домой...

— Зачѣмъ?—спросила она. Одна бровь у ней лежала выше другой.—Что̀ вы станете дѣлать?

— Я такъ...—говорилъ онъ, едва таращa глаза отъ сна.

— Кто̀ жъ вамъ позволитъ? Ужъ не спать ли вы собираетесь? — спрашивала она, строго поглядѣвъ ему попеременно въ одинъ глазъ, потомъ въ другой.

— Что̀ вы! — живо возразилъ Обломовъ. — Спать днемъ! Мнѣ просто скучно.

И онъ отдалъ шляпу.

— Сегодня въ театръ,—сказала она.

— Не вмѣстѣ въ ложу,—прибавилъ онъ со вздохомъ.

— Такъ что̀ же? А это развѣ ничего, что мы видимъ другъ друга, что ты зайдешь въ антрактѣ, при разъѣздѣ подойдешь, подашь руку до кареты?.. Извольте ѣхать!—повелительно прибавила она.—Что̀ это за новости!

Нечего дѣлать, онъ ѣхалъ въ театръ, зѣвалъ, какъ-будто хотѣлъ вдругъ проглотить сцену, чесалъ затылокъ и перекладывалъ ногу на ногу.

«Ахъ, скорѣй бы кончить, да сидѣть съ ней рядомъ, не таскаться такую даль сюда!» думалъ онъ. «А то послѣ такого лѣта, да еще видѣться урывками, украдкой, играть роль влюбленнаго мальчика... Правду сказать, я бы сегодня не поѣхалъ въ театръ, если бъ ужъ былъ женатъ: шестой разъ слышу эту оперу...»

Въ антрактѣ онъ пошелъ въ ложу къ Ольгѣ и едва протѣснился до нея между двухъ какихъ-то франтовъ. Чрезъ пять минутъ онъ ускользнулъ и остановился у входа въ кресла, въ толпѣ. Актъ начался и всѣ торопились къ своимъ мѣстамъ. Франты изъ ложи Ольги тоже были тутъ и не видѣли Обломова.

— Что̀ это за господинъ былъ сейчасъ въ ложѣ у Ильинскихъ?—спросилъ одинъ у другого.

— Это Обломовъ какой-то,—небрежно отвѣчалъ другой.

— Что̀ это за Обломовъ?

— Это... помѣщикъ, другъ Штольца.

— А!—значительно произнесъ другой.—Другъ Штольца. Что̀ жъ онъ тутъ дѣлаетъ?

— Dieu sait!—отвѣчалъ другой, и всѣ разошлись по мѣстамъ. Но Обломовъ потерялся отъ этого ничтожнаго разговора.

«Что̀ за *господинъ?.. какой-то* Обломовъ... что̀ онъ тутъ дѣлаетъ... Dieu sait» — все это застучало ему въ голову. «Какой-то!» «Что̀ я тутъ дѣлаю»! Какъ что̀? Люблю Ольгу; я ея... Однакожъ, вотъ ужъ въ свѣтѣ родился вопросъ: что̀ я тутъ дѣлаю? Замѣтили... Ахъ, Боже мой! какъ же, надо что̀-нибудь...»

Онъ уже не видѣлъ, что̀ дѣлается на сценѣ, какіе тамъ выходятъ рыцари и женщины; оркестръ гремитъ, а онъ и не слышитъ. Онъ озирается по сторонамъ и считаетъ, сколько знакомыхъ въ театрѣ: вонъ тутъ, тамъ—вездѣ сидятъ, всѣ спрашиваютъ. — «Что̀ это за господинъ входитъ къ Ольгѣ въ ложу?..»—«Какой-то Обломовъ!» говорятъ всѣ.

«Да, я «какой-то!» думалъ онъ въ робкомъ унынiи. «Меня знаютъ, потому что я другъ Штольца. Зачѣмъ я у Ольги?—«Dieu sait!..» Вонъ, вонъ, эти франты смотрятъ на меня, потомъ на ложу Ольги!»

Онъ взглянулъ на ложу; бинокль Ольги устремленъ былъ на него.

«Ахъ, ты Господи!» думалъ онъ. «А она глазъ не спускаетъ съ меня? Что она нашла во мнѣ такого? Экое сокровище далось! Вонъ, кажется, теперь на сцену указываетъ... франты, кажется, смѣются, смотрятъ на меня... Господи, Господи!»

Онъ опять, въ волненіи, неистово почесалъ затылокъ, опять переложилъ ногу на ногу.

Она звала франтовъ изъ театра пить чай, обѣщала повторить каватину и ему велѣла пріѣхать.

«Нѣтъ, ужъ сегодня не поѣду; надо рѣшить дѣло скорѣй, да потомъ... Что это, отвѣта повѣренный не шлетъ изъ деревни?.. Я бы давно уѣхалъ, передъ отъѣздомъ обручился бы съ Ольгой... Ахъ, а она все смотритъ на меня! Бѣда, право!»

Онъ, не дождавшись конца оперы, уѣхалъ домой. Мало-по-малу, впечатлѣніе его изгладилось, и онъ опять съ трепетомъ счастья смотрѣлъ на Ольгу наединѣ, слушалъ, съ подавленными слезами восторга, ея пѣніе при всѣхъ, и, пріѣзжая домой, ложился, безъ вѣдома Ольги, на диванъ, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой, а мечтать о ней, играть мысленно въ счастье, и волноваться, заглядывая въ будущую перспективу своей домашней, мирной жизни, гдѣ будетъ сіять Ольга — и все засіяетъ около нея. Заглядывая въ будущее, онъ иногда невольно, иногда умышленно заглядывалъ, въ полуотворенную дверь, и на мелькавшіе локти хозяйки.

Однажды тишина въ природѣ и въ домѣ была идеальная; ни стуку каретъ, ни хлопанья дверей; въ передней на часахъ мѣрно постукивалъ маятникъ да пѣли канарейки; но это не нарушаетъ тишины, а придаетъ ей только нѣкоторый оттѣнокъ жизни.

Илья Ильичъ лежалъ небрежно на диванѣ, играя туфлей, ронялъ ее на полъ, поднималъ на воздухъ, повертитъ тамъ,

она упадетъ, онъ подхватываетъ съ пола ногой... Вошелъ Захаръ и сталъ у дверей.

— Ты что̀?—небрежно спросилъ Обломовъ.

Захаръ молчалъ и почти прямо, не стороной, глядѣлъ на него.

— Ну?—спросилъ Обломовъ, взглянувъ на него съ удивленіемъ:—пирогъ, что̀ ли, готовъ?

— Вы нашли квартиру? — спросилъ, въ свою очередь, Захаръ.

— Нѣтъ еще. А что?

— Да я не все еще разобралъ: посуда, одёжа, сундуки, все еще въ чуланѣ горой стоитъ. Разбирать, что̀ ли?

— Погоди,—разсѣянно сказалъ Обломовъ:—я жду отвѣта изъ деревни.

— Стало-быть, свадьба-то послѣ Рождества будетъ? — прибавилъ Захаръ.

— Какая свадьба?—вдругъ вставъ, спросилъ Обломовъ.

— Извѣстно какая: ваша! — отвѣчалъ Захаръ положительно, какъ о дѣлѣ давно рѣшеномъ.—Вѣдь вы женитесь?

— Я же-нюсь! На комъ? — съ ужасомъ спросилъ Обломовъ, пожирая Захара изумленными глазами.

— На Ильинской барыш...—Захаръ еще не договорилъ, а Обломовъ былъ у него почти на носу.

— Что̀ ты, несчастный, кто тебѣ внушилъ эту мысль?—патетически, сдержаннымъ голосомъ воскликнулъ Обломовъ, напирая на Захара.

— Что̀ я за несчастный? Слава тебѣ Господи!—говорилъ Захаръ, отступая къ дверямъ.—Кто? Люди Ильинскіе еще лѣтомъ сказывали.

— Цссс!..—зашипѣлъ на него Обломовъ, поднявъ палецъ вверхъ и грозя на Захара:—ни слова больше!

— Развѣ я выдумалъ?—говорилъ Захаръ.

— Ни слова! — повторилъ Обломовъ, грозно глядя на него, и указалъ ему дверь.

Захаръ ушелъ и вздохнулъ на всѣ комнаты.

Обломовъ не могъ опомниться; онъ все стоялъ въ одномъ положеніи, съ ужасомъ глядя на то мѣсто, гдѣ стоялъ Захаръ, потомъ, въ отчаяньи, положилъ руки на голову и сѣлъ въ кресло.

«Люди знаютъ!» ворочалось у него въ головѣ: «по лакейскимъ, по кухнямъ толки идутъ! Вотъ до чего дошло! Онъ осмѣлился спросить, когда свадьба. А тетка еще не подозрѣваетъ, или если подозрѣваетъ, то, можетъ-быть, другое, недоброе... Ай-ай-ай, что̀ она можетъ подумать! А я? А Ольга?»

— Несчастный, что̀ я надѣлалъ!—говорилъ онъ, переваливаясь на диванѣ лицомъ къ подушкѣ. — Свадьба! Этотъ поэтическій мигъ въ жизни любящихся, вѣнецъ счастья—о немъ заговорили лакеи, кучера, когда еще ничего не рѣшено, когда отвѣта изъ деревни нѣтъ, когда у меня пустой бумажникъ, когда квартира не найдена...

Онъ сталъ разбирать поэтическій мигъ, который вдругъ потерялъ краски, какъ только заговорилъ о немъ Захаръ. Обломовъ сталъ видѣть другую сторону медали, и мучительно переворачивался съ-боку-на-бокъ, ложился на спину, вдругъ вскакивалъ, дѣлалъ три шага по комнатѣ и опять ложился.

«Ну, не бывать добру!» думалъ со страхомъ Захаръ у себя въ передней. «Экъ меня дернула нелегкая!»

— Откуда они знаютъ? — твердилъ Обломовъ. — Ольга молчала, я и подумать вслухъ не смѣлъ, а въ передней все рѣшили! Вотъ что̀ значитъ свиданія наединѣ, поэзія утреннихъ и вечернихъ зорь, страстные взгляды и обаятельное пѣніе! Охъ, ужъ эти поэмы любви, никогда добромъ не кончаются! Надо прежде стать подъ вѣнецъ и тогда плавать въ розовой атмосферѣ!.. Боже мой! Боже мой! Бѣжать къ теткѣ, взять Ольгу за руку и сказать: «вотъ моя невѣста!» да не готово ничего, отвѣта изъ деревни нѣтъ,

денегъ нѣтъ, квартиры нѣтъ! Нѣтъ, надо выбить прежде изъ головы Захара эту мысль, затушить слухи, какъ пламя, чтобъ оно не распространилось, чтобъ не было огня и дыма... Свадьба! Что̀ такое свадьба?..

Онъ-было улыбнулся, вспомнивъ прежній свой поэтическій идеалъ свадьбы, длинное покрывало, померанцевую вѣтку, шопотъ толпы...

Но краски были уже не тѣ: тутъ же, въ толпѣ, былъ грубый, неопрятный Захаръ и вся дворня Ильинскихъ, рядъ каретъ, чужія, холодно-любопытныя лица. Потомъ, потомъ мерещилось все такое скучное, страшное...

— Надо выбить изъ головы Захара эту мысль, чтобъ онъ счелъ это за нелѣпость, — рѣшилъ онъ, то судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь.

Черезъ часъ онъ кликнулъ Захара.

Захаръ притворился, что не слышитъ, и сталъ-было потихоньку выбираться на кухню. Онъ ужъ отворилъ безъ скрипу дверь, да не попалъ бокомъ въ одну половинку и плечомъ такъ задѣлъ за другую, что обѣ половинки распахнулись съ грохотомъ.

— Захаръ!—повелительно закричалъ Обломовъ.

— Чего вамъ?—изъ передней отозвался Захаръ.

— Поди сюда!—сказалъ Илья Ильичъ.

— Подать, что̀ ли, что̀? Такъ говорите, я подамъ!—отвѣтилъ онъ.

— Поди сюда! — разстановисто и настойчиво произнесъ Обломовъ.

— Ахъ, смерть нейдетъ! — прохрипѣлъ Захаръ, влѣзая въ комнату.—Ну, чего вамъ?—спросилъ онъ, увязнувъ въ дверяхъ.

— Подойди сюда! — торжественно-таинственнымъ голосомъ говорилъ Обломовъ, указывая Захару куда стать, и указалъ такъ близко, что почти пришлось бы ему сѣсть на колѣни барину.

— Куда я туда подойду? Тамъ тѣсно, я и отсюда слышу,—отговаривался Захаръ, остановясь упрямо у дверей.

— Подойди, тебѣ говорятъ!—грозно произнесъ Обломовъ.

Захаръ сдѣлалъ шагъ и сталъ, какъ монументъ, глядя въ окно на бродившихъ куръ, и подставляя барину, какъ щетку, бакенбарду. Илья Ильичъ въ одинъ часъ отъ волненія измѣнился, будто осунулся въ лицѣ, глаза бѣгали безпокойно.

«Ну, будетъ теперь!» подумалъ Захаръ, дѣлаясь мрачнѣе и мрачнѣе.

— Какъ ты могъ сдѣлать такой несообразный вопросъ барину?—спросилъ Обломовъ.

«Вона, пошелъ!» думалъ Захаръ, крупно мигая, въ тоскливомъ ожиданіи «жалкихъ словъ».

— Я тебя спрашиваю, какъ ты могъ забрать такую нелѣпость себѣ въ голову?—повторилъ Обломовъ.

Захаръ молчалъ.

— Слышишь, Захаръ? Зачѣмъ ты позволяешь себѣ не только думать, даже говорить?..

— Позвольте, Илья Ильичъ, я лучше Анисью позову...—отвѣчалъ Захаръ и шагнулъ-было къ двери.

— Я хочу съ тобой говорить, а не съ Анисьей,—возразилъ Обломовъ.—Зачѣмъ ты выдумалъ такую нелѣпость?

— Я не выдумывалъ,—сказалъ Захаръ:—Ильинскіе люди сказывали.

— А имъ кто сказывалъ?

— Я почемъ знаю! Катя сказала Семену, Семенъ Никитѣ, Никита Василисѣ, Василиса Анисьѣ, а Анисья мнѣ...—говорилъ Захаръ.

— Господи, Господи! Всѣ! — съ ужасомъ произнесъ Обломовъ. — Все это вздоръ, нелѣпость, ложь, клевета — слышишь ли ты?—постучавъ кулакомъ объ столъ, сказалъ Обломовъ.—Этого быть не можетъ!

— Отчего не можетъ быть? — равнодушно перебилъ За-

харъ.—Дѣло обыкновенное—свадьба! Не вы одни, всѣ женятся.

— Всѣ!—сказалъ Обломовъ.—Ты мастеръ равнять меня съ другими, да со всѣми! Это быть не можетъ! И нѣтъ, и не было! Свадьба—обыкновенное дѣло: слышите? Что̀ такое свадьба?

Захаръ взглянулъ-было на Обломова, но увидалъ яростно-устремленные на него глаза и тотчасъ перенесъ взглядъ направо, въ уголъ.

— Слушай, я тебѣ объясню, что̀ это такое. «Свадьба, свадьба», начнутъ говорить праздные люди, разныя женщины, дѣти, по лакейскимъ, по магазинамъ, по рынкамъ. Человѣкъ перестаетъ называться Ильей Ильичемъ, или Петромъ Петровичемъ, а называется «женихъ». Вчера на него никто и смотрѣть не хотѣлъ, а завтра всѣ глаза пучатъ, какъ на шельму какую-нибудь. Ни въ театрѣ, ни на улицѣ прохода не дадутъ. «Вотъ, вотъ женихъ!» шепчутъ всѣ. А сколько человѣкъ подойдетъ къ нему въ день, всякій норовитъ сдѣлать рожу поглупѣе, вотъ какъ у тебя теперь! (Захаръ быстро перенесъ взглядъ опять на дворъ) и сказать что̀-нибудь попелѣпѣе,—продолжалъ Обломовъ.—Вотъ оно, какое начало! А ты ѣзди каждый день, какъ окаянный, съ утра къ невѣстѣ, да все въ палевыхъ перчаткахъ, чтобъ у тебя платье съ иголочки было, чтобъ ты не глядѣлъ скучно, чтобъ не ѣлъ, не пилъ, какъ слѣдуетъ, обстоятельно, а такъ, вѣтромъ бы жилъ, да букетами! Это мѣсяца три, четыре! Видишь? Такъ ка̀къ же я-то могу?

Обломовъ остановился и посмотрѣлъ, дѣйствуетъ ли на Захара это изображеніе неудобствъ женитьбы.

— Идти, что̀ ли, мнѣ?—спросилъ Захаръ, оборачиваясь къ двери.

— Нѣтъ, ты постой! Ты мастеръ распускать фальшивые слухи, такъ узнай, почему они фальшивые.

— Что̀ мнѣ узнавать? — говорилъ Захаръ, осматривая стѣны комнаты.

— Ты забылъ, сколько бѣготни, суматохи и у жениха, и у невѣсты. А кто у меня, ты, что̀ ли, будешь бѣгать по портнымъ, по сапожникамъ, къ мебельщику? Одинъ я не разорвусь на всѣ стороны. Всѣ въ городѣ узнаютъ. «Обломовъ женится — вы слышали?» — «Ужели? На комъ? Кто такая? Когда свадьба?»—говорилъ Обломовъ разными голосами. — Только и разговора! Да я измучусь, слягу отъ одного этого, а ты выдумалъ: свадьба!

Онъ опять взглянулъ на Захара.

— Позвать, что̀ ли, Анисью?—спросилъ Захаръ.

— Зачѣмъ Анисью? Ты, а не Анисья, допустилъ это необдуманное предположеніе.

— Ну, за что̀ это наказалъ меня Господь сегодня?—прошепталъ Захаръ, вздохнувъ такъ, что у него приподнялись даже плечи.

— А издержки какія?—продолжалъ Обломовъ.—А деньги гдѣ? Ты видѣлъ, сколько у меня денегъ? — почти грозно спросилъ Обломовъ. — А квартира гдѣ? Здѣсь надо тысячу рублей заплатить, да нанять другую, три тысячи дать, да на отдѣлку сколько! А тамъ экипажъ, поваръ, на прожитокъ! Гдѣ я возьму?

— Какъ же съ тремястами душъ женятся другіе?—возразилъ Захаръ, да и самъ раскаялся, потому что баринъ почти вскочилъ съ кресла, такъ и припрыгнулъ на немъ.

— Ты опять «другіе»? Смотри!—сказалъ онъ, погрозивъ пальцемъ. — Другіе въ двухъ, много въ трехъ комнатахъ живутъ: и столовая, и гостиная—все тутъ; а иныя и спятъ тутъ же; дѣти рядомъ; одна дѣвка на весь домъ служитъ. Сама барыня на рынокъ ходитъ! А Ольга Сергѣевна пойдетъ на рынокъ?

— На рынокъ-то и я схожу,—замѣтилъ Захаръ.

— Ты знаешь, сколько дохода съ Обломовки получаемъ?—

спрашивалъ Обломовъ. — Слышишь, что староста пишетъ? доходу «тысящи яко двѣ поменѣ!» А тутъ дорогу надо строить, школы заводить, въ Обломовку ѣхать; тамъ негдѣ жить, дома еще нѣтъ... Какая же свадьба? Что ты выдумалъ?

Обломовъ остановился. Онъ самъ пришелъ въ ужасъ отъ этой грозной, безотрадной перспективы. Розы, померанцевые цвѣты, блистанье праздника, шопотъ удивленія въ толпѣ—все вдругъ померкло.

Онъ измѣнился въ лицѣ и задумался. Потомъ понемногу пришелъ въ себя, оглянулся и увидѣлъ Захара.

— Что ты?—спросилъ онъ угрюмо.

— Вѣдь вы велѣли стоять!—сказалъ Захаръ.

— Поди!—съ нетерпѣніемъ махнулъ ему Обломовъ.

Захаръ быстро шагнулъ въ двери.

— Нѣтъ, постой!—вдругъ остановилъ Обломовъ.

— То поди, то постой!—ворчалъ Захаръ, придерживаясь рукой за дверь.

— Какъ же ты смѣлъ распускать про меня такіе, ни съ чѣмъ не сообразные слухи? — встревоженнымъ шопотомъ спрашивалъ Обломовъ.

— Когда же я, Илья Ильичъ, распускалъ? Это не я, а люди Ильинскіе сказывали, что баринъ, дескать, сватался...

— Цссс... — зашипѣлъ Обломовъ, грозно махая рукой: — ни слова, никогда! Слышишь?

— Слышу,—робко отвѣчалъ Захаръ.

— Не станешь распространять этой нелѣпости?

— Не стану, — тихо отвѣчалъ Захаръ, не понявъ половины словъ и зная только, что они «жалкія».

— Смотри же, чуть услышишь, заговорятъ объ этомъ, спросятъ—скажи: это вздоръ, никогда не было и быть не можетъ!—шопотомъ добавилъ Обломовъ.

— Слушаю,—чуть-слышно прошепталъ Захаръ.

Обломовъ оглянулся и погрозилъ ему пальцемъ. Захаръ

мигалъ испуганными глазами и на цыпочкахъ уходилъ-было къ двери.

— Кто первый сказалъ объ этомъ?—догнавъ, спросилъ его Обломовъ.

— Катя сказала Семену, Семенъ Никитѣ,—шепталъ Захаръ:—Никита Василисѣ...

— А ты всѣмъ разболталъ! Я тебя!—грозно шипѣлъ Обломовъ:—распускать клевету про барина! А!

— Что̀ вы томите меня жалкими-то словами?—сказалъ Захаръ:—я позову Анисью: она все знаетъ...

— Что̀ она знаетъ? Говори, говори сейчасъ!..

Захаръ мгновенно выбрался изъ двери и съ необычайной быстротой шагнулъ въ кухню.

— Брось сковороду, пошла къ барину!—сказалъ онъ Анисьѣ, указавъ ей большимъ пальцемъ на дверь. Анисья передала сковороду Акулинѣ, выдернула изъ-за пояса подолъ, ударила ладонями по бедрамъ и, утеревъ указательнымъ пальцемъ носъ, пошла къ барину. Она въ пять минутъ успокоила Илью Ильича, сказавъ ему, что никто о свадьбѣ ничего не говорилъ: вотъ побожиться не грѣхъ и даже образъ со стѣны снять, и что она въ первый разъ объ этомъ слышитъ; говорили, напротивъ, совсѣмъ другое, что баронъ, слышь, сватался за барышню...

— Какъ баронъ!—вскочивъ вдругъ, спросилъ Илья Ильичъ, и у него поледенѣло не только сердце, но руки и ноги.

— И это вздоръ!—поспѣшила сказать Анисья, видя, что она изъ огня попала въ полымя:—это Катя только Семену сказала, Семенъ Марѳѣ, Марѳа переврала все Никитѣ, а Никита, сказалъ, что «хорошо, если бъ вашъ баринъ, Илья Ильичъ, посваталъ барышню...»

— Какой дуракъ этотъ Никита!—замѣтилъ Обломовъ.

— Точно что дуракъ,—подтвердила Анисья:—онъ и за каретой когда ѣдетъ, такъ словно спитъ. Да и Василиса не повѣрила,—скороговоркой продолжала она:—она еще

въ Успеньевъ-день говорила ей, а Василисѣ разсказывала сама няня, что барышня и не думаетъ выходить замужъ, что статочное ли дѣло, чтобъ вашъ баринъ давно не нашелъ себѣ невѣсты, кабы захотѣлъ жениться, и что еще недавно она видѣла Самойлу, такъ тотъ даже смѣялся этому: какая дескать свадьба? И на свадьбу не похоже, а скорѣе на похороны, что у тетеньки все головка болитъ, а барышня плачутъ да молчатъ; да въ домѣ и приданаго не готовятъ; у барышни чулковъ пропасть нештопанныхъ, и тѣ не соберутся заштопать; что на той недѣлѣ даже заложили серебро...

«Заложили серебро? И у нихъ денегъ нѣтъ!» подумалъ Обломовъ, съ ужасомъ поводя глазами по стѣнамъ и останавливая ихъ на носу Анисьи, потому что на другомъ остановить ихъ было нѐ на чемъ. Она какъ будто и говорила все это не ртомъ, а носомъ.

— Смотри же, не болтать пустяковъ! — замѣтилъ Обломовъ, грозя ей пальцемъ.

— Какое болтать! Я и въ мысляхъ не думаю, не токмо-что болтать,—трещала Анисья, какъ будто лучину щепала:— да ничего и нѣтъ, въ первый разъ слышу сегодня, вотъ передъ Господомъ Богомъ, сквозь землю провалиться! Удивилась, какъ баринъ молвилъ мнѣ, испугалась, даже затряслась вся! Какъ это можно? Какая свадьба? Никому и во снѣ не грезилось. Я ни съ кѣмъ ничего не говорю, все на кухнѣ сижу. Съ Ильинскими людьми не видалась съ мѣсяцъ, забыла какъ ихъ и зовутъ. А здѣсь съ кѣмъ болтать? Съ хозяйкой только и разговору, что о хозяйствѣ; съ бабушкой говорить нельзя: та кашляетъ, да и на ухо крѣпка; Акулина дура набитая, а дворникъ пьяница; остаются ребятишки только: съ тѣми что̀ говорить? Да я и барышню въ лицо забыла...

— Ну, ну, ну! — говорилъ Обломовъ, съ нетерпѣніемъ махнувъ рукой, чтобъ она шла.

— Какъ можно говорить, чего нѣтъ? — договаривала Анисья, уходя.—А что Никита сказалъ, такъ для дураковъ законъ не писанъ. Мнѣ самой и въ голову-то не придетъ: день-денской маешься-маешься — до того ли? Богъ знаетъ, что̀ это! Вотъ образъ-то на стѣнѣ...—И вслѣдъ за этимъ говорящій носъ исчезъ за дверь, но говоръ еще слышался съ минуту за дверью.

— Вотъ оно что̀! И Анисья твердитъ: статочное ли дѣло! — говорилъ шопотомъ Обломовъ, складывая ладони вмѣстѣ.

— Счастье, счастье! — ѣдко проговорилъ онъ потомъ.— Какъ ты хрупко, какъ ненадежно! Покрывало, вѣнокъ, любовь, любовь! А деньги гдѣ? а жить чѣмъ? И тебя надо купить, любовь, чистое, законное благо.

Съ этой минуты мечты и спокойствіе покинули Обломова. Онъ плохо спалъ, мало ѣлъ, разсѣянно и угрюмо глядѣлъ на все.

Онъ хотѣлъ испугать Захара и испугался самъ больше его, когда вникнулъ въ практическую сторону вопроса о свадьбѣ и увидѣлъ, что это, конечно, поэтическій, но вмѣстѣ и практическій, офиціальный шагъ къ существенной и серьезной дѣйствительности и къ ряду строгихъ обязанностей.

А онъ не такъ воображалъ себѣ разговоръ съ Захаромъ. Онъ вспомнилъ, какъ торжественно хотѣлъ онъ объявить объ этомъ Захару, какъ Захаръ завопилъ бы отъ радости и повалился ему въ ноги; онъ бы далъ ему двадцать пять рублей, а Анисьѣ десять...

Все вспомнилъ, и тогдашній трепетъ счастья, руку Ольги, ея страстный поцѣлуй... и обмеръ: «Поблекло, отошло!» раздалось внутри его.

— Что̀ же теперь?..

V.

Обломовъ не зналъ, съ какими глазами покажется онъ къ Ольгѣ, что будетъ говорить она, что будетъ говорить онъ, и рѣшился не ѣхать къ ней въ среду, а отложить свиданіе до воскресенья, когда тамъ много народу бываетъ, и имъ наединѣ говорить не удастся.

Сказать ей о глупыхъ толкахъ людей онъ не хотѣлъ, чтобъ не тревожить ея зломъ неисправимымъ, а не говорить тоже было мудрено; притвориться съ ней онъ не сумѣетъ: она непремѣнно добудетъ изъ него все, что бы онъ ни затаилъ въ самыхъ глубокихъ пропастяхъ души.

Остановившись на этомъ рѣшеніи, онъ уже немного успокоился и написалъ въ деревню къ сосѣду, своему повѣренному, другое письмо, убѣдительно прося его поспѣшить отвѣтомъ, по возможности удовлетворительнымъ.

Затѣмъ сталъ размышлять, какъ употребить это длинное, несносное послѣзавтра, которое было бы такъ наполнено присутствіемъ Ольги, невидимой бесѣдой ихъ душъ, ея пѣніемъ. А тутъ вдругъ Захара дернуло встревожить его такъ некстати!

Онъ рѣшился поѣхать къ Ивану Герасимовичу и отобѣдать у него, чтобъ какъ можно менѣе замѣтить этотъ несносный день. А тамъ, къ воскресенью, онъ успѣетъ приготовиться, да, можетъ-быть, къ тому времени придетъ и отвѣтъ изъ деревни.

Пришло и послѣзавтра.

Его разбудило неистовое скаканье на цѣпи и лай собаки. Кто-то вошелъ на дворъ, кого-то спрашиваютъ. Дворникъ вызвалъ Захара. Захаръ принесъ Обломову письмо съ городской почты.

— Отъ Ильинской барышни,— сказалъ Захаръ.

— Ты почемъ знаешь? — сердито спросилъ Обломовъ. — Врешь!

— На дачѣ все такія письма отъ нея носили,—твердилъ свое Захаръ.

«Здорова ли она? Что̀ это значитъ?» думалъ Обломовъ, распечатывая письмо.

«Не хочу ждать среды (писала Ольга): мнѣ такъ скучно не видѣться подолгу съ вами, что я завтра непремѣнно жду васъ въ три часа въ Лѣтнемъ Саду».

И только.

Опять поднялась-было тревога со дна души, опять онъ началъ метаться отъ безпокойства, ка̀къ говорить съ Ольгой, какое лицо сдѣлать ей.

— Не умѣю, не могу, — говорилъ онъ. — Поди, узнай у Штольца.

Но онъ успокоилъ себя тѣмъ, что, вѣроятно, она пріѣдетъ съ теткой, или съ другой дамой — съ Марьей Семеновной, напримѣръ, которая такъ ее любитъ, не налюбуется на нее. При нихъ онъ кое-какъ надѣялся скрыть свое замѣшательство и готовился быть разговорчивымъ и любезнымъ.

«И въ самый обѣдъ: нашла время!» думалъ онъ, направляясь, не безъ лѣни, къ Лѣтнему Саду.

Лишь только онъ вошелъ въ длинную аллею, онъ видѣлъ, какъ съ одной скамьи встала и пошла къ нему навстрѣчу женщина подъ вуалью.

Онъ никакъ не принялъ ея за Ольгу: одна! быть не можетъ! Не рѣшится она, да и нѣтъ предлога уйти изъ дома.

Однакожъ .. походка какъ будто ея: такъ легко и быстро скользятъ ноги, какъ будто не переступаютъ, а движутся; такая же наклоненная немного впередъ шея и голова, точно она все ищетъ чего-то глазами подъ ногами у себя.

Другой бы, по шляпкѣ, по платью, замѣтилъ, но онъ, просидѣвъ съ Ольгой цѣлое утро, никогда не могъ потомъ сказать, въ какомъ она была платьѣ и шляпкѣ.

Въ саду почти никого нѣтъ; какой-то пожилой господинъ ходитъ проворно: очевидно, дѣлаетъ моціонъ для здоровья, да двѣ... не дамы, а женщины, нянька съ двумя озябшими, до синевы въ лицѣ, дѣтьми.

Листья облетѣли, видно все насквозь; вороны на деревьяхъ кричатъ такъ непріятно. Впрочемъ, ясно, день хорошъ, и если закутаться хорошенько, такъ и тепло.

Женщина подъ вуалью ближе, ближе...

— Она!—сказалъ Обломовъ и остановился въ страхѣ, не вѣря глазамъ.

— Какъ, ты? Что̀ ты?—спросилъ онъ, взявъ ее за руку.

— Какъ я рада, что ты пришелъ, — говорила она, не отвѣчая на его вопросъ: — я думала, что ты не придешь, начинала бояться!

— Какъ ты сюда, какимъ образомъ? — спрашивалъ онъ, растерявшись.

— Оставь; что̀ за дѣло, что̀ за разспросы? Это скучно! Я хотѣла видѣть тебя и пришла—вотъ и все!

Она крѣпко пожимала ему руку и весело, беззаботно смотрѣла на него, такъ явно и открыто наслаждаясь украденнымъ у судьбы мгновеніемъ, что ему даже завидно стало, что онъ не раздѣляетъ ея игриваго настроенія. Какъ, однакожъ, ни былъ онъ озабоченъ, но не могъ не забыться на минуту, увидя лицо ея, лишенное той сосредоточенной мысли, которая играла ея бровями, вливалась въ складку на лбу; теперь она являлась безъ этой, не разъ смущавшей его чудной зрѣлости въ чертахъ.

Въ эти минуты лицо ея дышало такою дѣтскою довѣрчивостью къ судьбѣ, къ счастью, къ нему... Она была очень мила.

— Ахъ, какъ я рада! Какъ я рада!—твердила она, улыбаясь и глядя на него.— Я думала, что не увижу тебя сегодня. Мнѣ вчера такая тоска вдругъ сдѣлалась—не знаю, отчего, и я написала. Ты радъ?

Она заглянула ему въ лицо.

— Что̀ ты такой нахмуренный сегодня? Молчишь? Ты не радъ? Я думала, ты съ ума сойдешь отъ радости, а онъ точно спитъ. Проснитесь, сударь, съ вами Ольга.

Она, съ упрекомъ, слегка оттолкнула его отъ себя.

— Ты нездоровъ? Что̀ съ тобой?—приставала она.

— Нѣтъ, я здоровъ и счастливъ, — поспѣшилъ онъ сказать, чтобъ только дѣло не доходило до добыванья тайнъ у него изъ души.— Я вотъ только тревожусь, какъ ты одна...

— Это ужъ моя забота,—сказала она съ нетерпѣніемъ.— Лучше развѣ, если бъ я съ ma tante пріѣхала?

— Лучше, Ольга...

— Если бъ я знала, я бы попросила ее,—перебила обиженнымъ голосомъ Ольга, выпуская его руку изъ своей.— Я думала, что для тебя нѣтъ больше счастья, какъ побыть со мной.

— И нѣтъ, и быть не можетъ! — возразилъ Обломовъ.— Да какъ же ты одна...

— Нечего долго и разговаривать объ этомъ; поговоримъ лучше о другомъ,—беззаботно сказала она.

— Послушай... Ахъ, что-то я хотѣла сказать, да забыла...

— Не о томъ ли, какъ ты одна пришла сюда?— заговорилъ онъ, оглядываясь безпокойно по сторонамъ.

— Ахъ нѣтъ! Ты все свое! Какъ не надоѣстъ! Что̀ такое я хотѣла сказать?.. Ну, все равно, послѣ вспомню. Ахъ, какъ здѣсь хорошо: листья всѣ упали, feuilles d'automne— помнишь Гюго? Тамъ вонъ солнце, Нева... Пойдемъ къ Невѣ, покатаемся въ лодкѣ...

— Что̀ ты? Богъ съ тобой! Этакой холодъ, а я только въ ваточной шинели...

— Я тоже въ ваточномъ платьѣ. Что̀ за нужда. Пойдемъ, пойдемъ.

Она бѣжала, тащила и его. Онъ упирался и ворчалъ. Однакожъ, надо было сѣсть въ лодку и поѣхать.

— Какъ ты это одна попала сюда?—твердилъ тревожно Обломовъ.

— Сказать какъ? — лукаво дразнила она, когда они выѣхали на средину рѣки. — Теперь можно: ты не уйдешь отсюда, а тамъ убѣжалъ бы...

— А что?—со страхомъ заговорилъ онъ.

— Завтра придешь къ намъ? — вмѣсто отвѣта спросила она.

«Ахъ, Боже мой!» подумалъ Обломовъ. «Она какъ будто въ мысляхъ прочла у меня, что я не хотѣлъ приходить».

— Приду.—отвѣчалъ онъ вслухъ.

— Съ утра, на цѣлый день.

Онъ замялся.

— Ну, такъ не скажу.—сказала она.

— Приду на цѣлый день.

— Вотъ видишь... — начала она серьезно: — я затѣмъ звала тебя сегодня сюда, чтобъ сказать тебѣ...

— Что?—съ испугомъ спросилъ онъ.

— Чтобъ ты... завтра пришелъ къ намъ...

— Ахъ ты, Боже мой!—съ нетерпѣніемъ перебилъ онъ.— Да какъ ты сюда-то попала?

— Сюда?—разсѣянно повторила она.— Какъ я сюда попала? Да вотъ такъ, пришла... Постой... да что объ этомъ говорить!

Она зачерпнула горстью воды и брызнула ему въ лицо. Онъ зажмурился, вздрогнулъ, а она засмѣялась.

— Какая холодная вода, совсѣмъ рука оледенѣла! Боже мой! Какъ весело, какъ хорошо! — продолжала она, глядя по сторонамъ. — Поѣдемъ завтра опять, только ужъ прямо изъ дома...

— А теперь развѣ не прямо? Откуда же ты?—торопливо спросилъ онъ.

— Изъ магазина,—отвѣчала она.

— Изъ какого магазина?

— Какъ изъ какого? Я еще въ саду сказала, изъ какого...

— Да нѣтъ, не сказала...—съ нетерпѣніемъ говорилъ онъ.

— Не сказала! Какъ странно! Забыла! Я пошла изъ дома съ человѣкомъ, къ золотыхъ дѣлъ мастеру...

— Ну?

— Ну, вотъ... Какая это церковь?—вдругъ спросила она у лодочника, указывая вдаль.

— Которая? Вонъ эта-то?—переспросилъ лодочникъ.

— Смольный! — нетерпѣливо сказалъ Обломовъ. — Ну, что жъ, въ магазинъ пошла, а тамъ?

— Тамъ... славныя вещи... Ахъ, какой браслетъ я видѣла!

— Не о браслетѣ рѣчь! — перебилъ Обломовъ: — что жъ потомъ?

— Ну, и только,—разсѣянно добавила она и зорко оглядывала мѣстность вокругъ.

— Гдѣ же человѣкъ?—приставалъ Обломовъ.

— Домой пошелъ, — едва отвѣчала она, вглядываясь въ зданія противоположнаго берега.

— А ты какъ?—говорилъ онъ.

— Какъ тамъ хорошо! Нельзя ли туда? — спросила она, указывая зонтикомъ на противоположную сторону. — Вѣдь ты тамъ живешь!

— Да.

— Въ какой улицѣ, покажи.

— Какъ же человѣкъ-то?—спрашивалъ Обломовъ.

— Такъ, — небрежно отвѣчала она: — я послала его за браслетомъ. Онъ ушелъ домой, а я сюда.

— Какъ же ты такъ? — сказалъ Обломовъ, таращa на нее глаза.

Онъ сдѣлалъ испуганное лицо. И она сдѣлала нарочно такое же.

— Говори серьезно, Ольга; полно шутить.

— Я не шучу, право такъ! — сказала она покойно. — Я нарочно забыла дома браслетъ, а ma tante просила меня сходить въ магазинъ. Ты ни за что не выдумаешь этого! — прибавила она съ гордостью, какъ будто дѣло сдѣлала.

— А если человѣкъ воротится? — спросилъ онъ.

— Я велѣла сказать, чтобъ подождалъ меня, что я въ другой магазинъ пошла, а сама сюда...

— А если Марья Михайловна спроситъ, въ какой другой магазинъ пошла?

— Скажу, у портнихи была.

— А если она у портнихи спроситъ?

— А если Нева вдругъ вся утечетъ въ море, а если лодка перевернется, а если Морская и нашъ домъ провалятся, а если ты вдругъ разлюбишь меня... — говорила она и опять брызнула ему въ лицо.

— Вѣдь человѣкъ ужъ воротился, ждетъ... — говорилъ онъ, утирая лицо. — Эй, лодочникъ, къ берегу!

— Не надо, не надо! — приказывала она лодочнику.

— Къ берегу! человѣкъ ужъ воротился, — твердилъ Обломовъ.

— Пусть его! Не надо!

Но Обломовъ настоялъ на своемъ и торопливо пошелъ съ нею по саду, а она, напротивъ, шла тихо, опираясь ему на руку.

— Что ты спѣшишь? — говорила она. — Погоди, мнѣ хочется побыть съ тобой.

Она шла еще тише, прижималась къ его плечу и близко взглядывала ему въ лицо, а онъ говорилъ ей тяжело и скучно объ обязанностяхъ, о долгѣ. Она слушала разсѣянно, съ томной улыбкой, склонивъ голову, глядя внизъ, или опять близко ему въ лицо, и думала о другомъ.

— Послушай, Ольга, — заговорилъ онъ наконецъ торжественно: — подъ опасеніемъ возбудить въ тебѣ досаду, навлечь на себя упреки, я долженъ, однакожъ, рѣшительно

сказать, что мы зашли далеко. Мой долгъ, моя обязанность сказать тебѣ это.

— Что̀ сказать?—спросила она съ нетерпѣніемъ.

— Что мы дѣлаемъ очень дурно, что видимся тайкомъ.

— Ты говорилъ это еще на дачѣ,—сказала она въ раздумьѣ.

— Да, но я тогда увлекался: одной рукой отталкивалъ, а другой удерживалъ. Ты была довѣрчива, а я... какъ будто... обманывалъ тебя. Тогда было еще ново чувство...

— А теперь ужъ оно не новость, и ты начинаешь скучать...

— Ахъ, нѣтъ, Ольга! Ты несправедлива. Ново, говорю я, и потому нѐкогда, невозможно было образумиться. Меня убиваетъ совѣсть: ты молода, мало знаешь свѣтъ и людей, и притомъ ты такъ чиста, такъ свято любишь, что тебѣ и въ голову не приходитъ, какому строгому порицанію подвергаемся мы оба за то, что̀ дѣлаемъ—больше всего я.

— Что̀ же мы дѣлаемъ?—остановившись, спросила она.

— Какъ что̀? Ты обманываешь тетку, тайкомъ уходишь изъ дому, видишься наединѣ съ мужчиной... Попробуй сказать это все въ воскресенье, при гостяхъ...

— Отчего же не сказать? — произнесла она покойно. — Пожалуй, скажу...

— И увидишь, — продолжалъ онъ: — что теткѣ твоей сдѣлается дурно, дамы бросятся вонъ, а мужчины лукаво и смѣло посмотрятъ на тебя...

Она задумалась.

— Но вѣдь мы—женихъ и невѣста!—возразила она.

— Да̀, да̀, милая Ольга,—говорилъ онъ, пожимая ей обѣ руки: — и тѣмъ строже намъ надо быть, тѣмъ осмотрительнѣе на каждомъ шагу. Я хочу съ гордостью вести тебя подъ руку по этой самой аллеѣ, всенародно, а не тайкомъ, чтобъ взгляды склонялись передъ тобой съ уваженіемъ, а не устремлялись на тебя смѣло и лукаво, чтобъ ни въ чьей головѣ

не смѣю родиться подозрѣніе, что ты, гордая дѣвушка, могла, очертя голову, забывъ стыдъ и воспитаніе, увлечься и нарушить долгъ...

— Я не забыла ни стыда, ни воспитанія, ни долга,— гордо отвѣтила она, отнявъ руку отъ него.

— Знаю, знаю, мой невинный ангелъ, но это не я говорю, это скажутъ люди, свѣтъ, и никогда не простятъ тебѣ этого. Пойми, ради Бога, чего я хочу. Я хочу, чтобъ ты и въ глазахъ свѣта была чиста и безукоризненна, какова ты въ самомъ дѣлѣ...

Она шла задумавшись.

— Пойми, для чего я говорю тебѣ это: ты будешь несчастлива, и на меня одного ляжетъ отвѣтственность въ этомъ. Скажутъ, я увлекалъ, закрывалъ отъ тебя пропасть съ умысломъ. Ты чиста и покойна со мной, но кого ты увѣришь въ этомъ? Кто повѣритъ?

— Это правда,—вздрогнувъ, сказала она.—Слушай же,— прибавила рѣшительно:—скажемъ все ma tante, и пусть она завтра благословитъ насъ...

Обломовъ поблѣднѣлъ.

— Что ты?—спросила она.

— Погоди, Ольга: къ чему такъ торопиться?..—поспѣшно прибавилъ онъ.

У самого дрожали губы.

— Не ты ли, двѣ недѣли назадъ, самъ торопилъ меня?— спросила она, глядя сухо и внимательно на него.

— Да, я не подумалъ тогда о приготовленіяхъ, а ихъ много!—сказалъ онъ, вздохнувъ.—Дождемся только письма изъ деревни.

— Зачѣмъ же дожидаться письма? Развѣ тотъ или другой отвѣтъ можетъ измѣнить твое намѣреніе?—спросила она, еще внимательнѣе глядя на него.

— Вотъ мысль! Нѣтъ; а все нужно для соображеній; надо же будетъ сказать теткѣ, когда свадьба. Съ ней мы не о

любви будемъ говорить, а о такихъ дѣлахъ, для которыхъ я вовсе не приготовленъ теперь.

— Тогда и скажемъ, какъ получишь письмо, а между тѣмъ всѣ будутъ знать, что мы женихъ и невѣста, и мы будемъ видѣться ежедневно. Мнѣ скучно,—прибавила она:— я томлюсь этими длинными днями; всѣ замѣчаютъ, ко мнѣ пристаютъ, намекаютъ лукаво на тебя... Все это мнѣ надоѣло!

— Намекаютъ на меня?—едва выговорилъ Обломовъ.

— Да, по милости Сонички.

— Вотъ видишь, видишь? Ты не слушала меня, разсердилась тогда!

— Ну, что̀ видишь? Ничего не вижу, вижу только, что ты трусъ... Я не боюсь этихъ намековъ.

— Не трусъ, а остороженъ... Но, пойдемъ, ради Бога, отсюда, Ольга: смотри, вонъ карета подъѣзжаетъ. Не знакомые ли? Ахъ! Такъ въ потъ и бросаетъ... Пойдемъ, пойдемъ...—боязливо говорилъ онъ и заразилъ страхомъ и ее.

— Да, пойдемъ скорѣе,—сказала и она шопотомъ, скороговоркой.

И они почти побѣжали по аллеѣ до конца сада, не говоря ни слова, Обломовъ, оглядываясь безпокойно во всѣ стороны, а она, совсѣмъ склонивъ голову внизъ и закрывшись вуалью.

— Такъ завтра! — сказала она, когда они были у того магазина, гдѣ ждалъ ее человѣкъ.

— Нѣтъ, лучше послѣзавтра... или нѣтъ, въ пятницу, или субботу,—отвѣчалъ онъ.

— Отчего жъ?

— Да... видишь, Ольга... я все думаю, не подоспѣетъ ли письмо?

— Пожалуй. Но завтра та̀къ приди, къ обѣду, слышишь?

— Да, да, хорошо, хорошо! — торопливо прибавилъ онъ, а она вошла въ магазинъ.

«Ахъ, Боже мой, до чего дошло! Какой камень вдругъ упалъ на меня! Что я теперь стану дѣлать? Соничка! Захаръ! франты...»

VI.

Онъ не замѣтилъ, что Захаръ подалъ ему совсѣмъ холодный обѣдъ, не замѣтилъ, какъ послѣ того очутился въ постели и заснулъ крѣпкимъ, какъ камень, сномъ.

На другой день онъ содрогнулся при мысли ѣхать къ Ольгѣ: какъ можно! Онъ живо представилъ себѣ какъ на него всѣ станутъ смотрѣть значительно.

Швейцаръ и безъ того встрѣчаетъ его какъ-то особенно ласково. Семенъ такъ и бросается, сломя голову, когда онъ спроситъ стаканъ воды. Катя, няня провожаютъ его дружелюбной улыбкой.

«Женихъ, женихъ!» написано у всѣхъ на лбу, а онъ еще не просилъ согласія тетки, у него ни гроша денегъ нѣтъ, и онъ не знаетъ, когда будутъ, не знаетъ даже, сколько онъ получитъ дохода съ деревни въ нынѣшнемъ году; дома въ деревнѣ нѣтъ—хорошъ женихъ!

Онъ рѣшилъ, что до полученія положительныхъ извѣстій изъ деревни онъ будетъ видѣться съ Ольгой только въ воскресенье, при свидѣтеляхъ. Поэтому, когда пришло завтра, онъ не подумалъ съ утра начать готовиться ѣхать къ Ольгѣ.

Онъ не брился, не одѣвался, лѣниво перелистывалъ французскія газеты, взятыя на той недѣлѣ у Ильинскихъ, не смотрѣлъ безпрестанно на часы и не хмурился, что стрѣлка долго не подвигается впередъ.

Захаръ и Анисья думали, что онъ, по обыкновенію, не будетъ обѣдать дома, и не спрашивали его, что готовить.

Онъ ихъ разбранилъ, объявивъ, что онъ совсѣмъ не всякую среду обѣдалъ у Ильинскихъ, что это «клевета», что обѣдалъ онъ у Ивана Герасимовича, и что впередъ, кромѣ

развѣ воскресенья, и то не каждаго, будетъ обѣдать дома.

Анисья опрометью побѣжала на рынокъ за потрохами для любимаго супа Обломова.

Приходили хозяйскія дѣти къ нему: онъ повѣрилъ сложеніе и вычитаніе у Вани и нашелъ двѣ ошибки. Машѣ налиневалъ тетрадь и написалъ большіе азы, потомъ слушалъ какъ трещатъ канарейки, и смотрѣлъ въ полуотворенную дверь какъ мелькали и двигались локти хозяйки.

Часу во второмъ хозяйка изъ-за двери спросила, не хочетъ ли онъ закусить: у нихъ пекли ватрушки. Подали ватрушки и рюмку смородиновой водки.

Волненіе Ильи Ильича немного успокоилось и на него нашла только тупая задумчивость, въ которой онъ пробылъ почти до обѣда.

Послѣ обѣда, лишь только-было онъ, лежа на диванѣ, началъ кивать головой, одолѣваемый дремотой, дверь изъ хозяйской половины отворилась и оттуда появилась Агаѳья Матвѣевна, съ двумя пирамидами чулокъ въ обѣихъ рукахъ.

Она положила ихъ на два стула, а Обломовъ вскочилъ и предложилъ ей самой третій, но она не сѣла; это было не въ ея привычкахъ: она вѣчно на ногахъ, вѣчно въ заботѣ и въ движеніи.

— Вотъ я разобрала сегодня ваши чулки,—сказала она:— пятьдесятъ-пять паръ, да почти все худые...

— Какія же вы добрыя! — говорилъ Обломовъ, подходя къ ней и взявъ ее шутливо слегка за локти.

Она усмѣхнулась.

— Что вы безпокоитесь? Мнѣ, право, совѣстно.

— Ничего, наше дѣло хозяйское: у васъ нѣкому разбирать, а мнѣ въ охоту, — продолжала она. — Вотъ тутъ двадцать паръ совсѣмъ не годятся: ихъ ужъ и штопать не стоитъ.

— Не надо, бросьте всѣ, пожалуйста! что вы занимаетесь этой дрянью. Можно новые купить...

— Какъ бросить, зачѣмъ? Вотъ эти можно всѣ надвязать,—и она начала живо отсчитывать чулки.

— Да сядьте, пожалуйста; что вы стоите? — предлагалъ онъ ей.

— Нѣтъ, покорнѣйше благодарю, нѣкогда покладываться, — отвѣчала она, уклоняясь опять отъ стула. — Сегодня стирка у насъ; надо все бѣлье приготовить.

— Вы чудо, а не хозяйка!—говорилъ онъ, останавливая глаза на ея горлѣ и на груди.

Она усмѣхнулась.

— Такъ какъ же,— спросила она: — надвязать чулки-то? Я бумаги и нитокъ закажу. Намъ старуха изъ деревни носитъ, а здѣсь не стоитъ покупать: все гниль.

— Если вы такъ добры, сдѣлайте одолженіе, — говорилъ Обломовъ: — только мнѣ, право, совѣстно, что вы хлопочете.

— Ничего; что намъ дѣлать-то? Вотъ это я сама надвяжу, эти бабушкѣ дамъ; завтра золовка придетъ гостить: по вечерамъ нѣчего будетъ дѣлать и надвяжемъ. У меня Маша ужъ начинаетъ вязать, только спицы все выдергиваетъ: большія, не по рукамъ.

— Ужели и Маша привыкаетъ? — спросилъ Обломовъ.

— Ей-Богу, правда.

— Не знаю, какъ и благодарить васъ, — говорилъ Обломовъ, глядя на нее съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ утромъ смотрѣлъ на горячую ватрушку.—Очень, очень благодаренъ вамъ и въ долгу не останусь, особенно у Маши: шелковыхъ платьевъ накуплю ей, какъ куколку одѣну.

— Что вы? Что за благодарность? Куда ей шелковыя платья? Ей и ситцевыхъ не напасешься; такъ вотъ на ней все и горитъ, особенно башмаки: не успѣваемъ на рынкѣ покупать.

Она встала и взяла чулки.

— Куда жъ вы торопитесь? — говорилъ онъ.— Посидите, я не занятъ.

— Въ другое время когда-нибудь, въ праздникъ; и вы къ намъ, милости просимъ, кофе кушать. А теперь стирка: я пойду посмотрю, что̀ Акулина, начала ли?..

— Ну, Богъ съ вами, не смѣю задерживать, — сказалъ Обломовъ, глядя ей вслѣдъ въ спину и на локти.

— Еще я халатъ вашъ достала изъ чулана, — продолжала она: — его можно починить и вымыть: матерія такая славная! Онъ долго прослужитъ.

— Напрасно! Я его не ношу больше, я отсталъ, онъ мнѣ не нуженъ.

— Ну, все равно, пусть вымоютъ: можетъ-быть надѣнете когда-нибудь... къ свадьбѣ! — досказала она, усмѣхаясь и захлопывая дверь.

У него вдругъ и сонъ отлетѣлъ, и уши навострились, и глаза онъ вытаращилъ.

— И она знаетъ—всѣ!—сказалъ онъ, опускаясь на приготовленный ей стулъ.—О, Захаръ, Захаръ!

Опять полились на Захара «жалкія» слова, опять Анисья заговорила носомъ, что «она въ первый разъ отъ хозяйки слышитъ о свадьбѣ, что, въ разговорахъ съ ней, даже помину не было, да и свадьбы нѣтъ, и статочное ли дѣло? Это выдумалъ, должно-быть, врагъ рода человѣческаго, хоть сейчасъ сквозь землю провалиться, и что хозяйка тоже готова снять образъ со стѣны, что она про Ильинскую барышню и не слыхивала, а разумѣла какую-нибудь другую невѣсту...»

И много говорила Анисья, такъ что Илья Ильичъ замахалъ рукой. Захаръ попробовалъ-было на другой день попроситься въ старый домъ, въ Гороховую, въ гости сходить, такъ Обломовъ такихъ гостей задалъ ему, что онъ насилу ноги унесъ.

— Тамъ еще не знаютъ, такъ надо распустить клевету. Дома сиди!—прибавилъ Обломовъ грозно.

Прошла среда. Въ четвергъ Обломовъ получилъ опять по городской почтѣ письмо отъ Ольги, съ вопросомъ, что̀ значитъ, что̀ такое случилось, что его не было. Она писала, что проплакала цѣлый вечеръ и почти не спала ночь.

— Плачетъ, не спитъ этотъ ангелъ! — восклицалъ Обломовъ. — Господи! Зачѣмъ она любитъ меня? Зачѣмъ я люблю ее? Зачѣмъ мы встрѣтились? Это все Андрей: онъ привилъ любовь, какъ оспу, намъ обоимъ. И что̀ это за жизнь, все волненія, да тревоги! Когда же будетъ мирное счастье, покой?

Онъ съ громкими вздохами ложился, вставалъ, даже выходилъ на улицу, и все доискивался нормы жизни, такого существованія, которое было бы и исполнено содержанія, и текло бы тихо, день за днемъ, капля по каплѣ, въ нѣмомъ созерцаніи природы и тихихъ, едва ползущихъ явленіяхъ семейной, мирно-хлопотливой жизни. Ему не хотѣлось воображать ее широкой, шумно-несущейся рѣкой, съ кипучими волнами, какъ воображалъ ее Штольцъ.

— Это болѣзнь,—говорилъ Обломовъ:—горячка, скаканье съ порогами, съ прорывами плотинъ, съ наводненіями.

Онъ написалъ Ольгѣ, что въ Лѣтнемъ саду простудился немного, долженъ былъ напиться горячей травы и просидѣть дня два дома, что теперь все прошло, и онъ надѣется видѣть ее въ воскресенье.

Она написала ему отвѣтъ и похвалила, что онъ поберегся, совѣтовала остаться дома и въ воскресенье, если нужно будетъ, и прибавила, что она лучше проскучаетъ съ недѣлю, чтобъ только онъ берегся.

Отвѣтъ принесъ Никита, тотъ самый, который, по словамъ Анисьи, былъ главнымъ виновникомъ болтовни. Онъ принесъ отъ барышни новыя книги, съ порученіемъ отъ

Ольги прочитать и сказать, при свиданіи, стóитъ ли ихъ читать ей самой.

Она требовала отвѣта о здоровьѣ. Обломовъ, написавъ отвѣтъ, самъ отдалъ его Никитѣ и прямо изъ передней выпроводилъ его на дворъ и провожалъ глазами до калитки, чтобъ онъ не вздумалъ зайти на кухню и повторить тамъ «клевету», и чтобъ Захаръ не пошелъ провожать его на улицу.

Онъ обрадовался предложенію Ольги поберечься и не приходить въ воскресенье и написалъ ей, что, дѣйствительно, для совершеннаго выздоровленія, нужно просидѣть еще нѣсколько дней дома.

Въ воскресенье онъ былъ съ визитомъ у хозяйки, пилъ кофе, ѣлъ горячій пирогъ, и къ обѣду посылалъ Захара на ту сторону, за мороженымъ и конфетами для дѣтей.

Захара насилу перевезли черезъ рѣку назадъ; мосты уже сняли, и Нева собралась замерзнуть. Обломову нельзя было думать и въ среду ѣхать къ Ольгѣ.

Конечно, можно было бы броситься сейчасъ же на ту сторону, поселиться на нѣсколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обѣдать каждый день у Ольги.

Предлогъ былъ законный: Нева захватила на той сторонѣ, не успѣлъ переправиться.

У Обломова первымъ движеніемъ была эта мысль, и онъ быстро спустилъ ноги на полъ, но, подумавъ немного, съ заботливымъ лицомъ и со вздохомъ, медленно опять улегся на своемъ мѣстѣ.

«Нѣтъ, пусть замолкнутъ толки, пусть посторонніе лица, посѣщающія домъ Ольги, забудутъ немного его и увидятъ ужъ опять каждый день тамъ тогда, когда они объявлены будутъ женихомъ и невѣстой».

— Скучно ждать, да нѣчего дѣлать, — прибавилъ онъ со вздохомъ, принимаясь за присланныя отъ Ольги книги.

Онъ прочелъ страницъ пятнадцать. Маша пришла звать

его, не хочетъ ли пойти на Неву: всѣ идутъ посмотрѣть, какъ становится рѣка. Онъ пошелъ и воротился къ чаю.

Такъ проходили дни. Илья Ильичъ скучалъ, читалъ, ходилъ по улицѣ, а дома заглядывалъ въ дверь къ хозяйкѣ, чтобъ, отъ скуки, перемолвить слова два. Онъ даже смололъ ей однажды фунта три кофе съ такимъ усердіемъ, что у него лобъ сталъ мокрый.

Онъ хотѣлъ-было дать ей книгу прочесть. Она, медленно шевеля губами, прочла про себя заглавіе и возвратила книгу, сказавъ, что когда придутъ святки, такъ она возьметъ ее у него и заставитъ Ваню прочесть вслухъ, тогда и бабушка послушаетъ, а теперь некогда.

Между тѣмъ на Неву настлали мостки, и однажды скаканье собаки на цѣпи и отчаянный лай возвѣстили вторичный приходъ Никиты съ запиской, съ вопросомъ о здоровьѣ и съ книгой.

Обломовъ боялся, чтобъ и ему не пришлось идти по мосткамъ на ту сторону, спрятался отъ Никиты, написавъ въ отвѣтъ, что у него сдѣлалась маленькая опухоль въ горлѣ, что онъ не рѣшается еще выходить со двора, и что «жестокая судьба лишаетъ его счастья еще нѣсколько дней видѣть ненаглядную Ольгу».

Онъ накрѣпко наказалъ Захару, не смѣть болтать съ Никитой, и опять глазами проводилъ послѣдняго до калитки, а Анисьѣ погрозилъ пальцемъ, когда она показала-было носъ изъ кухни и что-то хотѣла спросить Никиту.

VII.

Прошла недѣля. Обломовъ, вставъ утромъ, прежде всего съ безпокойствомъ спрашивалъ, наведены ли мосты?

— Нѣтъ еще, — говорили ему, и онъ мирно проводилъ день, слушая постукиванье маятника, трескъ кофейной мельницы и пѣніе канареекъ.

Цыплята не пищали больше, они давно стали пожилыми

Ольги прочитать и сказать, при свиданіи, стоитъ ли ихъ читать ей самой.

Она требовала отвѣта о здоровьѣ. Обломовъ, написавъ отвѣтъ, самъ отдалъ его Никитѣ и прямо изъ передней выпроводилъ его на дворъ и провожалъ глазами до калитки, чтобъ онъ не вздумалъ зайти на кухню и повторить тамъ «клевету», и чтобъ Захаръ не пошелъ провожать его на улицу.

Онъ обрадовался предложенію Ольги поберечься и не приходить въ воскресенье и написалъ ей, что, дѣйствительно, для совершеннаго выздоровленія, нужно просидѣть еще нѣсколько дней дома.

Въ воскресенье онъ былъ съ визитомъ у хозяйки, пилъ кофе, ѣлъ горячій пирогъ, и къ обѣду посылалъ Захара на ту сторону, за мороженымъ и конфетами для дѣтей.

Захара насилу перевезли черезъ рѣку назадъ; мосты уже сняли, и Нева собралась замерзнуть. Обломову нельзя было думать и въ среду ѣхать къ Ольгѣ.

Конечно, можно было бы броситься сейчасъ же на ту сторону, поселиться на нѣсколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обѣдать каждый день у Ольги.

Предлогъ былъ законный: Нева захватила на той сторонѣ, не успѣлъ переправиться.

У Обломова первымъ движеніемъ была эта мысль, и онъ быстро спустилъ ноги на полъ, но, подумавъ немного, съ заботливымъ лицомъ и со вздохомъ, медленно опять улегся на своемъ мѣстѣ.

«Нѣтъ, пусть замолкнутъ толки, пусть постороннія лица, посѣщающія домъ Ольги, забудутъ немного его и увидятъ ужъ опять каждый день тамъ тогда, когда они объявлены будутъ женихомъ и невѣстой».

— Скучно ждать, да нѐчего дѣлать, — прибавилъ онъ со вздохомъ, принимаясь за присланныя отъ Ольги книги.

Онъ прочелъ страницъ пятнадцать. Маша пришла звать

его, не хочетъ ли пойти на Неву: всѣ идутъ посмотрѣть, какъ становится рѣка. Онъ пошелъ и воротился къ чаю.

Такъ проходили дни. Илья Ильичъ скучалъ, читалъ, ходилъ по улицѣ, а дома заглядывалъ въ дверь къ хозяйкѣ, чтобъ, отъ скуки, перемолвить слова два. Онъ даже смололъ ей однажды фунта три кофе съ такимъ усердіемъ, что у него лобъ сталъ мокрый.

Онъ хотѣлъ-было дать ей книгу прочесть. Она, медленно шевеля губами, прочла про себя заглавіе и возвратила книгу, сказавъ, что когда придутъ святки, такъ она возьметъ ее у него и заставитъ Ваню прочесть вслухъ, тогда и бабушка послушаетъ, а теперь некогда.

Между тѣмъ на Неву настлали мостки, и однажды скаканье собаки на цѣпи и отчаянный лай возвѣстили вторичный приходъ Никиты съ запиской, съ вопросомъ о здоровьѣ и съ книгой.

Обломовъ боялся, чтобъ и ему не пришлось идти по мосткамъ на ту сторону, спрятался отъ Никиты, написавъ въ отвѣтъ, что у него сдѣлалась маленькая опухоль въ горлѣ, что онъ не рѣшается еще выходить со двора, и что «жестокая судьба лишаетъ его счастья еще нѣсколько дней видѣть ненаглядную Ольгу».

Онъ накрѣпко наказалъ Захару, не смѣть болтать съ Никитой, и опять глазами проводилъ послѣдняго до калитки, а Анисьѣ погрозилъ пальцемъ, когда она показала-было носъ изъ кухни и что-то хотѣла спросить Никиту.

VII.

Прошла недѣля. Обломовъ, вставъ утромъ, прежде всего съ безпокойствомъ спрашивалъ, наведены ли мосты?

— Нѣтъ еще, — говорили ему, и онъ мирно проводилъ день, слушая постукиванье маятника, трескъ кофейной мельницы и пѣніе канареекъ.

Цыплята не пищали больше, они давно стали пожилыми

курами и прятались по курятникамъ. Книгъ, присланныхъ Ольгой, онъ не успѣлъ прочесть: какъ на сто-пятой страницѣ онъ положилъ книгу, обернувъ переплетомъ вверхъ, такъ она и лежитъ уже нѣсколько дней.

Зато онъ чаще занимается съ дѣтьми хозяйки. Ваня такой понятливый мальчикъ, въ три раза запомнилъ главные города въ Европѣ, и Илья Ильичъ обѣщалъ, какъ только поѣдетъ на ту сторону, подарить ему маленькій глобусъ; а Машенька обрубила ему три платка — плохо, правда, но зато она такъ смѣшно трудится маленькими ручонками и все бѣгаетъ показать ему каждый обрубленный вершокъ.

Съ хозяйкой онъ бесѣдовалъ безпрестанно, лишь только завидитъ ея локти въ полуотворенную дверь. Онъ уже, по движенію локтей, привыкъ распознавать, что̀ дѣлаетъ хозяйка, сѣетъ, мелетъ, или гладитъ.

Даже пробовалъ заговорить съ бабушкой, да она не сможетъ никакъ докончить разговора: остановится на полусловѣ, упретъ кулакомъ въ стѣну, согнется и давай кашлять, точно трудную работу какую-нибудь исправляетъ, потомъ о̀хнетъ— тѣмъ весь разговоръ и кончится.

Только братца одного не видитъ онъ совсѣмъ, или видитъ, какъ мелькаетъ большой пакетъ мимо оконъ, а самого его будто и не слыхать въ домѣ. Даже когда Обломовъ нечаянно вошелъ въ комнату, гдѣ они обѣдаютъ, сжавшись въ тѣсную кучу, братецъ на̀скоро вытеръ пальцами губы и скрылся въ свою свѣтлицу.

Однажды, лишь только Обломовъ беззаботно проснулся утромъ и принялся за кофе, вдругъ Захаръ донесъ, что мосты наведены. У Обломова стукнуло сердце.

— А завтра воскресенье,—сказалъ онъ:—надо ѣхать къ Ольгѣ, цѣлый день мужественно выносить значительные и любопытные взгляды постороннихъ, потомъ объявить ей, когда намѣренъ говорить съ теткой.

А онъ еще все на той же точкѣ невозможности двинуться впередъ.

Ему живо представилось, какъ онъ объявленъ женихомъ, какъ на другой, на третій день пріѣдутъ разныя дамы и мужчины, какъ онъ вдругъ станетъ предметомъ любопытства, какъ дадутъ офиціальный обѣдъ, будутъ пить его здоровье. Потомъ... потомъ, по праву и обязанности жениха, онъ привезетъ невѣстѣ подарокъ...

— Подарокъ! — съ ужасомъ сказалъ онъ себѣ и расхохотался горькимъ смѣхомъ.

Подарокъ! А у него двѣсти рублей въ карманѣ! Если деньги и пришлютъ, такъ къ Рождеству, а можетъ-быть и позже, когда продадутъ хлѣбъ, а когда продадутъ, сколько его тамъ и какъ велика сумма выручена будетъ — все это должно объяснить письмо, а письма нѣтъ. Какъ же быть-то? Прощай двухнедѣльное спокойствіе!

Между этими заботами рисовалось ему прекрасное лицо Ольги, ея пушистыя, говорящія брови и эти умные сѣро-голубые глаза, и вся головка, и коса ея, которую она спускала какъ-то низко на затылокъ, такъ что она продолжала и дополняла благородство всей ея фигуры, начиная съ головы до плечъ и стана.

Но лишь только онъ затрепещетъ отъ любви, тотчасъ же, какъ камень, сваливается на него тяжелая мысль: какъ быть, что̀ дѣлать, какъ приступить къ вопросу о свадьбѣ, гдѣ взять денегъ, чѣмъ потомъ жить?..

«Подожду еще; авось письмо придетъ завтра или послѣзавтра». И онъ принимался разсчитывать, когда должно придти въ деревню его письмо, сколько времени можетъ промедлить сосѣдъ и какой срокъ понадобится для присылки отвѣта.

«Въ эти три, много четыре дня должно придти; подожду ѣхать къ Ольгѣ», рѣшилъ онъ, тѣмъ болѣе, что она едва ли знаетъ, что мосты наведены...

— Катя, навели мосты? — проснувшись въ то же утро, спросила Ольга у своей горничной.

И этотъ вопросъ повторялся каждый день. Обломовъ не подозрѣвалъ этого.

— Не знаю, барышня; нынче не видала ни кучера, ни дворника, а Никита не знаетъ.

— Ты никогда не знаешь, что̀ мнѣ нужно! — съ неудовольствіемъ сказала Ольга, лежа въ постели и разсматривая цѣпочку на шеѣ.

— Я сейчасъ узнаю, барышня. Я не смѣла отойти, думала, что вы проснетесь, а то бы давно сбѣгала.—И Катя исчезла изъ комнаты.

А Ольга отодвинула ящикъ столика и достала послѣднюю записку Обломова. «Боленъ, бѣдный», заботливо думала она: «онъ тамъ одинъ, скучаетъ... Ахъ, Боже мой, скоро ли...»

Она не окончила мысли, а раскраснѣвшаяся Катя влетѣла въ комнату.

— Наведены, наведены сегодня въ ночь! — радостно сказала она и приняла быстро вскочившую съ постели барышню на руки, накинула на нее блузу и пододвинула крошечныя туфли. Ольга проворно отворила ящикъ, вынула что-то оттуда и опустила въ руку Катѣ, а Катя поцѣловала у ней руку. Все это — прыжокъ съ постели, опущенная монета въ руку Кати и поцѣлуй барышниной руки случилось въ одну и ту же минуту. «Ахъ, завтра воскресенье: какъ это кстати! Онъ придетъ!» подумала Ольга и живо одѣлась, наскоро напилась чаю и поѣхала съ теткой въ магазинъ.

— Поѣдемте, ma tante, завтра въ Смольный, къ обѣднѣ,— просила она.

Тетка прищурилась немного, подумала, потомъ сказала:

— Пожалуй; только какая даль, ma chère! Что̀ это тебѣ вздумалось зимой!

А Ольгѣ вздумалось только потому, что Обломовъ указалъ

ей эту церковь съ рѣки, и ей захотѣлось помолиться въ ней... о немъ, чтобъ онъ былъ здоровъ, чтобъ любилъ ее, чтобъ былъ счастливъ ею, чтобъ... эта нерѣшительность, неизвѣстность скорѣе кончилась... Бѣдная Ольга!

Настало и воскресенье. Ольга какъ-то искусно умѣла весь обѣдъ устроить по вкусу Обломова.

Она надѣла бѣлое платье, скрыла подъ кружевами подаренный имъ браслетъ, причесалась какъ онъ любитъ; наканунѣ велѣла настроить фортепіано и утромъ попробовала спѣть Casta diva. И голосъ такъ звученъ, какъ не былъ съ дачи. Потомъ стала ждать.

Баронъ засталъ ее въ этомъ ожиданіи и сказалъ, что она опять похорошѣла, какъ лѣтомъ, но что немного похудѣла.

— Отсутствіе деревенскаго воздуха и маленькій безпорядокъ въ образѣ жизни замѣтно подѣйствовали на васъ,— сказалъ онъ. — Вамъ, милая Ольга Сергѣевна, нуженъ воздухъ полей и деревня.

Онъ нѣсколько разъ поцѣловалъ ей руку, такъ что крашеные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцахъ.

— Да, деревня,—отвѣчала она задумчиво, но не ему, а такъ кому-то, на воздухъ.

— A propos о деревнѣ,—прибавилъ онъ:—въ будущемъ мѣсяцѣ дѣло ваше кончится, и въ апрѣлѣ вы можете ѣхать въ свое имѣніе. Оно не велико, но мѣстоположеніе—чудо! Вы будете довольны. Какой домъ! Садъ! Тамъ есть одинъ павильонъ, на горѣ: вы его полюбите. Видъ на рѣку... вы не помните, вы пяти лѣтъ были, когда папа выѣхалъ оттуда и увезъ васъ.

— Ахъ, какъ я буду рада!—сказала она и задумалась.

«Теперь ужъ рѣшено», думала она: «мы поѣдемъ туда, но онъ узнаетъ объ этомъ не прежде, какъ...»

— Въ будущемъ мѣсяцѣ, баронъ?—живо спросила она.— Это вѣрно?

— Какъ то, что вы прекрасны вообще, а сегодня въ особенности,—сказалъ онъ и пошелъ къ теткѣ.

Ольга осталась на своемъ мѣстѣ и замечталась о близкомъ счастьѣ, но она рѣшилась не говорить Обломову объ этой новости, о своихъ будущихъ планахъ.

Она хотѣла дослѣдить до конца, какъ въ его лѣнивой душѣ любовь совершитъ переворотъ, какъ окончательно спадетъ съ него гнётъ, какъ онъ не устоитъ передъ близкимъ счастьемъ, получитъ благопріятный отвѣтъ изъ деревни и, сіяющій, прибѣжитъ, прилетитъ и положитъ его къ ея ногамъ, какъ они оба, въ перегонку, бросятся къ теткѣ, и потомъ...

Потомъ вдругъ она скажетъ ему, что и у нея есть деревня, садъ, павильонъ, видъ на рѣку и домъ, совсѣмъ готовый для житья, какъ надо прежде поѣхать туда, потомъ въ Обломовку.

«Нѣтъ, не хочу благопріятнаго отвѣта», подумала она: «онъ загордится и не почувствуетъ даже радости, что у меня есть свое имѣніе, домъ, садъ... Нѣтъ, пусть онъ лучше придетъ разстроенный непріятнымъ письмомъ, что въ деревнѣ безпорядокъ, что надо ему побывать самому. Онъ поскачетъ, сломя голову, въ Обломовку, наскоро сдѣлаетъ всѣ нужныя распоряженія, многое забудетъ, не сумѣетъ, все кое-какъ, и поскачетъ обратно, и вдругъ узнаетъ, что не надо было скакать — что есть домъ, садъ и павильонъ съ видомъ, что есть гдѣ жить и безъ его Обломовки... Да, да, она ни за что не скажетъ ему, выдержитъ до конца; пусть онъ съѣздитъ туда, пусть пошевелится, оживетъ— все для нея, во имя будущаго счастья! Или, нѣтъ: зачѣмъ посылать его въ деревню, разставаться? Нѣтъ, когда онъ въ дорожномъ платьѣ придетъ къ ней блѣдный, печальный, прощаться на мѣсяцъ, она вдругъ скажетъ ему, что не надо ѣхать до лѣта: тогда вмѣстѣ поѣдутъ...

Такъ мечтала она, и побѣжала къ барону, и искусно

предупредила его, чтобъ онъ до времени объ этой новости не говорилъ никому, рѣшительно *никому*. Подъ этимъ *никому* она разумѣла одного Обломова.

— Да, да, зачѣмъ?—подтвердилъ онъ.—Развѣ мсьё Обломову только, если рѣчь зайдетъ...

Ольга выдержала себя и равнодушно сказала:

— Нѣтъ, и ему не говорите.

— Ваша воля, вы знаете, для меня законъ...—прибавилъ баронъ любезно.

Она была не безъ лукавства. Если ей очень хотѣлось взглянуть на Обломова при свидѣтеляхъ, она прежде взглянетъ попеременно на троихъ другихъ, потомъ ужъ на него.

Сколько соображеній — все для Обломова. Сколько разъ загорались два пятна у ней на щекахъ! Сколько разъ она тронетъ то тотъ, то другой клавишъ, чтобъ узнать, не слишкомъ ли высоко настроено фортепіано, или переложитъ ноты съ одного мѣста на другое! И вдругъ нѣтъ его! Что это значитъ!

Три, четыре часа — все нѣтъ! Въ половинѣ пятаго красота ея, расцвѣтаніе начали пропадать: она стала замѣтно увядать и сѣла за столъ поблѣднѣвшая.

А прочіе ничего: никто и не замѣчаетъ — всѣ ѣдятъ тѣ блюда, которыя готовились для него, разговариваютъ такъ весело, равнодушно.

Послѣ обѣда, вечеромъ — его нѣтъ, нѣтъ. До десяти часовъ она волновалась надеждой, страхомъ; въ десять часовъ ушла къ себѣ.

Сначала она обрушила мысленно на его голову всю желчь, накипѣвшую въ сердцѣ; не было ѣдкаго сарказма, горячаго слова, какія только были въ ея лексиконѣ, которыми бы она мысленно не казнила его.

Потомъ вдругъ, какъ будто весь организмъ ея наполнился огнемъ, потомъ льдомъ.

«Онъ боленъ; онъ одинъ; онъ не можетъ даже писать...» сверкнуло у ней въ головѣ.

Это убѣжденіе овладѣло ею вполнѣ и не дало ей уснуть всю ночь. Она лихорадочно вздремнула два часа, бредила ночью, но потомъ, утромъ встала, хотя блѣдная, но такая покойная, рѣшительная.

Въ понедѣльникъ утромъ хозяйка заглянула къ Обломову въ кабинетъ и сказала:

— Васъ какая-то дѣвушка спрашиваетъ.

— Меня? Не можетъ быть!—отвѣчалъ Обломовъ.—Гдѣ она?

— Вотъ здѣсь: она ошиблась; на наше крыльцо пришла. Впустить?

Обломовъ не зналъ еще на что рѣшиться, какъ передъ нимъ очутилась Катя. Хозяйка ушла.

— Катя!—съ изумленіемъ сказалъ Обломовъ.—Какъ ты? Что ты?

— Барышня здѣсь, — шопотомъ отвѣчала она: — велѣли спросить...

Обломовъ измѣнился въ лицѣ.

— Ольга Сергѣевна!—въ ужасѣ шепталъ онъ.—Неправда, Катя, ты пошутила? Не мучь меня!

— Ей-Богу, правда: въ наемной каретѣ, въ чайномъ магазинѣ остановились, дожидаются, сюда хотятъ. Послали меня сказать, чтобъ Захара выслали куда-нибудь. Онѣ черезъ полчаса будутъ.

— Я лучше самъ пойду. Какъ можно ей сюда?—сказалъ Обломовъ.

— Не успѣете: онѣ, того и гляди, войдутъ; онѣ думаютъ, что вы нездоровы. Прощайте, я побѣгу: онѣ однѣ, ждутъ меня...

И ушла.

Обломовъ съ необычайной быстротой надѣлъ галстукъ, жилетъ, сапоги и кликнулъ Захара.

— Захаръ, ты недавно просился у меня въ гости на ту

сторону, въ Гороховую, что ли, такъ вотъ, ступай теперь!— съ лихорадочнымъ волненіемъ говорилъ Обломовъ.

— Не пойду,—рѣшительно отвѣчалъ Захаръ.

— Нѣтъ, ты ступай!—настойчиво говорилъ Обломовъ.

— Что за гости въ будни? не пойду! — упрямо сказалъ Захаръ.

— Поди же, повеселись, не упрямься, когда баринъ дѣлаетъ милость, отпускаетъ тебя... ступай къ пріятелямъ!

— Ну ихъ, пріятелей-то!

— Развѣ тебѣ не хочется повидаться съ ними?

— Мерзавцы все такіе, что иной разъ не глядѣлъ бы!

— Поди же, поди! — настойчиво твердилъ Обломовъ, и кровь у него бросилась въ голову.

— Нѣтъ, сегодня цѣлый день дома пробуду, а вотъ въ воскресенье, пожалуй!—равнодушно отнѣкивался Захаръ.

— Теперь же, сейчасъ!—въ волненіи торопилъ его Обломовъ.—Ты долженъ...

— Да куда я пойду семь верстъ киселя ѣсть?—отговаривался Захаръ.

— Ну, поди погуляй часа два: видишь, рожа-то у тебя какая заспанная—провѣтрись!

— Рожа, какъ рожа: обыкновенно какая бываетъ у нашего брата!—сказалъ Захаръ, лѣниво глядя въ окно.

«Ахъ, ты Боже мой, сейчасъ явится!» думалъ Обломовъ, отирая потъ на лбу.

— Ну, пожалуйста, поди, погуляй, тебя просятъ! На, вотъ, двугривенный: выпей пива съ пріятелемъ.

— Я лучше на крыльцѣ побуду: — а то куда я въ морозъ пойду? У воротъ, пожалуй, посижу, это могу...

— Нѣтъ, дальше отъ воротъ,—живо сказалъ Обломовъ:— въ другую улицу ступай, вонъ туда, налѣво, къ саду... на ту сторону.

«Что̀ за диковина?» думалъ Захаръ: «гулять гонитъ; этого не бывало».

— Я лучше въ воскресенье. Илья Ильичъ...

— Уйдешь ли ты? — сжавъ зубы, заговорилъ Обломовъ, напирая на Захара.

Захаръ скрылся, а Обломовъ позвалъ Анисью.

— Ступай на рынокъ,— сказалъ онъ ей: — и купи тамъ къ обѣду...

— Къ обѣду все куплено; скоро будетъ готовъ... — заговорилъ-было носъ.

— Молчать и слушать! — крикнулъ Обломовъ, такъ что Анисья оробѣла.

— Купи... хоть спаржи... — договорилъ онъ, придумывая и не зная, за чѣмъ послать ее.

— Какая теперь, батюшка, спаржа? Да и гдѣ здѣсь ее найдешь...

— Маршъ!—закричалъ онъ, и она убѣжала.— Бѣги, что̀ есть мо̀чи туда, — кричалъ онъ ей вслѣдъ: — и не оглядывайся, а оттуда какъ можно тише иди, раньше двухъ часовъ и носа не показывай.

— Что̀ это за диковина!—говорилъ Захаръ Анисьѣ, столкнувшись съ ней за воротами.—Гулять прогналъ, двугривенный далъ. Куда я пойду гулять?

— Барское дѣло,—замѣтила смѣтливая Анисья:—ты поди къ Артемью, графскому кучеру, напой его чаемъ: онъ все поитъ тебя, а я побѣгу на рынокъ.

— Что это за диковина, Артемій? — сказалъ Захаръ и ему.—Баринъ гулять прогналъ, и на пиво далъ...

— Да не вздумалъ ли самъ нализаться? — остроумно догадался Артемій:—такъ и тебѣ далъ, чтобъ не завидно было. Пойдемъ!

Онъ мигнулъ Захару и махнулъ головой въ какую-то улицу.

— Пойдемъ!—повторилъ Захаръ и тоже махнулъ головой въ ту улицу.

— Экая диковина: гулять прогналъ! — съ усмѣшкой сипѣлъ онъ про себя.

Они ушли, а Анисья, добѣжавъ до перваго перекрестка, присѣла за плетень, къ канавѣ, и ждала, что̀ будетъ.

Обломовъ прислушивался и ждалъ: вотъ кто-то взялся за кольцо у калитки, и въ то же мгновенье раздался отчаянный лай и началось скаканье на цѣпи собаки.

— Проклятая собака!—проскрежеталъ зубами Обломовъ, схватилъ фуражку и бросился къ калиткѣ, отворилъ ее и почти въ объятіяхъ донесъ Ольгу до крыльца.

Она была одна. Катя ожидала ее въ каретѣ, неподалеку отъ воротъ.

— Ты здоровъ? Не лежишь? Что съ тобой?—бѣгло спросила она, не снимая ни салопа, ни шляпки и оглядывая его съ ногъ до головы, когда они вошли въ кабинетъ.

— Теперь мнѣ лучше, горло прошло... почти совсѣмъ,—сказалъ онъ, дотрогиваясь до горла и кашлянувъ слегка.

— Что жъ ты не былъ вчера?—спросила она, глядя на него такимъ добывающимъ взглядомъ, что онъ не могъ сказать ни слова.

— Какъ это ты рѣшилась, Ольга, на такой поступокъ?—съ ужасомъ заговорилъ онъ.—Ты знаешь ли, что ты дѣлаешь...

— Объ этомъ послѣ!—перебила она нетерпѣливо.—Я спрашиваю тебя: что̀ значитъ, что тебя не видать?

Онъ молчалъ.

— Не ячмень ли сѣлъ?—спросила она.

Онъ молчалъ.

— Ты не былъ боленъ; у тебя не болѣло горло,—сказала она, сдвинувъ брови.

— Не былъ,—отвѣчалъ Обломовъ голосомъ школьника.

— Обманулъ меня!—Она съ изумленіемъ глядѣла на него.—Зачѣмъ?

— Я все объясню тебѣ, Ольга,—оправдывался онъ:—важная причина заставила меня не быть двѣ недѣли... я боялся...

— Чего?—спросила она, садясь и снимая шляпу и салопъ.

Онъ взялъ то и другое и положилъ на диванъ.

— Толковъ, сплетней...

— А не боялся, что я не спала ночь, Богъ знаетъ, что передумала и чуть не слегла въ постель?—сказала она, поводя по немъ испытующимъ взглядомъ.

— Ты не знаешь, Ольга, что тутъ происходитъ у меня,—говорилъ онъ, показывая на сердце и голову: — я весь въ тревогѣ, какъ въ огнѣ. Ты не знаешь, что случилось?

— Что еще случилось?—спросила она холодно.

— Какъ далеко распространился слухъ о тебѣ и обо мнѣ! Я не хотѣлъ тебя тревожить и боялся показаться на глаза.

Онъ разсказалъ ей все, что слышалъ отъ Захара, отъ Анисьи, припомнилъ разговоръ франтовъ и заключилъ, сказавъ, что съ тѣхъ поръ онъ не спитъ, что онъ въ каждомъ взглядѣ видитъ вопросъ, или упрекъ, или лукавые намеки на ихъ свиданія.

— Но вѣдь мы рѣшили объявить на этой недѣлѣ ma tante, — возразила она: — тогда эти толки должны замолкнуть...

— Да; но мнѣ не хотѣлось заговаривать съ теткой до нынѣшней недѣли, до полученія письма. Я знаю, она не о любви моей спроситъ, а объ имѣніи, войдетъ въ подробности, а этого ничего я не могу объяснить, пока не получу отвѣта отъ повѣреннаго.

Она вздохнула.

— Если бъ я не знала тебя, — въ раздумьѣ говорила она:—я Богъ знаетъ, что мокла бы подумать. Боялся тревожить меня толками лакеевъ, а не боялся мнѣ сдѣлать тревогу! Я перестаю понимать тебя.

— Я думалъ, что болтовня ихъ взволнуетъ тебя. Катя, Марѳа, Семенъ и этотъ дуракъ Никита, Богъ знаетъ, что говорятъ...

— Я давно знаю, что̀ они говорятъ, — равнодушно сказала она.

— Какъ, знаешь?

— Такъ. Катя и няня давно донесли мнѣ объ этомъ, спрашивали о тебѣ, поздравляли меня...

— Ужели поздравляли? — съ ужасомъ спросилъ онъ. — Что жъ ты?

— Ничего, поблагодарила; нянѣ подарила платокъ, а она обѣщала сходить къ Сергію пѣшкомъ. Катѣ взялась выхлопотать отдать ее замужъ за кондитера: у ней есть свой романъ...

Онъ смотрѣлъ на нее испуганными и изумленными глазами.

— Ты бываешь каждый день у насъ: очень натурально, что люди толкуютъ объ этомъ,—прибавила она: — они первые начинаютъ говорить. Съ Соничкой было то же: что же это такъ пугаетъ тебя?

— Такъ вотъ откуда эти слухи?—сказалъ онъ протяжно.

— Развѣ они неосновательны? Вѣдь это правда?

— Правда! — ни вопросительно, ни отрицательно повторилъ Обломовъ.—Да,—прибавилъ онъ потомъ: — въ самомъ дѣлѣ, ты права: только я не хочу, чтобъ они знали о нашихъ свиданіяхъ, оттого и боюсь...

— Ты боишься, дрожишь, какъ мальчикъ... Не понимаю! Развѣ ты крадешь меня?

Ему было неловко; она внимательно глядѣла на него.

— Послушай,—сказала она: — тутъ есть какая-то ложь, что-то не то... Поди сюда и скажи все, что̀ у тебя на душѣ. Ты могъ не быть день, два — пожалуй, недѣлю, изъ предосторожности, но все бы ты предупредилъ меня, написалъ. Ты знаешь, я ужъ не дитя и меня не такъ легко смутить вздоромъ. Что̀ это все значитъ?

Онъ задумался, потомъ поцѣловалъ у ней руку и вздохнулъ.

— Вотъ что, Ольга, я думаю,—сказалъ онъ:—у меня все это время такъ напугано воображеніе этими ужасами за тебя, такъ истерзанъ умъ заботами, сердце наболѣло, то отъ сбывающихся, то отъ пропадающихъ надеждъ, отъ ожиданій, что весь организмъ мой потрясенъ: онъ нѣмѣетъ, требуетъ хоть временнаго успокоенія...

— Отчего жъ у меня не нѣмѣетъ, и я ищу успокоенія только подлѣ тебя?

— У тебя молодыя, крѣпкія силы и ты любишь ясно, покойно, а я... но ты знаешь, какъ я тебя люблю!—сказалъ онъ, сползая на полъ и цѣлуя ея руки.

— Нѣтъ еще, мало знаю,—ты такъ страненъ, что я теряюсь въ соображеніяхъ; у меня гаснутъ умъ и надежда... скоро мы перестанемъ понимать другъ друга: тогда худо!

Они замолчали.

— Что жъ ты дѣлалъ эти дни?—спросила она, въ первый разъ оглядывая глазами комнату.—У тебя не хорошо:—какія низенькія комнаты! Окна маленькія, обои старые... Гдѣ жъ еще у тебя комнаты?

Онъ бросился показывать ей квартиру, чтобъ замять вопросъ о томъ, что̀ онъ дѣлалъ эти дни. Потомъ она сѣла на диванъ, онъ помѣстился опять на коврѣ, у ногъ ея.

— Что жъ ты дѣлалъ двѣ недѣли?—допрашивала она.

— Читалъ, писалъ, думалъ о тебѣ.

— Прочелъ мои книги? Что̀ онѣ? Я возьму ихъ съ собой.

Она взяла со стола книгу и посмотрѣла на развернутую страницу: страница запылилась.

— Ты не читалъ!—сказала она.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ.

Она посмотрѣла на измятыя, шитыя подушки, на безпорядокъ, на запыленныя окна, на письменный столъ, перебрала нѣсколько покрытыхъ пылью бумагъ, пошевелила перо въ сухой чернильницѣ и съ изумленіемъ поглядѣла на него.

— Что жъ ты дѣлалъ?—повторила она.—Ты не читалъ и не писалъ?

— Времени мало было,—началъ онъ, запинаясь:—утромъ встанешь, убираютъ комнаты, мѣшаютъ, потомъ начнутся толки объ обѣдѣ, тутъ хозяйскія дѣти придутъ, просятъ задачу повѣрить, а тамъ и обѣдъ. Послѣ обѣда... когда читать?

— Ты спалъ послѣ обѣда, — сказала она такъ положительно, что послѣ минутнаго колебанія, онъ тихо отвѣчалъ:

— Спалъ...

— Зачѣмъ же?

— Чтобъ не замѣчать времени: тебя не было со мной, Ольга, и жизнь скучна, несносна безъ тебя...

Онъ остановился, а она строго глядѣла на него.

— Илья!—серьезно заговорила она.—Помнишь, въ паркѣ, когда ты сказалъ, что въ тебѣ загорѣлась жизнь, увѣрялъ, что я — цѣль твоей жизни, твой идеалъ, взялъ меня за руку и сказалъ, что она твоя—помнишь, какъ я дала тебѣ согласіе?

— Да развѣ это можно забыть? Развѣ это не перевернуло всю мою жизнь? Ты не видишь, какъ я счастливъ?

— Нѣтъ, не вижу; ты обманулъ меня,—холодно сказала она:—ты опять опускаешься...

— Обманулъ! Не грѣхъ тебѣ? Богомъ клянусь, я кинулся бы сейчасъ въ бездну!..

— Да, если бъ бездна была вотъ тутъ, подъ ногами, сію минуту, — перебила она:—а если бъ отложили на три дня, ты бы передумалъ, испугался, особенно если бъ Захаръ или Анисья стали болтать объ этомъ... Это не любовь.

— Ты сомнѣваешься въ моей любви?—горячо заговорилъ онъ.—Думаешь, что я медлю отъ боязни за себя, а не за тебя? Не оберегаю, какъ стѣной, твоего имени, не бодрствую, какъ мать, чтобъ не смѣлъ коснуться слухъ тебя... Ахъ, Ольга! Требуй доказательствъ! Повторю тебѣ, что

если бъ ты съ другимъ могла быть счастливѣе, я бы безъ ропота уступилъ права свои; если бъ надо было умереть за тебя, я бы съ радостью умеръ!—со слезами досказалъ онъ.

— Этого ничего не нужно, никто не требуетъ! Зачѣмъ мнѣ твоя жизнь? Ты сдѣлай, что̀ надо. Это уловка лукавыхъ людей предлагать жертвы, которыхъ не нужно, или нельзя приносить, чтобъ не приносить нужныхъ. Ты не лукавъ—я знаю, но...

— Ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня эти страсти и заботы!—продолжалъ онъ.—У меня нѣтъ другой мысли съ тѣхъ поръ, какъ я тебя знаю... Да, и теперь, повторю, ты моя цѣль, и только ты одна. Я сейчасъ умру, сойду съ ума, если тебя не будетъ со мной! Я теперь дышу, смотрю, мыслю и чувствую тобой. Что жъ ты удивляешься, что въ тѣ дни, когда не вижу тебя, я засыпаю и падаю? Мнѣ все противно, все скучно; я машина: хожу, дѣлаю и не замѣчаю, что̀ дѣлаю. Ты огонь и сила этой машины,—говорилъ онъ, становясь на колѣни и выпрямляясь.

Глаза заблистали у него, какъ, бывало, въ паркѣ. Опять гордость и сила воли засіяли въ нихъ.

— Я сейчасъ готовъ идти, куда ты велишь, дѣлать, что̀ хочешь. Я чувствую, что живу, когда ты смотришь на меня, говоришь, поешь...

Ольга съ строгой задумчивостью слушала эти изліянія страсти.

— Послушай, Илья,—сказала она:—я вѣрю твоей любви и своей силѣ надъ тобой. Зачѣмъ же ты пугаешь меня своей нерѣшительностью, доводишь до сомнѣній? Я цѣль твоя, говоришь ты, и идешь къ ней такъ робко, медленно; а тебѣ еще далеко идти; ты долженъ стать выше меня. Я жду этого отъ тебя! Я видала счастливыхъ людей, какъ они любятъ,—прибавила она со вздохомъ:—у нихъ все кипитъ, и покой ихъ не похожъ на твой; они не опускаютъ головы; глаза у нихъ открыты; они едва спятъ, они дѣй-

ствуютъ? А ты... нѣтъ, не похоже, чтобъ любовь, чтобъ я была твоей цѣлью...

Она съ сомнѣніемъ покачала головой.

— Ты, ты!.. — говорилъ онъ, цѣлуя опять у ней руки и волнуясь у ногъ ея.—Одна ты! Боже мой, какое счастье!— твердилъ онъ, какъ въ бреду. — И ты думаешь—возможно обмануть тебя, уснуть послѣ такого пробужденія, не сдѣлаться героемъ! Вы увидите, ты и Андрей, — продолжалъ онъ, озираясь вдохновенными глазами: — до какой высоты поднимаетъ человѣка любовь такой женщины, какъ ты! Смотри, смотри на меня: не воскресъ ли я, не живу ли въ эту минуту? Пойдемъ отсюда! Вонъ! Вонъ! Я не могу ни минуты оставаться здѣсь; мнѣ душно, гадко!—говорилъ онъ, съ непритворнымъ отвращеніемъ оглядываясь вокругъ.— Дай мнѣ дожить сегодня этимъ чувствомъ... Ахъ, если бъ этотъ же огонь жегъ меня, какъ теперь жжетъ, и завтра, и всегда! А то нѣтъ тебя—я гасну, падаю! Теперь я ожилъ, воскресъ. Мнѣ кажется, я... Ольга, Ольга!—Ты прекраснѣе всего въ мірѣ, ты первая женщина, ты... ты...

Онъ припалъ къ ея рукѣ лицомъ и замеръ. Слова не шли болѣе съ языка. Онъ прижалъ руку къ сердцу, чтобъ унять волненіе, устремилъ на Ольгу свой страстный, влажный взглядъ и сталъ неподвиженъ.

«Нѣженъ, нѣженъ, нѣженъ!» мысленно твердила Ольга, но со вздохомъ, не какъ, бывало, въ паркѣ, и погрузилась въ глубокую задумчивость.

— Мнѣ пора!—очнувшись сказала она ласково.

Онъ вдругъ отрезвился.

— Ты здѣсь, Боже мой! У меня?—говорилъ онъ, и вдохновенный взглядъ замѣнился робкимъ озираньемъ по сторонамъ. Горячая рѣчь не шла больше съ языка.

Онъ торопливо хваталъ шляпку и салопъ и, въ суматохѣ, хотѣлъ надѣть салопъ ей на голову.

Она засмѣялась.

— Не бойся за меня, — успокаивала она: — ma tante уѣхала на цѣлый день; дома только няня знаетъ, что меня нѣтъ, да Катя. Проводи меня.

Она подала ему руку, и безъ трепета, покойно, въ гордомъ сознаніи своей невинности, перешла дворъ, при отчаянномъ скаканьѣ на цѣпи и лаѣ собаки, сѣла въ карету и уѣхала.

Изъ оконъ, съ хозяйской половины, смотрѣли головы; изъ-за угла, за плетнемъ, выглянула изъ канавы голова Анисьи.

Когда карета заворотила въ другую улицу, пришла Анисья и сказала, что она избѣгала весь рынокъ и спаржи не оказалось. Захаръ вернулся часа черезъ три и проспалъ цѣлыя сутки.

Обломовъ долго ходилъ по комнатѣ и не чувствовалъ подъ собой ногъ, не слыхалъ собственныхъ шаговъ: онъ ходилъ, какъ будто на четверть отъ полу.

Лишь только замолкъ скрипъ колесъ кареты по снѣгу, увезшей его жизнь, счастье — безпокойство его прошло, голова и спина у него выпрямились, вдохновенное сіяніе воротилось на лицо и глаза были влажны отъ счастья, отъ умиленія. Въ организмѣ разлилась какая-то теплота, свѣжесть, бодрость. И опять, какъ прежде, ему захотѣлось вдругъ всюду, куда-нибудь далеко: и туда, къ Штольцу, съ Ольгой, и въ деревню, на поля, въ рощи, хотѣлось уединиться въ своемъ кабинетѣ и погрузиться въ трудъ, и самому ѣхать на Рыбинскую пристань, и дорогу проводить, и прочесть только-что вышедшую новую книгу, о которой всѣ говорятъ, и въ оперу—сегодня...

Да, сегодня она у него, онъ у ней, потомъ въ оперѣ. Какъ полонъ день! Какъ легко дышится въ этой жизни, въ сферѣ Ольги, въ лучахъ ея дѣвственнаго блеска, бодрыхъ силъ, молодого, но тонкаго и глубокаго, здраваго ума! Онъ ходитъ, точно летаетъ; его будто кто-то носитъ по комнатѣ.

— Впередъ, впередъ! — говоритъ Ольга: — выше, выше, туда, къ той чертѣ, гдѣ сила нѣжности и граціи теряетъ свои права и гдѣ начинается царство мужчины!

Какъ она ясно видитъ жизнь! Какъ читаетъ въ этой мудреной книгѣ свой путь и инстинктомъ угадываетъ и его дорогу! Обѣ жизни, какъ двѣ рѣки, должны слиться: онъ ея руководитель, вождь!

Она видитъ его силы, способности, знаетъ, сколько онъ можетъ, и покорно ждетъ его владычества. Чудная Ольга! Невозмутимая, неробкая, простая, но рѣшительная женщина, естественная, какъ сама жизнь!

— Какая, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь гадость! — говорилъ онъ, оглядываясь. — И этотъ ангелъ спустился въ болото, освятилъ его своимъ присутствіемъ!

Онъ съ любовью смотрѣлъ на стулъ, гдѣ она сидѣла, и вдругъ глаза его заблистали: на полу, около стула, онъ увидѣлъ крошечную перчатку.

— Залогъ! Ея рука: это предзнаменованіе! О!..—простоналъ онъ страстно, прижимая перчатку къ губамъ.

Хозяйка выглянула изъ двери, съ предложеніемъ посмотрѣть полотно: принесли продавать, такъ не понадобится ли?

Но онъ сухо поблагодарилъ ее, не подумалъ взглянуть на локти и извинился, что очень занятъ. Потомъ углубился въ воспоминанія лѣта, перебралъ всѣ подробности, вспомнилъ о всякомъ деревѣ, кустѣ, скамьѣ, о каждомъ сказанномъ словѣ, и нашелъ все это милѣе, нежели какъ было въ то время, когда онъ наслаждался этимъ.

Онъ рѣшительно пересталъ владѣть собой, пѣлъ, ласково заговаривалъ съ Анисьей, шутилъ, что у нея нѣтъ дѣтей, и обѣщалъ крестить, лишь-только родится ребенокъ. Съ Машей поднялъ такую возню, что хозяйка выглянула и прогнала Машу домой, чтобъ не мѣшала жильцу «заниматься».

Остальной день подбавилъ сумасшествія. Ольга была весела, пѣла, и потомъ еще пѣли въ оперѣ, потомъ онъ пилъ у нихъ чай, и за чаемъ шелъ такой задушевный, искренній разговоръ между нимъ, теткой, барономъ и Ольгой, что Обломовъ чувствовалъ себя совершенно членомъ этого маленькаго семейства. Полно жить одиноко: есть у него теперь уголъ; онъ крѣпко намоталъ свою жизнь; есть у него свѣтъ и тепло—какъ хорошо жить съ этимъ!

Ночь онъ спалъ мало: все дочитывалъ присланныя Ольгой книги и прочиталъ полтора тома.

«Завтра письмо должно придти изъ деревни», думалъ онъ, и сердце у него билось... билось... Наконецъ-то!

VIII.

На другой день Захаръ, убирая комнату, нашелъ на письменномъ столѣ маленькую перчатку, долго разглядывалъ ее, усмѣхнулся, потомъ подалъ Обломову.

— Должно-быть, Ильинская барышня забыла, — сказалъ онъ.

— Дьяволъ! — грянулъ Илья Ильичъ, вырывая у него перчатку изъ рукъ. — Врешь! Какая Ильинская барышня! Это портниха пріѣзжала изъ магазина рубашки примѣрять. Какъ ты смѣешь выдумывать!

— Что за дьяволъ? Что я выдумываю? Вонъ, ужъ на хозяйской половинѣ говорятъ...

— Что̀ говорятъ?—спросилъ Обломовъ.

— Да что, слышь, Ильинская барышня съ дѣвушкой была...

— Боже мой!—съ ужасомъ произнесъ Обломовъ.—А почемъ они знаютъ Ильинскую барышню? Ты же или Анисья разболтали...

Вдругъ Анисья высунулась до половины изъ дверей передней.

— Ка̀къ тебѣ не грѣхъ, Захаръ Трофимычъ, пустяки мо-

лоть? Не слушайте его, батюшка,—сказала она:—никто и не говорилъ, и не знаетъ, Христомъ Богомъ...

— Ну-ну-ну! — захрипѣлъ на нее Захаръ, замахиваясь локтемъ въ грудь.—Туда же суешься, гдѣ тебя не спрашиваютъ.

Анисья скрылась. Обломовъ погрозилъ обоими кулаками Захару, потомъ быстро отворилъ дверь на хозяйскую половину. Агаѳья Матвѣевна сидѣла на полу и перебирала рухлядь въ старомъ сундукѣ; около нея лежали груды тряпокъ, ваты, старыхъ платьевъ, пуговицъ и отрѣзковъ мѣховъ.

— Послушайте, — ласково, но съ волненіемъ заговорилъ Обломовъ: — мои люди болтаютъ разный вздоръ; вы, ради Бога, не вѣрьте имъ.

— Я ничего не слыхала, — сказала хозяйка. — Что̀ они болтаютъ?

— Насчетъ вчерашняго визита,—продолжалъ Обломовъ:— они говорятъ, будто пріѣзжала какая-то барышня...

— Что намъ за дѣло, кто къ жильцамъ ѣздитъ?—сказала хозяйка.

— Да нѣтъ, вы, пожалуйста, не вѣрьте: это совершенная клевета! Никакой барышни не было: пріѣзжала просто портниха, которая рубашки шьетъ. Примѣрять пріѣзжала...

— А вы гдѣ заказали рубашки? Кто вамъ шьетъ?—живо спросила хозяйка.

— Во французскомъ магазинѣ...

— Покажите, какъ принесутъ; у меня есть двѣ дѣвушки: такъ шьютъ, такую строчку дѣлаютъ, что никакой француженкѣ не сдѣлать. Я видѣла, онѣ приносили показать, графу Метлинскому шьютъ: никто такъ не сошьетъ. Куда ваши, вотъ эти, что на васъ.

— Очень хорошо, я припомню. Вы только, ради Бога, не подумайте, что это была барышня...

— Что за дѣло, кто къ жильцу ходитъ? Хоть бы и барышня...

— Нѣтъ, нѣтъ!—опровергалъ Обломовъ.—Помилуйте, та барышня, про которую болтаетъ Захаръ, огромнаго роста, говоритъ басомъ, а эта, портниха-то, чай, слышали, какимъ тоненькимъ голосомъ говоритъ: у ней чудесный голосъ. Пожалуйста, не думайте...

— Что намъ за дѣло?—говорила хозяйка, когда онъ уходилъ.—Такъ не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мнѣ: мои знакомыя такую строчку дѣлаютъ... ихъ зовутъ Лизавета Николавна и Марья Николавна.

— Хорошо, хорошо, не забуду; только вы не подумайте, пожалуйста.

И онъ ушелъ, потомъ одѣлся и уѣхалъ къ Ольгѣ.

Воротясь вечеромъ домой, онъ нашелъ у себя на столѣ письмо изъ деревни, отъ сосѣда, его повѣреннаго. Онъ бросился къ лампѣ, прочелъ—и у него опустились руки.

«Прошу покорно передать довѣренность другому лицу (писалъ сосѣдъ), а у меня накопилось столько дѣла, что, по совѣсти сказать, не могу, какъ слѣдуетъ, присматривать за вашимъ имѣніемъ. Всего лучше вамъ самимъ пріѣхать сюда, и еще лучше поселиться въ имѣніи. Имѣніе хорошее, но сильно запущено. Прежде всего надо аккуратнѣе распредѣлить барщину и оброкъ; безъ хозяина этого сдѣлать нельзя: мужики избалованы, старосты новаго не слушаютъ, а старый плуговатъ, за нимъ надо смотрѣть. Количество дохода опредѣлить нельзя. При нынѣшнемъ безпорядкѣ едва ли вы получите больше трехъ тысячъ, и то при себѣ. Я считаю доходъ съ хлѣба, а на оброчныхъ надежда плоха: надо ихъ взять въ руки и разобрать недоимки—на это на все понадобится мѣсяца три. Хлѣбъ былъ хорошъ и въ цѣнѣ, и въ мартѣ, или апрѣлѣ, вы получите деньги, если сами присмотрите за продажей. Теперь же денегъ наличныхъ нѣтъ ни гроша. Что касается дороги черезъ Верхлёво и моста, то,

не получая отъ васъ долгое время отвѣта, я ужъ рѣшился съ Одонцовымъ и Бѣловодовымъ проводить дорогу отъ себя на Нельки, такъ что Обломовка остается далеко въ сторонѣ. Въ заключеніе, повторю просьбу пожаловать какъ можно скорѣе: мѣсяца въ три можно привести въ извѣстность, чего надѣяться на будущій годъ. Кстати, теперь выборы: не пожелали ли бы вы баллотироваться въ уѣздные судьи? Поспѣшайте. Домъ вашъ очень плохъ (прибавлено было въ концѣ). Я велѣлъ скотницѣ, старому кучеру и двумъ старымъ дѣвкамъ выбраться оттуда въ избу: долѣе опасно бы было оставаться».

При письмѣ приложена была записка, сколько четвертей хлѣба снято, умолочено, сколько ссыпано въ магазины, сколько назначено въ продажу, и тому подобныя хозяйственныя подробности.

«Денегъ ни гроша, три мѣсяца, пріѣхать самому, разобрать дѣла крестьянъ, привести доходъ въ извѣстность, служить по выборамъ» — все это, въ видѣ призраковъ, обступило Обломова. Онъ очутился будто въ лѣсу, ночью, когда въ каждомъ кустѣ и деревѣ чудится разбойникъ, мертвецъ, звѣрь.

— Однакожъ, это позоръ: я не поддамся!—твердилъ онъ, стараясь ознакомиться съ этими призраками, какъ и трусъ силится, сквозь зажмуренныя вѣки, взглянуть на призраки и чувствуетъ только холодъ у сердца и слабость въ рукахъ и ногахъ.

Чего жъ надѣялся Обломовъ! Онъ думалъ, что въ письмѣ сказано будетъ опредѣлительно, сколько онъ получитъ дохода и, разумѣется, какъ можно больше, тысячъ, напримѣръ, шесть, семь; что домъ еще хорошъ, такъ что по нуждѣ въ немъ можно жить, пока будетъ строиться новый; что, наконецъ, повѣренный пришлетъ тысячи три, четыре—словомъ, что въ письмѣ онъ прочтетъ тотъ же смѣхъ, игру жизни и любовь, что читалъ въ запискахъ Ольги.

Онъ уже не ходилъ на четверть отъ полу по комнатѣ, не шутилъ съ Анисьей, не волновался надеждами на счастье: ихъ надо было отодвинуть на три мѣсяца; да—нѣтъ! Въ три мѣсяца онъ только разберетъ дѣла, узнаетъ свое имѣніе, а свадьба...

— О свадьбѣ ближе года и думать нельзя,—боязливо сказалъ онъ:—да, да, черезъ годъ, не прежде! Ему еще надо дописать свой планъ, надо порѣшить съ архитекторомъ, потомъ... потомъ...

Онъ вздохнулъ.

«Занять!» блеснуло у него въ головѣ, но онъ оттолкнулъ эту мысль.

«Какъ можно! А какъ не отдашь въ срокъ? если дѣла пойдутъ плохо, тогда подадутъ ко взысканію, и имя Обломова, до сихъ поръ чистое, неприкосновенное...» Боже сохрани! Тогда прощай его спокойствіе, гордость... нѣтъ, нѣтъ! Другіе займутъ, да потомъ и мечутся, работаютъ, не спятъ, точно демона впустятъ въ себя. Да, долгъ—это демонъ, бѣсъ, котораго ничѣмъ не изгонишь, кромѣ денегъ!

Есть такіе молодцы, что весь вѣкъ живутъ на чужой счетъ, наберутъ, нахватаютъ справа-слѣва, да и въ усъ не дуютъ! Какъ они могутъ покойно уснуть, какъ обѣдаютъ—непонятно! Долгъ! послѣдствія его—или неисходный трудъ, какъ каторжнаго, или безчестіе.

Заложить деревню? Развѣ это не тотъ же долгъ, только неумолимый, неотсрочимый? Плати каждый годъ—пожалуй, на прожитокъ не останется.

Еще на годъ отодвинулось счастье! Обломовъ застоналъ болѣзненно и повалился-было на постель, но вдругъ опомнился и всталъ. А что говорила Ольга? Какъ взывала къ нему, какъ къ мужчинѣ, довѣрилась его силамъ? Она ждетъ, какъ онъ пойдетъ впередъ и дойдетъ до той высоты, гдѣ протянетъ ей руку и поведетъ за собой, покажетъ ея путь! Да, да! Но съ чего начать?

Онъ подумалъ, подумалъ, потомъ вдругъ ударилъ себя по лбу и пошелъ на хозяйскую половину.

— Вашъ братецъ дома?—спросилъ онъ хозяйку.

— Дома, да спать легли.

— Такъ завтра попросите его ко мнѣ, — сказалъ Обломовъ:—мнѣ нужно видѣться съ нимъ.

IX.

Братецъ опять тѣмъ же порядкомъ вошли въ комнату, такъ же осторожно сѣли на стулъ, подобрали руки въ рукава и ждали, что̀ скажетъ Илья Ильичъ.

— Я получилъ очень непріятное письмо изъ деревни, въ отвѣтъ на посланную довѣренность—помните?—сказалъ Обломовъ.—Вотъ потрудитесь прочесть.

Иванъ Матвѣевичъ взялъ письмо и привычными глазами бѣгалъ по строкамъ, а письмо слегка дрожало въ его пальцахъ. Прочитавъ, онъ положилъ письмо на столъ, а руки спряталъ за спину.

— Какъ вы полагаете, что̀ теперь дѣлать? — спросилъ Обломовъ.

— Они совѣтуютъ вамъ ѣхать туда, — сказалъ Иванъ Матвѣевичъ. — Что же-съ: тысячу-двѣсти верстъ не Богъ знаетъ что! Черезъ недѣлю установится дорога, вотъ и съѣздили бы.

— Я отвыкъ совсѣмъ ѣздить; съ непривычки, да еще зимой, признаюсь, мнѣ бы трудно было, не хотѣлось бы... Притомъ же въ деревнѣ одному очень скучно.

— А у васъ много оброчныхъ? — спросилъ Иванъ Матвѣевичъ.

— Да... не знаю: давно не былъ въ деревнѣ.

— Надо знать-съ: безъ этого какъ же-съ? нельзя справокъ навести, сколько доходу получите.

— Да, надо бы, — повторилъ Обломовъ: — и сосѣдъ тоже пишетъ, да вотъ дѣло-то подошло къ зимѣ.

— А сколько оброку вы полагаете?

— Оброку? Кажется... вотъ позвольте, у меня было гдѣ-то расписаніе... Штольцъ еще тогда составилъ, да трудно отыскать: Захаръ, должно-быть, сунулъ куда-нибудь. Я послѣ покажу... кажется, тридцать рублей съ тягла.

— Мужики-то у васъ каковы? Какъ живутъ? — спрашивалъ Иванъ Матвѣевичъ.—Богатые, или разорены, бѣдные? Барщина-то какова?

— Послушайте,— сказалъ, подойдя къ нему, Обломовъ и довѣрчиво взявъ его за оба борта вицмундира.

Иванъ Матвѣевичъ проворно всталъ, но Обломовъ усадилъ его опять.

— Послушайте, — повторилъ онъ разстановисто, почти шопотомъ:—я не знаю, что̀ такое барщина, что̀ такое сельскій трудъ, что̀ значитъ бѣдный мужикъ, что̀ богатый; не знаю, что̀ значитъ четверть ржи или овса, что̀ она стоитъ, въ какомъ мѣсяцѣ и что̀ сѣютъ и жнутъ, какъ и когда продаютъ; не знаю, богатъ ли я, или бѣденъ, буду ли я черезъ годъ сытъ, или буду нищій — я ничего не знаю! — заключилъ онъ съ уныніемъ, выпустивъ борты вицмундира и отступая отъ Ивана Матвѣевича: — слѣдовательно, говорите и совѣтуйте мнѣ какъ ребенку...

— Какъ же-съ, надо знать: безъ этого ничего сообразить нельзя,—съ покорной умѣшкой сказалъ Иванъ Матвѣевичъ, привставъ и заложивъ одну руку за спину, а другую за пазуху. — Помѣщикъ долженъ знать свое имѣніе какъ съ нимъ обращаться...—говорилъ онъ поучительно.

— А я не знаю. Научите меня, если можете.

— Я самъ не занимался этимъ предметомъ, надо посовѣтоваться съ знающими людьми. Да вотъ-съ, въ письмѣ пишутъ вамъ, — продолжалъ Иванъ Матвѣевичъ, указывая среднимъ пальцемъ, ногтемъ внизъ, на страницу письма:— чтобъ вы послужили по выборамъ: вотъ и славно бы! По-

жили бы тамъ, послужили бы въ уѣздномъ судѣ и узнали бы между тѣмъ временемъ и хозяйство.

— Я не знаю, что̀ такое уѣздный судъ, что̀ въ немъ дѣлаютъ, какъ служатъ! — выразительно, но вполголоса опять говорилъ Обломовъ, подойдя вплоть къ носу Ивана Матвѣевича.

— Привыкнете-съ. Вы вѣдь служили здѣсь, въ департаментѣ: дѣло вездѣ одно, только въ формахъ будетъ маленькая разница. Вездѣ предписанія, отношенія, протоколъ... Былъ бы хорошій секретарь, а вамъ что̀ заботы? подписать только. Если знаете, какъ въ департаментахъ дѣло дѣлается...

— Я не знаю, какъ дѣло дѣлается въ департаментахъ,— монотонно сказалъ Обломовъ.

Иванъ Матвѣевичъ бросилъ свой двойной взглядъ на Обломова и молчалъ.

— Должно-быть, все книги читали-съ? — съ той же покорной усмѣшкой замѣтилъ онъ.

— Книги! — съ горечью возразилъ Обломовъ и остановился.

Не достало духа и не нужно было обнажаться до дна души передъ чиновникомъ.

«Я и книгъ не знаю», шевельнулось въ немъ, но не сошло съ языка и выразилось печальнымъ вздохомъ.

— Изволили же чѣмъ-нибудь заниматься, —смиренно прибавилъ Иванъ Матвѣевичъ, какъ будто дочитавъ въ умѣ Обломова отвѣтъ о книгахъ:—нельзя, чтобъ...

— Можно, Иванъ Матвѣичъ: вотъ вамъ живое доказательство — я! Кто же я? Что̀ я такое? Подите спросите у Захара, и онъ скажетъ вамъ: «баринъ!» Да, я баринъ и дѣлать ничего не умѣю! Дѣлайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за трудъ возьмите себѣ, что̀ хотите — на то и наука!

Онъ началъ ходить по комнатѣ, а Иванъ Матвѣевичъ

стоялъ на своемъ мѣстѣ и всякій разъ слегка ворочался всѣмъ корпусомъ въ тотъ уголъ, куда пойдетъ Обломовъ. Оба они молчали нѣкоторое время.

— Гдѣ вы учились? — спросилъ Обломовъ, остановясь опять передъ нимъ.

— Началъ-было въ гимназіи, да изъ шестого класса взялъ меня отецъ и опредѣлилъ въ правленіе. Что наша наука! Читать, писать, грамматикѣ, ариѳметикѣ, а дальше и не пошелъ-съ. Кое-какъ приспособился къ дѣлу, да и перебиваюсь помаленьку. Ваше дѣло другое-съ: вы проходили настоящія науки...

— Да, — со вздохомъ подтвердилъ Обломовъ: — правда, я проходилъ и высшую алгебру, и политическую экономію, и права, а все къ дѣлу не приспособился. Вотъ видите, съ высшей алгеброй не знаю, много ли у меня дохода. Пріѣхалъ въ деревню, послушалъ, посмотрѣлъ — какъ дѣлалось у насъ въ домѣ и въ имѣніи, и кругомъ насъ — совсѣмъ не тѣ права. Уѣхалъ сюда, думалъ какъ-нибудь съ политической экономіей выйду въ люди... А мнѣ сказали, что науки пригодятся мнѣ со временемъ, развѣ подъ старость, а прежде надо выйти въ чины, и для этого нужна одна наука — писать бумаги. Вотъ я и не приспособился къ дѣлу, а сдѣлался просто бариномъ, а вы приспособились: ну, такъ рѣшите же, какъ изворотиться.

— Можно-съ, ничего, — сказалъ, наконецъ, Иванъ Матвѣевичъ.

Обломовъ остановился противъ него и ждалъ, что онъ скажетъ.

— Можно поручить это все знающему человѣку и довѣренность перевести на него, — прибавилъ Иванъ Матвѣевичъ.

— А гдѣ взять такого человѣка? — спросилъ Обломовъ.

— У меня есть сослуживецъ, Исай Ѳомичъ Затертый: онъ заикается немного, а дѣловой и знающій человѣкъ. Три

а управлялъ большимъ имѣніемъ, да помѣщикъ отпустилъ , по этой самой причинѣ, что заикается. Вотъ онъ и ушилъ къ намъ.

— Да можно ли положиться на него?

— Честнѣйшая душа, не извольте безпокоиться! Онъ е проживетъ, лишь бы довѣрителю угодить. Двѣнадцатый ь у насъ состоитъ на службѣ.

— Какъ же онъ поѣдетъ, если служитъ?

— Ничего-съ, отпускъ на четыре мѣсяца возьметъ. Вы ольте рѣшиться, а я привезу его сюда. Вѣдь онъ не омъ поѣдетъ...

— Конечно нѣтъ,—подтвердилъ Обломовъ.

— Вы ему извольте положить прогоны, на прожитокъ, лько понадобится въ сутки, а тамъ, по окончаніи дѣла, награжденіе, по условію. Поѣдетъ-съ, ничего!

— Я вамъ очень благодаренъ: вы меня отъ большихъ потъ избавите,—сказалъ Обломовъ, подавая ему руку.— къ его?...

— Исай Ѳомичъ Затертый, — повторилъ Иванъ Матвѣе-ъ, отирая наскоро руку обшлагомъ другого рукава, и, въ на минуту руку Обломова, тотчасъ спряталъ свою въ авъ.—Я завтра поговорю съ нимъ-съ и приведу.

— Да приходите обѣдать, мы и потолкуемъ. — Очень, нь благодаренъ вамъ! — говорилъ Обломовъ, провожая ана Матвѣевича до дверей.

X.

Вечеромъ въ тотъ же день, въ двухъэтажномъ домѣ, вы-вшемъ одной стороной въ улицу, гдѣ жилъ Обломовъ, ругой на набережную, въ одной изъ комнатъ верхняго жа сидѣли Иванъ Матвѣевичъ и Тарантьевъ.

Это было такъ-называемое «заведеніе», у дверей кото-о всего стояло двое-трое пустыхъ дрожекъ, а извоз-и сидѣли въ нижнемъ этажѣ, съ блюдечками въ ру-

стоялъ на своемъ мѣстѣ и всякій разъ слегка ворочался всѣмъ корпусомъ въ тотъ уголъ, куда пойдетъ Обломовъ. Оба они молчали нѣкоторое время.

— Гдѣ вы учились? — спросилъ Обломовъ, остановясь опять передъ нимъ.

— Началъ-было въ гимназіи, да изъ шестого класса взялъ меня отецъ и опредѣлилъ въ правленіе. Что наша наука! Читать, писать, грамматикѣ, ариѳметикѣ, а дальше и не пошелъ-съ. Кое-какъ приспособился къ дѣлу, да и перебиваюсь помаленьку. Ваше дѣло другое-съ: вы проходили настоящія науки...

— Да, — со вздохомъ подтвердилъ Обломовъ: — правда, я проходилъ и высшую алгебру, и политическую экономію, и права̀, а все къ дѣлу не приспособился. Вотъ видите, съ высшей алгеброй не знаю, много ли у меня дохода. Пріѣхалъ въ деревню, послушалъ, посмотрѣлъ — какъ дѣлалось у насъ въ домѣ и въ имѣніи, и кругомъ насъ — совсѣмъ не тѣ права̀. Уѣхалъ сюда, думалъ какъ-нибудь съ политической экономіей выйду въ люди... А мнѣ сказали, что науки пригодятся мнѣ со временемъ, развѣ подъ старость, а прежде надо выйти въ чины, и для этого нужна одна наука — писать бумаги. Вотъ я и не приспособился къ дѣлу, а сдѣлался просто бариномъ, а вы приспособились: ну, такъ рѣшите же, какъ изворотиться.

— Можно-съ, ничего, — сказалъ, наконецъ, Иванъ Матвѣевичъ.

Обломовъ остановился противъ него и ждалъ, что̀ онъ скажетъ.

— Можно поручить это все знающему человѣку и довѣренность перевести на него, — прибавилъ Иванъ Матвѣевичъ.

— А гдѣ взять такого человѣка? — спросилъ Обломовъ.

— У меня есть сослуживецъ, Исай Ѳомичъ Затертый: онъ заикается немного, а дѣловой и знающій человѣкъ. Три

года управлялъ большимъ имѣніемъ, да помѣщикъ отпустилъ его, по этой самой причинѣ, что заикается. Вотъ онъ и вступилъ къ намъ.

— Да можно ли положиться на него?

— Честнѣйшая душа, не извольте безпокоиться! Онъ свое проживетъ, лишь бы довѣрителю угодить. Двѣнадцатый годъ у насъ состоитъ на службѣ.

— Какъ же онъ поѣдетъ, если служитъ?

— Ничего-съ, отпускъ на четыре мѣсяца возьметъ. Вы извольте рѣшиться, а я привезу его сюда. Вѣдь онъ не даромъ поѣдетъ...

— Конечно нѣтъ,—подтвердилъ Обломовъ.

— Вы ему извольте положить прогоны, на прожитокъ, сколько понадобится въ сутки, а тамъ, по окончаніи дѣла, вознагражденіе, по условію. Поѣдетъ-съ, ничего!

— Я вамъ очень благодаренъ: вы меня отъ большихъ хлопотъ избавите,—сказалъ Обломовъ, подавая ему руку.— Какъ его?...

— Исай Ѳомичъ Затертый, — повторилъ Иванъ Матвѣевичъ, отирая наскоро руку обшлагомъ другого рукава, и, взявъ на минуту руку Обломова, тотчасъ спряталъ свою въ рукавъ.—Я завтра поговорю съ нимъ-съ и приведу.

— Да приходите обѣдать, мы и потолкуемъ. — Очень, очень благодаренъ вамъ! — говорилъ Обломовъ, провожая Ивана Матвѣевича до дверей.

X.

Вечеромъ въ тотъ же день, въ двухъэтажномъ домѣ, выходившемъ одной стороной въ улицу, гдѣ жилъ Обломовъ, а другой на набережную, въ одной изъ комнатъ верхняго этажа сидѣли Иванъ Матвѣевичъ и Тарантьевъ.

Это было такъ-называемое «заведеніе», у дверей котораго всего стояло двое-трое пустыхъ дрожекъ, а извозчики сидѣли въ нижнемъ этажѣ, съ блюдечками въ ру-

кахъ. Верхній этажъ назначался для «господъ» Выборгской Стороны.

Передъ Иваномъ Матвѣевичемъ и Тарантьевымъ стоялъ чай и бутылка рому.

— Чистѣйшій ямайскій, — сказалъ Иванъ Матвѣевичъ, наливая дрожащей рукой себѣ въ стаканъ рому: — не побрезгуй, кумъ, угощеніемъ.

— Признайся, есть за что̀ и угостить, — отозвался Тарантьевъ:—домъ сгнилъ бы, а этакаго жильца не дождался.

— Правда, правда, — перебилъ Иванъ Матвѣевичъ. — А если наше дѣло состоится и Затертый поѣдетъ въ деревню—могорычъ будетъ!

— Да ты скупъ, кумъ: съ тобой надо торговаться, — говорилъ Тарантьевъ:—пятьдесятъ рублей за этакаго жильца!

— Боюсь, грозится съѣхать, — замѣтилъ Иванъ Матвѣевичъ.

— Ахъ ты: а еще дока! Куда онъ съѣдетъ! Его не выгонишь теперь.

— А свадьба-то? Женится, говорятъ.

Тарантьевъ захохоталъ.

— Онъ женится! Хочешь объ закладъ, что не женится?— возразилъ онъ. — Да ему Захаръ и спать-то помогаетъ, а то жениться! Доселѣ я ему все благодѣтельствовалъ: вѣдь безъ меня, братецъ ты мой, онъ бы съ голоду умеръ, или въ тюрьму попалъ. Надзиратель придетъ, хозяинъ домо̀вый что-нибудь спроситъ, такъ, вѣдь, ни въ зубъ толкнуть—все я! Ничего не смыслитъ...

— Подлинно ничего: въ уѣздномъ судѣ, говоритъ, не знаю, что̀ дѣлаютъ, въ департаментѣ то же; какіе мужики у него — не вѣдаетъ. Что̀ за голова! Меня даже смѣхъ взялъ.!.

— А контрактъ-то, контрактъ-то каковъ заключили? — хвастался Тарантьевъ. — Мастеръ ты, братъ, строчить бумаги, Иванъ Матвѣевичъ, ей-Богу мастеръ! Вспомнишь по-

койника отца! И я былъ гораздъ, да отвыкъ, видитъ Богъ, отвыкъ. Присяду: слеза такъ и бьетъ изъ глазъ. Не читалъ, такъ и подмахнулъ! А тамъ и огороды, и конюшни, и амбары.

— Да, кумъ, пока не перевелись олухи на Руси, что подписываютъ бумаги, не читая, нашему брату можно жить. А то хоть пропадай, плохо стало! Послышишь отъ стариковъ, такъ не то! Въ двадцать-пять лѣтъ службы, какой я капиталъ составилъ? Можно прожить на Выборгской Сторонѣ, не показывая носа на свѣтъ Божій: кусокъ будетъ хорошій, не жалуюсь, хлѣба не переѣшь! А чтобъ тамъ квартиры на Литейной, ковры, да жениться на богатой, дѣтей въ знать выводить — прошло времечко! И рожа-то, слышь, не такая, и пальцы, видишь, красны, зачѣмъ водку пьешь... А какъ ее не пить-то? Попробуй! Хуже лакея, говорятъ: нынче и лакей этакихъ сапогъ не носитъ и рубашку каждый день мѣняетъ. Воспитаніе не такое — все молокососы перебили: ломаются, читаютъ, да говорятъ по-французски...

— А дѣла не смыслятъ,—прибавилъ Тарантьевъ.

— Нѣтъ, братъ, смыслятъ: дѣло-то нынче не такое; всякій хочетъ проще, все гадятъ намъ. Такъ не нужно писать: это лишняя переписка, трата времени; можно скорѣе... гадятъ!

— А контрактъ-то подписанъ: не изгадили! — сказалъ Тарантьевъ.

— То ужъ, конечно, свято. Выпьемъ, кумъ! Вотъ пошлетъ Затертаго въ Обломовку, тотъ повысосетъ немного: пусть достается потомъ наслѣдникамъ...

— Пусть! — замѣтилъ Тарантьевъ. — Да наслѣдники-то какіе: троюродные, седьмая вода на киселѣ.

— Вотъ только свадьбы боюсь! — сказалъ Иванъ Матвѣевичъ.

— Не бойся, тебѣ говорятъ. Вотъ помяни мое слово.

— Ой-ли? — весело возразилъ Иванъ Матвѣевичъ. — А вѣдь онъ пялитъ глаза на мою сестру...—шопотомъ прибавилъ онъ.

— Что ты?—съ изумленіемъ сказалъ Тарантьевъ.

— Молчи только! Ей-Богу такъ...

— Ну, братъ,—дивился Тарантьевъ, насилу приходя въ себя:—мнѣ бы и во снѣ не приснилось! Ну, а она что?

— Что она? Ты ее знаешь—вотъ что!

Онъ кулакомъ постучалъ объ столъ.

— Развѣ умѣетъ свои выгоды соблюсти? Корова, сущая корова: ее хоть ударь, хоть обними—все ухмыляется, какъ лошадь на овесъ. Другая бы... ой-ой! Да я глазъ не спущу—понимаешь, чѣмъ это пахнетъ!

XI.

«Четыре мѣсяца! Еще четыре мѣсяца принужденій, свиданій тайкомъ, подозрительныхъ лицъ, улыбокъ!» думалъ Обломовъ, поднимаясь на лѣстницу къ Ильинскимъ. «Боже мой! когда это кончится? А Ольга будетъ торопить: сегодня, завтра. Она такъ настойчива, непреклонна! Ее трудно убѣдить...»

Обломовъ дошелъ почти до комнаты Ольги, не встрѣтивъ никого. Ольга сидѣла въ своей маленькой гостиной, передъ спальной, и углубилась въ чтеніе какой-то книги.

Онъ вдругъ явился передъ ней, такъ что она вздрогнула, потомъ ласково, съ улыбкой, протянула ему руку, но глаза еще какъ будто дочитывали книгу: она смотрѣла разсѣянно.

— Ты одна?—спросилъ онъ ее.

— Да; ma tante уѣхала въ Царское Село; звала меня съ собой. Мы будемъ обѣдать почти одни: Марья Семеновна только придетъ; иначе бы я не могла принять тебя. Сегодня ты не можешь объясниться. Какъ это все скучно! Зато завтра...—прибавила она и улыбнулась.—А что, если бъ я сегодня уѣхала въ Царское Село?—спросила она шутливо.

Онъ молчалъ.

— Ты озабоченъ?—продолжала она.

— Я получилъ письмо изъ деревни,—сказалъ онъ монотонно.

— Гдѣ оно? съ тобой?

Онъ подалъ ей письмо.

— Я ничего не разберу, — сказала она, посмотрѣвъ на бумагу.

Онъ взялъ у ней письмо и прочелъ вслухъ. Она задумалась.

— Что жъ теперь?—спросила она, помолчавъ.

— Я сегодня совѣтовался съ братомъ хозяйки,—отвѣчалъ Обломовъ:—и онъ рекомендуетъ мнѣ повѣреннаго, Исая Ѳомича Затертаго: я поручу ему обдѣлать все это...

— Чужому, незнакомому человѣку!—съ удивленіемъ возразила Ольга.—Собирать оброкъ, разбирать крестьянъ, смотрѣть за продажей хлѣба...

— Онъ говоритъ, что это честнѣйшая душа, двѣнадцать лѣтъ съ нимъ служитъ... Только заикается немного...

— А самъ братъ твоей хозяйки каковъ? Ты его знаешь?

— Нѣтъ; да онъ, кажется, такой положительный, дѣловой человѣкъ, и притомъ я живу у него въ домѣ: посовѣстится обмануть!

Ольга молчала и сидѣла, потупя глаза.

— Иначе вѣдь самому надо ѣхать,—сказалъ Обломовъ:—мнѣ бы, признаться, этого не хотѣлось. Я совсѣмъ отвыкъ ѣздить по дорогамъ, особенно зимой... никогда даже не ѣзжалъ.

Она все глядѣла внизъ, шевеля носкомъ ботинки.

— Если даже я и поѣду, — продолжалъ Обломовъ: — то вѣдь рѣшительно изъ этого ничего не выйдетъ: я толку не добьюсь; мужики меня обманутъ; староста скажетъ, что хочетъ—я долженъ вѣрить всему; денегъ дастъ, сколько взду-

маетъ. Ахъ, Андрея нѣтъ здѣсь: онъ бы все уладилъ!—съ огорченіемъ прибавилъ онъ.

Ольга усмѣхнулась, то-есть у ней усмѣхнулись только губы, а не сердце: на сердцѣ была горечь. Она начала глядѣть въ окно, прищуря немного одинъ глазъ и слѣдя за каждой проѣзжавшей каретой.

— Между тѣмъ повѣренный этотъ управлялъ большимъ имѣніемъ, — продолжалъ онъ: — да помѣщикъ отослалъ его именно потому, что заикается. Я дамъ ему довѣренность, передамъ планы: онъ распорядится закупкой матеріаловъ для постройки дома, соберетъ оброкъ, продастъ хлѣбъ, привезетъ деньги, и тогда... Какъ я радъ, милая Ольга,—сказалъ онъ, цѣлуя у ней руку:—что мнѣ не нужно покидать тебя! Я бы не вынесъ разлуки; безъ тебя въ деревнѣ, одному... это ужасъ! Но только теперь намъ надо быть очень осторожными.

Она взглянула на него такимъ большимъ взглядомъ и ждала.

— Да,—началъ онъ говорить медленно, почти заикаясь:— видѣться изрѣдка; вчера опять заговорили у насъ, даже на хозяйской половинѣ... а я не хочу этого... Какъ только всѣ дѣла устроятся, повѣренный распорядится стройкой и привезетъ деньги... все это кончится въ какой-нибудь годъ... тогда нѣтъ болѣе разлуки, мы скажемъ тёткѣ, и... и...

Онъ взглянулъ на Ольгу: она безъ чувствъ. Голова у ней склонилась на сторону, изъ-за посинѣвшихъ губъ видны были зубы. Онъ не замѣтилъ, въ избыткѣ радости и мечтанья, что при словахъ: «когда устроятся дѣла, повѣренный распорядится», Ольга поблѣднѣла и не слыхала заключенія его фразы.

— Ольга!.. Боже мой, ей дурно!—сказалъ онъ и дернулъ звонокъ.

— Барышнѣ дурно!—сказалъ онъ прибѣжавшей Катѣ.— Скорѣе, воды!.. спирту...

— Господи! Все утро такія веселыя были... Что̀ съ ними?— шептала Катя, принеся со стола тётки спиртъ и суетясь со стаканомъ воды.

Ольга очнулась, встала, съ помощью Кати и Обломова, съ кресла и, шатаясь, пошла къ себѣ въ спальню.

— Это пройдетъ,—слабо сказала она:—это нервы; я дурно спала ночь. Катя, затвори дверь, а вы подождите меня: я оправлюсь и выйду.

Обломовъ остался одинъ, прикладывалъ къ двери ухо, смотрѣлъ въ щель замка̀, но ничего не слышно и не видно.

Черезъ полчаса онъ пошелъ по коридору до дѣвичьей и спросилъ Катю:

— Что̀ барышня?

— Ничего,—сказала Катя:—онѣ легли, а меня выслали; потомъ я входила: онѣ сидятъ въ креслѣ.

Обломовъ опять пошелъ въ гостиную, опять смотрѣлъ въ дверь—ничего не слышно.

Онъ чуть-чуть постучалъ пальцемъ—нѣтъ отвѣта.

Онъ сѣлъ и задумался. Много передумалъ онъ въ эти полтора часа, много измѣнилось въ его мысляхъ, много онъ принялъ новыхъ рѣшеній. Наконецъ, онъ остановился на томъ, что самъ поѣдетъ съ повѣреннымъ въ деревню, но прежде выпроситъ согласіе тётки на свадьбу, обручится съ Ольгой, Ивану Герасимовичу поручитъ отыскать квартиру и даже займетъ денегъ... немного, чтобъ свадьбу сыграть.

Этотъ долгъ можно заплатить изъ выручки за хлѣбъ. Что жъ онъ такъ пріунылъ? Ахъ, Боже мой, какъ все можетъ перемѣнить видъ въ одну минуту! А тамъ, въ деревнѣ, они распорядятся съ повѣреннымъ собрать оброкъ; да, наконецъ, Штольцу напишетъ: тотъ дастъ денегъ и потомъ пріѣдетъ и устроитъ ему Обломовку на славу, онъ всюду дороги проведетъ, и мостовъ настроитъ, и школы заведетъ... А тамъ они, съ Ольгой!.. Боже, вотъ оно, счастье! Какъ это все ему въ голову не пришло!

Вдругъ ему стало такъ легко, весело; онъ началъ ходить изъ угла въ уголъ, даже пощёлкивалъ тихонько пальцами, чуть не закричалъ отъ радости, подошелъ къ двери Ольги и тихо позвалъ ее веселымъ голосомъ.

— Ольга, Ольга! Что̀ я вамъ скажу!—говорилъ онъ, приложивъ губы сквозь двери.—Никакъ не ожидаете...

Онъ даже рѣшилъ не уѣзжать сегодня отъ нея, а дождаться тётки. «Сегодня же объявимъ ей, и я уѣду отсюда женихомъ».

Дверь тихо отворилась, и явилась Ольга: онъ взглянулъ на нее и вдругъ упалъ духомъ; радость его какъ въ воду канула: Ольга какъ-будто немного постарѣла. Блѣдна, но глаза блестятъ, въ замкнутыхъ губахъ, во всякой чертѣ таится внутренняя напряженная жизнь, окованная, точно льдомъ, насильственнымъ спокойствіемъ и неподвижностью.

Во взглядѣ ея онъ прочелъ рѣшеніе, но какое — еще не зналъ, только у него сердце стукнуло, какъ никогда не стучало. Такихъ минутъ не бывало въ его жизни.

— Послушай, Ольга, не гляди на меня такъ: мнѣ страшно! — сказалъ онъ. — Я передумалъ: совсѣмъ иначе надо устроить...—продолжалъ потомъ, постепенно понижая тонъ, останавливаясь и стараясь вникнуть въ этотъ новый для него смыслъ ея глазъ, губъ и говорящихъ бровей. —Я рѣшилъ самъ уѣхать въ деревню, вмѣстѣ съ повѣреннымъ... чтобъ тамъ...—едва слышно досказалъ онъ.

Она молчала, глядя на него пристально, какъ привидѣніе.

Онъ смутно догадывался, какой приговоръ ожидалъ его, и взялъ шляпу, но медлилъ спрашивать: ему страшно было услышать роковое рѣшеніе и, можетъ-быть, безъ апелляціи. Наконецъ, онъ осилилъ себя.

— Такъ ли я понялъ?..—спросилъ онъ ее измѣнившимся голосомъ.

Она медленно, съ кротостью наклонила, въ знакъ согла-

сія, голову. Онъ хотя до этого угадалъ ея мысль, но поблѣднѣлъ и все стоялъ передъ ней.

Она была нѣсколько томна, но казалась такою покойною и неподвижною, какъ будто каменная статуя. Это былъ тотъ сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замыселъ, или пораженное чувство даютъ человѣку вдругъ всю силу, чтобъ сдержать себя, но только на одинъ моментъ. Она походила на раненаго, который зажалъ рану рукой, чтобъ досказать, что̀ нужно, и потомъ умереть.

— Ты не возненавидишь меня?—спросилъ онъ.

— За что?—сказала она слабо.

— За все, что̀ я сдѣлалъ съ тобой...

— Что̀ ты сдѣлалъ?

— Любилъ тебя: это оскорбленіе!

Она съ жалостью улыбнулась.

— За то, — говорилъ онъ, поникнувъ головой: — что ты ошибалась... Можетъ-быть, ты простишь меня, если вспомнишь, что̀ я предупреждалъ, какъ тебѣ будетъ стыдно, какъ ты станешь раскаиваться...

— Я не раскаиваюсь. Мнѣ такъ больно, такъ больно...— сказала она и остановилась, чтобы перевести духъ.

— Мнѣ хуже, — отвѣчалъ Обломовъ: — но я стою этого: за что̀ *ты* мучишься?

— За гордость,—сказала она:— я наказана, я слишкомъ понадѣялась на свои силы — вотъ въ чемъ я ошиблась, а не въ томъ, чего ты боялся. Не о первой молодости и красотѣ мечтала я: я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня — а ты ужъ давно умеръ. Я не предвидѣла этой ошибки, а все ждала, надѣялась... и вотъ!..— съ трудомъ, со вздохомъ досказала она.

Она замолчала, потомъ сѣла.

— Я не могу стоять: ноги дрожатъ. Камень ожилъ бы отъ того, что̀ я сдѣлала, — продолжала она томнымъ голосомъ. — Теперь не сдѣлаю ничего, ни шагу, даже не пойду

въ Лѣтній садъ: все безполезно — ты умеръ! Ты согласенъ со мной, Илья? — прибавила она потомъ, помолчавъ. — Не упрекнешь меня никогда, что я по гордости или по капризу разсталась съ тобой?

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— Убѣжденъ ли ты, что намъ ничего не осталось, никакой надежды?

— Да,—сказалъ онъ:—это правда... Но, можетъ-быть...— нерѣшительно прибавилъ потомъ:—черезъ годъ...

У него недоставало духа нанести рѣшительный ударъ своему счастью.

— Ужели ты думаешь, что черезъ годъ ты устроилъ бы свои дѣла и жизнь?—спросила она.—Подумай!

Онъ вздохнулъ и задумался, боролся съ собой. Она прочла эту борьбу на лицѣ.

— Послушай,—сказала она:—я сейчасъ долго смотрѣла на портретъ моей матери и, кажется, заняла въ ея глазахъ совѣта и силы. Если ты теперь, какъ честный человѣкъ... Помни, Илья, мы не дѣти и не шутъмъ: дѣло идетъ о цѣлой жизни! Спроси же строго у своей совѣсти и скажи—я повѣрю тебѣ, я тебя знаю: станетъ ли тебя на всю жизнь? Будешь ли ты для меня тѣмъ, что̀ мнѣ нужно? Ты меня знаешь, слѣдовательно понимаешь, что̀ я хочу сказать. Если ты скажешь смѣло и обдуманно *да:* я беру назадъ свое рѣшеніе: вотъ моя рука и пойдемъ, куда хочешь, за границу, въ деревню, даже на Выборгскую Сторону!

Онъ молчалъ.

— Если бъ ты знала, какъ я люблю...

— Я жду не увѣреній въ любви, а короткаго отвѣта,— перебила она почти сухо.

— Не мучь меня, Ольга!—съ уныніемъ умолялъ онъ.

— Что жъ, Илья, права я или нѣтъ?

— Да,—внятно и рѣшительно сказалъ онъ:—ты права!

— Такъ намъ пора разстаться,—рѣшила она:—пока не застали тебя и не видали, какъ я разстроена!

Онъ все не шелъ.

— Если бъ ты и женился, что̀ потомъ?—спросила она.

Онъ молчалъ.

— Ты засыпа̀лъ бы съ каждымъ днемъ всѐ глубже — не правда ли? А я? Ты видишь, какая я? Я не состарѣюсь, не устану жить никогда. А съ тобой мы стали бы жить изо-дня-въ-день, ждать Рождества, потомъ масленицы, ѣздить въ гости, танцовать, и не думать ни о чемъ; ложились бы спать и благодарили Бога, что день скоро прошелъ, а утромъ просыпа̀лись бы съ желаніемъ, чтобъ сегодня походило на вчера... вотъ наше будущее — да? Развѣ это жизнь? Я зачахну, умру... за что, Илья? Будешь ли ты счастливъ...

Онъ мучительно провелъ глазами по потолку, хотѣлъ сойти съ мѣста, бѣжать — ноги не повиновались. Хотѣлъ сказать что-то:—во рту было сухо, языкъ не ворочался, голосъ не выходилъ изъ груди. Онъ протянулъ ей руку.

— Стало-быть...—началъ онъ упавшимъ голосомъ, но не кончилъ и взглядомъ досказалъ: «прости!»

И она хотѣла что-то сказать, но ничего не сказала, протянула ему руку, но рука, не коснувшись его руки, упала; хотѣла-было также сказать: «прощай», но голосъ у ней на половинѣ слова сорвался и взялъ фальшивую ноту; лицо исказилось судорогой, она положила руку и голову ему на плечо и зарыдала. У ней какъ будто вырвали оружіе изъ рукъ. Умница пропала — явилась просто женщина, беззащитная противъ горя.

— Прощай, прощай...—вырвалось у ней среди рыданій.

Онъ молчалъ и въ ужасѣ слушалъ ея слезы, не смѣя мѣшать имъ. Онъ не чувствовалъ жалости ни къ ней, ни къ себѣ; онъ былъ самъ жалокъ. Она опустилась въ кресло и, прижавъ голову къ платку, оперлась на столъ и плакала горько. Слезы текли не какъ мгновенно вырвавшаяся жар-

кая струя, отъ внезапной и временной боли, какъ тогда въ паркѣ, а изливались безотрадно, холодными потоками, какъ осенній дождь, безпощадно поливающій нивы.

— Ольга,—наконецъ сказалъ онъ:—за что̀ ты терзаешь себя? Ты меня любишь, ты не перенесешь разлуки! Возьми меня, какъ я есть, люби во мнѣ что̀ есть хорошаго.

Она отрицательно покачала головой, не поднимая ея.

— Нѣтъ... нѣтъ... — силилась выговорить потомъ: — за меня и за мое горе не бойся. Я знаю себя: я выплачу его и потомъ ужъ больше плакать не стану. А теперь не мѣшай плакать... уйди... Ахъ, нѣтъ, постой!.. Богъ наказываетъ меня!.. Мнѣ больно, ахъ, какъ больно... здѣсь, у сердца...

Рыданія возобновились.

— А если боль не пройдетъ,—сказалъ онъ:—и здоровье твое пошатнется? Такія слезы ядовиты. Ольга, ангелъ мой, не плачь... забудь все...

— Нѣтъ, дай мнѣ плакать! Я пла̀чу не о будущемъ, а о прошедшемъ...—выговаривала она съ трудомъ:—оно «поблекло, отошло»... Не я пла̀чу, воспоминанія плачутъ!.. Лѣто... паркъ... помнишь? Мнѣ жаль нашей аллеи, сирени... Это все приросло къ сердцу: больно отрывать!..

Она, въ отчаяніи, качала головой и рыдала, повторяя:

— О, какъ больно, больно!

— Если ты умрешь?—вдругъ съ ужасомъ сказалъ онъ.— Подумай, Ольга...

— Нѣтъ, — перебила она, поднявъ голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы.—Я узнала недавно только, что я любила въ тебѣ то, что̀ я хотѣла, чтобъ было въ тебѣ, что̀ указалъ мнѣ Штольцъ, что̀ мы выдумали съ нимъ. Я любила будущаго Обломова! Ты кротокъ, честенъ, Илья; ты нѣженъ... голубь; ты прячешь голову подъ крыло — и ничего не хочешь больше; ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей... да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ

нужно чего-то еще, а чего—не знаю! Можешь ли научить меня, сказать, что̀ это такое, чего мнѣ недостаетъ, дать это все, чтобъ я... А нѣжность... гдѣ ея нѣтъ!

У Обломова подкосились ноги; онъ сѣлъ въ кресло и отеръ платкомъ руки и лобъ.

Слово было жестоко: оно глубоко уязвило Обломова: внутри оно будто обожгло его, снаружи повѣяло на него холодомъ. Онъ въ отвѣтъ улыбнулся какъ-то жалко, болѣзненно-стыдливо, какъ нищій, котораго упрекнули его наготой. Онъ сидѣлъ съ этой улыбкой безсилія, ослабѣвшій отъ волненія и обиды; потухшій взглядъ его ясно говорилъ: «да, я скуденъ, жалокъ, нищъ... бейте, бейте меня!..»

Ольга вдругъ увидѣла, сколько яду было въ ея словѣ; она стремительно бросилась къ нему.

— Прости меня, мой другъ! — заговорила она нѣжно, будто слезами.—Я не помню, что̀ говорю: я безумная! Забудь все; будемъ попрежнему; пусть все останется какъ было...

— Нѣтъ! — сказалъ онъ, вдругъ всталъ и, устраняя рѣшительнымъ жестомъ ея порывъ: — Не останется! Не тревожься, что сказала правду: я сто̀ю...—прибавилъ онъ съ уныніемъ.

— Я мечтательница, фантазёрка! — говорила она. — Несчастный характеръ у меня. Отчего другія, отчего Соничка такъ счастлива...

Она заплакала.

— Уйди!—рѣшила она, терзая мокрый платокъ руками.— Я не выдержу; мнѣ еще дорого прошедшее...

Она опять закрыла лицо платкомъ и старалась заглушить рыданія.

— Отчего погибло все?—вдругъ, поднявъ голову, спросила она. — Кто проклялъ тебя, Илья? Что ты сдѣлалъ? Ты добръ, уменъ, нѣженъ, благороденъ... и... гибнешь! Что̀ сгубило тебя? Нѣтъ имени этому злу...

— Есть,—сказалъ онъ чуть-слышно.

Она вопросительно, полными слезъ глазами взглянула на него.

— Обломовщина! — прошепталъ онъ, потомъ взялъ ея руку, хотѣлъ поцѣловать, но не могъ, только прижалъ крѣпко къ губамъ, и горячія слезы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, онъ обернулся и пошелъ.

XII.

Богъ знаетъ, гдѣ онъ бродилъ, что дѣлалъ цѣлый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стукъ въ ворота и лай собаки, и растолкала отъ сна Анисью и Захара, сказавъ, что баринъ воротился.

Илья Ильичъ почти не замѣтилъ, какъ Захаръ раздѣлъ его, стащилъ сапоги и накинулъ на него—халатъ!

— Что это?—спросилъ онъ только, поглядѣвъ на халатъ.

— Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халатъ,—сказалъ Захаръ.

Обломовъ какъ сѣлъ, такъ и остался въ креслѣ.

Все погрузилось въ сонъ и мракъ около него. Онъ сидѣлъ опершись на руку, не замѣчалъ мрака, не слыхалъ боя часовъ. Умъ его утонулъ въ хаосѣ безобразныхъ, неясныхъ мыслей; онѣ неслись, какъ облака въ небѣ, безъ цѣли и безъ связи—онъ не ловилъ ни одной.

Сердце было убито: тамъ на время затихла жизнь. Возвращеніе къ жизни, къ порядку, къ теченію правильнымъ путемъ скопившагося напора жизненныхъ силъ совершалось медленно.

Приливъ былъ очень жестокъ, и Обломовъ не чувствовалъ тѣла на себѣ, не чувствовалъ ни усталости, никакой потребности. Онъ могъ лежать, какъ камень, цѣлыя сутки, или цѣлыя сутки идти, ѣхать, двигаться, какъ машина.

Понемногу, труднымъ путемъ вырабатывается въ чело-

вѣкѣ или покорность судьбѣ — и тогда организмъ медленно и постепенно вступаетъ во всѣ свои отправленія, — или горе сломитъ человѣка и онъ не встанетъ больше, смотря по горю, и по человѣку тоже.

Обломовъ не помнилъ, гдѣ онъ сидитъ, даже сидѣлъ ли онъ: машинально смотрѣлъ и не замѣчалъ, какъ забрезжилось утро; слышалъ и не слыхалъ, какъ раздался сухой кашель старухи, какъ сталъ дворникъ колоть дрова на дворѣ, какъ застучали и загремѣли въ домѣ, видѣлъ и не видалъ, какъ хозяйка и Акулина пошли на рынокъ, какъ мелькнулъ пакетъ мимо забора.

Ни пѣтухи, ни лай собаки, ни скрипъ воротъ не могли вывести его изъ столбняка. Загремѣли чашки, зашипѣлъ самоваръ.

Наконецъ, часу въ десятомъ Захаръ отворилъ подносомъ дверь въ кабинетъ, лягнулъ, по обыкновенію, назадъ ногой, чтобъ затворить ее и, по обыкновенію, промахнулся, но удержалъ, однакожъ, подносъ: наметался отъ долговременной практики, да притомъ зналъ, что сзади смотритъ въ дверь Анисья, и только урони онъ что-нибудь, она сейчасъ подскочитъ и сконфузитъ его.

Онъ благополучно дошелъ, уткнувъ бороду въ подносъ и обнявъ его крѣпко, до самой постели, и только располагалъ поставить чашки на столъ подлѣ кровати и разбудить барана — глядь, постель не измята, барина нѣтъ!

Онъ встрепенулся, и чашка полетѣла на полъ, за ней сахарница. Онъ сталъ ловить вещи на воздухѣ и качалъ подносомъ, другія летѣли. Онъ успѣлъ удержать на подносѣ только ложечку.

— Что это за напасть такая? — говорилъ онъ, глядя, какъ Анисья подбирала куски сахару, черепки чашки, хлѣбъ. — Гдѣ же баринъ?

А баринъ сидитъ въ креслѣ и лица на немъ нѣтъ. Захаръ посмотрѣлъ на него съ разинутымъ ртомъ.

— Вы зачѣмъ это, Илья Ильичъ, всю ночь просидѣли въ креслѣ, не ложились?—спросилъ онъ.

Обломовъ медленно обернулъ къ нему голову, разсѣянно посмотрѣлъ на Захара, на розлитый кофе, на разбросанный по ковру сахаръ.

— А ты зачѣмъ чашку-то разбилъ?—сказалъ онъ, потомъ подошелъ къ окну.

Снѣгъ валилъ хлопьями и густо устилалъ землю.

— Снѣгъ, снѣгъ, снѣгъ! — твердилъ онъ безсмысленно, глядя на снѣгъ, густымъ слоемъ покрывшій заборъ, плетень и гряды на огородѣ.—Все засыпалъ!—шепнулъ потомъ отчаянно, легъ въ постель и заснулъ свинцовымъ, безотраднымъ сномъ.

Ужъ было за полдень, когда его разбудилъ скрипъ двери съ хозяйской половины; изъ двери просунулась обнаженная рука, съ тарелкой; на тарелкѣ дымился пирогъ.

— Сегодня воскресенье,—говорилъ ласково голосъ:— пирогъ пекли; не угодно ли закусить?

Но онъ не отвѣчалъ ничего: у него была горячка.

Часть четвертая.

I.

Годъ прошелъ со времени болѣзни Ильи Ильича. Много перемѣнъ принесъ этотъ годъ въ разныхъ мѣстахъ міра: тамъ взволновалъ край, а тамъ успокоилъ; тамъ закатилось какое-нибудь свѣтило міра, тамъ засіяло другое; тамъ міръ усвоилъ себѣ новую тайну бытія, а тамъ рушились въ прахъ жилища и поколѣнія. Гдѣ падала старая жизнь, тамъ, какъ молодая зелень, пробивалась новая...

И на Выборгской Сторонѣ, въ домѣ вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текутъ мирно, не внося буйныхъ и внезапныхъ перемѣнъ въ однообразную жизнь, хотя четыре времени года повторили свои отправленія, какъ въ прошедшемъ году, но жизнь все-таки не останавливалась, все мѣнялась въ своихъ явленіяхъ, но мѣнялась съ такою медленною постепенностью, съ какою происходятъ геологическія видоизмѣненія нашей планеты: тамъ потихоньку осыпается гора, здѣсь цѣлые вѣка море наноситъ илъ, или отступаетъ отъ берега и образуетъ приращеніе почвы.

Илья Ильичъ выздоровѣлъ. Повѣренный Затертый отправился въ деревню и прислалъ вырученныя за хлѣбъ деньги сполна и былъ изъ нихъ удовлетворенъ прогонами, суточными деньгами и вознагражденіемъ за трудъ.

Что касается оброка, то Затертый писалъ, что денегъ

этихъ собрать нельзя, что мужики частью разорились, частью ушли по разнымъ мѣстамъ и гдѣ находятся—неизвѣстно, и что онъ собираетъ на мѣстѣ дѣятельныя справки.

О дорогѣ, о мостахъ, писалъ онъ, что время терпитъ, что мужики охотнѣе предпочитаютъ переваливаться черезъ гору и черезъ оврагъ до торговаго села, чѣмъ работать надъ устройствомъ новой дороги и мостовъ.

Словомъ, свѣдѣнія и деньги получены удовлетворительныя, и Илья Ильичъ не встрѣтилъ крайней надобности ѣхать самому и былъ съ этой стороны успокоенъ до будущаго года.

Повѣренный распорядился и насчетъ постройки дома: опредѣливъ, вмѣстѣ съ губернскимъ архитекторомъ, количество нужныхъ матеріаловъ, онъ оставилъ старостѣ приказъ, съ открытіемъ весны, возить лѣсъ и велѣлъ построить сарай для кирпича, такъ что Обломову оставалось только пріѣхать весной и, благословясь, начать стройку при себѣ. Къ тому времени предполагалось собрать оброкъ и, кромѣ того, было въ виду заложить деревню, слѣдовательно, расходы было изъ чего покрыть.

Послѣ болѣзни Илья Ильичъ долго былъ мраченъ, по цѣлымъ часамъ повергался въ болѣзненную задумчивость и иногда не отвѣчалъ на вопросы Захара, не замѣчалъ, какъ онъ роняла чашки на полъ и не сметалъ со стола пыль, или хозяйка, являясь по праздникамъ съ пирогомъ, заставала его въ слезахъ.

Потомъ, мало-по-малу, мѣсто живого горя заступило нѣмое равнодушіе. Илья Ильичъ по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ, какъ падалъ снѣгъ и наносилъ сугробы на дворѣ и на улицѣ, какъ покрылъ дрова, курятники, конуру, садикъ, гряды огорода, какъ изъ столбовъ забора образовались пирамиды, какъ все умерло и окуталось въ саванъ.

Подолгу слушалъ онъ трескъ кофейной мельницы, ска-

канье на цѣпи и лай собаки, чищенье сапогъ Захаромъ и мѣрный стукъ маятника.

Къ нему, попрежнему, входила хозяйка, съ предложеніемъ купить что-нибудь, или откушать чего-нибудь; бѣгали хозяйскія дѣти: онъ равнодушно-ласково говорилъ съ первой, послѣднимъ задавалъ уроки, слушалъ, какъ они читаютъ, и улыбался на ихъ дѣтскую болтовню вяло и нехотя.

Но гора осыпалась понемногу, море отступало отъ берега, или приливало къ нему, и Обломовъ мало-по-малу входилъ въ прежнюю нормальную свою жизнь.

Осень, лѣто и зима прошли вяло, скучно. Но Обломовъ ждалъ опять весны и мечталъ о поѣздкѣ въ деревню.

Въ мартѣ напекли жаворонковъ, въ апрѣлѣ у него выставили рамы и объявили, что вскрылась Нева и наступила весна.

Онъ бродилъ по саду. Потомъ стали сажать овощи въ огородѣ; пришли разные праздники. Троица, семикъ, первое мая: все это ознаменовалось березками, вѣнками; въ рощѣ пили чай.

Съ начала лѣта въ домѣ стали поговаривать о двухъ большихъ предстоящихъ праздникахъ: Ивановѣ днѣ, именинахъ братца, и объ Ильинѣ днѣ—именинахъ Обломова: это были двѣ важныя эпохи въ виду. И когда хозяйкѣ случалось купить, или видѣть на рынкѣ отличную четверть телятины, или удавался особенно хорошо пирогъ, она приговаривала:

— Ахъ, если бъ этакая телятина попалась, или этакій пирогъ удался въ Ивановъ или въ Ильинъ день!

Поговаривали объ ильинской пятницѣ и о совершаемой ежегодно на Пороховые заводы прогулкѣ пѣшкомъ, о праздникѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, въ Колпинѣ.

Подъ окнами снова раздалось тяжелое кудахтанье насѣдки и писк новаго поколѣнія цыплятъ; пошли пироги

съ цыплятами и свѣжими грибами, свѣжепросольные огурцы; вскорѣ появились и ягоды.

— Потроха ужъ теперь не хороши, — сказала хозяйка Обломову: — вчера за двѣ пары маленькихъ просили семь гривенъ, зато лососина свѣжая есть: ботвинью хоть каждый день можно готовить.

Хозяйственная часть въ домѣ Пшеницыной процвѣтала, не потому только, что Агаѳья Матвѣевна была образцовая хозяйка, что это было ея призваніемъ, но и потому еще, что Иванъ Матвѣевичъ Мухояровъ былъ, въ гастрономическомъ отношеніи, великій эпикуреецъ. Онъ былъ болѣе нежели небреженъ въ платьѣ, въ бѣльѣ: платье носилъ по многимъ годамъ и тратилъ деньги на покупку новаго съ отвращеніемъ и досадой, не развѣшивалъ его тщательно, а сваливалъ въ уголъ, въ кучу. Бѣлье, какъ чернорабочій, мѣнялъ только въ субботу; но что касалось стола, онъ не щадилъ издержекъ.

Въ этомъ онъ отчасти руководствовался своей собственной, созданной имъ, со времени вступленія въ службу, логикой: «не увидятъ что̀ въ брюхѣ—и толковать пустяковъ не станутъ; тогда какъ тяжелая цѣпочка на часахъ, новый фракъ, свѣтлые сапоги — все это порождаетъ лишніе разговоры».

Отъ этого на столѣ у Пшеницыныхъ являлась телятина перваго сорта, янтарная осетрина, бѣлые рябчики. Онъ иногда самъ обходитъ и обнюхаетъ, какъ легавая собака, рынокъ, или Милютины лавки, подъ полой принесетъ лучшую пулярку, не пожалѣетъ четырехъ рублей на индѣйку.

Вино онъ бралъ съ биржи и пряталъ самъ, и самъ доставалъ; но на столѣ никогда никто не видалъ ничего, кромѣ графина водки, настоенной смородиннымъ листомъ; вино же выпивалось въ свѣтлицѣ.

Когда онъ съ Тарантьевымъ отправлялся на тоню, въ пальто у него всегда спрятана была бутылка высокаго сорта

мадеры, а когда пили они «въ заведеніи» чай, онъ приносилъ свой ромъ.

Постепенная осадка, или выступленіе дна морского и осыпка горы совершались надъ всѣмъ и, между прочимъ, надъ Анисьей: взаимное влеченье Анисьи и хозяйки превратилось въ неразрывную связь, въ одно существованіе.

Обломовъ, видя участіе хозяйки въ его дѣлахъ, предложилъ однажды ей, въ видѣ шутки, взять всѣ заботы о его продовольствіи на себя и избавить его отъ всякихъ хлопотъ.

Радость разлилась у ней по лицу; она усмѣхнулась даже сознательно. Какъ расширялась ея арена: вмѣсто одного, два хозяйства, или одно, да какое большое! Кромѣ того, она пріобрѣтала Анисью.

Хозяйка поговорила съ братцемъ, и на другой день изъ кухни Обломова все было перетаскано на кухню Пшеницыной; серебро его и посуда поступили въ ея буфетъ, а Акулина была разжалована изъ кухарокъ въ птичницы и въ огородницы.

Все пошло на большую ногу; закупка сахару, чаю, провизіи, соленье огурцовъ, моченье яблокъ и вишенъ, варенье—все приняло обширные размѣры.

Агаѳья Матвѣевна выросла, Анисья расправила свои руки, какъ орлица крылья, и жизнь закипѣла и потекла рѣкой.

Обломовъ обѣдалъ съ семьей въ три часа, только братецъ обѣдали особо, послѣ, больше въ кухнѣ, потому что очень поздно приходили изъ должности.

Чай и кофе носила Обломову сама хозяйка, а не Захаръ.

Послѣдній, если хотѣлъ, стиралъ пыль, а если не хотѣлъ, такъ Анисья влетитъ, какъ вихрь, и отчасти фартукомъ, отчасти голой рукой, почти носомъ, разомъ все сдуетъ, смахнетъ, сдернетъ, уберетъ и исчезнетъ; не то, такъ сама хозяйка, когда Обломовъ выйдетъ въ садъ, заглянетъ къ нему въ комнату, найдетъ безпорядокъ, покачаетъ голо-

вой и, ворча что-то про себя, взобьетъ подушки горой, тутъ же посмотритъ наволочки, опять шепнетъ себѣ, что надо перемѣнить, и сдернетъ ихъ, оботретъ окна, заглянетъ за спинку дивана и уйдетъ.

Постепенная осадка дна морского, осыпанье горъ, наносный илъ, съ прибавкой легкихъ волканическихъ взрывовъ — все это совершилось всего болѣе въ судьбѣ Агаѳьи Матвѣевны, и никто, всего менѣе она сама, не замѣчалъ это. Оно стало замѣтно только по обильнымъ, неожиданнымъ и безконечнымъ послѣдствіямъ.

Отчего она съ нѣкоторыхъ поръ стала сама не своя?

Отчего прежде, если подгоритъ жаркое, переварится рыба въ ухѣ, не положится зелени въ супъ, она строго, но съ спокойствіемъ и достоинствомъ сдѣлаетъ замѣчаніе Акулинѣ и забудетъ, а теперь, если случится что-нибудь подобное, она выскочитъ изъ-за стола, побѣжитъ на кухню, осыплетъ всею горечью упрековъ Акулину и даже надуется на Анисью, а на другой день присмотритъ сама, положена ли зелень, не переварилась ли рыба.

Скажутъ, можетъ-быть, что она совѣстится показаться неисправной въ глазахъ посторонняго человѣка въ такомъ предметѣ, какъ хозяйство, на которомъ сосредоточивалось ея самолюбіе и вся ея дѣятельность!

Хорошо. А почему прежде, бывало, съ восьми часовъ вечера у ней слипаются глаза, а въ девять, уложивъ дѣтей и осмотрѣвъ, потушены ли огни на кухнѣ, закрыты ли трубы, прибрано ли все, она ложится — и уже никакая пушка не разбудитъ ее до шести часовъ?

Теперь же, если Обломовъ поѣдетъ въ театръ или засидится у Ивана Герасимовича и долго не ѣдетъ, ей не спится, она ворочается съ боку на бокъ, крестится, вздыхаетъ, закрываетъ глаза—нѣтъ сна, да и только!

Чуть застучатъ на улицѣ, она подниметъ голову, иногда

вскочитъ съ постели, отворитъ форточку и слушаетъ: не онъ ли?

Если застучатъ въ ворота, она накинетъ юбку и бѣжитъ въ кухню, расталкиваетъ Захара, Анисью и посылаетъ отворить ворота.

Скажутъ, можетъ-быть, что въ этомъ высказывается добросовѣстная домохозяйка, которой не хочется, чтобъ у ней въ домѣ былъ безпорядокъ, чтобъ жилецъ ждалъ ночью на улицѣ, пока пьяный дворникъ услышитъ и отопретъ, что, наконецъ, продолжительный стукъ можетъ перебудить дѣтей...

Хорошо. А отчего, когда Обломовъ сдѣлался боленъ, она никого не впускала къ нему въ комнату, устлала ее войлоками и коврами, завѣсила окна и приходила въ ярость — она, такая добрая и кроткая,—если Ваня или Маша чуть вскрикнутъ или громко засмѣются?

Отчего по ночамъ, не надѣясь на Захара и Анисью, она просиживала у его постели, не спуская съ него глазъ, до ранней обѣдни, а потомъ, накинувъ салопъ и написавъ крупными буквами на бумажкѣ: «Илья», бѣжала въ церковь, подавала бумажку въ алтарь, помянуть за здравіе, потомъ отходила въ уголъ, бросалась на колѣни и долго лежала, припавъ головой къ полу, потомъ поспѣшно шла на рынокъ и съ боязнью возвращалась домой, заглядывала въ дверь и шопотомъ спрашивала у Анисьи:

— Что?

Скажутъ, что это ничего больше, какъ жалость, состраданіе, господствующіе элементы въ существѣ женщины.

Хорошо. Отчего же, когда Обломовъ, выздоравливая, всю зиму былъ мраченъ, едва говорилъ съ ней, не заглядывалъ къ ней въ комнату, не интересовался, что она дѣлаетъ, не шутилъ, не смѣялся съ ней—она похудѣла, на нее вдругъ палъ такой холодъ, такая нехоть ко всему: мелетъ она кофе — и не помнитъ что дѣлаетъ, или накладетъ такую

пропасть цикорія, что пить нельзя—и не чувствуетъ, точно языка нѣтъ. Не доваритъ Акулина рыбу, разворчатся братецъ, уйдутъ изъ-за стола: она, точно каменная, будто и не слышитъ.

Прежде, бывало, ее никто не видалъ задумчивой, да это и не къ лицу ей: все она ходитъ, да движется, на все смотритъ зорко и видитъ все, а тутъ вдругъ, со ступкой на колѣняхъ, точно заснетъ и не двигается, потомъ вдругъ такъ начнетъ колотить пестикомъ, что даже собака залаетъ, думая, что стучатся въ ворота.

Но только Обломовъ ожилъ, только появилась у него добрая улыбка, только онъ началъ смотрѣть на нее, попрежнему, ласково, заглядывать къ ней въ дверь и шутить—она опять пополнѣла, опять хозяйство ея пошло живо, бодро, весело, съ маленькимъ оригинальнымъ оттѣнкомъ: бывало, она движется цѣлый день, какъ хорошо-устроенная машина, стройно, правильно, ходитъ плавно, говоритъ ни тихо, ни громко, намелетъ кофе, наколетъ сахару, просѣетъ что-нибудь, сядетъ за шитье, игла у ней ходитъ мѣрно, какъ часовая стрѣлка; потомъ она встанетъ, не суетясь; тамъ остановится на полдорогѣ въ кухню, отворитъ шкапъ, вынетъ что-нибудь, отнесетъ—все какъ машина.

А теперь, когда Илья Ильичъ сдѣлался членомъ ея семейства, она и толчетъ, и сѣетъ иначе. Свои кружева почти забыла. Начнетъ шить, усядется покойно, вдругъ Обломовъ кричитъ Захару, чтобъ кофе подавалъ—она, въ три прыжка, является въ кухню и смотритъ во всѣ глаза такъ, какъ будто прицѣливается во что-нибудь, схватитъ ложечку, перельетъ на свѣту ложечки три, чтобъ узнать, уварился ли, отстоялся ли кофе, не подали бы съ гущей, посмотритъ, есть ли пѣнки въ сливкахъ.

Готовится ли его любимое блюдо, она смотритъ на кастрюлю, подниметъ крышку, понюхаетъ, отвѣдаетъ, потомъ схватитъ кастрюлю сама и держитъ на огнѣ. Третъ ли

миндаль, или толчетъ что-нибудь для него, такъ третъ и толчетъ съ такимъ огнемъ, съ такой силой, что ее броситъ въ потъ.

Все ея хозяйство, толченье, глаженье, просѣванье и т. п.— все это получило новый, живой смыслъ: покой и удобство Ильи Ильича. Прежде она видѣла въ этомъ обязанность, теперь это стало ея наслажденіемъ. Она стала жить, по-своему, полно и разнообразно.

Но она не знала, что̀ съ ней дѣлается, никогда не спрашивала себя, а перешла подъ это сладостное иго безусловно, безъ сопротивленій и увлеченій, безъ трепета, безъ страсти, безъ смутныхъ предчувствій, томленій, безъ игры и музыки нервъ.

Она какъ-будто вдругъ перешла въ другую вѣру и стала исповѣдывать ее, не разсуждая, что̀ это за вѣра, какіе догматы въ ней, а слѣпо повинуясь ея законамъ.

Это какъ-то легло на нее само собой, и она подошла точно подъ тучу, не пятясь назадъ и не забѣгая впередъ, а полюбила Обломова просто, какъ будто простудилась и схватила неизлѣчимую лихорадку.

Она сама и не подозрѣвала ничего: если бъ это ей сказать, то это было бы для нея новостью—она бы усмѣхнулась и застыдилась.

Она молча приняла обязанности въ отношеніи къ Обломову, выучила физіономію каждой его рубашки, сосчитала протертыя пятки на чулкахъ, знала, какой ногой онъ встаетъ съ постели, замѣчала, когда хочетъ сѣсть ячмень на глазу, какого блюда и по скольку съѣдаетъ онъ, веселъ онъ или скученъ, много спалъ или нѣтъ, какъ будто дѣлала это всю жизнь, не спрашивая себя, зачѣмъ, что̀ такое ей Обломовъ, отчего она такъ суетится.

Если бъ ее спросили, любитъ ли она его, она бы опять усмѣхнулась и отвѣчала утвердительно, но она отвѣчала бы такъ и тогда, когда Обломовъ жилъ у нея всего съ недѣлю.

За что или отчего полюбила она его именно, отчего, не любя, вышла замужъ, не любя дожила до тридцати лѣтъ, а тутъ вдругъ какъ будто на нее нашло?

Хотя любовь и называютъ чувствомъ капризнымъ, безотчетнымъ, рождающимся какъ болѣзнь, однакожъ и она, какъ все, имѣетъ свои законы и причины. А если до сихъ поръ эти законы изслѣдованы мало, такъ это потому, что человѣку, пораженному любовью, не до того, чтобъ ученымъ окомъ слѣдить, какъ вкрадывается въ душу впечатлѣніе, какъ оковываетъ будто сномъ чувства, какъ сначала ослѣпнутъ глаза, съ какого момента пульсъ, а за нимъ сердце начинаетъ биться сильнѣе, какъ является со вчерашняго дня вдругъ преданность до могилы, стремленіе жертвовать собою, какъ мало-по-малу исчезаетъ свое *я* и переходитъ въ *него*, или въ *нее*, какъ умъ необыкновенно тупѣетъ или необыкновенно изощряется, какъ воля отдается въ волю другого, какъ клонится голова, дрожатъ колѣни, являются слезы, горячка...

Агаѳья Матвѣевна мало прежде видала такихъ людей, какъ Обломовъ, а если видала, такъ издали, и, можетъ-быть, они нравились ей, но жили они въ другой, не въ ея сферѣ, и не было никакого случая къ сближенію съ ними.

Илья Ильичъ ходитъ не такъ, какъ ходилъ ея покойный мужъ, коллежскій секретарь Пшеницынъ, мелкой, дѣловой прытью, не пишетъ безпрестанно бумагъ, не трясется отъ страха, что опоздаетъ въ должность, не глядитъ на всякаго такъ, какъ будто проситъ осѣдлать его и поѣхать, а глядитъ онъ на всѣхъ и на все такъ смѣло и свободно, какъ будто требуетъ покорности себѣ.

Лицо у него не грубое, не красноватое, а бѣлое, нѣжное; руки не похожи на руки братца—не трясутся, не красныя, а бѣлыя, небольшія. Сядетъ онъ, положитъ ногу на ногу, подопретъ голову рукой—все это дѣлаетъ такъ вольно, покойно и красиво; говоритъ такъ, какъ не говорятъ ея бра-

тецъ и Тарантьевъ, какъ не говорилъ мужъ; многаго она даже не понимаетъ, но чувствуетъ, что это умно, прекрасно, необыкновенно; да и то, что она понимаетъ, онъ говоритъ какъ-то иначе, нежели другіе.

Бѣлье носитъ тонкое, мѣняетъ его каждый день, моется душистымъ мыломъ, ногти чиститъ—весь онъ такъ хорошъ, такъ чистъ, можетъ ничего не дѣлать и не дѣлаетъ, ему дѣлаютъ все другіе: у него есть Захаръ и еще триста Захаровъ!..

Онъ баринъ, онъ сіяетъ, блещетъ! Притомъ онъ такъ добръ: какъ мягко онъ ходитъ, дѣлаетъ движенія, дотронется до руки — какъ бархатъ, а тронетъ, бывало, рукой мужъ—какъ ударитъ! И глядитъ онъ, и говоритъ такъ же мягко, съ такой добротой...

Она не думала, не сознавала всего этого, но если бъ кто другой вздумалъ услѣдить и объяснить впечатлѣніе, сдѣланное на ея душу появленіемъ въ ея жизни Обломова, тотъ бы долженъ былъ объяснить его такъ, а не иначе.

Илья Ильичъ понималъ, какое значеніе онъ внесъ въ этотъ уголокъ, начиная съ братца до цѣпной собаки, которая, съ появленіемъ его, стала получать втрое больше костей, но онъ не понималъ, какъ глубоко пустило корни это значеніе и какую неожиданную побѣду онъ сдѣлалъ надъ сердцемъ хозяйки.

Въ ея суетливой заботливости о его столѣ, бѣльѣ и комнатахъ онъ видѣлъ только проявленіе главной черты ея характера, замѣченной имъ еще въ первое посѣщеніе, когда Акулина внесла внезапно въ комнату трепещущаго пѣтуха и когда хозяйка, несмотря на то, что смущена была неумѣстною ревностью кухарки, успѣла, однако, сказать ей, чтобъ она отдала лавочнику не этого, а сѣраго пѣтуха.

Сама Агаѳья Матвѣевна не въ силахъ была не только пококетничать съ Обломовымъ, показать ему какимъ-нибудь признакомъ, что въ ней происходитъ, но она, какъ сказано,

никогда не сознавала и не понимала этого, даже забыла, что, нѣсколько времени назадъ, этого ничего не происходило въ ней, и любовь ея высказалась только въ безграничной преданности до гроба.

У Обломова не были открыты глаза на настоящее свойство ея отношеній къ нему, и онъ продолжалъ принимать это за характеръ. И чувство Пшеницыной, такое нормальное, естественное, безкорыстное, оставалось тайною для Обломова, для окружающихъ ее и для нея самой.

Оно было въ самомъ дѣлѣ безкорыстно, потому что она ставила свѣчку въ церкви, поминала Обломова за здравіе затѣмъ только, чтобъ онъ выздоровѣлъ, и онъ никогда не узналъ объ этомъ. Сидѣла она у изголовья его ночью и уходила съ зарей, и потомъ не было разговора о томъ.

Его отношенія къ ней были гораздо проще: для него въ Агаѳьѣ Матвѣевнѣ, въ ея вѣчно движущихся локтяхъ, въ заботливо останавливающихся на всемъ глазахъ, въ вѣчномъ хожденіи изъ шкапа въ кухню, изъ кухни въ кладовую, оттуда въ погребъ, во всезнаніи всѣхъ домашнихъ и хозяйственныхъ удобствъ, воплощался идеалъ того необозримаго, какъ океанъ, и ненарушимаго покоя жизни, картина котораго неизгладимо легла на его душу въ дѣтствѣ, подъ отеческой кровлей.

Какъ тамъ отецъ его, дѣдъ, дѣти, внучата и гости сидѣли или лежали въ лѣнивомъ покоѣ, зная, что есть въ домѣ вѣчно ходящее около нихъ и промышляющее око и непокладныя руки, которыя обошьютъ ихъ, накормятъ, напоятъ, одѣнутъ и обуютъ и спать положатъ, а при смерти закроютъ имъ глаза, такъ и тутъ Обломовъ, сидя и не трогаясь съ дивана, видѣлъ, что движется что-то живое и проворное въ его пользу, и что не взойдетъ завтра солнце, застелютъ небо вихри, понесется бурный вѣтръ изъ концовъ въ концы вселенной, а супъ и жаркое явятся у него на столѣ, а бѣлье его будетъ чисто и свѣжо, а паутина снята со стѣны,

и онъ не узнаетъ, какъ это сдѣлается, не дастъ себѣ труда подумать чего ему хочется, а оно будетъ угадано и принесено ему подъ-носъ, не съ лѣнью, не съ грубостью, не грязными руками Захара, а съ бодрымъ и кроткимъ взглядомъ, съ улыбкой глубокой преданности, чистыми, бѣлыми руками и съ голыми локтями.

Онъ каждый день все болѣе и болѣе дружился съ хозяйкой: о любви и въ умъ ему не приходило, то-есть о той любви, которую онъ недавно перенесъ, какъ какую-нибудь оспу, корь или горячку, и содрогался, когда вспоминалъ о ней.

Онъ сближался съ Агаѳьей Матвѣевной—какъ будто подвигался къ огню, отъ котораго становится все теплѣе и теплѣе, но котораго любить нельзя.

Онъ послѣ обѣда охотно оставался и курилъ трубку въ ея комнатѣ, смотрѣлъ, какъ она укладывала въ буфетъ серебро, посуду, какъ вынимала чашки, наливала кофе, какъ, особенно тщательно вымывъ и обтеревъ одну чашку, наливала прежде всѣхъ, подавала ему и смотрѣла, доволенъ ли онъ.

Онъ охотно останавливалъ глаза на ея полной шеѣ и круглыхъ локтяхъ, когда отворялась дверь къ ней въ комнату, и даже, когда она долго не отворялась, онъ потихоньку ногой отворялъ ее самъ и шутилъ съ ней, игралъ съ дѣтьми.

Но ему не было скучно, если утро проходило и онъ не видалъ ея; послѣ обѣда, вмѣсто того, чтобъ остаться съ ней, онъ часто уходилъ соснуть часа на два; но онъ зналъ, что лишь только онъ проснется, чай ему готовъ, и даже въ ту самую минуту, какъ проснется.

И главное, все это дѣлалось покойно: не было у него ни опухоли у сердца, ни разу онъ не волновался тревогой о томъ, увидитъ ли онъ хозяйку или нѣтъ, что она подумаетъ,

что̀ сказать ей, какъ отвѣчать на ея вопросъ, какъ она взглянетъ—ничего, ничего.

Тоски, безсонныхъ ночей, сладкихъ и горькихъ слезъ—ничего не испыталъ онъ. Сидитъ и куритъ, и глядитъ, какъ она шьетъ, иногда скажетъ что-нибудь или ничего не скажетъ, а между тѣмъ покойно ему, ничего не надо, никуда не хочется, какъ будто все тутъ есть, что̀ ему надо.

Никакихъ понуканій, никакихъ требованій не предъявляетъ Агаѳья Матвѣевна. И у него не рождается никакихъ самолюбивыхъ желаній, позывовъ, стремленій на подвиги, мучительныхъ терзаній о томъ, что уходитъ время, что гибнутъ его силы, что ничего не сдѣлалъ онъ, ни зла, ни добра, что празденъ онъ и не живетъ, а прозябаетъ.

Его какъ будто невидимая рука посадила, какъ драгоцѣнное растеніе, въ тѣнь отъ жара, подъ кровъ отъ дождя, и ухаживаетъ за нимъ, лелѣетъ.

— Что это какъ у васъ проворно ходитъ игла мимо носа, Агаѳья Матвѣевна!—сказалъ Обломовъ.—Вы такъ живо снизу поддѣваете, что я, право, боюсь, какъ бы вы не пришили носа къ юбкѣ.

Она усмѣхнулась.

— Вотъ только дострочу эту строчку,—говорила она почти про-себя:—ужинать станемъ.

— А что̀ къ ужину?—спрашиваетъ онъ.

— Капуста кислая съ лососиной, — сказала она. — Осетрины нѣтъ нигдѣ: ужъ я всѣ лавки выходила и братецъ спрашивали—нѣтъ. Вотъ развѣ попадется живой осетръ—купецъ изъ каретнаго ряда заказалъ—такъ обѣщали часть отрѣзать. Потомъ телятина, каша на сковородѣ...

— Вотъ это прекрасно! Какъ вы милы, что вспомнили, Агаѳья Матвѣевна! Только не забыла бы Анисья.

— А я-то на что? Слышите, шипитъ?—отвѣчала она, отворивъ немного дверь въ кухню.—Ужъ жарится.

Потомъ дошила, откусила нитку, свернула работу и отнесла въ спальню.

Итакъ, онъ подвигался къ ней, какъ къ теплому огню, и однажды подвинулся очень близко, почти до пожара, по крайней мѣрѣ до вспышки.

Онъ ходилъ по своей комнатѣ и, оборачиваясь къ хозяйской двери, видѣлъ, что локти дѣйствуютъ съ необыкновеннымъ проворствомъ.

— Вѣчно заняты!—сказалъ онъ, входя къ хозяйкѣ.—Что это такое?

— Корицу толку,—отвѣчала она, глядя въ ступку, какъ въ пропасть, и немилосердно стуча пестикомъ.

— А если я вамъ помѣшаю?—спросилъ онъ, взявъ ее за локти и не давая толочь.

— Пустите! Еще надо сахару натолочь, да вина отпустить на пуддингъ.

Онъ все держалъ ее за локти, и лицо его было у ея затылка.

— Скажите, что если бъ я васъ... полюбилъ?

Она усмѣхнулась.

— А вы бы полюбили меня?—опять спросилъ онъ.

— Отчего же не полюбить? Богъ всѣхъ велѣлъ любить.

— А если я поцѣлую васъ?—шепнулъ онъ, наклоняясь къ ея щекѣ, такъ что дыханіе его обожгло ей щеку.

— Теперь не святая недѣля,—сказала она съ усмѣшкой.

— Ну, поцѣлуйте же меня!

— Вотъ, Богъ дастъ, доживемъ до Пасхи, такъ поцѣлуемся,—сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робѣя, а стоя прямо и неподвижно, какъ лошадь, на которую надѣваютъ хомутъ. Онъ слегка поцѣловалъ ее въ шею.

— Смотрите, просыплю корицу; вамъ же нѣчего будетъ въ пирожное положить,—замѣтила она.

— Не бѣда!—отвѣчалъ онъ.

— Что это у васъ на халатѣ опять пятно?—заботливо

спросила она, взявъ въ руки полу халата.—Кажется, масло? — Она понюхала пятно.—Гдѣ это вы? Не съ лампадки ли накапало?

— Не знаю, гдѣ это я пріобрѣлъ.

— Вѣрно, за дверь задѣли? — вдругъ догадалась Агаѳья Матвѣевна. — Вчера мазали петли: все скрипятъ. Скиньте, да дайте скорѣе, я выведу и замою: завтра ничего не будетъ.

— Добрая Агаѳья Матвѣевна!—сказалъ Обломовъ, лѣниво сбрасывая съ плечъ халатъ. — Знаете что: поѣдемте-ка въ деревню жить: тамъ-то хозяйство! Чего, чего нѣтъ: грибовъ, ягодъ, варенья, птичій, скотный дворъ...

— Нѣтъ, зачѣмъ?—заключила она со вздохомъ. — Здѣсь родились, вѣкъ жили, здѣсь и умереть надо.

Онъ глядѣлъ на нее съ легкимъ волненіемъ, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался духъ на высоту, на подвиги. Ему только хотѣлось сѣсть на диванъ и не спускать глазъ съ ея локтей.

II.

Ивановъ-день прошелъ торжественно. Иванъ Матвѣевичъ наканунѣ не ходилъ въ должность, ѣздилъ, какъ угорѣлый, по городу, и всякій разъ пріѣзжалъ домой то съ кулькомъ, то съ корзиной.

Агаѳья Матвѣевна трое сутки жила однимъ кофе и только для Ильи Ильича готовились три блюда, а прочіе ѣли какъ-нибудь и что-нибудь.

Анисья наканунѣ даже вовсе не ложилась спать. Только одинъ Захаръ выспался за нее и за себя, и на всѣ эти приготовленія смотрѣлъ небрежно, съ полупрезрѣніемъ.

— У насъ, въ Обломовкѣ, этакъ, каждый праздникъ готовили, — говорилъ онъ двумъ поварамъ, которые приглашены были съ графской кухни: — бывало, пять шпрожныхъ подадутъ, а соусовъ что, такъ и не пересчитаешь! И цѣ-

лый день господа-то кушаютъ, и на другой день. А мы дней пять доѣдаемъ остатки. Только доѣли, смотришь гости пріѣхали—опять пошло, а здѣсь разъ въ годъ!

Онъ за обѣдомъ подавалъ первому Обломову и ни за что не соглашался подать какому-то господину, съ большимъ крестомъ на шеѣ.

— Нашъ-то столбовой,—гордо говорилъ онъ:—а это что за гости!

Тарантьеву, сидѣвшему на концѣ, вовсе не подавалъ, или самъ сваливалъ ему на тарелку кушанье, сколько заблагоразсудитъ!

Всѣ сослуживцы Ивана Матвѣевича были налицо, человѣкъ тридцать.

Огромная форель, фаршированные цыплята, перепелки, мороженое и отличное вино—все это достойно ознаменовало годичный праздникъ.

Гости, подъ конецъ, обнимались, до небесъ превозносили вкусъ хозяина и потомъ сѣли за карты. Мухояровъ кланялся и благодарилъ, говоря, что онъ, для счастья угостить дорогихъ гостей, не пожалѣлъ третного будто бы жалованья.

Къ утру гости разъѣхались и разошлись, съ грѣхомъ пополамъ, и опять все смолкло въ домѣ до Ильина-дня.

Въ этотъ день, изъ постороннихъ были только въ гостяхъ у Обломова Иванъ Герасимовичъ и Алексѣевъ, безмолвный и безотвѣтный гость, который звалъ въ началѣ разсказа Илью Ильича на первое мая. Обломовъ не только не хотѣлъ уступить Ивану Матвѣевичу, но старался блеснуть тонкостью и изяществомъ угощенія, неизвѣстными въ этомъ углу.

Вмѣсто жирной кулебяки, явились начиненные воздухомъ пирожки; передъ супомъ подали устрицъ; цыплята въ пашльйоткахъ, съ трюфелями, сладкія мяса, тончайшая зелень, англійскій супъ.

Посрединѣ стола красовался громадный ананасъ и кругомъ лежали персики, вишни, абрикосы. Въ вазахъ живые цвѣты.

Только принялись за супъ; только Тарантьевъ обругалъ пирожки и повара, за глупую выдумку ничего не класть въ нихъ, какъ послышалось отчаянное скаканье и лай собаки на цѣпи.

На дворъ въѣхалъ экипажъ и кто-то спрашивалъ Обломова. Всѣ и рты разинули.

— Кто-нибудь изъ прошлогоднихъ знакомыхъ вспомнилъ мои именины,—сказалъ Обломовъ:—дома нѣтъ, скажи дома нѣтъ!—кричалъ онъ шопотомъ Захару.

Обѣдали въ саду, въ бесѣдкѣ. Захаръ бросился-было отказать и столкнулся на дорожкѣ съ Штольцомъ.

— Андрей Иванычъ,—прохрипѣлъ онъ радостно.

— Андрей! — громко воззвалъ къ нему Обломовъ и бросился обнимать его.

— Какъ я кстати, къ самому обѣду!—сказалъ Штольцъ:—накорми меня; я голоденъ. Насилу отыскалъ тебя!

— Пойдемъ, пойдемъ, садись! — суетливо говорилъ Обломовъ, сажая его подлѣ себя.

При появленіи Штольца, Тарантьевъ первый проворно переправился черезъ плетень и шагнулъ въ огородъ; за нимъ скрылся за бесѣдку Иванъ Матвѣевичъ и исчезъ въ свѣтлицу. Хозяйка тоже поднялась съ мѣста.

— Я помѣшалъ,—сказалъ Штольцъ, вскакивая.

— Куда это, зачѣмъ? Иванъ Матвѣичъ! Михей Андреичъ!—кричалъ Обломовъ.

Хозяйку онъ усадилъ на свое мѣсто, а Ивана Матвѣевича и Тарантьева дозваться не могъ.

— Откуда, какъ, надолго ли?—посыпались вопросы.

Штольцъ пріѣхалъ на двѣ недѣли, по дѣламъ, и отправлялся въ деревню, потомъ въ Кіевъ и еще Богъ знаетъ куда.

Штольцъ за столомъ говорилъ мало, но ѣлъ много: видно, что онъ въ самомъ дѣлѣ былъ голоденъ. Прочіе и подавно ѣли молча.

Послѣ обѣда, когда все убрали со стола, Обломовъ велѣлъ оставить въ бесѣдкѣ шампанское и сельтерскую воду и остались вдвоемъ съ Штольцомъ.

Они молчали нѣкоторое время. Штольцъ пристально и долго глядѣлъ на него.

— Ну, Илья!?—сказалъ онъ, наконецъ, но такъ строго, такъ вопросительно, что Обломовъ смотрѣлъ внизъ и молчалъ.

— Стало-быть «никогда»?

— Что̀ «никогда»? — спросилъ Обломовъ, будто не понимая.

— Ты ужъ забылъ: «теперь, или никогда!»

— Я не такой теперь... что̀ былъ тогда, Андрей, — сказалъ онъ наконецъ:—дѣла мои, слава Богу, въ порядкѣ: я не лежу праздно, планъ почти конченъ, выписываю два журнала; книги, что̀ ты оставилъ, почти всѣ прочиталъ...

— Отчего жъ не пріѣхалъ за границу?—спросилъ Штольцъ.

— За границу мнѣ помѣшала пріѣхать...

Онъ замялся.

— Ольга? — сказалъ Штольцъ, глядя на него выразительно.

Обломовъ вспыхнулъ.

— Какъ, ужели ты слышалъ... Гдѣ она теперь?—быстро спросилъ онъ, взглянувъ на Штольца.

Штольцъ, не отвѣчая, продолжалъ смотрѣть на него, глубоко заглядывая ему въ душу.

— Я слышалъ, она съ теткой уѣхала за границу, — говорилъ Обломовъ:—вскорѣ...

— Вскорѣ послѣ того, какъ узнала свою ошибку,—договорилъ Штольцъ.

— Развѣ ты знаешь... — говорилъ Обломовъ, не зная куда дѣваться отъ смущенья.

— Все,—сказалъ Штольцъ:—даже и о вѣткѣ сирени. И тебѣ не стыдно, не больно, Илья? не жжетъ тебя раскаяніе, сожалѣніе?..

— Не говори, не поминай! — торопливо перебилъ его Обломовъ: — я и то вынесъ горячку, когда увидѣлъ, какая бездна лежитъ между мной и ею, когда убѣдился, что я не стою ея... Ахъ, Андрей! если ты любишь меня, не мучь, не поминай о ней: я давно указывалъ ей ошибку, она не хотѣла вѣрить... право, я не очень виноватъ...

— Я не виню тебя, Илья,—дружески, мягко продолжалъ Штольцъ: — я читалъ твое письмо. Виноватъ больше всѣхъ я, потомъ она, потомъ ужъ ты, и то мало.

— Что она теперь?—робко спросилъ Обломовъ.

— Что: груститъ, плачетъ неутѣшными слезами и проклинаетъ тебя...

Испугъ, состраданіе, ужасъ, раскаяніе съ каждымъ словомъ являлись на лицѣ Обломова.

— Что ты говоришь, Андрей!—сказалъ онъ, вставая съ мѣста. — Поѣдемъ, ради Бога, сейчасъ, сію минуту; я у ногъ ея выпрошу прощеніе...

— Сиди смирно! — перебилъ Штольцъ, засмѣявшись: — она весела, даже счастлива, велѣла кланяться тебѣ и хотѣла писать, но я отговорилъ, сказалъ, что это тебя взволнуетъ.

— Ну, слава Богу! — почти со слезами произнесъ Обломовъ: — какъ я радъ, Андрей, позволь поцѣловать тебя и выпьемъ за ея здоровье.

Они выпили по бокалу шампанскаго.

— Гдѣ жъ она теперь?

— Теперь въ Швейцаріи. Къ осени она съ теткой поѣдетъ къ себѣ въ деревню. Я за этимъ здѣсь теперь: нужно

еще окончательно похлопотать въ палатѣ. Баронъ не додѣлалъ дѣла; онъ вздумалъ посвататься за Ольгу...

— Ужели? Такъ это правда,—спросилъ Обломовъ:—ну, что жъ она?

— Разумѣется, что: отказала; онъ огорчился и уѣхалъ, а я вотъ теперь доканчивай дѣла! На той недѣлѣ все кончится. Ну, ты что? Зачѣмъ ты забился въ эту глушь?

— Покойно здѣсь, тихо, Андрей, никто не мѣшаетъ...

— Въ чемъ?

— Заниматься...

— Помилуй, здѣсь та же Обломовка, только гаже, — говорилъ Штольцъ, оглядываясь. — Поѣдемъ-ка въ деревню, Илья.

— Въ деревню... хорошо, пожалуй: тамъ же стройка начнется скоро, только не вдругъ, Андрей, дай сообразить...

— Опять сообразить! Знаю я твои соображенія: сообразишь, какъ года два назадъ сообразилъ ѣхать за границу. Поѣдемъ на той недѣлѣ.

— Какъ же вдругъ, на той недѣлѣ? — защищался Обломовъ. — Ты на ходу, а мнѣ, вѣдь, надо приготовиться... У меня здѣсь все хозяйство: какъ я кину его? У меня ничего нѣтъ.

— Да ничего и не надо. Ну, что тебѣ нужно?

Обломовъ молчалъ.

— Здоровье плохо, Андрей,—сказалъ онъ:—одышка одолѣваетъ. Ячмени опять пошли, то на томъ, то на другомъ глазу, и ноги стали отекать. А иногда заснешься ночью, вдругъ точно ударитъ кто-нибудь по головѣ, или по спинѣ, такъ что вскочишь...

— Послушай, Илья, серьёзно скажу тебѣ, что надо перемѣнить образъ жизни, иначе, ты наживешь себѣ водяную или ударъ. Ужъ съ надеждами на будущность — кончено: если Ольга, этотъ ангелъ, не унесъ тебя на своихъ крыльяхъ изъ твоего болота, такъ я ничего не сдѣлаю. Но избрать

себѣ маленькій кругъ дѣятельности, устроить деревушку, возиться съ мужиками, входить въ ихъ дѣла, строить, садить—все это ты долженъ и можешь сдѣлать... Я отъ тебя не отстану. Теперь ужъ слушаюсь не одного своего желанія, а воли Ольги: она хочетъ — слышишь? чтобъ ты не умиралъ совсѣмъ, не погребался заживо, и я обѣщалъ откапывать тебя изъ могилы...

— Она еще не забыла меня! Да стою ли я! — сказалъ Обломовъ съ чувствомъ.

— Нѣтъ, не забыла и, кажется, никогда не забудетъ: это не такая женщина. Ты еще долженъ ѣхать къ ней въ деревню, въ гости.

— Не теперь только, ради Бога, не теперь, Андрей! Дай забыть. Ахъ, еще здѣсь...

Онъ указалъ на сердце.

— Что здѣсь? Не любовь ли?—спросилъ Штольцъ.

— Нѣтъ, стыдъ и горе! — со вздохомъ отвѣтилъ Обломовъ.

— Ну, хорошо! Поѣдемъ къ тебѣ: вѣдь тебѣ строиться надо; теперь лѣто, драгоцѣнное время уходитъ...

— Нѣтъ, у меня повѣренный есть. Онъ и теперь въ деревнѣ, а я могу послѣ пріѣхать, когда соберусь, подумаю.

Онъ сталъ хвастаться передъ Штольцемъ, какъ, не сходя съ мѣста, онъ отлично устроилъ дѣла, какъ повѣренный собираетъ справки о бѣглыхъ мужикахъ, выгодно продаетъ хлѣбъ и какъ прислалъ ему полторы тысячи и, вѣроятно, соберетъ и пришлетъ въ этомъ году оброкъ.

Штольцъ руками всплеснулъ при этомъ разсказѣ.

— Ты ограбленъ кругомъ!—сказалъ онъ. — Съ трехсотъ душъ полторы тысячи рублей! Кто повѣренный? Что за человѣкъ?

— Больше полуторы тысячи, — поправилъ Обломовъ: — онъ изъ выручки же за хлѣбъ получилъ вознагражденіе за трудъ...

— Сколько жъ?

— Не помню, право, да я тебѣ покажу: у меня гдѣ-то есть расчетъ.

— Ну, Илья! Ты въ самомъ дѣлѣ умеръ, погибъ! — заключилъ онъ.—Одѣвайся, поѣдемъ ко мнѣ!

Обломовъ сталъ-было дѣлать возраженія, но Штольцъ почти насильно увезъ его къ себѣ, написалъ довѣренность на свое имя, заставилъ Обломова подписать, и объявилъ ему, что онъ беретъ Обломовку на аренду до тѣхъ поръ, пока Обломовъ самъ пріѣдетъ въ деревню и привыкнетъ къ хозяйству.

— Ты будешь получать втрое больше, — сказалъ онъ: — только я долго твоимъ арендаторомъ не буду,—у меня свои дѣла есть. Поѣдемъ въ деревню теперь, или пріѣзжай вслѣдъ за мной. Я буду въ имѣніи Ольги: это въ трехстахъ верстахъ, заѣду и къ тебѣ, выгоню повѣреннаго, распоряжусь, а потомъ являйся самъ. Я отъ тебя не отстану.

Обломовъ вздохнулъ.

— Ахъ жизнь!—сказалъ онъ.

— Что́ жизнь?

— Трогаетъ, нѣтъ покоя! Легъ бы и заснулъ... навсегда...

— То-есть, погасилъ бы огонь и остался въ темнотѣ! Хороша жизнь! Эхъ, Илья! ты хоть пофилософствовалъ бы немного, право! Жизнь мелькнетъ, какъ мгновеніе, а онъ легъ бы да заснулъ! Пусть она будетъ постояннымъ горѣніемъ! Ахъ, если бъ прожить лѣтъ двѣсти, триста!—заключилъ онъ:—сколько бы можно было передѣлать дѣла!

— Ты—другое дѣло, Андрей, — возразилъ Обломовъ: — у тебя крылья есть: ты не живешь; ты летаешь: у тебя есть дарованія, самолюбіе, ты, вонъ, не толстъ, не одолѣваютъ ячмени, не чешется затылокъ. Ты какъ-то иначе устроенъ...

— Э, полно! Человѣкъ созданъ самъ устраивать себя и даже мѣнять свою природу, а онъ отрастилъ брюхо, да и

думаетъ, что природа послала ему эту ношу! У тебя были крылья, да ты отвязалъ ихъ.

— Гдѣ они, крылья-то? — уныло говорилъ Обломовъ.—Я ничего не умѣю...

— То-есть не хочешь умѣть,—перебилъ Штольцъ.—Нѣтъ человѣка, который бы не умѣлъ чего-нибудь, ей-Богу, нѣтъ!

— А вотъ я не умѣю!—сказалъ Обломовъ.

— Тебя послушать, такъ ты и бумаги не умѣешь въ управу написать и письма къ домовому хозяину, а къ Ольгѣ письмо написалъ же? Не путалъ тамъ *котораго* и *что?* И бумага нашлась атласная, и чернила изъ англійскаго магазина, и почеркъ бойкій: что?

Обломовъ покраснѣлъ.

— Понадобилось, такъ явились и мысли и языкъ, хоть напечатать въ романѣ гдѣ-нибудь. А нѣтъ нужды, такъ и не умѣю, и глаза не видятъ, и въ рукахъ слабость! Ты свое умѣнье затерялъ еще въ дѣтствѣ, въ Обломовкѣ, среди тетокъ, нянекъ и дядекъ. Началось съ неумѣнья надѣвать чулки и кончилось неумѣньемъ жить.

— Все это, можетъ-быть, правда, Андрей, да дѣлать нечего, не воротишь! — съ рѣшительнымъ вздохомъ сказалъ Илья.

— Какъ не воротишь! — сердито возразилъ Штольцъ. — Какіе пустяки. Слушай, да дѣлай, что я говорю, вотъ и воротишь!

Но Штольцъ уѣхалъ въ деревню одинъ, а Обломовъ остался, обѣщаясь пріѣхать къ осени.

— Что сказать Ольгѣ?—спросилъ Штольцъ Обломова передъ отъѣздомъ.

Обломовъ наклонилъ голову и печально молчалъ; потомъ вздохнулъ.

— Не поминай ей обо мнѣ! — наконецъ сказалъ онъ въ смущеніи:—скажи, что не видалъ, не слыхалъ...

— Она не повѣритъ,—возразилъ Штольцъ.

— Ну, скажи, что я погибъ, умеръ, пропалъ...

— Она заплачетъ и долго не утѣшится: за что же печалить ее?

Обломовъ задумался съ умиленіемъ; глаза были влажны.

— Ну, хорошо; я солгу ей, скажу, что ты живешь ея памятью,—заключилъ Штольцъ:—и ищешь строгой и серьезной цѣли. Ты замѣть, что сама жизнь и трудъ есть цѣль жизни, а не женщина: въ этомъ вы ошибались оба. Какъ она будетъ довольна!

Они простились.

III.

Тарантьевъ и Иванъ Матвѣевичъ на другой день Ильина дня опять сошлись вечеромъ въ заведеніи.

— Чаю! — мрачно приказывалъ Иванъ Матвѣевичъ, и когда половой подалъ чай и ромъ, онъ съ досадой сунулъ ему бутылку назадъ. — Это не ромъ, а гвозди! — сказалъ онъ и, вынувъ изъ кармана пальто свою бутылку, откупорилъ и далъ понюхать половому.—Не суйся же впередъ съ своей,—замѣтилъ онъ. — Что, кумъ, вѣдь плохо! — сказалъ онъ, когда ушелъ половой.

— Да, чортъ его принесъ!—яростно возразилъ Тарантьевъ.—Каковъ шельма, этотъ нѣмецъ! Уничтожилъ довѣренность, да на аренду имѣніе взялъ? Слыханное ли это дѣло у васъ? Обдеретъ же онъ овечку-то.

— Если онъ дѣло знаетъ, кумъ, я боюсь, чтобъ тамъ чего не вышло. Какъ узнаетъ, что оброкъ-то собранъ, а получили-то его мы, да, пожалуй, дѣло затѣетъ...

— Ужъ и дѣло! Трусливъ ты сталъ, кумъ! Затертый не первый разъ запускаетъ лапу въ помѣщичьи деньги, умѣетъ концы прятать. Росписки, что ли, онъ даетъ мужикамъ: чай, съ-глазу-на-глазъ беретъ. Погорячится нѣмецъ, покричитъ, и будетъ съ него. А то еще дѣло!

— Ой ли? — развеселясь, сказалъ Мухояровъ.—Ну, выпьемъ же

Онъ подлилъ рому себѣ и Тарантьеву.

— Глядишь, кажется, нельзя и жить на бѣломъ свѣтѣ, а выпьешь, можно жить!—утѣшался онъ.

— А ты тѣмъ временемъ вотъ что сдѣлаешь, кумъ, — продолжалъ Тарантьевъ: — ты выведи какіе-нибудь счеты, какіе хочешь, за дрова, за капусту, ну, за что хочешь, благо Обломовъ теперь передалъ кумѣ хозяйство, и покажи сумму въ расходъ. А Затертый, какъ пріѣдетъ, скажемъ, что привезъ оброчныхъ денегъ столько-то и что въ расходъ ушли.

— А какъ онъ возьметъ счеты, да покажетъ послѣ нѣмцу, тотъ сосчитаетъ, такъ, пожалуй, того...

— Во-на! Онъ ихъ сунетъ куда-нибудь и самъ чортъ не сыщетъ. Когда-то еще нѣмецъ пріѣдетъ, до тѣхъ поръ забудется...

— Ой ли? Выпьемъ, кумъ,—сказалъ Иванъ Матвѣевичъ, наливая въ рюмку: — жалко разбавлять чаемъ добро. Ты понюхай: три цѣлковыхъ. Не заказать ли селянку?

— Можно.

— Эй!

— Нѣтъ, каковъ шельма! «Дай, говоритъ, мнѣ на аренду»,—опять съ яростью началъ Тарантьевъ:—вѣдь намъ съ тобой, русскимъ людямъ, этого въ голову бы не пришло! Это заведеніе-то нѣмецкой стороной пахнетъ. Тамъ все какія-то фермы, да аренды. Вотъ постой, онъ его еще акціями допечетъ.

— Что это за акціи такія, я все не разберу хорошенько?—спросилъ Иванъ Матвѣевичъ.

— Нѣмецкая выдумка!—сказалъ Тарантьевъ злобно. — Это, напримѣръ, мошенникъ какой-нибудь выдумаетъ дѣлать несгораемые домы и возьмется городъ построить: нужны деньги, онъ и пуститъ въ продажу бумажки, положимъ, по пятисотъ рублей, а толпа олуховъ и покупаетъ, да и перепродаетъ другъ другу. Послышится, что предпрія-

тіе идетъ хорошо, бумажки вздорожаютъ, худо—все и лопнетъ. У тебя останутся бумажки, а денегъ-то нѣтъ. Гдѣ городъ? спросишь: сгорѣлъ, говорятъ, не достроился, а изобрѣтатель бѣжалъ съ твоими деньгами. Вотъ онѣ, акціи-то! Нѣмецъ ужъ втянетъ его! Диво, какъ до сихъ поръ не втянулъ? Я все мѣшалъ, благодѣтельствовалъ земляку!

— Да, эта статья кончена: дѣло рѣшено и сдано въ архивъ; заговѣлись мы оброкъ-то получать съ Обломовки... — говорилъ, опьянѣвъ немного, Мухояровъ.

— А чортъ съ нимъ, кумъ! У тебя денегъ-то лопатой не переворочаешь! — возражалъ Тарантьевъ, тоже немного въ туманѣ: — источникъ есть вѣрный, черпай только, не уставай. Выпьемъ!

— Что, кумъ, за источникъ? По цѣлковому, да по трехрублевому собираешь весь вѣкъ...

— Да вѣдь двадцать лѣтъ собираешь, кумъ: не грѣши!

— Ужъ и двадцать! — нетвердымъ языкомъ отозвался Иванъ Матвѣевичъ:—ты забылъ, что я всего десятый годъ секретаремъ. А прежде гривенники, да двугривенные болтались въ карманѣ, а иногда, срамъ сказать, зачастую и мѣдью приходилось собирать. Что это за жизнь! Эхъ, кумъ! Какіе это люди на свѣтѣ есть счастливые, что за одно словцо, такъ вотъ шепнетъ на ухо другому, или строчку продиктуетъ, или, просто, имя свое напишетъ на бумагѣ— и вдругъ такая опухоль сдѣлается въ карманѣ, словно подушка, хоть спать ложись. Вотъ бы поработать этакъ-то,— замечталъ онъ, пьянѣя все болѣе и болѣе: — просители и въ лицо почти не видятъ и подойти не смѣютъ. Сядетъ въ карету «въ клубъ!» крикнетъ, а тамъ, въ клубѣ-то, въ звѣздахъ руку жмутъ, играетъ-то не по пятачку, а обѣдаетъ-то, обѣдаетъ — ахъ!. Про селянку и говорить постыдится: сморщится, да плюнетъ. Нарочно зимой цыплятъ дѣлаютъ къ обѣду, землянику въ апрѣлѣ подадутъ! Дома жена въ блондахъ, у дѣтей гувернантка, ребятишки приче-

санные, разряженные. Эхъ, кумъ! Есть рай, да грѣхи не пускаютъ. Выпьемъ! Вонъ и селянку несутъ!

— Не жалуйся, кумъ, не грѣши: капиталъ есть, и хорошій... — говорилъ опьянѣвшій Тарантьевъ, съ красными, какъ въ крови, глазами.—Тридцать пять тысячъ серебромъ— не шутка!

— Тише, тише, кумъ! — прервалъ Иванъ Матвѣевичъ.— Что жъ, все тридцать пять! Когда до пятидесяти дотянешь? Да съ пятидесятью въ рай не попадешь. Женишься, такъ живи съ оглядкой, каждый рубль считай, объ ямайскомъ забудь и думать—что это за жизнь!

— Зато покойно, кумъ; тотъ цѣлковый, тотъ два — смотришь, въ день рублей семь и спряталъ. Ни привязки, ни придирки, ни пятенъ, ни дыму. А подъ большимъ дѣломъ подпишешь иной разъ имя, такъ послѣ всю жизнь и выскабливаешь боками. Нѣтъ, братъ, не грѣши, кумъ!

Иванъ Матвѣевичъ не слушалъ и давно о чемъ-то думалъ.

— Послушай-ка,—вдругъ началъ онъ, выпучивъ глаза и чему-то обрадовавшись, такъ что хмель почти прошелъ:— да нѣтъ, боюсь, не скажу, не выпущу изъ головы такую птицу. Вотъ сокровище-то залетѣло... Выпьемъ, кумъ, выпьемъ скорѣй!

— Не стану, пока не скажешь, — говорилъ Тарантьевъ, отодвигая рюмку.

— Дѣло-то, кумъ, важное, — шепталъ Мухояровъ, поглядывая на дверь.

— Ну?..—нетерпѣливо спросилъ Тарантьевъ.

— Вотъ набрелъ на находку. Ну, знаешь что, кумъ, вѣдь это все равно, что имя подъ большимъ дѣломъ подписать, ей-Богу такъ!

— Да что, скажешь ли?

— А могарычъ-то какой? могарычъ?

— Ну?—понукалъ Тарантьевъ.

— Погоди, дай еще подумать. Да, тутъ нечего уничтожить, тутъ законъ. Такъ и быть, кумъ, скажу, и то потому, что ты нуженъ; безъ тебя неловко. А то, видитъ Богъ, не сказалъ бы, не такое дѣло, чтобъ другая душа знала.

— Развѣ я другая душа для тебя, кумъ? Кажется, не разъ служилъ тебѣ, и свидѣтелемъ бывалъ, и копіи... помнишь? Свинья ты этакая!

— Кумъ, кумъ! Держи языкъ за зубами. Вонъ, вѣдь, ты какой, изъ тебя, какъ изъ пушки, такъ и палитъ!

— Кой чортъ услышитъ здѣсь? Не помню, что ли, я себя?— съ досадой сказалъ Тарантьевъ. — Что ты меня мучишь? Ну, говори.

— Слушай же: вѣдь Илья Ильичъ трусоватъ, никакихъ порядковъ не знаетъ: тогда отъ контракта голову потерялъ, довѣренность прислали, такъ не зналъ, за что приняться, не помнитъ даже, сколько оброку получаетъ, самъ говоритъ: «ничего не знаю»...

— Ну?—нетерпѣливо спросилъ Тарантьевъ.

— Ну, вотъ онъ къ сестрѣ-то больно часто повадился ходить. Намедни часу до перваго засидѣлся, столкнулся со мной въ прихожей и будто не видалъ. Такъ вотъ, поглядимъ еще, что̀ будетъ, да и того... Ты стороной и поговори съ нимъ, что безчестье въ домѣ заводить не хорошо, что она вдова: скажи, что ужъ объ этомъ узнали; что теперь ей не выйти замужъ; что женихъ присватывался, богатый купецъ, а теперь прослышалъ, дескать, что онъ по вечерамъ сидитъ у нея, не хочетъ.

— Ну, что жъ, онъ перепугается, повалится на постель, да и будетъ ворочаться, какъ боровъ, да вздыхать— вотъ и все,—сказалъ Тарантьевъ.—Какая же выгода? Гдѣ могарычъ?

— Экой какой! А ты скажи, что пожаловаться хочу, что будто подглядѣли за нимъ, что свидѣтели есть...

— Ну?

— Ну, коли перепугается очень, ты скажи, что можно помириться, пожертвовать маленькій капиталъ.

— Гдѣ у него деньги-то?—спросилъ Тарантьевъ. — Онъ обѣщать-то обѣщаетъ со страху хоть десять тысячъ...

— Ты мнѣ только мигни тогда, а я ужъ заемное письмецо заготовлю... на имя сестры: «занялъ я, дескать, Обломовъ у такой-то вдовы десять тысячъ, срокомъ, и т. д.».

— Что жъ толку-то, кумъ? Я не пойму: деньги достанутся сестрѣ и ея дѣтямъ? Гдѣ жъ могарычъ?

— А сестра мнѣ дастъ заемное письмо на таковую же сумму; я дамъ ей подписать.

— Если она не подпишетъ? упрется?

— Сестра-то!

И Иванъ Матвѣевичъ залился тоненькимъ смѣхомъ.

— Подпишетъ, кумъ, подпишетъ, свой смертный приговоръ подпишетъ, и не спроситъ что̀, только усмѣхнется, «Агаѳья Пшеницына» подмахнетъ въ сторону, криво и не узнаетъ никогда, что̀ подписала. Видишь ли: мы съ тобой будемъ въ сторонѣ: сестра будетъ имѣть претензію на коллежскаго секретаря Обломова, а я на коллежской секретаршѣ Пшеницыной. Пусть нѣмецъ горячится — законное дѣло!—говорилъ онъ, поднявъ трепещущія руки вверхъ.— Выпьемъ, кумъ!

— Законное дѣло! — въ восторгѣ сказалъ Тарантьевъ.— Выпьемъ.

— А какъ удачно пройдетъ, можно годика черезъ два повторить; законное дѣло!

— Законное дѣло!—одобрительно кивнувъ, провозгласилъ Тарантьевъ.—Повторимъ и мы!

— Повторимъ!

И они выпили.

— Вотъ какъ бы твой землякъ-то не уперся, да не написалъ предварительно къ нѣмцу,—опасливо замѣтилъ Му-

хояровъ:—тогда, братъ, плохо! Дѣла никакого затѣять нельзя: она вдова, не дѣвица!

— Напишетъ! Какъ не напишетъ! Года черезъ два напишетъ, — сказалъ Тарантьевъ. — А упираться станетъ— обругаю...

— Нѣтъ, нѣтъ, Боже сохрани! Все испортишь, кумъ: скажетъ, что принудили, пожалуй, упомянетъ про побои, уголовное дѣло. Нѣтъ, это не годится! А вотъ что можно: предварительно закусить съ нимъ и выпить: онъ смородиновку-то любитъ. Какъ въ головѣ зашумитъ, ты и мигни мнѣ: я и войду съ письмецомъ-то. Онъ и не посмотритъ сумму, подпишетъ, какъ тогда контрактъ, а послѣ поди, какъ у маклера будетъ засвидѣтельствовано, допрашивайся! Совѣстно будетъ этакому барину сознаваться, что подписалъ въ нетрезвомъ видѣ; законное дѣло!

— Законное дѣло!—повторилъ Тарантьевъ.

— Пусть тогда Обломовка достается наслѣдникамъ.

— Пусть достается! Выпьемъ, кумъ.

— За здоровье олуховъ!—сказалъ Иванъ Матвѣевичъ.

Они выпили.

IV.

Надо теперь перенестись нѣсколько назадъ, до пріѣзда Штольца на именины Обломова, и въ другое мѣсто, далеко отъ Выборгской Стороны. Тамъ встрѣтятся знакомыя читателю лица, о которыхъ Штольцъ не все сообщилъ Обломову, что зналъ, по какимъ-нибудь особеннымъ соображеніямъ, или, можетъ-быть, потому, что Обломовъ не все о нихъ разспрашивалъ, тоже, вѣроятно, по особеннымъ соображеніямъ.

Однажды въ Парижѣ Штольцъ шелъ по бульвару и разсѣянно перебѣгалъ глазами по прохожимъ, по вывѣскамъ магазиновъ, не останавливая глазъ ни на чемъ. Онъ долго не получалъ писемъ изъ Россіи, ни изъ Кіева, ни изъ Одессы,

ни изъ Петербурга. Ему было скучно, и онъ отнесъ еще три письма на почту и возвращался домой.

Вдругъ глаза его остановились на чемъ-то неподвижно, съ изумленіемъ, но потомъ опять приняли обыкновенное выраженіе. Двѣ дамы свернули съ бульвара и вошли въ магазинъ.

«Нѣтъ, не можетъ быть», подумалъ онъ: «какая мысль! Я бы зналъ! Это не онѣ.»

Однакожъ, онъ подошелъ къ окну этого магазина и разглядывалъ сквозь стекла дамъ: «ничего не разглядишь, онѣ стоятъ задомъ къ окнамъ».

Штольцъ вошелъ въ магазинъ и сталъ что-то торговать. Одна изъ дамъ обернулась къ свѣту, и онъ узналъ Ольгу Ильинскую—и не узналъ! Хотѣлъ броситься къ ней и остановился, сталъ пристально вглядываться.

Боже мой! Что за перемѣна! Она и не она. Черты ея, но она блѣдна, глаза немного будто впали, и нѣтъ дѣтской усмѣшки на губахъ, нѣтъ наивности, безпечности. Надъ бровями носится не то важная, не то скорбная мысль, глаза говоритъ много такого, чего не знали, не говорили прежде. Смотритъ она не попрежнему, открыто, свѣтло и покойно; на всемъ лицѣ лежитъ облако, или печали, или тумана.

Онъ подошелъ къ ней. Брови у ней сдвинулись немного; она съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него минуту, потомъ узнала: брови раздвинулись и легли симметрично, глаза блеснули свѣтомъ тихой, не стремительной, но глубокой радости. Всякій братъ былъ бы счастливъ, если бъ ему такъ обрадовалась любимая сестра.

— Боже мой! Вы ли это? — сказала она проникающимъ до души, до нѣги радостнымъ голосомъ.

Тетка быстро обернулась, и всѣ трое заговорили разомъ. Онъ упрекалъ, что онѣ не писали къ нему; онѣ оправдывались. Онѣ пріѣхали всего третій день и вездѣ ищутъ его.

На одной квартирѣ сказали имъ, что онъ уѣхалъ въ Люнъ и онѣ не знали, что дѣлать.

— Да какъ это вы вздумали? И мнѣ ни слова! — упрекалъ онъ.

— Мы такъ быстро собрались, что не хотѣли писать къ вамъ,—сказала тетка.—Ольга хотѣла вамъ сдѣлать сюрпризъ.

Онъ взглянулъ на Ольгу: лицо ея не подтверждало словъ тетки! Онъ еще пристальнѣе поглядѣлъ на нее, но она была непроницаема, недоступна его наблюденію.

«Что съ ней?» думалъ Штольцъ. «Я, бывало, угадывалъ ее сразу, а теперь... какая перемѣна!»

— Какъ вы развились, Ольга Сергѣевна, выросли, созрѣли,—сказалъ онъ вслухъ:—я васъ не узнаю! А всего годъ какой-нибудь не видались. Что вы дѣлали, что съ вами было? Разскажите, разскажите!

— Да... ничего особеннаго, — сказала она, разсматривая матерію.

— Что ваше пѣніе?—говорилъ Штольцъ, продолжая изучать новую для него Ольгу и стараясь прочесть незнакомую ему игру въ лицѣ; но игра эта, какъ молнія, вырывалась и пряталась.

— Давно не пѣла, мѣсяца два, — сказала она небрежно.

— А Обломовъ что? — вдругъ бросилъ онъ вопросъ.— Живъ ли? Не пишетъ?

Здѣсь, можетъ-быть, Ольга невольно выдала бы свою тайну, если бъ не подоспѣла на помощь тетка.

— Вообразите,—сказала она, выходя изъ магазина:—каждый день бывалъ у насъ, потомъ вдругъ пропалъ. Мы собрались за границу; я послала къ нему — сказали, что боленъ, не принимаетъ: такъ и не видались.

— И вы не знаете? — заботливо спросилъ Штольцъ у Ольги.

Ольга пристально лорнировала проѣзжавшую коляску.

— Онъ въ самомъ дѣлѣ захворалъ, — сказала она, съ притворнымъ вниманіемъ разсматривая проѣзжавшій экипажъ.—Посмотрите, ma tante, кажется, это наши спутники проѣхали.

— Нѣтъ, вы мнѣ отдайте отчетъ о моемъ Ильѣ, — настаивалъ Штольцъ: — что̀ вы съ нимъ сдѣлали? Отчего не привезли съ собой?

— Mais ma tante vient de dire,—говорила она.

— Онъ ужасно лѣнивъ,—замѣтила тетка:—и дикарь такой, что лишь только соберутся трое-четверо къ намъ, сейчасъ уйдетъ. Вообразите, абонировался въ оперу и до половины абонемента не дослушалъ.

— Рубини не слыхалъ,—прибавила Ольга.

Штольцъ покачалъ головой и вздохнулъ.

— Какъ это вы рѣшились? Надолго ли? Что̀ вамъ вдругъ вздумалось?—спрашивалъ Штольцъ.

— Для нея, по совѣту доктора,—сказала тетка, указывая на Ольгу. — Петербургъ замѣтно сталъ дѣйствовать на нее, мы и уѣхали на зиму, да вотъ еще не рѣшились, гдѣ провести ее: въ Ниццѣ, или въ Швейцаріи.

— Да, вы очень перемѣнились, — задумчиво говорилъ Штольцъ, впиваясь глазами въ Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей въ глаза.

Полгода прожили Ильинскія въ Парижѣ: Штольцъ былъ ежедневнымъ и единственнымъ ихъ собесѣдникомъ и путеводителемъ.

Ольга замѣтно начала оправляться; отъ задумчивости она перешла къ спокойствію и равнодушію, по крайней мѣрѣ, наружно. Что у ней дѣлалось внутри—Богъ вѣдаетъ, но она мало-по-малу становилась для Штольца прежнею пріятельницею, хотя уже и не смѣялась попрежнему громкимъ, дѣтскимъ, серебрянымъ смѣхомъ, а только улыбалась сдержанной улыбкой, когда смѣшилъ ее Штольцъ. Иногда даже

ей какъ будто было досадно, что она не можетъ не засмѣяться.

Онъ тотчасъ увидѣлъ, что ее смѣшить уже нельзя: часто взглядомъ и несимметрично-лежащими одна надъ другой бровями со складкой на лбу, она выслушаетъ смѣшную выходку и не улыбнется, продолжаетъ, молча, глядѣть на него, какъ будто съ упрекомъ въ легкомысліи, или съ нетерпѣніемъ, или вдругъ, вмѣсто отвѣта на шутку, сдѣлаетъ глубокій вопросъ, и сопровождаетъ его такимъ настойчивымъ взглядомъ, что ему станетъ совѣстно за небрежный, пустой разговоръ.

Иногда въ ней выражалось такое внутреннее утомленіе отъ ежедневной людской пустой бѣготни и болтовни, что Штольцу приходилось внезапно переходить въ другую сферу, въ которую онъ рѣдко и неохотно пускался съ женщинами. Сколько мысли, изворотливости ума тратилось единственно на то, чтобъ глубокій, вопрошающій взглядъ Ольги прояснялся и успокоивался, не жаждалъ, не искалъ вопросительно чего-нибудь дальше, гдѣ-нибудь мимо его.

Какъ онъ тревожился, когда, за небрежное объясненіе, взглядъ ея становился сухъ, суровъ, брови сжимались и по лицу разливалась тѣнь безмолвнаго, но глубокаго неудовольствія. И ему надо было положить двои, трои сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня, и все свое умѣнье обходиться съ женщинами, чтобъ вызвать, и то съ трудомъ, мало-по-малу, изъ сердца Ольги зарю ясности на лицо, кротость примиренія во взглядъ и въ улыбку.

Онъ къ концу дня приходилъ иногда домой, измученный этой борьбой, и бывалъ счастливъ, когда выходилъ побѣдителемъ.

«Какъ она созрѣла, Боже мой! какъ развилась эта дѣвочка! Кто жъ былъ ея учителемъ? Гдѣ она брала уроки жизни? У барона? Тамъ гладко, не почерпнешь въ его щегольскихъ фразахъ ничего! Не у Ильи же!..»

И онъ не могъ понять Ольгу, и бѣжалъ опять на другой день къ ней, и уже осторожно, съ боязнью читалъ ея лицо, затрудняясь часто и побѣждая только съ помощью всего своего ума и знанія жизни вопросы, сомнѣнія, требованія— все, что всплывало въ чертахъ Ольги.

Онъ, съ огнемъ опытности въ рукахъ, пускался въ лабиринтъ ея ума, характера, и каждый день открывалъ и изучалъ всѣ новыя черты и факты, и все не видѣлъ дна, только съ удивленіемъ и тревогой слѣдилъ, какъ ея умъ требуетъ ежедневно насущнаго хлѣба, какъ душа ея не умолкаетъ, все проситъ опыта и жизни.

Ко всей дѣятельности, ко всей жизни Штольца прирастала съ каждымъ днемъ еще чужая дѣятельность и жизнь: обстановивъ Ольгу цвѣтами, обложивъ книгами, нотами и альбомами, Штольцъ успокоивался, полагая, что надолго наполнилъ досуги своей пріятельницы, и шелъ работать, или ѣхалъ осматривать какія-нибудь копи, какое-нибудь образцовое имѣніе, шелъ въ кругъ людей, знакомиться, сталкиваться съ новыми, или замѣчательными лицами; потомъ возвращался къ ней утомленный, сѣсть около ея рояля и отдохнуть подъ звуки ея голоса. И вдругъ на лицѣ ея заставалъ уже готовые вопросы, во взглядѣ настойчивое требованіе отчета. И незамѣтно, невольно, мало-по-малу, онъ выкладывалъ передъ ней, что онъ осмотрѣлъ, зачѣмъ.

Иногда выражала она желаніе сама видѣть и узнать, что видѣлъ и узналъ онъ. И онъ повторялъ свою работу: ѣхалъ съ ней смотрѣть зданіе, мѣсто, машину, читать старое событіе на стѣнахъ, на камняхъ. Мало-по-малу, незамѣтно, онъ привыкъ при ней вслухъ думать, чувствовать, и вдругъ однажды, строго повѣривъ себя, узналъ, что онъ началъ жить не одинъ, а вдвоемъ, и что живетъ этой жизнью со дня пріѣзда Ольги.

Почти безсознательно, какъ передъ самимъ собой, онъ вслухъ при ней дѣлалъ оцѣнку пріобрѣтеннаго имъ сокро-

вища и удивлялся себѣ и ей; потомъ повѣрялъ заботливо, не осталось ли вопроса въ ея взглядѣ, лежитъ ли заря удовлетворенной мысли на лицѣ и провожаетъ ли его взглядъ ея, какъ побѣдителя.

Если это подтверждалось, онъ шелъ домой съ гордостью, съ трепетнымъ волненіемъ, и долго ночью втайнѣ готовилъ себя на завтра. Самыя скучныя, необходимыя занятія не казались ему сухи, а только необходимы: они входили глубже въ основу, въ ткань жизни; мысли, наблюденія, явленія не складывались, молча и небрежно, въ архивъ памяти, а придавали яркую краску каждому дню.

Какая жаркая заря охватывала блѣдное лицо Ольги, когда онъ, не дожидаясь вопросительнаго и жаждущаго взгляда, спѣшилъ бросать передъ ней, съ огнемъ и энергіей, новый запасъ, новый матеріалъ!

И самъ онъ, какъ полно счастливъ былъ, когда умъ ея, съ такой же заботливостью и съ милой покорностью, торопился ловить въ его взглядѣ, въ каждомъ словѣ, и оба зорко смотрѣли: онъ на нее, не осталось ли вопроса въ ея глазахъ, она на него, не осталось ли чего-нибудь недосказаннаго, не забылъ ли онъ и, пуще всего, Боже сохрани! не пренебрегъ ли открыть ей какой-нибудь туманный, для нея недоступный уголокъ, развить свою мысль?

Чѣмъ важнѣе, сложнѣе былъ вопросъ, чѣмъ внимательнѣе онъ повѣрялъ его ей, тѣмъ долѣе и пристальнѣе останавливался на немъ ея признательный взглядъ, тѣмъ этотъ взглядъ былъ теплѣе, глубже, сердечнѣе.

«Это дитя, Ольга!» думалъ онъ въ изумленіи: «она перерастаетъ меня!»

Онъ задумывался надъ Ольгой, какъ никогда и ни надъ чѣмъ не задумывался.

Весной они всѣ уѣхали въ Швейцарію. Штольцъ еще въ Парижѣ рѣшилъ, что отнынѣ безъ Ольги ему жить нельзя. Рѣшивъ этотъ вопросъ, онъ началъ рѣшать и вопросъ о

томъ, можетъ ли жить безъ него Ольга. Но этотъ вопросъ не давался ему такъ легко.

Онъ подбирался къ нему медленно, съ оглядкой, осторожно, шелъ то ощупью, то смѣло, и думалъ вотъ-вотъ онъ близко у цѣли, вотъ уловитъ какой-нибудь несомнѣнный признакъ, взглядъ, слово, скуку или радость: еще нужно маленькій штрихъ, едва замѣтное движеніе бровей Ольги, вздохъ ея, и завтра тайна падетъ: онъ любимъ!

На лицѣ у ней онъ читалъ довѣрчивость къ себѣ до ребячества; она глядѣла иногда на него, какъ ни на кого не глядѣла, а развѣ глядѣла бы такъ только на мать, если бъ у ней была мать.

Приходъ его, досуги, цѣлые дни угожденія, она не считала одолженіемъ, лестнымъ приношеніемъ любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, какъ будто онъ былъ ея братъ, отецъ, даже мужъ: а это много, это все. И сама, въ каждомъ словѣ, въ каждомъ шагѣ съ нимъ, была такъ свободна и искренна, какъ будто онъ имѣлъ надъ ней неоспоримый вѣсъ и авторитетъ.

Онъ и зналъ, что имѣетъ этотъ авторитетъ; она каждую минуту подтверждала это, говорила, что она вѣритъ ему одному и можетъ въ жизни положиться слѣпо только на него и ни на кого болѣе въ цѣломъ мірѣ.

Онъ, конечно, былъ гордъ этимъ, но вѣдь этимъ могъ гордиться и какой-нибудь пожилой, умный и опытный дядя, даже баронъ, если бъ онъ былъ человѣкъ съ свѣтлой головой, съ характеромъ.

Но былъ ли это авторитетъ любви—вотъ вопросъ? Входило ли въ этотъ авторитетъ сколько-нибудь ея обаятельнаго обмана, того лестнаго ослѣпленія, въ которомъ женщина готова жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой?..

Нѣтъ, она такъ сознательно покоряется ему. Правда, глаза ея горятъ, когда онъ развиваетъ какую-нибудь идею, или обнажаетъ душу передъ ней; она обливаетъ его лучами

взгляда, но всегда видно за что; иногда сама же она говоритъ и причину. А въ любви заслуга пріобрѣтается такъ слѣпо, безотчетно, и въ этой-то слѣпотѣ и безотчетности и лежитъ счастье. Оскорбляется она, сейчасъ же видно, за что̀ оскорблена.

Ни внезапной краски, ни радости до испуга́, ни томнаго или трепещущаго огнемъ взгляда онъ не подкараулилъ никогда, и если было что-нибудь похожее на это, показалось ему, что лицо ея будто исказилось болью, когда онъ скажетъ, что на-дняхъ уѣдетъ въ Италію, только лишь сердце у него замретъ и обольется кровью отъ этихъ драгоцѣнныхъ и рѣдкихъ минутъ, какъ вдругъ опять все точно задернется флеромъ; она наивно и открыто прибавитъ:

— Какъ жаль, что я не могу поѣхать съ вами туда, а ужасно хотѣлось бы! Да вы мнѣ все разскажете и такъ передадите, что какъ будто я сама была тамъ.

И очарованіе разрушено этимъ явнымъ, нескрываемымъ ни передъ кѣмъ желаніемъ и этой пошлой, форменной похвалой его искусству разсказывать. Онъ только соберетъ всѣ мельчайшія черты, только удастся ему соткать тончайшее кружево, остается закончить какую-нибудь петлю—вотъ ужо̀, вотъ сейчасъ...

И вдругъ она опять стала покойна, ровна, проста, иногда даже холодна. Сидитъ, работаетъ и молча слушаетъ его, поднимаетъ по временамъ голову, бросаетъ на него такіе любопытные, вопросительные, прямо идущіе къ дѣлу взгляды, такъ что онъ не разъ съ досадой бросалъ книгу, или прерывалъ какое-нибудь объясненіе, вскакивалъ и уходилъ. Оборотится — она провожаетъ его удивленнымъ взглядомъ: ему совѣстно станетъ, онъ воротится и что-нибудь выдумаетъ въ оправданіе.

Она выслушаетъ такъ просто и повѣритъ. Даже сомнѣнія, лукавой улыбки нѣтъ у нея.

«Любитъ или не любитъ?» играли у него въ головѣ два вопроса.

Если любитъ, отчего же она такъ осторожна, такъ скрытна? Если не любитъ, отчего такъ предупредительна, покорна? Онъ уѣхалъ на недѣлю изъ Парижа въ Лондонъ и пришелъ сказать ей объ этомъ въ самый день отъѣзда, не предупредивъ заранѣе.

Если бъ она вдругъ испугалась, измѣнилась въ лицѣ— вотъ и кончено, тайна поймана, онъ счастливъ! А она крѣпко пожала ему руку, опечалилась: онъ былъ въ отчаяніи.

— Мнѣ ужасно скучно будетъ,—сказала она:—плакать готова, я точно сирота теперь. Ma tante! Посмотрите, Андрей Иванычъ ѣдетъ!—плаксиво прибавила она.

Она срѣзала его.

«Еще къ теткѣ обратилась!» думалъ онъ: «этого недоставало! Вижу, что ей жаль, что любитъ, пожалуй... да этой любви можно, какъ товару на биржѣ, купить во столько-то времени, на столько-то вниманія, угодливости... Не ворочусь», угрюмо думалъ онъ. «Прошу покорно, Ольга, дѣвочка! по ниточкѣ, бывало, ходила. Что съ ней?»

И онъ погружался въ глубокую задумчивость.

Что съ ней? Онъ не зналъ бездѣлицы, что она любила однажды, что уже перенесла, насколько была способна, дѣвическій періодъ неумѣнья владѣть собой, внезапной краски, худо скрытой боли въ сердцѣ, лихорадочныхъ признаковъ любви, первой ея горячки.

Знай онъ это, онъ бы узналъ, если не ту тайну, любитъ ли она его, или нѣтъ, такъ, по крайней мѣрѣ, узналъ бы, отчего такъ мудрено стало разгадать, что дѣлается съ ней.

Въ Швейцаріи они перебывали вездѣ, куда ѣздятъ путешественники. Но чаще и съ большей любовью останавливались въ мало посѣщаемыхъ затишьяхъ. Ихъ, или по крайней мѣрѣ Штольца, такъ занимало «свое собственное

дѣло», что они утомлялись отъ путешествія, которое для нихъ отодвигалось на второй планъ.

Онъ ходилъ за ней по горамъ, смотрѣлъ на обрывы, на водопады, и во всякой рамкѣ она была на первомъ планѣ. Онъ идетъ за ней по какой-нибудь узкой тропинкѣ, пока тетка сидитъ въ коляскѣ внизу; онъ слѣдитъ втайнѣ зорко, какъ она остановится, взойдя на гору, переведетъ дыханіе и какой взглядъ остановитъ на немъ, непремѣнно и прежде всего на немъ: онъ уже пріобрѣлъ это убѣжденіе.

Оно бы и хорошо: и тепло, и свѣтло станетъ на сердцѣ, да вдругъ она окинетъ потомъ взглядомъ мѣстность и оцѣпенѣетъ, забудется въ созерцательной дремотѣ — и его уже нѣтъ передъ ней.

Чуть онъ пошевелится, напомнитъ о себѣ, скажетъ слово, она испугается, иногда вскрикнетъ: явно, что забыла, тутъ ли онъ, или далеко, просто—есть ли онъ на свѣтѣ.

Зато послѣ, дома, у окна, на балконѣ, она говоритъ ему одному, долго говоритъ, долго выбираетъ изъ души впечатлѣнія, пока не выскажется вся, и говоритъ горячо, съ увлеченіемъ, останавливается иногда, прибираетъ слово и на лету хватаетъ подсказанное имъ выраженіе, и во взглядѣ у ней успѣетъ мелькнуть лучъ благодарности за помощь. Или сядетъ, блѣдная отъ усталости, въ большое кресло, только жадные, неустающіе глаза говорятъ ему, что она хочетъ слушать его.

Она слушаетъ неподвижно, но не проронитъ слова, не пропуститъ ни одной черты. Онъ замолчитъ, она еще слушаетъ, глаза еще спрашиваютъ, и онъ, на этотъ нѣмой вызовъ, продолжаетъ высказываться съ новой силой, съ новымъ увлеченіемъ.

Оно бы и хорошо: свѣтло, тепло, сердце бьется; значитъ, она живетъ тутъ, больше ей ничего не нужно: здѣсь ея свѣтъ, огонь и разумъ. А она вдругъ встанетъ утомленная, и тѣ же, сейчасъ вопросительные, глаза просятъ его уйти,

или захочетъ кушать она, и кушаетъ съ такимъ аппетитомъ...

Все бы это прекрасно: онъ не мечтатель; онъ не хотѣлъ бы порывистой страсти, какъ не хотѣлъ ея и Обломовъ, только по другимъ причинамъ. Но ему хотѣлось бы, однако, чтобъ чувство потекло по ровной колеѣ, вскипѣвъ сначала горячо у источника, чтобъ черпнуть и упиться въ немъ, и потомъ всю жизнь знать, откуда бьетъ этотъ ключъ счастья...

— Любитъ ли она или нѣтъ? — говорилъ онъ съ мучительнымъ волненіемъ, почти до кроваваго пота, чуть не до слезъ.

У него все болѣе и болѣе разгорался этотъ вопросъ, охватывалъ его, какъ пламя, сковывалъ намѣренія: это былъ одинъ главный вопросъ уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь мѣста у него въ душѣ.

Кажется, въ эти полгода за разъ собрались и разыгрались надъ нимъ всѣ муки и пытки любви, отъ которыхъ онъ такъ искусно берегся въ встрѣчахъ съ женщинами.

Онъ чувствовалъ, что и его здоровый организмъ не устоитъ, если продлятся еще мѣсяцы этого напряженія ума, воли, нервъ. Онъ понялъ,—что было чуждо ему доселѣ,—какъ тратятся силы въ этихъ скрытыхъ отъ глазъ борьбахъ души со страстью, какъ ложатся на сердце неизлѣчимыя раны безъ крови, но порождаютъ стоны, какъ уходитъ и жизнь.

Съ него немного спала спесивая увѣренность въ своихъ силахъ; онъ уже не шутилъ легкомысленно, слушая разсказы, какъ иные теряютъ разсудокъ, чахнутъ отъ разныхъ причинъ, между прочимъ... отъ любви.

Ему становилось страшно.

— Нѣтъ, я положу конецъ этому,- сказалъ онъ:—я загляну ей въ душу, какъ прежде, и завтра — или буду счастливъ, или уѣду!

— Нѣтъ силъ! — говорилъ онъ дальше, глядясь въ зеркало.- Я ни на что не похожъ... Довольно!..

Онъ пошелъ прямо къ цѣли, то-есть къ Ольгѣ.

А что же Ольга? Она не замѣчала его положенія, или была безчувственна къ нему?

Не замѣчать этого она не могла: и не такія тонкія женщины, какъ она, умѣютъ отличить дружескую преданность и угожденія отъ нѣжнаго проявленія другого чувства. Кокетства въ ней допустить нельзя, по вѣрному пониманію истинной, нелицемѣрной, никѣмъ не навѣянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости.

Остается предположить одно, что ей нравилось, безъ всякихъ практическихъ видовъ, это непрерывное, исполненное ума и страсти поклоненіе такого человѣка, какъ Штольцъ. Конечно, нравилось: это поклоненіе возстановляло ея оскорбленное самолюбіе и мало-по-малу опять ставило ее на тотъ пьедесталъ, съ котораго она упала; мало-по-малу возрождалась ея гордость.

Но какъ же она думала: чѣмъ должно разрѣшиться это поклоненіе? Не можетъ же оно всегда выражаться въ этой вѣчной борьбѣ пытливости Штольца съ ея упорнымъ молчаніемъ. По крайней мѣрѣ предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что онъ выиграетъ дѣло, въ которое положилъ столько воли и характера? Даромъ ли онъ тратитъ это пламя, блескъ? Потонетъ ли въ лучахъ этого блеска образъ Обломова и той любви?..

Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно, и боролась отчаянно съ этими вопросами, сама съ собой, и не знала, какъ выйти изъ хаоса.

Какъ ей быть? Оставаться въ нерѣшительномъ положеніи нельзя: когда-нибудь отъ этой нѣмой игры и борьбы запертыхъ въ груди чувствъ дойдетъ до словъ — что она отвѣтитъ о прошломъ! Какъ назоветъ его, и какъ назоветъ то, что чувствуетъ къ Штольцу?

Если она любитъ Штольца, что̀ же такое была та любовь? — кокетство, вѣтреность, или хуже? Ее бросало въ

жаръ и краску стыда при этой мысли. Такого обвиненія она не взведетъ на себя.

Если же то была первая, чистая любовь, что такое ея отношенія къ Штольцу?—Опять игра, обманъ, тонкій расчетъ, чтобъ увлечь его къ замужеству и покрыть этимъ вѣтреность своего поведенія?.. Ее бросало въ холодъ, и она блѣднѣла отъ одной мысли.

А не игра, не обманъ, не расчетъ—такъ... опять любовь?

Отъ этого предположенія она терялась: вторая любовь—чрезъ семь-восемь мѣсяцевъ послѣ первой! Кто жъ ей повѣритъ? Какъ она заикнется о ней, не вызвавъ изумленія, можетъ-быть... презрѣнія! Она и подумать не смѣетъ, не имѣетъ права!

Она порылась въ своей опытности: тамъ о второй любви никакого свѣдѣнія не отыскалось. Вспомнила про авторитеты тетокъ, старыхъ дѣвъ, разныхъ умницъ, наконецъ писателей, «мыслителей о любви» — со всѣхъ сторонъ слышитъ неумолимый приговоръ: «женщина истинно любитъ только однажды». И Обломовъ такъ изрекъ свой приговоръ. Вспомнила о Соничкѣ, какъ бы она отозвалась о второй любви, но отъ пріѣзжихъ изъ Россіи слышала, что пріятельница ея перешла на третью...

Нѣтъ, нѣтъ у ней любви къ Штольцу, рѣшала она, и быть не можетъ! Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цвѣтъ жизни увялъ навсегда! У ней только дружба къ Штольцу, основанная на его блистательныхъ качествахъ, потомъ на дружбѣ его къ ней, на вниманіи, на довѣріи.

Такъ она отталкивала мысль, даже возможность о любви къ старому своему другу.

Вотъ причина, по которой Штольцъ не могъ уловить у ней на лицѣ и въ словахъ никакого знака, ни положительнаго равнодушія, ни мимолетной молніи, даже искры чувства, которое хоть бы на волосъ выходило за границы теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы.

Чтобъ кончить все это разомъ, ей оставалось одно: замѣтивъ признаки рождающейся любви въ Штольцѣ, не дать ей пищи и хода и уѣхать поскорѣй. Но она уже потеряла время: это случилось давно, притомъ надо было ей предвидѣть, что чувство разыграется у него въ страсть; да это и не Обломовъ: отъ него никуда не уѣдешь.

Положимъ, это было бы физически и возможно, но ей морально невозможенъ отъѣздъ: сначала она пользовалась только прежними правами дружбы и находила въ Штольцѣ, какъ и давно, то игриваго, остроумнаго, насмѣшливаго собесѣдника, то вѣрнаго и глубокаго наблюдателя явленій жизни — всего, что случалось съ ними, или проносилось мимо ихъ, что ихъ занимало.

Но чѣмъ чаще они видѣлись, тѣмъ больше сближались нравственно, тѣмъ роль его становилась оживленнѣе: изъ наблюдателя онъ нечувствительно перешелъ въ роль истолкователя явленій, ея руководителя. Онъ невидимо сталъ ея разумомъ и совѣстью, и явились новыя права, новыя тайныя узы, опутавшія всю жизнь Ольги, все, кромѣ одного завѣтнаго уголка, который она тщательно прятала отъ его наблюденія и суда.

Она приняла эту нравственную опеку надъ своимъ умомъ и сердцемъ, и видѣла, что и сама получила на свою долю вліяніе на него. Они помѣнялись правами; она какъ-то незамѣтно, молча допустила размѣнъ.

Какъ теперь вдругъ все отнять?.. Да притомъ въ этомъ столько... столько занятія... удовольствія, разнообразія... жизни... Что она вдругъ станетъ дѣлать, если не будетъ этого? И когда ей приходила мысль бѣжать — было уже поздно, она была не въ силахъ.

Каждый проведенный не съ нимъ день, неповѣренная ему и нераздѣленная съ нимъ мысль — все это теряло для нея свой цвѣтъ и значеніе.

«Боже мой! Если бъ она могла быть его сестрой!» дума-

лось ей: «Какое счастье имѣть вѣчныя права на такого человѣка, не только на умъ, но и на сердце, наслаждаться его присутствіемъ законно, открыто, не платя за то никакими тяжелыми жертвами, огорченіями, довѣренностью жалкаго прошедшаго. А теперь что̀ я такое? Уѣдетъ онъ — я не только не имѣю права удержать его, но должна желать разлуки; а удержу — что̀ я скажу ему, по какому праву хочу его ежеминутно видѣть, слышать?.. Потому что мнѣ скучно, что я тоскую, что онъ учитъ, забавляетъ меня, что онъ мнѣ полезенъ и пріятенъ. Конечно, это причина, но не право. А я что взамѣнъ приношу ему? Право любоваться мною безкорыстно и не смѣть подумать о взаимности, когда столько другихъ женщинъ сочли бы себя счастливыми...»

Она мучилась и задумывалась, ка̀къ она выйдетъ изъ этого положенія, и не видала никакой цѣли, конца. Впереди былъ только страхъ его разочарованія и вѣчной разлуки. Иногда приходило ей въ голову открыть ему все, чтобъ кончить разомъ и свою, и его борьбу, да духъ захватывало̀, лишь только она задумаетъ это. Ей было стыдно, больно.

Страннѣе всего то, что она перестала уважать свое прошедшее, даже стала его стыдиться съ тѣхъ поръ, какъ стала неразлучна съ Штольцемъ, какъ онъ овладѣлъ ея жизнью. Узнай баронъ, напримѣръ, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась, ей было бы неловко, но она не терзалась бы такъ, какъ терзается теперь, при мысли, что объ этомъ узнаетъ Штольцъ.

Она съ ужасомъ представляла себѣ, что̀ выразится у него на лицѣ, какъ онъ взглянетъ на нее, что̀ скажетъ, что̀ будетъ думать потомъ? Она вдругъ покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нѣтъ, нѣтъ, ни за что!

Она стала наблюдать за собой, и съ ужасомъ открыла, что ей не только стыдно прошлаго своего романа, но и ге-

роя... Тутъ жгло ее и раскаяніе въ неблагодарности за глубокую преданность ея прежняго друга.

Можетъ-быть, она привыкла бы и къ своему стыду, обтерпѣлась бы: къ чему не привыкаетъ человѣкъ! если бъ ея дружба къ Штольцу была чужда всякихъ корыстолюбивыхъ помысловъ и желаній. Но если она заглушала даже всякій лукавый и льстивый шопотъ сердца, то не могла совладѣть съ грёзами воображенія: часто передъ глазами ея, противъ ея власти, становился и сіялъ образъ этой другой любви; все обольстительнѣе, обольстительнѣе, росла мечта роскошнаго счастья, не съ Обломовымъ, не въ лѣнивой дремотѣ, а на широкой аренѣ всесторонней жизни, со всей ея глубиной, со всѣми прелестями и скорбями — счастья съ Штольцемъ...

Тогда-то она обливала слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась отъ мечты и еще тщательнѣе спасалась за стѣной непроницаемости, молчанія и того дружескаго равнодушія, которое терзало Штольца. Потомъ, забывшись, увлекалась опять безкорыстно присутствіемъ друга, была очаровательна, любезна, довѣрчива, пока опять незаконная мечта о счастьѣ, на которое она утратила права, не напомнитъ ей, что будущее для нея потеряно, что розовыя мечты уже назади, что опалъ цвѣтъ жизни.

Вѣроятно, съ лѣтами она успѣла бы помириться съ своимъ положеніемъ и отвыкла бы отъ надеждъ на будущее, какъ дѣлаютъ всѣ старыя дѣвы, и погрузилась бы въ холодную апатію, или стала бы заниматься добрыми дѣлами; но вдругъ незаконная мечта ея приняла болѣе грозный образъ, когда изъ нѣсколькихъ вырвавшихся у Штольца словъ она ясно увидѣла, что потеряла въ немъ друга и пріобрѣла страстнаго поклонника. Дружба утонула въ любви.

Она была блѣдна въ то утро, когда открыла это, не выходила цѣлый день, волновалась, боролась съ собой, думала, что ей дѣлать теперь, какой долгъ лежитъ на ней — и ни-

томъ, можетъ ли жить безъ него Ольга. Но этотъ вопросъ не давался ему такъ легко.

Онъ подбирался къ нему медленно, съ оглядкой, осторожно, шелъ то ощупью, то смѣло, и думалъ вотъ-вотъ онъ близко у цѣли, вотъ уловитъ какой-нибудь несомнѣнный признакъ, взглядъ, слово, скуку или радость: еще нужно маленькій штрихъ, едва замѣтное движеніе бровей Ольги, вздохъ ея, и завтра тайна падетъ: онъ любимъ!

На лицѣ у ней онъ читалъ довѣрчивость къ себѣ до ребячества; она глядѣла иногда на него, какъ ни на кого не глядѣла, а развѣ глядѣла бы такъ только на мать, если бъ у ней была мать.

Приходъ его, досуги, цѣлые дни угожденія, она не считала одолженіемъ, лестнымъ приношеніемъ любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, какъ будто онъ былъ ея братъ, отецъ, даже мужъ: а это много, это все. И сама, въ каждомъ словѣ, въ каждомъ шагѣ съ нимъ, была такъ свободна и искренна, какъ будто онъ имѣлъ надъ ней неоспоримый вѣсъ и авторитетъ.

Онъ и зналъ, что имѣетъ этотъ авторитетъ; она каждую минуту подтверждала это, говорила, что она вѣритъ ему одному и можетъ въ жизни положиться слѣпо только на него и ни на кого болѣе въ цѣломъ мірѣ.

Онъ, конечно, былъ гордъ этимъ, но вѣдь этимъ могъ гордиться и какой-нибудь пожилой, умный и опытный дядя, даже баронъ, если бъ онъ былъ человѣкъ съ свѣтлой головой, съ характеромъ.

Но былъ ли это авторитетъ любви—вотъ вопросъ? Входило ли въ этотъ авторитетъ сколько-нибудь ея обаятельнаго обмана, того лестнаго ослѣпленія, въ которомъ женщина готова жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой?..

Нѣтъ, она такъ сознательно покоряется ему. Правда, глаза ея горятъ, когда онъ развиваетъ какую-нибудь идею, или обнажаетъ душу передъ ней; она обливаетъ его лучами

взгляда, но всегда видно за что; иногда сама же она говоритъ и причину. А въ любви заслуга пріобрѣтается такъ слѣпо, безотчетно, и въ этой-то слѣпотѣ и безотчетности и лежитъ счастье. Оскорбляется она, сейчасъ же видно, за что оскорблена.

Ни внезапной краски, ни радости до испуга, ни томнаго или трепещущаго огнемъ взгляда онъ не подкараулилъ никогда, и если было что-нибудь похожее на это, показалось ему, что лицо ея будто исказилось болью, когда онъ скажетъ, что на-дняхъ уѣдетъ въ Италію, только лишь сердце у него замретъ и обольется кровью отъ этихъ драгоцѣнныхъ и рѣдкихъ минутъ, какъ вдругъ опять все точно задернется флеромъ; она наивно и открыто прибавитъ:

— Какъ жаль, что я не могу поѣхать съ вами туда, а ужасно хотѣлось бы! Да вы мнѣ все разскажете и такъ передадите, что какъ будто я сама была тамъ.

И очарованіе разрушено этимъ явнымъ, нескрываемымъ ни передъ кѣмъ желаніемъ и этой пошлой, форменной похвалой его искусству разсказывать. Онъ только соберетъ всѣ мельчайшія черты, только удастся ему соткать тончайшее кружево, остается закончить какую-нибудь петлю—вотъ ужо, вотъ сейчасъ...

И вдругъ она опять стала покойна, ровна, проста, иногда даже холодна. Сидитъ, работаетъ и молча слушаетъ его, поднимаетъ по временамъ голову, бросаетъ на него такіе любопытные, вопросительные, прямо идущіе къ дѣлу взгляды, такъ что онъ не разъ съ досадой бросалъ книгу, или прерывалъ какое-нибудь объясненіе, вскакивалъ и уходилъ. Оборотится — она провожаетъ его удивленнымъ взглядомъ: ему совѣстно станетъ, онъ воротится и что-нибудь выдумаетъ въ оправданіе.

Она выслушаетъ такъ просто и повѣритъ. Даже сомнѣнія, лукавой улыбки нѣтъ у нея.

«Любитъ или не любитъ?» играли у него въ головѣ два вопроса.

Если любитъ, отчего же она такъ осторожна, такъ скрытна? Если не любитъ, отчего такъ предупредительна, покорна? Онъ уѣхалъ на недѣлю изъ Парижа въ Лондонъ и пришелъ сказать ей объ этомъ въ самый день отъѣзда, не предупредивъ заранѣе.

Если бъ она вдругъ испугалась, измѣнилась въ лицѣ— вотъ и кончено, тайна поймана, онъ счастливъ! А она крѣпко пожала ему руку, опечалилась: онъ былъ въ отчаяніи.

— Мнѣ ужасно скучно будетъ,—сказала она:—плакать готова, я точно сирота теперь. Ma tante! Посмотрите, Андрей Иванычъ ѣдетъ!—плаксиво прибавила она.

Она срѣзала его.

«Еще къ теткѣ обратилась!» думалъ онъ: «этого недоставало! Вижу, что ей жаль, что любитъ, пожалуй... да этой любви можно, какъ товару на биржѣ, купить во столько-то времени, на столько-то вниманія, угодливости... Не ворочусь», угрюмо думалъ онъ. «Прошу покорно, Ольга, дѣвочка! по ниточкѣ, бывало, ходила. Что съ ней?»

И онъ погружался въ глубокую задумчивость.

Что съ ней? Онъ не зналъ бездѣлицы, что она любила однажды, что уже перенесла, насколько была способна, дѣвическій періодъ неумѣнья владѣть собой, внезапной краски, худо скрытой боли въ сердцѣ, лихорадочныхъ признаковъ любви, первой ея горячки.

Знай онъ это, онъ бы узналъ, если не ту тайну, любитъ ли она его, или нѣтъ, такъ, по крайней мѣрѣ, узналъ бы, отчего такъ мудрено стало разгадать, что дѣлается съ ней.

Въ Швейцаріи они перебывали вездѣ, куда ѣздятъ путешественники. Но чаще и съ большей любовью останавливались въ мало посѣщаемыхъ затишьяхъ. Ихъ, или по крайней мѣрѣ Штольца, такъ занимало «свое собственное

дѣло», что они утомлялись отъ путешествія, которое для нихъ отодвигалось на второй планъ.

Онъ ходилъ за ней по горамъ, смотрѣлъ на обрывы, на водопады, и во всякой рамкѣ она была на первомъ планѣ. Онъ идетъ за ней по какой-нибудь узкой тропинкѣ, пока тетка сидитъ въ коляскѣ внизу; онъ слѣдитъ втайнѣ зорко, какъ она остановится, взойдя на гору, переведетъ дыханіе и какой взглядъ остановитъ на немъ, непремѣнно и прежде всего на немъ: онъ уже пріобрѣлъ это убѣжденіе.

Оно бы и хорошо: и тепло, и свѣтло станетъ на сердцѣ, да вдругъ она окинетъ потомъ взглядомъ мѣстность и оцѣпенѣетъ, забудется въ созерцательной дремотѣ — и его уже нѣтъ передъ ней.

Чуть онъ пошевелится, напомнитъ о себѣ, скажетъ слово, она испугается, иногда вскрикнетъ: явно, что забыла, тутъ ли онъ, или далеко, просто—есть ли онъ на свѣтѣ.

Зато послѣ, дома, у окна, на балконѣ, она говоритъ ему одному, долго говоритъ, долго выбираетъ изъ души впечатлѣнія, пока не выскажется вся, и говоритъ горячо, съ увлеченіемъ, останавливается иногда, прибираетъ слово и на лету хватаетъ подсказанное имъ выраженіе, и во взглядѣ у ней успѣетъ мелькнуть лучъ благодарности за помощь. Или сядетъ, блѣдная отъ усталости, въ большое кресло, только жадные, неустающіе глаза говорятъ ему, что она хочетъ слушать его.

Она слушаетъ неподвижно, но не проронитъ слова, не пропуститъ ни одной черты. Онъ замолчитъ, она еще слушаетъ, глаза еще спрашиваютъ, и онъ, на этотъ нѣмой вызовъ, продолжаетъ высказываться съ новой силой, съ новымъ увлеченіемъ.

Оно бы и хорошо: свѣтло, тепло, сердце бьется; значитъ, она живетъ тутъ, больше ей ничего не нужно: здѣсь ея свѣтъ, огонь и разумъ. А она вдругъ встанетъ утомленная, и тѣ же, сейчасъ вопросительные, глаза просятъ его уйти,

или захочетъ кушать она, и кушаетъ съ такимъ аппетитомъ...

Все бы это прекрасно: онъ не мечтатель; онъ не хотѣлъ бы порывистой страсти, какъ не хотѣлъ ея и Обломовъ, только по другимъ причинамъ. Но ему хотѣлось бы, однако, чтобъ чувство потекло по ровной колеѣ, вскипѣвъ сначала горячо у источника, чтобъ черпнуть и упиться въ немъ, и потомъ всю жизнь знать, откуда бьетъ этотъ ключъ счастья...

— Любитъ ли она или нѣтъ? — говорилъ онъ съ мучительнымъ волненіемъ, почти до кроваваго пота, чуть не до слезъ.

У него все болѣе и болѣе разгорался этотъ вопросъ, охватывалъ его, какъ пламя, сковывалъ намѣренія: это былъ одинъ главный вопросъ уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь мѣста у него въ душѣ.

Кажется, въ эти полгода за разъ собрались и разыгрались надъ нимъ всѣ муки и пытки любви, отъ которыхъ онъ такъ искусно берегся въ встрѣчахъ съ женщинами.

Онъ чувствовалъ, что и его здоровый организмъ не устоитъ, если продлятся еще мѣсяцы этого напряженія ума, воли, нервъ. Онъ понялъ,—что было чуждо ему доселѣ,—какъ тратятся силы въ этихъ скрытыхъ отъ глазъ борьбахъ души со страстью, какъ ложатся на сердце неизлѣчимыя раны безъ крови, но порождаютъ стоны, какъ уходитъ и жизнь.

Съ него немного спала спесивая увѣренность въ своихъ силахъ; онъ уже не шутилъ легкомысленно, слушая разсказы, какъ иные теряютъ разсудокъ, чахнутъ отъ разныхъ причинъ, между прочимъ... отъ любви.

Ему становилось страшно.

— Нѣтъ, я положу конецъ этому,—сказалъ онъ:—я загляну ей въ душу, какъ прежде, и завтра — или буду счастливъ, или уѣду!

— Нѣтъ силъ! — говорилъ онъ дальше, глядясь въ зеркало.—Я ни на что не похожъ... Довольно!..

Онъ пошелъ прямо къ цѣли, то-есть къ Ольгѣ.

А что же Ольга? Она не замѣчала его положенія, или была безчувственна къ нему?

Не замѣчать этого она не могла: и не такія тонкія женщины, какъ она, умѣютъ отличить дружескую преданность и угожденія отъ нѣжнаго проявленія другого чувства. Кокетства въ ней допустить нельзя, по вѣрному пониманію истинной, нелицемѣрной, никѣмъ не навѣянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости.

Остается предположить одно, что ей нравилось, безъ всякихъ практическихъ видовъ, это непрерывное, исполненное ума и страсти поклоненіе такого человѣка, какъ Штольцъ. Конечно, нравилось: это поклоненіе возстановляло ея оскорбленное самолюбіе и мало-по-малу опять ставило ее на тотъ пьедесталъ, съ котораго она упала; мало-по-малу возрождалась ея гордость.

Но какъ же она думала: чѣмъ должно разрѣшиться это поклоненіе? Не можетъ же оно всегда выражаться въ этой вѣчной борьбѣ пытливости Штольца съ ея упорнымъ молчаніемъ. По крайней мѣрѣ предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что онъ выиграетъ дѣло, въ которое положилъ столько воли и характера? Даромъ ли онъ тратитъ это пламя, блескъ? Потонетъ ли въ лучахъ этого блеска образъ Обломова и той любви?..

Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно, и боролась отчаянно съ этими вопросами, сама съ собой, и не знала, какъ выйти изъ хаоса.

Какъ ей быть? Оставаться въ нерѣшительномъ положеніи нельзя: когда-нибудь отъ этой нѣмой игры и борьбы запертыхъ въ груди чувствъ дойдетъ до словъ — что она отвѣтитъ о прошломъ! Какъ назоветъ его, и какъ назоветъ то, что чувствуетъ къ Штольцу?

Если она любитъ Штольца, что же такое была та любовь? — кокетство, вѣтреность, или хуже? Ее бросало въ

жаръ и краску стыда при этой мысли. Такого обвиненія она не взведетъ на себя.

Если же то была первая, чистая любовь, что такое ея отношенія къ Штольцу?—Опять игра, обманъ, тонкій расчетъ, чтобъ увлечь его къ замужеству и покрыть этимъ вѣтреность своего поведенія?.. Ее бросало къ холодъ, и она блѣднѣла отъ одной мысли.

А не игра, не обманъ, не расчетъ—такъ... опять любовь?

Отъ этого предположенія она терялась: вторая любовь—чрезъ семь-восемь мѣсяцевъ послѣ первой! Кто жъ ей повѣритъ? Какъ она заикнется о ней, не вызвавъ изумленія, можетъ-быть... презрѣнія! Она и подумать не смѣетъ, не имѣетъ права!

Она порылась въ своей опытности: тамъ о второй любви никакого свѣдѣнія не отыскалось. Вспомнила про авторитеты тетокъ, старыхъ дѣвъ, разныхъ умницъ, наконецъ писателей, «мыслителей о любви» — со всѣхъ сторонъ слышитъ неумолимый приговоръ: «женщина истинно любитъ только однажды». И Обломовъ такъ изрекъ свой приговоръ. Вспомнила о Соничкѣ, какъ бы она отозвалась о второй любви, но отъ пріѣзжихъ изъ Россіи слышала, что пріятельница ея перешла на третью...

Нѣтъ, нѣтъ у ней любви къ Штольцу, рѣшала она, и быть не можетъ! Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цвѣтъ жизни увялъ навсегда! У ней только дружба къ Штольцу, основанная на его блистательныхъ качествахъ, потомъ на дружбѣ его къ ней, на вниманіи, на довѣріи.

Такъ она отталкивала мысль, даже возможность о любви къ старому своему другу.

Вотъ причина, по которой Штольцъ не могъ уловить у ней на лицѣ и въ словахъ никакого знака, ни положительнаго равнодушія, ни мимолетной молніи, даже искры чувства, которое хоть бы на волосъ выходило за границы теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы.

Чтобъ кончить все это разомъ, ей оставалось одно: замѣтивъ признаки рождающейся любви въ Штольцѣ, не дать ей пищи и хода и уѣхать поскорѣй. Но она уже потеряла время: это случилось давно, притомъ надо было ей предвидѣть, что чувство разыграется у него въ страсть; да это и не Обломовъ: отъ него никуда не уѣдешь.

Положимъ, это было бы физически и возможно, но ей морально невозможенъ отъѣздъ: сначала она пользовалась только прежними правами дружбы и находила въ Штольцѣ, какъ и давно, то игриваго, остроумнаго, насмѣшливаго собесѣдника, то вѣрнаго и глубокаго наблюдателя явленій жизни — всего, что̀ случалось съ ними, или проносилось мимо ихъ, что̀ ихъ занимало.

Но чѣмъ чаще они видѣлись, тѣмъ больше сближались нравственно, тѣмъ роль его становилась оживленнѣе: изъ наблюдателя онъ нечувствительно перешелъ въ роль истолкователя явленій, ея руководителя. Онъ невидимо сталъ ея разумомъ и совѣстью, и явились новыя права, новыя тайныя узы, опутавшія всю жизнь Ольги, все, кромѣ одного завѣтнаго уголка, который она тщательно прятала отъ его наблюденія и суда.

Она приняла эту нравственную опеку надъ своимъ умомъ и сердцемъ, и видѣла, что и сама получила на свою долю вліяніе на него. Они помѣнялись правами; она какъ-то незамѣтно, молча допустила размѣнъ.

Какъ теперь вдругъ все отнять?.. Да притомъ въ этомъ столько... столько занятія... удовольствія, разнообразія... жизни... Что̀ она вдругъ станетъ дѣлать, если не будетъ этого? И когда ей приходила мысль бѣжать — было уже поздно, она была не въ силахъ.

Каждый проведенный не съ нимъ день, неповѣренная ему и нераздѣленная съ нимъ мысль—все это теряло для нея свой цвѣтъ и значеніе.

«Боже мой! Если бъ она могла быть его сестрой!» дума-

лось ей: «Какое счастье имѣть вѣчныя права на такого человѣка, не только на умъ, но и на сердце, наслаждаться его присутствіемъ законно, открыто, не платя за то никакими тяжелыми жертвами, огорченіями, довѣренностью жалкаго прошедшаго. А теперь что я такое? Уѣдетъ онъ — я не только не имѣю права удержать его, но должна желать разлуки; а удержу — что я скажу ему, по какому праву хочу его ежеминутно видѣть, слышать?.. Потому что мнѣ скучно, что я тоскую, что онъ учитъ, забавляетъ меня, что онъ мнѣ полезенъ и пріятенъ. Конечно, это причина, но не право. А я что взамѣнъ приношу ему? Право любоваться мною безкорыстно и не смѣть подумать о взаимности, когда столько другихъ женщинъ сочли бы себя счастливыми...»

Она мучилась и задумывалась, какъ она выйдетъ изъ этого положенія, и не видала никакой цѣли, конца. Впереди былъ только страхъ его разочарованія и вѣчной разлуки. Иногда приходило ей въ голову открыть ему все, чтобъ кончить разомъ и свою, и его борьбу, да духъ захватывало, лишь только она задумаетъ это. Ей было стыдно, больно.

Страннѣе всего то, что она перестала уважать свое прошедшее, даже стала его стыдиться съ тѣхъ поръ, какъ стала неразлучна съ Штольцемъ, какъ онъ овладѣлъ ея жизнью. Узнай баронъ, напримѣръ, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась, ей было бы неловко, но она не терзалась бы такъ, какъ терзается теперь, при мысли, что объ этомъ узнаетъ Штольцъ.

Она съ ужасомъ представляла себѣ, что выразится у него на лицѣ, какъ онъ взглянетъ на нее, что скажетъ, что будетъ думать потомъ? Она вдругъ покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нѣтъ, нѣтъ, ни за что!

Она стала наблюдать за собой, и съ ужасомъ открыла, что ей не только стыдно прошлаго своего романа, но и ге-

роя... Тутъ жгло ее и раскаяніе въ неблагодарности за глубокую преданность ея прежняго друга.

Можетъ-быть, она привыкла бы и къ своему стыду, обтерпѣлась бы: къ чему не привыкаетъ человѣкъ! если бъ ея дружба къ Штольцу была чужда всякихъ корыстолюбивыхъ помысловъ и желаній. Но если она заглушала даже всякій лукавый и льстивый шопотъ сердца, то не могла совладѣть съ грёзами воображенія: часто передъ глазами ея, противъ ея власти, становился и сіялъ образъ этой другой любви; все обольстительнѣе, обольстительнѣе, росла мечта роскошнаго счастья, не съ Обломовымъ, не въ лѣнивой дремотѣ, а на широкой аренѣ всесторонней жизни, со всей ея глубиной, со всѣми прелестями и скорбями — счастья съ Штольцемъ...

Тогда-то она обливала слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась отъ мечты и еще тщательнѣе спасалась за стѣной непроницаемости, молчанія и того дружескаго равнодушія, которое терзало Штольца. Потомъ, забывшись, увлекалась опять безкорыстно присутствіемъ друга, была очаровательна, любезна, довѣрчива, пока опять незаконная мечта о счастьѣ, на которое она утратила права, не напомнитъ ей, что будущее для нея потеряно, что розовыя мечты уже назади, что опалъ цвѣтъ жизни.

Вѣроятно, съ лѣтами она успѣла бы помириться съ своимъ положеніемъ и отвыкла бы отъ надеждъ на будущее, какъ дѣлаютъ всѣ старыя дѣвы, и погрузилась бы въ холодную апатію, или стала бы заниматься добрыми дѣлами; но вдругъ незаконная мечта ея приняла болѣе грозный образъ, когда изъ нѣсколькихъ вырвавшихся у Штольца словъ она ясно увидѣла, что потеряла въ немъ друга и пріобрѣла страстнаго поклонника. Дружба утонула въ любви.

Она была блѣдна въ то утро, когда открыла это, не выходила цѣлый день, волновалась, боролась съ собой, думала, что̀ ей дѣлать теперь, какой долгъ лежитъ на ней — и ни-

чего не придумала. Она только кляла себя, зачѣмъ она вначалѣ не побѣдила стыда и не открыла Штольцу раньше прошедшее, а теперь ей надо побѣдить еще ужасъ.

Бывали припадки рѣшимости, когда въ груди у ней наболитъ, накипятъ тамъ слезы, когда ей хочется броситься къ нему, и не словами, а рыданіями, судорогами, обмороками, разсказать про свою любовь, чтобъ онъ видѣлъ и искупленіе.

Она слыхала, какъ поступаютъ въ подобныхъ случаяхъ другіе. Соничка, напримѣръ, сказала своему жениху про корнета, что она дурачила его, что онъ мальчишка, что она нарочно заставляла ждать его на морозѣ, пока она выйдетъ садиться въ карету, и т. д.

Соничка не задумалась бы сказать и про Обломова, что пошутила съ нимъ, для развлеченія, что онъ такой смѣшной, что можно ли любить «такой мѣшокъ», что этому никто не повѣритъ. Но такой образъ поведенія могъ бы быть оправданъ только мужемъ Сонички и многими другими, но не Штольцемъ.

Ольга могла бы благовиднѣе представить дѣло, сказать, что хотѣла извлечь Обломова только изъ пропасти и для того прибѣгала, такъ-сказать, къ дружескому кокетству... чтобъ оживить угасающаго человѣка и потомъ отойти отъ него. Но это было бы ужъ черезчуръ изысканно, натянуто и, во всякомъ случаѣ, фальшиво... Нѣтъ, нѣтъ спасенія!

«Боже, въ какомъ я омутѣ!» терзалась Ольга про себя. «Открыть!.. Ахъ, нѣтъ! пусть онъ долго, никогда не узнаетъ объ этомъ! А не открыть—все равно, что воровать. Это похоже на обманъ, на заискиванье. Боже, помоги мнѣ!..» Но помощи не было.

Какъ ни наслаждалась она присутствіемъ Штольца, но по временамъ она лучше бы желала не встрѣчаться съ нимъ болѣе, пройти въ жизни его едва замѣтною тѣнью, не мра-

чить его яснаго и разумнаго существованія незаконною страстью.

Она бы потосковала еще о своей неудавшейся любви, оплакала бы прошедшее, похоронила бы въ душѣ память о немъ, потомъ... потомъ, можетъ-быть, нашла бы «приличную партію», какихъ много, и была бы хорошей, умной, заботливой женой и матерью, а прошлое сочла бы дѣвической мечтой, и не прожила, а протерпѣла бы жизнь. Вѣдь всѣ такъ дѣлаютъ!

Но тутъ не въ ней одной дѣло, тутъ замѣшанъ другой, и этотъ другой на ней покоитъ лучшія и конечныя жизненныя надежды.

«Зачѣмъ... я любила?» въ тоскѣ мучилась она и вспоминала утро въ паркѣ, когда Обломовъ хотѣлъ бѣжать, а она думала тогда, что книга ея жизни закроется навсегда, если онъ бѣжитъ. Она такъ смѣло и легко рѣшала вопросъ любви, жизни, такъ все казалось ей ясно—и все запуталось въ неразрѣшимый узелъ.

Она поумничала, думала, что стоитъ только глядѣть просто, идти прямо—и жизнь послушно, какъ скатерть, будетъ разстилаться подъ ногами, и вотъ!.. Не на кого даже свалить вину: она одна преступна!

Ольга, не подозрѣвая, зачѣмъ пришелъ Штольцъ, беззаботно встала съ дивана, положила книгу и пошла ему навстрѣчу.

— Я не мѣшаю вамъ? — спросилъ онъ, садясь къ окну въ ея комнатѣ, обращенному на озеро.—Вы читали?

— Нѣтъ, я ужъ перестала читать: темно становится. Я ждала васъ!—мягко, дружески, довѣрчиво говорила она.

— Тѣмъ лучше: мнѣ нужно поговорить съ вами,—замѣтилъ онъ серьезно, подвинувъ ей другое кресло къ окну.

Она вздрогнула и онѣмѣла на мѣстѣ. Потомъ машинально опустилась въ кресло и, наклонивъ голову, не поднимая

глазъ, сидѣла въ мучительномъ положеніи. Ей хотѣлось бы быть въ это время за сто верстъ отъ того мѣста.

Въ эту минуту, какъ молнія, сверкнуло у ней въ памяти прошедшее. «Судъ насталъ! Нельзя играть въ жизнь какъ въ куклы!» слышался ей какой-то посторонній голосъ: «Не шути съ ней—расплатишься!»

Они молчали нѣсколько минутъ. Онъ очевидно собирался съ мыслями. Ольга боязливо вглядывалась въ его похудѣвшее лицо, въ нахмуренныя брови, въ сжатыя губы съ выраженіемъ рѣшительности.

«Немезида!..» думала она, внутренно вздрагивая. Оба какъ будто готовились къ поединку.

— Вы, конечно, угадываете, Ольга Сергѣевна, о чемъ я хочу говорить? — сказалъ онъ, глядя на нее вопросительно.

Онъ сидѣлъ въ простѣнкѣ, который скрывалъ его лицо, тогда какъ свѣтъ отъ окна прямо падалъ на нее, и онъ могъ читать, что̀ было у ней на умѣ.

— Какъ я могу знать?—отвѣчала она тихо.

Передъ этимъ опаснымъ противникомъ у ней ужъ не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни умѣнья владѣть собой, съ какими она постоянно являлась Обломову.

Она понимала, что если она до сихъ поръ могла укрываться отъ зоркаго взгляда Штольца и вести удачно войну, то этимъ обязана была вовсе не своей силѣ, какъ въ борьбѣ съ Обломовымъ, а только упорному молчанію Штольца, его скрытому поведенію. Но въ открытомъ полѣ перевѣсъ былъ не на ея сторонѣ, и потому вопросомъ: «какъ я могу знать?» она хотѣла только выиграть вершокъ пространства и минуту времени, чтобъ непріятель яснѣе обнаружилъ свой замыселъ.

— Не знаете?—сказалъ онъ простодушно. — Хорошо, я скажу...

— Ахъ, нѣтъ!—вдругъ вырвалось у ней.

Она схватила его за руку и глядѣла на него, какъ будто моля о пощадѣ.

— Вотъ видите, я угадалъ, что вы знаете! — сказалъ онъ.—Отчего же «нѣтъ»?—прибавилъ потомъ съ грустью.

Она молчала.

— Если вы предвидѣли, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что̀ и отвѣчать мнѣ?—спросилъ онъ.

— Предвидѣла и мучилась!—сказала она, откидываясь на спинку креселъ и отворачиваясь отъ свѣта, призывая мысленно скорѣе сумерки себѣ на помощь, чтобъ онъ не читалъ борьбы смущенія и тоски у ней на лицѣ.

— Мучились! Это страшное слово,—почти шопотомъ произнесъ онъ:—это Дантово: «оставь надежду навсегда». Мнѣ больше и говорить нечего: тутъ все! Но благодарю и за то,— прибавилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ: — я вышелъ изъ хаоса, изъ тьмы, и знаю, по крайней мѣрѣ, что̀ мнѣ дѣлать. Одно спасенье—бѣжать скорѣй!

Онъ всталъ.

— Нѣтъ, ради Бога, нѣтъ!—бросившись къ нему, схвативъ его опять за руку, съ испугомъ и мольбой заговорила она.—Пожалѣйте меня: что̀ со мной будетъ?

Онъ сѣлъ, и она тоже.

— Но я васъ люблю, Ольга Сергѣевна!—сказалъ онъ почти сурово.—Вы видѣли, что̀ въ эти полгода дѣлалось со мной! Чего же вамъ хочется: полнаго торжества? чтобъ я зачахъ, или рехнулся? Покорно благодарю!

Она измѣнилась въ лицѣ.

— Уѣзжайте!—сказала она съ достоинствомъ подавленной обиды и вмѣстѣ глубокой печали, которой не въ силахъ была скрыть.

— Простите, виноватъ!—извинялся онъ. — Вотъ мы, не видя ничего, ужъ и поссорились. Я знаю, что вы не можете хотѣть этого, но вы не можете и стать въ мое поло-

женіе, и оттого вамъ странно мое движеніе—бѣжать. Человѣкъ иногда безсознательно дѣлается эгоистомъ.

Она перемѣнила положеніе въ креслѣ, какъ будто ей неловко было сидѣть, но она ничего не сказала.

— Ну, пусть бы я остался: что̀ изъ этого?—продолжалъ онъ.—Вы, конечно, предложите мнѣ дружбу; но вѣдь она и безъ того моя. Я уѣду, и черезъ годъ, черезъ два она все будетъ моя. Дружба—вещь хорошая, Ольга Сергѣевна, когда она—любовь между молодыми мужчиной и женщиной, или воспоминаніе о любви между стариками. Но Боже сохрани, если она съ одной стороны дружба, съ другой — любовь. Я знаю, что вамъ со мной не скучно, но мнѣ-то съ вами каково?

— Да, если такъ, уѣзжайте, Богъ съ вами!—чуть слышно прошептала она.

— Остаться!—размышлялъ онъ вслухъ:—ходить по лезвію ножа—хороша дружба!

— А мнѣ развѣ легче?—неожиданно возразила она.

— Вамъ отчего?—спросилъ онъ съ живостью.—Вы... вы не любите...

— Не знаю, клянусь Богомъ, не знаю! Но если вы... если измѣнится какъ-нибудь моя настоящая жизнь, что̀ со мной будетъ?—уныло, почти про-себя прибавила она.

— Какъ я долженъ понимать это? Вразумите меня, ради Бога!—придвигая кресло къ ней, сказалъ онъ, озадаченный ея словами и глубокимъ, непритворнымъ тономъ, какимъ они были сказаны.

Онъ старался разглядѣть ея черты. Она молчала. У ней горѣло въ груди желаніе успокоить его, воротить слово «мучилась» или растолковать его иначе, нежели какъ онъ понялъ; но какъ растолковать — она не знала сама, только смутно чувствовала, что оба они подъ гнётомъ рокового недоумѣнія, въ фальшивомъ положеніи, что̀ обоимъ тяжело отъ этого, и что онъ только могъ, или она, съ его помощью,

могла привести въ ясность и въ порядокъ и прошедшее, и настоящее. Но для этого нужно перейти бездну, открыть ему, что съ ней было: какъ она хотѣла и какъ боялась— его суда!

— Я сама ничего не понимаю; я больше въ хаосѣ, во тьмѣ, нежели вы!—сказала она.

— Послушайте, вѣрите ли вы мнѣ?—спросилъ онъ, взявъ ее за руку.

— Безгранично, какъ матери,—вы это знаете,—отвѣчала она слабо.

— Разскажите же мнѣ, что было съ вами съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались. Вы непроницаемы теперь для меня, а прежде я читалъ на лицѣ ваши мысли: кажется, это одно средство для насъ понять другъ друга. Согласны вы?

— Ахъ, да, это необходимо... надо кончить чѣмъ-нибудь...—проговорила она съ тоской отъ неизбѣжнаго признанія. «Немезида! Немезида!» думала она, клоня голову къ груди.

Она потупилась и молчала. А ему въ душу пахнуло ужасомъ отъ этихъ простыхъ словъ и ещё болѣе отъ ея молчанія.

«Она терзается! Боже! Что съ ней было?» съ холодѣющимъ лбомъ думалъ онъ, и чувствовалъ, что у него дрожатъ руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное. Она все молчитъ и видимо борется съ собой.

— Итакъ... Ольга Сергѣевна...—торопилъ онъ.

Она молчала, только опять сдѣлала какое-то нервное движеніе, котораго нельзя было разглядѣть въ темнотѣ, лишь слышно было, какъ шаркнуло ея шелковое платье.

— Я собираюсь съ духомъ, — сказала она, наконецъ:— какъ трудно, если бъ вы знали!—прибавила потомъ, отворачиваясь въ сторону, стараясь одолѣть борьбу.

Ей хотѣлось, чтобъ Штольцъ узналъ все не изъ ея устъ, а какимъ-нибудь чудомъ. Къ счастью, стало темнѣе, и ея

лицо было ужъ въ тѣни: могъ только измѣнять голосъ и слова не сходили у ней съ языка, какъ будто она затруднялась, съ какой ноты начать.

«Боже мой! Какъ я должна быть виновата, если мнѣ такъ стыдно, больно!» мучилась она внутренно.

А давно ли она съ такой увѣренностью ворочала своей и чужой судьбой, была такъ умна, сильна! И вотъ насталъ ея чередъ дрожать какъ дѣвочкѣ! Стыдъ за прошлое, пытка самолюбія за настоящее, фальшивое положеніе терзали ее... Невыносимо!

— Я вамъ помогу... вы... любили?..—насилу выговорилъ Штольцъ,—такъ стало больно ему отъ собственнаго слова.

Она подтвердила молчаніемъ. А на него опять пахнуло ужасомъ.

— Кого же? Это не секретъ? — спросилъ онъ, стараясь выговаривать твердо, но самъ чувствовалъ, что у него дрожатъ губы.

А ей было еще мучительнѣе. Ей хотѣлось бы сказать другое имя, выдумать другую исторію. Она съ минуту колебалась, но дѣлать было нечего: какъ человѣкъ, который, въ минуту крайней опасности, кидается съ крутого берега, или бросается въ пламя, она вдругъ выговорила:

— Обломова!

Онъ остолбенѣлъ. Минуты двѣ длилось молчаніе.

— Обломова! — повторилъ онъ въ изумленіи. — Это неправда!—прибавилъ потомъ положительно, понизивъ голосъ.

— Правда!—покойно сказала она.

— Обломова!—повторилъ онъ вновь.—Не можетъ быть!—прибавилъ опять увѣрительно.—Тутъ есть что-то: вы не поняли себя, Обломова или, наконецъ, любви.

Она молчала.

— Это не любовь, это что-нибудь другое, говорю я!—настойчиво твердилъ онъ.

— Да, я кокетничала съ нимъ, водила за носъ, сдѣлала

несчастнымъ... потомъ, по вашему мнѣнію, принимаюсь за васъ!—произнесла она сдержаннымъ голосомъ, и въ голосѣ ея опять закипѣли слезы обиды.

— Милая Ольга Сергѣевна! Не сердитесь, не говорите такъ: это не вашъ тонъ. Вы знаете, что я не думаю ничего этого. Но въ мою голову не входитъ, я не понимаю, какъ Обломовъ...

— Онъ стòитъ, однакожъ, вашей дружбы; вы не знаете, какъ цѣнитъ его: отчего жъ онъ не стòитъ любви?—защищала она.

— Я знаю, что любовь менѣе взыскательна, нежели дружба, — сказалъ онъ: —она даже часто слѣпа, любятъ не за заслуги—все такъ. Но для любви нужно что-то такое, иногда пустяки, чего ни опредѣлить, ни назвать нельзя и чего нѣтъ въ моемъ несравненномъ, но неповоротливомъ Ильѣ. Вотъ почему я удивляюсь. Послушайте, — продолжалъ онъ съ живостью: — мы никогда не дойдемъ такъ до конца, не поймемъ другъ друга. Не стыдитесь подробностей, не пощадите себя на полчаса, разскажите мнѣ все, а я скажу вамъ, чтò это такое было, и даже, можетъ-быть, чтò будетъ... Мнѣ все кажется, что тутъ... не то... Ахъ, если бъ это была правда!—прибавилъ онъ съ одушевленіемъ.—Если бъ Обломова, а не другого! Обломова! Вѣдь это значитъ, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны... Разскажите, разскажите скорѣй! — покойнымъ, почти веселымъ голосомъ заключилъ онъ.

— Да, ради Бога!—довѣрчиво отвѣтила она, обрадованная, что часть цѣпей съ нея снята.—Одна я съ ума схожу. Если бъ вы знали, какъ я жалка! Я не знаю, виновата ли я, или нѣтъ, стыдиться ли мнѣ прошедшаго, жалѣть ли о немъ, надѣяться ли на будущее, или отчаиваться... Вы говорили о своихъ мученіяхъ, а моихъ не подозрѣвали. Выслушайте же до конца, но только не умомъ: я боюсь вашего ума; сердцемъ лучше: можетъ-быть, оно разсудитъ, что у меня

нѣтъ матери, что я была какъ въ лѣсу...—тихо, упавшимъ голосомъ прибавила она. — Нѣтъ, — торопливо поправилась потомъ:—не щадите меня. Если это была любовь, то... уѣзжайте.—Она остановилась на минуту.—И пріѣзжайте послѣ, когда заговоритъ опять одна дружба. Если же это была вѣтреность, кокетство,—то казните, бѣгите дальше и забудьте меня. Слушайте.

Онъ въ отвѣтъ крѣпко пожалъ ей обѣ руки.

Началась исповѣдь Ольги, длинная, подробная. Она отчетливо, слово за словомъ, перекладывала изъ своего ума въ чужой все, что̀ ее такъ долго грызло, чего она краснѣла, чѣмъ прежде умилялась, была счастлива, а потомъ вдругъ упала въ омутъ горя и сомнѣній.

Она разсказала о прогулкахъ, о паркѣ, о своихъ надеждахъ, о просвѣтлѣніи и паденіи Обломова, о вѣткѣ сирени, даже о поцѣлуѣ. Только прошла молчаніемъ душный вечеръ въ саду—вѣроятно потому, что все еще не рѣшила, что̀ за припадокъ съ ней случился тогда.

Сначала слышался только ея смущенный шопотъ, но по мѣрѣ того, какъ она говорила, голосъ ея становился явственнѣе и свободнѣе; отъ шопота онъ перешелъ въ полутонъ, потомъ возвысился до полныхъ грудныхъ нотъ. Кончила она покойно, какъ будто пересказывала чужую исторію.

Передъ ней самой снималась завѣса, развивалось прошлое, въ которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. На многое у ней открывались глаза, и она смѣло бы взглянула на своего собесѣдника, если бъ не было темно.

Она кончила и ждала приговора. Но отвѣтомъ была могильная тишина.

Что̀ онъ? Не слыхать ни слова, ни движенія, даже дыханія, какъ будто никого не было съ нею.

Эта нѣмота опять бросила въ нее сомнѣніе. Молчаніе длилось. Что̀ значитъ это молчаніе? Какой приговоръ гото-

вится ей отъ самаго проницательнаго, снисходительнаго судьи въ цѣломъ мірѣ? Все прочее безжалостно осудитъ ее, только одинъ онъ могъ быть ея адвокатомъ, его бы избрала она... онъ бы все понялъ, взвѣсилъ и лучше ея самой рѣшилъ въ ея пользу! А онъ молчитъ: ужели дѣло ея потеряно?..

Ей стало опять страшно...

Отворились двери, и двѣ свѣчи, внесенныя горничной, озарили свѣтомъ ихъ уголъ.

Она бросила на него робкій, но жадный, вопросительный взглядъ. Онъ сложилъ руки крестомъ и смотритъ на нее такими кроткими, открытыми глазами, наслаждается ея смущеніемъ.

У ней сердце отошло, отогрѣлось. Она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала. Къ ней мгновенно воротилось снисхожденіе къ себѣ, довѣренность къ нему. Она была счастлива, какъ дитя, которое простили, успокоили и обласкали.

— Все?—спросилъ онъ тихо.

— Все!—сказала она.

— А письмо его?

Она вынула изъ портфеля письмо и подала ему. Онъ подошелъ къ свѣчкѣ, прочелъ и положилъ на столъ. А глаза опять обратились на нее съ тѣмъ же выраженіемъ, какого она ужъ давно не видала въ немъ.

Передъ ней стоялъ прежній, увѣренный въ себѣ, немного насмѣшливый и безгранично-добрый, балующій ее другъ. Въ лицѣ у него ни тѣни страданія, ни сомнѣнія. Онъ взялъ ее за обѣ руки, поцѣловалъ ту и другую, потомъ глубоко задумался. Она притихла въ свою очередь и, не смигнувъ, наблюдала движеніе его мысли на лицѣ.

Вдругъ онъ всталъ.

— Боже мой, если бъ я зналъ, что дѣло идетъ объ Обломовѣ, мучился ли бы я такъ!—сказалъ онъ, глядя на нее

такъ ласково, съ такою довѣрчивостью, какъ будто у ней не было этого ужаснаго прошедшаго.

На сердцѣ у ней такъ повеселѣло, стало празднично. Ей было легко. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а онъ не казнитъ ея, не бѣжитъ! Что̀ ей за дѣло до суда цѣлаго свѣта!

Онъ ужъ владѣлъ опять собой, былъ веселъ; но ей мало было этого. Она видѣла, что она оправдана; но ей, какъ подсудимой, хотѣлось знать приговоръ. А онъ взялъ шляпу.

— Куда вы?—спросила она.

— Вы взволнованы, отдохните! — сказалъ онъ. — Завтра поговоримъ.

— Вы хотите, чтобъ я не спала всю ночь? — перебила она, удерживая его за руку и сажая на стулъ.—Хотите уйти, не сказавъ, что̀ это... было, что̀ я теперь, что̀ я... буду. Пожалѣйте, Андрей Иванычъ: кто же мнѣ скажетъ? Кто накажетъ меня, если я сто̀ю, или... кто проститъ?.. — прибавила она и взглянула на него съ такой нѣжной дружбой, что онъ бросилъ шляпу и чуть самъ не бросился предъ ней на колѣни.

— Ангелъ — позвольте сказать — мой! — говорилъ онъ.— Не мучьтесь напрасно: ни казнить, ни миловать васъ не нужно. Мнѣ даже нечего и прибавлять къ вашему разсказу. Какія могутъ быть у васъ сомнѣнія? Вы хотите знать, что̀ это было, назвать по имени? Вы давно знаете... Гдѣ письмо Обломова?

Онъ взялъ письмо со стола.

— Слушайте же! — и читалъ: — «ваше настоящее *люблю* не есть настоящая любовь, а будущая. Это только безсознательная потребность любить, которая, за недостаткомъ настоящей пищи, высказывается иногда у женщинъ въ ласкахъ къ ребенку, къ другой женщинѣ, даже просто въ слезахъ или въ истерическихъ припадкахъ!.. Вы *ошиблись* (читалъ Штольцъ, ударяя на этомъ словѣ); предъ вами не

тотъ, кого вы ждали, о комъ мечтали. Погодите—онъ придетъ, и тогда вы очнетесь, вамъ будетъ досадно и стыдно за свою ошибку...»

— Видите, какъ это вѣрно! — сказалъ онъ.— Вамъ было и стыдно, и досадно за... ошибку. Къ этому ничего прибавить. Онъ былъ правъ, а вы не повѣрили, и въ этомъ вся ваша вина. Вамъ бы тогда и разойтись; но его одолѣла ваша красота... а васъ трогала... его голубиная нѣжность!— чуть-чуть насмѣшливо прибавилъ онъ.

— Я не повѣрила ему, я думала, что сердце не ошибается.

— Нѣтъ, ошибается, и какъ иногда гибельно! Но у васъ до сердца и не доходило,—прибавилъ онъ:—воображеніе и самолюбіе съ одной стороны, слабость—съ другой... А вы боялись, что не будетъ другого праздника въ жизни, что этотъ блѣдный лучъ озаритъ жизнь и потомъ будетъ вѣчная ночь...

— А слезы? — сказала она. — Развѣ онѣ не отъ сердца были, когда я плакала? Я не лгала, я была искренна...

— Боже мой! О чемъ не заплачутъ женщины? Вы сами же говорите, что вамъ было жаль букета сирени, любимой скамьи. Къ этому прибавьте обманутое самолюбіе, неудавшуюся роль спасительницы, немного привычки... Сколько причинъ для слезъ!

— И свиданія наши, прогулки, тоже ошибка? Вы помните, что я... была у него... — досказала она съ смущеніемъ, и сама, кажется, хотѣла заглушить свои слова.

Она старалась сама обвинять себя затѣмъ только, чтобъ онъ жарче защищалъ ее, чтобъ быть все правѣе и правѣе въ его глазахъ.

— Изъ разсказа вашего видно, что въ послѣднихъ свиданіяхъ вамъ и говорить было не о чемъ. У вашей такъ-называемой «любви» не хватало и содержанія; она дальше пойти не могла. Вы еще до разлуки разошлись и были

вѣрны не любви, а призраку ея, который сами выдумали— вотъ и вся тайна.

— А поцѣлуй? — шепнула она такъ тихо, что онъ не слыхалъ, а догадался.

— О, это важно, — съ комической строгостью произнесъ онъ: — за это надо было лишить васъ... одного блюда за обѣдомъ.

Онъ глядѣлъ на нее все съ большей лаской, съ большей любовью.

— Шутка не оправданіе такой «ошибки»! — возразила она строго, обиженная его равнодушіемъ и небрежнымъ тономъ. — Мнѣ легче было бы, если бъ вы наказали меня какимъ-нибудь жесткимъ словомъ, назвали бы мой проступокъ его настоящимъ именемъ.

— Я бы и не шутилъ, если бъ дѣло шло не объ Ильѣ, а о другомъ,—оправдывался онъ: — тамъ ошибка могла бы кончиться... бѣдой: но я знаю Обломова...

— Другой, никогда!—вспыхнувъ, перебила она.—Я узнала его больше, нежели вы...

— Вотъ видите!—подтвердилъ онъ.

— Но если бъ онъ... измѣнился, ожилъ, послушался меня и... развѣ я не любила бы его тогда? Развѣ и тогда была бы ложь, ошибка?—говорила она, чтобъ осмотрѣть дѣло со всѣхъ сторонъ, чтобъ не осталось ни малѣйшаго пятна, никакой загадки.

— То-есть, если бъ на его мѣстѣ былъ другой человѣкъ, — перебилъ Штольцъ: — нѣтъ сомнѣнія, ваши отношенія разыгрались бы въ любовь, упрочились, и тогда... Но это другой романъ и другой герой, до котораго намъ дѣла нѣтъ.

Она вздохнула, какъ будто сбросила послѣднюю тяжесть съ души. Оба молчали.

— Ахъ, какое счастье... выздоравливать,—медленно произнесла она, какъ будто расцвѣтая, и обратила къ нему

взглядъ такой глубокой признательности, такой горячей, небывалой дружбы, что въ этомъ взглядѣ почудилась ему искра, которую онъ напрасно ловилъ почти годъ. По немъ пробѣжала радостная дрожь.

— Нѣтъ, выздоравливаю я!—сказалъ онъ и задумался.— Ахъ, если бъ только я могъ знать, что герой этого романа — Илья! Сколько времени ушло, сколько крови испортилось! За что? Зачѣмъ?—твердилъ онъ почти съ досадой.

Но вдругъ онъ какъ будто отрезвился отъ этой досады, очнулся отъ тяжелаго раздумья. Лобъ разгладился, глаза повеселѣли.

— Но, видно, это было неизбѣжно: зато, какъ я покоенъ теперь и... какъ счастливъ! — съ упоеніемъ прибавилъ онъ.

— Какъ сонъ, какъ будто ничего не было! — говорила она, задумчиво, едва слышно, удивляясь своему внезапному возрожденію. — Вы выпули не только стыдъ, раскаяніе, но и горечь, боль — все... Какъ это вы сдѣлали? — тихо спросила она.—И все это пройдетъ, эта... ошибка?

— Да ужъ, я думаю, и прошло!—сказалъ онъ, взглянувъ на нее въ первый разъ глазами страсти и не скрывая этого:—то-есть все, что было.

— А что... будетъ... не ошибка... истина?..—спрашивала она, не договаривая.

— Вотъ тутъ написано, — рѣшилъ онъ, взявъ опять письмо: — «предъ вами не тотъ, кого вы ждали, о комъ мечтали: онъ придетъ, и вы очнетесь...» И полюбите, прибавлю я, такъ полюбите, что мало будетъ не года, а цѣлой жизни для той любви, только не знаю... кого? — досказалъ онъ, впиваясь въ нее глазами.

Она потупила глаза и сжала губы, но сквозь вѣки порывались наружу лучи, губы удерживали улыбку, но не удержали. Она взглянула на него и засмѣялась такъ отъ души, что у ней навернулись даже слезы.

— Я вамъ сказалъ, что съ вами было и даже, что будетъ, Ольга Сергѣевна,—заключилъ онъ.—А вы мнѣ ничего не скажете въ отвѣтъ на мой вопросъ, который не дали кончить.

— Но что я могу сказать?—въ смущеніи говорила она.—Имѣла ли бы я право, если бъ могла сказать то, что вамъ такъ нужно и чего... вы такъ стоите? — шопотомъ прибавила и стыдливо взглянула на него.

Во взглядѣ опять почудились ему искры небывалой дружбы; опять онъ дрогнулъ отъ счастья.

— Не торопитесь, — прибавилъ онъ: — скажите, чего я стою, когда кончится вашъ сердечный трауръ, трауръ приличія. Мнѣ кое-что сказалъ и этотъ годъ. А теперь рѣшите только вопросъ: ѣхать мнѣ, или... оставаться?

— Послушайте: вы кокетничаете со мной! — вдругъ весело сказала она.

— О, нѣтъ! — съ важностью замѣтилъ онъ. — Это не давешній вопросъ, теперь онъ имѣетъ другой смыслъ: если я останусь, то... на какихъ правахъ?

Она вдругъ смутилась.

— Видите, что я не кокетничаю!—смѣялся онъ, довольный, что поймалъ ее. — Вѣдь намъ, послѣ нынѣшняго разговора, надо быть иначе другъ съ другомъ: мы оба ужъ не тѣ, что были вчера.

— Я не знаю...—шептала она, еще болѣе смущенная.

— Позволите мнѣ дать вамъ совѣтъ?

— Говорите... я слѣпо исполню! — почти съ страстною покорностью прибавила она.

— Выдьте за меня замужъ, въ ожиданіи, пока *онъ* придетъ!

— Еще не смѣю...,—шептала она, закрывая лицо руками, въ волненіи, но счастливая.

— Отчего жъ не смѣете? — шопотомъ же спросилъ онъ, наклоняя ея голову къ себѣ.

— А это прошлое? — шептала она опять, кладя ему голову на грудь, какъ матери.

Онъ тихонько отнялъ ея руки отъ лица, поцѣловалъ въ голову и долго любовался ея смущеніемъ, съ наслажденіемъ глядѣлъ на выступившія у ней и поглощенныя опять глазами слезы.

— Поблёкнетъ, какъ ваша сирень! — заключилъ онъ. — Вы взяли урокъ: теперь настала пора пользоваться имъ. Начинается жизнь: отдайте мнѣ ваше будущее и не думайте ни о чемъ — я ручаюсь за все. Пойдемте къ теткѣ.

Поздно ушелъ къ себѣ Штольцъ.

«Нашелъ свое», думалъ онъ, глядя влюбленными глазами на деревья, на небо, на озеро, даже на поднимавшійся съ воды туманъ. «Дождался! Столько лѣтъ жажды чувства, терпѣнія, экономіи силъ души! Какъ долго я ждалъ — все награждено: вотъ оно, послѣднее счастье человѣка!»

Все теперь заслонилось въ его глазахъ счастьемъ: контора, телѣжка отца, замшевыя перчатки, замасленые счеты — вся дѣловая жизнь. Въ его памяти воскресла только благоухающая комната его матери, варьяціи Герца, княжеская галлерея, голубые глаза, каштановые волосы подъ пудрой — и все это покрывалъ какой-то нѣжный голосъ Ольги: онъ въ умѣ слышалъ ея пѣніе...

— Ольга — моя жена! — страстно вздрогнувъ, прошепталъ онъ. — Все найдено, нечего искать, некуда идти больше!

И въ задумчивомъ чаду счастья, шелъ домой, не замѣчая дороги, улицъ...

Ольга долго провожала его глазами, потомъ открыла окно, нѣсколько минутъ дышала ночной прохладой; волненіе понемногу улеглось, грудь дышала ровно.

Она устремила глаза на озеро, на даль, и задумалась такъ тихо, такъ глубоко, какъ будто заснула. Она хотѣла уловить, о чемъ она думаетъ, что чувствуетъ, и не могла.

Мысли неслись такъ ровно, какъ волны, кровь струилась такъ плавно въ жилахъ. Она испытывала счастье и не могла опредѣлить, гдѣ границы, что̀ она такое. Она думала, отчего ей такъ тихо, мирно, ненарушимо-хорошо, отчего ей покойно, между тѣмъ...

— Я его невѣста...—прошептала она.

«Я невѣста!» съ гордымъ трепетомъ думаетъ дѣвушка, дождавшись этого момента, озаряющаго всю ея жизнь, и вырастетъ высоко, и съ высоты смотритъ на ту темную тропинку, гдѣ вчера шла одиноко и незамѣтно.

Отчего же Ольга не трепещетъ? Она тоже шла одиноко, незамѣтной тропой, также на перекресткѣ встрѣтился ей *онъ*, подалъ руку и вывелъ, не въ блескъ ослѣпительныхъ лучей, а какъ будто на разливъ широкой рѣки, къ пространнымъ полямъ и дружески улыбающимся холмамъ. Взглядъ ея не зажмурился отъ блеска, не замерло сердце, не вспыхнуло воображеніе.

Она съ тихой радостью успокоила взглядъ на разливѣ жизни, на ея широкихъ поляхъ и зеленыхъ холмахъ. Не бѣгала у ней дрожь по плечамъ, не горѣлъ взглядъ гордостью: только, когда она перенесла этотъ взглядъ съ полей и холмовъ на того, кто подалъ ей руку, она почувствовала, что по щекѣ у ней медленно тянется слеза...

Она все сидѣла, точно спала — такъ тихъ былъ сонъ ея счастья: она не шевелилась, почти не дышала. Погруженная въ забытье, она устремила мысленный взглядъ въ какую-то тихую, голубую ночь, съ кроткимъ сіяніемъ, съ тепломъ и ароматомъ. Грёза счастья распростерла широкія крылья и плыла медленно, какъ облако въ небѣ, надъ ея головой...

Не видала она себя въ этомъ снѣ завернутою въ газы и блонды на два часа и потомъ въ будничныя тряпки на всю жизнь. Не снился ей ни праздничный пиръ, ни огни, ни веселые клики; ей снилось счастье, но такое простое,

такое неукрашенное, что она еще разъ, безъ трепета гордости, и только съ глубокимъ умиленіемъ прошептала: — Я его невѣста!

V.

Боже мой! Какъ все мрачно, скучно смотрѣло въ квартирѣ Обломова, года полтора спустя послѣ именинъ, когда, нечаянно, пріѣхалъ къ нему обѣдать Штольцъ. И самъ Илья Ильичъ обрюзгъ, скука въѣлась въ его глаза и выглядывала оттуда, какъ немочь какая-нибудь.

Онъ походитъ-походитъ по комнатѣ, потомъ ляжетъ и смотритъ въ потолокъ; возьметъ книгу съ этажерки, пробѣжитъ нѣсколько строкъ глазами, зѣвнетъ и начнетъ барабанить пальцами по столу.

Захаръ сталъ еще неуклюжѣе, неопрятнѣе; у него появились заплаты на локтяхъ; онъ смотритъ такъ бѣдно, голодно, какъ будто плохо ѣстъ, мало спитъ и за троихъ работаетъ.

Халатъ на Обломовѣ истаскался, и какъ ни заботливо зашивались дыры на немъ, но онъ расползается вездѣ и не по швамъ: давно бы надо новый. Одѣяло на постели тоже истасканное, кое-гдѣ съ заплатами; занавѣски на окнахъ полиняли давно и, хотя онѣ вымыты, но похожи на тряпки.

Захаръ принесъ старую скатерть, постлалъ на половинѣ стола, подлѣ Обломова, потомъ осторожно, прикусивъ языкъ, принесъ приборъ съ графиномъ водки, положилъ хлѣбъ и ушелъ.

Дверь съ хозяйской половины отворилась, и вошла Агаѳья Матвѣевна, неся проворно шипящую сковороду съ яичницей.

И она ужасно измѣнилась, не въ свою пользу. Она похудѣла. Нѣтъ круглыхъ, бѣлыхъ, некраснѣющихъ и неблѣднѣющихъ щекъ; не лоснятся рѣдкія брови; глаза у ней впали.

Одѣта она въ старое ситцевое платье; руки у ней не то загорѣли, не то загрубѣли отъ работы, отъ огня, или отъ воды, или отъ того и отъ другого.

Акулины уже не было въ домѣ. Анисья—и на кухнѣ, и на огородѣ, и за птицами ходитъ, и полы моетъ, и стираетъ; она не управится одна, и Агаѳья Матвѣевна, волей-неволей, сама работаетъ на кухнѣ: она толчетъ, сѣетъ и третъ мало, потому что мало выходитъ кофе, корицы и миндалю, а о кружевахъ она забыла и думать. Теперь ей чаще приходится крошить лукъ, тереть хрѣнъ и тому подобныя пряности. Въ лицѣ у ней лежитъ глубокое уныніе.

Но не о себѣ, не о своемъ кофе вздыхаетъ она, тужитъ не оттого, что ей нѣтъ случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочь корицу, положить ваниль въ соусъ, или варить густыя сливки, а оттого, что другой годъ не кушаетъ этого ничего Илья Ильичъ, оттого, что кофе ему не берется пудами изъ лучшаго магазина, а покупается на гривенники въ лавочкѣ; сливки приноситъ не чухонка, а снабжаетъ ими та же лавочка, оттого, что вмѣсто сочной котлетки, она несетъ ему на завтракъ яичницу, заправленную жесткой, залежавшейся въ лавочкѣ же ветчиной.

Что же это значитъ? А то, что другой годъ доходы съ Обломовки, исправно присылаемые Штольцемъ, поступаютъ на удовлетвореніе претензіи по заемному письму, данному Обломовымъ хозяйкѣ.

«Законное дѣло» братца удалось сверхъ ожиданія. При первомъ намекѣ Тарантьева на скандалезное дѣло, Илья Ильичъ вспыхнулъ и сконфузился; потомъ пошли на мировую, потомъ выпили всѣ трое, и Обломовъ подписалъ заемное письмо, срокомъ на четыре года; а черезъ мѣсяцъ Агаѳья Матвѣевна подписала такое же письмо на имя братца, не подозрѣвая, что такое и зачѣмъ она подписываетъ. Братецъ сказали, что это нужная бумага по дому и

велѣли написать: «къ сему заемному письму такая-то (чинъ, имя и фамилія) руку приложила».

Она только затруднилась тѣмъ, что много понадобилось написать, и попросила братца заставить лучше Ванюшу что «онъ-де бойко сталъ писать», а она, пожалуй, что-нибудь напутаетъ. Но братецъ настоятельно потребовали, и она подписала криво, косо и крупно. Больше объ этомъ ужъ никогда и рѣчи не было.

Обломовъ, подписывая, утѣшался отчасти тѣмъ, что деньги эти пойдутъ на сиротъ, а потомъ, на другой день когда, голова у него была свѣжа, онъ со стыдомъ вспомнилъ объ этомъ дѣлѣ и старался забыть, избѣгалъ встрѣчи съ братцемъ, и если Тарантьевъ заговаривалъ о томъ, онъ грозилъ немедленно съѣхать съ квартиры и уѣхать въ деревню.

Потомъ, когда онъ получилъ деньги изъ деревни, братецъ пришли къ нему и объявили, что ему, Ильѣ Ильичу, легче будетъ начать уплату немедленно изъ дохода; что года въ три претензія будетъ покрыта, между тѣмъ какъ съ наступленіемъ срока, когда документъ будетъ поданъ ко взысканію, деревня должна будетъ поступить въ публичную продажу, такъ какъ суммы въ наличности у Обломова не имѣется и не предвидится.

Обломовъ понялъ, въ какіе тиски попалъ онъ, когда все, что присылалъ Штольцъ, стало поступать на уплату долга, а ему оставалось только небольшое количество денегъ на прожитокъ.

Братецъ спѣшилъ окончить эту добровольную сдѣлку съ своимъ должникомъ года въ два, чтобъ какъ-нибудь и что-нибудь не помѣшало дѣлу, и оттого Обломовъ вдругъ попалъ въ затруднительное положеніе.

Сначала это было не очень замѣтно, благодаря его привычкѣ не знать сколько у него въ карманѣ денегъ; но Иванъ Матвѣевичъ вздумалъ присвататься къ дочери какого-то лабазника, нанялъ особую квартиру и переѣхалъ.

Мысли неслись такъ ровно, какъ волны, кровь струилась такъ плавно въ жилахъ. Она испытывала счастье и не могла опредѣлить, гдѣ границы, что̀ она такое. Она думала, отчего ей такъ тихо, мирно, ненарушимо-хорошо, отчего ей покойно, между тѣмъ...

— Я его невѣста...—прошептала она.

«Я невѣста!» съ гордымъ трепетомъ думаетъ дѣвушка, дождавшись этого момента, озаряющаго всю ея жизнь, и вырастетъ высоко, и съ высоты смотритъ на ту темную тропинку, гдѣ вчера шла одиноко и незамѣтно.

Отчего же Ольга не трепещетъ? Она тоже шла одиноко, незамѣтной тропой, также на перекресткѣ встрѣтился ей *онъ*, подалъ руку и вывелъ, не въ блескъ ослѣпительныхъ лучей, а какъ будто на разливъ широкой рѣки, къ пространнымъ полямъ и дружески улыбающимся холмамъ. Взглядъ ея не зажмурился отъ блеска, не замерло сердце, не вспыхнуло воображеніе.

Она съ тихой радостью успокоила взглядъ на разливѣ жизни, на ея широкихъ поляхъ и зеленыхъ холмахъ. Не бѣгала у ней дрожь по плечамъ, не горѣлъ взглядъ гордостью: только, когда она перенесла этотъ взглядъ съ полей и холмовъ на того, кто подалъ ей руку, она почувствовала, что по щекѣ у ней медленно тянется слеза...

Она все сидѣла, точно спала — такъ тихъ былъ сонъ ея счастья: она не шевелилась, почти не дышала. Погруженная въ забытье, она устремила мысленный взглядъ въ какую-то тихую, голубую ночь, съ кроткимъ сіяніемъ, съ тепломъ и ароматомъ. Грёза счастья распростерла широкія крылья и плыла медленно, какъ облако въ небѣ, надъ ея головой...

Не видала она себя въ этомъ снѣ завернутою въ газы и блонды на два часа и потомъ въ будничныя тряпки на всю жизнь. Не снился ей ни праздничный пиръ, ни огни, ни веселые клики; ей снилось счастье, но такое простое,

такое неукрашенное, что она еще разъ, безъ трепета гордости, и только съ глубокимъ умиленіемъ прошептала: — Я его невѣста!

V.

Боже мой! Какъ все мрачно, скучно смотрѣло въ квартирѣ Обломова, года полтора спустя послѣ именинъ, когда, нечаянно, пріѣхалъ къ нему обѣдать Штольцъ. И самъ Илья Ильичъ обрюзгъ, скука въѣлась въ его глаза и выглядывала оттуда, какъ немочь какая-нибудь.

Онъ походитъ-походитъ по комнатѣ, потомъ ляжетъ и смотритъ въ потолокъ; возьметъ книгу съ этажерки, пробѣжитъ нѣсколько строкъ глазами, зѣвнетъ и начнетъ барабанить пальцами по столу.

Захаръ сталъ еще неуклюжѣе, неопрятнѣе; у него появились заплаты на локтяхъ; онъ смотритъ такъ бѣдно, голодно, какъ будто плохо ѣстъ, мало спитъ и за троихъ работаетъ.

Халатъ на Обломовѣ истаскался, и какъ ни заботливо зашивались дыры на немъ, но онъ расползается вездѣ и не по швамъ: давно бы надо новый. Одѣяло на постели тоже истасканное, кое-гдѣ съ заплатами; занавѣски на окнахъ полиняли давно и, хотя онѣ вымыты, но похожи на тряпки.

Захаръ принесъ старую скатерть, постлалъ на половинѣ стола, подлѣ Обломова, потомъ осторожно, прикусивъ языкъ, принесъ приборъ съ графиномъ водки, положилъ хлѣбъ и ушелъ.

Дверь съ хозяйской половины отворилась, и вошла Агаѳья Матвѣевна, неся проворно шипящую сковороду съ яичницей.

И она ужасно измѣнилась, не въ свою пользу. Она похудѣла. Нѣтъ круглыхъ, бѣлыхъ, некраснѣющихъ и неблѣднѣющихъ щекъ; не лоснятся рѣдкія брови; глаза у ней впали.

Одѣта она въ старое ситцевое платье; руки у ней не то загорѣли, не то загрубѣли отъ работы, отъ огня, или отъ воды, или отъ того и отъ другого.

Акулины уже не было въ домѣ. Анисья—и на кухнѣ, и на огородѣ, и за птицами ходитъ, и полы моетъ, и стираетъ; она не управится одна, и Агаѳья Матвѣевна, волей-неволей, сама работаетъ на кухнѣ: она толчетъ, сѣетъ и третъ мало, потому что мало выходитъ кофе, корицы и миндалю, а о кружевахъ она забыла и думать. Теперь ей чаще приходится крошить лукъ, тереть хрѣнъ и тому подобныя пряности. Въ лицѣ у ней лежитъ глубокое уныніе.

Но не о себѣ, не о своемъ кофе вздыхаетъ она, тужитъ не оттого, что ей нѣтъ случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочь корицу, положить ваниль въ соусъ, или варить густыя сливки, а оттого, что другой годъ не кушаетъ этого ничего Илья Ильичъ, оттого, что кофе ему не берется пудами изъ лучшаго магазина, а покупается на гривенники въ лавочкѣ; сливки приноситъ не чухонка, а снабжаетъ ими та же лавочка, оттого, что вмѣсто сочной котлетки, она несетъ ему на завтракъ яичницу, заправленную жесткой, залежавшейся въ лавочкѣ же ветчиной.

Что же это значитъ? А то, что другой годъ доходы съ Обломовки, исправно присылаемые Штольцемъ, поступаютъ на удовлетвореніе претензіи по заемному письму, данному Обломовымъ хозяйкѣ.

«Законное дѣло» братца удалось сверхъ ожиданія. При первомъ намекѣ Тарантьева на скандалезное дѣло, Илья Ильичъ вспыхнулъ и сконфузился; потомъ пошли на мировую, потомъ выпили всѣ трое, и Обломовъ подписалъ заемное письмо, срокомъ на четыре года; а черезъ мѣсяцъ Агаѳья Матвѣевна подписала такое же письмо на имя братца, не подозрѣвая, что̀ такое и зачѣмъ она подписываетъ. Братецъ сказали, что это нужная бумага по дому и

велѣли написать: «къ сему заемному письму такая-то (чинъ, имя и фамилія) руку приложила».

Она только затруднилась тѣмъ, что много понадобилось написать, и попросила братца заставить лучше Ванюшу что «онъ-де бойко сталъ писать», а она, пожалуй, что-нибудь напутаетъ. Но братецъ настоятельно потребовали, и она подписала криво, косо и крупно. Больше объ этомъ ужъ никогда и рѣчи не было.

Обломовъ, подписывая, утѣшался отчасти тѣмъ, что деньги эти пойдутъ на сиротъ, а потомъ, на другой день когда, голова у него была свѣжа, онъ со стыдомъ вспомнилъ объ этомъ дѣлѣ и старался забыть, избѣгалъ встрѣчи съ братцемъ, и если Тарантьевъ заговаривалъ о томъ, онъ грозилъ немедленно съѣхать съ квартиры и уѣхать въ деревню.

Потомъ, когда онъ получилъ деньги изъ деревни, братецъ пришли къ нему и объявили, что ему, Ильѣ Ильичу, легче будетъ начать уплату немедленно изъ дохода; что года въ три претензія будетъ покрыта, между тѣмъ какъ съ наступленіемъ срока, когда документъ будетъ поданъ ко взысканію, деревня должна будетъ поступить въ публичную продажу, такъ какъ суммы въ наличности у Обломова не имѣется и не предвидится.

Обломовъ понялъ, въ какіе тиски попалъ онъ, когда все, что присылалъ Штольцъ, стало поступать на уплату долга, а ему оставалось только небольшое количество денегъ на прожитокъ.

Братецъ спѣшилъ окончить эту добровольную сдѣлку съ своимъ должникомъ года въ два, чтобъ какъ-нибудь и что-нибудь не помѣшало дѣлу, и оттого Обломовъ вдругъ попалъ въ затруднительное положеніе.

Сначала это было не очень замѣтно, благодаря его привычкѣ не знать сколько у него въ карманѣ денегъ; но Иванъ Матвѣевичъ вздумалъ присвататься къ дочери какого-то лабазника, нанялъ особую квартиру и переѣхалъ.

Хозяйственные розмахи Агаѳьи Матвѣевны вдругъ пріостановились: осетрина, бѣлоснѣжная телятина, индѣйки стали появляться на другой кухнѣ, въ новой квартирѣ Мухоярова.

Тамъ по вечерамъ горѣли огни, собирались будущіе родные братца, сослуживцы и Тарантьевъ; все очутилось тамъ. Агаѳья Матвѣевна и Анисья вдругъ остались съ разинутыми ртами и съ праздно-повисшими руками, надъ пустыми кастрюлями и горшками.

Агаѳья Матвѣевна въ первый разъ узнала, что у ней есть только домъ, огородъ и цыплята, и что ни корица, ни ваниль не растутъ въ ея огородѣ; увидала, что на рынкахъ лавочники мало-по-малу перестали ей низко кланяться, съ улыбкой, и что эти поклоны и улыбки стали доставаться новой, толстой, нарядной кухаркѣ ея братца.

Обломовъ отдалъ хозяйкѣ всѣ деньги, оставленныя ему братцемъ на прожитокъ, и она, мѣсяца три-четыре, безъ памяти, попрежнему, молола пудами кофе, толкла корицу, жарила телятину и индѣекъ, и дѣлала это до послѣдняго дня, въ который истратила послѣднія семь гривенъ и пришла къ нему сказать, что у ней денегъ нѣтъ.

Онъ три раза перевернулся на диванѣ отъ этого извѣстія, потомъ посмотрѣлъ въ ящикъ къ себѣ: и у него ничего не было. Сталъ припоминать, куда ихъ дѣлъ, и ничего не припомнилъ; пошарилъ на столѣ рукой, нѣтъ ли мѣдныхъ денегъ, спросилъ Захара, тотъ и во снѣ не видалъ. Она пошла къ братцу и наивно сказала, что въ домѣ денегъ нѣтъ.

— А куда вы съ вельможей ухлопали тысячу рублей, что я далъ ему на прожитье?—спросилъ онъ.—Гдѣ же я денегъ возьму? Ты знаешь, я въ законный бракъ вступаю: дѣ семьи содержать не могу, а вы съ бариномъ-то по одежкѣ протягивайте ножки.

— Что вы, братецъ, меня бариномъ попрекаете? — сказала она.—Что онъ вамъ дѣлаетъ? Никого не трогаетъ, жи-

ветъ-себѣ. Не я приманивала его на квартиру; вы съ Михеемъ Андреичемъ.

Онъ далъ ей десять рублей и сказалъ, что больше нѣтъ. Но потомъ, обдумавъ дѣло съ кумомъ въ «заведеніи», рѣшилъ, что такъ покидать сестру и Обломова нельзя, что, пожалуй, дойдетъ дѣло до Штольца, тотъ нагрянетъ, разберетъ и, чего добраго, какъ-нибудь передѣлаетъ, не успѣешь и взыскать долгъ, даромъ что «законное дѣло»; нѣмецъ, слѣдовательно, продувной!

Онъ сталъ давать по пятидесяти рублей въ мѣсяцъ еще, предположивъ взыскать эти деньги изъ доходовъ Обломова третьяго года, но при этомъ растолковалъ и даже побожился сестрѣ, что больше ни гроша не положитъ, и разсчиталъ, какой столъ они должны держать, какъ уменьшить издержки, даже назначилъ, какія блюда когда готовить, высчиталъ, сколько она можетъ получить за цыплятъ, за капусту, и рѣшилъ, что со всѣмъ этимъ можно жить припѣваючи.

Въ первый разъ въ жизни Агаѳья Матвѣевна задумалась не о хозяйствѣ, а о чемъ-то другомъ, въ первый разъ заплакала, не отъ досады на Акулину за разбитую посуду, не отъ брани братца за недоваренную рыбу; въ первый разъ ей предстала грозная нужда, но грозная не для нея, для Ильи Ильича.

«Какъ вдругъ этотъ баринъ», разбирала она: «станетъ кушать, вмѣсто спаржи, рѣпу съ масломъ, вмѣсто рябчиковъ, баранину, вмѣсто гатчинскихъ форелей, янтарной осетрины — соленаго судака, можетъ-быть, студень изъ лавочки...»

Ужасъ! Она не додумалась до конца, а торопливо одѣлась, наняла извозчика и поѣхала къ мужниной родѣ, не въ Пасху и Рождество, на семейный обѣдъ, а утромъ рано, съ заботой, съ необычайной рѣчью и вопросомъ, что дѣлать, и взять у нихъ денегъ.

У нихъ много: они сейчасъ дадутъ, какъ узнаютъ, что это для Ильи Ильича. Если бъ это было ей на кофе, на чай, дѣтямъ на платье, на башмаки, или на другія подобныя прихоти, она бы и не запнулась, а то на крайнюю нужду, до-зарѣзу: спаржи Ильѣ Ильичу купить, рябчиковъ на жаркое, онъ любитъ французскій горошекъ...

Но тамъ удивились, денегъ ей не дали, а сказали, что если у Ильи Ильича есть вещи какія-нибудь, золотыя или, пожалуй, серебряныя, даже мѣхъ, такъ можно заложить, и что есть такія благодѣтели, что третью часть просимой суммы дадутъ до тѣхъ поръ, пока онъ опять получитъ изъ деревни.

Этотъ практическій урокъ въ другое время пролетѣлъ бы надъ геніальной хозяйкой, не коснувшись ея головы, и не втолковать бы ей его никакими путями, а тутъ она умомъ сердца поняла, сообразила все и взвѣсила... свой жемчугъ, полученный въ приданое.

Илья Ильичъ, не подозрѣвая ничего, пилъ на другой день смородинную водку, закусывалъ отличной семгой, кушалъ любимые потроха и бѣлаго свѣжаго рябчика. Агаѳья Матвѣевна, съ дѣтьми, поѣла людскихъ щей и каши, и только за компанію съ Ильей Ильичемъ выпила двѣ чашки кофе.

Вскорѣ за жемчугомъ достала она изъ завѣтнаго сундука фермуаръ, потомъ пошло серебро, потомъ салопъ...

Пришелъ срокъ присылки денегъ изъ деревни: Обломовъ отдалъ ей всѣ. Она выкупила жемчугъ и заплатила проценты за фермуаръ, серебро и мѣхъ, и опять готовила ему спаржу, рябчики, и только для виду пила съ нимъ кофе. Жемчугъ опять поступилъ на свое мѣсто.

Изъ недѣли въ недѣлю, изо дня въ день тянулась она изъ силъ, мучилась, перебивалась, продала шаль, послала продать парадное платье и осталась въ ситцевомъ ежеднев-

номъ нарядѣ, съ голыми локтями, и по воскресеньямъ прикрывала шею старой затасканной косынкой.

Вотъ отчего она похудѣла, отчего у ней впали глаза, и отчего она сама принесла завтракъ Ильѣ Ильичу.

У ней даже доставало духа сдѣлать веселое лицо, когда Обломовъ объявлялъ ей, что завтра къ нему придутъ обѣдать Тарантьевъ, Алексѣевъ или Иванъ Герасимовичъ. Обѣдъ являлся вкусный и чисто поданный. Она не срамила хозяина. Но сколькихъ волненій, бѣготни, упрашиванья по лавочкамъ, потомъ безсонницы, даже слезъ стоили ей эти заботы!

Какъ вдругъ глубоко окунулась она въ треволненія жизни и какъ познала ея счастливые и несчастные дни! Но она любила эту жизнь: несмотря на всю горечь своихъ слезъ и заботъ; она не промѣняла бы ее на прежнее, тихое теченье, когда она не знала Обломова, когда съ достоинствомъ господствовала среди наполненныхъ, трещавшихъ и шипѣвшихъ кастрюль, сковородъ и горшковъ, повелѣвала Акулиной, дворникомъ.

Она отъ ужаса даже вздрогнетъ, когда вдругъ ей предстанетъ мысль о смерти; хотя смерть разомъ положила бы конецъ ея невысыхаемымъ слезамъ, ежедневной бѣготнѣ и еженочной несмыкаемости глазъ.

Илья Ильичъ позавтракалъ, прослушалъ, какъ Маша читаетъ по-французски, посидѣлъ въ комнатѣ у Агаѳьи Матвѣевны, смотрѣлъ, какъ она починивала Ваничкину курточку, переворачивая ее разъ десять то на ту, то на другую сторону, и въ то же время безпрестанно бѣгала въ кухню посмотрѣть, какъ жарится баранина къ обѣду, не пора ли заваривать уху.

— Что вы все хлопочете, право?—говорилъ Обломовъ:— оставьте!

— Кто жъ будетъ хлопотать, если не я?—сказала она.— Вотъ только положу двѣ заплатки здѣсь, и уху станемъ ва-

У нихъ много: они сейчасъ дадутъ, какъ узнаютъ, что это для Ильи Ильича. Если бъ это было ей на кофе, на чай, дѣтямъ на платье, на башмаки, или на другія подобныя прихоти, она бы и не заикнулась, а то на крайнюю нужду, до-зарѣзу: спаржи Ильѣ Ильичу купить, рябчиковъ на жаркое, онъ любитъ французскій горошекъ...

Но тамъ удивились, денегъ ей не дали, а сказали, что если у Ильи Ильича есть вещи какія-нибудь, золотыя или, пожалуй, серебряныя, даже мѣхъ, такъ можно заложить, и что есть такія благодѣтели, что третью часть просимой суммы дадутъ до тѣхъ поръ, пока онъ опять получитъ изъ деревни.

Этотъ практическій урокъ въ другое время пролетѣлъ бы надъ геніальной хозяйкой, не коснувшись ея головы, и не втолковать бы ей его никакими путями, а тутъ она умомъ сердца поняла, сообразила все и взвѣсила... свой жемчугъ, полученный въ приданое.

Илья Ильичъ, не подозрѣвая ничего, пилъ на другой день смородинную водку, закусывалъ отличной семгой, кушалъ любимые потроха и бѣлаго свѣжаго рябчика. Агаѳья Матвѣевна, съ дѣтьми, поѣла людскихъ щей и каши, и только за компанію съ Ильей Ильичемъ выпила двѣ чашки кофе.

Вскорѣ за жемчугомъ достала она изъ завѣтнаго сундука фермуаръ, потомъ пошло серебро, потомъ салопъ...

Пришелъ срокъ присылки денегъ изъ деревни: Обломовъ отдалъ ей всѣ. Она выкупила жемчугъ и заплатила проценты за фермуаръ, серебро и мѣхъ, и опять готовила ему спаржу, рябчики, и только для виду пила съ нимъ кофе. Жемчугъ опять поступилъ на свое мѣсто.

Изъ недѣли въ недѣлю, изо дня въ день тянулась она изъ силъ, мучилась, перебивалась, продала шаль, послала продать парадное платье и осталась въ ситцевомъ ежеднев-

номъ нарядѣ, съ голыми локтями, и по воскресеньямъ прикрывала шею старой затасканной косынкой.

Вотъ отчего она похудѣла, отчего у ней впали глаза, и отчего она сама принесла завтракъ Ильѣ Ильичу.

У ней даже доставало духа сдѣлать веселое лицо, когда Обломовъ объявлялъ ей, что завтра къ нему придутъ обѣдать Тарантьевъ, Алексѣевъ или Иванъ Герасимовичъ. Обѣдъ являлся вкусный и чисто поданный. Она не срамила хозяина. Но сколькихъ волненій, бѣготни, упрашиванья по лавочкамъ, потомъ безсонницы, даже слезъ стоили ей эти заботы!

Какъ вдругъ глубоко окунулась она въ треволненія жизни и какъ познала ея счастливые и несчастные дни! Но она любила эту жизнь: несмотря на всю горечь своихъ слезъ и заботъ; она не промѣняла бы ее на прежнее, тихое теченье, когда она не знала Обломова, когда съ достоинствомъ господствовала среди наполненныхъ, трещавшихъ и шипѣвшихъ кастрюль, сковородъ и горшковъ, повелѣвала Акулиной, дворникомъ.

Она отъ ужаса даже вздрогнетъ, когда вдругъ ей предстанетъ мысль о смерти; хотя смерть разомъ положила бы конецъ ея невысыхаемымъ слезамъ, ежедневной бѣготнѣ и еженочной несмыкаемости глазъ.

Илья Ильичъ позавтракалъ, прослушалъ, какъ Маша читаетъ по-французски, посидѣлъ въ комнатѣ у Агаѳьи Матвѣевны, смотрѣлъ, какъ она починивала Ваничкину курточку, переворачивая ее разъ десять то на ту, то на другую сторону, и въ то же время безпрестанно бѣгала въ кухню посмотрѣть, какъ жарится баранина къ обѣду, не пора ли заваривать уху.

— Что вы все хлопочете, право?—говорилъ Обломовъ:— оставьте!

— Кто жъ будетъ хлопотать, если не я?—сказала она.— Вотъ только положу двѣ заплатки здѣсь, и уху станемъ ва-

рить. Какой дрянной мальчишка, этотъ Ваня! На той недѣлѣ заново вычинила куртку—опять разорвалъ! Что смѣешься,—обратилась она къ сидѣвшему у стола Ванѣ, въ панталонахъ и въ рубашкѣ объ одной помочи. — Вотъ не починю до утра, и нельзя будетъ за ворота бѣжать. Мальчишки, должно-быть, разорвали: дрался—признавайся?

— Нѣтъ, маменька, это само разорвалось, — сказалъ Ваня.

— То-то само! Сидѣлъ бы дома, да твердилъ уроки, чѣмъ бѣгать по улицамъ! Вотъ когда Илья Ильичъ опять скажетъ, что ты по-французски плохо учишься, — я и сапоги сниму: поневолѣ будешь сидѣть за книжкой!

— Я не люблю учиться по-французски.

— Отчего?—спросилъ Обломовъ.

— Да по-французски есть много нехорошихъ словъ...

Агаѳья Матвѣевна вспыхнула. Обломовъ расхохотался. Вѣрно и прежде уже былъ у нихъ разговоръ о «нехорошихъ словахъ».

— Молчи, дрянной мальчишка, — сказала она. — Утри лучше носъ, не видишь?

Ванюша фыркнулъ, но носа не утеръ.

— Вотъ погодите, получу изъ деревни деньги, я ему двѣ пары сошью,—вмѣшался Обломовъ:—синюю курточку, а на будущій годъ мундиръ: въ гимназію поступитъ.

— Ну, еще и въ старомъ походитъ, — сказала Агаѳья Матвѣевна:—а деньги понадобятся на хозяйство. Солонины запасемъ, варенья вамъ наварю... Пойти посмотрѣть, принесла ли Анисья сметаны...

Она встала.

— А что̀ нынче?—спросилъ Обломовъ.

— Уха изъ ершей, жареная баранина, да вареники.

Обломовъ молчалъ.

Вдругъ подъѣхалъ экипажъ, застучали въ калитку, началось скаканье на цѣпи и лай собаки.

Обломовъ ушелъ къ себѣ, думая, что кто-нибудь пришелъ къ хозяйкѣ: мясникъ, зеленщикъ, или другое подобное лицо. Такой визитъ сопровождался обыкновенно просьбами денегъ, отказомъ со стороны хозяйки, потомъ угрозой со стороны продавца, потомъ просьбами подождать со стороны хозяйки, потомъ бранью, хлопаньемъ дверей, калитки и неистовымъ скаканьемъ и лаемъ собаки—вообще непріятной сценой. Но подъѣхалъ экипажъ — что̀ бы это значило? Мясники и зеленщики въ экипажахъ не ѣздятъ.

Вдругъ хозяйка, въ испугѣ, вбѣжала къ нему.

— Къ вамъ гость!— сказала она.

— Кто же: Тарантьевъ или Алексѣевъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, тотъ, что обѣдалъ въ Ильинъ день.

— Штольцъ? — въ тревогѣ говорилъ Обломовъ, озираясь кругомъ, куда бы уйти:—Боже! что̀ онъ скажетъ, какъ увидитъ... Скажите, что я уѣхалъ! — торопливо прибавилъ онъ и ушелъ къ хозяйкѣ въ комнату.

Анисья кстати подоспѣла навстрѣчу гостю. Агаѳья Матвѣевна успѣла передать ей приказаніе. Штольцъ повѣрилъ, только удивился, какъ это Обломова не было дома.

— Ну, скажи, что я черезъ два часа приду, обѣдать буду! — сказалъ онъ и пошелъ по близости, въ публичный садъ.

— Обѣдать будетъ!—съ испугомъ передавала Анисья.

— Обѣдать будетъ! — повторила въ страхѣ Агаѳья Матвѣевна Обломову.

— Надо другой обѣдъ изготовить, — рѣшилъ онъ, помолчавъ.

Она обратила на него взглядъ, полный ужаса. У ней оставался всего полтинникъ, а до перваго числа, когда братецъ выдаетъ деньги, осталось еще десять дней. Въ долгъ никто не даетъ.

— Не успѣемъ, Илья Ильичъ, — робко замѣтила она: — пусть покушаетъ, что̀ есть...

— Не ѣстъ онъ этого, Агаѳья Матвѣевна; ухи терпѣть не можетъ, даже стерляжьей не ѣстъ; баранины тоже въ ротъ не беретъ.

— Языка можно въ колбасной взять!—вдругъ, какъ будто по вдохновенію, сказала она:—тутъ близко.

— Это хорошо, это можно; да велите зелени какой-нибудь, бобовъ свѣжихъ...

— Бобы восемь гривенъ фунтъ!—пошевелилось у ней въ горлѣ, но на языкъ не сошло.

— Хорошо, я сдѣлаю...—сказала она, рѣшившись замѣнить бобы капустой.

— Сыру швейцарскаго велите фунтъ взять!—командовалъ онъ, не зная о средствахъ Агаѳьи Матвѣевны: — и больше ничего! Я извинюсь, скажу, что не ждали... Да если бъ можно бульонъ какой-нибудь

Она-было ушла.

— А вина?—вдругъ вспомнилъ онъ.

Она отвѣчала новымъ взглядомъ ужаса.

— Надо послать за лафитомъ, — хладнокровно заключилъ онъ.

VI.

Черезъ два часа пришелъ Штольцъ.

— Что съ тобой? Какъ ты перемѣнился, обрюзгъ, блѣденъ! Ты здоровъ?—спросилъ Штольцъ.

— Плохо здоровье, Андрей,—говорилъ Обломовъ, обнимая его:—лѣвая нога что-то все нѣмѣетъ.

— Какъ у тебя здѣсь гадко! — сказалъ, оглядываясь, Штольцъ: — что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь въ заплатахъ!

— Привычка, Андрей; жаль разстаться.

— А одѣяло, а занавѣски... — началъ Штольцъ: — тоже привычка? Жаль перемѣнить эти тряпки? Помилуй, неужели ты можешь спать на этой постели? Да что съ тобой?

Штольцъ пристально посмотрѣлъ на Обломова, потомъ опять на занавѣски, на постель.

— Ничего,—говорилъ смущенный Обломовъ:—ты знаешь, я всегда былъ не очень рачителенъ о своей комнатѣ... Давай лучше обѣдать. Эй, Захаръ! Накрывай скорѣй на столъ. Ну, что̀ ты, надолго ли? Откуда?

— Узнай, что̀ я и откуда?—спросилъ Штольцъ:—до тебя, вѣдь, здѣсь не доходятъ вѣсти изъ живого міра?

Обломовъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на него и дожидался, что̀ онъ скажетъ.

— Что̀ Ольга?—спросилъ онъ.

— А, не забылъ! Я думалъ, что ты забудешь,—сказалъ Штольцъ.

— Нѣтъ, Андрей, развѣ ее можно забыть? Это значитъ забыть, что я когда-то жилъ, былъ въ раю... А теперь вотъ!..

Онъ вздохнулъ.

— Но гдѣ же она?

— Въ своей деревнѣ, хозяйничаетъ.

— Съ теткой?—спросилъ Обломовъ.

— И съ мужемъ.

— Она замужемъ?—вдругъ, вытаращивъ глаза, произнесъ Обломовъ.

— Чего жъ ты испугался? Не воспоминанія ли?..—тихо, почти нѣжно прибавилъ Штольцъ.

— Ахъ, нѣтъ, Богъ съ тобой!—оправдывался Обломовъ, приходя въ себя.—Я не испугался, но удивился; не знаю, почему это поразило меня. Давно ли? Счастлива ли? скажи ради Бога. Я чувствую, что ты снялъ съ меня большую тяжесть! Хотя ты увѣрялъ меня, что она простила, но, знаешь... я не былъ покоенъ! Все грызло меня что-то... Милый Андрей, какъ я благодаренъ тебѣ!

Онъ радовался такъ отъ души, такъ подпрыгивалъ на своемъ диванѣ, такъ шевелился, что Штольцъ любовался имъ и былъ даже тронутъ.

— Какой ты добрый Илья!—сказалъ онъ.—Сердце твое стоило ея! Я ей все перескажу.

— Нѣтъ, нѣтъ, не говори! — перебилъ Обломовъ. — Она сочтетъ меня безчувственнымъ, что я съ радостью услыхалъ о ея замужествѣ.

— А радость развѣ не чувство, и притомъ еще безъ эгоизма? Ты радуешься только ея счастью.

— Правда, правда!—перебилъ Обломовъ.—Богъ знаетъ, что я мелю... Кто жъ, кто этотъ счастливецъ? Я и не спрошу.

— Кто?—повторилъ Штольцъ.—Какой ты недогадливый, Илья!

Обломовъ вдругъ остановилъ на своемъ другѣ неподвижный взглядъ: черты его окоченѣли на минуту и румянецъ сбѣжалъ съ лица.

— Не... ты ли?—вдругъ спросилъ онъ.

— Опять испугался! Чего же? — засмѣявшись, сказалъ Штольцъ.

— Не шути, Андрей, скажи правду!—съ волненіемъ говорилъ Обломовъ.

— Ей-Богу не шучу. Другой годъ я женатъ на Ольгѣ.

Мало-по-малу испугъ пропадалъ въ лицѣ Обломова, уступая мѣсто мирной задумчивости; онъ еще не поднималъ глазъ, но задумчивость его черезъ минуту была ужъ полна тихой и глубокой радости, и когда онъ медленно взглянулъ на Штольца, во взглядѣ его ужъ было умиленіе и слезы.

— Милый Андрей!—произнесъ Обломовъ, обнимая его.—Милая Ольга... Сергѣевна! — прибавилъ потомъ, сдержавъ восторгъ. — Васъ благословилъ самъ Богъ! Боже мой! какъ я счастливъ! Скажи же ей...

— Скажу, что другого Обломова не знаю!—перебилъ его глубоко-тронутый Штольцъ.

— Нѣтъ, скажи, напомни, что я встрѣтился ей затѣмъ, чтобъ вывести ее на путь, и что я благословляю эту встрѣ-

чу, благословляю ее и на новомъ пути! Что, если бъ другой?..—съ ужасомъ прибавилъ онъ:—а теперь,—весело заключилъ онъ:—я не краснѣю своей роли, не каюсь; съ души тяжесть спала; тамъ ясно, и я счастливъ. Боже! благодарю тебя!

Онъ опять чуть не прыгалъ на диванѣ отъ волненія: то прослезится, то засмѣется.

— Захаръ, шампанскаго къ обѣду!—закричалъ онъ, забывъ, что у него не было ни гроша.

— Все скажу Ольгѣ, все!—говорилъ Штольцъ.—Не даромъ она забыть не можетъ тебя. Нѣтъ, ты стоилъ ея: у тебя сердце какъ колодецъ глубоко!

Голова Захара выставилась изъ передней.

— Пожалуйте сюда!—говорилъ онъ, мигая барину.

— Что тамъ? — съ нетерпѣніемъ спросилъ онъ. — Поди вонъ!

— Денегъ пожалуйте!—шепталъ Захаръ.

Обломовъ вдругъ замолчалъ.

— Ну, не нужно!—шепнулъ онъ въ дверь.—Скажи, что забылъ, не успѣлъ! Поди!.. Нѣтъ, поди сюда!—громко сказалъ онъ. — Знаешь ли новость, Захаръ? Поздравь: Андрей Иванычъ женился!

— Ахъ, батюшка! Привелъ Богъ дожить до этакой радости! Поздравляемъ, батюшка, Андрей Иванычъ; дай Богъ вамъ несчетные годы жить, дѣтокъ наживать. Ахъ, Господи, вотъ радости!

Захаръ кланялся, улыбался, сопѣлъ, хрипѣлъ. Штольцъ вынулъ ассигнацію и подалъ ему.

— На, вотъ тебѣ, да купи себѣ сюртукъ,—сказалъ онъ:—посмотри, ты точно нищій.

— На комъ, батюшка? — спросилъ Захаръ, ловя руки Штольца.

— На Ольгѣ Сергѣевнѣ—помнишь?—сказалъ Обломовъ.

— На Ильинской барышнѣ! Господи! Какая славная

барышня! По-дѣломъ бранили меня тогда Илья Ильичъ, стараго пса! Грѣшенъ, виноватъ: все на васъ сворачивалъ. Я тогда и людямъ ильинскимъ разсказалъ, а не Никита! Точно что клевета вышла. Ахъ, ты, Господи, ахъ, Боже мой!..—твердилъ онъ, уходя въ переднюю.

— Ольга зоветъ тебя въ деревню, къ себѣ гостить; любовь твоя простыла, неопасно: ревновать не станешь. Поѣдемъ.

Обломовъ вздохнулъ.

— Нѣтъ, Андрей,—сказалъ онъ:—не любви и не ревности я боюсь, а все-таки къ вамъ не поѣду.

— Чего жъ ты боишься?

— Боюсь зависти: ваше счастье будетъ для меня зеркаломъ, гдѣ я все буду видѣть свою горькую и убитую жизнь; а вѣдь ужъ я жить иначе не стану, не могу.

— Полно, милый Илья! Нѐхотя станешь жить, какъ живутъ около тебя. Будешь считать, хозяйничать, читать, слушать музыку. Какъ у ней теперь выработался голосъ! Помнишь Casta diva?

Обломовъ замахалъ рукой, чтобъ онъ не напоминалъ.

— Ѣдемъ же!—настаивалъ Штольцъ.—Это ея воля; она не отстанетъ. Я устану, а она нѣтъ. Это такой огонь, такая жизнь, что даже подчасъ достается мнѣ. Опять забродитъ у тебя въ душѣ прошлое. Вспомнишь паркъ, сирень, и будешь пошевеливаться...

— Нѣтъ, Андрей, нѣтъ, не поминай, не шевели ради Бога!—серьезно перебилъ его Обломовъ.—Мнѣ больно отъ этого, а не отрадно. Воспоминанія—или величайшая поэзія, когда они—воспоминанія о живомъ счастьѣ, или—жгучая боль, когда они касаются засохшихъ ранъ... Поговоримъ о другомъ. Да, я не поблагодарилъ тебя за твои хлопоты о моихъ дѣлахъ, о деревнѣ. Другъ мой! Я не могу, не въ силахъ; ищи благодарности въ своемъ собственномъ сердцѣ, въ своемъ счастьѣ—въ Ольгѣ... Сергѣевнѣ, а я... я... не

могу! Прости, что самъ я до сихъ поръ не избавилъ тебя отъ хлопотъ. Но вотъ, скоро весна, я непремѣнно отправлюсь въ Обломовку...

— А знаешь, что дѣлается въ Обломовкѣ? Ты не узнаешь ея!—сказалъ Штольцъ.—Я не писалъ къ тебѣ, потому что ты не отвѣчаешь на письма. Мостъ построенъ, домъ прошлымъ лѣтомъ возведенъ подъ крышу. Только ужъ объ убранствѣ внутри ты хлопочи самъ, по своему вкусу — за это не берусь. Хозяйничаетъ новый управляющій, мой человѣкъ. Ты видѣлъ въ вѣдомости расходы?..

Обломовъ молчалъ.

— Ты не читалъ ихъ? — спросилъ Штольцъ, глядя на него.—Гдѣ онѣ?

— Постой, я послѣ обѣда сыщу; надо Захара спросить...

— Ахъ, Илья, Илья! Не то смѣяться, не то плакать.

— Послѣ обѣда сыщемъ. Давай обѣдать!

Штольцъ поморщился, садясь за столъ. Онъ вспомнилъ Ильинъ день: устрицъ, ананасы, дупелей; а теперь видѣлъ толстую скатерть, судки для уксуса и масла безъ пробокъ, заткнутые бумажками; на тарелкахъ лежало по большому черному ломтю хлѣба, вилки съ изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему супъ съ крупой и вареннаго цыпленка, потомъ слѣдовалъ жёсткій языкъ, послѣ баранина. Явилось красное вино. Штольцъ налилъ полстакана, попробовалъ, поставилъ стаканъ на столъ и больше ужъ не пробовалъ. Илья Ильичъ выпилъ двѣ рюмки смородинной водки, одну за другой, и съ жадностью принялся за баранину.

— Вино никуда не годится!—сказалъ Штольцъ.

— Извини, второпяхъ не успѣли на ту сторону сходить,— говорилъ Обломовъ.—Вотъ не хочешь ли смородинной водки? Славная, Андрей, попробуй!

Онъ налилъ еще рюмку и выпилъ.

Штольцъ съ изумленіемъ поглядѣлъ на него, но промолчалъ

— Агаѳья Матвѣевна сама настаиваетъ: славная женщина!—говорилъ Обломовъ, нѣсколько опьянѣвъ.—Я, признаться, не знаю, какъ я буду въ деревнѣ жить безъ нея: такой хозяйки не найдешь.

Штольцъ слушалъ его, немного нахмуривъ брови.

— Ты думаешь, это кто все готовитъ? Анисья? Нѣтъ!—продолжалъ Обломовъ. — Анисья за цыплятами ходитъ, да капусту полетъ въ огородѣ, да полы моетъ; а это все Агаѳья Матвѣевна дѣлаетъ.

Штольцъ не ѣлъ ни баранины, ни вареников, положилъ вилку и смотрѣлъ, съ какимъ аппетитомъ ѣлъ это все Обломовъ.

— Теперь ты ужъ не увидишь на мнѣ рубашки наизнанку,—говорилъ дальше Обломовъ, съ аппетитомъ обсасывая косточку: — она все осмотритъ, все увидитъ, ни одного нештопаннаго чулка нѣтъ — и все сама. А кофе какъ варитъ! Вотъ я угощу тебя послѣ обѣда.

Штольцъ слушалъ молча, съ озабоченнымъ лицомъ.

— Теперь братъ ея съѣхалъ, жениться вздумалъ, такъ хозяйство, знаешь, ужъ не такое большое, какъ прежде. А бывало, такъ у ней все и кипитъ въ рукахъ! Съ утра до вечера такъ и летаетъ: и на рынокъ, и въ гостиный дворъ... Знаешь, я тебѣ скажу,—плохо владѣя языкомъ, заключилъ Обломовъ: — дай мнѣ тысячи двѣ-три, такъ я бы тебя не сталъ потчивать языкомъ да бараниной; цѣлаго бы осетра подалъ, форелей, филѐ перваго сорта. А Агаѳья Матвѣевна безъ повара чудесъ бы надѣлала—да!

Онъ выпилъ еще рюмку водки.

— Да выпей, Андрей, право выпей: славная водка! Ольга Сергѣевна тебѣ этакой не сдѣлаетъ! — говорилъ онъ нетвердо. — Она споетъ «Casta diva», а водки сдѣлать не умѣетъ такъ! И пирога такого съ цыплятами и грибами не сдѣлаетъ! Такъ пекли только, бывало, въ Обломовкѣ, да вотъ здѣсь! И что еще хорошо, такъ это то, что не по-

варъ; тотъ, Богъ знаетъ, какими руками заправляетъ пирогъ; а Агаѳья Матвѣевна—сама опрятность!

Штольцъ слушалъ внимательно, навостривъ уши.

— А руки-то у нея были бѣлыя, — продолжалъ, значительно-отуманенный виномъ, Обломовъ: — поцѣловать не грѣхъ! Теперь стали жестки, потому что все сама! Сама крахмалитъ мнѣ рубашки! — съ чувствомъ, почти со слезами, произнесъ Обломовъ.—Ей-Богу, такъ, я самъ видѣлъ. За другимъ жена такъ не смотритъ — ей-Богу! Славная баба Агаѳья Матвѣевна! Эхъ, Андрей! Переѣзжай-ко сюда съ Ольгой Сергѣевной, найми здѣсь дачу: то-то бы зажили! Въ рощѣ чай бы стали пить, въ ильинскую пятницу на Пороховые бы заводы пошли, за нами бы телѣга съ припасами да съ самоваромъ ѣхала. Тамъ, на травѣ, на коврѣ легли бы! Агаѳья Матвѣевна выучила бы и Ольгу Сергѣевну хозяйничать, право выучила бы. Теперь вотъ только плохо пошло: братъ переѣхалъ; а если бъ *намъ* дали три-четыре тысячи, я бы тебѣ такихъ индѣекъ наставилъ тутъ...

— Ты получаешь пять отъ меня! — сказалъ вдругъ Штольцъ.—Куда жъ ты ихъ дѣваешь?

— А долгъ?—вдругъ вырвалось у Обломова.

Штольцъ вскочилъ съ мѣста.

— Долгъ?—повторилъ онъ.—Какой долгъ?

И онъ, какъ грозный учитель, глядѣлъ на прячущагося ребенка.

Обломовъ вдругъ замолчалъ. Штольцъ пересѣлъ къ нему на диванъ.

— Кому ты долженъ?—спросилъ онъ.

Обломовъ немного отрезвился и опомнился.

— Никому, я совралъ,—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, ты вотъ теперь лжешь, да неискусно. Что у тебя? Что съ тобой, Илья? А! Такъ вотъ что значитъ баранина, кислое вино! У тебя денегъ нѣтъ! Куда жъ ты дѣваешь?

— Я точно долженъ... немного, хозяйкѣ за припасы...— говорилъ Обломовъ.

— За баранину и за языкъ! Илья, говори, что̀ у тебя дѣлается? Что̀ это за исторія: братъ переѣхалъ, хозяйство пошло плохо... Тутъ что-то не ловко. Сколько ты долженъ?

— Десять тысячъ, по заемному письму... — прошепталъ Обломовъ.

Штольцъ вскочилъ и опять сѣлъ.

— Десять тысячъ? Хозяйкѣ? За припасы? — повторилъ онъ съ ужасомъ.

— Да, много забирали; я жилъ очень широко... Помнишь, ананасы, да персики... вотъ я задолжалъ... — бормоталъ Обломовъ.—Да что объ этомъ?

Штольцъ не отвѣчалъ ему. Онъ соображалъ: «братъ переѣхалъ, хозяйство пошло плохо — и точно оно такъ: все смотритъ голо, бѣдно, грязно! Что жъ хозяйка за женщина? Обломовъ хвалитъ ее! она смотритъ за нимъ; онъ говоритъ о ней съ жаромъ...»

Вдругъ Штольцъ измѣнился въ лицѣ, поймавъ истину. На него пахнуло холодомъ.

— Илья!—спросилъ онъ.—Эта женщина... что она тебѣ?..

Но Обломовъ положилъ голову на столъ и задремалъ.

«Она его грабитъ, тащитъ съ него все... это вседневная исторія, а я до сихъ поръ не догадался!» думалъ онъ.

Штольцъ всталъ и быстро отворилъ дверь къ хозяйкѣ, такъ что та, увидя его, съ испугу выронила ложечку изъ рукъ, которою мѣшала кофе.

— Мнѣ нужно съ вами поговорить,—вѣжливо сказалъ онъ.

— Пожалуйте въ гостиную, я сейчасъ приду,—отвѣчала она робко.

И, накинувъ на шею косынку, вошла вслѣдъ за нимъ въ гостиную и сѣла на кончикѣ дивана. Шали ужъ не было на ней, и она старалась прятать руки подъ косынку.

— Илья Ильичъ далъ вамъ заемное письмо? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ,—съ тупымъ взглядомъ удивленія отвѣчала она:— они мнѣ никакого письма не давали.

— Какъ никакого?

— Я никакого письма не видала!—твердила она съ тѣмъ же тупымъ удивленіемъ...

— Заемное письмо!—повторилъ Штольцъ.

Она подумала немного.

— Вы бы поговорили съ братцемъ, — сказала она:—а я никакого письма не видала.

«Что она, дура, или плутовка?» подумалъ Штольцъ.

— Но онъ долженъ вамъ?—спросилъ онъ.

Она поглядѣла на него тупо, потомъ вдругъ лицо у ней осмыслилось, даже выразило тревогу. Она вспомнила о заложенномъ жемчугѣ, о серебрѣ, о салопѣ, и вообразила, что Штольцъ намекаетъ на этотъ долгъ; только никакъ не могла понять, какъ узнали объ этомъ, она ни слова не проронила, не только Обломову объ этой тайнѣ, даже Анисьѣ, которой отдавала отчетъ въ каждой копейкѣ.

— Сколько онъ вамъ долженъ?—съ безпокойствомъ спрашивалъ Штольцъ.

— Ничего не должны! Ни копеечки!

«Скрываетъ передо мной, стыдится, жадная тварь, ростовщица!» думалъ онъ. «Но я доберусь».

— А десять тысячъ?—сказалъ онъ.

— Какія десять тысячъ? — въ тревожномъ удивленіи спросила она.

— Илья Ильичъ вамъ долженъ десять тысячъ по заемному письму—да или нѣтъ?—спросилъ онъ.

— Они ничего не должны. Были должны постомъ мяснику двѣнадцать съ полтиной, такъ еще на третьей недѣлѣ отдали; за сливки молочницѣ тоже заплатили — они ничего не должны.

— Развѣ документа у васъ на него нѣтъ?

Она тупо поглядѣла на него.

— Вы бы съ братцемъ поговорили,—отвѣчала она:—они живутъ черезъ улицу, въ домѣ Замыкалова, вотъ здѣсь; еще погребъ въ домѣ есть.

— Нѣтъ,—позвольте переговорить съ вами, рѣшительно сказалъ онъ.—Илья Ильичъ считаетъ себя должнымъ вамъ, а не братцу...

— Они мнѣ не должны,—отвѣчала она:—а что я закладывала серебро, *земчугъ* и мѣхъ, такъ это я для себя закладывала. Машѣ и себѣ башмаки купила, Ванюшѣ на рубашки, да въ зеленныя лавки отдала. А на Илью Ильича ни копеечки не пошло.

Онъ смотрѣлъ на нее, слушалъ и вникалъ въ смыслъ ея словъ. Онъ одинъ, кажется, былъ близокъ къ разгадкѣ тайны Агаѳьи Матвѣевны, и взглядъ пренебреженія, почти презрѣнія, который онъ кидалъ на нее, говоря съ ней, невольно смѣнился взглядомъ любопытства, даже участія.

Въ закладѣ жемчуга, серебра, онъ вполовину, смутно прочелъ тайну жертвъ, и только не могъ рѣшить, приносились ли онѣ чистою преданностью, или въ надеждѣ какихъ-нибудь будущихъ благъ.

Онъ не зналъ печалиться ли ему, или радоваться за Илью. Открылось явно, что онъ не долженъ ей, что этотъ долгъ есть какая-то мошенническая продѣлка ея братца, но за то открывалось многое другое... Что значатъ эти заклады серебра, жемчугу?

— Такъ вы не имѣете претензій на Ильѣ Ильичѣ?—спросилъ онъ.

— Вы потрудитесь съ братцемъ поговорить,—отвѣчала она монотонно:—теперь они должны быть дома.

— Вамъ не долженъ Илья Ильичъ, говорите вы?

— Ни копеечки, ей-Богу, правда!—божилась она, глядя на образъ и крестясь.

— Вы это подтвердите при свидѣтеляхъ?

— При всѣхъ, хоть на исповѣди! — А что *земчугъ* и серебро я заложила, такъ это на свои расходы...

— Очень хорошо! — перебилъ ее Штольцъ. — Завтра я побываю у васъ съ двумя моими знакомыми, и вы не откажетесь сказать при нихъ то же самое?

— Вы бы лучше съ братцемъ переговорили, — повторяла она: — а то я одѣта-то не такъ... все на кухнѣ, не хорошо, какъ чужіе увидятъ: осудятъ.

— Ничего, ничего; а съ братцемъ вашимъ я увижусь завтра же, послѣ того, какъ вы подпишете бумагу...

— Писать-то я отвыкла совсѣмъ.

— Да тутъ немного нужно написать, всего двѣ строки.

— Нѣтъ, ужъ увольте; пусть вотъ лучше Ванюша бы написалъ: онъ чисто пишетъ...

— Нѣтъ, вы не отказывайтесь, — настаивалъ онъ: — если вы не подпишете бумаги, то это значитъ, что Илья Ильичъ долженъ вамъ десять тысячъ.

— Нѣтъ, они не должны ничего, ни копеечки, — твердила она: — ей-Богу!

— Въ такомъ случаѣ вы должны подписать бумагу. Прощайте, до завтра.

— Завтра бы вы лучше къ братцу зашли... — говорила она, провожая его: — вонъ тутъ, на углу, чрезъ улицу.

— Нѣтъ, и васъ прошу братцу до меня ничего не говорить, иначе Ильѣ Ильичу будетъ очень непріятно...

— Такъ я не скажу имъ ничего! — послушно сказала она.

VII.

На другой день Агаѳья Матвѣевна дала Штольцу свидѣтельство, что она никакой денежной претензіи на Обломова не имѣетъ. Съ этимъ свидѣтельствомъ Штольцъ внезапно явился передъ братцемъ.

Это было истиннымъ громовымъ ударомъ для Ивана Мат-

вѣевича. Онъ вынулъ документъ и показалъ трепещущимъ среднимъ пальцемъ правой руки, ногтемъ внизъ, на подпись Обломова и на засвидѣтельствованіе маклера.

— Законъ-съ,—сказалъ онъ:—мое дѣло сторона; я только соблюдаю интересы сестры, а какія деньги бралъ Илья Ильичъ, мнѣ неизвѣстно.

— Этимъ не кончится ваше дѣло, — пригрозилъ ему, уѣзжая, Штольцъ.

— Законное дѣло-съ, а я въ сторонѣ! — оправдывался Иванъ Матвѣевичъ, пряча руки въ рукава.

На другой день, только что онъ пришелъ въ присутствіе, явился курьеръ отъ генерала, который немедленно требовалъ его къ себѣ.

— Къ генералу! — съ ужасомъ повторило все присутствіе. — Зачѣмъ? Что̀ такое? Не требуетъ ли дѣла какого-нибудь? Какое именно? Скорѣй, скорѣй! Подшивать дѣла, дѣлать описи! Что̀ такое?

Вечеромъ Иванъ Матвѣевичъ пришелъ въ «заведеніе» самъ не свой. Тарантьевъ уже давно ждалъ его тамъ.

— Что̀, кумъ? — спросилъ онъ съ нетерпѣніемъ.

— Что! — монотонно произнесъ Иванъ Матвѣевичъ. — А какъ ты думаешь, что̀?

— Обругали, что̀ ли?

— Обругали! — передразнилъ его Иванъ Матвѣевичъ. — Лучше бы прибили! А ты хорошъ! — упрекнулъ онъ: — не сказалъ, что̀ это за нѣмецъ такой!

— Вѣдь я говорилъ тебѣ, что продувной!

— Это что: продувной! Видали мы продувныхъ! Зачѣмъ ты не сказалъ, что онъ въ силѣ? Они съ генераломъ другъ другу *ты* говорятъ, вотъ какъ мы съ тобой. Сталъ бы я связываться съ этакимъ, если бъ зналъ!

— Да вѣдь законное дѣло!—возразилъ Тарантьевъ.

— Законное дѣло!—опять передразнилъ его Мухояровъ.—

Поди-ко скажи тамъ: языкъ прильпне къ гортани. Ты знаешь, что̀ генералъ спросилъ меня?

— Что̀?—съ любопытствомъ спросилъ Тарантьевъ.

— «Правда ли, что вы, съ какимъ-то негодяемъ, напоили помѣщика Обломова пьянымъ и заставили подписать заемное письмо на имя вашей сестры?»

— Такъ и сказалъ: «съ негодяемъ»? — спросилъ Тарантьевъ.

— Да, такъ и сказалъ...

— Кто же это такой негодяй-то? — спросилъ опять Тарантьевъ.

Кумъ поглядѣлъ на него.

— Небойсь, не знаешь? — желчно сказалъ онъ. — Нешто не ты?

— Меня-то какъ припутали?

— Скажи спасибо нѣмцу, да своему земляку. Нѣмецъ-то все пронюхалъ, выспросилъ...

— Ты бы, кумъ, на другого показалъ, а про меня бы сказалъ, что меня тутъ не было!

— Вона! Ты что за святой!—сказалъ кумъ.

— Что жъ ты отвѣчалъ, когда генералъ спросилъ: «правда ли, что вы тамъ, съ какимъ-то негодяемъ?..» Вотъ тутъ-то бы и обойти его.

— Обойти? Обойдешь, поди-ко! Глаза какіе-то зеленые! Силился, силился, хотѣлъ выговорить: «Неправда, молъ, клевета, ваше превосходительство, никакого Обломова и знать не знаю, это все Тарантьевъ!..» да съ языка нейдетъ; только палъ предъ стопы его.

— Что жъ они, дѣло, что ли, хотятъ затѣвать? — глухо спросилъ Тарантьевъ.—Я вѣдь въ сторонѣ; вотъ ты, кумъ...

— Въ сторонѣ! Ты въ сторонѣ? Нѣтъ, кумъ, ужъ если въ петлю лѣзть, такъ тебѣ первому: кто уговаривалъ Обломова пить-то? Кто срамилъ, грозилъ?..

— Ты же научилъ,—говорилъ Тарантьевъ.

— А ты несовершеннолѣтній, что ли? Я знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю.

— Это, кумъ, безсовѣстно! Сколько черезъ меня перепало тебѣ, а мнѣ-то всего триста рублей досталось...

— Что жъ, одному все взять на себя? Экой ты какой ловкій! Нѣтъ, я знать ничего не знаю,—говорилъ онъ:—а меня просила сестра, по женскому незнанію дѣла, заявить письмо у маклера—вотъ и все. Ты и Затертый были свидѣтелями, вы и въ отвѣтѣ?

— Ты бы сестру-то хорошенько: какъ она смѣла противъ брата идти?—сказалъ Тарантьевъ.

— Сестра—дура: что̀ съ ней будешь дѣлать?

— Что̀ она?

— Что? Плачетъ, а сама стоитъ на своемъ: «не долженъ, дескать, Илья Ильичъ! да и только, и денегъ она никакихъ ему не давала».

— У тебя зато есть письмо на нее, — сказалъ Тарантьевъ:—ты не потеряешь своего...

Мухояровъ вынулъ изъ кармана заемное письмо на сестру, разорвалъ его на части и подалъ Тарантьеву.

— На, вотъ, я тебѣ подарю, не хочешь ли?—прибавилъ онъ. — Что̀ съ нея взять? Домъ, что ли, съ огородишкомъ? И тысячи не дадутъ: онъ весь разваливается. Да что̀ я, нехристь, что ли, какой? По міру ее пустить съ ребятишками?

— Стало, слѣдствіе начнется? — робко спросилъ Тарантьевъ. — Вотъ тутъ-то, кумъ, отдѣлаться бы подешевле: ты ужъ, братъ, выручи!

— Какое слѣдствіе? Никакого слѣдствія не будетъ! Генералъ-было погрозилъ выслать изъ города, да нѣмецъ-то вступился, не хочетъ срамить Обломова.

— Что̀ ты, кумъ! Какъ гора съ плечъ! Выпьемъ! — сказалъ Тарантьевъ.

— Выпьемъ? Изъ какихъ это доходовъ? На твои, что ль?

— А твои? Сегодня, поди, цѣлковыхъ семь забралъ?

— Что-о! Прощай доходы: что̀ генералъ-то сказалъ, я не договорилъ.

— А что̀?—вдругъ опять струсивъ, спросилъ Тарантьевъ.

— Въ отставку велѣлъ подать.

— Что̀ ты, кумъ! — выпуча на него глаза, сказалъ Тарантьевъ.—Ну,—заключилъ онъ съ яростью:—теперь обругаю же я земляка на чемъ свѣтъ стоитъ!

— Только бы тебѣ ругаться!

— Нѣтъ, ужъ обругаю, какъ ты хочешь!—говорилъ Тарантьевъ.—А впрочемъ, правда, лучше погожу; вотъ, что̀ я вздумалъ; слушай-ко, кумъ!

— Что еще?—повторилъ въ раздумьѣ Иванъ Матвѣевичъ.

— Можно тутъ хорошее дѣло сдѣлать. Жаль только, что ты съѣхалъ съ квартиры...

— А что?

— Что!—говорилъ онъ, глядя на Ивана Матвѣевича.—Подсматривать за Обломовымъ, да за сестрой, какіе они тамъ пироги пекутъ, да и того... свидѣтелей! Такъ тутъ и нѣмецъ ничего не сдѣлаетъ. А ты теперь вольный казакъ: затѣешь слѣдствіе—законное дѣло! Небойсь и нѣмецъ струситъ, на мировую пойдетъ.

— А что, въ самомъ дѣлѣ, можно!—отвѣчалъ Мухояровъ задумчиво. — Ты неглупъ на выдумки, только въ дѣло не годишься, и Затертый тоже. Да я найду, постой!—говорилъ онъ, оживляясь. — Я имъ дамъ! Я кухарку свою на кухню къ сестрѣ подошлю: она подружится съ Анисьей, все вывѣдаетъ, а тамъ... Выпьемъ, кумъ!

— Выпьемъ!—повторилъ Тарантьевъ.—А потомъ ужъ я обругаю земляка!

Штольцъ попытался увезти Обломова, но тотъ просилъ оставить его только на мѣсяцъ, такъ просилъ, что Штольцъ не могъ не сжалиться. Ему нуженъ былъ этотъ мѣсяцъ, по словамъ его, чтобъ кончить всѣ расчеты, сдать квартиру

и такъ уладить дѣла съ Петербургомъ, чтобъ ужъ болѣе туда не возвращаться. Потомъ нужно было закупить все для уборки деревенскаго дома; наконецъ, онъ хотѣлъ пріискать себѣ хорошую экономку, въ родѣ Агаѳьи Матвѣевны, даже не отчаивался уговорить и ее продать домъ и переселиться въ деревню, на достойное ея поприще — сложнаго и обширнаго хозяйства.

— Кстати о хозяйкѣ,—перебилъ его Штольцъ:—я хотѣлъ тебя спросить, Илья, въ какихъ ты отношеніяхъ къ ней...

Обломовъ вдругъ покраснѣлъ.

— Что ты хочешь сказать?—торопливо спросилъ онъ.

— Ты очень хорошо знаешь, — замѣтилъ Штольцъ: — иначе бы не отчего было краснѣть. Послушай, Илья, если тутъ предостереженіе можетъ что-нибудь сдѣлать, то я всей дружбой нашей прошу, будь остороженъ...

— Въ чемъ? Помилуй! — защищался смущенный Обломовъ.

— Ты говорилъ о ней съ такимъ жаромъ, что, право, я начинаю думать, что ты ее...

— Любишь, что ли, хочешь ты сказать? Помилуй! — перебилъ Обломовъ съ принужденнымъ смѣхомъ.

— Такъ еще хуже, если тутъ нѣтъ никакой нравственной искры, если это только...

— Андрей! Развѣ ты зналъ меня безнравственнымъ человѣкомъ?

— Отчего жъ ты покраснѣлъ?

— Оттого, что ты могъ допустить такую мысль.

Штольцъ покачалъ съ сомнѣніемъ головой.

— Смотри, Илья, не упади въ яму. Простая баба; грязный бытъ, удушливая сфера тупоумія, грубость—фи!..

Обломовъ молчалъ.

— Ну, прощай, — заключилъ Штольцъ: — такъ я скажу Ольгѣ, что лѣтомъ мы увидимъ тебя, если не у насъ, такъ въ Обломовкѣ. Помни: она не отстанетъ!

— Непремѣнно, непремѣнно, — утвердительно отвѣчалъ Обломовъ:—даже прибавь, что если она позволитъ, я зиму проведу у васъ.

— То-то бы обрадовалъ!

Штольцъ уѣхалъ въ тотъ же день, а вечеромъ къ Обломову явился Тарантьевъ. Онъ не утерпѣлъ, чтобъ не обругать его хорошенько за кума. Онъ не взялъ одного въ расчетъ, что Обломовъ, въ обществѣ Ильинскихъ, отвыкъ отъ подобныхъ ему явленій, и что апатія и снисхожденіе къ грубости и наглости замѣнились отвращеніемъ. Это бы ужъ обнаружилось давно, и даже проявилось отчасти, когда Обломовъ жилъ еще на дачѣ, но съ тѣхъ поръ Тарантьевъ посѣщалъ его рѣже и притомъ бывалъ при другихъ и столкновеній между ними не было.

— Здорово, землякъ! — злобно сказалъ Тарантьевъ, не протягивая руки.

— Здравствуй?—холодно отвѣчалъ Обломовъ, глядя въ окно.

— Что, проводилъ своего благодѣтеля?

— Проводилъ. Что же?

— Хорошъ благодѣтель!—ядовито продолжалъ Тарантьевъ.

— А что, тебѣ не нравится?

— Да я бы его повѣсилъ! — съ ненавистью прохрипѣлъ Тарантьевъ.

— Вотъ какъ!

— И тебя бы на одну осину!

— За что такъ?

— Дѣлай честно дѣла: если долженъ, такъ плати, не увертывайся. Что ты теперь надѣлалъ?

— Послушай, Михей Андреичъ, уволь меня отъ своихъ сказокъ; долго я, по лѣности, по безпечности, слушалъ тебя: я думалъ, что у тебя есть хоть капля совѣсти, а ея нѣтъ. Ты съ пройдохой хотѣлъ обмануть меня: кто изъ васъ хуже—не знаю, только оба вы гадки мнѣ. Другъ выручилъ меня изъ этого глупаго дѣла...

— Хорошъ другъ!—говорилъ Тарантьевъ.—Я слышалъ, онъ и невѣсту у тебя поддѣлъ; благодѣтель, нечего сказать! Ну, братъ, дуракъ ты, землякъ...

— Пожалуйста, оставь эти нѣжности! — остановилъ его Обломовъ.

— Нѣтъ, не оставлю! Ты меня не хотѣлъ знать, ты неблагодарный! Я пристроилъ тебя здѣсь, нашелъ женщину-кладъ. Покой, удобство всякое — все доставилъ тебѣ, облагодѣтельствовалъ кругомъ, а ты и рыло отворотилъ. Благодѣтеля нашелъ: нѣмца! На аренду имѣніе взялъ; вотъ, погоди: онъ тебя облупитъ, еще акцій надаетъ. Ужъ пуститъ по-міру, помяни мое слово! Дуракъ, говорю тебѣ, да мало дуракъ, еще и скотъ вдобавокъ, неблагодарный!

— Тарантьевъ!—грозно крикнулъ Обломовъ.

— Что кричишь-то? Я самъ закричу на весь міръ, что ты дуракъ, скотина! — кричалъ Тарантьевъ. — Я и Иванъ Матвѣичъ ухаживали за тобой, берегли, словно крѣпостные служили тебѣ, на цыпочкахъ ходили, въ глаза смотрѣли, а ты обнесъ его передъ начальствомъ: теперь онъ безъ мѣста и безъ куска хлѣба! Это низко, гнусно! Ты долженъ теперь отдать ему половину состоянія; давай вексель на его имя: ты теперь не пьянъ, въ своемъ умѣ, давай, говорю тебѣ, я безъ того не выйду...

— Что вы, Михей Андреичъ, кричите такъ? — сказали хозяйка и Анисья, выглянувъ изъ-за двери. — Двое прохожихъ остановились, слушаютъ, что̀ за крикъ...

— Буду кричать, —вопилъ Тарантьевъ:—пусть срамится этотъ олухъ! Пусть обдуетъ тебя этотъ мошенникъ-нѣмецъ, благо онъ теперь стакнулся съ твоей любовницей...

Въ комнатѣ раздалась громкая оплеуха. Пораженный Обломовымъ въ щеку, Тарантьевъ мгновенно смолкъ, опустился на стулъ и, въ изумленіи, ворочалъ вокругъ одурѣвшими глазами.

— Что это? Что это—а? Что это!—блѣдный, задыхаясь,

говорилъ онъ, держась за щеку. — Безчестье? Ты заплатишь мнѣ за это! Сейчасъ просьбу генералъ-губернатору: вы видѣли?

— Мы ничего не видали!—сказали обѣ женщины въ одинъ голосъ.

— А! Здѣсь заговоръ, здѣсь разбойничій притонъ! Шайка мошенниковъ! Грабятъ, убиваютъ...

— Вонъ, мерзавецъ! — закричалъ Обломовъ, блѣдный, трясясь отъ ярости. — Сію минуту, чтобъ нога твоя здѣсь не была, или я убью тебя, какъ собаку!

Онъ искалъ глазами палки.

— Батюшки! Разбой! Помогите!—кричалъ Тарантьевъ.

— Захаръ! Выбрось вонъ этого негодяя, и чтобъ онъ не смѣлъ глазъ казать сюда!—закричалъ Обломовъ.

— Пожалуйте, вотъ вамъ Богъ, а вотъ двери!—говорилъ Захаръ, показывая на образъ и на дверь.

— Я не къ тебѣ пришелъ, я къ кумѣ, — вопилъ Тарантьевъ.

— Богъ съ вами! Мнѣ васъ не надо, Михей Андреичъ,— сказала Агаѳья Матвѣевна:—вы къ братцу ходили, а не ко мнѣ! Вы мнѣ хуже горькой рѣдьки. Опиваете, объѣдаете, да еще лаетесь.

— А! такъ-то, кума! Хорошо, вотъ братъ дастъ вамъ знать! А ты заплатишь мнѣ за безчестье! Гдѣ моя шляпа? Чортъ съ вами! Разбойники, душегубцы! — кричалъ онъ, идучи по двору.—Заплатишь мнѣ за безчестье!

Собака скакала на цѣпи и заливалась лаемъ.

Послѣ этого Тарантьевъ и Обломовъ не видались болѣе.

VIII.

Штольцъ не пріѣзжалъ нѣсколько лѣтъ въ Петербургъ. Онъ однажды только заглянулъ на короткое время въ имѣніе Ольги и въ Обломовку. Илья Ильичъ получилъ отъ него письмо, въ которомъ Андрей уговаривалъ его самого ѣхать

въ деревню и взять въ свои руки приведенное въ порядокъ имѣніе, а самъ съ Ольгой Сергѣевной уѣзжалъ на южный берегъ Крыма, для двухъ цѣлей: по дѣламъ своимъ въ Одессѣ и для здоровья жены, разстроеннаго послѣ родовъ.

Они поселились въ тихомъ уголкѣ, на морскомъ берегу. Скроменъ и не великъ былъ ихъ домъ. Внутреннее устройство его имѣло такъ же свой стиль, какъ наружная архитектура, какъ все убранство носило печать мысли и личнаго вкуса хозяевъ. Много сами они привезли съ собой всякаго добра; много присылали имъ изъ Россіи и изъ-за границы тюковъ, чемодановъ, возовъ.

Любитель комфорта, можетъ-быть, пожалъ бы плечами, взглянувъ на всю наружную разнорядицу мебели, ветхихъ картинъ, статуй съ отломанными руками и ногами, иногда плохихъ, но дорогихъ по воспоминанію гравюръ, мелочей. Развѣ глаза знатока загорѣлись бы не разъ огнемъ жадности при взглядѣ на ту или другую картину, на какую-нибудь пожелтѣвшую отъ времени книгу, на старый фарфоръ, или камни и монеты.

Но среди этой разновѣковой мебели, картинъ, среди не имѣющихъ ни для кого значенія, но отмѣченныхъ для нихъ обоихъ счастливымъ часомъ, памятной минутой, мелочей, въ океанѣ книгъ и нотъ, вѣяло теплой жизнью, чѣмъ-то раздражающимъ умъ и эстетическое чувство; вездѣ присутствовала или недремлющая мысль, или сіяла красота человѣческаго дѣла, какъ кругомъ сіяла вѣчная красота природы.

Здѣсь же нашла мѣсто и высокая конторка, какая была у отца Андрея, замшевыя перчатки; висѣлъ въ углу и клеенчатый плащъ около шкапа съ минералами, раковинами, чучелами птицъ, съ образцами разныхъ глинъ, товаровъ и прочаго. Среди всего, на почетномъ мѣстѣ, блисталъ въ золотѣ съ инкрустаціей, флигель Эрара.

Сѣть изъ винограда, плющей и миртовъ покрывала кот-

теджъ сверху до низу. Съ галлереи видно было море, съ другой стороны—дорога въ городъ.

Тамъ караулила Ольга Андрея, когда онъ уѣзжалъ изъ дома по дѣламъ, и, завидя его, спускалась внизъ, пробѣгала великолѣпный цвѣтникъ, длинную тополевую аллею и бросалась на грудь къ мужу, всегда съ пылающими отъ радости щеками, съ блещущимъ взглядомъ, всегда съ одинакимъ жаромъ нетерпѣливаго счастья, несмотря на то, что уже пошелъ не первый и не второй годъ ея замужества.

Штольцъ смотрѣлъ на любовь и на женитьбу, можетъ-быть, оригинально, преувеличенно, но во всякомъ случаѣ, самостоятельно. И здѣсь онъ пошелъ свободнымъ и, какъ казалось ему, простымъ путемъ: но какую трудную школу наблюденія, терпѣнія, труда выдержалъ онъ, пока выучился дѣлать эти «простые шаги»!

Отъ отца своего онъ перенялъ смотрѣть на все въ жизни, даже на мелочи, не шутя; можетъ-быть, перенялъ бы отъ него и педантическую строгость, которою нѣмцы сопровождаютъ взглядъ свой, каждый шагъ въ жизни, въ томъ числѣ и супружество.

Какъ таблица на каменной скрижали, была начертана открыто всѣмъ и каждому жизнь стараго Штольца и подъ ней больше подразумѣвать было нечего. Но мать, своими пѣснями и нѣжнымъ шопотомъ, потомъ княжескій разнохарактерный домъ, далѣе университетъ, книги и свѣтъ—все это отводило Андрея отъ прямой, начертанной отцомъ колеи; русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и изъ безцвѣтной таблицы дѣлала яркую, широкую картину.

Андрей не налагалъ педантическихъ оковъ на чувства и даже давалъ законную свободу, стараясь только не терять «почвы изъ-подъ ногъ», задумчивымъ мечтамъ, хотя, отрезвляясь отъ нихъ, по нѣмецкой своей натурѣ, или почему-нибудь другому, не могъ удержаться отъ вывода и выносилъ какую-нибудь жизненную замѣтку.

Онъ былъ бодръ тѣломъ, потому что былъ бодръ умомъ. Онъ былъ рѣзвъ, шаловливъ въ отрочествѣ, а когда не шалилъ, то занимался, подъ надзоромъ отца, дѣломъ. Нѣкогда было ему расплываться въ мечтахъ. Не растлѣлось у него воображеніе, не испортилось сердце: чистоту и дѣвственность того и другого зорко берегла мать.

Юношей, онъ инстинктивно берегъ свѣжесть силъ своихъ, потомъ сталъ рано уже открывать, что эта свѣжесть рождаетъ бодрость и веселость, образуетъ ту мужественность, въ которой должна быть закалена душа, чтобъ не блѣднѣть передъ жизнью, какова бы она ни была, смотрѣть на нее, не какъ на тяжкое иго, крестъ, а только какъ на долгъ, и достойно вынести битву съ ней.

Много мыслительной заботы посвятилъ онъ и сердцу, и его мудренымъ законамъ. Наблюдая сознательно и безсознательно отраженіе красоты на воображеніе, потомъ переходъ впечатлѣнія въ чувство, его симптомы, игру, исходъ, и, глядя вокругъ себя, подвигаясь въ жизнь, онъ выработалъ себѣ убѣжденіе, что любовь, съ силою Архимедова рычага, движетъ міромъ; что въ ней лежитъ столько всеобщей, неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразія въ ея непониманіи и злоупотребленіи. Гдѣ же благо? Гдѣ зло? Гдѣ граница между ними?

При вопросѣ: гдѣ ложь? въ воображеніи его потянулись пестрыя маски настоящаго и минувшаго времени. Онъ съ улыбкой, то краснѣя, то нахмурившись, глядѣлъ на безконечную вереницу героевъ и героинь любви: на донъ-Кихотовъ, въ стальныхъ перчаткахъ, на дамъ ихъ мыслей, съ пятидесятилѣтнею взаимною вѣрностью въ разлукѣ; на пастушковъ, съ румяными лицами и простодушными глазами навыкатѣ, и на ихъ Хлой, съ барашками.

Являлись передъ нимъ напудренные маркизы, въ кружевахъ, съ мерцающими умомъ глазами и съ развратной улыбкой; потомъ застрѣлившіеся, повѣсившіеся и удавив-

шіеся Вертеры; далѣе увядшія дѣвы, съ вѣчными слезами любви, съ монастыремъ, и усатыя лица недавнихъ героевъ, съ буйнымъ огнемъ въ глазахъ, наивные и сознательные донъ-Жуаны, и умники, трепещущіе подозрѣнія въ любви и втайнѣ обожающіе своихъ ключницъ... всѣ, всѣ!

При вопросѣ: гдѣ же истина? онъ искалъ и вдалекѣ, и вблизи, въ воображеніи и глазами, примѣровъ простого, честнаго, но глубокаго и неразрывнаго сближенія съ женщиной, и не находилъ; если, казалось, и находилъ, то это только казалось, потомъ приходилось разочаровываться, и онъ грустно задумывался и даже отчаивался.

«Видно не дано этого блага во всей его полнотѣ», думалъ онъ: «или тѣ сердца, которыя озарены свѣтомъ такой любви, застѣнчивы: они робѣютъ и прячутся, не стараясь оспаривать умниковъ; можетъ-быть, жалѣютъ ихъ, прощаютъ имъ во имя своего счастья, что тѣ топчутъ въ грязь цвѣтокъ, за неимѣніемъ почвы, гдѣ бы онъ могъ глубоко пустить корни и вырасти въ такое дерево, которое бы осѣнило всю жизнь».

Глядѣлъ онъ на браки, на мужей, и въ ихъ отношеніяхъ къ женамъ всегда видѣлъ сфинкса съ его загадкой, все будто что-то непонятное, недосказанное; а между тѣмъ эти мужья не задумываются надъ мудреными вопросами, идутъ по брачной дорогѣ такимъ ровнымъ, сознательнымъ шагомъ, какъ будто нечего имъ рѣшать и искать.

«Не правы ли они? Можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ больше ничего не нужно», съ недовѣрчивостью къ себѣ думалъ онъ, глядя, какъ одни быстро проходятъ любовь какъ азбуку супружества или какъ форму вѣжливости, точно отдали поклонъ, входя въ общество, и—скорѣй за дѣло!

Они нетерпѣливо сбываютъ съ плечъ весну жизни; многіе даже косятся потомъ весь вѣкъ на женъ своихъ, какъ будто досадуя за то, что когда-то имѣли глупость любить ихъ.

Другихъ любовь не покидаетъ долго, иногда до старости, но ихъ не покидаетъ никогда и улыбка сатира...

Наконецъ, большая часть вступаетъ въ бракъ, какъ берутъ имѣніе, наслаждаются его существенными выгодами: жена вноситъ лучшій порядокъ въ домъ — она хозяйка, мать, наставница дѣтей; а на любовь смотрятъ, какъ практическій хозяинъ смотритъ на мѣстоположеніе имѣнія, то-есть сразу привыкаетъ и потомъ не замѣчаетъ его никогда.

— Что же это: врожденная неспособность послѣдствіе законовъ природы, — говорилъ онъ: — или недостатокъ подготовки, воспитанія?.. Гдѣ же эта симпатія, не теряющая никогда естественной прелести, не одѣвающаяся въ шутовскій нарядъ, видоизмѣняющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвѣтъ и краски этого разлитаго повсюду и всенаполняющаго собой блага, этого сока жизни?

Онъ пророчески вглядывался въ даль и тамъ, какъ въ туманѣ, появлялся ему образъ чувства, а съ нимъ и женщины, одѣтой его цвѣтомъ и сіяющей его красками, образъ такой простой, но свѣтлый, чистый.

— Мечта! мечта! — говорилъ онъ, отрезвляясь, съ улыбкой, отъ празднаго раздраженія мысли.

Но очеркъ этой мечты противъ воли жилъ въ его памяти.

Сначала ему снилась въ этомъ образѣ будущность женщины вообще; когда же онъ увидѣлъ, потомъ, въ выросшей и созрѣвшей Ольгѣ, не только роскошь расцвѣтшей красоты, но и силу, готовую на жизнь и жаждущую разумѣнія и борьбы съ жизнью, всѣ задатки его мечты, въ немъ возникъ давнишній, почти забытый имъ образъ любви и стала сниться въ этомъ образѣ Ольга, и далеко впереди казалось ему, что въ симпатіи ихъ возможна истина — безъ шутовского наряда и безъ злоупотребленій.

Не играя вопросомъ о любви и бракѣ, не путая въ него никакихъ другихъ расчетовъ, денегъ, связей, мѣстъ, Штольцъ,

однакожъ, задумывался о томъ, какъ примирится его внѣшняя, до сихъ поръ неутомимая дѣятельность съ внутреннею, семейною жизнью, какъ изъ туриста, негоціанта, онъ превратится въ семейнаго домосѣда? Если онъ успокоится отъ этой внѣшней бѣготни, чѣмъ наполнится его жизнь въ домашнемъ быту? Воспитаніе, образованіе дѣтей, направленіе ихъ жизни, конечно, не легкая и не пустая задача, но до нея еще далеко, а до тѣхъ поръ что же онъ будетъ дѣлать?

Эти вопросы давно и часто тревожили его, и онъ не тяготился холостою жизнью; не приходило ему въ голову, какъ только забьется его сердце, почуя близость красоты, надѣть на себя брачныя цѣпи. Отчего онъ какъ будто пренебрегалъ даже Ольгой-дѣвицей, любовался только ею, какъ милымъ ребенкомъ, подающимъ большія надежды; шутя, мимоходомъ, забрасывалъ ей въ жадный и воспріимчивый умъ новую, смѣлую мысль, мѣткое наблюденіе надъ жизнью, и продолжалъ въ ея душѣ, не думая и не гадая, живое пониманіе явленій, вѣрный взглядъ, а потомъ забывалъ и Ольгу, и свои небрежные уроки.

А по временамъ, видя, что въ ней мелькаютъ не совсѣмъ обыкновенныя черты ума, взгляды, что нѣтъ въ ней лжи, не ищетъ она общаго поклоненія, что чувства въ ней приходятъ и уходятъ просто и свободно, что нѣтъ ничего чужого, а все свое, и это свое такъ смѣло, свѣжо и прочно— онъ недоумѣвалъ, откуда далось ей это, не узнавалъ своихъ летучихъ уроковъ и замѣтокъ.

Останови онъ тогда вниманіе на ней, онъ бы сообразилъ, что она идетъ почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностнымъ надзоромъ тетки отъ крайностей, но что не тяготѣютъ надъ ней, многочисленной опекой, авторитеты семи нянекъ, бабушекъ, тетокъ, съ преданіями рода, фамиліи, сословія, устарѣвшихъ нравовъ, обычаевъ, сентенціи; что не ведутъ ее насильно по избитой дорожкѣ, что

она идетъ по новой тропѣ, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственнымъ умомъ, взглядомъ, чувствомъ.

А природа ее ничѣмъ этимъ не обидѣла: тетка не управляетъ деспотически ея волей и умомъ, и Ольга многое угадываетъ, понимаетъ сама, осторожно взглядывается въ жизнь, вслушивается... между прочимъ, и въ рѣчи, совѣты своего друга...

Онъ этого не соображалъ ничего и только ждалъ отъ нея многаго впереди, но далеко впереди, не проча никогда ее себѣ въ подруги.

А она, по самолюбивой застѣнчивости, — долго не давала угадывать себя, и только послѣ мучительной борьбы за границей, онъ съ изумленіемъ увидѣлъ, въ какой образъ простоты, силы и естественности выросло это многообѣщавшее и забытое имъ дитя. Тутъ мало-по-малу открывалась передъ нимъ глубокая бездна ея души, которую приходилось ему наполнять и никогда не наполнить.

Сначала долго приходилось ему бороться съ живостью ея натуры, прерывать лихорадку молодости, укладывать порывы въ опредѣленные размѣры, давать плавное теченіе жизни, и то на время: едва онъ закрывалъ довѣрчиво глаза, поднималась опять тревога, жизнь била ключомъ, слышался новый вопросъ безпокойнаго ума, встревоженнаго сердца; тамъ надо было успокоивать раздраженное воображеніе, унимать или будить самолюбіе. Задумывалась она надъ явленіемъ—онъ спѣшилъ вручить ей ключъ къ нему.

Вѣра въ случайности, туманъ галлюцинаціи исчезали изъ жизни. Свѣтла и свободна открывалась передъ ней даль, и она, какъ въ прозрачной водѣ, видѣла въ ней каждый камешекъ, рытвину и потомъ чистое дно.

— Я счастлива! — шептала она, окидывая взглядомъ благодарности свою прошедшую жизнь и, пытая будущее, припоминала свой дѣвическій сонъ счастья, который ей

снился когда-то въ Швейцаріи, ту задумчивую, голубую ночь, и видѣла, что сонъ этотъ, какъ тѣнь, носится въ жизни.

«За что мнѣ это выпало на долю?» смиренно думала она.

Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье.

Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы; кривизны жизни стали понятны, выносились терпѣливо и бодро, а жизнь все не умолкала у нихъ.

Ольга довоспиталась уже до строгаго пониманія жизни; два существованія, ея и Андрея, слились въ одно русло; разгула дикимъ страстямъ быть не могло: все было у нихъ гармонія и тишина.

Казалось бы, заснуть въ этомъ заслуженномъ покоѣ и блаженствовать, какъ блаженствуютъ обитатели затишьевъ, сходясь трижды въ день, зѣвая за обычнымъ разговоромъ, впадая въ тупую дремоту, томясь съ утра до вечера, что все передумано, переговорено и передѣлано, что нечего больше говорить и дѣлать, и что «такова ужъ жизнь на свѣтѣ».

Снаружи и у нихъ дѣлалось все какъ у другихъ. Вставали они, хотя не съ зарей, но рано; любили долго сидѣть за чаемъ, иногда даже будто лѣниво молчали, потомъ расходились по своимъ угламъ, или работали вмѣстѣ, обѣдали, ѣздили въ поля, занимались музыкой... какъ всѣ, какъ мечталъ и Обломовъ.

Только не было дремоты, унынія у нихъ; безъ скуки и безъ апатіи проводили они дни; не было вялаго взгляда, слова; разговоръ не кончался у нихъ, бывалъ часто жарокъ.

По комнатамъ разносились ихъ звонкіе голоса, доходили до сада, или тихо передавали они, какъ будто рисуя другъ передъ другомъ узоръ своей мечты, неуловимое для языка первое движеніе, ростъ возникающей мысли, чуть слышный шопотъ души...

И молчаніе ихъ было—иногда задумчивое счастье, о которомъ, одномъ, мечталъ, бывало, Обломовъ, или мыслительная работа въ одиночку надъ нескончаемымъ, задаваемымъ другъ другу матеріаломъ...

Часто погружались они въ безмолвное удивленіе передъ вѣчно-новой и блещущей красотой природы. Ихъ чуткія души не могли привыкнуть къ этой красотѣ: земля, небо, море—все будило ихъ чувство, и они молча сидѣли рядомъ, глядѣли одними глазами и одной душой на этотъ творческій блескъ, и безъ словъ понимали другъ друга.

Не встрѣчали они равнодушно утра; не могли тупо погрузиться въ сумракъ теплой, звѣздной, южной ночи. Ихъ будило вѣчное движеніе мысли, вѣчное раздраженіе души и потребность думать вдвоемъ, чувствовать, говорить!..

Но что же было предметомъ этихъ жаркихъ споровъ, тихихъ бесѣдъ, чтеній, далекихъ прогулокъ?

Да все. Еще за границей Штольцъ отвыкъ читать и работать одинъ: здѣсь, съ глазу на глазъ съ Ольгой, онъ и думалъ вдвоемъ. Его едва-едва ставало поспѣвать за томительною торопливостью ея мысли и воли.

Вопросъ, что̀ онъ будетъ дѣлать въ семейномъ быту, ужъ улегся, разрѣшился самъ собою. Ему пришлось посвятить ее даже въ свою трудовую, дѣловую жизнь, потому что въ жизни безъ движенія она задыхалась, какъ безъ воздуха.

Какая-нибудь постройка, дѣла по своему или обломовскому имѣнію, компанейскія операціи — ничто не дѣлалось безъ ея вѣдома или участія. Ни одного письма не посылалось безъ прочтенія ей, никакая мысль, а еще менѣе исполненіе, не проносилось мимо нея; она знала все, и все занимало ее, потому что занимало его.

Сначала онъ дѣлалъ это потому, что нельзя было укрыться отъ нея: писалось письмо, шелъ разговоръ съ повѣреннымъ, съ какими-нибудь подрядчиками — при ней, на ея

глазахъ; потомъ онъ сталъ продолжать это по привычкѣ, а наконецъ, это обратилось въ необходимость и для него.

Ея замѣчаніе, совѣтъ, одобреніе или неодобреніе стали для него неизбѣжною повѣркою: онъ увидѣлъ, что она понимаетъ точно такъ же, какъ онъ, соображаетъ, разсуждаетъ не хуже его... Захаръ обижался такой способностью въ своей женѣ, и многіе обижаются — а Штольцъ былъ счастливъ!

А чтеніе и ученье—вѣчное питаніе мысли, ея безконечное развитіе! Ольга ревновала къ каждой непоказанной ей книгѣ, журнальной статьѣ, не шутя сердилась или оскорблялась, когда онъ не заблагоразсудитъ показать ей что-нибудь, по его мнѣнію, слишкомъ серьезное, скучное, непонятное ей, называла это педантизмомъ, пошлостью, отсталостью, бранила его «старымъ нѣмецкимъ парикомъ». Между ними по этому поводу происходили живыя, раздражительныя сцены.

Она сердилась, а онъ смѣялся, она еще пуще сердилась, и тогда только мирилась, когда онъ перестанетъ шутить, раздѣлитъ съ ней свою мысль, знаніе, или чтеніе. Кончалось тѣмъ, что все, что нужно и хотѣлось знать, читать ему, то надобилось и ей.

Онъ не навязывалъ ей ученой техники, чтобъ потомъ, съ глупѣйшею изъ хвастливостей, гордиться «ученой женой». Если бъ у ней вырвалось въ рѣчи одно слово, даже намекъ на эту претензію, онъ покраснѣлъ бы пуще, чѣмъ когда бы она отвѣтила тупымъ взглядомъ невѣдѣнія на обыкновенный въ области знанія, но еще недоступный для женскаго современнаго воспитанія вопросъ. Ему только хотѣлось, а ей вдвое, чтобъ не было ничего недоступнаго — не вѣдѣнію, а ея пониманію.

Онъ не чертилъ ей таблицъ и чиселъ, но говорилъ обо всемъ, многое читалъ, не обѣгая педантически и какой-нибудь экономической теоріи, соціальныхъ или философскихъ

вопросовъ, онъ говорилъ съ увлеченіемъ, съ страстью: онъ какъ будто рисовалъ ей безконечную, живую картину знанія. Послѣ изъ памяти ея исчезали подробности, но никогда не сглаживался въ воспріимчивомъ умѣ рисунокъ, не пропадали краски и не потухалъ огонь, которымъ онъ освѣщалъ творимый ей космосъ.

Онъ задрожитъ отъ гордости и счастья, когда замѣтитъ, какъ потомъ искра этого огня свѣтится въ ея глазахъ, какъ отголосокъ переданной ей мысли звучитъ въ рѣчи, какъ мысль эта вошла въ ея сознаніе и пониманіе, переработалась у ней въ умѣ и выглядываетъ изъ ея словъ, не сухая и суровая, а съ блескомъ женской граціи, и особенно если какая-нибудь плодотворная капля изъ всего говореннаго, прочитаннаго, нарисованнаго, опускалась, какъ жемчужина, на свѣтлое дно ея жизни.

Какъ мыслитель и какъ художникъ, онъ ткалъ ей разумное существованіе, и никогда еще въ жизни не бывалъ онъ поглощенъ такъ глубоко, ни въ пору ученья, ни въ тѣ тяжелые дни, когда боролся съ жизнью, выпутывался изъ ея изворотовъ и крѣпчалъ, закаливая себя въ опытахъ мужественности, какъ теперь, няньчась съ этой неумолкающей, волканической работой духа своей подруги!

— Какъ я счастливъ! — говорилъ Штольцъ про себя и мечталъ по-своему, забѣгалъ впередъ, когда минуютъ медовые годы брака.

Вдали ему опять улыбался новый образъ, не эгоистки Ольги, не страстно-любящей жены, не матери-няньки, увядающей потомъ въ безцвѣтной, никому не нужной жизни, а что-то другое, высокое, почти небывалое...

Ему грезилась мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни цѣлаго счастливаго поколѣнія.

Онъ съ боязнью задумывался, достанетъ ли у ней воли и силъ... и торопливо помогалъ ей покорять себѣ скорѣе жизнь, выработать запасъ мужества на битву съ жизнью,—

теперь именно, пока они оба молоды и сильны, пока жизнь щадила ихъ, или удары ея не казались тяжелы, пока горе тонуло въ любви.

Мрачились ихъ дни, но не надолго. Неудачи въ дѣлахъ, утрата значительной суммы денегъ—все это едва коснулось ихъ. Это стоило имъ лишнихъ хлопотъ, разъѣздовъ, потомъ скоро забылось.

Смерть тетки вызвала горькія, искреннія слезы Ольги и легла тѣнью на ея жизнь на какіе-нибудь полгода.

Самое живое опасеніе и вѣчную заботу рождали болѣзни дѣтей, но лишь миновало опасеніе, возвращалось счастье.

Его тревожило болѣе всего здоровье Ольги: она долго оправлялась послѣ родовъ, и хотя оправилась, но онъ не переставалъ этимъ тревожиться. Страшнѣе горя онъ не зналъ.

— Какъ я счастлива!—твердила и Ольга тихо, любуясь своей жизнью, и въ минуту такого сознанія иногда впадала въ задумчивость... особенно съ нѣкотораго времени, послѣ трехъ-четырехъ лѣтъ замужества.

Страненъ человѣкъ! Чѣмъ счастье ея было полнѣе, тѣмъ она становилась задумчивѣе и даже... боязливѣе. Она стала строго замѣчать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ея остановка на минутахъ счастья. Она насильственно стряхивала съ души эту задумчивость и ускоряла жизненные шаги, лихорадочно искала шума, движеній, заботъ, просилась съ мужемъ въ городъ, пробовала заглянуть въ свѣтъ, въ люди, но не надолго.

Суета свѣта касалась ея слегка, и она спѣшила въ свой уголокъ сбыть съ души какое-нибудь тяжелое, непривычное впечатлѣніе, и снова уходила, то въ мелкія заботы домашней жизни, по цѣлымъ часамъ не покидала дѣтской, несла обязанности матери-няньки, то погружалась съ Андреемъ въ чтеніе, въ толки о «серьезномъ и скучномъ», или читали поэтовъ, поговаривали о поѣздкѣ въ Италію.

Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатію. Но какъ она ни старалась сбыть съ души эти мгновенія періодическаго оцѣпенѣнія, сна души, къ ней нѣтъ-нѣтъ да подкрадется сначала грёза счастья, окружитъ ее голубая ночь и окуетъ дремотой, потомъ опять настанетъ задумчивая остановка, будто отдыхъ жизни, а затѣмъ... смущеніе, боязнь, томленіе, какая-то глухая грусть, послышатся какіе-то смутные, туманные вопросы въ безпокойной головѣ.

Ольга чутко прислушивалась, пытала себя, но ничего не выпытала, не могла добиться, чего по временамъ проситъ, чего ищетъ душа, а только проситъ и ищетъ чего-то, даже будто — страшно сказать — тоскуетъ, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала отъ нея и требовала еще новыхъ, небывалыхъ явленій, заглядывала дальше впередъ...

«Что жъ это?» съ ужасомъ думала она. «Ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нѣтъ дороги... Ужели нѣтъ, ужели ты совершила кругъ жизни? Ужели тутъ все... все»... говорила душа ея и чего-то не договаривала... и Ольга съ тревогой озиралась вокругъ, не узналъ бы, не подслушалъ бы кто этого шопота души... Спрашивала глазами небо, море, лѣсъ... нигдѣ нѣтъ отвѣта: тамъ даль, глубь и мракъ.

Природа говорила все одно и то же; въ ней видѣла она непрерывное, но однообразное теченіе жизни, безъ начала, безъ конца.

Она знала, у кого спросить объ этихъ тревогахъ, и нашла бы отвѣтъ, но какой? Что если это ропотъ безплоднаго ума, или, еще хуже, жажда несозданнаго для симпатіи, неженскаго сердца! Боже! Она, его кумиръ—безъ сердца, съ черствымъ, ничѣмъ не довольнымъ умомъ! Что жъ изъ нея выйдетъ? Ужели синій чулокъ! Какъ она падетъ, когда откроются передъ нимъ эти новыя, небывалыя, но, конечно, извѣстныя ему страданія!

Она пряталась отъ него, или выдумывала болѣзнь, когда глаза ея, противъ воли, теряли бархатную мягкость, глядѣли какъ-то сухо и горячо, когда на лицѣ лежало тяжелое облако, и она, несмотря на всѣ старанія, не могла принудить себя улыбнуться, говорить, равнодушно слушала самыя горячія новости политическаго міра, самыя любопытныя объясненія новаго шага въ наукѣ, новаго творчества въ искусствѣ.

Между тѣмъ, ей не хотѣлось плакать, не было внезапнаго трепета, какъ въ то время, когда играли нервы, пробуждались и высказывались ея дѣвическія силы. Нѣтъ, это не то!

— Что же это? — съ отчаяніемъ спрашивала она, когда вдругъ становилась скучна, равнодушна ко всему, въ прекрасный, задумчивый вечеръ, или за колыбелью, даже среди ласкъ и рѣчей мужа...

Она вдругъ какъ будто окаменѣетъ и смолкнетъ, потомъ съ притворной живостью суетится, чтобъ скрыть свой странный недугъ, или сошлется на мигрень и ляжетъ спать.

Но не легко ей было укрыться отъ зоркаго взгляда Штольца: она знала это, и внутренно съ такою же тревогой готовилась къ разговору, когда онъ настанетъ, какъ нѣкогда готовилась къ исповѣди прошедшаго. Разговоръ насталъ.

Они однажды вечеромъ гуляли по тополевой аллеѣ. Она почти повисла у него на плечѣ и глубоко молчала. Она мучилась своимъ невѣдомымъ припадкомъ, и о чемъ онъ ни заговаривалъ, она отвѣчала коротко.

— Нянька говоритъ, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за докторомъ?—спросилъ онъ.

— Я напоила ее теплымъ и завтра не пущу гулять, а тамъ посмотримъ!—отвѣчала она монотонно.

Они прошли до конца аллеи молча.

— Что жъ ты не отвѣчала на письмо своей пріятельницы, Сонички? — спросилъ онъ.— А я все ждалъ, чуть не

опоздалъ на почту. Это ужъ третье письмо ея безъ отвѣта.

— Да, мнѣ хочется скорѣй забыть ее... — сказала она и замолчала.

— Я кланялся отъ тебя Бичурину, — заговорилъ Андрей опять:—вѣдь онъ влюбленъ въ тебя, такъ, авось, утѣшится хоть этимъ немного, что пшеница его не поспѣетъ на мѣсто въ срокъ.

Она сухо улыбнулась.

— Да, ты сказывалъ,—равнодушно отозвалась она.

— Что ты, спать хочешь?—спросилъ онъ.

У ней стукнуло сердце, и не въ первый разъ, лишь только начинались вопросы, близкіе къ дѣлу.

— Нѣтъ еще,—съ искусственной бодростью сказала она:— а что?

— Нездорова?—спросилъ онъ опять.

— Нѣтъ. Что тебѣ такъ кажется?

— Ну, такъ скучаешь!

Она крѣпко сжала ему обѣими руками плечо.

— Нѣтъ, нѣтъ!—отнѣкивалась она фальшиво-развязнымъ голосомъ, въ которомъ, однако, звучала какъ будто въ самомъ дѣлѣ скука.

Онъ вывелъ ее изъ аллеи и оборотилъ лицомъ къ лунному свѣту.

— Погляди на меня! — сказалъ онъ и пристально смотрѣлъ ей въ глаза.

— Можно подумать, что ты... несчастлива! Такіе странные у тебя глаза сегодня, да и не сегодня только... Что съ тобой, Ольга?

Онъ повелъ ее за талію опять въ аллею.

— Знаешь что: я... проголодалась! — сказала она, стараясь засмѣяться.

— Не лги, не лги! Я этого не люблю! — съ притворной строгостью прибавилъ онъ.

— Несчастлива! — съ упрекомъ повторила она, остано-

вивъ его въ аллеѣ.—Да, несчастлива тѣмъ развѣ... что ужъ слишкомъ счастлива!—досказала она съ такой нѣжной, мягкой нотой въ голосѣ, что онъ поцѣловалъ ее.

Она стала смѣлѣе. Предположеніе, хотя легкое, шуточное, что она, можетъ-быть, несчастлива, неожиданно вызвало ее на откровенность.

— Не скучно мнѣ и не можетъ быть скучно: ты это знаешь и самъ, конечно, не вѣришь своимъ словамъ; не больна я, а... мнѣ грустно... бываетъ иногда... вотъ тебѣ—несносный человѣкъ, если отъ тебя нельзя спрятаться! Да, грустно, и я не знаю отчего!

Она положила ему голову на плечо.

— Вотъ что! Отчего же?—спросилъ онъ ее тихо, наклонившись къ ней.

— Не знаю,—повторила она.

— Однакожъ, должна быть причина, если не во мнѣ, не кругомъ тебя, такъ въ тебѣ самой. Иногда такая грусть не что иное, какъ зародышъ болѣзни... Здорова ли ты?

— Да, можетъ-быть, — серьезно сказала она: — это что-нибудь въ этомъ родѣ, хотя я ничего не чувствую. Ты видишь, какъ я ѣмъ, гуляю, сплю, работаю. Вдругъ какъ-будто найдетъ на меня что-нибудь, какая-то хандра... мнѣ жизнь покажется... какъ-будто не все въ ней есть... Да нѣтъ, ты не слушай; это все пустое...

— Говори, говори! — присталъ онъ съ живостью. — Ну, не все есть въ жизни: что̀ еще?

— Иногда я какъ-будто боюсь,—продолжала она:—чтобъ это не измѣнилось, не кончилось... не знаю сама! Или мучусь глупою мыслью: что жъ будетъ еще?.. Что жъ это счастье... вся жизнь...—говорила она все тише, тише, стыдясь этихъ вопросовъ:—всѣ эти радости, горе... природа...—шептала она: — все тянетъ меня куда-то еще; я дѣлаюсь ничѣмъ недовольна... Боже мой! мнѣ даже стыдно этихъ глупостей... это мечтательность... Ты не замѣчай, не смотри...—

прибавила она умоляющимъ голосомъ, ласкаясь къ нему.— Эта грусть скоро проходитъ и мнѣ опять станетъ такъ свѣтло, весело, какъ вотъ опять стало теперь!

Она жалась къ нему такъ робко и ласково, стыдясь въ самомъ дѣлѣ и какъ-будто прося прощенія «въ глупостяхъ».

Долго спрашивалъ ее мужъ, долго передавала она, какъ больная врачу, симптомы грусти, высказывала всѣ глухіе вопросы, рисовала ему смятеніе души и потомъ — какъ исчезалъ этотъ миражъ — все, все, что могла припомнить, замѣтить.

Штольцъ молча опять пошелъ по аллеѣ, склонивъ голову на грудь, погрузясь всей мыслью, съ тревогой, съ недоумѣніемъ, въ неясное признаніе жены.

Она заглядывала ему въ глаза, но ничего не видѣла, и когда, въ третій разъ, они дошли до конца аллеи, она не дала ему обернуться и, въ свою очередь, вывела его на лунный свѣтъ и вопросительно посмотрѣла ему въ глаза.

— Что ты?—застѣнчиво спросила она.—Смѣешься моимъ глупостямъ, да? Это очень глупо, эта грусть, не правда ли?

Онъ молчалъ.

— Что жъ ты молчишь?—спросила она съ нетерпѣніемъ.

— Ты долго молчала, хотя, конечно, знала, что я давно замѣчалъ за тобой; дай же мнѣ помолчать и подумать. Ты мнѣ задала не легкую задачу.

— Вотъ ты теперь станешь думать, а я буду мучиться, что ты выдумаешь одинъ про себя. Напрасно я сказала!— прибавила она.—Лучше говори что-нибудь...

— Что жъ я тебѣ скажу? — задумчиво говорилъ онъ. — Можетъ-быть, въ тебѣ проговаривается еще нервическое разстройство: тогда докторъ, а не я, рѣшитъ, что̀ съ тобой. Надо завтра послать... Если же не то...—началъ онъ и задумался.

— Что̀ «если же не то», говори! — нетерпѣливо приставала она.

Онъ шелъ, все думая.

— Да ну,—говорила она, тряся его за руку.

— Можетъ-быть, это избытокъ воображенія: — ты слишкомъ жива... а можетъ-быть ты созрѣла до той поры... — вполголоса докончилъ онъ, почти про себя.

— Говори, пожалуйста, вслухъ, Андрей! Терпѣть не могу, когда ты ворчишь про себя! — жаловалась она: — я насказала ему глупостей, а онъ повѣсилъ голову и шепчетъ что-то подъ носъ! Мнѣ даже страшно съ тобой здѣсь, въ темнотѣ...

— Что сказать—я не знаю... «грусть находитъ, какіе-то вопросы тревожатъ»: что̀ изъ этого поймешь? Мы поговоримъ опять объ этомъ и посмотримъ: кажется надо опять купаться въ морѣ...

— Ты сказалъ про себя: «если же... можетъ-быть... созрѣла»: что̀ у тебя за мысль была?—спрашивала она.

— Я думалъ... — говорилъ онъ медленно, задумчиво высказываясь и самъ не довѣряя своей мысли, какъ-будто тоже стыдясь своей рѣчи:—вотъ видишь ли... бываютъ минуты... то-есть, я хочу сказать, если это не признакъ какого-нибудь разстройства, если ты совершенно здорова, то, можетъ-быть, ты созрѣла, подошла къ той порѣ, когда остановился ростъ жизни... когда загадокъ нѣтъ, она открылась вся...

— Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарѣлась?— живо перебила она.—Не смѣй!—Она даже погрозила ему.— Я еще молода, сильна...—прибавила она, выпрямляясь.

Онъ засмѣялся.

— Не бойся,—сказалъ онъ:—ты, кажется, не располагаешь состарѣться никогда! Нѣтъ, это не то... въ старости силы падаютъ и перестаютъ бороться съ жизнью. Нѣтъ, твоя грусть, томленіе — если это только то, что̀ я думаю — скорѣе признакъ силы... Поиски живого, раздраженнаго ума порываются иногда за житейскія грани, не находятъ,

конечно, отвѣтовъ, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ея тайнѣ... Можетъ-быть и съ тобой то же... Если это такъ—это не глупости.

Она вздохнула, но, кажется, больше отъ радости, что опасенія ея кончились, и она не падаетъ въ глазахъ мужа, а напротивъ...

— Но вѣдь я счастлива; умъ у меня непразденъ; я не мечтаю; жизнь моя разнообразна — чего же еще? Къ чему эти вопросы?—говорила она.—Это болѣзнь, гнетъ!

— Да, пожалуй, гнетъ для темнаго, слабаго ума, неподготовленнаго къ нему. Эта грусть и вопросы, можетъ-быть, многихъ свели съ ума; инымъ они являются, какъ безобразныя видѣнія, какъ бредъ ума...

— Счастье льется черезъ край, такъ хочется жить... а тутъ вдругъ примѣшивается какая-то горечь...

— А! Это расплата за прометеевъ огонь! Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнѣнія и вопросы: они—переполненный избытокъ, роскошь жизни и являются больше на вершинахъ счастья, когда нѣтъ грубыхъ желаній; они не родятся среди жизни обыденной: тамъ не до того, гдѣ горе и нужда; толпы идутъ и не знаютъ этого тумана сомнѣній, тоски вопросовъ... Но кто встрѣтился съ ними своевременно, для того они не молотъ, а милые гости.

— Но съ ними не справишься: они даютъ тоску и равнодушіе... почти ко всему... — нерѣшительно прибавила она.

— А надолго ли? Потомъ освѣжаютъ жизнь, — говорилъ онъ. — Они приводятъ къ безднѣ, отъ которой не допросишься ничего, и съ бо́льшей любовью заставляютъ опять глядѣть на жизнь... Они вызываютъ на борьбу съ собой уже испытанныя силы, какъ будто затѣмъ, чтобъ не давать имъ уснуть...

— Мучиться какимъ-то туманомъ, призраками!—жаловалась она. — Все свѣтло, а тутъ вдругъ ложится на жизнь какая-то зловѣщая тѣнь! Ужели нѣтъ средствъ?

— Какъ не быть! опора въ жизни! А нѣтъ ея, такъ и безъ вопросовъ тошно жить!

— Что жъ дѣлать? Поддаться и толковать?

— Ничего, — сказалъ онъ: — вооружаться твердостью и терпѣливо, настойчиво идти своимъ путемъ. Мы не Титаны съ тобой, — продолжалъ онъ, обнимая ее: — мы не пойдемъ съ Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы и смиренно переживемъ трудную минуту, и опять потомъ улыбнется жизнь, счастье и...

— А если они никогда не отстанутъ: грусть будетъ тревожить все больше, больше?..—спрашивала она.

— Что жъ? примемъ ее какъ новую стихію жизни... Да нѣтъ, этого не бываетъ, не можетъ быть у насъ! Это не твоя грусть; это общій недугъ человѣчества. На тебя брызнула одна капля... Все это страшно, когда человѣкъ отрывается отъ жизни... когда нѣтъ опоры. А у насъ... Дай Богъ, чтобъ эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признакъ какой-нибудь болѣзни... то хуже. Вотъ горе, передъ которымъ я упаду безъ защиты, безъ силы... А то, ужели туманъ, грусть, какія-то сомнѣнія, вопросы могутъ лишить насъ нашего блага, нашей...

Онъ не договорилъ, а она, какъ безумная, бросилась къ нему въ объятія и, какъ вакханка, въ страстномъ забытьи, замерла на мгновеніе, обвивъ ему шею руками.

— Ни туманъ, ни грусть, ни болѣзнь, ни... даже смерть!— шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, веселая. Никогда, казалось ей, не любила она его такъ страстно, какъ въ эту минуту.

— Смотри, чтобъ судьба не подслушала твоего ропота,— заключилъ онъ суевѣрнымъ замѣчаніемъ, внушеннымъ нѣж-

ною предусмотрительностію: — и не сочла за неблагодарность! Она не любитъ, когда не цѣнятъ ея даровъ. До сихъ поръ ты еще познавала жизнь, а придется испытывать ее... Вотъ погоди, когда разыграется она, настанутъ горе и трудъ... а они настанутъ—тогда... не до этихъ вопросовъ... Береги силы!—прибавилъ тихо, почти про себя. Штольцъ, въ отвѣтъ на ея страстный порывъ. Въ словахъ его звучала грусть, какъ-будто онъ уже видѣлъ вдали и «горе, и трудъ».

Она молчала, мгновенно пораженная грустнымъ звукомъ его голоса. Она безгранично вѣрила ему, вѣрила и его голосу. Она заразилась его задумчивостью, сосредоточилась, ушла въ себя.

Опершись на него, машинально и медленно ходила она по аллеѣ, погруженная въ упорное молчаніе. Она боязливо, вслѣдъ за мужемъ, глядѣла въ даль жизни, туда, гдѣ, по словамъ его, настанетъ пора «испытаній», гдѣ ждутъ «горе и трудъ».

Ей сталъ сниться другой сонъ, не голубая ночь, открывался другой край жизни, не прозрачный и праздничный, въ затишьи, среди безграничнаго обилія, наединѣ съ *нимъ*...

Нѣтъ, тамъ видѣла она цѣпь утратъ, лишеній, омываемыхъ слезами, неизбѣжныхъ жертвъ, жизнь поста и невольнаго отреченія отъ рождающихся въ праздности прихотей, вопли и стоны отъ новыхъ, теперь невѣдомыхъ имъ чувствъ; снились ей болѣзни, разстройство дѣлъ, потеря мужа...

Она содрогалась, изнемогала, но съ мужественнымъ любопытствомъ глядѣла на этотъ новый образъ жизни, озирала его съ ужасомъ и измѣряла свои силы... Одна только любовь не измѣняла ей и въ этомъ снѣ, она стояла вѣрнымъ стражемъ и новой жизни; но и она была не та!

Нѣтъ ея горячаго дыханія, нѣтъ свѣтлыхъ лучей и голубой ночи; черезъ годы все казалось играми дѣтства передъ той далекой любовью, которую восприняла на себя

глубокая и грозная жизнь. Тамъ не слыхать поцѣлуевъ и смѣха, ни трепетно-задумчивыхъ бесѣдъ въ боскетѣ, среди цвѣтовъ, на праздникѣ природы и жизни... Все «поблекло и отошло».

Та неувядающая и не гибнущая любовь лежала могуче, какъ сила жизни, на лицахъ ихъ — въ годину дружной скорби, свѣтилась въ медленно и молча обмѣненномъ взглядѣ совокупнаго страданія, слышалась въ безконечномъ взаимномъ терпѣніи противъ жизненной пытки, въ сдержанныхъ слезахъ и заглушенныхъ рыданіяхъ...

Въ туманную грусть и вопросы, посѣщавшіе Ольгу, тихо вселились другіе, хотя отдаленные, но ясные опредѣленные и грозные сны...

Подъ успокоительнымъ и твердымъ словомъ мужа, въ безграничномъ довѣріи къ нему, отдыхала Ольга и отъ своей загадочной, не всѣмъ знакомой грусти, и отъ вѣщихъ и грозныхъ сновъ будущаго, шла бодро впередъ.

Послѣ «тумана» наставало свѣтлое утро, съ заботами матери, хозяйки; тамъ манилъ къ себѣ цвѣтникъ и поле, тамъ кабинетъ мужа. Только не съ беззаботнымъ самонаслажденіемъ играла она жизнью, а съ затаенной и бодрой мыслью жила она, готовилась, ждала...

Она росла все выше, выше... Андрей видѣлъ, что прежній идеалъ его женщины и жены недосягаемъ, но онъ былъ счастливъ и блѣднымъ отраженіемъ его въ Ольгѣ: онъ не ожидалъ никогда и этого.

Между тѣмъ, и ему долго, почти всю жизнь, предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высотѣ свое достоинство мужчины въ глазахъ самолюбивой, гордой Ольги, не изъ пошлой ревности, а для того, чтобъ не помрачилась эта хрустальная жизнь; а это могло бы случиться, если бъ хоть немного поколебалась ея вѣра въ него.

Многимъ женщинамъ не нужно ничего этого: разъ вышедши замужъ, онѣ покорно принимаютъ и хорошія, и

дурныя качества мужа, безусловно мирятся съ приготовленнымъ имъ положеніемъ и сферой, или такъ же покорно уступаютъ первому случайному увлеченію, сразу признавая невозможнымъ или не находя нужнымъ противиться ему: «судьба, дескать, страсти, женщина—созданіе слабое» и т. д.

Даже если мужъ и превышаетъ толпу умомъ, — этой обаятельной силой въ мужчинѣ, такія женщины гордятся этимъ преимуществомъ мужа какъ какимъ-нибудь дорогимъ ожерельемъ, и то въ такомъ только случаѣ, если умъ этотъ остается слѣпъ на ихъ жалкія, женскія продѣлки. А если онъ осмѣлится прозирать въ мелочную комедію ихъ лукаваго, ничтожнаго, иногда порочнаго существованія, имъ дѣлается тяжело и тѣсно отъ этого ума.

Ольга не знала этой логики покорности слѣпой судьбѣ и не понимала женскихъ страстишекъ и увлеченій. Признавъ разъ въ избранномъ человѣкѣ достоинство и права на себя, она вѣрила въ него и потому любила, а переставала вѣрить — переставала и любить, какъ случилось съ Обломовымъ.

Но тамъ еще шаги ея были нерѣшительны, воля шатка; она только что вглядывалась и вдумывалась въ жизнь, только приводила въ сознаніе стихіи своего ума и характера и собирала матеріалы; дѣло созданія еще не начиналось, пути жизни угаданы не были.

Но теперь она увѣровала въ Андрея не слѣпо, а съ сознаньемъ, и въ немъ воплотился ея идеалъ мужского совершенства. Чѣмъ больше, чѣмъ сознательнѣе она вѣровала въ него, тѣмъ труднѣе было ему держаться на одной высотѣ, быть героемъ не ума ея и сердца только, но и воображенія. А она вѣровала въ него такъ, что не признавала между нимъ и собой другого посредника, другой инстанціи, кромѣ Бога.

Оттого она не снесла бы пониженія ни на волосъ признанныхъ ею достоинствъ; всякая фальшивая нота въ его

характерѣ, или умѣ, произвела бы потрясающій диссонансъ. Разрушенное зданіе счастья погребло бы ее подъ развалинами, или, если бъ уцѣлѣли ея силы, она бы искала...

Да нѣтъ, такія женщины не ошибаются два раза... Послѣ упадка такой вѣры, такой любви, возрожденіе невозможно.

Штольцъ былъ глубоко счастливъ своей наполненной, волнующейся жизнью, въ которой цвѣла неувядаемая весна, и ревниво, дѣятельно, зорко воздѣлывалъ, берегъ и лелѣялъ ее. Со дна души поднимался ужасъ тогда только, когда онъ вспоминалъ, что Ольга была на волосъ отъ гибели, что эта угаданная дорога — ихъ два существованія, слившіяся въ одно, могли разойтись; что незнаніе путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибкѣ, что Обломовъ...

Онъ вздрагивалъ. Какъ! Ольга, въ той жизни, которую Обломовъ ей готовилъ! Она — среди переползанья изо дня въ день, деревенская барыня, нянька своихъ дѣтей, хозяйка—и только!

Всѣ вопросы, сомнѣнія, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожиданія праздниковъ, гостей, семейныхъ съѣздовъ, на родины, крестины, въ апатію и сонъ мужа!

Бракъ былъ бы только формой, а не содержаніемъ, средствомъ, а не цѣлью; служилъ бы широкой и неизмѣнной рамкой для визитовъ, пріема гостей, обѣдовъ и вечеровъ, пустой болтовни?..

Какъ же она вынесетъ эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачетъ, мучится, потомъ привыкаетъ, толстѣетъ, ѣстъ, спитъ, тупѣетъ...

Нѣтъ, не такъ бы съ ней было: она—плачетъ, мучится, чахнетъ и умираетъ въ объятіяхъ любящаго добраго и безсильнаго мужа... Бѣдная Ольга!

А если огонь не угаснетъ, жизнь не умретъ, если силы устоятъ и запросятъ свободы, если она измахнетъ крыльями,

какъ сильная и зоркая орлица, на мигъ полоненная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, гдѣ видитъ орла, который еще сильнѣе и зорче ея?.. Бѣдный Илья!

— Бѣдный Илья! — сказалъ однажды Андрей вслухъ, вспомнивъ прошлое.

Ольга, при этомъ имени, вдругъ опустила руки, съ вышиваньемъ, на колѣни, откинула голову назадъ и глубоко задумалась. Восклицаніе вызвало воспоминаніе.

— Что съ нимъ?—спросила она потомъ.—Ужели нельзя узнать?

Андрей пожалъ плечами.

— Подумаешь, — сказалъ онъ: — что мы живемъ въ то время, когда не было почтъ, когда люди, разъѣхавшись въ разныя стороны, считали другъ друга погибшими, и въ самомъ дѣлѣ пропадали безъ вѣсти.

— Ты бы написалъ опять къ кому-нибудь изъ своихъ пріятелей: узнали бы, по крайней мѣрѣ...

— Ничего не узнали бы, кромѣ того, что мы уже знаемъ: живъ, здоровъ, на той же квартирѣ—это я и безъ пріятелей знаю. А что съ нимъ, какъ онъ переноситъ свою жизнь, умеръ ли онъ нравственно, или еще тлѣетъ искра жизни—этого посторонній не узнаетъ...

— Ахъ, не говори такъ, Андрей: мнѣ страшно и больно слушать! Мнѣ и хотѣлось бы, и боюсь знать...

Она готова была заплакать.

— Весной будемъ въ Петербургѣ,—узнаемъ сами.

— Этого мало что узнаемъ, надо сдѣлать все...

— А я развѣ не дѣлалъ? Мало ли я его уговаривалъ, хлопоталъ за него, устроилъ его дѣла—а онъ хоть бы откликнулся на это! При свиданіи готовъ на все, а чуть съ глазъ долой — прощай: опять заснулъ. Возишься какъ съ пьяницей!

— Зачѣмъ съ глазъ долой? — нетерпѣливо возразила Ольга. — Съ нимъ надо дѣйствовать рѣшительно: взять его

съ собой въ карету и увезти. Теперь же мы переселяемся въ имѣніе; онъ будетъ близко отъ насъ... мы возьмемъ его съ собой.

— Вотъ далась намъ съ тобой забота! — разсуждалъ Андрей, ходя взадъ и впередъ по комнатѣ. — И конца ей нѣтъ!

— Ты тяготишься ею?—сказала Ольга.—Это новость! Я въ первый разъ слышу твой ропотъ на эту заботу.

— Я не ропщу,—отвѣчалъ Андрей:—а разсуждаю.

— А откуда взялось это разсужденіе? Ты сознался себѣ самому, что это скучно, безпокойно—да?

Она поглядѣла на него пытливо. Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Нѣтъ, не безпокойно, а безполезно: это я иногда думаю.

— Не говори, не говори! — остановила его она. — Я опять, какъ на той недѣлѣ, буду цѣлый день думать объ этомъ и тосковать. Если въ тебѣ погасла дружба къ нему, такъ изъ любви къ человѣку ты долженъ нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду безъ него: онъ тронется моими просьбами; я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его убитаго, мертваго! Можетъ-быть слезы...

— Воскресятъ, ты думаешь?—перебилъ Андрей.

— Нѣтъ, не воскресятъ къ дѣятельности, по крайней мѣрѣ заставятъ его оглянуться вокругъ себя и перемѣнить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Онъ будетъ не въ грязи, а близъ равныхъ себѣ, съ нами. Я только появилась тогда— и онъ въ одну минуту очнулся и застыдился...

— Ужъ не любишь ли ты его попрежнему? — спросилъ Андрей шутя.

— Нѣтъ! — не шутя, задумчиво, какъ бы глядя въ прошедшее, говорила Ольга.—Я люблю его не попрежнему, но есть что-то, что я люблю въ немъ, чему я, кажется, осталась вѣрна и не измѣнюсь, какъ иные...

— Кто же иные? Скажи, ядовитая змѣя, уязви, ужаль: я, что ли? Ошибаешься. А если хочешь знать правду, такъ я и тебя научилъ любить его и чуть не довелъ до добра. Безъ меня ты бы прошла мимо его, не замѣтивъ. Я далъ тебѣ понять, что въ немъ есть и ума не меньше другихъ, только зарытъ, задавленъ онъ всякою дрянью и заснулъ въ праздности. Хочешь, я скажу тебѣ, отчего онъ тебѣ дорогъ, за что ты еще любишь его?

Она кивнула, въ знакъ согласія, головой.

— За то, что въ немъ дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото; онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ силу жить, но не потерялъ честности и вѣрности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла, пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ навыворотъ—никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; они рѣдки; это перлы въ толпѣ! Его сердца не подкупишь ничѣмъ; на него всюду и вездѣ можно положиться. Вотъ чему ты осталась вѣрна и почему забота о немъ никогда не будетъ тяжела мнѣ. Многихъ людей я зналъ съ высокими качествами, но никогда не встрѣчалъ сердца чище, свѣтлѣе и проще; многихъ любилъ я, но никого такъ прочно и горячо, какъ Обломова. Узнавъ разъ, его разлюбить нельзя. Такъ это? Угадалъ?

Ольга молчала, потупя глаза на работу. Андрей задумался.

— Ужели не все тутъ? Что̀ же еще? Ахъ!..—очнувшись, весело прибавилъ потомъ. — Совсѣмъ забылъ «голубиную нѣжность»...

Ольга засмѣялась, проворно оставила свое шитье, подбѣжала къ Андрею, обвила его шею руками, нѣсколько минутъ поглядѣла лучистыми глазами прямо ему въ глаза, потомъ задумалась, положивъ голову на плечо мужа. Въ ея воспоминаніи воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нѣжный взглядъ, покорность, потомъ его жалкая, стыдливая улыбка, которою онъ, при разлукѣ, отвѣтилъ на ея упрекъ... и ей стало такъ больно, такъ жаль его...

— Ты его не оставишь, не бросишь?—говорила она, не отнимая рукъ отъ шеи мужа.

— Никогда! Развѣ бездна какая-нибудь откроется неожиданно между нами, стѣна встанетъ...

Она поцѣловала мужа.

— Въ Петербургѣ ты возьмешь меня къ нему?

Онъ нерѣшительно молчалъ.

— Да? да?—настойчиво требовала она отвѣта.

— Послушай, Ольга,—сказалъ онъ, стараясь освободить шею отъ кольца ея рукъ:—прежде надо...

— Нѣтъ, скажи: да, обѣщай, я не отстану!

— Пожалуй,—отвѣчалъ онъ:—но только не въ первый, а во второй разъ: я знаю, что съ тобой будетъ, если онъ...

— Не говори, не говори!..—перебила она.—Да, ты возьмешь меня: вдвоемъ мы сдѣлаемъ все. Одинъ ты не сумѣешь, не захочешь!

— Пусть такъ; но ты разстроишься и, можетъ-быть, надолго,—сказалъ онъ, несовсѣмъ довольный, что Ольга вынудила у него согласіе.

— Помни же,—заключила она, садясь на свое мѣсто:—что ты отступишься только тогда, когда «откроется бездна или встанетъ стѣна между нимъ и тобой». Я не забуду этихъ словъ.

IX.

Миръ и тишина покоятся надъ Выборгской Стороной, надъ ея немощеными улицами, деревянными тротуарами,

надъ тощими садами, надъ заросшими крапивой канавами, гдѣ, подъ заборомъ, какая-нибудь коза, съ оборванной веревкой на шеѣ, прилежно щиплетъ траву или дремлетъ тупо, да въ полдень простучатъ щегольскіе, высокіе каблуки прошедшаго по тротуару писаря, зашевелится кисейная занавѣска въ окошкѣ и изъ-за ерани выглянетъ чиновница, или вдругъ надъ заборомъ, въ саду, мгновенно выскочитъ и въ ту же минуту спрячется свѣжее лицо дѣвушки, вслѣдъ за нимъ выскочитъ другое такое же лицо, и также исчезнетъ, потомъ явится опять первое и смѣнится вторымъ; раздается визгъ и хохотъ качающихся на качеляхъ дѣвушекъ.

Все тихо въ домѣ Пшеницыной. Войдешь на дворикъ и будешь охваченъ живой идилліей: куры и пѣтухи засуетятся и побѣгутъ прятаться въ углы; собака начнетъ скакать на цѣпи, заливаясь лаемъ; Акулина перестанетъ доить корову, а дворникъ остановится рубить дрова, и оба съ любопытствомъ посмотрятъ на посѣтителя.

— Кого вамъ? — спроситъ онъ и, услыхавъ имя Ильи Ильича, или хозяйки дома, молча укажетъ крыльцо, и примется опять рубить дрова, а посѣтитель, по чистой, усыпанной пескомъ тропинкѣ, пойдетъ къ крыльцу, на ступенькахъ котораго постланъ простой, чистый коврикъ, дернетъ за мѣдную, ярко-вычищенную ручку колокольчика, и дверь отворитъ Анисья, дѣти, иногда сама хозяйка, или Захаръ—Захаръ послѣ всѣхъ.

Все въ домѣ Пшеницыной дышало такимъ обиліемъ и полнотой хозяйства, какой не бывало и прежде, когда Агаѳья Матвѣевна жила однимъ домомъ съ братцемъ.

Кухня, чуланы, буфетъ—все было установлено поставцами съ посудой, большими и небольшими, круглыми и овальными блюдами, соусниками, чашками, грудами тарелокъ, горшками, чугунными, мѣдными и глиняными.

Въ шкапахъ разложено было и свое, давнымъ-давно вы-

купленное и никогда не закладываемое теперь серебро, и серебро Обломова.

Цѣлые ряды огромныхъ, пузатыхъ и миніатюрныхъ чайниковъ и нѣсколько рядовъ фарфоровыхъ чашекъ, простыхъ, съ живописью, съ позолотой, съ девизами, съ пылающими сердцами, съ китайцами. Большія стеклянныя банки съ кофе, корицей, ванилью, хрустальныя чайницы, судки съ масломъ, съ уксусомъ.

Потомъ цѣлыя полки загромождены были пачками, склянками, коробочками съ домашними лѣкарствами, съ травами, примочками, пластырями, спиртами, камфарой, съ порошками, съ куреньями; тутъ же было мыло, снадобья для чищенья кружевъ, выведенья пятенъ и прочее, и прочее—все, что найдешь въ любомъ домѣ всякой провинціи, у всякой домовитой хозяйки.

Когда Агаѳья Матвѣевна внезапно отворитъ дверь шкапа, исполненнаго всѣхъ этихъ принадлежностей, то сама не устоитъ противъ букета всѣхъ наркотическихъ запаховъ и на первыхъ порахъ на минуту отворотитъ лицо въ сторону.

Въ кладовой къ потолку привѣшены были окорока, чтобъ не портили мыши, сыры, головы сахару, провѣсная рыба, мѣшки съ сушеными грибами, купленными у чухонца орѣхами.

На полу стояли кадки масла, большія крытыя корчаги съ сметаной, корзины съ яйцами — и чего-чего не было! Надо перо другого Гомера, чтобъ исчислить съ полнотой и подробностью все, что скоплено было во всѣхъ углахъ, на всѣхъ полкахъ этого маленькаго ковчега домашней жизни.

Кухня была истиннымъ палладіумомъ дѣятельности великой хозяйки и ея достойной помощницы, Анисьи. Все было въ домѣ и все подъ рукой, на своемъ мѣстѣ, во всемъ порядокъ и чистота, можно бы сказать, если бъ не оставался одинъ уголъ въ цѣломъ домѣ, куда никогда не проникалъ

ни лучъ свѣта, ни струя свѣжаго воздуха, ни глазъ хозяйки, ни проворная, всесметающая рука Анисьи. Это уголъ или гнѣздо Захара.

Комнатка его была безъ окна и вѣчная темнота способствовала къ устройству изъ человѣческаго жилья темной норы. Если Захаръ заставалъ иногда тамъ хозяйку съ какими-нибудь планами улучшеній и очищеній, онъ твердо объявлялъ, что это не женское дѣло разбирать, гдѣ и какъ должны лежать щетки, вакса и сапоги, что никому дѣла нѣтъ до того, зачѣмъ у него платье лежитъ въ кучѣ на полу, а постель въ углу за печкой, въ пыли, что *онъ* носитъ платье и спитъ на этой постели, а не она. А что касается вѣника, досокъ, двухъ кирпичей, днища бочки и двухъ полѣнъ, которыя онъ держитъ у себя въ комнатѣ, такъ ему безъ нихъ въ хозяйствѣ обойтись нельзя, а почему—онъ не объяснялъ; далѣе, что пыль и пауки ему не мѣшаютъ и, словомъ, что онъ не суетъ носа къ нимъ въ кухню, слѣдовательно, не желаетъ, чтобъ и его трогали.

Анисью, которую онъ однажды засталъ тамъ, онъ обдалъ такимъ презрѣніемъ, погрозилъ такъ серьезно локтемъ въ грудь, что она боялась заглядывать къ нему. Когда дѣло было перенесено въ высшую инстанцію, на благоусмотрѣніе Ильи Ильича, баринъ пошелъ-было осмотрѣть и распорядиться какъ слѣдуетъ, построже, но, всунувъ въ дверь къ Захару одну голову и поглядѣвъ съ минуту на все, что тамъ было, онъ только плюнулъ и не сказалъ ни слова.

— Что взяли? — промолвилъ Захаръ Агаѳьѣ Матвѣевнѣ и Анисьѣ, которыя пришли съ Ильей Ильичемъ, надѣясь, что его участіе поведетъ къ какой-нибудь перемѣнѣ. Потомъ онъ усмѣхнулся по-своему, во все лицо, такъ что брови и бакенбарды подались въ стороны.

Въ прочихъ комнатахъ вездѣ было свѣтло, чисто и свѣжо. Старыя, полинялыя занавѣски исчезли, а окна и двери гостиной и кабинета осѣнялись синими и зелеными драпри и

кисейными занавѣсками, съ красными фестонами — все работа рукъ Агаѳьи Матвѣевны.

Подушки бѣлѣли, какъ снѣгъ, и горой возвышались чуть не до потолка; одѣяла шелковыя, стеганыя.

Цѣлыя недѣли комната хозяйки была загромождена нѣсколькими раскинутыми и приставленными одинъ къ другому ломберными столами, на которыхъ разстилались эти одѣяла и халатъ Ильи Ильича.

Агаѳья Матвѣевна собственноручно кроила, подкладывала ватой и простегивала ихъ, припадая къ работѣ своею крѣпкой грудью, впиваясь въ нее глазами, даже ртомъ, когда надо было откусить нитку, и трудилась съ любовью, съ неутомимымъ прилежаніемъ, скромно награждая себя мыслью, что халатъ и одѣяла будутъ облекать, грѣть, нѣжить и покоить великолѣпнаго Илью Ильича.

Онъ цѣлые дни, лежа у себя на диванѣ, любовался, какъ обнаженные локти ея двигались взадъ и впередъ, вслѣдъ за иглой и ниткой. Онъ не разъ дремалъ подъ шипѣнье продѣваемой и трескъ откушенной нитки, какъ бывало въ Обломовкѣ.

— Полноте работать, устанете!—унималъ онъ ее.

— Богъ труды любитъ! — отвѣчала она, не отводя глазъ и рукъ отъ работы.

Кофе подавался ему такъ же тщательно, чисто и вкусно, какъ вначалѣ, когда онъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, переѣхалъ на эту квартиру. Супъ съ потрохами, макароны съ пармезаномъ, кулебяка, ботвинья, свои цыплята—все это смѣнялось въ строгой очереди одно другимъ и пріятно разнообразило монотонные дни маленькаго домика.

Въ окна съ утра до вечера билъ радостный лучъ солнца, полдня на одну сторону, полдня на другую, не загораживаемый ничѣмъ, благодаря огородамъ съ обѣихъ сторонъ.

Канарейки весело трещали; ерань и порой приносимые дѣтьми изъ графскаго сада гіацинты изливали въ малень-

кой комнаткѣ сильный запахъ, пріятно мѣшавшійся съ дымомъ чистой гаванской сигары да корицы, или ванили, которую толкла, энергически двигая локтями, хозяйка.

Илья Ильичъ жилъ какъ будто въ золотой рамкѣ жизни, въ которой, точно въ діорамѣ, только мѣнялись обычные фазисы дня и ночи и временъ года; другихъ перемѣнъ, особенно крупныхъ случайностей, возмущающихъ со дна жизни весь осадокъ, часто горькій и мутный, не бывало.

Съ тѣхъ поръ, какъ Штольцъ выручилъ Обломовку отъ воровскихъ долговъ братца, какъ братецъ и Тарантьевъ удалились совсѣмъ, съ ними удалилось и все враждебное изъ жизни Ильи Ильича. Его окружали теперь такія простыя, добрыя, любящія лица, которыя всѣ согласились своимъ существованіемъ подпереть его жизнь, помогать ему не замѣчать ея, не чувствовать.

Агаѳья Матвѣевна была въ зенитѣ своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, какъ прежде никогда не жила, но только высказать этого, какъ и прежде, никогда не могла, или, лучше, ей въ голову объ этомъ не приходило. Она только молила Бога, чтобъ онъ продлилъ вѣку Ильѣ Ильичу, и чтобъ избавилъ его отъ всякой «скорби, гнѣва и нужды», а себя, дѣтей своихъ и весь домъ предавала на волю Божію. Зато лицо ея постоянно высказывало одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и безъ желаній, слѣдовательно, рѣдкое и при всякой другой натурѣ невозможное.

Она пополнѣла; грудь и плечи сіяли тѣмъ же довольствомъ и полнотой, въ глазахъ свѣтились кротость и только хозяйственная заботливость. Къ ней воротились то достоинство и спокойствіе, съ которыми она прежде властвовала надъ домомъ, среди покорныхъ Анисьи, Акулины и дворника. Она, попрежнему, не ходитъ, а будто плаваетъ, отъ шкапа къ кухнѣ, отъ кухни къ кладовой, и мѣрно, не-

торопливо, отдаетъ приказанія, съ полнымъ сознаніемъ того, что̀ дѣлаетъ.

Анисья стала еще живѣе прежняго, потому что работы стало больше: все она движется, суетится, бѣгаетъ, работаетъ, все по слову хозяйки. Глаза у ней даже ярче, и носъ, этотъ говорящій носъ, такъ и выставляется прежде всей ея особы, такъ и рдѣетъ заботой, мыслями, намѣреніями, такъ и говоритъ, хотя языкъ и молчитъ.

Обѣ онѣ одѣты, каждая сообразно достоинству своего сана и должностей. У хозяйки завелся большой шкапъ, съ рядомъ шелковыхъ платьевъ, мантилій и салоповъ; чепцы заказывались на той сторонѣ, чуть ли не на Литейной, башмаки не съ Апраксина, а изъ Гостинаго двора, а шляпка — представьте, изъ Морской! И Анисья, когда отстряпаетъ, а особенно въ воскресенье, надѣваетъ шерстяное платье.

Только Акулина все ходитъ, съ заткнутымъ за поясъ подоломъ, да дворникъ не можетъ, даже въ лѣтнія каникулы, разстаться съ полушубкомъ.

Про Захара и говорить нечего: этотъ изъ сѣраго фрака сдѣлалъ себѣ куртку, и нельзя рѣшить, какого цвѣта у него панталоны, изъ чего сдѣланъ его галстукъ. Онъ чиститъ сапоги, потомъ спитъ, сидитъ у воротъ, тупо глядя на рѣдкихъ прохожихъ, или, наконецъ, сидитъ въ ближней мелочной лавочкѣ и дѣлаетъ все то же и такъ же, что дѣлалъ прежде, сначала въ Обломовкѣ, потомъ въ Гороховой.

А самъ Обломовъ? Самъ Обломовъ былъ полнымъ и естественнымъ отраженіемъ и выраженіемъ того покоя, довольства и безмятежной тишины. Вглядываясь, вдумываясь въ свой бытъ и все болѣе и болѣе обживаясь въ немъ, онъ, наконецъ, рѣшилъ, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеалъ его жизни осуществился, хотя безъ поэзіи, безъ тѣхъ лучей, которыми нѣкогда воображеніе ри-

совало ему барское, широкое и безпечное теченіе жизни въ родной деревнѣ, среди крестьянъ, дворни.

Онъ смотрѣлъ на настоящій свой бытъ, какъ продолженіе того же обломовскаго существованія, только съ другимъ колоритомъ мѣстности и, отчасти, времени. И здѣсь, какъ въ Обломовкѣ, ему удавалось дешево отдѣлываться отъ жизни, выторговать у ней и застраховать себѣ невозмутимый покой.

Онъ торжествовалъ внутренно, что ушелъ отъ ея докучливыхъ, мучительныхъ требованій и грозъ, изъ-подъ того горизонта, подъ которымъ блещутъ молніи великихъ радостей и раздаются внезапные удары великихъ скорбей, гдѣ играютъ ложныя надежды и великолѣпные призраки счастья, гдѣ гложетъ и снѣдаетъ человѣка собственная мысль и убиваетъ страсть, гдѣ падаетъ и торжествуетъ умъ, гдѣ сражается въ непрестанной битвѣ человѣкъ, и уходитъ съ поля битвы истерзанный и все недовольный и ненасытимый. Онъ, не испытавъ наслажденій, добываемыхъ въ борьбѣ, мысленно отказался отъ нихъ и чувствовалъ покой въ душѣ только въ забытомъ уголкѣ, чуждомъ движенія, борьбы и жизни.

А если закипитъ еще у него воображеніе, возстанутъ забытыя воспоминанія, неисполненныя мечты, если въ совѣсти зашевелятся упреки за прожитую такъ, а не иначе жизнь— онъ спитъ непокойно, просыпается, вскакиваетъ съ постели, иногда плачетъ холодными слезами безнадежности по свѣтломъ, навсегда угаснувшемъ идеалѣ жизни, какъ плачутъ по дорогомъ усопшемъ, съ горькимъ чувствомъ сознанія, что недовольно сдѣлали для него при жизни.

Потомъ онъ взглянетъ на окружающее его, вкуситъ временныхъ благъ и успокоится, задумчиво глядя, какъ тихо и покойно утопаетъ въ пожарѣ зари вечернее солнце, наконецъ рѣшитъ, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была такъ просто, немудрено,

чтобъ выразить возможность идеально-покойной стороны человѣческаго бытія.

Другимъ, думалъ онъ, выпадало на долю выражать ей тревожныя стороны, двигать создающими и разрушающими силами: у всякаго свое назначеніе!

Вотъ какая философія выработалась у обломовскаго Платона и убаюкивала его среди вопросовъ и строгихъ требованій долга и назначенія! И родился и воспитанъ онъ былъ не какъ гладіаторъ для арены, а какъ мирный зритель боя, не вынести бы его робкой и лѣнивой душѣ ни тревогъ счастья, ни ударовъ жизни — слѣдовательно, онъ выразилъ собою одинъ ея край, и добиваться, мѣнять въ ней что-нибудь, или каяться—нечего.

Съ лѣтами, волненія и раскаяніе являлись рѣже, и онъ тихо и постепенно укладывался въ простой и широкій гробъ остального своего существованія, сдѣланный собственными руками, какъ старцы пустынные, которые, отворотясь отъ жизни, копаютъ себѣ могилу.

Онъ ужъ пересталъ мечтать объ устройствѣ имѣнія и о поѣздкѣ туда всѣмъ домомъ. Поставленный Штольцомъ управляющій аккуратно присылалъ ему весьма порядочный доходъ къ Рождеству, мужики привозили хлѣба и живности, и домъ процвѣталъ обиліемъ и весельемъ.

Илья Ильичъ завелъ даже пару лошадей, но, изъ свойственной ему осторожности, такихъ, что онѣ только послѣ третьяго кнута трогались отъ крыльца, а при первомъ и второмъ ударѣ одна лошадь пошатнется и ступитъ въ сторону, потомъ вторая лошадь пошатнется и ступитъ въ сторону, потомъ уже, вытянувъ напряженно шею, спину и хвостъ, двинутся онѣ разомъ и побѣгутъ, кивая головами. На нихъ возили Ваню на ту сторону Невы, въ гимназію, да хозяйка ѣздила за разными покупками.

На масленицѣ и на святой вся семья, и самъ Илья

Ильичъ, ѣздили на гулянье кататься и въ балаганы; брали изрѣдка ложу и посѣщали, также всѣмъ домомъ, театръ.

Лѣтомъ отправлялись за городъ, въ ильинскую пятницу— на Пороховые Заводы, и жизнь чередовалась обычными явленіями, не внося губительныхъ перемѣнъ, можно было бы сказать, если бъ удары жизни вовсе не достигали маленькихъ мирныхъ уголковъ. Но, къ несчастью, громовой ударъ, потрясая основанія горъ и огромныя воздушныя пространства, раздается и въ норкѣ мыши, хотя слабѣе, глуше, но для норки ощутительно.

Илья Ильичъ кушалъ аппетитно и много, какъ въ Обломовкѣ, ходилъ и работалъ лѣниво и мало, тоже какъ въ Обломовкѣ. Онъ, несмотря на нарастающія лѣта, безпечно пилъ вино, смородиновую водку и еще безпечнѣе и подолгу спалъ послѣ обѣда.

Вдругъ все это перемѣнилось.

Однажды, послѣ дневного отдыха и дремоты, онъ хотѣлъ встать съ дивана и не могъ, хотѣлъ выговорить слово — и языкъ не повиновался ему. Онъ, въ испугѣ, махалъ только рукой, призывая къ себѣ на помощь.

Живи онъ съ однимъ Захаромъ, онъ могъ бы телеграфировать рукой до утра и, наконецъ, умереть, о чемъ узнали бы на другой день, но глазъ хозяйки свѣтилъ надъ нимъ, какъ око Провидѣнія: ей не нужно было ума, а только догадка сердца, что Илья Ильичъ что-то не въ себѣ.

И только эта загадка озарила ее, Анисья летѣла уже на извозчикѣ за докторомъ, а хозяйка обложила голову ему льдомъ, и разомъ вытащила изъ завѣтнаго шкапчика всѣ спирты, примочки—все, что навыкъ и наслышка указывали ей употребить въ дѣло. Даже Захаръ успѣлъ въ это время надѣть одинъ сапогъ и такъ, объ одномъ сапогѣ, ухаживалъ, вмѣстѣ съ докторомъ, хозяйкой и Анисьей, около барина.

Илью Ильича привели въ чувство, пустили кровь и по-

томъ объявили, что это былъ апоплексическій ударъ и что ему надо повести другой образъ жизни.

Водка, пиво и вино, кофе, съ немногими и рѣдкими исключеніями, потомъ все жирное, мясное, пряное было ему запрещено, а вмѣсто этого предписано ежедневное движеніе, и умѣренный сонъ, только ночью.

Безъ ока Агаѳьи Матвѣевны ничего бы этого не состоялось, но она умѣла ввести эту систему тѣмъ, что подчинила ей весь домъ, и, то хитростью, то лаской отвлекала Обломова отъ соблазнительныхъ покушеній на вино, на послѣ-обѣденную дремоту, на жирныя кулебяки.

Чуть онъ вздремнетъ, падалъ стулъ въ комнатѣ, такъ, самъ собою, или съ шумомъ разбивалась старая, негодная посуда въ сосѣдней комнатѣ, а не то зашумятъ дѣти—хоть вонъ бѣги! Если это не поможетъ, раздавался ея кроткій голосъ: она звала его и спрашивала о чемъ-нибудь.

Дорожка сада проложена была въ огородъ, и Илья Ильичъ совершалъ утромъ и вечеромъ по ней двухчасовое хожденіе. Съ нимъ ходила она, а нельзя ей, такъ Маша, или Ваня, или старый знакомый, безотвѣтный, всему покорный и на все согласный Алексѣевъ.

Вотъ Илья Ильичъ идетъ медленно по дорожкѣ, опираясь на плечо Вани. Ваня ужъ почти юноша, въ гимназическомъ мундирѣ, едва сдерживаетъ свой бодрый, торопливый шагъ, подлаживаясь подъ походку Ильи Ильича. Обломовъ не совсѣмъ свободно ступаетъ одной ногой — слѣды удара.

— Ну, пойдемъ, Ванюша, въ комнату!—сказалъ онъ.

Они-было направились къ двери. Навстрѣчу имъ появилась Агаѳья Матвѣевна.

— Куда это вы, такъ рано?—спросила она, не давая войти.

— Что за рано! Мы разъ двадцать взадъ и впередъ прошли, а вѣдь отсюда до забора пятьдесятъ саженъ, значитъ, двѣ версты.

— Сколько разъ прошли?—спросила она Ванюшу.

Тотъ-было замялся.

— Не ври, смотри у меня! — грозила она, глядя ему въ глаза.—Я сейчасъ увижу. Помни воскресенье, не пущу въ гости.

— Нѣтъ, маменька, право мы разъ... двѣнадцать прошли.

— Ахъ, ты, плутъ этакой!—сказалъ Обломовъ.—Ты все акацію щипалъ, а я считалъ всякій разъ...

— Нѣтъ, походите еще! у меня и уха не готова! — рѣшила хозяйка и захлопнула передъ ними дверь.

И Обломовъ, волей-неволей, отсчиталъ еще восемь разъ, потомъ уже пришелъ въ комнату.

Тамъ, на большомъ кругломъ столѣ, дымилась уха. Обломовъ сѣлъ на свое мѣсто, одинъ на диванѣ, около него, справа, на стулѣ, Агаѳья Матвѣевна, налѣво, на маленькомъ дѣтскомъ стулѣ, съ задвижкой, усаживался какой-то ребенокъ, лѣтъ трехъ. Подлѣ него садилась Маша, уже дѣвочка лѣтъ тринадцати, потомъ Ваня и, наконецъ, въ этотъ день и Алексѣевъ сидѣлъ напротивъ Обломова.

— Вотъ постойте, дайте еще я положу вамъ ершика: жирный такой попался!—говорила Агаѳья Матвѣевна, подкладывая Обломову въ тарелку ершика.

— Хорошо бы къ этому пирогъ!—сказалъ Обломовъ.

— Забыла, право забыла! А хотѣла еще съ вечера, да память у меня словно отшибло! — схитрила Агаѳья Матвѣевна.—И вамъ тоже, Иванъ Алексѣичъ, забыла капусты къ котлетамъ приготовить, — прибавила она, обращаясь къ Алексѣеву.—Не взыщите.

И опять схитрила.

— Ничего-съ: я все могу ѣсть,—сказалъ Алексѣевъ.

— Что это, въ самомъ дѣлѣ, не приготовятъ ему ветчины съ горошкомъ, или бифштексъ?—спросилъ Обломовъ.—Онъ любитъ...

— Сама ходила, смотрѣла, Илья Ильичъ, не было хоро-

шей говядины! Зато вамъ кисель изъ вишневаго сиропа велѣла сдѣлать: знаю, что вы охотникъ, — добавила она, обращаясь къ Алексѣеву.

Кисель былъ безвреденъ для Ильи Ильича, и потому его долженъ былъ любить и ѣсть на все согласный Алексѣевъ.

Послѣ обѣда никто и ничто не могло отклонить Обломова отъ лежанья. Онъ обыкновенно ложился тутъ же на диванѣ, на спину, но только полежать часокъ. Чтобъ онъ не спалъ, хозяйка наливала тутъ же, на диванѣ, кофе, тутъ же играли на коврѣ дѣти, и Илья Ильичъ, волей-неволей, долженъ былъ принимать участіе.

— Полно дразнить Андрюшу: онъ сейчасъ заплачетъ! — журилъ онъ Ваничку, когда тотъ дразнилъ ребенка.

— Машенька, смотри, Андрюша ушибется объ стулъ! — заботливо предостерегалъ онъ, когда ребенокъ залѣзалъ подъ стулья.

И Маша бросалась доставать «братца», какъ она называла его.

Все замолкло на минуту, хозяйка вышла на кухню посмотрѣть, готовъ ли кофе. Дѣти присмирѣли. Въ комнатѣ послышалось храпѣнье, сначала тихое, какъ подъ сурдиной, потомъ громче, и когда Агаѳья Матвѣевна появилась съ дымящимся кофейникомъ, ее поразило храпѣнье, какъ въ ямской избѣ.

Она, съ упрекомъ, покачала головой Алексѣеву.

— Я будилъ, да они не слушаютъ, — сказалъ, въ свое оправданіе, Алексѣевъ.

Она быстро поставила кофейникъ на столъ, схватила съ пола Андрюшу и тихонько посадила его на диванъ къ Ильѣ Ильичу. Ребенокъ поползъ по немъ, добрался до лица и схватилъ за носъ.

— А! Что? Кто это? — безпокойно говорилъ очнувшійся Илья Ильичъ.

— Вы задремали, а Андрюша влѣзъ да разбудилъ васъ,— ласково сказала хозяйка.

— Когда же я задремалъ?—оправдывался Обломовъ, принимая Андрюшу въ объятія. — Развѣ я не слыхалъ, какъ онъ ручонками карабкался ко мнѣ? Я все слышу! Ахъ, шалунъ этакій: за носъ поймалъ! Вотъ я тебя! Вотъ постой, постой! — говорилъ онъ, нѣжа и лаская ребенка. Потомъ спустилъ его на полъ и вздохнулъ на всю комнату. — Разскажите что-нибудь, Иванъ Алексѣичъ!—сказалъ онъ.

— Все переговорили, Илья Ильичъ; нечего разсказывать,— отвѣчалъ тотъ.

— Ну, какъ нечего? Вы бываете въ людяхъ: нѣтъ ли чего новенькаго? Я думаю, читаете?

— Да-съ, иногда читаю, или другіе читаютъ, разговариваютъ, а я слушаю. Вотъ вчера, у Алексѣя Спиридоныча, сынъ, студентъ, читалъ вслухъ...

— Что жъ онъ читалъ?

— Про англичанъ, что они ружья да пороху кому-то привезли. Алексѣй Спиридонычъ сказали, что война будетъ.

— Кому же они привезли?

— Въ Испанію, или въ Индію—не помню, только посланникъ былъ очень недоволенъ.

— Какой же посланникъ?—спросилъ Обломовъ.

— Вотъ ужъ это забылъ!—сказалъ Алексѣевъ, поднимая носъ къ потолку и стараясь вспомнить.

— Съ кѣмъ война-то?

— Съ турецкимъ пашей, кажется.

— Ну, что еще новаго въ политикѣ? — спросилъ, помолчавъ, Илья Ильичъ.

— Да пишутъ, что земной шаръ все охлаждается: когда-нибудь замерзнетъ весь.

— Вона! Развѣ это политика?—сказалъ Обломовъ.

Алексѣевъ оторопѣлъ.

— Дмитрій Алексѣичъ сначала упомянули политику, —

оправдывался онъ:—а потомъ все подъ рядъ читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что ужъ это литература пошла.

— Что же онъ о литературѣ-то читалъ?—спросилъ Обломовъ.

— Да читалъ, что самые лучшіе сочинители Дмитріевъ, Карамзинъ, Батюшковъ и Жуковскій...

— А Пушкинъ?

— Пушкина нѣтъ такъ. Я самъ тоже подумалъ, отчего его нѣтъ! Вѣдь онъ *хеній*, — сказалъ Алексѣевъ, произнося *г* какъ *х*.

Послѣдовало молчаніе. Хозяйка принесла работу и принялась сновать иглой взадъ и впередъ, поглядывая по временамъ на Илью Ильича, на Алексѣева и прислушиваясь чуткими ушами, нѣтъ ли гдѣ безпорядка, шума, не бранится ли на кухнѣ Захаръ съ Анисьей, моетъ ли посуду Акулина, не скрипнула ли калитка на дворѣ, то-есть, не отлучился ли дворникъ въ «заведеніе».

Обломовъ тихо погрузился въ молчаніе и задумчивость. Эта задумчивость была не сонъ и не бдѣніе: онъ безпечно пустилъ мысли бродить по волѣ, не сосредоточивая ихъ ни на чемъ, покойно слушалъ мѣрное біеніе сердца и изрѣдка ровно мигалъ, какъ человѣкъ, ни на что не устремляющій глазъ. Онъ впалъ въ неопредѣленное, загадочное состояніе, родъ галлюцинаціи.

На человѣка иногда нисходятъ рѣдкія и краткія задумчивыя мгновенія, когда ему кажется, что онъ переживаетъ въ другой разъ когда-то и гдѣ-то прожитой моментъ. Во снѣ ли онъ видѣлъ происходящее передъ нимъ явленіе, жилъ ли когда-нибудь прежде да забылъ, но онъ видитъ: тѣ же лица сидятъ около него, какія сидѣли тогда, тѣ же слова были произнесены уже однажды: воображеніе безсильно перенести опять туда, память не воскрешаетъ прошлаго и наводитъ раздумье.

То же было съ Обломовымъ теперь. Его осѣняетъ какая-то, бывшая уже гдѣ-то тишина, качается знакомый маятникъ, слышится трескъ откушенной нитки; повторяются знакомыя слова и шопотъ.

— Вотъ никакъ не могу попасть ниткой въ иглу: на-ка ты, Маша, у тебя глаза повострѣе!

Онъ лѣниво, машинально, будто въ забытьи, глядитъ въ лицо хозяйки, и изъ глубины его воспоминаній возникаетъ знакомый, гдѣ-то видѣнный имъ образъ. Онъ добирался, когда и гдѣ слышалъ онъ это...

И видится ему большая темная, освѣщенная сальной свѣчкой гостиная въ родительскомъ домѣ, сидящая за круглымъ столомъ покойная мать и ея гости: онѣ шьютъ, молча; отецъ ходитъ, молча. Настоящее и прошлое слились и перемѣшались.

Грезится ему, что онъ достигъ той обѣтованной земли, гдѣ текутъ рѣки меду и молока, гдѣ ѣдятъ незаработанный хлѣбъ, ходятъ въ золотѣ и серебрѣ.

Слышитъ онъ разсказы сновъ, примѣтъ, звонъ тарелокъ и стукъ ножей, жмется къ нянѣ, прислушивается къ ея старческому, дребезжащему голосу:

— Милитриса Кирбитьевна!—говоритъ она, указывая ему на образъ хозяйки.

Кажется ему, то же облачко плыветъ въ синемъ небѣ, какъ тогда, тотъ же вѣтерокъ дуетъ въ окно и играетъ его волосами; обломовскій индѣйскій пѣтухъ ходитъ и горланитъ подъ окномъ.

Вонъ залаяла собака: должно-быть гость пріѣхалъ. Ужъ не Андрей ли пріѣхалъ, съ отцомъ, изъ Верхлева? Это былъ праздникъ для него. Въ самомъ дѣлѣ, должно быть онъ: шаги ближе, ближе, отворяется дверь... — «Андрей!» говоритъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ, передъ нимъ Андрей, но не мальчикъ, а зрѣлый мужчина.

Обломовъ очнулся: передъ нимъ на-яву, не въ галлюцинаціи, стоялъ настоящій, дѣйствительный Штольцъ.

Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила свою работу со стола, увела дѣтей; исчезъ и Алексѣевъ. Штольцъ и Обломовъ остались вдвоемъ, молча и неподвижно, глядя другъ на друга. Штольцъ такъ и пронзалъ его глазами.

— Ты ли это, Андрей?—спросилъ Обломовъ едва слышно отъ волненія, какъ спрашиваетъ только, послѣ долгой разлуки, любовникъ свою подругу.

— Я,—тихо сказалъ Андрей.—Ты живъ, здоровъ?

Обломовъ обнялъ его, крѣпко прижимаясь къ нему.

— Ахъ,—произнесъ онъ въ отвѣтъ продолжительно, излилъ въ этомъ *ахъ* всю силу долго таившейся въ душѣ грусти и радости, и никогда, можетъ-быть, со времени разлуки, не изливавшейся ни на кого и ни на что.

Они сѣли и опять пристально смотрѣли другъ на друга.

— Здоровъ ли ты?—спросилъ Андрей.

— Да, теперь слава Богу.

— А былъ боленъ?

— Да, Андрей, у меня ударъ былъ...

— Возможно ли? Боже мой!—съ испугомъ и участіемъ сказалъ Андрей.—Но безъ послѣдствій?

— Да, только лѣвой ногой не свободно владѣю...—отвѣчалъ Обломовъ.

— Ахъ, Илья, Илья! Что̀ съ тобой? Вѣдь ты опустился совсѣмъ! Что̀ ты дѣлалъ это время? Шутка ли, пятый годъ пошелъ, какъ мы не видались!

Обломовъ вздохнулъ.

— Что жъ ты не ѣхалъ въ Обломовку? Отчего не писалъ?

— Что говорить тебѣ, Андрей? Ты знаешь меня и не спрашивай больше!—печально сказалъ Обломовъ.

— И все здѣсь, на этой квартирѣ?—говорилъ Штольцъ, оглядывая комнату:—и не съѣзжалъ?

— Да, все здѣсь... Теперь ужъ я и не съѣду!

— Какъ, рѣшительно нѣтъ?

— Да, Андрей... рѣшительно.

Штольцъ пристально посмотрѣлъ на него, задумался и сталъ ходить по комнатѣ.

— А Ольга Сергѣевна? Здорова ли? Гдѣ она? Помнитъ ли?.. Онъ не договорилъ.

— Здорова и помнитъ тебя, какъ будто вчера разстались. Я сейчасъ скажу тебѣ, гдѣ она.

— А дѣти?

— И дѣти здоровы... Но скажи, Илья: ты шутишь, что останешься здѣсь? А я пріѣхалъ за тобой, съ тѣмъ, чтобъ увезти туда, къ намъ, въ деревню...

— Нѣтъ, нѣтъ!—понизивъ голосъ и поглядывая на дверь, заговорилъ Обломовъ, очевидно, встревоженный.—Нѣтъ, пожалуйста, ты и не начинай, не говори...

— Отчего? Что̀ съ тобой?— началъ-было Штольцъ.— Ты знаешь меня: я давно задалъ себѣ эту задачу и не отступлюсь. До сихъ поръ меня отвлекали разныя дѣла, а теперь я свободенъ. Ты долженъ жить съ нами, вблизи насъ: мы съ Ольгой такъ рѣшили, такъ и будетъ. Слава Богу, что я засталъ тебя такимъ же, а не хуже. Я не надѣялся... Ѣдемъ же!.. Я готовъ силой увезти тебя! Надо жить иначе, ты понимаешь какъ...

Обломовъ съ нетерпѣніемъ слушалъ эту тираду.

— Не кричи, пожалуйста, тише! — упрашивалъ онъ. — Тамъ...

— Что тамъ?

— Услышатъ... хозяйка подумаетъ, что я въ самомъ дѣлѣ хочу уѣхать...

— Ну, такъ что жъ? Пусть ее думаетъ!

— Ахъ, какъ это можно!— перебилъ Обломовъ. — Послушай, Андрей! — вдругъ прибавилъ онъ рѣшительнымъ, не-

бывалымъ тономъ: — не дѣлай напрасныхъ попытокъ, не уговаривай меня: я останусь здѣсь.

Штольцъ съ изумленіемъ поглядѣлъ на своего друга. Обломовъ покойно и рѣшительно глядѣлъ на него.

— Ты погибъ, Илья! — сказалъ онъ. — Этотъ домъ, эта женщина... весь этотъ бытъ... Не можетъ быть: ѣдемъ, ѣдемъ!

Онъ хваталъ его за рукавъ и тащилъ къ двери.

— Зачѣмъ ты хочешь увезти меня? Куда? — говорилъ, упираясь, Обломовъ.

— Вонъ изъ этой ямы, изъ болота, на свѣтъ, на просторъ, гдѣ есть здоровая, нормальная жизнь! — настаивалъ Штольцъ строго, почти повелительно. — Гдѣ ты? Что ты сталъ? Опомнись! Развѣ ты къ этому быту готовилъ себя, чтобъ спать, какъ кротъ въ норѣ? Ты вспомни все...

— Не напоминай, не тревожь прошлаго: не воротишь! — говорилъ Обломовъ, съ мыслью на лицѣ, съ полнымъ сознаніемъ разсудка и воли. — Что ты хочешь дѣлать со мной? Съ тѣмъ міромъ, куда ты влечешь меня, я распался навсегда; ты не спаяешь, не составишь двѣ разорванныя половины. Я приросъ къ этой ямѣ больнымъ мѣстомъ: попробуй оторвать — будетъ смерть.

— Да ты оглянись, гдѣ и съ кѣмъ ты?

— Знаю, чувствую... Ахъ, Андрей, все я чувствую, все понимаю: мнѣ давно совѣстно жить на свѣтѣ! Но не могу идти съ тобой твоей дорогой, если бъ даже захотѣлъ... Можетъ-быть, въ послѣдній разъ было еще возможно. Теперь... (онъ опустилъ глаза и промолчалъ съ минуту) теперь поздно... Иди и не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы — это Богъ видитъ, но не стою твоихъ хлопотъ.

— Нѣтъ, Илья, ты что-то говоришь, да не договариваешь. А все-таки я увезу тебя, именно потому и увезу, что подозрѣваю... Послушай, — сказалъ онъ: — надѣнь что-нибудь и поѣдемъ ко мнѣ, просиди у меня вечеръ. Я тебѣ

разскажу много-много: ты не знаешь, что закипѣло у насъ теперь, ты не слыхалъ?..

Обломовъ смотрѣлъ на него вопросительно.

— Ты не видишься съ людьми, я и забылъ: пойдемъ, я все разскажу тебѣ... Знаешь, кто здѣсь у воротъ, въ каретѣ, ждетъ меня... Я позову сюда!

— Ольга! — вдругъ вырвалось у испуганнаго Обломова. Онъ даже измѣнился въ лицѣ.—Ради Бога, не допускай ея сюда, уѣзжай. Прощай, прощай, ради Бога!

Онъ почти толкалъ Штольца вонъ; но тотъ не двигался.

— Я не могу, пойти къ ней безъ тебя: я далъ слово, слышишь, Илья? Не сегодня, такъ завтра, ты только отсрочишь, но не отгонишь меня... Завтра, послѣзавтра, а все-таки увидимся!

Обломовъ молчалъ, опустивъ голову и не смѣя взглянуть на Штольца.

— Когда же? Меня Ольга спроситъ.

— Ахъ, Андрей,—сказалъ онъ нѣжнымъ, умоляющимъ голосомъ, обнимая его и кладя голову ему на плечо.—Оставь меня совсѣмъ... забудь...

— Какъ, навсегда?—съ изумленіемъ спросилъ Штольцъ, устраняясь отъ его объятій и глядя ему въ лицо.

— Да!—прошепталъ Обломовъ.

Штольцъ отступилъ отъ него на шагъ.

— Ты ли это, Илья?—упрекалъ онъ.—Ты отталкиваешь меня, и для нея, для этой женщины!.. Боже мой! — почти закричалъ онъ, какъ отъ внезапной боли.—Этотъ ребенокъ, что я сейчасъ видѣлъ... Илья, Илья! Бѣги отсюда, пойдемъ, пойдемъ скорѣе! Какъ ты палъ! Эта женщина... что она тебѣ...

— Жена!—покойно произнесъ Обломовъ.

Штольцъ окаменѣлъ.

— А этотъ ребенокъ — мой сынъ! Его зовутъ Андреемъ, въ память о тебѣ! — досказалъ Обломовъ разомъ и покойно перевелъ духъ, сложивъ съ себя бремя откровенности.

Теперь Штольцъ измѣнился въ лицѣ и ворочалъ изумленными, почти безсмысленными глазами вокругъ себя. Передъ нимъ вдругъ «отверзлась бездна», воздвиглась «каменная стѣна», и Обломова какъ будто не стало, какъ будто онъ пропалъ изъ глазъ его, провалился, и онъ только почувствовалъ ту жгучую тоску, которую испытываетъ человѣкъ, когда спѣшитъ съ волненіемъ, послѣ разлуки, увидѣть друга, и узнаётъ, что его давно уже нѣтъ, что онъ умеръ.

— Погибъ! — машинально, шопотомъ сказалъ онъ. — Что жъ я скажу Ольгѣ?

Обломовъ услыхалъ послѣднія слова, хотѣлъ что-то сказать и не могъ. Онъ протянулъ къ Андрею обѣ руки, и они обнялись молча, крѣпко, какъ обнимаются передъ боемъ, передъ смертью. Это объятіе задушило ихъ слова, слезы, чувства...

— Не забудь моего Андрея!—были послѣднія слова Обломова, сказанныя угасшимъ голосомъ.

Андрей, молча, медленно вышелъ вонъ, медленно, задумчиво шелъ онъ дворомъ и сѣлъ въ карету, а Обломовъ сѣлъ на диванъ, оперся локтями на столъ и закрылъ лицо руками.

«Нѣтъ, не забуду я твоего Андрея», съ грустью, идучи дворомъ, думалъ Штольцъ. «Погибъ ты, Илья: нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебѣ, что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ... школы, грамота, а дальше... Нѣтъ, перепугаешься ты зари новаго счастья, больно будетъ непривычнымъ глазамъ. Но поведу твоего Андрея, куда ты не могъ идти... и съ нимъ будемъ приводить въ дѣло наши юношескія мечты».—Прощай, старая Обломовка!—сказалъ онъ, оглянувшись въ послѣдній разъ на окна маленькаго домика.—Ты отжила свой вѣкъ!

— Что̀ тамъ? — спросила Ольга съ сильнымъ біеніемъ сердца.

— Ничего!—сухо, отрывисто отвѣчалъ Андрей.

— Онъ живъ, здоровъ?

— Да,—нехотя отозвался Андрей.

— Что жъ ты такъ скоро воротился? Отчего не позвалъ меня туда и его не привелъ? Пусти меня!

— Нельзя!

— Что жъ тамъ дѣлается? — съ испугомъ спрашивала Ольга.—Развѣ «бездна открылась»? Скажешь ли ты мнѣ?

Онъ молчалъ.

— Да что̀ такое тамъ происходитъ?

— Обломовщина! — мрачно отвѣчалъ Андрей и на дальнѣйшіе разспросы Ольги хранилъ до самаго дома угрюмое молчаніе.

X.

Прошло лѣтъ пять. Многое перемѣнилось и на Выборгской Сторонѣ: пустая улица, ведущая къ дому Пшеницыной, обстроилась дачами, между которыми возвышалось длинное, каменное, казенное зданіе, мѣшавшее солнечнымъ лучамъ весело бить въ стекла мирнаго пріюта лѣни и спокойствія.

И самъ домикъ обветшалъ немного, глядѣлъ небрежно, нечисто, какъ небритый и немытый человѣкъ. Краска слѣзла, дождевыя трубы мѣстами изломались: оттого на дворѣ стояли лужи грязи, черезъ которыя, какъ прежде, брошена была узенькая доска. Когда кто войдетъ въ калитку, старая арапка не скачетъ бодро на цѣпи, а хрипло и лѣниво лаетъ, не вылѣзая изъ конуры.

А внутри домика какія перемѣны! Тамъ властвуетъ чужая женщина, рѣзвятся не прежнія дѣти. Тамъ опять появляется по временамъ красное, испитое лицо буйнаго Тарантьева и нѣтъ болѣе кроткаго, безотвѣтнаго Алексѣева.

Не видать ни Захара, ни Анисьи: новая толстая кухарка распоряжается на кухнѣ, нехотя и грубо исполняя тихія приказанія Агаѳьи Матвѣевны, да та же Акулина, съ заткнутымъ за поясъ подоломъ, моетъ корыта и корчаги; тотъ же сонный дворникъ, и въ томъ же тулупѣ, праздно доживаетъ свой вѣкъ въ конурѣ. Мимо рѣшетчатаго забора, въ урочные часы ранняго утра и обѣденной поры, мелькаетъ опять фигура «братца», съ большимъ пакетомъ подъ мышкой, въ резиновыхъ галошахъ, зимой и лѣтомъ.

Что же стало съ Обломовымъ? Гдѣ онъ? Гдѣ?—На ближайшемъ кладбищѣ, подъ скромной урной покоится тѣло его, между кустовъ, въ затишьѣ. Вѣтви сирени, посаженныя дружеской рукой, дремлютъ надъ могилой, да безмятежно пахнетъ полынь. Кажется, самъ ангелъ тишины охраняетъ сонъ его.

Какъ зорко ни сторожило каждое мгновеніе его жизни любящее око жены, но вѣчный покой, вѣчная тишина и лѣнивое переползанье изо дня въ день тихо остановили машину жизни. Илья Ильичъ скончался, повидимому, безъ боли, безъ мученій, какъ будто остановились часы, которые забыли завести.

Никто не видалъ послѣднихъ его минутъ, не слыхалъ предсмертнаго стона. Апоплексическій ударъ повторился еще разъ, спустя годъ, и опять миновалъ благополучно: только Илья Ильичъ сталъ блѣденъ, слабъ, мало ѣлъ, мало сталъ выходить въ садикъ, и становился все молчаливѣе и задумчивѣе, иногда даже плакалъ. Онъ предчувствовалъ близкую смерть и боялся ея.

Нѣсколько разъ дѣлалось ему дурно и проходило. Однажды утромъ Агаѳья Матвѣевна принесла-было ему, по обыкновенію, кофе и—застала его такъ же кротко-покоящимся на одрѣ смерти, какъ на ложѣ сна, только голова немного сдвинулась съ подушки, да рука судорожно прижата была къ сердцу, гдѣ, повидимому, сосредоточилась и остановилась кровь.

Три года вдовѣетъ Агаѳья Матвѣевна: въ это время все измѣнилось на прежній ладъ. Братецъ занимались подрядами, но разорились и поступили, кое-какъ, разными хитростями и поклонами, на прежнее мѣсто секретаря въ канцеляріи, «гдѣ записываютъ мужиковъ», и опять ходятъ пѣшкомъ въ должность и приносятъ четвертаки, полтинники и двугривенные, наполняя ими далеко-спрятанный сундучокъ. Хозяйство пошло такое же грубое, простое, но жирное и обильное, какъ въ прежнее время, до Обломова.

Первенствующую роль въ домѣ играла супруга братца, Ирина Пантелѣевна, то-есть она предоставляла себѣ право вставать поздно, пить три раза кофе, перемѣнять три раза платье въ день и наблюдать только одно по хозяйству, чтобъ ея юбки были накрахмалены какъ можно крѣпче. Болѣе она ни во что не входила, и Агаѳья Матвѣевна, попрежнему, была живымъ маятникомъ въ домѣ: она смотрѣла за кухней и столомъ, поила весь домъ чаемъ и кофе, обшивала всѣхъ, смотрѣла за бѣльемъ, за дѣтьми, за Акулиной и за дворникомъ.

Но отчего же такъ? Вѣдь она госпожа Обломова, помѣщица; она могла бы жить отдѣльно, независимо, ни въ комъ и ни въ чемъ не нуждаясь? Что жъ могло заставить ее взять на себя обузу чужого хозяйства, хлопотать о чужихъ дѣтяхъ, обо всѣхъ этихъ мелочахъ, на которыя женщина обрекаетъ себя или по влеченію любви, по святому долгу семейныхъ узъ, или изъ-за куска насущнаго хлѣба? Гдѣ же Захаръ, Анисья, ея слуги по всѣмъ правамъ? Гдѣ, наконецъ, живой залогъ, оставленный ей мужемъ, маленькій Андрюша? Гдѣ ея дѣти отъ прежняго мужа?

Дѣти ея пристроились, то-есть Ванюша кончилъ курсъ наукъ и поступилъ на службу; Машенька вышла замужъ за смотрителя какого-то казеннаго дома, а Андрюшу выпросили на воспитаніе Штольцъ и жена, и считаютъ его членомъ своего семейства. Агаѳья Матвѣевна никогда не

равняла и не смѣшивала участи Андрюши съ судьбою первыхъ дѣтей своихъ, хотя въ сердцѣ своемъ, можетъ-быть, безсознательно, и давала имъ всѣмъ равное мѣсто. Но воспитаніе, образъ жизни, будущую жизнь Андрюши она отдѣляла цѣлой бездной отъ жизни Ванюши и Машеньки.

— Тѣ что? Такія же замарашки, какъ я сама,—небрежно говорила она:—они родились въ черномъ тѣлѣ, а этотъ,—прибавляла она почти съ уваженіемъ объ Андрюшѣ и съ нѣкоторою, если не робостью, то осторожностью, лаская его:—этотъ—барченокъ! Вонъ онъ какой бѣленькій, точно наливной; какія маленькія ручки и ножки, а волоски, какъ шелкъ. Весь въ покойника!

Поэтому она безпрекословно, даже съ нѣкоторою радостью, согласилась на предложеніе Штольца взять его на воспитаніе, полагая, что тамъ его настоящее мѣсто, а не тутъ, «въ черготѣ», съ грязными ея племянниками, дѣтками братца.

Съ полгода, по смерти Обломова, жила она съ Анисьей и Захаромъ въ дому, убиваясь горемъ. Она проторила тропинку къ могилѣ мужа и выплакала всѣ глаза, почти ничего не ѣла, не пила, питалась только чаемъ, и часто по ночамъ не смыкала глазъ и истомилась совсѣмъ. Она никогда никому не жаловалась и, кажется, чѣмъ болѣе отодвигалась отъ минуты разлуки, тѣмъ больше уходила въ себя, въ свою печаль, и замыкалась отъ всѣхъ, даже отъ Анисьи. Никто не зналъ, каково у ней на душѣ.

— А ваша хозяйка все плачетъ по мужѣ, — говорилъ кухаркѣ лавочникъ на рынкѣ, у котораго брали въ домъ провизію.

— Все груститъ по мужѣ,—говорилъ староста, указывая на нее просвирнѣ въ кладбищенской церкви, куда каждую недѣлю приходила молиться и плакать безутѣшная вдова.

— Все еще убивается,—говорили въ домѣ братца.

Однажды, вдругъ къ ней явилось неожиданно нашествіе

всего семейства братца, съ дѣтьми, даже съ Тарантьевымъ, подъ предлогомъ состраданія. Полились пошлыя утѣшенія, совѣты «не губить себя, поберечь для дѣтей»—все, что говорено было ей лѣтъ пятнадцать назадъ, по случаю смерти перваго мужа, и что произвело тогда желанное дѣйствіе, а теперь производило въ ней почему-то тоску и отвращеніе.

Ей стало гораздо легче, когда заговорили о другомъ и объявили ей, что теперь имъ можно опять жить вмѣстѣ, что и ей будетъ легче «среди своихъ горе мыкать», и имъ хорошо, потому что никто, какъ она, не умѣетъ держать дома въ порядкѣ.

Она просила срока подумать, потомъ убивалась мѣсяца два еще и, наконецъ, согласилась жить вмѣстѣ. Въ это время Штольцъ взялъ Андрюшу къ себѣ, и она осталась одна.

Вонъ она, въ темномъ платьѣ, въ черномъ шерстяномъ платкѣ на шеѣ, ходитъ изъ комнаты въ кухню, какъ тѣнь, попрежнему отворяетъ и затворяетъ шкапы, шьетъ, гладитъ кружева, но тихо, безъ энергіи, говоритъ будто нехотя, тихимъ голосомъ, и не попрежнему смотритъ вокругъ безпечно перебѣгающими съ предмета на предметъ глазами, а съ сосредоточеннымъ выраженіемъ, съ затаившимся внутреннимъ смысломъ въ глазахъ. Мысль эта сѣла невидимо на ея лицо, кажется, въ то мгновеніе, когда она сознательно и долго вглядывалась въ мертвое лицо своего мужа, и съ тѣхъ поръ не покидала ея.

Она двигалась по дому, дѣлала руками все, что было нужно, но мысль ея не участвовала тутъ. Надъ трупомъ мужа, съ потерею его, она, кажется, вдругъ уразумѣла свою жизнь и задумалась надъ ея значеніемъ, и эта задумчивость легла навсегда тѣнью на ея лицо. Выплакавъ потомъ живое горе, она сосредоточилась на сознаніи о потерѣ: все прочее умерло для нея, кромѣ маленькаго Андрюши. Только когда видѣла она его, въ ней будто пробуждались при-

знаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостнымъ свѣтомъ и потомъ заливались слезами воспоминаній.

Она была чужда всего окружающаго: разсердится ли братецъ за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорѣлое жаркое, за несвѣжую рыбу, надуется ли невѣстка за мягко-накрахмаленныя юбки, за некрѣпкій и холодный чай, нагрубитъ ли толстая кухарка, Агаѳья Матвѣевна не замѣчаетъ ничего, какъ будто не о ней рѣчь, не слышитъ даже язвительнаго шопота: — Барыня, помѣщица!

Она на все отвѣчаетъ достоинствомъ своей скорби и покорнымъ молчаніемъ.

Напротивъ, въ святки, въ свѣтлый день, въ веселые вечера масленицы, когда все ликуетъ, поетъ, ѣстъ и пьетъ въ домѣ, она вдругъ, среди общаго веселья, зальется горячими слезами и спрячется въ свой уголъ.

Потомъ опять сосредоточится и иногда даже смотритъ на братца и на жену его какъ будто съ гордостью, съ сожалѣніемъ.

Она поняла, что проиграла и просіяла ея жизнь, что Богъ вложилъ въ ея жизнь душу и вынулъ опять; что засвѣтилось въ ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ея: теперь ужъ она знала, зачѣмъ она жила и что жила не напрасно.

Она такъ полно и много любила: любила Обломова— какъ любовника, какъ мужа и какъ барина; только разсказать никогда она этого, какъ прежде, не могла никому. Да никто и не понялъ бы ее вокругъ. Гдѣ бы она нашла языкъ? Въ лексиконѣ братца, Тарантьева, невѣстки не было такихъ словъ, потому что не было понятій; только Илья Ильичъ понялъ бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умѣла.

Съ лѣтами она понимала свое прошедшее все больше и

яснѣе и таила все глубже, становилась все молчаливѣе и сосредоточеннѣе. На всю жизнь ея разлились лучи, тихій свѣтъ отъ пролетѣвшихъ, какъ одно мгновеніе, семи лѣтъ, и нѣчего было ей желать больше, нѣкуда идти.

Только когда пріѣзжалъ на зиму Штольцъ изъ деревни, она бѣжала къ нему въ домъ и жадно глядѣла на Андрюшу, съ нѣжной робостью ласкала его и потомъ хотѣла бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, наконецъ, выложить передъ нимъ все, все, что сосредоточилось и жило неисходно въ ея сердцѣ: онъ бы понялъ, да не умѣетъ она, и только бросится къ Ольгѣ, прильнетъ губами къ ея рукамъ и зальется потокомъ такихъ горячихъ слезъ, что и та невольно заплачетъ съ нею, а Андрей, взволнованный, поспѣшно уйдетъ изъ комнаты.

Ихъ всѣхъ связывала одна общая симпатія, одна память о чистой, какъ хрусталь, душѣ покойнаго. Они упрашивали ее ѣхать съ ними въ деревню, жить вмѣстѣ, подлѣ Андрюши, она твердила одно: — Гдѣ родились, жили вѣкъ, тутъ надо и умереть.

Напрасно давалъ ей Штольцъ отчетъ въ управленіи имѣніемъ, присылалъ слѣдующіе ей доходы, все отдавала она назадъ, просила беречь для Андрюши.

— Это его, а не мое,—упрямо твердила она:—ему понадобится; онъ баринъ, а я проживу и такъ.

XI.

Однажды, около полудня, шли по деревяннымъ тротуарамъ на Выборгской Сторонѣ два господина; сзади ихъ тихо ѣхала коляска. Одинъ изъ нихъ былъ Штольцъ, другой — его пріятель, литераторъ, полный, съ апатическимъ лицомъ, задумчивыми, какъ будто сонными глазами. Они поравнялись съ церковью; обѣдня кончилась и народъ повалилъ на улицу; впереди всѣхъ нищіе. Коллекція ихъ была большая и разнообразная.

— Я бы хотѣлъ знать, откуда нищіе берутся?—сказалъ литераторъ, глядя на нищихъ.

— Какъ откуда? Изъ разныхъ щелей и угловъ наползаютъ...

— Я не то спрашиваю,—возразилъ литераторъ:—я хотѣлъ бы знать: какъ можно сдѣлаться нищимъ, стать въ это положеніе? Дѣлается ли это внезапно, или постепенно, искренно или фальшиво?..

— Зачѣмъ тебѣ? Не хочешь ли писать Mystères de Pétersbourg?

— Можетъ-быть... — лѣниво зѣвая, проговорилъ литераторъ.

— Да вотъ случай: спроси любого, за рубль серебромъ онъ тебѣ продастъ всю свою исторію, а ты запиши и перепродай съ барышомъ. Вотъ старикъ, типъ нищаго, кажется, самый нормальный. Эй, старикъ! Поди сюда!

Старикъ обернулся на зовъ, снялъ шапку и подошелъ къ нимъ.

— Милосердые господа! — захрипѣлъ онъ. — Помогите бѣдному, увѣчному въ тридцати сраженіяхъ, престарѣлому воину...

— Захаръ!—съ удивленіемъ сказалъ Штольцъ.—Это ты?

Захаръ вдругъ замолчалъ, потомъ, прикрывъ глаза рукой отъ солнца, пристально поглядѣлъ на Штольца.

— Извините, ваше превосходительство, не признаю... ослѣпъ совсѣмъ!

— Забылъ друга своего барина, Штольца, — упрекнулъ Штольцъ.

— Ахъ, ахъ, батюшка, Андрей Иванычъ! Господи, слѣпота одолѣла! Батюшка, отецъ родной!

Онъ суетился, ловилъ руку Штольца и, не поймавъ, поцѣловалъ полу его платья.

— Привелъ Господь дожить до этакой радости меня, пса окаяннаго...—завопилъ онъ, не то плача, не то смѣясь.

Все лицо его какъ будто прожжено было багровой печатью, отъ лба до подбородка. Носъ былъ, сверхъ того, подернутъ синевой. Голова совсѣмъ лысая; бакенбарды были, попрежнему, большія, но смятыя и перепутанныя, какъ войлокъ, въ каждой точно положено было по комку снѣга. На немъ была ветхая, совсѣмъ полинявшая шинель, у которой недоставало одной полы; обутъ онъ былъ въ старыя стоптанныя галоши на босу-ногу; въ рукахъ держалъ мѣховую, совсѣмъ обтертую шапку.

— Ахъ, ты, Господи милосердый! Какую милость сотворилъ мнѣ сегодня для праздника...

— Что ты это въ какомъ положеніи? Отчего? Тебѣ не стыдно?—строго спросилъ Штольцъ.

— Ахъ, батюшка, Андрей Иванычъ! Что жъ дѣлать?—тяжело вздохнувъ, началъ Захаръ. — Чѣмъ питаться? Бывало, когда Анисья была жива, такъ я не шатался, былъ кусокъ и хлѣба, а какъ она померла въ холеру — царство ей небесное—братецъ барынинъ не захотѣли держать меня, звали дармоѣдомъ. Михей Андреичъ Тарантьевъ все норовилъ, какъ пойдешь мимо, сзади ногой ударить: житья не стало! Попрековъ сколько перенесъ. Повѣрите ли, сударь, кусокъ хлѣба въ горло не шелъ. Кабы не барыня, дай Богъ ей здоровье!—прибавилъ Захаръ, крестясь:—давно бы сгибъ я на морозѣ. Она одежонку на зиму даетъ и хлѣба сколько хочешь, и на печкѣ уголъ — все, по милости своей давала. Да изъ-за меня и ее стали попрекать, я и ушелъ, куда глаза глядятъ! Вотъ теперь второй годъ мыкаю горе...

— Зачѣмъ на мѣсто не шелъ?—спросилъ Штольцъ.

— Гдѣ, батюшка, Андрей Иванычъ, нынче мѣсто найдешь? Былъ на двухъ мѣстахъ, да не потрафилъ. Все не о теперь, не попрежнему; хуже стало. Въ лакеи грамотныхъ требуютъ; да и у знатныхъ господъ нѣтъ ужъ этого, чтобъ въ передней биткомъ набито было народу. Все по одному, рѣдко гдѣ два лакея. Сапоги сами снимаютъ съ

себя: какую-то машинку выдумали!—съ сокрушеніемъ продолжалъ Захаръ.—Срамъ, стыдъ, пропадаетъ барство!

Онъ вздохнулъ.

— Вотъ, опредѣлился-было я къ нѣмцу, къ купцу, въ передней сидѣть: все шло хорошо, а онъ меня послалъ къ буфету служить! мое ли дѣло? Однажды понесъ посуду, какую-то богемскую, что ли, полы-то гладкіе, скользкіе—чтобъ имъ провалиться! Вдругъ ноги у меня врозь, вся посуда, какъ есть съ подносомъ, и грянулась о-земь: ну, и прогнали! Вдругорядь одной старой графинѣ видомъ понравился: «почтенный на взглядъ», говоритъ, и взяла въ швейцары. Должность хорошая, старинная: сиди только важнѣе на стулѣ, положи ногу на ногу, покачивай, да не отвѣчай сразу, когда кто придетъ, а сперва зарычи, а потомъ ужъ пропусти, или въ шею вытолкай, какъ понадобится; а хорошимъ гостямъ, извѣстно: булавой наотмашь, вотъ такъ!—Захаръ сдѣлалъ рукой наотмашь.—Оно лестно, что говорить! — Да барыня попалась такая неугодливая—Богъ съ ней! Разъ заглянула ко мнѣ въ каморку, увидала клопа, растопалась, раскричалась, словно я выдумалъ клоповъ! Когда безъ клопа хозяйство бываетъ! Въ другой разъ шла мимо меня, почудилось ей, что виномъ отъ меня пахнетъ... такая, право! И отказала.

— А вѣдь въ самомъ дѣлѣ пахнетъ, такъ и несетъ!—сказалъ Штольцъ.

— Съ горя, батюшка, Андрей Иванычъ, ей-Богу съ горя,—засипѣлъ Захаръ, сморщившись горько.—Пробовалъ тоже извозчикомъ ѣздить. Нанялся къ хозяину, да ноги ознобилъ: силъ-то мало, старъ сталъ! Лошадь попалась злющая; однажды подъ карету бросилась, чуть не изломала меня; въ другой разъ старуху смялъ, въ часть взяли...

— Ну, полно, не бродяжничай и не пьянствуй, приходи ко мнѣ, я тебѣ уголъ дамъ, въ деревню поѣдемъ — слышишь?

— Слышу, батюшка, Андрей Иванычъ, да...

Онъ вздохнулъ.

— Ѣхать-то не охота отсюда, отъ могилки-то! Нашъ-то кормилецъ-то, Илья Ильичъ,—завошилъ онъ:—опять помянулъ его сегодня, царство ему небесное! Этакаго барина отнялъ Господь! На радость людямъ жилъ, жить бы ему сто лѣтъ... — всхлипывалъ и приговаривалъ Захаръ, морщась.—Вотъ, сегодня на могилкѣ у него былъ; какъ въ эту сторону приду, такъ и туда, сяду да и сижу; слезы такъ и текутъ... Этакъ-то иногда задумаюсь, притихнетъ все и почудится, какъ будто кличетъ: «Захаръ! Захаръ!» Инда мурашки по спинѣ побѣгутъ! Не нажить такого барина! А васъ-то какъ любилъ — помяни, Господи, его душеньку во царствіи своемъ!

— Ну, приходи на Андрюшу взглянуть: я тебя велю накормить, одѣть, а тамъ какъ хочешь!—сказалъ Штольцъ и далъ ему денегъ.

— Приду; какъ не придти взглянуть на Андрея Ильича? Чай великонекъ сталъ! Господи! Радости какой привелъ дождаться Господь! Приду, батюшка, дай Богъ вамъ добраго здоровья и несчетные годы... — ворчалъ Захаръ вслѣдъ уѣзжавшей коляскѣ.

— Ну, ты слышалъ исторію этого нищаго? — сказалъ Штольцъ своему пріятелю.

— А что это за Илья Ильичъ, котораго онъ поминалъ?— спросилъ литераторъ.

— Обломовъ; я тебѣ много разъ про него говорилъ.

— Да, помню имя: это твой товарищъ и другъ. Что съ нимъ сталось?

— Погибъ, пропалъ ни за что.

Штольцъ вздохнулъ и задумался.

— А былъ не глупѣе другихъ, душа чиста и ясна, какъ стекло; благороденъ, нѣженъ, и—пропалъ!

— Отчего же? Какая причина?

— Причина... какая причина! Обломовщина! — сказалъ Штольцъ.

— Обломовщина! — съ недоумѣніемъ повторилъ литераторъ.—Что это такое?

— Сейчасъ разскажу тебѣ: дай собраться съ мыслями и памятью. А ты запиши: можетъ-быть, кому-нибудь пригодится.

И онъ разсказалъ ему, что здѣсь написано.

1857 и 1858 гг.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА:

стр.

Обломовъ. Романъ въ четырехъ частяхъ.

Часть третья:

Глава I. 5
» II. 10
» III. 23
» IV. 35
» V. 55
» VI. 65
» VII. 71
» VIII. 90
» IX. 95
» X. 99
» XI. 102
» XII. 112

Часть четвертая:

Глава I. 115
» II. 130
» III. 139
» IV. 145
» V. 179
» VI. 188
» VII. 199
» VIII. 207
» IX. 235
» X. 256
» XI. 262

Stanford University Libraries
3 6105 005 708 461
PG
3337
G6
1899a
v. 2-4

OCT 28 1899

APR 9

OCT 28 '99

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.